

# СОЧИНЕНІЯ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

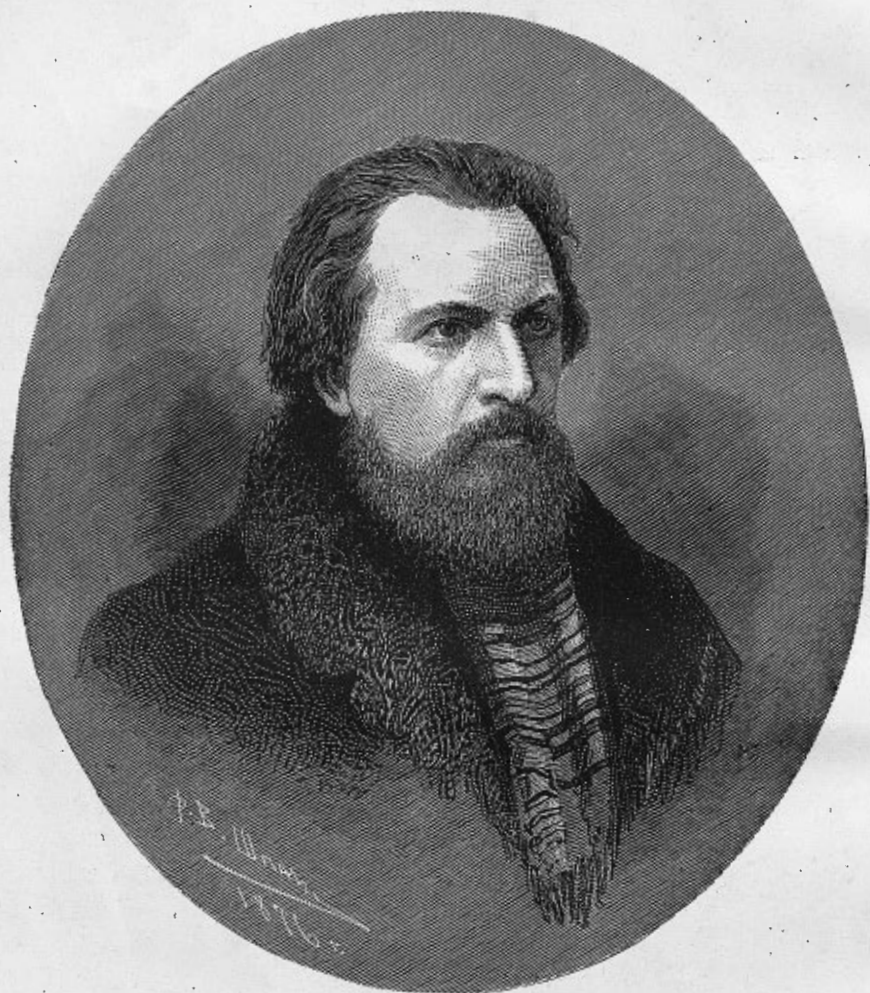
Русская литература въ 1851 и 1852 году.—  
О комедіяхъ Островскаго.—О правдѣ и искренности въ искусствѣ.—  
Взглядъ на критику.—Русская литература со смерти  
Пушкина.—Тургеневъ, по поводу Дворянскаго  
гизда.—Послѣ Грозы Островскаго.—  
Развитіе идеи народности въ  
нашей литературѣ.— Пара-  
доксы органической  
критики.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЪЗА».

Большая Подъячская № 39.

1876.



АПОЛЛОНЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ  
ГРИГОРЬЕВЪ.

Типографія и Хромолитографія А. Траншея, Стреланина, № 12.  
Дозволено цензурою, С.-Петербургъ. 22 марта 1876 г.

94  $\frac{1}{7}$

Александръ Блокъ.  
Сентябрь 1912.

СОЧИНЕНІЯ  
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

---

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

(Съ портретомъ)

Издание *Н. Н. Страхова.*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИНОГРАФІЯ ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»,

Б. Подъячская, собств. д. № 39.

1876.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Имя Аполлона Григорьева очень извѣстно; но значеніе его— для многихъ, даже для огромнаго большинства, совершенно темно. Одна изъ прямыхъ и простыхъ причинъ этого заключается въ малой доступности для читающихъ самаго рода его писаній. Критика, по существу дѣла, есть нѣкоторое философское разсужденіе, и слѣдовательно требуетъ особаго упражненія и усилія мысли.

Были, конечно, и есть, и другія причины, и внѣшнія, и внутреннія. Къ внутреннимъ принадлежитъ, напримѣръ, широта и многосторонность мысли, затрудняющая пониманіе и мѣшающая самому писателю выражать свой взглядъ рѣзкими формулами и итогами. Вообще, для такого писателя, какъ Аполлонъ Григорьевъ, больше чѣмъ для другихъ необходимо «собраніе сочиненій». Настоящій первый томъ уже представитъ взгляды нашего критика въ такой цѣлости и связи, которая должна сдѣлать ихъ ясными для незнакомыхъ съ ними и придать имъ новую силу въ глазахъ давнишнихъ приверженцевъ. Здѣсь помѣщены всѣ общія, руководящія статьи Ап. Григорьева за то время (1851—1864), которое нужно считать періодомъ зрѣлой его дѣятельности. Мы имѣемъ здѣсь передъ собою и его теоретическія начала, и приложеніе ихъ къ самымъ важнымъ частнымъ случаямъ.

Книга эта, говоря любимымъ словомъ ея автора, есть явленіе *органическое*. Въ продолженіе долгихъ лѣтъ, когда она писалась, однѣ и тѣже мысли занимали писавшаго, и читатель увидитъ, какъ онѣ раскрывались все яснѣе и опредѣленнѣе, не измѣняясь въ своей сущности. Но этого мало; чтобы писать настоящія книги, такія, которыя не были бы лишь болѣе или менѣе удачнымъ подобіемъ, болѣе или менѣе грубымъ извращеніемъ другихъ книгъ, нужно еще выполнить большое условіе: нужно, чтобы предметы нашихъ мыслей составляли часть нашей жизни, сокровище нашего сердца. Такимъ предметомъ дѣйствительно была для Ап. Григорьева наша литература (т. е. художественная). Отсюда то глубо-

чайшее воодушевление, тотъ тонъ горячаго убѣжденія, которымъ поражаетъ эта книга; отсюда и тѣ истины, которыя она намъ открываетъ.

Ибо одинъ голый умъ есть сила формальная, холодная, и во многихъ областяхъ истина ему недоступна; самое важное въ мирѣ, красота и внутренняя сила вещей, открываются не уму, а только сердцу. Въ мирѣ нравственномъ, великія и высокія явленія бывають непонятны для человѣка съ мелкою и низкою душою; такъ и вообще, чтобы сущность предмета была намъ постижима, должно быть нѣкоторое соотвѣтствіе между нашею *натурою* и природою предмета. Смотри по тому, что такое мы сами, мы одно любимъ, другого не любимъ; а проникаемость, постиженіе дается только любовью, и скорѣе ненависть угадаетъ глубокую сердцевину своего предмета, чѣмъ сухое, холодное изученіе. Вотъ почему Ап. Григорьевъ совершенно правъ, и какъ нельзя лучше характеризуетъ свое собственное мышленіе, свое отношеніе къ дѣлу, когда говорить:

«Наши мысли вообще (если онѣ точно мысли, а не баловство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, *вымучившіяся* до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо и немногіе имѣють счастье или несчастье *раждать* изъ себя собственные, а не чужія мысли.» (Эпоха, 1865. № 2).

Извѣстно, что литературныя явленія—мало сказать: возбуждаютъ нашу любовь,—они имѣють силу подчинять себѣ душу, овладѣвать ею. На эту силу часто указываетъ Ап. Григорьевъ, и трудно представить себѣ человѣка, который испытывалъ бы ея дѣйствіе въ большей степени, чѣмъ онъ самъ. Художественныя произведенія были живыми и всесильными образцами, по образу которыхъ складывались его собственные чувства и взгляды; художество было для него средствомъ самаго яснаго и убѣдительнаго созерцанія идеаловъ красоты, добра и правды.

Понятно, что для него значеніе искусства было необыкновенно высоко. Онъ называлъ его «лучшимъ изъ земныхъ дѣлъ», давалъ ему руководящую роль въ движеніи человечества, признавалъ за нимъ однимъ право и способность сказать «новое слово». Этотъ взглядъ на искусство составляетъ характеристическую черту Ап. Григорьева. И въ мышленіи и въ дѣйствительной жизни искусство было для нашего критика исходною точкою и окончательною повѣркою.

Высшія руководящія начала для насъ обыкновенно составля-

ють съ одной стороны религіозныя и нравственныя понятія, съ другой практическія нужды, требованія пользы, справедливости. Часто говорятъ поэтому, что и искусство должно быть подчинено этимъ самымъ началамъ, что оно не имѣетъ правъ на самостоятельность, и если выходитъ изъ служебной роли, то бываетъ бесполезно и даже вредно. Ап. Григорьевъ конечно хорошо чувствовалъ эти вопросы, и мы находимъ у него двѣ статьи, особо имъ посвященныя. Онъ называлъ всѣхъ, не признававшихъ высшаго значенія искусства *теоретиками*, понимая подъ словомъ *теорія* все, что противоположно *жизни*, а слѣдовательно и искусству, какъ прямому «органу жизни». Статья *О правдѣ и искренности въ искусствѣ* направлена противъ одного рода теоретиковъ, и излагаетъ вопросъ объ отношеніи искусства къ нравственности; статья *Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства* направлена противъ другихъ теоретиковъ и говоритъ о томъ, въ какихъ отношеніяхъ искусство и его критика должны находиться къ требованіямъ времени. Въ этихъ двухъ статьяхъ вообще объясняются и смыслъ искусства, и обязанности критики.

Искусство не есть простое изображеніе жизни; оно есть непремѣнно и судъ надъ нею, судъ во имя самыхъ высшихъ началъ, только не существующихъ въ отвлеченіи, а тѣхъ, которыя живутъ и стремятся воплотиться въ изображаемой жизни. Идеалъ души человѣческой, по убѣжденію Ап. Григорьева, всегда и вездѣ остается неизмѣннымъ; но въ своемъ чистомъ и общемъ видѣ онъ не можетъ ни воплотиться, ни быть познаваемъ. Въ этомъ отношеніи намъ доступна, какъ выражался Ап. Григорьевъ, только *цѣптная* истина; ея выраженіе есть художество. Отвлеченная, голологическая мысль всегда понимаетъ и судитъ жизнь уже, одностороннѣе. Только художествомъ могутъ быть вѣрно изображены, только созерцаніемъ и чувствомъ могутъ быть вполне поняты проявленія одного и того же идеала въ различныхъ частныхъ формахъ смотря по народамъ и историческимъ эпохамъ.

Такимъ образомъ, искусство по самой своей сущности *національно*. Самое творчество заключается главнымъ образомъ въ созданіи *типовъ*, то есть образовъ, представляющихъ намъ опредѣленный, органически-цѣльный, и слѣдовательно носящій на себѣ печать извѣстной народности, складъ душевной жизни. *Типическое* въ этомъ смыслѣ не значитъ общее, отвлеченное, одностороннее, а напротивъ частное, конкретное, многосложное, какъ явленія дѣйствительной жизни. Искусство должно стремиться скорѣе къ *типовому*, то есть

къ удовленію чертъ опредѣленнаго типа, чѣмъ къ *типическому*, если подѣ типическимъ разумѣтъ общія черты душевныхъ явленій.

Критику, которая разсматриваетъ искусство въ такой тѣсной связи съ жизнью и видитъ въ немъ не какое-то простое отраженіе жизни, а ея руководящій органъ, Ап. Григорьевъ называлъ *органическою*; онъ противопоставлялъ ее и *эстетической* критикѣ, какъ совершенно отвлеченной, и *исторической*, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе того стремленія къ идеалу, которымъ управляется самая жизнь. Представителя исторической критики Ап. Григорьевъ видѣлъ у насъ въ Бѣлинскомъ, и потому часто говорилъ о немъ, съ большою силою и проникательностію указывая его достоинства и недостатки. Въ концѣ своей жизни Ап. Григорьевъ съ величайшимъ энтузіазмомъ привѣтствовалъ книгу Виктора Гюго о Шекспирѣ, въ которой встрѣтилъ ту же вѣру въ искусство и тотъ же взглядъ на безграничную глубину жизни, неуловимую для отвлеченной мысли (см. *Парадоксы органической критики*).

Явленія русской литературы, о которыхъ писалъ Ап. Григорьевъ, относятся главнымъ образомъ только къ періоду времени отъ Карамзина до конца жизни критика. За это время читатель найдетъ здѣсь полный и проникнутый однимъ взглядомъ очеркъ нашего литературнаго движенія.

До-карамзинская литература можно сказать не существовала для Ап. Григорьева; изрѣдка встрѣчающіеся отзывы о ней небрежны и высокомерны; видно по всему, что критикъ *не жилъ* ея произведеніями, и они остались для него чуждыми.

Но Карамзинымъ онъ уже жилъ, и значеніе этого великаго писателя въ нашемъ развитіи указано имъ съ величайшею мѣткостью.

Наша новая литература возникла подѣ вліаніемъ чужихъ литературъ и развивалась подѣ ихъ непрерывнымъ воздѣйствіемъ. Самостоятельно, и слѣдовательно народною, она стала только въ Пушкинѣ, который поэтому и составляетъ величайшую задачу для русской критики. Объясненіе значенія Пушкина есть та центральная точка, съ которой Ап. Григорьевъ смотрѣлъ на развитіе нашей литературы. Онъ показалъ, какъ пробудилось въ поэтѣ *наше типовое, народное*.

Дѣятельность Пушкина, по Ап. Григорьеву, представляетъ нѣкотораго рода борьбу съ различными идеалами, съ различными исторически-сложившимися типами душевной жизни, тревожившими



натуру поэта и пережитыми ею. Идеалы эти, или типы принадлежали чужой жизни; это были: мутно-чувственная струя псевдоклассицизма, туманный романтизмъ, но всего больше байроновскіе типы Чайльдъ-Гарольда, Донъ-Жуана и т. д. Эти формы чужой жизни, чужихъ народныхъ организмовъ, вызывали сочувствіе въ душѣ Пушкина, находили въ ней стихіи и силы для созданія соотвѣтствующихъ идеаловъ. Это не было подражаніе, внѣшнее передразниваніе извѣстныхъ типовъ,—это было ихъ дѣйствительное *усвоеніе*, ихъ переживаніе. Но вполнѣ и до конца природа поэта покориться имъ не могла. Обнаружилось то, что Ап. Григорьевъ называетъ *борьбою* съ типами, то есть, съ одной стороны—стремленіе отозваться на извѣстный типъ, дорости до него своими душевными силами и, такимъ образомъ, *померяться* съ нимъ; съ другой стороны—неспособность живой и самобытной души вполнѣ отдаться типу, неудержимая потребность отнестись къ нему критически, и даже питать въ себѣ и признать законными сочувствія, вовсе не согласныя съ типомъ. Изъ этого процесса, изъ этой борьбы съ чуждыми типами Пушкинъ всегда выходилъ *самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ*. Въ немъ «въ первый разъ обособилась и ясно обозначилась наша русская физиогномія, истинная мѣра всѣхъ нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и художественныхъ сочувствій, полный очеркъ типа русской души». Пушкинъ дѣйствительно *жилъ* другими типами, но имѣлъ силу поставить наравнѣ съ ними свой собственный типъ, смѣло узаконить желанія и требованія того самобытнаго склада душевной жизни, который въ себѣ чувствовалъ, и онъ сталъ творцемъ русской поэзіи и литературы; потому-что въ немъ «наше типовое не только сказалось, но и выразилось, то есть облеклось въ высочайшую поэзію, поравнялось со всѣми великимъ, что онъ зналъ и на что отзывался своею великою душою».

Это глубокое истолкованіе Пушкина очевидно сдѣлано съ точки зрѣнія самой близкой къ сущности художества. Оно возможно было только для такого человѣка, какъ Ап. Григорьевъ, который самъ жилъ художественными типами и образами почти въ той же мѣрѣ, какъ ими живутъ художники, который на себѣ зналъ что такое—«стремленіе создать въ себѣ и утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы чужой жизни»; и какъ пробуждаются въ душѣ «кровныя, племенные, жизненныя симпатіи, стремленіе къ своей почвѣ».

Пробужденіе въ Пушкинѣ «нашего типового» выразилось всего

яснѣе въ созданіи лица *Бѣлкина*, отъ имени котораго поэтъ велъ многіе рассказы (къ нимъ нужно причислить и *Капитанскую дочку* и *Дубровскаго*). Важное значеніе этого цикла произведеній вполнѣ показано нашимъ критикомъ, какъ по отношенію къ Пушкину, такъ и по отношенію къ послѣдующему развитію литературы.

Бѣлкинъ выражаетъ собою нѣкоторый протестъ, именно онъ воплощаетъ тѣ стороны нашего типа, которыя «вошютъ противъ злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать». — Бѣлкинъ есть «голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго».

Между тѣмъ какъ у Гоголя слышится лишь глубокая тоска о прекрасномъ человѣкѣ, между тѣмъ какъ онъ только срываетъ съ нашей дѣйствительности всѣ формы героизма, добродѣтели, чувства, изящества, и показываетъ намъ, что всѣ онѣ лишь взяты на прокатъ и что подъ ними скрывается одна пошлость и пошпость. — Пушкинъ еще ранѣе выразилъ тотъ же протестъ, но не въ чисто-отрицательной формѣ ироніи и негодованія, а въ положительномъ образѣ своего Бѣлкина, въ типѣ *смирнаго человека*, въ которомъ нѣтъ ничего блестящаго и героическаго, но который вмѣстѣ съ тѣмъ своею простотою, добротою и правдивостію протестуетъ противъ всего ложнаго, злого и преувеличеннаго въ какихъ бы то ни было героическихъ типахъ. Смирный типъ есть какъ бы элементарная, простѣйшая форма нашего народнаго типа.

«Романтическое вѣяніе», «тревожное начало» — такъ называлъ Ап. Григорьевъ общій источникъ чужихъ намъ героическихъ типовъ, главный элементъ тѣхъ вліяній, съ которыми боролся Пушкинъ, которымъ подчинился Лермонтовъ, и т. д. Это вѣяніе, хотя и пришедшее извнѣ, находило, однакоже, въ нашей натурѣ готовую почву, его воспринимавшую, готовые стихіи для созданія соответствующихъ типовъ. Простѣйшую форму такихъ типовъ критикъ назвалъ *хищнымъ типомъ*, образующимъ какъ бы прямую противоположность смирному типу. Душевный процессъ, породившій Бѣлкина, повторяется въ послѣ-пушкинской литературѣ, и происходитъ какъ бы борьба между двумя типами, хищнымъ и смирнымъ.

Нельзя не изумляться чуткости, съ которою Ап. Григорьевъ установилъ понятіе объ этой борьбѣ и слѣдилъ за ея развитіемъ. Онъ правильно чувствовалъ, что «романтическое вѣяніе» находитъ у насъ постоянный отпоръ, хотя глухой и неясный; уже тогда

(въ 1859 году) сильнѣйшимъ врагомъ этого вѣянія онъ считалъ Л. Н. Толстаго, котораго одного ставилъ, по художественной силѣ, на ряду со своимъ любимымъ Островскимъ. Онъ какъ-будто предвидѣлъ, что вѣянію будутъ наносимы удары все сильнѣе и сильнѣе, и бралъ его подъ свою защиту. Эта чуткость объясняется лишь тѣмъ, что самъ онъ былъ *романтикомъ*; «тревожное начало» нашло въ немъ себѣ почву; на самой его жизни неблагопріятно отозвалось то *вѣяніе*, которому заплатили дань Мочаловъ, Полежаевъ и многіе другіе, и которое въ иной только формѣ унесло отъ насъ Лермонтова и Пушкина.

Но въ мысли, въ пониманіи, Ап. Григорьевъ не преувеличивалъ значенія своего романтизма; напротивъ онъ, кажется, тѣмъ съ большею ясностію цѣнилъ инныя начала, тѣмъ выше ихъ ставилъ. Всего больше онъ благоговѣлъ передъ Пушкинымъ именно какъ передъ «могучимъ заклинателемъ душевныхъ стихій», какъ передъ художникомъ, обладавшимъ самою широкою способностію сочувствій и вмѣстѣ удивительною мѣрою въ своихъ сочувствіяхъ. Пушкинъ въ своей поэзіи есть образецъ гармоніи душевныхъ силъ; не смотря на то, что умѣлъ сочувствовать самымъ бурнымъ движеніямъ душевной бездны. Онъ имѣлъ власть надъ этими движеніями, и если погибъ отъ «слѣпой стихіи», которую нѣкогда воплотилъ въ Алеко, то потому лишь, что на «ту одну» минуту далъ ей волю.

Имя Ап. Григорьева останется навсегда связаннымъ съ тремя именами: Пушкина, Островскаго и Тургенева. Въ Островскомъ онъ первый указалъ *новое слово* нашей литературы и постоянно съ величайшимъ жаромъ истолковывалъ это слово читателямъ; доказывая, что Островскій не простой продолжатель Гоголя, не чисто-отрицательный поэтъ, а напротивъ поэтъ, который совершенно просто подходитъ къ изображаемому имъ быту и выводитъ изъ него цѣлый рядъ новыхъ образовъ, и положительныхъ и отрицательныхъ, новыхъ вполне-драматическихъ отношеній, новыхъ явленій русской души, не однихъ только смѣшныхъ и пошлыхъ, но и глубокихъ и трогательныхъ, и нѣжныхъ. Притомъ все эти образы—чисто-народные; и изображены съ необываюю вѣрностію языка и быта.

Дѣятельность Тургенева точно также никѣмъ не характеризуется съ такою глубиною и тонностію, какъ Ап. Григорьевымъ. Разборъ сосредоточенъ около «Дворянскаго Гнѣзда», лучшаго произведенія Тургенева, согрѣятаго той душевной теплотою, которая од-

на, лишь способна дать художеству его высшую силу. Для поясненія дѣла критикъ перебираетъ другія произведенія Тургенева и показываетъ намъ развитіе художника, главные пункты, около которыхъ колебались его настроенія.

Вообще же у Ап. Григорьева мы встрѣтимъ отзывы о множествѣ писателей, такъ, какъ онъ старался всегда показать *связь и внутреннія отношенія* между различными литературными явленіями. Эти указанія всѣ соединяются въ одинъ взглядъ, или лучше, всѣ вытекаютъ изъ *одного взгляда*, принадлежащаго Ап. Григорьеву и единственнаго у насъ, *общаго* взгляда на развитіе нашей литературы. Въ крупныхъ чертахъ взглядъ этотъ будетъ такой: Въ Пушкинѣ обозначились и объемъ и мѣра нашихъ симпатій. Всѣ послѣдующія явленія представляютъ развитіе тѣхъ элементовъ, которые сказались въ Пушкинѣ. Происходятъ различныя колебанія въ борьбѣ между своимъ и чужимъ, между смиреннымъ и хищнымъ типомъ, между отрицательнымъ и прямымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, и всѣ эти колебанія совершаются около точекъ уже опредѣлившихся въ Пушкинѣ. Онъ одинъ есть полный образъ русской души, но лишь въ очеркѣ, безъ красокъ, которыя лишь потомъ являются въ предѣлахъ его очертаній; въ немъ проявилось наше типовое, народное, и съ тѣхъ поръ, растетъ и выясняется.

Въ такомъ общемъ видѣ этотъ взглядъ не кажется яркимъ; но главная его сила, обнаруживъ ется въ приложеніи къ подробностямъ, въ тѣхъ различныхъ психологическихъ краскахъ, которыми нашъ критикъ покрываетъ всю картину нашей литературы. Отвлеченное требованіе народности отъ литературы есть мысль очень простая; наши славянофилы, выходя послѣдовательно изъ своихъ началъ, давно и твердо ее заявили, и пытались съ этой точки зрѣнія анализировать нашу литературу. Но они обыкновенно приходили къ тому, что, за немногими исключеніями, отрицали самостоятельность и слѣдовательно народность нашихъ художественныхъ писателей. Такимъ образомъ отъ глазъ этихъ мыслителей ускользнуло именно то, что должно бы ихъ всего болѣе радовать; они не видѣли, что борьба своего съ чужимъ уже давно началась, что искусство, въ силу своей всегдашней чуткости и пророчивости, предупредило отвлеченную мысль.

Наша литература есть драгоценное и высокое явленіе нашей жизни; поэтому разгадать внутреннюю силу ея развитія, смыслъ ея движенія есть глубокая и важная задача. Рѣшеніе ея, един-

ственное заслуживающее имени рѣшенія, предложено Ап. Григорьевымъ.

Скажемъ нѣсколько словъ объ ошибкахъ, въ которыя онъ впадалъ. Онъ имѣютъ, по нашему мнѣнью, несущественный характеръ. Какъ человекъ страстно преданный дѣлу, онъ легко вѣрилъ въ то, чего желалъ, и потому иногда приписывалъ нашему развитію слишкомъ большую быстроту, считалъ иногда отжившимъ то, что еще продолжало жить, заявлялъ о побѣдѣ силъ и явленій, которымъ предстояла и до сихъ поръ предстоитъ долгая борьба. Но это не значитъ ошибаться въ принципахъ, въ смыслѣ фактовъ, въ направленіи движенія. Онъ самъ превосходно указывалъ и объяснял, что это движеніе имѣетъ органическій характеръ, что у насъ въ различныхъ формахъ все болѣе и болѣе ясныхъ проявляются все тѣже жизненные элементы. Медленно проясняется нравственный и умственный хаосъ нашей жизни, и сторонники первыхъ очертаній новаго организма обыкновенно находятся въ фальшивомъ положеніи, такъ какъ стоятъ за то, что имѣетъ лишь зачаточную форму.

Чтобы дать читателямъ хотя бы лишь внѣшній очеркъ жизни и дѣятельности Ап. Григорьева, приводимъ здѣсь главнѣйшія данныя.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ родился въ Москвѣ въ 1822 году. Отецъ его, дворянинъ Александръ Ивановичъ Григорьевъ, имѣлъ чинъ титулярнаго совѣтника и служилъ въ Магистратѣ. Начальное образованіе А. А. Григорьева было домашнее; потомъ онъ поступилъ въ Московскій Университетъ на юридическій факультетъ, и въ 1842 кончилъ курсъ первымъ кандидатомъ. По выходѣ изъ Университета тотчасъ же опредѣлился на службу, сперва бібліотекаремъ Университета, а потомъ секретаремъ Университетскаго Совѣта. Въ 1843 году переселился въ Петербургъ, гдѣ нѣкоторое время служилъ въ 1-мъ Департаментѣ Сената. Въ 1847 году возвратился въ Москву, и сперва былъ учителемъ межевыхъ законовъ въ Сиротскомъ Домѣ, а потомъ учителемъ законовѣдѣнія въ 1-й Московской Гимназіи. Въ 1850 году женился на дѣвицѣ Лидіи Федоровнѣ Коршъ. Въ началѣ 1857 г. вышелъ въ отставку и уѣхалъ за границу съ семействомъ князей Трубецкихъ въ качествѣ учителя. Около года провель въ Флоренціи и Римѣ, потомъ былъ въ Парижѣ, и въ концѣ 1858 вернулся въ Петербургъ. Въ половинѣ 1861 опять поступилъ на службу, именно въ Оренбургскій кадетскій корпусъ, учителемъ словесности, но въ слѣдующемъ же году вернулся въ Петербургъ. Умеръ 25

сентября 1864 года, оставивъ послѣ себя вдову и двухъ сыновей; похороненъ на Митрофаньевскомъ кладбищѣ.

Приведемъ теперь журналы, въ которыхъ онъ писалъ.

1844—1846. Репертуаръ и Пантеонъ.

1847. Московскій Городской Листокъ.

1848—1849. Московскія Вѣдомости (Переводы).

1849—1850. Отѣчественныя Записки (О московскомъ театрѣ).

1851—1855. Москвитянинъ.

1856. Русская Бесѣда.

1858. Библиотека для Чтенія. *Современникъ*.

1859. Русское Слово. Ап. Григорьевъ былъ въ числѣ трехъ редакторовъ этого журнала.

1860. Русскій Міръ. Сынъ Отѣчества. Драматическій Сборникъ. Отѣчественныя Записки.

1861. Свѣточъ.

1861—1863. Время.

1863. Якорь. Ап. Григорьевъ былъ редакторомъ этой ежедневной газеты. При ней вскорѣ сталъ прилагаться юмористическій листокъ *Оса*.

1864. Эпоха. *Русскія Свѣта*.

Въ отдѣльномъ изданіи существуетъ только небольшая книжка: *Стихотворенія Аполлона Григорьева*. Спб. 1846.

Въ этомъ первомъ томѣ помѣщены всѣ общія статьи Ап. Григорьева, все то, что онъ называлъ своими «начатыми», но незаконченными «курсами» о русской литературѣ. Отдѣлы, на которые мы раздѣлили статьи, соответствуютъ именно этимъ «курсамъ», за исключеніемъ втораго отдѣла, состоящаго изъ двухъ статей чисто *догматическаго* содержания.

Остальныя сочиненія Ап. Григорьева, по нашему предположенію должны составить еще три такихъ же тома; въ двухъ томахъ можно помѣстить критическія статьи, касающіяся отдѣльныхъ литературныхъ явленій, полемическія замѣтки, обзорнія журналовъ и пр.,—и еще одинъ томъ можно составить изъ стихотвореній, переводовъ драмъ Шекспира и поэмъ Байрона, автобиографическихъ отрывковъ, каковы «Литературныя скитальчества», «Одиссея о послѣднемъ романтикѣ» и пр.

Къ сожалѣнію, изданія этихъ томовъ невозможно обобщать раньше и иначе, какъ послѣ pokryтія издержекъ продажею перваго тома.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

### ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

	СТР.
<b>I. Русская литература въ 1851 году . . . . .</b>	<b>1</b>
<i>Статья первая.</i> О значенія исторической критики и о различныхъ злоупотребленіяхъ, къ которымъ она, бывши совершенно невинною, подала въ русской литературѣ поводъ . . . . .	1
<i>Статья вторая.</i> Общій взглядъ на современную изящную словесность, и ея исходная историческая точка . . . . .	8
<i>Статья третья.</i> Современная словесность въ отношеніи къ своей исходной исторической точкѣ . . . . .	20
<i>Статья четвертая.</i> Литературныя явленія прошедшаго года . . . . .	33
<b>II. Русская изящная литература въ 1852 году . . . . .</b>	<b>45</b>
<b>III. О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ . . . . .</b>	<b>108</b>
Вступленіе . . . . .	108
I. Обзорѣніе дѣятельности Островскаго и отношеній къ ней критики . . . . .	113
II. Обзорѣніе отношеній литературы нашей къ народности . . . . .	119

### ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

<b>I. О правдѣ и искренности въ искусствѣ . . . . .</b>	<b>129</b>
<b>II. Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства . . . . .</b>	<b>191</b>

### ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

<b>I. Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина . . . . .</b>	<b>230</b>
<i>Статья первая.</i> Пушкинъ.—Грибоѣдовъ.—Гоголь.—Лермонтовъ. . . . .	230
<i>Статья вторая.</i> Романтизмъ.—Отношеніе критическаго сознанія къ романтизму.—Гегелизмъ. (1834—1840). . . . .	272
<b>II. И. С. Тургеневъ и его дѣятельность по поводу романа «Дворянское Гнѣздо» . . . . .</b>	<b>305</b>
<i>Статья первая.</i> I—IX. . . . .	305

<b>Прибавленіе къ первой статьѣ. Нѣсколько словъ о законахъ и терминахъ органической критики . . . . .</b>	<b>333</b>
<i>Статья вторая. X—XIV. . . . .</i>	<i>348</i>
<i>Статья третья. XV—XX . . . . .</i>	<i>366</i>
<i>Статья четвертая. XXI—XXVI. . . . .</i>	<i>411</i>
<b>III. Послѣ Грозы. Островскаго. Письма къ Ивану Сергѣевичу Тургеневу. . . . .</b>	<b>449</b>
<i>Письмо первое. Необходимые вопросы . . . . .</i>	<i>449</i>
<i>Письмо второе. Попытки разрѣшеній. . . . .</i>	<i>466</i>

#### ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

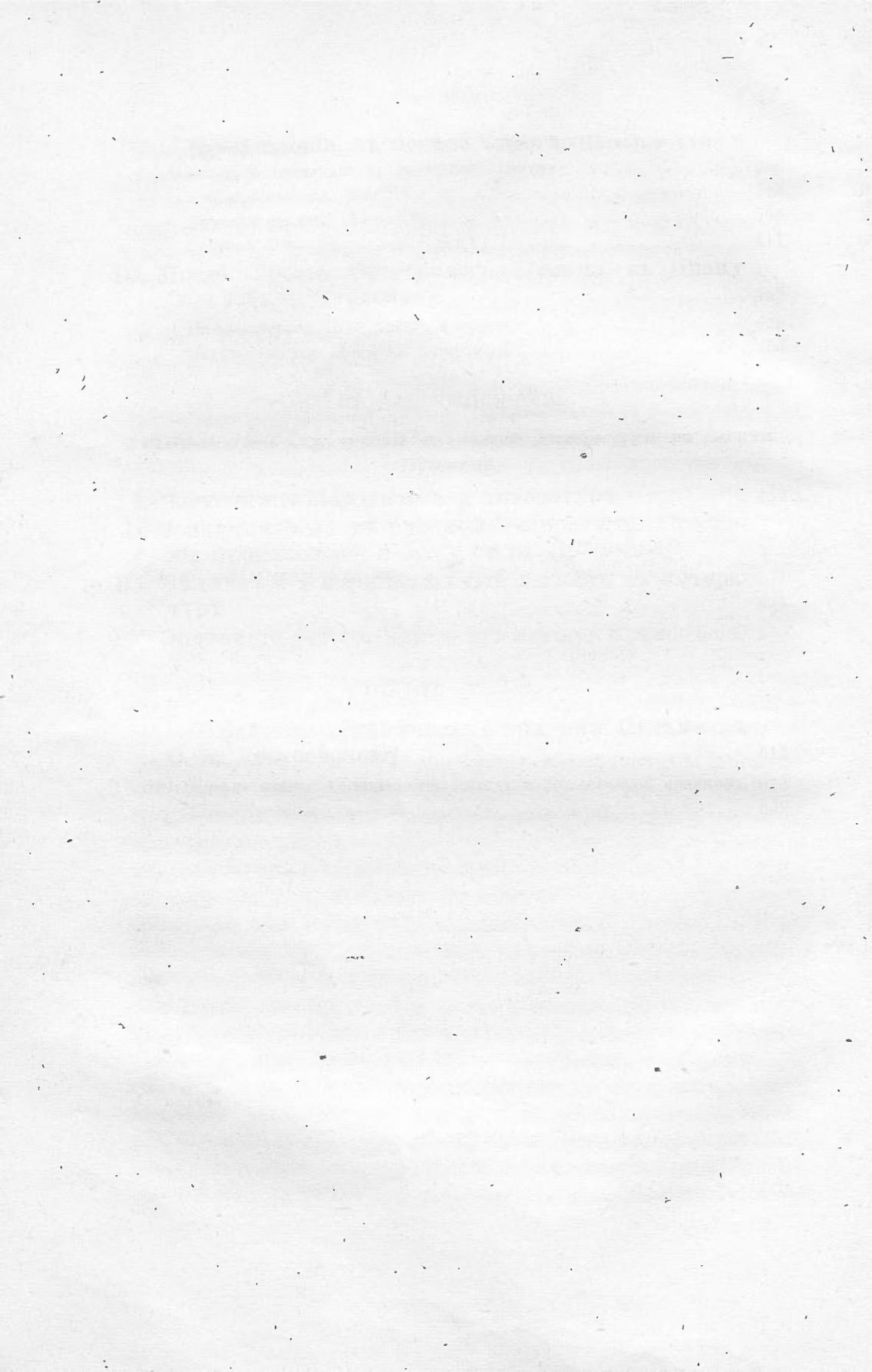
##### **Развитіе идеи народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина.**

<b>I. Вступленіе. Народность и литература. . . . .</b>	<b>482</b>
<b>II. Западничество въ русской литературѣ. Причины происхожденія его и силы. (1836—1851). . . . .</b>	<b>511</b>
<b>III. Вѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ . . . . .</b>	<b>544</b>
<b>IV. Оппозиція застою. Черты изъ исторіи нравовѣсія. . . . .</b>	<b>580</b>

#### ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ.

<b>Парадоксы органической критики. Письма къ Ѳ. М. Достоевскому . . . . .</b>	<b>614</b>
<i>Письмо первое. Органическій взглядъ и его основной принципъ. . . . .</i>	<i>614</i>
<i>Письмо второе. . . . .</i>	<i>632</i>





# КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

## ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

### I.

#### РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1851 ГОДУ.

(Москвитининъ 1852, №№ 1, 2, 3 и 4).

##### СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

О значеніи исторической критики, и о различныхъ злоупотребленіяхъ, въ которыхъ она, бывши совершенно невинною, подала въ русской литературѣ поводъ.

Нашъ вѣкъ называютъ по справедливости вѣкомъ исторической критики, и Боже насъ избави отрекаться отъ критики этого рода; но нельзя не замѣтить, что ничто не злоупотребляется такъ въ настоящую минуту, какъ слово:—историческая критика; ни одинъ досужій фельетонистъ, пописывающій въ журналъ или газету дюжину статейки о погодѣ и о прочемъ, велячая въ кругъ этого *прочаго* и литературу, не обойдется безъ того, чтобы не скрываться за это слово какъ за ширмы, при произнесеніи своихъ, безъ основанія и вмѣстѣ съ тѣмъ безъ апелляціи, приговоровъ. . . . Случится ему прочесть гдѣ-либо строгій судъ надъ посредственностію, или, что еще хуже, претензіею, выдающею себя и выдаваемою другими за дарованіе, произнесенный на основаніи, хотя старыхъ, тѣмъ не менѣ истинныхъ законовъ искусства, онъ вооружится своимъ любимымъ словомъ, и думаетъ, что все уже сказано—и въ высшей степени доволенъ собою. Въ самомъ дѣлѣ, чрезвычайно должно быть пріятно замѣтить другому наставительнымъ тономъ, что вы-де, милостивый государь, отстали отъ вѣка, что вы, можетъ быть и правы

съ точки зрѣнія эстетической, но вѣдь эстетическая критика свое дѣло сдѣлала, и уступила мѣсто критикѣ *исторической*. Такъ, или почти такъ, выражается каждый изъ борзописцевъ; другой вопросъ—что онъ самъ разумѣетъ подъ критикой эстетической и подъ критикой исторической?—но на этотъ вопросъ вы его никакъ не наведете: У каждаго такого господина существуютъ всегда заготовленные отвѣты, и всякая попытка вывести его, какъ говорится, на свѣжую воду, останется совершенно тщетною. Начните вы говорить о законахъ искусства, и въ особенности употребите вы нѣкоторые, понятные всякому образованному человѣку, термины, какъ то: художественность, объективность, творчество, психологическая задача—фельетонныя насѣкомыя заужаютъ пронзительно: «все это старо, все это известно, все это tritum pertritum» (насѣкомое запомнило нѣкоторые термины еще со школьной скамьи). Что такое дескать творчество? Все это вздоръ: произведеніе правится публикѣ, удовлетворяетъ *интересамъ минуты, потребностямъ массы*, и потому хорошо. Что такое талантъ?.. умъ, вкусъ, наблюдательность—вотъ и все! Что также основныя начала?.. общія мѣста, которыя повторялись, повторялись, и сдѣлались наконецъ пошлыми; нуженъ новый взглядъ, и мой, почтеннѣйшая публика,—самоновѣйшій, самой лучшей доброты. Вы не беспокойтесь насчетъ того, что я на вашихъ глазахъ учусь по англійски; я вамъ такъ запросто обойдусь съ Шекспиромъ, какъ не пригрѣзится Гервинусу—да что Гервинусъ? все вздоръ, повѣрьте, все нѣмецкія теоріи. Я вотъ вамъ анекдотъ расскажу на ихъ счетъ, анекдотъ съ именемъ знаменитаго Тига. Вы также не соблазняйте, господа, и тѣмъ, что плохо понимаю значеніе художественности, что я считаю это мѣрило приложимымъ только къ Байрону, Шекспиру, Гёте. Что вамъ за дѣло до этого?—художественность сама по себѣ, а я самъ по себѣ. Мой взглядъ новѣйшій, самоновѣйшій—я смотрю съ точки зрѣнія «критики *исторической*». И вотъ, съ точки зрѣнія исторической критики проповѣдываются удивительнѣйшія въ мірѣ вещи, объявляется, что въ настоящую минуту намъ нужнѣ всего беллетристика, что количество литературныхъ произведеній важнѣ ихъ качествъ, что говорить о литературѣ серьезно не въ духъ времени, даже неприлично, не-*коммюфранто*, что журналы существуютъ и должны существовать для сваренія желудка иногородныхъ подписчиковъ и т. п. Не перечислишь всего, что проповѣдуется во имя *исторической* критики.

Съ другой стороны, люди дѣльные, трудолюбивые, много читающіе и когда-то много думавшіе, когда-то бывшіе даже людьми передовыми (по крайней мѣрѣ на снисходительный взглядъ подобострастной молодежи), но состарившіеся преждевременно вслѣдствіе различныхъ *исто-*

*рически* обстоятельство—также злоупотребляютъ словомъ: историческая критика. Къ крайнему прискорбію всѣхъ, которые привыкли уважать ихъ мнѣнія, не подчиняясь однако жестимъ мнѣніямъ раболѣпно—эти сколько-нибудь дѣльные и ученые люди, въ борьбѣ, завязавшейся въ послѣднее время между фельетонистами и людьми, вѣрующими въ значеніе искусства, приняли сторону не этихъ послѣднихъ, какъ слѣдовало бы ожидать, а фельетонистовъ—и точно также разятъ своихъ якобы-противниковъ—*исторической критикой*. Нужды нѣтъ, что въ статьяхъ своихъ, хотя нѣсколько и сухихъ, но достойныхъ уваженія по относительному обилію собранныхъ данныхъ, по добросовѣстному изученію источниковъ, они сами путаются въ понятіяхъ объ исторической критикѣ, и даже литературныя произведенія далекаго прошлаго мѣряютъ общимъ эстетическимъ масштабомъ... Самимъ себѣ они это дозволяютъ, сами они считаютъ себя вправѣ говорить о художественности, творчествѣ, объективности и психологической задачѣ, но въ другихъ всѣ подобныя приемы они зовутъ устарѣлымъ педагогизмомъ, и подають руку фельетонистомъ во имя исторической критики! Подразумѣвается, что жрецами этой исторической критики считаютъ они только себя, что на покровительствуемыхъ ими фельетонистовъ они смотрятъ съ недосыгаемыхъ олимпійскихъ вершинъ какъ на ignobile pecus,—а на своихъ quasi-противниковъ, какъ на profanum vulgus. Однимъ словомъ, если они и представляютъ собою *историю*, то исторію въ застоѣ. Дальше тѣхъ нунітовъ, до которыхъ они дошли, они ходить не позволяютъ. No admittance! *Продолжатъ* даже начатое ими дѣло они не считаютъ никого достойнымъ. Все сказано, все рѣшено ими—другимъ остается только пользоваться трудомъ учителей.

А было иное время—то время, когда эти дѣльные и ученые люди дѣйствительно думали, когда они, закутавшіеся теперь въ хламиду олимпійцевъ и оградившіе себя неприступнымъ авторитетомъ, шли, или хоть двигались, думали идти дѣйствительно впередъ вмѣстѣ съ исторіей, шли, не боясь никакихъ рѣзкостей и крайностей, лишь-бы эти крайности были историческимъ слѣдствіемъ разъ уясненной мысли. Было время, когда самые фельетонисты, нынѣ съ такимъ дендизмомъ разсуждающіе о литературѣ, враждовали со всѣмъ не-серьезнымъ, не-честнымъ въ критикѣ. Во многомъ ошибались тогда дѣльные и ученые люди, многое пересаливали ихъ послушные фельетонисты—но et tunc humanum est. Но пришла минута, когда они пригуглили данное имъ судьбою оружіе, пришла минута, когда ихъ острое и пронизательное зрѣніе одѣлось туманомъ. Отъ взгляда ихъ, чисто отрицательнаго, утаилась какъ-то положительная сторона—и они увидалие только тогда, когда

она выросла и окрѣпла безъ ихъ вѣдома, спроса и согласія. Еще нѣсколько прежде сказалась ихъ несостоятельность; сказалась тогда, когда болѣзненный, но все таки родной и близкій сердцу каждому, голосъ перваго изъ представителей литературной эпохи—встрѣченъ былъ одними изъ нихъ съ ожесточенной враждой, другими съ недостойнымъ глумленіемъ. Во враждѣ, конечно, какъ происходившей изъ источника любви, только худо понятой, было гораздо болѣе благородства—чѣмъ въ этихъ пошлыхъ издѣваніяхъ, которыя были отголосками уязвленнаго себялюбивца или крайней пустоты душевной, или, наконецъ, той и другой вмѣстѣ. И какъ будто-бы съ этой минуты Немезида отяготѣла надъ русскою критикой. Все болѣе и болѣе впадала она въ мелочность, и дошла наконецъ до крайней точки обмелѣнія, до *дендизма*. Дошедши до этого пункта, она провозгласила себя *историческою* критикою. Жрецы облекли себя таинственнымъ нимбомъ, а фельетонная чернь, успокоившись на счетъ того, что ни откуда не будетъ отпора, что учителя не поднимуть на нее лозы, лишь бы только признавала она ихъ авторитетъ, пустилась *творить неподобное*. Когда же раздалось нѣсколько голосовъ, смѣло и прямо обличившихъ такую Walpurgisnacht критики, когда злая и грустная иронія, долгое время затаенная, рѣшилась сказать, что многія изъ признанныхъ мнѣній значительно устарѣли, что многое хорошее старое позабыто, рѣшилась употребить орудіе шутовства и пародіи противъ тѣхъ господъ, которые надъ всѣмъ шутили и все пародировали, фельетонная чернь прабѣгла подъ защиту и сѣнь своихъ олимпійскихъ авторитетовъ. Разсчетъ ея былъ вѣренъ: авторитеты приняли ея сторону во имя *исторической критики*.

Но что же такое въ самомъ дѣлѣ эта *историческая критика*, во имя и подъ знаменемъ которой выступаютъ подобныя мнѣнія? Есть ли она только фантомъ, только *ширма*, которыми прикрыто раболѣнное и безосновное служеніе прихотямъ вкуса и личностей, или въ самомъ дѣлѣ, это—названіе, подъ которымъ сокрыто разумное положеніе?

Нашъ вѣкъ есть вѣкъ по преимуществу историческій, и, повторимъ опять, мы менѣе всего отрицаемся отъ такого его значенія. Историческій взглядъ есть приобрѣтеніе, завоеваніе, купленное многими тяжкими опытами, многими трудами. Странно бы было, еслибы эта общія схема не приложена была и къ искусству, странно было бы, еслибы не было исторической критики. Мы сами—поборники исторической критики; скажемъ еще болѣе, мы сами думаемъ, что едва ли въ наше время можетъ и существовать иная критика, кромѣ исторической.

1) Историческая критика разсматриваетъ литературу, какъ органическій продуктъ вѣка и народа въ связи съ развитіемъ государствен-

ныхъ, общественныхъ и моральныхъ понятій. Такимъ образомъ всякое произведеніе литературы является на судъ ея живымъ отголоскомъ времени, его понятій, вѣрованій и убѣжденій, и по стольку замѣчательнымъ, по скольку отразило оно жизнь вѣка и народа. Но, такъ какъ во всемъ временномъ есть частица вѣчнаго, неизмѣннаго, и такъ какъ это вѣчное, неизмѣннѣе, остается постояннымъ масштабомъ для оцѣнки различныхъ вѣдѣмыхъ явленій, то и слѣдуетъ отсюда прямо, что общіе эстетическіе законы подразумѣваются исторической критикой художественныхъ произведеній. Иначе нѣтъ ничего легче и поверхностнѣе исторической критики, и органомъ ея можетъ быть дѣйствительно всякій помѣщикъ, читающій послѣ обѣда, всякій Петрушка, котораго въ чтеніи интересуетъ процессъ чтенія. Съ точки зрѣнія такой исторической критики, которая будетъ брать мѣриломъ прихоти моды, грубыя потребности невѣжества, — романы Дюма и К°, «Три страны свѣта» и «Мертвое озеро», «Битва Русскихъ съ Кабардинцами», и «Прекрасная Астраханка», какъ произведенія *удовлетворяющія потребности*, стануть гораздо выше настоящихъ, но меньше читаемыхъ произведеній искусства. Съ точки зрѣнія такого рода исторической критики, весьма не трудно помириться съ жалкимъ состояніемъ театра, наводненного площадными передѣлками французскихъ водевилей, не трудно, сочувствуя Ренетиллову, воскликнуть:

«Лишь водевилъ есть вещь, а прочее все гиль!»

да еще и посмѣиваться dans sa barbe надъ *неодѣянными*, сѣтующими на такое состояніе драматургіи, читающими Ретчера и другихъ эстетиковъ, требующими дѣла, — тѣмъ больше, что посмѣяться тутъ весьма легко, упрекнувши въ томъ, что ходятъ на муху съ обухомъ. Съ точки зрѣнія такого рода исторической критики, весьма удобно восхищаться великосвѣтскими повѣстями и таковыми же комедіями, и писать пародіи, — тѣмъ болѣе это легко, что большой свѣтъ русскихъ книгъ не читаетъ, и совершенно равнодушенъ на счетъ того, какъ его изображаютъ, и кто его изображаетъ. Съ точки зрѣнія такого рода исторической критики, легко писать пародіи на лирическія мѣста поэмы Гоголя, посмѣиваться надъ лиризмомъ вообще, и грязные стишонки, изображающіе впечатлѣнія въ кабакахъ и другихъ подобныхъ мѣстахъ, ставить выше, положимъ, хоть стихотвореній гг. Майкова, Фета, Щербіны, какъ болѣе отражающіе дѣйствительность, — тѣмъ болѣе это легко, что найдется весьма много *разочарованныхъ* господъ, гораздо болѣе сочувствующихъ означеннымъ стишовкамъ, нежели поэтическимъ произведеніямъ.

Все это очень легко, но если такъ понимается историческая крити-

ка, то мы поздравляемъ ее съ такими органами, а органы съ такимъ пониманіемъ.

2) Историческая критика разсматриваетъ литературныя произведенія въ ихъ преемственной и послѣдовательной связи, выводя ихъ, такъ сказать, одно изъ другаго, сопоставляя ихъ, сличая между собою, но не уничтожая одно въ пользу другаго, не возвышая послѣдне-написаннаго насчетъ предшествовавшихъ. Показать относительное значеніе всѣхъ литературныхъ произведеній въ массѣ, опредѣлить каждому подобающее мѣсто, какъ органическому, живому продукту жизни — и повѣрить каждое безотносительными законами изящнаго, непременно повѣрить каждое — вотъ дѣло исторической критики. Такъ, напримѣръ, Гервинусъ, опредѣливъ историческое значеніе литературной дѣятельности Гёте и Шиллера, не возвышая одного на счетъ другаго, изобразивъ картину ихъ совокупной плодотворной дѣятельности, не скрываетъ однако же того простаго вывода, что оба они неполны, что полнота содержанія и эстетической красоты въ нихъ, такъ сказать, раздвоенная — заключается въ натурѣ. Шекспира... У насъ на Руси гораздо проще поняли значеніе исторической критики. У насъ, о Пушкинѣ нѣтъ теперь и помину, да и объ Гоголѣ говорить перестали. Мы съ дѣтскимъ восторгомъ говорили когда-то: Шекспиръ, Гёте, Пушкинъ, Гоголь, присоединяя къ нимъ впоследствии и ранопогибшее, дѣйствительно значительное, но еще ничего не сдѣлавшее, дарованіе Лермонтова, — и съ таковымъ же дѣтскимъ восторгомъ, во имя исторической критики, привѣтствовали дальнѣйшій шагъ въ разныхъ натуральныхъ произведеніяхъ. И до того мы еще дѣти, что, когда въ извѣстномъ вѣсѣ, — хотя никто не желаетъ признать этой извѣстности, — «Снѣ по случаю одной комедіи», \*) иронія коснулась этого пункта, и въ лицѣ юноши, который ставитъ комедію \*\*) выше Гоголя и Шекспира, и въ авторѣ ея видятъ давно-ожидаемаго міромъ спокойнаго художника, изобразила подобное дѣтское настроеніе, мы, во первыхъ, разсердились, а во вторыхъ, приняли слова юноши за чистую монету, а взглядъ его за взглядъ новой школы. Разубѣдимтесь, милостивые государи! Нѣтъ ни новой школы, ни новаго творчества, кромѣ извѣстнаго и Гоголю и автору новой комедіи, какъ настоящимъ, хотя, конечно, еще не-равнымъ художникамъ. Разубѣдимтесь, пока сама исторія не разубѣдила насъ, какъ это уже не разъ, даже на нашей памяти, случалось ей дѣлать. Бросимте несчастную слабость къ новымъ гениямъ

\*) Рѣчь идетъ о статьѣ Эраста Благоправова (псевдонимъ Б. Н. Алмазова) «Снѣ по случаю одной комедіи» (Москвитянинъ 1851, № 7. № 9 и 10). Изд.

\*\*) «Свои люди, сочтемся» А. Н. Островскаго. Изд.

насчетъ прежнихъ, и бросимте же вмѣстѣ съ тѣмъ уваженіе къ такъ называемой беллетристикѣ: «на безрыбѣ — ракъ рыба», говоримъ мы часто, но не ограничиваемся этого мудрою пословицею, а создаемъ изъ рака левиафана, съ торжествомъ объявляемъ, что «надѣмся познакомить публику съ новымъ дарованіемъ г. N N и т. д.» Прежде же всего, перестанемъ же всѣмъ этимъ милымъ выходкамъ придавать названіе исторической критики. Историческая критика вовсе не виновата въ томъ, что журналу понадобился новый геній, а равно и въ томъ, что сочиненій рецензѣ старыхъ нельзя перепечатывать.

Историческая критика, рассматривая литературное произведеніе, какъ живой продуктъ общественной и моральной жизни, опредѣляетъ, что произведеніе принесло, или лучше, отразило въ себѣ живаго, т. е. неперемѣннаго, какихъ новыхъ струнъ коснулось оно въ душѣ человѣческой, или на какихъ старыхъ струнахъ играетъ оно искусно — что, однимъ словомъ, внесло оно содержаніемъ своимъ въ массу познаній о *человѣкѣ*. Ясно, что съ этой точки зрѣнія теряютъ въ литератургѣ значеніе такіа произведенія, которыя повторяютъ или расплываютъ мысль другихъ произведеній, или, если и могутъ имѣть какое-либо значеніе, то не иначе, какъ пояснительное, толковательное, группируясь около своихъ *points culminants* и заимствуя свѣтъ свой отъ нихъ. Въ историческомъ процессѣ, онѣ, конечно, необходимы, ибо доводятъ до крайнихъ граней извѣстные идеалы, пересаливаютъ извѣстную манеру, но сами по себѣ онѣ ничто. Такъ, около Печорина группируются Тамирины и другіе герои; такъ одну сторону гоголевскаго юмора довела до крайности смѣшная Петербургская натуральная школа, но за всѣмъ этимъ хламомъ видны только *points culminants*. Наша же критика, называя себя историческою, никакъ этого понять не хочетъ, и до сихъ поръ еще, уступивши по неволѣ *въ жертву врагамъ* Тамирина, не смѣется еще надъ героями повѣстей гг. Дружинина, Чернышева, комедій г. Жемчужникова, и т. д. Вообще не трудно сказать настоящее слово исторической критики:

Спящій въ гробѣ мирно спи,

Жизнью пользуйся живущій!

Наша же критика не видитъ слѣдовъ смерти и разложенія — и такъ же мало чуетъ признаки жизни и здоровья.

Ясно, что историческая критика въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаютъ ее наши борзописцы, далеко не та историческая критика, которою требованія мы выставили. Обозначить эти требованія мы считали необходимымъ, потому что сами смотримъ и будемъ смотрѣть съ точки зрѣнія критики исторической.



## СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Общій взглядъ на современную изящную словесность, и ея исходная историческая точка.

Каждая литературная эпоха имѣетъ своего главнаго представителя, отъ котораго, какъ отъ исходнаго пункта, ведетъ она свое начало. Въ немъ, какъ въ фокусѣ, совмѣщаются ея художественныя и моральныя задачи, она живетъ подъ его могущественнымъ вліяніемъ, она вся представляетъ собою, такъ сказать, периферію его личности. Новое слово сказано имъ, и это новое слово толкуется, поясняется болѣе или менѣе даровитыми послѣдователями. Новая стезя пробивается гениемъ, и долѣе расширяется, очищается талантами.

Такимъ гениемъ литературной эпохи, которую переживаемъ мы до сихъ поръ, по всей справедливости можетъ быть названъ Гоголь. Все, что есть дѣйствительно живаго въ явленіяхъ современной изящной словесности, идетъ отъ него, поясняется его, или даже, поясняется имъ. Цѣльная, полная художественная натура Гоголя, такъ сказать, развѣтвляется въ различныхъ сторонахъ современной словесности.

Многимъ можетъ показаться страннымъ, конечно, что мы признаемъ Гоголя исходною историческою точкою. Что же оставите вы Лермонтову? спросятъ насъ безъ сомнѣнія,—Лермонтову, котораго вліяніе отяготѣло такъ видимо надъ многими изъ нашихъ современныхъ писателей? Ужели вы вычеркнете его вовсе изъ современнаго прогресса, ужели вы такъ слѣпы, чтобы не видать, что и онъ также съ своей стороны отразилъ въ немъ весьма значительную часть васъ самихъ, вашихъ вѣрованій или вашего скептицизма, вашихъ убѣжденій или вашего разубѣжденія?—ужели глухи вы на звуки тѣхъ струнъ, которыхъ коснулся великій, рано похищенный судьбою поэтъ, ужели чужды вамъ тѣ стоны, болѣзненные и раздражающіе стоны, которые такъ могущественно отозвались на этой желѣзнострунной лирѣ? Нѣтъ, скажемъ мы въ отвѣтъ, не глухи и мы на эти стоны безвыходной скорби и страданія. Мы также въ свою очередь поддавались ихъ обаянію, обаянію того демона, который, «какъ царь пѣмой и гордый», сіялъ

Такой волшебной-сладкой красотою,

Что было страшно—и душа тоскою

Сжималася....

Но вѣдь этотъ демонъ былъ, по признанію самого поэта, «странный бредъ», отъ котораго самъ онъ отдѣлался стихами; отъ котораго мы отдѣлались стихами поэта; но вѣдь этотъ Печоринъ, который развился

подъ вліяніемъ обстоятельствъ, чуждыхъ настоящему русскому быту; этотъ Печоринъ, прямое послѣдствіе Рено, Оберманна и т. д., — онъ уже для насъ въ настоящую минуту миражъ, призракъ, потерявшій даже свою грандіозность въ особѣ Тамарина; — но вѣдь вся эта исторія любви безъ радостей и разлукъ безъ печалей въ короткое время стала немовѣрно смѣшна, потеряла всякій кредитъ, перестала дѣйствовать обаятельно даже на женщины; — но вѣдь этотъ фатализмъ, дешево купленный, обличилъ самъ себя; но наконецъ самое это направление истощилось окончательно въ романѣ «Кто виноватъ», перешло въ леденящій сердце и довольно ограниченный прозаизмъ въ «Обыкновенной исторіи» и послѣднія проявленія его въ повѣстяхъ гг. Авдѣева, Дружинина и иныхъ суть только предсмертныя судороги.

Мы говоримъ здѣсь о дарованіи Лермонтова не какъ о великой возможности (потенці); говоримъ не о лирическомъ поэтѣ, владѣвшемъ, въ особенностяхъ въ послѣднихъ стихотвореніяхъ, мѣднымъ литымъ стихомъ, не о писателѣ, лучше и проще котораго не писалъ по-русски никто послѣ Пушкина; — мы смотримъ съ исторической точки зрѣнія, смотримъ на *дѣло* Лермонтова, взвѣсиваемъ то *слово*, которое завѣщало онъ міру, и, къ сожалѣнію, должны сознаться, что слово это далеко не такъ вѣско, какимъ оно казалось дѣтъ за нѣсколько назадъ, что дѣло это, если станешь судить его, какъ всякое человѣческое дѣло, по послѣдствіямъ, далеко не такъ значительно. По крайней мѣрѣ, нельзя не видать, что значеніе этого дѣла чисто отрицательное. Для того, чтобы быть подъ вліяніемъ поэта, надобно *впритъ* въ его моральныя убѣжденія, надобно дѣлать съ нимъ его восторги и страданія, а позволите спросить, кто въ настоящее время вѣритъ въ искренность Печорина, кто вѣритъ, что *хорошо*, въ высшемъ моральномъ смѣслѣ, «высосать ашельсинъ и бросить его,» — кто вѣритъ въ величіе улыбки Печорина при смерти Бѣлы, въ законность его обхожденія съ Максимомъ Максимовичемъ, — кто способенъ сознаться въ раздѣлѣ этихъ мелочныхъ страданій весьма мелочнаго эгоизма? Надобно быть послѣдовательными, милостивые государи, надобно, вмѣстѣ съ исторіей, сознаться, что «герой того времени» умеръ и не воскреснетъ болѣе, — что демонъ, который мучилъ поэта, не тотъ, который мучитъ насъ, что то поколѣніе, которое поразилъ Лермонтовъ проклятіемъ, поколѣніе, котораго

Грядущее или пусто или темно,

которое безвременно состарѣлось подъ бременемъ страданія и сомнѣнья, не то, которое живетъ теперь... Оно не то, за это ручаются его свѣжія силы, и къ нему скорѣе относится лебединый привѣтъ великаго по ис-

тинѣ представителя русской природы, также рано погибшаго, но рано не для бессмертной славы своей, а для будущаго литературы:

Здравствуй племя,

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучій поздній возрастъ,

Когда переростешь моихъ знакомцевъ

И старую главу ихъ заслонишь

Отъ глазъ прохожаго. . . .

Трогательный, величавый, вполне человѣческій привѣтъ любви, вѣры и надежды!

Повторимъ опять, на судѣ исторической критики всякое дѣло получаетъ значеніе по плодамъ его — и, каковъ бы ни былъ талантъ поэта, одного только таланта, какъ — потенци, еще недостаточно. Важное дѣло въ поэтѣ то, для чего у нѣмцевъ существуетъ общепонятный и общеупотребительный терминъ, die Weltanschauung, и что у насъ, tant bien que mal, переводится «миросозерцаніемъ».

Миросозерцаніе или, проще, взглядъ поэта на жизнь не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежащее самому поэту. Широта или узость миросозерцанія обуславливается эпохой, страной, однимъ словомъ, — временными и мѣстными историческими обстоятельствами. Геніальная натура, при всей своей крѣпкой и несомнѣнной самости или личности, является, такъ сказать, фокусомъ, отражающимъ крайніе, истинные предѣлы современнаго ей мышленія, послѣднюю, истинную степенъ развитія общественныхъ понятій и убѣжденій. Это мышленіе, эти общественныя понятія и убѣжденія возводятся въ ней, до слову Гоголя, «въ перлъ созданія», очищаясь отъ грубой примѣси различныхъ уклоненій и односторонностей. Геніальная натура носитъ въ себѣ, такъ сказать, кладъ всего неперемѣннаго, что есть въ стремленіяхъ ея эпохи. Но, отражая въ себѣ эти стремленія, не служитъ имъ рабски, а владычествуетъ надъ нимъ, глядя яснѣе многихъ впередъ. Противорѣчій примираются въ ней высшими началами разума, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть и безконечная любовь.

Отношеніе такой геніальной природы къ окружающей ее и отражающейся въ ея созданіяхъ дѣйствительности только на первій взглядъ представляется враждебнымъ. Вглядитесь глубже, и во враждѣ, въ жолчномъ негодованіи увидите вы любовь, только разумную, а не слѣпую; за мрачнымъ колоритомъ картины ясно будетъ сквозить для васъ сіяніе вѣчнаго идеала, и, къ изумленію вашему, нравственно выше, благороднѣе, чище, выйдете вы изъ адскихъ терзаній Отелло, изъ безвыходныхъ мукъ морально бесплннаго Гамлета, — изъ грязной тины мелкихъ,

гражданскихъ преступленій, раскрывающейей предъ вами въ Ревизорѣ; и пусть холодъ сжималъ ваше сердце при чтеніи Шинели,—вы чувствуете, что этотъ холодъ освѣжилъ и отрезвилъ васъ, и нѣтъ въ вашемъ наслажденіи ничего судорожнаго, и на душѣ у васъ какъ-то торжественно. Міросозерцаніе поэта, невидимо присутствующее въ созданіи, примирило васъ, уяснивши вамъ смыслъ жизни. Поэтому-то созданіе истиннаго художника въ высокой степени нравственно, не въ томъ конечно пошломъ и условномъ смыслѣ, надъ которымъ по-дѣломъ смѣется нашъ вѣкъ: избави насъ небо отъ той нравственности, которая до сихъ поръ еще готова видѣть въ Пушкинѣ безнравственнаго поэта и въ герояхъ его уголовныхъ преступниковъ, которая до сихъ поръ еще не прощаетъ Мольеру его Тартюфа и доискивается атеизма въ Шекспирѣ. Нѣтъ, созданіе истиннаго художника нравственно въ томъ смыслѣ, что оно—живое созданіе. Оживите передъ вами лица Шекспировыхъ драмъ, обойдитесь съ ними какъ съ живыми личностями, призовите ихъ вторично на судъ, и вы убѣдитесь, что Немезида, покаравшая или помиловавшая ихъ, полна любви и разума. Даже не нужно и убѣждаться въ томъ, что совершенно непосредственно сознается, осязательно чувствуется.

Въ сердцѣ у человѣка лежатъ простыя вѣчныя истины, и по преимушеству ясны онѣ истинно гениальной натурѣ. Отъ этого и сущность міросозерцанія одинакова у всѣхъ истинныхъ представителей литературныхъ эпохъ, различень только цвѣтъ. Одну и ту же глубокую, живую вѣру и правду, одно и то же тонкое чувство красоты и благоговѣнія къ ней встрѣтите вы въ Шекспирѣ, въ Гоголѣ, въ Гете и въ Пушкинѣ: различіе можетъ быть только въ степени и въ цвѣтѣ чувствованія, но также самая нота звучитъ и въ напряженномъ паѳосѣ Гоголя, и въ мѣрно-ровномъ, блестящемъ теченіи творчества Гете, и въ благоуханной простотѣ Пушкина, и въ строго безукоризненномъ величій Шекспира. Мы вѣримъ Гете, когда слышимъ изъ устъ его слово его жизни, спокойное и твердое слово юноши-старца:

Das Wahre war schon längst gefunden,

Hat edle Geisterschaft verbunden,

Das alte Wahre fasz es an!

и понимаемъ, что эта великая натура, вопреки воплямъ Менцелей и писку разныхъ насѣкомыхъ, отъ сердца сказала: «о высокѣхъ мысляхъ и чистомъ сердцѣ должны мы просить Бога». Мы вѣримъ Пушкину, когда говорить онъ намъ:

Но не хочу, о други, умирать,

Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,

И знаю, будутъ мнѣ минуты наслажденья  
—Средь горестей, заботъ и тревоженья.

Мы повсюду за живыми лицами Шекспировыхъ драмъ сочувствуемъ великой мужеской личности самого творца, и внимаемъ разумно-любовному слову жизни; мы слышимъ тоску по идеалѣ въ созданіяхъ Гоголя, все равно, съ кѣмъ ни знакомить онъ насъ, съ Тарасомъ ли Бульбой, или съ Маниловымъ, съ Акакіемъ ли Акакіевичемъ, или съ ослѣпляющей какъ молнія красотой Аннунціаты. И какое таинственное чутье указываетъ гениальной натурѣ предѣлы въ созданіи, что охраняетъ ее отъ двухъ золъ, отъ рабской копировки явленій жизни и отъ ходульной идеализаціи, что заставляетъ ее остановиться во время, что, наконецъ, хранить въ ней самой такъ свято, такъ неприкосновенно, завѣщанное ей ея слово жизни? . . . Одна бы кажется недомолвка, — и Акакій Акакіевичъ поразилъ бы васъ не трагическимъ, а сентиментально плаксивымъ впечатлѣніемъ; еще бы одна черта, — и Миньона стала бы фальшивой, хотя блестящей Эмеральдой; лишняя минута въ жизни Татьяны, или лишній порывъ въ простомъ разсказѣ о капитанской дочкѣ, — и эти созданія потеряли бы свою недосыгаемую простоту; немного гуще краски въ изображеніи Офеліи или Дездемоны, — и гармонія, цѣлостъ, полнота Отелло и Гамлета были бы нарушены.

Истинный художникъ самъ вѣруеть въ разумность создаваемой имъ жизни, свято дорожить правдою, и оттого мы въ него вѣруемъ, и оттого въ прозрачномъ его произведеніи сквозитъ очевидно созерцаемый имъ идеалъ: фигуры его рельефны, но не до такой степени, чтобы прыгали изъ рамы, за ними есть еще что-то, что зоветъ насъ къ безконечному, что ихъ самихъ связываетъ незримою связью съ безконечнымъ. Однимъ словомъ, какъ говоритъ Гоголь въ своемъ глубокомъ по смыслу *Портретѣ*, «предметы видимаго міра отразились сперва въ душѣ самаго художника, — и оттуда уже вышли не мертвыми сколками съ видимыхъ явленій, а *живыми*, самостоятельными созданіями, въ которыхъ, какъ Гоголь же говоритъ, «просвѣчиваетъ душа создаваемаго».

Гоголь, одна изъ такихъ предъизбранныхъ гениальныхъ натуръ, пояснилъ намъ отчасти процессъ такого изнутри выходящаго творчества. Вотъ это многозначительное, хотя болѣзненное признаніе, подавшее поводъ къ различнымъ еривымъ и дѣтскимъ толкамъ, и даже, къ вѣчному стыду русской критики, къ насмѣшкамъ. Великій художникъ, ясныя и враговъ своихъ и поклонниковъ, опредѣляетъ здѣсь и свойство, и значеніе своего таланта, и пружины своего творчества, и, наконецъ, даже свою историческую задачу.

«Герои мои», говоритъ Гоголь, «потому близки душѣ, что они изъ

души; всё мои послѣднія сочиненія — исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого, какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирали кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара *выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго нѣтъ у другихъ писателей.* (Переписка съ Друзьями, стр. 141).

Останавливаемся нѣсколько здѣсь, и замѣтимъ, что поэтъ напрасно боялся открыть это душевное обстоятельство. Оно, по нашему мнѣнію, относится къ художнику, въ широкой натурѣ котораго заключены и «добрая и злая». Много чести дѣлаетъ человѣку подобный испугъ отъ самого себя, но Гоголь, какъ художникъ, долженъ былъ быть таковымъ, чтобы могъ сказать міру свое слово, и все, что онъ говоритъ о себѣ, какъ человѣкѣ, должно относить къ художнику.

«И такъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство» — продолжаетъ онъ, — «но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, если бы съ нимъ не соединилось мое душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ, что смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мной.»

«Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся виднѣе всѣхъ моихъ прочихъ пороковъ, все равно, какъ не было также ни одной картинной добродѣтели, которая могла бы придать мнѣ какую-нибудь картинную наружность, но зато, вмѣсто того, во мнѣ заключалось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человѣкѣ. *Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу.* Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ, но лучшее изъ нихъ было *желаніе быть лучшимъ.* «Я сталъ», говоритъ далѣе поэтъ, «надѣлать своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моей собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: *взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себя изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни пошло.* Если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ подъ пера моего въ началѣ для меня самого, онъ бы точно содрогнулся.»

Поздравляемъ тѣхъ близорукыхъ или ослѣпленныхъ критиковъ, которые видѣли въ этомъ признаніи какое-то ложное смиреніе. Повторяемъ опять, что здѣсь мы оставляемъ нравственную, лично человѣческую сторону, забываемъ странное смѣщеніе признаній нравственныхъ съ эстетическими: беремъ эти мѣста какъ матеріаль, бросающій ясный свѣтъ на процессъ художественнаго творчества, о чемъ Гоголь, разумѣется, не думалъ. Для насъ—это ключъ къ гениальной натурѣ и къ ея творчеству. Двѣ черты ярко обозначаются въ этомъ саморазложеніи—съ одной стороны природа многосторонняя, въ которой Божій міръ отражается во всѣмъ разнообразіемъ дурнаго и хорошаго,—съ другой стороны природа сосредоточенно-страстная, тонко чувствующая, болѣзненно раздражительная. Эта сосредоточенная страстность, эта способность болѣзненно, т. е. слишкомъ чутко отзываться на все и составляетъ, вмѣстѣ съ постояннымъ стремленіемъ къ идеалу, особенный цвѣтъ Гоголевской гениальности. Гёте спокойно, ясно отражалъ въ себѣ дѣйствительность и—столько же многообразная, но сангвиническая натура—отбрасывалъ ее отъ себя какъ шелуху, высвобождаясь безпрестанно изъ подъ ея вліянія, устанавливая въ себѣ одномъ центръ. Пушкинъ былъ чистымъ, возвышеннымъ и гармоническимъ эхомъ всего, все претворяя въ красоту и гармонию;—Шекспиръ постоянно носилъ въ себѣ свѣтлый характеръ Генриха V и, какъ тотъ изъ отношеній съ Фальстафомъ, выходилъ цѣль и съ яснымъ челомъ, съ вѣчнымъ сознаніемъ собственныхъ силъ, изъ мукъ Макбета, Отелло и Гамлета. Гоголю дано было всё язви износить въ себѣ, и слѣды этихъ язвъ вѣчно въ себѣ оставить. Натура холерически-меланхолическая, склонная къ безконечной вдумчивости, подверженная борьбѣ со всѣми темными началами, и между тѣмъ сама въ себѣ носящая залогъ спасенія, желаніе быть лучшимъ, стремленіе къ идеалу, стремленіе, обусловленное въ свой возможности той же страстностью и раздражительностью. Какъ до непомѣрно-громадныхъ размѣровъ разрастаются въ этой душѣ различныя противорѣчія дѣйствительности, такъ же отзывается она и на красоту, истину и добро. Творецъ Акакія Акакіевича есть вмѣстѣ и творецъ Аннунціаты. Въ одну изъ страшныхъ минутъ своей моральной жизни эта великая натура высказала стонамъ и воплямъ свое отношеніе къ идеалу. «Замираетъ отъ ужаса душа», говоритъ поэтъ, какъ бы пожираемый огнемъ той таинственной любви, которая и свѣтитъ тихимъ свѣтомъ, и жжетъ пламенемъ неугасимымъ, и поражаетъ какъ мечъ обоюдоострый, «при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, предъ которыми пыль все величіе Его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія

возрастанія и плоды, которые мы съѣли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся.»

Отношеніе подобной природы къ дѣйствительности, ее окружающей и ею отражаемой, выразилось, опять-таки по ея же свойству, въ юморѣ, и притомъ въ юморѣ страстномъ, гиперболическомъ. Историческая задача ея была: сказать, что дрянъ и тряпка стали всякъ человѣкъ; выставить пошлость пошлаго человѣка, свести съ ходуль такъ называемаго добродѣтельнаго человѣка, уничтожить все самообольщеніе, привести, однимъ словомъ, къ полному, христіанскому сознанию, — но спокойно, безстрастно, она сдѣлать этого не могла. Двойкій путь предстоялъ художнику въ обращеніи съ этою дѣйствительностію: или дать волю собственному болѣзненному раздраженію и негодованію, или просто списывать. Ни того, ни другаго Гоголь, по натурѣ своей, сдѣлать не могъ. Не могъ онъ холодно списывать, потому что самъ на себѣ носилъ язвы имъ изображаемыя; не увлекся онъ и личною раздражительностію, потому что весь проникнутъ былъ желаніемъ усовершенствованія. Тѣ чудовища, которыя, по признанію его, выливались изъ подъ пера его, для него были чудовищами, и явились на свѣтъ Божій въ произведеніяхъ другихъ, которые пошли по его пути, но не руководились его свѣтомъ, явились въ господнѣ Голядкинѣ, господнѣ Прохарчинѣ и другихъ печаліяхъ, пропитанныхъ зловоніемъ внутренней болѣзни. Съ другой стороны и голая копировка дѣйствительности выступила ярко во многихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ какъ другая крайняя сторона того же Гоголя. Въ произведеніяхъ этихъ двухъ натуральныхъ школъ бесспорно явилось много таланта, въ особенности въ послѣдней, но какъ въ болѣзненномъ до чудовищности юморѣ, подъ вліяніемъ котораго явились различныя чудовища безъ формы и вида, съ одной громадной и вмѣстѣ мелочной претензіей, такъ и въ пелицепріятномъ изображеніи различныхъ повседневныхъ явленій раздвоился полный и цѣльный Гоголь.

Гоголь впервые выступилъ на литературное поприще съ своими *Вечерами на Хуторѣ близъ Диканьки*. Это были еще юношескія свѣжія вдохновенія поэта, свѣтлыя, какъ украинское небо: все въ нихъ ясно и весело, самый юморъ простодушенъ, какъ юморъ народа, еще не слышать того грустнаго смѣха, который послѣ является единственнымъ честнымъ лицомъ въ произведеніяхъ Гоголя, и само особенное свойство таланта поэта, *свойство очертить всю пошлость прилазо человека*, выступаетъ здѣсь еще наивно и добродушно, и легко и свѣтло отъ того на душѣ читателя, какъ свѣтло и легко на душѣ самого поэта: надъ нимъ какъ будто еще развернулось синимъ шатромъ его родное небо, онъ еще



вдыхаетъ благоуханіе черемухъ своей Украйны. Здѣсь прѣвляется необычайная тонкость его поэтическаго чувства. Можетъ быть ни одинъ писатель не одаренъ такимъ полнымъ, гармоническимъ сочувствіемъ съ природою, ни одинъ писатель не постигаетъ такъ пластической красоты, красоты полной, существующей для всѣхъ и каждаго, какъ его Аннунціата, никто, наконецъ, такъ не полонъ сознанія о прекрасномъ физически и нравственно человѣкѣ, какъ этотъ писатель, призванный очертить пошлость пошлаго человѣка, и потому самому ни одинъ писатель не обладаетъ души вашей такой тяжелой грустью, какъ Гоголь, когда онъ, какъ безопадный анатомикъ, по частямъ разбираетъ человѣка... Въ *Вечерахъ на Хуторѣ* еще не видать этого безопаднаго анализа, юморъ еще только причудливо граціозенъ, — въ померическомъ ли изображеніи пьяняго Каленика, отплясывающаго гопака на улицѣ въ майскую ночь, въ простодушномъ ли очеркѣ характера Ивана Федоровича Шпоньки, въ которомъ таится уже зерно глубокаго созданія характера Подколесина, въ этомъ бытѣ, простомъ и непосредственномъ бытѣ Украйны, поэтъ еще видитъ свою красавицу Оксану, свою Галю — чудное существо, которое спитъ въ «божественную ночь, очаровательную ночь», спитъ распустивъ черныя косы, подъ украинскимъ небомъ, на которомъ серпомъ стоитъ мѣсяцъ; тутъ все еще полно таинственнаго обаянія: прозрачность озера, и фантастическія пляски вѣдьмъ, и ликъ утопленницы-панночки, запечатлѣнный какой-то свѣтлой грустью. А Сорочинская ярмарка съ ея шумомъ и толкотнею, а бузнецъ Вакула, а исполнскіе образы двухъ братьевъ Карпатскихъ горъ, осужденныхъ на страшную казнь за гробомъ, — эти дантовскіе образы народныхъ преданій, — все это еще то свѣтло, то таинственно и обаятельно чудно, какъ лепетъ ребенка, какъ сказки старухи-няни.

Но не долго любовался поэтъ этимъ бытомъ, радовался безпечной радостію художника, воссоздавая этотъ бытъ; онъ кончилъ его апотеозу великою эпопеею о Тарасѣ Бульбѣ и дивной легендой о Віѣ, гдѣ вся природа его страны говоритъ съ нимъ шелестомъ травъ и листьевъ въ прозначную лѣтнюю ночь, и гдѣ между тѣмъ въ тоскѣ безысходной, въ замираніи сердца мчащагося съ вѣдьмою по безконечной степи философа Хомя Бруга, слышится тоска самого поэта и невольно переходитъ на читателя. Раздѣлавшись навсегда съ обаяніемъ своего роднаго края въ этой части своего Миргорода, Гоголь уже взглянулъ окомъ аналитика на дѣйствительность: простодушно, какъ прежде, принялся было онъ чертить истинно человѣческія фигуры Аанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, и остановился въ тяжеломъ раздумьѣ надъ страшнымъ, трагическимъ *Fatum*, лежащимъ въ самой крѣпости, въ самой не-

посредственности ихъ отношеній. Съ гиперболически веселымъ юморомъ изобразилъ онъ безплоднаго существованія Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, и, кончая свою картину, вынужденъ былъ воскликнуть: «скучно на этомъ свѣтѣ господя», и имѣлъ право сказать это, какъ имѣлъ право въ концѣ своей послѣдней книги сказать: «пусто и страшно становится въ твоемъ мѣрѣ, мой Боже.» Съ этой минуты онъ взялъ уже въ руки анатомическій ножъ, съ этой минуты обильно потекли уже «сквозь зримый міру смѣхъ незримыя слезы». Но страшно ошиблись бы тѣ, которые въ этихъ слезахъ увидѣли бы только слезы негодованія. Паѣось Гоголя,—не ювеналовскій паѣось, не паѣось отчаянія, производимаго противорѣчіями дѣйствительности: чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить самыя патетическія повѣсти, каковы на примѣръ: «Записки съумасшедшаго», «Невскій проспектъ», съ прекрасными въ своемъ родѣ лирически-дидактическими произведеніями князя Одоевскаго. Вездѣ у Гоголя выручаетъ юморъ, и этотъ юморъ полонъ любви къ жизни и стремленія къ идеалу; вездѣ, однимъ словомъ, виднѣнъ поэтъ, чуждый всякой задней мысли. Этотъ юморъ достигаетъ крайнихъ предѣловъ своихъ въ «Носѣ», оригинальнѣйшемъ и причудливѣйшемъ произведеніи, гдѣ все фантастично и вмѣстѣ съ тѣмъ все въ высшей степени поэтическая правда, гдѣ все понятно безъ толкованія, и гдѣ всякое толкованіе убило бы поэзію...

Все глубже и глубже опускался скальпель анатомика, и наконецъ, въ Ревизорѣ, одинъ только смѣхъ выступилъ честнымъ и карающимъ лицомъ, а между тѣмъ, тому, кто понимаетъ великое общественное значеніе комедіи (а кто же не понимаетъ его теперь, и для кого оно не уяснилось?), очевидны сквозь этотъ смѣхъ слезы. Вся эта бездна мелочныхъ и тяжкихъ въ массѣ грѣховъ и преступленій, разverzающаяся съ ужающею постепенностію предъ глазами зрителей, прежде спокойная, невозмутимая, какъ болотная тина и, такъ сказать, развороченная однимъ прикосновеніемъ пустаго проѣзжаго чиновника; этотъ страхъ передъ призракомъ, принятымъ за дѣйствительную грозу закона; глубокій смыслъ того факта, что тревожная совѣсть городскихъ властей ловится на такую брентную удочку,—все это ясно и понятно уже каждому въ наше время; что же касается до господъ, до сихъ поръ удивляющихся тому, какъ могъ городничій, обманувшій трехъ губернаторовъ, принять за ревизора проѣзжаго свища, то остается только подивиться чистотѣ ихъ совѣсти, которой никогда не тревожили призраки, вызванныя ея собственнымъ тревожнымъ состояніемъ, или недобросовѣстности, озлобленной на русскую литературу вообще и на одного изъ ея великихъ представителей въ особенности. Разсуждающіе о несообразности этого



*происшествія* вовсе не понимают ни поэтической гиперболы, ни смысла комедии Гоголя, не понимают, что чѣмъ пустѣе, такъ-сказать глаже, безцвѣтнѣе Хлестаковъ, тѣмъ очевиднѣе комическая Немезида надъ беззаконіями города.

Мы сказали, что особенное свойство гоголевскаго юмера обусловлено отношеніемъ натуры поэта къ дѣйствительности. Съ одной стороны, эта натура—по признанію самого Гоголя—многостороння и стало быть способна отражать въ себѣ дѣйствительность со всѣмъ безконечнымъ разнообразіемъ ея явленій, и притомъ отражать ярко и цѣльно, съ другой стороны, эта натура въ высшей степени страстная, на которую всѣ противорѣчія идеалу дѣйствуютъ болѣзненно. Руководи Гоголя только личное раздраженіе, будь онъ, однимъ словомъ, не въ такой степени исполненъ чутья жизни, онъ былъ бы только великимъ лирикомъ-дидактикомъ; будь въ немъ меньше настоящаго стремленія къ идеалу, раздраженіе его противорѣчіями дѣйствительности отзывалось бы паоосомъ, нѣсколько натянутымъ. Вещи познаются по сравненію, и чтобъ опѣнить Гордя, стоитъ только сравнить его произведенія съ другими, тоже талантливыми произведеніями. Есть, напримѣръ, на первый взглядъ, нѣчто общее между паоосомъ «Насмѣшки мертвеца», «Города безъ имени», «Квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ» и другихъ произведеній талантливаго и мыслящаго Одоевского, и паоосомъ «Невскаго проспекта», «Записокъ съумасшедшаго», «Шинели», «Рима»; но взгляните пристальнѣе—и вы увидите безконечную разницу, вслушайтесь внимательнѣе—и въ прекрасныхъ дидактическихъ разсказахъ Одоевского вы услышите только отрицательный паоосъ, паоосъ негодованія, пополамъ съ горькою ироніею Гамлета, съ улыбкою скорби скептика, съ неопредѣленными стремленіями мистика. Вы чувствуете, что вражда не осилила здѣсь дѣйствительности, не обладаетъ ею мужески, а только плачетъ надъ нею, только общаетъ что-то лучшее въ туманной, безграничной дали. Въ паоосѣ Гоголя и въ самыхъ капризныхъ причудахъ его юмера вы чувствуете всегда живое чутье жизни, любовь къ жизни; его идеалы красоты и правды существуютъ для него въ крѣпкихъ осязаемыхъ формахъ. Съ другой стороны, сравните, напримѣръ, «Шинель» съ однородной почти съ нею по основнымъ мыслямъ повѣстью даровитаго же, хотя замолкнувшаго уже писателя, Н. Ф. Павлова: «Демонъ». Сравните хоть сцену съ начальникомъ у того и другаго писателя! А между тѣмъ вы не можете не сознаться, читая «Демона», что талантъ тутъ явно присутствуетъ; что анализъ тутъ чрезвычайно глубокъ; можетъ быть оттого это не дѣйствуетъ, что анализъ черезъ-чуръ уже старается быть глубокимъ, что талантъ принимаетъ чудовища своего фантастически на-



пряженнаго воображенія за дѣйствительныя, живыя созданія, и страданія бѣднаго Ивана Петровича, помѣшавшагося на мысли, что бѣдная жизнь зайстъ вѣкъ его хорошенькой половины, растутъ до невѣроятноколоссальныхъ размѣровъ; и странно то, что чѣмъ больше они стараются расти, тѣмъ меньше вы становитесь способны имъ сочувствовать, и весь пафосъ автора пропадаетъ задаромъ. Напротивъ, какъ просто рассказано обхожденіе чиновниковъ съ Азакіемъ Азакіевичемъ и его горе при потерѣ шинели, а сердце ваше сжимается, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ какомъ-то упоеніи восторга наслаждаетесь въ этомъ вѣрнымъ художественнымъ анализомъ. Мы не хотимъ сравнивать Гоголя съ позднѣйшими произведеніями петербургской школы, которая была представительницею крайности его болѣзненнаго юмора, мы не напоминаемъ этихъ странныхъ, чудовищныхъ сновъ г. Буткова и иныхъ, у которыхъ, наконецъ, сапоги получаютъ фizioномію и являются фантастическими существами, которыхъ юморъ вдается въ описаніе зловонныхъ угловъ, и главное, что всего хуже, которые всякую микроскопическую претѣзію микроскопической личности возводятъ на степень *права*. Это уже просто безобразіе, которое оставлено красотой и правдой.

Сравнивая юморъ Гоголя съ юморомъ другихъ великихъ юмористовъ, каковы на примѣръ: Стерна, Ж. Поль Рихтеръ, Диккенсъ, Гофманъ, мы также убѣждаемся въ совершенной его особенности. Въ Ж. Полѣ, на примѣръ, при всей его гениальности, нельзя не видѣть нѣмецкаго *kleinstädtisches Wesen*; юморъ Гофманна только въ эксцентричностяхъ находитъ спасеніе отъ удушливой тюрьмы филистерства; Диккенсъ такъ же полонъ любви, какъ Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его примиреніе, по крайней мѣрѣ для насъ русскихъ, довольно неудовлетворительно, чтобъ не сказать пошло; юморъ Стерна весь вышелъ изъ скептицизма XVIII вѣка, и разлагается на двѣ составныя части: на слезливую сантиментальность и на скептическую пропію Гамлета надъ черепомъ Йорика. Юморъ Гоголя полонъ, цѣленъ, неразложимъ, ибо Гоголь не только юмористъ, а великій поэтъ, или юмористъ по столько, по сколько юмористъ творецъ Фальстафа, Факонбриджа и Бенедикта (*Much Ado about Nothing*).

Мы привели уже мѣсто, гдѣ самъ поэтъ высказалъ съ величайшею искренностію и простотою побудительныя причины своего юмора. «Не думай, однако же, послѣ моей исповѣди», оканчиваетъ онъ свое третье письмо по поводу Мертвыхъ душъ (Переп. съ Друзьями, стр. 149), «чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои: нѣтъ, я непохожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и стараю имъ, но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои, я не люблю тѣхъ ни-

зостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними, и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ, и это вздоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ уже и черты измѣнить нельзя въ себѣ: только въ глупой свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ недостатковъ избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ, и заставилъ другихъ такъ же надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многого тѣмъ, что, *лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою вытѣкаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ тою радостью, которая всею видна.* Тебѣ объяснится также и то, почему я не выставлялъ до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ, и не избиралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ сколько-нибудь на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоенешъ силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, — мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ, я тоже не выдумывалъ; кошемары эти давили мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея и вышло».

Такова цѣльная и гармоническая художественная натура, которую мы, по нашему крайнему разумѣнію, приняли за исходную точку современнаго состоянія словесности. До сихъ поръ мы видѣли только еще крайности ея, проявившіяся въ послѣдующихъ литературныхъ явленіяхъ, въ двухъ натуральныхъ школахъ. Разумное историческое и самостоятельное послѣдствіе еще впереди, какъ въ творествѣ самого Гоголя, такъ въ могущественныхъ силахъ какого-нибудь новаго яркаго таланта. Каково будетъ отношеніе этого таланта къ дѣйствительности, — тайна будущаго: только по существующимъ даннымъ можно гадать, что это будетъ иная, болѣе спокойная творческая натура.

### СТАТЬЯ ТРЕТІЯ.

**Современная словесность въ отношеніи къ своей исходной исторической точкѣ.**

Въ прошедшей статьѣ мы опредѣлили *ближайшую* точку современнаго состоянія словесности, — ближайшую, говоримъ мы, ибо, чтобы опредѣлить первоначальную, надобно было бы вести рѣчь отъ яицъ

Леды. Кто не чувствуетъ, что зерно тѣхъ близкихъ отношеній поэта къ дѣйствительности повседневной, какія явились въ созданіяхъ Гоголя, заложено и въ Повѣстяхъ Бѣлкина, и въ Капитанской Дочкѣ, и въ Лѣтописи Села Горохина; что грубые, такъ-сказать сырые матеріалы, положимъ, хотъ бурсаковъ въ Віѣ, найдете вы въ произведеніяхъ Нарѣжнаго; что Нарѣжный, съ своей стороны, тоже обусловленъ извѣстными историческими обстоятельствами и т. д. Кто не чувствуетъ всего этого, и между тѣмъ, кто же въ наше время потребуетъ отъ критика поверхностныхъ обзоровъ, ради восхожденія къ началу началъ? Нис locus—hic saltus, скажемъ мы, и остановимся на ближайшей исходной точкѣ. Отъ Гоголя ведетъ свое начало весь тотъ многообразный, болѣе или менѣе удачный разностранный анализъ явленій повседневной, окружающей насъ дѣйствительности,—стремленіе къ которому составляетъ собою законъ настоящаго литературнаго процесса; все, что есть живаго въ произведеніяхъ современной словесности, отсюда ведетъ свое начало: стало быть, мы и правы были, начавши съ Гоголя обзоръ ея.

Но, прежде чѣмъ мы будемъ говорить о литературныхъ явленіяхъ прошлаго 1851 года, мы должны, не вдаваясь конечно въ подробности, взглянуть по отношенію къ исходной точкѣ, т. е. къ Гоголю, на всю литературу, взявши ее за нѣсколько лѣтъ. Въ это обзорніе должны войти, конечно, не одни только тѣ факты, которые ведутъ свое начало отъ Гоголя: должно быть упомянуто, отчасти прослѣжено, и развитіе лермонтовскаго слова; все болѣе и болѣе теперь замирающаго. Тѣмъ яснѣе обозначится вѣрность того положенія, что все живое въ явленіяхъ современной словесности происходитъ отъ толчка, произведеннаго дѣятельностію Гоголя,—положенія, которое повторяемъ уже не разъ, и не устанемъ повторять, твердо убѣжденные въ его истинѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, слово лермонтовской дѣятельности, слово весьма звучное, даже поражающее, — по самой натурѣ своей было неспособно къ дальнѣйшему развитію. Это слово было протестъ личности противъ дѣйствительности, протестъ, вышедшій не изъ яснаго пониманія идеала, а изъ условій, заключавшихся въ болѣзненномъ развитіи самой личности. Слово борьбы безъ основъ, страданій безъ исхода, жажды безъ удовлетворенія,—слово, значеніе котораго «темно или ничтожно»,—но которому дѣйствительно невозможно было «внимать безъ волненія»—слово, которое въ самомъ поэтѣ должно было и, въ сожалѣнію, не успѣло выгорѣть и очиститься;—слово вражды, которая, конечно, не можетъ же быть состояніемъ нормальнымъ, особенно, если пружины ея заключены въ безмѣрно-выдавшейся личности; оно оставило въ памяти нашей слѣдъ какого-то смутнаго тревожнаго сновидѣнья. Неглубокое со-

*Лерм.*

держаніемъ, оно сказалось заразъ, само себѣ положило геркулесовы столбы, идти за которые значило идти къ абсурду. Нашлись дѣйствительно люди, новидимому довольно смѣлые, но въ сущности только увлеченные, которые шагнули за эти столбы, и ввалили или въ смѣшное, какъ авторы Тамириныхъ, Левиныхъ и другихъ героевъ грошевого безочарованія, или въ безобразный фатализмъ, какъ авторы разныхъ произведеній, имѣвшихъ большой успѣхъ, благодаря напряженности мысли, и теперь совершенно уже забытыхъ. Все, что Лермонтовъ успѣлъ сказать, онъ сказалъ какъ поэтъ—поэтъ истинный и новый, какимъ былъ онъ въ возможности; не его вина, что онъ не успѣлъ сказать большаго, и что сказанное имъ повторялось на тысячу разныхъ ладовъ. Не его вина, что, когда появлялись какіе нибудь напряженные стишонки, написанные въ подражаніе ему, наши критики привѣтствовали ихъ чуть-что не восторженными похвалами; не его вина, что его *дѣйствительныя* страданія, въ немъ самомъ еще не перегорѣвшія, взяты были на прокатъ другими, доведены до смѣшнаго, истасканы и опошлены какъ прихоть моды; не его вина, что слышался повсюду нескладный вой про *гордое* страданье, что каждый юноша, не въ мѣру пользовавшійся жизнью, толковалъ о *правѣ проклятій*, или воображалъ себя пророкомъ, въ котораго ближніе выдаютъ бѣшено каменья. Вѣроятно, самому поэту, еслибъ онъ должилъ до этого,

Все это стало бы смѣшно

Когда бы не было такъ грустно....

Въ самомъ дѣлѣ, что ни возьмете вы изъ произведеній его послѣдователей, лириковъ и повѣствователей, вы вездѣ увидите только повтореніе, или, лучше сказать, разжиженіе лермонтовскихъ мыслей. Къ какимъ мальчишески заносчивымъ упражненіямъ подали поводъ многія изъ его стихотвореній! Нѣтъ возможности перечислить повѣстей (о стихотвореніяхъ ужъ и говорить нечего), написанныхъ на тему «*любви безъ радостей и безъ печали*», на тему «*дубоваго листка и молодой чинары*», на тему «*староу теса, глубоко задумавшагося о ночевавшей на вершинѣ его золотой тучкѣ*» и т. д. Нѣтъ возможности перечислить также всѣхъ женскихъ прихотей, въ которыя развились у послѣдователей поэта причуды Печорина, и нѣтъ никакого желанія напоминать чѣ произведенія, которыя доводили до нелѣпости фатализмъ Печорина, подъ видомъ глубокаго анализа души человѣческой, произведенія, уродливыя даже въ художественномъ отношеніи и гнилыя въ отношеніи психологическомъ. Анализъ работалъ тутъ не надъ живою дѣйствительностію, а надъ миражемъ, надъ призракомъ собственнаго насильственно-напряженнаго воображенія. Съ художественной стороны эти произведенія были безо-

бразны потому, что въ нихъ все приносилось въ жертву напередъ-заданной темѣ, что они писались для потѣхи празднаго остроумія, выдаваемого за глубокомысліе, что въ нихъ все, окружающее какихъ-нибудь Владиміра Петровича, Дмитрія Яковлевича и Любовь Александровну, малевалось каррикатурно; сами же Владиміръ Петровичъ, Дмитрій Яковлевичъ или Любовь Александровна чуть-что не носили ярлыковъ на лбу; безобразны они были наконецъ и потому, что въ нихъ психологическій вопросъ поставлялся не такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, а какимъ угодно было его видѣть автору.

Въ настоящую минуту, это направленіе явно и видимо замираетъ; послѣдніе его представители—гг. Авдѣевъ, Дружининъ, Жемчужниковъ, Чернышевъ и нѣкоторые другіе. О всѣхъ этихъ господахъ говорено было нами довольно часто \*), при разборѣ произведеній ихъ, появившихся въ разныхъ журналахъ и изданіяхъ, но одинъ, не разобранный нами и оставшійся отъ прошлаго года рассказъ, помѣщенный въ XII № Современника, мы считаемъ не лишнимъ разобрать здѣсь, тѣмъ болѣе, что онъ представляетъ собою довольно наглядно крайности и недостатки произведеній, являющихся еще и доселѣ, какъ отырки упомянутого нами направленія. Это рассказъ «Пѣвица», подписанный именемъ иногороднаго подписчика, но таеъ явно обличающій и манеру и взглядъ автора Полинки Саксъ, Жюли, Фрейлейнъ Вильгельмины, что мы беремъ на себя право смотрѣть на него, какъ на произведеніе г. Дружинина.

Не соглашаясь весьма во многомъ со взглядомъ г. Дружинина какъ повѣствователя, и расходясь почти радикально съ иногороднымъ подписчикомъ, мы не отрицали никогда извѣстной степени дарованія въ авторѣ *Полинки Саксъ*, находя только въ этомъ дарованіи одинъ, и притомъ весьма важный существенный порокъ: напряженность, чтобъ не сказать аффектацію. Почти тоже самое можно сказать и о рассказѣ «Пѣвица»—не смотря на то, что онъ далеко ниже и *Полинки Саксъ* и даже *Жюли*—рассказъ блестящемъ, но блестящемъ мишурою, читающемся съ интересомъ, но съ такимъ интересомъ, который ни мало не принадлежитъ къ впечатлѣніямъ художественнымъ. Все тутъ дышетъ претензій, хотя, конечно, нельзя отрицать, что это—претензія человека умнаго и даровитаго: чувства постоянно натянуты, мысли постоянно стараются быть оригинальными, въ самомъ остроуміи видно усиліе.

Въ почтовой конторѣ одного маленькаго городка на Кавказѣ соб-

\*) Здѣсь разумѣются мелкія статьи, появившіяся въ *Москвитяинѣ* 1851 года.  
Изд.



ралось нѣсколько человекъ, чающихъ движенія воды, т. е. писемъ. Въ числѣ ихъ находится безъ сомнѣнн и рассказчикъ. Онъ получаетъ большой пакетъ съ крошечнымъ лоскуткомъ газетной бумаги; на этомъ лоскутѣ, тщательно обрѣзанномъ, пять или шесть строкъ было подчеркнуто карандашомъ.

«Я началъ читать,»—говоритъ онъ,—«то было одно изъ стереотипно-избитыхъ описаннй петербургской погоды и лѣтнихъ увеселеннй. Солнце улыбалось послѣ непогоды, и столичные жители, пригрѣтые его животворными лучами, поспѣшали отправляться на дачи, въ театръ, въ конкордню и т. д. Наше сѣверное лѣто было такъ же хорошо, какъ будто въ Италн. Одно только событн огорчало весь порядочный людъ сѣверной Пальмиры: извѣстная пѣвица, столько лѣтъ бывшая любимцею просвѣщеннѣйшей публики, стяжавшая столько лавровъ на нашей родинѣ, блестящая, чудная и обворожительная, ни съ кѣмъ несравненная снъора NN, покинула своихъ сѣверныхъ поклонниковъ и поѣхала въ дальнн губернн Россн за новыми лаврами, за новыми успѣхами! Пожелаемъ же ей....»

Этотъ газетное извѣстн привело въ бѣшенство рассказчика, потому что пѣвица NN—предметъ его антипатн, антипатн страстной, болѣзненной, фантастической по его собственному признанн. О причинахъ происхожденн этой антипатн повѣствуетъ онъ очень остроумно. Начало этой болѣзни почувствовалъ онъ еще за границей, въ представленн Ломбардцевъ Верди, истерзавшихъ его нѣжныя нервы: вы знаете, что всѣ герои рассказовъ г. Дружинина одарены необыкновенно-раздражительными нервами и даже преимущественно заботятся о томъ, чтобы имѣть раздраженные нервы. Въ это несчастное представленн Ломбардцевъ, когда авторъ уже думалъ бѣжать, стряхнувъ прахъ съ своихъ сандалий,—«явилась пѣвица NN, разметавъ по плечамъ какое-то рыжеватое отребн, говоритъ онъ, и голосъ ея зазвучалъ, нанося страданн моему сердцу». Въ Петербургѣ онъ опять встрѣтилъ пѣвицу NN, и здѣсь претерпѣлъ еще злѣйшн, по словамъ его, бѣдствн:

*мнхо*  
«У меня—повѣствуетъ онъ—былъ прнатель, литераторъ, *очень рѣдко говорившнй о литературѣ* (NB. Замѣчайте, какое дилетантское презрѣнн въ литературѣ). Онъ писалъ маленькня статеечки, очень веселенькня и прѣстенькня статеечки въ разныхъ журналахъ и газетахъ. Онъ умѣлъ говорить съ читателями о погодѣ, о томъ, что фельетонисту иногда писать не о чемъ. *Я всегда любилъ статеечки этого рода и перечитывалъ ихъ послѣ втораго стакана чаю...* (NB. Настоящее, джентльменское разочарованн въ литературѣ и въ прочемъ). И вдругъ, о ужасъ!—

въ пріятелѣ моемъ я замѣтилъ страшную переѣну, признакъ зловѣщій и убійственный».

Пріятель, изволите видѣть, сталь писать о пѣвицѣ NN, писать по поводу всего на свѣтѣ, по поводу новаго магазина, лампъ съ коловратнымъ движеніемъ, и вовсе не потому, чтобы влюбился въ пѣвицу, а подъ вліяніемъ такого же фантастическаго недуга, который произвелъ въ разскащикѣ его болѣзненную антипатію. Литераторъ, пописывавшій газетныя статейки, нравившіяся необыкновенно герою разсказа, былъ, должно быть, какъ этотъ послѣдній, слабо-нервенъ...

Помните ли вы, чтитатели, одну статью въ «Библиотекѣ для Чтенія», по поводу стихотвореній покойнаго Губера, статью, исполненную парадоксовъ, когда-то считавшихся остроумными, ѣдкой ироніи и самыхъ удивительныхъ экстравагантностей. Статья доказывала, что имѣть нервы разстроенные—величайшее блаженство, что разстроенные нервы даются не всякому, что по большей части человѣчество имѣетъ только претензію на разстроенные нервы. *Почему-то* эта статья припомнилась намъ, когда мы читали разсказъ г. Дружинина, и тоже, *почему-то*, фантастическій недугъ героя показался намъ огромною претензіею на разстроенные нервы.

Итакъ, другъ разскащика, литераторъ, по словамъ перваго, «былъ увлекаемъ своею судьбою, надъ нимъ тяготѣла убійственная звѣзда; демонъ, облекшись въ образъ тощей артистки, впился въ его существованіе. Нѣсколько разъ давалъ онъ мнѣ клятвенное обѣщаніе не говорить ни одного слова о г-жѣ NN, изгнать ея имя изъ своихъ статейкъ,—и что же! не прошло двухъ дней, а это ужасное имя опять красовалось предъ моими глазами. Не говори ничего о музыкѣ, упрасивалъ я бѣднаго страдальца, переходи къ предметамъ болѣе новымъ. Хорошо, отвѣчалъ онъ: я стану толковать о модахъ. Дѣйствительно, на другой день рѣчь шла о пальто: я успокоился, похвалилъ силу воли въ писателяхъ. Но, ахъ, это была одна мечта! Мой другъ совѣтовалъ своимъ читателямъ заводить пальто потеплѣе, потому, писалъ онъ, что скоро возобновятся концерты, и мы опять услышимъ обширный голосъ синьоры NN, будемъ разгорячаться ей аплодируя, а кто не знаетъ, какъ вредно разгоряченному человѣку стоять на сквозномъ вѣтрѣ и дожидаться своего легонькаго пальто».

Не можемъ не замѣтить, что авторъ чрезвычайно ловко потѣшается надъ фельетонными статейками, и глубоко изучилъ тактику фельетонистовъ, и можно предположить съ нѣкоторою достовѣрностію, что не мало времени употребилъ онъ на изученіе этого важнаго предмета.

Кромѣ пѣвицы NN, у разскащика есть еще непріятельница, жена Льва

Кирилыча ...скаго, Madame Sophie, иностранка по происхожденію. О причинахъ своей вражды съ нею повѣствуетъ онъ съ *граціозною* и весьма *назидательною* откровенностью, хотя, въ сожалѣнію, мы не можемъ назвать эту *милую* откровенность оригинальною; потому что блаженной памяти Печоринъ высказывался съ гораздо большею энергіею и простотою.

«Но отъ него же госпожа ...ская была вашимъ врагомъ? спросятъ меня *младыя* (NB. Мы не даромъ подчеркнули это прилагательное; тутъ все не просто, все имѣетъ сильную претензію на разочарованіе, и еще болѣе сильную на остроуміе, даже и «младыя» вмѣсто «молодыя») дѣвицы, *желающія знать сюжетъ всякой оперы и причины всякаго человѣческаго поступка*. (NB. Какъ же не разочарованіе и не остроуміе? Какихъ вамъ еще надобно, читатели?... Вѣдь смѣшно, въ самомъ дѣлѣ, желать знать причины всякаго человѣческаго поступка, и это желаніе равно желанію знать сюжетъ всякой оперы?... вѣдь смѣшно это, не правда ли? Вы навѣрно согласитесь съ рассказчикомъ, если вы, какъ онъ же, *настоящіе джентльмены*?) Э, Боже мой, этого я и самъ хорошенько не знаю. Мы были недовольны другъ другомъ, особенно я *имѣлъ полное право быть недовольнымъ*» (NB. Жаль только, что свои *права* рассказчикъ заимствовалъ, или, лучше сказать, раздѣлилъ по наслѣдству, доставшѣмуся отъ Печорина, съ пзвѣстнымъ вамъ Тамаринымъ.) «*Зачѣмъ Софья Осиповна была вѣчно окружена мужчинами и не бросила ихъ, и не изъявляла желанія со мной познакомиться? для чего она стотрѣла на меня очень холодно, когда я оглядывалъ ее съ ногъ до головы на гуляньяхъ*» и т. д.

Признаемся откровенно, мы не понимаемъ даже, какъ въ наше время самимъ повѣствователямъ не совѣстно высказывать подобныя вещи? Никто уже болѣе не вѣритъ ни въ эти гигантскія самолюбія, ни въ это разочарованіе; всѣ видятъ въ этомъ одну только претензію, всѣ знаютъ, какъ мелочны въ основахъ эти самолюбія, какъ дешево приобрѣтается это разочарованіе, и между тѣмъ, въ любой изъ обыкновенныхъ повѣстей вы ихъ встрѣтите.

Но у автора есть еще особенныя, ему исключительно принадлежащія, совершенно джентльменскія прихоти, любовь къ капризнымъ женщинамъ и тому подобныя.

«Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ рассказчикъ, какая неприятная вещь капризы и избалованность въ женщинѣ» (NB. Подразумѣвается, что это говорится съ ироніей, что именно избалованность и капризность особенно нравятся рассказчику). «Еслибъ у Софіи ...ской былъ мужъ лучше, если-бъ за ней вѣчно не бродило пол-сотни стариковъ и юношества, съ ней можно бы было иногда съ удовольствіемъ поговорить о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе. *Минь даже можно со-*

знаться... (NB. Все слѣдующее за этимъ явно впадаетъ въ тонъ дневника Печорина) «что ея глаза и ножки выходятъ изъ ряда обыкновенныхъ глазъ и ножекъ» (NB. Недостаетъ только, чтобы эти ножки были обуты въ ботинки souleux рисе, какъ ножки княжны Мери; впрочемъ, утѣштесь, эти ножки точно также узки). «У ней есть еще необычайно милая манера краснѣть при всякомъ противорѣчии, и какъ еще краснѣть! На ея лицѣ, обыкновенно блѣдномъ, разливается, какъ отблескъ угасающей зари по снѣгу... такой легкой румянецъ, что...»

Ясно, что вражда автора къ М-ше Софii—любовь, или, говоря по старой памяти языкомъ гегелистовъ, лѣвая сторона любви. Поводъ высказаться подаетъ этой любви случайное обстоятельство. У рассказчика есть спутникъ, мосье Антоновичъ, промотавшійся юноша, который вызвался провожать М-ше Софи въ экипажѣ своего друга, и распорядился такимъ образомъ его особою, въ надеждѣ на его джентльменскую вѣжливость. Дѣйствительно, надежда не обманула юношу. Рассказчикъ посердился сначала и сказалъ было: «ты побѣждай, а я еще буду ждать писемъ», но промотавшійся юноша отвѣчалъ ему жалобно: «любезный другъ, мнѣ придется ѣхать верхомъ на палѣ».

«Этотъ послѣдній аргументъ», говоритъ рассказчикъ, который—отнимите у него высказывающуюся повсюду претензію на джентльменство,—оказывается въ этомъ случаѣ чрезвычайно милымъ и простодушнымъ человѣкомъ,—былъ слишкомъ силенъ; полупугливый, полупечальный тонъ промотавшагося юноши трогаетъ меня сильнѣе всѣхъ философскихъ доводовъ. Кто изъ насъ не проматывался и не сидѣлъ на чужбинѣ съ цѣлковымъ въ карманѣ, но непременно съ глубокою любовью въ сердцѣ? Гнѣвъ мой прошелъ, мнѣ стало стыдно моихъ рѣзкихъ словъ; я готовъ былъ извиняться предъ моимъ влюбчивымъ пріателемъ, но онъ не нуждался въ извиненіяхъ; замѣтивъ, что я пересталъ хмуриться, вѣтренникъ перешелъ къ живѣйшимъ изъявленіямъ восторга, и даже не заботясь о томъ, чтобы разогнать послѣднія облака досады, сидѣвшія на моемъ челѣ, сталъ исполнять по комнатѣ какой-то кабардинскій танецъ, размахивая обнаженною шашкою и вывертывая съ быстротою, достойной лестнаго одобренія гораздо многочисленнѣйшихъ зрителей. Дѣло было устроено къ моему полному огорченію».

На дорогѣ, разумѣется, рассказчикъ сближается съ своей неприятельницей; сблизило ихъ въ особенности одно въ самомъ дѣлѣ поэтическое впечатлѣніе, которое и передано въ рассказѣ прекрасно. Вообще тутъ начинается живая сторона разсказа. Столько молодости, столько настоящихъ страстныхъ порывовъ высказывается тутъ искренно, что

еще болѣе становится досадно на претензію, проглядывающую всюду, вредящую всему...

Разъ они, т. е. разскащикъ и его спутникъ, отстали отъ М-ше Софи и ея мужа, потому что тарантасъ ихъ сломался. Разскащикъ только-что проснулся, только-что разстался съ самымъ очаровательнымъ сномъ и вдругъ говорятъ ему о случившемся.

«Я выпрыгнулъ на землю, но *не ухватился за голову*» (NB. Вотъ это такъ! вотъ это искренно! вотъ это понятно—въ самомъ дѣлѣ, кому не хотѣлось иногда удержать въ памяти свѣтлое сновидѣніе?—а извѣстно всѣмъ, что стоитъ только, проснувшись, ухватиться за голову, чтобы сонъ исчезъ на вѣки изъ воспоминанія). «Мнѣ повѣдали все бѣдствіе;—оно было не малымъ. Нигдѣ не было жилья, ночь грозила накрыть насъ въ степи, и хотя опасности не было никакой, но мы должны были неминуемо потерять Madame Sophie. Мужъ ея обѣщалъ ждать насъ только до вечера, и уже два часа, въ теченіи моего сна, стояли мы съ взломаннымъ колесомъ, одни одиноконьки. Сердце мое сжалось и потомъ вдругъ какъ будто расширилось: я чувствовалъ въ себѣ странную энергію; я былъ готовъ отдать полжизни за вечеръ въ О..., за взглядъ моей молодой спутницы. Я желалъ ее увидѣть еще разъ, желалъ этого всѣми силами моей жизни и *всприль, что мое желаніе исполнится*». (Слова эти подчеркнуты въ самомъ подлинникѣ).

«Называйте меня суперъ-натуралистомъ» (NB. Къ чему эти отговорки, т. разскащикъ? Или боитесь вы быть искреннимъ — напрасно! Не одни *суперъ-натуралисты*, но весьма много людей съ страстною организаціей раздѣляютъ съ вами вашу вѣру); «существомъ избалованнымъ чрезъ посредство стеченія счастливыхъ случайностей, но я знаю, что говорю. Я увѣрею, что и въ малыхъ и въ великихъ событіяхъ жизни, иногда стоитъ только пожелать всѣми силами тѣла и духа, пожелать чего-нибудь, не выходящаго изъ предѣловъ возможности, для того, чтобы событіе будто покорилось вамъ. Десять разъ въ своей жизни я имѣлъ подобныя желанія: иногда они были пустыми, а иногда важными желаніями; десять разъ въ моей душѣ происходилъ какой-то неслыханный феноменъ сосредоточенной воли, а девять разъ изъ десяти я достигалъ того, въ чему стремился.»

Авторъ этихъ выписанныхъ нами строкъ должно быть очень молодой, но признаемся откровенно, мы желали бы побольше такихъ искреннихъ строкъ, и притомъ безъ оговорокъ, безъ претензіи на джентльменство и разочарованность,—желали бы, чтобы авторъ Жюли и Пѣвницы отдавался болѣе своей непосредственной и страстной натурѣ, отдавался ей такъ же безъ заднихъ мыслей, какъ отдается, напримѣръ, А. де-

Мюссе. Но, увы! претензія губить его дарованіе,—и сколько разъ, читая разсказъ Дружинина, мы были готовы сказать автору то, что Гамлетъ говорить матери, относя конечно это восклицаніе не къ сердцу, а къ таланту:

O, throw away the worser part of it,  
And live the purer with the other half!

На разсказъ «Пѣвица» и остановились мы по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что не успѣли разобрать его въ прошедшемъ году,—а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, потому, что онъ принадлежитъ къ категоріи произведеній, представляющихъ собою развитіе лермонтовской мысли. Въ г. Дружининѣ, безспорно, больше таланта, чѣмъ во всѣхъ другихъ великосвѣтскихъ и не-великосвѣтскихъ подражателяхъ покойнаго поэта,—но поэтому самому, смѣшныя стороны направленія выдаются въ немъ рѣзче. Въ самомъ дѣлѣ—все трагическое, что было въ протестѣ личности, у него исчезаетъ и замѣняется или мелочнымъ или причудливымъ,—самая дѣйствительность явно представляется миражемъ, въ настоящее бытіе котораго никто уже не можетъ вѣрить. Въ этомъ отношеніи г. Дружининъ, какъ человекъ съ дарованіемъ, пошелъ и самостоятельнѣе и дальше г. Авдѣева и другихъ подражателей—онъ довелъ безобразное развитіе личности до каприза, причуды, мелочности,—въ немъ, однимъ словомъ, окончательно истощается направленіе.

Переходимъ теперь къ тѣмъ явленіямъ въ нашей литературѣ, которыя представляютъ собою послѣдствія гоголевскаго слова. Ихъ можно раздѣлить на слѣдующія группы:

1) Такія произведенія, въ которыхъ взята только форма гоголевскаго творчества, а сущность міросозерпанія—лермонтовская.

2) Такія, въ которыхъ гоголевскій юморъ отдѣленъ отъ стремленія къ идеалу и господствуетъ одинъ—дошедши до самыхъ крайнихъ причудъ и странностей.

3) Наконецъ такія, которыя, слѣдуя пути проложенному Гоголемъ, носятъ на себѣ, однако, признаки таланта, самобытности, жизни, хотя не представляютъ собою разрѣшенія никакихъ новыхъ задачъ.

Историческое происхожденіе всѣхъ этихъ трехъ категорій весьма понятно для всякаго, кто слѣдитъ постоянно за ходомъ нашей литературы и критики. Разсмотримъ каждую изъ этихъ категорій въ отдѣльности.

1) Отношеніе Гоголя къ дѣйствительности, выразившееся по преимуществу въ юморѣ, мы вывели изъ двухъ сторонъ его полной художественной натуры. Мы указали на этотъ смѣхъ, карающій какъ Неме-

зида потому, что въ немъ слышатся слезы по идеалѣ,—смѣхъ, возвышающій моральное существо человѣка. Но такое отношеніе къ дѣйствительности могло явиться трезвымъ и цѣломудреннымъ только въ великой и цѣльной натурѣ истиннаго художника; не всѣ даже поняли его вполнѣ,—это отношеніе любви, дѣйствующей посредствомъ смѣха,—не всѣ уразумѣли отношеніе къ идеалу, хотя и много толковали о немъ по поводу произведеній Гоголя. Для многихъ, даже для большей части, стремленіе художника къ идеалу представлялось въ видѣ того же самаго протеста личности, который слышали они въ стихахъ Лермонтова, облитыхъ горечью и злостью. Понятна была только форма произведеній Гоголя, понятно было, что новая руда открыта поэтомъ, руда анализа повседневной, обычной дѣятельности,—и на то самое, на что Гоголь смотрѣлъ съ любовью къ правдѣ неизмѣнной, къ идеалу, другіе, и даже даровитые люди, взглянули только съ личнымъ убѣжденіемъ, или съ предубѣжденіемъ. Отсюда ведутъ свое начало разные сатирическіе очерки, отсюда безконечное множество повѣстей, кончавшихся припѣвомъ: «и вотъ что можетъ сдѣлаться изъ человѣка», повѣстей, въ которыхъ по волѣ и прихоти ихъ авторовъ, съ героями и героинями, задохнувшимися, по ихъ мнѣнію, въ грязной дѣйствительности, совершались самыя удивительныя превращенія,—въ которыхъ все, окружавшее героя или героиню, нарочно, намѣренно, изображалось каррикатурно. Была своя хорошая сторона, своя заслуга въ этой манерѣ, но односторонность ея скоро обнаружилась весьма явно. Забавнѣе всего было то, что никогда такъ сильно не бранили романтизма, какъ въ этомъ періодѣ самыхъ романтическихъ отношеній авторовъ къ дѣйствительности: фактовъ мы не приводимъ, потому что они болѣе или менѣе всѣмъ извѣстны и у всѣхъ еще въ памяти.

Но подобное отношеніе къ дѣйствительности не могло быть продолжительно—по самымъ основнымъ своимъ началамъ. Примиреніе, т. е. ясное уразумѣніе дѣйствительности *sine ira et studio*, необходимо чело-вѣческой душѣ, и искать его надобно поневолю въ той же самой дѣйствительности, тѣмъ болѣе, что нашлось много людей, которые съ сомнѣніемъ качали головою, читая разныя каррикатурныя изображенія, и дерзали думать, что слишкомъ черныя густыя краски употреблены на картины потому, что живописцы находятся въ припадкѣ *меланхолии*, что *родственники* разныхъ барышень вовсе не такіе звѣри, какими они кажутся описателямъ, что даже грязны они потому только, что автору хотѣлось въ видѣ особенной добродѣтели выставить *чистоплотность* какой нибудь Наташи... усомнились, однимъ словомъ, въ томъ, чтобы дѣйствительность была такъ грязна и черна, а романтическая личность

такъ права въ своихъ требованіяхъ, какими угодно было ту и другую показывать повѣствователямъ. Русскій человѣкъ отличается, какъ известно, особенною смѣтливостью: онъ готовъ признать всѣ свои недостатки, но не впадетъ отъ нихъ въ мрачное мистическое отчаяніе, не станетъ ихъ преувеличивать. Потребность примиренія, однимъ словомъ, обозначилась очевидно.

Явилось дарованіе примѣчательно яркое, но, да позволено будетъ сказать прямо, дарованіе чисто внѣшнее, безъ глубокой мысли въ задатѣхъ, безъ истиннаго стремленія къ идеалу, дарованіе г. Гончарова, которое такъ или иначе отвѣтило на эту потребность, какъ могло и какъ умѣло—и вотъ объясненіе необыкновеннаго успѣха «Обыкновенной Исторіи», произведенія отдѣланнаго въ частностяхъ и подробностяхъ, сухаго до безжизненнаго догматизма по основной идеѣ, построеннаго въ видѣ самой искусственной аллегоріи. Дарованіе г. Гончарова не пошло по новой дорогѣ—оно вышло цѣликомъ изъ той же категоріи и было только ея цвѣтомъ. Примиреніе выразилось въ немъ ироніею какаго-то отчаянія, смѣхомъ надъ протестомъ личности съ одной стороны и скорбнымъ сознаніемъ торжества сухой, безжизненной, безосновной практичности. Все было тутъ принесено въ жертву этой ироніи. Авторъ вывелъ двѣ фигуры—одну жиденькую, худенькую, слабенькую, съ ярлыкомъ на лбу: романтизмъ quasi-молодаго поколѣнія,—и другую цвѣтущую здоровьемъ, спокойную какъ математика, съ ярлыкомъ: практическій умъ. Послѣдній, разумѣется, торжествовалъ въ своихъ разсчетахъ, какъ добродѣтельная любовь въ старинныхъ романахъ и комедіяхъ... но... (и въ этомъ *но*—заключается быть можетъ будущее таланта г. Гончарова)—въ концѣ романа приходило ко всему весьма странное обстоятельство: практическій умъ начиналъ беспокоиться на счетъ сердца... Такова была мысль произведенія г. Гончарова, мысль ни мало не скрытая, а, напротивъ, просившаяся наружу, кричавшая въ каждой фигурѣ романа. Много нужно было таланта для того, чтобы читатели забывали въ романѣ явно-искусственную постройку, — но кромѣ таланта, самая мысль произведенія г. Гончарова поразила большинство новизною, понравилась всѣмъ такъ называемымъ практическимъ людямъ, которые всегда любятъ, когда бранятъ молодое поколѣніе за разные стремленія; понравилась даже тѣмъ, которые косо посматривали на «Мертвыя души» или издѣвались надъ ними, — но признаемъ откровенно, мы не думаемъ, чтобы самъ даровитый авторъ «Обыкновенной исторіи» былъ доволенъ такимъ успѣхомъ своего произведенія. Стремленіе къ идеалу не признаетъ своего питомца въ Александрѣ Адуевѣ, и иронія пропала здѣсь задаромъ. Иного слова вправѣ мы ожи-



дать отъ автора «Сна Обломова»—произведенія, которое, не смотря на односторонность взгляда, написано яркими, поэтическими красками.

2) Почти въ то же самое время, какъ протестъ личности, принявшись за гоголевскій анализъ дѣйствительности, истощился окончательно и посмѣялся самъ надъ собою—выступило на арену литературы другое направление, которое гораздо ближе относится къ исходной исторической точкѣ, хотя въ крайнихъ своихъ проявленіяхъ и дошло до того же протеста личности. Отдѣлите болѣзненный юморъ раздражительной натуры отъ стремленія къ идеалу въ произведеніяхъ Гоголя—и дѣйствительно чудовища явятся на свѣтъ Божій вълѣдствие причудъ этого болѣзненного юмора. Взгляните на Акакія Акакіевича съ сентиментальной точки зрѣнія, проникнитесь въ отношеніи къ нему не общечеловѣческимъ, правдивымъ сочувствіемъ—а исключительно, болѣзненною симпатіею,—пойдите, однимъ словомъ, противъ вѣчной мудрости природы, плачьте о томъ, что безобразіе—безобразіе, смѣльное—смѣшно, жалкое—только жалко;—возведите на степень *права* требованія героевъ *Записокъ Сумасшедшаго*; и вотъ явились Макарь Алексѣичъ Дѣвушкинъ, господинъ Голядкинъ, господинъ Прохарчинъ, всѣ эти герои зловонныхъ, темныхъ угловъ, герои, которые и дѣйствительно существуютъ, но, во-первыхъ, не одни же въ цѣломъ божьемъ мірѣ, а во-вторыхъ, существуютъ не такими, какими создаютъ ихъ себѣ авторы... Даже даровитый авторъ *Записокъ Охотника* заплатилъ дань этому несчастному направленію, и онъ въ лицѣ Мошкіна, испортившемъ его комедію «Холостякъ», выражалъ неудовольствіе противъ разумнаго порядка природы, и не одинъ онъ, многіе увлеклись этою одностороннею, болѣзненною точкой зрѣнія. Чудища, порожденныя ею, слишкомъ безобразны, и на нихъ долго останавливаться не нужно.

3) Переходимъ теперь къ третьей категоріи литературныхъ произведеній, обязанныхъ бытіемъ своимъ творчеству Гоголя. Эти произведенія представляютъ собою простое изученіе и изображеніе дѣйствительности; нельзя сказать, чтобы всѣ они были чужды одинаково заднихъ мыслей, да и трудно требовать этого въ наше время,—нельзя, съ другой стороны, сказать также, чтобы во всѣхъ ихъ, какъ въ произведеніяхъ первой и второй группы, проглядывала одна и та же задняя мысль, что уже весьма утѣшительно. Нельзя наконецъ, что еще болѣе утѣшительно, не замѣчать, что, чѣмъ болѣе даровитые люди, какъ гг. Тургеневъ, Григоровичъ, П. А-въ, сближаются, знакомятся съ избранною ими для изученія сферою жизни,—тѣмъ менѣе начинаетъ давить ихъ гнетъ задней мысли, тѣмъ свободнѣе становится ихъ творчество, а другой, истинный и сильный талантъ, каковъ г. Писемскій, начинаетъ выска-

зывать свое прямое сочувствіе къ лицамъ, хотя сохраняетъ при этомъ всю непосредственность въ изображеніи явленій дѣйствительности. Нельзя не видѣть, однимъ словомъ, что дѣйствительность стоитъ на первомъ планѣ въ современной литературѣ, и что къ ней приступаютъ съ чистыми руками и съ желаніемъ правды. Различныя сферы жизни подвергаются художественной разработкѣ: и сфера большого свѣта, и сфера низшаго быта.... Являются, наконецъ, произведенія уже вполне самобытныя, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ представляющія собою разумное послѣдствіе точки отправления.

Такова настоящая минута. Остается намъ взглянуть теперь только на ея послѣднія произведенія, что и сдѣлаемъ мы въ нашей четвертой, заключительной статьѣ.

#### СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

##### Литературныя явленія прошедшаго года.

Мы очертили путь, которымъ шла литература въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, подвели, какъ мы думаемъ, безъ натяжки ея различныя явленія подъ исходныя начала, и видѣли, что ея послѣднее историческое слово было—прямое отношеніе художника къ дѣйствительности. Въ этого прямого отношенія нѣтъ для таланта ничего въ настоящую минуту. Протестъ личности, какъ вышедшій изъ весьма неглубокихъ источниковъ и въ послѣднее время окончательно разбѣнявшійся на мелочь, наскучилъ всѣмъ смертельно и сталъ смѣшонъ; отрицательная манера въ изображеніи дѣйствительности, въ свое время относительно полезная, также потеряла въ настоящую минуту всякую цѣнность; никто не вѣритъ уже ни въ дѣйствительность страданій разныхъ героевъ, сложившихся по прототипу Печорина, и съ другой стороны, никто уже не допускаетъ возможности тѣхъ *превращеній*, кои *грустная* дѣйствительность производила въ разныхъ повѣстяхъ съ героями и героинями по волѣ ихъ авторовъ; то и другое явнымъ образомъ принадлежитъ къ области романтизма, довольно широкой, чтобъ вмѣстить въ себя всякій протестъ личности, вытекающій изъ однихъ только личныхъ основаній. Но да не подумаютъ, чтобы грубое служеніе дѣйствительности и неразумное оправданіе всѣхъ явленій, потому только, что они—явленія, считали мы послѣднимъ словомъ искусства въ настоящую минуту. Въ такую крайность впасть пожалуй и легко изъ противоположной крайности—но, ни мертвая копіровка явленій не можетъ удовлетво-

рять талант, ни равнодушное оправданіе ихъ не можетъ удовлетво- рить души человѣческой; первый носить въ себѣ формы идеала, послѣд- няя—стремленіе къ оному. И потому самому, вслѣдствіе прямого отно- шенія къ дѣйствительности, она поясняется, такъ сказать, оразумли- вается для таланта, и ясно выступаютъ для души человѣческой изъ-за преходящихъ явленій непреребѣнные и вѣчные законы правды, и снова крѣпко срастаются и сплачиваются въ душѣ ея распавшіяся основы,— и многія простыя, старыя истины возникаютъ обновленныя изъ хаоти- чески-романтическаго броженія, грозившаго поглотить ихъ. Таковъ про- цессъ, совершающійся въ каждой благоустроенной душѣ человѣческой,— такой же процессъ совершается и въ литературѣ. За моментомъ разло- женія, которое необходимо было потому, что къ основамъ, къ простымъ веществамъ, примѣшалось много чуждаго, вѣшняго, наноснаго, насту- паетъ моментъ крѣпкаго и органическаго срастанія, обусловленнаго, конечно, яснымъ сознаниемъ простыхъ началъ....

Счастливы, трижды счастливы тѣ, которые вѣрують въ исторію, еще счастливѣе тѣ, которые чувствуютъ ея дыханіе. Многіе говорятъ въ на- ше время объ исторіи—но многіе ли способны дѣйствительно въ нее вѣровать, и еще не меньшее ли количество тѣхъ, которые чувствуютъ ее по непосредственному наитію? Неужели тѣ въ нее вѣрують, которые понимаютъ послѣдовательность историческаго развитія литературы *только* въ проведеніи своихъ мыслей, неужели *ты* ее чувствуютъ, кото- рые способны закладатъ камнями все ново-возникающее въ литературѣ, потому только, что оно возникло безъ ихъ вѣдома и согласія? Нѣтъ! не вѣрують они въ исторію, ибо неспособны сознать исторической необ- ходимости иной литературной задачи, кромѣ ихъ собственной; не чув- ствуютъ они исторію, ибо не въ силахъ стать выше преходящихъ явле- ній, выше самихъ себя, въ уровень съ вѣчными началами правды—и во всѣхъ новыхъ литературныхъ явленіяхъ они видятъ только враждеб- ныя имъ лично явленія, и неспособны они, какъ старый баронъ Аттинг- хаузенъ, умирающій на рукахъ иного и крѣпкаго поколѣнія, въ эпичес- кой драмѣ Шиллера, сказать съ полнымъ, религіознымъ самоотрече- ніемъ:

Durch andre Hände will  
Das Herrliche der Menschheit sich erhalten...  
Es ändert sich die Zeit,  
Und neues Leben blüht aus den Ruinen!

Къ чести человѣческой души, мы думаемъ, что подобная неспособ- ность отрѣшаться отъ своихъ собственныхъ идеаловъ—не есть постоян- ный законъ ея процесса, что она скорѣе обусловлена ненормально об-

разовавшимися и болѣзненно нарощими въ ней заложениями; изъ нихъ-то собственно и слагается та уродливо развившаяся, не допускающая къ себѣ никакого прикосновенія личность, которая высовывается еще до сихъ поръ изъ-за разныхъ угловъ нашей литературы. Она знаетъ и видитъ только себя, помнить только то, что она по своему убѣжденію дѣлала хорошаго и благороднаго, и всякія скромныя возраженія зоветь ограниченностью, а прямое противодѣйствіе ея противуестественнымъ прихотямъ—дѣломъ неблагороднымъ. Конечно, она и не понимаетъ, что своими безмѣрно выпятившимися претензіями ставитъ себя въ весьма комическое положеніе, и самую раздражительность ясно даетъ знать, что, куда не прикоснись къ ней, вездѣ найдешь больныя мѣста. Конечно также, современная литература не обязана обходить этихъ больныхъ мѣстъ, не обязана для ихъ же собственной пользы. Любовь, разумно воспитанная, состоитъ не въ томъ, чтобы беречь въ личностяхъ ихъ слабыя стороны, а въ томъ, чтобы уважать въ нихъ неперемѣнное; равномѣрно, и уваженіе къ дѣлу, до насъ совершенному, къ слову, до насъ связанному, заключается не въ томъ, чтобы принимать это дѣло со всѣми неорганическими наростами, повторять это слово какъ мертвую букву, на основаніи *αὐτός ἔφη*, но въ томъ, чтобы дѣло это оцѣнить по заслугамъ, ни выше, ни ниже того, чего оно дѣйствительно стоитъ, чтобы слово это очистить отъ шелухи, и взять изъ него ядро. Однимъ словомъ, превыше всего должно уважать исторію, и ради ея, откидывать отъ себя постоянно какъ чужую, такъ и собственную шелуху, повѣрять въ себѣ и въ другихъ, посредствомъ самосознанія, накопившіяся заложения и даже прибѣгать, въ случаѣ нужды, къ ампутаціямъ, хотя конечно, съ величайшею осторожностію. Это—единственное средство хранить себя отъ застою, гибельнаго котораго ничего не можетъ быть для души человѣческой.

Между тѣмъ именно такой-то застой встрѣчаемъ мы въ настоящую минуту, застой не въ литературныхъ явленіяхъ, которые дѣлаютъ свое дѣло, дѣло исторіи, а, такъ сказать, въ приемѣ этихъ литературныхъ явленій критикою, во взглядѣ на нихъ, въ эстетическихъ понятіяхъ. Литература видимо растеть, а эстетическія понятія также видимо старѣются и служиваются. Съ одной стороны, старая критика требуетъ отъ новыхъ произведеній соблюденія тѣхъ же условій, какихъ она требовала лѣтъ за десять назадъ, съ другой стороны, она же, одѣвшись въ новый костюмъ, смотритъ на все съ фешенебельной точки зрѣнія, и хочетъ, чтобы литература забавляла ее послѣ сытнаго ... или нѣтъ! ошпаемъ по недостатку тонкаго вкуса въ этомъ дѣлѣ ... послѣ гастрономически-прихотливаго обѣда. *Какъ* мирятся между собою два

такихъ равномернo-чудовищныхъ требованiя, это извѣстно только самой старой критикѣ...

Наша статья является послѣ многихъ критическихъ статей, написанныхъ какъ о различныхъ явленiяхъ прошлаго года, такъ и о всѣхъ ихъ въ совокупности; понятно читателямъ, почему мы не могли избѣжать въ этомъ случаѣ столкновенiя съ старой критикой,—понятно будетъ, вѣроятно, также и то, что обозрѣвая литературныя явленiя въ отдѣльности, мы будемъ говорить не столько о нихъ самихъ, сколько о взглядахъ на нихъ, тѣмъ болѣе, что анализировали довольно подробно въ свое время и въ своемъ мѣстѣ все замѣчательное, являвшееся въ журналахъ по части словесности.

Изъ литературныхъ произведенiй прошедшаго года, всѣхъ ярче выдѣлились—произведенiя г. Писемскаго, и романъ г-жи Евгени Туръ: Племянница. Да позволено будетъ намъ начать съ послѣдней.

Давно уже ни одинъ романъ не возбуждалъ такого сильнаго интереса въ минуту своего появленiя, какъ романъ г-жи Туръ, и давно уже литературное произведенiе не подавало повода къ толкамъ болѣе противорѣчащимъ. Любопытнымъ становится, конечно, вопросъ о причинахъ, какъ интереса, такъ равно и разнорѣчивыхъ сужденiй.. Что касается до интереса, то мы думаемъ, что онъ возбужденъ былъ не первою частию романа, напечатанною въ прошлогоднемъ Современникѣ, и весьма слабою въ художественномъ отношенiи, до того слабою, что перечестъ ее вторично не доставало, вѣроятно, смѣлости ни у кого, кромѣ присяжныхъ пѣновщиковъ литературы и той части публики, которая читаетъ все сплошь, что ни попадетъ. Нѣтъ—симпатiю къ роману возбудилъ отрывокъ изъ его третьей части, подъ именемъ «Антонины» помѣщенный въ *Кометѣ*, и еще болѣе,—ожиданiе, что мыслящая и живо чувствующая женская натура скажетъ свое слово въ отношенiи къ такой сферѣ жизни, которой до сихъ поръ касались на перечень два, три писателя, къ сферѣ, которая дѣйствительно представляетъ собою богатую руду для художественнаго анализа, какъ и всякая другая; мало тронутая сфера. Антонина служила ручательствомъ за то, что горячее сердце бьется въ груди автора *Племянницы*, и любопытно было въ самомъ дѣлѣ посмотреть, подъ каковымъ угломъ зрѣнiя авторъ «Антонины» и «Ошибки» взглянетъ на запутанныя въ блестящихъ и холодныхъ формахъ большого свѣта человѣческiя отношенiя.

Два-три писателя—сказали мы—относились какимъ-либо образомъ къ этому слою общественной жизни; наименовать ихъ не трудно: это князь Одоевскiй, г. Павловъ и графъ Соллогубъ; всѣ прочiе, какъ-то: господинъ Дружининъ и многiе другiе, имѣли только претензiю на воз-

браженіе, такъ называемаго, большаго свѣта. Необходимо сказать нѣсколько словъ о трехъ, наименованныхъ нами, повѣствователяхъ и о различіи ихъ точекъ зрѣнія.

Предполагаемъ, что читатели наши знакомы съ *Княжной Жизни* и съ *Княжной Мими*, какъ знакомы вѣроятно со всѣми, еще не ясно опредѣленными нашей критикой произведеніями мыслящаго автора «Русскихъ ночей». Можно не во всемъ соглашаться съ княземъ Одоевскимъ, даже совершенно расходиться съ нимъ во всемъ, что составляетъ его личное, ему одному вполне понятное убѣжденіе, но нельзя не признать въ немъ писателя весьма замѣчательнаго, нельзя не уважать его серьезнаго мышленія, даже и въ мистическихъ уклоненіяхъ, нельзя не сочувствовать тому благородному негодованію за человѣка, которое такъ горячо выражается и въ «Насмѣлкѣ Мертвеца» и въ «Бригадирѣ» и въ «Квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ». Князь Одоевскій любитъ человѣка, и потому онъ негодуетъ за человѣка. Но любовь бываетъ различная, и одно негодованіе, какъ чисто отрицательная сторона, не составляетъ высшей степени любви. Есть нѣчто сухое и жесткое въ одномъ негодованіи: оно обусловлено, конечно, стремленіемъ къ идеалу, но къ идеалу неопредѣленному, не принявшему для поэта крѣпкихъ, живыхъ формъ, стремленіемъ, которое, не находя себѣ питанія, само себя пожираетъ. Поэтъ не подошелъ къ жизни, не помѣрилъ въ борьбѣ съ нею внутреннихъ силъ, а взглянулъ на жизнь издали, многое увидаль рѣзко выдавшимся, еще большее усмотрѣлъ въ безразличной слитности, — и требованія своего Я поставилъ такимъ образомъ въ разрѣзъ съ дѣйствительными явленіями; естественно, что, на такой степени, его стремленія должны были, какъ отдѣленные, оторванные отъ общихъ, пойдти, такъ-сказать, въ облака, и голосъ его зазвучалъ сурово съ неприступныхъ высотъ. Естественно также, что истинное художество было немислимо при подобномъ настроеніи духа. Художество требуетъ отъ человѣка всей его личности, безъ оглядокъ, безъ заднихъ мыслей, требуетъ непосредственности душевной въ отношеніяхъ съ дѣйствительностію. Этого-то именно и недостаетъ произведеніямъ князя Одоевскаго, недостаетъ даже въ изображеніяхъ той сферы жизни, которая внѣшнимъ образомъ ему знакома. Талантъ поэта остался чуждъ ей, какъ и всякой другой сферѣ. Не отнесся онъ къ ней съ желчью сатирика, какъ гениальное дарованіе Грибоѣдова, воспитавшееся въ столкновеніяхъ съ ея противорѣчіями, и отмѣтившее ихъ клеймомъ смѣшнаго во имя настоящей правды, живущей въ душѣ каждаго человѣка. Не простой, ищущій правды, человѣкъ, а мыслитель, самъ путающійся въ противорѣчіяхъ, недоволенъ въ немъ противорѣчіями дѣйствительно-

сти; требованія его расходятся можетъ быть радикально со всякою дѣйствительностію, стремленія его безграничны и часто обличаютъ беспиліе отчаянія, раздраженіе мысли. Вѣренъ себѣ остался поэтъ и въ изображеніяхъ большого свѣта: онъ рисуетъ очень хорошо формы свѣтскихъ отношеній, глубоко оскорбляется общей неправдой или порчей человѣческой, лежащей въ ихъ основаніяхъ, но не вглядывается въ ближайшія, самой сферѣ свойственныя особенності и останавливается на одномъ грустномъ, скептическомъ сомнѣніи.

«Княжна Мими»—самый зрѣлый плодъ этого сомнѣнія, ибо въ княжнѣ Зизи видимъ мы натуру, которая только случайно поставлена авторомъ въ отношенія большого свѣта;—княжна Мими—не живое существо, а мысль, и притомъ мысль чудовищная, выведенная, какъ математическая выкладка, изъ наблюденій исключительно грустныхъ и мрачныхъ, диалектически вѣрно развитая страсть, а не типъ.

Иное отношеніе къ сферѣ высшихъ словъ выразилось въ повѣсти Н. Ф. Павлова «Милліонъ.» Тутъ живой человѣкъ съ страстями и тѣломъ вторгается въ этотъ блестящій міръ, и не ослѣпляется его внѣшними формами, а, напротивъ, съ какою-то горькою радостію всматривается въ шаткія основы спокойныхъ снаружн отношеній, какъ герой лермонтовской «Сказки для дѣтей» во внутренность великолѣпнаго спящаго города. Тутъ является уже не сухое негодованіе идеалиста, а страстное раздраженіе живого человѣка, и недавно еще, перечитывая «Милліонъ» и останавливаясь на страницахъ, гдѣ герой повѣсти любитъ своимъ богатствомъ и могуществомъ, мы чувствовали то волненіе, которое производятъ въ душѣ всегда страстные произведенія. Но взгляду Н. Ф. Павлова, хотя и высшему сравнительно съ другими повѣствователями одного съ нимъ рода, недостаетъ спокойствія, необходимаго для художника. Это—слишкомъ явный результатъ раздраженія, очевидная крайность, которая, того и гляди, перейдетъ въ другую ей противоположную. Паеосъ не обладаетъ здѣсь предметомъ, и находится въ отношеніи къ нему въ худоскываемой зависимости.

Наконецъ, отношеніе графа Соллогуба къ этой сферѣ далеко ниже отношенія къ ней двухъ поименованныхъ нами повѣствователей: оно, въ сущности, основано на равнодушномъ безстрастїи. Дарованіе блестящее, но лишенное совершенно внутренняго содержанія, видимъ мы въ этихъ повѣстяхъ, полныхъ знанія свѣта и жизни, но представляющихъ свѣтъ и жизнь подъ угломъ зрѣнія довольно личнаго и дешево прїобрѣтеннаго скептицизма. Повидимому, такое воззрѣніе на жизнь пресытило самого, безспорно талантливаго автора, но когда въ своемъ «Тарантасѣ» пустился онъ въ различныхъ сновидѣніяхъ создавать идеалы, эти идеалы

обличили слишкомъ явно бѣдность внутреннихъ заложений. Сказанное нами относится, конечно, не къ таланту Соллогуба, а къ его мирозозерцанію, и авторъ книги «На сонъ грядущій» все-таки остается единственнымъ въ своемъ родѣ беллетристомъ, котораго остроумные, живые рассказы читались, читаются и будутъ читаться съ величайшихъ удовольствіемъ всѣми; со ввлюченіемъ и его критиковъ.

У всѣхъ трехъ, поименованныхъ нами, повѣствователей, не смотря на всю разницу ихъ мирозозерцанія (это слово какъ слишкомъ тяжело-вѣсное въ приложеніи къ сочиненіямъ графа Соллогуба, да отнесутъ читатели только къ князю Одоевскому и Павлову)—представленіе о сферѣ большого свѣта почти одинаково, а именно: эта сфера является какой-то всепоглощающею и вмѣстѣ обаятельно-влекущею бездною, съ которой коллизія не обходится безъ трагическихъ послѣдствій. Припомните «Княжну Мими», страшный результатъ свѣтскихъ отношеній, припомните «Большой Свѣтъ»; повѣсть въ двухъ танцахъ, совершенно поглотившихъ, неглубокую, правда, натуру Леонина, припомните заключительную сцену «Маскарада». Есть конечно различіе въ основныхъ убѣжденіяхъ авторовъ этихъ трехъ повѣстей; различіе весьма очевидное: по взгляду автора «Большого свѣта» выходитъ, что такъ и быть должно, чтобы натура Леонина не устояла въ коллизіи, и прекрасно; что она не устояла;—по взгляду князя Одоевскаго, *Мими должна была* вслѣдствіе трагической необходимости сдѣлаться такою, какою она сдѣлалась. По взгляду г. Павлова, несравненно высшему, можно устоять въ коллизіи, вынести цѣлою и невредимою свою человѣческую самостоятельность, но за то уже *lasciate ogni speranza*,—ни вѣрованій въ чловѣка, ни вѣрованій въ любовь и въ чувство не уцѣлѣтъ въ вашей душѣ, когда разобьются они окончательно, какъ разбились въ душѣ героя «Милліона», съ какимъ-то дивнымъ сладострастіемъ добывающагося этой правды безъ покрова, этого горькаго безотраднaго результата.

Таково отношеніе къ сферѣ большого свѣта трехъ различныхъ замѣчательныхъ дарованій. Спрашивается теперь, какъ отнесся къ ней авторъ «Племянницы»...

Прежде всего авторъ «Племянницы»—мыслящая и живо-чувствующая женская натура. Это мы предпослали самому взгляду на произведеніе. Лучшее качество этого таланта—способность мыслить и чувствовать по женски. Въ женской натурѣ воплотилась тутъ и коллизія съ вышеозначенною сферою; значить, чтобы понять свѣтъ, особенность этой коллизіи, надобно вемотрѣться въ натуру Маши или Марьи Александровны, героини романа.

Мы знакомимся съ нею въ деревнѣ, у тетки ея Варвары Петровны,



которая въ бѣльшей части сценъ первой части романа является злая-презлая, а подъ конецъ выходитъ добрая-предобрая. Натура Маши, вслѣдствіе вліяній современныхъ понятій, воплощенныхъ въ лицѣ Ильменева, не выноситъ *неправды* вообще, такъ сказать, отвлеченной неправды; вслѣдствіе этихъ вліяній она становится въ разрѣзъ съ узкими понятіями Варвары Петровны. Положимъ, что она имѣла право встать въ такое отношеніе, хотя иногда слишкомъ трагически принимаетъ то, что слѣдовало бы принимать полегче, ну да Богъ съ ней—такого ужъ *деликатнаго* свойства эта натура. Но удивительно то, что въ натурѣ Маши существуютъ уже заложенія изъ сферы большого свѣта; въ деревнѣ, въ простыхъ и нѣсколько грубоватыхъ формахъ жизни, она какое-то экзотическое растеніе, которому нуженъ воздухъ. Стремленія, воплощенные въ лицѣ Ильменева, ее не удовлетворяютъ; къ Ильменеву она чувствуетъ всегда только дружбу. Вы скажете, что Ильменевъ, *такъ* выставленъ, *такъ* описанъ авторомъ, что не можетъ возбудить въ женщинѣ иного чувства; мы спросимъ васъ, *во-первыхъ*, почему онъ *такимъ* выставленъ? *во-вторыхъ*, почему это воплощеніе благородныхъ стремленій такъ мало удалось автору романа, вышло такъ безцвѣтно и вмѣстѣ ходульно? *въ-третьихъ*, почему оно обрѣчено цѣлыхъ четыре части быть какимъ-то очистительнымъ возлищемъ? Иронія-ли въ отношеніи къ стремленіямъ кроется тутъ, или неясное ихъ сознаніе? Предполагаемъ скорѣе послѣднее, чѣмъ первую, но выводимъ одно заключеніе, что натура героини принимаетъ правду не въ тѣхъ формахъ, въ какія правдѣ угодно будетъ облечься, а въ тѣхъ, которыя мыслимы для нея самой вслѣдствіе ея заложеній. Доказательствомъ этому, кромѣ отношеній къ Ильменеву, служитъ еще то, что она съ большимъ терпѣніемъ выноситъ различныя угнетенія въ блестящемъ домѣ Бѣловодской, чѣмъ въ деревнѣ у Варвары Петровны.

Судьба для этой натуры является въ видѣ князя Чельскаго. Предполагаемъ романъ прочитаннымъ всѣми нашими читателями, и потому не распространяемъ объ отношеніяхъ Маши къ Чельскому. Ясно только то, что блестящій лоскъ увлекъ преимущественно Машу въ князѣ Чельскомъ. Такихъ внутреннихъ качествъ, которыя бы неотразимо дѣйствовали на свѣжую женскую натуру, мы признаемся, въ немъ не видимъ: формы, формы и однѣ только формы, за которыми скрывается весьма скудное содержаніе. Кто-то сравнивалъ Чельскаго съ Печоринымъ, и видѣлъ въ немъ слѣды этого типа. Не весьма любя Печорина, и еще меньше того уважая его, мы однако находимъ большое разстояніе между лермонтовскимъ героемъ и холоднымъ, суетнымъ, пустымъ княземъ Чельскимъ. Князь Чельскій, полагаемъ мы, подъ старость, если

бы не убили его на дуэли, обратился бы въ г. Кивакеля, эту смѣлую гиберболу, придуманную Одоевскимъ для олицетворенія обыкновеннаго свѣтскаго героя, въ которомъ бѣдная женщина мечтаетъ встрѣтить и умъ и чувство. Печоринъ расходится со всякими формами, Печоринъ ѣдетъ умирать въ Персію (положимъ, что и не глубоки причины его разочарованія), Чельскому—привольно и любо въ формахъ. Чельскій—натура весьма ограниченная, хотя и довольно крѣпкая; между тѣмъ никого съ такимъ лирическимъ одушевленіемъ не изображаетъ авторъ «Племянницы», никого не поэтизируетъ онъ такъ, какъ этого самаго, весьма ограниченаго Чельскаго. Значитъ, изъ подъ вліянія этого характера, или, лучше сказать, этой сухой формы, повѣствовательница не высвободилась.

Отсюда, какъ мы думаемъ, произошло и то, что и къ сферѣ свѣта г-жа Евгенія Туръ стала въ отношеніе конечно высшее, нежели графъ Соллогубъ, но несравненно низшее, нежели кн. Одоевскій и г. Павловъ. Эта сфера тяготѣетъ надъ нею, какъ тяготѣетъ образъ Чельскаго: къ этой сферѣ, повѣствовательница относится, пожалуй, и съ сравнительно высшими требованіями, но съ обаяніемъ ея она не разстается. Это, если хотите, и дорого въ романѣ г-жи Туръ, если смотрѣть на него, какъ на безпритязательныя записки свѣтской женщины, но это вредитъ его художественному достоинству... Отъ этого и въ характерѣ героини романа есть нѣчто недосказанное, неопредѣленное; отъ этого она стоитъ то въ разрѣзѣ съ сферою, для которой рождена, то въ уровень съ нею.

А между тѣмъ, нельзя не сказать, что блестящая сторона романа г-жи Евгеніи Туръ—анализъ свѣтскихъ отношеній, изображеніе этой обязательной для нея самой сферы. Есть одна только ошибка въ манерѣ изображенія: авторъ постоянно смотритъ на свѣтскія отношенія трагически; можетъ быть онъ и убѣжденъ даже, что только съ этой точки зрѣнія они и могутъ быть воспроизведены художествомъ, тогда какъ мы, профаны, судя по авторскимъ же изображеніямъ, думаемъ, что на примѣръ сухой догматизмъ княгини Бѣловодской и окружающихъ ее лицъ былъ бы яснѣе для читателей, если бы изображенъ былъ съ комической точки зрѣнія... Въ трагической манерѣ проглядываетъ слишкомъ много увлеченія и притомъ увлеченія не вѣчнымъ, непременнымъ идеаломъ, а тѣмъ же формами.

Таково отношеніе автора къ анализируемой сферѣ, отношеніе не свободное, а потому не художественное. Имѣло оно вліяніе и на общечеловѣческую сторону романа, на анализъ сердца, на исторію сердца.

Въ свое время и въ своемъ мѣстѣ, разбирая Антонину, мы остановились на грустномъ вопросѣ, почему для глубоко-чувствующихъ на-

туръ Антонины и героини «Ошибки»—Ольги, такіе господа, какъ Мишель и Славинъ, были въ любви Геркулесовыми столпами; въ свое время также подвергались мы отъ поборниковъ великосвѣтскости нареканію, какъ за неучтивое прозвище, приданное нами подобнымъ героямъ, такъ и за самый вопросъ. Въ «Племянницѣ» мы встрѣтили повтореніе такихъ же отношеній, и принуждены были сдѣлать другой, болѣе грустный вопросъ: способенъ ли авторъ «Племянницы» подняться до сознанія идеаловъ болѣе широкихъ и живыхъ, нежели характеры Мишеля, Славина, Чельскаго, Ивина и др.?

Отвѣчать на этотъ вопросъ чрезвычайно трудно, особенно при настоящихъ данныхъ, которыя мы имѣемъ въ самомъ романѣ. Представитель идеальныхъ стремленій въ романѣ и въ сердцѣ героини—Ильменевъ, но въ Ильменевѣ нѣтъ ничего живого, типическаго,—Ильменевъ ходячая абстракція, часто смѣшная, и какъ будто умышленно поставленная въ положеніе жертвы. Какъ хотите, но во все продолженіе довольно объемистыхъ четырехъ частей заставить человѣка жертвовать собою, и только жертвовать, едва ли не значить выводить опять на сцену того добродѣтельнаго человѣка, котораго Гоголь прогналъ со сцены. Ильменевъ, конечно, добродѣтельный человѣкъ (если только онъ человѣкъ, а не абстракція), пожалуй даже прекрасный человѣкъ, но въ немъ крови нѣтъ, жизни нѣтъ, онъ слишкомъ апатиченъ, чтобы можно было во что-нибудь ставить его жертвы. Такихъ людей не бываетъ... Однимъ словомъ, вопросъ въ отношеніи къ Ильменеву, какъ представителю высшихъ требованій, поставляется такъ: или авторъ *точно* вѣритъ въ эти высшія требованія, и въ такомъ случаѣ Ильменевъ вышелъ бы не такой, и вліяніе его на Машу было бы не таково,—или эти требованія въ душѣ героини романа только роскошь, только прихоть изящной свѣтской натуры, и Ильменевъ поставленъ чѣмъ-то въ родѣ телеграфа для передачи ея ощущеній.

Вотъ почему, заключая наши замѣчанія о повѣствователяхъ, избравшихъ предметомъ художественной разработки сферу большого свѣта, и о «Племянницѣ» г-жи Туръ, какъ послѣднемъ произведеніи, отражающемъ эту сферу,—мы вправѣ отдать здѣсь пальму первенства страстной манерѣ автора «Милліона.» Все трагическое и грандіозное воплотилъ онъ въ смѣлой и безпощадно-послѣдовательной личности героя повѣсти, и поставилъ ее въ такое отношеніе къ избранной имъ сферѣ жизни, которое уже менѣе всего можетъ быть названо отношеніемъ ограничивающимъ сознаніе.

Совершенно иного рода литературное явленіе составляютъ произведенія г. Писемскаго. Мы не станемъ анализировать ихъ со стороны

чисто художественной, тѣмъ болѣе, что въ этомъ же N нашего журнала читатели могутъ найти подробный разборъ «Брака по страсти», по поводу критической статьи въ Отечественныхъ Запискахъ. Мы съ своей стороны должны взглянуть на дѣло съ своей исторической точки зрѣнія, т. е. опредѣлить отношеніе произведеній г. Писемскаго къ принятому нами исходному историческому пункту: Вопросъ о томъ, художникъ ли г. Писемскій по натурѣ, или только беллетристъ, какимъ хотятъ его представить нѣкоторые критики, мы предполагаемъ также рѣшеннымъ.... Этотъ вопросъ разрѣшается притомъ чрезвычайно просто: г. Писемскій художникъ, но художникъ съ совершенно особенной манерой, и господа, требующіе отъ него какого-то движенія въ развитіи дѣйствія и характеровъ, упрекающіе его въ недостаткѣ *психологическаго анализа* (!), не хотятъ понять, что приступаютъ къ его произведеніямъ съ заранѣе составленными теоріями, и сердятся на то, что ихъ теоріи не оправдываются на произведеніяхъ новаго дарованія.

И такъ, во-первыхъ, г. Писемскаго считаемъ мы истиннымъ художникомъ по натурѣ, и притомъ художникомъ съ особенной манерой. Нигдѣ такъ ярко не представляется для насъ эта особенность, какъ въ «Ипохондрикѣ». Мы готовы, впрочемъ, найти въ этой манерѣ нѣкоторое сходство съ молюеровскою манерою. Но, съ другой стороны, нашего глубокаго сочувствія къ таланту автора «Тюфяка», «Брака по страсти» «Комика» и «Ипохондрика», мы не будемъ доводить до крайностей. Г. Писемскому дана новая манера въ изображеніи дѣйствительности, но не дано сказать о ней никакого новаго слова. Тамъ, гдѣ взглядъ его на искусство выразился съ особенною ясностію, въ «Комикѣ», онъ является прямымъ послѣдователемъ Гоголя и, какъ въ «Комикѣ», такъ и въ другихъ своихъ произведеніяхъ, такъ сказать, только половиною великаго учителя. Въ такихъ же точно прямыхъ и непосредственныхъ отношеніяхъ съ дѣйствительностію стоитъ онъ, какъ и Гоголь,—но внутри его эта дѣйствительность переработалась не такъ, какъ у автора «Носа» и «Ревизора»; его отношеніе къ дѣйствительности мы назовемъ подчиненнымъ, зависимымъ, но только сравнительно съ совершенно-свободнымъ, гениально-творческимъ отношеніемъ къ оной Гоголя. Назвать его чисто, безотносительно зависимымъ—было бы несправедливо въ высшей степени, и несправедливость обличилась бы весьма рѣзко при сравненіи, положимъ, хоть съ г. Михайловымъ, котораго дарованіе ударилось, можетъ быть, покамѣстъ, въ настоящую минуту, въ крайность, въ копировку всѣхъ безъ разбора явленій дѣйствительности, или съ г. Меншиковымъ, писателемъ умнымъ, и тоже не безъ дарованія, но схватывающимъ въ явленіяхъ жизни только внѣшнія стороны. Г. Писемскій

не-таковъ, и даже сравнили мы его съ двумя означенными дарованіями только для того, чтобы ярче выставить его особенность. Авторъ «Тюфяка» глубоко всматривался въ дѣйствительность, но, отдаваясь ей вполне, изображая ее съ поразительною непосредственностью, онъ, можетъ быть, самъ не видитъ того, что находится подъ ея гнетомъ, а этотъ гнетъ ясно выражается даже въ выборѣ такихъ главныхъ героевъ, каковы герой «Тюфяка» и Дурнонечинъ: одинъ, страждущій неиспѣлимымъ моральнымъ недостаткомъ, другой—столь-же безысходнымъ недугомъ физическимъ;—выражается и въ трагической участи Рымова, и даже въ «Бракѣ по страсти», этой, повидимому, только легкой и блестящей красками картинѣ.

Вотъ все, что мы съ своей стороны и съ своей точки зрѣнія желали сказать о талантѣ г. Писемскаго, не считая нужнымъ повторять мнѣнія, которое вполне мы раздѣляемъ и которое встрѣтятъ читатели въ этой же книжкѣ журнала. Въ г. Писемскомъ дорожимъ мы его непосредственнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, и это отношеніе, въ соединеніи конечно съ его яркою манерою, ставитъ его въ глазахъ нашихъ выше всѣхъ другихъ современныхъ дѣятелей литературныхъ; но не отъ него ждемъ мы новаго, сильнаго слова... Отъ кого именно ждемъ мы этого новаго слова, мы имѣемъ право сказать уже прямо въ настоящую минуту: «Бѣдная невѣста» предстоить суду публики, и смѣшно было бы намъ изъ какаго-то особеннаго рода журнальнаго рыцарства, отрицаться отъ того, что въ этомъ новомъ произведеніи автора комедіи «Свой люди—сочтемся» мы видимъ новыя надежды для искусства. Оно стало уже теперь достояніемъ всѣхъ и каждаго, и наше удовольствіе можетъ быть повѣрено всѣми и каждымъ.

## II.

# РУССКАЯ ИЗЯЩНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1852 ГОДУ.

(Москвитянинъ, 1853, № 1).

### I.

Годъ тому назадъ, въ четырехъ статьяхъ о состояніи литературы за 1851 годъ, мы старались опредѣлить исходную точку современнаго состоянія нашей словесности и отношеніе настоящаго времени къ ея исходной точкѣ. Въ то время, какъ мы говорили о значеніи того слова, которое суждено было сказать незабвенному творцу «Мертвыхъ душъ» и выводили историческую необходимость этого слова изъ условій натуры поэта и изъ условій современной дѣйствительности,—никому, а слѣдовательно и намъ, не приходила въ голову тяжелая мысль, что скоро вѣчнымъ сномъ закроются вѣшія очи, лившія незримыя міру слезы; что скоро замоленеть на вѣки этотъ карающій, обличительный смѣхъ... Событіе упало на насъ всею своею неожиданною тяжестью: оно какъ будто соответствовало тому обличительному слову, которое раздрало для читателя завѣсу, скрывавшую отъ него безобразіе его внутренняго міра, заставило его «обратить очи внутрь души» и увидать ее

Въ такихъ кровавыхъ,

Въ такихъ смертельныхъ звавахъ...

Художникъ, которому по высокому его взгляду на жизнь и по непосредственной силѣ объективнаго творчества найдутся развѣ слишкомъ немногіе равныхъ, котораго задачи перестали уже быть мѣстными и временными, и котораго созерцанія все болѣе и болѣе доходили до чистѣйшей прозрачности и духовности, оставилъ свое земное поприще.

Въ стремленіи къ идеалу, или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе отъ сознанія своего собственнаго несовершенства, изъ котораго есть выходъ,—или неправильное, непрямое отношеніе къ своему несовершен-

ству, которое, большею частію, безвыходно. Что человѣку неприятно и больно сознавать свои слабыя стороны,—это, конечно, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію—но задача его заключается преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ отнестись съ полною, безпощадною справедливостію; самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ—уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки, и несравненно болѣе опасное—преувеличить ихъ до той степени, на которой они получаютъ извѣстную значимость и, пожалуй, даже, по развращеннымъ понятіямъ современнаго человѣка, грандіозность и обаятельность зла, которой атмосфера разлита вокругъ образовъ, не говоримъ уже Конрада, Манфреда, но Печорина и Ловласа,—явленіе весьма не рѣдкое съ тѣхъ поръ, какъ

Британской музы неближды

Тревожатъ сонъ отроковицы,

И сталъ теперь ея кумиръ

Или таинственный Вампиръ,

Или Мельмотъ, бродяга мрачный, и т. д.

Возьмите какую угодно страсть, и доведите ее въ своемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ее обстановкою, — *трагическое* воззрѣніе ваше скроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго человѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ мыслию о крупномъ преступленіи, чѣмъ о мелкой и пошлой подлости: эффектнѣе, конечно, вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ Собачьинымъ,—скупымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ,—Печоринимъ, чѣмъ Меричемъ; даже ужъ если на то пошло—Грушницевымъ, чѣмъ Милашинымъ, потому, что Грушницкій хоть умираетъ эффектно,—и, Боже мой, сколько лягушекъ надуваются въ волонъ, въ насъ самихъ и вокругъ насъ,—сколько людей желаютъ (!) выставить себя преступными, когда они слѣдали только пошлость,—сколько мелкихъ чувственныхъ поползновеній стремятся принять въ насъ размѣры колоссальныхъ страстей, готовыхъ на трагическую борьбу. Хлестаковъ, даже Хлестаковъ,—и тотъ зоветъ городничиху «удалиться подъ сныгъ струй»... Меричъ съ самодовольствомъ «проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ возмутитъ миръ ея невинной души»... Тамаринъ радуется, что его зовутъ демономъ...

А давно ли—спросимъ читателей—было время, когда мы ничего этого не видали, время, когда мы трагически относились къ лягушкамъ, раздувающимся въ волонъ,—и кто помогъ намъ очнуться, кто заставилъ насъ взглянуть внутрь самихъ себя?... заклеимъ настоящимъ прозвищемъ каждую нашу пошлость и слабость, такъ что не отвертится она

теньеръ отъ этого прозвища; кто поймалъ зло за самыя его чувствительныя и доселѣ неуловимыя стороны, заставилъ его прямо стать передъ собою и вмѣсто поклоненія — воздалъ ему надлежащую дань, облительный, карающій смѣхъ во имя вѣчной красоты и правды?... Развѣ онъ, этотъ безошадный каратель, не призванъ былъ такъ же рисовать Аннунціату и Тараса Бульбу, какъ призванъ былъ изслѣдить до глубины «всю пошлость пошлаго человѣка», развѣ пламенная душа его не тонко чувствовала все, что есть прекраснаго въ природѣ и человѣкѣ... развѣ не великую жертву искусству принесъ онъ, взявши на себя суровый подвигъ?... Но онъ принесъ жертву еще болѣе великую, — жертву, подъ бременемъ которой самъ онъ палъ: онъ въ самого себя заглянулъ съ тѣмъ же неумолимымъ смѣхомъ, собственную душу сдѣлалъ предметомъ художественнаго анализа. Онъ былъ жрецомъ своего новаго искусства — комедіи въ высшемъ, безусловномъ значеніи, послѣдняго слова, послѣдней грани искусства.

Комизмъ Гоголя — не то, что комизмъ другихъ комиковъ. Идеаль, во имя котораго онъ относился съ комизмомъ къ явленіямъ дѣйствительности, путемъ созерцанія уяснилъ онъ себѣ до той степени прозрачности и духовности, которой не выносятъ почти бранныя человѣческія очи. Земное, человѣческое, въ какихъ бы формахъ красоты и величія оно ни явилось — въ энергической ли непосредственности Тараса Бульбы, въ красотѣ ли Аннунціаты, въ противоположности ли величаваго Рима съ кипящимъ мелочною дѣятельностью Парижемъ, — въ ночахъ ли его родной Украйны, — не удовлетворило его. Все суровѣе и суровѣе смотрѣлъ онъ на жизнь, — все смѣлѣе и смѣлѣе разоблачалъ онъ человѣческое во имя идеала.

Что такое былъ комизмъ до Гоголя?... Переберемте всѣхъ великихъ комиковъ новой исторіи, мы не найдемъ ничего подобнаго ни этому взгляду на жизнь, ни этой страшной силѣ юмора.

Сравните Гоголя хоть съ комикомъ, котораго не даромъ же цѣлая развитая, и даже больше чѣмъ развитая, нація считаетъ доселѣ первымъ въ своемъ родѣ, который дѣйствительно былъ до такой степени комикомъ своего народа, что доселѣ еще не умолкъ воуль на него Езуитовъ за его Тартюфа, — сравните Гоголя съ Мольеромъ какъ относительно взгляда на жизнь, такъ и относительно силы комическаго юмора. Комизмъ Мольера — совсѣмъ другаго рода комизмъ, и ужъ безъ сомнѣнія низшій родъ комизма, если сличить его съ гоголевскимъ: комизмъ какой-то внѣшній, вооружающійся на условныя понятія во имя такнхъ же условныхъ, только Поръ-Рояльскихъ понятій: самому ханжеству Тартюфа, этому сильному порыву мольеровскаго комизма, противупола-



гается *общественная* честность Клеанта, условная, ограниченная, сухая честность; Мизантропъ въ сущности хлопочетъ изъ сущихъ пустяковъ, — нравственный Аристъ, противоположенный спятившему съ ума Станарелю въ «Школѣ мужей», проповѣдуетъ во имя удобной и дешевой морали общественного благоразумія.

Понятія Мольера о любви и женщинѣ, — благодаря его собственнымъ горькимъ опытамъ, — такъ благоразумно-грубы, что выражаются въ такого рода *циническихъ* правилахъ:

Erouser une sottise est pour n'être point sot.

(Ecole des Femmes.)

Наконецъ самыя условныя понятія комика о добрѣ и злѣ — такъ неопредѣленны, что ему ничемъ стать иногда на сторону одной безнравственности противъ другой, на сторону Гарпагонова сына противъ Гарпагона на примѣръ, — и всегда на сторону разсчетливой безнравственности противъ глупости. Если такъ неопредѣленно отношеніе комика къ тому, во имя чего онъ дѣйствуетъ, то еще неопредѣленнѣе отношеніе его къ тому, надъ чѣмъ онъ смѣется: въ дѣйствительности поражали его не настоящія уклоненія отъ идеала, а опять условныя. А между тѣмъ, Мольеръ все-таки единственный комикъ, котораго можно взять для сличенія съ нашимъ Гоголемъ, ибо у нѣмцевъ, какъ извѣстно, нѣтъ и не можетъ быть комедіи. Шекспиръ же нейдетъ для сравненія, потому что у него собственно нѣтъ ни трагедіи, ни комедіи, а есть одно — драма, съ перевѣсомъ необходимости или съ перевѣсомъ случайности въ событіяхъ.

Комизмъ гоголевскій есть явленіе совершенно единственное въ самой манерѣ и въ самыхъ приемахъ комика. Основы Ревизора, скачекъ Подколесина въ окно и другихъ чертъ — вы не найдете ни у кого. Основа, на примѣръ, Ревизора, скачекъ Подколесина — вѣрны до той психологической вѣрности, которая становится уже дерзостью. Такая особеннѣсть и смѣлость приемовъ обусловлена самою сущностью комическаго міросозерцанія Гоголя, состоящею въ постоянномъ раздвоеніи сознанія, въ постоянной готовности комика себя самого судить и повѣрять во имя чего-то иного, постоянно для самого себя объективироваться. Дѣйствительность повѣрялась въ душѣ комика идеаломъ — и какимъ идеаломъ! Не мудрено, что послѣ такой повѣрки она выходила въ міръ отмѣченной клеймомъ гнѣвной любви, принимая тѣ комическія размѣры, которыя придавала ей горячая и раздраженная фантазія. Поэтому-то Гоголевскія произведенія вѣрны не дѣйствительности, а общему смыслу дѣйствительности въ противорѣчьи съ иде-

аломъ: въ обыкновенной жизни нѣтъ Хлестакова, даже какъ типа; въ обыкновенной жизни и Земляника даже не скажетъ, на вопросъ Хлестакова: Вы, кажется, вчера были меньше ростомъ?... «Очень можетъ быть-съ»;—въ обыкновенной жизни даже и подобная матушка, какая выставлена въ «Отрывкѣ», рассказавши о смертной обидѣ, заключающейся въ томъ, что сынъ ея штатскій, а не юнкеръ, не скажетъ: «истинно, одна только вѣра въ Провидѣніе поддержала меня» и т. д.;—въ обыкновенной жизни ни одинъ, самый слабохарактерный изъ Подколесиныхъ не убѣжитъ отъ невѣсты въ окно и т. д. Все это — не просто дѣйствительность, но дѣйствительность, возведенная въ перль, ибо она прошла черезъ горнило сознанія; и въ этомъ свойствѣ одинъ только Шекспиръ однороденъ съ Гоголемъ, и въ этомъ смыслѣ Шекспиръ столько же мало натураленъ, какъ Гоголь. Какой Макбетъ въ *дѣйствительности*, зарѣзавши Дуняна, будетъ выражаться такъ:

Макбетъ зарѣзалъ сонъ, невинный сонъ,

Зарѣзалъ испугателя заботъ,

Цѣлебный бальзамъ для больной души,

Великаго союзника природы,

Хозяина на жизненномъ пиру....

но какъ *дѣйствительные* можно было выразить весь ужасъ души Макбета, глубокой и могучей души, передъ его дѣломъ?... Какъ Шекспиръ, такъ и Гоголь, заботились только о поэтической вѣрности, и какъ того, такъ и другого долго еще будутъ близорукіе судьи упрекать въ ненатуральности постройки Лира, въ нелѣпости завязки Ревизора, въ гиперболизмѣ чувствъ и выраженій. Въ самомъ дѣлѣ, какая любовница можетъ говорить такъ, какъ Юлія,—какой любовникъ, входя въ садъ любовницы, будетъ говорить:

Смѣется тотъ надъ ранами, кто самъ

Не вѣдалъ ихъ.... и т. д.

воскличаніе: ахъ! съ одной стороны, и другое: ахъ! съ другой, было бы гораздо натуральнѣе безъ сомнѣнія. Но Шекспиръ и Гоголь досказываютъ человѣку то, что онъ думаетъ, что можетъ быть зачинается въ его душѣ; и заключаютъ все въ литое, мѣдное выраженіе, котораго удачнѣе и поэтически вѣрнѣе нельзя ничего придумать.... И выходитъ какъ-то, что ненатуральность ихъ вѣрнѣе всякой частной и повседневной натуральности; что въ ихъ душѣ отразилось идеально, общечеловѣчески—то, что у другихъ отражается не полно или не ясно.... Типичность образовъ, типичность чувствованій, типичность выраженій, доведенная до крайней своей степени!

Но не всѣмъ дано владѣть этимъ оружіемъ безусловнаго комизма. Школа, которая считала себя происходящею по прямой линіи отъ Гоголя, доказала очевидно, что раздраженное отношеніе къ дѣйствительности во имя претензій человѣческаго самолюбія—хуже самаго тупого равнодушія къ язвамъ современности. Литературные натуралисты принимали чудовищные призраки своего болѣзненно-напряженнаго воображенія за враговъ дѣйствительныхъ, какъ господинъ Голышкинъ повсюду видѣлъ вокругъ себя враговъ. Эта школа существовала только для того, чтобы свидѣтельствовать противоположеніемъ о величіи и достоинствѣ теня Гоголя.

## II.

Въ статьяхъ нашихъ о литературѣ въ 1851 году, принявши за основаніе, за исходную точку—Гоголя, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ допустивши нѣкоторое косвенное влияніе Лермонтова,—мы сказали, что все, что есть живого въ произведеніяхъ современной словесности, отъ Гоголя ведетъ свое начало, или, по крайней мѣрѣ, считаетъ себя происходящимъ отъ Гоголя. Колебаніе, броженіе и наконецъ совершенная порча гоголевскихъ элементовъ выразились въ такъ называемой натуральной школѣ; смѣсь ихъ съ лермонтовскимъ воззрѣніемъ—въ другой категоріи произведеній; наконецъ, прямое происхожденіе отъ исходной точки приписали мы только немногимъ произведеніямъ современной словесности, въ которыхъ мы видѣли и видимъ новое слово искусства, и, поколику искусство, отражая жизнь, само въ свою очередь воздѣйствуетъ на жизнь,—новое слово жизни.

Представляется прежде всего вопросъ: измѣнила ли что-либо въ литературѣ великая утрата, понесенная ею, обозначила ли эта утрата яснѣе отношеніе между собою различныхъ направленій, — опредѣлила ли точки, которыя изъ нихъ живутъ и должны жить, и которыя умерли, или умираютъ и должны умереть? Безъ сомнѣнія, да,—отвѣтимъ мы на это безъ малѣйшаго колебанія. Если бы Гоголь умеръ, недосказавши содержанія своего слова,—многое дѣйствовало бы во имя его. Но слово было сказано поэтомъ, слово полное и цѣльное, которое могло только расширяться въ объемъ, слово обличительное, которое не вынесли многие, до тѣхъ поръ признававшіе надъ собою влияніе Гоголя,—слово, наконецъ, послѣднее, потому что дальше въ его направленіи идти нельзя и некуда.

Статья наша походит на поминовение полусонныхъ, и, какъ вѣжется намъ, она не могла быть иною. Зачатая подъ вліяніемъ грустной и тяжелой мысли, она еще не вдругъ можетъ обратиться къ тому, что живеть и жить должно, да и не должна на первый разъ обращаться къ живому. Должно изслѣдовать, какіе элементы въ литературѣ умерли или умираютъ.

Вопервыхъ, умерло совсѣмъ направленіе, которое обозначали и обозначаетъ именемъ лермонтовскаго. О сущности этого направленія мы такъ много говорили въ статьяхъ прошлаго года, что повторять наши положенія считаемъ совершенно излишнимъ. Самымъ замѣчательнымъ остаткомъ, сознательно или бессознательно засвидѣтельствовавшимъ все безсиліе и безсодержательность этого направленія, былъ, конечно, романъ г. Авдѣева «Тамаринъ». Повторяемъ, что мы не беремъ рѣшить—сознательно или бессознательно поступилъ г. Авдѣевъ, писатель безспорно даровитый, но повидимому еще крайне молодой: если онъ поступилъ бессознательно, если онъ писалъ своего Тамарина увлеченный и, такъ сказать, подавленный образомъ Печорина, то этотъ фактъ доказываетъ сильную воспримчивость его природы и его таланта; если поступилъ онъ сознательно, т. е. съ ироническою мыслию зачать своего Тамарина, что впрочемъ весьма трудно допустить по крайнему неусуговѣренности ироніи,—то онъ заслуживаетъ величайшей благодарности за принятый имъ на себя подвигъ; если же, наконецъ, что всего естественнѣе, зачавши лице Тамарина въ грандіозномъ свѣтѣ, онъ самъ догадался, что такое въ сущности его герой, или даже, внявши голосу критики, отступилъ отъ него,—г. Авдѣевъ еще достойнѣе уваженія какъ писатель серьезно относящійся къ своему дѣлу и жертвующій ему своими незрѣлыми личными привязанностями и первыми неповѣренными еще опытомъ впечатлѣніями: двѣ повѣсти его—«Нынѣшняя Любовь» и «Горы», явившіяся въ теченіе года и чуждыя уже претевзій, написанныя тепло и просто, хотя все такъ же незрѣло и молодо, разрѣшаютъ, вѣжеться, вопросъ о г. Авдѣевѣ въ пользу третьяго нашего предположенія и конечно уже въ пользу его таланта и добросовѣстности. «Тамаринъ» его, вышедшій теперь отдѣльно, останется между тѣмъ книгою въ высшей степени любопытною для будущаго историка литературы. Пародія, хотя явно бессознательная, вышла необыкновенно удачна.

Другой, сколько-нибудь замѣтный отпрыскъ лермонтовскаго направленія—стихотворенія г-жи *Хвоштинской*, въ которыхъ мы отнеслись съ особенной строгостію именно потому, что считаемъ появленіе ихъ со-

вершено несвоевременнымъ. У г-жи Хвощинской есть всегда и мысль и чувство, иногда самые стихи у нея звучны и сильны; но грустные мотивы ея стихотвореній болѣе или менѣе взяты у другихъ поэтовъ; разочарованіе, въ нихъ высказывающееся, кажется намъ постоянно заимствованнымъ, хотя съ тѣмъ вмѣстѣ, нельзя не признать въ ея стихотвореніяхъ извѣстной степени дарованія, которое можетъ быть, даже и при заимствованіи мотивовъ, въ другое время производило бы несравненно болѣе сильное впечатлѣніе.

Наконецъ, самымъ *невиннымъ* отпрыскомъ лермонтовскаго направленія можно считать различныя пословицы, расплодившіяся въ наше время, въ которыхъ являютя разочарованные герои и разочарованныя героини. Въ нѣсколькихъ таковыхъ пословицахъ, въ сожалѣнію, грѣшна и г-жа Евгенія Туръ. Во всѣхъ таковыхъ половицахъ, какъ сказали мы однажды, разбирая одну изъ нихъ, есть общіе физиологическіе признаки; а именно: сфера жизни въ нихъ берется по большей части великосвѣтская, т. е. въ нихъ дѣйствуютъ люди высшаго тона, которые занимаются различными, не хитрымъ умамъ непонятными дѣлами, или дѣйствуютъ иногда люди, хотя и не большого свѣта, но за то разочарованные: женскія лица тоже вообще — *развитыя* женщины, которыя преимущественно занимаются тѣмъ, что называется технически *шроу въ чувство*, дѣломъ хотя конечно и празднымъ, но дающимъ возможность выказывать различныя натуральныя, благопріобрѣтенныя и даже часто противуестественныя свойства *прекрасной и изящно развитой личности*. Обыкновенно такъ же — главный герой и героиня (чаще всего на сценѣ только двое дѣйствующихъ лицъ, и развѣ только ни къ селу ни къ городу присовокупится третье, для разнообразія, какъ Ардатовъ въ «Странной Ночи», г. Жемчужникова) увѣряютъ себя и другъ друга въ невозможности любви вообще и въ своемъ специальномъ разочарованіи *на счетъ этого самаго чувства*. Главнѣйшая задача авторовъ подобныхъ произведеній — тонкость: тонкость чувствованій, тонкость разговоровъ, тонкость стана героинь, тонкость голландскаго бѣлья героинь, — тонкость такая, что станъ того и гляди переломится, разговоръ какъ разъ перейдетъ въ нѣчто, *просто*му здравому смыслу и *невоспитанному* чувству непонятное; чувства того и жди — совсѣмъ испарятся или улетучатся; тонкость голландскаго бѣлья чуть-что не ставится главнымъ признакомъ достоинства человеческого. Кончатся тутъ дѣла обыкновенно сознаніемъ героя и героини, что они *могутъ* позволить себѣ любить, или иногда *трагически*: герой и героиня расстаются въ безмолвномъ и гордомъ страданіи... Таковъ общій характеръ этихъ произведеній, въ нихъ надобно причислить по духу и взгляду мно-

ня произведенія въ повѣствовательномъ родѣ, какъ-то — отчасти романъ г. Панаева: «Львы въ провинціи», который впрочемъ принадлежитъ сюда только по необыкновенной привязанности автора къ изысному костюму героевъ. Собственно же пословицъ въ этотъ годъ появлялось несчетное количество — и во всѣхъ высказывались одинаковыя претензіи на разочарованіе; вслѣдствіе чего мы и должны были обидѣть лермонтовское направленіе, приписавши къ нему такого рода произведенія.

*Во-вторыхъ*, умираетъ явно направленіе лермонтовское, принявшее гоголевскую форму, т. е. работавшее надъ дѣйствительностью съ постоянною заднею мыслію о грубости этой дѣйствительности. Отсюда, какъ мы сказали въ нашихъ статьяхъ о литературѣ въ 1851 году, вели свое начало разные сатирическіе очерки, безконечное множество повѣстей, кончавшихся приѣвомъ: «и вотъ что можетъ сдѣлаться изъ человѣка» — повѣстей, въ которыхъ, по волѣ и прихоти ихъ авторовъ, съ героями и героинями, задохнувшимися, по ихъ мнѣнію, въ грязной дѣйствительности, совершались самыя удивительныя превращенія, — въ которыхъ все, окружавшее героя и героиню, нарочно, намѣренно изображалось каррикатурно. Произведенія съ такимъ направленіемъ писались въ былую пору въ безчисленномъ количествѣ: фальшь ихъ преимущественно заключалась въ томъ, что они запутывали читателя подробностями, взятыми повидному изъ простой, повседневной дѣйствительности, доказывали въ авторахъ ихъ несомнѣнный талантъ наблюдательности — и вводили людей несвѣдущихъ, незнакомыхъ съ русскимъ бытомъ, въ свое ложное воззрѣніе. Эта категория произведеній литературныхъ въ свою очередь подраздѣляется на нѣсколько родовъ и видовъ. Главнымъ образомъ выдвигаются тутъ два рода: 1) родъ произведеній прямо обращенныхъ на бытъ и 2) родъ произведеній, гдѣ бытъ является удушливою сферою для прекрасныхъ, страдающихъ и развитыхъ личностей, которыя вслѣдствіе сего физически или нравственно гибнутъ, подъ общій лигегаинъ идеализма: «такое у дѣлѣ прекраснаго на свѣтѣ» или подъ особенный, *замѣтованный* (?) у Гоголя и искаженный, обезображенный гегаинъ: «и вотъ что можетъ сдѣлаться съ человѣкомъ!» — Не перечисляя, не припоминая поименно тѣхъ или другихъ произведеній, — мы замѣтимъ только, что самыя талантливыя изъ нихъ, каковыя произведенія гг. Тургенева и Григоревича, не чужды неправильнаго отношенія къ дѣйствительности. О томъ и о другомъ, безспорно даровитыхъ писателяхъ, замѣчали мы, что въ ихъ приемахъ, при изображеніи народнаго быта (не говоря уже о языкѣ, которымъ тотъ и другой владѣютъ далеко не свободно) много еще искусственнаго и ложнаго, что иногда они какъ будто изыскиваютъ въ крестьянской

жизни такия черты, которыя напоминали бы собою жизнь цивилизованную и, такъ сказать, возвышали бы простолюдина до образованнаго человѣка. Этими недостатками страдали и страдаютъ произведенія двухъ даровитыхъ писателей, избравшихъ *быть* предметомъ художественнаго анализа \*). Что же касается до тѣхъ писателей и до тѣхъ произведеній, въ которыхъ *быть* и дѣйствительность являются обстановкою претензій личности,—то, если бы попытаться собрать общія физиологическія черты ихъ, вышло бы нѣчто необычайно комическое. Вотъ напри- мѣръ какъ рисовались помѣщики въ былые годы:

Онъ съ дѣтства *не носилъ подтяжекъ,*

*Любилъ просторъ, любилъ покой*

*И мнѣ; но страненъ былъ покрѣй*

Его затѣйливыхъ фуражекъ;

Любилъ онъ жирные блины,—

и т. д.

Удивительная вообще была вражда къ простору и, главное дѣло, къ здоровью—въ былые годы литературы. Случалось ли автору попадать напри- мѣръ на провинціальный балъ, ему становилось несносно видѣть здоровья и простодушныя дѣвическія фізіономіи:

Вотъ—чисто русская красотка;

Одѣта плохо, *тяжела* (?)

И *неловка*,—но *весела*,

*Добра*, болтлива какъ трещотка...

Качества веселости, доброты и здоровья особенно не нравились авторамъ; они непремѣнно отыскивали въ веренищѣ

Широкихъ лицъ, большихъ носовъ,

Улыбокъ томныхъ, башмаковъ

*Козлиныхъ*...

*робкаго и тѣмалаго* ребенка, котораго благословляли на страданье, и проч. и проч. Иные шли еще дальше... Любопытнѣе всего было то, что все это выдавалось за изображенія дѣйствительности.

Все это умираетъ или уже вымерло въ нашей литературѣ—вымираетъ также и ложная реакція вызванная такимъ ложнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности. Мы приняли за такую реакцію—*практическое*

\*) Въ числу такихъ же не вполне удачныхъ и не прямыхъ изображеній быта мы причисляемъ и напечатанную у насъ повѣсть г. Печерскаго: «Красильниковы», не смотря на несомнѣнный талантъ автора, его наблюдательность, прекрасный языкъ и близкое знакомство съ дѣйствительностью.

направленіе, выразившееся съ безжалостнымъ и сухимъ догматизмомъ въ «Обыкновенной исторіи» и не нашедшее себѣ подражателей; осталась же эта реакція безъ подражанія и послѣдствій потому, что только талантъ г. Гончарова могъ дать извѣстный блескъ самой фальшивой мысли, и во-вторыхъ, главнымъ образомъ потому, что стремленіе къ идеалу не признало своего питомца въ Александрѣ Адуевѣ и что иронія пропала такимъ образомъ задаромъ.

*Въ-третьихъ*, наконецъ, умерло то направленіе, которое за нѣсколько лѣтъ назадъ свирѣпствовало въ литературѣ подъ именемъ натуральной школы, и которое нѣкоторые близорукіе критики считали за прямое послѣдствіе Гоголя, но которое собственно взяло только тотъ болѣзненный тонъ юмора, который звучитъ въ «Запискахъ Сѣумаспешаго» и въ «Шинели» — и пустилось распложать въ безчисленныхъ, хотя постоянно уныло-однообразныхъ варіаціяхъ. Эта школа, порожденная недугомъ неудовлетвореннаго самолюбія, замкнутой въ себя в бесплодной мечтательности, худо понятой филантропіи, — останавливалась всегда съ какой-то странной любовью на уродливыхъ морально или физически личностяхъ; міросозерцаніе ея было міросозерцаніемъ душныхъ и грязныхъ угловъ, и ея представителямъ, изъ которыхъ у нѣкоторыхъ не было недостатка въ энергіи таланта, повсюду въ божьемъ мірѣ представлялись только душные, пропитанные зловоніемъ углы. Было время, что всякое таковое болѣзненное созерцаніе сходило за истинный пафосъ; было время, когда серьезно надобно было бороться съ этимъ *натуральнымъ* направленіемъ. Величайшая вина этого направленія противъ искусства заключалась именно въ той натуральности, которая рабски копируетъ явленія дѣйствительности, не отличая явленій случайныхъ отъ типическихъ и необходимыхъ, не озаря ихъ разумною и истинно-любовною мыслию, не повѣряя ихъ внутри себя судомъ нелицепріятнаго и безусловнаго юморизма. Всѣ прихоти, всѣ недуги, всѣ неулюжія претензіи болѣзненно напряженнаго *Я* — получали тутъ право гражданства и полное оправданіе; цвѣтомъ того или другаго душевнаго или физическаго недуга красились всѣ предметы изображаемой дѣйствительности; человеческое достоинство являлось поглощеннымъ вучею мелочныхъ эгоистическихъ наклонностей; — и придавалось нѣчто трагическое борьбѣ всякой болѣзненно разившейся претензіи съ условіями дѣйствительности; различными мѣрами и средствами выжималась изъ читателей симпатія къ страннымъ героямъ, — мѣрами и средствами, достойными французскихъ мелодрамъ или собачьей комедій. Смѣсь грязи съ сентиментальностью, идеализма самаго ребяческаго съ намѣреннымъ углубленіемъ въ анализъ самыхъ ничтожныхъ и бессмысленныхъ подроб-



ностей повседневной дѣйствительности, напряженія съ безсилемъ,— эта школа доходила до тѣхъ крайностей, которыя обличали явное истощеніе. Стоитъ только припомнить подобныя произведенія, чтобы убѣдиться въ совершенномъ истощеніи направленія, которое съ самаго начала, впрочемъ, обличало въ себѣ отсутствіе настоящихъ жизненныхъ соковъ. Недавно еще случилось намъ перечестъ одно изъ самыхъ сильныхъ произведеній этого направленія — и признаемся откровенно, что давно уже не испытывали мы впечатлѣнія болѣе мутнаго, болѣе страннаго, болѣе неопредѣленнаго, какъ то, какое навѣвали на насъ письма Макара Алексѣевича Дѣвушкина въ Варварѣ Алексѣевнѣ..

Все это для насъ уже прошедшее — и претензіи разочарованія, и претензіи фальшивой образованности, и претензіи моральнаго уродства и физическаго безобразія — но кому же какъ не Гоголю и не его обличительному слову обязаны мы тѣмъ, что на всѣ эти различныя претензіи можемъ смотрѣть съ комической точки зрѣнія? Вотъ почему статью нашу начали мы новымъ исчисленіемъ заслугъ великаго поэта. Горестная утрата, какъ гроза, разразилась надъ всѣми, но какъ гроза же разъяснила горизонтъ. Яснымъ свѣтомъ озарилось теперь для всѣхъ все, что умерло и что живетъ въ литературѣ, или, по крайней мѣрѣ, носить въ себѣ зародыши жизни.

Къ этому-то живущему, какъ новому слову литературы, и цора намъ теперь обратиться.

### III.

И такъ, — спросимъ мы теперь, — что же именно живетъ въ настоящей литературѣ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ почти уже данъ на пути отрицательномъ. Если не живетъ, съ одной стороны, такое отношеніе къ дѣйствительности, которое измѣряетъ ее требованіями своего чрезмерно развившагося Я, — если, съ другой стороны, не живетъ такое отношеніе, которое повѣряетъ окружающую дѣйствительность не законами изъ самой дѣйствительности почерпнутыми и ей свойственными, а законами чуждой, иной дѣйствительности, — если, наконецъ, истощилось и то болѣзненное отношеніе, которое краситъ дѣйствительность дѣвтомъ различныхъ моральныхъ недуговъ, — если, однимъ словомъ, всѣ эти косвенныя отношенія къ дѣйствительности окончательно исчерпаны, то остается одно, конечно, — прямое, непосредственное къ ней от-

ношеніе и, поколику произведенія зачаты и выполнены въ такомъ прямомъ отношеніи, потомуку и принадлежать они искусству.

Прежде всего мы должны, во избѣжаніе недоразумѣній, объяснить, что такое это прямое отношеніе къ дѣйствительности. Чистая, абсолютная непосредственность отношенія художника къ дѣйствительности есть нѣчто совершенно невозможное въ наше время: для этого нужно, чтобы дѣйствительность была не разорвана съ идеаломъ въ сознаніи поэта; чтобы онъ пѣлъ, wie der Vogel singt, какъ птица, какъ Гомеръ; да и притомъ такая абсолютная непосредственность потребна только въ эпическомъ родѣ искусства и возможна только въ первобытныхъ эпохи развитія. Дѣятельность всякаго истиннаго художника слагается изъ двухъ элементовъ — субъективнаго, или стремленія къ идеалу, и объективнаго, или способности воспроизводить явленія внѣшняго міра въ типическихъ образахъ, — элементовъ, которые только вмѣстѣ соединенные образуютъ *творчество*. — Степень преобладанія того или другого элемента обусловливается натурою художника, — отношеніе же между тѣмъ и другимъ, т. е. между идеаломъ и дѣйствительностью, обусловливается историческимъ *statu quo* современности; и если равновѣсіе отношенія такъ или иначе повреждено, то нельзя винить художника за преобладаніе комизма въ его мірозерпаніи — дѣло въ томъ только, чтобы комизмъ исходилъ изъ началъ вѣчной правды, абсолютныхъ понятій — а не изъ претензій самолюбиваго Я. Высшій или безусловный комизмъ, какъ результатъ раздвоенія въ мірозерпаніи художника между идеаломъ и дѣйствительностью, есть точно такъ же, какъ и трагизмъ, — истинное искусство, истинная поэзія. Въ литературѣ нашего времени комизмъ есть главное, преобладающее міросозерпаніе, есть, такъ сказать, клеймо, которымъ отмѣчено все живое и долженствующее жить въ искусствѣ, — но это нисколько не значитъ, какъ думаютъ нѣкоторые, чтобы наше время было антипоэтическое, чтобы искусство являлось только орудіемъ стороннихъ цѣлей, потеряло самобытное значеніе. Искусство — вѣчно, какъ духъ человѣческій. Мы переживаемъ одинъ изъ фазисовъ его развитія: мы съ душевною болью разрываемъ, разсѣваемъ наше сознаніе и, смѣясь надъ дѣтскими, наскоро сложенными идеалами, надъ выжившими формами трагизма, — ищемъ вѣрнаго пути къ настоящему идеалу. Трагизмъ борьбы личности съ дѣйствительностью самъ созналъ свое безсиліе, самъ обличилъ себя:

Толпой угрюмою и скоро позабытой,

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,

Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой,

Ни геніемъ начатаго труда....

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,

Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,

Виситъ между двѣтовъ, прищелью сротѣлый.

*И часъ изъ красоты—его паденья часъ.*

Отчаяніе безсильнаго трагизма можетъ принимать и принимало уже въ нашей литературѣ различные пути исхода. То ударялося оно въ сухую, догматическую практичность въ «Обыкновенной исторіи»,—но въ этомъ иронически-тревожномъ состояніи не могло удержаться; то закутывалось въ плащъ холоднаго идеализма въ «Идеалистѣ» г. Станкевича\*); то находило минутное удовлетвореніе въ болѣзненномъ хохотѣ надъ самимъ собою «Гамлета Щигровскаго уѣзда», или тоскливомъ плачѣ о своемъ безсиліи въ «Дневникѣ лишняго человѣка»; но выдаясь въ эти различныя дороги, трагизмъ забывалъ, что изъ ложнаго положенія невозможно выйти, сохраняя одинъ и тотъ же характеръ, сохраняя грандіозность,—что, не посмѣясь надъ самимъ собою,—идти впередъ невозможно.—Съ другой стороны, и не въ такомъ комизмѣ заключается задача эпохи, чтобы смотрѣть на явленія дѣйствительности снизу, съ ея же такъ-сказать точекъ, однимъ словомъ, не въ прубой апогеозѣ быденнаго, условнаго возрѣнія, хотя въ эту крайность бросились отчасти нѣкоторые люди съ большимъ талантомъ. Тотъ только истинный художникъ въ наше время, кто, установивши *возможное* разновѣсіе идеала и дѣйствительности въ душѣ, относится къ дѣйствительности во имл вѣчныхъ и разумныхъ требованій идеала, ищетъ комическимъ путемъ разрѣшенія благородныхъ, возвышенныхъ задачъ—хотя съ другой стороны вглядывается пристально въ дѣйствительность, воздаетъ должную справедливость ея разумнымъ законамъ, умѣетъ отличить въ ней самобытное, коренное отъ прищлаго или наноснаго. Что передъ дѣйствительностью мы не правы, что мы до сихъ поръ относилась къ ней съ болѣе или менѣе ложныхъ точекъ зрѣнія, —это ясно доказываютъ теперь всѣ *живые* явленія науки и литературы. Ясно такъ же и то, что съ коренными началами этой дѣйствительности идеаль поэта не только можетъ быть не-разрозненъ, но долженъ идти рука съ рукою. Являются уже дѣйствительно произведенія, которыя представляютъ собою такую цѣльность въ сознаніи художника,—хотя произведеній этихъ еще немного, и нѣкоторыя изъ нихъ свидѣлствуютъ болѣе о стремленіяхъ авторовъ, чѣмъ представляютъ художественные образцы.

\*) Повѣсть А. В. Станкевича въ альманахѣ *Комета*. Москва, 1851. Изд.

Высказавши всѣ наши общія положенія о предшествовавшемъ и современномъ состояннн словесности, мы обращаемся теперь къ частному разбору ея явленій, изъ которыхъ, впрочемъ, весьма немногія войдутъ въ этотъ разборъ, ибо въ статьѣ нашей мы имѣемъ дѣло съ искусствомъ, а не съ беллетристикою. Собственно мы будемъ говорить только: 1) о «Бѣдной Невѣстѣ» г. *Островскаго*, какъ замѣчательнѣйшемъ литературномъ явленнн 1852 года, 2) о произведеніяхъ г. *Писемскаго*, говорящихъ всегда за талантъ ихъ автора и довольно рѣдко за серьезность его служенія искусству и за его міросозерцаніе, 3) о г. *Попышинѣ*, хотя собственно замѣчательная дѣятельность этого молодого писателя началась еще недавно, 4) о г. *Крестовскомъ*, котораго благородное направленіе и искренность таланта мы уже привѣтствовали недавно, 5) о г. *Кокоревѣ*, котораго «Саввушка», не смотря на нѣкоторые недостатки, произвелъ такое выгодное впечатлѣніе и выказываетъ въ авторѣ много данныхъ для прямыхъ отношеній къ дѣйствительности, 6) о неизвѣстномъ авторѣ «Ульяны Терентьевны.» Затѣмъ мы въ заключеніе взглянемъ на дѣятельность нашихъ лирическихъ поэтовъ.

#### IV.

Переходя къ частному анализу явленій литературы, мы считаемъ обязанностью напомнить читателямъ, что въ статьѣ нашей, равно какъ и въ статьяхъ прошлаго года, мы смотримъ на литературу постоянно съ исторической точки зрѣнія, т. е. поколику она служитъ отраженіемъ жизни и сама съ свою очередь воздѣйствуетъ на жизнь, собственно же художественную оцѣнку, безотносительную, техническую ставимъ (въ этомъ случаѣ) на второмъ или даже на третьемъ планѣ. Велѣдствіе этой точки зрѣнія и сама явленія литературы получаютъ у насъ то или другое мѣсто.

Начиная оцѣнку явленій литературныхъ 1852 года — съ «Бѣдной Невѣсты» г. *Островскаго*, мы поступимъ впрочемъ правильно какъ съ исторической, такъ и съ художественной точки зрѣнія. Какъ ни было несправедливо отношеніе критики къ новому произведенію Островскаго, каковы бы ни были недостатки самой комедіи, извѣстны и намъ конечно, но всего болѣе извѣстны ея автору, всего таки, изъ литературы 1852 года уцѣлѣветъ и останется одно только: «Бѣдная Невѣста». Отъ этого положенія не можетъ отречься и та близорукая кри-

тика, которая, придираясь къ разнымъ мелкимъ недостаткамъ или даже просто недосмотрамъ въ комедіи, не замѣтила самаго важнаго, самаго существеннаго недостатка въ художественномъ отношеніи, недостатка экономіи въ планѣ и въ подробностяхъ. Задачи, замыслы произведенія такъ широко, такъ, можно сказать, блестяще раскинулись передъ самымъ художникомъ, явились ему такъ благородными и такъ говорящими сами за себя, что онъ пренебрегъ ради ихъ симметричностью постройки, что даже, драматургъ по свойству своего таланта, онъ забылъ объ условіяхъ драматизма, и нѣкоторымъ сторонамъ своей концепціи далъ эпическое развитіе, нѣкоторыя же черты выразилъ даже лирически. Можетъ быть также, увлеченный благородствомъ и новостью своихъ задачъ, авторъ не выносилъ ихъ достаточно въ душѣ, не далъ имъ дозрѣть до надлежащей полноты и ясности представленія, но, во всякомъ случаѣ, «Бѣдная Невѣста» свидѣтельствовала о силѣ таланта, находящейся въ извѣстномъ броженіи, въ необузданномъ состояніи, а никакъ не о безсиліи его. Крайне несправедливое отношеніе критики къ новому произведенію Островскаго было живо почувствовано самымъ парадоксальнымъ, но вмѣстѣ самымъ образованнымъ и самымъ умнымъ изъ нашихъ критиковъ, *Иностраннымъ Подписчикомъ*. «Приступая къ разбору Бѣдной Невѣсты», говоритъ онъ, «я долженъ сказать, что смотрю на это произведеніе не тѣми глазами, которыми привыкъ смотрѣть на всѣ драматическія и беллетристическія произведенія, являшіяся въ нашихъ журналахъ, съ самаго начала моихъ писемъ о журналистикѣ. Еслибъ наши періодическія изданія представляли публикѣ хоть разъ въ треть года по одному подобному произведенію, тонъ моихъ писемъ былъ бы совершенно иной, и взглядъ мой на журналистику измѣнился бы радикально. И вотъ почему, я, хвала и осуждая господина Островскаго, гляжу на него какъ на товарища лучшихъ русскихъ и иностранныхъ комиковъ, а вовсе не какъ на сверстника современныхъ намъ петербургскихъ и московскихъ художниковъ». Вслѣдствіе этого, *Иностранный Подписчикъ* съ весьма справедливымъ смѣхомъ и негодованіемъ замѣчаетъ, что «въ Петербургѣ о немъ (объ Островскомъ) отозвались тѣмъ же тономъ, какъ отозвались недавно о г-жѣ Туръ, авторѣ романа: *Племянница*, и что, благодаря критикѣ, «нашему блистательному драматургу долго придется прогуливаться изъ Хариды въ Спиллу, то витая въ сообществѣ мировыхъ поэтовъ, то опускаясь въ лимбы, гдѣ копошатся, шумятъ, теряются, прославляются, царапаются, сплетничаютъ и забываются публикою наши современные художники мужскаго и женскаго пола». Мы привели снова это мѣсто потому, что считаемъ выходу критика необыкновенно пра-

вильною и остроумною, и что, по нашему мнѣнію, подобная насмѣшка вполне заслужена критикою, которая тономъ покровительства объявляла за новость, что у Островскаго есть талантъ, которая спрашивала, что такое Меричъ: «человѣкъ, не кончившій курса? слушатель лекцій, вѣчно собирающійся держать экзаменъ? чиновничекъ низшихъ инстанцій, или купеческій сынокъ?»—которая находила пятый актъ «Бѣдной Невѣсты» совершенно излишнимъ, намѣренно ли не понимая всей его необходимости въ концепціи автора, или возвращая на сцену давно забытыя правила трехъ единствъ; которая, наконецъ, въ этомъ самомъ актѣ не замѣтила,—кого бы вы думали?—Дуни, Дуни, которая кромѣ самостоятельнаго значенія, необходима и для пополненія личности Беневоленскаго! Такіе промахи критики смѣшны людямъ мыслящимъ и въ наше время, но каковы же покажутся они въ послѣдствіи? Что скажутъ о критикѣ, которая съ какою-то злобою приняла явленіе, во всякомъ случаѣ наиболѣе замѣчательное въ ея время, которой самая искренность стоила большихъ усилій и которая при всемъ желаніи быть правдивой, не хотѣла или не умѣла освободиться отъ дурныхъ привычекъ того журнала, въ которомъ дѣйствовала? Что скажутъ о критикѣ, которая, по поводу ничтожнаго произведенія г. Шевича, злоупотребляла именемъ художника, самаго даровитаго въ ея время, и съ высоты своего непризнаемаго никѣмъ величія *отыскивала* дагерротипную живопись тамъ, гдѣ все почти страдаетъ излишествомъ жизни, неумѣренностью свободы художника?

Повторяемъ опять: существенный, главный недостатокъ «Бѣдной Невѣсты»—отсутствіе экономіи въ планѣ, въ постройкѣ,—недостатокъ, котораго всѣ другіе являются уже неизбѣжными послѣдствіями. Сожми Островскій свою драму въ болѣе тѣсныя рамы, умѣрь нѣсколько свои въ высокой степени благородныя и широкія задачи, не выброси онъ заразъ всего, что передумано, перечувствовано имъ въ отношеніи къ избранному драматическому положенію,—созданіе получило бы стройность и цѣлость, хотя можетъ быть утратило бы нѣсколько своей энергии, той энергии, которая всегда проглядываетъ въ произведеніяхъ субъективныхъ, которая составляетъ и порокъ ихъ и высокое достоинство, энергии, которая, какъ субъективная, изолируетъ произведеніе отъ общаго и обыкновеннаго сочувствія, но вмѣстѣ съ тѣмъ владѣтъ на него неотразимо-влекущую печать. Въ такой энергіи есть почти всегда нѣчто недосказанное, нѣчто заставляющее подозрѣвать, что она еще не вся вылилась,—и продукты ея дѣйствительно являются чѣмъ-то недосказаннымъ, хотя въ тоже время эта недосказанность, да простятъ мнѣ нѣсколько фигурное выраженіе, прозрачна: съвозъ нее видно, что

хотѣлъ сказать поэтъ, видны основы его, видна болѣе всего поэзія его міросозерцанія. Пусть онъ не довелъ до послѣдней степени ясности своихъ задачъ, пусть не достигъ онъ положительной опредѣленности и типичности въ отдѣлѣ выведенныхъ имъ образовъ; душа читателя, увлеченная силою творчества и, такъ сказать, покоренная міросозерцаніемъ, доподняетъ въ себѣ сама, и притомъ дополняетъ правильно, недосказанныя черты. Ибо ничто въ такой степени не необходимо художнику, какъ міросозерцаніе. Талантъ находится въ прямомъ отношеніи съ жизнію, и болѣшая или меньшая степень воспроизведенія жизни есть вмѣстѣ съ тѣмъ высшая или низшая степень правильнаго отношенія къ ея явленіямъ, то есть въ дѣйствительности. Безъ міросозерцанія, прочнаго, совершенно сложившагося, (хотя складывающагося различно, смотря по различнымъ историческимъ даннымъ мѣстности, народности, времени, а съ другой стороны, смотря по условіямъ лежащимъ въ натурѣ художника), не бывало, нѣтъ и не будетъ истинныхъ художниковъ. Кого ни возьмете вы изъ тѣхъ избранныхъ, которые отмѣтили жизнь свою дѣломъ, оставили по себѣ какой-либо прочный слѣдъ, всѣ они разумѣли смыслъ жизни, и стало быть, серьезно смотрѣли на жизнь. Всѣ они, отрицательно ли, положительно ли, дѣйствовали въ литературѣ *во имя* ясно сознаемаго и живо чувствуемаго идеала, и безъ этой идеальной основы—художества быть не можетъ. Чѣмъ свободнѣе, шире, человѣчнѣе, и вмѣстѣ идеальнѣе міросозерцаніе художника, то есть разумнѣе того, *во имя* чего воспроизводитъ онъ образы полные правды и караетъ всякую неправду жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ разумнѣе отношенія идеала къ дѣйствительности, тѣмъ болѣе яркій слѣдъ оставляетъ по себѣ его дѣятельность. Изъ разумнѣя отношенія между тѣмъ, во имя чего художникъ творитъ, и между тѣмъ, въ чемъ художникъ видитъ, или, лучше сказать, чувствуетъ глубоко положеніе или отрицаніе идеала,—изъ этого разумнѣя, обусловленнаго историческими данными известной народности и извѣстной эпохи, выходитъ различное міросозерцаніе художника. Да не подумаютъ, впрочемъ, чтобы увлекаясь нѣкоторымъ историческимъ фатализмомъ, мы въ сложеніи міросозерцанія художника давали мѣсто только вліянію историческихъ данныхъ эпохи: на одни и тѣже явленія различныя художественскія натуры смотрятъ подъ различнымъ угломъ зрѣнія. Свѣтъ одинъ, но онъ преломляется въ призмѣ на нѣсколько различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ: нужно только необходимо, чтобъ душа художника воспринимала свѣтъ и отражала тотъ или другой его оттѣнокъ.

У Островскаго, одного въ настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ от-

тѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохи, такъ можетъ быть и данными природы самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности. Другой вопросъ, всегда ли одинаково онъ служитъ ему; но всѣ задачи міросозерцанія выступили уже ярко въ доселѣ извѣстныхъ публичъ произведеніяхъ Островскаго и выступать скоро еще ярче въ новомъ его произведеніи, о которомъ какъ не напечатанномъ еще мы не имѣемъ права говорить, хотя оно послужило бы къ самому прямому разъясненію вопроса. Покажемъ, слѣдовательно, мы должны ограничиться міросозерцаніемъ, явнымъ для насъ въ «Своихъ людяхъ—сочтемся», и въ особенности, чтобы не отдаляться отъ вопроса, міросозерцаніемъ «Бѣдной Невѣсты». Міросозерцаніе всякаго поэта особенно наглядно выступаетъ въ его отношеніи къ событію и положенію, взятымъ имъ для художественной обработки, и въ его отношеніи къ лицамъ, участвующимъ въ событіи, поставленнымъ въ извѣстное драматическое положеніе.

Всѣмъ нашимъ читателямъ извѣстна, безъ сомнѣнія, «Бѣдная Невѣста»; и потому не для чего здѣсь излагать въ подробности ея содержаніе или канву событій, нечего также и доказывать, что главное, центральное такъ сказать, драматическое положеніе, изъ котораго какъ изъ зерна выходятъ всѣ другія,—положеніе самой бѣдной невѣсты, Марьи Андреевны. Особенность міросозерцанія Островскаго въ отношеніи къ событію и къ положенію всего лучше и очевиднѣе можетъ быть доказана путемъ отрицательнымъ. Поэтому мы спросимъ, что увидѣли бы въ событіи и въ положеніи прежнія, весьма недавнія впрочемъ, школы, свирѣпствовавшія въ русской литературѣ, т. е. школа фальшивой образованности и школа натуральная? Школа фальшивой образованности принялась бы за это положеніе съ своей обычной точки зрѣнія. Дѣло извѣстное:

Но вотъ среди толпы густой  
Мелькаетъ быстро передъ вами  
Ребенокъ робкій и нѣмой,  
Съ большими грустными глазами.  
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ,  
Но за собой она невольно  
Влечетъ васъ... за нее вамъ больно  
И страшно... Блѣдный, томный цвѣтъ  
Лица,—печальный слѣдъ сомнѣній,



Тревожныхъ, раннихъ размышлений,  
 Тоски, неопытныхъ страстей,  
 И взглядъ внимательный—все въ ней  
 Вамъ говорить о *самовластной*  
 Душѣ... Ребеночъ бѣдный мой!  
 Ты будешь женщиной несчастной...  
 Но я не плачу надъ тобой...

Съ душевною болью выписываетъ авторъ статьи это, нѣкогда сильно на него дѣйствовавшее, лирическое мѣсто,—но тѣмъ не менѣе *долженъ* представить его въ образецъ того фальшиваго міросозерцанія, съ которымъ самые талантливые люди литературной школы отнеслись бы къ положенію Марьи Андреевны. Характеръ она такъ же мало бы создала своимъ міросозерцаніемъ, какъ мало обозначенъ онъ въ пьесѣ Островскаго, даже несравненно меньше, но взглядъ былъ бы таковъ. Вслѣдствіе этого, въ обстановкѣ явился бы не Меричъ, а господинъ, который былъ бы пожалуй и такъ же пустъ, но котораго пустоту оправдывалъ бы явно авторъ общими *язвами* современности; и Милашина не было бы, потому что въ Милашинѣ многимъ колетъ глаза правда міросозерцанія автора, — и Хорьковъ вышелъ бы, пожалуй, и пьющимъ же съ горя человѣкомъ, но съ самыми грубыми и необразованными наклонностями, совершенно неспособнымъ понять деликатную и чисто-плотную натуру Марьи Андреевны (*conditio sine qua non*—выставить чистоплотность какъ рѣдкое качество), и мать Марьи Андреевны вышла бы не та, и отношеніе къ ней Марьи Андреевны было бы не такое. Въ доказательство, что мы говоримъ не наугадъ, а на основаніи данныхъ прошедшаго, могли бы мы привести бездну повѣстей старыхъ годовъ; но всего лучше подтверждаетъ нашу мысль то, что критикъ этой школы именно хотѣлось, чтобы Марья Андреевна подлюбила не Мерича, а *хорошаго* человѣка; потому изволите видѣть, что въ такомъ случаѣ, она внушила-бъ больше симпатіи. Бѣдная критика и не догадывалась въ своей наивности, что если бы комедія Островскаго писалась по ея теоріи, и вообще по заданной напередъ темѣ, то тотъ же самый Меричъ могъ бы быть выданъ авторомъ за весьма *хорошаго* человѣка, за одного изъ тѣхъ безчисленныхъ тероевъ, по которымъ страдаютъ, сбхнутъ, умираютъ злой чахоткой героини безчисленныхъ повѣстей и романовъ. Или вышла бы другая исторія: тотъ же Меричъ изображенъ былъ бы такъ карикатурно, какъ во многихъ же повѣстяхъ изображаются моншеры, не обладающіе великимъ искусствомъ одѣваться *comme il faut* и расчесывать волоса съ проборомъ назади, и метался бы въ глаза всѣмъ, даже упомянутой нами критикѣ. Что касается до добрейшаго

Платона Марковича Добротворскаго, то онъ, какъ одно изъ орудій *гибели* Марьи Андреевны, явился бы такимъ каррикатурнымъ звѣремъ, что Боже упаси. Вообще положеніе Марьи Андреевны было бы взято такъ, что она непременно погибла бы и задохлась окончательно въ самой пьесѣ среди грубой и грязной дѣйствительности, какъ погибаютъ разныя героини «превращеній» и другихъ повѣстей въ этомъ родѣ: фактъ опять удобо-доказываемый тѣмъ, что критикъ этой школы особенно не поправился психологическій выходъ натуры Марьи Андреевны въ пятомъ актѣ, совершенно излишнемъ по ея мнѣнію.

Съ другой стороны — натуральная школа все участіе зрителя насильственно сосредоточила бы на лицѣ Платона Марковича, внушила бы ему глубокую, слезливую, бессознательную и въ особенности *примичную* старую страсть къ Марьѣ Андреевнѣ, — какъ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину или Мошкину, и подъ конецъ — выдала бы за него за мужъ Марью Андреевну, съ разбитымъ, подразумѣвается, сердцемъ.

Ни того, ни другого не сдѣлалъ Островскій: онъ не пощадилъ Мерича, не идеализировалъ Добротворскаго и избѣгъ даже еще крайности, въ которую не мудрено впасть всякому, оскорбленному неправильнымъ отношеніемъ разныхъ школъ къ дѣйствительности, — не идеализировалъ самой дѣйствительности обставляющей характеръ Марьи Андреевны; съ равнымъ разумнымъ участіемъ отнесся онъ и къ положенію своей героини, и къ положенію, на примѣръ, ея матери, и къ положенію Хорькова, и къ положенію Дуни, и т. д. Этимъ-то такъ и благородны, такъ широки и такъ новы его задачи, хотя и не во всѣхъ частяхъ выполнены равно удовлетворительно. Самая неудовлетворительность, и преимущественно техническая неудовлетворительность выполненія произошла едва ли не отъ того, что для автора на первомъ планѣ стояли задачи. Имъ онъ пожертвовалъ драматизмомъ въ двухъ первыхъ актахъ, чтобы почти эпически спокойными и какъ будто нѣсколько вяло тянущимися подробностями — ввести насъ въ бытъ и отношенія изображаемаго имъ міра; имъ уступилъ онъ и въ нѣсколько лирически, а не драматически-патетической сценѣ пятаго акта между Меричемъ и Марьей Андреевной, въ ея обращеніи къ Меричу: «Поздно, Владиміръ Васильичъ, поздно...» и т. д. Но такой недостатокъ, являясь дѣйствительно недостаткомъ на судъ строгой эстетической критики, заставляетъ какъ-то читателя искреннѣе сочувствовать произведенію, въ которомъ присутствіе субъективности автора не скрыло отъ другихъ тѣхъ задачъ, которыя ее самое тревожили.

Теперь взглянемъ нѣсколько на отношеніе художника къ выведеннымъ имъ лицамъ. Лице Марьи Андреевны подверглось нареканіямъ

за отсутствіе въ немъ характера. Мы сами соглашаемся отчасти, что Марья Андреевна скорѣе положеніе, чѣмъ лице, но вмѣстѣ съ этимъ, не можемъ не высказать своего задушевнаго мнѣнія, что при такой молодости лѣтъ, ей еще нельзя было выработать опредѣленной личности, а при окружающей ея обстановкѣ—и неоткуда было взять элементовъ для опредѣленія личности: Марья Андреевна представляетъ собою общій процессъ женскаго сердца, въ ту эпоху, когда женщина вѣя состоитъ только изъ побужденій и неопредѣленныхъ стремленій, — а что у ней есть натура, изъ которой, какъ будетъ она постарше, выработается настоящая, славная женская личность, такъ это показываетъ многое, — между прочимъ ея жажда искренней любви, ея благородное сознаніе собственнаго достоинства, ея честный взглядъ на вещи... Кромѣ того, мы видимъ въ ней не мечтательницу, не резонерку, не одно изъ тѣхъ неминуемо *гибнущихъ* въ дѣйствительности, по представленію нашихъ романистовъ и драматурговъ, существъ, которыхъ всѣ достоинства существуютъ только въ воображеніи ихъ сочинителей. Марья Андреевна, хоть она не вполне еще сложилась нравственно, даже, пожалуй, вовсе не сложилась, — натура живучая, способная понять правду жизни, смыслъ ея и настоящее дѣло, не вооружающаяся даже на окружающую ее сферу, ибо сама она, со всѣми страстными задатками ея организаціи, — все-таки продуктъ этой жизненной сферы. Милашина *возмущаетъ* Добротворскій, — ее не возмущаетъ; она видитъ въ немъ добраго человѣка даже въ ту минуту, когда ей крайне несносны заботы о скорѣйшемъ устройствѣ ея участи. Меричу отдалась она со всею непосредственностью и свѣжестью души, — но и тутъ она не отрѣшается отъ настоящей жизни — она даже *безпокоитъ* этого господина тѣмъ, что старается завести съ нимъ рѣчь о близкихъ къ дѣлу интересахъ. Но съ другой стороны, — не одни впечатлѣнія окружающей сферы быта дѣйствовали на ея страстную и воспріимчивую натуру: — внутренний міръ ея созданъ подъ вліяніемъ впечатлѣній другой сферы, подъ вліяніемъ чтенія, подъ вліяніемъ идей, которыя живутъ въ воздухѣ и какъ воздухъ проходятъ въ какой бы то ни было замкнутый и особый мірокъ. Этимъ можно оправдать даже ея мѣстами книжную рѣчь. Что касается, наконецъ, до психологическаго выхода ея характера, то этотъ выходъ могъ показаться насильственнымъ только развѣ той критикѣ, о которой мы уже говорили. Очевидно всякому, что словами: «Я хочу жить, я имѣю право на счастье...» авторъ не хотѣлъ ни поднять свою героиню на ходули, ни навязать своей комедіи ложное или пошлое примирненіе, а только хотѣлъ быть вѣрнымъ передавателемъ душевнаго процесса такихъ натуръ, какъ натура Марьи Андреевны, — натуръ, не ско-

ро впадающихъ въ апатію разочарованія, добивающихся отъ жизни—правды. Очевидно также и то, что авторъ не дѣлитъ съ своей Марьей Андреевной надеждъ на моральное возвышеніе Максима Дорооевича Беневоленскаго, — очевидно по его же указаніямъ, по всему слѣдующему за сценою V-го акта Марьи Андреевны съ Меричемъ до конца комедіи, что разобьются въ прахъ такія надежды, хотя подлежитъ большому сомнѣнію, чтобы разбилась или обмельчала натура его героини.

Дѣйствительность, окружающая Марью Андреевну — матеріально очень бѣдная, а нравственно весьма недалекая. На ознакомленіе насъ съ этой обстановкою Островскій употребилъ, какъ мы уже замѣтили — не драматическія, а эпическія средства: много лишнихъ подробностей, которыя сами по себѣ прекрасны взяты отдѣльно, но ходу драмы не содѣйствуютъ, — вошло сюда. За то мы знаемъ хорошо Анну Петровну, знаемъ Дарью, знаемъ Хорькову, знаемъ Добротворскаго, — знаемъ, однимъ словомъ, этотъ особенный, совершенно московскій, даже замоскворѣцкій міръ мелкаго чиновничества, изображенный безъ малѣйшей злобы и задней мысли. Нельзя не остановиться съ удовольствіемъ на отношеніи автора къ матери Марьи Андреевны съ одной стороны и на отношеніи его къ матери Хорькова съ другой; принимая самое сильное участіе въ своей героинѣ, авторъ однако ничѣмъ не пожертвовалъ этому участію. Вы, напримѣръ, негодуете на Милашина, пристающаго къ Марьѣ Андреевнѣ съ пошлымъ и приторнымъ участіемъ въ тяжкую и рѣшительную минуту ея жизни, но ни разу не негодуете на Анну Петровну — даже тогда, когда она попрекаетъ дочь въ неблагодарности, когда она настоятельно требуетъ, чтобы та шла замужъ за Беневоленскаго; жаль вамъ Марьи Андреевны, да чтожь и старухѣ-то дѣлать? Женщина она слабая, сырая; кромѣ того, что ей втемяшилась въ голову idea fixe: какъ это безъ мѣщины въ домѣ? — и домъ-то еще у нея оттягиваютъ. Недалека она — это точно, что недалека, да вѣдь она любитъ свою Машеньку; вѣдь въ концѣ она сама чувствуетъ, что что-то неладно: «Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влезешь». Однимъ словомъ, нѣтъ возможности сердиться читателю на бѣдную старуху, когда ни авторъ, ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся.

Подъ пару къ этому глуповато-доброму существу старикъ Платонъ Марковичъ Добротворскій — лице вполне живое и типическое, къ которому опять авторъ отнесся необыкновенно правильно и человѣчно. Это ничего — что онъ поцѣлуетъ въ рукавъ Максима Дорооевича Беневоленскаго; — это ничего, что онъ добродушно замѣтитъ, говоря о лошадакѣ Максима Дорооевича: «Ахъ проказникъ вы, проказникъ, Максимъ Дорооевичъ»

«еячь! Да вѣдь чай не вупленная» — абсолютныхъ понятій о честности вы отъ него и не требуйте; — но вѣдь онъ трогательно привязанъ къ семьѣ своего благодѣтеля, онъ бѣгаетъ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ отыскивая жениха Машѣ, онъ скажетъ ей отъ души по своему разумѣнію доброе слово («Свистуны вѣдь они матушка, никакой основательности нѣтъ. Невѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ»). Онъ прежде всего заботится о тишинѣ и мирѣ, — но между тѣмъ когда дѣло идетъ объ участи Маши, которая устроилась по его мнѣнію благополучно, онъ даже Беневоленскому, къ которому относится къ уваженіемъ и съ нѣкоторою лестію, скажетъ основательно, боясь за старья его шапки: «Что жъ вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андреевнѣй дѣлаете? Вы этакъ у меня ее уморите, сердечную.... А ужъ вы, батюшко, эти глупости-то оставьте». Добрый, добрый старикъ — хоть и не далѣко онъ видитъ. Онъ совершенно подъ пару Аннѣ Петровнѣ: и правъ былъ авторъ, что къ нимъ обоимъ отнесся такъ человѣчно.

Иное отношеніе къ матери Хорькова, тоже мастерски задуманному и мастерски выполненному лицу. Тутъ уже авторъ видимо относится со смѣхомъ къ претензіямъ полуобразованности — читателю больно забѣднаго Хорькова въ сценѣ его объясненія съ Марьей Андреевнѣй, гдѣ Хорькова его, такъ сказать, подучиваетъ; еще яснѣе обозначается для васъ эта женщина въ третьемъ актѣ, когда она съ такимъ явнымъ злорадствомъ приходитъ къ матери Марьи Андреевны, чтобы вылить на бѣдную дѣвушку лужу сплетенъ. Вамъ очевидно, что она вломалась въ амбицію — и что если такая женщина вломается въ амбицію, такъ тутъ только держись. Вамъ ясно, каково должно было быть ея вліяніе на натуру сына и какіе слѣды на его душѣ должно было оставить это вліяніе.

Самъ Хорьковъ — опять скорѣе положеніе, чѣмъ лице, точно такъ же, какъ и Марья Андреевна, — положеніе слишкомъ великодушно брошенное авторомъ въ драму, когда оно само могло послужить предметомъ драмы, но положеніе, котораго наиболѣе яркія стороны набросаны кистью мастера. Какъ ни неудовлетворительно впечатлѣніе, получаемое отъ малоразвитыхъ его отношеній къ матери и къ Марьѣ Андреевнѣй, — но всетаки эта «любовь изъ-за угла», — удѣлъ натуръ слишкомъ сосредоточенныхъ и сначала запуганныхъ, потомъ попорченныхъ средою жизни, — трагическая безвыходность его положенія, постоянное недовольство собою и страстное разрѣшеніе невыносимаго душевнаго состоянія запоетъ, показываютъ, какъ широка была задача поэта въ созданіи его положенія. Повторяемъ опять, это положеніе брошено только слишкомъ

великодушно, вѣроятно отъ избытка силъ таланта. Въ сценическомъ выполненіи «Бѣдной Невѣсты» при искусной и теплой игрѣ актера, который возьметъ на себя роль Хорькова, — положеніе можетъ уясниться, досказаться и произведетъ эффектъ поразительный. Замѣтимъ между прочимъ, что одинъ изъ критиковъ «Бѣдной Невѣсты» поставилъ Хорькову въ вину предложеніе Милашину *пересваченныхъ* писемъ *счастливаго своего соперника*. Зачѣмъ колотъ Хорькову глаза счастливымъ соперникомъ, — возразилъ на это въ свое время, одинъ изъ насъ, рецензентовъ Москвитянина, — когда онъ не оказалъ къ нему ни ревности, ни зависти, когда онъ съ разу оставилъ всѣ свои надежды и, забывши о себѣ, заботился только о судьбѣ Марьи Андреевны? Вѣдь онъ не о себѣ хлопоталъ, изъ комедіи это ясно; за что же критикъ наводитъ сомнѣніе на его честность? Что это за условный взглядъ на поведеніе? Дѣвушка гибнетъ, опутанная сѣтями подлаго человѣка, и ей нельзя подать помощи! Неужели же Хорькову, который знаетъ цѣну Меричу, въ подобномъ случаѣ оглядываться съ сомнѣніемъ на свой поступокъ? Ему и въ голову не могло придти, что онъ дѣлаетъ дурно; онъ слишкомъ сильно любилъ Марью Андреевну и слишкомъ мало любилъ себя.

Что касается до лица Беневоленскаго, то созданное совершенно цѣльно и при томъ за-разъ, всей натурой вылитое, онъ не требуетъ разъясненія отношенія въ себѣ автора. Тутъ нельзя даже указать на какія либо особенныя черты—все тутъ типично, отъ желанія пріобрѣсти образованную жену и вмѣстѣ пріобрѣсти органчикъ для обученія канареекъ, до пріобрѣтенія хорошей вещички отъ нечаянно *набѣжавшаго* хорошаго человѣка и до разсказа о представленіи Роберта, въ которое, *замулявши*, не попалъ Максимъ Дорооеичъ; отъ возраженія на желаніе Анны Петровны, чтобы мужчина былъ непьющій: «Конечно..., а знаете ли, сударыня, я вамъ осмѣлюсь сказать, что въ мужчинѣ даже и это ничего. Какъ ты думаешь, Платонъ Марковичъ объ этомъ?» — до зарокъ не пить, даннаго передъ свадьбой, причемъ читатель остается убѣжденъ, что такой зарокъ данъ только до послѣ-свадьбы, а всего скорѣе только до первой вѣрной оказіи. Особенно же хорошъ и просится въ картину Максимъ Дорооеичъ, когда самодовольно деретъ себя за холъ, одѣтый женихомъ и стоя передъ зеркаломъ. А между тѣмъ, личность Беневоленскаго была бы все-таки неполна безъ *Дуни*. Не смотря на всю краткость двухъ сценъ, въ которыхъ она является—къ ея личности нельзя прибавить ни одной черты, вся жизнь ея передъ вами какъ на ладони... Напоминать черты Дуни, значить, выписывать всѣ ея слова, всю сцену ея съ Беневоленскимъ, а равно и первую сцену съ Пашею, или по даннымъ, заключающимся въ этихъ сценахъ, писать исто-

рiю этой женщины... Есть слова у Дуни въ высшей степени патетическiя: «А все таки Паша.... ты то возьми, лѣтъ пять жили.... вѣдь жалко... Конечно, немного я отъ него добраго видѣла.... больше слезъ, одного сраму что перенесла. Такъ, ни-за-что прошла молодость, и помянуть нечѣмъ.» Или ея обращенiе къ Беневоленскому: «Смотри жь, живи хорошенько.... Эта вѣдь тебѣ навѣлъ, не то что я.... Ну прощай, не поминай лихомъ, — добромъ нечѣмъ. Что это я какъ дура расплакалась, въ самомъ дѣлѣ? О! махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!» Всякiй, кто и не знаетъ этого типа женщинъ, почувствуетъ невольно, что это все такъ именно должно сказаться—равно какъ и «адье, мусье», брошенное на прощанье въ порывѣ какой-то размахистой удали завитаго веревочкой горя, равно какъ и то, что Дуня, издѣваясь, пугаетъ Беневоленскаго прежде: «а хочешь, сей часъ deboшь сдѣлаю»; все, все такъ, отъ ясныхъ намековъ на ея жизнь, когда Беневоленскiй прiѣзжалъ къ ней «пьяный да олаберный—такъ какъ обѣснующiй какой» до ея ироническаго тона при встрѣчѣ съ нимъ и своего рода благородства въ словахъ: «Ты смотри, не забуди чужого вѣку даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько»....

Въ заключенiе скажемъ нѣсколько словъ о Меричѣ и Милашинѣ... Что къ Меричу, а равно и къ Милашину отнесся авторъ въ высшей степени правильно, это ясно изъ того даже, что критика известной школы до сихъ поръ сердится на него за эти лица. Что съ другой стороны Меричъ и Милашинъ—превосходны только какъ задачи, что они не вызрѣли достаточно въ душѣ художника, это такъ же ясно. Но общiй психологическiй процессъ такихъ натуръ, какъ натура Мерича и Милашина, представленъ до того осязательно, что вы, принимая участiе въ судьбѣ Марьи Андреевны, негодуете на того и другого и презираете ихъ. Можетъ быть только двухъ-трехъ штриховъ рѣзца недоставало для дѣвершенiя этихъ фигуръ. Въ отношенiяхъ того и другого къ Марьѣ Андреевнѣ слишкомъ явно, что они существуютъ только ради ея въ комедii, что авторъ увлекся преимущественно драматизмомъ положенiя и сосредоточилъ все на немъ, оставивши многое недосказаннымъ.

Но и того, что выполнено въ «Бѣдной Невѣстѣ», достаточно, чтобы она была замѣчательнымъ произведениемъ во всякой литературѣ, а задачи ея такъ широки, благородны и новы, что, безъ сомнѣнiя, поставляютъ автора во главѣ современнаго литературнаго движенiя.

## V.

Разсмотрѣвши отдѣльно «Бѣдную Невѣсту», какъ произведеніе выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, даже хорошихъ литературныхъ явленій, мы взглянемъ теперь на другія явленія, болѣе или менѣе проникнутыя живымъ началомъ. Въ обзорѣ наше войдутъ весьма немногія литературныя произведенія и, такимъ образомъ, не войдутъ продукты беллетристики.

На первомъ мѣстѣ и даже отдѣльно въ ряду писателей, которыхъ произведенія проникнуты живымъ началомъ, безъ сомнѣнія поставимъ мы въ настоящую минуту автора «Тюфяка», «Брака по страсти» и «Ипохондрика», г. Писемскаго, писателя съ самымъ яркимъ, самобытнымъ и ерѣшкимъ дарованіемъ, которому недостаетъ только глубины и идеальности міросозерцанія, чтобы имѣть на литературу самое сильное вліяніе. Замѣчательно странно то, что съ каждымъ новымъ произведеніемъ послѣ «Брака по страсти», міросозерцаніе автора постоянно, такъ сказать, понижается, между тѣмъ какъ всѣ непосредственныя данныя таланта остаются тѣже самыя. Въ «Ипохондрикѣ», не смотря на всю комическую силу и соль этой комедіи, міросозерцаніе явно отсутствуетъ: въ «Богатомъ Женихѣ», самомъ слабомъ и, повидимому, наскоро писанномъ романѣ г. Писемскаго, оно является чѣмъ-то колеблющимся, нерѣшительнымъ, безцвѣтнымъ; въ «Батмановѣ», не смотря на всѣ прекрасно отдѣланныя частности этой повѣсти, міросозерцаніе понизилось совершенно до безразличія температуры съ изображаемою авторомъ дѣйствительностью; тутъ уже нѣтъ какъ-будто и отголоска тѣхъ строгихъ, прекрасныхъ задачъ, которыя съ такою энергіею обозначались въ «Тюфякѣ», самомъ сильномъ изъ произведеній г. Писемскаго, и въ «Бракѣ по страсти», самомъ художественномъ изъ нихъ: во всемъ послѣдующемъ видѣнъ одинъ только непосредственный талантъ, какъ-будто совершенно обнаженный, лишенный всякаго вооруженія. Отъ неясности ли идеала въ душѣ писателя, отъ особаго ли свойства излишней гибкости въ талантѣ, гибкости, приводящей міросозерцаніе въ уровень со всеюо дѣйствительностью, зависитъ это, — или преимущественно отъ того, что г. Писемскій недостаточно выносилъ въ душѣ свои послѣднія произведенія, но отъ нихъ рѣшительно ни тепло, ни холодно: любишь мастерскимъ приѣмомъ автора въ схватываніи разныхъ сторонъ дѣйствительности, непосредственностью изображенія и часто поразительною простотою, любишь, однимъ словомъ, творческими данными, но подъ вліяніе самаго творчества никакъ не попадешь; то



что мы сказали о немъ въ статьяхъ о литературѣ за 1851 годъ, мы готовы повторить и теперь, ибо г. Писемскій не сдѣлалъ ни одного шага къ выходу изъ своего нѣсколько несвободнаго, зависимаго отношенія къ дѣйствительности. Выйди изъ таковаго отношенія г. Писемскій могъ, какъ намъ кажется, только однимъ путемъ, — развивая тѣ серьезныя и новыя, хотя нѣсколько отрицательныя задачи, которыя лежали въ «Тюфякѣ» и въ «Бракѣ по страсти». Для поясненія этихъ задачъ мы повторимъ здѣсь то, что сказано однимъ изъ насъ \*) по поводу общаго смысла «Брака по страсти», смысла дурно понятаго или даже совсѣмъ не понятаго устарѣвшею критикою, незнающею иного отношенія кромѣ тупой вражды къ новымъ талантамъ, идущимъ не по той дорогѣ, по которой шли прежніе, ей знакомые. «Авторъ *Брака по страсти*», — говоритъ нашъ рецензентъ, «неудовольствовался тѣмъ, что образно и въ дѣйствиіи выразилъ свою мысль, — онъ намекаетъ на эту мысль даже въ эпиграфѣ, избранномъ имъ для своей повѣсти: *Мелкія натуры, сказано тамъ, только претендуютъ на любовь и неудачно драматизируются плащемъ Ромео*. А между тѣмъ, кто же, въ наше время въ особенности, не претендуетъ на любовь, кто не полагаетъ себя способнымъ къ истинной и глубокой страсти, кто, наконецъ, не готовъ признать въ себѣ и другихъ за любовь чуть-чуть очеловѣченную наклонность или причуду своего распаленнаго воображенія? Если много зла въ жизни происходитъ отъ отсутствія любви въ брачныхъ отношеніяхъ, то едвали не столько же поражается безразсудною любовью, минутною прихотью сердца, наконецъ, страстью, родившеюся въ головѣ, если всѣ подобныя движенія души не останутся во время, не разовьются въ прочныя отношенія съ женщиной. Если гнусны и противучеловѣчны союзы, основанныя на корысти, тщеславіи и другихъ нелѣпыхъ побужденіяхъ, то, съ другой стороны, смѣшны до крайности и тѣ пародіи на любовь, которыя только обставлены внѣшнимъ приборомъ истинной любви, въ самомъ же дѣлѣ имѣютъ съ нею только одну общую черту — ослѣпленіе. И именно смѣшны они по преимуществу потому, что рѣдко разыгрываются въ драму, но по большей части, если и поражаютъ страданія, то страданія мелкія, мало внушающія участія и до гонца носящія въ себѣ элементъ комическаго, перазумнаго...»

Разоблачать фальшь прикрывающую себя эффектомъ, разоблачать побужденія, которыя по виду только благородны, разоблачать претензіи на страсти и съ строгою послѣдовательностью преслѣдовать живот-

\*) Здѣсь разумѣются тогдашніе сотрудники *Москвитинина* по критическому отдѣлу: *В. Н. Алмазовъ* и *Е. Н. Эдельсонъ*.

ненное, прикрывающееся возвышенными стремленіями, мелкое, драпирующееся градіознымъ плащемъ, показать, однимъ словомъ, и фальшивую сторону тѣхъ страстей, которыя такъ долго въ нашей литературѣ показывались только съ блестящей ихъ стороны, вотъ какова была задача таланта г. Писемскаго, по сколько она высказалась въ «Тюфякѣ» и въ «Бракѣ по страсти». «Тюфякъ»—самое прямое и художественное противодѣйствіе болѣзненному бреду писателей натуральной школы. Герой романа, т. е. самъ Тюфякъ, съ его любовью изъ за-угла, съ его неясными и неуясненными ему самому благородными побужденіями пополамъ съ самыми грубыми наклонностями, съ самымъ дикимъ эгоизмомъ, этотъ герой, не смотря на то, что вамъ его глубоко, болѣзненно жаль, тѣмъ не менѣе—Немезида всѣхъ этихъ героевъ замкнутыхъ угловъ съ ихъ непонятными никѣмъ и имъ самимъ непонятными стремленіями, проводящихъ «бѣлыя ночи» въ бреду о какихъ-то идеальныхъ существахъ, къ которымъ несмѣютъ подойти въ дѣйствительности, или страдающихъ въ дѣйствительности отъ этихъ же самыхъ идеальныхъ существъ; только г. Писемскій, можетъ быть, и даже вѣроятно, съ душевною болью отнесся къ этому герою какъ слѣдуетъ, комически. Съ другой стороны, «Бракъ по страсти»—столько же прямое и еще болѣе художественное противодѣйствіе міросозерцанію другой школы фальшивой образованности. Прибѣгаемъ опять къ поясненію смысла этого произведенія, сдѣланному нашимъ критикомъ. «Нельзя не благодарить г. Писемскаго, говоритъ онъ, за то, что онъ тронулъ вопросъ любви съ такой оригинальной стороны; нельзя не видѣть, что мысль, лежащая въ основѣ его повѣсти, вынесена имъ не изъ теоретическаго пониманія, но изъ многостороннихъ наблюденій надъ жизнію, что, однимъ словомъ, сама жизнь натолкнула его на эту мысль. Голосовъ въ пользу любви раздавалось много въ нашей, какъ и во всякой другой литературѣ; любовь угнетенная являлась во всевозможныхъ видахъ; было такъ же много протестовъ противу многоразличныхъ условій, стѣсняющихъ любовь. Во множествѣ произведеній, порожденныхъ этими въ сущности благородными и возвышенными побужденіями, попадались, конечно, и такія, которыя брали вопросъ съ настоящей стороны, стояли за безусловно-правое дѣло; но были и произведенія (даже болѣею частію, прибавимъ мы къ словамъ нашего критика), которыя только запутывали и затемняли дѣло, порождая ложныя мысли объ одной изъ самыхъ благороднѣйшихъ страстей человѣка. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, они, безъ сомнѣнія, приносили болѣе вреда, чѣмъ пользы. Самая дурная сторона ихъ была совершенная разрозненность съ дѣйствительною жизнію, искаженіе дѣйствительности по произволу, для проведенія нѣсколькихъ,

иногда даже непонятых самими авторами, мысль. Если они дѣйствовали на публику, то какъ-то странно, возбуждая въ ней рѣшительно неудовлетворимыя и неприменимыя стремленія, разжигая мысль причудливыми и соблазнительными формами любви, выдумываемой авторомъ въ его праздныхъ мечтаніяхъ.

Такого-то рода представленіе страстей и отношеній поваралъ г. Писемскій въ своей повѣсти. На сколько такая задача его таланта исторически необходима въ нашей литературѣ, видно изъ самаго бѣлаго взгляда, винутого на ея недавнее, предшествовавшее состояніе. На одну повѣсть, въ родѣ «Безъ разсвѣта», гдѣ съ правдивой и притомъ драматической стороны взяты совершенно законныя требованія и совершенно незаконное имъ противодѣйствіе, найдется куча вялыхъ и безобразныхъ по духу и по формѣ произведеній, обязанныхъ своимъ бытіемъ напряженію эгоизма, желанію драпироваться плащомъ Ромео. Немудрено, что критика этой школы такъ сильно подняла свой голосъ противъ беспощадной повѣсти г. Писемскаго, ибо, какъ говорить опять нашъ критикъ, «ничего выдуманнаго, т. е. фальшиваго нѣтъ въ этой повѣсти. Передъ вами—происшествіе изъ дѣйствительной жизни, какихъ вамъ, можетъ быть, не разъ случалось быть свидѣтелемъ, происшествіе до такой степени правдивое, что кажется, будто оно списано съ какого-нибудь дѣйствительно случившагося событія. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти лица, находящіяся въ повѣсти, эти отношенія между ними, вся обстановка, вы ихъ видали не разъ. Только ясность, съ которой озаренъ внутренній смыслъ всего событія и раскрыты внутреннія пружины, двигающія лицами, показываетъ вамъ, что вы имѣете дѣло съ свободнымъ продуктомъ таланта, правда твердо опершагося на дѣйствительность и всѣ формы своего произведенія взявшаго изъ нея».

Такъ обозначалась въ двухъ первыхъ и лучшихъ произведеніяхъ г. Писемскаго его литературно-историческая задача. Въ задачѣ этой, какъ чисто-отрицательной, заключалась и своя опасная для таланта сторона, особенно, когда въ этомъ талантѣ гораздо больше непосредственныхъ данныхъ, чѣмъ глубокаго содержанія, какъ въ талантѣ г. Писемскаго. Разоблаченіе всего аффектированнаго въ страстяхъ человѣческихъ, всего фальшиваго въ явленіяхъ дѣйствительности,—такой подвигъ, который, для вполне достойнаго служенія себѣ, требуетъ со стороны служащаго ему такого постоянно высшаго отношенія къ дѣйствительности и къ самому себѣ, въ какомъ держался покойный Гоголь, или отношенія болѣе спокойнаго, болѣе ровнаго, но тѣмъ не менѣе идеальнаго, въ какомъ находятся многіе истинные по натурѣ художники, между прочимъ Островскій, однимъ словомъ—повѣрки идеаломъ, безусловнымъ ли и выс-

шимъ, или разумно-историческимъ, сложеннымъ изъ коренныхъ народныхъ началъ дѣйствительности, но вмѣстѣ съ тѣмъ общечеловѣческимъ, поколику всѣ народности суть различныя отѣнки и цвѣта принимаемыя человѣческимъ духомъ. Не покушаясь измѣрять талантъ г. Писемскаго масштабомъ гения Гоголя, мы скажемъ только, что у него нѣтъ, какъ есть, напримѣръ, у Островскаго, прочнаго, опредѣленнаго и вмѣстѣ идеальнаго міросозерпанія, которое служило бы ему точкою опоры при разоблаченіи всего фальшиваго въ благородныхъ, повидимому, стремленіяхъ; что вслѣдствіе этого отрицательное начало легко можетъ ввести его въ безразличное равнодушіе. Лучшій примѣръ такого опаснаго положенія представляетъ его «М-г Батмановъ», повѣсть безспорно блистательная по многимъ частнымъ подробностямъ, но тѣмъ не менѣе представляющая собою самыя неясныя отношенія автора къ его концепціи; повѣсть, задуманная явно съ отрицательною мыслию, но въ которой мысль выразилась неполно, неясно, какъ-то даже странно, вслѣдствіе совершеннаго отсутствія какой-либо идеальной основы, какаго-либо міросозерпанія, кромѣ взятаго изъ той же самой случайной дѣйствительности, окружающей этого господина, накинутаго себѣ на плеча плащъ Чильдъ-Гарольда. Не говоримъ уже о «Богатомъ Женихѣ», произведеніи, въ которомъ хороши только нѣкоторыя комическія стороны, да и тѣ представляютъ собою низшій родъ комизма, и въ которомъ повсюду, гдѣ авторъ хотѣлъ схватиться за идеальную основу (какъ напримѣръ, въ лицѣ Вѣры, героини романа), оказывается кака-то слабость и несостоятельность.

Единственное, о чемъ критика можетъ говорить изъ произведеній г. Писемскаго, явившихся въ 1852 году, это—«Ипохондрикъ», комедія, которую мы, конечно, не поставимъ въ одну категорію съ «Вѣдной Невѣстой», но въ которой является талантъ блестящій, могущественный, обладающій въ высокой степени тѣмъ, что называется *Vis comica*. Нечего устранять отъ комедіи г. Писемскаго весьма неосновательный упрекъ въ заимствованіи имъ тѣхъ или другихъ лицъ у Гоголя и у англійскихъ романистовъ, упрекъ, сдѣланный, къ сожалѣнію, тѣмъ же самымъ даровитымъ и умнымъ, хотя страшно-парадоксальнымъ критикомъ, который отнесся такъ правильно къ новой комедіи Островскаго. Всякій мало-мальски знакомый съ техникой художества пойметъ, что талантливому писателю, каковъ г. Писемскій, нѣтъ ни малѣйшей нужды складывать лица изъ чертъ имъ вычитанныхъ, при большомъ запасѣ собственныхъ психологическихъ наблюденій: только люди, у которыхъ запасъ таковыхъ наблюденій весьма скуденъ, приступаютъ къ личностямямъ съ заготовленными заранѣе, весьма узкими предположеніями, по-

черпнутыми изъ весьма ограниченнаго количества и ничтожныхъ по смыслу наблюдений надъ ихъ знакомыми. Весьма естественно, что кроме чертъ своихъ знакомыхъ, они ничего не видятъ въ личностяхъ, что надъ типами они не задумываются, а съ плеча относятъ ихъ къ категориямъ; и весьма также естественно, что изъ такого созерцанія могутъ выходить только несообразности. Нѣтъ! лица Гоголя и лица Диккенса—сами по себѣ, а лица г. Писемскаго—тоже сами по себѣ. Дѣло не въ томъ: въ комедіи, кипящей повсюду жизнію, въ комедіи, читая которую, вы предаетесь неудержимому смѣху, которой частности достойны лучшихъ комиковъ, нѣтъ основы, не только идеальной, но даже просто психологической, а существуетъ основа, такъ сказать, медицинская, какъ будто вѣшная, искусственно придуманная для того, чтобы кругомъ ея толпился міръ самыхъ живыхъ лицъ, самыхъ комическихъ подробностей. Прибавьте къ этому еще недостатокъ: нѣкоторую, не скажемъ каррикатурность, но рѣзкость въ изображеніи характеровъ, и вотъ что строгая эстетическая критика можетъ замѣтить въ комедіи. Все это не было бы даже недостаткомъ, еслибы комизмъ со временъ Мольера не шагнулъ на высшую степень въ лицѣ Гоголя, не сталъ самымъ глубокимъ и многозначительнымъ словомъ эпохи. Разбирать «Ипохондрика» мы не станемъ; пусть сами за себя говорятъ въ немъ и Ванюшка, и Михайло Ивановъ, — «огневои человекъ», «медвѣжій учитель»,—и Прохоръ Прохорычъ, и Соломонида Платоновна, и Настасья Кирилловна, и Никита, который «все чувствуетъ». Всѣ они получили уже право гражданства въ литературѣ, пѣдкомъ перейдя въ нее изъ жизни,—всѣхъ ихъ вы узнали бы, встрѣтаясь съ ними.

## VI.

Весьма немногихъ явленій литературы коснемся мы послѣ Островскаго и послѣ г. Писемскаго, и эти немногія явленія обозначимъ, съ возможною краткостію: нѣкоторыя изъ нихъ болѣе свидѣтельствуютъ о будущемъ таланта ихъ авторовъ, другіе при многихъ прекрасныхъ сторонахъ представляютъ многія слабыя, третьи достойны упоминанія только по благородству задачъ.

И во-первыхъ, мы остановимъ вниманіе нашихъ читателей на молодомъ и, еще недавно только выступившемъ на литературную арену авторѣ, котораго талантъ общается въ будущемъ очень много; мы гово-

рякъ о г. Потѣхинѣ, котораго «Забавы и удовольствія въ городкѣ», напечатанныя въ «Современникѣ», привѣтствовали мы съ живѣйшимъ удовольствіемъ,—котораго отрывокъ изъ романа мы напечатали въ 22 № «Москвитянина» и котораго большую новѣсть представимъ въ этомъ году. Талантъ г. Потѣхина возбудилъ уже въ насъ большую симпатію, и тогда, когда мы прочли «Забавы и удовольствія въ городкѣ». Намъ было очень пріятно замѣтить въ этой статейкѣ совершенное отсутствие претензій и наслѣпливаго тона, съ которымъ обыкновенно смотрятъ наши современные писатели на русскій провинціальный бытъ. Авторъ разсказа высказываетъ теплое сочувствіе этому быту, смотритъ безъ ироніи на его увеселенія, самъ желаетъ отъ души ему веселиться и приглашаетъ читателей раздѣлить съ нимъ это желаніе. Разсказъ его дышетъ веселостію и отличается отсутствіемъ злыхъ выходокъ; изрѣдка только, авторъ позволяетъ себѣ насмѣшку надъ нѣкоторыми дурными чертами провинціального быта; но онъ смѣется только надъ *истинно-дурными* чертами, оставляя въ покоѣ мнимо-дурныя, каковы суть: бѣдность, русскія перчатки, неловко сшитые фраки и вообще все то, надъ чѣмъ такъ безпощадно глумилась школа фальшивой образованности. Всѣ таковыя достоинства можно было замѣтить и въ первой безпритязательной статьѣ г. Потѣхина, которая, кромѣ всего этого понравилась намъ и безпритязательностію самой своей формы; гораздо большее явилось уже въ его отрывкѣ изъ романа,—явилась способность созданія лицъ, умѣнье вести ловко и живо разсказъ, объективность въ языкѣ и въ изображеніяхъ. Но особенно сильно выступаетъ особенность таланта г. Потѣхина въ его разсказахъ изъ крестьянскаго быта. Не говоримъ о надеждахъ, которыя мы возлагаемъ на талантъ г. Потѣхина, не говоримъ также о недостаткахъ, свойственныхъ всякому, еще не установившемуся таланту. Дѣло въ томъ, что въ лицѣ г. Потѣхина литература пріобрѣтаетъ новаго, талантливаго, честнаго и плодовитаго дѣятеля.

Къ этимъ же писателямъ — присоединимъ мы и г. Кокорева, давно уже извѣстнаго своими очерками, а въ прошедшемъ году явившагося съ довольно большою повѣстью: «Саввушка». Въ Саввушкѣ есть мѣста, которыя можно смѣло назвать художественными: таковы — разсказъ о жизни Саввушки у нѣмца-портнаго, сцена въ поливной, сцены Саввушки съ разными лицами, у которыхъ онъ проситъ помощи для спасенія своей названной дочки — и не будь, повѣсть испорчена нѣкоторой сантиментальностію, сохрани въ ней авторъ болѣе ровности тона и колорита, не дай въ ней мѣста нѣкоторымъ утрированнымъ положеніямъ — она принадлежала бы къ числу замѣчательнѣйшихъ явленій литературы 1852 года. Угажемъ также на превосходный физиологическій

очеркъ того же автора: «Кухарка», помѣщенный въ Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиціи, и пожалѣемъ о недостаткѣ литературнаго вкуса въ молодомъ писателѣ съ такими сильными непосредственными данными, съ такою мѣткою наблюдательностью и съ такимъ правильнымъ взглядомъ на дѣйствительность.

Кромѣ этихъ, исчисленныхъ нами надеждъ, есть еще дарованіе, ярво обозначившееся въ литературѣ 1852 года—г. Крестовскій: три повѣсти г. Крестовскаго, напечатанныя въ «Отечественныхъ Запискахъ», представляютъ собою нѣчто цѣлое, связанное одною мыслию, чрезвычайно благородною и внушающею полную симпатію. Въ отношеніи къ г. Крестовскому мы должны повторить въ общихъ чертахъ отзывъ, сдѣланный о немъ однимъ изъ критиковъ Москвитянина, отзывъ, совершенно нами раздѣляемый. «Читая повѣсти г. Крестовскаго, постоянно чувствуешь невольную симпатію въ личности автора; по всему видно, что это человѣкъ, у котораго есть дорогія убѣжденія, который привыкъ всматриваться въ жизнь и душу глубже, нежели это дѣлается, котораго, можетъ быть, много интересовалъ вопросъ объ истинныхъ отношеніяхъ между людьми, однимъ словомъ, что это человѣкъ мыслящій, чувствующій и даровитый». Критикъ нашъ замѣтилъ кромѣ того, что идея повѣсти высказана довольно темно, что развитіе цѣлаго нѣсколько вяло и медленно.

Не знаемъ тому же ли самому Крестовскому принадлежатъ сцены: «Утренній Визитъ», напечатанныя въ Пантеонѣ, и носяція на себѣ признаки замѣчательнаго таланта. Если тому же самому, то это показываетъ, что дарованіе г. Крестовскаго довольно разнообразно;—если другому, то значить, есть надежда на двухъ даровитыхъ писателей того же имени.

Наконецъ, мы должны еще упомянуть объ авторѣ: «Ульяны Терентьевны» и «Исторіи моего пріятели», помѣщенныхъ въ Современникѣ и отличающихся благородствомъ направленія, хотя, вмѣстѣ съ этимъ представляющихъ собою не рассказы, не повѣсти, а какіе-то психологическіе этюды, замѣчательныя по обилію наблюденій автора надъ впечатлѣніями дѣтства и вообще надъ міромъ собственной души. Художественнаго значенія эти повѣсти не имѣютъ никакого.

Вотъ все, что представила новаго литература 1852 года. О г. Григоровичѣ и г. Тургеневѣ, какъ писателяхъ даровитыхъ, но приступавшихъ къ изображенію быта съ заданною себѣ напередъ темою, мы уже упомянули. О «Проселочныхъ Дорогахъ» г. Григоровича, романѣ, хотя и писанномъ, по всей видимости, наскоро, но принадлежащемъ къ тому роду, въ которомъ талантливый авторъ является гораздо болѣе свобод-

нымъ художникомъ, чѣмъ въ изображеніяхъ крестьянскаго быта, мы говорили подробно въ свое время. Г. Тургеневъ напечаталъ въ 1852 году въ 1 N Современника, рассказъ: «Три Сестры», исполненный однѣхъ только претензій и далеко не похожій на другіе его рассказы. Замѣтимъ еще «Мемуары» г. Вердеревскаго, сцены, прекрасною мыслию, лежащею въ ихъ основаніи, и психологическимъ анализомъ, выдвигающіяся изъ рода обыновенныхъ драматическихъ пословицъ, которыхъ общіе признаки мы обозначили; и вотъ все, что стѣбитъ сколько-нибудь отмѣтки въ обзорѣ изящной словесности за весь годъ. Беллетристика не вошла въ этотъ обзоръ, потому что даже хорошую беллетристику мы, какъ нѣсколько разъ уже высказывали, считаемъ только позволеною роскошью и не раздѣляемъ никакъ мнѣнія критики бывалыхъ (весьма недавнихъ) временъ, которая плакалась на то, что у насъ есть художники и нѣтъ беллетристовъ: мы, напротивъ, готовы плакаться, что развелось теперь у насъ слишкомъ много и дурныхъ и сносныхъ беллетристовъ, т. е. поставщиковъ матеріала для празднаго чтенія.

## VII.

Теперь, для представленія полнаго, хотя и скатаго, отчета о состояніи нашей изящной словесности и о ея, такъ сказать, наличныхъ капиталахъ, осталось намъ сказать нѣсколько словъ о движеніи нашей лирической поэзіи.

Была пора и была еще весьма недавно, когда въ журналахъ нашихъ постоянно слышались одни и тѣже возгласы: «Лирическая поэзія умерла! стихъ въ наше время—анахронизмъ!» и т. д., когда критика съ какой-то ядовитой злобою вооружалась на стихи и на стихотворцевъ. Въ настоящую минуту, когда горизонтъ литературныхъ понятій вполне расчищается, смѣшно даже и спорить противъ такой критики, смѣшно доказываетъ ей весьма простую истину, что лиризмъ вѣченъ—какъ вѣчно искусство, какъ вѣченъ духъ человѣческой. Даже и съ точки зрѣнія исторической критики (а на нее бѣдную, Богъ знаетъ, какихъ нелѣпостей не взваливали!), нельзя говорить объ упадкѣ и отсутствіи лиризма въ литературѣ, въ которой не мало замѣчательныхъ лирическихъ поэтовъ, какъ давно уже, такъ и недавно вступившихъ на поприще,—въ литературѣ богатой силами до избытка,—имѣющей дѣло съ новыми постоянно раскрывающимися задачами; смѣшно и нелѣпо, повторяемъ мы, говорить это тамъ, гдѣ есть еще Хомяковъ, Майковъ, Огаревъ, гдѣ съ



недавняго времени дѣйствуютъ Фетъ, Щербина, Мей, лирики съ своими особенными, самобытными сторонами, нужными для искусства и души человѣческой, гдѣ есть такіе переводчики поэтическихъ произведеній какъ Бергъ, Мпнъ, — гдѣ и остальные лирики каковы: г. Полонскій, г-жа Жадовская, и другіе, не имѣющіе въ талантѣ своемъ какихъ-либо особыхъ художественныхъ задачъ, дарили подчасъ литературу задушевными, производящими впечатлѣніе пѣснями, и гдѣ, наконецъ, даже г. Некрасовъ, не смотря на всю антипоэтичность своего міросозерцанія, обмолвился не одинъ разъ энергическимъ стихотвореніемъ.

Что у лирическаго поэта, точно такъ же какъ у всякаго другого художника, должно быть свое міросозерцаніе и свой цвѣтъ лиризма, что высотой строя міросозерцанія и большею или меньшею яркостью цвѣта лиризма опредѣляется значеніе лирическаго поэта въ литературѣ, — не подлежитъ никакому сомнѣнію, равно какъ не подлежитъ сомнѣнію и то, что въ лирическомъ поэтѣ въ высокой степени важны художественная форма вообще, отдѣлка и звучность стиха, опредѣленность и образность выраженія, — всего же важнѣе въ лирическомъ поэтѣ — искренность того чувства, съ которымъ онъ лирически относится къ мірозданію и человѣку — будетъ ли это чувство спокойное или негодующее, грустное или веселое — все равно. Степенью большей или меньшей искренности поэта обусловлена степень большей или меньшей нашей симпатіи къ нему; искреннимъ же въ поэтѣ можетъ быть, какъ въ человѣкѣ, только такое чувство, которое нужно и важно для души человѣческой. Если есть малѣйшая фальшь въ чувствѣ, одушевляющемъ поэта, то, или чувство это пройдетъ, какъ заблужденіе, или, если оно обусловлено, какъ у Байрона на примѣръ, неблагоприятными обстоятельствами дѣйствительности, перейдетъ въ могущественное отрицаніе, или, наконецъ, если поэтъ будетъ постоянно напрягать себя на строй этого чувства безъ глубокихъ, внутреннихъ къ тому побужденій, а единственно изъ желанія продолжать въ томъ же строѣ, въ какомъ началъ, — вдохновеніе подъ конецъ оставитъ его, истощеннаго безплодными усиліями —

И жрецъ отпрянетъ,  
Дрожащій прахомъ и стыдомъ.

Всякій истинный поэтъ выходитъ непременно изъ фальшиваго или заимствованнаго строя въ строй, соответственный его натурѣ и міросозерцанію. Такъ, побѣдоноснѣе всѣхъ вышелъ изъ всякаго фальшиваго строя нашъ великій Пушкинъ, котораго послѣднія стихотворенія представляютъ недостижимый идеалъ красоты частоты, ясности міросозер-

панія — и того поднаго любви спокойствія, которое дается только великимъ, избраннымъ натурамъ.

Съ этой точки зрѣнія, т. е. со стороны строя міросозерпанія, особенноти цвѣта лиризма и искренности чувства, одушевляющаго лирическую способность, не забывая, разумѣется, степени внѣшней отдѣлки, простѣдимъ мы наличные капиталы нашей лирической поэзіи — и потому не боимся встрѣтиться съ однимъ изъ членовъ нашего журнала, еще недавно изложившимъ свой взглядъ на дѣло съ своей точки зрѣнія въ 17 N Москвитянина, въ статьѣ: «Наблюденія Эраста Благодравова надъ Русской литературой и журналистикой». Такъ, на примѣръ, о Хомяковѣ мы считаемъ даже за излишнее и говорить, раздѣляя въ полной мѣрѣ глубокое уваженіе и сочувствіе Эраста Благодравова къ этому лирику, — и не имѣя ничего прибавить отъ себя кромѣ того, что держаться въ такомъ постоянно высокомъ стрѣ лиризма, и притомъ держаться очевидно искренне, можно только съ могучими душевными задатками и съ такими же задатками лирическаго таланта. Такъ же согласны мы съ Эрастомъ Благодравовымъ въ общихъ чертахъ взгляда его на Огарева, Майкова, хотя считаемъ обязанностью прибавить нѣсколько словъ съ своей стороны объ этихъ лирикахъ.

И такъ, во-первыхъ: *Огаревъ* — дѣйствительно по преимуществу *твоецъ*, въ самомъ прямомъ смыслѣ слова, съ тою искренностью чувства, съ тою глубиною мотивовъ, которыя сообщаются всякому читающему его, поэтъ сердечной тоски, не той тоски à la Гейне, которая у нѣкоторыхъ звучитъ чѣмъ-то неприятно-фальшивымъ и приторно-принужденнымъ, — не той тоски à la Лермонтовъ, которая такъ страшна у Лермонтова и такъ жалка у его подражателей, тоски, раздувающей собственныя страданія, надменно выставляющей гной душевныхъ ранъ —

На диво черни простодушной; —

тоски, которая подобна, по слову Баратынскаго,

Женщинѣ безстыдной

Съ чужимъ ребенкомъ на рукахъ....

нѣтъ! не такой тоски поэтъ — Огаревъ; его тоска — тоска сердца безконечно-нѣжнаго, безконечно способнаго любить и вѣрить — и разбитаго противорѣчіями дѣйствительности, сердца, которое даже не порѣшило дѣла такъ, что оно одно — право, а дѣйствительность во всемъ виновата. Вотъ въ чемъ заключается неотразимое обаяніе, постоянная сила этихъ, какъ будто случайно брошенныхъ въ міръ поэтомъ пѣсень, часто даже съ замѣчательнымъ пренебреженіемъ къ формѣ, къ стиху, къ ясно-

сти выраженія, — вотъ что дѣлаетъ ихъ самыми искренними пѣснями эпохи.... Вы сами тысячу разъ повторите за поэтомъ:

Опять любви безумной сердце просить,  
Люби горячей, вѣчной и святой....

въ васъ самихъ, поколику вы дитя своего вѣка, возникаетъ постоянно мучительная жажда въ видѣ неразрѣшимого, или мучительной же, не-удовлетворимой жаждой разрѣшающагося, вопроса:

Чего хочу, чего? О! такъ желаній много,  
Такъ къ выходу ихъ силъ нуженъ путь,  
Что, кажется, порой, ихъ внутренней тревогой  
Созжется мозгъ и разорвется грудь.  
Чего хочу? *Всего со всею полнотою....*

въ немъ обрѣтаете вы голосъ, слово, пѣсню для этого вопроса; онъ — вашъ поэтъ, вашъ душевный поэтъ.... Онъ, постоянно онъ — вспомнится вамъ во всякую скорбную минуту жизни; онъ пойдетъ съ вами рука объ руку въ ваше прошедшее, въ старый домъ, гдѣ вы жили когда-то; онъ будетъ плакать съ вами, будетъ ждать

Знакомыхъ мертвецовъ  
Не встанутъ ли вдругъ кости,  
Съ портретныхъ ракъ, изъ тьмы угловъ  
Не явятся ли въ гости?....

Онъ же отделинется вамъ весенней порой, когда ваше сердце болѣзненно тревожитъ воспоминаніе — когда впечатлительнѣй вы на все, даже на мечты, которымъ никогда не осуществиться:

Я птичку каждый годъ  
Встрѣчаю, спрашиваю: гдѣ летала?  
Кто любовался ей? какой народъ?  
Не въ той ли сторонѣ прекрасной побывала,  
Гдѣ небо ярко, вѣчная весна,  
Гдѣ море блещетъ, искрятся и синѣя,  
Гдѣ лавровъ гордыхъ тянется аллея;  
Далекая, волшебная страна!  
И жду я праздника.... На вѣтѣхъ гибкой  
Листъ задрожитъ и будетъ шуметь лѣсъ,  
Запахнетъ ландышь укорней древесъ,  
И будетъ утро съ свѣтлою улыбкой  
Вставать прохладно, будетъ жарою день,  
И ясенъ вечеръ, и ночная тѣнь

Когда вѣлѣжетъ,—будетъ мѣсяцъ томный  
Гулять спокойно по лазури темной;  
Надъ озеромъ прозрачный паръ взойдетъ  
И соловей до утра пропоетъ....

Понятно, что вы безъ внутренняго волненія, безъ слезъ невольныхъ не можете читать этихъ безыскусственныхъ и между тѣмъ плѣнительныхъ стиховъ—понятно, потому что вслѣдъ за ними вамъ, какъ поэту,

Наполнить душу сладкое томленье.  
И встанутъ вновь забытыя видѣнья....

Поэтъ вашъ повсюду съ вами—на дорогѣ, гдѣ вы встрѣтили призракъ какъ будто вставшій изъ туманной дали, призракъ, увидавши который вы станете тревожно повторять свою жизнь—сквозь тьму глядя на лицъ едва замѣтный....

И снова былъ я молодъ, и привѣтно  
Кругомъ съ улыбкой Божій миръ взиралъ,  
И я любилъ такъ полно и глубоко....

Онъ же прояснитъ вамъ, разоблачитъ передъ вами въ тяжкую минуту состояніе вашей души:

Пришла пора, прошли желанья,  
И въ сердцѣ стало холодно,  
И на одно воспоминанье  
Трепещетъ горестно оно....

Онъ дастъ вамъ поясненіе того,

Что какъ-то чудно  
Живетъ въ сердечной глубинѣ

и въ чемъ трудно, невозможно высказаться; найдетъ въ себѣ для васъ слово для иныхъ минутъ, въ которыя «растаять бы можно», въ которыя «легко умереть». Онъ послѣдуетъ за вами и на шумную оргію—но на самой оргіи разразится стономъ разбитаго сердца, отнесется нѣжно и человѣчно къ женщинѣ:

Вино кипитъ и жжетъ меня лобзанье....  
Ты хороша.... о! слишкомъ хороша!  
Зачѣмъ въ груди проснулося страданье  
И будто вздрогнула моя душа?  
Зачѣмъ ты хороша? Забытое мной чувство,  
Красавица, зачѣмъ волнуешь вновь?  
Твоихъ томлящихъ лѣвъ томлящее искусство  
Ужель во мнѣ встревожило любовь?....

Любовь, любовь!... О, небыть и только сожалѣнье,  
 Погибшій ангель, чувствую къ тебѣ...

Онъ наконецъ раскажетъ вамъ въ простыхъ словахъ простую исторію сердца—

Она никогда его не любила,  
 А онъ ее втайнѣ любилъ...

Онъ, простыми же словами, передастъ самую простую, но самую обычную и тѣмъ не менѣе раздирающую сердце драму:

Я ему сказала:

Воротися милый,

Дни прошли и годы,

Я не измѣнилась...

Все люблю какъ прежде,

Таеъ какъ ты желаешь...

Я его держала

За руки, за платье,

Цѣловала руки,

Ноги цѣловала,

Плакала отъ муки...

Но прошелъ онъ мимо,

Не сказавъ ни слова.

Что особенно дорого въ стихотвореніяхъ Огарева, таеъ, это именно искренность всѣхъ мотивовъ и совершенно соответствующая этой искренности простота выраженія, хотя иногда нельзя не замѣтить, что пренебреженіе къ формѣ простирается у нашего поэта до крайности; одно изъ превосходныхъ стихотвореній, напимѣръ,

Я помню робкое желанье,

Тоску, сжигающую кровь,

Я помню ласки и признанье,

Я помню слезы и любовь...

испорчено въ третьей строфѣ грамматической ошибкою:

Просило сердце впечатлѣній

И теплыхъ слезъ просило вновь,

И новыхъ ласкъ и вдохновеній,

Просило новую любовь.

Но подобная небрежность, довольно притомъ рѣдкая, состоитъ въ непосредственной связи съ искренностью и задушевностью мотивовъ. Отсутствие отдѣлки понятно у поэта, которому дорогой преимущественно мотивы, моротоя о...

Заклучимъ нашъ взглядъ на Огарева — желаніемъ, чтобы собраны были имъ самимъ, или его друзьями, его, разбанныя по разнымъ периодическимъ изданиямъ, листы. Это было бы для многихъ дорогимъ подаркомъ. Отъ Огарева, — всего удобнѣе перейти къ Фету, къ таланту котораго авторъ статьи считаетъ обязанностію оговориться въ нѣкоторой можетъ быть пристрастной симпатіи, раздѣляемой, впрочемъ, весьма многими, какъ то авторомъ замѣчательной по тонкости эстетическаго чувства статьи, напечатанной въ III № Современника за 1850 годъ. Дарованіе Фета совершенно самобытное, особенное; до того особенное, что особенность переходитъ у него въ причудливость, подчасъ въ самую странную неясность, или въ такого рода утонченность, которая кажется изысканностью. Въ небольшой книжкѣ, изданной поэтомъ въ 1850 г. — подлѣ стихотвореній истинно прекрасныхъ встрѣчаете такіа, которыя просто плохи или даже непонятны, встрѣтите по мѣстамъ такого рода причудливость мотивовъ, что не можете вѣрить ихъ искренности, такого рода болѣзненность, которая какъ будто сама собою любитъ и услаждается. Вотъ въ чемъ главный недостатокъ Фета, <sup>отъ</sup> недостатокъ, котораго нельзя не видать, даже и симпатизируя поэту, но который почти выкупается самобытностью достоинствъ. Въ талантѣ Фета явнымъ образомъ различаются двѣ стороны: какъ поэтъ антологическій, онъ не страждетъ указанными нами недостатками; въ антологическихъ его стихотвореніяхъ вы видите и яркость, и ясность выраженія, — въ переводахъ же одъ Горация, изъ которыхъ нѣкоторыя, назадъ тому лѣтъ восемь, были напечатаны въ Москвитинѣ — стихъ его достигаетъ необыкновенной силы, ловкости и чистоты отдѣлки; выраженіе идетъ почти рука объ руку съ Горациевымъ, и можно смѣло сказать, что такого перевода Горация нѣтъ ни въ одной литературѣ.

Но Фетъ кромѣ того поэтъ субъективный, поэтъ одной изъ самыхъ болѣзненныхъ сторонъ сердца современнаго челоука. Искренни ли мотивы этой болѣзненности — весьма трудно рѣшить, особенно <sup>намъ</sup>, понимающимъ даже и неясное во многихъ его стихотвореніяхъ, Аз

О болѣзненной поэзіи, которая еще недавно была у насъ въ такомъ ходу, нельзя намъ говорить совершенно безпристрастно; но такъ какъ она во всякомъ случаѣ — явленіе историческое, то мы считаемъ не неумѣстнымъ поговорить о ней вообще и обозначить ея общіе физиологическіе признаки. Для этого мы должны взять ее въ чужеземныхъ, нѣмец-

ких источникахъ, потому что признаки ея обозначатся тамъ гораздо ярче, и вмѣстѣ съ тѣмъ, удобнѣе будетъ говорить и объ особенностяхъ болѣзненной поэзіи Фета, безспорно самаго даровитаго, изъ нашихъ русскихъ дѣятелей на этомъ поприщѣ, и единственнаго, о которомъ можно говорить

«Et liebte sie und sie liebte ihn nicht. (онъ ее любилъ, а она его не любила), доставилъ въ видѣ эпиграфа одинъ нѣмецкій поэтъ надъ самымъ безолабернымъ произведеніемъ. «Kennen sie das alte Stück, Madame», — обращается онъ между прочимъ къ той, которая его не любила — «es ist ein auszerordentliches Stück, aber zu sehr melancholisch». Эти слова и этотъ эпиграфъ — эпиграфъ и тема почти всей болѣзненной поэзіи, въ детородѣ все — auszerordentliches Stück, aber zu sehr melancholisch — и больше еще, чѣмъ melancholisch: все въ ней причудливо до каприза, все тревожить и дразнить, и мучить васъ; — но много нашего, тѣсно связаннаго съ жизнію сердца въ этой поэзіи, и намъ еще не дано отъ нея отрѣшиться, хотя, конечно, смѣшно было бы чѣлнй вѣкъ оставаться при ней одной и потерять сочувствіе ко всему новому и свѣжему.

«Дитя мое», — рассказываетъ эта поэзія — «мы были дѣти, двое маленькихъ дѣтей, мы забирались въ курятникъ и прядались въ солому.

«Кричали мы пѣтухами и, проходилъ ли кто: кукареку! Такъ все и думали, что это кричатъ пѣтухи.

«Лари на дворѣ обвѣшивали мы всякимъ тряпьемъ, и располагались въ нихъ на житье, и обзаводились домомъ.

«Старая кошка сосѣда часто ходила къ намъ въ гости, мы ей бывало кланялись чинно, встрѣчали ее комплиментомъ.

«Мы объ ея здоровьи спрашивали заботливо и привѣтливо. Такъ бесѣдовали мы потомъ со многими старыми кошками»....

Сколько скрытой горечи въ этихъ простодушныхъ до дурачества воспоминаніяхъ, сколько грустнаго въ этомъ юморѣ, вѣчно вѣрномъ самому себѣ. Поэтъ не утерпѣлъ, чтобы не зацѣпить стороною разныхъ старыхъ кошекъ.... Но, подождите немного — еще больше горечи и злой насмѣшки прольется на эти воспоминанія:

«Часто сживали мы бывало и говорили разумно какъ старые люди, и сѣтовали, что въ старину, въ наше время, все было лучше».

«Что любовь и вѣрность и вѣра, изъ міра исчезли совсѣмъ, что вздорозалъ необычайно кофе, и деньги стали рѣдкы....»

Нечего толковать, кажется, этихъ ядовитыхъ строкъ, и понятно заключеніе пѣсни:

Vorbei sind die Kinderspiele,

Und Alles rollt vorbei,—

Das Geld und die Welt und die Zeiten,  
Und Glauben und Lieb' und Tr  n'...

т. е. «Исчезли и дѣтскія игры и все: и деньги и счастливое время, и вѣра и любовь и вѣрность!»

Бѣдныя, бѣдныя дѣти, которыя такъ рано передразнивали дешевую мудрость большихъ, — бѣдныя свышшіяся другъ съ другомъ дѣти, разрозненныя потомъ судьбою!

Да полно, судьбою ли?... Одна ли судьба виновата въ этой безысходной грусти, оставшейся послѣ первой, лучшей и несбывшейся мечты? — одна ли судьба и люди разрознили этихъ рано замечтавшихъ о жизни вдвоемъ дѣтей, какъ разрознили Ромео и Юлію, Люцію и Эдгара?... Всмотритесь-ка въ нихъ попристальнѣе.... Вотъ они большіе передъ вами.

— Sie liebten sich Beide, doch Keiner  
Wollt' es dem Andern gestehn.

Или, если вы хотите, чтобы нагляднѣе, сильнѣе, трагичнѣе выразилось вамъ отношеніе, — вспомните то же самое, только пересозданное другимъ поэтомъ, стихотвореніе:

Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно,  
Съ тоскою глубокой и страстью безумно мятежной;  
Но какъ враги избѣгали призыванья и встрѣчи,  
И были пусты и жадны ихъ брачныя рѣчи.

Почему какъ враги избѣгали они призыванья и встрѣчи, хотя любили другъ друга съ тоскою глубокой и страстью мятежной? — и почему тоска вкралась въ ихъ любовь, и почему мятежна была ихъ страсть? Увы, если бы вы спросили ихъ, бѣдныхъ больныхъ дѣтей вѣра, они и сами не знали бы, что вамъ отвѣтить!...

Sie wuszten es selber kaum.

А славная жизнь была когда-то для нихъ, и много мечтаній пережито вмѣстѣ!

Mein Liebchen, wir saßen beisammen,  
Traulich im leichten Kahn.  
Die Nacht war still, und wir schwammen  
Auf weiter Wasserbahn.  
Die Geister-Insel, die schöne,  
Lag d  mm'rig im Morgenglanz;  
Dort klangen liebe T  ne,  
Und wogte der Nebeltanz.



Dort klang es lieb und lieber,  
 Und wogt'es hin und her;  
 Wir aber schwammen vorüber  
 Trostlos auf weitem Meer.

т. е. «Дитя мое, мы сидѣли вмѣстѣ, въ легкомъ челночѣ. Безмолвна была ночь, и мы плыли по широкой водяной зыби.

«Островъ Духовъ, прекрасный островъ, — зеркаль, подѣ мѣсячнымъ сияньемъ; тамъ чудные слышались звуки, и колыхался, чудный свѣтъ.

«Все слаще и слаще звучало, — все больше колебался свѣтъ, — мы же плыли все дальше, безутѣшно по широкому морю.»

Но все-таки, тоска, тоска безутѣшная, вералась въ ихъ мечты. Все кругомъ ихъ дышало жизнью, звало къ жизни... а они, бѣдныя, рано созрѣвши дѣти, безутѣшно плыли по широкому морю...

И разставанье ихъ было какое-то странное, какое-то мудреное — безъ слезъ, безъ вздоховъ...

«Когда двое расстаются другъ съ другомъ, то даютъ другъ другу руку, и начинаютъ плакать и вздыхать безъ конца: мы же не плакали, не ахали и не охали... *Слезы и вздохи пришли послѣ.*»

Что же это за странная любовь съ такой странной разлукой?... Что, спрашиваемъ опять, разлучило ихъ?... Есть какіе-то, темные, неясные, но злобные и грустные намеки:

«Чувствовали мы что-то другъ къ другу, а впрочемъ вели себя прекрасно — часто играли мы «въ мужа и въ жену», однако не щипали другъ друга и не дрались. Вмѣстѣ мы веселились и забавлялись, и цѣловались и миловались (gehehzt); наконецъ, ради ребяческой забавы, стали играть въ гулячки въ лѣсу, и такъ ловко умѣли другъ отъ друга спрятаться, что даже потомъ и не нашли другъ друга.»

Вотъ оно, настоящее слово разгадки, всякое другое — ложно. Обвиняетъ правда поэтъ и людей:

Sie haben dir viel erzählet,  
 Und haben viel geklagt;  
 Doch was meine Seele gequälet,  
 Das haben sie nicht gesagt....

т. е. «Они много тебѣ рассказывали и много насплетничали, но не сказали они того, что мучить мою душу.» Но это собственно вздоръ. Настоящая причина разлуки лежала въ нихъ самихъ, и оттого нигдѣ такъ не вла иронія, какъ въ изображеніи этой разлуки, — сухая, горькая иронія, не смотря на свое внѣшнее шутовство.

«Липа цвѣла, соловей пѣлъ, солнце смѣялось дружески, весело ты

поцѣловала меня, и рука твоя обвила меня, и прижала ты меня къ колы-  
хавшейся груди.

«Стали падать листья; ворона закаркала, — солнце стало глядѣть капризно. Морозно, холодно сказали мы другъ другу: прости, и ты сдѣлала мнѣ пречтивѣйшій книзсенъ.»

Иронія поэта не остановилась на одной разлукѣ: нѣтъ, потому, этой ироніи, любо стало отравлять и пересмѣивать, всё воспоминаіія:

Притрезился снова мнѣ сонъ быллой:

Іюньская ночь, въ небѣ звѣзды зажглися,

Сидѣли мы снова подъ липой густой

И въ вѣрности вѣчной другъ другу клялися.

То были клятвы и клятвы вновь,

То слезы, то смѣхъ, то лобзаніе было;

Чтобы лучше я клятвы запомнилъ, ты въ веровъ

Мнѣ руку взяла-укусила.

О, милочка съ ясной лазурью очей,

О, другъ мой — и злой и прелестный.

Цѣловаться, конечно, въ порядкѣ вещей,

Кусаться — совсѣмъ неумѣстно.

Наступаетъ катастрофа.... Какъ она произошла, мы знаемъ такъ же темно, какъ и то, вслѣдствіе чего произошла разлука. Повторилась ли тутъ alte Geschichte, рассказываемая поэтомъ, — другое ли что вмѣшалось тутъ, какъ то ни было, катастрофа разразилась....

Das ist ein Flöten und Geigen,

Trompeten schmettern drein;

Da tanzt den Hochzeitreigen

Die Hersallerliebste mein....

Вслѣдъ за катастрофой, разъясненіе причинъ которой мы на время оставляемъ — начинаются стоны тоски и горя, — но съ перваго же раза въ этихъ столахъ поражаетъ васъ съ одной стороны отсутствіе настоящей, искренней печали, — съ другой, какое-то, такъ сказать, самоуспокоеніе. Эти стоны повторяются безпрестанно; эта мысль, сдѣлалась совершенною idée fixe, преслѣдующею поэта повсюду, — но, преслѣдите эти пѣсни, вы увидите, что поэтъ самъ питаетъ свою тоску, находитъ удовольствіе въ томъ, чтобы безпрестанно растравлять раны и кончаетъ тѣмъ, что смѣется надъ ними. Отъ этого конца, впрочемъ, опять поворотъ къ началу, т. е. къ столамъ горя и муки. »

Прежде всего, тоска выражается въ болѣзненномъ, шутковатомъ: »

Die Erde war so lange geizig,  
 Es kam der Mai, und sie ward spendabel,  
 Und alles lacht, und jauchzt, und freut sich,  
 Ich aber bin nicht zu lachen capabel

Горе тутъ есть, и горе болѣзненное, мучительное;—но не искренняя форма его выраженія. Стыдно, какъ-будто, человѣку вѣкъ плакать: стыдно передъ собою и передъ другими. Много эгоистическаго въ этомъ шутствѣ; сами странныя формы, въ которыя облечлась грусть, обусловлены враждою и ненавистью. Сколько можно догадываться, въ число причинъ катастрофы, такъ страшно разбившей сердце поэта, входили филистерскія понятія; *kleinstädtisches Wesen* и филистерскія воззрѣнія преслѣдуетъ поэтъ своей ядовитой насмѣшкою.

«Филистры въ воскресныхъ платьяхъ гуляютъ по лѣсамъ и по полямъ, и радуются и скачутъ какъ козлы, привѣтствуютъ прекрасную природу.»

«Созерцаютъ сияющими очами, какъ все романтически цвѣтеть внимаютъ длинными ушами они пѣсни воробья.»

«Отчего это розы такъ блѣдны, о скажи, любовь моя? Отчего это въ зеленой травѣ такъ молчаливы синія фіалки? Отчего это такъ жалобно поетъ жаворонокъ въ вышинѣ?... Отчего это бальзаминъ издаетъ запахъ трупъ? Отчего это солнце смотритъ на поле такъ холодно, угрюмо? Отчего это земля такъ сѣра и пустынна какъ могила?»

«Отъ чего это самъ я такъ мраченъ и боленъ,—моя милая милочка скажи? О скажи, милочка моего сердца, зачѣмъ ты меня покинула?»...

Это—можетъ быть самый болѣзненный изъ всѣхъ стоновъ—и кто изъ насъ когда либо не повторилъ его?—Въ немъ нѣтъ даже задней мысли, нѣтъ желанія выставиться поэффективнѣе передъ другими и передъ собою, нѣтъ, однимъ словомъ, парадной грусти....

Можетъ быть, въ такую же минуту безвыходной тоски вылилось и стихотвореніе, которое разъясняетъ катастрофу не совсѣмъ удовлетворительно для самолюбія пострадавшаго отъ нея.

«Любилъ юноша дѣвушку, а она выбрала другого. Другой же любитъ другую и женится на ней.

«Дѣвушка съ досады выходитъ за перваго встрѣчнаго.—*Der Jungling ist übel d'ran.*»

Est ist eine alte Geschichte,  
Doch bleibt sie immer neu;  
Und wem sie just passiret,  
Dem bricht das Herz entzwei....

Понятно, въ какой степени тяжело и оскорбительно для самолюбиваго сына вѣка такое разъясненіе. Является другое—начинается другая исторія. Собственную свою тоску поэтъ приписываетъ предмету своей страсти и видитъ, можетъ быть во снѣ, то, чего и не было: «Я не ропщу, и пусть разорвется сердце,—на вѣкъ погибшая любовь! я не ропщу.... Какъ ни сіаешь ты въ брилльянтахъ, но ни луча не упадетъ во тьму двоюго сердца.

«Это знаю я давно. Я видалъ тебя во снѣ—и видѣлъ ночь въ твоёмъ сердцѣ, и видѣлъ змѣю, которая сосетъ тебѣ сердце—я видѣлъ, любовь моя, какъ глубоко ты страдаешь.»

Представляется вопросъ: почему пріятнѣе человѣку вѣка вообразить любимое существо несчастнымъ и страдающимъ, нежели счастливымъ? Почему слаще ему терзать себя представленіями этихъ чаще всего воображаемыхъ несчастій, нежели разумно, какъ мужъ, и любовно, какъ истинный человѣкъ, пожелать любимому существу:

Все, даже счастье того, кто избранъ ей,  
Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруга...?

Долго долженъ перегорать и очищаться человѣческой эгоизмъ для того, чтобы дойти до этой свѣтлой мысли.... Скорѣе готовъ былъ каждый изъ насъ взывать, какъ его любимый поэтъ: «Ja! du bist elend, und ich grolle nicht»....

Страдаешь ты, и молнеть ропоть мой;  
Любовь моя, намъ поровну страдать....  
Пока вся жизнь замретъ въ груди больной,  
Любовь моя, намъ поровну страдать....

и тѣшиться этимъ чужимъ страданіемъ, и торжествовать внутри себя злобнымъ и демонскимъ торжествомъ, или, если нѣтъ этого торжества въ дѣйствительности, создавать его въ воображеніи.... Намъ извѣстно до чего дошелъ этотъ больной эгоизмъ въ могущественной натурѣ, которая еще сильнѣе страдала язвами вѣка.

Ты не должна любить другого,  
Нѣтъ, не должна;  
Ты мертвецу святыней слова  
Обручена!

У другихъ нѣтъ этого трагическаго колорита или, лучше сказать, они не въ силахъ его выдержать по вѣтренности своей натуры.... И другой, конечно, вообразить себя мертвымъ и съ ранами въ головѣ и т. д.; и онъ, пожалуй, погрозить своей милой:

«Какъ можешь ты спать покойно, зная, что я еще живъ?» Сварлей нѣвъ проснется и повернется къ нему спиной. И знаешь ли старинную пѣсню: какъ нѣборда мертвецъ въ полночный часъ утащилъ въ гробъ свою милую? А тогда и нѣзрѣно. Вѣры живъ, чудно прекрасное, чудно милое дитя, — живъ и сильнѣе всѣхъ мертвецовъ.

Но вѣдъ другой грозитъ какъ Гамлетъ, — ни ему, какъ Памлету, — но безпривозвно въ фантастическомъ мирѣ ирризракъ. Это просто — фантастическое настроеніе въ душѣ, которое хотѣть de la chaine ardente, который терзаетъ героевъ Байрона и Лермонтова, болѣе или менѣе виновныхъ въ уголовныхъ преступленіяхъ. Современному, болѣзненно настроенному человѣку правится самый процессъ страданія, ему любо окружать себя мрачными и горестными представленіями.

Изъ слезъ моихъ много родится  
Роскошныхъ и пестрыхъ цвѣтовъ,  
И вздохи мои обратятся

Въ полночный хоръ соловьевъ...  
Онъ самъ очень хорошо это знаетъ, и иногда даже до удивленія раз-  
облачаетъ свое невѣріе въ собственное страданіе.

Habe auch, in jungen Jahren,  
Manches bittere Leid erfahren  
Von der Liebe Gluth,  
Doch das Holz ist gar zu theuer,  
Und erlöschen will das Feuer,

Ma foi, und das ist ganz und gar wahr,  
T. e. «Я тоже въ молодые годы испыталъ много горя отъ любовнаго  
огня. Но теперь дрова дороже, и огонь гаснетъ. Ма foi — тѣмъ лучше!»

Чѣмъ же объяснить всѣ подобныя протворенія? Намъ кажется, что  
включъ къ объясненію данъ самимъ поэтомъ, въ одномъ стихотвореніи:

Не пора ль изъ души старый вымести соръ!  
Давно-прожитого наслѣдія?  
Я съ тобою, мой другъ, какъ искусный актеръ,  
Разыгрывалъ долго комедію.

Романтический стиль отражается во всемъ и в каждой строчкѣ:  
 (Быль романтикъ въ любви и въ искусствѣ я):  
 Паладинскій мой плащъ весь блисталъ серебромъ—  
 Изливалъ я сладчайшія чувства.

По мнѣ странно, что вотъ и теперь, какъ гожеусъ  
 Уже не въ рыцари больше, въ медвѣди—я,  
 Все какой-то безумной тоскою томлюсь,  
 Словно прежняя длится комедія.

О мой Боже, должно быть я самъ я не вналь  
 Что былъ не актеръ, а страдающій,  
 И что съ смертною язвой въ груди представляю  
 Я сцену: «Боецъ умирающій».

И поэтъ говоритъ это искренне: за искренность его исповѣди, про-  
 нически грустной, поручится всякій, кто жилъ жизнью сердца... И вѣ-  
 рится опять его грусти, его мучительнымъ воспоминаніямъ. Неотрази-  
 мый призракъ, *idée fixe*, воплотившаяся въ образъ ээирнаго, болѣзнен-  
 наго, капризнаго существа, преслѣдуетъ его повсюду:

«Лежу-ль я на постели, прачась во тьму и въ подушки—передо мною  
 носится милый, обаятельный образъ».

«Закроеть ли сонъ мнѣ очи, призракъ тихо проскользнетъ въ мое  
 сновидѣніе...»

«И съ утреннимъ сномъ онъ не разбѣвается... Цѣлый день потомъ  
 ношу я его въ сердцѣ...»

Часто болѣзненны эти сновидѣнія; а сколько поречи въ воспомина-  
 ніяхъ:

«Когда я по дорогѣ, случайно заѣхалъ въ домъ моей милой сестри-  
 цы, отецъ и мать встрѣтили меня весело».

«Они спрашивали меня о здоровьѣ—и сказали тотчасъ же, что я  
 мало перемѣнился, только лице у меня стало блѣдно».

«Я распрашивалъ о тегушкахъ и дядюшкахъ, о разныхъ скучныхъ  
 особахъ, и даже о маленькой собачкѣ, лаявшей такъ громко».

«И о вышедшей замужъ милой, спросилъ я между прочимъ, гдѣду  
 жественно отвѣчали мнѣ, что она недавно родила, и дружественно по-  
 здравилъ я—и тихо сказала, чтобы отъ меня ей тысячу разъ кланя-  
 лись...»

«Сестричка вскричала встѣдъ за тѣмъ, что маленькая и ласковая со-  
 бачка выросла и сбѣсилась, и что ее утопили въ Рейнѣ».

«Малютка похожа на милую, особенно когда смѣется. У нея тѣ же  
 самые глаза, которые сдѣлали меня такъ несчастнымъ...»

Переводя почти буквально, мы не могли конечно передать всей грустной наивности и прелести этого стихотворения, от которого, когда читаешь его въ оригиналѣ, болѣзненно сжимается сердце...

И вѣрится невольно, когда поэтъ говоритъ о вѣчности своей страсти:

Die Jahre kommen und gehen,  
Geschlechter steigen in's Grab,  
Doch nimmer vergeht die Liebe,  
Die ich im Herzen hab;  
Nur einmal noch möcht' ich dich sehen  
Und fallen vor dir auf's Knie,  
Und sterbend zu dir sprechen:  
Madam, ich liebe sie...

И сильно дѣйствуютъ на васъ его сновидѣнія.

«Мнѣ снилось: печально мѣсяць смотрѣлъ—и звѣзды печально смотрѣли. Былъ въ городъ я перенесенъ, гдѣ милая живетъ, за нѣсколько сотъ миль.

«Подлѣ дому ея я стоялъ—цаловалъ ступени лѣстницы, которыхъ часто касались ея маленькая ножка и шлейфъ ея платья.

«Долга была ночь, холодна была ночь—и звѣзды холодны были»...

И сочувствуете вы той глубокой, почти даже не эгоистической нѣжности, съ которою поэтъ зоветъ благословеніе небесъ на милую ему дѣтскую головку.

Какъ цвѣтъ, ты чиста и прекрасна,  
Нѣжна, какъ цвѣтокъ по веснѣ.  
Взгляну на тебя, и тревога  
Прокрадется въ сердце ко мнѣ.

И кажется, будтобъ я руки  
Тебѣ на чело возложилъ,  
Молясь, чтобы Богъ тебя чистой,  
Прекрасной и нѣжной хранилъ.

О болѣзненная поэзія! Кто изъ людей того поколѣнія, къ которому принадлежитъ авторъ этихъ замѣтокъ, не переживалъ съ тобою твоихъ ощущеній!

«Во снѣ я милую видѣлъ, видѣлъ робкой, бѣдной женщиной, и цвѣтущія нѣкогда формы тѣла ували и поблекли.

«Ребенка несла она на рукѣ, а другого вела за руку, и въ походкѣ и во взглядѣ и въ одеждѣ—видны были бѣдность и горе. Она шла на рынокъ, и вотъ встрѣчаетъ меня и смотреть на меня, и спокойно и горестно говорю я ей:

«Пойдемъ со мною ко мнѣ, потому что ты блѣдна и больна, я трудами и работою достану тебѣ хлѣба.

«Я буду тоже ходить и за дѣтьми твоими, а прежде, всего, хожу за тобою, мое блѣдное, несчастное дитя! Я никогда не буду рассказывать тебѣ о томъ, какъ я любилъ тебя, и когда умрешь ты, я буду плакать на твоей могилѣ».

Въ болѣзненно-грустномъ чувствѣ, которымъ дышетъ это стихотвореніе, нѣтъ даже эгоизма, этого вѣчнаго спутника всякаго чувства въ болѣзненной поэзіи, хотя, конечно, все-таки остается въ душѣ читателя вопросъ, почему именно любо человѣку мучить себя такими призраками, почему пріятнѣй ему вообразить предметъ его страсти страдающимъ, нежели счастливымъ? Такое самоуслаждение доходитъ иногда до комизма: такъ поэтъ часто воображаетъ умершею свою милую и *воображаетъ* также свои чувства по этому поводу, передавая ихъ съ энергіею страсти, которую человѣкъ, незнакомый съ особенными свойствами его болѣзненнаго юмора, приметъ, пожалуй, за искренность.

Разбирая одну изъ современныхъ повѣстей, именно «Идеалиста» г. Станкевича, мы замѣтили въ героѣ ея такую же точно черту, и вырвавшуюся почти точно такъ же, — доказательство ясное, какъ мѣтко ударила болѣзненная поэзія въ струны сердца современнаго человѣка. Комическое тутъ впрочемъ — только обратная сторона медали, и не должно забывать искренняго признанія самой этой поэзіи.

Ach Gott, im Scherz und unbewusst  
Sprach ich, was ich gefühlet;  
Ich hab mit dem Tod in der eigenen Brust  
Den sterbenden Fechter gespielt.

Не должно забывать того, что эти фантастическіе призраки, вызванные раздражительнымъ и большимъ эгоизмомъ, стали карою для самого вызывавшаго, что они слѣдятъ за нимъ неотступно, что, какъ Манфредъ, не вѣдаетъ онъ ни минуты покоя...

При разсматриваніи общихъ физиологическихъ признаковъ болѣзненной поэзіи, невольно приходитъ въ голову сближеніе этой поэзіи въ общихъ чертахъ ея и въ міросозерцаніи, съ тѣмъ, что мы въ повѣствовательномъ родѣ называемъ натуральною школою: Нѣкоторое сходство та и другая представляютъ даже и въ самой формѣ: какъ манера натуральной школы состоитъ въ описываніи частныхъ, случайныхъ подробностей дѣйствительности, въ придачѣ всему случайному значенія необходимаго, такъ же точно и манера болѣзненной поэзіи отличается отсутствіемъ типичности и преобладаніемъ особенности и случайности въ



выражений, особенности и случайности, доходливых, как у немецких стихотворцев, так и у наших, до неясности и причудливого уродства; как в натуральной школѣ, так и в болѣзненной поэзи, всё такия качества происходят отъ непомѣрнаго развитія субъективности. Различіе заключается въ томъ только, что въ лиризмѣ такое міросозерцаніе и такая манера имѣютъ нѣкоторое оправданіе, даже, пожалуй, свою прелесть: въ совершенно же объективномъ родѣ творчества — они неумѣстны и доскорбительны.

Представителемъ, и притомъ единственнымъ оригинальнымъ представителемъ этого рода поэзи въ нашей литературѣ назвали мы Фета. Чтобы соблюсти совершенную справедливость въ оценкѣ таланта этого поэта, мы сказали, что въ этомъ талантѣ двѣ стороны, что Фетъ, переводчикъ Горация, авторъ многихъ прекрасныхъ антологическихъ стихотвореній, вовсе не то, что Фетъ, являющийся въ пѣсняхъ къ Офелии, въ мелодіяхъ и проч. Въ Фетѣ, какъ поэтѣ антологическомъ, являются и яркость образовъ и опредѣленность выраженія и типичность чувства; что, напримѣръ, ярче по выраженію и колориту него «Вакханки»..

Подъ тѣнью сладостной полуденнаго сада,  
 Въ широколиственномъ вѣнкѣ изъ винограда,  
 И влаги Вакховой, томительной полна,  
 Чтобъ духъ перевести замедлилась она....

Или трудно себѣ что-либо представить античнѣ по міросозерцанію, по чувству и по выраженію, элегіи: «Многимъ богамъ въ тишинѣ я ѳиміамъ воскурю», посланія «Къ красавцу» и т. д.; приведемъ также въ образецъ совершенной типичности и ясности чувства и отсутствія всякой причудливой особенности, элегію:

О долго буду я, въ молчаньи ночи тайной,  
 Коварный лепетъ твой, улыбку, взоръ случайный,  
 Перстамъ послушную, волосъ густую прядь,  
 Изъ мыслей изгонять, и снова призывать;  
 Дыша порывисто, одинъ, никѣмъ не зримый,  
 Досады и стыда румянами падымый,  
 Искать хотя одной загадочной черты  
 Въ словахъ, которыя произносила ты;  
 Шептать и поправлять былыя выраженья,  
 Речей моихъ съ тобой, исполненныхъ смущенья,  
 И въ отъяненнн, наперекоръ уму,  
 Завѣтнымъ именемъ будить Ночную тѣму.

Напомнимъ также другую элегію, отличающуюся необыкновенною искренностью и простотою чувства:

Странное чувство какое-то въ нѣсколько дней овладѣло  
Тѣломъ моимъ и душой, дѣламъ моимъ существомъ.

Напомнимъ «Вечера и ночи», которые дышатъ совершенно объективнымъ спокойствіемъ созерцація—вотъ одна сторона таланта Фета. Кроме того, по условіямъ, вѣроятно лежащимъ въ натурѣ лирика и въ историческихъ данныхъ эпохи, развивалась въ этомъ талантѣ другая сторона, развивалась со всеми причудами и крайностями, но вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно самобытно. Въ различныхъ психологическихъ данныхъ, собранныхъ нами въ нѣмецкихъ источникахъ, мы слѣдили такое чудовищное развитіе больного эгоизма, въ которомъ есть нѣчто горестное и трагическое для мыслящаго человѣка, видѣли какую-то такъ-сказать наглую похвалу человѣка своимъ моральнымъ увѣчемъ, видѣли однимъ словомъ малопривлекательный типъ человѣка, который сознавши, что ходить на ходуляхъ, продолжаетъ тѣмъ не менѣе изъ самолюбиваго упрямства ходить на нихъ, смѣясь цинически надъ собою и надъ почтеннѣйшею публикою. Фетъ не таковъ: самобытность его заключается въ нѣжной поэтической натурѣ, сообщающей что-то мягкое самымъ причудамъ больного эгоизма. Авторъ глубокой по чувству статьи, напечатанной о немъ въ «Современникѣ», очень удачно сравнилъ его мелодію съ причудливими и такъ сказать нѣжно-эгоистическими мазурками Шопена, и превосходно обозначилъ основное качество его дарованія: «Въ немъ бьется»—говоритъ онъ между прочимъ—«живое, горячее сердце; оно не утерпитъ и отзовется на всякій звукъ въ природѣ, откликнется на всякій призывъ ея,—принесетъ ли его теплая лѣтняя ночь, или свѣжее весеннее утро, зимній, снѣгомъ бѣлѣющій вечеръ, или зноемъ дышавшій воздухъ жаркаго лѣтняго дня.» Дѣло въ томъ только, что вслѣдствіе какого-то страннаго, болѣзненнаго, совершенно субъективнаго настроенія души,—поэтъ отзовется на это такимъ особеннымъ, страннымъ звукомъ, который иногда, даже часто, не всякому уху доступенъ, не всякому сердцу понятенъ, что, конечно, вредитъ впечатлѣнію. Изъ болѣзненной поэзіи Фетъ развилъ собственно одну ея сторону, сторону неопредѣленныхъ, недосказанныхъ, смутныхъ чувствъ, того, что называютъ французы *le vague*. . . . Чувство въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ какъ будто не созрѣваетъ до совершенной полноты и ясности—и явно поэтъ самъ не хотѣлъ довести его до такого опредѣленнаго, общедоступнаго состоянія, что онъ предпочитаетъ услаживаться такъ-сказать грозю чувства. Въ этомъ, какъ

хотите, есть своего рода прелесть, прелесть грезы съ одной стороны, полуудовлетворенія съ другой, прелесть того состоянія, когда человѣкъ

Впиваетъ послѣднюю,  
Сладкую влагу  
Сна на зарѣ....

И оттого никому не удастся подмѣчать такъ хорошо задатки зарождающихся чувствъ,—тревоги полочувствъ и наконецъ поднимающіеся подчасъ въ душѣ человѣка отпрыски прошедшихъ чувствъ и старыхъ впечатлѣній, былыхъ стремленій, которыя «далеки, какъ выстрѣлъ вечерній», памяти былого, которая

Крадется въ сердце тревожно....

Въ такихъ случаяхъ, даже особенность, причудливость выраженій становится доступною читателю, и не странно ему, что

Исполнена тайны жестокой  
Душа замирающихъ скрипокъ....

ибо въ дальнѣйшемъ, напримѣръ, развитіи смутнаго впечатлѣнія—ясно, что хотѣлъ поэтъ сказать:

Средь шума толпы неизвѣстной  
Тѣ звуки понятнѣй мнѣ вдвое,  
Напомнили силой чудесной  
Они мнѣ все сердцу родное:  
Ожившая память несется  
Къ прошедшей тоскѣ и веселью,  
То сердце замретъ, то проснется  
За каждой безумною трелью....

Вообще въ такихъ случаяхъ, читатель, увлеченный чувствомъ поэта, не спроситъ отъ него строгой логической послѣдовательности, не подвергнетъ его отвѣтственности за быстрые скачки и переходы мысли, какъ напримѣръ въ стихотвореніи:

Младенческой ласки доступенъ мнѣ лепетъ....

не спроситъ тутъ, почему вдругъ поэта что-то кинуло обратиться вдругъ, совсѣмъ неожиданно-негаданно, къ какой-то звѣздѣ, «что такъ ярко сіяетъ», и сказать ей:

Давно не видались мы въ небѣ широкомъ....

Читатель, понимая лиризмъ мотива, порыва поэта, не захочетъ съ

математической точностью разлагать, съ цѣлю повѣрять отчетливость фигуръ и троповъ, такого напримѣръ стихотворенія:

О не зови! страстей твоихъ такъ звонокъ  
Родной языкъ.  
Ему внимать и плакать, какъ ребенокъ,  
Я такъ привыкъ....

ему и некогда повѣрять тутъ постройки, когда цѣлое явнымъ образомъ вырвалось изъ души разомъ въ отвѣтъ на воззванья страстей и блаженствъ,

Которымъ вѣтъ названья  
И мѣры вѣтъ....

Читатель не спроситъ также—поясненія нѣкоторыхъ странностей, подробностей очевидно частныхъ, мѣстныхъ—въ стихотвореніяхъ, напримѣръ, носящихъ общее названіе—«хандра,» хотя, конечно, было бы лучше, еслибъ не бросалъ лирикъ многого безъ поясненія, еслибъ вездѣ доводилъ онъ причудливыя мечты фантазіи до ихъ возможной ясности, какъ удалось ему это въ стихотвореніи:

Мы одни. Изъ сада въ стекла оконъ...

въ которомъ наглядно совершается греза

Въ царствѣ тихой, свѣтлой ночи майской,  
когда звѣзды, дрожа лучами, какъ будто все ближе и ближе нисходятъ къ намъ, и

На суку извилистомъ и чудномъ,  
Пестрыхъ сказокъ пышная жилица,  
Вся въ огнѣ, въ сіяньи изумрудномъ,  
Надъ водой качается жарь-птица, —

когда наконецъ:

Листья полны свѣтлыхъ насѣкомыхъ,  
Все растеть и рвется вонъ изъ мѣры,  
Много сновъ проносится знакомыхъ,  
И на сердцѣ много сладкой вѣры....

Хорошо было бы съ другой стороны, если бы самыя тонкія душевныя впечатлѣнія поэтъ возводилъ вездѣ такъ удачно въ объективныя представленія, какъ въ своихъ «Вечерахъ и ночахъ,» или—если бы вездѣ у него недосказанность была такъ полна и обдавала бы читателя такимъ фантастическимъ впечатлѣніемъ, какъ въ слѣдующей мелодіи:

• Давно ль подъ волшебныя звуки  
 Носились по залѣ мы съ ней....  
 Теплы были вѣжныя руки,  
 Теплы были звѣзды очей.  
 Вчера пѣли пѣснь погребенья,  
 Безъ крыши гробница была:  
 Закрывши глаза, безъ движенья,  
 Она подъ парчею спала.  
 Я спалъ.... Надъ постелью мою  
 Стояла луна мертвецомъ—  
 Подъ чудныя звуки мы съ нею  
 Носились по залѣ вдвоемъ.

## VIII.

Мы не безъ причинъ начали обзоръ дѣятельности нашихъ лирическихъ поэтовъ съ Огарева и Фета. Грустные мотивы одного такъ общедоступны, и съ другой стороны такъ явны причины причудливости чувствъ, выражаемыхъ другимъ, и такъ тѣсно связаны съ судьбами болѣзненной поэзіи весьма недавней эпохи, что намъ ни разу не придетъ въ голову мысль о неискренности міросозерцанія поэтовъ. Гораздо труднѣе въ наше время повѣрить въ искренность міросозерцанія объективнаго лирическаго поэта. Фактъ весьма объяснимый изъ историческихъ данныхъ.

И вотъ почему въ особенности, вмѣстѣ съ другимъ изъ нашихъ критиковъ, Эрастомъ Благодеровымъ, ставимъ мы такъ высоко г. Аполлона Майкова,—поэта съ явнымъ преобладаніемъ объективности въ творчествѣ, но въ дѣятельности котораго нельзя подмѣтить неприятно дѣйствующей на читателя фальши равнодушія, или столько же неприятно дѣйствующей форсированной пластичности. Трудно представить себѣ въ наше время поэта, котораго бы сердце билось всегда ровно и не билось бы въ инныя минуты тревожнѣе обыкновеннаго,—съ другой стороны, трудно представить въ наше время и такого поэта, который бы отъ души взывалъ:

Da ihr noch die schöne Welt regieret,  
 Schöne Wesen aus dem Fabelland,  
 Selige Geschlechter noch geführt  
 An der Freude leichtem Gängelband...

Въ самомъ Гёте, хотя онъ по истинѣ и представляетъ собою почти недостижимый идеалъ объективнаго лирическаго поэта, въ самомъ Гёте иногда поражаетъ нѣкоторою фальшью—утопченная пластичность, и, не знаемъ какъ на кого, а на насъ крайне неприятно дѣйствуетъ известное мѣсто въ «Римскихъ элегіяхъ», гдѣ поэтъ выбиваетъ стопы стиховъ на спинѣ своей любезной—ибо мы видимъ здѣсь не Римлянина, и тѣмъ менѣе Грека, а новаго человѣка, да еще вдобавокъ Нѣмца, методически и съ рефлексіей *признававшаяся* наслажденіемъ. Съ другой стороны, понимая все обаяніе пластической красоты, завѣщанной намъ вѣчную Грецію, понимая, какъ поражаютъ своею красотой и своимъ величіемъ даже новаго человѣка эти:

Kollossale Götterbilder  
Aus leuchtendem Marmor....

мы однако же знаемъ, что не со всѣхъ сторонъ удовлетворяютъ они *душу* новаго человѣка. Способность понимать красоту въ античномъ смыслѣ ея, конечно, служить *шибболетомъ* для повѣрки чутья изящнаго въ человѣкѣ и объективности въ талантѣ поэта, но исключительное поклоненіе этой красотѣ, со всѣми послѣдствіями поклоненія въ міросозерцаніи, невольно представляется намъ всегда въ поэтѣ болѣзненнымъ душевнымъ состояніемъ или намѣреннымъ напряженіемъ, насилуваніемъ себя. Этимъ опредѣляется нашъ взглядъ на г. Майкова съ одной стороны и на г. Щербину съ другой, хотя тѣмъ не менѣе и талантъ послѣдняго мы цѣнимъ и ставимъ высоко.

Г. Майковъ никогда не насилуетъ себя на античное воззрѣніе, хотя, какъ истинный художникъ, по натурѣ горячо сочувствуетъ античной красотѣ, тонко понимаетъ ее, и сознаетъ, что удобнѣе было быть художникомъ во времена непосредственности, неразрывности созерцанія. Онъ самъ высказалъ чрезвычайно искренне и вѣрно свое отношеніе къ искусству, какъ поэтъ новаго:

Былъ глушь когда-то человѣкъ;  
Младенцемъ жилъ и умеръ Грекъ,  
И въ простотѣ первоначальной,  
Что слышалъ въ сердцѣ молодомъ,  
Творилъ довѣрчиво рѣзцомъ  
Онъ въ красотѣ монументальной.  
Творилъ какъ пѣснь свою поэтъ  
Рыбакъ у лона синихъ водъ,  
Какъ дѣва въ грусти или въ весельѣ,  
Въ глуши Альпійскаго ущелья...  
И вокругъ священныхъ алтарей

Народы чтили челоѣка  
 Въ созданьяхъ дѣвственнаго Грека...  
 А ты, художникъ нашихъ дней,  
 Ты, аналитикъ и психологъ,  
 Что въ нашемъ духѣ отыскалъ?  
 Съ чего снимать блестящій сколокъ,  
 Ты мрамору и бронзѣ даль?...  
 Ты прежнихъ силъ въ немъ не находишь,  
 И, *мучась тяжелой пустотой,*  
*Боговъ Олимпа къ намъ низводишь,*  
*Забывъ, что было въ нихъ душой.*  
 Какъ лицъ Гамлета колоссальный,  
 Актеръ коверкаетъ пальной  
 Предъ публикой провинціальной...

И не имѣя ни малѣйшей нужды, какъ поэтъ новый, хотя съ жаркимъ и тонкимъ чувствомъ пластической красоты, прибѣгать къ неистовому ей поклоненію,—а съ другой стороны, не мучась душевной пустотой, чтобы низводить къ намъ боговъ Олимпа,—онъ художническими, часто литыми чертами выражаетъ то, что поражаетъ его какъ художника и мыслителя, не обходя никакихъ вопросовъ современности, если они дѣйствительно возбуждаютъ въ немъ живое, художническое сочувствіе. Съ другой стороны, г. Майковъ чуждъ и противоположной напряженности, напряженности субъективной, къ которой онъ такъ же искренно и съ такою же энергіею высказалъ свое отношеніе, въ апострофѣ къ поэтамъ «гордаго страданья»:

А ты, когда-то жизнь жадный,  
 Разочарованный и хладный  
 Теперь и къ міру и къ мечтамъ,  
 Поэтъ, въ плаксивомъ завываньи  
 Про «гордое свое страданье»  
 Благовѣствующій вѣкамъ....

Ему чужда всякая фальшь и форсировка, но изъ этого не надобно заключать, чтобы г. Майковъ склоненъ былъ впадать въ крайности объективности, въ тупое равнодушіе,—или чтобы даже лиризмъ его отличался особеннымъ спокойствіемъ; ничуть не бывало,—страстнѣе многихъ стихотвореній Майкова, иногда даже тревожнѣ ихъ—вы немного найдете: но всегда въ нихъ типично и чувство и выраженіе. Вспомните въ «Очеркахъ Рима» чудное стихотвореніе

«Скажи мнѣ, ты любилъ на родинѣ своей?....»

вглядитесь, какъ поэтъ равно объективенъ въ изображеніи непосредственности страсти, готовой въ глаза всѣмъ, открыто, не страшась,

объявить, что ты ея владѣнье,  
Жизнь, кровь, душа ея....

и въ изображеніи другой страсти, угнетенной, такъ сказать, рефлексією, въ разсказѣ о которой слышно явно, что все рассказываемое глубоко прочувствовано поэтомъ; — хотя, опять такъ совершенно искренне, совершенно соотвѣтственно своему художническому, объективному міросозерцанію, поэтъ, разсказавши объ этой странной, грустной, подавленной рефлексіей любви, которая должна была замолчать, — заключаетъ стихотвореніе порывомъ, крикомъ непосредственности:

Любить! молчать! и вы любите? Боже, Боже!....

Вспомните эти нѣгою юга дышущіе стихи:

На дальнемъ сѣверѣ моемъ,  
Я этотъ вечеръ не забуду....

разрѣшающіеся однако чувствомъ, свойственнымъ и понятнымъ только новому человѣку:

При этомъ солнцѣ огневомъ,  
При шумѣ воднаго паденья,  
Ты мнѣ сказала въ упоеньи:  
«Здѣсь можно умереть вдвоемъ»....

Вспомните въ особенности:

Думалъ я, что небо  
Ясное полудня,  
Сѣнь оливъ и миртовъ,  
Музыкальный голосъ,  
Жаркія лобзанья  
Женъ высокогрудныхъ  
Исцѣлять недуги  
Страждущаго сердца....

и тѣмъ дороже въ поэтѣ, который въ такой степени новый человѣкъ, какъ г. Майковъ, покажется вамъ объективность созерцанія, тѣмъ больше повѣрите вы искренности тѣхъ страстныхъ отзвонковъ, которые въ лиризмѣ его обрѣтаетъ непосредственность, какъ, на примѣръ, въ упомянутомъ нами выше стихотвореніи, или еще въ слѣдующемъ, столько же превосходномъ:



Ахъ! люби меня безъ размышленій,  
 Безъ тоски, безъ думы роковой,  
 Безъ упрековъ, безъ пустыхъ сомнѣній!  
 Что тутъ думать? Я твоя, ты мой!  
 Что тебѣ отчизна, сестры, братья?  
 Что намъ въ томъ, что скажетъ умный свѣтъ?  
 Или холодны мои объятія?  
 Иль въ очахъ блаженства страсти нѣтъ?  
*Я любви не числю и не мѣрю,  
 Нѣтъ, любовь есть вся моя душа.  
 Я люблю, смѣюсь, клянусь и вѣрю....  
 Чувствую, какъ тутъ я хороша....*  
 Вѣрь въ любви, что счастью не умчатся,  
 Вѣрь, какъ я, о гордый человѣкъ,  
 Что намъ вѣкъ съ тобой не разставаться  
*И не кончитъ поцѣлуя веткъ.*

Насколько міросозерпаніе Майкова, при всей объективности, далеко отъ тупаго спокойствія, всего очевиднѣе въ его поэмахъ, которыя, впрочемъ, до сихъ поръ представляли только неудачныя попытки поэта выдти изъ лиризма, и въ которыхъ, какъ въ «Двухъ судьбахъ», въ «Машѣ», являлись не лица, а произвольныя фигуры, съ ярлыками или вывѣсками тѣхъ или другихъ современныхъ вопросовъ и интересовъ. Въ послѣднее время, сколько мы знаемъ, вопросы и интересы, глубоко принимаемые впечатлительной натурой нашего поэта, обрѣли и въ этомъ родѣ надлежащія, стройныя и вмѣстѣ строгія художественскія формы. Г. Майкову въ этомъ родѣ, какъ намъ кажется, тѣсны рамки обычной дѣйствительности, нужны грандіозные размѣры и характеры древняго или по крайней мѣрѣ средневѣковаго міра: таково уже свойство его таланта, что у него не выйдетъ лица изъ героя «Двухъ судебъ», Владимира, но за то выйдетъ живой образъ изъ эпикурейца, напимѣръ Люція, который, въ послѣдній часъ хочетъ упиться—

Дыханьемъ травъ и моремъ спящимъ,  
 И солнцемъ въ волны заходящимъ  
 И Лиды ясной красотой....

что, однимъ словомъ, онъ останется лирикомъ, хотя и въ высокой степени объективнымъ.

Совершенно иное явленіе—яркій талантъ г. Щербини; раздѣляя опять съ Эрастомъ Благонравовымъ и любовью и уваженіемъ къ этому таланту, мы не можемъ не упрекнуть его въ напряженности міросозерпанія, въ которой нельзя долго продержаться въ наше время, которая мо-

жетъ обратится уже въ неискренность. Успѣхъ г. Щербина былъ блистательный, какъ успѣхъ всякаго сильнаго таланта, тронувшаго струну покинутую или еще не тронутую: самыя пародіи на его стихотворенія доказывали этотъ успѣхъ,—но мы сильно боимся за ту струну, которую тронулъ г. Щербина, по причинамъ выше нами объясненнымъ. Нельзя же вѣчно «пожирать глазами»

Неприкрытыя бѣлыя плечи;

вѣчно восхищаться самому и заставлять другихъ восхищаться:

Дорической колонны

Красотой и простотой,—

нельзя, при всемъ талантѣ автора, при всей увлекающей читателя страстности его, относиться въ наше время къ жизни съ однимъ чувствомъ красоты и т. д.

Впрочемъ, талантъ г. Щербина такъ силенъ, что найдетъ, вѣроятно, другія струны. Сила таланта доказывается между прочимъ и тѣмъ самымъ, что поэтъ такъ долго и съ такимъ удивительнымъ искусствомъ играетъ на струнѣ, отчасти фальшивой, кромѣ того, что красоту формы довелъ онъ въ нѣкоторыхъ своихъ произведеніяхъ до замѣчательной степени совершенства, особенно въ Ифигеніи, довольно неучтиво встрѣченной однимъ изъ нашихъ *современныхъ* журналовъ.

Остается теперь поговорить о г. Меѣ и о г. Бергѣ, и потомъ сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній на счетъ нашихъ третъестепенныхъ лириковъ.

Г. Меѣ одинъ изъ такихъ поэтовъ, во внѣшнихъ качествахъ таланта которыхъ нѣтъ ни малѣйшей возможности имѣть хоть какое-либо сомнѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдко можно встрѣтить въ поэтѣ такое богатство фантазіи, такую силу, красоту выраженія, такое полное владѣніе словомъ и образами. На страницахъ нашего журнала читатели встрѣтили въ нынѣшнемъ году великолѣпное, въ полномъ смыслѣ, стихотвореніе: «Картины древняго міра», и согласятся съ нами, что оно все дышетъ силой фантазіи, что форма его постоянно соответствуетъ содержанию,—не забыли такъ же вѣроятно превосходнаго стихотворенія: «Хозяинъ», и оцѣнили по достоинству удивительный языкъ «Царской Невѣсты». Но вотъ все, что въ настоящую минуту можно сказать о несомнѣнномъ талантѣ молодого поэта. Этого всего конечно много, если взять безотносительно,—но относительно къ таланту въ такой степени.

богатому силами, внѣшними средствами, русскимъ словомъ, слѣдуетъ пожелать, чтобы точнѣе, яснѣе, опредѣленнѣе выразилось то, что составляетъ душу въ поэзіи, что говоритъ въ ней душѣ, міросозерцаніе, и притомъ достойное конечно такихъ силъ. Вѣроятно многіе вмѣстѣ съ нами, готовы сказать г. Мею то, что одинъ нѣмецкій поэтъ говорилъ Фрейлиграту:

O wähl ein Banner, und ich bin zufrieden,  
Ob's auch ein andres als das meine sey.

Что касается до г. Берга, то во взглядѣ на его лирическую дѣятельность, мы нѣсколько разоидемя съ Эрастомъ Благонравовымъ. Намъ кажется, что имѣя преимущественно въ виду г. Берга, какъ переводчика, и совершенно справедливо оцѣнивши заслуги его, какъ такового, нашъ критикъ не былъ достаточно справедливъ къ оригинальнымъ стихотвореніямъ г. Берга. Во-первыхъ—г. Бергъ является часто и въ нихъ такимъ же мастеромъ стиха, какъ въ переводахъ; во-вторыхъ, лирикъ по преимуществу, лирикъ съ добросовѣстѣйшимъ убѣжденіемъ въ мотивахъ своего лиризма, мотивахъ, прибавить надобно, всегда благородныхъ, онъ только не умѣетъ иногда соблюсти надлежащую мѣру въ ихъ развитіи, отдается впечатлѣніямъ слишкомъ субъективно; къ частнымъ,—поражающимъ ли, трогаящимъ ли, восхищающимъ ли его явленіямъ,—относится со всѣмъ лирическимъ запасомъ своихъ общихъ впечатлѣній, и вслѣдствіе этого выходитъ иногда, что лиризмъ его несоизмѣренъ съ тѣмъ частнымъ случаемъ, который послужилъ для него основою. Попадись, напримѣръ, такія строфы, какъ слѣдующія, въ другомъ стихотвореніи; нежели то, изъ котораго мы ихъ выписываемъ,—онѣ бы навѣрно оцѣнены были по достоинству; въ немъ, въ этомъ стихотвореніи на случай, порожденномъ самыми благородными мотивами, но все таки носящемъ случайный характеръ, онѣ пропали, не смотря на чудный стихъ, на поэтичность и мѣткость выраженія:

Вотъ опять летать бузеты,  
И гирлянды и цвѣты,  
Загремѣли кастаньеты,  
Засверкали пируэты....  
Эсмеральда, это ты!  
И мученье и отрада!  
О, оставь, оставь меня!  
Мнѣ не надо, мнѣ не надо  
Твоего запятеадо,  
И любви твоей огня....

Вотъ она помчалась въ хотѣ...  
 Сколько музыки нѣмой  
 Въ каждомъ взмахѣ, поворотѣ,  
 Въ каждомъ молнійномъ полетѣ...

А сколько такихъ совершенно лирическихъ, блестящихъ строфъ разбросано г. Бергомъ съ какимъ-то небрежнымъ добродушіемъ въ стихотвореніяхъ писанныхъ и печатанныхъ наскоро, въ порывахъ увлеченій, — сколько, вслѣдствіе этого, цѣлыхъ предестныхъ стихотвореній («Кармелитѣвъ» — «Къ ребенку»). или стихотвореній, замѣчательныхъ по смыслу и значенію, превосходныхъ по языку, какъ «Синеусовъ курганъ» проходили въ разныхъ изданіяхъ, незамѣченныя публикой и намѣренно не замѣчаемыя критикою! Критика съ жалкимъ цинизмомъ отнеслась даже къ важному и благородному труду, совершаемому г. Бергомъ съ постояннымъ усердіемъ и съ мастерскимъ искусствомъ, къ «Собранію пѣсень разныхъ народовъ», котораго часть готовится теперь авторомъ къ печати и въ которомъ выступаютъ очень ярко блестящія стороны этого дарованія: конечно, г. Бергъ иногда самъ подавалъ поводъ *современной* критикѣ къ безцеремонности обхожденія, но такими поводами могла пользоваться только развѣ *современная* критика.

У г. Полонскаго есть стихотворенія чрезвычайно задушевные и мелодическія, но въ талантѣ его недостаетъ какъ-то опредѣленности, самобытности, прочности, того, что вдало бы извѣстную печать на его дѣятельность, и кромѣ того небрежность формы, простираясь у него иногда до крайности. У г-жи Жадовской найдется также нѣсколько стихотвореній, замѣчательныхъ по искренности и нѣжности чувства. О другихъ поэтахъ-дамахъ, которыхъ таланты уже окончательно уяснились и оцѣнены по достоинству, мы считаемъ излишнимъ говорить, какъ, на примѣръ, о Гр. Ростопчиной, о г-жѣ Павловой, хотя о томъ и о другомъ изъ этихъ замѣчательныхъ и совершенно различныхъ женскихъ дарованій мы сочли бы истиннымъ удовольствіемъ побесѣдовать съ читателями. По той же причинѣ мы не говорили о стихотвореніяхъ князя Вяземскаго, Дмитріева, Глинки.

### III.

## О КОМЕДИЯХЪ ОСТРОВСКАГО И ИХЪ ЗНАЧЕНИИ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ И НА СЦЕНѢ.

(Москвитянинъ, 1855 г. № 3).

#### ВСТУПЛЕНІЕ.

Тому назадъ какихъ-нибудь десять съ небольшимъ лѣтъ, наша критика \*), въ какомъ-то упоеніи, возглашала на каждомъ шагѣ: «Шекспиръ, Гёте, Пушкинъ»—«Гомеръ, Шекспиръ, Пушкинъ, Лермонтовъ»—«Гомеръ, Шекспиръ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь»—«Шекспиръ, Байронъ, Лермонтовъ, Гоголь, г. Д. или г. Н.» и т. д. Возводитъ въ міровые гении сегодня, и завтра присоединять къ числу таковыхъ еще новаго, часто жертвуя прежними, не стоило ей большого труда. Замѣчательно, что создавая геніевъ за геніями, она все чаще стала забывать имя Пушкина, и когда кругозоръ по истинѣ многодумнаго Гоголя расширился, помимо желанія и вѣдома господъ, державшихъ, въ рукахъ своихъ кормило критики,—она сперва сквозь зубы, а потомъ и во всеуслышаніе начала подготавливать его развѣнчаніе, относясь съ пронику къ задачамъ, которыя полагала себѣ поэтъ въ лирическихъ мѣстахъ своихъ «Мертвыхъ Душъ», и заботу о выполненіи которыхъ онъ такъ искренно, прямо и ясно высказалъ въ предисловіи ко второму изданію первой части своей поэмы; мало того, критика не устыдилась объявить, что г-ну Д, или г-ну Н. суждено играть въ литературѣ нашей роль, можетъ быть, выше роли Гоголя, и т. п. Любопытное и странное явленіе, тѣмъ болѣе любопытное и странное, что оно повторяется не разъ въ исторіи нашей критики. Зрѣлыя произведенія Пушкина не нравились самымъ жаркимъ поклонникамъ его прежнихъ, сравнительно легкихъ произведній; Борисъ Годуновъ не соответствовалъ тому идеалу исто-

\*) *Примѣч.* Мы разумѣемъ здѣсь критику Телеграфа, Библиотеки для Чтенія, Отеч. Записокъ, Современника, Пантеона—сходную болѣе или менѣе въ основныхъ положеніяхъ.

рической драмы, который составила для себя критика телеграфская; Анжело казался критикъ телескопской написаннымъ тяжелыми виршами, и критика восклицала: «Теперь мы не узнаемъ Пушкина: очъ умеръ или, можетъ быть, обмеръ на время!» — Наконецъ, самыя посмертныя его произведенія встрѣчены были съ какою-то непростительною холодною, и новыя кумирчики, надѣланные критикою, стали заслонять отъ глазъ молодежи его лаврами увѣнчанный ликъ. Та же исторія повторилась и съ Гоголемъ, какъ только взглядъ его на жизнь вообще и на нашу русскую жизнь въ особенности, возвысился на такую степень, на которую не могла взойти съ нимъ критика. Что касается до Лермонтова, то сей послѣдній слишкомъ мало жилъ и обозначился для того, чтобы перерости своихъ поклонниковъ; но такъ какъ и въ немъ, по весьма глубокому и вѣроподобному предположенію Гоголя, готовился великій живописецъ русскаго быта, т. е. художникъ, творящій изъ началъ коренныхъ русскихъ, то нѣтъ сомнѣнія, что критика, усмотрѣвши его отклоненіе отъ пути, ею заранѣе предначертаннаго — развѣнчала бы его и загородила кумирчиками г. г. D., N., и т. п., начавши, разумѣется, предварительно, постепенно и незамѣтно, съ присоединенія ихъ именъ къ его имени. Что это было бы такъ — дѣло ясное и несомнѣнное для всякаго, кто лѣтъ двадцать, пятнадцать или даже десять слѣдилъ за похождениями нашей журналистики.

Смѣлость критики въ увѣнчаніи или развѣнчаніи литературныхъ дѣятелей, дойдя наконецъ до нелѣпости, должна была замѣниться другою крайностью. Разочарованіе перешло въ извѣстнаго рода осторожность, не въ ту, впрочемъ, которая недоскажетъ иногда слова, боясь погрѣшить передъ общимъ смысломъ, но въ ту, которая, изъ страха впасть въ смѣшное, готова скорѣе отрицать, чѣмъ полагать что-либо, скорѣе унижать, чѣмъ возвышать; въ осторожность нравственной дряхлости, на все смотрящей съ улыбкою недовѣрія, въ осторожность, которая *«не вѣритъ только потому, что вѣрила никогда всему»*. Въ такомъ состояніи одряхленія находится въ наше время критика, которая нѣкогда такъ смѣло разрывала всякія связи съ историческимъ преданіемъ, которой ни почему было *разсудить*, что Карамзинъ (Карамзинъ — имѣвшій общее образованіе, Карамзинъ — сынъ своей эпохи по преимуществу, Карамзинъ — историкъ государства Россійскаго!) былъ *значительно ниже своей задачи*, — и такъ же ни почему было провозгласить печальную пѣснь, въ родѣ *Бѣдныхъ Людей*, и анатомическій препаратъ, въ родѣ *Двойника* — гениальными произведеніями!

Обжегшись на молокѣхъ, станешь дуть и на воду, и становясь на мѣсто одряхлѣвшей критики, мы можемъ понять, что ей теперь, съ сво-

ими идейками и своими кумирчиками, мудрено признать что-нибудь новое, живое въ литературѣ, что она, нѣкогда столь расточительно раздававшая патенты на гениальность, засмѣетъ теперь первая всякаго, кто первый назоветъ и дѣйствительно гениальное гениальнымъ; потомъ, когда десятки, сотни тысячъ людей, однимъ словомъ масса покажетъ свое трепетное и живое сочувствіе къ новому, начнетъ дѣлать нѣкоторыя уступки, потому что противъ рожна нельзя прати; сначала свозъ зубы, потомъ все громче и громче, — наблюдая приличную постепенность. А именно: 1). *Въ одномъ № журнала:* мы, де-сказать, сами готовы признать за гг. NN. то-то и то... Но... 2). *Черезъ два-три номера:* хотя и видимъ мы такіе-то недостатки въ новомъ произведеніи г. N., но ему неоспоримо принадлежитъ первенство въ современной нашей литературѣ: это первенство признаемъ мы и признавали, конечно, но... 3). *Въ слѣдующемъ N:* мы всегда признавали N. (уже просто имя, а не г. N.) за талантъ первостепенный, за одинъ изъ такихъ талантовъ, которые начинаютъ собою новую эпоху въ литературѣ, и т. д. Какъ только добралась критика, съ приличною постепенностью, до нарѣчія: *все-гда*, — она выбралась на ровную дорогу и пошла смѣло говорить то, надъ чѣмъ за два, за три года смѣялась. Чему посмѣешься, тому и поработаешь. Все это понятно въ одряхлѣвшей критикѣ, но было бы не только непонятно, но фальшиво со стороны людей свѣжихъ и смотрящихъ на людей безъ разочарованія, приобретеннаго излишними предварительными очарованіями. Стыдно тому, кто, чувствуя сердцемъ и понимая исторически извѣстную правду, побобится сказать ее потому только, что она нѣкоторымъ покажется смѣшна и неприлична; стыдно и тому, кто, высказавши правду, хотя бы даже и не во время и не вполне, намекомъ только, отступится отъ нея, слышавши смѣхъ за собою, — потому что въ первомъ нѣтъ вовсе вѣры въ правду, а во второмъ слишкомъ мало вѣры въ нее, и слишкомъ много самолюбія. Правда возьметъ свое: она хоть и глаза колетъ, да за то одна остается, когда все минется. И на тѣхъ, которые прежде другихъ почувствовали правду, лежитъ прямая обязанность разъяснять ее по силамъ и по разумѣнію для самихъ себя и для другихъ, не боясь даже впасть въ увлеченія ибо во всякомъ случаѣ увлеченіе правдою выше по смыслу и плодотворнѣе по дѣйствіямъ тупого, старческаго равнодушія, выдаваемого часто за безпристрастіе и подъ такимъ именемъ подкупающаго иногда, хотя, конечно, не надолго, сочувствіе къ себѣ людей благомыслящихъ, которые относятся правильно къ новымъ явленіямъ въ искусствѣ, въ наукѣ и въ жизни, но имѣютъ несчастіе думать, что всѣ такъ же, какъ они, къ нимъ относятся, и что, стало быть, объ этихъ явленіяхъ, такъ

же какъ и обо всемъ, должно говорить тономъ умѣреннымъ и спокойнымъ, забывая, что многихъ введетъ только въ искушеніе такой тонъ, что большинству правда должна быть даваема *«не съ мѣрой, а съ вѣрой»*,—что безпристрастіе такое, которое равнымъ и всегда равнымъ тономъ говорить о высокихъ и обыденныхъ явленіяхъ въ искусствѣ, о крупныхъ достоинствахъ и недостаткахъ первыхъ, и о мелкихъ достоинствахъ и недостаткахъ послѣднихъ, — этимъ самымъ тономъ дѣлаетъ безобразное между ними сближеніе, и даетъ поводъ другимъ, тупымъ или недобросовѣстнымъ въ критикѣ лицамъ, загоразивать на время высокое созданіе безпутною кучею галантерейныхъ вещицъ, поставленныхъ съ нимъ на одной и той же полкѣ. Собственно говоря,—но это, впрочемъ, мое личное мнѣніе, за которое я одинъ и подвергаю себя ответственности,—смѣшно даже и говорить серьезнымъ тономъ о галантерейныхъ вещицахъ, когда есть хоть одно художественное изваяніе, съ высокими достоинствами и съ соразмѣрными же, пожалуй, недостатками,—и *равное* безпристрастіе въ этомъ случаѣ есть или просто самообманываніе, или робость и тайная неувѣренность въ своихъ началахъ. Вотъ я, де-скать, попробую попенѣе другихъ выказать недостатки произведенія, которое я считаю, немножко втихомолку, гениальнымъ; авось тогда я буду имѣть право пустить въ ходъ этотъ эпитетъ; я приворюсь, что пишу объ немъ холодное изслѣдованіе, когда вся моя душа потрясена имъ, когда оно оправдало мои неясныя стремленія, мои лучшія зрѣлыя мысли, мои эстетическія и даже нравственныя начала, чтобы не посмѣялись надо мною тѣ, съ кѣмъ у меня, въ сущности, нѣтъ ничего общаго,—чтобы даже и они признали мое безпристрастіе, и такимъ признаніемъ, обличивши самихъ себя, вынуждены были бы согласиться со мною въ оцѣнѣ новаго явленія. Первое дѣло, что до одобренія или похвалы таковыхъ мыслящему человѣку не должно быть ни малѣйшей нужды; а второе и главное дѣло, что на судѣ собственной совѣсти огажешься неблагодаренъ къ произведенію, которое тѣсно связано съ душевными вопросами. Только время есть настоящій оцѣнщикъ произведеній гениальныхъ, т. е. такихъ, которыя при безотносительныхъ, чисто художественныхъ достоинствахъ, имѣютъ еще то свойство, что бьютъ прямо въ историческую жилу, даютъ отвѣты на вопросы эпохи, и тѣмъ могущественно на оную дѣйствуютъ; многое, что намъ кажется недостаткомъ, въ будущемъ причислено будетъ къ достоинствамъ, и на-оборотъ, многое такое въ будущемъ сойдетъ па степень красоты относительной, чему настоящее придаетъ значеніе безусловное. И мало того:—есть еще причина, по которой равенство тона несправедливо въ отношеніи къ высокимъ и мелкимъ явленіямъ на-



стоящаго, и *summum jus* будетъ *summa injuria*: — причина мало лестная для чести природы человѣческой, но тѣмъ не менѣе существующая, причина, высказанная великимъ поэтомъ-идеалистомъ въ слѣдующихъ стихахъ:

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen  
Und das Erhabne in den Staub zu ziehn.

Т. е. «Любить миръ чернить все сіяющее и все высокое совлекать во прахъ». Есть множество людей, которыхъ оскорбляютъ *внутренно* высокія явленія, или потому, что напоминаютъ имъ о ихъ собственномъ ничтожествѣ и безобразіи, или потому, что идутъ въ разрѣзъ съ ихъ кабинетными идеями, или, наконецъ, потому, что возникли безъ ихъ вѣдома и согласія. Уровень безпристрастія, проведенный въ глазахъ ихъ людьми правильно мыслящими, но считающими обязанностью прикрывать свое глубокое сочувствіе личиною холодности — для нихъ, до тѣхъ поръ молчавшихъ изъ осторожности, — будетъ поводомъ къ снятію маски; а соблазнятся они сами, — соблазнятъ и многихъ другихъ. Геніальныя произведенія всегда тѣсно связаны съ разными больными мѣстами природы современнаго человѣка — и много есть, къ сожалѣнію, больныхъ, ищущихъ только повода не прикладывать къ больнымъ мѣстамъ мази, которая нѣсколько больно дѣйствуетъ. Да простятъ мнѣ такое аптекарское сравненіе, и да не подумаютъ, чтобы я искусство посылалъ ординаторомъ въ больницу. Искусство свободно и само себѣ цѣль; его высокія произведенія идутъ въ душѣ творцевъ отъ образовъ, а не отъ идей, но тѣмъ не менѣе, посредствомъ личностей творцевъ, плотью и кровью связаны съ современностью.

По всѣмъ этимъ, по крайнему разумѣнію изложеннымъ мною обстоятельствамъ, я думаю, что полное безпристрастіе, въ отношеніи къ современнымъ высокімъ явленіямъ искусства, принадлежитъ къ числу однихъ желаній, всѣми признаваемыхъ за желанія и всѣми повторяемыхъ *приличія ради*, — и что такому приличію мѣсто на паркетѣ салоновъ, а не на широкой аренѣ литературы.

Оговорюсь, такимъ образомъ, напередъ, я могу прямо перейти къ дѣлу.

Съ точки зрѣнія исторической критики, всякій вопросъ долженъ быть обзислѣдованъ ab ovo, схваченъ съ минуты его зачатія, но, конечно, не такъ, какъ дѣлывалось это въ статьяхъ нашихъ журналовъ отъ 1838 до 1846 года, когда *всю* старую литературу подымали, говоря о какомъ-нибудь писателѣ, и вслѣдствіе этого впадали въ безпрестанныя и неминуемыя повторенія. Простѣйшій способъ историческаго изложе-

нія вопроса будетъ, кажется, вотъ какой: 1) представить первоначальный синтезисъ, т. е., проще говоря — видъ вопроса, то положеніе, въ которомъ вопросъ въ настоящую минуту находится, и въ какомъ онъ представляется взгляду, однимъ словомъ — выйти прямо изъ настоящаго. 2) Приэтомъ обозначатся различныя стороны вопроса, преимущественно тѣ, которыхъ разсмотрѣніе важно въ настоящую минуту, а изъ такихъ сторонъ усмотрится связь вопроса со всѣмъ ему предшествовавшимъ. 3) Разсмотрѣнный со всѣхъ таковыхъ сторонъ, и, посредствомъ опредѣленія связи съ предъидущимъ, поставленный на надлежащее мѣсто и въ надлежащемъ свѣтѣ, вопросъ опять является синтезомъ, но уже сознаннымъ, т. е. является полнымъ, закругленнымъ, самостоятельнымъ цѣлымъ, — и долженъ быть разсмотрѣнъ въ тѣхъ его отличительныхъ чертахъ, которыя сами собою обозначаются при анализѣ.

Такъ поступаю и я въ отношеніи къ предмету предлагаемой статьи. Но прежде, чѣмъ приступлю къ моему изложенію, считаю долгомъ предупредить читателя, что весьма часто припужденъ буду ссылаться на прежнія двѣ статьи мои о движеніи и ходѣ литературы въ 1851 и въ 1852 году; иногда просто повторяя, иногда разясняя и пополняя высказанныя въ нихъ мысли, — ибо нынѣ предложенная статья есть не что иное, какъ историческій выводъ изъ тѣхъ данныхъ, на которыхъ основаны вышеупомянутыя — и составляетъ вмѣстѣ съ ними одно нераздѣльное цѣлое, которому самымъ приличнымъ названіемъ считаю я слѣдующее: *«Настоящая минута въ литературѣ»*.

## I.

Обозрѣніе дѣятельности Островскаго и отношеній къ ней критики.

Дѣятельность Островскаго начинается собственно съ 1847 года; вотъ все до сихъ поръ имъ написанное, въ хронологическомъ порядкѣ:

1) *Сцены изъ замоскворѣцкой жизни*, 1847 г. — напечатаны въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ» — журналѣ, издававшемся только годъ. Тутъ же, между прочимъ, появилась одна сцена изъ комедіи «Свои люди — сочтемся», носившей тогда названіе «Банкрутъ».

2) *Очерки Замоскворѣчья* — небольшой рассказъ, — въ томъ же году, въ томъ же журналѣ.

3) *Свои люди — сочтемся* — комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, — въ Москвитянинѣ 1850 года.

4) *Утро молодого человека*, сцены; въ Москвитянинѣ 1850 года.

5) *Неожиданный случай*, сцены; въ альманахѣ *Комета* — 1851 года.

6) *Бѣдная Невѣста*, комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, — въ Москвитянинѣ 1852 года.

7) *Не въ свои сани не садись*, комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ, — въ Москвитянинѣ 1853 года.

8) *Бѣдность не порокъ*, комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ; — напечатана отдѣльно въ 1854 году.

9) *Не такъ живи, какъ хочется*, драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ; Ирана на театрѣ въ концѣ прошлаго года.

Самое первое изъ этихъ, исчисленныхъ нами, большихъ и небольшихъ, болѣе или менѣе удачныхъ, но каждое въ своемъ родѣ оригинальныхъ произведеній, — носило уже на себѣ яркую печать самобытности таланта, выразившейся и 1) въ новости быта, выводимаго авторомъ и до него еще не початого, — если исключить нѣкоторые очерки Вельтмана и Луганскаго, очерки, набросанные, такъ сказать, вскользь, мимоходомъ, и 2) въ новости отношенія автора къ изображаемому имъ быту и выводимымъ лицамъ, и 3) въ новости манеры изображенія, и 4) въ новости языка, — въ его цвѣтистости, особенности. Изъ всего этого новаго, что съ первой минуты своего появленія въ литературу приносилъ съ собою молодой поэтъ, критика въ состояніи была, — да и теперь еще находится, — понять только новостъ изображаемаго имъ быта. «Сцены», которыя относительно оконченности отдѣлки, представляютъ едва ли не совершеннѣйшее произведеніе ихъ автора — прошли почти что незамѣченныя: и не мудрено! онѣ едва ли составятъ печатный листъ. Еще менѣе замѣчена была новостъ взгляда автора въ маленькомъ разсказѣ «Очерки Замоскворѣчья» — единственномъ произведеніи, вылившемся у него не въ драматической формѣ. Появленіе комедіи: «Свои люди — сочтемся» — какъ слишкомъ рельефной, слишкомъ яркой — надѣлало много шума; но весьма странно, что оно не вызвало ни одной дѣльной критической статьи. Комедія только изумила критику, — и комическое отношеніе критики къ комедіи изображено весьма остроумными, хотя нѣсколько рѣзкими чертами въ известной шуткѣ Эраста Благодравова. Но, какъ ни недоумѣвала критика, а все-таки, пораженная и комедіей и общественнымъ о ней мнѣніемъ, не могла рѣшить вопроса иначе какъ такъ, что явился талантъ сильный, свѣжій и... наиболѣе близкій къ таланту, нынѣ спящему въ могилѣ, — къ таланту первенствовавшему тогда по всемъ правамъ. Бѣдная критика! вотъ въ этомъ-то она и ошиблась, — въ этомъ-то таялся тогда и обнаруживается теперь источникъ ея недоразумѣній. Съ этого-то пункта и начинается настоящая исторія новаго явленія въ литературѣ.

«Новое слово» — выраженіе, отъ котораго авторъ сей статьи всего

менѣе, конечно, способенъ отречься, не смотря на глумленія, которыя пройдутъ, если уже не прошли, — «новое слово» ускользнуло отъ опредѣленія старой критики, а теперь уже такъ далеко отъ нея, что она его и видитъ — да «зубъ нейметъ», какъ говорится. Комедію «Свои люди — сочтемся» еще можно было какъ-нибудь, съ великими, правда, натяжками, связать съ мудрыми заключеніями критики обо всемъ предшествовавшемъ въ литературѣ, и съ еще болѣе мудрыми гаданіями ея на счетъ будущаго: все послѣдующее такъ явно отдѣлилось отъ этихъ заключеній, что по неволѣ должно было разсердить критику, задѣть самыя большія ея мѣста, коснуться самыхъ ветхихъ ея построекъ, на которыя вѣтеръ дунъ хорошенько, такъ онѣ упадутъ.

И критика стала въ очевидно комическое положеніе къ новому явленію. Явилась «Бѣдная Невѣста» — а она ждала совсѣмъ не того послѣ комедіи «Свои люди — сочтемся». Еще прежде Островскій разсердилъ критику отсутствіемъ желчи, рѣзкости въ опредѣленіяхъ дѣйствій, наивностью манеры въ граціозныхъ сценкахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ «Неожиданнаго случая», сценкахъ, — говоря *par parenthèse* — гораздо болѣе тонкихъ, чѣмъ многія прославленныя критикою тонкости; но съ появленія «Бѣдной Невѣсты» критика положительно начинаетъ сердиться на лица, выводимыя поэтомъ. Буквально такъ! Ни въ одной статьѣ, писанной въ журналахъ, по поводу той или другой драмы Островскаго, вы не встрѣтите и въ поминѣ вопросовъ художественныхъ. Критика постоянно сердится на лица, на манеру отношеній автора къ изображаемому имъ быту, т. е. на самый бытъ, растворяющій передъ нею свои широкія, гостепріимныя двери; постоянно становится то въ положеніе Мерица или даже Милашина, — то въ положеніе Виктора Аркадьича Вихорева, и жены Маломальскаго, или тетушки, набравшейся въ Таганкѣ образованія, — то въ положеніе Гордея Карпыча Торцова. Съ ихъ точки зрѣнія она смотритъ, съ ихъ точки зрѣнія винитъ Хорькова въ неблагородствѣ поступковъ; Русакова и Бородину хотѣтъ увѣрить, что они не могутъ существовать; въ Любимѣ Торцовѣ не видитъ ничего кромѣ цѣянства; Любовь Гордѣевну упрекаетъ въ отсутствіи личности; Митю производитъ въ юродивые. Дѣло въ томъ, однимъ словомъ, что критика постоянно сердится, обижается, вламывается въ амбицію. Явленіе чрезвычайно важное, по учительное икакъ, вѣроятно, читатели видятъ сами, совершенно несомнѣнное. Оно-то и поведетъ насъ къ вопросамъ, возникающимъ изъ драмъ Островскаго — вопросамъ въ высшей степени достойнымъ того, чтобы попытаться поискать ихъ разрѣшенія.

За что же сердится и обижается критика, — что оскорбляетъ ее въ произведеніяхъ Островскаго? Чтобы постепенно добраться до основаній

ея раздраженнаго чувства, начнемъ съ перечисленія признаковъ ея явно болѣзненнаго состоянія, т. е. съ перечисленія тѣхъ лицъ или положеній въ драмахъ Островскаго, на которыя она сердится.

1). «Неожиданный случай» встрѣтила она насмѣшками и пародіями за безцвѣтность, по ея мнѣнію, выведенныхъ характеровъ, за слабость пружинъ, двигающихъ ихъ отношенія между собою, за ничтожность самаго узла, завязавшаго эти отношенія, т. е. въ переводѣ на прямой языкъ, — осердилась на то, что отношенія, сами по себѣ легкія, поэты очеркнулъ легко, характеры безосновные изобразилъ въ ихъ безосновности — не выдумалъ гиперболическаго узла, не отнесся съ ядовитою насмѣшкою къ такимъ беззлобнымъ и невиннымъ существамъ, какъ Розовый и Дружининъ. Пародія, явившаяся на этотъ легкій и граціозный очеркъ, которому, впрочемъ, ни авторъ, ни мы не придаемъ большого значенія, — выставила ясно, какой грубости и рѣзкости представленія требуетъ критика, — замѣтите — та самая критика, которая ни слова не говорила о ничтожности характеровъ, безосновности завязокъ и пустотѣ содержанія различныхъ великосвѣтскихъ пословицъ въ драматической формѣ, — та самая критика, которая восхищается необычайною тонкостью пословицъ А. де Мюссе, легкостью его очерковъ!

2) «Бѣдная Невѣста» разсердила критику, во-первыхъ, тѣмъ, что Меричъ — неизвѣстно какого званія; во-вторыхъ, тѣмъ, что у Марьи Андреевны нѣтъ характера; въ третьихъ, тѣмъ, что Хорьковъ поступаетъ неблагородно, передавая любовныя письма Мерича; въ четвертыхъ, тѣмъ, что выведено такое безцвѣтное лице, какъ Милашинъ. Переведемъ опять на простой языкъ: критикѣ, очевидно, досадно было, что Меричъ лишень авторомъ тѣхъ чертъ, которыя — вставъ ихъ только — закроютъ отъ глазъ читателя его внушительную бѣдность и ничтожество и сдѣлаютъ его героемъ любой изъ унылыхъ повѣстей, оплакивающихъ судьбу несчастныхъ женскихъ натуръ, подавленныхъ грубою сферою быта. Критикѣ досадно было на Марью Андреевну, что грубость требованій окружающаго быта не будитъ въ ней, говоря любимыми словами критики, *протеста*, что *протестъ* не обращается въ ея натурѣ въ нѣчто постоянное. Критикѣ досадно было, что въ Хорьковѣ нѣтъ той ложной деликатности, которая позволить скорѣе видѣть гибель любимаго существа, нежели нарушить условныя приличія. Критикѣ, наконецъ, больно было разоблаченіе всей безцвѣтной ничтожности натуръ, подобныхъ натурѣ Милашина.

3) Комедія: «Не въ свои сани не садись» — своимъ огромнымъ сценическимъ успѣхомъ опять ошеломила критику. Долго не рѣшалась она высказать своего негодованія на существованіе Русакова и Бородинна,

и только въ недавнее время объявила комедію слабою, лица Бородинна и Русакова невозможными, съ сговоркою на счетъ «Бѣдной Невѣсты», какъ произведенія несравненно болѣе замѣчательнаго; такъ говорила критика въ томъ же самомъ журналѣ, гдѣ хвалилась, какъ нельзя больше, комедія «Не въ свои сапоги садись» и порицалась, осмѣивалась «Бѣдная Невѣста», вмѣстѣ съ «новымъ словомъ» — выраженіемъ автора сей статьи. Въ одной изъ газетъ своихъ, критика откровенно призналась, что новое слово точно есть, что она его видитъ въ комедіяхъ Островскаго; но что самое это новое слово ей не нравятся.

4) «Бѣдность не порокъ», самая смѣлая, хоть и не самая оконченная изъ драмъ Островскаго, не могла не разсердить критику, находящуюся въ совершенно болѣзненномъ положеніи — и за Гордѣя Карпыча и за Любима Торцова. Гордей Карпычъ — каковъ онъ ни-на-есть — все-таки представитель стремленій выйдти изъ *шубаго* и непонятнаго критикѣ быта. Любимъ Карпычъ въ глазахъ критики только пьяница и ничего больше. Его стремленій выйдти изъ метеорскаго званія, выйдти снова въ семью, имѣть честный кусокъ хлѣба, его раскаянія, его порывовъ — критика не могла оцѣнить: трагическая сторона его положенія отъ нея ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Богъ создалъ его съ даровитою, нѣжною и простой душою, — Любовь Гордѣевну опять обвинила за отсутствіе личности, какъ прежде Марью Андреевну. На второй актъ комедіи осердилась критика за то, что авторъ безъ церемоніи, ввелъ публику въ самый центръ правовъ, обычаевъ, веселья того быта который онъ изображаетъ.

5) Последняя драма Островскаго, еще болѣе смѣлая по мысли, широкая по содержанію, новая по характерамъ, и еще болѣе небрежная по формамъ, или, лучше сказать, пренебрегающая формами, извѣстна критикѣ только по представленію, — но критика успѣла уже выразить свое неудовольствіе, успѣла уже вырвать изъ нея и недобросовѣстно изуродовать нѣсколько выраженій. Дѣло простое и понятное: новость драмъ Островскаго и въ особенности — смѣлая новость послѣдней его драмы, есть чувствительное оскорбленіе одряхлѣвшей критикѣ.

6) Вообще, наконецъ, критика начала изъявлять неудовольствіе на языкъ, или, по ея выраженію, на *жаргонъ*, которымъ писаны драмы Островскаго. Она, и въ самомъ дѣлѣ, наввно увѣрена, что языкъ въ комедіяхъ Островскаго — мѣстный провинціализмъ, странность, которою, какъ говорятъ, поигралъ да и за щеку, — нѣчто въ родѣ *пейзанскаго жаргона*, употребляемаго, на примѣръ, Мольеромъ въ *Le Medecin malgré lui*, въ *Le Festin de Pierre* и другихъ пьесахъ. Чего-жь бы хотѣла критика? Чтобы лица драмъ Островскаго говорили не языкомъ ихъ бы-

та? Да вѣдь это противорѣчило бы эстетическимъ положеніямъ всякой критики, даже и той, съ которой мы въ настоящую минуту имѣемъ дѣло, да и Островскій притомъ — художникъ такого рода, которому типы при ихъ созданіи предстаютъ не иначе, какъ съ своимъ языкомъ каждый: иначе для него типъ и не мыслимъ.

7) Съ начинающимся неудовольствіемъ на *жаргонъ* драмъ Островскаго тѣсно связано неудовольствіе на самый бытъ, имъ изображаемый. Собственно, критика сама не знаетъ, чего она хочетъ. При появленіи «Бѣдной Невѣсты» раздались ея сѣтованія, что Островскій оставилъ бытъ, который онъ такъ мастерски изображаетъ; теперь она вопіетъ на то, что этотъ бытъ говоритъ своимъ языкомъ, имѣетъ свои, ей невѣдомыя, нравы; представляетъ свои типы, которые она не желала бы видѣть выводимыми, и въ несуществованіи которыхъ она такъ жарко хотѣла бы убѣдить и себя и другихъ. Солонъ ей этотъ бытъ, солонъ его языкъ, солонъ его типы — солонъ по ея собственному сознанію. Вотъ и вся разгадка. Нѣтъ критикѣ дѣла ни до какихъ эстетическихъ вопросовъ. Найдите хоть въ одной статьѣ ея указанія на эстетическіе промахи автора. Ихъ нѣтъ положительно, — или такія указанія встрѣчаются только въ статьяхъ нашего журнала.

«Новое слово!» — употребляю теперь съ нѣкоторою гордостью это выраженіе, высокопарность котораго выкуплена легкомысленнымъ или недобросовѣстнымъ посмѣяніемъ, которому оно подверглось, — вотъ ко-ревная, основная причина негодованія старой критики на писателя, которому по всему праву, по общему признанію массы, принадлежитъ, не смотря на его недавнее появленіе, не смотря на нѣкоторые недостатки, — несомнѣнное первенство въ современной литературѣ.

Съ 1847 до 1855 года, Островскій написалъ всего только 9 произведеній, и изъ нихъ только *пять* значительныхъ по объему и *шесть* по содержанию, только *четыре* изъ нихъ даются на театрѣ, — но эти *четыре*, безъ церемоніи говоря, создали народный театръ — частію создали, частію выдвинули впередъ артистовъ, пробудили общее сочувствіе *всѣхъ* классовъ общества, измѣнили во многихъ взгляды на русскій бытъ, познакомили насъ съ типами, которыхъ существованія мы не подозрѣвали и которые, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, существуютъ, — съ отношеніями въ высшей степени новыми, драматическими, съ многоразличными сторонами русской души, и глубокими, и трогательными, и нѣжными, и разгульными, — сторонами, до которыхъ никто еще не касался. Право гражданства литературнаго получило множество яркихъ опредѣленныхъ образовъ, новыхъ живыхъ созданій въ мірѣ искусства — и все это прошло безъ урока для критики. Талантъ уже породилъ толпу подражате-

лей, и грубыя подражанія печатались въ ея журналахъ,—а она продолжала глумиться надъ новымъ словомъ таланта!

Таково положеніе вопроса о новомъ явленіи. Чтò же именно есть въ немъ такого новаго, чтò не принимается критикою? — ибо вопросъ, что она враждуетъ не во имя эстетическихъ положеній, мы считаемъ рѣшеннымъ. Новы въ талантѣ Островскаго, какъ во всякомъ самобытномъ талантѣ, — содержаніе и форма. Подъ содержаніемъ разумѣю я: 1) общее отношеніе поэта къ жизни, его міросозерцаніе; 2) типы, имъ создаваемые, и манеру ихъ изображенія. Подъ формою: 1) самобытность постройки произведеній, и 2) особенность языка. По этимъ категориямъ и слѣдовало бы рассмотретьъ вопросъ о талантѣ Островскаго безотносительно: но, чтобы нагляднѣе и яснѣе представить дѣло, должно употребить нѣсколько окольный путь, начать *ab ovo*. Новое слово Островскаго есть самое старое слово — народность: новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни, — и по этому должно: 1) въ краткомъ очеркѣ представить различныя отношенія литературы нашей къ народности, и 2) въ такомъ же схватить предшествовавшее отношеніе литературы къ жизни вообще. Тогда дѣло обозначится само собою, и отдѣливши, отграничивши его, поставивши на особое, ему принадлежащее, мѣсто, можно будетъ опредѣлить его безотносительное значеніе.

## II.

Обзоръ отношеній литературы нашей къ народности.

Прежде всего мы должны точнѣе опредѣлить смыслъ, въ которомъ принимаемъ слово: народность литературы. Какъ подъ именемъ народа разумѣется народъ въ обширномъ смыслѣ и народъ въ тѣсномъ смыслѣ, такъ равномѣрно и подъ народностью литературы. Подъ именемъ народа въ обширномъ смыслѣ разумѣется цѣлая народная личность, собирательное лице, слагающееся изъ чертъ всѣхъ классовъ народа, высшихъ и низшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, образованныхъ и необразованныхъ; слагающееся не механически, а органически, если самъ народъ сложился не механически, а органически; носящее общую, типическую, характерную физиономію физическую и нравственную; отличающую его отъ другихъ подобныхъ ему собирательныхъ лицъ. Подъ именемъ народа въ тѣсномъ смыслѣ разумѣется та часть его, которая наиболѣе, сравнительно съ другими, находится въ непосредственномъ, неразвитомъ состояніи: Литература бываетъ народна въ первомъ смыслѣ, когда она въ своемъ міросозерцаніи отражаетъ взглядъ на жизнь, свой



ственный всему народу, опредѣлившійся только съ большею точностью, полною и, такъ-сказать, художественностью въ передовыхъ его слояхъ: въ типахъ — разнообразные, но общедоступные типы народнаго образа; въ формахъ — красоту по народному понятію, выработавшемуся до художественности; въ языкѣ — языкъ народа, разившійся на основаніи его коренныхъ этимологическихъ и синтаксическихъ законовъ. Въ тѣсномъ смыслѣ литература бываетъ народна, когда она или 1) принаровляется къ взгляду, понятіямъ и вкусамъ неразвитой массы, для воспитанія ея, или 2) изучаетъ эту массу какъ *terram incognitam*, ея нравы и понятія какъ нѣчто чудное, ознакомливая съ ними развитие, и, можетъ быть, пресытившіеся развитіемъ словъ. Во всякомъ случаѣ, въ томъ или другомъ — существованію такой литературы предпосылается историческій фактъ разрозненности въ народѣ. Перваго рода народность есть то, что на точномъ, хотя бѣдномъ языкѣ цивилизаціи, зовется *nationalité*; втораго рода то, что на ономъ же, въ неслишкомъ давнія времена, получило опредѣленный терминъ *popularité, litterature populaire*. Въ первомъ смыслѣ народность литературы, какъ національность, является понятіемъ безусловнымъ, въ природѣ лежащимъ, во второмъ — относительнымъ, обязаннымъ своимъ происхожденіемъ болѣзненному факту, и притомъ вовсе не художествомъ, которое прежде всего свободно и есть само себѣ цѣль.

Въ какомъ же смыслѣ должно быть принято заглавіе этого отдѣла предлагаемой читателямъ статьи? Безъ всякаго сомнѣнія, въ первомъ, т. е. авторъ намѣренъ въ общемъ очеркѣ представить различныя отношенія нашей литературы къ народности, какъ національности. — Второе, тѣсное понятіе намъ совсѣмъ и не нужно, во-первыхъ, потому, что нѣтъ существенной разрозненности въ живомъ, свѣжемъ и органическомъ тѣлѣ народа; а во-вторыхъ, и потому, что въ этомъ смыслѣ литература перестаетъ быть художествомъ, а становится педагогикой или естественной исторіей. Фактъ, что художество въ наше время преимущественно ищетъ типовъ, или, лучше сказать, воспроизводитъ типы изъ міра въ тѣсномъ смыслѣ народнаго, показываетъ только то, что въ этомъ мірѣ цѣльнѣе удерживаются и яснѣе обозначаются типы общей, родовой національности, которой существенныя, коренныя черты одинаково общи всѣмъ слоямъ, что свидѣтельствуется явно живымъ сочувствіемъ всѣхъ слоевъ къ этимъ существеннымъ чертамъ, признакамъ племеннаго единства, кровнаго родства, опредѣленной и связующей всѣхъ во-едино народности.

Къ этой-то народности мы и рассмотримъ различныя прошедшія и настоящія отношенія литературы.

Но прежде всего невольно рождается, самъ собою задается вопросъ: когда мы говоримъ о литературѣ греческой, англійской, итальянской, испанской, даже нѣмецкой и французской — приходитъ ли намъ въ голову спросить — народныя ли поэты: Гомеръ и Софоклъ, Шекспиръ и Байронъ, Дантъ и Аріостъ, Лопе де-Вега и Кальдеронъ, Гёте и Шиллеръ, даже Расинъ, Мольеръ, Веранже?... Огъ чего же, напротивъ, какъ только мы беремъ за кого-либо изъ нашихъ поэтовъ, первый вопросъ, который рождается, есть вопросъ о томъ: народенъ ли онъ и въ какой степени народенъ, т. е. націоналенъ? Что за тревожное исканіе своей народности? и есть ли ему основаніа? и чтó оно свидѣтельствуетъ? Съ другой стороны, при самомъ небольшомъ знакомствѣ съ огромнѣйшею массою, не скажу литературы, но письменности духовной и гражданской, самобытной и переводной, лѣтописной, государственной, нравственной и поучительной, отъ Нестора и Слова о Полку Игоревѣ до политическихъ умозрѣній Посошкова, какая осталась намъ отъ міра мудрыхъ и доблестныхъ предковъ, — при маломъ же знакомствѣ съ устною, неписьменною литературою, возникнетъ ли вопросъ о томъ, народна ли она?... И въ третьихъ, наконецъ: какія мысли, понятія и какой языкъ лучше пойметъ умомъ и чувствомъ русскій человѣкъ: тѣ ли и тотъ ли, которые онъ встрѣтитъ, раскрывши, примѣрно, книгу Посошкова, или же тѣ, которые попадутся ему въ какомъ-либо изъ нашихъ многихъ писателей прошлаго и даже нынѣшняго вѣка, хоть изъ тѣхъ, которые преимущественно занимаются естественною исторіею народа и подмѣчиваніемъ чуднбго? Вопросъ странный только на первый взглядъ, и странность его уничтожится другимъ вопросомъ: чтó нѣмецъ, самый, положимъ, неразвитой и необразованный, пойметъ и умомъ и чувствомъ лучше: Гёте ли, или какую нибудь поэму о Титурелѣ, въ которой онъ ни языка, ни чувствъ не понимаетъ совсѣмъ?

Но вопросы могутъ быть разрѣшены только фактами. Передъ нами два несомнѣнныхъ факта.

1) Есть у насъ огромная масса письменности, которая отдѣлена отъ насъ столѣтіями и которой языкъ, однако, всѣмъ безъ исключенія русскимъ людямъ понятенъ во всѣхъ столѣтіяхъ, за исключеніемъ весьма немногихъ обветшалыхъ словъ и синтаксическихъ построекъ; течетъ онъ совершенно свободно, то во всей простотѣ разговорной рѣчи народа, то возвышаясь до религіозной торжественности, или до высокаго государственнаго пафоса. «А что *сказывашь*» — пишетъ великій князь Василій Васильевичъ въ одной договорной грамотѣ съ Юрьемъ Дмитріевичемъ — «занялъ еси у гостей у суконниковъ шесть сотъ рублевъ, да заплатилъ еси, *сказывашь*, мой долгъ ординской Резепъ Хозѣ, да Абипу въ каба-

лы, и на кабакахъ, *сказываешь*, то серебро еси подписалъ,—и мнѣ съ тобѣ тотъ долгъ шесть сотъ рублевъ сняти; а съ тѣми гостями вѣдатися мнѣ опрочъ тобѣ самому, а тобѣ мнѣ тѣхъ сказати, у кого есь займовалъ».—Чья эта рѣчь и кому она непонятна?... Но это еще рѣчь XV столѣтія: возьмите подальше, поглубже въ древность. Да позволено будетъ мнѣ, въ поясненіе факта, хотя и несомнѣннаго, привести начало и конецъ описанія лѣта 6619 изъ Ипатьевской лѣтописи, гдѣ русскій челоувѣкъ, и тогдашній и теперешній, весь—съ его религіозными и государственными понятіями, съ его языкомъ, даже, къ удивленію читателя, съ его характеристическими приѣмами, привычками, движеніями \*).

«Въ лѣто 6619. Вложи Богъ Володимеру въ сердце, и нача глаголати къ брату своему Святополку, понужая его на поганыхъ, на весну. Святополкъ же повѣда дружинѣ своей рѣчь Володимерю: они же рѣкоша: не время нынѣ погубити смерды отъ ролюю. И посла Святополкъ къ Володимерю, глаголя: *да быхомъ ся сняли и о томъ подумали быхомъ съ дружиною*. Посланіи же приидоша къ Володимеру и повѣдаша всю рѣчь Святополчю, и приде Володимеръ и срѣтостася на Долобьскѣ и сѣдоша въ единомѣ шатрѣ, Святополкъ съ своею дружиною и Володимеръ съ своею. И *бывшу молчанью \*\*)*; и рече Володимеръ: *брате! ты еси стартъ*; почни глаголати, какъ быхомъ промыслили о Русьской земли. И рече Святополкъ: *брате! ты почни*. И рече Володимеръ: *како я хочу молвити, а на мя хотятъ молвити твоя дружина и моя, рекуще: хочещь погубити смерды и ролюю смердомъ? но се дивно ми, брате, оже смердовъ жалуєте и ихъ коній, а сего не помышляюще, еже на весну начнетъ смердъ тотъ орати лошадыю твою,—и прихавъ Половчинъ, ударитъ смерда стрѣлою и поиметь лошадыю ту, и жону его, и дѣти его, и гумно его зажжетъ; то о семъ чему не мыслите?» И рече Святополкъ: *се язъ, брате, ютовъ есмь съ тобою*, и посласта ко Давыдовнъ Святославичю, *величчи ему съ собою*. И вѣставъ Володимеръ и Святополкъ и цѣловастася и поидоста на Половчѣ...»*

«И побиша я въ понедѣльникъ страстный, мѣсяца марта въ КЗ день,—

\*) Это одно изъ мѣстъ, наиболѣе подтверждающихъ блистательную, хотя простую какъ Колумбово яйцо, догадку о великорусскомъ началѣ во всей древности и на югѣ Руси, куда уже послѣ привзошло другое начало и въ языкъ, и въ нравы, и въ народную физиономію.

\*\*) Черта драгоцѣнная, какъ и все послѣдующее, въ отношеніи къ вѣрности народной великорусской физиономіи. Сперва помолчали, какъ слѣдственно, потомъ отговариваются говорить первые. Самый приѣмъ рѣчи Мономаха чисто великорусскій. Точно какъ ихъ видишь передъ собою—такъ они тутъ живы!

пзбѣни быша иноплеменницѣ *многое множество* на рѣцѣ Салницѣ, и спасе Богъ люди своя. Святополкъ же, и Володимеръ, и Давыдъ прославиша Бога, давшаго имъ побѣду такую на поганя, и взяша полона много и скоты, и кони, и овцѣ, колодниковъ много изоимаша руками. И въспросиша колодникъ, глаголюще: како васъ толика сила и многое множество, не могостеся противити, но въскорѣ побѣгосте? Си же отвѣщеваху, глаголюще \*): како можемъ битися съ вами? а друзи ѣздяху верху васъ въ оружьи свѣтлѣ и страшни, иже помогаху вамъ. *Токмо се суть ангели, отъ Бога посланы помогать крестьяномъ».*

Какая страница—даже Карамзина, Карамзина, котораго имя съ благоговѣніемъ долженъ произносить русскій человѣкъ, сравнится съ этою безыскусственною, но характеристическою страницей? И что можетъ быть народнѣе—такъ-сказать руссѣе? Отъ чувства до языка, отъ мыслей до движеній—здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!

Позвольте напомнить такъ же нѣсколько высоко-краснорѣчивыхъ или умиленныхъ мѣстъ грамоты, которою звали на царство Михаила Теодоровича Романова:

«И великое Россійское царство, по злой его вражьей прелести (Гришкиной), яко море восколебася; и неистовые глаголы, яко свирѣпныя волны, возшумѣша, и неукротимо и ненаправляемо, аще и кормчіи мудрѣи бѣша, по ярость моря ихъ повреди, и суетну мудрость ихъ сотвори, и во своя стремленія все обрати...

«А Россійское царство вдовствуетъ, и отечество ихъ царское сиротствуетъ; и пресвѣтлый ихъ превысочайшій царскій престолъ плачетъ, сѣдѣющаго на себѣ царствующаго не имѣя, земля же вся малая съ великими и съ сущими младенцы безчисленнымъ плачемъ вопіють, что ни людьми Божиими промыслять не кому...»

Едвали рѣчь можетъ быть величавѣе, умиленнѣе и художественнѣе. Какая сила и простота краснорѣчія! Или вотъ изъ сей же грамоты мѣсто о конечномъ разореніи Московскаго государства:

«Они ль, злодѣи, ни мало на то великаго святѣйшаго Ермогена, патріарха Московскаго и всея Русси, обличеніе преклоншеса, ни страха Божія боящеса, ни страшнаго Христова принествія судити и воздавать комуждо по дѣломъ его чающе, наипаче на всякое зло начаше простратися: царствующій же градъ Москву во всемъ Россійскомъ царствѣ и *мать городовъ*, деревянной и каменной большой городъ выжгли и вѣсѣгли не крестьянскимъ обычаемъ, и церкви Божіи, въ которыхъ изъ давнихъ лѣтъ славилось имя Божіе и за весь міръ жертва Богу

\*) Припомнимъ письмо экзарха Грузіи и рассказы турецкихъ плѣнныхъ. Русь все та же, и тѣ же у нея защитники и заступники.

приносилась, и монастыри осквернили и разорили, и многоцѣлебныя мощи Великихъ Московскихъ Чудотворцевъ обругали, и образы и чудотворцевы раки обдирали и ломали, и всякое осквернение и поруганіе нашей православной крестьянской вѣрѣ Греческаго закона починили, и дерзосердаго страдальца, великаго свѣтѣйшаго Гермогена, патріарха Московскаго и всей Руссіи, непобѣдимаго, крѣпкаго въ православіи столпа, и новаго во святыхъ исповѣдника и непобѣдимаго поборника по нашей истинной православной вѣрѣ Греческаго закона, съ великимъ безчестіемъ съ престола свергли и изъ святительскаго престола обнажили, и въ заточеніе посади, мучительскою смертію не крестьянски уморили; а священнически и иночески чинъ, и бояръ князя Андрея Васильевича Голицына, и иныхъ бояръ, и дворянъ, и дѣтей боярскихъ, и всякихъ служилыхъ людей, и гостей, и торговыхъ, и жилецкихъ, и всякихъ, и простыхъ людей безчисленное христіанское множество, мужеска пола и женска, и несовершенныхъ младенецъ побили мучительски, и кровь многую христіанскую по всему царствующему граду Москвѣ невиднo пролили; и царскую казну, многое собранье изъ давныхъ лѣтъ прежнихъ великихъ государей нашихъ, царей Россійскихъ, и ихъ царскія утвари, царскія шапки и коруны, и ихъ царское всякое достоянье, и чудотворныя образы къ Жигимонту королю отослали, а достальную царскую казну, въ церквахъ Божіихъ и въ монастыряхъ, и въ домѣхъ, и въ лавкахъ, и въ погребяхъ, многія неисчетныя богатства московскихъ всякихъ людей пограбля, по себѣ раздѣлили...»

«И видя такому великому и преславному московскому государству, отъ Жигимонта, короля Польскаго, и отъ его Польскихъ и Лятовскихъ людей, конечное разоренье и православной христіанской вѣрѣ поруганье, и святымъ мѣстомъ оскверненіе, кто не восплачетъ и не возрыдаетъ! *Превыше бо бысть сіе зло вифліемскаго плача, отъ незаконнаго дѣтоубійца Ирода: тамо бо младенцы токмо убійственными закалахуся дланьми, здѣ жь престарѣвшіеся и спѣдинами цвѣтушіи, и въ возрастъ приходящіи юноши, и жены честнообразны, и отроковицы нетлѣнны, и младенцы безгрѣшны, вкутъ отъ Лязовъ и отъ германскаго роду раздробляхуся и закалахуся: рыданіе же повсюду и плачь велегласенъ на аеръ восходитъ, и горы убо супротивъ плачущимъ возмашаху, бреши же волнами супротивъ шумяху; и бысть громъ повсему граду всемертвенный...»*

Безъискусственное краснорѣчіе правды возвышается здѣсь до такой патетической силы, которой что-либо равное можно найдти развѣ только въ послѣднихъ томахъ Карамзинской Исторіи или Пушкинскаго Бориса. Едва только окунетесь вы, хоть немного, въ море этой огром-

ной письменности, вы почувствуете, что она освѣжаетъ, отрезвляетъ васъ, отзывается на всѣ ваши вопросы религіозные, моральные, обществєнные,—отзывается самобытно, иногда слишкомъ просто, но всегда такъ, что простота отзываетъ васъ на новыя соображенія. Сомнѣній нѣтъ, что она, эта письменность, отдѣленная отъ насъ вѣками, болѣе по нашему, по народному, отзывается на наши стремленія, чѣмъ литература прошлаго вѣка и большая часть произведеній литературы современной; сомнѣній нѣтъ, на примѣръ, что проповѣдь Кирила Туровскаго и художественностью, и самобытною недосыгаемо выше проповѣди Феофана Прокоповича, что только въ произведеніяхъ двухъ современныхъ витій найдутся образцы равные ей, этой проповѣди XII столѣтія, простотою и глубиною мысли, величіемъ и красотою слова. Сомнѣній нѣтъ, что безыскусственныя замѣчанія о странахъ чужеземныхъ какого-нибудь стольника Ивана Чемоданова, правившаго посольство во градѣ Виницеѣ—умнѣе и дѣльнѣе замѣчаній современныхъ туристовъ,—сомнѣній нѣтъ... Но мы думаемъ, что и такъ уже слишкомъ много наговорили о несомнѣнномъ фактѣ, что и такъ уже имѣютъ право многіе укорять насъ въ томъ, въ чемъ Курбскій укоряетъ Ивана IV, въ началѣ одного своего посланія... А Домострой и Посошковъ? а масса литературы устной, масса огромная, живая, свѣжая?..

Перейдемъ къ другому факту...

II) Другой фактъ, не менѣе перваго несомнѣнный — тотъ, что съ начала XVIII столѣтія и до нашихъ временъ мы имѣемъ, какъ письменность вообще, такъ литературу въ частности—количественно огромную же, но которой значительная часть потеряла для насъ всякій другой интересъ, кромѣ историческаго; еще болѣе значительная не имѣетъ даже и этого интереса и отошла только въ область библиографіи; наконецъ, весьма небольшая, сравнительно, еще жива и свѣжа для насъ доселѣ... Особенно назидательно въ этомъ фактѣ то, что явленія, по времени къ намъ болѣе близкія, стали намъ несравненно болѣе чужды, нежели отдаленнѣйшія. Сомнѣній нѣтъ, что, на примѣръ, литературная дѣятельность Полеваго и Кукольника — гораздо болѣе чужды намъ и гораздо болѣе утратили для насъ свѣжести, жизненности, чѣмъ дѣятельность Карамзина и Батюшкова (сопоставляемъ эти имена съ предшествовавшими вовсе не для сравненія: оборони насъ, Боже!); что, забывши правописательные романы г. Булгарина, мы съ участіемъ и интересомъ будемъ читать Новиковскаго Живописца и даже правописательные очерки Сумарокова: сомнѣній нѣтъ, что языкъ Сумарокова и Новикова—изящнѣе, проще и живѣе языка критическихъ статей нашихъ журналовъ. Наконецъ, что за повтореніе одного общаго явленія

мы видимъ въ дѣятельности всѣхъ писателей нашихъ, имѣющихъ на литературу сильное вліяніе? Образъ мыслей и чувствованій, равно какъ и языкъ Карамзина, мукая съ лѣтами и съ его Исторією, все болѣе и болѣе приближается къ языку старыхъ памятниковъ. Образъ мыслей и чувствованій Пушкина, который и въ молодые годы свои совѣтовалъ нашимъ журналистамъ учиться языку у московскихъ проевиренъ, равно какъ и языкъ его, созрѣвая, сходятся въ величавости съ мышленіемъ и языкомъ старыхъ же памятниковъ, въ простотѣ — съ мышленіемъ и языкомъ народа: Борисъ и Капитанская Дочка равно объ этомъ свидѣлствуютъ. Послѣднія произведенія Жуковскаго, хотя и чуждые, какъ вся его дѣятельность, чисто-народнаго содержанія, представляютъ однако же въ формѣ своей то же самое; ибо послѣднее слово ихъ.— есть освоеніе чужеземнаго въ совершенно самобытной русской формѣ. Гоголь постепенно высвобождается изъ-подъ вліянія малороссійской мѣстности. А начинаютъ всѣ эти писатели не такъ, начинаютъ всѣ подъ тѣми или другими вліяніями. Повсюду, однимъ словомъ, очевидно одно явленіе: тревожное исканіе своей народности и обрѣтеніе точки успокоенія въ возвратѣ къ старымъ памятникамъ, возвратѣ, который есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, не что иное, какъ погруженіе въ живую народную жизнь, въ живое народное возрѣніе, въ живую народную рѣчь. Четыре великихъ писателя, нами упомянутыхъ, четыре представителя различныхъ эпохъ, болѣе или менѣе мучительною борьбою выкупили сознаніе самобытности; только одинъ изъ нихъ, гениальнѣйшій, владѣлъ инстинктомъ народности въ такой степени, что вышелъ изъ борьбы совершенно цѣлымъ, и только преждевременная смерть помѣшала ему совершить множество народныхъ созданий; другой, столь же гениальный, но съ гениальностью болѣе одностороннею, дошелъ до сознанія путемъ отрицательнымъ, но измученный отрицаніемъ, перевелъ вопросъ за его естественныя границы—и палъ послѣднею жертвою той трагической мойры, которая тяготѣла, какъ онъ самъ замѣтилъ, надъ русскими поэтами. Но еще прежде этихъ представителей четырехъ эпохъ, которыхъ мы ближайшія дѣти или много внуки, литература наша представляетъ постоянное стремленіе къ сознанію народности. Это то и разумѣть авторъ сей статьи подъ именемъ отношеній литературы къ народности, отношеній положительныхъ или отрицательныхъ— все равно. Обозрѣвши ихъ, хотя и въ краткихъ чертахъ, но всѣ—съ той минуты, какъ разорвалась непосредственная связь письменности съ народною жизнью, какъ литература, съ тѣми или съ другими понятіями, приступила къ народности, какъ къ предмету внѣ ея лежащему, мы увидимъ ясно, на какой точкѣ стоимъ мы теперь. Для насъ уяснит-

ся притомъ, даже и въ бѣглому очеркѣ—выше или ниже уровня самаго предмета стояло то, съ чѣмъ литература приступала къ предмету. Естественно, что мы схватимъ только существенныя стороны, наиболѣе рѣзкія отношенія.

Но прежде, чѣмъ пройдутъ передъ нами различныя такія отношенія литературы къ народности, мы должны остановиться на минуту на явленіи, стоящемъ совершенно уединенно въ отношеніи къ послѣдующему,—на писателѣ, связанномъ языкомъ, образомъ возрѣнія, чувствомъ—съ старобытною жизнію, но между тѣмъ исполненнымъ тревожнаго духа реформы, носившемъ ея потребности въ груди своей безсознательно, осмысливавшимъ по своему и на основаніи изстари-завѣщанныхъ формъ свои тревожныя стремленія,—на писателѣ, который находится на грани двухъ письменностей, старорусской и европейско-русской—на Посошковѣ. Мы возьмемъ его не какъ политико-эконома, не какъ политика вообще, а возьмемъ въ его отношеніяхъ къ народности, которыя всего лучше могутъ послужить исходною точкою для нашего обозрѣнія.

«При Петрѣ I» — замѣчаетъ весьма справедливо издатель его сочиненій, въ отвѣтъ на могущія возникнуть сомнѣнія о томъ, чтобы они могли принадлежать простолюдину;—«различіе между образованіемъ бояръ и простолюдиновъ не было такъ разительно, какъ нынѣ, ибо происходило изъ одного и того же источника». Изъ этого источника, общаго всей старой Руси, выходитъ весь взглядъ Посошкова, одинаковый, стало быть, со взглядомъ Домостроя и другихъ, еще болѣе древнихъ памятниковъ. Но Посошковъ—сынъ своей эпохи, исполненной желанія улучшенія, потребностей болѣе разнообразныхъ, болѣе сложныхъ; Посошковъ не только не чуждъ нововведеній, но горячо хлопочетъ о множествѣ полезныхъ нововведеній, горячо сочувствуетъ Преобразователю. Даже въ языкѣ его, простой, народный и чистый, какъ языкъ всѣхъ памятниковъ предшествовавшей эпохи, прокрадываются чужеземныя слова, совсѣмъ западныя (мизирный и т. д.), или польскія (пильно). Стало быть, однимъ словомъ, онъ смотритъ *сверху*, какъ многіе до реформы еще смотрѣли сверху; стало быть, о его *отношеніи* къ народности мы можемъ говорить. Но верхъ, съ котораго онъ смотритъ, его идеалы, во имя которыхъ онъ къ тому, другому или третьему относится положительно или отрицательно, взяты не извнѣ, а изъ самой полноты прошедшаго и настоящаго окружающей его жизни, или уклоняющейся отъ нихъ, или представляющей недостаточныя средства къ ихъ осуществленію: въ первомъ случаѣ, онъ относится увѣщательно и часто сатирически-увѣщательно; во второмъ поучительно, предлагая тѣ или другія



мѣры, отрицательныя или положительныя. Когда онъ относится къ явленіямъ сатирически, — точно какъ будто вы повторяете ту или другую страницу Мертвыхъ Душъ:

«И въ художественныхъ мастерствахъ» — говоритъ онъ, на примѣръ — «весьма дѣется у насъ въ Россіи неисправно: въ началѣ, егда кой человекъ отдается въ наученіе къ мастеру, и поставитъ срокъ, къ которому ему выучиться, и еще мастеръ не скроется и научитъ его скоро, то онъ, не дожидъ срока, и станеть прочь отбиваться, и, отшедъ, станеть дѣлать собою; и еще хуже мастерскаго станеть дѣлать, то онъ чини сабавитъ, да и мастерство все поубитъ...»

Право, вѣдь только-что не прибавлено: «и пошелъ ты валяться по улицамъ, да приговаривать: нѣтъ житья русскому человѣку!»

Вообще стѣбитъ только раскрыть Посошкова, чтобы убѣдиться въ сказанномъ. Дѣлать изъ него выписки и цитаты будетъ излишне: всякому слѣдуетъ съ нимъ покороче познакомиться, и стыдно тѣмъ, которые съ нимъ незнакомы, тѣмъ болѣе, что кромѣ типа русскаго человѣка, относящагося къ неправдѣ жизни съ юморомъ отрицанія, въ Посошковѣ — въ громадныхъ размѣрахъ является тотъ идеальный типъ, котораго существованіе такъ не понравилось многимъ въ лицѣ Русакова. Сторону сатирическую раскроютъ и безъ насъ въ Посошковѣ, даже прикрасятъ, пожалуй. Мы даже удивляемся, какъ до сихъ поръ ею мало пользовались: Посошковъ — авторитетъ, который не подвергается такимъ основательнымъ подозрѣніямъ, какъ авторитетъ бѣлаго дьяка Котошихина, на показанія котораго созидаются такія живописныя картины варварства и невѣжества его эпохи, — и читая Посошкова, мы часто думаемъ о господахъ живописующихъ такія картины, обращаясь къ нимъ съ словами Ноздрева Чичикову: вотъ бы пища твоему сатирическому уму! У Посошкова и взглядъ трезвѣе и строже Котошихинскаго, и слова мѣтче, и юмора больше. «Я не знаю» — говоритъ онъ, на примѣръ жалуясь на множество челобитчиковъ, тѣснящихся въ канцеляріяхъ, — «что въ томъ за краса, еже такъ въ канцелярію натѣснится, что до судьбы и дойти не мочи». О невѣжествѣ одного лица онъ говоритъ, на примѣръ, что «и Татаркѣ, противъ ея заданія, отвѣту здраваго дать не умѣлъ», и т. д. Все это черты драгоцѣнныя для любителей сатирическаго, и такихъ чертъ въ Посошковѣ не оберешься. Но вопросъ, — изъ чего выходитъ такое возрѣніе у Посошкова?... Оно исходитъ изъ существенныхъ, коренныхъ чертъ его идеальнаго взгляда, на которыхъ преимущественно мы и остановимся, какъ на краеугольномъ камнѣ всѣхъ послѣдующихъ выводовъ... \*).

\*) Подъ этою статьею подписано: *Продолженіе въ слѣдующемъ №.* Но продолженія не было.

## ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

## I.

## О ПРАВДѢ И ИСКРЕННОСТИ ВЪ ИСКУССТВѢ

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ЭСТЕТИЧЕСКАГО ВОПРОСА

## Письмо къ А. С. Хомякову

(Русская Бесѣда. 1856. № III.)

## I.

Въ одну изъ литературныхъ сдѣлокъ, принадлежащую къ числу немногихъ, на которыхъ предметы искусства дѣйствительно и притомъ не насильственно занимаютъ собравшихся, предложенъ былъ вами вопросъ: имѣеть ли право художникъ переноситься въ совершенно чуждыя ему состоянія духа, міросозерцаніе, строй чувствованій? Таковъ былъ общій смыслъ вопроса, предложеннаго вами по поводу, не помню какого именно, частнаго случая; въ немъ заключалось два смысла: 1) имѣеть ли право художникъ, какъ извѣстное лице, съ извѣстнымъ образомъ мыслей, съ извѣстною настроенностію чувствованій, переноситься въ состоянія духа ему чуждыя, въ настройства чувствованій, болѣе напряженныя или менѣе напряженныя, нежели свойственное ему душевное настроеніе, и 2) имѣеть ли право художникъ, какъ сынъ извѣстнаго вѣка, членъ извѣстной церкви и членъ извѣстнаго народа переноситься въ міросозерцаніе и строй чувствованій, чуждыя ему какъ таковому? Всѣми бесѣдовавшими вопросъ былъ взятъ преимущественно съ этой послѣдней стороны, и каждому изъ нихъ, не смотря на разницу взглядовъ, показался въ высшей степени важнымъ.

Таковъ онъ былъ и на самомъ дѣлѣ, въ обоихъ его смыслахъ. Если выразить его другими словами, онъ будетъ завѣтнѣйшимъ вопросомъ настоящей минуты, вопросомъ о *правдѣ*, которой мы требуемъ отъ художества, объ искренности отношеній художника къ жизни и объ

искренности его таланта. Съ другой стороны, въ вопросѣ заключается новый вопросъ о связи искусства съ нравственностію, по существу своему весьма тревожный и который долгое время старались обходить, потому что разубка его оказалась далеко не столь беспослѣдственною, какъ разубка Гордіева узла Александромъ. Наконецъ, вопросъ подкапывался подъ основанія великолѣпной, хотя весьма зыбкой постройки, сооруженной покойной Гегелевскою эстетикою на двухъ фундаментахъ: субъективности и объективности, съ широкимъ проѣздомъ между обоими.

## О ПРАВДѢ И ИСКРЕННОСТИ ВЪ ИСКУССТВѢ

О ПРАВДѢ И ИСКРЕННОСТИ ВЪ ИСКУССТВѢ

Что касается до первой стороны вопроса, т. е. до его тождества съ современными требованіями правды и искренности отъ художника и искусства, то оно совершенно очевидно, въ которомъ бы изъ двухъ смысловъ мы вопросъ ни взяли. *Какъ я буду мыслить, вѣрить и чувствовать, а вмѣстѣ съ тѣмъ, по свойству искусства, заставлять мыслить, вѣрить и чувствовать другихъ — иначе, нежели я самъ мыслю, вѣрю и чувствую? Выйдетъ — либо напряженная ложь съ моей стороны, которая повредитъ созданію при всей силѣ моего таланта — либо совершенное отсутствіе какого-либо поэтическаго взгляда на міръ, которое, оставляя талантъ при однихъ его *внѣшнихъ* средствахъ (какъ-то: стихъ, слогъ, изобразительность, яркость красокъ и др.), выразится въ дѣятельности рядомъ безсвязныхъ пробъ, сухихъ этюдъ, свидѣтельствующихъ о силѣ дарованія, взятаго отвлеченно, но чуждыхъ жизни и потому лишенныхъ въ жизни всякаго значенія. Спросить меня, имѣя въ виду первый смыслъ вопроса: неужели же поэтъ самъ все то чувствуетъ и самъ все то въ состояніи сдѣлать, что чувствуютъ и дѣлаютъ выводимыя имъ лица? Неужели Шекспиръ, напримѣръ, любилъ какъ Ромео, мстилъ, какъ Гамлетъ, равновалъ, какъ Отелло, могъ увлечься демономъ честолюбія, какъ Макбетъ, могъ бы холодно и коварно злодѣйствовать, какъ Ричардъ, наконецъ, хвастать и распутствовать какъ Фольстафъ? Можно отвѣтить безъ запинки, что *зерно* всѣхъ чувствованій и дѣйствій этихъ героев, кромѣ Ричарда и Фольстаффа, изображенныхъ великою силою отрицательнаго представленія, лежало въ душѣ ихъ творца, что въ нихъ оно развилось только отрицательно на счетъ всѣхъ другихъ свойствъ духа, но именно въ ту самую мѣру, въ которую развилось бы въ душѣ ихъ творца, если бы какому-либо*

изъ этихъ многочисленныхъ свойствъ онъ отдѣленъ исключительно, — что въ самого Ричарда и Фольстаффа вошли наблюдѣнія поэта надъ темными и подавляемыми сторонами его міробъемлющаго духа: иначе они не были бы изображены съ такою жизнью и правдою. Великіе государственные люди, имъ выводимые и полные столь глубокаго государственнаго смысла, — таковы потому, что самъ творецъ ихъ мѣлъ быть великимъ государственнымъ мужемъ. Гете, поэтъ личности, не могъ же отрѣшиться отъ своей личности въ созданіи Эгмонта, не могъ, такъ сказать, удержаться, чтобы не ввести личныхъ и нѣсколько мелочныхъ пружинъ въ созерцаніе великаго народнаго событія. Не говорю уже о томъ, о чемъ предоставляю себѣ говорить въ другомъ мѣстѣ и въ другое время, о возможности поэта въ произведеніи драматическомъ или эпическомъ изображать не только самыя свойства своего духа, но и ту мѣру, ту гармонию, въ которой онъ въ душѣ его образуютъ стройное міросозерцаніе, — посредствомъ суда надъ одностороннимъ развитіемъ того или другаго свойства. Съ другой стороны, защищая право поэта переноситься въ міросозерцаніе и строй чувствованій чуждыхъ ему вѣка, народа, религіи, представятъ мнѣ примѣръ Гете, *якобы* переносившагося именно такимъ образомъ: Гете съ Римскими элегіями, съ Коринеской Невѣстой, съ балладой о баядерѣ, съ балладой о звонарѣ, похитившемъ рубашку у одного изъ плещущихъ на владбищѣ скелетовъ; Гете, «второго пѣсня; откуда бы не раздалась она», по словамъ его поклонниковъ (а въ числу ихъ принадлежу и я), «съ востока или съ запада, съ сѣвера или съ юга, — влечетъ насъ за собою въ волшебный кругъ свой.» — Но, увѣ! на Гете-то именно и должно порушиться возраженіе. Гете великъ тамъ, гдѣ онъ искрененъ: въ «Коринеской Невѣстѣ» онъ не Грекъ, а новый человѣкъ и протестантъ въ крайнѣйшемъ смыслѣ этого слова, не смотря на стремленія «zu den alten Göttern», на ожесточенія противъ «Nordes schauerlichen Wahn». Ни напряженность, ни лихорадочный тонъ дѣлаго произведенія не свойственны строю чувствованій древняго міра, а міросозерцанію древности, непосредственному, наивному, не способному отрѣшиться отъ дѣйствительности и (по крайней мѣрѣ у поэтовъ) возвышаться надъ нею признаніемъ высшихъ законовъ Провидѣнія, прѣмъ мрачной и неопредѣленной Мойры, — этому міросозерцанію совершенно несоотвѣтственны глубокія слова:

Keimt ein Glaube, neu,  
Wird auch Lieb und Treu,  
Wie ein böses Unkraut, ausgerafft.

— Древній человѣкъ просто не помялъ бы (что онъ и сдѣлалъ) въ ро-  
ванія, скапывающаго личныя привязанности и страсти, — преслѣдовалъ  
бы ихъ (что опять таки онъ и сдѣлалъ), какъ нѣкое нечестіе, или, въ  
другую пору, обратилъ бы, какъ Аристофанъ, бичъ комизма на все, по-  
сягающее на его минутное существованіе; а не сталъ бы осмысливать  
этого въ его глазахъ нечестія великими, такъ сказать, лапидарными  
словами, запечатлѣнными во всему въроятію, одинъ изъ процессовъ  
души самого поэта. Въ своей «Баядерѣ» Гёте опять не Индіецъ-пан-  
теистъ, а спинозистъ-пантеистъ, — хотя, между прочимъ, пантеизмъ  
Гёте подлежитъ еще большому сомнѣнію. Наконецъ, въ міросозерцаніе  
и строй чувствованій средневѣковой Германіи ему Германцу было воз-  
можно перенестись безъ насилія, хотя Германецъ протестантъ  
всегда сказывается въ немъ поэтической ироніей въ отношеніи къ фан-  
тастическому міру суевѣрій, — хоть бы въ знаменитой балладѣ: «Erlkönig»,  
въ которой голосъ лѣснаго царя такъ сливается съ свистомъ вѣтра и  
шумомъ листьевъ, что одно постоянно принимаешь за другое, и кото-  
рой существеннѣйшая красота заключается въ этой прозрачной поэти-  
ческой ироніи. Остается Гёте «Ифигенія въ Тавридѣ» и Гёте «Римскихъ  
элегій»: но «Ифигенія» все болѣе и болѣе начинаетъ принадлежать къ  
числу произведеній, всѣми похваляемыхъ, но никѣмъ не читаемыхъ,  
что уже очевидно должно быть отнесено на счетъ ея искусственной  
холодности; да и самый греческій духъ есть для многихъ знатоковъ  
опаго пунктъ весьма спорный въ этомъ произведеніи, представляющемъ  
мастерскую безъ сомнѣнія, но не имѣющую плоти и крови, этуду. Что  
же касается до «Римскихъ элегій», то въ нихъ высказывается или про-  
сто Нѣмецъ-художникъ въ Италіи, или человѣкъ, напрягающійся по за-  
данной себѣ напередъ мысли до античности-чувствованія, напрягаю-  
щійся иногда неловко и даже антипоэтично: безъ смѣха — какъ хотите —  
нельзя себѣ представить этого античнаго человѣка, выбивающаго  
пальцами метръ на спинѣ своей возлюбленной; невольно приходитъ въ  
голову мысль, что, если все это не двазправду? что, если самая любовь  
и самыя античныя чувствованія съ усиліемъ сочиняемы были въ жизни  
для потребности художества? Вообще въ Римскихъ элегіяхъ Ахиллесева  
пята Гёте: тутъ онъ Нѣмецъ, стремящійся жить по выдуманной теоріи,  
съ которою въ совершенномъ разладѣ находятся весьма не поэтическія,  
какъ ученныя, такъ и домашнія привычки Нѣмца: Римскими элегіями  
и нѣкоторыми пиндарическими одами, въ которыхъ дѣланный *пин-*  
*даризмъ* подогрѣвается только — *sauf le respect* — сумбуромъ, онъ подаль  
соблазнительный поводъ другимъ поэтамъ къ неестественнымъ напря-  
женіямъ. Гёте родилъ Гейне, на удивительный талантъ котораго ложь

и напряженія положили свое клеймо:—Гёте жеродилъ и у насъ нѣкоторыхъ поэтовъ, истощившихъ весь свой небольшой талантъ въ восхищеніяхъ красотою и чистотою дорическихъ колоннъ и въ неистово чувственныхъ возгласахъ о красотѣ, въ возгласахъ, съ которыми, по какому-то странному процессу мышления, соединяется суицидальное «мудраго мужа Платона твореніе». Замѣчу здѣсь, что различныя по натурамъ поэтовъ причины такихъ насильственныхъ напряженій. Въ иныхъ совершенно стройныхъ натурахъ это суть только капризы таланта, пробы въ разныхъ манерахъ пробы, не вносимыя ими въ общей кругъ ихъ пѣсенъ, а если и внесены, то случайно или по нѣкоторому недосмотру. Такъ, я увѣренъ, что стихотвореніе «Отрокъ милый, отрокъ нѣжный»—подражаніе чувствованію арабскому, никогда не предназначалась къ печати нашимъ Пушкинымъ. Въ Гёте и Шиллерѣ (die Götter Griechenlands) стремленіе къ чуждымъ или отпешдшимъ отъ насъ міросоверпаніямъ объясняется: во первыхъ, стремленіями отвлеченныхъ художниковъ, понятіе о которыхъ породила критика Германіи, и во вторыхъ, протестантскимъ отрицаніемъ, которое силится осмыслить и узаконить себя въ какихъ-либо положительныхъ формахъ, хотя бы даже и отжившихъ, но противоположныхъ отрицаемымъ. Въ натурахъ, наконецъ, третьяго рода, какова была натура Гейне, и въ натурахъ иныхъ, менѣе Гейне даровитыхъ поэтовъ, такіа неестественныя стремленія представляютъ печальныя послѣдствія самолюбія, которому силы таланта не соответствуютъ и которое силится поразить чѣмъ-нибудь новымъ, забывая, что новое въ явленіи весьма скоро истощается, что не истощается и вѣчно нова только внутренняя и притомъ искренне передаваемая жизнь души человѣческой.

Есть еще поэтъ, прикосновенный къ вопросу и котораго нельзя обойти молчаніемъ: Андрей Шенье; но Андрей Шенье самъ даетъ разгадать себя и свои стремленія извѣстнымъ стихомъ:

Sur des sujets antiques faisons des vers nouveaux.

Андрей Шенье—несчастный художникъ, родившійся въ эпоху, чуждую пониманія истиннаго художества, и въ народѣ почти антихудожественномъ: уже то самое, что онъ отвернулся съ негодованіемъ отъ стремленій противуобщественныхъ и палъ жертвою честныхъ гражданскихъ понятій, уже это самое значеніе его личности, столь высокопоэтически разгаданное нашимъ Пушкинымъ, указываетъ и на трагическую судьбу его въ самомъ искусствѣ. И въ искусствѣ Французскомъ стоитъ онъ почти одинъ, по крайней мѣрѣ, въ числѣ немногихъ, разобченный съ жизнью и съ ея интересами; отдѣлившійся по всему праву,

но тѣмъ не менѣе лишенный всякаго существеннаго содержанія: грубый материализмъ и служеніе плоти силится онъ сколько-нибудь облагородить; но сколько разъ изъ подъ греческой оболочки прорывается и у него даже, у художника, стало быть у человѣка болѣе чистаго, мутная струя сладострастія напряженнаго, чуждаго древности. Не даромъ Пушкинъ, цѣнившій его высоко, заимствовалъ у него въ сущности такъ мало; а что и заимствовалъ, то претворилъ въ свое, въ чистое простое и здравое.

Напряженность, какъ ржавчина, оставляетъ свой слѣдъ на чистой, стали таланта, разстѣваетъ и окончательно истощаетъ таланты небольшихъ размѣровъ. Вотъ первый отвѣтъ на первую сторону вопроса въ-обоихъ его смыслахъ. Жизнь таланта есть правда: каковы требованія правды отъ поэзіи и какъ должно разумѣть эту правду, я оставляю пока въ сторонѣ и перехожу ко второй сторонѣ предложеннаго вами вопроса.

### III.

Вопросъ принадлежитъ къ числу немногихъ такихъ, которые бьютъ, что называется, въ самую жилу. Онъ задѣваетъ другой, по истинѣ важный вопросъ, объ отношеніи искусства къ нравственности.

Вы спросили: имѣлъ ли право *такой-то* художникъ перенестись въ чуждыя ему состоянія души, кругъ міросозерцанія, строй чувствованій? Значить, вы признали на художникѣ известнаго рода *обязанности*. Дѣло-то въ томъ, что и всѣ бесѣдовавшіе признавали эти обязанности, не только бесѣдовавшіе, единомысленные съ вами, но всѣ безъ исключенія, поколику всѣ соединялись въ серьезности, честности и жизненности взгляда на искусство. Признавали всѣ, повторяю, и многіе доказывали еще прежде таковое признаніе публично, въ рядомъ статей о писателѣ, въ которомъ художественный и нравственный элементъ слиты до нераздѣлимости, статей, проникнутыхъ теплымъ сочувствіемъ къ искусству и жизни и яснымъ пониманіемъ дѣла—кто работою надъ глубокимъ мыслителемъ, которому художники въ его философско-поэтическомъ созерцаніи являются героями, мировыми силами, орудіями высшей власти, пѣсни художника—гармоніею, извлеченною, такъ сказать, изъ самой сердцевины явленій жизни, дѣло художника—великою тайною и великимъ открытіемъ. Всѣ признавали мы неизбежность вопроса, вытекающаго изъ сознанія такихъ положеній, но какъ-будто не хотѣли видѣть, что этотъ-то именно вопросъ и стоитъ въ настоящую минуту

на очереди, и виною тому были предшествовавшія неудачныя попытки его разрѣшеній.

Имѣя въ виду множество читателей, для которыхъ намереніи были бы недостаточны, я долженъ въ этомъ разсужденіи, посвящаемомъ по всему праву вамъ, какъ смѣло поднявшему вопросъ, коснуться нѣсколько исторіи этихъ разрѣшеній. Всѣ попытки ихъ приводятся въ два разряда: 1) или мыслители, касавшіеся вопроса, спорѣшали его совершеннымъ уничтоженіемъ художества въ пользу нравственности, откуда явилось понятіе объ искусствѣ слова, какъ о проводникѣ *полезнаго* въ моральномъ и общественномъ смыслѣ; 2) или мыслители, справедливо возмущенные такимъ опредѣленіемъ, которое уничтожаетъ родство искусства слова съ искусствами образа и звука, — ибо полезныя живопись и ваяніе и полезная музыка существовать не могутъ, — высказали положеніе, что искусство есть само себѣ цѣль и внѣ себя цѣли никакой не имѣетъ и имѣть не должно. На каждой сторонѣ — есть по великому философскому, и что еще важнѣе, по великому художественному авторитету. На одной сторонѣ Шиллеръ, драматическій поэтъ, которому его дѣло, театръ, представляется какъ «eine moralische Anstalt», котораго идеаль художника есть явно дидактическій, въ высшемъ смыслѣ сего слова, и нашъ Гоголь, старавшій, по собственнымъ его признаніямъ, жаждою «служить землѣ»; на другой сторонѣ Гете и Пушкинъ. Последній, возмущенный сухимъ требованіемъ полезности отъ созданій искусства, воскликнулъ въ лирическомъ негодованіи:

Подите прочь — какое дѣло  
Поэту мирному до васъ!  
Въ развратъ каменѣйте смѣло:  
Не оживить васъ лиры гласъ.  
Душѣ противны вы, какъ гробы;  
Для вашей глупости и злобы  
Имѣли вы до сей поры  
Бичи, темницы, топоры:  
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!  
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ  
Сметають соръ — полезный трудъ!  
Но, позабывъ свое служенье,  
Алтарь и жертвоприношенье,  
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?  
Не для житейскаго волненья,  
Не для борысти, не для битвъ,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.



Первый же, равнодушно выслушивая упреки враговъ за малое свое сочувствіе къ различнымъ *полезнымъ* явленіямъ тогдашней Германіи, уподоблялъ себя птицѣ бессознательно поющей на вѣткѣ:

Ich singe wie der Vogel singt,  
 Der in den Zweigen wohnet;  
 Das Lied, das aus der Kehle dringt,  
 Ist Lohn, der reichlich lohnet.

Но дѣло въ томъ, что въ самихъ авторитетахъ находятся явные осязательныя противорѣчія высказываемымъ ими положеніямъ: ибо эти положенія высказаны въ пылу битвы съ видимыми врагами, съ конечными и случайными явленіями, которыя преимущественно и имѣлись въ виду. Дѣло въ томъ, что дидактикъ Шиллеръ и ревностный каратель неправды Гоголь—сами великіе художники и притомъ признающіе за художествомъ такія силы, какихъ не признаютъ они ни за одной изъ отраслей дѣятельности духа человѣческаго. Припомните Шиллеровы: *Die Künstler, die Ideale*; припомните Гоголевскіе: *Портретъ, Развѣздъ* и въ особенности многознаменательныя слова *Исповѣди* о внесеніи новаго въ жизнь единственно только созданіями искусства, слова, глубокія по смыслу и немногими оцѣненныя еще по достоинству. Дѣло въ томъ, что Гёте совершенно справедливо отворачивался отъ мелочныхъ или одностороннихъ, духомъ партій, а не духомъ жизни, порожденныхъ стремленій современной ему общественности, или отъ нестывыхъ и насильственныхъ напряженій ея, что, видя отсутствіе существеннаго и неперемѣннаго въ окружавшихъ его пошлыхъ явленіяхъ и лихорадочныхъ порывахъ, онъ—искатель существеннаго и неперемѣннаго—имѣлъ право уединяться въ міръ искусства и восклицать изъ него (*das Vermächtniss*):

Das Wahre war schon längst gefunden,  
 Hat edle Geisterschaft verbunden:  
 Das alte Wahre fasz. es an!

а Пушкинъ, поставленный въ иную среду общественности, чѣмъ болѣе жилъ, тѣмъ крѣпче срастадся съ почвою своей земли и самъ сталъ *смотреть* на литературу, какъ на общественное служеніе, вслѣдствіе чего и имѣлъ полное право сказать о себѣ:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,  
 Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,  
 Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ  
 И милость къ падшимъ призывалъ.

Стало быть—гуть что-нибудь да не такъ, ибо оказывается, что ни великіе нравственными стремленіями поэты не подчинили искусства полезности, ни великіе поэты-художники не цинпали искусствѣ его могущественнаго вліянія на человѣка, какъ на лице «отдѣльное», и на общежитіе человѣческое. Всѣ сознавали за искусствомъ великія жизненные и, значить, нужныя, полезныя самой жизни, силы—и многіе указали это сознаніе силы слова или пѣсни, ея жизненнаго и въ жизнь переходящаго значенія, какъ Гоголь въ лирическихъ мѣстахъ своего «Развѣзда» и въ «Авторской исповѣди»,—какъ поэтически-глубокомысленный и до нѣкотораго провидѣнія возвышающійся Карлейль въ своихъ удивительныхъ пѣсняхъ о Дантѣ и Шекспирѣ, какъ Мицкевичъ въ извѣстномъ обращеніи къ пѣсни народной:

O wiesci gminna! ty arko przymierza...

обращенія, въ которомъ величаво и глубоко постигнуто все *хранительное* значеніе пѣсни и искусства въ отношеніи къ жизни человѣчества и народовъ. Однимъ словомъ, искусство всѣмъ истиннымъ художникамъ, во все ли ихъ поприще, въ срединѣ ли его, подъ конецъ ли—но открывалось имъ въ видѣ великой вѣрвенной имъ міровой силы, въ видѣ высшаго служенія на пользу души человѣческой, на пользу жизни общественной. Возстаніе же нѣкоторыхъ изъ нихъ противъ *полезности* происходило изъ источника законной вражды съ узкимъ понятіемъ о полезности. Той пользы матеріальной, которая выражается, на примѣръ, въ очищеніи улицъ, не даетъ вообще жизнь духа, къ выраженіямъ которой принадлежитъ и искусство,—но безъ этихъ выраженій, безъ этихъ въ глазахъ поборниковъ полезности «побасенокъ»,—одедѣла, омертвѣла бы жизнь, и человѣчество впало бы въ такое состояніе, въ которомъ самое очищеніе улицъ было бы излишне.

Замѣчательно, что въ эпохи болѣе непосредственнаго творчества, въ эпохи на примѣръ Данта, Шекспира, даже въ эпоху Мольера, никому изъ этихъ великихъ поэтовъ вопросъ о разъединеніи въ ихъ искусствѣ элемента чистаго творчества и элемента общественнаго служенія не приходилъ даже въ голову: въ поэму Данта росли, такъ сказать, корнями его католическія, гибеллинскія и философскія созерцанія, вся его нравственная жизнь съ соотвѣтствующимъ ей мѣриломъ надъ лицами поэмъ; Шекспиръ зналъ, что онъ дѣлаетъ настоящее дѣло; въ творенія его вошли всѣ національныя представленія, всѣ его идеалы человѣческаго достоинства и величія; Мольеръ же самъ рѣшительно одинъ изъ поръ-рояльскихъ моралистовъ, что не препятствуетъ ему однако нисколько быть величайшимъ художникомъ своей антихудожественной

страны. Въ эпохи же совершенно непосредственныя, въ эпохи безличнаго, народнаго творчества, лѣсня есть другая сторона дѣла, существенная часть самой жизни, съ которой идетъ она рука объ руку, идетъ ше дѣлясь и не споря, не служа и не докоряя, увѣковѣчивая ея событія для молодыхъ поколѣній \*), возводя даже новое къ типическимъ завѣтнымъ образамъ, храня, однимъ словомъ, народную сущность въ завѣковыхъ ея формахъ.

Вопросъ о раздѣленіи возникъ только въ Германіи и притомъ въ области мышленія; а такъ какъ мышленіе предшествовало тамъ поэзіи (я разумью поэзію художественную, а не народную, которая тамъ уже отжила и отошла въ область археодоніи); то оно цѣликомъ и перенесло въ нее протестантское раздѣленіе. Величайшій изъ критиковъ Германіи Богумиль Ефремъ Лѣснигъ или, какъ звался онъ по нѣмецки, Готтгольдъ Эфраимъ Лессингъ, обладавшій тою ясностію и тою простотою ума, которыя однѣ, безъ факта, свидѣтельствующаго о его Славянскомъ происхожденіи, достаточны для ручательства въ томъ, что онъ не чистый Нѣмецъ, — одинъ изъ первыхъ, призванныхъ надѣло разложенія искусства умѣлъ остановиться въ пору: онъ отдѣлилъ только искусство слова отъ искусства образовъ въ своемъ вѣковѣчномъ Лакоонѣ; но какое живое чувство связи искусства съ жизнью бьетъ родникомъ изъ его Гамбургской драматургіи, и изъ его драмъ и изо всего, чего онъ ни касался! Гердеръ о которомъ довольно много говорятъ и котораго довольно мало знаютъ, Гердеръ, человекъ чутя по преимуществу, чутя столь свѣжаго, что, читая его, иногда не вѣришь, что читаешь человека многоученаго, обошелъ вопросъ, но тѣмъ не менѣе подготовилъ оригинальное разрѣшеніе его въ Германіи: онъ разбилъ условныя понятія о прекрасномъ, показалъ высокіе идеалы искусства тамъ, гдѣ не ожидали найти ихъ, не въ дѣланномъ, а въ непосредственномъ, не въ личномъ, а въ народномъ. Но на той почвѣ, на которой прежде, средневѣковое Германское отжило совсѣмъ (ибо какое же дѣло было Германцу XVIII вѣка до Niebelungen Lied или до Гудруны? Или никакого, или дѣло чисто художественное какъ до памятниковъ другихъ вѣковъ и другихъ народовъ!) — на такой

\*) Такъ въ одной записальной мною еще подъ живое пѣніе пѣсни про грозвѣ царя Ивана Васильевича пѣвецъ относится съ такимъ обращеніемъ къ старымъ и молодымъ поколѣніямъ:

Ужъ вы люди-ли, вы люди стародавніе,  
Молодые молодцы да зволь-послушати,  
Еще я вамъ разкажу про Царевый про походъ,  
Про грозвѣ Царя Ивана Васильевича.

почвѣ, говорю я, задача, блистательно имъ исполненная, задача, развить чувство всепознанія, всеочувствія, поведя прямо въ мысли объ отрѣшенной независимости искусства. Это хорошо, и это хорошо, если идеалы и другіе равно доступны; свои же народные идеалы вымерли или подорваны протестантизмомъ, да и весьма основательно подорвалъ ихъ протестантизмъ, потому что большая часть ихъ была навязана католичествомъ и римствомъ; значить: «*Non sum, humani nil a me alienum esse riſo*». Является понятіе объ отвлеченномъ художникѣ и отрѣшенномъ художествѣ, оторванныхъ отъ всякаго органическаго коренія въ почвѣ, является, впрочемъ, только въ логическомъ мышленіи, — ибо и Шиллеръ, и Гёте, и Гофманнъ, не смотря на свои болѣе или менѣе отвлеченныя понятія о художникѣ, остаются къ счастью настоящими Нѣмцами-протестантами. Съ другой стороны, какъ необходимое противодѣйствіе этому понятію, является такъ называемая романтическая реакція, въ основѣ которой, какъ стремленія художественнаго, лежитъ мысль привести художество въ связь съ жизнью, возвращая жизнь къ ея органическому единству съ прошедшими корнями, — попытка, достойная уваженія, но бесплодная тамъ, гдѣ прошедшее отжило, гдѣ корни подрублены и потому выразившаяся въ довольно смѣшномъ донкихотствѣ въ жизни, въ обращеніяхъ въ католичество по рефлексіи и въ совершеннѣйшемъ ничтожествѣ въ искусствѣ.

Вопросъ въ нашу литературу пришелъ извнѣ, пришелъ въ эпоху сильнаго вліянія Германскихъ теорій объ искусствѣ, и значеніе его у насъ не важно, во первыхъ потому, что въ самой натурѣ нашихъ писателей не лежало и не лежитъ рѣзкаго раздѣленія между художникомъ и человѣкомъ, а во вторыхъ и главнымъ образомъ потому, что жизнь наша крѣпко связана съ корнями — какъ ни старались разрубить эту связь различныя иноземныя вліянія — что у насъ есть завлѣтые идеалы, есть свои сложившіяся въ прошедшемъ и доселѣ живущія въ настоящемъ созерцанія, что у насъ не кончился даже еще періодъ безличнаго, непосредственнаго творчества. Стало быть, съ раздвоеніемъ мы имѣемъ дѣло какъ съ теоріей, а не какъ съ жизнью.

До сихъ поръ я не дѣлалъ ничего въ своемъ историческомъ анализѣ вопроса о связи искусства съ нравственностію, какъ замѣнялъ слово «нравственность» другимъ словомъ — «жизнь». Замѣчу, что и въ этомъ видѣ вопросъ представляется совершенно тождественнымъ съ первою его формою, т. е. съ вопросомъ о правдѣ художества и искренности художника, будучи выраженъ такимъ образомъ: имѣеть ли художникъ право, отрѣшаясь отъ жизни, которою живетъ онъ, переноситься въ сферу возрѣвнѣй и строй чувствованій, свойственныя иной жизни, съ иными

созерпаніями и иными нравственными понятіями? И отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ конечно: не можетъ, или если можетъ, то это свидѣтельствуешь о существенномъ пороѣ въ его натурѣ, или въ окружающей его дѣйствительности. Но жизнь—скажутъ мнѣ и скажутъ основательно—слѣпа: жизнь повѣряется идеаломъ. Замѣнять слово: «нравственность» словомъ «жизнь»—не значитъ ли нѣкоторымъ образомъ бѣгать отъ рѣшенія вопроса? Не желая никакъ уклониться отъ посылно серьезнаго рѣшенія вопроса, такъ серьезно поставленнаго, смѣло пускаюсь въ дальнѣйшія разсужденія по сему поводу.

Искусство есть выраженіе жизни: таково слово объ искусствѣ исторической школы; оно справедливо; но требуетъ поясненій. О томъ, что искусство, какъ выраженіе жизни, не есть копіровка жизни, не есть также ея замѣна,—говорить здѣсь я считаю излишнимъ, какъ потому, что къ вопросу это не относится, такъ и потому, что много говорилъ объ этомъ недавно въ послѣднемъ разсужденіи, напечатанномъ мною въ Москвитянинѣ (Обозрѣніе вѣличныхъ литературныхъ дѣятелей \*), основная мысль котораго была та, что созданія искусства столь же живы и самобытны, какъ явленія самой жизни, такъ же рождаются, а не дѣлаются, какъ рождается, а не дѣлается все живое. Вопросъ о томъ: *какая* жизнь выражается искусствомъ, *что* именно отражается въ художественномъ фокусѣ?

У исторической школы и на это есть готовый отвѣтъ: «искусство есть выраженіе жизни общественной»; и опять-таки отвѣтъ справедливъ, какъ общій и отрицательный,—т. е. *общее*, а не случайное, *общее*, а не исключительно личное отражается въ искусствѣ, которое по существу своего назначенія сводитъ въ типы частныя явленія и останавливается на частномъ только въ томъ случаѣ, когда частное свое рѣзкостью или угловатостью выдается впередъ и становится предметомъ комическаго или трагическаго созерпанія для искусства. Если же взять искусство какъ отраженіе жизни общества, въ смыслѣ измѣняющагося и имѣющаго свои минуты общегитія, то придется признать искусствомъ всю безнравственную литературу XVIII вѣка, и всю лихорадочную литературу начала XIX вѣка во Франціи, и множество обыденныхъ явленій нашей современной словесности; придется отвѣчать на всѣ упреки положеніемъ, что искусство, какъ отраженіе жизни, не виновато въ томъ содержаніи, которое дается ему жизнью: до этого положенія, пожалуй, *здѣсь*

\*) *Москвитянинъ*, 1855 №№ 15 и 16. Эта статья находится въ отдѣлѣ *Журналистика* и будетъ напечатана въ одномъ изъ слѣдующихъ томовъ въ ряду другихъ подобныхъ статей. Изд.

и доходили, но смѣлости провести его послѣдовательно; т. е. оправдать имъ стихотворенія Парни, «la religieuse» Дидро, неистовства Гюго и пошлости Дюма—хватало у немногихъ. Значить, въ опредѣленіи искусства, какъ выраженія жизни, тайлся для опредѣлявшихъ иной, болѣе глубокой смыслъ, хотя нельзя не обвинить опредѣлявшихъ за соблазнительное своею неточностію опредѣленіе, которое прямо повело многихъ и въ нашей даже литературѣ къ тому, чтобы обиліе беллетристики (варварское слово, совершенно соответствующее варварскому вкусу, породившему самое понятіе) считать болѣе нужнымъ, чѣмъ небольшое количество истинно-художественныхъ произведеній.

Жизнь жизни рознь и выраженіе выраженію рознь. У жизни есть не одно настоящее, а есть прошедшее и будущее, и то только въ ея настоящемъ существенно, что такъ или иначе, положительно или отрицательно, связано съ прошедшимъ, что носить въ себѣ сѣмена будущаго. Меня, какъ вамъ не безызвѣстно, упрекали петербургскіе журналы нѣсколько разъ за мое пристрастіе къ Гоголевскому «Риму», а между тѣмъ, чтобы не ходить далеко, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ не выходить изъ области того, что уже захвачено художествомъ, въ область того, что пока еще имъ не захвачено, — я долженъ опять указать на эту великую картину художника, на которой сведены лицомъ къ лицу, и притомъ съ сохраненіемъ ихъ особенныхъ фizioномій, жизнь, кипящая всѣмъ многообразіемъ случайностей, съ жизнью, почти однообразно текущую по своимъ печатю вѣчности запечатлѣннымъ законамъ. Что ни говори защитники случайнаго и минутнаго, но вѣдь художество выше галантерейныхъ товаровъ, сколько бы ихъ ни было и сколь бы блестящи они ни были: въ тихомъ и поэтическомъ однообразіи жизни, хранящей, хотя, и подъ спудомъ, высокія вѣковыя преданія, связанной живыми нитями съ ними, хотя и поросшими мхомъ, таится для мыслящаго созерцателя болѣе признаковъ живучести и, стало быть, болѣе залоговъ будущаго, чѣмъ въ праздншатательствѣ мысли, врашающейся въ водоворотѣ случайнаго и минутнаго, истощающейся въ вѣчныхъ стремленіяхъ къ новизнѣ и притупленной постояннымъ раздраженіемъ. По крайней мѣрѣ съ тѣмъ они должны будутъ согласиться, что для искусства истиннаго случайности недостойны возведенія въ типы, что единственное отношеніе къ нимъ истиннаго, т. е. зрячаго и прозрѣвающаго, какъ глубину корней, такъ и верхушки дерева жизни, искусства будетъ только комическое. Многія изъ-явленій жизни суть, какъ вы выразились, Божье попущеніе; но что же, если такое попущеніе примется искусствомъ за соизволеніе? Искусство должно обсмьсливать жизнь, опредѣлять разумъ ея явленій—положительно или отрицательно, на что и имѣетъ два орудія.

трагизмъ или, лучше сказать, лиризмъ и комизмъ. Такъ по крайней мѣрѣ поступало и поступаетъ доселѣ искусство истинное. Оно относится къ жизни съ идеаломъ, съ свѣтомъ, озаряющимъ случайности, и каждой или цѣлому ряду ихъ опредѣляющимъ законное мѣсто, и такимъ образомъ подходитъ къ явленіямъ съ высшею, т. е. нравственною мѣрою, сложеною изъ созерцаній коренныхъ, глубочайшихъ основъ и разумныхъ законовъ жизни. Великіе художники боролись не съ этою мѣрою, не съ высшею нравственностію, не съ идеаломъ, а съ мѣрою случайною, съ идеаломъ, извлеченнымъ изъ минутныхъ, жалкихъ или порочныхъ законовъ дѣйствительности. Такъ борется Гоголь въ «Разъѣздѣ» и во множествѣ своихъ сочиненій съ тою особенною нравственностію, которая, наприм., тонко разумѣетъ многообразное различіе поклоновъ; такъ борется Пушкинъ съ понятіемъ о матеріальной полезности происходящимъ по прямой линіи отъ общественныхъ теорій XVIII вѣка; такъ Гофманъ враждуетъ съ нравственностію филистерскою... и мало ли ихъ, борющихся за нравственность противъ нравственности?

Искусство есть идеальное выраженіе жизни — и вопросъ о томъ, имѣетъ ли право художникъ переноситься въ чуждое ему, совершенно законенъ и основателенъ. Это чуждое было бы совершенно незаконно и бессмысленно въ жизни, если бы оно въ ней промелькнуло: повѣрить въ его правду не могла бы ни одна правильно созданная природа, а слѣдовательно и художникъ безъ лжи и безъ насилія надъ собою не можетъ войти въ кругъ этого чуждаго. Художникъ увѣковѣчиваетъ только жизненно-законные типы, ибо на немъ лежитъ обязанность правды и правдиваго отношенія къ явленіямъ, правдиваго положительнаго, или правдиваго отрицательнаго. Правда есть свѣтъ, озаряющій жизнь, отдѣляющій въ ней случайное отъ существеннаго, преходящее и временное отъ неперемѣннаго и вѣчнаго. Художникъ, какъ вноситель свѣта и правды, является такимъ образомъ высшимъ представителемъ нравственныхъ понятій окружающей его жизни, т. е. своего народа и своего вѣка, и инымъ даже быть не можетъ истинный художникъ. Примѣръ самый разительный имѣемъ мы въ нашемъ Пушкинѣ, котораго истинно-художническая и слѣдовательно въ высшей степени правдивая и зрячая натура, все болѣе и болѣе свергая съ себя кору чужихъ наростовъ, отряхая прахъ наносныхъ вліяній, стала возвышаться наконецъ до коренныхъ народныхъ созерцаній, даже до созерцаній религиозныхъ, составляющихъ высшую повѣрку жизненныхъ и народныхъ стихій, входящихъ въ понятіе о нравственности: укажу въ этомъ отношеніи на такія стихотворенія, какія «Отрывокъ», «Молитва», на занятіе поэта выписками изъ Четивыхъ Миней, и т. п. Не подлежитъ сомнѣнію,

что въ области этихъ высшихъ созерцаній приблизило его углубленіе въ самого себя, обрѣтеніе въ самомъ себѣ стихій чистыхъ, непримѣсныхъ, совпадающихъ со стихіями жизни народной, — стихій, въ художественному возсозданію и просвѣтлѣнію которыхъ влекла нашего поэта его натура еще въ тѣ дни, когда онъ весь былъ подъ вліяніемъ Байрона, когда онъ шелъ еще объ руку съ своимъ «Онѣгинымъ», видимо впрочемъ, переростая его, — и въ этомъ случаѣ многознаменателенъ для меня лирическій порывъ въ третьей главѣ «Онѣгина»; когда, очеркнувши тяготѣвшій надъ нимъ и надъ цѣлымъ поколѣніемъ образъ, въ которомъ

Дордъ Байронъ прихотью удачной

Облекъ въ улылый романтизмъ

И безнадежный эгоизмъ,

поэтъ нашъ простодушно, хотя еще нѣсколько робко, еще, пожалуй, пополамъ съ ироніей, высказываетъ свои завѣтнѣйшія мечты:

Тогда романъ на старый ладъ

Займетъ веселый мой закатъ.

Не муми тайныя злодѣйства

Я грозно въ немъ изображу,

Но просто вамъ перескажу

Преданья русскаго семейства,

Люби плѣнительныя сны,

Да нравы нашей старины;

Перескажу прѣстия рѣчи

Отца или дяди старика,

Дѣтей условленныя встрѣчи

У старыхъ липъ, у ручейка,

Несчастной ревности мученья,

Разлуку, слезы примиренья,

Поссору вновь и наконецъ

Я поведу ихъ подъ вѣнецъ....

Меня всегда поражало это мѣсто, во-первыхъ, тѣмъ, что въ немъ тонъ ироніи какъ будто съ чужого голоса взятъ поэтомъ, тогда какъ всѣ симпатіи его на сторонѣ того, о чемъ онъ говоритъ иронически, ибо не въ силахъ еще раздѣлаться съ давящимъ его призракомъ; — а во-вторыхъ, своимъ пророческимъ предвѣдѣніемъ: именно все исчисленное поэтомъ тронута или имъ самимъ впоследствии въ пору его зрѣлости въ Капитанской Дочкѣ, въ Дубровскомъ, въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ (какъ напр.: «Зима. Что дѣлать мнѣ въ деревнѣ? я встрѣчаю...»), или послѣдующими художниками; такъ въ особенности «Семейная Хроника»



какъ будто исполняетъ во многихъ отношеніяхъ программу, оставленную великимъ поэтомъ. Дѣло въ томъ, что поэзію этихъ съ народными созерцаніями сливавшихся созерцаній ясно чувствовалъ Пушкинъ: дѣло въ томъ, что

Краски чуждыя съ лѣтами  
 Стадами ветхой чешуей

съ его гениальной природы, — что въ произведеніяхъ, даже еще писанныхъ подъ гнетомъ призрачнаго вліянія, какъ «Онѣгинъ», поэтъ русскій, поэтъ народный, поэтъ высоко-нравственный создаетъ идеалъ Татьяны, окружая его міромъ семейныхъ преданій, народныхъ суевѣрій, — гаданій и пѣсень, — свѣжимъ холодомъ русской зимы и благоуханіемъ русской весны и лѣта, сочувствуя глубоко всему этому міру, храня на днѣ души, какъ заветный кладъ, нравственные понятія предковъ, хотя еще робко, показывая этотъ кладъ изъ какого-то ложнаго стыда. И естественно, что освобождаясь съ лѣтами отъ этой, не ему, впрочемъ, а цѣлымъ поколѣніемъ принадлежащей робости, давая просторъ чистымъ народнымъ стихіямъ своей художественной природы, положительно переходя отъ идеаловъ призрачныхъ и наносныхъ къ идеаламъ кореннымъ и дѣйствительнымъ, къ кореннымъ созерцаніямъ, къ кореннымъ нравственнымъ идеаламъ, становясь уже прямо на сторону сихъ послѣднихъ въ своихъ послѣднихъ, наиболѣе зрѣлыхъ произведеніяхъ, поэтъ приведенъ былъ и къ идеальнымъ, т. е. религиознымъ основамъ народной нравственности.

Искусство по существу своему нравственно, поколику оно жизненно, и поколику самую жизнь повѣряетъ оно идеаломъ. Здѣсь нѣтъ подчиненія искусства нравственности, ибо въ понятіи о подчиненіи заключается мысль о разорванности отношенія между подчиняющимъ и подчиняющимся: искусство же, какъ жизненное и народное, становясь выраженіемъ высшихъ понятій жизни, только исполняетъ этимъ свое назначеніе, достигаетъ только своей правды — и стремленіе къ этой правдѣ, къ органическому единству съ жизнью въ глубочайшихъ корняхъ сей послѣдней, лежитъ въ основѣ даже и уклоненій искусства, порождаемыхъ обыкновенно рѣзкимъ и одностороннимъ противодѣйствіемъ односторонностямъ, случайностямъ и фальшивостямъ жизни. Здѣсь нѣтъ даже подчиненія личности, личной правды художника общей правдѣ жизни, въ этомъ смыслѣ, чтобы художникъ поставилъ себя напередъ темъ, такое подчиненіе: личность художника, при всей ея самости, есть личность истинная, и тѣмъ ея или типъ, изъ которыхъ она сложена, непременно жили, живутъ и будутъ жить, какъ существенные въ народ-

ной жизни; въ немъ эти типы только сложились съ полнѣйшею гармоніею, въ немъ обрѣли свою пѣсню, свой голосъ, и голосъ сей не долженъ

На воздухѣ теряться по пустому....

Какъ звонъ святой, онъ долженъ возвѣщать

Велику скорбь или великій праздникъ.

Идя послѣдовательно въ разрѣшеніи вопроса о связи искусства съ нравственностію, я не могу скрыть и отъ себя, и отъ васъ, предложившаго вопросъ, и отъ читателей—нѣкоторой, все-еще остающейся, неполноты въ разрѣшеніи. Все, что говорилъ я доселѣ, приводится къ слѣдующему заключенію: «искусство есть выраженіе жизни народа, и коренныя нравственныя начала жизни народа суть неминуемо и коренныя начала искусства: безъ нарушенія правды народной и правды личной, поколику личная правда имѣетъ глубочайшіе корни свои въ правдѣ общей, художникъ не можетъ принять мѣриломъ иныхъ нравственныхъ началъ, иныхъ созерцаній, кромѣ тѣхъ, которые даются ему народною жизнію». Подразумѣвается, что *правда* народной жизни, какъ коренныя и существенныя начала ея, поставлена предшествовавшимъ разсужденіемъ въ достаточную независимость отъ случайностей, представляющихъ или порочныя стороны, лежація въ жизни народа, какъ всякаго земнаго явленія, или наносныя, извнѣ пришлыя вліянія. Все-таки остается неразрѣшеннымъ вопросъ объ отношеніи искусства къ высшимъ идеальнѣйшимъ началамъ, независимымъ отъ народныхъ особенностей,—вопросъ объ отношеніи искусства къ религіи, къ вѣчному идеалу, которымъ самый даже народный идеалъ повѣряется, вопросъ, котораго избѣжать нельзя, говоря не о древнемъ, а о новомъ христіанскомъ мірѣ, котораго искусство есть выраженіе,—вопросъ необходимый, настоятельный, но такой, при разрѣшеніи котораго приходится говорить уже не о силѣ искусства, а о слабости искусства во всемъ, что оно дало до сихъ поръ опредѣленнаго, а опредѣленное до сихъ поръ дало искусство на западѣ.

Начну съ того, что только братья Шлегеля, по рефлексіи и отчасти по поэтической натурѣ перешедшіе изъ протестантства въ католичество, могли изнасиловать свое чувство до того, чтобы видѣть идеалы христіанскихъ созерцаній и какую-то розовую зарю просвѣтлѣнія въ суровой гибеллиновской нетерпимости Данта и въ мрачномъ фанатизмѣ Кальдерона: на простой взглядъ, въ Дантѣ очевидно не христіанство, а италянское католичество; въ Кальдеронѣ же опять не христіанство, а испанское, т. е. самое крайнее и послѣдовательное католичество. Шекспиръ, котораго между прочимъ братья Шлегели внутренно весьма умаляли передъ Кальдерономъ,—гораздо болѣе христіанскій поэтъ, но болѣе

по великому своему разуму: по чувству своему, онъ—только величайшій человекъ великой націи, которую, при всей любви къ ней, упрекали вы сами между прочимъ, въ негодованіи поэта,

За то, что церковь Божью,  
Святотатственной рукой,  
Приковала ты къ подножью  
Власти суетной земной.

О степени христіанской религіозности Гёте и Шиллера едва ли говорить надобно. Вездѣ однимъ словомъ искусство, передъ судомъ высшимъ, несетъ на себѣ ту же тяжестъ упрековъ, какую несутъ католичество, протестанство, т. е. вообще жизнь, которой высшихъ законовъ искусство является отраженіемъ. Но вина здѣсь падаетъ не на искусство: отношеніе его къ высшему мѣрилу нравственности никогда не можетъ быть непосредственнымъ, а проходитъ черезъ жизнь. Вотъ все, что покажется, не пускаясь въ гаданія о будущемъ, можно сказать о связи искусства съ высшей отрѣшенной нравственностью—хотя нельзя не видѣть, что вопросъ только останавливается, а не истощается.

Съ другой стороны, поборники такъ называемой независимости художника и такъ называемой же самостоятельности художества, противъ положенія о связи искусства съ высшими началами даже жизненной нравственности,—высшими по столько, по сколько такъ или иначе воздѣйствуютъ на жизнь идеальныя, религіозныя основы,—возражать намъ примѣромъ двухъ поэтовъ, безъ сомнѣнія одаренныхъ великими силами духа, но которыхъ между тѣмъ трудно, даже и съ натяжкой, назвать нравственными художниками, примѣромъ Байрона и Занда. И дѣйствительно, вопроса объ эгоизмъ, который поэтизированъ Байрономъ, и о бунтѣ, поднятомъ Зандомъ противъ основъ не только общественной, но и христіанской нравственности,—не минуешь, рассматривая добросовѣстно и по возможности со всѣхъ сторонъ отношеніе художества къ нравственности; да и не зачѣмъ избѣгать въ наше время вопросовъ, когда они прямо стоятъ на очереди. Я такъ думаю, что всякая честная правда можетъ и должна быть сказана въ настоящую минуту. Прошло уже время слѣпаго поклоненія авторитетамъ, а равномерно прошло время и необузданнаго вопля противъ высшихъ нравственныхъ авторитетовъ.

## IV.

Что касается до Байрона, то есть большая разница между понятіемъ о Байронѣ его эпохи и нашей, между понятіями о немъ собственнаго отечества и понятіями Французовъ, Нѣмцевъ и нашими, равно какъ и въ самую эпоху его дѣятельности было различіе между взглядомъ толпы и взглядомъ людей, стоявшихъ съ нимъ въ уровень. Начну съ послѣдняго различія. Вы знаете, какъ Гёте смотрѣлъ на Байрона; вы помните, какъ поэтически, но вмѣстѣ съ тѣмъ свысока изобразилъ онъ его въ «Эйфоріонѣ» своего Фауста:

Icarus, Icarus,  
Leiden genug!

Молодую, необузданно-порывистую и отчасти неразумную, но ничѣмъ не удержимую силу видѣлъ онъ въ немъ, блестящій метеоръ, рассыпающійся прахомъ. Замѣчательнѣе же всего, что не Прометеемъ, а юношей, только-что вышедшимъ изъ отрочества, представлялъ себѣ многодумный Веймарскій старецъ этого—въ глазахъ толпы—мужа борьбы съ людьми и съ судьбою, этого мрачнаго скитальца, проклинавшаго свою родину, этого таинственнаго Лару, душа котораго бездонна какъ бездна. Для него, — умѣвшаго однако понимать борьбу прометеевскую, создавшаго титанической образъ, предъ которымъ нѣсколько призрачны кажутся мрачные корсары Байрона,—для него, вложившаго въ уста своего Прометей все энергическое, что человѣческая гордость можетъ сказать о себѣ:

Ich—Dich ehren? Wofür?

Da sitz ich,  
Forme Menschen  
Nach meinem Bilde,

демоническій духъ Байрона былъ ясенъ, и ясенъ былъ самъ поэтъ, яснѣе можетъ быть, чѣмъ былъ онъ, или просто сказать, чѣмъ хотѣлъ быть для самого себя,—хотѣлъ быть, потому что слишкомъ хотѣлъ казаться таковымъ толпѣ.

Другой поэтъ,—не стану мѣрить силъ его съ силами Байрона, ибо всякому истинно великому поэту отпускается на долю равное количество силъ, но не равна *мира* этихъ различныхъ силъ въ немъ самомъ,—другой поэтъ, которому дано было расти, т. е. быть и отрокомъ, и юношей, и мужемъ, который былъ бы безъ сомнѣнія и мудрымъ старцемъ,

если бы трагическое начало, тяготящее надъ судьбою нашихъ поэтовъ, не пересѣкло нити его теченія въ самую пору мужества,—поэтъ, подвергавшійся сильному вліянію Байрона, — въ самую эпоху такого вліянія представлялъ себѣ этого «властителя думъ» своего поколѣнія въ видѣ моря; обращаясь къ сему послѣднему:

Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ...  
 Твой образъ былъ на немъ означенъ,  
 Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ,  
 Какъ ты, великъ, могучъ и мраченъ,  
 Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.

Въ другихъ случаяхъ онъ называетъ его «поэтомъ гордости» (Какъ Байронъ, гордости поэтъ)—и, разумѣя глубоко его значеніе поэзіи, равно какъ и самый ея источникъ:

Лордъ Байронъ *прихотью удачной*  
 Облекъ въ унылый романтизмъ  
 И безнадежный эгоизмъ,

ясно видитъ притомъ, *какимъ* вѣкомъ эта поэзія вызвана:

Свидѣтелями бывъ вчерашняго паденья,  
 Едва опомнились младыя поколѣнья.  
 Жестокихъ опытовъ собирая поздній плодъ,  
 Они торопятся съ расходомъ свестъ приходъ.  
 Имъ некогда шутить, обѣдать у Темиры,  
 Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры  
 Звукъ лиры Байрона *едва развлечь ихъ могъ.*

Только одинъ поэтъ принялъ въ Байронѣ все за чистую монету, поэтъ постоянного напряженія мысли и чувства, писатель, наименѣе всего искренній, у котораго *своего*, лично-завѣтнаго, чрезвычайно мало, и которому поэтому самому ничего не стоило и доселѣ ничего не стоить поддаваться *какому угодно* энтузіастическому настроенію: я говорю о Ламартинѣ, холодномъ энтузіастѣ,—которому донинѣ ничего не значить сегодня поэтизировать Максимилиана Робеспьера съ компанією, а завтра поэтизировать также Солдмановъ и Магометовъ съ ихъ деспотизмомъ. Ламартинъ одинъ призналъ въ Байронѣ то, чѣмъ Байронъ хотѣлъ казаться, поэтическаго Сатану (не смотря на свои тогда *христіанскія* стремленія), подвергъ, въ угоду Байроновскому обаянію, сомнѣнію вопросъ о томъ, точно ли зло есть зло, и добро—добро?

Toi dont le monde encore ignore le vrai nom,  
 Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon,

Qui que tu sois, Byron, *bon ou fatal génie,*  
 J'aime de tes concerts la sauvage harmonie,  
 Comme j'aime le bruit de la foudre et des vents,  
 Se mêlant dans l'orage à la voix des torrents;  
 La nuit est ton séjour, l'horreur est ton domaine  
*L'aigle, roi des déserts dédaigne ainsi la plaine,*  
 Il ne veut, comme toi, que des rocs escarpés  
 Que l'hiver a blanchis, que la foudre a frappés...

Наконецъ, любопытно еще отношеніе къ Байрону Жуковскаго и Козлова, поэтовъ не равныхъ между собою по силамъ ихъ дарованій, но такъ сказать однозвучныхъ: любопытно, какъ могущественное вліяніе Байрона на натуры, даже совершенно чуждыя мрачнаго Байроновскаго настроѣвства, на натуры кроткія и задумчивыя. Вліяніе это указываетъ на одну изъ существенныхъ сторонъ Байронова таланта, одну изъ тѣхъ сторонъ, которыми онъ самъ былъ отраженіемъ существенныхъ сторонъ духа человѣческаго. Все, что есть мрачно унылаго, фантастически тревожнаго, безотрадно горестнаго въ душѣ человѣческой и что по существу своему составляетъ только крайнюю и сильнѣйшую степень грусти, меланхоліи, суевѣрныхъ предчувствій и суевѣрныхъ обаяній, лежащихъ въ основѣ поэзіи Жуковскаго и въ тонѣ таланта Козлова,—все это нашло для себя въ Байронѣ самаго глубокаго и энергическаго выразителя: никто короче его незнакомъ съ мрачнымъ міромъ однообразно болѣзненныхъ скорбей, въ которомъ мелькаютъ только

Образы безъ лицъ,  
 Безъ протяженья и границъ.

Никто не постигъ такъ глубоко все, что есть величаво-унылаго въ развалинахъ, никто не знаетъ такъ хорошо призрачной натуры привидѣній, дѣйствія, производимаго на организмъ пригношеніемъ ихъ длинныхъ мраморно-бѣлыхъ и пронзительно-холодныхъ перстовъ («Явленіе Франчески Альну»), никто не подмѣтилъ такъ вѣрно и страшно судорожныхъ движеній пальцевъ, «невольна бьющихъ о чело»; — никто не съумѣетъ заставить, какъ онъ, страдать читателя вмѣстѣ съ его Ларою всѣми ужасами безсонной и таинственной ночи... Байронъ великій виртуозъ на этихъ струнахъ души,—виртуозъ, извлекающій изъ этихъ тревожныхъ струнъ звуки, потрясающіе натуру человѣческую вообще, и естественно, что онъ дѣйствовалъ магически на такія натуры, въ которыхъ особенно развита была чуткость этихъ струнъ.

Наконецъ, что касается до отношеній толпы къ Байрону, то едва ли не яснѣе всѣхъ усмотрѣлъ и поразительнѣе высказалъ всю неправиль-

ность, фальшь и смѣшную ихъ сторону нашъ Грибоѣдовъ, заставившій своего Репетилова разсуждать съ достойными членами его «секретнѣйшаго союза по четвергамъ»

О камерахъ, присяжныхъ,  
О Байронѣ... ну, объ матеряхъ важныхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, для свѣтской толпы, французской ли, нашей ли—та и другая равно невѣжественны—тупоумной ли нѣмецкой, Байронъ равно принадлежалъ къ числу «важныхъ матерій», о которыхъ толпа любитъ разсуждать на досугѣ т. е. *пережевывать* взгляды людей вышнихъ, не понимая ихъ.

Отношеніе къ Байрону его собственной страны опредѣлялось все тѣмъ, что онъ былъ эксцентрикъ и, какъ таковой, не подлежалъ уже никакому дальнѣйшему суду; довольно того, что онъ вышелъ изъ условныхъ орбитъ условнѣйшаго существованія: онъ могъ быть хуже или лучше того, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ,—это уже ничего не прибавило и не убавило бы въ его эксцентрическомъ образѣ.

Таковы различныя отношенія собственно къ Байрону и къ его таланту. На всѣхъ онъ болѣе подѣйствовалъ, такъ сказать, стихійными своими началами: Гёте видѣлъ нѣчто слѣпое въ необузданной силѣ его таланта; Пушкинъ, поэтизируя эту слѣпую силу, проникалъ разумно въ ея личныя пружины; Жуковский и Козловъ сочувствовали великому виртуозу на струнахъ души, имъ также, хотя и не въ такомъ сильномъ стрѣ, доступныхъ.... Ламартиномъ только, въ посланіи, изъ котораго приводилъ я отрывокъ,—посланіи, въ которомъ Байронъ, каковымъ онъ хочетъ казаться, изображается, надобно отдать справедливость, весьма поэтически,—Ламартиномъ только, какъ выразителемъ въ этомъ случаѣ потребностей цѣлой пресыщенной и вмѣстѣ жадной эпохи,—и притомъ имъ впервые—узаконено слѣпое стихійное начало, *байронизмъ*, это особое повѣтріе, особый зловѣщій и фосфорическій блескъ, увѣнчавшій сначала голову Байрона и перелетѣвшій на нѣсколько другихъ головъ; байронизмъ, которому не подчинялись, конечно, но тѣмъ не менѣе глубоко сочувствовали великіе и равные Байрону поэты: Пушкинъ и Мицкевичъ; байронизмъ, котораго печать легла и на даровитомъ Нѣмцѣ Гейне, превратившись изъ ироніи мрачной и сплинической въ иронію ядовито-болѣзненную и полунахальную, полу-сентиментальную,—и на даровитомъ французѣ Альфредѣ де Мюссе, претворившись у него изъ безотраднaго смѣха въ беззаботно наглый и вмѣстѣ наивный цинизмъ, или въ слезы тоски и стоны искренняго раскаянія «въ *Confessions d'un enfant du siècle*»; байронизмъ, воплотившійся наконецъ и достигшій край-

Нихъ предѣловъ своихъ въ яркомъ и могучемъ талантѣ Лермонтова и въ немъ окончательно истощившійся, ибо дальнѣйшее отношеніе къ байронизму самого Лермонтова, который былъ

не Байронъ, а другой  
Еще невѣдомый избранникъ,

было бы непременно *комическое*, — а лице Печорина и такъ уже одною ногою стоитъ въ области комическаго, что и оказалось, когда писатель не безъ дарованія вздумалъ послѣ Лермонтова повторить этотъ образъ въ лицѣ Тамарина.

Байронизмъ, какъ нѣкоторое повѣтріе, выразилъ свое вліяніе двоякимъ образомъ: или онъ пожиралъ страстныя натуры, слѣпо и искренно ему отдававшіяся и искавшія въ немъ опрагматизованія своихъ безобразій, и такое вліяніе ни на комъ не отразилось такъ трагически, какъ на нашемъ безвременно и бесплодно погибшемъ даровитомъ Полежаевѣ. Нѣсколько напряженно, но искренне въ основахъ и чрезвычайно сильно выразилось это вліяніе въ такомъ, напимѣръ, изображеніи:

Кто видѣлъ образъ мертвеца,  
Который, демонскою силой  
Вражду съ темною могилой,  
Живеть и страждетъ безъ конца?  
Въ часъ полуночи молчаливой,  
При свѣтѣ сумрачномъ луны,  
Изъ подземельной стороны  
Исходитъ призракъ боязливый...

Вотъ мой удѣлъ!—Игра страстей,  
Живой стою при дверяхъ гроба,  
И скоро, скоро мечь и злоба  
На вѣкъ уснуть въ груди моей.  
Кумиры счастья и свободы  
Не существуютъ для меня,  
И, членъ ненужный бытія,  
Не оскверню собой природы...

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изображавшій себя такимъ образомъ несчастный поэтъ, какъ ни падалъ онъ, — но все таки много клеветалъ на себя, и въ этой постоянной клеветѣ на себя, въ постоянномъ стремленіи развивать напряженно мрачныя стороны души, заключалось все зло байронизма — зло страшное, когда оно оказываетъ свое вліяніе на



натуры, подобныя натурѣ Полежаева: найдя оправданіе, такъ-сказать опозитивированіе своихъ внутреннихъ тревогъ въ словѣ вождя вѣка, онѣ съ какимъ-то упоеніемъ отдавались стремительному потоку страстей, отдавались наслажденію страданія:

Въ моей тоскѣ, въ неволѣ безотрадной,  
Я не страдалъ, какъ робкая жена;  
Меня несла противная волна,  
Несла на смерть,—и гибель не страшна.  
Казалась мнѣ въ пучинѣ безопасной.

И мракъ небесъ, и громъ, и черный валъ  
Любилъ встрѣчать: я съ думою суровой—  
И свисту бурь подь молніей багровой  
Внимать, какъ мужъ отважный и готовый.  
Испить до дна губительный фіалъ.

Было въ самомъ дѣлѣ нѣчто обаятельное въ этихъ самовольно развиваемыхъ страданіяхъ, что-то сладкое и вмѣстѣ лихорадочно-болѣзненное въ этомъ состояніи духа, что-то безвыходное въ этой гордости, отвергающей даже живительный лучъ свѣта:

Я трепеталъ, чтобъ истина меня,  
Какъ яркій лучъ, внезапно осѣня,  
Не извлекла изъ тьмы ожесточенья...

Но тяжела была расплата за это болѣзненное сладострастіе сердца— и тяжесть расплаты можетъ-быть нигдѣ не высказана съ такою грустью и искренностью, какъ въ слѣдующихъ Полежаевскихъ стихахъ:

Я встрѣчаю зарю  
И печально смотрю,  
Какъ кропинки дождя,  
По эфиру слетя,  
Благотворно живутъ  
Понираемый прахъ,  
И кипятъ и блестятъ  
Въ серебристыхъ звѣздахъ  
На увядшихъ листьяхъ  
Пожелтѣвшихъ луговъ.  
Сила горней росы,  
Какъ божественный зовъ,  
Ихъ младыя красы  
И вѣршитъ и раститъ.  
Что-жъ кропинки дождя

Вашъ бальзамъ не живить  
 Моего бытія?  
 Что въ вечерней тиши,  
 Какъ пріятный обманъ,  
 Не испѣлить онъ ранъ  
 Охлаждѣлой души?...  
 Ахъ, не цвѣтъ полевой  
 Жжетъ полднейной порой  
 Разрушительный зной,—  
 Сокрушаетъ тоска  
 Молодаго пѣвца,  
 Какъ въ землѣ мертвеца  
 Гробовая доска...  
 Я увялъ и увялъ  
 Навсегда, навсегда!  
 И блаженства не зналъ  
 Никогда, никогда!  
 И я жилъ, но я жилъ  
 На погибель мою...  
 Буйной жизнью убилъ  
 Я надежду свою...  
 Не разцвѣлъ и отцвѣлъ  
 Въ утрѣ пасмурныхъ дней;  
 Чтѣ любилъ, въ томъ нашель  
 Гибель жизни моей.

. . . . .  
 Не кропите-жь меня  
 Вы, росинки дождя!

Съ другой стороны, байронизмъ, какъ повѣтріе, выражался въ толпѣ живыми пародіями, заставившими Пушкина спрашивать, «даже нѣсколько» во вредъ своему герою:

Чудака печальный и опасный,  
 Созданье ада иль небесъ,  
 Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ—  
 Что-жь онъ? Ужели подражанье,  
 Ничтожный призракъ, иль еще  
 Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,  
 Чужихъ причудъ истолкованье,  
 Слово модныхъ полный лексиконъ,  
 Уже ли пародія ли онъ?

Въ томъ и другомъ случаѣ байронизмъ, безъ малѣйшаго сомнѣнія имѣлъ вредное, можно сказать, пагубное вліяніе. Въ немъ была неправда, стало быть и безнравственность по стольку, по скольку неправда. Неправда же его заключалась въ неправильномъ отношеніи къ мрачнымъ сторонамъ души, къ темнымъ слѣпымъ силамъ, которымъ байронизмъ подчинялъ человѣческую натуру. Все, что дотолѣ, т. е. до байронизма, нѣкоторымъ образомъ скрывалось или порицалось, порицалось даже и тѣми, которые не вѣрили ни во что святое:—безбожіе, эгоизмъ, сухая гордость, злобная иронія въ отношеніи къ людямъ, безстыдство отношеній къ женщинамъ, — все то, однимъ словомъ, что прежде выступало подъ благопристойною маскою самой чинной нравственности въ какой-нибудь *Sitten-Lehre* барона фонъ-Книпе, въ какомъ-либо изъ романовъ XVIII вѣка, все это явилось безъ маски въ байронизмъ и прямо сказано міру: «поклоняйся мнѣ откровенному, какъ ты доселѣ поклонялся мнѣ прикрытому»; — но между тѣмъ, такъ какъ сама по себѣ поэтическая натура Байрона не могла же принять спокойно обоготворенія эгоизма, то оно и выразилось въ ней тоской или ироніей, — что естественнымъ образомъ окружило эгоизмъ поэтическимъ ореоломъ. Можно сказать, что самая крайность неправды была слѣдствіемъ правдивости и поэтичности природы Байрона: ненависть маску ханжества и лицемерія, подъ которою прятался до него эгоизмъ, — самъ развращенный ученіями и опытами вѣка, поэтъ, чѣмъ носить маску, готовъ былъ лучше клеветать на самого себя: таковъ онъ, когда смѣется своимъ сатаническимъ хохотомъ надъ тѣмъ, что матросы съѣли Донъ-Жуанова учителя; таковъ онъ, поющій неистовый гимнъ чувственности по поводу любви Донъ-Жуана и Гайде; таковъ онъ въ анализѣ отношеній леди Аделины къ Жуану. Все это—неправда, все—это напряженіе, клевета на самого себя и на душу человѣческую, клевета, происходящая съ одной стороны изъ прихоти человѣка, пресыщеннаго изображеніями условной и истрепанной добродѣтели, изображеніями въ самомъ дѣлѣ приторными—а съ другой стороны, изъ правдиваго негодованія на ложь и лицемеріе жизни.

Байронъ есть пламенный поэтический протестъ личности противъ всего условнаго въ окружавшемъ его общежитіи и потому можетъ быть судимъ только съ высшей точки зрѣнія христіанскаго суда, но не съ точки зрѣнія нравственности того общежитія, котораго муза его была казнію: онъ ничего иного не сдѣлалъ, какъ обнажилъ только то, что прикрывалось ветхимъ покровомъ условнаго, сорвалъ маску съ обоготвореннаго въ тихомолку эгоизма и, какъ истинный, глубокой поэтъ—воспѣлъ торжество этого страшнаго начала съ тоской и ядовитой про-

ней. Въ нихъ-то, въ этой тоскѣ и ироніи—его великая сила, ибо они—горестный плачь объ утраченныхъ и необрѣтаемыхъ идеалахъ; въ нихъ-то, въ этой же тоскѣ и ироніи—его слабость; ибо съ ними связаны у него шаткость основъ міросозерцанія, отсутствіе нравственнаго т. е. цѣлостнаго взгляда, отсутствіе возможности суда надъ жизнію и, по этому самому, отсутствіе возможности быть поэтомъ эпическимъ или драматическимъ, вообще быть чѣмъ-либо, кромѣ поэта лирическаго или, лучше сказать, великаго лирическаго виртуоза на извѣстныхъ, указанныхъ мною струнахъ. Высшее обладаніе этими струнами есть *правда, красота и сила* его поэзіи—и не безнравственностію, т. е. не ложью, а правдою увлекалъ онъ и доселѣ увлекаетъ поколѣнія, увлекалъ даже мудрецовъ, каковъ былъ Гёте, даже людей ему равныхъ, каковы были Пушкинъ и Мицкевичъ. Ложь въ поэзіи блеснетъ, какъ метеоръ, какъ романъ или драма Гюго, и, какъ метеоръ же, разсыплется прахомъ,—но постоянное въ извѣстной степени дѣйствіе имѣетъ поэзія Байрона, ибо постоянно затрогиваетъ она чувствованія, живущія въ глубинѣ сердца: она не *сдѣлана* искусственно, какъ сдѣлана, напр., поэзія, избравшая знаменемъ: *le beau c'est le laid*; она порождена духомъ человѣческимъ. Поколѣе человѣчество способно мучительно любить, глубоко чувствовать оскорбленіе и жажду мести, стелать посреди мукъ и гордо поднимать голову предъ сѣвкойрой палача—до тѣхъ поръ оно будетъ жадно читать и Глаура, и исповѣдь Уго предъ казнію въ Паризинѣ; доколѣ живетъ въ человѣческомъ духѣ необузданное стремленіе, готовое иногда ломать всѣ преграды, полагаемыя условнымъ общежитіемъ, дотолѣ обаятельно будутъ дѣйствовать на людей мрачные образы Корсара, Лары, Чайльдъ-Гарольда, Альпо и иныхъ чадъ мятежной души поэта. Байронъ есть поэтическое воплощеніе протеста, и въ этомъ опять таки и его сила, и его слабость: сила его въ томъ, что протесту, вызываемому всегда болѣе или менѣе неправдою, душа горячо сочувствуетъ; слабость—въ томъ, что протестъ этотъ есть протестъ слѣпой, протестъ безъ идеала, протестъ самъ по себѣ и самъ отъ себя. Повторяю, что Байронъ ничего иного не дѣлаетъ какъ срываетъ благопристойную маску съ дикаго по существу эгоизма, вѣнчаетъ его не въ тихомолку уже, а прямо; но, какъ поэтъ истинный и глубокий, — вѣнчаетъ съ тоской и ироніей.

Въ Байронѣ очевидна, стало быть, не безнравственность, а отсутствіе нравственнаго идеала, протестъ противъ неправды безъ сознанія правды. Байронъ поэтъ отчаянія и сатаинскаго смѣха потому только, что не имѣетъ нравственнаго полномочія быть поэтомъ честнаго смѣха, *комикомъ*—ибо комизмъ есть правое отношеніе къ неправдѣ жизни

во имя идеала, на прочныхъ основахъ покоющагося,—комизмъ есть праведный судъ надъ уклонившеюся отъ идеала жизнью, казнь, совершаемая надъ нею зрячимъ художествомъ. Если же идеалы подорваны, и между тѣмъ душа не въ силахъ помириться съ неправдою жизни по своей высшей поэтической природѣ, но, по отсутствію нравственной мѣры, не можетъ прямо назвать неправды неправдою, то единственнымъ выходомъ для музы поэта будетъ безошадно ироническая казнь, обращающаяся и на самого себя, поколику въ его собственную натуру въѣлась эта неправда, проникла до мозга костей и поколику онъ самъ, какъ поэтъ, сознаетъ это искреннѣй и глубже другихъ. Возьмите самую вопіющую безнравственность въ любой поэмѣ Байрона, вы увидите, что она есть только казнь, совершенная поэтомъ надъ другой, прикрытою мишурною хламидой безнравственностью. Безнравственно, на примѣръ, отношеніе Уго и Паризины, но въ сущности оно есть только казнь, совершаемая надъ герцогомъ Азо, казнь, въ отношеніи къ сему послѣднему совершенно справедливая; скиталецъ Гарольдъ исполненъ порою столь справедливаго негодованія противъ мелочности и суетности свѣтской толпы, что скитальчество его становится понятно. Вездѣ, однимъ словомъ, муза Байрона есть Немезида жизни; Немезида, въ свою очередь обращающая свой бичъ на самаго поэта, какъ далеко на не свободнаго отъ неправды, а напротивъ пронибнутаго ею до мозга костей, и посылающая Прометея коршуна терзать его собственное сердце.

Но, снимая такимъ образомъ съ Байрона единичную отвѣтственность за отсутствие въ поэзии его идеального созерцанія, замѣняемаго тоскою и ироніею, созерцанія, котораго создать нельзя, а взять при совершенномъ разложеніи жизни неоткуда, тѣмъ не менѣе можно указать на него, какъ на примѣръ весьма печальный, разъединенія между поэтическимъ и нравственнымъ созерцаніемъ, разъединенія вреднаго въ отношеніи къ художеству тѣмъ, что оно 1) лишило натуру поэта извѣстной полноты и цѣлости, вслѣдствіе чего онъ остался только лирикомъ, со всѣми своими стремленіями къ эпосу и драмѣ; 2) тѣмъ, что вслѣдствіе этого раздвоенія, вся поэзія Байрона есть не что иное, какъ гениальная импровизація или, лучше сказать, постоянная проба на нѣкоторыхъ, ею въ особенности обладаемыхъ, струнахъ, именно на струнахъ ощущеній мрачныхъ, фантастическихъ, тревожныхъ и негодующихъ. Вслѣдствіе отсутствія поэтически нравственнаго и гармонически цѣлостнаго взгляда, у Байрона нѣтъ суда надъ жизнью и надъ создаваемыми образами, того суда, который, на примѣръ, даетъ возможность и полномочіе Шекспиру, имѣвшему прямое и цѣлостное возрѣніе на жизнь, казнить неумолимою и расчитанною казнью своего Фоль-

стаффа, жирнаго, сквернаго, но остроумнаго, милаго и гениально-наглаго Фольстаффа, быть можетъ долго близкаго его душѣ, какъ близокъ онъ былъ душѣ казнящаго его своею холодностію Генриха,—того суда, который суроваго Данта заставилъ обречь мукамъ ада Франческу де Римини, не смотря на страстное къ ней сочувствіе, того суда, котораго враждебное отношеніе къ дѣйствительности, противорѣчащей ясно сознаваемому идеалу, не можетъ быть инымъ, какъ казнящимъ,—трагически ли казнящимъ Макбета, Отелло, Лира и Гамлета, Уголино и Франческу—или комически казнящимъ Фольстаффа, Сквозника Дмухановскаго, Самсона Силыча Большова и Павла Ивановича Чичикова, того суда, при которомъ только и возможно въ художникѣ созданіе живыхъ лицъ и отношеніе къ образамъ, какъ къ живымъ лицамъ—отношеніе Шекспира, Мольера, Данта, Сервантеса, Пушкина,—начиная съ его Онѣгина,—Вальтера Скотта, Диккенса, Гоголя. Вслѣдствіе же односторонней своей виртуозности, поэзія Байрона однообразна, а потому утомительно дѣйствуетъ на душу. Байрона можно читать только такъ сказать пріемами и притомъ въ извѣстныя минуты душевнаго настроенія: хотя, правда, что тогда онъ кажется за то высшимъ изъ поэтовъ. Въ силѣ его—что-то именно стихійно-слѣпое, такъ что Пушкинское угодобленіе его морю остается едва ли не вѣриѣйшимъ опредѣленіемъ его значенія. Эта сила бунтуетъ во имя самаго бунта, безъ всякихъ другихъ полномочій—поднятая эгоизмомъ, безобразіемъ, безнравственностью общественныхъ понятій—и въ *неправдѣ* этихъ понятій заключается оправданіе для нея самой, хотя и лишенной свѣта правды—и судима она можетъ быть не съ точки зрѣнія той общественной нравственности, которою она вызвана, какъ прямое послѣдствіе и, вмѣстѣ, казнь. Съ этой точки зрѣнія Гёте и Шиллеръ—поэты столь-же, какъ и Байронъ, безнравственные; но вѣдь есть же причина, почему, во первыхъ, высшія стремленія духа на западѣ, въ этихъ великихъ міровыхъ силахъ, всегда являлись чѣмъ-то враждебнымъ условіямъ окружавшаго ихъ обществія—и почему, съ другой стороны, враждебное отношеніе къ неправдѣ жизни не имѣетъ у нихъ возможности возвыситься до комизма,—почему, напримѣръ, Шиллеръ, вмѣсто того, чтобы, какъ нашъ Гоголь въ «Ревизорѣ», смѣлою кистью начертать картину вопіющихъ неправдъ жизни, предпочитаетъ возстать на зло зломъ-же на безнравственность безнравственностію-же, на мѣщанство—страшною утопіею «Разбойниковъ». И замѣтите, что тотъ же самый образъ, который Шиллеръ явилъ сначала разбойникомъ Мооромъ, является потомъ въ свѣтлыхъ призракахъ Позы, Юанны и Телля; есть причина, почему Гете вмѣсто того, чтобы просто насмѣяться въ комической картинѣ

надъ мѣщанскою нѣмецкою семейностью, какъ, напримѣръ, насмѣялись надъ семейнымъ безобразіемъ наши комики—во имя прочнаго идеала семейственности, Гёте, говорю я, создаетъ безнравственную утопію въ своихъ «Wahlverwandschaften», и въ этой утопіи посягаетъ еще до Занда на святость и незыблемость семейныхъ узъ вообще. Комизмъ есть отношеніе высшаго къ низшему, отношеніе къ неправдѣ съ смѣхомъ во имя оскорбляемой ею и твердо сознаваемой смѣющимся правды. Когда Гоголь, напримѣръ, казнитъ взяточничество, — вы не боитесь за комика, чтобы у него съ взяточничествомъ или развратомъ было что-либо общее; но Гёте, враждебно относящійся къ мѣщанской нравственности и самъ часто впадаетъ въ нее въ своемъ Вильгельмѣ Мейстерѣ; а Шиллеръ только на высотѣ отвлеченныхъ утопій, неприложимыхъ къ жизни, уберегаетъ себя отъ паденія. Но Байронъ, съ сатанинскимъ хохотомъ и глубокою тоскою обоготворяющій эгоизмъ, тѣмъ не менѣе обоготворяетъ его, т. е. не можетъ подняться выше онаго поэтическимъ созерцаніемъ; велика еще заслуга его и въ томъ, что, обоготворяя идолъ, онъ плачетъ о необходимости обоготворенія, язвительно хохочетъ и надъ жизнью, и надъ самимъ собою — обоготворителями идола. Въ немъ все-таки глубоко чувство правды, чувство поэзіи, и вотъ почему я съ нѣкоторою робостію и нерѣшительностію подходилъ къ вопросу о его безнравственности. Съ этимъ вопросомъ связывался вопросъ о возможности раздвоенія между художествомъ и нравственностью, ибо того, что Байронъ—великій поэтъ, отвергнуть никакъ нельзя; кромѣ того, то, что Гоголь въ письмѣ своемъ говоритъ объ односторонности относительно Пушкина, можетъ быть нѣкоторымъ образомъ примѣнено и къ Байрону: не бездѣлица — говоря Гоголевскими словами и примѣняя ихъ только вмѣсто Пушкина къ Байрону—«выставить безнравственнымъ одного изъ наинумнѣйшихъ людей нашего времени, человѣка, на котораго цѣлое умственное поколѣніе смотрѣло какъ на вождя и на передоваго сравнительно предъ другими людьми».

Не знаю, сдумѣлъ ли я своимъ возможно осторожнымъ изслѣдованіемъ привести вопросъ о Байронѣ къ желаемымъ результатамъ, т. е. къ той очевидности, которую имѣютъ сіи результаты для меня лично; но, во всякомъ случаѣ, виновато будетъ только мое изложеніе, а результаты останутся правы. Результаты же суть:

1) Уже то самое, что цѣлыя поколѣнія смотрѣли на поэта и отчасти смотреть еще на него, какъ на вождя и передоваго, свергаетъ часть отвѣтственности съ него и съ его поэзіи на поколѣнія, для коихъ явился онъ передовымъ, на ту жизнь, которая отразилась въ его поэзіи.

2) Байронъ увлекалъ и увлекаетъ не ложью и безнравственностью,

а правдою своей поэзіи. Правда же его поэзіи заключается: *во-первыхъ*, въ правдѣ его протеста, хотя и слѣпого; *во-вторыхъ*, въ искренности, т. е. правдѣ его казни, обращаемой имъ на себя, какъ на носящаго въ себѣ разложеніе казнимой жизни, въ *третьихъ*, наконецъ, въ ея особенной, сильной, хотя нѣсколько односторонней виртуозности и полномъ обладаніи нѣкоторыми струнами души человѣческой, — чѣмъ объясняется сочувствіе къ Байрону натуръ, которыя не могли сочувствовать его разрушительному протесту.

3) Тѣмъ не менѣе отсутствіе цѣлостности нравственнаго и поэтическаго созерцанія оставило свой слѣдъ на поэзіи Байрона во *вредъ* художеству и его высшему значенію: 1) въ односторонности, хотя и сильной, но утомляющей или удовлетворяющей душу только временами и только игрою на извѣстныхъ струнахъ; 2) въ исключительности лиризма, ибо отсутствіе суда надъ жизнью не даетъ поэту создать ни одного лица; 3) въ напряженности, переходящей часто уже и въ неправду, въ насильованіе себя, въ эффекты сатанинскимъ смѣхомъ и холодностью, въ клевету на самого себя и на человѣческую душу вообще.

4) Искусство въ лицѣ *Байрона* подтверждаетъ и разъясняетъ мысль, мною высказанную, о томъ, что оно есть дѣло земное, что оно съ высшими нравственными началами состоитъ въ связи чрезъ посредство жизни, хотя не рабски повинуется жизни, ибо изъ *земного* оно есть наилучшее, наивысшее, направлѣнное, направидящее. Гдѣ жизнь разложилась вся, тамъ оно отражаетъ всю правду этого разложенія въ его крайнихъ результатахъ; но если оно искусство истинное, т. е. даръ Божій, если средства его дѣйствія на душу истинны и не суть фальшивые эффекты, то, хотя бы и всѣ идеалы были подорваны, какъ подорваны они у Байрона, но чутье свѣрности, духоты, тяжести жизни, которыя правдивое искусство отражаетъ въ крайнихъ результатахъ, это *чутье* никогда у него не отнимается, и оно-то, при недостаткѣ идеала, въ томъ случаѣ, когда взять его не откуда, — выразится тоскою о прекрасномъ и нравственномъ, отчаяніемъ за жизнь и за человѣка, ироніею въ увѣнчаніи принциповъ разложеннаго обществитія, казню надъ самимъ собою, искренними стонами сердца. Говорящимъ о безнравственности Байрона стоитъ только показать искусство истинно безнравственное и фальшивое — такъ называемую юную словесность Франціи, представляющую тоже въ фокусѣ разложеніе гниющаго нравственнаго организма общества, но не возвышающуюся надъ нимъ этою скорбію, а извлекающую напротивъ эффекты изъ приготовленія мертвечины: различіе будетъ очевидное; различіе тоже, какъ между орломъ и вранами, питающимися всѣмъ дохлымъ. А между тѣмъ и это *слабое* искусство — если



только искусствомъ можно его назвать—явилось не само собою, а выросло изъ общежитія, поднялось надъ нимъ, какъ гильотина казни; а между тѣмъ и оно, рабски угождавшее прихотямъ волнующагося и волнуемаго гадами общественнаго болота, оно, обоготворившее мерзость, порокъ и мораль каторжника Вотрена, прибѣгавшее ко всѣмъ возможнымъ чудовищнымъ эффектамъ, способнымъ пробудить притупленные развратомъ нервы, доходившее до лютаго и звѣрскаго сладострастія—и опять таки въ угоду отупѣлой и пресыщенной черни измельчавшее до пошлыхъ и уже совершенно бессмысленныхъ связей—и оно, я говорю, совершило, конечно, безъ своего вѣдома и желанія, — великую задачу отрицательную. — Если же мы возьмемъ жизнь, имѣющую свои коренныя основы, жизнь, не пережившую еще свои идеалы, не истощившую соковъ; изъ которыхъ они произрастаютъ, — то здѣсь и отношеніе искусства къ неправдѣ жизни будетъ такое же, какъ отношеніе идеала жизни къ неправдѣ жизни, — въ точности соразмѣрное объему идеала. Предоставляя себѣ право развить эту мысль въ другомъ письмѣ къ вамъ по поводу того же вопроса, я только намекаю здѣсь объ ней и обращаю ваше вниманіе на различіе идеаловъ у художниковъ, имѣющихъ прочныя идеальныя основы, напр. у Диккенса, Теккерея, Гоголя. Напередъ думаю, что разсмотрѣніе этой стороны вопроса поведетъ къ тому же заключенію о *посредственномъ* отношеніи искусства къ высшимъ нравственнымъ началамъ, стоящимъ надъ жизнью, о *прозрѣніи* искусства въ корни и вершины жизни, т. е. въ начала, въ жизни самой совершающіяся, и о *чутьи* искусства, когда разложившаяся жизнь разобщается съ началами высшими, однимъ словомъ, — къ заключенію о *хранительномъ* значеніи искусства въ отношеніи къ жизни и ея высшимъ нравственнымъ началамъ.

Таковы результаты, извлеченные мною изъ опредѣленій отношенія къ жизни и нравственности Байрона; но я положилъ, и положилъ, кажется, правильно, различіе между Байрономъ и байронизмомъ, обозначивши дѣйствіе сего послѣдняго, какъ нѣкоего повѣтрія, пожирившаго силы, и какъ нѣкоего зловѣщаго сіянія, перелетѣвшаго съ головы Байрона на голову двухъ байрончиковъ весьма даровитыхъ, Мюссе и Гейне, и самостоятельно воплотившагося въ нашемъ Лермонтовѣ. Вопросы о Мюссе и Гейне, изъ которыхъ первый замѣчательнѣе въ высокой степени искренностію и обиліемъ казни надъ самимъ собою, а другой фальшивостію неискрѣпимою, возведенною въ принципъ, повели бы меня очень далеко, и притомъ безъ особенной пользы для установленія и разъясненія вопроса. Слово о Лермонтовѣ въ настоящемъ случаѣ необходимо.

Прежде всего Лермонтовъ въ отношеніи къ жизни, въ которой онъ явился, не представляетъ того значенія, какое имѣлъ Байронъ въ отношеніи къ жизни, которой онъ былъ отражателемъ. Лермонтовъ—не болѣе, какъ случайное повѣтріе, миражъ иного, чуждаго міра: *правда* его поэзіи есть правда жизни мелкой по объему и значенію, теряющейся въ безбрежномъ морѣ иной жизни; *казнь*, совершаемая этою, все-таки поэтическою правдою надъ маленькимъ муравейникомъ, въ отношеніи къ которому она справедлива, имѣетъ сколько нибудь общее значеніе только какъ *казнь* одинокаго положенія этого муравейника: весь Лермонтовъ и вся его правда—въ горестныхъ созваніяхъ, что:

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,

что:

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой,

что:

... не жду отъ жизни ничего я,

И не жаль мнѣ прошлаго ничуть,

что, наконецъ, для него:

... жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,  
Таеъ пустая и глупая шутка.

*Горе*, или лучше сказать, *отчаяніе*, вслѣдствіе сознанія своего одиночества, своей разъединенности съ жизнью; глубочайшее презрѣніе къ мелочности той жизни, которою создано одиночество, вотъ *правда* Лермонтовской поэзіи, вотъ въ чемъ сила и искренность ея стонovah.... Если бы Пушкинъ остался подъ искусственными вліяніями, тяготящими надъ первыми его вдохновеніями, онъ впалъ бы въ тоже мрачное отчаяніе; если бы, съ другой стороны, Лермонтовъ не былъ постигнутъ общою трагическою участью русскихъ поэтовъ, онъ оправдалъ бы собственные предчувствія о томъ, что онъ,—

не Байронъ, а другой,

Еще невѣдомый избранникъ.

И въ немъ, вѣроятно, какъ справедливо сказалъ Гоголь, готовился одинъ изъ великихъ живописцевъ роднаго быта. Не даромъ же, по собственному сознанію, «любилъ онъ родину», «но странною любовью», «не побѣдить ея рассудокъ мой». Говорить о Лермонтовѣ, какъ о русскомъ Байронѣ—нѣтъ никакой возможности серьезно: стоитъ только приложить байронизмъ къ той пошлой свѣтской сферѣ, въ которой, къ сожалѣнію, вращался нашъ поэтъ, чтобы дѣло приняло оборотъ комическій. Стоитъ

напр. представить себѣ типъ женскій, къ которому обращены слѣдующія строки:

Въ толпѣ другъ друга мы узнали,  
Сошлись и разоидемя вновь....

или другой, который поэтизированъ такъ:

Ей нравиться долго нельзя,  
Какъ цѣпь, ей несносна привычка;  
Она ускользнетъ, какъ змѣя,  
Порхнетъ и умчится, какъ птичка.

стоитъ представить только эти типы осуществленными въ кругѣ Лермонтовскаго муравейника, въ жалкой свѣтской дѣйствительности, и взглянуть на нихъ съ высоты идеаловъ, цѣлостно и свято хранимыхъ въ великой, не муравейной средѣ жизни, чтобы эти типы тотчасъ же развѣнчать, назвать прямо по имени и поставить въ настоящемъ комическомъ свѣтѣ. Печоринъ, какъ только вышелъ изъ Лермонтовской рамки, чрезвычайно искусной, тотчасъ сталъ въ Тамаринѣ фигурою комическою. Съ образами Байрона, вы ничего подобного не сдѣлаете, ибо если вы сведете ихъ съ пьедесталовъ, такъ нечего будетъ поставить на ихъ мѣсто: они точно—крайнія грани общественности, ея поэтическія вершины.

Но Лермонтовъ натура страстная, хотя глубоко испорченная фальшью жизни муравейника, и только вслѣдствіе испорченности опозитивировавшая комическое лице Печорина, выразился сильнѣе, искреннѣе въ созданіи другаго типа: это типъ необузданной, звѣрской страстности, широкаго размаха, необузданныхъ стремленій, неутомимой жажды жизни, типъ,—выразившійся въ Мцыри, въ Арсеніѣ, въ Арбенинѣ. Разбирая однажды стихотворенія одного молодого, искренняго поэта, «Пѣсни» г. Кержака-Уральскаго, я взглянулъ на нихъ, какъ на дальнѣйшее развитіе основъ, лежащихъ въ этомъ типѣ: въ этихъ «Пѣсняхъ», принимающихъ наконецъ высшее, а въ литературѣ нашей даже весьма рѣдкое лирическое настроеніе,—я слѣдилъ натуру нашего стараго знакома, который

.... странствовалъ.... былъ молодъ и трудился,  
Постигъ друзей, коварную любовь....

который

богатъ и безъ гроша, былъ скукою томимъ,

скукою, потому что его широкая, испорченная, но русская натура не

удовлетворялась мелкими страстишками мелкаго условнаго общегитія,—  
который «любилъ часто»,

.... чаще ненавидѣлъ,  
А болѣе всего страдалъ.

Мнѣ ясенъ былъ въ этихъ, проникнутыхъ сознаниемъ высшихъ нравственныхъ началъ стихотворенійхъ—все тотъ же однако аналитикъ, которому прошедшее отравляетъ настоящее и готовитъ казнь, расплату въ будущемъ, который на свою бѣду, на свою погубель

Все пречувствовалъ, все понималъ, все узнавалъ....

которому страшна самая чистота его Нины,—ибо онъ знаетъ, что «въ огромной книгѣ жизни «она» прочла одинъ заглавный листъ» и передъ нею «открыто море счастья и зла».—И потому-то самому, слѣдя логически правильное и вмѣстѣ поэтическое развитіе мысли въ стихотвореніяхъ г. Кержака-Уральскаго, мысли, возвышающейся до высшаго акта, до какого добросовѣстная рефлексія можетъ достигнуть, до молитвы объ уничтоженіи самой себя, въ сознаниіи своей несостоятельности, до торжества духа и его требованій надъ развратомъ и обмеленіемъ личности, и съ другой стороны помня страшные размахъ могучей силы въ «Мцыри» и другихъ произведенійхъ рано погибшаго поэта, а равно и минуты возвышеннаго душевнаго настроенія, породившаго многіе задатки лучшаго будущаго, какъ-то: «Въ минуту жизни трудную»—«Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою» и «Есть рѣчи....», я невольно задавалъ и задаю себѣ вопросъ: что если и на голосъ этого тревожнаго сердца

Славянъ семейное начало  
Всегда полнѣе отвѣчало, \*)

какъ полнѣе отвѣчало оно на голосъ сердца, писавшаго Онѣгина и въ тоже время мечтавшаго о

Поэмѣ пѣсенъ въ двадцать пять

съ мирнымъ семейнымъ характеромъ? Что если русская душа невѣдомаго избранника носила въ себѣ высшую правду своей поэтической задачи—отрицаніе самого отрицанія, правду, съ точки которой только и становится возможнымъ поворотъ къ живому чувству, къ непосредственности, къ сознанию идеальнаго въ самой жизни, къ возстановленію въ самомъ себѣ связи съ ея коренными основами, или лучше сказать къ обрѣтенію ихъ даже въ самомъ себѣ, цѣлостно и непривкосновенно лежащими подъ наноснымъ слоємъ души?

\*) Стихи г. Кержака-Уральскаго.

## V.

Что касается до *Занда*, на примѣръ котораго также могутъ указать мнѣ защитники отрѣшенности искусства отъ нравственности, то вопросъ объ этомъ, безъ малѣйшаго сомнѣнія великомъ же современномъ художникѣ, отличающемся въ особенности необычайнымъ сердцеувѣдѣніемъ, столь важенъ и самъ по себѣ, и по отношенію къ предмету моего разсужденія, что я рѣшаюсь посвятить ему, такъ же какъ и вопросу Байрона, нѣсколько страницъ, не смотря на то, что о Зандѣ шла уже рѣчь и въ первой книгѣ нашей «Бесѣды», и что съ основаніями взгляда, высказаннаго тамъ, я совершенно согласенъ.

Съ точки зрѣнія, избранной мною въ настоящемъ разсужденіи, прежде всего опять спросить должно: *чѣмъ* увлекаетъ насъ Зандъ, правдою или ложью? Если *правдою*, то въ чѣмъ заключается ея правда? Если *ложью*, то что за причина тому, что ложь могла увлечь и увлекаетъ? Разрѣшеніемъ этихъ пунетовъ вопросъ съ моей точки зрѣнія и разрѣшится, ибо если есть *правда* въ поэзи Занда, то правда эта есть и нравственная правда.

Обозрѣвая рядъ многочисленныхъ и болѣе или менѣе замѣчательныхъ произведеній этого весьма плодовитаго, но плодовитаго не вслѣдствіе борзописанія, художника, прежде всего видишь раздѣленіе дѣятельности его на два періода, повидимому, рѣзко отдѣляющіеся одинъ отъ другаго, повидимому, даже существенно различающіеся и по содержанію, и манерою творчества, и даже міросозерпаніемъ. Дѣйствительно, какое можетъ быть, кажется, сходство между авторомъ повѣсти: «*La mare au diable*» и повѣсти: «*Лукреція Флоріани*», кромѣ единства кисти, которой размахъ измѣниться не можетъ, какъ нѣчто, натурою ему данное? Въ дѣятельности, которой «*Лукреція Флоріани*» служитъ завершеніемъ, такъ сказать послѣднимъ словомъ — очевиденъ протестъ противъ всѣхъ формъ общежитія, развившихся на западѣ, формъ семейныхъ, государственныхъ, религіозныхъ. Въ дѣятельности, которой: «*La mare au diable*» является многообѣщающимъ началомъ, а «*Теверино*» лучшимъ, благоуханнѣйшимъ цвѣткомъ, — ибо за исключеніемъ этихъ двухъ, почти безупречно прекрасныхъ съ художественной точки зрѣнія, созданій, да превосходнѣйшихъ частностей, поразительныхъ глубиною, новостью и тонкостью анализовъ сердца и мастерскими постановками отношеній, встрѣчающихся въ каждомъ почти романѣ Занда (укажу, на примѣръ, изъ недавнихъ въ особенности на *Mont-Réveche*), цѣлостныя концепціи этого періода художественной дѣятельности Занда представляютъ ка-

кую-то напряженность и, такъ сказать, *дѣланность*, — въ дѣятельности этой, во всякомъ случаѣ, ощутительно стремленіе къ примиренію началъ личныхъ требованій души — съ началами общими, живущими въ непосредственныхъ, нетронутыхъ такъ — сказать цивилизацію слояхъ жизни. Слово перваго направленія есть бунтъ сердца противъ условій общественныхъ во имя только горячности требованій сердца; слово втораго періода дѣятельности — успокоеніе горячихъ требованій сердца въ созерцаніи идеаловъ, отыскиваемыхъ болѣе или менѣе удачно въ жизни свѣжей, нетронутой, не разорвавшейся съ корнями, т. е. съ высшими нравственными началами.

Лучшее, искреннѣйшее, художественнѣйшее произведеніе этого послѣдняго направленія есть, по моему мнѣнію, «Теверино», если только исключить изъ этого прекраснаго созданія *quasi-философическія* умствованія Леонса и Сабини и нѣкоторые слишкомъ наивно-чувственные порывы. Въ «Теверино» до очевидности высказывается, и при томъ безъ преднамѣренности, а свободнымъ творчествомъ, торжество непосредственности, даровитой, полной сознанія своихъ силъ и сознанія нравственныхъ началъ, можетъ быть и не тонко развитыхъ, но прочныхъ и непреложныхъ, въ соединеніи съ извѣстнаго рода грубоватостію, безцеремонностію отношеній къ жизни, — надъ истощенной, вялой, условной искусственностію. Теверино, увлекающій строгую, апатичную и постоянно разсуждающую Сабину, это — идеаль Занда, давно искомый идеаль, воплотившійся, наконецъ, въ живыя формы; Теверино — молящійся надъ спящею подругою отрочества, это — казнь прогнившей и всегда развращенной въ мысли, если не всегда на дѣлѣ, условной цивилизаціи, казнь Леонса, слѣдящаго за нимъ и опасющагося за невиновность молодой дѣвушки; Теверино — уличающій Леонса въ фальши, это — правый судъ живаго надъ отживающимъ; а между тѣмъ, этотъ Теверино, не смотря на всю красоту, на всю прелесть и силу его изображенія, есть созданіе живое, а не *дѣланное*, идеальное, какъ типъ, а не сухо идеализированное: онъ — и гаеръ, онъ и немножко хвастунъ, и немножко, пожалуй, мошенникъ въ сношеніяхъ съ людьми, къ которымъ, какъ звѣрь нѣсколько дикій, питаеть онъ естественно недовѣріе. Однимъ словомъ, это — созданіе рожденное, а не дѣланное, прекрасное въ своей истинѣ, а не нарумяненное и не польщенное, хотя все въ этомъ стройномъ цѣломъ стремится къ выраженію одной идеи — идеи торжества непосредственнаго надъ условнымъ и искусственнымъ, — все обличаетъ гніеніе этого условнаго и искусственнаго: и вялыя разсужденія Сабини, смѣшанныя съ циническимъ безвѣріемъ, и эгоистическая чистота Леонса, гордая чистота, убивающая всякую любовь, и тупоуміе

католическаго *sigé*, — представляющее тотъ-же эгоизмъ, только *sub alia formâ*; все это — тѣни, изъ которыхъ свѣтло вырисовываются фигуры Теверино и его простодушной, смиренной, цѣломудренной въ простотѣ сердца подруги. Вотъ почему «Теверино», какъ цѣлостное созданіе, представляется мнѣ лучшимъ словомъ новаго періода дѣятельности Занда, словомъ, котораго правда, художественная и нравственная, не требуетъ доказательствъ.

Смысль-же переворота, совершившагося въ художественной дѣятельности Занда, и выразившагося во множествѣ болѣе или менѣе удачныхъ произведеній втораго періода, тотъ—что поэтъ, видящій въ условномъ и искусственномъ одну неправду или порчу всѣхъ отношеній — переноситъ свои стремленія, свои идеалы въ міръ нетронутый условностью. Не имѣя права входить въ разсмотрѣніе того, насколько жизнь, окружающая поэта, представляетъ въ себѣ нетронутаго и даже представляетъ ли, — мыслитель долженъ однако признать *правду* самаго стремленія и въ этой правдѣ почитать то, что я прежде называлъ *чутьемъ* искусства, его стремленіемъ къ живому и живучему, къ неподорванному, хранящему благоуханіе жизни, чутьемъ, при совершенномъ отсутствіи живаго въ жизни выражающимся тоскою, проніей, воплями отчаянія. Вопросъ въ отношеніи къ Занду состоитъ только въ томъ, *какъ-были* самъ поэтъ входить въ этотъ міръ, съ *чѣмъ* онъ къ нему приступаетъ, *что* онъ въ него вноситъ?—Вопросъ, который естественно поворачиваетъ мысль къ первому періоду дѣятельности Занда, и разрѣшеніе котораго пояснить между прочимъ, почему только: «*La mare au diable*» и «Теверино» совсѣмъ удались Занду въ новомъ направленіи и новой манерѣ творчества.

Что-же такое этотъ первый періодъ Зандовой дѣятельности, періодъ безъ малѣйшаго уже сомнѣнія блистательнѣйшій, чѣмъ второй въ художественномъ отношеніи?—періодъ, отмѣченный и тончайшими и вмѣстѣ изящнѣйшими и правдивѣйшими очерками такихъ отношеній, какія развиты напимѣръ въ «Лавинія», и глубокими анализами, которымъ только нѣкоторой послѣдовательности не достаетъ до того, чтобы быть безпошадно правдивыми, какъ «Леоне Леони», «Ускокъ», «Орасъ», и самая «Луcreція Флоріани» — въ анализѣ отношеній ея и Кароля,—и такими поразительно сжатыми драматическими развитіями отношеній, каковы: «Андрé», «Мельхиоръ», «Маркиза» и нѣкоторые другіе небольшіе рассказы, и такими глубокими психологическими задачами, каковы задачи въ созданіи лицъ: Жака, Спиридіона, Симона, Альберта Рудольштадта въ «Консуэло», и такими искренне-страстными пламенными порывами, каковы «Индіана», «Валентина», и такимъ, наконецъ, удивитель-

нымъ мастерствомъ, которое, напримѣръ, является въ «La dernière Aldini», или въ первой части «Консуэло». Что-же такое этотъ періодъ, представляющій могущественный разцвѣтъ гениальной природы, что въ немъ увлекало и увлекаетъ доселѣ?

Отчасти уже изчисляя нѣкоторые перлы этого періода—боюсь не пропустилъ ли я котораго нибудь?—я намекнулъ на то, что въ нихъ увлекало и увлекаетъ: увлекаетъ прелесть, особенность искусства; глубина психическаго анализа, новость и важность задачъ созданий, увлекаетъ великій художникъ, однимъ словомъ, а не социальный реформаторъ.

Если же захотѣтъ видѣть въ Зандѣ именно такового реформатора, вопиющаго противъ брака и вообще противъ условій общественности, то реформаторъ иногда долженъ представиться въ свѣтѣ необыкновенно комическомъ, ибо съ извѣстною зрѣлостью мысли и крѣпостью начала, нельзя безъ смѣха читать выходовъ, прорывающихся, напримѣръ, противъ брака въ «Валентинѣ» и другихъ произведеніяхъ, нельзя удержаться отъ объясненія этихъ выходовъ причинами весьма невозвышенными; нельзя, напримѣръ, съ самымъ пылкимъ сочувствіемъ къ Занду не видѣть уродливости идеи, подъ влияніемъ которой выдумана Квинтилія (Le secrétaire intrime); нельзя тоже не видѣть, что, приходя въ лѣта уже нѣсколько зрѣлыя и между тѣмъ не простившись съ страстными инстинктами природы, Зандъ невольно начала прибѣгать къ поэтизированію женщинъ нѣсколько *на возрастъ*, какъ «Метелла»,—одна изъ нелѣпѣйшихъ и въ сущности комическихъ выдумокъ и небывальщинъ фантазій. Нельзя иначе, какъ съ ироніею, отнестись къ дѣтскому, можно сказать, азбучному глубокомыслию дневника героя повѣсти «Изидора», хотя вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не видѣть художественной и вмѣстѣ нравственной правды постановки отношеній этого героя какъ къ Изидорѣ, такъ и къ Алисѣ,—нельзя не признать за авторомъ въ этомъ случаѣ и высокаго художческаго безпристрастія; нельзя, читая «Лукрецію Флоріани», не сдѣлать удачнаго и наивнаго замѣчанія, сдѣланнаго авторомъ статьи о комедіи Островскаго «Не такъ живи какъ хочется» по поводу оправданій героини романа («еще бы безъ увлеченія!»), но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не признать опять всей художественной и нравственной правды глубокаго анализа отношеній Кароля и Лукреціи; а съ другой стороны, нельзя спокойно и не оскорбляясь за здравый смыслъ и нравственное чувство, переварить дикую исторію «Невидимыхъ», купно съ изложеніемъ ихъ таинственнаго ученія въ «графинѣ Рудольштадтѣ». Вообще же нельзя не видѣть, что Зандъ—реформаторъ совершенно неудавшійся, и нельзя не признать въ ней великаго художника—аналитика сердца человѣче-



скаго, коротко знакомаго съ его сокровѣннѣйшими изгибами,—художника, къ сожалѣнію, испорченнаго напряженными и дикими теоріями въ родѣ теоріи «Невидимыхъ». Вліяніе этихъ несчастныхъ, порожденныхъ впрочемъ безобразіями условнаго и чисто формальнаго общежитія, теорій,—отразилось въ дѣятельности Занда и на передѣлкѣ «Леліи», произведенія поэтически-безумнаго въ первомъ видѣ своемъ и совершенно комическаго—безсознательно для автора—во второмъ своею картонною постройкою; и въ цѣломъ созданіи романа «Compagnon du tour de France», произведенія, совершенно безобразнаго своими претензіями, даже противнаго самодовольнымъ узкимъ догматизмомъ; и наконецъ, въ таинственномъ ученіи «Невидимыхъ», проповѣдуемомъ въ «графинѣ Рудольштадтѣ». Безобразія, порожденныя этимъ несчастнымъ вліяніемъ несчастныхъ и узкихъ теорій, очевидны теперь уже вѣроятно и для самыхъ пламенныхъ поклонниковъ Занда. Объясню силу этого вліянія проще. Великій талантъ и необузданно страстная натура Занда, высказавшись энергически всѣми своими рѣзкими сторонами, прорвавшись всѣми вулканическими взрывами, наконецъ, уходилъ бы, говоря просто,—и Зандъ, какъ многіе другіе художники, ограничилась бы наконецъ разработкою своей художественной задачи, т. е. тончайшимъ анализомъ жизни сердца, если бы въ самомъ началѣ пути не повстрѣчала она готовую теорію или цѣлыя группы многообразныхъ теорій, оправдывающихъ, обрغمатизовывающихъ, приводящихъ въ систему ученіе о правахъ плоти, теорій, порожденныхъ какъ противодѣйствіе узкимъ опредѣленіямъ сферы духа въ католичество и римствѣ. Самостоятельный процессъ художественской природы, который велъ къ какому-либо болѣе значительнымъ по смыслу своему результатамъ, значительнымъ хотя бы по смыслу отрицательному — былъ задержанъ, такъ-сказать окамененъ условною теоріею, утопіею, столь же узкою, столь же лишенною нравственныхъ соковъ, столь же произвольною, какъ насильственныя формы общежитія, противъ которыхъ она возстаетъ, да еще въдобавокъ не имѣющею за себя и тѣхъ историческихъ основъ, какія, *tant bien que mal*, имѣетъ за себя общежитіе. Вліяніе этой-то узкой утопіи, этихъ-то теорій, выразилось, какъ порча художественная, а вмѣстѣ и нравственная, т. е. вообще какъ неправда, въ дѣятельности Занда.

Возьмемте даже изъ первыхъ произведеній Занда, въ которыхъ тоже страстное начало еще не возведено въ принципъ теоріею *таинственнаго* ученія «Невидимыхъ», *Индіану*, *Валентину* и *Жака*—и, строго разобравши каждое изъ этихъ произведеній, увидимъ, что «Индіана» окажется произведеніемъ болѣе правдивымъ художественно, а стало быть и болѣе чистымъ нравственно, чѣмъ «Валентина», гдѣ уже на нѣкото-

рыхъ страницѣхъ подымается теоретически голосъ плоти и, во имя требованія теоріи, уже становится многое на ходули,—тѣмъ *Жакъ*, въ которомъ теорія уже начинается приводиться въ догму. «Индіана» же все и не протестъ: Индіана — анализъ женскаго сердца, нѣжнаго, раздражительнаго, нетерпѣливаго и за то самое (замѣйте это) казненнаго въ своей незаконной страсти къ Ремону. Отношеніе художника къ лицамъ и судь надъ ними еще совершенно правиленъ въ этомъ произведеніи: *Индіана* и *Нумъ* — жертвы сердечныхъ увлеченій, казнимыя даже слишкомъ строго; къ Дельмару, представителю грубой силы обидатчины, повѣствователь умѣетъ еще отнестись довольно безпристрастно, особенно послѣ отъѣзда Индіаны; Ремонъ изображенъ съ сердцеувѣдѣннемъ великаго мастера, и въ мелочности его природы отношеніе опять таки правильное совершенно; наконецъ, постановка отношеній Ральфа къ Индіанѣ, въ которыхъ впервые открывается *желаемый* міръ поэта, въ идеаль — вѣрна; любовь Ральфа, безкорыстная, глубокая, покоряющаяся долгу, имѣетъ не противубрачный характеръ въ своихъ основахъ, а характеръ болѣе *брачный*, т. е. характеръ вѣчности и прочности любви. Въ Индіанѣ, однимъ словомъ, не возводится еще въ теорію безпутство сердца, отдающагося кому ни попало, но художественно повѣствуется о заблужденіяхъ сердца, казнимаго за заблужденія. Въ «Валентинѣ» слышится уже иной голосъ, голосъ протеста — протеста между прочимъ праваго въ томъ, что имѣетъ онъ противъ условнаго и сухаго формализма; и сочувствіе поэта къ Бенедикту, представителю слѣпыхъ, но по крайней мѣрѣ искреннихъ и живыхъ требованій сердца и души, въ противоположность условной и всѣми признаваемой лжи,—проявляется ли эта ложь въ высшей общественной средѣ, въ которой вращаются страшные сухіе эгоизмы матери Валентины и ея мужа, или въ средѣ мѣщанской, въ претензіяхъ и своекорыстіи мѣщанскаго самодовольства, въ Атенаисѣ и ея кружкѣ, — сочувствіе къ Бенедикту вполне понятно и потому не вредитъ художественной правдѣ. Но въ Валентинѣ раздается на нѣкоторыхъ страницахъ уже теоретическій голосъ — и, какъ раздающійся извнѣ, помимо трагическаго и правильнаго развитія отношеній, онъ дѣйствуетъ непріятно, рѣзко, какъ фальшивыя ноты; кромѣ того, въ образѣ *Луизы* выступаетъ здѣсь въ желаемомъ мірѣ автора — сухое, отвлеченное и гнилое представленіе о добродѣтели, какъ будто добродѣтель по натурѣ своей *непремѣнно* должна быть скучна, приторна и притомъ *непремѣнно* быть всегда въ загонѣ, — представленіе о добродѣтели, почти всегда одинаковое у писателей, утратившихъ въ нее вѣру, а между тѣмъ силящихся создать какую-нибудь опредѣленную о ней идею, приличія ради.

Занду неоткуда взять живыхъ представлений о добродѣтели — всѣ опредѣленія ея въ сферѣ общежитія, окружающей поэта, истаскались, изношены, стали ветошью. И вотъ начинается созиданіе добродѣтели по теоріи различныхъ социальныхъ ученій — созиданіе, которое вноситъ фальшь и скуку даже въ самыя лучшія произведенія Занда. Ни одно изъ нихъ такъ ярко не носитъ на себѣ печати дурнаго, въ художественномъ и нравственномъ отношеніи, вліянія узкихъ теорій, условно поставляемыхъ на мѣсто разбиваемаго условнаго, какъ высшее по глубинѣ анализа произведеніе — «Орасъ». Я называю его высшимъ, потому что нигдѣ съ такою смѣлостію и безпощадностію художникъ не пускалъ хирургическаго инструмента въ самое больное мѣсто сердца современнаго, развитаго цивилизаціей человѣка; но говорить о достоинствахъ этого анализа я не буду: по отношеніямъ къ мысли моей, важнѣе гораздо указать на его недостатки. Недостатки же «Ораса» всѣ въ *желаемомъ* мірѣ художника: въ этотъ *желаемый* міръ проникло развращеніе сердца, едва ли не большее, чѣмъ то, которое казнить онъ въ «Орасѣ». Въ Орасѣ, напримѣръ, существуетъ мысль, что любима истинно можетъ быть только чистая и цѣломудренная женщина — мысль, которая, конечно, въ его развращенной натурѣ дѣйствуетъ только отрицательно; но вѣдь *бузенготы*, которыхъ мораль несчастный, ослѣпленный великій художникъ хочетъ выдать за истинную, преслѣдуютъ въ «Орасѣ» эту мысль, какъ безнравственность, и вообще считаютъ женское цѣломудріе и чистоту за фактъ, который можетъ быть и не быть, не умаляя достоинства женщины; — но вѣдь *добродѣтельная* Евгенія безъ малѣйшаго стыда живетъ въ бузенготскомъ бракѣ съ пріятелемъ Ораса — такъ какъ будто это такъ и быть должно, да вдобавокъ еще эта *добродѣтельная* бузенготка скучна до невыносимости своимъ сухимъ резонерствомъ, своимъ — извините за парадоксальность выраженія — методизмомъ, квакерствомъ, ханжествомъ догматизированной безнравственности. Возьмите потомъ всѣ фигуры добродѣтельныхъ старцевъ или юношей изъ поселянъ и низшаго класса вообще, во второмъ періодѣ дѣятельности Занда, — вы чувствуете, что онѣ насквозь пропитаны теоріями социального ученія, что теоріи, испортивши въ нихъ художественную правду, обузили, истощили, засушили и правду нравственную. Въ сущности своей эти теоріи противухудожественны, потому что противужизненны и противунравственны. Въ этомъ отношеніи любопытнѣйшую исповѣдь самого Занда, какъ художника, долго боровшагося съ узкими теоріями, долго выставлявшаго *правду* своего пламеннаго сердечнаго протеста, представляетъ слѣдующее мѣсто въ «Lettres d'un voyageur», мѣсто, обращенное по всей вѣроятности къ одному изъ «Невидимыхъ», —

увы! столь не встаети вмѣшавшихся въ дѣятельность великаго художника, и выражающее борьбу жизненнаго, нравственнаго, свободнаго художества съ учительскою указкою, борьбу, впрочемъ, явно безнадежную по слабости борющагося, по его впечатлительности, по его способности подчиняться вліяніямъ. «Скажи мнѣ» — пишетъ Зандъ къ одному изъ таковыхъ въ письмѣ, помѣченномъ 16 апрѣля, «что значутъ твои выходы противъ художниковъ? Кричи противъ нихъ, сколько тебѣ заблагоразсудится, но уважай искусство. О Вандаля! — нравится мнѣ очень этотъ суровый старовѣръ, который хотѣлъ нарядить Тальйони въ толстыя лохмотья и деревянные башмаки, а руками Листа ворочать жернова, и который въ тоже время падалъ на землю и плавалъ, слыша щебетанье зяблика. Гражданинъ угрюмый хочетъ уничтожить артистовъ; какъ общественный наростъ, притягивающій слишкомъ много соковъ; но онъ любитъ вокальную музыку и потому милуетъ пѣвцовъ. Живописцы также найдутъ защитниковъ, которые не допустятъ замуравить ихъ мастерскихъ. Что же касается до поэтовъ, то это ваши братья; вы не пренебрежете формами ихъ языка и механизмомъ ихъ періодовъ, если вы хотите дѣйствовать на массу. Къ нимъ вы пойдете учиться дѣйствовать этимъ средствомъ. Притомъ гений поэта есть вещество такое упругое, такое гибкое. Это — листъ бѣлой бумаги, изъ котораго самый плохой штуваръ попеременно дѣлаеть то колпакъ, то пѣтуха, то лодку, то опахало, то брадобрѣйную тарелку и дюжину другихъ вещей, къ удовольствію своихъ зрителей. Ни одинъ изъ получившихъ триумфъ не имѣлъ еще недостатка въ Бардѣ. Хвала есть такъ же ремесло, какъ и другое. И когда поэты выскажутъ все, что вамъ захочется, вы ихъ оставьте говорить то, что они захотятъ: они хотятъ пѣть, хотятъ вниманія».

Какое горькое разочарованіе въ искусствѣ высказывается здѣсь, не смотря на всю иронию тона, т. е. какъ мало искусство, каковымъ Зандъ его вкругомъ себя видитъ, удовлетворяетъ высшимъ требованіямъ души художника, и какъ лишено оно крѣпкихъ связей съ коренными началами жизни, которыми проникновеніе придаетъ ему значеніе служенія, и какъ, очевидно, необходимымъ становится переходъ на сторону хотя и узкихъ, но все-таки отыскивающихъ правду теорій, въ натурѣ искренной и пламенной, которая, сознавая всю шаткость своего моральнаго существа, говоритъ въ другомъ мѣстѣ (письмо отъ 23 апрѣля): «я могу дѣйствовать, а не размышлять, потому что я ничего не знаю и ни въ чемъ не увѣренъ... Если кому нужна моя жизнь, лишь бы онъ употребилъ ее на службу идеи, а не страсти, на службу истинѣ, а не чепухѣ, я согласенъ принять условіе». Это-то самое желаніе служить

истинѣ, это самое недовольство состояніемъ разорванности съ существенными началами жизни, недовольство, выражающееся сатанинскимъ сарказмомъ и смѣхомъ отчаянія у Байрона, заставило Зандѣ схватиться въ бурномъ морѣ за первую попавшуюся доску, т. е. за первую узкую теорію. Это желаніе есть признакъ высшаго происхожденія искусства, хотя оно же увлекаетъ искусство и въ узкую односторонность... Но возвращаюсь къ письму Занда, представляющему одну изъ искреннѣйшихъ исповѣдей.

«Скажи мнѣ», продолжателъ поэтъ, «почему вы такъ много требуете отъ художниковъ? Никогда ты имъ приписывалъ все зло общественное; ты ихъ называлъ разъединяющими; ты ихъ обвинялъ въ разстройство мужества, въ порчѣ нравовъ, въ ослабленіи всѣхъ пружинъ воли... Противъ самаго ли искусства начинаешь ты споръ? Оно смѣется и надъ тобою и надъ всѣми вами, и надъ всѣми возможными системами. Попробуй погасить лучъ солнца. Но это не то. Если бы я вздумалъ тебѣ отвѣчать, я не могъ бы сказать тебѣ вещей новѣе вотъ какихъ: что цветы прекрасно пахнутъ, что тѣломъ жарко, что птицы имѣютъ перья, что у ослонъ уши гораздо длиннѣе, чѣмъ у лошадей и пр. и пр. Если же не искусство хочешь ты уничтожить, то, конечно, уже и не художниковъ, ибо пока вѣрують въ божество, будутъ жрецы».

Для того, чтобы защитить художество отъ нападокъ теоріи, которая «пользы, пользы въ немъ не зрѣтъ», Зандѣ прибѣгаетъ къ возведенію художественнаго стремленія къ тѣмъ же самымъ источникамъ, изъ которыхъ произтекають теоріи, создаваемые мыслию,—къ энтузіазму.

«Что ты дѣлаешь, скажи мнѣ», обращается онъ снова къ своему Невидимому, «когда созерцаешь созвѣздія въ небѣ, въ полночь, и бесѣдуешь съ ними о безвѣстномъ и безконечномъ? Что, если бы я прервалъ тебя въ ту минуту, когда ты намъ говоришь возвышенныя рѣчи, и глупо сказалъ бы: къ чему все это? Зачѣмъ напирать и истощать свой мозгъ предположеніями? Даетъ ли все это хлѣбъ людямъ?.. Ты отвѣчалъ бы мнѣ: это даетъ святѣя ощущенія и таинственный энтузіазмъ людямъ, работающимъ въ потѣ лица на пользу человечества; это научаетъ ихъ надѣяться, мыслить о Божествѣ, не упадать духомъ и возноситься надъ бѣдствіями и слабостями природы человѣческой при мысли о будущности, подкрѣпляющей и возвышающей. Что тебя сдѣлало такимъ, каковъ ты теперь? Это мысль, фантазія. Что тебѣ дало мужество жить до сихъ поръ въ трудѣ и въ горѣ? Энтузіазмъ».

Это мѣсто можетъ быть сведено съ извѣстнымъ мѣстомъ о «побрякушкахъ», въ «Развѣздѣ» нашего Гоголя, потому что въ самомъ дѣлѣ иронизировано оданакowymъ съ нимъ чувствомъ высокаго значенія искус-

ства для человѣческаго общежитія и для души человѣческой. Но чувство Занда не есть то прочное сознаніе, которое, все расширяясь болѣе и болѣе у Гоголя — разбило, наконецъ, его тѣлесный составъ: чувство Занда уже, такъ сказать, осквернено допущеніемъ, хотя, пожалуй, и проницательнымъ, мысли о томъ, что искусство можетъ быть орудіемъ для чего угодно, — въ мѣстѣ приведенномъ мною выше, — мысли, которая, естественно, въ душѣ самого художника рождаетъ и сомнѣніе и неуверенность въ его дѣлѣ. Допущеніе же подобной мысли явилось вслѣдствіе двухъ обстоятельствъ. Эти обстоятельства довольно искренно раскрыты въ «Письмахъ путешественника», одной изъ искреннѣйшихъ и благороднѣйшихъ книгъ нашего вѣка.

Вотъ одно обстоятельство:

*«Изъ мало, истинныхъ художниковъ», продолжаетъ Зандъ въ томъ же письмѣ, — «это правда, и я не изъ числа ихъ, признаюсь къ моему стыду. Преданный роковой судьбѣ, не имѣя самъ по себѣ ни жадности, ни своенравныхъ нуждъ, жертва неожиданныхъ несчастій, единственная подпора существованія драгоценныхъ и милыхъ мнѣ, я не былъ артистомъ, хотя имѣлъ все томленія, весь жаръ, всю ревность и все мученія, сопряженныя съ этимъ святымъ званіемъ. Истинная слава не увеличала моихъ трудовъ, потому что не всегда совѣсть присутствовала при моемъ вдохновеніи. Томимый, принужденный добывать деньги, я напрягалъ воображеніе, не заботясь объ участи ума. Я силой призывалъ музу, когда она не хотѣла, и она мстила холодными ласками и мрачными откровеніями. Въмѣсто того, чтобы приходиться съ улыбкою и увѣчанною, она приходила блѣдная, урюмая, раздраженная. Она мнѣ внушала страницы печальныя, желчныя: ей пріятно было ледянить сомнѣніемъ и отчаяніемъ все благородныя движенія души моей. Нужда въ насущномъ хлѣбѣ сдѣлала меня больнымъ и подверженнымъ сплину, а горестъ видѣть себя принужденнымъ посягнуть на умственное самоубійство сдѣлала меня урюмымъ и скептикомъ.»*

Здѣсь въ этихъ искреннихъ, даже относительно самого себя несправедливыхъ или преувеличенныхъ признаніяхъ одного изъ великихъ художниковъ эпохи, вложенъ, такъ сказать, перстъ въ язвы современнаго художества: каждое слово въ этой исповѣди куплено горькимъ опытомъ сердца, неутоляемыми наблюденіями надъ собою, и надъ другими; каждое слово поэтому запечатлѣно слѣдомъ того состоянія, которое онъ хочетъ передать. «Холодные ласки и мрачныя откровенія музы, призываемой насильственно», — а насильственно призывается она часто современнымъ искусствомъ, у многихъ, даже у даровитѣйшихъ художниковъ обратившихся въ борзописецъ и служеніе прихотямъ толпы, жаж-

душей вѣчно новаго, — напоминаютъ невольно грустно-сатирическую исповѣдь другаго поэта:

Тогда пишу: диктуешь совѣсть,  
 Перомъ сердитый водить умъ...  
 То соблазнительная повѣсть  
 Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ,  
 Картины хладныя разврата,  
 Преданья глушыхъ юныхъ дней,  
 Давно безъ пользы и возврата  
 Погибшихъ въ омутѣ страстей.

И невольно соглашаемся мы съ поэтомъ, который не хотѣлъ бы всего этого, накипомъ пробѣжавшаго по душѣ, отдавать другимъ людямъ, не хотѣлъ бы:

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной  
 Смутилъ ребенка сонъ покойной.  
 И сердце слабое увлечь  
 Въ свой необузданный потокъ.

А между тѣмъ миенно и отдастъ свѣту эти «холодныя ласки и мрачныя откровенія» музы. Съ другой стороны, изъ исповѣди Занда открывается еще другое обстоятельство, другая причина сомнѣній художника въ художествѣ — шаткость моральнаго состоянія, отчаяніе вслѣдствіе этой шаткости, отчаяніе, которое остается отчаяніемъ въ гордой душѣ Байрона, но должно за что-нибудь схватиться въ нѣсколько слабой и сипмпатичной природѣ Занда.

«Другъ» — пишетъ Зандъ, вѣроятно къ тому же лицу отъ 18 апрѣля, — *ты, не шутя, упрекаешь меня въ гражданскомъ безвѣрїи; ты говоришь, что все, живущее внѣ предписаній пользы, не можетъ никогда быть ни истинно великимъ, ни истинно добрымъ.* Ты говоришь, что это равнодушіе виновно, какъ гибельный примѣръ, и что надобно изъ него выйти, или рѣшиться на моральное самоубійство, отсѣчь себѣ правую руку и никогда ни имѣть сношеній съ людьми. Ты очень строгъ, но я тебя за это и люблю. Это прекрасно и почтенно въ тебѣ. *Ты говоришь еще, что всякая система безучастія есть отговорка подлости или эгоизма, потому что нѣтъ ни одной человѣческой вещи, которая не была бы полезна или вредна для человѣчества.*

Повторю здѣсь мысль, высказанную мною прежде. Въ эпохи нераззорваннаго творчества, художники какъ Шекспиръ, Дантъ, Сервантесъ, Молберъ, — не стануть ни у каѣихъ «Невидимыхъ» доискиваться высшихъ задачъ своего дѣла, т. е. высшихъ понятій личныхъ о добрѣ и злѣ

и понятій о благѣ общественномъ; эти понятія живутъ въ нихъ вѣрною растительною жизнію, связанная съ корнями почвы, на которой художникъ выросъ. Въ жизнь и въ ея высшіе законы поэтъ вѣрить непосредственно, не спрашивая себя даже о томъ, вѣрить онъ или нѣтъ: безъ такой глубокой и нетронутой вѣры невозможны созданія такихъ образовъ, каковы образы Дантова Ада, невозможенъ смѣхъ Сервантеса и Мольера, невозможна нравственная непогрѣшимость Шекспира. Шекспиръ казнить своего Фольстаффа—упираю въ особенности на это лице, какъ тѣсно связанное съ автографіею внутренней жизни его творца,—во имя доблести Генриха, изъ жизни поднимающейся и въ жизни живущей. Дантъ ни на минуту не усомнится въ высотѣ и истинѣ своего гибеллинскаго католичества; Мольеръ казнить пороки и смѣшныя стороны своего общества во имя поррояльскаго идеала, живущаго въ обществѣ же и созданнаго только изъ лучшихъ соковъ общественныхъ.... Но тамъ, гдѣ жизнь оторвалась отъ стгнившихъ корней, гдѣ она сама находится въ процессѣ разложенія, тамъ художникъ, какъ глубоко сочувствующій по натурѣ своей всему въ жизни общественной, а съ другой стороны, какъ, по натурѣ же своей, самъ неспособный къ созданію теорій,—бьется, употребляя простое выраженіе, какъ рыба объ ледъ, мечется отъ вѣры то въ одну спасительную по его чувству для общежитія теорію, то въ другую спасительнѣйшую, внося въ каждую пламенный искренній жаръ убѣжденій, незыблемую увѣренность въ томъ, что послѣдняя есть самая истинная. Прибавьте къ этому, что по впечатлительной натурѣ своей—весь развратъ, всѣ болѣзни и сомнѣнія эпохи онъ въ себя принялъ, что они разлились по существу его ядомъ.

*«Я не знаю», говоритъ Зандъ въ томъ же письмѣ, «настанетъ ли день, когда человекъ рѣшитъ необманчиво и окончательно, что полезно для человека. Да это и не мое дѣло. Природа моя поэтическая, а вовсе не законодательная; въ случаѣ нужды, пожалуй, воинственная, но нисколько уже не парламентская. Меня можно употребить на все, сперва удививши, а потомъ приказывая мнѣ; но я неспособенъ ни открыть что-либо, ни рѣшить. Я приму все, что будетъ хорошо».*

Это—признанія художника, признанія художества въ одномъ изъ его видовъ. Для полноты этихъ признаній, для полноты чертъ, изъ которыхъ слагается самый видъ, присовокуплю еще мѣсто изъ той же самой исповѣди, мѣсто, исполненное фанатической вѣры художества въ теорію, художника въ непогрѣшимость совѣсти, такъ-сказать въ «папство» тѣхъ избранныхъ, вѣра въ которыхъ замѣнила для него потрясенныя и разбитыя личныя основы созерцанія.

*«Возстаньте, люди избранные, люди божественные, избранныи до-*



бродѣтель. *Вы придумали счастье менѣе грубое, нежели счастье людей чувственныхъ, и болѣе тонкое, нежели людей мужественныхъ. Вы открыли, что въ любви и признательности вашихъ собратій болѣе наслажденій, чѣмъ во всѣхъ обладаніяхъ, которыя они оспариваютъ другъ у друга. Отнявши у вашей жизни всѣ удовольствія, которыя проводятъ общій уровень между людьми грубыми или утонченно развращенными, вы мудро поразили именемъ порока все то, что дѣлало ихъ счастливыми и слѣдственно жадными, ревнивыми, жестокими и необщественными...».*

Кромѣ вѣры, въ этомъ отривѣѣ, приведенномъ мною, не поражаетъ ли васъ нѣкоторое бессознательное провидѣніе искусства? Исповѣдь художника, вынужденнаго за основами прибѣгнуть къ моральному «папству» избранныхъ, исповѣдь художества, потерявшаго смыслъ и стремящагося получить его извнѣ, отъ теоріи, не есть ли это страшное обличеніе жизни, въ которой понятія о любви и братствѣ надобно *придумывать*, въ которой *общее* только насильственно, только произвольно можетъ возобладать надъ отдѣльнымъ и личнымъ и, какъ насиліе, должно возбудить непременно протестъ или отпоръ личнаго, — жизни, въ которой, однимъ словомъ, неизбежны два крайнихъ явленія: деспотическое поглощеніе личнаго «папствомъ» — папствомъ ли Римскимъ, или, что въ сущности все равно, папствомъ фурьеристскимъ, сенсимонистскимъ, — или же безпутный протестъ личнаго, выражающійся наконецъ самымъ послѣдовательнымъ обоготвореніемъ одной личности въ ученіи Макса Штирнера. Твердо поставивши себѣ задачуклониться въ этомъ разсужденіи отъ всего того, что для другихъ будетъ имѣть видъ парадокса, я не провожу мысли моей далѣе, хотя результаты ея прямые будутъ — сближеніе католика Кальдерона, въ которомъ *личная* совѣсть міросозерцанія совершенно отвергнута, съ социалистомъ Зандомъ, Байрона же съ Максомъ Штирнеромъ.

Перехожу къ прямымъ и несомнѣннымъ результатамъ, которые наглядно для всѣхъ могутъ быть выведены изъ предшествовавшаго очерка дѣятельности Занда:

1) Въ Зандѣ искусство является сомнѣвающимся въ своемъ назначеніи и въ своихъ задачахъ. Правды своей собственной оно никакой не имѣетъ, кромѣ относительной правды страстной природы, протестующей противъ условнаго, — правды, показывающей, что *содержаніе* жизни — шире формъ, ее сковавшихъ. Эта *правда* страсти, какъ минута или нѣсколько минутъ, отразилась бы въ нѣсколькихъ чрезмѣрно страстныхъ произведеніяхъ, какъ въ дѣятельности другихъ поэтовъ (напр. Шиллера), если бы жизнь *общая* представляла не шаткія, а прочныя преграды

личнымъ стремленіямъ, хранила бы въ себѣ идеалы съ существеннымъ содержаніемъ, т. е. съ содержаніемъ внутренно близкимъ личности, представляющимъ ея же просвѣтленіе или, такъ сказать, умиротвореніе въ общемъ. Протестомъ страстности, какъ страстности, искусство, по своему хранительному значенію, оставаться постоянно не можетъ.

2) Идеальный, хранительный характеръ искусства сказался въ дѣятельности Занда стремленіемъ къ положительному созерцанію, каковое давалось не живію, утратившею всякую связь съ корнями, всякія нравственныя основы, а теоріею. Положительное содержаніе, развившееся подъ вліяніемъ теоріи, должно было выразиться въ положительныхъ идеалахъ. Матеріалы для этихъ идеаловъ дала жизнь непочатая, нетронутая такъ-называемою цивилизаціею, но точку зрѣнія на матеріалы дала теорія или, лучше сказать, легіонъ теорій.

Каковы были теоріи, таково стало и міросозерцаніе художника. Теоріи или узаконивали развратъ, до котораго общежитіе разложилось, или создавали условныя, болѣе или менѣе узкія, понятія о добрѣ, чести и т. д.—понятія, выросшія въ противорѣчій съ общественными язвами. Въ творествѣ Занда это и выразилось, *во-первыхъ*, образами, въ которыхъ воплотилось прѣжнее страстное начало, только застывшее, окамененное теоріей (Лукреція, Исидора, Метелла, Квинтилія), *во-вторыхъ*—рѣзко обозначившимся *желаніямъ* міромъ, населеннымъ существами не чело-вѣчески, но сухо, условно, узко—однимъ словомъ—бузенготски добродѣтельными, Арсеніями, Евгеніями, старцами-земледѣльцами, какъ патріархи приносящими жертву природѣ, а между тѣмъ благословляющими всякое непотребство, лишь бы оно было искреннее.

4) Но искусство, хотя и дѣло совершенно земное, есть однако лучшее изъ всѣхъ земныхъ дѣлъ, хотя и слѣпо въ отношеніи къ тому, чего на землѣ и въ жизни нѣтъ, но въ отношеніи ко всему земному и жизненному—необыкновенно зряче. Кромѣ того, оно необыкновенно чутко, и по возвышенности натуры своей не можетъ удовлетвориться разложеніемъ въ жизни, а равно и помириться на искусственномъ сдѣленіи разлагающагося. Оно требуетъ *правды* и всюду вноситъ свѣтъ правды. Этимъ свѣтомъ, въ противность даже своей задачѣ, оно освѣщаетъ всѣ темныя и гнилыя стороны создаваемыхъ имъ идеаловъ, если таковы условны. Отношенія Лукреціи къ Каролію—есть судъ надъ этимъ лицомъ, предназначеннымъ къ тому, чтобы въ немъ опрагматизировать похоть сердца,—и отношеніе Лукреціи къ Каролію—единственно блистательная, съ художественной точки зрѣнія, сторона книги. Подлѣ совершенно фальшиваго произведенія, какъ напр. «Метелла», у Занда вы встрѣчаете произведеніе идеально правильное, какова «Лавинія».

Въ другихъ произведеніяхъ *ложь* дѣланная идетъ объ руку съ *рожденной* правдой, такъ, на примѣръ, въ «Леоне Леони» глубокая, вѣчная, всепрощающая любовь Жюльетты, — рожденная (и при томъ нигѣмъ изъ поэтовъ такъ искренно не рожденная) правда, — идетъ объ руку съ дѣланнымъ, пришедшимъ извнѣ, изъ теоріи или изъ разврата жизни, оправданіемъ фальшивыхъ или просто подлыхъ чертъ характера героя. Иногда же дѣланная и по этому самому сухая и условная правда теоріи — хочетъ прикрыть рожденную, къ сожалѣнію, фальшь, какъ напр. въ «Метелѣ», произведеніи, прямо родившимся вслѣдствіе желанія поэтизировать похоти сердца въ старости; послѣдній родъ произведеній, безъ всякаго сомнѣнія, хуже перваго.

5) Последнее, наконецъ, что извлекается по отношенію къ вопросу о связи искусства съ нравственностью изъ этого очерка, есть положеніе, что поставленіе нравственности дѣланной или теоретической на мѣстѣ рожденной или жизненной отражается въ искусствѣ порчею и фальшью, но что въ искусствѣ отвѣтственность здѣсь переносится на жизнь, — и вопросъ о «Зандѣ» приводится къ общему вопросу, на который указалъ я, не развивая его; равно, какъ вопросъ о Байронѣ, вопросъ объ абсолютномъ возстаніи личности, приводится также къ другому общему знаменателю.

## VI.

Вопросъ о связи между искусствомъ и нравственностью приведенъ такимъ образомъ въ свои естественныя границы, въ положеніе, что художественное созерцаніе съ нравственнымъ по натурѣ своей нераздѣлимо, что разорванность художественнаго созерцанія съ нравственнымъ отражается въ самомъ искусствѣ извѣстнымъ порокомъ или недостаткомъ. Такимъ образомъ въ «Байронѣ», на примѣръ, и «Зандѣ» мы имѣемъ великія, но попорченныя міровыя силы, которыя далеко не представляютъ такого цѣлостнаго и, такъ сказать, вѣчно державнаго для души человѣческой значенія — какъ Шекспиръ, Гомеръ, Дантъ и отчасти нашъ Пушкинъ, — въ которыхъ, вслѣдствіе особыхъ причинъ, вызвавшихъ ихъ на дѣятельность, попорчена существенная сторона, нарушена *мира*, которая наконецъ, развиваясь или односторонне, или неправильно, получаютъ или слишкомъ уединенное, какъ Байронъ, или какое-то неполное гражданство въ душѣ человѣческой.

Дѣло въ томъ, что *искусство* не носитъ въ себѣ разъединенія съ нравственнымъ созерцаніемъ, а, напротивъ, такое разъединеніе вредитъ въ искусствѣ стройности его, мѣрѣ гармоніи. Дѣло въ томъ еще, что въ искусствѣ истинномъ, полномъ, отражающемъ высшіе нравственные законы жизни, есть постоянное стремленіе къ *храненію* идеаловъ, таковые законы представляющихъ, если только есть хотя малѣйшая жизненность въ корняхъ, съ которыми они связаны. Такъ комизмъ Аристофана есть послѣднее стремленіе древняго искусства къ сохраненію его идеаловъ. Дѣло въ томъ, наконецъ, что когда въ жизни, подъ видимымъ разложеніемъ и гніеніемъ, кроются существенные свѣжіе соки, непочатыя стороны, неподрѣзанные, а только засыпанные наносомъ корни, то орудіе истиннаго искусства есть опять таки *комизмъ*, только иного рода, чѣмъ Аристофановскій. Тѣмъ или другимъ комизмомъ искусство идеальное дѣйствуетъ во имя идеала, ему присущаго, имъ живо ощущаемаго, для него несомнѣннаго. Утрата же возможности относиться съ комизмомъ къ неправдѣ жизни есть признакъ утраты самихъ идеаловъ.

Вопросъ, повидимому, если не порѣшенъ, то по крайней мѣрѣ обьислѣдованъ съ возможныхъ видимыхъ сторонъ его. Но есть еще одно возраженіе, которое дѣлаютъ нѣкоторые относительно неразрывности связи между искусствомъ и нравственностью, возраженіе, такъ сказать противъ самого искусства. Это возраженіе беспокоило самихъ художниковъ, терпѣвшихъ иногда вѣру въ серьезность своего дѣла. Такъ у «Занда» оно, въ приведенной мною исповѣди, выразилось словами: «Геній поэта есть вещество такое упругое, такое гибкое. Это листъ бѣлой бумаги, изъ которой самый плохой штукваръ дѣлаетъ попеременно то колпакъ, то пѣтуха, то лодку, то опахало, то брадобрѣйную тарелку и дюжину другихъ вещей къ удовольствію своихъ зрителей. Ни одинъ, изъ получившихъ триумфъ, не имѣлъ еще недостатка въ бардѣ. Хвала есть такое же ремесло, какъ и другія». — И дѣйствительно, когда припомнишь 1) цѣлый рядъ различныхъ торжественныхъ стихотвореній бывалыхъ временъ и цѣлый родъ особыхъ стихотвореній на случай; 2) у поэтовъ истинно вдохновенныхъ и даровитыхъ — произведенія, въ которыхъ поэтизировали они «волшебной силой пѣснопѣнья» явленія безнравственныя; 3) сладострастіе, опоэтизированное многими изъ поэтовъ, и 4) вообще наклонность художества къ поэтизованію всѣхъ сторонъ *человѣчности*, добрыхъ и порочныхъ, наклонность, выразившуюся разъ въ художественной религіи Греціи и выражающуюся въ искусствѣ, по крайней мѣрѣ у многихъ изъ художниковъ, или плачемъ по этимъ прекраснымъ разбитымъ формамъ, какъ у Шиллера:

Wie ganz anders, anders war es da,  
 Wenn mann deine Tempeln noch bekränzte,  
 Venus Amathusia!  
 Damals trat kein gräßlicher Gerippe  
 Vor dem Bett des Sterbenden. Ein Kusz  
 Nahm das letzte Leben von der Lippe,  
 Seine Fackel senkt ein Genius;

или благоговѣйнымъ кажимъ-то служеніемъ идеаламъ красоты, какъ у Гёте въ «der Wanderer», или протестомъ за нихъ и стремленьемъ къ нимъ, какъ у Гёте же въ его «Коринеской Невѣстѣ», или у Гейне, въ его стремленіяхъ къ этимъ

Kolossale Götterbilder  
 Aus leichtendem Marmor.

На всѣ эти пункты надобно отвѣчать по порядку.

1) Что касается до «торжественной поэзіи и поэзіи на случаи», которой уже самое происхожденіе говоритъ о большой увѣренности въ способности, искусству данной, поэтизировать что угодно и какъ угодно, способности, которою ничто не препятствуетъ злоупотреблять—то этотъ пунктъ возраженія опровергается тѣмъ несомнѣннымъ фактомъ, что изъ торжественныхъ стихотвореній удавались только такіа, въ которыхъ поэтъ могъ быть искреннимъ энтузіастомъ. Возьмите нашего Державина, и на немъ всего лучше можно убѣдиться, что истинно поэтизировать явленіе можно, только проникаясь высотой или глубиной его нравственнаго смысла, истинно поклониться событію или личности только тогда, когда личность или событіе точно имѣютъ великій общественный или нравственный смыслъ. Сколь истинна ода въ Фелицѣ, или пѣсни, обращенныя къ Суворову, — столь же холодна и непоэтична заказная ода къ Рѣшемыслу; — а между тѣмъ о томъ же лицѣ, къ кому писана эта надутая ода, поэтъ умѣетъ говорить высоко-поэтически въ «Водопадѣ» тогда, когда оно приобрѣло, въ самомъ дѣлѣ, значеніе великое и поэтическое. Все же неискреннее—или хотя даже искреннее, но внушенное чисто личными отношеніями—въ поэзіи торжественной и стихотвореніяхъ на случаи не признается самимъ художествомъ, казнено даже сатирою:

Возьму-ли на примѣръ, я оды на побѣды,  
 Какъ покоряли Крымъ, какъ въ морѣ гибли Шведы:  
 Такъ громко, высоко—а нѣтъ, не веселитъ  
 И сердца моего ничуть не шевелитъ.

Легко чрезвычайно отличить, въ этомъ случаѣ, то, что поэтизиро-

вано насильственно или случайно, отъ того, что поэтизировано съ полною вѣрою въ великій общественный смыслъ поэтизированнаго. Шекспиръ, по видимому, не естъ мѣсту даже опозтизировалъ королеву Елизавету въ своемъ «Снѣ въ лѣтнюю ночь», но нельзя заподозрить чистоты и искренности прекраснаго поэтическаго изображенія идеальной Весталки; вы помните эти слова Оберона Пуку:

Тогда же видѣлъ я (не могъ ты видѣть)  
 Летѣлъ между луной холодной и землею  
 Въ вооруженнѣ полномъ купидонъ;  
 Прицѣлился въ прекрасную весталку,  
 Что царствуетъ на западномъ престолѣ;  
 Изъ стрѣлъ любовныхъ своего колчана  
 Острѣйшую онъ наложилъ на лукъ,  
 Какъ будто тысячу сердець собиралъ  
 Провзить. Но огненная та стрѣла  
 Младого купидона—вдругъ погасла,  
 Я видѣлъ, въ цѣломудренныхъ лучахъ  
 Луны водяно-влажной, и прошла  
 Спокойно-тихо царственная жрица,  
 Вся въ думахъ дѣвственныхъ, отъ обаянья  
 Свободна....

Дѣло въ томъ, что *такою* именно — Шекспиръ и, что очень важно, вся его эпоха — представляли себѣ Елизавету, *какою* проходить она въ этомъ удивительномъ поэтическомъ видѣннн. Вообще поэтизировка для поэта истиннаго невозможна безъ признанія высшаго смысла въ поэтизируемомъ. Гоголь превосходно объяснилъ это въ письмѣ «о лиризмѣ нашихъ поэтовъ», письмѣ совершенно правильномъ во всемъ существенномъ, хотя написанномъ въ тонѣ нѣсколько неумѣренномъ.

2) Есть, говорятъ еще, у поэтовъ истинныхъ и постоянно вдохновенныхъ мѣста или цѣлыя произведенія, гдѣ поэтизировано то, что по существу своему гнусно, или низко, или ничтожно, или фальшиво передъ нравственнымъ взглядомъ; и въ этомъ случаѣ многіе указываютъ, напримѣръ, на такое стихотвореніе, какъ у Пушкина «Кромѣшннн», представляющее въ самомъ дѣлѣ поэтизированіе красивой, но въ высшей степени безнравственной силы и удали. Основываясь на этомъ, выводятъ, что красота, сила и другія внѣшнія качества способны прикрыть въ глазахъ искусства мерзость внутреннюю; но замѣчательно, что въ этомъ случаѣ могутъ указать именно только мѣста на два у Пушкина, ибо съ указаніемъ на третье, «Анчаръ», я согласиться не могу: въ окончанн «Анчара» никоимъ образомъ не слышу я поэтизовки неправой и без-

нравственной силы... Замѣчательно, что и указанія, съ которыми нельзя не согласиться, каковы указанія на «Кромѣшника» и на нѣкоторыя мѣста удивительнаго отрывка, называемаго «Мѣднѣй Всадникъ», что эти, говорю я, указанія простираются именно на отрывочныя, на недоконченныя вещи, которыхъ смыслъ поэтъ унесъ съ собою въ могилу, но которыя по всей вѣроятности разъяснились бы въ цѣлости созданія, согласно вообще съ духомъ великаго мужа, который хвалился только тѣмъ,

Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ  
И милость къ падшимъ призывалъ.

3) Что касается до поэтизированія сладострастія, то въ сущности это не есть возраженіе: поэтизированіе сладострастія истиннымъ художествомъ отвергается. Найдите что-либо возбуждающее сладострастіе въ антологическихъ пьесахъ, — не говорю уже, Пушкина, который въ этомъ отношеніи чистъ и цѣломудренъ, какъ древній, — но кого-либо изъ истинно даровитыхъ роетас *minores*, каковы, наприм., Майковъ и Фетъ. Гдѣ течетъ мутная струя сладострастія, сколько бы даровитъ поэтъ ни былъ, у Шенѣ ли, у Батюшкова ли, у Альфреда ли Мюссе, — вездѣ она течетъ во вредъ, въ порчу истинному художеству: это несомнѣнно для здраваго и чистаго вкуса. Художество требуетъ великаго спокойствія и полнаго обладанія формами, а не подчиненія имъ, служенія прекрасному, а не чувственнаго раздраженія имъ. «Красота», говоритъ Платонъ въ *Федръ*, «одна получила здѣсь жребій быть пресвѣтлою и достойною любви. Невполнѣ посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носитъ ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а подобно четвероногому, ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слѣдъ прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вполне посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лице, изображающее красоту, сначала трепещетъ, — его объемлетъ страхъ, — потомъ, созерцая прекрасное, онъ его обожаетъ». Таково истинно-художественное отношеніе къ красотѣ, т. е. наилучшее, наичистѣйшее изъ всѣхъ *земныхъ* отношеній. Это чувство красоты обще всѣмъ поэтическимъ натурамъ — отъ Платона до Пушкина, который

Благоговѣтъ богомольно  
Передъ святыней красоты.

Какъ правильное и стройное, это чувство выражается у Пушкина, тоже часто у Майкова и у Фета; какъ злоупотребленное, оно (минуя нашихъ поэтовъ) выражается, напримѣръ, въ необыкновенно эффектныхъ, энергичныхъ и свидѣтельствующимъ объ огромномъ талантѣ «Испан-

скихъ романсахъ» Мюссе, тѣмъ неменѣе представляющихъ для здраваго эстетическаго вкуса порчу-истиннаго искусства и возбуждающихъ сожалѣніе о злоупотребленіи, о расточеніи на шалости истинно-поэтическаго дара. Восхищаться подобными произведеніями можно только по прихоти, а не по чувству: на нихъ бываетъ и скоро проходитъ мода. Вѣчному же искусству до этихъ *калантерейныхъ* вещей дѣла нѣтъ. Искусство признаетъ своими откровенія міра души человѣческой, какъ бы болѣзненны и односторонни они ни были, лишь были бы искренни, какъ напр., стихотворенія Огарева; но похотей тѣла оно никогда не узаконивало и не узакониваетъ.

4) Послѣднее, наконецъ, возраженіе будетъ склонность художества къ язычеству, разумѣя подъ язычествомъ его художественнѣйшую форму, такъ называемую *античность*, какъ чувство и какъ религію. На это можно сказать только, что этюды въ античномъ родѣ, на антикахъ, для художества необходимы, но что плачь художества объ античномъ есть или плачь младенца надъ разбитой игрушкой, или, какъ я замѣтилъ прежде, одна изъ формъ, принимаемыхъ протестантизмомъ. Не любить же античнаго искусства нельзя, пока человѣчество способно вообще любить искусство, и не учиться на антикахъ такъ же нельзя; а что *античное* дѣйствуетъ на человѣка вовсе не своими языческими сторонами, это опять-таки глубоко понималъ нашъ глубокій Гоголь и высказалъ, хотя опять нѣсколько напряженнымъ тономъ, въ своемъ письмѣ объ «Одиссеѣ» къ Жуковскому.

Вотъ, кажется, всѣ возраженія: вѣроятно, отдадутъ мнѣ справедливость, что я не устранилъ ни одного изъ представлявшихся, не скрывалъ трудностей вопроса ни отъ себя, ни отъ публики, постоянно старался приводить разсужденія къ результатамъ, былъ, однимъ словомъ, добросовѣстенъ, за что только и подлежу отвѣтственности, какъ мыслитель.

## VII.

Остается теперь разсмотрѣть въ общихъ чертахъ послѣднюю сторону, заключающуюся въ предложенномъ вами вопросѣ. Спрашивая, имѣлъ ли право такой-то художникъ перенестись въ такия-то, ему или его вѣку несвойственныя созерцанія и строй чувствованій, вы или не признаете такъ называемую объективность за высшее качество художества, или отвергаете возможность полноты объективности. Что разумѣютъ подъ такъ называемую объективностью? Объективность—возьмемъ самое простое, т. е. самое внѣшнее ея опредѣленіе—есть свойство таланта



отождествляться съ представляемымъ, описываемымъ, изображаемымъ имъ предметомъ, способность отрѣшаться отъ своей личности и ея обстановки и переноситься въ чужія личности съ иною обстановкою, способность переноситься въ чужую жизнь и жить ею. Идеальное представление такой объективности въ художникѣ чрезвычайно поэтично и вмѣстѣ ясно схвачено Баратынскимъ въ строфахъ на смерть Гёте:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,  
 Ручья разумѣлъ лепетанье,  
 И говоръ древесныхъ листовъ повималъ,  
 И чувствовалъ травъ прозябанье;  
 Была ему звѣздная книга ясна,  
 И съ нимъ говорила морская волна.

А еще глубже, тоньше, поразительнѣе значеніе подобной объективности раскрывается въ слѣдующихъ стихахъ одного изъ высочайшихъ поэтическихъ созданій бессмертнаго нашего Пушкина («Пророкъ»).

Открылись вѣщія зѣнницы,  
 Какъ у испуганной орлицы....  
 Моихъ ушей коснулся онъ,  
 И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ,  
 И внялъ я неба содроганье,  
 И горній ангеловъ полетъ,  
 И гадъ морскихъ подводный ходъ,  
 И дольней лозы прозябанье.

Объективность въ таковомъ ея значеніи есть не иное что, какъ удивительная тонкость поэтической организаціи, чуткость природы на всякое дыханіе жизни, отзывчивость на все живое:

.... гремѣть ли громъ,  
 Ревѣть ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,  
 Поеть ли дѣва за холмомъ....

Что такого рода объективность, какъ свойство природы поэтически отзывчивой, отражающееся въ отзывѣ, передающемъ полученное впечатлѣніе для всѣхъ ясно, осязательно и вмѣстѣ съ неувимомъ тонкостью, должна составлять и составляетъ свойство каждаго истинно художественнаго таланта во всякаго рода изящномъ искусствѣ, это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Въ смыслѣ этой изощреннѣйшей чуткости, объективностью поражаютъ всѣ великія поэтическія произведенія, какъ непосредственныя растительныя, такъ и принадлежащія въ періоду искусственной поэзіи. Такою объективностью поражаетъ

поэзія библейская, изъ многихъ поразительнѣйшихъ мѣстъ которой укажу я, на примѣръ на слѣдующее, какъ на свидѣтельство *чуткости* поэзіи, конечно, высшей и вдохновеннѣйшей, въ передачѣ впечатлѣній самыхъ необыкновенныхъ (Книги 3. Царствъ, гл. 19, ст. 10—13): «И рече Илія: ревнуя поревновахъ по Господѣ Вседержителѣ, яко же оставиша-тя сынове Израилевы, олтари твоѣ разкопаша и пророки твоѣ избиша оружіемъ, и остахъ азъ единъ и ищуť души моея изяти ю. И рече: изыди утро и стани предъ Господемъ въ горѣ: и се мимо пойдетъ Господь, и духъ великъ и крѣпокъ, раззоря горы и сокрушая каменіе въ горѣ предъ Господемъ, — *но не въ дусъ Господь: и по дусъ трусь, и не въ трусь Господь: и по трусь огонь, и не во огни Господь: и по огни гласъ хлада тонка, и тамо Господь*». Укажу еще изъ библейскихъ примѣровъ подобной *чуткости* вдохновенія или прозрѣнія въ самую сущность передаваемого впечатлѣнія, — и при томъ такого, которое, какъ далеко не общее, можетъ дать почувствовать именно только такого рода поэтическая объективность, — на слѣдующее мѣсто книги Іова. (Гл. 4, ст. 13—16). «Страхомъ же и гласомъ ношнымъ, нападающъ страхъ на человѣки, — ужасъ же мя срѣте, и трепеть, и зѣло кости моя стрясе: *И духъ на лице ми найде, устрайшиася же ми власи и плоти. Востахъ — и не разумѣхъ, — видѣхъ, и не бы обличія предъ очима моима, но токмо духъ тихъ и гласъ слышахъ...*» Это уже чуткость высшая, тончайшая, изощреннѣйшая, нежели та, которая слышитъ прозябаніе «дольней лозы», которая понимаетъ «говоръ древесныхъ листовъ». Но, во всякомъ случаѣ, на высшихъ ли степеняхъ своихъ, въ какихъ является она въ приведенныхъ библейскихъ примѣрахъ, на низшихъ ли, каковыхъ примѣры найдете вы у каждаго истиннаго поэта (возьмите у *субъективнѣйшаго* изъ поэтовъ — Байрона хотя на примѣръ для соотвѣтствія явленіе тѣни Франчески Альну въ «Коринеской Невѣстѣ»), эта объективность есть прозрѣніе въ самую сущность изображаемаго явленія жизни и передача его такъ, что оно, въ художественномъ фокусѣ отраженное, на всѣхъ болѣе или менѣе дѣйствуетъ такъ, какъ самая сущность его требуетъ: ужасомъ, грустью, состраданіемъ, смѣхомъ.

Кромѣ *чуткости*, *мѣткость* выраженія составляетъ еще характеристическое свойство объективности. Мѣткость эта по существу своему есть двоякая: одна заключается въ передачѣ чертъ особенныхъ во всей ихъ особенности, съ ихъ, такъ сказать, запахомъ и цвѣтомъ. Подобнаго рода удивительную *мѣткость*, вынесенную при пособіи, разумѣется, огромнаго таланта изъ тѣснѣйшихъ связей съ изображаемымъ міромъ, найдете вы на примѣръ (я беру примѣры къ намъ ближайшіе) въ сочиненіяхъ С. Т. Аксакова: часто одно слово, одинъ эпитетъ, одинъ ка-

кой нибудь смѣло употребленный и прямо выхваченный изъ изображаемаго міра глаголь (такъ наприм. говорится совершенно *семейнымъ* глаголомъ про Александру Петровну, что она «лебезила» предъ невѣсткою) такъ и переносить васъ въ міръ домашнихъ сваръ и сплетенъ. Ту же *мѣткость* выраженія въ отношеніи къ явленіямъ внутренней жизни—видите вы въ книгѣ о. Паренія: поразительная простота и вмѣстѣ особенность составляютъ качества *мѣткости* этого рода. Другаго рода мѣткость заключается въ *общности*, въ типичности выраженія: это есть, такъ сказать, заключеніе дѣлаго ряда однородныхъ впечатлѣній въ типическое, часто даже повторяющееся выраженіе—удѣлъ непосредственной, растительной поэзіи, удѣлъ и поэзія искусственнаго періода въ твореніяхъ поэтовъ, призванныхъ, какъ Пушкинь, на то, чтобы все минутное и случайное возводить въ типическое и общее.

Естественно, что такого рода *объективность*, какъ свойство *чувственности* и *мѣткости* таланта, вопросомъ нисколько не уничтожается: ибо она есть не иное что, какъ прозрѣніе въ сущность явленій, а не отождествленіе себя съ ними или не подчиненіе себя имъ. Такая объективность, въ смыслѣ способности, бѣльшей или меньшей, но всегда обуславливающей самую художественную дѣятельность, имѣетъ нѣсколько степеней: первая и низшая степень ея, дающаяся и многимъ простымъ людямъ, не художникамъ и не сдѣлавшимся почему-либо художниками, но, тѣмъ не менѣе, увазывающая на непремѣнное существованіе въ личности задатковъ художественнаго таланта,—есть способность *копировки*: въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова: способность актера къ поддѣлкѣ, игра или пѣніе по слуху въ музыкантѣ и пѣвцѣ, способность къ копированію въ тѣсномъ смыслѣ—живописца или ваятеля, способность писателя-натуралиста подмѣчать и передавать вѣрно частныя явленія жизни, однимъ словомъ, способность переносить себя и высказывать потомъ такъ или иначе, въ бѣльшей или меньшей мѣрѣ то, что технически называется *натурою*. Привзойдетъ къ этой непосредственной способности постоянная работа надъ натурою—выйдетъ хорошій или даже, пожалуй, отличный копировщикъ въ той, другой или третьей области искусства; во всякомъ случаѣ, при существованіи въ человѣкѣ такой способности, хотя бы обращенной на самыя мелкія явленія дѣйствительности, нельзя отвергнуть въ немъ извѣстной степени художественной основы или силы. Но, между тѣмъ, голая способность копировки есть не болѣе, какъ способность передразнивать природу, сила грубая, тѣлесная, неразборчивая, скорѣе задатокъ силы, чѣмъ сила въ полномъ смыслѣ; въ ней нѣтъ свободы—непремѣннаго условія творчества; она ничего не видитъ, кромѣ рабски передразниваемаго ею явленія жизни,

не видить связи явленія съ другими однородными или подобными, и поэтому не можетъ даже развиться въ свободную силу творческую.

Другую и сравнительно высшую степень объективности представляетъ способность къ созданію *типовъ*—общихъ, отрѣшенныхъ образовъ. *Какимъ образомъ* изъ явленій частныхъ складываются типы въ душѣ художника—вопросъ далеко еще не разрѣшенный: дѣло въ томъ только, что едва ли они складываются сознательно, аналитически. Я вѣрю съ Шеллингомъ, что бессознательность придаетъ произведеніямъ творчества ихъ неизслѣдимую глубину. Въ душѣ художника истиннаго эта способность видѣть орлинымъ окомъ общее въ частномъ есть непремѣнно синтетическая, хотя и требующая, конечно, поддержки, развитія, воспитанія. Тотъ, кто рожденъ съ такого рода объективностью, есть уже художникъ истинный, поэтъ, творецъ. Надобно замѣтить при томъ еще вотъ что: *типъ*, какъ общій, отрѣшенный образъ, предполагаетъ въ томъ, кто способенъ его произвести, существованіе повѣряющаго частныя явленія жизни высшаго идеала, хотя бы даже и въ смутномъ представленіи. *Типъ*, каковъ бы онъ ни былъ, есть уже *прекрасное*, и, по справедливому замѣчанію одного изъ поэтовъ нашихъ,

Только пчела узнаетъ въ цвѣтѣхъ затаенную сладость,  
Только художникъ во всемъ чувствуетъ прекраснаго слѣдъ.

Переносясь въ явленія для созданія изъ нихъ типа, художникъ, если только онъ художникъ, вноситъ *свѣтъ* своей правды, своего идеала: узокъ и ограниченъ этотъ идеаль—и типы, не смотря на свою жизненность, будутъ носить характеръ односторонняго представленія, такого представленія, въ которомъ видно дно.

Третью, наконецъ, степень *объективности* можно назвать силою, сознательно обладающею свѣтомъ или идеаломъ. Это—художественная способность въ высшемъ ея проявленіи, на безграничной ея свободѣ. Эту степень обозначилъ Гоголь глубокими чертами въ своемъ «Портретѣ». «Надобно», говоритъ онъ, «чтобы предметы внѣшняго міра перешли черезъ душу художника и, очистясь тамъ, какъ въ горнилѣ, вышли свободными созданіями». Эта степень предполагаетъ уже постоянное отношеніе художника къ идеалу и, вслѣдствіе сего, прочное идеальное міросозерцаніе.

Такимъ образомъ *объективность* на двухъ высшихъ степеняхъ своихъ, и притомъ на единственно такихъ, о которыхъ говорится, когда говорится о художествѣ, является не отождествленіемъ съ жизнью явленій, а прозрѣніемъ сущности явленій, прозрѣніемъ, руководимымъ сознаниемъ болѣе или менѣе свѣтлаго и широкаго идеала.

Между тѣмъ, бываютъ блестящіе таланты, надѣленные въ высшей степени способностію усвоенія жизни, но которые, будучи случайно брошены въ эпохи мысли, представляющія собою крайнюю разорванность сознанія, являются въ литературѣ какими-то странными, блестящими, ни съ чѣмъ не связанными метеорами. Такіе таланты представляютъ на себѣ доказательство нелѣпости и безжизненности крайней объективности, какъ отождествленія съ жизнью явленій, обусловленнаго отсутствіемъ *своего* міросозерцанія. Дѣятельность такихъ талантовъ ослѣпительна, но не носитъ въ себѣ живительнаго, теплаго начала, проходитъ безъ слѣда, эгонистическая, капризная, замкнутая, выражающаяся, пожалуй, и мастерскими, но безсвязными и безсодержательными этюдами, ничего не сообщающая и сама не общительная. Въ дѣятельности такого рода всякое живое отношеніе къ идеалу подорвано, всякія основы разрушены: она мечется отъ предмета къ предмету, изъ сферы въ сферу безъ всякой опредѣленной цѣли, безъ всякой любви, ища одного только самоудовлетворенія, любя только сама себя и никогда не любя того явленія или того ряда явленій, къ которому она прилагается. Мѣсто точки зрѣнія, т. е. поэтически-правственной основы, выработанной личностію, заступаетъ въ такой дѣятельности иронія, совершенно, впрочемъ, безпредметная и безосновная.

Стало бытъ *объективностью*, какъ отсутствіе личности въ художникѣ, есть или явленіе болѣзненное, или совершенно случайное, и объ ней можно говорить только, какъ о свойствѣ *чуждости* въ отношеніи къ сущности жизненныхъ явленій и *мѣткости* въ передачѣ ихъ въ художественномъ созданіи, свойствѣ общемъ, въ большей или меньшей степени, всякой истинной поэзій непосредственной, растительной или художественной, общемъ столько же народной пѣснѣ, какъ художественной автобіографіи, столько же Байрону, сколько Гёте, котораго столь долго провозглашали объективнѣйшимъ изъ поэтовъ, и который, при болѣшемъ знакомствѣ съ нимъ, при болѣшемъ раскрытіи сторонъ его отшедшаго въ вѣчность духа, оказывается субъективнѣйшимъ изъ поэтовъ, равно какъ Шекспиръ, какъ Дантъ, какъ нашъ Пушкинъ, какъ всѣ великіе художники: въ ихъ твореніяхъ сокрыта душа ихъ съ ея исторіей, съ ея процессами, съ ея муками и радостями, съ ея любовью и ненавистію. Какъ *міровыя*, или *народныя*, или даже *мѣстныя* силы, они жили только за многихъ, чувствовали сильнѣе и могли нагляднѣе передать то, что многіе переживали и чувствовали. Правду, свою *личную* правду, высказывали они, и именно въ той самой мѣрѣ, въ какой сами ее сознавали: крайнія степени страстей умѣряли они въ созданіяхъ своихъ представленіями противоположны-

ми, наказующими или охлаждающими, но въ сознаниіи они перебивали всѣмъ тѣмъ, что выражаютъ созданныя ими лица. Шекспиръ пережилъ въ сознаниіи и ревность Отелло, и любовь Ромео и моральное отчаяніе Гамлета; но уже тѣмъ самымъ духъ его былъ выше каждаго изъ этихъ моментовъ, что могъ разбяснить ихъ другимъ, могъ отнестись къ страстямъ *правосудно*, могъ создавать не страсти только, но цѣлый міръ различныхъ, одна другую пересѣкающихъ страстей, и въ этотъ міръ внести свѣтъ правды своей личной, своей народной, своей человѣческой. Я не кончилъ бы, если бы распространился объ этомъ пунктѣ. Ограничиваюсь намекомъ на то, о чемъ можно писать цѣлыя книги. Художникъ всегда выражаетъ въ твореніи внутреннее бытіе свое, и вотъ почему у самыхъ даже многостороннихъ художниковъ всѣ представленія составляютъ только одну большую семью, и, связанные, какъ члены, плотью и кровью, носятъ на себѣ родовую фізіономію, печать общаго происхожденія.

### VIII.

Вопросъ вашъ, во всѣхъ его трехъ видахъ, приводится собственно къ одному выводу: художество, какъ выраженіе правды жизни, не имѣетъ права ни на минуту быть неправдою: *въ правдѣ*—его искренность, *въ правдѣ*—его нравственность, *въ правдѣ*—его объективность.

И правда въ настоящую минуту есть дѣйствительно насущное требованіе отъ художества, становится все болѣе и болѣе его лозунгомъ: требованіе *правды* слышится во всемъ, слышится часто въ сухомъ и суровомъ тонѣ, который художество въ наше время принимаетъ изъ боязни впасть въ какую-либо напыщенность, - и въ скупости порывовъ чувства, опять таки изъ боязни фальшиво и противно расчувствоваться. Но въ этой правдѣ есть нѣчто принужденное,—эта боязнь порождена сама, въ свою очередь, другою боязнію—боязнію повѣрить, что, кромѣ условнаго въ жизни, опошленнаго, истасканнаго, есть еще живое, которое скажется, и иногда сказывается уже у художника, вѣрующаго въ идеалъ, живымъ, безбоязненнымъ порывомъ, оригинальнымъ и могучимъ типомъ, носящимъ въ себѣ что-то совершенно новое и небывалое, выступаетъ уже порою и міросозерцаніемъ, совершенно не похожимъ на міросозерцаніе отрицательно-боязливое.

Однимъ словомъ, вопросъ о правдѣ и искренности въ искусствѣ, взявшись за который я имѣлъ только въ виду свести все то, что дается

историческимъ анализомъ явленій, *доселе* совершавшихся въ искусствѣ, въ опредѣленные результаты, переходить въ другой вопросъ, въ вопросъ «объ отношеніи искусства къ жизни», и разсматривая сей послѣдній, придется, если только придется разсматривать, говорить о многомъ такомъ, что историческимъ анализомъ прямо не дается, хотя къ области этого *новаго* прямо приводить честный историческій анализъ.

Июль, 1856 г.

## II.

# КРИТИЧЕСКІЙ ВЗГЛЯДЪ НА ОСНОВЫ, ЗНАЧЕНІЕ И ПРИЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КРИТИКИ ИСКУССТВА.

Посвящено А. Н. Майкову.

(Библиотека для Чтенія, 1858 г. № 1.)

Die im Innern des Bewusstseyns wieder aufstehenden und als theogonisch sich erweiternden Mächte können keine anderen als die erzeugenden selbst seyn.

Шеллингъ.

## I.

Критику нашу, и въ особенности критику послѣдняго двадцатилѣтія, упрекали, отчасти не безъ основаній, въ длинныхъ разсужденіяхъ по поводу явленій очень часто маловажныхъ, или по-крайней-мѣрѣ гораздо менѣе важныхъ, чѣмъ вопросы, поднимаемые длинными разсужденіями.

Между тѣмъ, — весьма странное обстоятельство! — какъ ни длинны были эти предисловія, какъ, по-видимому, ни важны были вопросы, которые такъ или иначе поднимала, затрѣгивала, разрѣшала критика, — доселѣ еще невозможно избѣжать новыхъ, не меньше длинныхъ предисловій, новыхъ разсужденій о новыхъ, ежеминутно возникающихъ вопросахъ, за что бы ни взялась въ настоящую минуту критика. Замѣчательно, что оговорки, въ родѣ того, что о такомъ-то произведеніи нечего сказать болѣе сказаннаго уже критикою сороковыхъ годовъ, или ссылки на прежнія статьи, встрѣчаемы были съ одинаковымъ негодованіемъ всѣми серьезными литературными направленіями.

Я говорю это не о такихъ критическихъ статьяхъ, которыя пишутся о произведеніяхъ, первостепенныхъ въ нашей словесности. Въ первостепенныхъ произведеніяхъ всякой словесности, а стало быть и нашей, сколь ихъ въ ней ни мало, есть та неувядающая красота, та прелесть вѣчной свѣжести, которая будитъ мысль къ новой дѣятельности, къ новымъ размышленіямъ о жизненныхъ вопросахъ, къ новымъ пронаивно-



веніямъ въ тайны художественнаго творчества. Въ созерцаніи первостепенныхъ, т. е. *рожденныхъ*, а не *дѣланныхъ* созданій искусства, можно безъ конца теряться, какъ теряется мысль въ созерцаніи жизни и живыхъ явленій. Какъ *рожденныя*, и притомъ рожденныя лучшими соками, могущественнѣйшими силами жизни, они сами порождаютъ и вѣчно будутъ порождать новые вопросы о той же жизни, которой они были цвѣтомъ, о той же почвѣ, въ которую они бросили сѣмена. Безконечныя и неизслѣдимыя проявленія силы творческой, они не имѣютъ дна, они глубоки и вмѣстѣ прозрачны: за ними есть еще что-то безпредѣльное, въ нихъ сквозитъ ихъ идеальное содержаніе, вѣчное какъ душа человѣческая; ихъ не исключить изъ общей цѣпи человѣческихъ созерцаній, какъ не исключить изъ общей цѣпи судебъ человечества ту жизнь, которую они отразили въ вѣчномъ типѣ и съ которою связаны они сплетеніемъ тончайшихъ нервовъ. Ихъ значеніе въ міровой жизни столь же велико, какъ значеніе ея самой, и нечему удивляться, что они могутъ служить предметомъ постоянныхъ и во всякое время имѣющихъ значеніе и важность созерцаній мысли: какъ художественныя отраженія неперемѣннаго, кореннаго въ жизни, они не умираютъ: у нихъ есть корни въ прошедшемъ, вѣтви въ будущемъ. Я не о нихъ говорю, а говорю о второстепенныхъ, о третъестепенныхъ явленіяхъ, порождаемыхъ уже не столько самую жизнь, сколько первостепенными созерцаніями искусства, разъясняющихъ, развивающихъ въ подробномъ, такъ-сказать миѣическомъ анализѣ, тотъ цѣльный, непосредственный и сжатый синтезъ новыхъ отношеній мысли къ жизни, который дается таинственнымъ откровеніемъ великой художественной силы. Какъ части огромной распавшейся планеты, они образуютъ новые міры: міры эти живутъ и, какъ все живое, озаряются мыслью.

Отсюда и происходитъ то, что никакое явленіе словесности или, лучше сказать, письменности, не можетъ почти никогда быть разсматриваемо въ одной его замкнутой отдѣльности; я сказалъ: *письменности*, потому что часто и дюжинныя произведенія возбуждаютъ въ мыслителѣ вопросы, весьма важные своею связью съ органическими плодами жизни. Отразило произведеніе дѣйствительныя, живыя потребности общественнаго организма—вы, конечно, уже задаете себѣ вопросы о значеніи этихъ потребностей; выразило оно собою насильственные и болѣзненные напряженія, или наносныя, извнѣ пришедшіе и искусственно привитые или искусственно подогрѣтые вопросы,—вы спрашиваете съ невольнымъ изумленіемъ: какимъ образомъ искусственное такъ вѣлосъ въ натуру представителей и глашатаевъ мысли и какимъ образомъ оно такъ добродушно принимается за настоящее обществомъ? Такимъ обра-

А ерхизе  
его писан  
смысл?  
Самъ въ  
он?

зомъ, вы невольно отъ внѣшняго вида растенія идете къ корнямъ, невольно роетесь въ глубь, справедливо не удовлетворяясь поверхностнымъ разсматриваніемъ. Отсюда очевидная, часто чудовищная несоразмѣрность критическихъ статей съ предметами въ нихъ разсматриваемыми; отсюда явленіе, впрочемъ, общее теперь во всѣхъ литературахъ, что критика пишется не о произведеніяхъ, а по поводу произведеній, — или о тѣхъ типическихъ художественныхъ силахъ, къ которымъ они возводятся по происхожденію, т. е. о первостепенныхъ созданіяхъ искусства, или уже прямо о самыхъ жизненныхъ вопросахъ, поднятыхъ болѣе или менѣе живо, задѣтыхъ болѣе или менѣе чувствительно тѣми или другими произведеніями.

Но сказать: *отсюда* не значитъ еще дорыться до коренной причины явленія, а указать только на ближайшій его источникъ. Это есть простое освидѣтельствованіе и засвидѣтельствованіе факта (константированіе). Чтобы такое засвидѣтельствованіе было полно, должно указать еще на внѣшнюю причину, тѣсно связанную уже съ *нашею*, особеннымъ образомъ сложившеюся, общественною жизнью: на непочатость всего въ этой жизни и на общіе оной вопросы, безпрестанно и на каждомъ шагѣ возникающими и задѣваемыми всякою, мало-мальски не бездарною дѣятельностью письменною. Маловажны часто произведенія, но важны и глубоко-значительны вопросы, ими затрогиваемые или обнаруживаемые, попытки разрѣшенія которыхъ получаютъ значеніе положительное или отрицательное; важны и знаменательны эти отклики многообразной жизни, какъ самая жизнь многообразные, отклики мѣстностей, сословій, кастъ, толковъ, различныхъ слоевъ образованности, отклики самобытные или съ чужаго голоса, туземные или навѣянные извнѣ, важны и значительны для мыслителя, внимательно прислушивающагося къ подземной работѣ зиждительныхъ силъ жизни.

## II.

Ясно, что критика перестала быть чисто художественною, что съ произведеніями искусства связываются для нея общественные, психологическіе, историческіе интересы, — однимъ словомъ, интересы самой жизни. Попытки удержаться въ предѣлахъ отрѣшенно-художественной критики остаются ни болѣе, ни менѣе, какъ попытки: немногіе изъ рѣшающихся на такія попытки сами не могутъ долго удержаться въ предѣлахъ чисто-техническихъ задачъ и впадаютъ или въ нравственное отношеніе къ искусству, или въ изслѣдованіе вопросовъ, касающихся уже не искусства, какъ техники, а опытной психологіи, ищутъ, напри-

мѣрь, разложить художественную способность на составныя части, опредѣлить, изъ какихъ потенцій души слагается наблюдательность или другія свойства, входящія въ представленіе о дарованіи, изслѣдуютъ вопросы, конечно, весьма важныя, но важныя въ отношеніи психологическомъ, а не въ художественномъ.

Вопросъ въ томъ: хорошо это или дурно, правильно или неправильно?

Если это дурно и неправильно, то въ чемъ же заключается хорошее и правильное, т. е. законы чисто-художественной критики?

Если это хорошо и правильно, то какъ назвать это хорошее и правильное, чѣмъ оправдать поставленіе его на мѣсто чисто-художественной критики, какъ опредѣлить мѣру и границы правильности этого правльнаго; въ чемъ, однимъ словомъ, заключаются законы этой критики?

Нельзя не видать, что на первый разъ представляется только беззаконіе.

Не говорю объ отсутствіи всякой соразмѣрности содержанія съ формою, хотя начинанія всего отъ яиць Леды, безъ сомнѣнія, пресытили всѣхъ и cadaго, въ томъ числѣ и самого меня, повиннаго во многихъ статьяхъ съ такими начинаніями, и тѣмъ болѣе имѣющаго право суда надъ фактомъ явной несоразмѣрности. Кто знаетъ сколько-нибудь по собственному опыту (и здѣсь я становлюсь адвокатомъ не своего дѣла, но дѣятельности энергическаго и даровитаго человѣка, память о великомъ художественномъ чувствѣ котораго, пламенной любви къ правдѣ и рѣдкой, самоотверженной неспособности природы устоять передъ правдою мысли — дороги мнѣ, не смотря на всю существенную разницу моихъ убѣжденій, нравственныхъ и общественныхъ съ его убѣжденіями) — кто знаетъ по собственному опыту, какъ легко затеряться мысли въ добросовѣстномъ отыскиваніи корней извѣстнаго явленія, какъ ближайшіе пласты поднимаемаго грунта соприкасаются съ дальнѣйшими, тотъ можетъ еще простить и, пожалуй, оправдать безобразіе формъ за добросовѣстность анализа.

Есть другое беззаконіе, гораздо существеннѣйшее, вслѣдствіе котораго слышится справедливое негодованіе на критику, переставшую быть чисто-художественною, и которымъ обусловлено желаніе ея возврата.

Явился взглядъ, который въ художественныхъ произведеніяхъ постоянно ищетъ преднамѣренныхъ теоретическихъ цѣлей, внѣ ихъ лежащихъ; варварскій взглядъ, который цѣнитъ значеніе живыхъ созданій вѣчнаго искусства по стольку, по скольку они служатъ той или другой,

поставленной теоріею, цѣли. Связь такой аномаліи съ засвидѣтельство-  
ваннымъ фактомъ несомнѣнна. Когда разсматриваешь искусство въ свя-  
зи съ существенными вопросами жизни, то не мудрено, при извѣстной  
степени страстности натуры, увлечься вихремъ этихъ вопросовъ до по-  
глощающаго всю жизнь сочувствія къ онимъ. Затѣмъ, болѣе мудрено,  
конечно, но возможно, при разившемся уже фанатизмѣ, насиловать въ  
себѣ любовь къ искусству и къ вѣчной правдѣ человѣческой души до  
подчиненія ихъ обаянію временнаго; при недостаткѣ же органическомъ,  
т. е. при отсутствіи чувства красоты и мѣры, чрезвычайно легко обра-  
тить искусство въ орудіе готовой теоріи. Въ двухъ первыхъ ошибкахъ  
могутъ быть виноваты и призванные критики, каковъ былъ покойный  
Вѣдинскій, и благороднѣйшіе представители мысли и даже самые вели-  
кіе художники, какъ Зандъ съ одной стороны и Гоголь съ другой; но  
последняго рода ошибка предполагаетъ или яростное тупоуміе, гото-  
вое на все, хоть бы, напр., на такое положеніе, что яблоко нарисованное  
никогда не можетъ быть такъ *вкусно*, какъ яблоко настоящее» и что  
«писанная красавица никогда не удовлетворитъ человѣка, какъ живая»,  
или показываетъ просто, что критика мѣшается не въ свою область, оста-  
вляя области ей свойственныя,—въ исторію, мораль, политическую эконо-  
мію и статистику, государственное право и психологію. Тѣмъ не ме-  
нѣе, въ послѣднее десятилѣтіе являлось множество статей, въ которыхъ  
фанатизмъ теоріи, желчное раздраженіе или яростное тупоуміе замѣни-  
ли всякое художественное пониманіе, всякое чувство красоты и мѣры.  
Мы видѣли, какъ ставила и низвергала критика кумиры и кумирчики,  
какъ влала она всю русскую литературу къ подножію одного, хоть и  
дѣйствительно превосходнаго, произведенія; видѣли, и видѣли недавно,  
какъ заданная напередъ мысль, вышедшая изъ самаго благороднаго  
источника, изъ страстной любви къ народу и къ народной жизни, ослѣп-  
ляла критика до того, что, обозрѣвая современную словесность нашу,  
онъ заблагоразсудилъ поставить на первомъ планѣ литературныя явле-  
нія, весьма мелко понимающія народную жизнь и народную сущность,  
и отстранить на задній планъ лучшія произведенія современнаго искус-  
ства.

Все это мы видѣли, все это мы до-сихъ-поръ видимъ, и понятно,  
что все это насъ пресытило; понятно, что поднялись голоса за художе-  
ственную критику, что многими начало дорого цѣниться поэтическое  
пониманіе и эстетическое чувство.

Да и въ самомъ дѣлѣ, двѣ вещи оказались несомнѣнными: *первое*,  
что только *рожденными* художественными произведеніями вносится но-  
вое въ жизнь, только въ плоть и кровь облеченная правда сильна, и

сильна притомъ такъ, что никакой теоретической критикѣ не удастся представить ее неправдою; свидѣтельство на лицо во всемъ новомъ: въ Островскомъ, Семейной Хроникѣ, Писемскомъ, Толстомъ; *второе*— то, что критика безъ поэтическаго пониманія не растолкуетъ никакихъ жизненныхъ вопросовъ художественнаго созданія, что ея толкованій жизнь и масса не принимаютъ, оставаясь при своемъ инстинктивномъ влеченіи къ прекраснымъ живымъ созданіямъ, и что, съ другой стороны, критикѣ, обнаруживающей какіе бы то ни было задатки поэтическаго пониманія, вѣрятъ, прощая ей даже ея увлеченія и недостатки.

Но тутъ и грань вопроса о чисто-художественной критикѣ. Требованіе ея въ настоящую минуту есть только отрицательное, и можетъ быть право только какъ отрицательное, какъ законное противодѣйствіе губительному фанатизму теоріи, или яростному тупоумію. Какъ только высказываются положительныя требованія во имя художественной критики, такъ они тотчасъ же впадаютъ въ одностороннія крайности. А всего-то забавнѣе, что подъ этими односторонними крайностями возрѣнія чисто-художественнаго все-таки сокрыты вопросы философскіе, общественные, историческіе, психологическіе. Поясню мысль примѣромъ, и довольно яркимъ. Въ послѣднее время, у критиковъ, взявшихъ въ основаніе чисто-художественную точку зрѣнія, вошло въ нѣкоторую манію говорить легкимъ тономъ о Зандѣ. Не ясно ли, что въ этой незаконной маніи съ законными причинами, маніи, порожденной какъ реакція бѣснованіемъ теоретиковъ, лежитъ на днѣ, подъ ярлыкомъ художественной точки зрѣнія, общественно-нравственная основа, болѣе уже англійская, чѣмъ французская, болѣе уже спокойная, чѣмъ тревожная, лежитъ любовь къ инымъ жизненнымъ идеаламъ, къ инымъ жизненнымъ созерцаніямъ. Или возьмемъ фактъ не столь крупный, но тоже въ своемъ родѣ знаменательный: не ясно ли, почему къ поэту, глубокому по чувству и искреннему, какъ слишкомъ немногіе изъ поэтовъ, къ Огареву, вдругъ и совершенно несправедливо охладѣла критика, принимающая чисто-художественную точку зрѣнія? Разумѣется, не по эстетическимъ основамъ, а по измѣнившемуся нравственному взгляду, или даже просто по нѣкоторому пресыщенію чувствомъ тоски и грусти. Это — дѣло ясное!

Не только въ каждомъ вопросѣ искусства, — въ каждомъ вопросѣ науки лежитъ на днѣ его вопросъ, плотію и кровію связанный съ существенными сторонами жизни, и только такіе вопросы науки важны, только въ такіе вопросы вносятъ плоть и кровь могучіе силами борцы. Человѣкъ столь великой души и великой жизненной энергіи, какъ Ломоносовъ, не писалъ бы доноса на Миллера за выводъ нашихъ Варяговъ изъ чужой земли, и не клалъ бы въ этотъ вопросъ души своей лю-

ди, какъ Шлецеръ, Карамзинъ, Погодинъ, если бы это былъ только ученый, а не живой вопросъ: *Родъ и община* не дѣлили бы такъ враждебно насъ всѣхъ, служащихъ знанію и слову, если бы корнями своими они не вросли въ живую жизнь. Борьба за мысль головную невозможна (развѣ только для Триссотина и Вадюса). Только за ту головную мысль борются, которой корни въ сердцѣ, въ его сочувствіяхъ и отвращеніяхъ, въ его горячихъ вѣрованіяхъ, или таинственныхъ, смутныхъ, но неотражимыхъ и какъ нѣкая сила могущественныхъ предчувствіяхъ! Вотъ почему вопросъ о безразличіи или отсутствіи народности въ знаніи точно такъ же не имѣетъ существеннаго содержанія, какъ требованія чисто-художественной точки въ критикѣ искусства.

Возвращаясь собственно къ вопросу о чисто-художественной критикѣ, должно прежде всего сказать, что такой чисто-художественной критики, т. е. критики, которая смотрѣла бы на явленія письменности, какъ на нѣчто замкнутое, цѣнила бы ихъ только эстетически, т. е. обсуживала бы, напримѣръ, планъ созданія, красоту или безобразіе подробностей въ ихъ отношеніи къ цѣлому и къ замыслу цѣлаго, любовалась бы архитектурой или рисункомъ произведенія, не только въ настоящую минуту нѣтъ, да и быть не можетъ. Какъ ни хотѣлъ бы критикъ, рожденный даже съ самымъ тонкимъ художественнымъ чутьемъ, стать на отрѣшенно-художественную точку, — живая, или, правильнѣе сказать, жизненная сторона созданія увлечетъ его въ положеніе невольнаго судьи надъ образами, являющимися въ созданіи, или надъ однимъ образомъ, выразившимся въ немъ своею внутреннею нравственною жизнію, если дѣло идетъ о кругѣ лирическихъ произведеній.

Позволяю сказать себѣ еще болѣе: критики отрѣшенно-художественной, чисто-технической, никогда и не было въ отношеніи къ произведеніямъ слова. Она возможна только въ отношеніи къ произведеніямъ пластики или звука, да и въ эти области критики искусства начинаетъ уже закрадываться развѣдающая мысль о значеніи въ искусствѣ созерцанія, о связи свободной повидимому кисти живописца, свободного рѣзца ваятеля, свободной мысли зодчаго съ общою мыслию ихъ эпохи, съ ея религіознымъ и нравственнымъ настроеніемъ; даже и въ критику искусства звуковъ нѣкоторые смѣлые люди начинаютъ вносить мысль о жизни музыканта, о душѣ человѣка.

Дурно это или хорошо, правильно это или неправильно? — возвращаясь я опять къ поставленному мною вопросу.

Для того, чтобы я имѣлъ право сказать, что это дурно и неправильно, укажите мнѣ въ исторіи критики народовъ блестящую минуту отрѣшенно-художественной критики.

Вы не найдете ея, конечно, въ исторіи критики англійской, всегда, отъ Джонсона и до нашихъ дней, до Маколея (статья его, напримѣръ, о Байронѣ), отправляющейся съ нравственной точки зрѣнія, за исключеніемъ философа-мечтателя Кольриджа и великаго мечтателя поэта-философа-историка-пророка Карлейля, которые оба тоже не могутъ быть названы поборниками отрѣшенно-художественной точки зрѣнія, и изъ которыхъ послѣдній есть творецъ совершенно новой критики, той, которую называю я, какъ читатели увидятъ въ концѣ моего разсужденія, критикою *органической*. Другіе же постоянно кладутъ или довольно узкую нравственную подкладку подъ свои статьи, или исключительно-народную, англійскую, какъ напримѣръ Джеффри, въ своей знаменитой статьѣ о Гётевскомъ «Вильгельмѣ Мейстерѣ».

Вы не найдете ея и въ критикѣ нѣмецкой, хотя никто больше нѣмцевъ не толковалъ объ отрѣшенно-художественной критикѣ.

Начнемте съ Лессинга (въ Славянскомъ происхожденіи котораго я, ей Богу, не виноватъ: онъ произошелъ отъ Славянской семьи совершенно помимо моего вѣдома), съ этого отца настоящей германской критики, и, можно сказать, дѣда настоящей германской литературы, съ этого человѣка, въ которомъ художническое чутье развилось на счетъ художественнаго таланта, въ которомъ критикъ убилъ поэта, но за то сталъ идеаломъ критика, и въ которомъ не знаешь по истинѣ, чему болѣе дивиться—тонкости ли чутья, или ясности пониманія. Величайшая заслуга Лессинга въ томъ, что онъ разбилъ своимъ «Лаокоономъ» идею о приложимости къ произведеніямъ искусства словеснаго той же мѣрки, которая прилагается къ произведеніямъ пластическимъ, идею Винкельманна. Художественныя тонкости, которыхъ онъ былъ глубочайшій знатокъ и которыми дорого всякому истинному художнику его безсмертное твореніе, суть только оболочка живой мысли, жизненно-нравственнаго вопроса. Принципъ красоты въ движеніи, принятый имъ для искусствъ словесныхъ, со всѣми послѣдствіями изъ этого принципа проистекающими, въ противоположность принципу красоты въ установленныхъ, успокоивающихъ моментахъ, не есть результатъ однихъ умственныхъ соображеній, а формула, въ которой выразилась вся сущность его нравственной природы, дѣло его сердца, его страстей столько же, какъ и дѣло его ума, протестъ новаго противъ исключительно-античнаго, германскаго начала противъ романизма.

Но и въ солнцѣ есть пятна, и въ великомъ Лессингѣ былъ недостатокъ. Natura, живая до того, что на каждомъ шагу она переходила изъ созерцательной въ практическую,—критикъ до возможности художника (Эмилія Галотти, миссъ Сара Симпсонъ, Наанъ Мудрый), жаркій по-

Карлейль  
Гёте  
органической  
критики

клонникъ той зари, которая во второй половинѣ XVIII вѣка занялась свѣтло и радостно подъ видомъ Aufklärung и окончилась багровымъ заревомъ пожара, весь полный надеждъ и горячихъ вѣрованій, онъ видитъ въ своемъ настоящемъ послѣднія формы красоты и правды.

И вотъ почему другой, столь же великій и призванный критикъ, только съ инымъ призваніемъ, возстаетъ противъ тонкостей его «Лаокоона» не менѣе удивительными тонкостями, противъ его исполнскихъ знаній своими исполнскими же знаніями. Смыслъ полемики Гердера противъ Лессингова «Лаокоона» опять таки есть смыслъ живой, а не научный: борьба была и здѣсь не за мысль головную, а за мысль сердечную.

Человѣкъ настоящаго и будущаго, Лессингъ мало уважалъ красоту прошедшаго, которая такъ дорога была Гердеру, обнимающему своею любовію всѣ памятники первобытной жизни народовъ. Гердеръ вводитъ чувство массы, притупленное и пресыщенное искусственнымъ и условнымъ, въ пониманіе непосредственнаго, народнаго и первобытнаго, вводитъ, такъ сказать, въ наслажденіе запахомъ и цвѣтомъ прошедшей, не мертвой, а вѣчно живущей жизни, посвящая современниковъ въ міросозерцаніе, въ жизнь, породившую эти свѣжіе, могучіе отзывы. Чтобы дать имъ вкусить всю красоту первобытной поэзіи, онъ ведетъ ихъ въ пастушьи шалаши первозданнаго міра, заставляетъ ихъ прежде всего понять, какъ самое небо представляется юному человѣку шатромъ великаго Домовладыки, и это великое дѣло совершаетъ въ эпоху господства самыхъ порывистыхъ, самыхъ разъединенныхъ съ прошедшимъ стремленій.

Трогательно, соображая всѣ обстоятельства эпохи, видѣть, какъ робко, уклончиво, въ нашемъ смыслѣ странно — приступаетъ онъ къ подвигу въ своихъ первыхъ разговорахъ «О духъ еврейской поэзіи». Увы! онъ вынужденъ еще защищать *пользу* изученія первобытнѣйшей и возвышеннѣйшей поэзіи! И какъ слышится, что вопросъ есть его сердечное, его кровное дѣло! Съ этимъ вопросомъ слиты его вѣрованія въ прошедшее, въ исторію, въ цѣлость человѣчества: этотъ вопросъ развернется, въ послѣдующей его дѣятельности, стремленіями обнять всѣ народы міра любовію, привѣтствовать всѣхъ ихъ ихъ-же простодушными и могучими голосами (Stimmen der Völker in Liedern) и наконецъ успокоиться въ цѣльномъ, широкое созерцаніи судебъ человѣчества (Ideen zur Geschichte der Menschheit).

Технической критикѣ нѣтъ и у второго величайшаго критика Германіи, хотя разумнѣе техники у него столь же тонкое и изощренное, какъ у перваго, а чутье, если и не столь пронизательно и отчетливо, за то шире объемомъ.



сколько могъ, уже развивалъ ее въ письмѣ къ А. С. Х. «О правдѣ и искренности въ искусствѣ», напечатанномъ въ III-й книгѣ «Русской Бесѣды» за прошлый годъ, да здѣсь и нѣтъ намъ прямого дѣла до сущности искусства. Дѣло въ томъ, что сущность эта *раскрылась* намъ совершенно иначе, нежели раскрыта была прежде.

Вообще, уже иначе нежели прежде раскрылась намъ сущность всего того, что называется идеальнымъ.

Мы перестали вѣрить, чтобы идеальное было нѣчто отъ жизни отвлеченное. Мы знаемъ всѣ, какъ знаетъ даже Печоринъ, что идея есть явленіе органическое, что она носится въ воздухѣ, которымъ мы дышемъ, что она имѣетъ силу, крѣпкую какъ обоюдоострый мечъ. Все идеальное есть ни что иное, какъ ароматъ и цвѣтъ реальнаго. (Но, разумѣется, не все реальное есть идеальное, и въ этомъ-то сущность различія возрѣнія идеальнаго отъ панъеистическаго). Мы въ исторіи добрались до того, что борьбу гальскаго племени съ франкскимъ видимъ, и видимъ вѣрно и осязательно, въ событіяхъ послѣдней половины XVIII столѣтія, совершившихся, повидимому, чисто подъ вліяніемъ идей. Мы во всемъ стараемся ухватить, и во многомъ уже ухватили, живое тѣло съ его больными мѣстами. Одна мысль проникаетъ всѣ стремленія вѣка научныя или художественныя: созданія Вальтера Скотта, который слѣдитъ, какъ нѣчто живое, борьбу Англосаксовъ и Норманновъ въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ, и созданія Тьерри и Маколея, — да и напрасно еще разграничиваемъ мы такъ рѣзко эти созданія.

Только то живо и дорого въ наукѣ, что есть плоть и кровь; только то вносится въ сокровищницу души нашей, что приняло художественный образъ: все другое есть необходимая, конечно, но черновая работа. Какъ скоро знаніе вырѣтеть до жизненной полноты, оно стремится принять литыя художественныя формы: есть возможность художественной красоты даже въ логическомъ развитіи отвлеченной мысли, когда въ самой мысли есть начало плоти и крови. Не указываю на творенія, завѣщанныя намъ древностью. Поэтическая, страстная и тревожная, или величавая, спокойная и мѣрная, струя бѣжитъ по многимъ страницамъ, не говорю уже поэта Карлейля и великихъ художниковъ Тьерри и Маколея, но по абстрактной феноменологіи Гегеля, но по строго-логическому, почти неизслѣдимому въ своемъ отвлеченномъ развитіи изложенію Шеллинга.

Велико значеніе художества. Оно одно, не устану повторять я, внести въ міръ новое, органическое, нужное жизни. Для того, чтобы въ мысль повѣрили, нужно, чтобы мысль приняла тѣло; и съ другой стороны, мысль не можетъ принять тѣла, если она не рождена, а сдѣлана

искусственно. Мысль, сдѣланная по частямъ, подобна Гомункулусу Вагнера: мысль, случайнымъ напряженіемъ порожденная, хотя бы и могучей натурой была порождена она, — Эвфоріону Фауста; и таковъ, кажется, простѣйшій смыслъ этихъ фигуръ во второй части Фауста.

Мы равно не вѣримъ теперь какъ въ неопредѣленное вдохновеніе, порождающее мысль облеченную въ плоть, т. е. созданіе искусства, такъ и въ то, чтобы по частямъ слагалась живая мысль; т. е. не вѣримъ и въ одно личное творчество, да не вѣримъ и въ безучастное, безличное.

Вдохновеніе есть, но какое?

Художникъ прежде всего человекъ, т. е. существо изъ плоти и крови, потомокъ такихъ или другихъ предковъ, сынъ известной эпохи, известной страны, известной мѣстности страны, конечно, наиболее даровитый изъ всѣхъ другихъ своихъ собратьевъ, наиболее чуткій и отзывчивый на кровь, на мѣстность, на исторію, — однимъ словомъ, онъ принадлежитъ къ известному типу, и самъ есть полнѣйшее или одно изъ полнѣйшихъ выраженій типа; да, кромѣ того, у него есть своя, личная натура и своя личная жизнь; есть, наконецъ, сила ему данная, или, лучше сказать, самъ онъ есть великая зидительная сила, дѣйствующая по высшему закону. Въ тѣ минуты, когда по зову сего закона

Въжить онъ, дикій и суровый,  
И звуковъ и смятенья полнь,  
На берега пустынныхъ волнь,  
Въ широкошумныя дубровы,

въ тѣ минуты, когда у него

холодъ вдохновенья  
Власы подьметъ на челѣ,

совершается съ нимъ дѣйствительно нѣчто таинственное. Но эти минуты, въ которыя, по слову одного изъ таковыхъ, не Богъ знаетъ какъ надѣленныхъ силами, но глубокихъ и искренныхъ, «растаять бы можно», въ которыя «легко умереть», — подготовлены можетъ быть множествомъ наблюдений, раскрывавшихъ прозорливому наблюдателю смыслъ жизни, хотя никогда не преднамѣренныхъ, и душевныхъ страданій. Когда запасъ всего этого нагочится до известной нужной мѣры, тогда нѣкая молнія освѣщаетъ художнику его душевный миръ и его отношенія къ жизни, и начинается творчество. Оно и начинается и совершается въ состояніи дѣйствительно близкомъ къ ясновидѣнію, но и въ это состояніе художникъ вноситъ всѣ Богомъ данныя ему средства: и свой общій типъ, и свою мѣстность, и свою эпоху, и свою личную жизнь; однимъ словомъ, и тутъ онъ творить не одинъ, и творчество его не есть только

*Крочева  
Мухоморова*

личное, хотя, съ другой стороны, и не безличное, не безъ участія его души совершающееся.

По этому-то и художество есть дѣло общее, жизненное, народное, даже мѣстное. Какъ же мы отнесемъ къ нему съ равнодушною техникой?—этого нельзя!

Съ другой стороны, сама критика, со временъ Лессинга, получила иное значеніе въ жизни.

*Какъ  
критика  
должна  
относиться  
къ художеству*

Критика (я разумю здѣсь настоящаго, призваннаго критика, а таковыхъ было немного) есть половина художника, можетъ быть даже въ своемъ родѣ тоже художникъ, но у котораго судищая, анализирующая сила перевѣшиваетъ силу творящую. Вопросы жизни, ея тайныя стремленія, ея явныя болѣзни—близки впечатлительной организаціи критика, такъ же какъ творящей организаціи художника. Выразить свое созерцаніе въ полномъ и дѣльномъ художественномъ созданіи онъ не въ силахъ; но, обладая въ высшей степени отрицательнымъ сознаниемъ идеала, онъ чувствуетъ (не только знаетъ, что гораздо важнѣе), гдѣ что не такъ, гдѣ есть фальшь въ отношеніи къ міру души или къ жизненному вопросу, гдѣ не досоздалось или испорчено ложью воссозданіе живого отношенія.

Всякій ударъ въ живую жилу современности, производимый художественнымъ созданіемъ, отозвавшись въ его сердцѣ, прояснивши для него его собственныя предчувствія, сообщивши плоть и кровь его логическимъ выводамъ, отражается потомъ въ его дѣятельности дѣльнымъ рядомъ поясненій, толкованій, развитій живой мысли, вырванной изъ сердца жизни поэтическимъ творчествомъ.

Что художество въ отношеніи къ жизни, то критика въ отношеніи къ художеству: разъясненіе и толкованіе мысли, распространеніе свѣта и тепла, таящихся въ прекрасномъ созданіи. Естественно поэтому, что, связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, рассматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, критика углубляется въ самый жизненный вопросъ. Ибо, иначе, что же ей дѣлать? Исполнять весьма мизерное назначеніе, т. е. указывать на технические промахи? Но свои технические промахи каждый художникъ *самъ* непременно знаетъ, ибо великаго художества безъ великаго разума я не понимаю, да и критикъ, поколику онъ есть существо мыслящее и чувствующее, и поколику пульсъ его бьется въ одинъ тактъ съ пульсомъ эпохи, знаетъ, что такъ называемые технические промахи художника (разумѣется, рѣчь идетъ о художникѣ серьезномъ, а не о борзописцѣ и поставщикѣ товаровъ на литературный рынокъ) происходятъ изъ какого-либо нравственнаго источника, изъ несовершенно

прямого и ясного отношенія къ вопросу. Въ этихъ промахахъ выражаются или неполнота взгляда на жизнь, или колебаніе его, или смутное, но упорное предчувствіе иного разрѣшенія психологическаго или общественнаго вопроса, не похожаго на обычныя разрѣшенія. Душа художника весьма часто не подчиняется ни такому обычному разрѣшенію, ни сухому логическому выводу, ищетъ болѣе жизненнаго исхода и позволяетъ себѣ въ созданіи сдѣлать техническій промахъ, въ видѣ намека на какое-то особенное рѣшеніе.

Критикъ въ такомъ и въ подобныхъ этому случаяхъ обязанъ только засвидѣтельствовать фактъ съ точки, указанной художническимъ намекомъ, и затѣмъ имѣетъ право опять пойти путемъ жизненнаго вопроса, т. е. можетъ углубляться въ корни, въ причины того, почему не полно разрѣшенъ вопросъ, или почему уклонилось отъ обычнаго рѣшенія искусство, которое одно имѣетъ право и полномочіе разрѣшать, т. е. воплощать вопросы. Тѣмъ болѣе долженъ идти такимъ путемъ критикъ, что обязанъ помнить, какъ техническія требованія, требованія вкуса въ разныя эпохи измѣнялись, какъ многое, что современники считали у великихъ мастеровъ ошибками, потомки признали за достоинства, и наоборотъ.

Естественно также, что, когда произведенія второстепенныя, говоря геологически: вторичнаго образованія, правильно или неправильно развиваютъ задачи, перешедшія къ нимъ отъ рожденныхъ созданій искусства, или когда задѣваютъ они еще не тронутыя стороны жизненнаго вопроса, критика или возводитъ ихъ къ настоящимъ источникамъ, къ идеямъ первостепенныхъ произведеній, и говоритъ о нихъ не иначе, какъ связывая съ сими послѣдними, или, силами отрицательными, ей данными, борется съ ихъ ложью въ поставленіи и разрѣшеніи живыхъ вопросовъ. Въ этомъ случаѣ, не будучи въ силахъ создать сама ясное художественное представленіе вопроса (единственная форма его разрѣшенія), критика дѣлаетъ по-крайней-мѣрѣ то, что можетъ, указывая, почему жизненно-художественный вопросъ поставленъ или разрѣшенъ неправильно.

На это она имѣетъ полномочіе, ибо пульсъ ея бьется въ одинъ тактъ съ пульсомъ жизни, и всякая разладица съ этимъ тактомъ ей слышна. Только руководить жизнью она не можетъ, ибо руководить жизнью единственное творчество, этотъ живой фокусъ высшихъ законовъ самой жизни.

Такое значеніе критики, какъ одной изъ жизненныхъ силъ, было бы совершенно несовмѣстно съ понятіемъ о чисто-техническихъ задачахъ.

Критикъ  
вторичнаго  
образованія

## IV.

И такъ, нѣтъ, повидимому, ни малѣйшаго сомнѣнія, что господствующею и единственно-важною по значенію остается въ наше время критика, которой присвоено названіе исторической.

Между тѣмъ, недостатки, обнаружившіеся въ наше же время въ этой единственной, имѣющей важность и значеніе, критикѣ, вызвали требованіе критики художественной.

Положимъ, что устранится еще какъ-нибудь внѣшній недостатокъ: безобразіе формъ, — хотя трудно представить себѣ, чтобы онъ устранился безъ радикальной перемѣны самого метода; предположимъ также, что внутренній недостатокъ, заключающійся въ поставленіи искусства орудіемъ теорій, служебнымъ органомъ внѣшнихъ цѣлей, не лежитъ въ сущности исторической критики, а принадлежитъ къ уклоненіямъ ея отъ истинныхъ началъ. Все-таки остается въ ней порокъ существенный, съ самыми началами связанный, порокъ, отъ котораго и происходятъ оба ея недостатка, внѣшній и внутренній.

Этотъ порокъ есть порокъ самого такъ называемаго историческаго воззрѣнія.

На днѣ этого воззрѣнія, въ какія бы формы оно ни облегалось, лежитъ совершенное равнодушіе, совершенное безразличіе нравственныхъ понятій. Таковое сопряжено необходимо съ мыслію о безграничномъ развитіи, развитіи безначальномъ, ибо историческое воззрѣніе всякое начало отъ себя скрываетъ, и безконечномъ, ибо идеаль постоянно находится въ будущемъ (im Werden). Безотраднѣйшее изъ созерцаній, въ которомъ всякая минута міровой жизни является переходною формою къ другой, переходной же, формѣ; бездонная пропасть, въ которую стремглавъ летитъ мысль, безъ малѣйшей надежды за что-либо ухватиться, въ чемъ-либо найти точку опоры.

И такъ какъ человѣческой натурѣ, при стремленіи ея къ идеалу, врождено непремѣнное же стремленіе вообразять себѣ идеаль въ какихъ-либо видимыхъ формахъ, то мысль невольно становится тутъ нелогичною, невольно останавливаетъ безгранично-несущее будущее на какой-либо минутѣ и говорить, какъ Гегель: *hic locus, hic saltus*. Вотъ тутъ-то, при такой произвольной остановкѣ, начинается ломка всего прешедшаго по законамъ произвольно выбранной минуты; тутъ-то и совершается, на примѣръ, то, удивительное по своей непослѣдовательности, явленіе, что человѣкъ, провозгласившій законъ вѣчнаго развитія, останавливаетъ все развитіе на германскомъ племени, яко на крайнемъ его

предѣлѣ; тутъ-то и начинается деспотизмъ теоріи, доходящій до того, что все прошедшее человѣчество, не жившее по теоретическому идеалу, провозглашается чуть-чуть-что не въ вѣрномъ состояніи или, по крайней-мѣрѣ, въ вѣчно переходномъ. Душа человѣка, всегда единая, всегда одинаково стремящаяся къ единому идеалу правды, красоты и любви, какъ будто забывается. Отвлеченный духъ человѣчества съ постепенно расширяющимся сознаниемъ поглощаетъ ее въ себя. Последнее слово этого отвлеченнаго бытія, яснѣйшее его сознание есть готовая къ услугамъ теорія,—хотя, по сущности воззрѣнія (если бы въ человѣческихъ силахъ было быть вѣрнымъ такому воззрѣнію) выходить, что и это яснѣйшее воззрѣніе поглотится еще яснѣйшимъ, и т. д., до безконечности.

Неисчислимыя, мучительнѣйшія противорѣчія порождаются таковымъ воззрѣніемъ.

Выходя изъ принципа стремленія къ безконечному, оно кончаетъ грубымъ материализмомъ; желая объяснить общественный организмъ, скрываетъ отъ себя и отъ другихъ въ непроницаемомъ туманѣ точку его начала—бытіе человѣчества, пока оно не развѣтвилось на народы; требуя специализма, уничтожаетъ безграничностью обобщенія вопросовъ возможность всякаго спеціальнаго изслѣдованія.

И все это происходитъ отъ того, что вмѣсто дѣйствительной точки опоры—души человѣческой, берется точка воображаемая, предполагается тѣмъ-то дѣйствительнымъ отвлеченный духъ человѣчества. Ему, этому духу, отправляются требы идольскія, приносятся жертвы неслыханныя, жертвы незаконныя, ибо онъ есть всегда кумирь, поставляемый произвольно, всегда только теорія.

Вотъ существенный порокъ историческаго воззрѣнія, и вотъ существенный же порокъ такъ-называемой исторической критики. Она по существу воззрѣнія не имѣетъ критериума и не вноситъ въ созерцаемое свѣта идеала,—а, съ другой стороны, по невозможности (обусловленной человѣческою природою) жить безъ идеала и обходиться безъ критериума, создаетъ ихъ произвольно и прилагаетъ беспощадно.

Когда идеалъ лежитъ въ душѣ человѣческой, тогда онъ не требуетъ никакой ломки фактовъ: онъ ко всѣмъ равно приложимъ и всѣ равно судить. Но когда идеалъ поставленъ произвольно, тогда онъ гнетъ факты подъ свой уровень. Сегодняшнему кумиру приносится въ жертву все вчерашнее, тѣмъ болѣе все третьегодншнее, и все представляется только ступенями къ нему. Прилагая это положеніе къ исторіи нашихъ критическихъ воззрѣній, не мудрено понять, на примѣрѣ, въ силу чего Гоголю становится монументъ на обломкахъ статуи Пушкина, въ силу

чего завтра столкнуть Гоголя и скажутъ ему, какъ предви наши Перуну: «выдыбай боже, выдыбай!»—въ силу чего всякая статья бывалыхъ годовъ начиналась съ постоянного уничтоженія всей литературы въ пользу одного кумирчика. Все это было и есть ни что иное, какъ послѣдовательно проведенное историческое воззрѣнiе, въ крайнемъ и наиболѣе послѣдовательномъ проявленiи его, въ Гегелизмѣ.

Собственно говоря, словомъ: *историческая школа, историческое направление*, обозначается нѣчто другое; ни Савиньи, ни Тьерри, напримѣръ, не дѣлаютъ историческаго воззрѣнiя въ вышеозначенномъ смыслѣ; но имъ, какъ и другимъ подобнымъ художественнымъ натурамъ, въ наукѣ должно быть приписано не историческое воззрѣнiе, а *историческое чувство*. Это чувство еще не вызрѣло до полнаго, всеохватывающаго принципа и само не можетъ успокоиться на принципѣ произвольно поставленномъ; оно есть непосредственное, пѣлому вѣку данное и въ даровитѣйшихъ представителяхъ развитое до тонкости, но еще не формулированное. Историческое воззрѣнiе, въ той логической послѣдовательности, въ какой приведено оно выше, есть одна изъ попытокъ опредѣлить, узаконить, формулировать эту новую силу, открывшуюся въ концѣ послѣдняго столѣтiя, силу, открытiе которой въ мiрѣ разумнiя столь же важно по своимъ послѣдствiямъ, какъ открытiе Фальтона въ мiрѣ матеріальнаго благосостоянiя.

Но открытiе этой силы нисколько не есть прозрѣнiе отвлеченнаго духа человѣчества и нисколько не подвигаетъ души человѣка къ нравственному, т. е. *цѣльному* совершенству. Для души всегда существуетъ единый идеаль, и душа развиваться не можетъ. Развивается, т. е. обогащается новыми точками зрѣнiя и богатствомъ данныхъ,—мiръ ея опыта, мiръ ея знанiя; но обогащенiе и расширенiе этого мiра не подвигаетъ души къ правдѣ, красотѣ и любви, независимо отъ собственныхъ ея стремленiй, тогда какъ по историческому воззрѣнiю, проведенному послѣдовательно, каждая новая минута прогресса должна быть новымъ, отъ стремленiй души независимымъ, торжествомъ идеи, т. е. духа. И такъ какъ кто-то весьма справедливо замѣтилъ, что для говорящаго: «все вздоръ въ сравненiи съ вѣчностью», самая вѣчность есть вздоръ, то очевидно, что въ сущности историческаго воззрѣнiя лежитъ совершеннѣйшее безразличiе нравственное, соединенное съ фатализмомъ, по которому ничто, ни народы, ни лица не имѣютъ своего *замкнутого, самоотвѣтственнаго* бытiя и являются только орудiями отвлеченной идеи, преходящими, призранными формами.

Самое *чувство* историческое нисколько неисчерпано этой ложной формулой. Чувство, пока оно не перейдетъ въ слѣпое, рабское пристрастiе, всегда справедливо, какъ указатель новыхъ сторонъ жизни.

Историческое чувство открылось как реагентъ противъ ломки всего существующаго и существовавшаго, обнаружилось какъ боль отъ прикосновенія хирургическаго инструмента къ живому тѣлу. Это было въ послѣдней четверти XVIII столѣтія.

Едва ли нужно напоминать о тѣхъ странныхъ симптомахъ, которые открылись при первомъ приближеніи ножа теоріи къ живымъ народнымъ организмамъ, сложившимся въѣками. Споры нѣтъ, что болѣзненные наросты образовались на этихъ тѣлахъ; споры нѣтъ, что покрылись мохомъ или даже оаменѣли многіе изъ этихъ наростовъ:—но историческіе организмы отозвались въ часъ своего разрушенія, ибо въ нихъ, хотя и покрытыхъ отвердѣлыми или поросшими мохомъ струцьями, таилась жизнь посильнѣе жизни личной мысли, личной теоріи—и вотъ явилась реакція, отпоръ всѣхъ живыхъ элементовъ, выразившійся рѣзко и безобразно въ романтизмъ, законно и правильно въ исторической школѣ, дико въ Гёрресѣ (не смотря на безспорное глубокомысліе этого философа реакціи), въ Овербекѣ, въ романтикахъ-поэтахъ, полно и жизненно въ Вальтерѣ Скоттѣ, въ Августинѣ Тьерри.

Всѣ сіи явленія, какъ отрицательныя, такъ и положительныя, произошли вслѣдствіе пробужденія историческаго чувства. Историческое же чувство пробудилось въ свою очередь вслѣдствіе того, что коснулись живыхъ мѣстъ ножомъ теоріи. Пока идея *der Aufklärung* развивалась только въ умственномъ мірѣ, явленія реакціи не могли быть столь рѣзки, хотя Гердеръ уже носитъ въ себѣ историческое чувство. Пока продолжалось еще упоеніе, произведенное первымъ торжествомъ теоріи надъ жизнью, явленія реакціи ни были еще сознательны, хотя сумеречное мерцаніе, сообщающее поэтической колоритъ дѣятельности Шатобриана, граничить уже съ утреннею зарею историческаго чувства, и весь этотъ замѣчательный писатель есть не что иное, какъ его Рене, отравленный настоящимъ и глубоко, хотя безнадежно и безсознательно, грустящій по прошедшему. Всѣ явленія, какъ предварительныя и тревожно-смутныя, такъ и послѣдовательно-противуположныя и рѣзко опредѣленныя, суть обнаруженія новой силы, *силы историческаго чувства*.

Эта сила открылась, эта сила дѣйствуетъ, отъ нея некуда уйти сознанию, да и незачѣмъ уходить. Пусть не удалась ея формула, т. е. историческое воззрѣніе,—это ничего не значить. Можетъ быть, еще нѣсколько попытокъ формулированія не удадутся, какъ не удалось даже Шеллингу формулировать окончательно; но зато этотъ Платонъ новаго міра разбилъ старую формулу, и она рухнула въ бездну подъ молотомъ его логики.



Нѣтъ ея и у братьевъ Шлегелей, которыхъ, несмотря на всѣ ихъ странности, никоимъ образомъ нельзя миновать, говоря о германской критикѣ. Они *разумѣли* Шекспира и *открыли* Кальдерона; но самое предпочтеніе Кальдерона, такъ очевидное въ нихъ, въ особенности въ Фридрихѣ, связано съ ихъ искусственнымъ католичествомъ и подогрѣтымъ романтизмомъ, а искусственное католичество и подогрѣтый романтизмъ съ вопросами плоти и крови!

Наконецъ, новые германскіе критики, наиболѣе извѣстные (какъ напримѣръ Гервинусъ), идутъ вовсе не по пути отрѣшенно-художественной критики, и преимущественно стремятся (и не всегда, надобно сказать, успѣшно) пояснять геній того или другаго поэта общою жизнію его эпохи, и вмѣстѣ вывести исторію его произведеній изъ исторіи его души.

Минуту господства отрѣшенно-художественной критики найдете вы едва ли не въ одной исторіи критики французской, той самой критики, изъ-подъ устарѣвшей опеки которой освободили мышленіе Лессингъ и Гердеръ, дружно, хотя и не преднамѣренно, хотя и въ нѣкоторомъ полемическомъ отношеніи между собою, совершившіе великое дѣло замѣны критики формъ критикою духа созданій. Точно: въ Баттѣ, въ Ролленѣ (*Traité des études*), въ толкахъ академіи французской по поводу Корнелева «Сида», пожалуй въ толкахъ итальянской академіи della Crusca, найдете вы много разсужденій о планѣ созданій, о соразмѣрности частей, и т. п.

Но *во первыхъ*, эти разсужденія бесполезны и для художниковъ, которые—если только они художники истинные—сами родятся съ чувствомъ красоты и мѣры, а если не истинные, то никакими толками не втолкуете имъ чувства красоты и мѣры.

*Во вторыхъ*, эти разсужденія бесполезны и для массы, которой они нисколько не уясняютъ смысла художественныхъ произведеній и которую нисколько не приближаютъ къ ихъ пониманію, къ проникновенію ихъ содержанія и къ оживотворенію себя ихъ содержаніемъ,—а въ этомъ, безъ всякаго сомнѣнія, заключается важнѣйшее назначеніе критики.

Кромѣ того, всѣ такіа разсужденія суть въ сущности ни что иное, какъ повтореніе мыслей древнихъ, писавшихъ о поэзии и краснорѣчій, древнихъ, которыхъ міросозерцаніе сводилось все, кромѣ прозрачныхъ гаданій божественнаго Платона, въ красоту формъ, и которые притомъ, сами наивные, непосредственные, синтетическіе, слишкомъ мало жили жизнію анализа для того, чтобы вникать въ духъ своего, какъ они же сами, наивнаго, непосредственнаго, синтетическаго искусства, да и не имѣли въ этомъ никакой нужды, ибо искусство шло у нихъ рука объ

руку, въ ничѣмъ невозмущаемомъ слияніи, съ религіозными празднествами (*трагедія*), съ общественными играми (*лиризмъ*), съ воспоминаніями вѣчно-живыми о предкахъ и единствѣ эллинскаго племени (*эпосъ*), съ великими борьбами отчизны (*исторія*), съ интересами агоры (*комедія*). Древняя критика имѣла задачей растолковывать только красоту своего искусства, не имѣя нужды посвящать въ духъ его, въ его созерцанія, тождественныя съ созерцаніями самаго народа. Есть нѣчто праздничное, нѣчто ликующее въ древнемъ греческомъ искусствѣ,—и комедія Аристофана, послѣднее, заключительное слово его, есть горькій плачъ по разбитомъ анализомъ единствѣ созерцанія и жизни. Замѣчательно, что въ приложеніи къ Аристофану уже недостаточна отрѣшенно-художественная критика (отчасти даже и въ отношеніи къ Еврипиду). Взглядъ Аристофана на жизнь, какъ уже разъединенный съ жизнію, какъ уже поставившій идеаль свой не въ центрѣ ея, не въ настоящемъ, а внѣ ея, въ прошедшемъ, долженъ уже быть объясняемъ. Его отношенія къ лицамъ, имъ создаваемымъ, нуждаются въ оправданіяхъ, тогда какъ ни въ какихъ оправданіяхъ не нуждаются Гомеровъ эпосъ, или Эсхилова и Софоклова трагедія.

Въ новомъ мірѣ, съ самаго начала своего разъединеніемъ, отношеніе мысли къ произведеніямъ искусства не могло и не можетъ остаться спокойно техническимъ. Нельзя взять на себя сказать: дурно это или хорошо? Кто-то изъ англійскихъ мыслителей прошлаго столѣтія, кажется Браунъ, высказалъ мысль, остроумную по формѣ выраженія, глубокую по смыслу. «Положимъ, что въ сравненіи съ древними, мы и карлики—говорить онъ—но карликъ на плечахъ гиганта видитъ болѣе, нежели самъ гигантъ.» Нашъ взглядъ на искусство расширился тѣмъ, что привелъ искусство въ связь съ жизнію. Критика новая, т. е. не повторяющая задовъ, не могла быть и не была отрѣшенно-художественною.

### III.

Еще менѣе въ настоящую минуту критика можетъ обратиться въ чисто-техническую. И сущность искусства раскрылась намъ такъ, что не подлежитъ уже суду чистой техники, и значеніе критики опредѣлилось безповоротно.

Что касается до искусства, то оно всегда остается тѣмъ же, чѣмъ предназначено быть на землѣ, т. е. идеальнымъ отраженіемъ жизни, *положительнымъ*, когда въ жизни нѣтъ разъединенія, *отрицательнымъ*, когда оно есть. Развивать эту мысль я считаю здѣсь излишнимъ, ибо,

Валюва  
1849

Вотъ почему слова сего величайшаго изъ мірскихъ мыслителей до-  
зволилъ я себѣ избрать эпитафіомъ къ моему разсужденію.

Высшее значеніе формулы Шеллинга, по скольку обозначается она  
въ доселѣ изданныхъ послѣднихъ его сочиненіяхъ, заключается въ томъ,  
что всему: и народамъ, и лицамъ, возвращается—ихъ *цѣльное самоот-*  
*вѣтственное* значеніе, что разбить кумиръ, которому приносились тре-  
бы идольскія, кумиръ отвлеченнаго духа человѣчества и его развитія.

Развиваются—если можно уже употребить теперь это слово—народ-  
ные организмы, нося въ себѣ слѣды болѣе или менѣе отдаленной при-  
надлежности къ первоначальному единству рода человѣческаго, единству  
не отвлеченному, моменту необходимо существовавшему.

Каждый таковой организмъ, такъ или иначе сложившійся, таеъ или  
иначе видоизмѣнившій первоначальное преданіе въ своихъ преданіяхъ  
и вѣрованіяхъ, вноситъ свой органическій принципъ въ міровую жизнь.  
Естественно, что нѣсколько таковыхъ *однородныхъ* организмовъ, имѣя  
сходство въ однородности принциповъ, образуютъ циклы древняго, сред-  
няго, новаго міра.

Каждый таковой организмъ самъ въ себѣ замкнутъ, самъ по себѣ  
необходимъ, самъ по себѣ имѣетъ полномочіе жить по законамъ, ему  
свойственнымъ, а не обязанъ служить переходною формою для другого;  
единство же между этими организмами, единство неизмѣненное, никакому  
развитію не подлежащее, отъ начала одинаковое, есть правда души  
человѣческой.

Чистѣйшая форма ея, хранившаяся подъ спудомъ еврейства, смутно-  
доступная интуитивной силѣ души, опережавшей иногда многосложную  
операцию политеизма, и, наконецъ, во плоти пришедшая въ міръ,—иде-  
аль, однимъ словомъ,—пребывала и пребываетъ отъ вѣка.

Онъ есть вѣчная правда, неизмѣнный критеріумъ различенія добра  
и зла, права и не-права. Не онъ, стало быть, невѣчная правда судится  
и измѣряется вѣками, эпохами и народами, а вѣка, эпохи и народы су-  
дятся и измѣряются по мѣрѣ хранения вѣчной правды души человѣче-  
ской и по мѣрѣ приближенія къ ней.

## V.

Вотъ то, что уже, можно сказать, завоевано у историческаго воззрѣ-  
нія и притомъ завоевано при посредствѣ того же историческаго чув-  
ства, которое неправильно, незаконно формулировано историческимъ  
воззрѣніемъ. Что само это чувство указало здѣсь на незаконность, это

едва ли требуютъ большихъ доказательствъ. Доказательство наилучшее— въ тѣхъ крайностяхъ, до которыхъ дошла теорія, въ тѣхъ безпрестанныхъ противорѣчійхъ, въ которыя она впадала на нашихъ глазахъ въ своей исторической критикѣ.

Историческая критика искусства родилась подъ вліяніемъ историческаго чувства и подчинилась вліянію историческаго воззрѣнія. *Пріемъ* ея совершенно правильный, какъ нѣчто непосредственно ей данное; *выводы*—совершенно ложны, какъ подчиненные неправильной формулѣ.

Первая и главная ложь ея состояла въ мысли, *что въ каждой ложь есть часть истины*; или иначе, *что каждая ложь есть форма истины*; или, наконецъ, еще проще, *что каждая ложь есть относительная истина*.

Прямое послѣдствіе такого положенія есть, конечно, то, *что нѣтъ истины абсолютной* (при идеѣ о безконечномъ развитіи), т. е., проще же говоря, *что нѣтъ истины. Нѣтъ, стало быть, и красоты безусловной и добра безусловнаго*.

Такъ какъ на этомъ душа человѣческая никонимъ образомъ успокоиться не можетъ, такъ какъ ей нуженъ идеаль, нужна крѣпкая основа, —то *послѣднее* звено развитія; *послѣдняя* относительная истина признается за критеріумъ. Является теорія, построенная на произвольномъ критеріумѣ, и на основаніи ея произносятся *окончательные* приговоры, смѣняющіеся другими *окончательными*, ожидающими на смѣну третьихъ, четвертыхъ *окончательныхъ* и т. д. usque ad infinitum!

Такъ, на нашихъ глазахъ, на примѣръ, самыя уродливыя произведенія Занда принимались за послѣднее слово красоты и правды; прежде же этого, и притомъ весьма не задолго до этого, одинъ Гёте въ его величавомъ олімпійскомъ спокойствіи былъ предметомъ поклоненія, а все другое уничтожалось—презрительно говорилось о Зандѣ, Шиллеру отказывали въ имени художника и т. д.; а еще того прежде, въ тридцатыхъ годахъ, Notre Dame de Paris являлась вѣнцомъ искусства, Бальзаковъ Феррагусъ и другія *ходульные* лица возносимы были выше облаковъ. Затѣмъ, какъ змѣй, кусающій хвостъ, критика принималась за старое— и мы видимъ теперь Зандъ сводимую съ пьедестала и развѣнчиваемую; мы читали статьи весьма тонкія и писанныя цѣнителемъ замѣчательнымъ о французскихъ классическихъ трагедіяхъ, и объ игрѣ г-жи Рашель въ этихъ прѣблѣтыхъ истинною критикою искусства трагедіяхъ, читали серьезные толкованія о томъ, что въ сущности есть пляска на канатѣ, читали восторженныя похвалы и этимъ нелѣпымъ произведеніемъ страны, лишенной истиннаго художественнаго чувства, и вѣка, извращавшаго всякое, не только художественное, чувство.

Публикѣ оставалось или вовсе не вѣрить критикѣ, или вѣрить послѣдне-сказанному ей; но такъ какъ послѣдне-сказанное начало все болѣе и болѣе становится неуволимо, то публика предпочла не вѣрить критикѣ и поступила весьма законно. Что это такъ, — фактъ неоспоримый.

Прежде, *во дни оны*, въ тѣ дни, когда мы (я тогда былъ еще публика—счастливое время юности!) пламенно вѣрили и величію Феррагуса (*Histoire de treize*) и потомъ столь же пламенно чистому художеству *зеленаго* «Наблюдателя» и за тѣмъ всему, что говорилъ намъ непрерывно волновавшійся и насъ непрерывно волновавшій голосъ великаго, даровитаго критика, — прежде, я говорю, первое, что жадно разрѣзывала читатель въ новой книжкѣ журнала, былъ отдѣлъ критики и библиографіи. Теперь, онъ, болѣею частію, остается неразрѣзаннымъ, и критикъ пишетъ для собственнаго удовольствія и для удовольствія редакціи журнала; скоро, вѣроятно, и самыя редакціи не будутъ читать критическихъ статей, ни въ собственныхъ, ни въ чужихъ журналахъ помѣщаемыхъ.

Что этотъ фактъ имѣетъ причины не въ одномъ отсутствіи настоящаго критическаго дарованія, каково было дарованіе Бѣлинскаго; что не одно только литературное торгашество и постыдная продажа мнѣнія на всѣхъ вещественныхъ выгодахъ и во имя отношеній писателей къ журналамъ подорвали кредитъ критики (хотя послѣднее обстоятельство и принадлежитъ къ числу *вопьющихъ*), а что въ самыхъ принципахъ критики лежитъ уже несостоятельность, — это несомнѣнно.

Фраза: *относительная истина* — есть ни болѣе, ни менѣе, какъ фраза. Отсутствіе прочнаго, не-условнаго идеала, отсутствіе убѣжденія, — вотъ въ чемъ заключается болѣзнь исторической критики, причина ея упадка, причина реакціи противъ нея критики отрѣшенно-художественной.

Въ самомъ дѣлѣ, добросовѣстное мышленіе вправдѣ, наконецъ, сказать: дайте же намъ какой-нибудь критеріумъ, какую-нибудь основу! Будетъ вамъ низвергать насъ изъ эмпирей въ тартаръ и изъ тартара подымать въ эмпирей, а то вѣдь въ самомъ дѣлѣ придется повѣрить мысли, которую нѣкоторые смѣльчаки уже и высказывали, что оцѣнка изящнаго есть дѣло личнаго вкуса. Помилуйте! вы скоро будете приглашать насъ восторгаться опять и Марлинскимъ, и метафорическою поэзію! Все вѣдь относительно, и реакціи мысли неуволимы. Вы ужь успѣли забыть, напримѣръ, что при всѣхъ своихъ увлеченіяхъ, при множествѣ безобразныхъ произведеній, Зандъ, какъ поэтъ, все-таки одинъ изъ великихъ поэтовъ и одинъ изъ величайшихъ во всей исторіи литературы сердцеѣдцевъ; вы позабыли, какъ благоухаютъ свѣжестью и страстью

многія цѣльи ея созданія, какъ благоухаютъ въ самыхъ безобразныхъ ея произведеніяхъ многія страницы, какъ иногда, при всей дикости навязанной ей чужою теоріею мысли, постановлены у нея правильно, глубоко и тонко нѣкоторыя отношенія... Вы уже все это успѣли позабыть, но мы, публика, этого не позабыли—и не отдадимъ вамъ поэтому того Занда, съ которымъ мы прожили такъ много (весьма любя Тёккеря и Диккенса, и тоже живя съ ними), какъ не отдадимъ никому Пушкина, хотя воспитывались потомъ и подъ вліяніемъ Гоголя, хоть умѣли потомъ оцѣнить и Островскаго! Всему свое мѣсто: не сотвори себѣ кумира и всякаго подобія.

Дѣло въ томъ, что публика, масса не вѣритъ уже болѣе критикѣ именно потому, что критика сама въ себя не вѣритъ.

Кому же нужна теперь критика?

Публикѣ она, въ настоящемъ своемъ видѣ, не нужна — это фактъ. Горе въ томъ, что она не нужна и литературѣ.

Въ отношеніи къ литературѣ, у критики вообще двѣ обязанности: изучать и истолковывать рожденныя, органическія созданія, и отрицать фальшь и неправду всего дѣланнаго. Въ отношеніи ко всему *рожденному*, критика въ наше время оказывается большею частію несостоятельною. Были блестящія исключенія, есть они и до-сихъ-поръ (ибо иначе трудно было бы объяснить самое появленіе моей, чисто-отрицательной статьи въ журналѣ, въ которомъ она является, и, стало быть, извѣстную степень симпатіи мнѣній автора съ мнѣніемъ редакціи), но такія исключенія рѣдки. Съ другой стороны, и въ отношеніи ко всему обыденному, критика потеряла право суда, утратила то полномочіе, которое дается ей правильнымъ отношеніемъ къ рожденнымъ созданіямъ искусства.

Историческая критика, слѣпо отдавшись формулѣ, потеряла самое дорогое: *вѣру въ исторію*. Счастливы, трижды счастливы тѣ, которые вѣруютъ въ исторію; еще счастливѣе тѣ, которые чувствуютъ ея довереніе; но многіе ли способны дѣйствительно въ нее вѣровать, и еще не меньше ли количество тѣхъ, которые чувствуютъ ее по непосредственному наитію? Неужели *тѣ* въ нее вѣруютъ, которые понимаютъ послѣдовательность историческаго развитія литературы *только* въ проведеніи своихъ мыслей? Неужели *тѣ* ее чувствуютъ, которые способны закидать камнями все ново-возникающее въ литературѣ, потому только, что оно возникло безъ ихъ вѣдома и позволенія?

Нѣтъ! не вѣруютъ они въ исторію, ибо неспособны сознать исторической необходимости, неспособны сознать иной исторической и литературной задачи, кромѣ ихъ собственной; не чувствуютъ они исторіи, ибо

не въ силахъ стать выше переходящихъ явленій, выше самихъ себя, въ уровень съ вѣчными началами правды. Вѣрить въ исторію, значитъ, вѣрить въ вѣчную и неперемѣнную правду. Тѣ, которые вѣрятъ въ произвольно-принятую теорію—неспособны, ради правды, отрѣшиться отъ своихъ личныхъ, узкихъ идеаловъ. Теорія знаетъ и видитъ только себя, помнитъ только то, что она по своему убѣжденію дѣлала хорошаго, всякія возраженія зоветъ ограниченностью, всякое противодѣйствіе ея противо-естественнымъ прихотямъ — обскурантизмомъ. Такимъ образомъ, выходя изъ идеи вѣчнаго развитія, она впадаетъ въ совершенно китайскій застой. Она забываетъ, что, какъ любовь къ людямъ, разумно воспитанная, состоитъ не въ томъ, чтобы беречь, холить и гладить въ личностяхъ ихъ порочныя, слабыя или смѣшныя стороны, — такъ, равномерно, и уваженіе къ дѣлу, до насъ совершенному, къ слову, до насъ сказанному, заключается не въ томъ, чтобы принимать дѣло со всѣми его неорганическими наростами, повторять слово какъ мертвую букву, но въ томъ, чтобы дѣло оцѣнить по заслугамъ, ни выше, ни ниже того, что оно дѣйствительно стоитъ, чтобы слово оцѣнить отъ шелухи и воспользоваться вполнѣ заключающимся въ немъ ядромъ.

## VI.

Во всякой произвольной теоріи, какъ бы безотрадна она ни была, есть своя увлекающая сторона; неправда ея и крайнія ея послѣдствія обнаруживаются уже послѣ. Первые теоретики и первые прозелиты теоріи обыкновенно суть люди самообманывающіеся, пламенно стремящіеся къ идеалу и сами не видящіе крайнихъ граней своей мысли: въ ихъ дѣятельности увлекаетъ другихъ ихъ натура, ихъ даровитость, ихъ убѣжденіе. Слабости теоріи обнаруживаются уже тогда, когда пламенные поборники замолкли, когда остались одни нагіе результаты, лишенные того живаго и безграничнаго, что жило, что горѣло въ даровитой и могучей натурѣ, что ослѣпляло своимъ яркимъ блескомъ и влекло за собою сочувствія массы. Тогда начинается реакція жизни противъ теоріи. Видали вы, какъ трава пробивается сквозь екважины кладбищныхъ памятниковъ, ветшающихъ и распадающихся, не смотря на то, что они каменные, по мудрому закону природы, которая не любитъ трутней, превращая ихъ въ прахъ и тлѣніе и изъ праха выводя жизнь? Такъ отпоры духа жизни пробиваются сквозь трещины теоріи, надгробнаго памятника, имѣющаго значеніе только какъ напоминовеніе о томъ, что когда-то жило и волновалось.

Подобныя явленія совершались всегда и теперь совершаются. Позволяю себѣ остановиться на нихъ.

Что такое въ сущности эти, поднявшіяся отвсюду, требованія художественной критики? Реакція живаго, требующаго живыхъ опоръ, и ничего болѣе! Что значать въ самой литературѣ, (потому-что литература идетъ объ руку съ жизнью, стало быть, и съ критикою) явленія, діаметрально противоположныя явленіямъ, которыхъ слово разъяснено историческою критикою? Я разумѣю не такія явленія, которыя суть нѣчто совсѣмъ новое, стало быть, *рожденное, живое*, а такія, которыхъ явленіе на свѣтъ обусловлено однимъ только отрицаніемъ, которыя имѣютъ значеніе только какъ свидѣтельство жизненнаго отпора, разрушающаго послѣдніе остатки отжившаго и тлѣющаго. Отпоръ всегда бываетъ рѣзокъ, какъ чистая противоположность, грубъ и сухъ, какъ голая мысль; въ отпорѣ все бываетъ пересолено, все *сдѣлано*, а не рождено; но отпоръ правъ въ своемъ источникѣ, т. е. въ отрицаніи, и потому сухія порожденія правой и честной мысли имѣютъ иногда успѣхъ, и притомъ довольно значительный, какъ свидѣтельство реакціи \*).

Что же дѣлать тутъ критику? Самой удариться въ реакцію (что она часто и дѣлаетъ въ послѣднее время)? Но реакція права только въ своемъ отрицаніи, а у критики должна быть положительная основа, живыя начала. Что же признать ей за такія положительныя, живыя начала, откуда взять ихъ? Не изъ реакціи! Реакція сама не имѣетъ положительныхъ основъ; реакція знаетъ, чего она *не хочетъ*, но не знаетъ чего *хочетъ*: она не болѣе, какъ трава, пробивающаяся съвозъ расще-

---

\*) Посмотрите, напримѣръ, въ современной письменности на довольно энергическую и потому замѣчательную дѣятельность писателя, проникнутаго весьма честною и благородною, но явно отрицательною, явно порожденною однимъ отпоромъ, мыслью: на повѣсти г. Крестовскаго. Припомните въ особенности его повѣсть: «Фразы». Жестче, рѣзче, безжизненнѣе трудно себѣ что-нибудь представить, а между тѣмъ отпоръ, породившій ее, правдивъ и честенъ.

Посмотрите съ другой стороны, какой отпоръ порождаетъ анализъ мелочныхъ существованій, пошлѣйшихъ чувствъ и обиднѣйшихъ происшествій, доведенный до *plus ultra* въ продуктахъ умирающей, или даже, можно сказать, умершей натуральной школы. Во первыхъ, начали уже толковать объ Аннѣ Раделифъ и повѣстяхъ Марлинскаго, а во вторыхъ, начали являться даже и произведенія, радикально противоположныя *натуральнымъ*. Не говорю о такихъ, въ которыхъ, при любви къ эксцентрическому, проглядывало нѣчто большее: талантъ и душа писателя; укажу, напримѣръ, на такое, какъ недавно появившаяся «Портретная галерея» Данковскаго. Несмотря на фальшивую грандіозность основной темы, на поддѣльность главнаго героя, на несообразную ни съ чѣмъ и достойную Поля Февала интригу, романъ имѣлъ въ публикѣ нѣкоторый успѣхъ.



лины плѣснѣющихъ надгробныхъ камней, слѣпое орудіе жизни, естественное отвращеніе къ мертвечинѣ, — вотъ что такое реакція. На ней вы не постройте началъ и, повинаясь ей, не выйдете изъ заколдованнаго круга старой мысли и отрицанія старой мысли, пойдете не впередъ, а назадъ, сочтете отрицательныя требованія жизни за причудливый возвратъ къ старому, дойдете до школь порчи вкуса, порчи здраваго чувства изящнаго, поставите на одну доску вѣчнаго, всечеловѣческаго Шекспира съ жеманнымъ Расиномъ и ходульнымъ Корнелемъ, или, по-крайней-мѣрѣ, станете находить въ нихъ большой *смакъ*. До всего можно дойти, если отпоры жизни принимать за первые крики живыхъ, законно-рождающихся чадъ ея.

На мѣсто отжившаго можетъ стать не теорія, извлеченная логически изъ отпоровъ, созданная а *contrariis* (по-противоположеніямъ), а новый живой принципъ.

Разсматривая явленія литературы, мы можемъ убѣдиться, что произведенія, сочиненныя съ извѣстными отрицательными цѣлями, только свидѣтельствуютъ объ отпорѣ, но никакихъ цѣлей не достигаютъ: одно отрицаніе не создаетъ живаго убѣжденія, безъ котораго творчество невозможно.

Только живое, только рожденное, только принявшее плоть и кровь, живетъ и дѣйствуетъ. Только вѣрованіе, принципъ сердца, можетъ наполнить жизнь содержаніемъ. Вѣрованіе, предшественницей котораго бываетъ всегда реакція, обыкновенно растетъ незамѣтно, выходитъ наружу тихо, зрѣетъ въ уединеніи, но самымъ первымъ своимъ появленіемъ уже оскорбляетъ и раздражаетъ какъ теорію, т. е. то, что жило и отжило, такъ и реакцію, т. е. то, что мечтаетъ жить на основаніи рѣзкой противоположности своей отжившему.

Принципъ, вносимый въ жизнь вѣрованіемъ, есть сначала безсознательное, но вѣрное и коренное чувство \*), а никогда не формула, ибо формула есть ни что иное, какъ

Schall und Rauch,  
Umnebelnd Himmels-Gluth...  
звукъ и дымъ  
Вокругъ огня небесъ!

\*) Принципъ этотъ никогда не есть только отрицательный, потому что

\*) Убѣденіе, хоть не скоро  
Возникаетъ, — но зато  
Кто Колумба Христофора  
Переспорить могъ? Никто!

Я. Полонскій

онъ данъ самою жизнью, какъ свободный продуктъ ея, а не какъ орудіе противъ отжившаго.

Принципъ этотъ есть, однимъ словомъ, *новое слово* жизни и искусства, болѣе или менѣе обширное объемомъ, но всегда *рожденное*, а не искусственно сдѣланное, всегда *гениальное*, т. е. съ мировыми силами связанное.

Первый признакъ истинно-новаго или гениальнаго есть присутствіе въ немъ собственнаго, ему только принадлежащаго содержанія: оно всегда носитъ, такъ сказать, во чревѣ нѣчто такое, о чемъ и не грезилось реакціи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и все предшествовавшее ему есть его законное достояніе. Оно всему родное, и притомъ кровное родное, и прошедшему, и настоящему, и будущему, но, ни съ чѣмъ не разрывая связи, все себѣ усвоивая, все обнимая любовью, оно никогда не теряетъ своего, особеннаго, потому что есть нѣчто въ высшей степени сознательное. Оба эти послѣдствія, два этихъ другихъ признака выводятся изъ одного источника.

У гениальныхъ натуръ (потому что о нихъ говорится, когда говорится о новомъ словѣ жизни и искусства) созерцаніе не разорванное, а цѣльное. Нося въ себѣ будущее, онѣ однако видятъ осязательно живую связь этого будущаго съ настоящимъ и прошедшимъ, знаютъ, что послѣдній шагъ прошедшаго ведетъ къ настоящему, что этого шага миновать нельзя, но нельзя на немъ и остановиться. Мѣрно, тихо, осторожно, чуждая слѣплаго бунта противъ формъ, идетъ впередъ творческая сила \*): Она осмыслитъ только послѣдній шагъ стараго, выжметъ изъ него весь оставшійся сокъ и, уловивши въ старыхъ формахъ совершенно новыя эффекты, послѣдніе, которые могутъ быть даны ими и которые, какъ звенья, связываютъ ихъ съ новыми формами, раскрываетъ новый міръ. Напротивъ, дѣятельность метеоровъ въ жизни и въ искусствѣ на-

\*). Такъ Пушкинъ, отъ Руслана и Людмилы, обработки единственнаго живого, что онъ засталъ въ старомъ, единственнаго такого, въ чемъ не оскорблялъ старыхъ формъ, освященныхъ Аріостовымъ именемъ, восходитъ постепенно до «Капитанской Дочки» и «Бориса». Такъ Гоголь, отъ «Вечеровъ на Хуторѣ», обработки опять-таки единственнаго живаго, что засталъ онъ въ направленіи историческихъ романовъ, доходитъ до «Шинели». Такъ въ наше время Островскій начинается съ «Свои люди сочтемся», гдѣ гоголевскій пріемъ приложенъ въ послѣдній разъ къ дѣйствительности, и переходитъ въ мягкое, свободное и вполне разумное, истинно поэтическое отношеніе къ великорусской жизни. Такъ Брюловъ, по словамъ одного изъ своихъ биографовъ, избираетъ сюжетъ Помпей, потому что этотъ сюжетъ соединялъ фантазію новой романтической школы съ строгими этюдами почтеннаго классицизма. Такъ Мейерберъ раздѣляется съ старымъ направленіемъ своимъ «Stocciato» и затѣмъ уже открываетъ новый міръ въ «Робертѣ».

чинается прямо съ слѣпаго разрушенія формъ, прямо съ «Кромвеля», «Гана Исландца» и положенія: «le beau c'est le laid», или съ «Макара Алексѣевича Дѣвушкина» и его жалобъ на безжалостное, по его мнѣнію, представленіе Акакія Акакіевича, и какъ метеоръ исчезаетъ въ воздухъ. «И память его погиге съ шумомъ», или, какъ говоритъ Гораций: «Vis consilii exerts, mole ruit sua».

Съ другой стороны, гениальная творческая сила есть всегда сила въ высшей степени сознательная. Много толковали о томъ, что творческая сила творитъ безсознательно; много приводили даже примѣровъ, что произведенія бываютъ выше силъ производящихъ. Но это фальшивое мнѣніе не выдерживаетъ никакой критики, недостойно даже серьезнаго опроверженія. Многимъ удивительно кажется, какимъ образомъ человѣкъ гораздо менѣе, чѣмъ они, ученый и образованный, творитъ гениальное; многимъ обидно, что гениальная сила открываетъ съ простодушнѣйшимъ убѣжденіемъ такія вещи, которыхъ они не читали въ книгахъ — и сколько обвиненій въ безмѣрномъ самолюбіи, въ невѣжествѣ, даже въ тупости пониманія, падало и до-сихъ-поръ падаетъ на гениальныя силы за ихъ простодушіе! А между тѣмъ, только на такихъ обвиненіяхъ и основывается дивная мысль о безсознательности творческой силы. На дѣлѣ же выходитъ совершенно противное. О томъ, что великая творческая сила знаетъ *свое* дѣло, и говорить нечего: въ *своемъ* дѣлѣ она воспитываетъ даже собственныхъ своихъ судей, а сначала ихъ не имѣетъ, ибо то *новое*, что вноситъ она въ міръ искусства или жизни, разъясняется (т. е. воплощается) ея же творчествомъ. Гений есть нѣчто всестороннее; взглядъ гениальной силы дорогъ даже и тогда, когда не касается собственно ей принадлежащаго дѣла. Шекспиръ могъ бы быть величайшимъ изъ государственныхъ людей Англіи. Брюловъ въ Дарданеллахъ, руководимый однимъ зоркимъ взглядомъ, безъ малѣйшаго знанія морскаго дѣла, удивилъ корабельнымъ маневромъ опытнѣйшихъ моряковъ, и замѣчательнѣе всего то, что съ упорствомъ истиннаго, сознательнаго убѣжденія, отстаивалъ возможность таковаго маневра. Великая творческая сила есть сила сознательная, сила практическая, сила рождающая, потому что иначе она не могла бы внести во плоти въ міръ врученное ей новое слово жизни или искусства.

Самое слово творческой силы, какъ приходящее во плоти, только сначала оскорбляетъ и раздражаетъ, или, лучше сказать, ослѣпляетъ очи своимъ появленіемъ. Оно не есть поглощающее всѣ прежнія до него сказанныя и столь же многозначительныя, по сколько удовлетворяли они вѣчнымъ потребностямъ души человѣческой; и нисколько не исключаетъ возможности будущихъ, ибо неисчерпаемо богатство сочувствія и пониманія, дарованнаго Вѣчною Любовію душѣмъ человѣческой!

## VII.

Результатъ всего доселѣ развитаго разсужденіемъ — тотъ, что историческое воззрѣніе, какъ формулированная теорія, неправо; но, что право тѣмъ не менѣе, и право въ высшей степени, *историческое чувство*, котораго было оно неудачною формулою. Это историческое чувство есть наше, нами помимо нашего вѣдома пріобрѣтенное, въ насъ живущее, проникающее всѣ наши созерцаія и всѣ наши сочувствія.

Что же оно такое, это историческое чувство?

Для того, чтобы не вдаваться въ отвлеченныя опредѣленія, чтобы имѣть какую-либо твердую точку опоры на какомъ-либо грунтѣ, всего лучше поискать опредѣленія его въ тѣхъ пріемахъ, въ какихъ оно выразилось въ исторической критикѣ.

Первый и главнѣйшій пріемъ исторической критики заключается въ томъ, что литература и вообще всякая духовная дѣятельность разсматриваются ею какъ органической плодъ вѣка и народа, въ связи съ развитіемъ общественныхъ понятій — и всякое литературное произведение, если только оно подвергается суду ея, предстаетъ на этотъ судъ какъ живой отголосокъ времени, его умственныхъ и нравственныхъ созерцацій. *При томъ*: явленія разсматриваетъ она въ ихъ преемственной связи и послѣдовательности, выводя ихъ, такъ сказать, одно изъ другаго, сопоставляя и сличая ихъ между собою. *Наконецъ*: историческая критика опредѣляетъ: что произведение принесло съ собою въ міръ, что въ жизни оно угадало, что изъ жизни отразило, что оно присовокупило своимъ содержаніемъ и его развитіемъ къ общему богатству содержанія души человѣческой.

Что этотъ пріемъ обусловленъ историческимъ чувствомъ, этого, кажется, нечего доказывать. Изъ него для опредѣленія историческаго чувства выводится то, что это чувство есть *чувство органической связи между явленіями жизни, чувство цельности и единства жизни*.

Истина, кажется, очень простая, что жизнь есть нѣчто органическое, и что всѣ явленія ея связаны между собою, а, между тѣмъ, эта истина была рѣшительно Колумбовымъ яйцомъ. Чтобы понять, какимъ откровеніемъ была идея органическаго единства, стоитъ только перенестись въ прошлое столѣтіе и его воззрѣнія.

Не касаясь вообще философіи XVIII вѣка, я обращаю только ваше вниманіе на исторію мышленія объ изящномъ, на понятія литературныя.

Шекспиръ, передъ которымъ всѣ народы міра нынѣ равно благого-

вѣютъ (даже и Французы, по прежнему, впрочемъ, не понимая его), долгое время былъ почти забытъ и заброшенъ въ собственномъ его отечествѣ во имя условной образованности французской или, лучше сказать, романской, какъ теперь, на примѣръ, во имя, конечно, болѣе широкой, но все-таки условной формулы образованности романо-германской, уничтожается нѣкоторыми цѣлый мѣръ самобытной органической жизни. Славянскій, Эпитеты, которыми угощалъ Шекспира Вольтеръ, извѣстны (*gilles de la foire, sauvage ivre*), а между тѣмъ, Вольтеръ же первый, съѣздивши въ Англію и по великому уму своему догадавшись, что можетъ быть жизнь съ другими условіями, чѣмъ та, которая въ понятіи его современниковъ стояла высшимъ идеаломъ, началъ говорить съ нѣкоторымъ восторгомъ о величій этого *грубаго* гения, котораго послѣ испугался и принялся чествовать вышеозначенными эпитетами.

Въ лицѣ Вольтера цѣлый вѣкъ, цѣлое тогдашнее человѣчество, привышіе жить по условнымъ формамъ, испугались раскрывающейся новой силы. Есть великій смыслъ въ томъ, что пароль и лозунгъ философовъ: «*exterminéz l'infame*» равномѣрно обращенъ и на феодально-католическій мѣръ, и на Шекспира съ его переводчикомъ, честнымъ и робкимъ Летурнѣромъ. Узкая разсудочная формула, созданная чисто аналитическимъ взглядомъ, чувствуетъ тревожно и смутно, что жизнь ее разобьетъ.

Чтобы понять весь страхъ формулы передъ жизнію, перенесемтесь нѣсколько въ эту минуту исторіи.

У Франціи былъ такъ-называемый классическій вѣкъ, съ такъ-называемыми великими писателями; по понятіямъ этого вѣка, по произведеніямъ этихъ писателей сложились эстетическія понятія. По странному стеченію обстоятельствъ, этимъ эстетическимъ понятіямъ подчинились: и *Италія*, забывши, что образцы вышли изъ реставраціи, а реставрація началась въ ней, и, забывши, что подъ реставраціей у нея лежитъ Дантъ; и *Испанія*, хотя первое движеніе французской литературы, Корнелевъ Сидъ, пошло отъ ея богатой и самостоятельной литературы; и *Англія*—въ эпоху ея реставраціи Стюартовъ; и *Германія*, въ которой сознаніе самостоятельной жизни было убито отсутствіемъ германскаго единства. Я беру только факты, не углубляясь въ причины, ибо факты только мнѣ и нужны. Дѣло въ томъ, однимъ словомъ, что идея Франціи, или, яснѣе сказать, идея романизма, идея реставраціи, есть идея не только преобладающая, но все уничтожающая, есть идея все-человѣческаго образованія и все-человѣческаго эстетическаго чувства. Передъ этой идеею все другое есть *невѣжество*, обскурантизмъ (точно такъ же, какъ въ наше время для многихъ все есть *невѣжество*

передъ идеаломъ романо-германскимъ, что только нейдетъ подъ его уровень).

Да и въ самомъ дѣлѣ: все уже, кажется, сдѣлано для блага человѣчества образованностью реставраціи. Вкусъ изощренъ и утонченъ, нравы доведены до возможной степени свободы: все это такъ блестяще и благопристойно. По мѣстамъ только слышенъ запахъ гнѣющаго трупа въ тайныхъ оргіяхъ разврата; иногда только выблется наружу грязная лава въ произведеніяхъ Вольтера или хлынетъ цѣлымъ омутомъ въ романахъ маркиза де Сада; порою только чѣмъ-то зловѣщимъ отзываются медовыя рѣчи философовъ; но никому и въ голову не приходитъ усомниться въ томъ, чтобы слово эпохи не было послѣднимъ словомъ мысли и чувства. Какъ усомниться въ формулѣ, когда она такъ рациональна? Какъ усомниться въ формулѣ, когда всякій уже знаетъ, что человѣчество по прямой линіи происходитъ отъ обезьянъ и не связано никакимъ единствомъ, кромѣ единства тѣлеснаго состава и его органовъ, когда философія исторіи аббата Базена разоблачила всю грубость, дикость, ложь, невѣжество прошедшаго?

Правда, что хранительное начало жизни, сознание вѣчныхъ требованій души, сказывается въ нѣкоторыхъ уединенныхъ мыслителяхъ, въ особенности въ Англіи; правда, что здоровенный умъ какого-нибудь дикаря фонъ-Визина, признакъ того же хранительнаго вѣчнаго начала, со смѣхомъ указываетъ на *швы* этой пышной одежды: но одного хранительнаго начала было бы мало для того, чтобы испугать эту, вооруженную всѣми приобрѣтеніями ума, всѣмъ блескомъ образованія, теорію. Новую силу чувствуетъ она въ трепегѣ; приближеніе новаго *зжидительнаго* начала жизни повергаетъ ее съ первой минуты появленія въ озлобленіе и ужасъ, доходящія до остервененія. Бѣдный Лётурнёръ съ его робкой, но глубокой любовью къ Шекспиру, попался тутъ, какъ куръ во щи: совсѣмъ не до того тутъ дѣло! Тутъ тронута большое мѣсто блестящей и условной образованности, тутъ впервые обнаружилась близость пробужденія новаго чувства, *чувства историческаго*.

Вотъ какъ оно родилось, а что оно сдѣлало—вы знаете!

Живая, свѣжая трава пробилась сквозь надгробные камни, — жизнь охватила тлѣющее. То, что считали умершимъ — воскресло; иное, какъ Шекспиръ, поднялось на вѣчную жизнь; другое, какъ подавленные народности или подъ спудомъ лежащіе памятники ихъ поэзіи, ожило на время, боролось, хотѣло жить снова, какъ хотѣла жить, наприимѣръ, романтическая реакція, совершило честно дѣло борьбы и улеглось на вѣчный покой. Но дѣло въ томъ, что оно улеглось уже съ почетомъ, на своемъ законномъ мѣстѣ, окруженное подобающимъ уваженіемъ все-

го роднаго, сознавашаго свое органическое съ нимъ родство. Муміи не могли, конечно, остаться въ мірѣ; при первомъ прикосновеніи къ нимъ воздуха жизни, онѣ распались прахомъ и тлѣніемъ, но изъ праха и тлѣнія поднялась жизнь, жизнь, которой слово есть историческое чувство. Какъ всякое чувство, оно пробудилось отъ толчка, отъ прикосновенія мысли къ живому тѣлу. Почувствовалась боль, и данъ былъ отпоръ.

Отпоръ выражается всегда на первый разъ въ крайностяхъ. Такъ и здѣсь выразался онъ, на примѣръ, въ клятвахъ Клопштока и его друзей передъ *Irmensäule*, въ новыхъ бардахъ и бардитахъ, въ поддѣлкахъ Макферсона и проч. Затѣмъ является ясный умъ, сначала слишкомъ отрицательный, какъ умъ Лессинга. Отпоръ формулируется, но въ сущности разбиваетъ только то, противъ чего онъ борется; собственная же его формула разбѣдается живымъ историческимъ чувствомъ Гердера. Гердеръ великъ тѣмъ, что онъ весь проникнутъ чувствомъ; его общей мысли не достаетъ связности и ясности, но на чувствѣ его до-сихъ-поръ и можно и должно воспитываться.

За симъ, идеи, получившія плоть, быстро переходятъ въ событія. Медовыя рѣчи философовъ раздражаются рѣчами Дантона; утопія Кондорсета гвонетъ подъ сѣкирою утопіи монтаньяровъ; утопія монтаньяровъ грозитъ въ свою очередь подземная утопія Марата и Гебертисовъ. Является личность, въ которой анти-историческое получаетъ свое рѣзкое опредѣленіе (я беру только одну сторону Наполеона, часть его задачи), и начинается всеобщая ломка исторіи—громовая, напряженная, вызывающая отпоръ столь же напряженный, отпоръ судорожный.

Отпоръ, какъ орудіе жизни, одерживаетъ побѣду — и замѣчательно то, что одерживаетъ эту побѣду не собственными однако силами, а силами новаго, свѣжаго элемента, неповиннаго въ грѣхахъ всего прошедшаго европейской исторіи. Мумія романтизма поднимается изъ гроба и облекается въ торжественную одежду.

Но, увы! торжественная одежда оказывается тою смѣшною мантиею «доктора любви», въ которой Захарія Вернеръ являлся передъ *m-me de Staël*; не потому смѣшною, что она старая (есть и старыя одежды, которыя нисколько не смѣшны, ибо онѣ стары только относительно условнаго идеала образованности), а потому, что подъ нею не бьется пульса живой жизни, потому что мумія поднята изъ гроба только для освидѣтельствованія и сама распадается прахомъ.

А между тѣмъ, вызовъ прошедшаго на освидѣтельствованіе, обусловленный и порожденный въ свою очередь тѣмъ, что слышались крики боли прошедшаго въ настоящемъ, утверждаетъ, узакониваетъ чувство

органической любви, связующей прошлое съ настоящимъ, умершее съ живымъ. Идея смерти, мертвая идея—побѣждена. Жизнь и любовь несутъ съ собою историческое чувство. Въ органическую связь приводятъся всѣ явленія жизни, всѣ звенья великой цѣпи — и, понятно, какимъ лирическимъ чувствомъ проникнуть былъ одинъ изъ борцовъ новаго дѣла, Шиллеръ, въ своей «Пѣни въ радости», какая вѣра въ будущее наполняла его душу, которая вынесла всѣ адскія муки, всѣ сомнѣнія XVIII вѣка, и которая жила всѣми его утопіями. Поэтъ, быть можетъ, самъ себя олицетворилъ въ старомъ, годами и жизнію измученномъ баронѣ Аттингхаузенѣ, благословляющемъ новое племя великими словами:

Es ändert sich die Zeit  
Und neues Leben blüht aus den Ruinen.

(т. е. «перемѣняется время, и новая жизнь цвѣтетъ изъ-подъ развалинъ»).

Глубокую и пламенную вѣру въ исторію дало на первый разъ историческое чувство. Эта вѣра, но только чисто какъ вѣра, а никакимъ образомъ не формула, и есть его первое, законное опредѣленіе. Въ правильномъ приемѣ исторической критики заключается только *вѣра въ то, что жизнь есть органическое единство.*

### VIII.

Для того, чтобы вѣра была *живою* вѣрою, нужно вѣрить въ непреложность, непремѣнность, единство того, во что вѣришь. Даже и *сегодня* нельзя вѣрить въ то, что по собственному нашему признанію окончить бытіе свое завтра, т. е. вѣрить какъ въ нѣчто непреложное.

Само историческое *чувство* возстаетъ противъ формулы вѣчнаго развитія, въ которую втѣснило его историческое *воззрѣніе.*

Историческое чувство разбило тотъ условный, *раціональный* идеаль, до котораго *развилося* человечество въ XVIII вѣгѣ, разбило послѣднія грани этого разсудочнаго мышленія, разбило (въ той области, которой въ особенности касается это разсужденіе) *искусственно сложившіяся* эстетическія требованія; но это нисколько не значить, чтобы на мѣсто ихъ оно поставило *эстетическое безразличіе*, чтобы оно признало, на примѣръ, одинаковость правъ китайской драмы и Шекспира, или (что почти все равно) ходульнаго французскаго классицизма и Шекспира. Оно возвратило только всему прекрасному его законное мѣсто, во имя того, что во всѣ времена и у всѣхъ народовъ (кромѣ Китая и племенъ



безъ памяти, безъ преданій и безъ законовъ). душа человѣческая постоянно высказывала одни и тѣже требованія, одни и тѣже стремленія \*). Оно засвидѣтельствовало, что искусство всегда являлось съ своими отзывами на эти требованія и стремленія, отзывами—или лучшими въ простотѣ своей, въ безличномъ, растительномъ творествѣ народныхъ пѣсенъ, полныхъ силы, красоты и свѣжаго благоуханія,—или глубоко обдуманнѣе и, хотя менѣе яркими, но столь же вдохновенными, въ поэзіи художественной. Оно вывело, однимъ словомъ, то положеніе, что вездѣ, гдѣ была жизнь, была и поэзія; вездѣ, гдѣ была поэзія, была она настоящая, высказывавшая стремленія души человѣческой къ высшему, совершенному, прекрасному, всегда, какъ нравственно, такъ и эстетически одинаково понимаемому; что идеаль, однимъ словомъ, не развивается. Идеаль можетъ быть затерянъ, хранимъ подъ спудомъ въ ожиданіи его яркаго разсвѣта; и тогда «сидящіе во тмѣ и сѣни смертной» ищутъ его опущью и возвращаются къ сознанію его многотруднымъ путемъ отрицаній всего того, что не есть онъ (путь такъ сказать миеологическій); но самъ идеаль остается всегда одинъ и тотъ же, всегда составляетъ *единицу*, норму души человѣческой.

Иначе—нѣтъ *исторіи*, а есть какое-то безсмысленное мельзаніе кля-тайскихъ тѣней.

Иначе—нѣтъ *искусства*, а есть только раболѣпное служеніе всякой жизни и повтореніе ея случайныхъ явленій—на полотнѣ ли, въ мраморѣ ли, въ словѣ ли; повтореніе, которое какъ таковое и не нужно; повтореніе, которое дѣйствительно не можетъ ни быть такъ *вкусно*, ни такъ *удовлетворять*, какъ живое явленіе, ибо его нельзя съѣсть, опухать и т. д.

А между тѣмъ, именно къ такой, постыдной точкѣ созерцанія приводится формула, признающая развитіе идеала, т. е., откровеннѣе говоря, несуществованіе идеала.

Къ результатамъ не менѣе безотраднѣе и, хотя не столь постыднымъ, но узкимъ и ограниченнымъ, приводитъ формула, когда, будучи не въ силахъ вынести вѣчнаго вращенія, вѣчнаго развитія, она ставитъ геркулесовы столпы въ *данную* *последнюю* минуту, говоря «hic locus—hic saltus! то, что есть, то разумно!» (Was ist—ist vernünftig).

Начать съ того, что тутъ есть явное самообманываніе; хотя, какъ

\*) Das Wahre war schon längst gefunden,  
Hat edle Geisterschaft verbunden:  
Das alte Wahre faszt es an.

*Гёте.*

т. е. «Истина найдена отъ вѣка: она связывала всегда благородное духовное братство. Старую истину усвой твоей душѣ.»

уже было показано, такое самообманываніе свойственно душѣ человѣческой. Послѣдствіемъ условно принятаго идеала будетъ казнь всего того, что не есть онъ, т. е. всего того, что не есть произвольно установленная минута, а потомъ, разумѣется, казнь его самого, атого условно принятаго, новымъ столь же условно принятымъ. Стало быть, это — *sub aliâ formâ* таже точка зрѣнія XVIII столѣтія, таже теорія, разбитая тогда, разбиваемая и теперь историческимъ чувствомъ.

Отсюда мы можемъ вывести опредѣленіе историческаго чувства уже какъ *сознанія цѣльности души человѣческой и единства ея идеала*, сознанія, которымъ обусловлена вѣра въ органическое единство жизни, вѣра въ исторію.

## IX.

Вотъ опредѣленіе, извлекаемое изъ перваго совершенно-правильнаго приема исторической критики, приема, изъ основъ котораго не исключается эстетическое чувство, и передъ которымъ Шекспиръ, на примѣръ, великъ, не только какъ представитель обще-германскаго міра, но какъ великій поэтъ души человѣческой, французская трагедія остается фальшью передъ искусствомъ и ложью на душу человѣческую, хотя она и отражала потребности извѣстной минуты, хотя на эффектныхъ тирадахъ ея несомнѣнно воспитывались извѣстныя героическія движенія души.

Не исключается равномѣрно изъ основъ этого приема способность равнаго сочувствія всему прекрасному, въ какія бы времена и у какихъ бы народовъ оно ни явилось, разумѣется—съ приложеніемъ общаго критеріума души человѣческой и съ началами сѣда по степени приближенія къ этому критеріуму или удаленія отъ него.

1) Однимъ словомъ, жизнь, съ которою историческое чувство привело въ органическую связь всю духовную дѣятельность, принимается за *поясненіе*, а не за *законъ* извѣстнаго. Искусства, по сущности своей идеальное, судится съ точки зрѣнія идеала жизни, а не явленій ея, ибо оно, какъ уже достаточно развивалъ я въ статьѣ: «О правдѣ и искренности въ искусствѣ», само есть свѣтъ въ отношеніи къ явленіямъ. Озарить своимъ свѣтомъ сферу болѣе широкую, нежели сфера самыхъ явленій, оно не можетъ, или, другими словами говоря: оно, какъ дѣло человѣческое, отражаетъ въ идеальномъ пресвѣтленіи только то, что жизнь сама даетъ и дать можетъ — но, какъ лучшее изъ дѣлъ человѣческихъ, стало быть наиболѣе руководимое сознаниемъ вѣчнаго критеріума, вѣчной душевной единицы, оно становится въ отрицательное или

положительное отношеніе къ жизни, смотря по отношенію самой жизни къ вѣчнымъ законамъ.

2) Созданія искусства, какъ видимыя выраженія внутренняго міра, являются или прямыми отраженіями жизни ихъ творцевъ, съ печатью ихъ личности, или — отраженіями вѣшной дѣйствительности, тоже, впрочемъ, съ печатью воззрѣнія творящей личности. Во всякомъ случаѣ — субъективное ли, объективное ли — такъ называемое творчество есть въ творящей силѣ результатъ внутренняго побужденія творить, т. е. выражать въ образахъ прирожденныя стремленія или благопріобрѣтенныя созерцанія своего внутренняго міра. И даже границы между творчествомъ субъективнымъ и творчествомъ объективнымъ не могутъ быть рѣзко опредѣлены: наблюденіями биографовъ и изслѣдованіями критиковъ психологовъ доказано во многихъ уже случаяхъ связь созданій съ личною жизнью творцевъ. Да оно иначе и быть не можетъ: что бы ни выражалъ человекъ, онъ выражаетъ только самого себя; что бы ни созерцалъ онъ — онъ созерцаетъ не иначе, какъ чрезъ призму своего внутренняго міра. Субъективнѣйшія ли изъ созданій Байрона, объективнѣйшіе ли изъ типовъ Шекспира — равно обязаны бытіемъ своимъ внутреннему побужденію творчества. Тѣ и другіе равно не хотятъ собою что-либо намѣренно сказать, а если и говорятъ, такъ вотъ что: «Берите насъ, каковы мы родились; берите насъ, какъ примете вы орла, любящаго скалы и утесы, какъ примете вы голубой васплекъ въ широкомъ желтоводномъ морѣ колыхающейся ржи; мы васъ ничему не учимъ, и ни въ чемъ не виноваты; мы дѣти любви нашихъ творцевъ, плоть отъ плоти ихъ, кровь отъ крови; насъ, какъ мать, выносила въ себѣ ихъ натура, и мы рождены, какъ *рождены* вы сами, а не *сдѣланы*, какъ сдѣланы предметы вашей роскоши и вашего испорченнаго вкуса. Примите насъ, если мы родились и несовсѣмъ доношенные; примите насъ, если мы родились даже съ какими-либо органическими недостатками; примите насъ, потому что и такими-то насъ вамъ не сдѣлать, потому что есть тайна въ нашемъ рожденіи, тайна, которой вы не изслѣдуете. Мы не то, что сама жизнь, ибо мы не сколки съ нея — жизнь сама по себѣ; но мы также самостоятельны и необходимы и живы, какъ самостоятельны и необходимы и живы ея явленія. Вы насъ не встрѣчали нигдѣ, а между тѣмъ вы насъ знаете, и это — единственный признакъ нашего таинственнаго происхожденія. Мы ваши старые знакомцы, насъ цѣлый міръ, міръ явно видимый, безспорно существующій, чуть-что не осязаемый».

3) Не говоря ничего *намѣренно*, произведенія искусства, какъ живыя порожденія жизни творцевъ и жизни эпохи, выражаютъ собою то, что есть живого въ эпохѣ, часто, какъ-бы предугадываютъ вдалѣ, раз-

ясняютъ или опредѣляютъ смутные вопросы. Дознано, кажется, несомнѣнными опытами, что все *новое* вносится въ жизнь только искусствомъ: оно одно воплощаетъ въ своихъ созданіяхъ то, что невидимо присутствуетъ въ воздухѣ. Искусство заранее чувствуетъ приближающееся будущее, какъ птицы заранее чувствуютъ грозу или вѣдро; все, что есть въ воздухѣ эпохи, свое или наносное, постоянное или переходящее, отразится въ фокусѣ искусства и отразится такъ, что всякій почувствуетъ правду отраженія, всякій будетъ дивиться, какъ ему самому эта правда не предстала такъ же ярко.

4) Въ мірѣ искусства есть такія же допотопныя образованія и такія же допотопныя творенія, какъ въ мірѣ органическомъ. Мысль до своего полнаго художественнаго воплощенія проходитъ нѣсколько индійскихъ аватаръ, и потомъ уже отливается въ цѣльную, соразмѣрную, живую и могущую жить форму. Элементы цѣльнаго художественнаго міра слагаются задолго прежде \*).

5) Когда искусство уловитъ окончательно вѣчнотекущую струю жизни и отольетъ извѣстный моментъ ея въ вѣковѣчную форму, эта отлитая искусствомъ форма, по идеальной красотѣ своей, имѣетъ въ себѣ неотразимое обаяніе, покоряетъ себѣ почти деспотически сочувствія, такъ что цѣлыя эпохи живутъ, такъ сказать, подъ ярмомъ тѣхъ или другихъ произведеній искусства, съ которыми связываются для нихъ идеалы красоты, добра и правды. Естественно, что, съ одной стороны, вліяніе отлитыхъ художествомъ формъ выразится во множествѣ подражаній, въ работѣ по этимъ формамъ. Естественно, съ другой стороны, и то, что анализъ идеаловъ доведетъ многихъ до однихъ голыхъ, отвлеченныхъ мыслей, которыя извлекаются анатомическимъ ножомъ изъ живыхъ произведеній; что самыя эти отвлеченныя мысли станутъ въ свою очередь основами для работъ. Являются, однимъ словомъ, или копіровка съ натуры въ манерѣ извѣстнаго художника, съ его приемами, съ его красками, или варіаціи на темы, извлеченныя анализомъ изъ созданій искусства. Такъ бываетъ всегда. Долгіи слѣды оставляютъ по себѣ произведенія искусства, долгіи слѣды въ письменности, въ чувствованіяхъ, въ нравахъ общества, долгіи до того, что почти всегда бываетъ минута застарѣлаго тяготѣнія, — не ихъ самихъ, конечно, ибо они ни въ чемъ не

\*) На сколько мысль эта (требуемая, впрочемъ, особаго, цѣльнаго развитія) вѣрна, можно убѣдиться даже на близкихъ къ намъ явленіяхъ. Въ отношеніи къ *Лермонтову* напримѣръ, *Полежаевъ* и *Марлинскій* суть допотопныя образованія; *Лажечниковъ* съ его вдохновенными прозрѣніями въ сущность народной жизни, перемѣшанными съ романтизмомъ, есть допотопный міръ въ отношеніи къ тому стройному и живому міру, который создаетъ *Островскій*.

виноваты, а мертвой копировки въ ихъ манерѣ, или варіацій на сухія темы, изъ нихъ извлеченныя, и такъ идетъ до тѣхъ поръ, пока новаго міра не вызоветъ изъ небытія искусство, новаго слова не скажетъ, новаго толчка не сообщитъ.

## X.

Какъ грани критики чисто эстетической заключаются въ требованіи отъ критики поэтическаго пониманія и такта, такъ грани критики исторической опредѣляются историческимъ чувствомъ, т. е. критика должна глубоко понимать, что *живые* голоса жизни слышитъ она въ художественныхъ отзывахъ, что великія тайны міра души и народныхъ организмовъ открываются ей въ созданіяхъ искусства. Какимъ же образомъ жизнь сама можетъ быть принята за судебный критеріумъ надъ тѣмъ, что въ отношеніи къ ней есть откровеніе, озареніе всего въ ней случайнаго, фокусъ, въ который сводятся ея высшіе законы?

Между тѣмъ, историческая критика пошла именно этимъ ложнымъ путемъ, т. е. приняла жизнь, какъ *явленіе*, за норму искусства, и правильный приѣмъ: видѣть въ искусствѣ вообще, въ искусствѣ словесномъ въ особенности, отраженіе жизни,—обратила весьма быстро въ приѣмъ совершенно неправильный: видѣть въ искусствѣ рабское служеніе жизни. Такое отношеніе критики къ искусству не похоже даже на отношеніе слѣпца къ слѣпцу: нѣтъ! тутъ слѣпой хочетъ вести зрячаго. Именно это самое дѣлалось и дѣлается въ критикѣ, когда она принимаетъ фальшивый приѣмъ. Искусство всегда опережаетъ ее, всегда захватываетъ жизнь шире той минуты, на которой произвольно останавливается критика.

Какой же выходъ изъ этого? Неужели же рабское служеніе искусству и *слѣпая вѣра* въ него?.. Это было бы весьма неутѣшительно, хотя надобно согласиться, что слѣпая вѣра въ искусство и рабское служеніе ему выше, нежели такое же рабское, только дикой гордости исполненное служеніе теоріи, которая хочетъ задержать, остановить на данной минутѣ откровенія жизни и поставить имъ Геркулесовы столбы:

Критикѣ нѣтъ, повидимому, никакого выхода изъ слѣдующей дилеммы, обнаженной логическимъ мышленіемъ:

Или критика вовсе не самостоятельна, а подчинена искусству.

Или критика ложно самостоятельна, т. е. самостоятельность ея вредна или бесполезна.

Такъ и выходитъ, если критериумъ для критики берется въ *явленіяхъ* жизни, или въ *явленіяхъ* же искусства.

Но дѣло-то въ томъ, что какъ *искусство*, такъ и *критика искусства* подчиняются одному критериуму. Одно есть отраженіе идеальнаго, другая—разъясненіе отраженія. Законы, которыми отраженіе разъясняется, извлекаются не изъ отраженія, всегда, какъ *явленіе*, болѣе или менѣе ограниченнаго, а изъ сущности самого идеальнаго. Между искусствомъ и критикою есть органическое родство въ сознаніи идеальнаго, и критика, поэтому, не можетъ и не должна быть слѣпо-историческою, а должна быть, или по-крайней-мѣрѣ стремиться быть, столь же *органическою*, какъ само искусство, осмысливая анализомъ тѣ же органическія начала жизни, которыми синтетически сообщаетъ плоть и кровь искусство.

## ОТДѢЛЬ ТРЕТІЙ

### I.

## ВЗГЛЯДЪ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ СО СМЕРТИ ПУШКИНА.

(Русское Слово. 1859. №№ 2 и 3).

### Статья первая.

ПУШКИНЪ. — ГРИВОВЪДОВЪ. — ГОГОЛЬ. — ЛЕРМОНТОВЪ.

### I.

Въ 1834 году въ одномъ изъ Московскихъ журналовъ, пользовавшемся весьма небольшимъ успѣхомъ, но въ замѣнъ того отличавшемся серьезностью взгляда и тона, впервые появилось съ особенною яркостью имя, которому суждено было долго играть истинно-путеводную роль въ нашей литературѣ. Въ «Молвѣ», издававшейся при «Телескопѣ» Надеждина, появлялись въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ статьи подъ названіемъ: «Литературныя Мечтанія». Эти статьи изумляли невольно своей беспощадной и вмѣстѣ наивной смѣлостью, жаромъ глубокаго и внутри души выросшаго убѣжденія, прямымъ и нецеремоннымъ поставленіемъ вопросовъ, наконецъ тою видимой молодостію энергіи, которая дорога даже и тогда, когда впадаетъ въ ошибки — дорога потому, что самыя ошибки ея происходятъ отъ пламеннаго стремленія къ правдѣ и добру. «Мечтанія» такъ и дышали вѣрою въ эти стремленія и не щадили никакого кумиро-поклоненія, во имя идеаловъ разбивали простѣйшимъ образомъ всякіе авторитеты, неподходявшіе подъ мѣрку идеаловъ. Въ нихъ выразилось первое сознательное *чувство* нашей критики — я говорю *чувство*, а не *взглядъ* — ибо въ нихъ все было чувство. Такъ какъ по общему органическому закону мірозданія, ни одна мысль не является въ стройной формѣ, не пройдя напередъ нѣсколько формъ такъ сказать допотопныхъ, — то и «литературнымъ мечтаніямъ» Виссаріона Григорьевича Бѣлинскаго (подъ ними подписался онъ еще такимъ образомъ: — онъ . . . инскій. Чембарь. 1834 г. дек. 12 дня. Но все моло-

дое поколѣніе знало хорошо имя того, кто такъ смѣло и честно высказалъ то, что жило во всѣхъ, носилось въ воздухѣ эпохи) — и «литературнымъ мечтаніямъ» — говорю я — предшествовали критическіе *диноверіумы* Никодима Надоумки, — смѣлыя, рѣзкія, но неуклюжія и безвкусныя выходки противъ застарѣлыхъ мыслей.... Но какая разница обличалась съ перваго же раза между дѣятельностію Вѣлинскаго и дѣятельностію Никодима Надоумки! Вся правда и энергія Никодима Аристарховича пропадали даромъ вслѣдствіе семинарскаго безвкусія тона и положительнаго отсутствія чувства изящнаго: всѣ заблужденія и промахи Вѣлинскаго исчезали, стѣрали въ его огненной рѣчи, въ огненномъ чувствѣ, въ яркомъ и истинно-поэтическомъ пониманіи. И только при такихъ условіяхъ могло пройти столько истинъ, и только при такихъ условіяхъ могло начаться то дѣло, котораго «литературныя мечтанія» были первымъ камнемъ.

«Литературныя мечтанія» — ни болѣе ни менѣе какъ ставили на очную ставку всю русскую литературу со временъ реформы Петра, литературу, въ которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже нѣсколько геніевъ, которую привыкли уже считать за какое-то *sacrum* — и развѣ только подъ часъ какіе-нибудь пересмѣшники повторяли стихъ старика Вольтера: «*sacrés ils sont, sac personne n'y touche*». Пересмѣшниковъ благомыслящіе и почтенные люди не слушали, и торжественно раздавались гимны не только Ломоносову и Державину, но даже Хераскову и чуть-ли не Николеву; всякое критическое замѣчаніе на счетъ Карамзина считалось святотатствомъ, а геніальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзію первыхъ Гоголевскихъ созданій почувствовали еще очень немногіе, и изъ этихъ немногихъ, во первыхъ, самъ Пушкинъ, а во вторыхъ, авторъ «литературныхъ мечтаній».

Между тѣмъ умственно-общественная ложь была слышномъ очевидна. Хераскова уже положительно никто не читалъ; Державина читали немногіе, да и то не цѣликомъ; читалась исторія Карамзина, но не читались его повѣсти и разсужденія. Сознать эту ложь внутри души могли многіе, но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смѣло высказать всѣмъ — могъ только призванный человѣкъ, и такимъ-то именно человѣкомъ былъ Виссаріонъ Вѣлинскій.

Дѣло, начатое имъ въ «литературныхъ мечтаніяхъ», было до того смѣло и ново, что чрезъ много лѣтъ потомъ казалось еще болѣе чѣмъ смѣлымъ, — дерзкимъ и разрушительнымъ, — всѣмъ почтительнымъ потомкамъ невзыскательныхъ дѣдовъ, — что чрезъ много лѣтъ потомъ оно вызывало юридическіе акты въ стихахъ, въ родѣ слѣдующихъ:



Карамзинъ тобой ужаленъ,  
Ломоносовъ — не поэтъ!

Но—страннымъ образомъ—начало этого дѣла въ «литературныхъ мечтаніяхъ» не возбудило еще ожесточенныхъ криковъ. До этихъ криковъ уже потому *додразнилъ* Бѣлинскій своихъ противниковъ,—хотя весь онъ съ его пламенною вѣрою въ развитіе вылился въ своемъ юношескомъ произведеніи, — хотя множество взглядовъ и мыслей цѣликомъ перешли изъ «литературныхъ мечтаній» въ послѣдующую его дѣятельность,—и хотя, наконецъ, положительно можно сказать, съ этой минуты онъ, въ глазахъ всѣхъ насъ, тогдашняго молодаго племени, сталъ во главѣ сознательнаго или критическаго движенія.

Въ ту эпоху, которой первымъ сознаніемъ были «литературныя мечтанія»,—кромѣ старыхъ, уже не читаемыхъ, а только воспоминаемыхъ авторитетовъ, былъ еще живой авторитетъ, Пушкинъ,—только-что появился почти въ печати Грибоѣдовъ—и только-что вышли еще «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки». Въ эту эпоху, впрочемъ, не Пушкинъ, не Грибоѣдовъ и не «вечера на Хуторѣ» тревожили умы и внушали всеобщій интересъ. Публика охладѣла на время къ Пушкину, съ жаромъ читала Марлинскаго, добродушно принимала за правду и настоящее дѣло разные историческіе романы, появлявшіеся дюжинами въ мѣсяцъ, съ тайной тревогою прислушивалась къ соблазнительнымъ отголоскамъ юной французской словесности въ разсказахъ барона Брамбеуса, и подъ рукою почитывала переводные романы Поль-де-Кова.

Бѣлинскій былъ слишкомъ живая натура, чтобы не увлечься хоть нѣсколько стремленіями окружавшаго его міра, и впечатлительность его выразилась въ «литературныхъ мечтаніяхъ» двумя сторонами: негодованіемъ на тогдашнюю дѣятельность Пушкина, и лихорадочнымъ сочувствіемъ къ стремленіямъ молодой французской литературы. Изъ этихъ сторонъ только первая требуетъ поясненія, — вторая въ немъ не нуждается. Бѣлинскій не былъ бы Бѣлинскимъ, не былъ бы геніальнымъ критикомъ, если бы полнымъ сердцемъ не отозвался на все то, что тревожило поколѣніе, котораго онъ былъ могущественнымъ голосомъ. Чтобы идти впереди нашего пониманія, онъ долженъ былъ повимать насъ, наши сочувствія и вражды, долженъ былъ пережить поклоненія Бальзаковскому Феррагусу и Notre Dame В. Гюго. Человѣкъ гораздо старше его лѣтами, и можетъ быть пониманіемъ, хотя гораздо слабѣйшій его относительно даровитости, Н. И. Надеждинъ написалъ въ своей статьѣ «Баронъ Брамбеусъ и юная словесность» нѣсколько страницъ въ защиту этой словесности, въ которой онъ видѣлъ необходимую для человѣчества анатомію; и, безъ всякаго сомнѣнія, подобная защита бы-

ла и выше и разумнѣе въ свое время пустыхъ насмѣшекъ. *Не сочувствовать* юной словесности имѣлъ тогда право можетъ быть только Пушкинъ, ибо въ немъ одномъ такое несочувствіе было прямое; художнически-разумное и чуждое заднихъ мыслей. Его орлиный взглядъ видѣлъ далеко впередъ, такъ далеко, какъ мы и теперь еще можетъ быть не видимъ. Остальные, исключая развѣ того немногочисленнаго мыслящаго кружка, котораго представителемъ былъ И. В. Киреевскій — авторъ перваго философаго обзорннѣ нашей словесности, — или лукавили въ своемъ несочувствіи, или несочувствовали потому, что давно потеряли способность чему-либо серьезно и душевно сочувствовать, или наконецъ въ основу своего несочувствія вляли узенькія моральныя сентенціи и, что еще хуже, — побужденія вовсе не-литературныя. А Бѣлинскій не былъ ни уединеннымъ стога-логическимъ мыслителемъ, какъ И. В. Киреевскій, ни однимъ изъ опекуновъ нравственности и русскаго языка; — онъ былъ человекъ борьбы и жизни. Всѣ наши сомнѣнія и надежды выносили онъ съ своей душою — и оттого-то всѣ мы жадно слушали его волеаническую рѣчь, шли за нимъ какъ за путеводителемъ — въ продолженіе цѣлаго литературнаго періода, до тѣхъ поръ, пока... переворотъ, совершившійся въ художественной дѣятельности Гоголя, не раздѣлилъ всѣхъ мыслящихъ людей на двѣ литературныя партіи.

Но объ этомъ рѣчь впередъ. Имя Бѣлинскаго, какъ плющъ, обросло четыре поэтическихъ вѣнца, четыре великихъ и славныхъ имени, которыя мы поставили въ заглавіи статьи, — сплелось съ ними такъ, что, говоря о нихъ, какъ объ источникахъ современнаго литературнаго движенія, — постоянно бываешь поставленъ въ необходимость говорить и о немъ. Высокій удѣлъ, данный судьбою немногимъ изъ критиковъ, — едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не одному Бѣлинскому. И данъ этотъ удѣлъ совершенно по праву. Горячаго сочувствія при жизни и по смерти стоилъ тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать. Безстрашный боецъ за правду — онъ не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненія взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей только тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется даже, онъ созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ бы правда ни противорѣчила его взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала. Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ, и, благодаря своему критическому чутью, ошибался рѣдко. Такъ же смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ общему мнѣнію, все, что казалось ему ложнымъ или напыщеннымъ, — заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ

основахъ, *никогда* не ошибался. У него былъ ключъ къ *словамъ* его эпохи, и въ груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. У него—теоретики назовутъ это слабостію, а мы великою силою—никогда не достало бы духу развѣнчать во имя теоріи сегодня то, что созналъ онъ великимъ и прекраснымъ вчера. Онъ не могъ холодно отвернуться отъ Гоголя, онъ не написалъ бы никогда, что г. N или Z, какъ проводители принциповъ, имѣютъ въ нашей литературѣ значеніе высшее чѣмъ Пушкинъ.

И между тѣмъ, Бѣлинскій началъ свое дѣло тѣмъ, что вмѣстѣ съ толпою горевалъ объ утратѣ прежняго Пушкина, т. е. Пушкина Кавказскаго плѣнника, первыхъ главъ Онѣгина и проч. Какъ объяснить этотъ странный фактъ?... И прежде всего, не говорить ли этотъ фактъ противъ легкости въ перемѣнѣ взглядовъ и убѣжденій, въ которой упрекали Бѣлинскаго его враги? Бѣлинскій слишкомъ глубоко воспринялъ въ себя первую, юношескую дѣятельность Пушкина, слишкомъ крѣпко сжился съ нею, чтобы разомъ перейти вмѣстѣ съ поэтомъ въ инны, высшія сферы. Онъ и перешелъ потому, перешелъ искренне, но только тогда, когда сжился съ этимъ новымъ воздухомъ. Вполнѣ дитя своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его. Чѣмъ дольше боролся онъ съ новою правдою жизни или искусства, тѣмъ сильнѣе должны были дѣйствовать на поколѣніе, его окружавшее, его обращенія къ новой правдѣ. Если бы Бѣлинскій прожилъ до нашего времени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы возвышенное свойство своей натуры: неспособность закоснѣть въ теоріи противъ правды искусства и жизни....

Есть нѣчто неотразимо увлекательное въ страницахъ «литературныхъ мечтаній», посвященныхъ Пушкину: чѣвство горячей любви бьетъ изъ нихъ ключемъ; наивность непониманія новыхъ сторонъ поэта идетъ объ руку съ глубокимъ, душою прочувствованнымъ пониманіемъ прежнихъ, и многое, сказанное по поводу этихъ прежнихъ сторонъ—никогда можетъ быть уже такъ свѣжо и дѣвственно-страстно не скажется!

## II.

«Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чутвемъ и удивительною способностью

принимать и отражать всевозможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань *всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ*, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность *вѣковыхъ правилъ, самую мудростію извлеченныхъ изъ писаній великихъ гениевъ* (слова эти — курсивомъ въ оригиналѣ и относятся къ тогдашнему поклоненію установленнымъ авторитетами), и съ удивленіемъ узнавая о другіихъ мірахъ мыслей и понятій и новыхъ неизвѣстныхъ ей до того взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорятъ, будто онъ подражалъ Шенъе, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да—Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества, — *но міра русскаго, но человѣчества русскаго*. Что дѣлать? Мы всѣ гени-самоучки; мы все знаемъ, ничему неучившись, все приобрѣли, веселясь и играя, словомъ

Мы всѣ учились понемногу,  
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ суровому труду,

«Чтобъ въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ»,

отъ труда опять къ младымъ играмъ, сладкому бездѣлью и легковрылому похмѣлью. *Ему недоставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія* (?). Баловень природы, онъ, шая и играя, похищалъ у ней плѣнительные образы и формы, и, снисходительная къ своему любимцу, она роскошно одѣляла его тѣми цвѣтами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажденіями юности, которые покупаютъ у ней цѣною отреченія отъ жизни.... Какъ чародѣй, онъ въ одно и тоже время исторгалъ у насъ и смѣхъ и слезы, игралъ по волѣ нашими чувствами.... Онъ плѣлъ — и какъ изумлена была Русь звуками его пѣсенъ: и не диво, она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво, въ нихъ трепетали всѣ нервы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глуши провинціи, въ глуши уѣзднаго городка, въ лѣтніе дни, изъ растворенныхъ оконъ, носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму водъ или журчанью ручья* (курсивомъ въ оригиналѣ).

«Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и опредѣлить характеръ каждаго: это значило бы перечестъ и описать всѣ деревья и цвѣты Ар-

мидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотвореній; *у него по большей части все поэмы*: его поэтическія тризны надъ урнами великихъ, его «Андрей Шенье», его могучая бесѣда съ «Моремъ», его вѣщая дума о «Наполеонѣ»—поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэческаго вѣнка, безъ сомнѣнія, суть «Евгеній Онѣгинъ» и «Борисъ Годуновъ». Я никогда не кончилъ бы, если бы началъ говорить о сихъ произведеніяхъ».

«Пушкинъ царствовалъ въ литературѣ десять лѣтъ: «Борисъ Годуновъ» былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полного собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ, или можетъ быть только обмеръ на время. Можетъ быть его уже нѣтъ, а можетъ быть онъ и воскреснетъ; этотъ вопросъ, это Гамлетовское «быть или небыть» скрывается во мглѣ будущаго. По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его поэмѣ «Анджело» и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ «Новосельѣ» и «Библіотекѣ для чтенія», мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ слышалось бывало то удалое разгулье, то сердечная тоска; гдѣ эти вспышки пламеннаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди, эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой прониі вмѣстѣ злой и тоскливой, которыя поражали умъ своею игрою: гдѣ теперь эти картины жизни и природы, предъ которыми была блѣдна жизнь и природа?... *Увы! вмѣсто ихъ мы читаемъ теперь стихи съ правильною цезурою, съ богатыми и полубогатыми римами, съ поэтическими вольностями, о коихъ такъ пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубокомысленно рассуждали Архимандритъ Аполлосъ и г. Остолоповъ!*... Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленные похвалы энтузіастовъ, ни сильныя, нерѣдко справедливыя, нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина?... *И однакожь, не будемъ слишкомъ поспѣшны и спротивны въ нашихъ заключеніяхъ*; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. *О Пушкинѣ судить не легко.* Вы вѣрно читали его элегію въ октябрской книжкѣ «Библіотеки для чтенія»? Вы вѣрно были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышетъ это созданіе? Упомянутая элегія, вромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна въ томъ отношенія, что заключаетъ въ себѣ самую характеристику Пушкина, какъ художника:

Порой опять гармоніей упыюсь,  
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

«Да, я свято вѣрю, что онъ исполнилъ раздѣляя безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки, или своей пльнительной Татьянъ, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще не вѣдавшей наслажденій; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности, вмѣстѣ съ Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры, что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ.... Пусть скажутъ, что это—пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифируетъ «Библиотеку для чтенія», чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю и мнѣ отраднѣе вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ».... (Молва. 1834 г. ч. VIII. стр. 397—400).

Сколько размысленій возбуждаютъ эти пылкія юношескія страницы, на которыхъ, повторю опять, глубокое пониманіе идетъ объ руку съ страннымъ непониманіемъ. Не ясно ли, что самое непониманіе новыхъ сторонъ, открывавшихся въ Пушкинѣ, было слѣдствіемъ слишкомъ живого проникновенія натуры критика прежними его созданіями! Иначе какъ объяснить, что человѣкъ, который равно цѣнилъ и лирическія, и юмористическія стороны гения Пушкина — стало быть и «Цыганъ», и «графа Нулина» (а надобно припомнить *напрстойную* статью Николая Надоумки по новому графу Нулина!) — не понималъ «Гусара», напечатаннаго въ «Библиотекѣ для чтенія», не понималъ стремленія Пушкина къ Шекспиру, выразившагося въ «Анджело»? И между тѣмъ, этотъ юноша, не понимавшій «Анджело» и «Гусара», вѣритъ упорно въ Пушкина, видитъ въ немъ выраженіе современнаго ему міра, «но міра русскаго», — вѣритъ наконецъ въ душу поэта, разлитую въ его созданія и тѣсно съ ними соединенную, живущую одною съ ними жизнію! Не говорю уже о томъ, что юноша, ставши мужемъ, понималъ и «Анджело» и «Гусара» и «Каменнаго Гостя»!

Все это въ 1834 году.

А въ 1857 и 1858 годахъ являются въ журналахъ нашихъ статьи, гдѣ, то оправдываются отношенія Полеваго къ Пушкину, и Полевой ставится выше *по убѣжденіямъ*, — то гг. NN, ZZ приписывается, какъ проводителямъ принциповъ, больше значенія въ Русской литературѣ, чѣмъ Пушкину, — то, поклоняясь произведенію, дѣйствительно достойному уваженія, какъ «Семейная хроника», вовсе забываютъ о «Капитанской дочкѣ» и «Дубровскомъ»!.... А въ 1859 году является статья, исполненная искренней любви и искренняго поклоненія великому поэту, но такой

любви, отъ которой не поздоровится, такого поклоненія, которое лишаетъ поэта его великой личности, его пламенныхъ, но обманутыхъ жизнiю сочувствiй, его высокаго общественнаго значенія,—которое сводитъ его на степень кимвала звенящаго и мѣди бряцающей, громкаго и равнодушнаго эха,—сладко поющей птицы! Все это развѣнчаніе совершается съ наивнѣйшею любовью, во имя поэтической непосредственности...

Да! вопросъ о Пушкинѣ мало подвинулся къ своему разрѣшенію со времени «литературныхъ мечтаній»,—а безъ разрѣшенія этого вопроса, мы не можемъ уразумѣть настоящаго положенія нашей литературы. Одни хотятъ видѣть въ Пушкинѣ отрѣшеннаго художника, вѣря въ какое-то отрѣшенное, не связанное съ жизнiю и не жизнiю рожденное искусство,—другіе заставили бы «жреца взять метлу» и служить ихъ условнымъ теоріямъ.... Лучшее, что было сказано о Пушкинѣ въ послѣднее время, сказалось въ статьяхъ Дружинина, но и Дружининъ взглянулъ на Пушкина только какъ на нашего эстетическаго воспитателя.

А Пушкинъ—наше все: Пушкинъ — представитель всего нашего *душевнаго, особеннаго*, такого, что остается нашимъ *душевнымъ, особеннымъ* послѣ всѣхъ столкновеній съ чужимъ, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народнои личности, самородокъ, принимавшій въ себя, при всевозможныхъ столкновеніяхъ съ другими особенностями и организмами,—все то, что принять слѣдуетъ, отбрасывавшій все, что отбросить слѣдуетъ, полный и цѣльный, но еще не красками, а только контурами набросанный образъ народнои нашей сущности,—образъ, который мы долго еще будемъ оттѣнять красками. Сфера душевныхъ сочувствiй Пушкина не исключаетъ ничего до него бывшаго и ничего, что послѣ него было и будетъ правильнаго и органически-нашаго. Сочувствiя Ломоносовскія, Державинскія, Новиковскія, Карамзинскія, сочувствiя старой русской жизни и стремленія новой,—все вошло въ его полную натуру, въ той стройной мѣрѣ, въ какой бытіе послѣ-потопное является сравнительно съ бытіемъ до-потопнымъ, въ той мѣрѣ, которая опредѣляется русскою душою. Когда мы говоримъ здѣсь о русской сущности, о русской душѣ,—мы разумѣемъ не сущность народную до-Петровскую, и не сущность послѣ-Петровскую, а органическую цѣлость: мы вѣримъ въ Русь, какова она есть, какою она оказалась или оказывается послѣ столкновеній съ другими жизнями, съ другими народными организмами, послѣ-того, какъ она, воспринимая въ себя различныя элементы, — одни брала и беретъ какъ родственныя, другіе отрицала и отрицаетъ какъ чуждыя и враждебныя.... Пушкинъ-то и есть наша такая, на первый разъ очеркомъ, но полно и цѣльно, обо-

значившаяся душевная физиономія, физиономія, выдѣлившаяся, вырѣзавшаяся уже ясно изъ круга другихъ народныхъ, *типовыхъ* физиономій, — обособившаяся сознательно, именно вслѣдствіе того, что уже вступила въ кругъ ихъ. Это — нашъ самобытный типъ, уже мѣрившійся съ другими европейскими типами, проходившій сознаниемъ тѣ фазисы развитія, которые они проходили, но борившійся съ ними сознаниемъ, вынесшій изъ этого процесса свою физиологическую, типовую самостоятельность.

Показать, какъ изъ всякаго броженія выходило въ Пушкинѣ цѣльнымъ это *типовое*, было бы задачей труда огромнаго. Въ великой натурѣ Пушкина, ничего не исключающей: ни тревожно-романтическаго начала, ни юмора здраваго разсудка, ни страстности, ни сѣверной рефлексіи, — въ натурѣ, на все отзывавшейся, но отзывавшейся въ мѣру русской души — заключается оправданіе и примиреніе для всѣхъ нашихъ теперешнихъ, по видимому столь враждебно раздвоившихся сочувствій.

Въ настоящую минуту мы видимъ только раздвоеніе. Смѣясь надъ нашими недавними сочувствіями, относясь къ нимъ теперь постоянно критически, мы собственно смѣемся не надъ ними, а надъ ихъ напряженностію. И до Пушкина, и послѣ Пушкина, мы въ сочувствіяхъ и враждахъ постоянно пересаливали: въ немъ одномъ, какъ нашемъ единственномъ цѣльномъ геніѣ, заключается правильная художественно-нравственная мѣра, мѣра уже дознанная, уже оверѣпшая въ различныхъ столкновеніяхъ. Въ его натурѣ — очеркамъ обозначились наши физиономическія особенности полно и цѣльно, хотя еще безъ красокъ, — и все современное литературное движеніе есть только наполненіе красками рафаэлевски-правдивыхъ и изящныхъ очерковъ.

Пушкинъ выносилъ въ себѣ все. Онъ долго, напримѣръ, носилъ въ себѣ въ юности мутно-чувственную струю ложнаго классицизма (эпоха лицейскихъ и первыхъ послѣ-лицейскихъ стихотвореній); изъ нея онъ вышелъ наивенъ и чистъ, да еще съ богатымъ запасомъ живучихъ силъ для противодѣйствія романтической туманности, отъ которой ничто не защищало несравненно менѣе цѣльный талантъ Жуковскаго. Эта мутная струя впослѣдствіи очистилась у него до наивнаго пластицизма древности, и, благодаря стройной мѣрѣ его природы, ни одна словесность не представитъ такихъ чистыхъ и совершенно ваятельныхъ стихотвореній какъ Пушкинскія. Но и въ этомъ отношеніи, какъ онъ самъ, такъ и все, что пошло отъ него по прямой линіи (Майковъ, Фетъ въ ихъ антологическихъ стихотвореніяхъ), умѣли уберечься въ границахъ здраваго, яснаго смысла и здраваго, достойнаго разумно-нравственнаго су-



щества, сочувствія. Молодое кипѣніе этой струи отразилось у самаго Пушкина въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ молодости, отражалось, благодаря его на половину африканской крови, и въ послѣдующія эпохи стихотвореніями удивительными и пламенными («Нѣтъ, я не дорожу мятежнымъ наслажденіемъ»), которыя однако онъ не хотѣлъ видѣть въ печати. Оно обособилось въ пламенномъ Языковѣ, но и тотъ искалъ потомъ успокоенія своему жгучему лиризму или въ высшихъ сферахъ вдохновенія, или въ созданіяхъ болѣе объективныхъ и спокойныхъ, какова напримѣръ «сказка о сѣромъ волкѣ и Иванѣ царевичѣ», красоту которой, говоря *par parenthèse*, мы потеряли способность цѣнить, избалованные судорожными вдохновеніями современныхъ музъ. Напряженное же, насильственно-подогрѣтое клокотаніе этой струи — истощило въ наши времена талантъ г. Щербины, и весьма еще недавно вылилось въ мутно-сладострастныхъ стихахъ молодого, только-что начинающаго поэта, г. Тура;—но не слѣдуетъ по злоупотребленіямъ, противнымъ здравому русскому чувству, умозаключать, что самая струя, въ мѣру взятая, ему противна...

Вообще же, не только въ мірѣ художественныхъ, но и въ мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій — Пушкинъ есть первый и полный представитель нашей фізіономіи. Гоголь явился только мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, поэтому чисто-отрицательнымъ; симпатій же нашихъ кровныхъ, племенныхъ, жизненныхъ онъ олицетворить не могъ, во первыхъ, какъ малороссъ, а во вторыхъ, какъ уединенный и болѣзненный аскетъ.

### III.

Въ русской натурѣ вообще заключается одинаковое, равномерное богатство силъ, какъ положительныхъ, такъ и отрицательныхъ. Нешадно смѣясь надъ всѣмъ, что несообразно съ нашей душевной мѣрой, хотя бы безобразіе несообразности явилось даже въ томъ, что мы любимъ и уважаемъ (чѣмъ мы и отличаемся отъ другихъ народовъ, въ особенности отъ нѣмцевъ, совершенно неспособныхъ къ комическому взгляду), мы столь же мало способны къ строгой, однообразной чинности, кладущей на все печать уровня внѣшняго порядка и составной цѣльности. Любя праздники, и цѣлую жизнь *проживая* иногда въ празднопатательствѣ и круженіи, мы не можемъ мѣшать дѣло съ бездѣльемъ и, дѣлая дѣло, сладострастно наслаждаться въ немъ мыслію о приготовленіи себѣ известной *порціи* законнаго бездѣлья;—чѣмъ опять-таки мы отлича-

емся отъ нѣмцевъ. Нѣтъ! мы всѣ говоримъ, какъ одинъ изъ нашихъ типическихъ героевъ, Грибоѣдовскій Чацкй:

Когда дѣла—я отъ веселья прячусь,  
 Когда дурачиться—дурачусь.  
 А смѣшивать два этихъ ремесла  
 Есть тѣма искусниковъ—я не изъ ихъ числа!

Мы можемъ ничего не дѣлать, но не можемъ съ важностію дѣлать *ничего*, il far niente, какъ итальянцы. А съ другой стороны, мы не можемъ помириться съ вѣчной суетой и толкотней общественно-будничной жизни, не можемъ заглушить въ ней тревожнаго голоса своихъ вышнихъ духовныхъ интересовъ, или впадаемъ въ хандру—и вотъ почему, изъ всѣхъ произвольно составленныхъ утопій общественныхъ, нѣтъ для русской души противнѣе утопіи Фурье, хотя нѣтъ племени, въ которомъ братство, любовь, незлобіе и общеніе были бы такъ просты и непосредственны.

Пока эта природа съ богатыми стихійными началами и съ безпощаднымъ здравымъ смысломъ живетъ еще сама въ себѣ, т. е. живетъ безсознательно, безъ столкновенія съ другими живыми организмами,—какъ то было до реформы Петра,—она еще спокойно вѣритъ въ свою стихійную жизнь, еще не опредѣляетъ, не разлагаетъ своихъ стихійныхъ началъ, довольствуясь тѣми формами, въ которыя свободно уложилось все ея стихійное...

Стольникъ, напримѣръ, Лихачевъ, ѣздившій отъ царя Алексѣя Михайловича править посольство во градъ Флоренскъ къ Дуку Фердинандусу, носилъ въ душѣ крѣпко-сложившіеся, вѣковые типы, которыхъ онъ никогда не разлагалъ, въ которыхъ онъ никогда не сомнѣвался и дальше которыхъ онъ ничего не видѣлъ. Его непосредственное отношеніе къ жизни вовсе ему чуждой такъ дорого, что нельзя безъ искреннаго умиленія читать у него хоть бы вотъ это: «Въ Ливорнѣ церковь Греческая во имя Николая Чудотворца и протопопъ Аванасій—да въ Венеціи церковь же Греческая, *а болше того отъ Рима до Кольскаго острога нидѣ нѣтъ благочестія*». Вы нисколько не заподозрите также его искренности, когда онъ съ вершины своихъ типовыхъ, никогда не разложенныхъ имъ убѣжденій рассказываетъ вамъ объ аудіэнціи у Дука Фердинандуса \*). Вы понимаете всю неразорванность этого взгляда, всю

\*) «И Царскаго Величества здоровье сказано было отъ посланниковъ Флоренскому князю Фердинандусу въ городѣ Пизѣ. И князь у посланниковъ принялъ государеву грамоту и поцѣловалъ ее и началъ плакать, а намъ говорилъ чрезъ толмача по италійски: *за что меня, холопа своего, вашъ пресловутый во всякъ государство*»

цѣльность и извѣстную красоту типа, лежащаго въ его основаніи. Типъ этотъ, наслѣдованный отъ предковъ, завѣщанный предками, ни разу еще не сличалъ себя съ другими жизненно-историческими типами. Онъ есть дотога простое и наивное вѣрованіе, что скажется скорѣе комическимъ взглядомъ на всѣ другіе типы, чѣмъ сомнѣніемъ въ самомъ себѣ и своей исключительной законности,—и, будетъ ли это Лихачевъ во Флоренціи, Чегодановъ въ Венеціи, Потемкинъ во Франціи, наконецъ, въ эпоху позднѣйшую, даже Денисъ Фонвизинъ въ разныхъ иностранныхъ земляхъ,—вы въ нихъ вѣрите, вы ихъ понимаете, вы ихъ любите,—разумѣется, если вы кровный русскій. Вы понимаете, какъ съ неизбежно-утвержденныхъ основъ своего типа должны они смотрѣть на все чуждое, что имъ представляется; вы цѣните тонкую ловкость Чегоданова, хитро выспрашивающаго Венеціанъ на счетъ разныхъ полезныхъ вещей, и не потребуе отъ него, конечно, чтобы онъ восхищался фантастическою, мрачно-пестрою, трагически-сладострастною Венеціею и приходилъ въ лиризмъ

Съ Венеціанкою молодой,  
То говорливой, то нѣмой,  
Плывя въ таинственной гондолѣ.

Вы не возмущаетесь тѣмъ, что Денису Фонвизину въ Варшавскомъ театрѣ звуки Польскаго языка кажутся *подлыми*—и поражаетесь скорѣе мѣткостью и злой правдивостію его замѣчаній, въ родѣ того что: «разсудка Французъ не имѣетъ, да и имѣть его почелъ бы за величайшее несчастіе». Всѣ эти черты стараго типа вамъ понятны, любезны и почитенны. Типъ хранится этими людьми такъ вѣрно, такъ искренно, что они и понять не могутъ ничего того, что ихъ типу противорѣчить. Потемкинъ во Франціи, оскорбленный откупщикомъ «маршалка де Граммона», хотѣвшаго взять пошдину съ овладовъ святыхъ иконъ, прямо называетъ его «врагомъ креста Христова и псомъ несатымъ»—и знать не хочетъ, что откупщикъ дѣйствуетъ на основаніи *своихъ* правъ....

Такъва крѣпость *типа* въ его еще покойномъ, безсознательномъ состояніи.... Естественно, что въ этой цѣльности и замкнутости онъ остаться не можетъ при столкновеніи съ другими типами.

Эта же самая природа съ богатыми стихійными силами и съ беспощадно-критическимъ здравымъ смысломъ—вдругъ поставлена, и поставлена уже не случайно, не навремя, а навсегда, въ столкновеніе съ иною,

---

*и ордахъ великій князь Алексѣй Михайловичъ... искалъ и любительную свою грамоту и поминки прислалъ? А онъ великій государь, что небо отъ земли отстоитъ, то и онъ великій государь»..... и т. д.*

доселѣ чуждою ей жизнію, съ иными крѣпко же и притомъ роскошно и полно сложившимися идеалами. Пусть на первый разъ она, какъ Фонвизинъ, отнеслась къ этимъ чуждымъ ей типамъ только критически. Но потомъ происходитъ неминуемо другой процессъ. Тронутая съ мѣста, стихійныя начала встаютъ какъ морскія волны, поднятыя бурей, и начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя, бездонная пропасть. Оказывается, какъ только старый исключительный типъ разложился, что въ насъ есть сочувствіе ко всѣмъ идеаламъ, т. е. существуютъ стихіи для созданія многообразныхъ идеаловъ. Сущность наша, личность, т. е. типовая мѣра, душевная единица, на время позабывается: дѣйствуютъ только силы, страшныя, дикія, необузданныя. Каждая хочетъ сдѣлаться центромъ души—и, пожалуй, могла бы, если бы не было другой, третьей, многихъ, равно просящихъ работы, равно вѣждительныхъ и, стало быть, равно разрушительныхъ, и если бы въ каждой силѣ не заключалась ея равномѣрная отрицательная сторона, указывающая немолимо на всѣ неправильныя, смѣшныя—противныя типовой душевной мѣрѣ уклоненія.

Способность силъ доходить до крайнихъ предѣловъ, соединенная съ типовой болѣзненно-критическою отрыжкою, порождаетъ состояніе страшной борьбы. Въ этой борьбѣ закруживаются неминуемо природы могущественныя, но не гармоническія, природы до-потопныхъ образованій:—и часто мрачное *fatum* уносить и гармоническія природы, попавшія въ водоворотъ.

Наши великіе, бывшіе доселѣ, рѣшительно представляются съ этой точки могучими заклинателями страшныхъ силъ, пробующими во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ служебную дѣятельность стихій, но забывающими порою, что не всегда можно дускать на свободу эти порожденія душевной бездны. Стоитъ только стихіи вырваться изъ центра на периферію, чтобы, по общему закону организмовъ, она стала обособляться, сосредоточиваться около собственнаго центра, и получила свое отдѣльное, цѣльное и реальное бытіе...

И тогда—горе заклинателю, который выпустилъ ее изъ центра, и это горе неминуемо ждетъ всякаго заклинателя, поколику онъ человѣкъ.... Пушкина скосила отдѣлившаяся отъ него стихія Алеко; Лермонтова—тотъ страшный идеалъ, который сіялъ предъ нимъ «какъ царь нѣмой и гордый», и отъ мрачной красоты котораго самому ему «было страшно и душа тоскою сжималася»; Кольцова—та раздражительная и начинавшая во всемъ сомнѣваться стихія, которую тщетно заклиналъ онъ своими «Думами». А сколько могучихъ, но негармоническихъ личностей закру-

живали стихійныя начала: — Милонова, Кострова, Радищева въ прошломъ вѣкѣ, — Полежаева, Мочалова, Варламова на нашей памяти.

Да не скажутъ, чтобы я здѣсь игралъ словами. Стихійное начало вовсе не то, что *личность*. Личность Пушкинская не Алеко и вмѣстѣ съ тѣмъ не Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, отъ лица котораго онъ любилъ рассказывать свои повѣсти; личность Пушкинская — самъ Пушкинъ, зачинатель и властелинъ многообразныхъ стихій; какъ личность Лермонтовская — не Арбенинъ и не Печоринъ, а самъ онъ

Еще невѣдомый избранникъ

и, можетъ быть, по словамъ Гоголя, «будущій великій живописецъ русскаго быта». Прасоль Кольцовъ, умѣвшій ловко вести свои торговля дѣла, спасъ бы намъ надолго жизнь великаго лирика Кольцова, — еслибъ не пожрала его, вырвавшись за предѣлы, та раздражающаяся дѣйствительностію, недовольная, слишкомъ впечатлительная сила, которую не всегда заклиналъ онъ своей возвышенной и трогательной молитвою:

О, гори лампада  
Ярче предъ Распятьемъ....  
Тяжелы мнѣ думы,  
Сладостна молитва.

Въ Пушкинѣ, по преимуществу, какъ въ первомъ цѣльномъ очеркѣ русской природы, очеркѣ, въ которомъ обозначились и объемъ и границы ея сочувствій, — отразилась эта борьба, высказался этотъ моментъ нашей духовной жизни, хотя великій мужъ былъ и не рабомъ, а властелиномъ и зачинателемъ этого страшнаго момента.

Поучительна въ высокой степени исторія душевной борьбы Пушкина съ различными идеалами, борьбы, изъ которой онъ выходитъ всегда самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ. Ибо, что на примѣръ общаго между Онѣгинимъ и Чайльдъ-Гарольдомъ Байрона, что общаго между Пушкинскимъ и Байроновскимъ, или Мольеровскимъ Французскимъ, или наконецъ Испанскимъ Донъ Жуаномъ?... Это типы совершенно различные, ибо Пушкинъ, по словамъ Бѣлинскаго, былъ *представителемъ міра Русскаго, человечества Русскаго*. Мрачный сплинъ и язвительный скептицизмъ Чайльдъ-Гарольда замѣнился въ лицѣ Онѣгина хандрою отъ праздности, тоскою челоуѣка, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрѣе своихъ идеаловъ, который надѣленъ критическою способностію здороваго русскаго смысла, т. е. прирожденною, а не приобрѣтенною критическою способностію, который — критикъ, потому что даровитъ, а не потому, что озлобленъ, хотя самъ

и хочет искать причинъ своего критическаго настроенія въ озлобленіи, и которому та же критическая способность можетъ—того и гляди—указать дорогу выйти изъ ложнаго и напряженнаго положенія на ровную дорогу.

Съ другой стороны, Донъ Жуанъ южныхъ легендъ, это сладострастное кипѣніе крови, соединенное съ демонски-скептическимъ началомъ, на которое намекаетъ великое созданіе Мольера, и которымъ до описанія восторгается Нѣмецъ Гофманнъ,—эти свойства обращаются въ созданіи Пушкина въ какую-то безпечную, юную, безграничную жажду наслажденія, въ сознательное даровитое чувство красоты, въ способность «по узенькой пяткѣ» дорисовать весь образъ, способность находить «странную пріятность» въ «потухшемъ взорѣ и помертвѣлыхъ глазахъ черноокой Инесы»;—типъ создается, однимъ словомъ, изъ южной, даже африканской страстности, но смягченной русскимъ тонко-критическимъ чувствомъ,—изъ чисто русской удали, безпечности, какой-то дерзкой шутки съ прожигаемою жизнію, какой-то безусталой гоньбы за впечатлѣніями,—такъ что чуть впечатлѣніе принято душою, душа уже далеко, и только «на снѣговой порошѣ» остался слѣдъ «не зайки, не горностайки», а Чурилы Пленковича, этого Донъ Жуана миѳическихъ временъ, порожденія нашей народной фантазіи.

Взгляните еще на борьбу Пушкинскую, т. е. идеально-русской натуры, съ тѣмъ типомъ, въ которомъ

Лордъ Байронъ прихотью удачливой  
Облекъ въ унылый романтизмъ  
И безнадежный эгоизмъ,

на эту схватку съ совершенно-сложившимся историческимъ типомъ, схватку могучихъ, но еще неуходившихся стихійныхъ началъ, въ которыхъ идеаль, мѣрка не доросли еще до сознанія, а между тѣмъ бессознательно сказываются, подають свой голосъ при всякомъ лишнемъ шагѣ и невольно ихъ обуздываютъ.

Эта поучительная для насъ борьба—и въ гениально-юношескомъ лепетѣ Кавказскаго плѣнника, и въ Алеко, и въ Гиреѣ (не даромъ же, печальной памяти, Маякъ объявлялъ героевъ Пушкина уголовными преступниками!), и въ Онѣгинѣ, и въ ироническомъ, лихорадочномъ и вмѣстѣ сухомъ тонѣ «Пиковой дамы», и въ отношеніяхъ Ивана Петровича Бѣлкина къ мрачному Сильвіо, въ повѣсти: «Выстрѣлъ». На каждой изъ этихъ ступеней, борьба стоить подробнѣйшаго изученія.... Но что вездѣ особенно поразительно, такъ это постоянная непослѣдовательность живой и самобытной души, ея упорная непокорность усвоемому

ей типу, при постоянной послѣдовательности умственной, послѣдовательности пониманія и усвоенія типа. Ясно видно, что въ типѣ есть для этой души что-то неотразимо-влекущее, и есть вмѣстѣ съ тѣмъ что-то такое, чему она постоянно измѣняетъ, что, стало быть, рѣшительно не по ней. Я позволяю себѣ думать, что глубокое психологическое изученіе этихъ душевныхъ Пушкинскихъ отношеній внесло бы въ наше сознаніе гораздо больше ясности, чѣмъ возгласы о томъ, что Пушкинъ и Гоголь, изволите видѣть, не сознавали принциповъ, а г. NN или г. ZZ ихъ сознають и стало быть имѣютъ большее для насъ значеніе. Я—и авось либо не одинъ я—не знаю, да и знать не хочу, какіе принципы и какое ученіе сознавалъ Пушкинъ;—а знаю, что для нашей русской природы онъ все болѣе и болѣе будетъ становиться мѣркою принциповъ. Въ немъ заключается все наше—все, отъ отношеній, совершенно двойственныхъ, нашего сознанія къ Петру и его дѣлу—до нашихъ тщетныхъ усилій насильственно создать въ себѣ и утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы чужой жизни, до нашей столь же тщетной теперешней борьбы съ этими идеалами, и столь же тщетныхъ усилій, вовсе отъ нихъ оторваться и замѣнить ихъ чисто-отрицательными и смиренными идеалами. И всѣ истинныя, правдивыя стремленія современной нашей литературы находятся въ духовномъ родствѣ съ Пушкинскими стремленіями, отъ нихъ по прямой линіи ведутъ свое начало. Въ Пушкинѣ надолго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ—и тайна этого процесса въ его слѣдующемъ, глубоко-душевно и благоухающемъ стихотвореніи:

Художникъ-варваръ кистью сонной  
 Картину гения чернить,  
 И свой рисунокъ беззаконный  
 На ней бессмысленно чертить.  
 Но краски чуждыя, съ лѣтами,  
 Спадаютъ ветхой чешуей;  
 Созданье гения предъ нами  
 Выходитъ съ прежней красотой.  
 Такъ исчезаютъ заблужденья  
 Съ измученной души моей,  
 И, возникаютъ, въ ней видѣнья  
 Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

Этотъ процессъ со всѣми нами въ отдѣльности и съ нашею общественною жизнью совершался и понынѣ совершается. Кто не видитъ могучихъ произрастаній типоваго, кореннаго, народнаго—того природа обдѣлила зрѣніемъ и вообще чутъемъ.

## IV.

Случайно, или пожалуй и не случайно, наше славянское коренное и типовое есть вмѣстѣ и наиболѣе удобная подкладка для истинно-человѣческаго, т. е. христіанскаго,—но только подкладка, не болѣе. И таковою подкладкой является оно вслѣдствіе своихъ отрицательныхъ качествъ, страдательныхъ съ одной стороны, критическихъ съ другой. Благодаря тѣмъ и другимъ, мы не можемъ долго и насильственно поддерживать въ себѣ поклоненія какому бы ни было человѣческому типу, какому бы ни было кумиру, изъ какого бы драгоценнаго металла или мрамора этотъ кумиръ ни былъ созданъ, и какъ бы изящно онъ ни созданъ,—а вмѣстѣ съ тѣмъ во всякомъ типѣ мы видимъ и слабья его стороны—и тотчасъ же относимся къ нимъ комически, какъ бы дорогъ типъ намъ ни былъ.

Въ этомъ-то отношеніи, въ цѣльной натурѣ Пушкина и въ ея борьбѣ съ различными, тревожившими ее и пережитыми ею типами—и заключается для насъ слово разгадки... Повторяю еще разъ—Пушкинъ все наше перечувствовалъ (разумѣется, только какъ поэтъ, въ благоуханіи): отъ любви къ загнанной старинѣ («Родословная моего героя») до сочувствій реформѣ («Мѣдный всадникъ»); отъ нашихъ страстныхъ увлеченій эгоистически-обаятельными идеалами до смиреннаго служенія Савелья («Капитанская дочка»); отъ нашего разгула до нашей жажды самоуглубленія, жажды «матери пустыни»; и только смерть помѣшала ему воплотить наши высшія стремленія и весь духъ кротости и любви въ просвѣтленномъ образѣ Газита,—смерть, которая унесла его столь же преждевременно, какъ братьевъ его по духу, такихъ же набрасывателей многообъемлющаго и многосодержащаго идеала, Рафаэля Санціо и Моцарта. Ибо есть какой-то тайный законъ, по которому недолговѣчно все, разметывающееся въ ширину, и коренится какъ дубъ односторонняя глубина...

Есть натуры, предназначенныя на то, чтобы намѣтить грани процессовъ, набросать полныя и цѣльныя, но одними очерками обозначенныя идеалы; и такая-то натура была у Пушкина. Онъ наше все—не устану повторять и, не устану, *во первыхъ*, потому, что находятся въ наше время критики, даже историки литературы, которые, безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, объявляютъ, что Пушкинъ умеръ весьма кстати, ибо иначе не сталъ бы въ уровень съ современнымъ движеніемъ и пережилъ бы самаго себя,—*во вторыхъ*, потому, что есть мыслители, не подобнымъ критикамъ и историкамъ чета, а достойные уваженія по честности и



серьезности взгляда, которые къ Пушкину находятся немного въ тѣхъ же отношеніяхъ, въ какихъ находились Пуритане къ Шекспиру—и, наконецъ, потому, что многіе блестящіе и проникательные умы, сознавая великое значеніе въ нашей жизни Пушкина, какъ воспитателя художественнаго, не обращаютъ вниманія на его нравственное для насъ значеніе, на то, что въ немъ—крайнія, хотя только обрисованныя, набросанныя опредѣленія всѣхъ нашихъ сочувствій, что во всей современной литературѣ нѣтъ ничего истинно замѣчательнаго и правильнаго, что бы въ зародышѣ своемъ не находилось у Пушкина.

Объ этомъ я буду говорить въ свое время и въ своемъ мѣстѣ... Здѣсь позволю себѣ замѣтить только, что всѣ простыя, не преувеличенныя юмористическія, и не идеализированныя трагически, отношенія литературы къ окружающей дѣйствительности и къ русскому быту—по прямой линіи ведутъ свое начало отъ взгляда на жизнь Ивана Петровича Бѣлкина.

Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Какое же душевное состояніе выразилъ нашъ поэтъ въ этомъ типѣ, и каково его собственное душевное отношеніе къ этому типу, влѣзая въ кожу, принимая взглядъ котораго, онъ рассказываетъ намъ столь многія добродушныя исторіи, между прочимъ «лѣтопись села Горохина» и семейную хронику Гриневыхъ, эту родоначальницу всѣхъ теперешнихъ «семейныхъ хроникъ»?

Помните ли вы, мои читатели, отрывки главы, не вошедшей въ поэму объ Онѣгинѣ, и нѣкогда предназначавшейся на то, чтобы привести существованіе Онѣгина въ многообразныя столкновенія съ русской жизнію и русской землею, какъ свидѣлствуютъ уцѣлѣвшія строфы,—привести эту праздную, тяготящуюся собою жизнь на разныя очныя ставки съ дѣятельною, суетливо-хлопочущею жизнію?.. Эти отрывки, хотя они и отрывки, но весьма замѣчательны.

Дѣло объѣзжать Россію и сталкиваться съ различными слоями ея жизни—Пушкинъ поручилъ потомъ не Онѣгину, а извѣстному «плутоватому человѣку» Павлу Ивановичу Чичикову (Гоголь самъ говоритъ, что идея «Мертвыхъ душъ» дала ему Пушкинымъ);—но между тѣмъ, въ этихъ отрывочныхъ строфахъ, Онѣгинъ является для насъ съ новой стороны, какъ лице, которому, не смотря на всю прожитую бурно жизнь, все таки некуда дѣвать здоровья и жизни:

Зачѣмъ какъ Тульскій засѣдатель,

Я не лежу въ параличѣ?

Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ

Хоть ревматизма? Ахъ, создатель!

Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка...  
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска!

Да! тоскою о томъ, что много еще силъ, много здоровья и крѣпости жизни,—долженъ кончить Онѣгинъ, какъ отраженіе извѣстной минуты душевнаго процесса;—но не тоскою одной кончается живая, многообъемлющая натура самаго поэта:

Порой дождливою наведни  
Я, завернувъ на скотный дворъ....  
Тѣфу! прозаическія бредни,  
Фламандской школы пестрый соръ!  
Таковъ ли былъ я, разцвѣтая?  
Скажи, фонтанъ Бакчисарая,  
Такія ль мысли мнѣ на умъ  
Навелъ твой безконечный шумъ?

Эта выходка поэта—негодованіе на прозаизмъ и мелочность окружающей его обстановки, но вмѣстѣ и невольное сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душею, что онъ въ душѣ остался какъ отсадокъ послѣ всего броженія, послѣ всѣхъ напряженій, послѣ всѣхъ тщетныхъ попытокъ окамениться въ Байроновскихъ формахъ. И тщета этой борьбы съ собственной душею, и негодованіе на то, что послѣ борьбы остался именно таковой отсадокъ — одинаково знаменательны:

Какія бѣ чувства ни таились  
Тогда во мнѣ,—теперь ихъ нѣтъ:  
Они прошли иль измѣнились;  
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!  
Въ ту пору мнѣ казались нужны  
Пустыни, волнъ края жемчужны  
И моря шумъ и груды скалъ,  
И гордой дѣвы идеаль,  
И безыменныя страданья....  
Другіе дни, другіе сны!  
Смирись въ, моей весны  
Высокопарныя мечтанья,  
И въ поэтическій бокаль  
Воды я много поджѣпалъ.  
Иныя нужны мнѣ картины:  
Люблю песчаный косогоръ,  
Передъ избушкой двѣ рябины,  
Калитку, сломанный заборъ,

На небѣ сѣренькія тучи,  
 Передъ гумномъ соломы кучи,  
 Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,  
 Раздолье утокъ молодыхъ....  
 Теперь мила мнѣ балалайка,  
 Да пьяный топотъ трепака  
 Передъ порогомъ кабака;  
 Мой идеаль теперь—хозяйка,  
 Мои желанія—покой,  
 Да шей горшокъ, да самъ большой....

Поразительна эта простодушнѣйшая смѣсь ощущеній самыхъ разнородныхъ, негодованія и желанія набросить на картину колоритъ самый сѣрый съ невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной красоты! Эти строфы —ключъ къ самому Пушкину и къ нашей русской натурѣ вообще, ключъ, гораздо болѣе важный, чѣмъ *принципы* г. NN или г. ZZ... Это чувство есть наше типовое.... Оно только-что очнулось отъ тревожно-дихорадочнаго сна, только-что вырвалось изъ кипящаго, страшнаго омута, оглядывается на Божій свѣтъ, встряхиваетъ будрами, чувствуетъ, что и все вокругъ него то же, такое же, какъ было до сна, и само оно то же, такое же, какъ было до борьбы съ призраками, и юношески недовольно тѣмъ, что оно свѣжо и молодо послѣ всѣхъ схватокъ съ подводными чудовищами....

Но, кружась въ водоворотѣ этого омута, наше сознание видѣло такіе сны, и образы ихъ такъ ясно въ немъ отпечатлѣлись, что въ призрачной борьбѣ съ ними, или, лучше сказать, мѣряться съ ними, оно ощутило въ себѣ силы необъятныя. Какъ же это оно такъ молодо, здорово, испытавши столько, и, какъ же, испытавши столько, оно опять видитъ предъ собою прежнюю обстановку?... Вѣдь въ борьбѣ, хотя и призрачной \*) оно узнало само себя, узнало, что не только эту бѣдную и обиденную обстановку можетъ воспринять и усвоить, но и всякую другую, какъ бы ни была эта другая сложна, широка и великолѣпна. Пусть на первый разъ оно разъяснило себѣ себя въ чуждой обстановкѣ, т. е. пусть на первый разъ мѣра силъ познана въ примѣрнѣ къ чужому, для нихъ призрачному, —да силы-то ужъ себя знаютъ, и знаютъ уже кромѣ того, что имъ мала, бѣдна и узка обиденная обстановка дѣйствительности.

А между тѣмъ и въ самомъ круженіи, въ самой борьбѣ съ тѣнями, силы чувствовали минутами припадки непонятнаго влеченія къ этой са-

\*) Замѣчательно, что Марлинскій, этотъ огромный талантъ допотопной формации, оканчиваетъ свою повѣсть: «Страшное гаданье» мыслию, что призрачный міръ, если только онъ глубоко воспринять душой, оставляетъ въ ней такой же слѣдъ, какъ и міръ дѣйствительный.

мой, повидимому столь узкой и скудной, обстановеѣ, къ евоей собственной почвѣ.

Негодование силъ, извѣдавшихъ уже «добрая и злая», — выразившись у Пушкина въ вышеприведенныхъ строфахъ, еще сильнѣй отразилось въ стихотвореніи, которое онъ самъ назвалъ «капризомъ»,

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузой;

и отъ котораго пошло въ нашей литературѣ столько стихотвореній—и Лермонтовскихъ, и Огаревскихъ, и Некрасовскихъ.... Но у Пушкина негодование перешло въ серьезную мужескую думу о своихъ отношеніяхъ къ міру, призрачному и къ міру дѣйствительному.

Въ тѣ дни, когда муза, по словамъ его, услаждала ему

путь нѣмой

Волшебствомъ тайнаго разказа,

когда... но пусть лучше говоритъ онъ самъ:

Какъ часто по скаламъ Кавказа

Она Ленорой, при лунѣ,

Со мной скакала на конѣ!

Какъ часто по брегамъ Тавриды,

Она меня во мглѣ ночной

Водила слушать шумъ морской,

Немолчный шопотъ Нереиды,

Глубокій, вѣчный хоръ валовъ,

Хвалебный гимнъ Отцу міровъ.

Въ эти дни молодого и кипучаго вдохновенія, великая натура мѣрила свои силы со всѣмъ великимъ, что уже она встрѣтила даннымъ и готовымъ, подвергаясь равномѣрно влиянію и свѣтлыхъ и темныхъ его сторонъ. Оказалось, *во первыхъ*, что на «вся добрая и злая» — у нея есть удивительная отзывчивость; *во вторыхъ*, что эта отзывчивость не можетъ остановиться на среднемъ пути, а ведетъ всякое сочувствіе до крайнихъ его предѣловъ; и, *въ третьихъ*, наконецъ, что все-таки не можетъ оно перестать любить своего типоваго, не можетъ не искать его и не можетъ забыть своей почвы.... Эта любовь скажется то радостію «замѣтить разность» между Онѣгинымъ и собою, то мечтою о поэмѣ «пѣсень въ двадцать пять» съ мирнымъ, семейнымъ характеромъ... мало ли чѣмъ наконецъ? — записываніемъ сказокъ старой няньки, или анекдотовъ о старинѣ!...

Когда поэтъ въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самаго себя въ очевидность всѣ эти, повидимому, совершенно противоположныя явленія, совершавшіяся въ его собственной натурѣ, — то, прежде всего,

правдивый и искренній, онъ умалилъ себя, когда-то Гирея, Плѣнника, Алеко, до образа Ивана Петровича Бѣлкина.... Я говорю: умалилъ себя, а не поставилъ въ надлежащія границы, ибо трудно представить себѣ дѣйствительно Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ натуру, которая и прежде мѣрялась, да и не переставала мѣряться силами съ самыми могучими типами (ибо въ то же самое время геній поэта проникалъ въ мрачно-сосредоточенную душу Сальери и въ вѣчно жаждущую жизни натуру Донъ Жуана),—стало быть вовсе не сосредоточивалась исключительно въ существованіи Бѣлкина.

Въ этомъ типѣ узаконивалась, и притомъ только на время, только отрицательно, критически, чисто типовая сторона. Въ существованіе Бѣлкина пошелъ только критическій отсадокъ борьбы, а отнюдь не вся личность поэта,—ибо Пушкинъ вовсе не думалъ отречься отъ прежнихъ своихъ сочувствій, или считать ихъ противузаконными,—какъ это готовы дѣлать иногда мы. Бѣлкинъ для Пушкина вовсе не герой его,—а просто критическая сторона души; ибо иначе, откуда взялась бы въ душѣ поэта другая сторона ея, сторона широкихъ и пламенныхъ сочувствій?

Недавно—года два тому назадъ—одинъ критикъ, разбирая «Семейную хронику» Аксакова и повергая къ ея подножію всю русскую литературу, упрекалъ Лермонтова въ маломъ уваженіи его къ личности Максима Максимыча. Но мы были бы народъ весьма не щедро надѣленный природою, если бы героями нашими были Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ и Максимъ Максимычъ. Тотъ и другой вовсе не герои, а только контрасты типовъ, которыхъ величіе оказалось на нашу душевную мѣрку несостоятельнымъ.

Что такое Пушкинскій Бѣлкинъ, тотъ Бѣлкинъ, который плачется въ повѣстяхъ Тургенева о томъ, что онъ вѣчный Бѣлкинъ, что онъ принадлежитъ къ числу «лишнихъ людей», или «куцыхъ»,—которому въ Писемскомъ смерть хотѣлось бы—но совершенно тщетно—посмѣяться надъ блестящимъ и страстнымъ типомъ, котораго хочетъ не въ мѣру и насильственно поэтизировать Толстой, и предъ которымъ, даже Петръ Ильичъ драмы Островскаго: «Не такъ живи какъ хочется»,—смиряется... по крайней мѣрѣ до новой масляницы и до новой Груши?

Бѣлкинъ Пушкинскій есть простой здравый толкъ и здравое чувство, вроткое и смиренное,—вопіющее законно противъ злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать: стало быть начало только отрицательное,—правое только какъ отрицательное; ибо, представьте его самому себѣ—оно перейдетъ въ застои, мертвящую лѣнь, въ хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова.

Посмотрите на этот отрицательный типъ у Пушкина — вездѣ, гдѣ онъ у него самолично является, или гдѣ поэтъ повѣствуетъ въ его тонѣ и съ его взглядомъ на жизнь... Запуганный страшнымъ призракомъ Сильвіо, ошеломленный его мрачной сосредоточенностію въ одномъ дѣлѣ, въ одной мстительной мысли, — онъ еще не сомнѣвается въ томъ, что Сильвіо *можетъ* существовать: только въ наше время, въ повѣстяхъ Толстаго дошелъ онъ анализомъ до предположенія, что такихъ людей, какъ Сильвіо, не бываетъ. У Пушкина онъ знаетъ только, что самъ онъ вовсе не Сильвіо, и боится этого типа. «Нѣтъ ужъ» — говоритъ онъ — «лучше пойду я къ людямъ попроще», и первый опускается въ простые и такъ-называемые низшіе слои жизни. Въ «Гробовщикѣ» — зерно всѣхъ нашихъ теперешнихъ отношеній къ этимъ слоямъ жизни, а въ «Станціонномъ Смотрителѣ» — зерно всей натуральной школы.

Но съ этой жизнію попроще, куда онъ хочетъ спуститься, онъ вѣдь тоже разобщенъ кой-какимъ образованіемъ, а, главное, онъ уже смотритъ на нее съ высоты этого кой-какого образованія.

Комизмъ положенія человѣка, который считаетъ себя обязаннымъ по своему образованію смотрѣть какъ на нѣчто себѣ чуждое, на то, съ чѣмъ у него гораздо болѣе общаго, чѣмъ съ пріобрѣтенными имъ верхушками образованности, — является необыкновенно ярко въ лицѣ Бѣлкина, автора «Лѣтописи села Горохина»... Эта лѣтопись — тончайшая и вмѣстѣ добродушно-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою вѣковой полоскою нашего развитія, надъ всею нашею поверхностною образованностію, изъ которой мы вынесли взглядъ, совершенно неприложимый къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности... Въ этомъ наивномъ лѣтописцѣ села Горохина лукаво скрыты и всѣ наши прошлые взгляды на нашу бытъ и нашу старину, выразившіеся то стихами въ родѣ:

Россійскіе князья, бояре, воеводы  
Пришедшіе чрезъ Донъ отыскивать свободы,

то фразами, какъ на примѣръ: «Ярославъ пріѣхалъ господствовать надъ трупами», или «отселѣ исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной», — и, по удивительному поэтическому предвѣдѣнію, скрыты также всѣ теперешнія наши отношенія къ дѣйствительности.

И вѣдь мало того, что въ этомъ легкомъ очеркѣ, въ этихъ немногихъ гениальныхъ страницахъ — бездна самой безпощадной ироніи: въ нихъ есть нѣчто высшее ироніи. Откуда въ немъ, въ этомъ Бѣлкинѣ, который считаетъ обязанностію писать съ важностію древнихъ историковъ о странѣ, называемой Горохинымъ, и живописуетъ вычурнымъ тономъ нравы ея обитателей, — откуда въ немъ такое удивительное знаніе

этихъ нравовъ и такое любовное и вмѣстѣ совершенно правильное къ нимъ отношеніе?... О, сказки Ирины Родіоновны,—пробивавшіяся въ натурѣ нашего поэта сквозъ всё искусственныя произрастанія,—вы хранили такую свѣжую, чистую струю въ душѣ молодого, воспитаннаго по-французски барича,—что отдаленное потомство помянетъ васъ добрымъ словомъ и благословеніемъ, забывши разные принципы, сознательнымъ проведеніемъ которыхъ гг. NN, ZZ и иные, стоятъ *якобы* выше Пушкина и Гоголя!

Всѣ наши жилы бились въ натурѣ Пушкина, и, въ настоящую минуту, литература наша развиваетъ только его задачи—въ особенности же типъ и взглядъ Бѣлкина. Бѣлкинъ, который писалъ въ «Капитанской дочкѣ» хронику семейства Гриневыхъ, написалъ и «хронику семейства Багровыхъ»; Бѣлкинъ—и у Тургенева и у Писемскаго; Бѣлкинъ отчасти и у Толстаго;—ибо Бѣлкинъ Пушкинскій былъ первымъ выраженіемъ критической стороны нашей души, очнувшейся отъ сна, въ которомъ грезились ей различныя міры.

Но чтобы понять Бѣлкина и оцѣнить его ни выше, ни ниже того, чего онъ дѣйствительно стоитъ, т. е. чтобы разяснить себѣ эту критическую сторону нашей души,—должно попристальнѣе взглядѣться и въ тотъ пестрый сонъ, въ которомъ душа наша освоивалась съ многообразными мірами, предъ ней мелькавшими, боролась съ многими для нея обаятельными призраками. Въ отношеніяхъ, хотя и напряженныхъ, къ этимъ призракамъ—сказались однако существенныя свойства нашей души, ея сочувствія или вражды, широта ея захвата, предѣлы ея силы: это были пробы ея самостоятельной жизни.

Если бы начать доискиваться, какіе *принципы* руководили Пушкина въ созданіи лицъ Плънника, Гирея, Алеко, Сильвію, Германна, то можно было бы дойти только до обвиненія его въ томъ, что герои его—уголовные преступники, или до противоположныхъ нелѣпостей. Ни къ чему иному исцанье *принциповъ* обыкновенно не приводитъ, да и привести не можетъ. Не мудрено отыскать принципы въ *обличительной* и *полезной* литературѣ, но

Позабывъ свое служенье,  
Алтарь и жертвоприношенье,  
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?

хотя съ другой стороны—великіе жрецы и не суть жрецы какого-то отвлеченнаго отъ жизни, безсѣменнаго и безплоднаго искусства.

Живое созданіе не укладывается въ тѣсныя рамки, назначаемыя принципами—какъ и жизнь сама въ нихъ не укладывается. Жизнь весьма

часто проницески смѣется надъ самыми вѣрными принципами, которыми хотятъ ее опредѣлить. Вдругъ порою покажетъ она нежданно-негаданно такія силы, которыя способны создавать новые міры, когда вы думаете, что совершенно вызнали ея ходъ, что проникли ея тайную думу—когда вы увѣрены, что она вотъ такъ и будетъ двигаться по предъузнанному вами направленію!

## V.

Въ ту же эпоху, съ которой я начинаю свое обозрѣніе, впервые появилась въ печати бессмертная комедія Грибоѣдова, и вотъ что писалъ о ней Вѣлинскій въ «Литературныхъ мечтаніяхъ»:

«Грибоѣдова комедія или драма (я не совсѣмъ хорошо понимаю различіе между этими словами, значеніе же слова *трагедія* совсѣмъ не понимаю) давно ходила въ рукописи. О Грибоѣдовѣ, какъ и о всѣхъ примѣчательныхъ людяхъ, было много толковъ и споровъ; ему завидовали нѣкоторые наша генія, въ то же время удивлявшіеся «Лбедѣ» Капниста; ему не хотѣли отдавать справедливости тѣ люди, которые удивлялись гг. АВ, СD, ЕF. Но публика разсудила иначе: еще до печати и представленія, рукописная комедія Грибоѣдова разлилась по Россіи бурнымъ потокомъ».

*Комедія*, по моему мнѣнію, есть такая же драма, какъ и то, что обыкновенно называется *трагедією*; ея предметъ есть представленіе жизни въ противорѣчій съ идеей жизни; ея элементъ есть не то невинное остроуміе, которое добродушно издѣвается надъ всѣмъ, изъ одного желанія позубоскалить, нѣтъ: ея элементъ есть этотъ желчный *уморъ*, это грозное негодование, которое не улыбается шутиливо, а хохочетъ яростно, которое преслѣдуетъ ничтожество и эгоизмъ не эпиграммами, а сарказмами. Комедія Грибоѣдова есть истинная *Divina comedia*! Это совсѣмъ не смѣшной анекдотецъ, переложенный на разговоры, не такая комедія, гдѣ дѣйствующія лица нарицаются *Добряковыми*, *Плутватинными*, *Обдираловыми* и проч.; ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія «Горя отъ Ума», и, однакожь, вы удивляетесь имъ, какъ явленіямъ, совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла! Люди, созданные *Грибоѣдовымъ*, сняты съ природы во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ, но они заклеены печатью своего ничтожества, заклеены



мстительною рукою палача-художника. Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ пылу негодованія; его слогъ есть, *par excellence*, разговорный. Недавно одинъ изъ нашихъ примѣчательнѣйшихъ писателей, слишкомъ хорошо знающій общество, замѣтилъ, что только одинъ *Грибоѣдовъ* умѣлъ переложить на стихи разговоръ нашего общества; безъ всякаго сомнѣнія, это не стоило ему ни малѣйшаго труда, и тѣмъ не менѣе, это все-таки великая заслуга съ его стороны, ибо разговорный языкъ нашихъ комиковъ.... Но я уже обѣщался не говорить о нашихъ комикахъ.... Конечно, это произведеніе не безъ недостатковъ въ отношеніи къ своей цѣлости, но оно было первымъ опытомъ таланта *Грибоѣдова*, первую русскою комедію; да и сверхъ того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помѣшаютъ ему быть образцовымъ, гениальнымъ произведеніемъ и не въ русской литературѣ, которая въ *Грибоѣдовѣ* лишилась *Шекспира* комедіи».

Замѣчательна опять въ этой юношеской страницѣ удивительная вѣрность *основъ* взгляда. Впослѣдствіи, великій критикъ, подавленный новымъ и сильнымъ увлеченіемъ, измѣнилъ во многомъ этому взгляду, уступивши невольно и безсознательно различнымъ воплямъ, до того могущественнымъ, что и доселѣ еще вопросъ о комедіи Грибоѣдова ими запутанъ. Но, въ сущности, этотъ вопросъ распутывается весьма просто. Комедія Грибоѣдова есть единственное произведеніе, представляющее художественно сферу нашего, такъ называемаго, свѣтскаго быта, а съ другой стороны, Чацкій Грибоѣдова есть единственное истинно-героическое лице нашей литературы.... Постараюсь пояснить два этихъ положенія. Всякій разъ, когда великое дарованіе, носить ли оно имя Гоголя или имя Островскаго, откроетъ новую руду общественной жизни и начнетъ увѣковѣчивать ея типы (Гоголь типы малороссійскіе, Островскій типы великорусскіе), всякій разъ въ читающей публикѣ, а иногда даже и въ критикѣ (къ большому, впрочемъ, стыду сей послѣдней) слышатся возгласы о низменности избранной поэтомъ среды жизни, объ односторонности направленія и т. п.—всякій разъ высказываются наивнѣйшія ожиданія, что вотъ-вотъ явится писатель, который представитъ намъ типы и отношенія изъ высшихъ слоевъ жизни. Ни мѣщанская часть публики, ни мѣщанское направленіе критики, въ которыхъ слышатся подобные возгласы и которые живутъ подобными ожиданіями, не подозрѣваютъ въ наивности своей, что если только какой-либо слой общественной жизни выдается своими типами, если отношенія, его отличающія, стоятъ на одномъ изъ первыхъ плановъ въ движущейся картинѣ жизни народнаго организма, то искусство неминуемо отразитъ и увѣковѣчитъ его типы, анализируетъ и осмыслитъ его отношенія. Вели-

кая истина Шеллингизма, что «гдѣ жизнь, тамъ и поэзія», истина, которую проповѣдывалъ нѣкогда такъ блистательно нашъ глубокомысленный Надеждинъ, какъ-то не дается до сихъ поръ въ руки ни нашей публикѣ, ни нѣкоторымъ направленіямъ нашей критики. Эта истина или вовсе не понята, или понята очень поверхностно. Не все то есть жизнь, что называется жизнью, какъ не все то золото, что блеститъ. У поэзіи вообще есть великое, только ей данное чутье на различіе жизни настоящей отъ миражей жизни: явленія первой она увѣговѣчиваетъ, ибо они суть типическія, имѣютъ корни и вѣтви; къ миражамъ она относится и можетъ относиться только комически,—да и комическаго отношенія удостоиваетъ она ихъ только тогда, когда они соприкасаются съ жизнью дѣйствительною. Какъ можетъ искусство, имѣющее вѣчною задачею своею правду, и одну только правду, создавать образы, не имѣющіе существеннаго содержанія, анализировать такого рода исключительныя отношенія, которыхъ исключительность есть нѣчто произвольное, условное, натянутое?... Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій или какой-нибудь Китъ Китычъ Брусковъ суть лица, имѣющія свое собственное, имъ только свойственное, типическое существованіе; но какой-нибудь Чельскій въ романѣ «Племянница», какой-нибудь Сафѣевъ въ повѣсти «Большой свѣтъ», взяты напрокатъ изъ другой, французской или англійской жизни. Пусть они въ такъ называемой великосвѣтской жизни и встрѣчаются,—да художеству-то нѣтъ до нихъ никакого дѣла, ибо искусство не возсоздаетъ повтореній; а въ самомъ повтореніи, если такое попадается въ жизни, ищетъ чертъ существенныхъ, самостоятельныхъ. Такъ напримѣръ, если бы неминуемо пришлось искусству настоящему имѣть дѣло съ однимъ изъ упомянутыхъ мною героевъ, оно отыскало бы въ нихъ ту тонкую черту, которая отдѣляетъ эти копии отъ французскихъ или англійскихъ оригиналовъ (какъ Гоголь отыскалъ тонкую черту, отдѣляющую художника Пискарева отъ художниковъ другихъ странъ, его жизнь отъ ихъ жизни), и на этой чертѣ основало бы свое созданіе: естественно, что созерцаніе вышло бы комическое, да инымъ оно и быть не можетъ, инымъ ему и не зачѣмъ быть! Искусство есть дѣло серьезное, дѣло народное. Какая ему нужда до того, что въ извѣстномъ господинѣ или въ извѣстной госпожѣ развились чрезъ мѣру утонченныя потребности? Если онѣ комичны предъ судомъ христіанскаго и человѣчески-народнаго созерцанія—казни ихъ комизмомъ безъ всякаго милосердія, какъ казнить комизмомъ то, что стоитъ такой казни, Грибоѣдовъ, какъ казнить Гоголь Марью Александровну въ «Отрывкѣ», какъ казнить Островскій Мерича, Писемскій—m-me Мамилову. Все, что само по себѣ глупо или безнравственно съ высшихъ точекъ

жизни, колыми паче глупо и безнравственно предъ искусствомъ, да и знаетъ очень хорошо въ этомъ случаѣ свои задачи искусство: все глупое и безнравственное въ жизни оно казнить, какъ только глупое и безнравственное рельефно выставится на первый планъ.

Не за предметъ, а за отношеніе къ предмету долженъ быть хвалимъ или порицаемъ художникъ. Предметъ почти-что не зависитъ даже отъ его выбора: вѣроятно, графъ Толстой, на примѣръ, болѣе всѣхъ другихъ былъ бы способенъ изображать великосвѣтскую сферу жизни и выполнять наивныя ожиданія многихъ, страдающихъ тоскою по этимъ изображеніямъ, но высшія задачи таланта влекутъ его не къ этому дѣлу, а къ искреннѣйшему анализу души человѣческой.

Но, прежде всего, что разумѣть подъ сферой большаго свѣта? Принадлежать ли къ ней, на примѣръ, типы въ родѣ Фонвизинскихъ Сорванцова и княгини Халдиной? Принадлежить ли къ ней весь міръ, созданный безсмертною комедіею Грибоѣдова? Почему жъ бы имъ, кажется, и не принадлежать? Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ—

англійскаго клоба

Старинный, вѣрный членъ до гроба

и находится въ извѣстномъ близкомъ отношеніи, можетъ быть даже родственномъ, съ «княгиней Марьей Алексѣвной»; Репетиловъ, безъ сомнѣнія, большой баринъ; графиня Хрюмина и княгиня Тугоуховская, равно какъ и Фонвизинская княгиня Халдина, суть несомнѣнно лица, ведущія роды свои весьма издалека; а между тѣмъ, скажите-ка, что Фон-визинъ и Грибоѣдовъ изображали большой свѣтъ,— въ отвѣтъ вы получите презрительно-величавую улыбку!

Съ другой стороны, почему какой-либо офицеръ Печоринъ у Лермонтова, или офицеръ Сережа у графа Солдогоуба—люди большаго свѣта и принадлежать несомнѣнно къ сферѣ этого свѣта? Неужели отъ того только, что они принадлежатъ

Къ любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ,

о которыхъ съ такою досадою говоритъ Скалозубъ? Отчего несомненно же принадлежать къ сферѣ большаго свѣта княгиня Лиговская, которая въ сущности есть та же Фонвизинская княгиня Халдина? Отчего несомнѣнно же принадлежать къ этой сферѣ всѣ скучныя лица скучныхъ романовъ г-жи Евгеніи Туръ? Явно, что не сфера родовыхъ преимуществъ, не сфера бюрократическихъ верхушекъ разумѣется въ жизни и въ литературѣ подъ сферою большаго свѣта. Багровы, на примѣръ, никакъ уже не люди большаго свѣта, да едва ли бы и захотѣли принадлежать къ нему.

Фамусовъ и его міръ—не тотъ міръ, въ которомъ сіяетъ графиня Воротынская, въ которомъ проваливается Леонинъ и безнаказанно кобенится Сафьевъ, и дѣйствуютъ въ такомъ же духѣ другіе герои графа Соллогуба или г-жи Евгеніи Туръ. Да ужъ полно,—не воображаемый ли только этотъ міръ?—спрашиваете вы себя съ нѣкоторымъ изумленіемъ. Не одна ли мечта литературы, мечта, основанная на двухъ-трехъ, много десяти домахъ въ той и другой столицѣ? Въ жизни вы встрѣчаете или міры, которыхъ существенные признаки сводятся къ чертамъ уважаемыхъ и любимыхъ вами Багровыхъ, или съ дикими и въ сущности всегда одинаковыми понятіями Фамусовыхъ и гоголевской Марьи Александровны.

А между тѣмъ въ мѣщанскихъ кругахъ общежитія и литературы (вотъ эти круги такъ ужъ несомнѣнно существуютъ) вы только и слышите что слова: большой свѣтъ, *comme il faut*, высокій тонъ. Вы подходите къ явленіямъ, на которыя мѣщанство указываетъ какъ на представителей того и другого и третьяго — и простымъ глазомъ видите или Багровыхъ или міръ Фамусова; первыхъ вы уважаете за возвышенность ихъ взгляда, хотя можете и не дѣлать съ ними нѣкоторой упорной ихъ закоренѣлости, — къ послѣднимъ и не можете, и не должны отнестись иначе, какъ отнесся къ нимъ великій комикъ. Тотъ или другой міръ хотятъ, правда, выдѣлать себя иногда на англійскій или французскій манеръ: но при великой способности къ выдѣлкѣ, въ русскомъ человѣкѣ совершенно недостаетъ выдержки. Какая-нибудь блистательная графиня Воротынская, того и гляди, кончитъ какъ Грибоѣдовская Софья Павловна; какой-нибудь князь Чельскій можетъ, съ теченіемъ времени, дойти до *метеорскаго* состоянія, хотя до легонькаго. Это и бываетъ зачастую. Одни Багровы останутся всегда себѣ вѣрными, потому что въ нихъ есть крѣпкія, коренныя, хотя и узкія начала.

Вотъ почему леденящій ироническій тонъ слышенъ во всемъ томъ, въ чемъ Пушкинъ касался такъ-называемаго большаго свѣта, отъ Пиковой Дамы до Египетскихъ ночей и другихъ отрывковъ,— и вотъ почему никакой ироніи у него не слышно въ изображеніяхъ старика Гринева и Кирилы Троекурова: иронія не приложима къ жизни, хотя бы жизнь и была груба до звѣрства. Иронія есть нѣчто неполное, состояніе духа несвободное, нѣсколько зависимое, слѣдствіе душевнаго раздвоенія, слѣдствіе такого состоянія души, въ которомъ и сознаешь ложь обстановки и давить вмѣстѣ съ тѣмъ обстановка, какъ давить она Пушкинскаго Чарскаго. Едва ли бы нашъ великій учитель и окончилъ когда нибудь эти многіе отрывки, оставшіеся намъ въ его сочиненіяхъ. Настоящій тонъ его свѣтлой души былъ не ироническій, а душевный и искренній.

- Та же иронія, только ядовитѣе, злѣе, и въ Лермонтовѣ. Когда Печоринъ замѣчаетъ въ княгинѣ Лиговской наклонность къ двусмысленнымъ анекдотамъ,—передъ зрителемъ поднимается задняя занавѣсъ, и за этой занавѣсью отерывается давно знакомый міръ, міръ Фонвизинскій и Грибоѣдовскій. И поднимать эту занавѣсъ есть настоящее дѣло серьезной литературы. Ее поднимаетъ даже и графъ Соллогубъ, какъ писатель все-таки даровитый, но поднимаетъ какъ-то невзначай, безъ убѣжденія, тотчасъ же опять вѣря и желая другихъ заставить вѣрить въ свою кукольную комедію. Въ его «Львѣ», напримѣръ, есть страница, гдѣ онъ очень смѣло приступаетъ къ поднятію задней занавѣси, гдѣ онъ прямо говоритъ о томъ, что за выдѣланными, взятыми на прокатъ формами большого свѣта, кроются часто черты совершенно простыя, даже пошлыя, — но вся бѣда въ томъ, что только эти черты кажутся ему пошлыми, тогда какъ выдѣланныя гораздо пошлѣе. Возьмемъ самый крайній случай: положимъ, что подкладка (тщательно скрытая) какого-нибудь свѣтскаго господина, усвоившаго себѣ и англійскій флегматизмъ, и французскую наглость, есть просто натура избалованнаго барченка, или положимъ, что одна изъ блестящихъ героинь графа Соллогуба, въ родѣ графини Воротынской, вся *одѣланная*, вся воздушная — наединѣ съ своей горничной выскажетъ тоже натуру обыкновенной и по русски избалованной барышни, — настоящая натура героя или героини все-таки лучше (пожалуй, хоть только въ художественномъ смыслѣ) ея или его *дѣланной* натуры; ужъ потому только, что дѣланная натура есть всегда повторенная.

Къ сожалѣнію, изъ всѣхъ нашихъ писателей, принимавшихся за сферу большого свѣта, одинъ только художникъ сумѣлъ удержаться на высотѣ созерцанія—Грибоѣдовъ. Его Чацкій былъ, есть и долго будетъ непонятъ—именно до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ окончательно въ нашей литературѣ несчастная болѣзнь, которую назвалъ я однажды, и назвалъ, кажется, справедливо: *болѣзнію моральнаго лакейства*. Болѣзнь эта выражалась въ различныхъ симптомахъ — но источникъ ея былъ всегда одинъ: преувеличеніе призрачныхъ явленій, обобщеніе частныхъ фактовъ. Отъ этой болѣзни былъ совершенно свободенъ Грибоѣдовъ; отъ этой болѣзни свободенъ Толстой; но,—хотя это и страшно сказать,—отъ нея не былъ свободенъ Лермонтовъ. Возвышенная натура Чацкаго, который ненавидитъ ложь, зло и тупоуміе, какъ человекъ вообще, а не какъ условный *порядочный* человекъ, и смѣло обличаетъ всякую гадость, хотя бы его и не слушали; менѣе сильная, но не менѣе честная личность героя «Юности», который, при встрѣчѣ съ кружкомъ умныхъ и энергическихъ, хотя и не порядочныхъ, хоть даже и пью-

щихъ молодыхъ людей, вдругъ сознаетъ всю свою мелочность предъ ними и въ нравственномъ и въ умственномъ развитіи, — явленія, смѣю сказать, болѣе жизненныя, т. е. болѣе идеальныя, нежели натура господина, который изъ какого-то условнаго, натянутаго взгляда на жизнь и отношенія, едва подаетъ руку Максиму Максимычу, хотя и дѣлалъ съ нимъ когда-то радость и горе! Будетъ ужъ намъ подобныя явленія считать за живыя, и пора отречься отъ дикаго мнѣнія, что Чацкій — Донъ Кихотъ. Пора намъ убѣдиться въ противномъ, т. е. въ томъ, что наши львы, фешенебли, какъ взятые на прокатъ, — Донъ Кихоты; что собственная, тщательно ими скрываема я натура ихъ самихъ — и добрѣе и лучше той, которую берутъ они взаймы.

Самое представленіе о сферѣ большаго свѣта, какъ о чемъ-то давящемъ, гнетущемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обаятельнымъ, — родилось не въ жизни, а въ литературѣ, и литературою взято на прокатъ изъ Франціи и Англій. *Звонскіе, Гремнины и Лидины*, являвшіеся въ повѣстяхъ Марлинскаго, конечно, очень смѣшны, но графы Слапачинскіе, гг. Бондаревскіе и иные, — даже самые Печоринъ, съ тѣхъ поръ, какъ Печоринъ появился во множествѣ экземпляровъ, — смѣшны точно такъ же, если не больше! Серьезной литературѣ до нихъ еще меньше дѣла, чѣмъ до Звонскихъ, Гремниныхъ и Лидиныхъ. Въ нихъ нельзя ничего принимать взаправду; а изображать ихъ такими, какими они кажутся, значить только угождать мѣщанской части публики, той самой, «ки э каню авѣеъ ле Чуфыринъ э ле Курмицынъ» и вздыхаетъ о вечерахъ графини Воротынской.

Другое отношеніе возможно еще къ сферѣ большаго свѣта и выразилось въ литературѣ — желчное раздраженіе. Имъ проникнуты, напри- мѣръ, повѣсти Н. Ф. Павлова, въ особенности его «Милліонъ» — но и это отношеніе есть точно также слѣдствіе преувеличенія и обличало недостатокъ сознанія собственнаго достоинства. Это крайность, которая, того и гляди, перейдетъ въ другую, противоположную; борьба съ призракoмъ, созданнымъ не жизнью, а Бальзакомъ, борьба и утомительная, и бесплодная, — хожденіе на муху съ обухомъ.

Рѣшительно можно сказать, что представленіе о большомъ свѣтѣ не есть ничто рожденное въ нашей литературѣ, а, напротивъ, занятое ею, и притомъ занятое не у Англичанъ, а у Французовъ. Оно явилось не ранѣе тридцатыхъ годовъ, не ранѣе и не позднѣе Бальзака. Прежде общественные слои представлялись въ иномъ видѣ простому, ничѣмъ не помраченному взгляду нашихъ писателей. Фонвизинъ, человекъ высшаго общества, не видитъ ничего грандіознаго и поэтическаго — не говорю уже въ своей Совѣтницѣ или въ своемъ Иванушкѣ (гдѣ бюрокра-

ти и наша современная литература умѣла относиться комически), но въ своей княгинѣ Халдиной и въ своемъ Сорванцовѣ—хотя и та и другой, безъ сомнѣнія, принадлежатъ къ числу *des gens comme il faut* ихъ времени. Сатирическая литература времени Фон-визина (и до него) казнить невѣжество барства, но не видитъ никакого *comme il faut* наго міра, живущаго, какъ *status in statu*, по особеннымъ, ему свойственнымъ, имъ и другими признаваемымъ законамъ. Грибоѣдовъ казнить невѣжество и хамство, но казнить ихъ не во имя *comme il faut* наго условнаго идеала, а во имя высшихъ законовъ христіанскаго и человѣчески-народнаго взгляда. Фигуру своего борца, своего Яета, Чацкаго, онъ отгѣнилъ фигурою хама Репетилова, не говоря уже о хамѣ Фамусовѣ и хамѣ Молчалинѣ. Вся комедія есть комедія о хамствѣ, къ которому равнодушнаго или даже нѣсколько болѣе спокойнаго отношенія незаконно и требовать отъ такой возвышенной природы, какова натура Чацкаго. Говорятъ обыкновенно, что *свѣтскій* человѣкъ въ *свѣтскомъ* обществѣ, во первыхъ, *не позволитъ* себѣ говорить того, что говоритъ Чацкій<sup>2</sup>, а во вторыхъ, *не станетъ* сражаться съ вѣтренными мельницами, проповѣдывать Фамусовымъ, Молчалинымъ и инымъ. Да съ чего вы взяли, господа, говорящіе такъ, — что Чацкій *свѣтскій* человѣкъ, въ вашемъ смыслѣ, что Чацкій похожъ сколько нибудь на разныхъ князей Чельскихъ, графовъ Слапачинскихъ, графовъ Воротынскихъ, которыхъ вы напустили вполнѣдствіи въ литературу съ легкой руки французскихъ романистовъ? Онъ столько же не похожъ на нихъ, сколько не похожъ на Звонскихъ, Греминыхъ и Лидиныхъ. Въ Чацкомъ только правдивая натура, которая никакой мерзости не спуститъ—вотъ и все: и позволитъ онъ себѣ все, что позволитъ себѣ его правдивая натура. А что правдивыя природы есть и были въ жизни—вотъ вамъ на лице доказательства: старикъ Гриневъ, старикъ Багровъ, старикъ Дубровский. Такую же природу наслѣдовалъ должно быть, если не отъ отца, то отъ дѣда или прадѣда, Александръ Андреевичъ Чацкій. Другой вопросъ, *стала* ли бы Чацкій говорить такъ съ людьми, которыхъ онъ презираетъ?... А вы забываете при этомъ вопросѣ, что Фамусовъ, на котораго изливаетъ онъ «всю желчь и всю досаду», для него не просто такое-то или такое-то лице, а живое воспоминаніе дѣтства, «когда его возили на поклонъ» къ господину, который

согналъ на многихъ фурахъ

Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей.

А вы забываете, какая сладость есть для энергической души въ томъ, чтобы, по слову другаго поэта,

Тревожить язвы старых рань,

или

смутить веселость ихъ

И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,  
Облитый горечью и злостью.

Успокойтесь: Чацкій мнѣ, чѣмъ вы сами, вѣрить въ пользу своей проповѣди; но въ немъ желчь накопѣла, въ немъ чувство правды оскорблено. А онъ еще кромѣ того влюбленъ; знаете ли вы, какъ любятъ такіе люди? Не эту подлю (извините за прямоту выраженія) и недостойною мужчины любовью, которая поглощаетъ все существованіе въ мысль о любимомъ предметѣ и приноситъ въ жертву этой мысли все, даже идею нравственнаго совершенствованія. Чацкій любитъ страстно, безумно, и говоритъ правду Софьѣ, что

Дышалъ я вами, жилъ, былъ занятъ непрерывно;

но это значитъ только, что мысль о ней сливалась для него съ каждымъ благороднымъ помысломъ или дѣломъ чести и добра. Правду же говоритъ онъ, спрашивая ее о Молчалинѣ:

Но есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та,  
Чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый  
Казался прахъ и суета?

но подъ этою правдою кроется мечта о его Софьѣ, какъ способной понять, что «міръ цѣлый» есть «прахъ и суета» предъ идеей правды и добра, или, по крайней мѣрѣ, способной *опытнѣе* это вѣрованіе въ любимомъ ею человѣкѣ, способной любить за это человѣка. Таковую только *идеальную* Софью онъ и любитъ: другой ему не надобно; другую онъ отринетъ и съ разбитымъ сердцемъ пойдетъ

искать по свѣту

Гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!

Посмотрите, съ какой глубокой психологической вѣрностію веденъ весь разговоръ Чацкаго съ Софьею въ третьемъ актѣ. Чацкій все допытывается, *чѣмъ* Молчалинъ его *выше и лучше*; онъ съ нимъ даже вступаетъ въ разговоръ, стараясь отыскать въ немъ

душу бойкій, геній смѣлый,

и все-таки не можетъ, не въ силахъ понять, что Софья любитъ Молчалина именно за свойства, противоположныя свойствамъ его, Чацкаго, за свойства мелочныя и пошлыя (*подлыхъ* чертъ Молчалина она еще не



видить). Только убѣдившись въ этомъ, онъ повидаетъ свою мечту, но повидаетъ какъ мужъ, безповоротно! — видитъ уже ясно и безтрепетно правду. Тогда онъ говорить ей:

Вы помиритеcь съ нимъ по размышленнѣ зрѣломъ.

Себя крушить—и для чего?

Подумайте: всегда вы можете его

Беречь и целовать и посылать за дѣломъ.

Мужъ-мальчикъ, мужъ-слуга, изъ женнинныхъ пажей—

Высокій идеалъ московскихъ всѣхъ мужей!

Вы, господа, считающіе Чацкаго Донъ-Кихотомъ, напираете въ особенности на монологъ, которымъ кончается третье дѣйствіе? Но, *во-первыхъ*, самъ поэтъ поставилъ здѣсь своего героя въ комическое положеніе— и, оставаясь вѣрнымъ высокой психологической задачѣ, показавъ, какой комическій исходъ можетъ принять энергія несвоевременная; а *во-вторыхъ*, опять-таки, вы должно быть не вдумались въ то, какъ любятъ люди, подобные Чацкому, въ то, какъ вообще любятъ люди съ задатками даже *какой-нибудь* нравственной энергіи. Все, что говорить онъ въ этомъ монологе, онъ говорить для Софьи: всѣ силы души онъ собираетъ, всю натуру своей хочетъ раскрыться, все хочетъ передать ей разомъ, какъ въ «Доходномъ мѣстѣ» Жадовъ своей Полинѣ, въ послѣднія минуты своей, хотя и слабой (по его натурѣ), но благородной борьбы. Тутъ сказывается послѣдняя вѣра Чацкаго въ натуру Софьи (какъ у Жадова, напротивъ, послѣдняя вѣра въ силу и дѣйствіе того, что считаетъ онъ своимъ убѣжденіемъ), тутъ для Чацкаго вопросъ о жизни или смерти цѣлой половины его нравственнаго бытія. Что этотъ личный вопросъ слился съ общественнымъ вопросомъ—это опять-таки вѣрно натурѣ героя, который является единственнымъ типомъ нравственной и мужеской борьбы въ той сферѣ жизни, которую избралъ поэтъ,—единственнымъ до сихъ поръ даже человѣкомъ съ плотію и кровію посреди всѣхъ этихъ князей Чельскихъ, графовъ Воротынскихъ и другихъ господъ, расхаживающихъ съ англійскою важностію по мечтательному міру нашей великосвѣтской литературы.

Да! Чацкій есть—повторяю опять—нашъ единственный герой, т. е. единственный положительно борющійся въ той средѣ, куда судьба и страсть его бросили. Другой, отрицательно борющійся герой нашъ явился въ неполномъ художественно, но глубоко прочувствованномъ образѣ, господина, который 14 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ недослужилъ до пряжки. Но никакимъ образомъ уже Русская жизнь не признаетъ своимъ героемъ *дѣятельнаго* господина Калиновича въ «Тысячѣ душъ» Писем-

скаго, да мы желаемъ думать, что и самъ Писемскій не считаетъ его таковымъ.

## VI.

Гоголь еще только-что выступилъ тогда на литературное поприще, и не многіе понимали еще все его будущее великое значеніе для нашей литературы и нашей общественной жизни. Положительно можно сказать, что вполнѣ понимавшими громадность этого, тогда только-что выступившаго, таланта были *Пушкинъ*, благословившій его, какъ нѣкогда «старикъ Державинъ» благословилъ самого Пушкина, *Бѣлинскій* и *Плетневъ*.

«Г. Гоголь»—говоритъ Бѣлинскій въ тѣхъ же «Литературныхъ мечтаніяхъ»—«принадлежитъ къ числу необыкновенныхъ талантовъ. Кому неизвѣстны его «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки»? Сколько въ нихъ остроумія, веселости, поэзіи и народности? Дай Богъ, чтобы онъ вполнѣ оправдалъ поданныя ими о себѣ надежды!»

Думалъ ли самъ критикъ, когда писалъ онъ эти немногія, но глубоко сочувственныя строки, о томъ, въ какой мѣрѣ суждено и осуществиться и потомъ разбиться его надеждамъ... Разумѣется, нѣтъ. Онъ шелъ потомъ съ Гоголемъ рука объ руку, толкая, поясняя его, разливая на массу свѣтъ его высокихъ произведеній. Гоголь сталъ литературнымъ вѣрованіемъ Бѣлинскаго и цѣлой эпохи,—и здѣсь мѣсто опредѣлить свойства его великой художественной природы, до минуты ея болѣзненнаго разложенія, — ибо этими свойствами опредѣляются и степень и значеніе вліянія его на всю послѣдующую эпоху литературнаго движенія.

Всякое дѣло получаетъ значеніе по плодамъ его, и каковъ бы ни былъ талантъ поэта, одного только таланта, какъ таланта, еще недостаточно. Важное дѣло въ поэтѣ то, для чего у нѣмцевъ существуетъ общепонятный и общеупотребительный терминъ *die Weltanschauung*, что у насъ, *tant bien que mal*, переводится міросозерцаніемъ.

\*) Здѣсь авторъ повторилъ то, что онъ сказалъ о Гоголѣ въ статьѣ *Русская Литература въ 1851 году* (см. выше, стр. 10 — 19). Отступленія состоятъ только въ томъ, что въ двухъ мѣстахъ (стр. 17) выпущено нѣсколько строкъ (1—5 и 10—15), и что стихи Гёте переведены слѣдующими стихами:

Отъ вѣка правда пребывала  
И лучшихъ всѣхъ соединяла.  
Наполни правдой старой грудь!

Пэд.

Мы не хотимъ сравнивать Гоголя съ позднѣйшими произведеніями школы, которая была представительницею крайности его болѣзненнаго юмора; мы не напоминаемъ этихъ страшныхъ, чудовищныхъ сновъ, гдѣ наконецъ самыя сапоги получаютъ физіономію и являются фантастическими существами. Возьмите, на примѣръ, двѣ повѣсти Гоголя, гдѣ онъ избралъ намъ типъ чрезвычайно исключительный, типъ художника. Музыкантовъ, поэтовъ, живописцевъ, вообще художниковъ — и до него и послѣ него весьма часто изображали въ нашей литературѣ; это была даже общая тема повѣстей тридцатыхъ годовъ нашей словесности; тема, успѣвшая уже въ сороковыхъ годахъ стать совершенно избыточною; по крайней мѣрѣ въ эти годы уже потерялъ всякій кредитъ и совершенно опошлится романтическій способъ представленія художниковъ и поэтовъ въ манерѣ повѣстей Полеваго и драмъ г. Кукольника. У Полеваго разъ весьма наивно обличилась разгадка этого способа; послѣднее слово направленія сказалось у него въ «Аббадоннѣ», гдѣ поэты и художники ставятся на одну доску съ сумасшедшими. Наивно связалось это слово потому, что ничего дурнаго не подразумѣвалъ въ такомъ сопоставленіи романистъ, написавшій даже повѣсть подъ заглавіемъ: «блаженство безумія.» Дѣйствительно: художники и поэты гг. Полеваго, Кукольника, Тимофеева, заговаривающіеся ли, какъ «Доминикино», до дѣтскаго лепета, въ родѣ: «Цаца ляля, цаца ляля!» — отвергающіе ли всякія права ума въ земномъ мірѣ, какъ Джакомо Санназаръ, достойны, по всей справедливости, заключенія иногда въ сумасшедшіе, иногда въ смиренныя дома. Должно сказать притомъ, что появленіе въ литературѣ нашей этого типа, правильно или неправильно взятаго, произошло вовсе не изъ потребностей общежитія, и что самое отношеніе къ типу было неоригинально.

Гоголь, призванный разоблачить фальшь всего того, что въ нашей жизни взято на прокатъ изъ чужихъ жизней, или что, подъ вліяніемъ внѣшняго формализма, развилось въ ней въ неорганической наростъ, — Гоголь разомъ порѣшилъ и въ этомъ дѣлѣ всѣ фальшивыя отношенія мысли къ типу своимъ «Невскимъ проспектомъ». Какую поразительную черту провелъ онъ здѣсь между положеніемъ художника въ другихъ странахъ и положеніемъ его въ нашемъ общежитіи! Какъ отгѣнилъ онъ лице художника Пискарева сопоставленіемъ жизни и трагической судьбы его съ судьбою поручика Пирогова! Какою скорбною и вмѣстѣ возвышеннѣйшею ироніею проникнуть поэтъ въ своихъ отношеніяхъ къ этому лицу, которому онъ при всей ироніи своей, обращенной на его *экзотичность*, глубоко и болѣзненно сочувствуетъ, и къ которому глубоко же и болѣзненное сочувствіе возбуждаетъ онъ въ читателяхъ! А

съ другой стороны, какъ свелъ онъ съ ходуль и возвратилъ въ простую дѣйствительность этотъ типъ, доведенный до крайности смѣшного повѣстями тридцатыхъ годовъ, получившихъ его изъ германской романтической реакціи, или даже изъ вторыхъ рувъ французскаго романтизма. Въ «Невскомъ проспектѣ» и въ первой части «Портрета», Гоголь почти исчерпалъ все наличныя отношенія художника къ жизни, отношенія трагическія въ обоихъ этихъ произведеніяхъ: въ одномъ трагическое отношеніе мечтательнаго идеализма художнической природы къ общежитію, въ другомъ не менѣе трагическое поглощеніе художническаго идеализма искушеніями формальнаго общежитія, официальностію, внѣшнимъ лоскомъ и рутинерствомъ.

Еще и прежде впрочемъ, Пушкинъ не менѣе глубоко отнесся къ типу художника, взявши его въ самой условнѣйшей средѣ общежитія. Его «Чарскій», стыдящійся своего поэтическаго призванія, запирающійся, когда нападетъ на него блажь писать стихи, и между тѣмъ сознающійся, что никогда онъ не бываетъ такъ счастливъ, какъ въ эпохи этой блажи—тоже созданъ подъ вліяніемъ созерцанія ироническаго, подъ вліяніемъ мысли, весьма неутѣшительной, о разъединенности художества съ жизнію общества, о томъ, что художники и художество суть въ общежитіи растенія экзотическія. Замѣчательно, что именно тѣ писатели, которые вывели наше искусство изъ теплицъ на вольный воздухъ жизни, развили въ обществѣ внутреннюю потребность искусства, воспитали въ немъ пониманіе искусства—высказали такое ироническое воззрѣніе.

Сравнивая юморъ Гоголя съ юморомъ другихъ юмористовъ: Стерна, Ж. П. Рихтера, Дивленса, Гофманна — мы наглядно можемъ убѣдиться въ его особенности. Въ Жанъ-Полѣ, напримѣръ, при всей оригинальной его геніальности, нельзя не видать нѣмецкаго мѣщанства, *kleinstädtisches Wesen*.—Юморъ Гофмана только въ эксцентричностяхъ находитъ спасеніе отъ удушливой тюрьмы мѣщанства и филистерства; юморъ Стерна весь вышелъ изъ скептицизма XVIII вѣка, и разлагается на двѣ составныя части, на слезливую сантиментальность и на скептическую иронію Гамлета надъ черепомъ Йорика; юморъ же Гоголя полонъ, цѣленъ, неразложимъ. Диккенсъ такъ же, пожалуй, исполненъ любви, какъ Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра чрезвычайно узки, и его жизненне примиреніе, по крайней мѣрѣ для насъ, русскихъ, довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло; его братцы Чарльсы и другіе добрые герои для насъ приторны. И у насъ на Руси найдутся пожалуй образы, которые съ перваго взгляда покажутся похожи на братьевъ Чарльсовъ, и мы любимъ душевно эти образы, эти добрыя личности. Но, во-первыхъ, въ нихъ нѣтъ методически-пуритан-

ской добродѣтели по заданнымъ себѣ напередъ темамъ,—а во-вторыхъ, надобно спросить себя самихъ: что именно мы въ нихъ любимъ? Одну ли только доброту? Какъ бы не такъ! Мы любимъ въ нихъ смышленность, здоровый умъ, известный юморъ—соединенные съ добротою. Мы скорѣе за означенныя качества легко перевариваемъ въ человѣкѣ примѣсь маленькой грязи; дряни, мошенничества,—нежели уважимъ тупоуміе за одну доброту. Не даромъ же у насъ пословица, что «простота хуже воровства».

Мы привели уже мѣсто, гдѣ самъ поэтъ высказалъ съ величайшею искренностію и простотою побудительныя причины своего юмора. «Не думай однакоже, послѣ моей исповѣди»,—оканчиваетъ онъ свое третье письмо по поводу Мертвыхъ душъ (Переп. съ друзьями, стр. 149), «чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои: нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ, но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ, и это вздоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ: только въ глупой свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ недостатковъ избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ, и заставлялъ другихъ также надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многого тѣмъ, что *лишивши картиннаго вида и рыцарской маски*, подъ которою выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ тою гадостью, которая всеѣмъ видна. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставилъ я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ, и не избиралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. *Ихъ съ головъ не выдумашь*. Пока не станешь самъ хотя сколько-нибудь на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоеешь сидюю въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ,—мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое, и какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошмаровъ я также не выдумывалъ: кошмары эти давили собственную мою душу: что было въ душѣ, то изъ нея и вышло».

Такова была цѣльная и гармоническая художественная натура поэта, до эпохи ея болѣзненнаго уклоненія, до эпохи того страшнаго переворота, который окончательно содѣйствовалъ къ раздвоенію направленій Русской мысли. Но объ этой несчастной эпохѣ говорить еще здѣсь не мѣсто.—Мы начинаемъ здѣсь съ того, во что еще полно и цѣльно вѣрилъ

энергичнѣйшій представитель нашего критическаго сознанія, Виссаріонъ Бѣлинскій.

### VIII.

Къ числу его глубочайшихъ литературныхъ вѣрованій принадлежала и поэзія Лермонтова... На этомъ основаніи, мы, прежде чѣмъ обозрѣть литературу тридцатыхъ годовъ — захватываемъ въ общихъ чертахъ и это необыкновенное явленіе, оставившее такой глубокой слѣдъ на сороковыхъ годахъ.

По крайней мѣрѣ, мы позволимъ себѣ опредѣлить главныя свойства этой совершенно трагической натурки.

Въ Лермонтовѣ—двѣ стороны. Эти двѣ стороны: *Арбенинъ* (я беру нарочно самую рѣзкую сторону типа) и *Печоринъ*. Арбенинъ (или все равно: *Мицри*, *Арсеній* и т. д.), это — необузданная страстность, рвущаяся на широкій просторъ, почти-что безумная сила, воспитавшаяся въ дикихъ понятіяхъ (припомните воспитаніе Арбенина или Арбенъева, какъ названо это лице въ извѣстномъ Лермонтовскомъ отрывкѣ), воюющая противъ всякихъ общественныхъ понятій и исполненная къ нимъ ненависти или презрѣнія, сила, которая сознаетъ на себѣ «печать проклятыя» и гордо носитъ эту печать, сила отчасти звѣрская, и которая сама въ лицѣ «Мицри» радуется братству съ барсами и волками. Пояснить возможность такого настроенія души поэта, не можетъ, кажется мнѣ, одно вліяніе музы Байрона. Положимъ что Лара, Манфредъ обаяніемъ своей поэзіи, такъ сказать подкрѣпили, оправдали тревожныя требованія души поэта,—но самыя элементы такого настроенія могли зародиться только или подъ гнетомъ обстановки, сдавливающей страстные порывы *Мицри* и *Арсенія*, или на дикомъ просторѣ разгула и неистоваго произвола страстей, на которомъ выросли впечатлѣнія *Арбенина*.

Представьте же подобнаго рода, подъ гнетомъ ли, на просторѣ ли развившіяся стремленія—въ столкновеніи съ общежитіемъ, и притомъ съ условнѣйшею изъ условныхъ сферъ его, съ сферою свѣтскою! Если эти стремленія—точно то, за что они выдаютъ себя, или, лучше сказать, чѣмъ они сами себѣ кажутся,—то они суть совсѣмъ противоположныя общественныя стремленія, не только что противоположныя въ смыслѣ условномъ; и—паденіе или казнь ждутъ ихъ неминуемо. Мрачныя, зловѣщія предчувствія такого страшнаго исхода отражаются во многихъ изъ лирическихъ стихотвореній поэта, и особенно ясно въ стихотворе-

ни: «Не смѣйся надъ моею пророческою тоскою». Если же въ этихъ стремленіяхъ есть извѣстная натяжка, извѣстная напряженность, — выросшія опять-таки подъ гнетомъ или на дикомъ просторѣ, среди своевольныхъ беззаконій обстановки, то первое, что закрадется въ душу человѣка, тревожимаго ими, или встрѣтившаго отпоръ имъ въ общежитіи, будетъ конечно сомнѣніе, но еще не истинно разумное сомнѣніе въ законности произвола личности, а только сомнѣніе въ силѣ личности, въ средствахъ ея.

Вглядитесь внимательно въ эту нелѣпую, съ дѣтской небрежностью набросанную, хаотическую драму: «Маскарадъ», и слѣдъ такого сомнѣнія увидите вы въ лицѣ князя Звѣздича, котораго одна изъ героинь опредѣляетъ такъ:

безнравственный, безбожный,  
Себялюбивый, злой, — но слабый человѣкъ!

Въ созданіи Звѣздича — выразилась минута первой схватки разрушительной личности съ условнѣйшею изъ сферъ общептія, схватки, которая кончилась не къ чести дикихъ требованій и необъятнаго самолюбія. Слѣды этой же первой эпохи, породившей разувѣреніе въ собственныхъ силахъ, отпечатлѣлись во множествѣ стихотвореній, изъ которыхъ одно замѣчательно наиболѣе по строфѣ, опредѣляющей вполнѣ минуту подобнаго душевнаго настроенія:

Любить? но кого же? на время не стоитъ труда,  
А вѣчно любить невозможно!  
Въ себя ли заглянешь? тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда;  
И радость и горе и все тамъ ничтожно!

И много неудавшихся Арбениныхъ, оказавшихся при столкновеніи съ свѣтскою сферою жизни Солдогоубовскими, Леонинными, — отозвались на эти строки горькаго, тяжелаго разубѣжденія: одни только Звѣздичи остались собою совершенно довольны.

Между тѣмъ, лице Звѣздича и нѣсколько подобныхъ стихотвореній — это тотъ пунктъ, съ котораго въ натурѣ нравственной, т. е. крѣпкой и цѣльной, должно начаться правильное, т. е. комическое, и притомъ безпопадно комическое, отношеніе къ дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятельнымъ. Но гордость рѣдко можетъ допустить такой поворотъ.

Въ стремленіи къ идеалу, или на пути духовнаго совершенствованія, всякаго стремящагося ожидаютъ два подводныхъ камня: отчаяніе отъ сознанія своего собственнаго несовершенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, непрямое отношеніе къ своему несовершенству,

которое почти совершенно безвыходно. Что человѣку непріятно и тяжело сознавать свои слабыя стороны, это конечно не подлежит ни малѣйшему сомнѣнію: задача здѣсь преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ слабымъ сторонамъ своимъ отнести съ полною, безошадною справедливостію. Самое обыкновенное искушеніе въ этомъ случаѣ — уменьшить въ собственныхъ глазахъ свои недостатки. Но есть искушеніе несравненно болѣе тонкое и опасное; именно: преувеличить свои слабости до той степени, на которой они получаютъ извѣстную значимость, и пожалуй, даже, по извращеннымъ понятіямъ современнаго человѣка — величавость и обаятельность зла. Мысль эта станетъ совершенно понятна, если я напому обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ, не говорю уже Манфреда, Лары, Глаура, — но Печорина и Ловласа — психологическій фактъ, весьма нерѣдкій съ тѣхъ поръ, какъ

Британской музы небиллицы

Тревожатъ сонъ отроковицы....

Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ вашемъ представленіи до извѣстной степени энергіи, поставьте ее въ борьбу съ окружающею ее обстановкою — ваше трагическое воззрѣніе закроетъ отъ васъ всѣ мелкія пружины ея дѣятельности. Эгоизму современнаго человѣка несравненно легче помириться въ себѣ съ крупнымъ преступленіемъ, чѣмъ съ мелкой и пошлой подлостью; гораздо пріятнѣе вообразить себя Ловласомъ, чѣмъ Гоголевскимъ Собакиннымъ, скучнымъ рыцаремъ, чѣмъ Плюшкинымъ, Печоринымъ, чѣмъ Меричемъ; даже, ужъ если на то пошло, Грушницкимъ, чѣмъ Миладшинымъ Островскаго, потому что Грушницкій хоть умираетъ эффектно! Сколько лягушекъ надуваются по этому случаю въ волость, въ насъ самихъ и вокругъ насъ! Сколько людей *желаютъ* показаться себѣ и другимъ *преступными*, когда они сдѣлали только *пошлость*, сколько гаденькихъ чувственныхъ поползновеній стремятся принять въ насъ размѣры колоссальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху «удалиться подъ сѣнь струй»; Меричъ въ «Бѣдной невѣстѣ» самодовольно проситъ Марью Андреевну простить его, что онъ «возмутитъ миръ ея невинной души». Тамаринъ радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ, даже и по наступленіи той минуты, съ которой въ натурѣ нравственной должно начаться правильное, т. е. комическое отношеніе къ собственной мелочности и слабости, гордость, вмѣсто прямого поворота, предлагаетъ намъ изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули безсильную страстность души, признать ея требованія все-таки правыми; переживши минуты презрѣнія къ



самому себѣ и къ своей личности, сохранить однако вражду и презрѣніе къ дѣйствительности. Посредствомъ такого изворота, лице Звѣздича, въ процессѣ Лермонтовскаго развитія, переходитъ въ типъ Печорина. Въ сущности, что такое Печоринъ? Смѣсь Арбенійскихъ беззаконій съ свѣтскою холодностію и безсовѣстностію Звѣздича, котораго всѣ неблестящія и невыгодныя стороны пошли въ созданіе Грушницкаго, существующаго въ романѣ исключительно только для того, чтобы Печоринъ, глядя на него, какъ можно болѣе любовался собою, и чтобы другіе, глядя на Грушницкаго, болѣе любовались Печоринимъ. Что такое Печоринъ?—существо совершенно двойственное, человѣкъ, смотрящійся въ зеркало передъ дуэлью съ Грушницкимъ, и рыдающій, почти грызущій землю, какъ звѣренко «Мцыри», послѣ тщетной погони за Вѣрою. Что такое Печоринъ?—Поставленное на ходули безсиліе личнаго произвола! Арбенинъ съ своими необузданно самолюбивыми требованіями *провалился* въ такъ-называемомъ свѣтѣ: онъ явился снова въ костюмѣ Печорина, искушенный сомнѣніемъ въ самомъ себѣ, болѣе уже хитрый, чѣмъ заносчивый,—и такъ-называемый свѣтъ ему поклонился..

## Статья вторая.

РОМАНТИЗМЪ. — ОТНОШЕНІЕ КРИТИЧЕСКАГО СОЗНАНІЯ КЪ РОМАНТИЗМУ. — ГЕГЕЛИЗМЪ. — (1834—1840).

### IX.

«*Романтизмъ*»—писаль Бѣлинскій въ заключительной статьѣ «Литературныхъ мечтаній»—«вотъ первое слово, огласившее Пушкинскій періодъ; *народность*—вотъ альфа и омега новаго періода. Какъ тогда всякій бумагомаратель изъ кожи лѣзъ, чтобы прослыть *романтикомъ*; такъ теперь всякій литературный мужъ претендуетъ на титулъ *народнаго* писателя. *Народность*—чудесное словечко! Что передъ нимъ вашъ *романтизмъ*! Въ-самомъ-дѣлѣ, это стремленіе къ народности весьма замѣчательное явленіе. Не говоря уже о нашихъ романистахъ, и вообще новыхъ писателяхъ, взгляните, что дѣлаютъ заслуженные корифеи нашей словесности: *Жуковский*, этотъ поэтъ, гений котораго всегда былъ прикованъ къ туманному Альбіону и фантастической Германіи, вдругъ за-



вить на одну доску съ его драмами — этими несчастными плодами несчастной эпохи его дѣятельности — и въ особенности не о романахъ Лажечникова. Это были блестящія исключенія, хотя — надобно сказать правду — только даровитость и какая-то оригинальная задушевность тона выкупаютъ романы Загоскина; только смѣлыя замашки, только стремленія къ проведенію новыхъ историческихъ мыслей — вѣрныхъ или невѣрныхъ, но во всякомъ случаѣ имѣвшихъ отрицательное значеніе — сообщаютъ нѣкоторую жизнь Симеону Кардяпѣ, Клятвѣ при гробѣ Господнемъ и другимъ попыткамъ Полеваго, который вовсе не былъ рожденъ творцемъ и художникомъ; — и только романы Лажечникова остались и удѣляли для насъ, со всеми ихъ огромными, пожалуй, недостатками, но и огромными достоинствами... Все же остальное вродѣ стоило нападокъ Бѣлинскаго. Писались, или лучше-сказать фабриковались эти штуки-ис извѣстнымъ рецептамъ: Московскія издѣлія по Загоскинскимъ, Петербургскія по Булгаринскимъ.

Кромѣ того, историческое повѣтріе ударилося и въ другую область, въ область драмы. На сценѣ постоянно горланилъ и хвасталъ Дяпуновъ, кобенился Мининъ въ видѣ Дѣвы Орлеанской, и по-истинѣ въ грязь стаскивались эти великія и доблестныя тѣни. Опять должно и тутъ исключить нѣсколько попытокъ Хомяковскихъ — несмотря на ихъ странный въ приложеніи къ нашему быту Шиллеровскій лиризмъ, подававшій поводъ къ правдивымъ и язвительнымъ насмѣшкамъ — и пожалуй Погодинскихъ, — хотя менѣе всего къ художеству способенъ достопочтенный нашъ историкъ, и только глубокое знаніе, столь же глубокое чутье историческое и пламенная любовь къ быту предковъ подкупали въ отношеніи къ его драмамъ небольшой кругъ друзей, между прочимъ Пушкина, который вовсе не иронически написалъ къ нему извѣстное письмо объ его Марѣ-посадницѣ. Замѣчательный фактъ, — что Хомяковскія и Погодинскія попытки, т. е. единственные остатки историко-драматическаго повѣтрія, о которыхъ можно вспомнить съ уваженіемъ, не пользовались въ то время никакимъ успѣхомъ: на сценѣ свирѣпствовалъ Дяпуновъ и ломались Минины....

Таково было состояніе литературы, которое Бѣлинскій охарактеризовалъ какъ стремленіе къ пародности и отдѣлилъ отъ прежняго, отъ стремленія романтическаго. Прежде-всего, самое отдѣленіе такое было неправильно. Эпоха была и долго еще оставалась романтическою, — самъ Бѣлинскій былъ еще въ то время романтикомъ и потому-то въ послѣдствіи, разяснивши себѣ окончательно вопросы, всю свою энергическую вражду обратилъ на романтизмъ, преслѣдуя и бичуя его нещадно... Но понятіе о романтизмѣ — до-сихъ-поръ такое еще мало-разясненное по-

нате, что, и воюя съ романтизмомъ, Бѣлинскій долго еще былъ романтикомъ, только въ другой кожѣ,—да едва-ли и пересталъ быть имъ до конца своего поприща... Нѣтъ по-крайней-мѣрѣ сомнѣній,—а если и есть, то они легко могутъ быть опровергнуты фактами, которые изложены будутъ въ сей статьѣ,—что Бѣлинскій второй эпохи своего развитія, т. е. развитія нашего общаго критическаго сознанія,—эпохи «Наблюдателя» зеленого цвѣта и «Отечественныхъ Записокъ» 1839,—былъ романтикомъ Гегелизма и съ наивно-страстною энергіею бичевалъ въ себѣ и во всѣхъ — романтика старой формы, романтика французскаго романтизма.

Да и что называть романтизмомъ, мы доселѣ еще едва-ли можемъ дать себѣ ясный и окончательный отчетъ.

Поэзія Жуковскаго—романтизмъ.

Гюго—романтикъ.

Полежаевъ и Марлинскій—романтики.

Гамлетъ Полевого и Мочалова—романтикъ.

А Кольцовъ развѣ не романтикъ? А Лермонтовъ въ Арбенинѣ и Мцыри развѣ не романтикъ?

Все это—романтизмъ, и все это весьма различно, такъ различно, что не имѣетъ никакихъ связующихъ пунктовъ.

Одинъ Нѣмецъ, вѣжесся Шмидтъ, написалъ цѣлыхъ двѣ книги о значеніи романтизма—и Боже великій! какихъ чудесъ не встрѣтите вы въ этой книгѣ! Мольтеръ, напимѣръ, выходитъ у автора романтикомъ, а Шекспиръ устраняется, выгораживается, а съ нимъ вмѣстѣ и все протестантское изъ романтизма, какъ изъ чего-то позорнаго и ужаснаго. Сколько можно понять изъ истинно-нѣмецки запутаннаго сочиненія г. Шмидта, романтическое рѣшительно сливается для него съ католическимъ, и слово романтизмъ обозначаетъ для него всякую несвободу мысли и чувства, всякое подчиненіе души чему-то смутному, темному, неопредѣленному. Такъ-какъ во всякой галиматьѣ, по справедливому замѣчанію Печорина, есть идея, а иногда бываютъ даже и двѣ, то и смутное опредѣленіе романтизма г. Шмидтомъ носить въ себѣ зародышъ идеи.

Дѣйствительно, романтическое въ искусствѣ и въ жизни на-первый-разъ представляется отношеніемъ души въ жизни несвободнымъ, подчиненнымъ, несознательнымъ,—а съ другой стороны, оно же—это подчиненное чему-то отношеніе—есть и то тревожное, то вѣчно-недовольное настоящимъ, что живетъ въ груди человѣка и рвется на просторъ изъ груди, и чему недовольно цѣлаго міра,—тотъ огонь, о которомъ говоритъ Мцыри, что онъ

Начало это — несвободно, потому что оно стихийно, — но оно же, тревожное и кипящее, служитъ толчкомъ къ освобожденію сознания отъ стихійнаго, оно же разрушаетъ кумиры темныхъ боговъ, которымъ поклонено еще само, потому что слишкомъ хорошо помнятъ ихъ силу и влияние, испытало на себѣ дѣйствие, влияние этихъ силъ — но самъ въ тоже время есть влияние. Романтическое такого рода было и въ древнемъ мірѣ — и Шатобрианъ, одинъ изъ самыхъ наивныхъ романтиковъ, чуть-чуть романтика отыскиваетъ романтическія вѣянія въ древнихъ поэтахъ; романтическое есть и въ средневѣковомъ мірѣ, и въ новомъ мірѣ, и въ стремленіяхъ Гётевскаго Фауста, и въ лихорадкѣ Байрона, и въ судорогахъ французской словесности тридцатыхъ годовъ. Романтическое является во всякую эпоху, только-что вырвавшюся изъ какого-либо сильнаго моральнаго переворота, въ переходные моменты сознания — и только въ такомъ его опредѣленіи воздушная и сладко-тревожная мечтательность Жуковского мирится съ мрачною тревожностью Байрона и первая лихорадка Гюга съ пьяною лихорадкою русскаго романтика Лубима Торцова.

Я упомянулъ имя Шатобриана — и въ самомъ дѣлѣ, это одинъ изъ самыхъ характеристическихъ представителей одной стороны романтическаго вѣянія, и та страница въ его *Memoires d'Outre-tombe*, гдѣ онъ называетъ себя предшественникомъ Байрона, не покажетъ нисколько хвастовствомъ тому, кто читалъ Пачезовъ, Гене, Аталу. Что такое Гене, какъ не исповѣдь самаго Шатобриана? Свѣозъ всю шумиху фразъ старыхъ формъ, затрудняющихъ для читателей новаго времени чтеніе поэмы «Пачезы», не прорывается ли тотъ недугъ *de la melancolie ardente*, который — конечно, не въ одинаковой — степени грѣзъ и автора «Гени христианства», и автора «Иайльда Гарольда»? Что такое Гене, какъ не болѣзненный первенецъ XIX вѣка, получившій въ наследіе безотрадный скептицизмъ, не совладѣвшій съ нимъ и не усвоившій, какъ Байронъ, роковаго наследія, а бросившійся, напротивъ, съ отчаянія въ объемы не разрушающихся, но величавыхъ старыхъ формъ? Что такое Гене, какъ не тотъ же Ворсаръ и Лара — только не переступившій страшной бездны, въ которую они ринулись, а оставившійся передъ нею въ болѣзненномъ недоумѣніи? А помните ли вы исповѣдь Эвдора въ «Les Martyrs» — единственный, но за то истинно-поэтическій образецъ этого на дутаго романа? Надъ этимъ отрывкомъ есть романтическое вѣяніе переходныхъ эпохъ: въ тяжкой скорби, терзающей Героя, въ безсознатель-

домъ пресыщеніи жизнью его, и всѣхъ лицъ его окружающихъ, въ безумно-дихорадочномъ порывѣ страсти къ Веллелъ—пробивается тотъ же романтическій недугъ, то тревожное начало, которое равно способно и къ плачу по старому міру и къ его разрушенію, только неспособно ни къ какому созиданію. Поэтому-то у Шатобриана есть странное чужье на открытіе романтическаго струи повсюду: чтобы убедиться въ этомъ, стоитъ только развернуть на любой страницѣ второй томъ Génie du Christianisme. Онъ слышитъ романтическія вѣянія въ стихахъ Одиссея, подмѣчаетъ порывы романтическіе у Виргилія, ищетъ только этой одной струи и, надобно прибавить, указываетъ на нее всегда, правильно и ею только въ состояніи отъ души увлекаться.

Можетъ быть, никто такъ глубоко и болѣзненно не прочувствовалъ романтическаго вѣянія, какъ одинъ изъ немногихъ истинныхъ поэтовъ нашей эпохи Альфредъ де-Мюссе, вѣроятно потому что это романтическое вѣяніе закружило его окончательно, вследствие чего онъ и палъ блѣдною жертвою обладавшаго имъ тревожнаго стихійнаго начала. Въ «Confessions d'un enfant du siècle» — этой глубоко-искренней книгѣ — романтическое вѣяніе рѣшительно является въ видѣ темныхъ и страшныхъ силъ, уже отошедшихъ въ область прошлаго, но еще рветушихъ своимъ вліяніемъ настоящее, въ видѣ старыхъ божествъ, изъ полъ власти которыхъ только еще вырвалось, ушло — но еще не высвободилось сознание. Одну глубокую страницу изъ этихъ Confessions я долженъ напомнить читателю для поясненія моей мысли о романтизмѣ, какъ стихійномъ вѣяніи: ибо никакое диалектическое развитіе не пояснитъ такъ мысли, какъ поэтическое ея выраженіе.

«Во времена войнъ Имперіи» — рассказываетъ герой книги, Октавій — въ то время, какъ мужья и братья были въ Германіи, тревожныя матери произвели на свѣтъ поколѣніе горячее, блѣдное, нервное. Зачаты въ прошедшей битвѣ воспитанныя въ училищахъ полъ барабанный бой, тысячи дѣтей мрачно озирали другъ друга, пробуя свои слабыя мускулы. По временамъ являлись къ нимъ покрытые кровью отцы, полъ-малю въ кѣ зашиты въ золото груди, потомъ слагали на землю это бремя и снова садились на коней».

Но война окончилась, Кесарь умеръ на далекомъ островѣ. Тогда на развалинахъ міра съѣла тревожная юность. *Всѣ эти отцы были каплями горячей крови, капившей землю*: они родились среди битвы. Въ головѣ у нихъ былъ пѣбый міръ. Они глядѣли на землю, на небо, на удины и на дороги: все было пусто, и только приходскіе колокола гудѣли въ отдаленіи».

Три стихійныя дѣянія жизни, разстилающіяся перелъ юностями, за

ними—навсегда разрушенное прошедшее, передъ ними — заря безграничнаго небосклона, первые лучи будущаго, и между этихъ двухъ міровъ—ничто подобно Океану, отдѣляющему старый материкъ отъ Америки, не знаю, что-то неопредѣленное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушеніями; переплываемое по временамъ далекимъ бѣлымъ парусомъ или кораблемъ съ тяжелымъ ходомъ,—настоящій вѣкъ, однимъ словомъ, который отдѣляетъ прошедшее отъ будущаго, который — *ни то, ни другое, и походитъ на то и на другое вмѣстѣ*, гдѣ на каждомъ шагу недоумѣваешь, идешь-ли по сѣменамъ, или по праху....»

«И имъ оставалось только настоящее, духъ вѣка, *ангелъ сумерекъ*—не день и не ночь: они нашли его сидящимъ на мѣшкѣ съ костями и закутаннымъ въ плащъ эгоизма, дрожащимъ отъ холода. Смертная мука закралась къ нимъ въ душу при взглядѣ на это видѣніе—полу-мумію и полу-прахъ; они подошли къ нему, какъ путешественникъ, которому показываютъ въ Страсбургѣ дочь стараго графа Сарвердена, балзамированную, въ гробу, въ вѣнчальномъ нарядѣ. Страшенъ этотъ ребяческій скелетъ, ибо на худыхъ и блѣдныхъ рукахъ его обручальное кольцо, а голова распадается прахомъ посреди цвѣтовъ.»

Въ такой поэтически-страшной картинѣ изображаетъ поэтъ общее состояніе эпохи.

Мы не станемъ слѣдить за дальнѣйшимъ развитіемъ начальной мысли поэта, но должны указать на его упреки и проклятія Гете и Байрону, какъ провозвѣстникамъ разочарованія... «О Боже!» говоритъ онъ, обращаясь къ пѣвцу Лары, «я, который говорю съ тобою, я, который не болѣе, какъ слабый ребенокъ, я выстрадалъ, можетъ быть, больше бѣдствій, чѣмъ ты, а все-таки вѣрю въ надежду, все-таки благословляю Бога».

«О, народы будущихъ вѣковъ!»—оканчиваетъ онъ свое вступленіе—«когда въ жаркій лѣтній день склонитесь вы надъ плугомъ на зеленомъ лугу отчизны, когда подъ лучами яркаго, чистаго солнца,—земля, щедрая мать, будетъ улыбаться въ своемъ утреннемъ нарядѣ земледѣльцу; когда, отирая съ спокойнаго чела священный потъ, вы будете покоить взглядъ на безпредѣльномъ небосклонѣ.... вспомните о насъ, которыхъ не будетъ ужъ болѣе; скажите себѣ, что *дорого купили мы вашъ будущій покой*; пожалѣйте насъ больше, чѣмъ всѣхъ вашихъ предковъ: у нихъ много горя, которое дѣлало ихъ достойными состраданія, у насъ *нѣтъ того, что ихъ утѣшало*....»

Зачѣмъ-же, спрашивается, назвалъ *романскимъ* это начало стихійное и тревожно-лихорадочное, которое было обще многимъ эпохамъ и, вѣроятно, будетъ обще многимъ другимъ, этотъ знобъ и жаръ съ напра-

женнымъ біеніемъ пульса, который равно болѣзненъ, окажется-ли онъ сладкою, но все-таки тревожною и разбѣдающею мечтательностію Жуковского, тоскою-ли по прошедшемъ Шатобріана, мрачнымъ-ли и сосредоточеннымъ отрицаніемъ Байрона, судорожными-ли созданіями Виктора Гюго и литературы тридцатыхъ годовъ, борьбою-ли съ нимъ свѣтлой и ясной Пушкиновою натурою, подчиненіемъ-ли ему до моральнаго уничтоженія натуръ Марлинскаго и Полежаева, Мочаловскими-ли созданіями, воцѣлами-ли Огаревскихъ «монологовъ», или Фетовскими странными, но для души ясными намеками на какіе-то звуки, которые

льнуть къ моему изголовью...

Полны они томной разлуки,  
Дрожать *небывалой* любовью;

—которые

Такъ томно и грустно-небрежно  
Въ свой міръ разцвѣченный уносятъ,  
И ластятся къ сердцу такъ нѣжно,  
И такъ умиленно просятъ....

зачѣмъ-же назвали, говорю я, исключительно *романскимъ* это начало, которое столь-же, если не болѣе, свойственно и нашей русской природѣ, которое не разъ закруживало эту природу до безвыходной хандры, до Лермонтовскаго ожесточенія и зловѣщихъ предчувствій, до Тургеневскаго раздвоенія и расслабленія—а въ сферахъ болѣе грубыхъ до Полежаевскаго цинизма и до запоя Любима Торцова?...

## X.

Неудачное названіе придумано въ неудачную эпоху, въ эпоху такъ-называемой романтической реакціи, доходившей въ Германіи, странѣ послѣдовательности мышленія, до безумствъ «Доктора любви» Захарія Вернера и до католическаго отупѣнія братьевъ Шлегелей... Въ этой своей формѣ, въ формѣ тоски по прошедшемъ, доходящей до кукольной комедіи въ отношеніи къ прошедшему, романтизмъ намъ мало свойственъ. Самое наше Славянофильство далеко не то, что романтизмъ Гёссера и братьевъ Шлегелей; ибо подъ формами его таится нѣчто живое, нѣчто иное; ибо иная была наша историческая судьба, и иное вслѣдствіе того возникло у насъ отношеніе къ нашему прошедшему.

Поэзія Жуковского — не смотря на великій талантъ Жуковского—



мало привязалъ къ нашей жизни. Почти остался для насъ дореволюционный, но такъ грустное въплескание въ туманныя догматическія идеалы, воспріятыя собою отпоромъ въ нашемъ здоровомъ юморѣ, эти тотчасъ же доведены были до послѣднихъ границъ русской послѣдовательности и были убиты именно тѣмъ, что дошли въ *мачуи* повѣсткахъ и романахъ. Полеvaro до комическаго. Его «Блаженство безумнаго», его «Аббадона», его «Утолино» въ этомъ отношеніи факты вѣраженнѣйшіе. Ни въ чемъ, разумѣется, все то комическое, что делало въ ясныхъ порывахъ *адаль, куда-то* не являлось съ такихъ смѣшанныхъ сторонъ, какъ въ выраженіи чувства любви къ женщинѣ и въ развитіи этого чувства; поэтому я позволю себѣ простѣвить эту одну сторону романтическаго — *романтически-туманное* — поскольку оно выражалось въ нашей литературѣ.

Пушкинъ — его не минуешь и къ нему всегда возвратишься, о чемъ бы не началась рѣчь — Пушкинъ — вездѣ соблюдавшій мѣру, самъ — живая мѣра и гармонія, и чувствъ, даже въ особенностяхъ, тутъ является нашею, Русскою мѣрою чувствъ и говоритъ объ отношеніи Пушкинской поэзіи къ чувству любви и къ женщинѣ — значитъ тоже, что говорить о самомъ правильномъ и чуждомъ тонкомъ и высокомъ отношеніи человека къ тому существованному вопросу, отношеніи, столь же чуждомъ дожнаго идеализма, выдаваемого за высшее, какъ и грубаго материализма, отрицающаго различныя обольстительныя виды. Чтобы тотчасъ же ярче, нагляднѣе понять — на сколько Пушкинъ нуженъ, вѣрно, стоитъ только приравнять духъ его поэзіи къ духу поэзіи Шиллера того, между нами будь сказано, нѣтъ уже въ наше время возможности читать, какъ поэта эротическаго, безъ весьма страннаго чувства, граничащаго со смѣхомъ. Тамъ, гдѣ Шиллеръ нѣженъ, онъ впадаетъ въ невыносимую сентиментальность и приторность, такъ-что правильно-чувствующій человекъ постыдится какъ-то прочесть его стихи женщины, которую онъ любитъ; тамъ, гдѣ Шиллеръ страденъ, онъ впадаетъ въ неистовство идеализма, близкое къ грубѣйшему материализму. Пусть попробуетъ читатель вслѣдъ за стихотвореніемъ Пушкинна «Для береговъ отчизны далдой» прочесть напримеръ «Der Jungling am Bache» — иди послѣ напримеръ письма Овидіана и письма Татьяны — «Das Geheimniss der Reminiscenz» — самое неистовое изъ неистовыхъ стихотвореній Шиллера. Но Шиллеръ уже далеко отъ насъ — нечего сгрывать отъ себя этой правды. Шиллеръ великъ, и остается великъ, но только тамъ, гдѣ онъ истинный маркизъ. Поэа, ментатель говоритъ какъ адвокатъ, чело-вѣчества. Попробуйте сравнить поэзію Пушкина съ идеализмомъ французскихъ и италійскихъ бездарныхъ поэтовъ, съ идеализмомъ Гюго, на-

примѣръ поэта безъ сомнѣнн даровитаго, съ идеализмомъ Ламартина, который значительно выше Шиллероваго идеализма въ отношенн къ любви, у котораго найдете вы строфы, полныя правды и чистоты чувства, хотя совѣмъ потонувшия въ морѣ воды... Съ Байрономъ сравнить Пушкина нельзя: оба равно велики какъ поэты, — оба лучше, если хотите; но общаго между ними одна только сила генія, и Пушкинъ потому единственно подпалъ подъ высшее влияние Байрона что былъ моложе его. Обратимся въ другую сторону. Пушкинъ столь же мало материалиста, какъ и идеалистъ: въ его взглядѣ на любовь нѣтъ ничего похожаго на взглядъ величайшаго и тончайшаго материалиста Гете; общаго между ними опять — таки только сила генія, равно спокойное паренне орла, созвоннаго силу своихъ крыльевъ, хотъ иногда германскій оредъ слишкомъ долго любилъ засиживаться на утесахъ и звать подъ шумъ похвалъ своего неприхотливаго и наклоннаго къ изыческому поклоненню отечества, которому, что ни давай, онъ все было хорошо. Попробуйте сравнить, по тому же вопросу, Пушкинскую поэзю съ современными, хитрымъ и ловкимъ материализмомъ Гейне — и Пушкинъ одинъ по отношенн къ этому чувству окажется полнымъ, пѣльнымъ, нераззорваннымъ челоѣкомъ.

Невозможно въ краткомъ очеркѣ обрисовать, такъ сказать, физиологн Пушкинской любви, обозначить все ея признаки, подмѣтить всея тонкн и чары. Въ толюбивнхъ стихахъ Пушкина этого чувства! Одно слово влюбленн: въ вастн любви, вьдетъ отъ него, на которомъ то отомъ написано столько вариаций, и дурныхъ, и нерѣдко хорошихъ, и болѣзненныхъ, и изрѣдка правильныхъ, — уже пѣлая поэма, на которую можно сочинять комментарн:

Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,  
То робостью, то ревностью томиль,  
Я васъ любилъ такъ пламенно, такъ тосчно,

*Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.*

Послѣднй стихъ несравнимъ ни съ чѣмъ; онъ — въ общечеловѣческнй, важная мысль, въ немъ являющаяся, еще опредѣленнне сказалась въ заключительныхъ стихахъ другого, одного изъ позднѣйшихъ стихотвореннй, въ желанн любимому существо вьсно:

Все, даже счастье тою, кто избралъ вы,

Что милый даетъ, дастъ названне сиротки.  
Этотъ самоотверженне чувства встрѣтите вы только у Пушкина и еще у Мицкевича, и то, впрочемъ, не въ такой чистотѣ. Такое самоотверженне не есть уступчивость, происходящая отъ холодности чувства;

пламенный нельзя ничего встрѣтить ни у какого поэта въ мірѣ—и этихъ стонъ сердца, которые слышны въ стихотвореніи, призывающемъ на свиданіе усопшю, и этой ревности:

Вотъ, время: по горѣ теперь идетъ она...  
 Одна.... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ,  
*Никто ея колѣнъ въ забвеніи не цѣлуетъ;*  
 Ода.... ничѣмъ устами она не предаетъ  
 Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ...  
 .....  
 Но если....

ничего во всей лирической поэзіи нельзя найти задушевные стиха, какъ-будто случайно вырвавшася изъ сердца поэта въ разговорѣ съ книгопродавцемъ:

Вся жизнь—одна-ли, двѣ-ли ночи....

или стиховъ, звучащихъ такъ грустно въ послѣднихъ строфахъ Онѣгина:

А ты, съ которой дорисованъ  
 Татьяны милый идеаль....  
 О! много, много рокъ отъялъ....

ничего, кромѣ опять-таки развѣ нѣсколькихъ стиховъ Мицкевича.

Ничего страстнѣе и вмѣстѣ общедоступнѣе въ поэзіи нельзя найти письма Онѣгина:

Нѣтъ, постоянно видѣть васъ,  
 Повсюду слѣдовать за вами,  
 Улыбку устъ, движеніе глазъ  
 Ловить влюбленными глазами....

И. Т. Д.

ничего, кромѣ развѣ вотъ-какихъ стиховъ, которые тоже въ своемъ родѣ нес plus ultra страстности:

Ona jeszcze nie slucha, on jéj szepté do ucha  
 Nowe skargi, czy nowy zaklęcia,  
 Aż wzruszona, zemdlona, opuscila ramiona  
 I schylila się w-jego objęcia....

А между-тѣмъ, какъ поэтъ просто въ анализѣ этого полного и цѣльнаго чувства, начиная отъ тонкихъ и, такъ сказать, первоначальныхъ его признаковъ:

Я ѣхалъ къ вамъ.... живые сны  
 За мной вились толпой игривой,  
 И мѣсяцъ съ правой стороны  
 Сопровождалъ мой бѣгъ ретивой...  
 Я ѣхалъ прочь.... иные сны,—  
 Душѣ влюбленной грустно было,  
 И мѣсяцъ съ лѣвой стороны  
 Сопровождалъ мой бѣгъ унылой...

до болѣе положительныхъ его проявленій :

Грустно, Нина, путь мой скучень....

и. т. д.

Перечтите это послѣднее стихотвореніе, дышащее какою-то ежедневностью, такъ-сказать, домашностью, чтобы ясно понять—какъ просто у поэта чувство, какъ оно присутствуетъ въ душѣ цѣльно, не разрываясь съ другими, обычными впечатлѣніями, правильное, свѣтлое, глубокое.... Пушкинъ, какъ истинно-великій поэтъ, понималъ, что чувство правильное носить въ себѣ залогъ вѣковѣчности, что оно не можетъ быть ни грубымъ чувственнымъ порывомъ, ни напряженною трагедіей, ни болѣзненной язвой, душевнымъ ракомъ, который истощаетъ въ душѣ все другіе соки. Отношеніе Пушкинское я прослѣдилъ какъ нашу *душесную мѣрку*—для того, чтобы яснѣе обозначить искаженія, которыя мы привыкли называть *романтическими*. Главные источники для опредѣленія особенности романтическаго возрѣнія суть безъ сомнѣнія:—Марлинскій, Кузольникъ, Полевой и нѣсколько лирическихъ поэтовъ, однимъ словомъ—литература тридцатыхъ годовъ.—Основные, существенныя черты возрѣнія слѣдующія:

1) «Души избранныя»—томятся постоянно тоскою по своимъ половинамъ, для нихъ собственно предназначеннымъ.... До встрѣчи съ своими «половинами» таковыя души обыкновенно даромъ бременятъ землю, или еще того хуже—враждуютъ съ непонимающимъ ихъ свѣтомъ,—ломаютъ стулья, коли заговорятъ объ Александрѣ Македонскомъ и вообще о высокихъ предметахъ; ѣдятъ, пьютъ и спятъ, какъ прочіе смертные, но чрезвычайно на это сердятся и ругаютъ презрѣнную прозу жизни.

2) При встрѣчѣ съ «половинами» онѣ тотчасъ-же угадываютъ по вдохновенію свое родство съ ними и начинаютъ говорить языкомъ никому, кромѣ сихъ половинокъ, непонятнымъ, заговариваются какъ Тассо или Джакомо-Санназаръ, или какъ Нино-Галлурі спрашиваютъ у своихъ половинокъ:





крайностяхъ, до которыхъ доводили дѣло Кукольникъ, Полевой и проч. Благоуханіе этой стороны романтизма остается все-таки благоуханіемъ въ Жуковскомъ!...

## XI.

Но въ романтизмъ есть еще другая сторона, сторона лихорадочно-тревожнаго вѣянія, сторона, которой могущественнымъ и вѣковѣчнымъ голосомъ явился Байронъ, сторона безпощаднаго, но не холоднаго отрицанія, — безжалостнаго, но не спокойнаго, не разсудчнаго скептицизма.

Было время, и притомъ очень недавнее, когда все романтическое безъ различія клеймилось насмѣшкою, когда мы всѣ пытались казнить въ себѣ-самыхъ то, что называлось нами романтизмомъ и что гораздо добросовѣстнѣе будетъ называть началомъ тревожнаго порыванія, тревожнаго стремленія, соединеннаго съ давленіемъ и гнетомъ разрушеннаго, но еще памятнаго, еще вліяющаго прошедшаго. Анализируя безтрепетно самихъ себя, мы дошли наконецъ до судорожнаго и болѣзненнаго смѣха Тургеневскаго Гамлета Щигровскаго уѣзда надъ тревожнымъ порываніемъ, до совершеннаго невѣрія въ тревожное начало жизни, къ которому приводилъ анализъ Толстаго, до попытокъ положительныхъ успокоеній, которыя, хотя нѣсколько односторонне, выражали собою комедіи Островскаго.... Но чѣмъ же разрѣшился процессъ нашъ? Казнь романтизма, повсюду совершавшаяся во все это время въ общемъ мышленіи и отражавшаяся во всей современной литературѣ, кончается однако вовсе не такъ рѣшительно, какъ она начиналась. Часто и въ самое продолженіе борьбы эта казнь представляла извѣстное изображеніе змѣя, кусающаго собственный хвостъ, т. е. конецъ анализа бывалъ часто поворотомъ къ началу; притомъ же весьма у немногихъ изъ насъ доставало послѣдовательности, на основаніи вражды къ тревожному началу, взглянуть какъ на незаконныя, на многія сочувствія, въ которыхъ мы воспитались. *Храбрѣе* въ этомъ дѣлѣ нашлось, повторяю, немного, а тѣмъ, которые нашлись — храбрость ровно ничего не стоила, т. е. они по натурѣ лишены были органовъ для пониманія того, съ чѣмъ другимъ тяжело было разставаться. Многіе храбрились сначала, а потомъ рѣшительно теряли храбрость и возвращались потихоньку къ незаконнымъ сочувствіямъ. Тургеневъ принялся было казнить Рудина, а въ эпилогѣ круто поворотилъ къ апотеозу. Островскій по добросовѣстности художнической природы кончилъ свои примирительныя попытки — борьбою и

раздвоеніемъ, весьма очевидными въ «Доходномъ Мѣстѣ» и послѣдующихъ его произведеніяхъ. Голоса, вопіявшіе на Лермонтова за то, что онъ мало уважаетъ своего «Максима Максимыча», нашли мало сочувствія. Толстой, сохраняя всю силу своего безтрепетнаго анализа, впалъ въ переходную конечно (мы на это крѣпко надѣемся), но тѣмъ не менѣе очевидную апатію мышленія. Писемскій тщетно пытался опоэтизировать точку зрѣнія на жизнь губернскаго правленія: ни сила таланта, ни правда манеры, ни новостъ приемовъ не спасли отъ антипоэтической сухости его болѣе, стремившіяся къ цѣлости произведенія...

Смыслъ всего этого движенія — я постараюсь разъяснить по крайнему моему разумѣнію вполнѣдствіи. Здѣсь привелъ я только факты, которыми заключилась борьба нашего сознанія съ романтизмомъ.

Въ жару борьбы мы забыли многое, что романтизмъ намъ далъ: мы, какъ и самъ выразитель нашего критическаго сознанія, Бѣлинскій, — осудили самымъ строгимъ судомъ, предали анаѣмъ *тридцатые* годы нашей литературы.

Чтобы понять, какъ таковой переходъ былъ рѣзокъ — надобно нѣсколько перенестись въ тридцатые годы и постараться взглянуть на нихъ ихъ-же взглядомъ.

У насъ въ эти годы, за исключеніемъ Пушкина и нѣсколькихъ лириковъ его окружавшихъ, было, конечно, немного. Представителями романтизма съ его тревожной стороны были Марлинскій, Полежаевъ и въ особенности Лажечниковъ. Былъ еще представитель могущественный, чародѣй, который творилъ около себя міры однимъ словомъ, однимъ дыханіемъ; но отъ него кромѣ вѣянія этого дыханія ничего неосталось, и — такъ еще мало отвѣлили мы отъ казенщины и рутинности въ приемахъ — о немъ какъ-то странно говорить, говоря о писателяхъ, о литературѣ. Я разумѣю Мочалова — великаго актера, имѣвшаго огромное моральное вліяніе на все молодое поколѣніе тридцатыхъ годовъ, — великаго выразителя, который былъ гораздо больше почти всего имъ выражаемаго, Мочалова — слѣдъ котораго остался только въ памяти его поколѣнія, да въ пламенныхъ и высокопоэтическихъ страницахъ Бѣлинскаго объ игрѣ его въ Гамлетѣ. Единственный человекъ, который въ ту эпоху стоялъ съ Мочаловымъ въ уровень богатствомъ романтическихъ элементовъ въ душѣ, Лажечниковъ, не давалъ ему никакой пищи, потому-что писалъ романы, а не драмы; эпохи новой, эпохи типовъ геніальный выразитель не дождался — и онъ творилъ изъ самыхъ бѣдныхъ матеріаловъ, творилъ, влагая въ скудныя формы свое душевное богатство... Если читатели мои пробѣгали «Воспоминанія студента» въ 1-мъ № «Отечественныхъ Записокъ» — и мой разсказъ въ 1-мъ № «Сло-





и широкими замашками, съ зародышами глубовихъ мыслей... Его уже нельзя читать въ настоящую эпоху, потому-что онъ и въ своей-то эпохѣ промелькнулъ метеоромъ: но тѣ элементы, которые такъ дико бушуютъ въ его Аммалать-Бекѣ, въ его безконечно тянувшемся Мулла-Нурѣ, въ ими-же, только сплоченными могучею властительною рукою художника, любуетесь въ созданіяхъ Лермонтова.

Отношеніе Бѣлинскаго къ этому, въ 1834 году еще модному, еще любимому писателю, истинно изумительно и наводитъ на многія размышленія. Оцѣнка Марлинскаго Бѣлинскимъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» — несравненно выше и вѣрнѣе оцѣнки Марлинскаго имъ-же въ «Отечественныхъ Запискахъ» 40-хъ годовъ. Въ ней дорого то, что Бѣлинскій тутъ еще самъ романтикъ, да и какой еще! — романтикъ французскаго романтизма! — тогда какъ въ 40-хъ годахъ, перешедши горнило Гегелизма правой стороны и отринувши эту форму, онъ уже относится къ Марлинскому съ слишкомъ отдаленной и эпохѣ Марлинскаго чуждой высоты требованій.

«Почти вмѣстѣ съ Пушкинымъ — говоритъ онъ — вышелъ на литературное поприще и Марлинскій. *Это одинъ изъ примѣчательнѣйшихъ нашихъ литераторовъ.* Онъ теперь безусловно пользуется самымъ огромнымъ авторитетомъ: теперь передъ нимъ все на кофѣнахъ; если еще не всѣ въ одинъ голосъ называютъ его *Русскимъ Бальзакомъ*, то потому только, что боятся унижить его этимъ и ожидаютъ, чтобы французы назвали *Бальзака Французскимъ Марлинскимъ.* Въ ожиданіи, пока совершится это чудо, мы похладнокровнѣе разсмотримъ его права на такой громадный авторитетъ. Конечно, страшно выходить на бой съ общественнымъ мнѣніемъ и возставать явно противъ его идоловъ; но я рѣшаюсь на это не столько по смѣлости, сколько по безкорыстной любви къ истинѣ. Впрочемъ, меня ободряетъ въ семъ случаѣ и то, что это страшное общественное мнѣніе начинаетъ мало по маду приходить въ память отъ оглушительнаго удара, произведеннаго на него полнымъ изданіемъ Русскихъ Повѣстей и Разсказовъ Г. *Марлинскаго*; начинаютъ ходить темные толпы о какихъ-то натяжкахъ, о скучномъ однообразіи, и тому подобномъ. *И, такъ, я рѣшалось быть органомъ новаго общественнаго мнѣнія. Знаю, что это новое мнѣніе найдетъ еще слишкомъ много противниковъ; но какъ-бы то ни было, а истина дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ.*»

«На безлюдьи истинныхъ талантовъ въ нашей литературѣ, талантъ г. *Марлинскаго*, конечно, явленіе очень примѣчательное. Онъ одаренъ остроуміемъ неподдѣльнымъ, владѣетъ способностію разсказа, нерѣдко живаго и увлекательнаго, умѣетъ иногда снимать съ природы картин-

ки-заглядѣнье. Но вмѣстѣ съ этимъ, нельзя не сознаться, что его талантъ чрезвычайно одностороненъ, что его претензіи на пламень чувства весьма подозрительны, что въ его созданіяхъ нѣтъ никакой глубины, никакой философіи, никакого драматизма; что, вслѣдствіе этого, всѣ герои его повѣстей сбиты на одну колодку и отличаются другъ отъ друга только именами; что онъ повторяетъ себя въ каждомъ новомъ произведеніи; *что у него болѣе фразъ, чѣмъ мыслей, болѣе риторическихъ возмашевъ, чѣмъ выражений чувства.* У насъ мало писателей, которые бы писали столько, какъ г. *Марлинскій*: но это обиліе происходитъ не отъ огромности дарованія, не отъ избытка творческой дѣятельности, а отъ навыка, отъ привычки писать. Если вы имѣете хотя нѣсколько дарованія, если образовали себя чтеніемъ, если запаслись извѣстнымъ числомъ идей и сообщили имъ нѣкоторый отпечатокъ своего характера, своей личности, то берите перо и смѣло пишите съ утра до ночи. Вы дойдете наконецъ до искусства—во всякую пору, во всякомъ расположеніи духа, писать о чемъ вамъ угодно; если у васъ придумано нѣсколько пышныхъ монологовъ, то вамъ не трудно будетъ придѣлать къ нимъ романъ, драму, повѣсть; только позаботьтесь о формѣ и слогѣ: они должны быть оригинальные.

«Вещи всего лучше познаются сравненіемъ. Если два писателя пишутъ въ одномъ родѣ и имѣютъ между собою какое-нибудь сходство, то ихъ не иначе можно оцѣнить въ отношеніи другъ къ другу, какъ выставивъ параллельныя мѣста: это самый лучший пробный камень. Посмотрите на *Бальзака*: какъ много написалъ этотъ человекъ, и не смотря на то, есть ли въ его повѣстяхъ хотя одинъ характеръ, хотя одно лице, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всѣми оттѣнками ихъ индивидуальности! *Не преслѣдовалъ-ли васъ этотъ грозный и холодный обликъ Ферригуса, не мерещелся-ли онъ вамъ и во снѣ и на яву, не бродилъ-ли за вами неотступною тѣнью?* О, вы узнали-бы его между тысячами; и между-тѣмъ въ повѣсти *Бальзака* онъ стоитъ въ тѣни, обрисованъ слегка, мимоходомъ, и застановленъ лицами, на коихъ сосредоточивается главный интересъ поэмы. Отчего-же это лице возбуждаетъ въ читателѣ столько участія и такъ глубоко врѣзывается въ его воображенія? Оттого, что *Бальзакъ* не выдумалъ, а создалъ его; оттого, что онъ мерещился ему прежде нежели была написана первая строка повѣсти, что онъ мучилъ художника до тѣхъ поръ, пока онъ не извелъ его изъ міра души своей въ явленіе, для всѣхъ доступное. Вотъ мы видимъ теперъ на сценѣ и Другаго изъ Тринадцати; *Ферригусъ* и *Монриво*, видимо, одного покроя: *люди съ душою глубокою, какъ морское дно, съ силою воли непре-*

одолимою, какъ воля судьбы; и, однакожь, спрашиваю васъ: похожи-ли они хотя сколько-нибудь другъ на друга, есть-ли между ними что-нибудь общее? Сколько женскихъ портретовъ вышло изъ-подъ плодотворной кисти *Бальзака*, и между тѣмъ повторилъ-ли онъ себя хотя въ одномъ изъ нихъ?... Таковы-ли въ семъ отношеніи созданія г. *Марлинскаго*? Его *Аммалатъ-Бекъ*, его *Полковникъ В\*\*\**, его герой «Страшнаго Гаданья», его *Капитанъ Правинъ*, всѣ они родные братцы, которыхъ различить трудно самому ихъ родителю. Только развѣ первый изъ нихъ немного отличается отъ прочихъ своимъ азіатскимъ колоритомъ. Гдѣ же творчество? При томъ, сколько натяжекъ! Можно сказать, что *натяжка* у г. *Марлинскаго* такой конекъ, съ котораго онъ рѣдко слѣзаетъ. Ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ его повѣстей не скажетъ ни слова просто, но вѣчно съ ужимкой, вѣчно съ эпиграммою или съ каламбуромъ или съ подобіемъ; словомъ, у г. *Марлинскаго* каждая копѣйка ребромъ, каждое слово завиткомъ. Надо сказать правду: природа съ избыткомъ наградила его этимъ остроуміемъ, веселымъ и добродушнымъ, которое колеть, но не язвитъ, щекочетъ, но не кусаетъ; но и здѣсь онъ часто пересаливаетъ. У него есть цѣлыя огромныя повѣсти, какъ, напр., *Наѣзды*, которыя суть не иное что, какъ огромныя натяжки. У него есть талантъ, но талантъ не огромный, талантъ обезсиленный вѣчнымъ принужденіемъ, избившійся и разтрясшійся о пни и колоды высканнаго остроумія. Мнѣ кажется, что романъ не его дѣло; ибо у него нѣтъ никакого знанія человѣческаго сердца, никакого драматическаго такта. Для чего, напримѣръ, заставилъ онъ князя, для котораго всѣ радости земли и неба заключались въ устрицахъ, для котораго вкусный столъ всегда былъ дороже жены и ея чести, для чего заставилъ онъ его проговорить патетической монологъ осквернителю его брачнаго ложа, монологъ, который сдѣлалъ-бы честь и самому *Правину*? Это просто натяжка, закулисная подставочка; автору хотѣлось быть нравственнымъ на манеръ г. *Бумарина*. Вообще онъ не мастеръ скрывать закулисныя машины, на коихъ вертится зданіе его повѣстей; онъ у него всегда на виду. Впрочемъ, въ его повѣстяхъ встрѣчаются иногда мѣста истинно прекрасныя, очерки истинно мастерскіе: таково, напримѣръ, *описание русскаго простонароднаго Мефистофеля* и вообще всѣ сцены деревенскаго быта въ «Страшномъ Гаданьѣ»; таковы многія картины, снятыя съ природы, исключая, впрочемъ, Кавказскихъ очерковъ, которые натянуты до пес plus ultra. По мнѣ, лучшія его повѣсти суть «Испытаніе» и «Лейтенантъ Бѣлорозъ»; въ нихъ можно отъ души полюбоваться его талантомъ, ибо онъ въ нихъ въ своей тарелкѣ. Онъ смѣется надъ своимъ стихотворствомъ; но мнѣ переводъ его *Пьесы Горцевъ* въ «Аммалатъ-

Бекѣ» кажется лучше всей повѣсти: въ нихъ такъ много чувства, такъ много оригинальности, что и *Пушкинъ* не постыдился-бы назвать ихъ своими. Равнымъ образомъ и въ его *Андрѣ Переяславскомъ*, особенно во второй главѣ, встрѣчаются мѣста истинно поэтическія, хотя цѣлое произведеніе слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Всего страннѣе въ г. *Марлинскомъ*, что онъ съ удивительною скромностію недавно сознался въ такомъ грѣхѣ, въ которомъ онъ не виноватъ ни душою, ни тѣломъ, — въ томъ, что будто онъ своими повѣстями отворилъ двери для народности въ русскую литературу: вотъ что, такъ ужъ неправда! Эти повѣсти принадлежатъ къ числу самыхъ неудачныхъ его попытокъ; въ нихъ онъ народенъ не больше *Карамзина*, ибо его *Русь* жестоко отзывается его завѣтною, его любимую *Ливонію*. Время и мѣсто не позволяютъ мнѣ подтвердить выписками изъ сочиненій г. *Марлинскаго* мое мнѣніе о его талантѣ: впрочемъ, это очень легко сдѣлать. О слогѣ его не говорю. Нынѣ слово *слогъ* начало терять прежнее свое обширное значеніе, ибо его перестаютъ уже отдѣлять отъ мысли.»

Къ этой оцѣнкѣ — почти нечего прибавить и въ наше время, какъ въ чисто-художественной; слѣдуетъ только посматривать ее тамъ, гдѣ наше сознаніе выросло до болѣе яснаго разумѣнія. Естественно, что мы теперь не можемъ видѣть Русскаго Мефистофеля въ фантастическомъ лицѣ повѣсти: «Страшное Гаданье». Но *Бѣлинскій* правъ и тутъ, если на это лице взглянуть, какъ на допотопный намекъ... Естественно также, что и повѣсти «Лейтенантъ *Бѣлорозъ*» и «Испытаніе» — потеряли для насъ всякое поэтическое значеніе, точно такъ же, какъ повѣсти *Карамзина*... Но общій тонъ оцѣнки до-сихъ-поръ и вѣренъ и дорогъ, не смотря на то, что *Бѣлинскій* является здѣсь фанатическимъ поклонникомъ лицъ, подобныхъ *Феррагусу* и *Монриво* — и что самъ онъ потомъ съ такою-же наивною яростію преслѣдовалъ поклоненіе этимъ призракамъ, перенося озлобленіе неопита *Гегелиста* на всю французскую литературу...

Вотъ тотъ-то фактъ, этотъ быстрый переворотъ, совершившійся въ *Бѣлинскомъ*, въ представителѣ критическаго сознанія цѣлой эпохи, и важенъ въ высочайшей степени. Мнѣ замѣтятъ, что *Пушкинъ* никогда, не увлекался юной французской словесностію, а умѣлъ между тѣмъ оцѣнить въ ней перлъ дарованія *А. де Мюссе*, — но *Пушкинъ* пережилъ тревожное вѣяніе такой поэзіи, которой французскій романтизмъ былъ только извращеніемъ — поэзіи *Байрона* — и юная французская словесность застала его уже въ зрѣлую эпоху развитія. Мнѣ замѣтятъ, что *И. В. Киреевскій*, авторъ перваго философскаго взгляда на нашу литературу, остался чуждъ этому вѣянію, равно какъ и его вѣрующіе, — но

Киреевскій и его кружокъ были чистые теоретики, таковыми остались и такими окончательно являются. На натуры живыя, подобныя натурамъ Надеждина и Вѣлинскаго, это вѣяніе должно было сильно подѣйствовать; на натуры богато-одаренныя художественными силами, но недостаточно зрѣлыя, какъ натура Полежаева, или недостаточно гармоническія, какъ натура Лажечникова, это вѣяніе опять-таки должно было дѣйствовать сильно. Кто изъ насъ — дѣтей той эпохи, ушелъ изъ подъ этого вѣянія?

Тѣмъ болѣе, что вѣяніе-то было сильное. Вѣдь Notre-Dame Виктор Гюго расшевелила даже старика Гёте—и понятно почему: на что онъ слегка намекнулъ въ своей Миньонѣ, то гениальный уродъ,—пусть и болѣзненно, и чудовищно,—но развилъ до крайнихъ предѣловъ въ своей Эсмеральдѣ! Вѣдь и теперь еще, надобно большія, напряженныя усилія дѣлать надъ собою, чтобы начавши читать Notre-Dame, не забрести, искренне не забрести вмѣстѣ съ голоднымъ поэтомъ Шеромъ Гренгуаромъ за цыганочкой и ея козочкой въ Cour des miracles, не увлечься потомъ до страстнаго сочувствія судьбою бѣдной мушки, надъ которою вѣетъ сѣтъ злой паукъ, судьба, не прогнать этого злого паука съ другой его жертвою Клавдіемъ Фролло, удержаться отъ головокруженія, читая описаніе его паденія съ башни Notre Dame и проч. и проч. Все это дико, чудовищно,—но увы! гениально, и понятенъ лирическій восторгъ, съ которымъ одинъ изъ нашихъ тогдашнихъ путешественниковъ, нынѣ едва-ли помнящій или постаравшійся забыть эти впечатлѣнія — описывалъ въ Телескопѣ свое восхожденіе на башни Notre Dame и свое свиданіе съ В. Гюго. Да и не Гюго одинъ; въ молодыхъ повѣстяхъ и молодыхъ безнравственныхъ драмахъ А. Дюма, развѣнявшагося впоследствии на Монте-Кристо и Мушкатеровъ, бьется такъ лихорадочно пульсъ, клобочетъ такая лавя страсти, хоть-бы въ маленькомъ разказѣ «Маскерадъ» или въ драмѣ «Антони» (а надобно припомнить еще, что въ Антони мы видѣли Мочалова—да и какого Мочалова!)—что потребна и теперь особенная крѣпость нервовъ, для того, чтобы эти вѣянія извѣстнымъ образомъ на насъ не подѣйствовали. Скажу болѣе — они, эти вѣянія, должны были быть пережиты—всѣ, отъ романовъ Гюго до «Мертваго осла и обезглавленной женщины» Ж. Жанена... Эти вѣянія отразились, и притомъ отразились двойственно, созидательно съ одной стороны и разрушительно съ другой, на дѣятельности полнѣйшей и даровитѣйшей художнической натуры тридцатыхъ годовъ—*Лажечникова*.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что перейти бездну, лежащую между написанными въ карамзинскомъ духѣ «Воспоминаніями офицера» и по-

слѣдующими романами, помогла Лажечникову юная французская словесности. Натура богатая бессознательнымъ чутьемъ, женственно-страстною впечатлительностью, но положительно лишенная самообладанія, Лажечниковъ, подъ вліаніемъ вѣянія возвысившійся до «Ледянаго дома» и «Бусурмана», переживши вѣяніе, отдавши ему дань — упалъ до «Вѣленькихъ и Черненькихъ», до драмы «Еврейка» и проч.

Поразительнѣйшее явленіе—этотъ огромный талантъ безъ всякаго мѣрила, талантъ, въ которомъ романтизмъ получилъ русскій характеръ; талантъ, могущественный до созданія истинно-народныхъ типовъ и безтактно сопоставляющій съ этими типами фигуры съмазбродныхъ художниковъ à la Кукольникъ, сладкихъ мечтателей à la Полевой — полнѣйшее оправданіе мысли о допотопныхъ организаціяхъ въ мірѣ искусства. Допотопное значеніе его особенно будетъ ясно, когда я буду говорить о народности и отношеніи къ ней критическаго сознанья. Здѣсь я беру его чисто какъ романтика, и притомъ русскаго романтика. Полнѣйшее выраженіе русскаго романтизма,—это «Ледяной домъ». Все, что въ русскомъ человѣкѣ есть непосредственно-романтическаго, возведено до поэзіи въ лицѣ Волынскаго — и не знаю, какъ читателямъ, а мнѣ было удивительно смѣшно читать, какъ г. Афанасьевъ въ «Атенѣ» *тщился* недавно доказывать, что въ изображеніи Волынскаго Лажечниковъ погрѣшилъ противъ исторической истины. Да кому какое дѣло до настоящаго историческаго въ поэтическомъ созданіи? Вотъ, напримѣръ, не очень давно, одинъ англійскій историкъ доказалъ фактами, что Ричардъ III вовсе не былъ злодѣемъ и извергомъ. Что-же? Шекспировскій образъ, созданный по тому представленію, которое уцѣлѣло въ памяти народа — потерялъ что-ли отъ этого свою правду?...

Волынскій Лажечникова — поэтическій образъ русскаго человѣка въ трагическомъ положеніи, общественномъ и нравственномъ, а не обслѣдованіе уголовно-политическаго процесса. Всѣ его типическія стороны взяты вѣрно, взяты вездѣ въ мѣру, образъ цѣленъ и законченъ, — что, какъ говорится, и *требовалось доказать*.

А между тѣмъ, какъ ни оригинально созданъ типъ Волынскаго, дѣлкій романъ навѣянъ романтическимъ вѣяніемъ, и именно вѣяніемъ романтизма юной французской словесности.

## XII.

Одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей русскаго романтизма если не самый яркій, былъ безъ-сомнѣнія Полежаевъ — и на его поэти-

ческой физиономіи невольно должно остановиться, коснувшись этой эпохи романтизма. Статья Бѣлинскаго, приложенная къ теперешнему изданію его стихотвореній, относится уже къ сороковымъ годамъ, къ третьему періоду развитія Бѣлинскаго, и у самого же Бѣлинскаго, въ Наблюдателѣ 1839 года, найдется замѣтка о Полежаевѣ, написанная въ нѣсколько иномъ тонѣ, чѣмъ эта статья. Въ этой библиографической замѣткѣ, отличающейся необыкновеннымъ лиризмомъ, исполненной перваго упоенія, которое давали примирительныя формы философіи Гегеля,—проповѣдывалось, что поэтъ не есть воркующая горлица и т. д.— Это мѣсто такъ извѣстно, что я не считаю нужнымъ прибѣгать къ выпискѣ. Идеаломъ поэта, поэтомъ по преимуществу, являлся для критика олимпійски-спокойный Гёте—и между тѣмъ въ замѣткѣ Бѣлинскій прямо говоритъ то, чего недоговариваетъ въ послѣдующей статьѣ — что Полежаевъ «былъ рожденъ великимъ поэтомъ». Важна здѣсь не самая эта мысль, которая, какъ всякая мысль, имѣетъ свою правильную и неправильную сторону, — важна степень сочувствія критика къ поэту.

Сочувствіе перенеслось потомъ на другое явленіе, въ которомъ полнѣе и могущественнѣе выразились стихійно-тревожныя начала, волнованія души Полежаева,— на Лермонтова, т. е. нашло себѣ новую пищу, а не изсякло, не вымерло. Въ этомъ, если хотите, и заключается порѣшеніе вопроса о романтизмѣ и отношеніяхъ къ нему Бѣлинскаго, какъ въ эпилогѣ Тургеневскаго Рудина заключается отчасти порѣшеніе вопроса о другомъ родѣ романтизма и отношеніяхъ къ нему критическаго сознанія въ нашу эпоху.

Въ-самомъ-дѣлѣ, взгляните пристальнѣе въ ту поэтическую физиономію, которая встаетъ изъ за отрывочныхъ, часто небрежныхъ, но мрачныхъ и пламенныхъ пѣсенъ Полежаева, — вы признаете то лице, которое устами Лермонтовскаго Арбенина говоритъ:

На жизни я своей узналъ печать проклятья,  
И холодно закрылъ объятія  
Для чувствъ и счастья земли...

Только Лермонтовъ уже прямо и безтрепетно начинаетъ съ того, чѣмъ безнадежно и отчаянно кончилъ Полежаевъ,—съ положительной невозможности процесса нравственнаго возрожденія. О чемъ Полежаевъ еще стонаетъ, если не плачетъ,—о томъ Лермонтовъ говоритъ уже съ холодной и иронической тоской. Полежаевъ, рисуя мракъ и адъ собственнаго душевнаго міра, говоритъ:



Есть духи зла — неистовы чада  
 Благословеннаго Творца,  
 Удѣлъ ихъ — грусть, отчаянье — отрада,  
 А жизнь — мученье безъ конца.

и, описывая судъ, совершившійся надъ падшими духами, кончаетъ такъ:

Съ тѣхъ поръ, враги прекраснаго созданія  
 Таятся горестно во мглѣ —  
 И мучить ихъ и жечь безъ состраданія  
 Печать проклятыя на челѣ.  
 Напрасно ждуть преступныя свободы,  
 Они противны небесамъ —  
 Не долетитъ въ объятія природы  
 Ихъ недостойный еиміамъ.

Дрмонтовъ — безъ страха и угрызений, съ ледяной ироніей, становится на сторону тревожнаго, отрицательнаго начала въ своемъ «Демонѣ» и въ своей «Сказкѣ для дѣтей»; онъ съ ядовитымъ наслажденіемъ идетъ объ-руку съ мрачнымъ призракомъ, имъ-же вызваннымъ: видитъ вмѣстѣ съ нимъ

..... съ невольною отрадой,  
 Преступный сонъ подъ сѣнію палатъ,  
 Корыстный трудъ предъ тощею лампадой  
 И страшныхъ тайнъ вездѣ печальный рядъ...

ловить, какъ этотъ же зловѣщій призракъ,

..... блуждающія звуки  
 Веселый смѣхъ и крикъ послѣдней муки,

подслушиваетъ «въ молитвахъ — упрекъ»,

Въ бреду любви безстыдное желанье,  
 Вездѣ обманъ, безумство, или страданье.

Состояніе духа, конечно, болѣе послѣдовательное, но едвали не болѣе насильственное — нежели дрожь и знобъ страданія и страха, смѣшанные съ неукротимую страстностью и гордостью отчаянія, которые слышны въ Полежаевскихъ звукахъ...

Мрачныя, зловѣщія предчувствія, терзавшія душу Полежаева и вырвавшія изъ души его энергическіе стоны въ родѣ пьесы «Осужденный», въ особенности ея начала,—

Я осужденъ къ позорной казни,  
 Меня законъ приговорилъ;  
 Но я печальный мракъ могилъ  
 На плахѣ встрѣчу безъ боязни,  
 Окончу дни мои какъ жилъ.  
 Къ чему раскаянье и слезы  
 Передъ безчувственной толпой,  
 Когда назначено судьбой  
 Мнѣ слышать вопли и угрозы  
 И гулъ проклятій за собой?  
 Давно душой моей мятежной  
 Какой-то демонъ овладѣлъ,  
 И я зловѣщій мой удѣлъ,  
 Неотразимый, неизбежный,  
 Въ дали туманной усмотрѣлъ...  
 Не розы свѣтлаго Паэоса,  
 Не ласки Гурій въ тишинѣ,  
 Не искры яхонта въ винѣ,  
 Но смерть, сѣкиры и колеса  
 Всегда мнѣ грезились во снѣ.

(Стихотв. Полежаева. Москва 1857 г. стр. 59, 90).

Эти мрачныя, зловѣщія предчувствія — звучація стономъ и трепетомъ ужаса — совершенно понятны будутъ, если читатели припомнятъ выписку, сдѣланную мною въ началѣ сей статьи изъ глубокой по смыслу книги А. де Мюссе, и подумаютъ, какою аналогію съ эпохой, подъ влияніемъ вѣянія которой воспитался Октавій — представляетъ эпоха, подъ влияніемъ которой выросъ Полежаевъ... У Лермонтова также выдадутся въ послѣдствіи эти мрачныя, зловѣщія предчувствія — но самый каинскій трепеть получить что-то и язвительное, и вмѣстѣ могущественное въ стихотвореніи: «Не смѣйся надъ моею пророческой тоскою», или въ другомъ:

Гляжу на будущность съ боязнью,  
 Гляжу на прошлое съ тоской,  
 И, какъ преступникъ передъ казнью,  
 Ищу кругомъ души родной...

У Лермонтова все оледенится, застынетъ въ суровой и жесткой гордости... Онъ съ наслажденіемъ будетъ, вмѣстѣ съ своимъ Арсеніемъ, всматриваться въ смерть и разрушеніе:

Но, приближаясь, видитъ онъ  
 На тонкихъ бѣлыхъ кружевахъ

*Чернѣющій слоями прахъ .*  
 И ткани паутинъ сѣдыхъ  
 Вдругъ занавѣсокъ парчевыхъ ...  
 Тогда въ окно свѣтлицы той  
 Упалъ заката лучъ златой,  
 Играя, на коверъ цвѣтной,  
 Арсеній голову склонилъ ...  
 Но вдругъ затрясся, отскочилъ  
 И вскрикнулъ, будто на змѣю  
 Поставилъ онъ пятау свою ...  
 Увы! теперь онъ былъ-бы радъ,  
 Когдабъ быстрѣй чѣмъ мысль или взглядъ  
 Въ него проникъ смертельный ядъ!  
*Громаду блѣлую костей*  
*И желтый черепъ безъ очей,*  
*Съ улыбкой стичной и нѣмой —*  
 Вотъ что узрѣлъ онъ передъ собой;  
*Густая длинная коса,*  
*Плечъ блѣломраморныхъ краса,*  
*Разсытавшись, къ сухимъ костямъ*  
*Кой-гдѣ прилипла ... и тамъ,*  
 Гдѣ сердце чистое такой  
 Любовью билось огневой,  
*Давно безъ пиши ужъ бродилъ*  
*Кровавый червь, жилище могилъ.*

Уже и по одному такому многознаменательному мѣсту — мы всѣ были въ правѣ видѣть въ поэтѣ то, что онъ самъ въ себѣ провидѣлъ, т. е. «не Байрона, а другого, еще невѣдомаго избранника», и притомъ «съ Русскою душой»; ибо только русская душа способна дойти до такой беспощаднѣйшей послѣдовательности мысли или чувства въ ихъ приложеніи на практикѣ, — и отъ этой трагической, еще мрачной безтрепетности — одинъ только шагъ до простыхъ отношеній графа Толстаго къ идеѣ смерти и до его беспощаднаго анализа этой идеи въ послѣднемъ его рассказѣ («Три Смерти»), — или даже до рассказовъ извѣстнаго рассказчика о смерти старухи, или о плачѣ барыни о покойномъ мужѣ, рассказовъ, въ которыхъ въ самой смерти уловлено и подмѣчено то, что въ ней можетъ быть комическаго. ... А между-тѣмъ — безтрепетность Лермонтова есть еще романтизмъ; выходитъ, какъ уже сказано, изъ состоянія духа болѣе послѣдовательнаго, но за то болѣе насильственнаго, чѣмъ настроеніе Полежаевское въ пѣсняхъ «Черная коса», «Мертвая голова» и проч.

Ледяное ироническое спокойствіе Лермонтова — только кора, которою покрылся романтизмъ, — да и кора эта иногда спадаетъ, какъ на примѣръ въ пѣсняхъ «Къ ребенку», «1-е января», гдѣ поэтъ, измѣняя своей искусственной холодности, плачетъ искренне, уносясь въ своего рода «Dahin», въ романтическій міръ воспоминаній:

И если какъ-нибудь на мигъ удастся мнѣ  
 Забыться памятью, къ недавней старинѣ  
 Лечу я вольной, вольной птицей;  
 И вижу я себя ребенкомъ, и кругомъ  
 Родныя все мѣста: высокій барскій домъ  
 И садъ съ разрушенной теплицей.  
 Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,  
 А за прудомъ село дымится, и встають  
 Вдали туманы надъ полями.  
 Въ аллею темную вхожу я: сквозь кусты  
 Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы  
 Шумятъ подъ робкими шагами.  
 И странная тоска тѣснить ужъ грудь мою,  
 Я думаю объ ней, я плачу и люблю,  
 Люблю мечты моей созданье,  
 Съ глазами полными лазурнаго огня,  
 Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня  
 За роцей первое сіянье!

Подобнаго рода порывы тоскующаго глубоко и искренне чувства—рѣдкіе у Лермонтова, постоянно встрѣчающіеся у Полежаева («Черные глаза», «Зачѣмъ задумчивыхъ очей») — нашли для себя особенный голосъ впоследствии въ поэтѣ «Монологовъ», «Дилижанса» и другихъ, дышавшихъ глубокою и неподдѣльною скорбію, стихотвореній.

### ХІІІ.

Романтизмъ, и притомъ нашъ, русскій, въ наши самобытныя формы выработавшійся и отлившійся романтизмъ, былъ не простымъ литературнымъ, а жизненнымъ явленіемъ, цѣлою эпохой моральнаго развитія, эпохой, имѣвшей свой особенный цвѣтъ, проводившей въ жизни реобое воззрѣніе... Пусть романтическое вѣяніе пришло извнѣ, отъ западной жизни и западныхъ литературъ, — оно нашло въ русской натурѣ почву готовую къ его воспріятію и потому отразилось въ явленіяхъ совершенно оригинальныхъ. Ежели даже туманное и мистическое, какимъ

было оно въ пѣсняхъ Жуковскаго—романтическое вѣяніе дошло въ русской натурѣ до безпощадно, хотя и бессознательно комической послѣдовательности въ повѣсти: «Блаженство безумія», романѣ: «Аббадона»,—до дикихъ рѣчей героевъ г. Кукольника; ежели таинственные призывы: *Dahin, dahin!* приняты совершенно просто, за настоящее дѣло—свѣжею и малоспособною къ раздвоенію мысли и жизни русскою душею—прилагались прямо къ практикѣ и породили длинный рядъ самыхъ комическихъ и наивныхъ нелѣпостей, которыхъ физиологію я уже изложилъ въ ея особенно рѣзкихъ чертахъ: то тѣмъ болѣе перешло въ жизнь и практику романтическое вѣяніе въ тревожно-лихорадочномъ выраженіи своемъ, породило крайности дикія, но уже не смѣшныя, а печальныя,—явленія уродливыя, но уже не комическія, а трагическія. Великая и цѣльная натура Пушкина, рѣшительно не поддававшаяся туманному вѣянію, какъ слишкомъ ясная и живая,—подвергаясь вліянію стихійно-тревожнаго, боролась съ нимъ, увѣковѣчивая борьбу высокими созданіями, пытаясь уходить отъ стихійно-тревожнаго въ разсудочныя и простодушныя воззрѣнія Ивана Петровича Бѣлинскаго,—и опять будила въ себѣ страстные элементы, но будила ихъ—уже овладѣвая ими, возводя ихъ въ мѣру и гармонію. Пушкинъ года за три до своей смерти доходилъ уже дѣйствительно до какого-то олимпійскаго спокойствія и величія въ творчествѣ, являлся властелиномъ и могучимъ заклинателемъ стихій самыхъ разнородныхъ. Рукописи, оставшіяся послѣ него и постепенно печатавшіяся по смерти поэта въ его «Современникѣ», свидѣтельствовали ясно о такомъ полномъ развитіи творчества—и понятно то почти-языческое поклоненіе, которое возбудили эти отрывки или цѣльныя созданія въ душѣ Бѣлинскаго. Появленіе ихъ, этихъ посмертныхъ остатковъ великаго духа, совпадало притомъ у Бѣлинскаго съ новымъ фазисомъ его духовнаго развитія, съ новымъ романтизмомъ,—романтизмомъ Гегелизма, котораго формы, таинственныя, какъ влинообразныя письмена, обѣщали такъ много успокоительнаго, такое разумное примиреніе съ дѣйствительностью.... И вотъ опять, по поводу появленія «Каменнаго Гостя» въ первомъ томѣ «Ста русскихъ литераторовъ» является у Бѣлинскаго одна изъ этихъ неопѣненныхъ страницъ, дышащихъ всею мощію, всѣмъ глубокимъ пониманіемъ прекраснаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ всею искренностью души, беззавѣтно отдавшейя новымъ вѣяніямъ, безповоротно откидывающей старыя формы, въ которыхъ она разубѣдилась, разочаровалась.

«Герой этой небольшой драмы», говоритъ критикъ «Наблюдателя зеленого цвѣта»,—«Донъ-Хуанъ, тотъ самый, который является въ либретто знаменитой оперы Моцарта; но у Пушкина общаго съ этимъ либретто

только имена дѣйствующихъ лицъ—Донъ-Хуана, Доны-Анны, Лепорелло, а идея цѣлаго созданія, его расположеніе, ходъ, завязка и развязка, положеніе персонажей— все это у Пушкина свое, оригинальное. Поэма помѣщена не болѣе какъ на *тридцати пяти* страницахъ и, не смотря на то, она есть цѣлое, dokonченное произведеніе творческаго генія *художественная форма, вполнѣ обнявшая безконечную идею, положенную въ ея основаніе*; гигантское созданіе великаго мастера, творческая рука котораго на этихъ бѣдныхъ *тридцати пяти* страничкахъ умѣла исчерпать великую идею, всю до малѣйшаго оттѣнка.... Просимъ не принимать нашихъ словъ за сужденіе: нѣтъ, они не сужденіе, они—звукъ, восклицанія, междометія.... Сужденіе требуетъ спокойствія, *не того пошлаго разсудочнаго спокойствія, источникъ котораго есть мелкость и холодность души, недоступной для сильныхъ и глубокихъ впечатлѣній*—нѣтъ, того спокойствія, которое дается полнымъ удовлетвореніемъ изящнымъ произведеніемъ, полнымъ воспріятіемъ его въ себя, полнымъ погруженіемъ въ таинство его организаціи.... Чтобы оцѣнить вполнѣ великое созданіе искусства, разоблачить передъ читателемъ тайны его красоты, сдѣлать прозрачною для глазъ его форму,—чтобы сквозь нее онъ могъ подсмотрѣть въ немъ великое таинство присутствія вѣчнаго духа жизни, ощутить его благоуханное вѣяніе,—для этого требуется много, слишкомъ много, по крайней-мѣрѣ гораздо больше, нежели сколько можемъ мы сдѣлать.... Торжественно отказываемся отъ подобнаго подвига и признаемъ свое бессиліе для его совершенія.... Но для насъ оставалось-бы еще неизреченное блаженство передать читателю наше личное, *субъективное* впечатлѣніе, пересказать ему, *какъ духъ нашъ—то замиралъ и изнемогалъ подъ тяжестью невыносимаго восторга, то мощно возставалъ и овладевалъ своимъ восторгомъ, когда передъ нимъ разверзалось на минуту царство безконечнаго....* Но мы не можемъ сдѣлать этого.... *Мы увидѣли даль безъ границъ, глубь безъ дна, и съ трепетомъ отступили назадъ....* Да, мы еще только изумлены, приятно испуганы, и потому не въ силахъ даже отдать себѣ отчетъ въ собственныхъ ощущеніяхъ...! Что такъ поразило насъ? Мы не знаемъ этого, но только предчувствуемъ это, и отъ этого предчувствія *дыханіе занимаетъ въ груди нашей, и на глазахъ дрожатъ слезы трепетнаго восторга....* Пушкинъ, Пушкинъ!... И тебя видѣли мы... Неужели тебя? *Великій, неужели безвременная смерть твоя непременно нужна была для того, чтобы разгадали, кто былъ ты?*» (Моск. Наблюд. 1839 г. № 3).

Анализъ натуры Бѣлинскаго есть анализъ нашего критическаго сознанія, по крайней-мѣрѣ въ извѣстную эпоху—какъ анализъ Пушкинской натуры есть анализъ всѣхъ творческихъ силъ нашей народной

личности—по-крайней-мѣрѣ на весьма долгое время,—и читатели должны извинить меня въ моихъ безпрестанныхъ возвращеніяхъ въ Пушкину и Бѣлинскому, къ *силѣ* и къ *сознанію*.

Въ вышеприведенномъ отрывкѣ Бѣлинскій сказанъ точно такъ же весь полно, ярко и искренно, — какъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ»; переѣнились формы, расширились съ одной стороны, и можетъ-быть сѣзались съ другой, точки зрѣнія, другое вѣяніе захватило душу — но душа съ ея стремленіями осталась та же. Это все тотъ-же высочій и пламенно-стремящійся къ правдѣ жизни и искусства духъ — съ страстной отзывчивостью на все великое и прекрасное, съ раздражительной преданностью впечатлѣніямъ, съ неощенной и наивной способностью противорѣчить себѣ, не замѣчая противорѣчій.

Что Бѣлинскій, увлеченный тогда новымъ вѣяніемъ Гегелизма, принявшій въ себя полнѣе всѣхъ обаятельное вліяніе громадной логической системы, обѣщавшей на первый разъ обнять всю жизнь въ ея разумныхъ законахъ, остается тутъ все-таки романтикомъ, — это очевидно. Пусть въ эту минуту онъ смотритъ уже съ яростною враждою на тревожную и судорожную французскую литературу, — пусть онъ отвернулся съ презрѣніемъ неофита отъ кумировъ, которымъ за два, за три года поклонялся съ неистовствомъ жреца, — пусть на романтическое круженіе глядитъ онъ уже съ олимпійской высоты новаго, еще для него таинственнаго, но увлекпаго его ученія, — все-таки онъ здѣсь романтикъ, какъ останется романтикомъ и въ третьемъ періодѣ своего развитія. Преслѣдователь тревожнаго и судорожнаго, жрецъ новой, успокоительной философіи, философіи оразумляющей дѣйствительность, — враждуетъ романтически съ *разсудочностью*.... Хотите-ли выраженія еще болѣе рѣзкаго и наивнаго этой вражды къ разсудочности, этого служенія тревожнымъ и страстнымъ началамъ? Перечтите въ томъ-же «Наблюдателѣ зеленаго цвѣта», въ этомъ изданіи полномъ свѣтлыхъ юношескихъ надеждъ, въ лагерѣ кружка воспитаннаго Станкевичемъ, — въ Наблюдателѣ, который, какъ всѣ юношескія надежды,

Не разцвѣлъ и отцвѣлъ  
Въ утрѣ пасмурныхъ дней,

—пламенную статью о воспитаніи, по поводу какихъ-то дѣтскихъ книжонокъ, статью, повторенную послѣ почти цѣликомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 года.

«Разсудокъ» — говорятъ въ ней между-прочимъ Бѣлинскій, — «когда онъ дѣйствуетъ въ своей сферѣ, есть такъ же искра Божія, какъ и разумъ, и возвышаетъ человѣка надъ всею остальною природою, какъ

ступень сознанія; но когда разсудокъ вступаетъ въ права разума, тогда для человѣка гибнетъ все святое въ жизни, и жизнь перестаетъ быть таинствомъ, но дѣлается борьбою эгоистическихъ личностей, азартною игрою, въ которой торжествуетъ хитрый и безжалостный, и гибнетъ невольный или совѣстливый. Разсудокъ, или то, что французы называютъ *le bon sens*, что они такъ уважаютъ и представителями чего они съ такою гордостью провозглашаютъ себя, разсудокъ уничтожаетъ все, что, выходя изъ сферы конечности, понятно для человѣка только силою благодати Божіей, силою откровенія; въ своемъ мишурномъ величіи, онъ гордо попираетъ ногами все это, потому только, что онъ безсиленъ проникнуть въ таинство безконечнаго; *XVIII вѣкъ былъ именно вѣкомъ торжества разсудка, вѣкомъ, когда все было переведено на ясныя, очевидныя и для всякаго доступныя понятія.*

...И черезъ нѣсколько строкъ: *«Въ опредѣленіяхъ разсудка—смерть и неподвижность; въ опредѣленіяхъ разума жизнь и движеніе. Сознать можно только существующее: такъ неужели конечныя истины очевидности и соображенія опыта существеннѣе, нежели тѣ дивныя и таинственныя потребности, порыванія и движенія нашего духа, которыя мы называемъ чувствомъ, благодатью, откровеніемъ, просвѣтленіемъ?»*

Нужды нѣтъ, что въ это время Бѣлинскій вѣровадь какъ дитя въ разумность всего дѣйствительнаго и былъ близокъ сознаніемъ къ знаменитымъ своимъ статьямъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 года,—гдѣ онъ съ наивною яростью подвизался за эту разумность вѣчной дѣйствительности—онъ все тотъ-же человѣкъ, который поклоняется въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» Феррагусу и Монриво Бальзака, и скоро будетъ поклоняться новому, могущественному вѣянью стихійно-тревожнаго въ Лермонтовѣ,—все тотъ-же романтикъ, который и умретъ романтикомъ!

Между-тѣмъ—въ сознаніи его, то-есть въ нашемъ общемъ критическомъ сознаніи, совершился дѣйствительный, несомнѣнный переворотъ въ эту эпоху. Новыя силы, новыя вѣянія могущественно влекли жизнь впередъ: эти силы были Гегелизмъ съ одной стороны и поэзія дѣйствительности съ другой. Небольшой кружокъ немногимъ тогда, не всѣмъ еще и теперь извѣстнаго, но по вліянію могущественнаго дѣятеля—Станкевича, кружокъ, изъ котораго прямо или косвенно вышли даровитѣйшіе представители мысли и науки конца тридцатыхъ и всѣхъ сороковыхъ годовъ, разливалъ на все молодое поколѣніе—я разумю то, что дѣйствительно стояло названія молодаго поколѣнія—свѣтъ новаго ученія. Это ученіе уже тѣмъ однимъ было замѣчательно и могуче, что манило и дразнило обѣщаніями осмыслить міръ и жизнь, связать об-



щими началами все то, что стихийно разрознено, что искало себя сосредоточения,—и бушевало, кружилось, выхватывало у жизни жертвы за жертвами, вследствие совершенной потери мысленного и душевного центра, совершенно слѣплого подчиненія тревожнымъ вѣяніямъ. Шеллингизмъ хотя имѣлъ у насъ даровитыхъ, глубокомысленныхъ и даже строго-логическихъ представителей въ лицѣ И. В. Киреевскаго, Надеждина и Павлова — но онъ, въ первоначальной формѣ своей, завлекая своимъ таинственнымъ тождествомъ сознающаго я и сознаваемого не-я, приводилъ en definitive къ стихийному раздвоенію, былъ узаконеніемъ, оправданіемъ этого раздвоенія—или, дѣйствуя другими, внѣшне-мистически своими сторонами, увлекалъ благородныхъ, ищущія цѣльности, ищущія успокоенія и центра, души въ какія-то за-облачныя выси, гдѣ ихъ обманывали призрачныя формы примиренія въ прошедшемъ, въ отжитомъ мірѣ... Новое ученіе смѣло ставило всеобъемлющій принципъ, проводило его съ строжайшею, желѣзною логическою послѣдовательностью, дразня въ тоже время душу своими отвлеченными таинственными сторонами....

Генрихъ Гейне сказалъ въ одной изъ своихъ книгъ, что Шеллингизмъ похожъ на іероглифы, которые издали кажутся изображеніями странныхъ, любопытныхъ животныхъ, а въ сущности ничего не значать,—а Гегелизмъ, напротивъ, на клинообразныя письмена, присмотрясь къ уродливости которыхъ видишь простыя буквы—а буквами этими написаны самыя простыя, ясныя и здравыя истины. Это чрезвычайно остроумно — хоть и не совсѣмъ такъ, и по отношенію къ іероглифамъ, и по отношенію къ Шеллингизму. Но это больше чѣмъ остроумно, это—глубоко вѣрно какъ выраженіе отношеній той эпохи къ двумъ ученіямъ!...

Съ другой стороны—явились новыя художественныя силы въ лицѣ Гоголя. Поэзія отвѣтила живыми образами на требованія жизни. Пусть эти образы были только отрицательные: въ ихъ отрицательности сказались новыя силы жизни, силы отвергнуть всѣ формы, оказавшіяся несостоятельными, разбить все фальшиво-героическое въ представленіяхъ души. Таковъ былъ отвѣтъ поэзіи на требованіе успокоенія и примиренія. Это былъ протестъ — какъ протестъ-же скрывался и подъ клинообразными письменами Гегелизма — которыя сулили адептамъ-неофитамъ полное оразумленіе всего дѣйствительнаго!

## II.

# И. С. ТУРГЕНЕВЪ И ЕГО ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВОДУ РОМАНА: «ДВОРЯНСКОЕ ГНѢЗДО»:

(СОВРЕМЕННОИЪ, 1859 Г. № 1.)

(Русское Слово, 1859 г. №№ 4, 5, 6 и 8).

Письма къ Г. Г. А. К. Б.

## СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

### I.

И вы и я читали почти въ одно время новое произведеніе Тургенева—и помнится также, оба въ одно время почувствовали необходимость передать другъ другу впечатлѣнія отъ повѣсти автора, которому равно горячо сочувствуемъ. Оказалось такъ много сходства въ нашихъ впечатлѣніяхъ, что я по всему праву даю моей критической статьѣ форму писемъ къ вамъ. Это, во-первыхъ, избавляетъ отъ необходимости—почему, впрочемъ, считается это необходимою?—излагать содержаніе повѣсти, извѣстное, вѣроятно, всему читающему русскому міру; во-вторыхъ, отъ казенной манеры начинать такъ, или въ подобномъ родѣ,—что талантъ Тургенева давно принадлежитъ къ числу талантовъ, наиболѣе любимыхъ публикою, и проч. и проч....

Когда талантъ какого-либо писателя горячо любить и высоко цѣнить критикъ,—подобный пріемъ ему особенно противенъ.

Тутъ можетъ-быть возникнетъ сейчасъ же вопросъ: имѣетъ ли право критикъ говорить о талантѣ, который онъ горячо любитъ и высоко цѣнить? Не престааетъ ли онъ быть въ отношеніи къ такому таланту критикомъ, т. е. лицомъ судящимъ, взвѣшивающимъ, оцѣнивающимъ, указывающимъ недостатки и промахи? Такой вопросъ, конечно, можетъ возникнуть только въ кружкахъ, ничего не читавшихъ кромѣ критическихъ статей гг. Греча, Кс. Полеваго, Булгарина, Сенковского и иныхъ, причившихъ публику ихъ читавшую, и по нынѣ еще можетъ-быть читаю

щую, къ извиненіямъ въ случаяхъ ихъ *особеннаго* расположенія къ тому или другому изъ авторовъ—да въ кружкѣ за-мосеворѣцкихъ или коломенскихъ барышень, которыя всегда думаютъ, что имъ свазали что-либо «въ критику;» но все же вѣдь онъ, этотъ пошлый вопросъ, можетъ возникнуть... потому-что, при малой развитости понятій въ большей части нашей публики, еще не привыкли умѣть отдѣлять расположеніе къ дарованію отъ расположенія къ личности. Даже Бѣлинскій не успѣлъ приучить къ этому. Большей части читающихъ, и даже пишущихъ, и даже иногда критикующихъ,—непонятенъ тотъ процессъ раздвоенія на чело-вѣка чувствующаго и чело-вѣка судящаго, который совершается въ критикѣ,—т. е. въ лицѣ, взявшемъ на себя трудную роль выражать свое личное сознаніе, примѣряя его къ общему сознанію. *Сознавая* свои особенныя, личныя симпатіи къ талантамъ, онъ такъ-же подвергаетъ самого себя, т. е. эти симпатіи, суду и анализу, какъ подвергаетъ ему общее сознаніе—разлагая какъ свое, такъ и общее, на *разумное* и *неразумное*. Потому-что вѣдь и въ общемъ бываетъ часто извѣстная доля неразумнаго. Общее, конечно, правѣ личнаго—но когда? Только тогда, когда оно перейдетъ изъ настоящаго въ прошедшее: въ минуту настоящаго—общее представляетъ только хаосъ, въ которомъ волнуются и кипятъ и однородныя и разнородныя впечатлѣнія; изъ борьбы ихъ, изъ взаимной амальгамировки возникаетъ уже потомъ нѣчто неизмѣнное, неподвижное—почему великій поэтъ и говоритъ:

Nur im Vergang'nen lebt das Tüchtige \*)—

а другой, менѣе обширный размѣрами творчества, но тоже великій поэтъ разъясняетъ:

Лишь жить въ въ самомъ себѣ умѣй!  
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей  
Таинственно-волшебныхъ думъ;  
*Ихъ заглушитъ наружный шумъ,*  
*Дневные ослѣпятъ лучи.*  
Внимай ихъ пѣню и молчи.

Если критикъ можетъ *раздвоиться*, раздѣлить какъ въ самомъ себѣ, такъ и въ общемъ, случайное, хаотическое, стихійное отъ разумнаго,—онъ не долженъ ни бояться своихъ симпатій, ни насиловать себя самого, скрывая ихъ отъ себя и отъ другихъ: онъ знаетъ ихъ причины и источники, онъ опредѣлилъ имъ настоящее мѣсто въ сознаніи,—стало-быть онъ стоитъ *надъ* ними, а не *подъ* ними.

\*) Только въ прошедшемъ живетъ разумное, правое.

Моя длинная оговорка особенно казалась мнѣ необходимою въ отношеніи къ Тургеневу—это имя, надѣюсь, можетъ печататься безъ приложенія словечка: господинъ, какъ ставшее *общимъ* достояніемъ. Не во мнѣ только лично, но во множествѣ лицъ пишущихъ и читающихъ есть какая-то глубокая и притомъ совершенно особенная симпатія къ его произведеніямъ, совсѣмъ иная по *тону*; чѣмъ, напримѣръ, къ произведеніямъ Островскаго или Толстаго: я говорю по *тону*, а не по *силѣ*, ибо сила сочувствія къ дѣятельности этихъ трехъ, въ настоящую минуту первостепенныхъ, дѣятелей—совершенно равная.

Въ чемъ же заключается особенность *тона* сочувствія къ Тургеневу читателей, т. е. другими словами—въ чемъ заключается особенность таланта Тургенева? Какія струны—позвольте мнѣ выразиться нѣсколько *фигурно*, что, впрочемъ, отъ меня не рѣдкость—какія, говорю я, струны особенно звонки на этой поэтической лирѣ? На что эти струны особенно чутки и отзывчивы—и почему на звуки этихъ струнъ особеннымъ образомъ отзывчивы читатели?

Не дивитесь, что я поднимаю вопросъ о цѣлости всей Тургеневской дѣятельности по поводу одного, послѣдняго его произведенія. Въ этой живой и глубоко-поэтической натурѣ всѣ звенья дѣятельности связаны между собою такъ, что въ послѣднемъ заключаются все тѣ же элементы, какіе заключаются въ первыхъ. Вы скажете мнѣ, что это явленіе есть опять-таки общее въ органической дѣятельности всякаго высокаго дарованія. Такъ, но не въ такой степени: Тургеневъ въ каждое новое произведеніе вноситъ цѣликомъ все свое прожитое и все свое настоящее: блестящія стороны его таланта становятся все ярче-и ярче—но за то и старыя недостатки остаются старыми, уже милыми намъ, недостатками.

## II.

А. В. Дружининъ, въ своей блестящей статьѣ о дѣятельности Тургенева, назвалъ *поэзію* особенность его таланта. Слово, выбранное имъ, будетъ совершенно вѣрно въ противоположеніи Тургеневской дѣятельности тому *чистому* натурализму, который преобладаетъ или по крайней мѣрѣ преобладалъ во все это время въ нашей литературѣ,—и хоть слово «поэзія» есть одно изъ наимеопредѣленнѣйшихъ, но всѣмъ было понятно, что именно хотѣлъ сказать почтенный редакторъ «Библиотеки для чтенія». Тургеневъ дѣйствительно представляетъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое сходство съ Зандомъ, единственнымъ поэтомъ-идеалист-

томъ нашей эпохи, хотя ему недостаетъ могущественной, чародѣйной силы Зандъ. Онъ любитъ, какъ Зандъ же, и только какъ Зандъ, создавать дѣйствительность нѣсколько фантастическую, придумывать для этой дѣйствительности обстановку совершенно исключительную, трогать въ душѣ струны самыя тонкія—и вы вѣрите ему на-слово, хотя не вполне такъ, какъ вѣрите Занду; вы довѣряетесь этой фантастической дѣйствительности во имя вѣрности психическаго анализа,—вы не назовете исключительную обстановку небывалою, ибо видите осязательно ея *поэтическую* правду, ея идеальную *возможность* быть,—вы войдете въ міръ тончайшихъ ощущеній, завлеченные ихъ подробнымъ и художественно-доброевѣстнымъ анализомъ. У Тургенева нѣтъ только той идеальной силы, которая заставляетъ всѣхъ, не сомнѣваясь, вѣрить въ полупризрачный міръ Ниццинино; въ исключительность положеній и типовъ въ Тверяно, и т. д. Есть какая-то неполнота въ его творчествѣ — и вслѣдствіе этого какое-то моральное раздраженіе, вмѣсто вѣры и удовлетворенія, остается послѣ нѣкоторыхъ повѣстей его, какъ, на примѣръ, «Три встрѣчи», столь поэтически задуманной, столь роскошно, благоуханно обставленной подробностями, и столь мало удовлетворяющей возбуждаемую ею жажду,—и даже послѣ многихъ, *поэтическихъ* въ такомъ смыслѣ, мѣстъ въ другихъ его повѣстяхъ, какъ, на примѣръ, сцена свиданія утромъ, въ лѣсу, Веретьева съ героиней повѣсти, «Затишье». Что-то странное видится всегда въ такихъ поэтическихъ стремленіяхъ у Тургенева: видится, что по натурѣ онъ именно эти-то стремленія и жаждетъ высказать, что ко всѣмъ другимъ стремленіямъ онъ гораздо равнодушнѣе, и видится, между-тѣмъ, что жизнь личная и вѣянія жизни общей разбили въ немъ всякую вѣру въ эти стремленія. Зандъ же напротивъ въ эти стремленія твердо и неувлочно вѣруетъ,—и вѣра великаго таланта творить порою истинныя чудеса, въ ея самыхъ эксцентрическихъ созданіяхъ....

И такъ, слово поэзія, въ отношеніи къ произведеніямъ Тургенева, получаетъ значеніе въ противоположеніи чистому натурализму.

Надобно вамъ замѣтить, что подъ чистымъ натурализмомъ разумѣю я не Гоголевское творчество, и съ другой стороны и не то, что звали еще недавно натуральною школою, а простое изображеніе дѣйствительности безъ идеала, безъ возвышенія надъ нею, — которое частію выразилось въ подробностяхъ «Обыкновенной исторіи» Гончарова,—особенно полно и ярко въ крѣпкомъ дарованіи Писемскаго,—особенно рѣзко и грубо въ произведеніяхъ г. Потѣхина. Творчество Гоголя проникнуто сознаніемъ идеала,—такъ-называемая натуральная школа болѣзненнымъ юморомъ протеста. И понятное дѣло, что талантъ

Тургенева, впечатлительный и чуткій на все, отозвавшійся на натуральную шлолу замѣчательнымъ разказомъ «Пѣтушковъ» и плохую драмоу «Холостякъ», — отозвавшійся даже на драматическія пословицы и поговорки изъ жизни такъ-называемаго большаго свѣта, — какъ-то женственно подчинявшійся всякому вѣянью, — не отозвался только на современнѣйшій чистѣйшій натурализмъ. Это уже внѣ его рода, внѣ (но не выше) его таланта.

Въ этомъ-то смыслѣ, А. В. Дружининъ совершенно правъ, называя поэзіей отличительное свойство таланта И. С. Тургенева. Во всякомъ другомъ отношеніи слово поэзія ничего не выражаетъ: почему-же, въ другихъ смыслахъ — поэзія остается только за Тургеневымъ? Развѣ въ Островскомъ, умѣвшемъ облить какимъ-то жаркимъ колоритомъ извѣстную сцену въ «Воспитанницѣ», сцену въ саду, которая у всякаго другого вышла-бы тривіальна и даже больше чѣмъ тривіальна, — нѣтъ поэзіи? Развѣ Толстой въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ» и «Юности» мѣстами не поэтъ: въ главѣ Юродивый, въ прелестномъ эпизодѣ любви къ Соничкѣ, въ изображеніи ночи въ саду («Юность»)?. Развѣ наконецъ даже чистѣйшій натурализмъ въ Гончаровѣ и Писемскомъ (припомните губернский городъ, монастырь въ его «Тысячѣ душахъ») не возвышался порою до поэзіи?

Явно, что слово поэзія взято А. В. Дружининымъ только по отношенію къ общимъ художественнымъ стремленіямъ Тургенева, въ противоположеніи стремленіямъ нашего времени къ наидѣйствительнѣйшему, наиболѣе наглядному представленію простѣйшей, ежедневнѣйшей дѣйствительности съ точки зрѣнія заимствованной у самой дѣйствительности.

### III.

Что-же особенно въ собственно Тургеневской поэзіи въ отличіе отъ поэзіи другихъ, равныхъ съ нимъ дѣятелей? — изъ какихъ стихій сложены ея свойства и чѣмъ она увлекаетъ?...

Это вопросъ, который можетъ быть разрѣшенъ только анализомъ, хотя бѣглымъ, всей дѣятельности Тургенева.

Прежде всего, у Тургенева выдается ярко отношеніе его богатой поэтической личности къ природѣ; живое сочувствіе къ природѣ, тонкое пониманіе ея красотъ, пониманіе челоуѣка развитаго, не утратившее однако — что особенно рѣдко и дорого — свѣжести непосредственнаго чувства, — дѣлаютъ его однимъ изъ высокихъ описательныхъ поэтовъ

вездѣ, гдѣ касается дѣло до природы внѣшней; даже въ самыхъ неудачныхъ, самыхъ фальшивыхъ по основной мысли его произведеніяхъ, попадаютъ въ этомъ родѣ цѣлыя страницы—живыя, благоуханныя, истинно поэтическія. Даже близорукая и отсталая критика, отвергая въ немъ все художественное достоинство, признавала однако это достоинство, признавала въ высокой степени—и совѣтовала ему (о милая отсталая критика!) обратиться исключительно къ этому роду творчества. Какъ-будто въ самомъ-дѣлѣ возможна въ наше время описательная поэзія, какъ особый родъ, безъ отношенія къ душѣ человѣческой, къ внутреннему міру человѣка—какъ-будто и въ самомъ Тургеневѣ выдался особенно ярко его поэтическія отношенія къ природѣ безъ особенныхъ, глубокихъ психическихъ причинъ? Разгадка этихъ психическихъ причинъ есть ключъ къ особенности поэзіи, или пожалуй, поэтической личности Тургенева; но прежде чѣмъ заняться ихъ объ изслѣдованіемъ, надобно рѣшить одинъ вопросъ,—вопросъ о самомъ свойствѣ его поэтическихъ отношеній къ природѣ, объ ихъ особенномъ тонѣ и колоритѣ.

Явно, что отношенія Тургеневскія къ природѣ отличаются отъ отношеній, напримѣръ, къ ней—чтобъ взять покрупнѣе—Пушкинскихъ, или—выбирая изъ современности—положимъ Аксаковскихъ съ одной стороны, Майковскихъ или Гончаровскихъ съ другой; я не упоминаю о Писемскомъ, ибо въ немъ, какъ и во всѣхъ нашихъ писателяхъ, родившихся на сѣверовостокѣ, особенно нѣжнаго сочувствія къ природѣ не обнаруживалось, и картинность, выразившаяся у Писемскаго въ удивительномъ изображеніи уѣзднаго города ночью, — вовсе не то, что близость къ природѣ, сочувствіе ей. Нѣкоторое сходство еще есть между манерою Тургенева и манерой Толстаго, хотя у послѣдняго краски гуще и ярче—особенно сходство есть между манерою Тургеневскою, манерою Фета и манерою нашего друга Полонскаго.

Что-же изъ этого слѣдуетъ, спросите вы?

Слѣдуетъ моя, отчасти извѣстная вамъ, мысль о роли типовъ и мѣстностей въ поэзіи, о томъ, что каждая мѣстность имѣетъ свой живой поэтической отголосокъ, каждый типъ—свое постоянное и преемственное выраженіе.—Чѣмъ особенно отличаются отношенія къ природѣ Тургенева, Толстаго, Фета, Полонскаго, и въ главѣ ихъ всѣхъ—отца ихъ въ этомъ отношеніи, Тютчева?.. Въ Аксаковской, напримѣръ, манерѣ, поскольку она выразилась въ «Семейной Хроникѣ» и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ «Записокъ ружейнаго охотника», «Объ уженьѣ рыбы»,—отношеніе къ природѣ совершенно спокойное, полновластно, какъ-то домохозяйно, отчасти даже дышетъ самодовольствомъ: краски манеры просты,

прочны, не особенно ярки, но нисколько не тусклы: это—природа края, богатаго всякими угодыми, всѣмъ, что служитъ на пользу человѣка, природа непочатая, дѣвственная, и потому мощная, странъ юговосточныхъ, нашедшая себѣ простодушный, но какъ она-же прямой отголосокъ... Въ манерѣ-же Тургенева и другихъ, мною поименованныхъ, намъ слышится голосъ сочувствія столь нѣжнаго и тонкаго, что оно становится порою чѣмъ-то болѣзненнымъ, страстію, подчиненіемъ. Кромѣ того, поэзія этой манеры отличается не яркостію, но тонкостію, прозрачностью красокъ. Эта поэзія не ловитъ въ природѣ яркихъ оттѣнковъ, крупныхъ явленій: напротивъ, она какъ-будто съ умысломъ избѣгаетъ ихъ и ловитъ оттѣвны тонкіе, слѣдитъ природу въ тонкихъ, неуловимыхъ ея явленіяхъ, съ привязанностію ребенка къ нянькѣ, съ какимъ-то суевѣрнымъ обожаніемъ. Это—поэзія такъ-называемой великорусской Украйны, страны чернозема, потоваго труда земледѣльца, страны, которой самая пѣсня, потерявши размахистость и заунывную или разгульную широкость великорусской пѣсни,—еще не съ такимъ коротенькимъ мотивомъ, какъ пѣсня малороссійская, но уже стремится къ сей послѣдней—къ пѣснѣ страны, гдѣ человѣкъ почти-совсѣмъ поглощенъ природою. Это—поэзія особенной полосы, мѣстности, ея живой голосъ.

Подтверждать свою мысль выписками изъ Тургенева, Фета или Тютчева я не стану—ибо мнѣ хотѣлось намекнуть только на особенный, мѣстный колоритъ поэзіи природы у Тургенева въ моемъ обглѣомъ очеркѣ его поэтической личности.

#### IV.

Но это—только колоритъ, тонъ. Причина, почему у Тургенева эта сторона его дарованія выступаетъ какъ-будто ярче прочихъ,—обусловлена его душевнымъ развитіемъ.

Натура по преимуществу впечатлительная, до женственнаго подчиненія всѣмъ вѣяніемъ эпохи, Тургеневъ, какъ я уже сказалъ, отозвался на все, кромѣ чистаго натурализма.

Онъ началъ прямо съ крайнихъ крайностей направленія, оставшагося намъ въ наслѣдство послѣ покойнаго Дермнотова. Въ своей «Парашѣ», въ которой одинъ Бѣлинскій своимъ гениальнымъ чутьемъ угадалъ задатки необыкновеннаго, только можетъ-быть не свою дорогу избравшаго, дарованія,—онъ сильно проповѣдывалъ, что

.....гордость — добродѣтель, господа!



Въ своемъ «Помѣщикѣ», онъ такъ-же пылко, такъ-же впечатлитель-но кадилъ горько-сатирическому направленію, — *терзался* насчетъ гнусности *козлинныхъ* (вмѣсто козловыхъ) башмаковъ уѣздныхъ барышень, *благословляя*, подѣ влияніемъ Лермонтова, на *страданіе* молодыхъ дѣвченоекъ, — въ прелестной и задушевной впрочемъ строфѣ. Въ своихъ «Трехъ портретахъ» дошелъ до оригинальнаго, чисто русскаго — но мрачнаго и холоднаго типа... но тутъ-то вѣроятно и совершился въ немъ переворотъ. Его ужаснула холодная до рефлексіи и вмѣстѣ страстная до необузданности натура его героя, Василія Лучинова, и, встрѣченный сочувствіемъ однихъ, указаніями другихъ на все то безнравственное и дѣйствительно гнилое, что было въ Лермонтовскомъ типѣ, — изображенномъ имъ такъ по своему, такъ оригинально. — Тургеневъ остановился передъ типомъ въ недоумѣніи и колебаніи. Въ немъ не было мрачной и злой вѣры въ этотъ типъ Лермонтова — и отъ колебанія произошла въ немъ та моральная болѣзнь, которая выразилась судорожнымъ смѣхомъ надъ собою «Гамлета Шигровскаго уѣзда» и жалобными, искренними воплями «Лишняго человѣка».

Особенно ярко выразилось болѣзненное переходное настроеніе мысленія и внутренняго міра въ «Гамлетѣ Шигровскаго уѣзда»; характеръ героя этого разсказа вовсе не пародія на Гамлета, какъ казалось нѣкоторымъ. Данные натуры того и другого можетъ-быть дѣйствительно одинаковы; дѣло въ томъ, что они оба запутались равно, почти до самоуничтоженія, въ окружающихъ ихъ обстоятельствахъ; только Шекспировскій Гамлетъ вызванъ на трагическую борьбу не по силамъ «событіемъ внѣ всякаго другаго», а Гамлетъ Шигровскаго уѣзда, съ которымъ, напротивъ, случались только обыкновеннѣйшія изъ обыкновенныхъ вещей, такъ и остался только «молодымъ человѣкомъ лѣтъ двадцати, подслѣповатымъ и бѣлокурнымъ, съ ногъ до головы одѣтымъ въ черную одежду, но улыбающимся язвительно.» Требованія Гамлета Шигровскаго уѣзда — не по силамъ ему самому: голова его привыкла проводить всякую мысль съ нещадною послѣдовательностью, а дѣло, которое вообще требуетъ участія воли, совершенно расходится у него съ мыслию, — и стремленіе къ логической послѣдовательности выражается у него, наконецъ, только сожалѣніемъ о томъ, что «нѣтъ блохъ тамъ, гдѣ онъ по всѣмъ вѣроятностямъ должны быть», — и отсутствіе воли породило въ немъ робость передъ всѣмъ, передъ всѣми и передъ каждымъ. Онъ правъ, жалуясь на то, что не имѣетъ оригинальности, т. е. извѣстнаго, опредѣленнаго характера. Онъ по натурѣ — умень, только умень умомъ совершенно бесплоднымъ, не-спеціальнымъ; онъ многое понимаетъ глубоко, но видитъ только *совершившееся*, не имѣя въ себѣ

никакого чутья для *совершающагося*. Разумѣется данныя для сложенія такого характера лежали уже въ самой натурѣ Тургеневскаго героя; хотя развились преимущественно подъ вліяніемъ различныхъ вѣяній— и потому въ высшей степени понятно озлобленіе бѣднаго Гамлета на кружки, выражающееся у него такъ оригинально и такъ энергически. Только въ одномъ ошибается онъ, бѣдный Гамлетъ. Не въ изученіи нѣмецкой философіи и Гёте лежатъ причины его болѣзни. Пусть и говорить онъ: «Я Гегеля изучалъ, милостивый государь, — я Гёте найзустъ знаю» — приподнимаясь изъ-за угла какъ тѣнь въ своемъ ночномъ колпакѣ. Не Гёте и не Гегель виноваты въ томъ, что онъ счелъ долгомъ за границей «читать нѣмецкія книги на мѣстѣ ихъ рожденія» и влюбиться въ дочь профессора; не философія виною того, что *кружочки* только и толковали, что «о вѣчномъ солнцѣ духа и о прочихъ отдаленныхъ предметахъ». Бѣдный Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, *во первыхъ* — всегда былъ больной мечтатель, и *во вторыхъ* — онъ энциклопедистъ, а не специалистъ, человекъ не прикованный ни къ какому серьезному труду, не любящій серьезно никакого опредѣленнаго дѣла: онъ стублень поверхностнымъ энциклопедизмомъ или, лучше сказать, отрывочными знаніями. Онъ былъ настолько добросовѣстенъ, что не могъ «болтать, болгать, безъ умолку болтать, вчера на Арбатѣ, сегодня на Трубѣ, завтра на Сивцевомъ вражкѣ, все о томъ-же», — но съ другой стороны, онъ былъ не довольно крѣпокъ для мышленія уединеннаго, самобытнаго и замкнутаго, которое, рано или поздно, довело-бы его до сочувствія къ дѣйствительности и — слѣдовательно, до пониманія дѣйствительности, по-крайней-мѣрѣ въ извѣстной степени. Въ любви онъ любилъ не предметъ страсти, а только процессъ любви, *любилъ любить*, какъ Стерновъ Йорикъ, и даже какъ самъ Шекспировскій Гамлетъ...

## V.

То, что въ Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда выразилось судорожнымъ смѣхомъ, — то-же самое болѣзненнымъ, жалобными воплями сказалось въ «Дневникѣ лишняго человека».... То и другое произведеніе — горькое сознаніе моральнаго безсилія, душевной несостоятельности. Тѣ вѣянія, которыя разбили впечатлительную и слабую натуру Гамлета Щигровскаго уѣзда, сами по-себѣ не смѣльны, — и самъ-же Тургеневъ опозтизировалъ ихъ потомъ, т. е. представилъ ихъ въ настоящемъ свѣтѣ въ разсказѣ о студентствѣ своего Рудина. Гамлетъ его смѣется не надъ

ними, а надъ ихъ нелѣпымъ приложеніемъ, смѣется надъ самимъ собою, искренне и донкихотски бравшимся за ноши не по силамъ, надъ раздвоеніемъ мысли и жизни, которое совершилось въ немъ и во многихъ другихъ.

Процессъ моральный, обнаруживающійся въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда» и въ «Дневникѣ лишняго человѣка», поразительно сходенъ съ тѣмъ процессомъ, который породилъ у Пушкина его Ивана Петровича Бѣлкина,—какъ по исходнымъ точкамъ, такъ и по самымъ послѣдствіямъ. Выходомъ изъ болѣзненного раздвоеннаго состоянія,—какъ для Ивана Петровича Бѣлкина, запуганнаго мрачной сосредоточенностью Сильвіо и Германа, такъ и для «Гамлета Щигровскаго уѣзда», тоже запуганнаго типомъ Василя Лучинова, да вдобавокъ еще разбитаго философскимъ анализомъ,—могла быть одна только простая дѣйствительность. И вотъ, у Тургенева начинается цѣлый рядъ «разказовъ Охотника» съ одной стороны, и рядъ попытокъ сентиментальнаго натурализма съ другой, изъ которыхъ самая удачная — «Пѣтушковъ», самая неудачная—драмы: «Холостякъ» и «Нахлѣбникъ». Но отношенія его къ дѣйствительности вовсе не такія прямыя и простыя, какъ отношенія Ивана Петровича Бѣлкина; въ дѣйствительности онъ видитъ повсюду только самого себя, свое болѣзненное настроеніе, и колоритъ этого настроенія переноситъ на все, чего-бы онъ ни коснулся,—или идеализируетъ простую дѣйствительность. Первая попытка его въ этомъ родѣ идеализаціи: «Хоръ и Калинычъ» была привѣтствована съ восторгомъ такъ-называемыми Славянофилами, еще съ большимъ восторгомъ—одна изъ послѣднихъ: «Муму». Но Тургеневъ слишкомъ поэтъ для того, чтобы писать по заданнымъ темамъ, и слишкомъ высокій талантъ для того, чтобы подчиниться теоріямъ. Онъ остался вѣренъ себѣ, вѣренъ собственному внутреннему процессу—и эта искренность сообщаетъ неувыдающую прелесть «Запискамъ Охотника», какъ она-же сообщаетъ неувыдающую доселѣ прелесть «сентиментальному путешествію Йорика». Ничего—кромѣ самой поэтической личности Тургенева—тутъ искать не надобно, да и не зачѣмъ. Эта поэтическая личность доросла и въ «Пѣвцахъ», у которыхъ поэтъ слышитъ только одну, *собственную* ноту, и въ «Бѣлкинѣ Лугѣ» въ лицѣ *байроническаго* мальчика, и въ дворовой Офелии... во всемъ и повсюду. Къ одной природѣ состоитъ нашъ поэтъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ, которыя, не по тону, конечно, о которомъ я уже говорилъ, но по значенію въ моральномъ процессѣ, можно сравнять отчасти съ отношеніями къ природѣ Руссо и Сенанкурова Оберманна—но, еще разъ повторяю, не по тону, ибо въ тонѣ своемъ Тургеневъ остается необыкновенно оригинальнымъ.

Въ «Дневникѣ лишняго человѣка» есть мѣсто, котораго — особенно если до него доходишь посредствомъ чтенія всего предшествовавшаго — не возможно читать безъ сильнаго нервнаго потрясенія, если не безъ слезъ, — мѣсто всегда одинаково дѣйствующее — и оно-то есть ключъ къ уразумѣнью Тургеневскихъ отношеній къ природѣ. Это конецъ дневника. Позволю себѣ его выписать и надъ нимъ остановиться.

«Плохо... Я пишу эти строки въ постели. Со вчерашняго вечера погода вдругъ переѣвилась. Сегодня жарко, почти лѣтній день. Все таеетъ, валяется, течетъ. *Въ воздухѣ пахнетъ разрытой землей: тяжелый, сильный, душной запахъ.* Паръ подымается отсюду. Солнце таеъ и бьетъ, такъ и разитъ. Плохо мнѣ. Я чувствую, что таю, какъ снѣгъ. Земля оживаетъ... *мнѣ на ней нѣтъ мѣста.*»

«Я хотѣлъ написать свой дневникъ, и вмѣсто того что я сдѣлалъ? Разказалъ одинъ случай изъ моей жизни. И случай вовсе неинтересный. Несчастливая любовь... кого это можетъ занять? Впрочемъ, *это доказываетъ только одно: своей природы не передѣлаешь.* И въ этомъ я кончилъ цѣлкомъ какъ и во всемъ другомъ. Я разболтался, уснувшія воспоминанія пробудились и увлекли меня; я писалъ не торопясь, подробно, словно мнѣ еще предстояли годы, а теперь вотъ и некогда продолжать... *Смерть, смерть идетъ. Мнѣ уже слышится ея грозное scendo... Пора... пора!*»

«Да и что за бѣда? Не все-ли равно, что бы я ни разказалъ? Въ виду смерти исчезаютъ послѣднія земныя суетности. Я чувствую, что утихаю; *я становлюсь проще, ясный...* Поздно я хватился за умъ! Странное дѣло! я утихаю — точно; и вмѣстѣ съ тѣмъ... *жутко мнѣ. Да, мнѣ жутко. До половины наклоненный надъ безмолвной, зябущей бездною, я содрагаюсь, отворачиваюсь, съ жаднымъ вниманіемъ осматриваю все кругомъ...* Всякій предметъ мнѣ вдвойнѣ дорогъ. Я не наглажусь на мою бѣдную, невеселую комнатку, *прощаюсь съ каждымъ пятнышкомъ на моихъ стѣнахъ!* Насыщайтесь въ послѣдній разъ, глаза мои! Жизнь удаляется: *она ровно и тихо бѣжитъ отъ меня прочь, какъ берегъ отъ взрывовъ мореходца.* Старое толстое лицо моей няни, повязанное темнымъ платкомъ, шипающій самоваръ на столѣ, горшокъ ерани передъ окномъ и ты, мой бѣдный пестъ Трезоръ, перо, которымъ я пишу эти строки, собственная рука моя — *я вижу васъ теперь... вотъ вы, вотъ.* Неужели, можетъ быть, *сегодня я... я никогда больше не увижу васъ?* Тяжело живому существу разставаться съ жизнью. *Что ты ластимься-ко мнѣ, бѣдная собака? Что прислоняешься грудью къ постели, судорожно поджимая свой кучный хвостъ, и несводя съ меня своихъ добрыхъ, грустныхъ глазъ? Или тебѣ жаль меня? или ты уже чувствуешь, что хозяина твоего скоро не станетъ?»*

«Ахъ, еслибъ я могъ таѣ-же пройти мыслью по всѣмъ моимъ воспоминаніямъ, какъ провожу глазами по всѣмъ предметамъ моей комнаты.... Я знаю, что эти воспоминанія невеселы и незначительны... да другихъ у меня нѣтъ».

«О Боже мой! Боже мой! я вотъ умираю; сердце, способное и готовое любить, скоро перестанетъ биться, и неужели-же оно затихнетъ навсегда, не извѣдавъ ни разу счастья, не расширивъ ни разу подъ сладостнымъ бременемъ радости? *Увы! это невозможно, невозможно, я знаю...* Еслибъ по-крайней-мѣрѣ теперь, передъ смертью — *вѣдь смерть все-таки святое дѣло, вѣдь она возвышаетъ всякое существо*—еслибъ какой-нибудь милый, грустный, дружескій голосъ пропѣлъ надо мною прощальную пѣсню о собственномъ моемъ горѣ, я-бы кажется примирился съ нимъ... *но умереть глухо*»....

«Я, кажется, начинаю бредить».

«Прощай, жизнь, прощай, мой садъ, и вы, мои липы.... Когда придетъ лѣто, когда вернутся золотые вечера — *смотрите, не забудьте сверху-до-низу покрыться цвѣтами.... и пусть хорошо будетъ людямъ лежать въ вашей пахучей тѣни, на свѣжей травѣ, подъ лепечущей говоръ вашихъ миствець, слегка возмущенныхъ вѣтромъ*.... Прощайте, прощайте.... прощай все и навсегда!»

«Прощай, Лиза! — Я написалъ эти два слова и чуть-чуть не разсмѣялся. Это послѣднее восклицаніе мнѣ кажется смѣшнымъ. Я какъ-будто сочиняю чувствительную повѣсть или оканчиваю отчаянное письмо.»

«Завтра первое апрѣля. Неужели я умру завтра? А *впрочемъ, оно ко мнѣ идетъ*»....

«Ухъ, какъ-же докторъ истомилъ сегодня!»

1 Апрелья...

«Кончено... жизнь конечна. Я точно умру сегодня. На дворѣ жарко.... почти душно.... или уже грудь моя отказывается дышать?»

«Ахъ, какъ это солнце ярко! Эти могучіе лучи дышатъ вѣчностью!»

«Прощай, Терентьевна.... Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула... можетъ-быть обо мнѣ. А можетъ-быть, и о томъ, что ей самой скоро придется умирать. Я взялъ съ нея слово не «пришибить» Трезора».

«Мнѣ тяжело писать.... Бросаю перо. Пора! смерть уже не приближается съ возрастающимъ громомъ, какъ карета ночью по мостовой—она *здѣсь, она порхаетъ вокругъ меня, какъ легкое дуновение*».

«Я умираю.... Лашній человекъ умираетъ.... живите, живые!»

«И пусть у гробоваго входа

Младая будетъ жизнь играть;

И равнодушная природа  
Красою вѣчною сиять!»

Въ двухъ отношеніяхъ замѣчательно это приведенное мною мѣсто. Во-первыхъ, здѣсь является особенно-ярко преобладающая черта Тургеневскаго таланта: глубокое проникновеніе природою, проникновеніе до какаго-то слиянія съ нею. Тутъ на читателя вѣетъ весной, тутъ пахнетъ разрытой землей—и развѣ только ту главу изъ «Юности» Толстаго, гдѣ выставляютъ раму окна и читателя вдругъ обвѣваетъ свѣжимъ и рѣзкимъ, весеннимъ воздухомъ; можно сравнить съ этимъ мѣстомъ. Но объ этомъ особенномъ тонѣ Тургеневскихъ отношеній къ природѣ еще придется говорить, когда выйдетъ въ свѣтъ такъ-давно ожидаемое всеми второе изданіе «Записокъ охотника». Въ настоящемъ очеркѣ я избралъ задачу чисто-психологическую—и въ отношеніи къ ней-то это мѣсто получаетъ двойную цѣну. Здѣсь слышится самое горькое невѣріе личности въ личность, невѣріе, возникшее явнымъ образомъ вслѣдствіе борьбы, въ которой личность оказалась несостоятельною; съ этимъ невѣріемъ личности въ самое-себя, въ значеніе своего бытія, соединено горькое чувство сомнѣнія, если не разубѣжденія во всякомъ сочувствіи другихъ, — судорожный смѣхъ «Гамлета Щигровскаго уѣзда», взятаго въ трагическую минуту, и, наконецъ, полное самоуничтоженіе передъ вѣчною громаднаго внѣшняго міра. Моментъ взятъ явнымъ образомъ пантеистическій, но пантеистическое здѣсь болѣзненно, какъ въ дневникѣ Оберманна.

Опять замѣчу и здѣсь, что подобный моментъ взятъ не случайно, что онъ столько-же происходитъ отъ моральнаго процесса, сколько, можетъ быть, и отъ чисто-физическихъ условій той полосы, той почвы великорусской Украины, которой высокоіи талантъ автора «Записокъ охотника» является поэтическимъ отголоскомъ.

Вы помните, какимъ до цинизма горькимъ наругательствомъ надъ личностью конченъ «Дневникъ лишняго человѣка». Нѣтъ возможности представить себѣ, чтобы не крайне-болѣзненнымъ, до напряженности болѣзненнымъ, состояніемъ души порождена была эта выходка:

«Примѣчаніе издателя. Подъ этой послѣдней строкой находится «профиль головы съ большимъ хохломъ и усами, съ глазомъ en face «и лучеобразными рѣсницами, а подъ головой кто-то написалъ слѣдующія слова:

«Сью Рукопись Читаль  
«И Содержаніе Онной Нѣ Одобрилъ  
«Пѣтръ Вудотъшинъ  
«ММММ

«Милостивый Государь  
 «Пётръ Зудотъшинъ  
 «Милостивый Государь мой.—

«Но такъ-какъ почеркъ этихъ строкъ нисколько не походитъ на «почеркъ, которымъ написана остальная часть тетради, то издатель и «почитаетъ себя въ правѣ заключить, что вышеупомянутыя строки «прибавлены были впоследствии другимъ лицомъ, тѣмъ-болѣе, что «до свѣдѣнiя его (издателя) дошло, что г-нъ Чулкатуринъ дѣйствитель- «но умеръ въ ночь съ 1-го на 2-е апрѣля 18., въ родовомъ своемъ «помѣстьѣ «Овечьи воды.»

Здѣсь все дорого—и бѣлкинскiй тонъ *издателя*, и видимая аналогiя идеи этого мѣста съ идеею Гамлетовыхъ думъ надъ черепами, и, наконецъ то, что Чулкатуринъ дѣйствительно умеръ 1-го апрѣля, потому- что «это къ нему идетъ!...» Все это дорого какъ глубокая, искренняя исповѣдь болѣзненнаго душевнаго момента — пережитаго многими, можетъ-быть, цѣлымъ поколѣнiемъ.

## VI.

Поэтъ скорбей этого поколѣнiя, выразитель однообразный, но всегда искреннiй и часто глубокой его стонувъ, — отпѣлъ ему высокую поэти- ческую панихиду въ своемъ посланiи къ «Друзьямъ».

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,  
 Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой;  
 Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,  
 Съ любовью, съ поэтической мечтой.  
 И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили,  
 И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили...  
 Но мы вокругъ не встрѣтили участя;  
 И лучшiя надежды и мечты,  
 Какъ листья средъ осенняго ненастья,  
 Попадали и сухи и желты.  
 И грустно мы остались между нами,  
 Сплетая дружно голыми вѣтвями,  
 И на кладбище стали мы похожи:  
 Мы много чувствъ и образовъ и думъ  
 Въ душѣ глубоко погребли... И что-же?  
 Упрекъ-ли небу скажетъ дерзкой умъ?  
 Къ чему упрекъ? *Смиренье* въ душу вложимъ  
 И въ ней затворимся—безъ желчи если можемъ.

Въ этихъ стихахъ слѣдно вовсе не смиреніе, хотъ оно и поставлено въ нихъ заключительнымъ выводомъ, — а только мрачное и грустное сосредоточеніе въ своихъ разбитыхъ надеждахъ, съ сознаниемъ того, что надежды эти были бесплодны, но съ сознаниемъ-же и абсолютной правоты ихъ, этихъ бесплодныхъ надеждъ.

Пусть въ другомъ мѣстѣ, въ одномъ изъ своихъ «монологовъ», поэтъ и прокликаетъ мысль—сокрушительную силу, разбившую всю его душу.

Отъ прежнихъ истинъ я отрекся правды ради,  
 Для свѣтлыхъ сновъ на ключъ я заперъ дверь,  
 Листъ за листомъ я рвалъ завѣтныя тетради,  
 И все, и все изорвано теперь...  
*Я долженъ надъ своимъ бессиліемъ смѣяться*  
*И видѣть вокругъ бессиліе людей...*

Но вѣдь скоро-же въ слѣдъ за этимъ проклятіемъ онъ привѣтствуетъ гимномъ отрицательную силу.

... Я съ призраками смѣло  
 И искренне разстался наконецъ,  
 Я отстоялъ-себя отъ внутренней тревоги,  
 Съ терпѣніемъ пустился въ новый путь,  
 И не собьюсь теперь съ разчитанной дороги,—  
 Свободна мысль и силой дышетъ грудь.  
 Что, Мефистофель мой, завистникъ замоснѣлій?  
 Отнынѣ власть твою разрушилъ я,  
 Болѣзненную власть насмѣшки устарѣлой,  
 Я скорбью многой выкупилъ себя.  
 Теперь товарищъ мнѣ—иной духъ отрицанья,  
 Не тотъ насмѣшникъ черствый и больной,  
 Но тотъ всесильный духъ движенья и созданья,  
 Тотъ вѣчно юный, новый и живой;  
 Въ борьбѣ безстрашенъ онъ, ему губить—отрада,  
 Изъ праха онъ все строить вновь и вновь,  
 И ненависть его къ тому, что рушить надо,  
 Душѣ свята такъ какъ свята любовь!

Подобное примиреніе души въ напряженности высшаго отрицанія есть моментъ исключительный и общимъ быть не можетъ. Тургеневъ, прежде-всего художникъ по натурѣ, и притомъ художникъ въ высочайшей степени впечатлительный, до женственного подчиненія всякому сильному вѣянью, — въ самой артистической натурѣ своей нашель изъ подобнаго закаленного ожесточенія выходъ. Онъ слишкомъ-горячо отзывался на жизнь съ ея многообразными типами,



чтобы не найти против суровой логической мысли голосовъ въ себѣ самомъ за жизнь, за дѣйствительность, за типы; однимъ словомъ,—употребляя терминъ уже разъ употребленный мною,—онъ далъ въ себѣ-самомъ права своему Ивану Петровичу Бѣлкину.

Поворотъ совершенно Пушкинскій, т. е. артистическій, но Пушкинъ не давалъ своему Бѣлкину больше хода, чѣмъ слѣдовало, а Тургеневъ—далъ больше и, думая быть искреннимъ, впалъ въ бесплодную борьбу съ самимъ-собою, съ завѣтнѣйшими идеалами, воспитавшимися въ душѣ, борьбу, которая такъ наивно-явно совершается передъ читателями въ его *Рудинѣ*, и которой слѣды разбѣяны во всѣхъ его повѣстяхъ.

Морально зауганный крайними послѣдствіями логической мысли въ разрѣзѣ ея съ дѣйствительностью, судорожно насмѣявшись въ своемъ «Гамлетѣ» надъ несостоятельностью природы современнаго человѣка въ примѣненіи мысли къ дѣлу, надругавшись какъ ребенокъ надъ личностью въ концѣ «Дневника лишняго человѣка»,—повторяю опять—художникъ хотѣлъ быть искреннимъ въ казни несостоятельной личности передъ судомъ общей жизни, дѣйствительности—и вмѣсто искренности попалъ въ ту-же неисходную колею беспощадно-послѣдовательной логической мысли, только обратившейся въ противоположную сторону.

Тургеневъ, писатель наиболее-добросовѣстный изъ всѣхъ осужденныхъ добиваться отъ самихъ-себя искренности, развѣнчивавшій постепенно самъ для себя и передъ глазами читателей различные искусственно сложившіеся идеалы, занявшіе въ душѣ людей современнаго ему поколѣнія незаконное мѣсто,—Тургеневъ, разоблачившій, ныпримѣръ, одну сторону Лермонтовскаго Печорина въ грубыхъ чертахъ своего «Бреттѣра», другія стороны во множествѣ другихъ своихъ произведеній,—не дешево покупалъ свой анализъ. Слѣды борьбы болѣзненной и часто тщетной съ завѣтными идеалами—видны на всемъ, что намъ ни давалъ онъ,—и это-то въ-особенности дорого всѣмъ намъ въ Тургеневѣ. Онъ былъ и остался тѣмъ, что я не умѣю иначе назвать какъ—*романтикомъ*, но чему, какъ вы знаете, я вовсе не придаю того позорнаго значенія, какое придавалось въ сороковые годы нашей литературы.

## VII.

Когда утомленный горькимъ и тяжелымъ разоблаченіемъ личности, Тургеневъ, въ слѣдъ за современнымъ вѣяніемъ, бросился искать успокоенія въ простомъ, типовомъ и непосредственномъ дѣйствительно-

сти—онъ неожиданно удивилъ всѣхъ изображеніемъ «Хоря и Калиныча»; по этому изображенію слишкомъ наивно обрадовались идеалисты русской жизни. вмѣстѣ съ исполненнымъ идиллической симпатіи изображеніемъ «Хоря и Калиныча» — старый, обаятельный своими тревожными сторонами, типъ поднялся у Тургенева блистательнымъ очеркомъ лица «Василья Лучинова» въ повѣсти «Три портрета».

Что ни говорите о безнравственности Василья Лучинова: — но несомнѣнно, что въ этомъ образѣ есть поэзія, есть обаяніе. Эта поэзія, это обаяніе — въ которыхъ не виноваты ни Тургеневъ, ни мы, ему сочувствовавшіе — въ некоторомъ образомъ сильнѣе и значительнѣе обаянія Лермонтовскаго Печорина, какъ у самого Лермонтова его недоконченный, но вѣчно мучившій его Арбенинъ или Арбенцевъ — поэтичнѣе и обаятельнѣе холоднаго и часто мелочнаго Печорина. Развѣнчать обаятельныя стороны этого типа, столь долго мучившаго Лермонтова и все наше поколѣніе, Тургеневъ пытался нѣсколько разъ — и почти всегда, стремясь къ логической послѣдовательности въ мысли, измѣнялъ ей въ создаваемомъ имъ образѣ... То хотѣлъ онъ развѣнчать въ этомъ типѣ сторону безумной страсти или увлеченій и безграничной любви къ жизни, соединенныхъ съ какою-то отважною безпечною и вѣрою въ минуту — и создавалъ «Веретьева» въ «Затишьѣ», *придумывая и сочиняя* достойное наказаніе его бесплодному существованію — и что же? Бесплодное существованіе точно являлось бесплоднымъ — но созданное поэтому лицо, въ минуты страстныхъ своихъ увлеченій, увлекало невольно, оставалось обаятельнымъ, не теряло своего поэтическаго колорита. Безнравственность «Василья Лучинова» вы, разумѣется, моральнымъ судомъ казнили, но то грозное и злобщее, то страстное до безумія и вмѣстѣ владѣющее собою до рефлексіи, что въ немъ являлось, ни художникъ не развѣнчивалъ, ни вы развѣнчать не могли — и внутри вашей души никакъ не могли согласиться съ критикомъ, назвавшимъ *Василья Лучинова* гнилымъ человѣкомъ. Василій Лучиновъ, пожалуй не только что гнилъ, онъ — гнусенъ; но сила его, эта страстность почти что южная, соединенная съ сѣвернымъ владѣніемъ собою, эта пламенность рефлексіи или рефлексія пламенности, есть *типовая* особенность. Типовую-же особенность вы не сдвинете въ душѣ вашей съ мѣста, — если таковое она въ ней занимаетъ, — однимъ *логическимъ* судомъ надъ нею; докажите, что она не типовая особенность, или лучше сказать, докажите, т. е. *покажите*, что она не въ такомъ видѣ составляетъ типовую особенность, и тогда вы ее уничтожите. До тѣхъ-же поръ, вы тщетно будете бороться съ ея обаятельными, т. е. жизненными сторонами. Типъ Печорина, напримѣръ, развѣнявшись на мелочь, перейдя:

въ Тамарина—этимъ не уничтожается; онъ перемѣнитъ только образъ и явится опять въ новомъ. Таковъ законъ вѣчнаго существованія типовъ — и въ-особенности этого типа. Василью Лучинову Тургенева я придаю особенную важность потому, что въ этомъ лицѣ старый типъ Донъ Жуана, Ловласа и т. д. принялъ впервые наши русскія; оригинальныя формы.

Но Донъ Жуановское или Ловласовское начало не исчерпываетъ еще всего содержанія типа, съ которымъ Тургеневъ вступилъ въ открытую, добросовѣстную, но наивно-слабую борьбу.

Тургеневъ вздумалъ на глазахъ-же читателей — помѣяться съ отраженіемъ типа въ образѣ Рудина. Если уже въ беззаботномъ прожигателѣ жизни, Веретевѣ, или въ развратномъ и холодномъ Васильѣ Лучиновѣ есть стороны неотразимо-увлекающія, обаятельныя, — то тѣмъ болѣе онѣ должны быть въ Рудинѣ, человѣкѣ, исполненномъ если не убѣжденій, то всей предрасположенности къ убѣжденіямъ, — человѣкѣ, по даннымъ натуры котораго можно заключить, что жизнь его должна совсѣмъ не тѣмъ кончиться, чѣмъ кончается она въ эпилогѣ повѣсти, — хотя эпилогъ и выходитъ апотеозой Рудина. Къ повѣсти: «Рудинъ» у меня, какъ вы знаете, есть особенная слабость — и именно вотъ за что. Въ этой повѣсти совершается передъ глазами читателей явленіе совершенно особенное. Художникъ, начавши критическимъ отношеніемъ къ создаваемому имъ лицу, видимо путается въ этомъ критическомъ отношеніи, самъ не знаетъ, что ему дѣлать съ своимъ анатомическимъ пожемъ, и, наконецъ, увлеченный порывомъ искренняго стараго сочувствія, — снова возводитъ въ апотеозу въ эпилогѣ то, къ чему онъ пытался отнестись критически въ рассказѣ. И нельзя даже подумать, чтобы критика была ловкимъ подходомъ къ апотеозу, — такъ быстро и прямо совершается передъ глазами читателя поворотъ, такъ послѣ прочтенія эпилога становится ясно, что все, кромѣ эпилога, да той минуты, когда Рудинъ, стоящій вечеромъ у огня и заключающій свою бесѣду, свою проповѣдь легендою о скандинавскомъ царѣ, напоминаетъ манеры, приемы и цѣлый образъ одного изъ любимѣйшихъ людей нашего поколѣнія, — что, кромѣ этого, говорю я, все остальное сдѣлано, а не рождено, сдѣлано искусственно, хоть и не совсѣмъ искусно, вымучено у души насильственно... Тутъ, однимъ словомъ, обнаруживается въ отношеніяхъ художника къ создаваемому имъ типу, да вмѣстѣ съ-тѣмъ и для многихъ изъ насъ, кто только подобросовѣстнѣе — замѣчательная путаница. Что такое Рудинъ въ повѣсти? — Фразеръ? — Но откуда-же у фразера сила, дѣйствующая на глубокую натуру Наташи и на чистую, юношески-благородную натуру Басистова? — Человѣкъ сла-

бый и безхарактерный, «суцый» по выраженію Пигасова?—Но, отъ чего же Пигасовъ такъ радъ тому, что разъ подмѣтилъ его *куцымъ*, и отчего Лежневъ, знающій его вдоль и поперекъ, *боится* его вліянія на другихъ? Отчего *благородный* малый Волынкій такъ *скорбенъ* головой: при своемъ благородствѣ, и отчего его судьба, по предсказанію положительнаго Лежнева,—быть подъ башмакомъ у Натальи?—Что за несчастіе въ нашей литературѣ добрымъ и благороднымъ малымъ! Или они — тѣни, или ихъ бьютъ... Право такъ.

Я пишу свои критическія замѣтки въ формѣ письма — стало-быть въ формѣ самой свободной, и стало-быть, мнѣ позволительны всякаго рода отступленія, лишь-бы въ концѣ концовъ эти отступленія вели къ дѣлу.

Въ литературѣ у насъ, или, лучше-сказать, на сценѣ (ибо это вещь болѣе сценическая, чѣмъ литературная) есть комедія, пользовавшаяся и пользующаяся доселѣ большимъ успѣхомъ. По поводу этой комедіи, послѣ перваго ея представленія, мнѣ случилось выдержать долгій и серьезный споръ съ однимъ изъ искреннѣйшихъ моихъ друзей на счетъ типа въ ней выведеннаго. Въ комедіи, авторъ, *повидимому*, имѣлъ задачу анализировать и казнить лице одного изъ отверженниковъ и отщепенцевъ общества, Феррагусовъ и Монриво, поколику Феррагусы и Монриво, смягченные и раздраженные, являются въ нашей жизни. Несмотря на видимую казнь, всякому чуется въ комедіи скрытое симпатическое или ужъ, по-крайней-мѣрѣ, далеко не свободное отношеніе казнящаго къ казнимому. И это, по сознанію самого спорившаго со мной пріятеля, происходило не отъ игры-актера: игра казалась намъ довольно-слабою, и мы оба хотѣли-бы видѣть въ этой роли покойнаго Мочалова, и оба были убѣждены, что смѣшной и до дикости странный какъ свѣтскій человѣкъ въ первомъ актѣ—онъ былъ-бы недостигаемо великъ въ двухъ остальныхъ.... Между-тѣмъ и въ бѣдномъ изображеніи, которое мы видѣли, была извѣстная поэзія, и его окружалъ извѣстнаго рода ореоль.

Въ казнимомъ всякимъ моральнымъ судомъ отщепенцѣ общественномъ были обаятельныя стороны, способныя прельстить и увлечь симпатическое или, по-крайней-мѣрѣ, весьма несвободное отношеніе къ нему автора проглядывало всюду: и въ контрастѣ сопоставленія съ нимъ, господиномъ, въ безнравственности его холопа, его ученика въ мошенническихъ дѣлахъ,—и въ рассказахъ о немъ его лакея, рассказахъ, въ которыхъ какъ-будто нечаянно проглядывали блестящія свойства его натуры,—и въ подчиненіи его моральной силѣ всего окружающаго,—и въ томъ, что честный человѣкъ, *благородный малый*, безъ-

успѣшно съ нимъ борющійся, представленъ какимъ-то идиотомъ и поставленъ—разъ, правда, но разъ несмыслимый, разъ неизгладимый—не то что въ комическое, въ безвыходно-срамное положеніе,—и, наконецъ въ заключительныхъ словахъ общественнаго отщепенца, словахъ, которыя почти-что миряты съ нимъ, и въ которыхъ слышится не самоуниженіе, а скорѣе вѣра его въ себя, въ свои обаятельныя стороны.

Пріятель мой возсталъ противъ всѣхъ этихъ предположеній, прибѣгая болѣе къ аргументамъ *ad hominem*, какъ наиболѣе дѣйствительнымъ въ словесномъ спорѣ. Я-же собственно ничего не сдѣлалъ иного, какъ добросовѣстно и смѣло назвалъ по имени то чувство или впечатлѣніе, которое, какъ онъ, такъ и я, испытывали равно, съ тѣмъ различіемъ, что онъ противъ впечатлѣнія принималъ оборонительное положеніе, а я давалъ впечатлѣнію полную въ себѣ волю.

Пріятеля моего гораздо болѣе убѣдили немногія слова одной прямой, правдивой и вовсе не эманципированной женщины, чѣмъ вся наша длинная бесѣда на зеленомъ диванѣ одного московскаго елуба,—и я это совершенно понимаю. Что-же въ-самомъ-дѣлѣ, женская-то душа не человѣческая что-ли въ дѣлѣ вопросовъ о сочувствіяхъ? Вѣдь только Собакевичъ, да и то въ юридическомъ казусѣ, почелъ нужнымъ замѣнить имя «Елисавета Воробей» именемъ: «Елисаветъ Воробей», чтобы придать существу, посвященному это имя, ревизскій характеръ—но, вѣдь, область моральныхъ сочувствій не область юридическихъ вопросовъ.

Насколько мое отступленіе ведетъ къ дѣлу, предоставляю вамъ рѣшить.

Дѣло-же все главнѣйшимъ образомъ въ томъ, что пока извѣстныя стороны какого-либо типа не перенши въ область комическаго, до-тѣхъ-поръ вы тщетно станете бороться въ душѣ вашей съ извѣстнаго рода сочувствіемъ къ нимъ. Комизмъ—есть единственная смерть для типа, или лучше-сказать для извѣстныхъ его сторонъ; но надобно, чтобы комизмъ былъ нисколько не насильственный, ибо, мало-мальски онъ насильственъ—онъ цѣли своей не достигаетъ.... Тамаринъ, напримѣръ, убилъ *внѣшнія* стороны Печорина—но за то рельефно отгѣнилъ его внутреннія. Батмановъ Писемскаго—эта грубая, но все-таки живая, художническая малевка, или его-же болѣе удачный образъ Бахтіарова въ «Тюфякѣ»,—цѣли своей не достигли, можетъ-быть именно потому, что художникъ, то малюя, то рисуя ихъ, предполагалъ себѣ извѣстную цѣль, вступалъ съ ними въ борьбу съ самаго начала; «Меричъ» Островскаго, этотъ замосеворѣцкій франтъ съ претензіями на Чайльдъ-Гарольда, лице блѣдное, но полно очерченное—убиваетъ только самыя мелочныя стороны Печорина. Наконецъ, лица, съ которыми ведетъ на-

ивнѣйшую борьбу Тургеневъ или бьютъ мимо цѣли, какъ «Бреттеръ», или дразнятъ обаятельными сторонами типа, какъ Веретевъ, или, наконецъ, поднимаютъ типъ до патетическаго въ «Рудинѣ».

Я опять возвращаюсь къ «Рудину» — да къ нему и нельзя не возвратиться, говоря о Тургеневѣ и о томъ моральномъ процессѣ, который отъкрывается въ его произведеніяхъ и служитъ отчасти, какъ процессъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей, раскрытіемъ моральнаго процесса цѣлой эпохи.

Этотъ процессъ, представляя въ началѣ поразительное сходство съ процессомъ, породившимъ у Пушкина лице Ивана Петровича Бѣлкина, вмѣстѣ съ тѣмъ и различенъ съ этимъ процессомъ по своимъ послѣдствіямъ.

Въ «Рудинѣ» — почти-что въ апогею возводится опять все то, надъ чѣмъ судорожно смѣется «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», и «кружки», и «солнце духа», и вліяніе философскихъ идей, — всё тѣ вліянія, однимъ словомъ, изъ-подъ власти которыхъ мечтали уйдти художники въ простую дѣйствительность, — признается законность этихъ вліяній, ихъ право гражданства въ душѣ.

Какъ «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» такъ и «Рудинъ» равно объясняются поэтической натурой Тургенева. Слишкомъ артистъ, т. е. человекъ любящій типы и вѣрующій въ типы, для того, чтобы окаменѣть въ суровомъ и напряженно-грустномъ лиризмѣ автора «Монологовъ» — и слишкомъ поэтъ, т. е. отзывчивая и страстная натура, для того, чтобы не чувствовать вѣчно, чутко тѣхъ звуковъ, которыхъ

..... значенье

Темно или ничтожно,

Но имъ безъ волненья

Внимать не возможно —

онъ остался въ какомъ-то странномъ нерѣшительномъ положеніи относительно старыхъ и новыхъ вѣяній, вѣрный только своей собственной натурѣ, которая, какъ натура всякаго истиннаго поэта, равно пугается и суровой жесткости логической мысли, т. е. теоріи, и рабскаго служенія настоящему въ его часто слѣпыхъ требованіяхъ. Въ этомъ и причина сильнаго вліянія Тургенева на его читателей, и причина повторенія у него однихъ и тѣхъ же недостатковъ. Въ произведеніяхъ его говоритъ живымъ голосомъ живая душа — а не логическая мысль и не одна внѣшняя сила таланта. Что душа его переживала, то онъ намъ и давалъ — давалъ такъ, какъ пережитое въ его душѣ возрождалось.

## VIII.

Какъ въ борьбѣ Пушкинской натуры съ блестящими, но для насъ призрачными типами, сложился отрицательный образъ Бѣлкина, этотъ отсадокъ всего простого и здраво-непосредственного, что вопило въ душѣ нашего поэта, какъ ея особенность, противъ идеаловъ, сложившихся въ ней процессомъ внѣшнимъ, искусственнымъ,—такъ и борьба Тургеневская оставила свой отсадокъ во множествѣ чисто-отрицательныхъ образовъ, болѣе или менѣе всѣхъ похожихъ одинъ на другой. Одинъ и тотъ же господинъ является и въ «Дневникѣ лишняго человека» и въ «Бреттерѣ» и отчасти въ «Двухъ пріятеляхъ» и, наконецъ, взятый въ самой обыденной средѣ жизни, въ «Пѣтушкѣ». Отдѣляется нѣсколько отъ этихъ лицъ—тотъ очеркъ лица, который выступаетъ въ «Колосовѣ», да еще въ «Пасынковѣ», въ которомъ Тургеневъ хотѣлъ изобразить романтика,—и въ особенности герой «Переписки».

Первое, поражающее невольно, свойство всѣхъ лицъ упомянутой первой категоріи, это—странное назначеніе быть битыми или по-крайней-мѣрѣ странно-загнанными; второе—подбирать на дорогѣ чужую любовь. Лица эти—или по-крайней-мѣрѣ на нихъ похожія—встрѣчаются не у одного Тургенева; они-же, только представленны болѣзненно, играютъ главную роль въ произведеніяхъ такъ-называемой натуральной школы; они-же, изображенны спокойнѣе и проще, являются въ первыхъ романахъ Писемскаго, въ лицѣ «Тюфяка», «Овцынина» въ Батмановѣ, и проч.; они-же—во множествѣ лицъ комедій Островскаго, только уже съ совершенно особенной, чисто-русскою печатью; къ нимъ же, наконецъ, питаетъ особенное сочувствіе Толстой. И вездѣ и повсюду, за исключеніемъ «Хорькова» и «Бородинна» Островскаго, да «Тюфяка» Писемскаго—они являются образами чисто-отрицательными, т. е. порожденными не самостоятельнымъ творчествомъ, а рефлексіей, отраженіемъ. Вездѣ и повсюду, даже у Толстого—выражаютъ они собою только протестъ за простое, доброе, непосредственное, въ противоположность блестящимъ, но искусственно сложившимся типамъ; вездѣ они представляютъ только голыя требованія, безъ индивидуальныхъ чертъ.

Вопросъ объ этихъ лицахъ, или, лучше сказать, объ этомъ одномъ отрицательномъ типѣ весьма важенъ...

*Личность* дошла до крайнихъ своихъ предѣловъ въ Лермонтовѣ и томъ направленіи, которое произошло отъ него. Въ направленіи этомъ выражался протестъ личности противъ дѣйствительности, протестъ, вслѣдствіе котораго являлось безконечное множество сатирическихъ очер-

повѣсть, повѣстей, кончавшихся неизбежно—прямоли-высказаннымъ, под-разумѣваемымъ ли—прищѣвомъ: «И вотъ что можетъ сдѣлаться изъ че-ловѣка!» Прищѣвъ этотъ былъ Гоголевскій—но прощѣтый на Лермон-товскій ладъ. Въ повѣстяхъ этихъ, по волѣ и прихоти ихъ авторовъ, совершались самыя удивительныя превращенія съ героями, задыхавши-мися въ грязной, бѣдной ощущеніями и тупоумной дѣйствительности—и все, окружавшее героя или героиню, намѣренно, вслѣдствіе заданной напередъ темы, изображалось карикатурно. Нѣтъ сомнѣнія, что была хорошая сторона, была известная заслуга въ этомъ способѣ представ-ленія дѣйствительности; но односторонность способа скоро обнаружи-лась весьма явно.

Съ другой стороны, «Шинель» и нѣкоторыя другія произведенія Го-голя, подали поводъ къ другой, еще болѣе рѣзкой односторонности въ произведеніяхъ такъ-называемой «натуральной» школы, которую гораздо вѣрнѣе можно назвать школою «сентиментальнаго натурализма». Вопль идеалиста Гоголя за идеаль, за «прѣкраснаго человѣка» — перешель здѣсь въ вопль и протестъ за разслабленнаго, за хилаго морально и фи-зически человѣка. Горькій смѣхъ великаго юмориста надъ измѣльчав-шимъ и унижившимся человѣкомъ, смѣхъ, соединенный съ пламеннымъ негодованіемъ на ложь и формализмъ той среды жизни, въ которой мель-чаетъ и унижается человѣкъ, перешли въ болѣзненный протестъ за измѣльчавшаго и униженнаго человѣка, вслѣдствіе чего и самый про-тестъ противъ ложной и чисто-формальной дѣйствительности лишился своего высшаго нравственнаго значенія. Отдѣлите одинъ болѣзненный юморъ раздражительной натуры отъ стремленій къ идеалу въ творче-ствѣ Гоголя — и чудовищныя созданія появятся на свѣтъ вслѣдствіе причудъ этого болѣзненнаго юмора! Взгляните на «Акакія Акакіевича» съ сентиментальной точки зрѣнія, проникнитесь въ отношеніи къ нему не общечеловѣческимъ, правильнымъ сочувствіемъ, а исключительнымъ, болѣзненною симпатіею возведите на степень *права* требованія героя «Записокъ сумашедшаго», — и вотъ вамъ произведенія сентиментальнаго натурализма, котораго вина противъ искусства заключается въ *рабской* натуральности, не отличающей въ дѣйствительности явленій случайныхъ отъ типическихъ и необходимыхъ, не повѣряющей общечеловѣческимъ идеаломъ своего болѣзненнаго юморетического настроенія.

Когда Гоголь говоритъ въ «Мертвыхъ душахъ» о томъ, что опоздил-ся добродѣтельный человѣкъ (т. е. *сильный* человѣкъ), что пора по его выраженію «припрячь плутоватаго человѣка» — онъ, во-первыхъ, развѣн-чиваетъ *ложно-добродѣтельнаго* человѣка, развѣнчиваетъ его ходульную веллчавость и мишурность; *во-вторыхъ*, онъ плачетъ, болѣетъ сердцемъ



о томъ, что «нигдѣ не видитъ онъ мужа»; своимъ энергическимъ словомъ онъ клеймилъ въ другомъ мѣстѣ своихъ сочиненій безсильнаго человѣка («Дрянъ и тряпка сталъ всякъъ человѣкъ»).

Великій обличитель всего, что въ немъ-самомъ было ложнаго и что вокругъ себя видѣлъ, онъ ложнаго, Гоголь обличилъ наконецъ самое обличеніе въ несостоятельности его, разорванности, отсутствіи всякаго живаго средоточія. Обличеніе разрываетъ связь съ нимъ, и разорвавшись съ нимъ, съ живою исходною точкою, хочетъ жить гальванически—и живетъ, и до-сихъ-поръ живетъ этою жизнію. Обличитель въ свою очередь хочетъ стать выше самого себя, хочетъ строить свой міръ изъ обличенныхъ въ негодности матеріаловъ стараго имъ-же разрушеннаго зданія, подкрашиваетъ, сколачиваетъ и падаетъ, разбитый сознаніемъ безжизненности въ созданьи, сожигаемый тоскою объ идеалѣ, которому формъ не находить.

Страшный урочъ, страшное трагическое событіе! Но въ немъ есть смыслъ, и смыслъ великій, утѣшительный.

Гоголь былъ весь человѣкъ *сдѣланный*; какъ великій умъ и великій художественный талантъ, онъ, нося въ себѣ эту язву, яснѣе всѣхъ другихъ, носившихъ ее въ себѣ, сознавалъ это, и преслѣдовалъ ее въ себѣ и въ другихъ нещадно. Простой великій человѣкъ (одинъ изъ простѣйшихъ, какихъ когда-либо посылало небо землѣ), безнаказанно выносившій на себѣ всякія чуждыя краски, которыя съ лѣтами упали «ветхой чешуей», и оставшійся всюду съ своей собственной богатой природой—опредѣлилъ ему самому его значеніе такъ: что никто лучше его неумѣетъ выставить пошлость пошлаго человѣка. Анализъ всего въ душѣ нашей пошлаго и анализъ окружающей жизни сквозь призму анализа внутренней пошлости—вотъ въ самомъ дѣлѣ вся задача Гоголевскаго творчества. У всякаго писателя есть его задушевное слово, и это-то именно слово онъ призванъ сказать міру, ибо оно-то именно міру и нужно, какъ новое слово, и оно-то есть вмѣстѣ дѣло души, о которомъ такъ часто говоритъ Гоголь въ своей перепискѣ и въ своихъ письмахъ. Это слово—въ конечной формѣ есть послѣдняя правда души о ней самой и о ея цѣлостномъ пониманіи божьяго міра, центръ малаго міра въ его, страданіемъ и борьбою купленномъ (такъ или иначе), отождествленіи съ центромъ великаго міра.

Мучась вопросомъ художественнымъ, Гоголь въ то-же самое время мучился и вопросомъ нравственнымъ, окончательно добываясь отъ себя правды въ его разрѣшеніи.... Онъ внутренне огорчался своимъ призваніемъ выставять пошлость пошлаго человѣка, т. е. снимать личину эффектной наружности съ того, что въ сущности обыкновенно и что об-

личное становится пошлымъ. Его огорченіе проглядываетъ почти во всѣхъ его лирическихъ страницахъ; но, оставаясь у него только стремленіемъ къ идеалу и оправданіемъ своего дѣла какъ отрицательнаго пути къ идеальному—оно у тѣхъ, которые были ближайшими его послѣдователями, у сентиментальныхъ натуралистовъ, обратилось въ слѣпой протестъ за безсильнаго человѣка. Гоголь, на примѣръ, сказалъ: «въ наше время сильнѣе чѣмъ любовь завязываетъ драму желаніе достать выгодное мѣсто, желаніе отмстить за оскорбленіе»; — Бѣлинскій при пособіи своей раздражительности извлекъ изъ этого цѣлую діатрибу противъ любви (подъ любовью разумѣть должно всѣ сколько-нибудь не-положительныя чувства). Діатриба вышла краснорѣчивѣйшая, пламенно тревожная, такъ-что по истинѣ можно сказать, что Бѣлинскій писалъ тревожныя статьи противъ тревожныхъ чувствъ въ пользу тревожныхъ чувствъ другаго рода,—а натуралисты писали нѣсколько развитій этой темы. Помню особенно одно ея развитіе—оно принадлежитъ автору, являвшемуся тогда подъ именемъ Перепельскаго, и послѣ прославившемуся стихотвореніями подъ настоящимъ своимъ именемъ. Пбвѣсть похоронена въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ», среди многого хлама этого литературнаго клоака; ее забылъ вѣроятно самъ авторъ; но явленія мелкія часто бросаютъ свѣтъ на явленія крупныя. Повѣсть (забылъ даже ея имя) есть развитіе сѣмени заброшеннаго Гоголемъ. Стремленіе *мелкаго* человѣка отомстить *мелкой* женщинѣ за *мелкое* оскорбленіе такъ завязало въ ней драму, что сама душа автора тутъ запуталась. Съ такою сластью изображено здѣсь мизерное лицемѣріе, что видимо не возвышался писатель надъ уровнемъ анализируемаго имъ чувства—и недостатокъ этой-же, здѣсь уже погубленной, способности возвышаться надъ уровнемъ анализа—отразился потомъ и въ самыхъ его стихотвореніяхъ, которыя, не смотря на очевидное присутствіе пламени разбитаго, но все еще сильнаго и высокаго, таланта — дышатъ порою для всѣхъ, непотерявшихъ свѣжести эстетическаго и нравственнаго чувства, душнымъ и тяжелымъ впечатлѣніемъ. Бѣдный, истинно мучащійся поэтъ не можетъ ни на минуту перестать смотрѣть сквозь аналитическую призму, всюду показывающую ему ворочающихся гадюкъ. Въ самомъ простомъ, обычномъ фактѣ повседневной жизни, способномъ въ благоустроенной душѣ пробудить строй спокойный и мирный, какъ, на примѣръ, свадьба человѣка изъ простаго народа съ женщиной изъ простаго-же народа, онъ способенъ видѣть только грѣхъ въ прошедшемъ и горе впереди. Для трагическаго положенія матери, не имѣющей на что похоронить ребенка, онъ не видитъ и не можетъ видѣть никакого много выхода кромѣ продажи себя уличному разврату—въ странѣ, гдѣ,

слава Богу, еще подаютъ милостыню!—и, еще болѣе слава Богу!—подаютъ ее безъ критическаго разбора нравственныхъ свойствъ просящаго Христа ради и безъ оцѣнки его личности, въ странѣ, гдѣ не рѣдко, идя по улицѣ, видите вы деревянный гробикъ на колѣняхъ у женщины и видите, какъ, снявъ шапку и перекрестившись, кладетъ въ него не одинъ прохожій свой мѣдный грошъ; какъ не одинъ помогаетъ смотря по достатку и по силѣ.—Въ лицѣ сборщика на построение храма, больной поэтъ, умиляясь впрочемъ какъ поэтъ этому образу, но не умѣя вывести его появленіе на свѣтъ божій изъ источниковъ вѣчно бьющихся живыми ключами въ народной натурѣ, видитъ только раскаявагося злодѣя... Замѣчательно, что и Гоголь во второй части Мертвыхъ Душъ взглянулъ на этотъ фактъ какъ на исходъ для своего Хлобуева—страннаго лица, одного изъ немногихъ живыхъ въ этой второй части, захватывающаго существенныя струны нашей безпечной природы, но вышедшаго съ такимъ широкимъ и симпатическимъ захватомъ—совершенно противъ намѣреній автора.... Обращаясь къ поэту, который можетъ быть названъ однимъ изъ двухъ самыхъ яркихъ свѣтилъ школы сентиментальныхъ натуралистовъ, прибавлю, что онъ, весь, такъ сказать, разстравленный своею тяжкою мыслию, самъ сознающій раздвоеніе своего внутренняго міра съ высотъ поэтическаго созерцанія, самъ исполненный трогательныхъ, жалобныхъ, искреннихъ стоновъ о томъ, что

То сердце не научится любить,  
Которое устало ненавидѣть, —

является какою-то грустною жертвою того страшнаго развѣдающаго начала, которое только Гоголь могъ держать, обуздывать, и позволить ему, этому началу, выводящему чудовища изнутри человѣка—измучить, затерзать и пожрать наконецъ только себя одного...

## IX.

Если опасно давать волю въ душѣ такого рода движеніямъ, которыя выходятъ изъ обыкновеннаго душевнаго строя, то едва ли не мѣнѣе опасно узаконивать и обычный строй.

Весь натурализмъ есть ничто иное, какъ узаконеніе такого обычнаго строя, узаконеніе ежедневности.

Гоголь остался правъ потому, что удержался въ отрицательныхъ границахъ натурализма, т. е. въ границахъ разоблаченія фальшиваго

въ душѣ человѣческой и въ окружающей дѣйствительности. Но вслѣдъ за разоблаченіемъ фальшиваго, т. е. вслѣдъ за снятіемъ съ него непринадлежащей оболочки, оболочки истиннаго — требуется душою положительная замѣна. Положительной замѣны онъ не указывалъ, или указывалъ ее въ такомъ общемъ идеалѣ, который ускользалъ отъ всякаго опредѣленія. Онъ говоритъ безпрестанно человѣку: — ты не герой, а только корчишь героя; ты не герой ни въ чемъ; въ любви ты чаще всего — Хлестаковъ, зовущій городничиху «подъ сѣнь струй» (геніальнѣйшая бессмыслица! въ ней какъ въ фокусѣ совмѣщена вся романтическая чепуха, которую несутъ герои и героини Марлинскаго, Кувольника и Полеваго); въ гражданскомъ отношеніи ты — или Антонъ Антоновичъ Своникъ-Дмухановскій, или, что еще несравненно хуже, Александръ Ивановичъ — въ «Утрѣ дѣловаго человѣка» — навязывающій бу-мажки на хвостъ собачкѣ; — ты только самолюбивъ и безпеченъ, а излишнія мечты могутъ повести тебя, если ты нѣсколько горячъ, или до участи художника Пискарева, или до испанскаго трона Поприщина — и за что же ты погибнешь такъ безобразно, когда товарищъ-же твой, поручикъ Пироговъ, такъ благоразумно подавить въ себѣ героическую вспышку за оскорбленіе и будетъ прекраснѣйшимъ образомъ процвѣтать и красоваться на различныхъ чиновническихъ балахъ; — а Кочкаревъ основательно докажетъ, что весьма легко поправить ту бѣду, когда плюнуть въ рожу? Ты — не Гамлетъ, ты — Подъолесинъ: ни въ себѣ, ни въ окружающей тебя жизни, ты не найдешь отзыва на твои представленія о героическомъ, которыя иногда въ тебѣ какъ пѣна поднимаются.

Прекрасно! Но какой-же будетъ логическій выводъ изъ этой послышки? Первый выводъ — вопросъ: что же право: — представленія ли о героическомъ, или противорѣчіе героическому, т. е. натура? Вотъ этотъ-то вопросъ — и далъ силу тому, что называлось натурализмомъ. Натурализмъ порѣшилъ дѣло тѣмъ, что если натура не даетъ силъ на борьбу за героическое, если она обмелѣла, — то нечего съ этимъ и дѣлать: надобно брать вещи такъ, какъ онѣ есть. Значить — нѣтъ борьбы, или борьба есть донкихотство; значить — надобно признать таковое — безсиліе за законъ бытія; значить — то сочувствіе, которое имѣли мы къ великимъ честолюбиямъ, надобно перенести на господина Голядина, — то сочувствіе, которое имѣли мы къ страсти Ромео и Юліи, къ мщенію Гамлета, къ заботамъ разныхъ героевъ о благѣ общественномъ, къ возвышенной энергіи Веррины (въ Фізико), перенести на страсти изъ-за угла героевъ разныхъ чердаковъ, или Пѣтушкова, — на мщеніе героя повѣсти Перепельскаго, — на заботы г. Прохарчина о его носкахъ и ниж-

немъ,—на дикое и вмѣстѣ безсильное бѣснованіе героя повѣсти «Запутанное дѣло»...

Опять повторяю: Гоголь нисколько не виноватъ ни въ чемъ этомъ—ни нити всѣхъ этихъ сочувствій вмѣютъ центромъ, исходною точкою, его сочиненія... Все изчисленное,—это тѣ самыя чудовища, которые преслѣдовали его въ его болѣзненныхъ грезакъ, и которыми не давалъ онъ явиться на свѣтъ Божій, сдерживая ихъ сознаниемъ идеала.

*Героическаго* нѣтъ уже въ душѣ и въ жизни: что кажется героическимъ, то въ сущности—Хлестаковское или Поприщинское!... Но странно, что никто не потрудился спросить себя, *какого* именно героическаго нѣтъ больше въ душѣ и въ натурѣ—и въ какой натурѣ его нѣтъ?... Предпочли нѣкоторые, или стоятъ за *героическое* уже осмѣянное—и замѣчательно, что за героическое стояли господа, болѣе склонные къ практически-юридическимъ толкамъ въ литературѣ—или стоятъ за натуру.

Не обратили вниманія на обстоятельство весьма простое. Со временъ Петра В.—народная натура примѣривала на себя выдѣланныя формы героическаго, выдѣланныя не ею. Кафтаны оказывался то узокъ, то коротокъ: нашлась горсть людей, которые кое-какъ его напялили, и они стали переважно въ немъ расхаживать. Гоголь сказалъ всѣмъ, что они щеголяютъ въ чужомъ кафтанѣ—и этотъ кафтанъ сидитъ на нихъ, какъ на коровѣ сѣдло, да ужъ и затасканъ такъ, что на него смотрѣть скверно. Изъ этого слѣдовало только то, что нуженъ другой кафтанъ по мѣрѣ толщины и роста—а вовсе не то, чтобы вовсе остаться безъ кафтана, или продолжать палить на себя кафтанъ изношенный.

Была еще другая сторона въ вопросѣ. Гоголь высказалъ несостоятельность передъ сложеннымъ въками идеаломъ *героическаго* только того въ нашей дунѣ и въ окружающей дѣйствительности, что на себя идеаль примѣривало. Между-тѣмъ и въ насъ самихъ и вокругъ насъ было еще нѣчто такое, что жило по своимъ собственнымъ, особеннымъ началамъ (и жило гораздо сильнѣе, чѣмъ то, что примѣривалось къ чуждымъ идеаламъ), что оставалось чистымъ и простымъ послѣ всей борьбы съ блестящими, но чуждыми идеалами.

Между-тѣмъ—самыя сочувствія, разъ возбужденныя, умереть не могли: идеалы не потеряли своей обаятельной силы и прелести.

Да и почему же эти сочувствія въ *основахъ* своихъ были незаконны?

Положимъ—или даже не положимъ, а скажемъ утвердительно—что не хорошо сочувствовать Печорину—такому, кажимъ онъ является въ романѣ Лермонтова; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы мы должны были «ротиться и вляться» въ томъ, что мы никогда не сочувство-

вали натурѣ Печорина до той минуты, въ которую является онъ въ романѣ, т. е. стихіямъ природы до извращенія ихъ.... Изъ этого еще менѣе слѣдуетъ, чтобы мы все сочувствіе наше перенесли на Максима Максимыча, и его возвели въ герои.... Максимъ Максимычъ, конечно, очень-хорошій человекъ—и, конечно, правѣе и достойнѣе сочувствія въ своихъ дѣйствіяхъ чѣмъ Печоринъ; но вѣдь онъ тупоуменъ и по простой натурѣ своей даже и не могъ впасть въ тѣ уродливыя крайности, въ которыя попалъ Печоринъ.

Голосъ за простое и доброе поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго—есть конечно прекрасный, возвышенный голосъ, но заслуга его есть только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закосъ, моральное мѣщанство.

## П Р И Б А В Л Е Н І Е

### къ первой статьѣ.

#### Нѣскольکو словъ о законахъ и терминахъ Органической критики.

(Русское Слово, 1859 г. № 5).

Въ статьѣ «о современномъ состояніи критики искусства», напечатанной въ 1-мъ № «Библиотеки для чтенія» за 1858-й годъ, доказавши, по мѣрѣ силъ, несостоятельность критики чисто-эстетической и критики исторической, я высказалъ, какъ требованіе, необходимость критики *органической*. Законовъ ея я не излагалъ, да и не могъ излагать—по той простой причинѣ, что въ означенной статьѣ выполнялъ только отрицательную задачу—и, невиноватый въ логическихъ послѣдствіяхъ ея развитія, выставилъ требованіе, какъ простое требованіе, не обязываясь сообщить непременно этому требованію плоть и кровь, опредѣленные и законченныя формы. Въ извѣстныя эпохи—къ которымъ въ особенности принадлежитъ наша—выполненіе отрицательныхъ задачъ чрезвычайно-легко, выполненіе положительныхъ очень трудно.. Всякое требованіе, всякая, говоря философскимъ языкомъ, потенція или возможность, возникающая по завершеніи чисто-отрицательной работы, какъ логическій, неотразимый выводъ,—сначала является только въ видѣ смутнаго очерка, который наполнить содержаніемъ представляется времени. Изъ того, что умерла для насъ критика чисто-эстети-

ческая, т. е. взглядъ на искусство какъ на нѣчто отъ жизни отрѣшенное, какъ на особую, рѣзко-отграниченную область, — равно какъ изъ того, что несостоятельною оказалась и критика односторонне-историческая, т. е. взглядъ на искусство, какъ на нѣчто жизни подчиненное, дагеротипно-безмысленно отражающее жизнь во всемъ ея случайномъ и неслучайномъ, — логически вытекало требованіе иного рода критики. Логически-же обозначалось и общее значеніе этой критики: взглядъ на искусство какъ на *синтетическое*, цѣльное, непосредственное, пожалуй, интуитивное разумѣніе жизни, въ отличіе отъ *знанія*, т. е. разумѣнія аналитическаго, почастнаго, собирательнаго, повѣряемаго данными. Логически-же вытекало изъ этого и значеніе самаго искусства, какъ фокуса или сосредоточеннаго отраженія жизни въ томъ вѣчномъ, разумномъ и прекрасномъ, чтò таится подъ ея случайными явленіями. Не желая повторяться, и убѣжденный, что только тѣ читатели возьмутся за мои теперешнія замѣтки и дочтутъ ихъ до конца, которые читали или захотятъ прочесть статью «Библиотеки для чтенія» — я останавливаюсь только на ея логическихъ выводахъ. Съ ними-же, съ этими логическими выводами — если судить о молчаніи, какъ о безмолвномъ согласіи — всѣ или, по-крайней-мѣрѣ, многіе согласились.

Не всякій, кто можетъ выполнить отрицательную задачу, т. е. кто можетъ указать на несостоятельность извѣстныхъ данныхъ въ извѣстную минуту и подвести логическіе итоги, т. е. выставить требованіе — способенъ *опредѣлить* это требованіе. Требованіе — есть истина, такъ сказать, зарождающаяся, истина смутно, хотя можетъ-быть и сильно, сознаваемая, однимъ-словомъ — вѣра, а не полное, опредѣленное знаніе.

Вопросъ въ томъ только, имѣетъ-ли это требованіе свои права гражданства въ мірѣ мысли? Естественно имѣетъ — на столько, на сколько имѣетъ ихъ всякій органической зародышъ, — не больше, но и не меньше. Прежде всего — оно имѣетъ право заявлять свое бытіе по степени того, какъ ерѣвнуть у него самого органы выраженія.

Это и требовалось доказать....

Не я открылъ бытіе органической критики на степени требованія. Бытіе, какъ требованіе, носится всегда въ воздухѣ. Совершающій всякую отрицательную работу только открываетъ форточку этому воздуху, — стало-быть и заподозривать его въ претензіяхъ на открытіе — нечего. Открываютъ извѣстный міръ, показываютъ его только Колумбы; — но еъ логическимъ выводамъ о его непремѣнномъ существованіи приводятся до Колумбовъ и такія личности, которыя далеко не Колумбы. Выводы ихъ — только гадательные, но они приводятъ Колумбовъ къ положительнымъ исканіямъ.

Предлагаемая читателямъ замѣтка вызвана — да не удивляются этому — небольшою замѣткою «Свистка» *Современника* — «о допотопномъ существованіи Лажечникова». Читая замѣтку, весьма-остроумную и забавную, я первый отъ души хохоталъ надъ бытіемъ Лажечникова *до потопа*, хохоталъ на свой собственный счетъ, конечно — но ужъ такова русская натура, что мы не въ силахъ отнестись не-комически къ тому, что комично само-по-себѣ, въ чемъ-бы и въ комъ-бы комическое ни встрѣтилось... Но комическое комическимъ — и за неудачное выраженіе допотопный талантъ, такъ ловко обращенное «Свисткомъ» въ бытіе Лажечникова *до потопа*, стоять нечего — а дѣло дѣломъ, и дѣло требуетъ разъясненія. Если-бъ замѣтка была сдѣлана въ «Пчелѣ», или подобномъ журналѣ — она не вызвала-бы такихъ объясненій; но на замѣтку *Современника*, хотя-бы даже и «Свистка Современника», отвѣчать должно, по причинамъ, конечно, всѣмъ понятнымъ.

Отвѣтомъ моимъ будутъ бѣглыя, неполныя, но совершенно-искреннія замѣтки о законахъ и терминахъ органической критики. — Начну, пожалуй, съ неудачнаго термина «допотопные таланты»; потомъ позволю себѣ предупредить будущія замѣтки «Свистка» на счетъ *растительной поэзіи*; скажу нѣсколько словъ о значеніи *впяній*, — выраженія, которое часто, даже слишкомъ-часто попадаетъ въ моихъ послѣднихъ статьяхъ, и заключу — небольшимъ поясненіемъ мысли объ отношеніи талантовъ къ мѣстностямъ, которая промелькнула въ первой моей статьѣ о дѣятельности И. С. Тургенева.

Никто конечно — и тѣмъ менѣе «Свистокъ Современника» — не принялъ употребленнаго мною термина «допотопный талантъ» или «талантъ допотопнаго образованія» въ буквальномъ смыслѣ слова. Надъ всякимъ словомъ, если оно неудачно, какъ надъ всякою, *безъ исключенія*, формою, если она не соотвѣтствуетъ идеѣ, посмѣяться и можно и должно. Мы не Нѣмцы, которые способны обидѣться, если, напримѣръ, въ личности какого-либо уважаемаго ими ученаго, профессора или гофрата, замѣтитъ кто-нибудь комическія стороны: стало-быть и замѣтка «Свистка» о бытіи Лажечникова до потопа есть дѣло совершенно законное; но она налагаетъ на меня обязанность объяснить причины, по которымъ я употребилъ не другой какой-либо терминъ, а именно этотъ, подавшій поводъ къ комическому толкованію.

И «Свистку Современника», и читателямъ, интересующимся вопросами о критикѣ искусства, должна быть ясна, какъ изъ статьи моей, напечатанной въ «Библіотекѣ для чтенія», такъ и изъ самыхъ намековъ, разбросанныхъ во всѣхъ статьяхъ четырехъ книжекъ «Русскаго Слова», — какая именно мысль скрывается подъ неудачнымъ и подающимъ по-



воду въ комическому толкованію терминомъ. Но мнѣ скажутъ, можетъ-быть: эта мысль такъ *скрывается*, что ее даже и не видишь за чудовищнымъ терминомъ.

Слѣдуетъ, *tant bien que mal*, объяснить ее, вывести совершенно на свѣжую воду....

Терминомъ «допотопный талантъ», талантъ допотопной формации» какъ и множествомъ другихъ терминовъ—часто дѣйствительно неудачныхъ, но принимаемыхъ мною какъ первыя хватки, за недостаткомъ лучшихъ и за несостоятельностью (въ отношеніи къ моей мысли) старыхъ—я ничего не искалъ и не ищу, какъ указать на тождество законовъ органическаго творчества въ параллельныхъ явленіяхъ міра психическаго (духовнаго) и соматическаго (матеріальнаго).

Мысль, какъ порожденіе органическое, не вдругъ, не съ разу принимаетъ формы, совершенно ей соотвѣтствующія, совершенно стройныя, совершенно гармоническія. Въ первыхъ формахъ ея осуществленія замѣтенъ постоянно недостатокъ соразмѣрности частей, слѣдовательно и недостатокъ полной жизненности. Въ мірѣ духовномъ есть свои недооски или переноски,—есть свои—извините за выраженіе—диноэриумы, ихтиозавры и проч.—есть, однимъ словомъ элементы, стихіи, которыя, не перебродивши, не окрѣвши, не прійдя въ извѣстную органическую соразмѣрность—имѣютъ значеніе только въ отношеніи къ послѣдующей, окончательной формѣ; положимъ, на примѣръ—англійскіе трагикъ до Шекспира, представители идеи реформаціи до Лютера, у котораго были даже своего рода переноски—анабаптисты, и проч. Все это болѣе и болѣе проникаетъ современная историческая наука, съ легкой руки великаго художника Августина Тьерри. Все это не подвержено сомнѣнію.

Но все это—скажутъ мнѣ—могло быть выражено и другимъ терминомъ. Для чего я, говоря о значеніи Лажечникова въ отношеніи къ идеѣ народности въ литературѣ, или о значеніи Марлинскаго и Полежаева, какъ элементовъ, стихій, въ отношеніи къ стройной и цѣльной натурѣ Лермонтова, не назвалъ эти явленія *несовершенными*, или вообще не употребилъ какого-либо общепринятаго термина? По той простой причинѣ, что терминъ общепринятый, не подавая повода къ комическому толкованію, подалъ-бы поводъ къ ложному толкованію моей мысли, или, еще хуже—не подалъ-бы повода ни къ какому толкованію, т. е. нѣсколько не отбѣнилъ бы моей мысли, а мнѣ, какъ всякому, сколько-нибудь мыслившему и жившему человѣку, да позволено будетъ ставить свою, душою такъ или иначе выработанную, тѣмъ или другимъ купленную, мысль нѣсколько повыше собственной личности и страха подвергнуться критическому протергиванію.

Терминъ «несовершенный талантъ», или другой какой-либо терминъ изъ общепринятыхъ, въ сущности выразилъ-бы ту же самую мысль, какую выразитъ и терминъ «талантъ допотопной формаци»; но знаете-ли, господа, чего-бы въ немъ не доставало? Вѣры въ тотъ параллелизмъ единого органическаго закона, которая выразилась въ терминѣ, для ушей вашихъ нѣсколько дикомъ, но за то прямо уже переносящемъ въ мѣръ общей органической жизни. Всякій другой терминъ поставилъ-бы мою мысль въ ложное положеніе: завелъ-бы ее или въ лагерь матеріалистовъ, или въ лагерь спиритуалистовъ, или въ «Kraft und Stoff», или въ безвыходный и туманный мистицизмъ. Найдите мнѣ терминъ, болѣе соответствующій моему вѣрованію и менѣе подающій поводъ къ комическимъ толкованіямъ, — я вамъ буду очень благодаренъ; а покамѣстъ позвольте мнѣ называть Лажечникова въ отношеніи, напримѣръ, къ Островскому, Марлинскаго и Полежаева въ отношеніи къ Лермонтову — «талантами допотопнаго образованія» — только, конечно, не въ томъ смѣслѣ, чтобы они существовали до геологическаго переворота, называемаго потопомъ.

Есть другое возраженіе — уже не насмѣшка, а возраженіе, направленное противъ самой сущности моей мысли, а не противъ ея термина.

Если, говорилъ мнѣ одинъ изъ моихъ друзей, котораго практическія и всегда ловкія возраженія часто смущали и смущаютъ меня въ логическомъ развитіи мысли, указывая на слабыя пункты, — если вы принимаете допотопныя формаци, геологическіе слои въ нравственномъ мѣрѣ, то гдѣ-же вы полагаете и должны-ли полагать предѣлы допотопнымъ формамъ? Положимъ, что Марлинскій и Полежаевъ — допотопныя формы Лермонтова; но можетъ быть и Лермонтовъ — допотопная форма чего-либо иного, и т. д. usque ad infinitum... Возраженіе весьма важное, гораздо болѣе важное, чѣмъ насмѣшка надъ терминомъ, нѣсколько дикимъ для уха, но за то уже по-крайней-мѣрѣ рѣзко отбѣняющимъ мысль.... вмѣсто того, чтобы отвѣчать на это возраженіе, я опять таки долженъ сослаться на статью «Библіотеки для чтенія», гдѣ изложилъ я съ достаточною, по моему крайнему разумѣнію, полнотою, различіе между принципомъ вѣчнаго, нескончаемаго развитія идеи — принципомъ, ведущимъ, въ концѣ концовъ, къ узкому поклоненію всякому *последнему* моменту развитія, съ постояннымъ и постоянно-повторяющимся отрицаніемъ всѣхъ предшествовавшихъ моментовъ — и между принципомъ развитія идеи въ извѣстныхъ, такъ сказать *типическихъ*, циклахъ, въ извѣстныхъ мірахъ, связанныхъ между собою преемственнымъ единствомъ, но имѣющихъ и свое самостоятельное значеніе, свое типовое бытіе. Извѣстный типъ, извѣстная идеальная индивидуальность, пройдя

нѣсколько индѣйскихъ аватаръ (вѣроятно и «Свистокъ» пойметъ—почему я вынужденъ здѣсь прибѣгнуть къ термину изъ индѣйской мифологіи) осуществляется какъ типъ, какъ нѣчто по существу своему конечное, опредѣляемое, особое—въ послѣдней, соотвѣтственной его потенціи, формѣ, въ которой всѣ стихіи его приводятся въ мѣру, въ художественную гармонию. Пусть эта послѣдняя форма разбивается слишкомъ рано, какъ, на примѣръ, Лермонтовъ: это ничего не значитъ; это—слѣдствіе того, что на нашемъ человѣческомъ языкѣ мы не можемъ иначе назвать какъ случайностью. Дѣло въ томъ, что типъ дошелъ, хоть-бы въ Лермонтовѣ; на примѣръ, до мѣры и гармоніи, до сознательнаго обладанія стихіями, которыя безсознательно, безсознательно бушевали въ Марлинскомъ и Полежаевѣ.

Обвинять меня еще пожалуй, по поводу упорно отстаиваемаго мною термина, въ нѣкоторомъ мистицизмѣ, лежащемъ въ основѣ моего взгляда—и этого обвиненія, признаться откровенно, я боюсь всего болѣе; ибо—хотя il y a fagot et fagot, есть мистицизмъ и мистицизмъ—границы двухъ разныхъ мистицизмовъ еще слишкомъ неопредѣленны, а принадлежать чѣмъ-либо къ одному изъ нихъ—я счелъ-бы весьма мало-дѣльнымъ, чтобы не сказать болѣе. Но, во-первыхъ, я отстаиваю терминъ рѣшительно только за неимѣніемъ подъ рукою другого лучшаго; а вторыхъ, какъ я имѣлъ уже честь высказать въ одной изъ предшествовавшихъ статей, —идеально-артистическій взглядъ, съ которымъ этотъ терминъ, равно какъ и другіе термины связаны, гораздо ближе къ возрѣвнѣю физиологическому, чѣмъ-взглядъ теоретиковъ, кончающійся фантастическими утопіями.

Во многихъ своихъ статьяхъ прошлыхъ годовъ я употреблялъ еще терминъ: *растительная поэзія*, подъ которою разумѣлъ я народное, безличное, безъискусственное творчество въ противоположность искусству, личному творчеству, —пѣсь о Троѣ, на примѣръ, до Гомера въ противоположность поэмамъ Гомера, —звѣриный эпосъ среднихъ вѣковъ въ противоположность поэмѣ о «Рейнекъ-лисѣ» Гёте и т. д.

Этотъ терминъ точно также можетъ быть или заподозрѣнъ, какъ и предыдущій, въ претензіяхъ на новое ученіе, или подвергнутъ обвиненію въ дикости. Но-опять-таки—оправданіе этого термина заключается въ томъ, весьма не-новомъ и тѣмъ менѣе новооткрытомъ, взглядѣ, который я называю идеально-артистическимъ, въ противоположность взгляду теоретическому, утилитарному.

Не мѣсто здѣсь говорить о противоположной сущности того и дру-

того взгляда—не к стати сослаться въ наше время и на авторитеты въ пользу того или другого; но я, — по извѣстной уже моимъ читателямъ страсти моей въ отступленіямъ, — не могу не рассказать, по поводу этихъ двухъ взглядовъ, слѣдующаго небольшого анекдота.

Одипъ ихъ великихъ умовъ нашей эпохи бесѣдовалъ съ молодымъ Римляниномъ, который весь былъ проникнутъ новыми идеями и учениями. На развалинахъ Колизея, или дворца цезарей—не помню хорошо—Римлянинъ началъ было вопіять на *безполезность* этихъ громаднхъ построекъ; но когда собесѣдникъ его, — ужъ безъ сомнѣнія не менѣе его проникнутый новыми идеями, только ставшій въ воззрѣніи *надъ* ними, а не *подъ* ними, — коснулся его простаго, не потемненнаго теоріями смысла и его прирожденнаго художественнаго чутья, Римлянинъ самъ расхохотался надъ своими благопріобрѣтенными диатрибами въ пользу утилитаризма.

Sapienti sat: идеально-артистическій взглядъ, не вѣря въ теоріи, въ утопіи, въ предѣлѣ развитія—не мѣшаетъ, да и не можетъ мѣшать развитію.

Возвращаясь къ оправданію одного изъ терминовъ, которыхъ въ настоящую минуту въ *какой-бы ни было* формѣ ихъ требуетъ идеально-артистическій взглядъ. Творчество народное; безличное; — а называю народнымъ, безличнымъ, простымъ, непосредственнымъ; — а называю растительнымъ, во-*первыхъ* потому, что этотъ терминъ совмѣщаетъ въ себѣ всѣ четыре означенные термина, а во-*вторыхъ* потому, что законы его бытія представляютъ поразительное сходство съ законами растительной жизни.... Чрезвычайно неприятно и даже щекотливо нашему брату критику — если онъ не Бѣлинскій (да и тотъ этого никогда не дѣлалъ, а просто и цѣликомъ повторялся, переводя страницы «Телескопа» въ «Зеленаго Наблюдателя»,) страницы «Зеленаго Наблюдателя» въ «Отечественныя Записки») — сослаться на свою предшествовавшую дѣятельность. Дѣятельность критика почти тоже, что дѣятельность актера: великій актеръ, какъ Мочаловъ, великій критикъ, какъ Бѣлинскій—оставить по себѣ долгій слѣдъ, рѣзкую струю своего могущественнаго дыханія въ воздухѣ эпохи; и нечего хлопотать о томъ, чтобы искусственно отерывать эту струю; на нее стоитъ только намекнуть—и она тотчасъ же обвѣетъ душу своимъ, знакомымъ душѣ, вѣяніемъ. Мы же, современные критики, принуждены *сослаться* на предшествовавшую нашу дѣятельность — что, повторяю опять, и неприятно и щекотливо, хотя неизбежно.

Въ статьѣ моей о русскихъ народныхъ пѣсняхъ, написанной въ 1854 году, по поводу музыкальнаго Сборника, изданнаго покойнымъ

другомъ моимъ М. Стаховичемъ, и встрѣченной тогда благороднымъ сочувствіемъ петербургскихъ собратій критиковъ, тѣмъ болѣе благороднымъ, что убѣжденія тогда еще не амальгамировались, и въ статьѣ было много странностей, которыя очень легко было-бы поднять на смѣхъ; — я старался по возможности намегнуть на законы растительнаго творчества, по скольку я самъ изучилъ ихъ на живомъ организмѣ.

Позволю себѣ напомнить существенныя данныя этой статьи.

«Пѣсня» — говорилъ я тогда — есть поэтически-музыкальное или музыкально-поэтическое цѣлое, ибо, право, трудно рѣшить, что въ этомъ живомъ недѣлимомъ главное... Пѣсня зарождается неизвѣстно когда и гдѣ, творится неизвѣстно кѣмъ, живетъ какъ растеніе, именно какъ растеніе, которое само прозябаетъ на удобной почвѣ. Случалось-ли читателямъ обращать вниманіе на одинъ, самый обыкновенный, но вмѣстѣ съ тѣмъ поразительный фактъ? Пытались-ли они узнавать, сколько самыхъ разнообразныхъ по текстамъ и по мотивамъ своимъ пѣсень хранится, такъ сказать, въ памяти всякаго поющаго простаго человѣка, или поющей простой женщины? Едва вѣроятно покажется имъ, если мы скажемъ: нѣсколько тысячъ, — а между тѣмъ, это такъ! Одна пѣсня наводитъ на другую, одно слово въ пѣснѣ на третью и т. д.; мотивы по видимому совершенно различны льются, не сливаясь одинъ съ другимъ, раздѣльные и вмѣстѣ связанные между собою общою растительною жизнью. Дѣло въ томъ, что почва тутъ совершенно дѣвственна, не тронута, не засѣяна ничѣмъ такимъ, что мѣшало-бы естественному произрастанію органическаго продукта. Теперь, спрашивается, какого труда стоитъ намъ, уже оторвавшимся отъ почвы людямъ, запомнить весьма небольшое количество народныхъ текстовъ и мотивовъ? — разумѣется, запомнить такъ, чтобы тексты и мотивы сходные не смѣшивались, не сливались, и выходили ярко, со всѣми своими тончайшими особенностями, ибо отнимать у пѣсни ея тонкія особенности — совершенно все равно; что обрѣзывать растеніе по стрункѣ, налагая на него общую, казенную мѣрку.

«Масса пѣсень», — говорилъ я далѣе, — даже та, которая можетъ быть извлечена изъ одного поющаго лица мужскаго или женскаго пола, а тѣмъ болѣе изъ нѣсколькихъ — такъ велика, что неминуемо представляется вопросъ: какія пѣсни достойны того, чтобы ихъ записывать? Разумѣется — лучшія; но въ томъ-то и дѣло, какія считать лучшими? Которыя постарше — скажутъ безъ запинки весьма многіе и притомъ почтенные люди, знающіе толкъ въ дѣлѣ — и много правды будетъ на сторонѣ ихъ отвѣта. Нечего скрывать той печальной истины, что по близости къ столицамъ, въ большихъ городахъ, по боль-

шимъ торговымъ дорогамъ, все болѣе исчезаютъ лучшія или болѣе поэтическія пѣсни, замѣняясь плохими романсами фабричныхъ, оскверняясь вставками безъ смысла. А между-тѣмъ, даже въ окрестностяхъ Москвы, даже въ самой Москвѣ, случалось и случается и случится вамъ, какъ и всякому, кто это дѣло любить, слышать пѣсни неопѣвныя, или совсѣмъ типическія, въ которыхъ нельзя ни одной черты прибавить—такъ полно и цѣльно ихъ содержаніе и такъ богато обставлено оно подробностями—или замѣчательнѣйшіе варианты, которые явно намекаютъ на старыя типъ».

«Пѣсня—не только растение: пѣсня—самая почва, на которую ложится слой за слоемъ; снимая слой и посредствомъ сличенія вариантовъ, можно иногда добраться до перваго слоя». (*Москвитинъ*. 1854. № 15.)

Полагая, что этихъ общихъ положеній достаточно для оправданія термина, «растительная поэзія»—по крайней-мѣрѣ на время, до отысканія лучшаго—я перехожу отъ защиты терминовъ къ изложенію мыслей, которыя, какъ промелькнувшія въ моихъ статьяхъ, могли произвести странное впечатлѣніе; или подать поводъ къ ложнымъ толкованіямъ.

Непосредственно связана съ двумя терминами, которые я вынужденъ отстаивать, и мысль, на которую только намекнулъ я въ предшествовавшей статьѣ о дѣятельности И. С. Тургенева—мысль, оставленная мною безъ развитія, потому только, что я надѣялся впоследствии, отдавая отчетъ о давно ожидаемомъ вѣдѣи новомъ изданіи «Записокъ охотника», развить ее въ подробностяхъ и въ наблюденіяхъ надъ живымъ явленіемъ. Это мысль о значеніи въ творчествѣ мѣстностей. Высказанная въ видѣ намека, она также можетъ подать поводъ къ ложнымъ толкованіямъ.

Эта мысль имѣетъ двѣ стороны—общую и особенную.

Говорить объ ея общей сторонѣ,—т. е. о томъ, что народности и мѣстности играли и играютъ огромную роль въ искусствѣ, какъ и вообще во всякой отрасли человѣческой дѣятельности,—было бы совершенно излишне, если бы въ нашу эпоху, подвергающую все безъ исключенія изслѣдованію и, стало-быть, первоначально сомнѣнію, не подвергнулся новымъ изслѣдованіямъ и этотъ вопросъ. Еще весьма недавно между такъ-называемымъ славянофильствомъ и такъ-называемымъ западничествомъ шелъ чрезвычайно жаркій споръ о томъ, существуетъ-ли народность и должна-ли существовать въ творчествѣ и въ знаніи?...

Говоря объ общей сторонѣ высказанной мною мысли — я сливаю вмѣстѣ два понятія: народность и мѣстность. Въ переводѣ на болѣе точный философскій языкъ вопросъ ставится такъ: существуютъ-ли и должны-ли существовать въ творествѣ, знаніи, въ самой жизни однѣ только идеи и слѣдственно идеалы *общіе*, независащіе ни отъ какихъ племенныхъ или мѣстныхъ условій — или существуютъ въ творествѣ, знаніи, жизни, идеи и идеалы *частныя*, имѣющіе свое законно-типическое бытіе, какъ оттѣнки, цвѣта, краски и проч. Другими словами, существуетъ-ли и достижима-ли въ творествѣ, знаніи, жизни, — абсолютная пагая истина, или существуетъ и достижима только истина относительная, истина — *цветная* употребляю, какъ видите, терминъ, который еще болѣе термина «допотопный талантъ» напрашивается въ «Свистокъ Современника».

Вопросъ опять приводится, — какъ и всегда, во все времена, онъ приводился, — къ своимъ Геркулесовымъ столбамъ, къ двумъ взглядамъ: «теоретическому» и «идеально-артистическому», — и еслибъ славянофилы или западники довели его съ самаго начала до этихъ Геркулесовыхъ столбовъ, они разошлись-бы въ разныя стороны и перестали спорить: *le combat aurait fini faute de combattans*. Но славянофильство, совершенно правое въ своемъ принципѣ, въ отношеніи по-крайней-мѣрѣ къ этому спору, само слишкомъ склонно въ теоріямъ, чтобы вести принципъ до его крайнихъ послѣдствій. Что собирательнаго лица, называемаго человечествомъ, какъ лица не существуетъ, а существуютъ народности, расы, семьи, типы, индивидуумы съ особыми отливами, что типическая жизнь этихъ отливовъ необыкновенно крѣпка, что они не стираемы — это покажется фактъ несомнѣнный. Амальгамируются-ли наконецъ эти оттѣнки до того, что вмѣсто видовъ явится только *родъ*, этого мы не знаемъ. Ни *pro* ни *contra* сказать тутъ ничего нельзя. Чего не можетъ быть? Можетъ быть, что и луна соединится съ землею, какъ мечталъ Шарль Фурьер. Но покажется ли луна еще не соединилась съ землею, ни особливыхъ надеждъ на исчезновеніе оттѣнковъ въ пониманіи, созданіи и жизни, народностей въ человечествѣ, особенной крови въ родахъ, типовъ въ семьяхъ и т. д. ~~нѣтъ~~ <sup>нѣтъ</sup>. Покажется слѣдовательно, остается правъ взглядъ идеально-артистическій — признающій типы и ихъ развитіе, а не слияніе типовъ въ неопредѣленномъ общемъ. Каждый типъ, какъ ничто органическое, какъ необходимое звено въ созданіи, и вырождаясь, перерождаясь, измѣняясь, живетъ все-таки вѣчно, органической жизнью.

Когда луна соединится съ землею и когда типы сольются въ родъ, ни знанью, ни творчеству, ни индивидуальной жизни нечего будетъ

дѣлать. Витіе и того, и другого, и третьей обусловлено бытіемъ отгѣновъ въ мірозданіи.

Что-жъ дѣлать, если это и будетъ такъ, — скажутъ поборники утилитаризма, — надобно покориться истинѣ, какова-бы она ни была. Прекрасно! Да гдѣ-же данныя на то, что это — истина? Что это будетъ? Покажемъ: мы имѣемъ данныя только на то, что была и есть народность и мѣстность въ искусствѣ, наукѣ и жизни — что Шекспиръ былъ Англичанинъ всюду, даже тамъ, гдѣ переносилъ дѣйствіе на древнюю или итальянскую почву, что даже Гегель былъ Нѣмецъ, да еще прусскій Нѣмецъ въ своей философіи исторіи.

Но мысль, высказанная мной, имѣетъ еще другую, особенную сторону. Признавая прежде всего свободу духа, и думая, что первый планъ въ законахъ исторической философіи занимаютъ представители духа, племенные начала, а не климатическія, территоріальныя условія, — я тѣмъ не менѣ называлъ Тургенева и нѣсколькихъ другихъ писателей отзывами извѣстной мѣстности. Это, конечно, требуетъ поясненія.

Слово *мѣстность* принято мною не въ смыслѣ матеріальной природы, но въ смыслѣ территоріи, съ которою сжилось извѣстное племя, извѣстная раса. Причина, почему извѣстное племя, извѣстная раса, сжались съ извѣстною территоріею, — заключается не въ однихъ только случайныхъ обстоятельствахъ. Забѣглое, «сбродное» народонаселеніе великорусской Украйны, на примѣръ, болѣе способно подчиняться природѣ, чѣмъ то предприимчивое племя, которое все далѣе и далѣе отводилось какимъ-то вѣтромъ на сѣверъ. Мѣстность (въ смыслѣ территоріи), не играющая почти никакой роли для этого племени, — имѣетъ огромное значеніе въ отношеніи къ племеннымъ элементамъ малорусской и великорусской Украйны. Вліяніе мѣстности на племенные элементы той и другой изъ этихъ Украйнъ — совершенно притомъ различно.

Я сказалъ уже, что нѣкотораго рода пантеистическое созерцаніе, созерцаніе *подчиненное*, тяготеетъ надъ отношеніями къ природѣ великорусской Украйны; но это подчиненное созерцаніе и сообщаетъ имъ при переходѣ въ творчество ихъ особенную красоту и прелесть, даетъ 1) подмѣтку тонкихъ, почти неуловимыхъ чертъ природы; 2) полнѣйшее, почти непосредственное, сліяніе съ нею; и, наконецъ 3) въ Тютчевѣ, на примѣръ, возводитъ ихъ, эти отношенія, до глубины философскаго созерцанія, до одухотворенія природы.

Не то, что мните вы, природа,

Не слѣпокъ, не бездушный ликъ;

Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,

Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.



Два первыхъ качества особенно ярки въ томъ совершенно непосредственномъ, часто вовсе неоразумленномъ, чувствѣ, которымъ дышуть лучшія стихотворенія Фета, въ тонкой живописи Тургенева, въ туманномъ, мечтательномъ, вечерней или утренней зарею облитомъ, колоритѣ вдохновеній Полонскаго. Что такое, на примѣръ, весь Фетъ въ его «Вечерахъ и ночахъ», въ его многообразныхъ весеннихъ пѣсняхъ? Весь — какое-то дыханіе, какая-то нѣга, какая-то моральная истома. Помните —

Шопоть, робкое дыханье,  
Трели соловья....

Это рядъ безконечныхъ, столь внутренно связанныхъ, столь необходимо слѣдующихъ одинъ за другимъ аккордовъ, что ихъ перервать нельзя, — стихотвореніе, которое не можетъ быть иначе прочтено какъ однимъ дыханіемъ.

Помните «Пчелъ», — томленіе, нѣгу, разлитую въ этомъ стихотвореніи, томящую какъ знойный день, сладострастную безъ малѣйшихъ стремленій къ сладострастію.... Помните «Дѣбрь къ половодѣ»:

И подь лобзаніе немолкнувшей струи  
Пѣвцы, которымъ лѣсъ да волны лишь внимали,  
Съ какой-то тнгою задорной соловьи  
Пустынный воздухъ раздражали.

Что такое весь Полонскій?... Фантастически-туманная, сказочная греза, — наивная до дѣтства, и притомъ до дѣтства совершенно природеннаго, а не благопріобрѣтеннаго, по крайней мѣрѣ въ томъ, въ чемъ онъ особенно оригиналенъ —

За горами-лѣсами, въ дыму облаковъ,  
Свѣтитъ пасмурный призракъ луны,  
Вой протяжный голодныхъ водковъ  
Раздается въ туманѣ дремучихъ лѣсовъ,  
Мнѣ мерещатся странные сны.  
Мнѣ все чудится, будто скамейка стоитъ,  
На скамейкѣ старуха сидитъ,  
До полуночи пряжу прядетъ,  
Мнѣ любимыя сказки мой говорить,  
Колыбельныя пѣсни поетъ.....

Тутъ дѣтство, непосредственность простирается до того, что поэту видится, на примѣръ, прежде *скамейка*, а потомъ ужъ «на скамейкѣ старуха сидитъ»; это — дѣтство и непосредственность народной пѣсни. При-

томъ, васъ обдаетъ фантастическимъ, равно какъ обдаетъ васъ пмъ въ чудной грезѣ Фета:

Мы одни. Изъ сада въ стекла оконъ,

грезѣ, вдаваясь въ которую мы начинаете думать, что поэтъ самъ сидѣлъ «на суку извилистомъ и чудномъ», на которомъ сидитъ его жарь-птица.. А «ночь», которую кончается «Кузнечикъ» Полонскаго? — а «ночь въ саду» въ «Юности» Толстаго? То полное и подчиненное слияніе съ природою, которымъ отзываются эти и подобныя имъ мѣста — результатъ мѣстности, т. е. воздѣйствія особенной полосы на особенное племя...

Какъ необычайно ярко высказывается это отношеніе въ началѣ «Бѣжина луга!» —

«Быль прекрасный іюльскій день, одинъ изъ тѣхъ дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. Съ самаго ранняго утра небо ясно, утрення заря не пылаетъ пожаромъ — она разливается кроткимъ румянцемъ; солнце, не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной засухи, не тускло-багровое, какъ предъ бурей, но свѣтлое и привѣтно-лучезарное — мирно всплываетъ изъ подъ узкой и длинной тучки, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый туманъ... *Верхній, тонкій край растянутого облака засверкаетъ змѣйками — блескъ ихъ подобенъ блеску жованнаго серебра...* Но вотъ, опять хлынули играющіе лучи — и весело, и словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня обыкновенно появляется множество *крупныхъ, высокихъ облаковъ золотисто-спрыскъ, съ нѣжными бѣлыми краями*, подобно островамъ, разбросаннымъ по безконечно-разлившейся рѣбѣ, обтекающей ихъ глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы — они почти не трогаются съ мѣста; *далеко къ небосклону они сдвигаются, тѣсняются, синевы между ними уже не видать; но сами они также лазурны, какъ небо; они все насквозь проникнуты свѣтомъ и теплотою.* Цвѣтъ небосклона легкой, блѣдно-лиловый, не измѣняется во весь день и кругомъ одинаковъ; нигдѣ не темнѣетъ, не густѣетъ гроза — развѣ кое-гдѣ протянутся сверху внизъ голубоватія полосы; то сѣется едва замѣтный дождь. Къ вечеру, эти облака исчезаютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватія и неопредѣленныя, какъ дымъ, ложатся розовыми влудами напротивъ заходящаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось такъ же спокойно, какъ спокойно взошло на небо, алое сіянье стоитъ недолгое время надъ потемнѣвшей землей, и, *тихо млая, какъ бережно несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда.* Въ такіе дни *краски все смягчены, свѣтлы, но не ярки; на всемъ лежитъ печать какой-то трогательной*

кротости \*): Въ такіе дни жаръ бываетъ иногда весьма силенъ, иногда даже «парить» по скатамъ полей; но вѣтеръ разгоняетъ, раздвигаетъ накопившійся зной, и вихри-круговороты, несомнѣнный признакъ постоянной погоды, высокими, бѣлыми столбами гуляютъ по дорогамъ, черезъ пашню. *Въ сухомъ и чистомъ вѣздѣ пахнетъ полевую, сжатой рожью, гречихой, даже за часъ до нѣчи вы не чувствуете сырости. Такой погоды желаетъ земледѣлецъ для уборки хлеба...*

Или вотъ еще—утро изъ того же Бѣжина Луга:

«Уже болѣе трехъ часовъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ я присосѣдился къ мальчикамъ. Мѣсяцъ взошелъ наконецъ... Я его не тотчасъ замѣтилъ: такъ онъ былъ малъ и узокъ. Эта безлунная ночь, казалось, была все также великолѣпна, какъ и прежде. Но уже склонились къ темному краю земли многія звѣзды, еще недавно высоко стоявшія на небѣ; все совершенно затихло кругомъ, какъ обыкновенно затихаетъ все только къ утру: все спасло крѣпкимъ, неподвижнымъ, передразвѣтнымъ сномъ. Въ воздухъ уже не такъ сильно пахло—въ немъ снова какъ будто разливалась сырость... Не долги лѣтнія ночи!—Разговоръ мальчиговъ угасалъ вмѣстѣ съ ногнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я могъ различить, прилѣгъ брезвущемъ, слабо сіяющемъ свѣтѣ звѣздъ, тоже лежали, понуривъ головы... Слабое забытѣ напало на меня.. оно перешло въ дремоту».

«Свѣжая струя пробѣжала по моему лицу. Я открылъ глаза... утро начиналось. Еще нигдѣ не румянилась заря, но уже заблѣлось на востокѣ. Все стало видно, хотя смутно видно, кругомъ: блѣдно-сѣрое небо свѣтлѣло, холодно, синѣло; звѣзды то мигали слабымъ свѣтомъ, то исчезали; отсырѣла земля, зяблѣты листья; кой-гдѣ стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкій ранній вѣтерокъ уже пошелъ бродить и порхать надъ землею. *Тыло мѣе отытало ему легкой, веселой дрозью.* Я проворно всталъ и подошелъ къ мальчикамъ. Они всѣ спали какъ убитые вокругъ тлѣющаго вѣтра, одинъ Павелъ приходился до половины и пристально поглядѣлъ на меня».

«Я кивнулъ ему головой и пошелъ, по своимъ, вѣдоль задымившейся рѣки. Не успѣлъ я отойти двухъ верстъ, какъ уже полились кругомъ меня по широкому мокрому лугу, и впереди по зазеленѣвшимъ холмамъ, отыгъсу догъсу, и сзади по длинной, пыльной дорогѣ, по свер-

Та кроткая улыбка увяданья,

Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ  
Возвышенной стыдливостью страданья.

О. Ютчевъ.

обжогамъ; обжареннымъ кустамъ; и по рѣвѣ ствдливо снѣвшейся изъ подъ рѣдѣющаго тумана, полились сперва алые, потомъ красные, золотые потоки молодого, горячаго свѣта... Все зашевелилось, прошепѣлось, зашумѣло, зашумѣло, заговорило, всюду лучистыми алмазами зарѣдѣлись крупныя капли росы; мнѣ навстрѣчу, чище и яснѣе, словно тоже обмытые утренней прохладной, принеслись звуки колокола, и вдругъ мимо меня, погоняемый знакомыми мальчигами, промчался отдохнувшій табуны...

Что такое тургеневскіе рассказы «охотника»? Неужели изображенія дѣйствительности, какою она является свободному духу? Все они облиты однимъ колоритомъ—всѣ, и въ особенности, напимѣръ, «Пѣвцы», «Бѣжинъ Лугъ». Если брать ихъ за простые изображенія дѣйствительности,—они выйдутъ совершенною фальшью: фальшью будетъ и одно-сторонняя заунывность, простирающаяся до трагизма въ «Пѣвцахъ», и байроническій мальчикъ въ «Бѣжинъ Лугъ»,— фальшью выйдутъ и «Муму», какъ односторонняя и мрачноколоритная идеализація типа; но все это дорого и въ высокой степени поэтично, какъ голосъ извѣстной почвы, мѣстности, имѣющей право на свое гражданство, на свой отзывъ и голосъ въ обще-народной жизни, какъ типъ, какъ цвѣтъ, какъ отливъ, отгѣнокъ.

Когда луна соединится съ землею, эти отливы красокъ мірозданія—исчезнутъ; но за то артистическимъ натурамъ придется тогда довольно часто вѣшаться съ безысходной хандры на вѣтвяхъ тѣхъ грушъ, разумнымъ воздвѣжаніемъ которыхъ будутъ заниматься фаланги благоустроеннаго человѣчества!

Остается еще сказать мнѣ нѣсколько словъ о тѣхъ *вѣянняхъ*, которыми я наполнилъ и, по собственному сознанію, даже переполнилъ предшествовавшія статьи.

Я употребляю слово «вѣяніе», а не слово «вліяніе», потому что слово «вѣяніе» точнѣе выражаетъ мое убѣжденіе въ реальномъ бытіи силъ, которое раздѣляю я съ поэтомъ Гютчевымъ и съ общимъ для насъ съ нимъ, что для меня очень лестно, учителемъ Шеллингомъ. Въ концѣ концовъ разъясненіе слова «вѣянія» повело бы опять къ безднѣ, по сторонамъ которой стоятъ два Геркулесовыхъ столба, два вѣянія: *идеализмъ* и *утилитаризмъ*, или, пожалуй, въ средневѣковыхъ формахъ—*реализмъ* и *номинализмъ*.

Вмѣсто того, чтобы снова подводить читателей къ этой непроходимой безднѣ, я лучше разъясню то мѣсто статьи, въ которомъ мысль о вѣянняхъ, по сдѣланному мнѣ многими замѣчанію, является слишкомъ рѣзко,—мѣсто о Мочаловѣ, великомъ актерѣ, занявшемъ, противъ вся-

*лесно-мнѣсенно*  
*дизонифи*  
*квнн*  
*сизур?*

кой принятой рутины, мѣсто въ историческомъ очеркѣ умственнаго движенія.

Изъ того литературнаго поколѣнія, къ которому принадлежу я, — а все это поколѣніе, за весьма немногими исключениями, вышло на дѣятельность изъ одного центра, изъ Москвы, — нѣтъ человѣка, который бы не носилъ въ душѣ слѣдовъ вліянія этой могущественной артистической личности, залоговъ того романтическаго міра и тѣхъ романтическихъ впечатлѣній, съ которыми сроднилъ всѣхъ насъ гениальный выразитель романтизма. Фактъ несомнѣнный, что не Мочаловъ созданъ по даннымъ нашего, извнѣ пришедшаго романтизма, что не Полевые и не Кукольники создавали Мочалова, а самъ онъ творилъ вокругъ себя оригинальный романтическій міръ; что выразитель явился въ лицѣ его прежде выраженія идеи въ словѣ и поэтическомъ образѣ. Фактъ тоже несомнѣнный, что міръ, имъ созданный, созданъ имъ изъ вѣяній его эпохи и въ свою очередь внесъ въ массу общей жизни свое могущественное вѣяніе, которое отдалось и въ словѣ и въ звукѣ (Варламовъ), и въ нравственномъ настроеніи извѣстнаго поколѣнія. Какъ же послѣ этого, слѣдя преимущественно постепенность вѣяній, не говорить объ этомъ вѣяніи?

Въ заключеніе мнѣ слѣдуетъ поблагодарить «Свистокъ Современника» за то, что онъ далъ мнѣ поводъ развить въ нѣкоторой подробности нѣсколько дорогихъ мнѣ мыслей, и затѣмъ удовлетворить въ слѣдующей же книжкѣ его желанію: поговорить о бытіи Лажечникова, т. е. идеи народности до потопа, хотя, конечно, не до геологическаго.

## СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

### X.

Я сказалъ уже, что поэтическія природы, какъ натура Тургенева, — во всякое новое произведеніе вносятъ весь свой внутренній міръ, — разумѣется, въ томъ моментѣ этого міра, въ какомъ произведеніе застаётъ душу художника. По этому-то дѣятельность подобныхъ натуръ — въ высочайшей степени искренняя, цѣльна и крѣпко связана во всѣхъ звеньяхъ своей цѣпи. Искренность дѣятельности такихъ натуръ подвергается даже весьма часто упреку: такъ, въ наше время, Толстой, со стороны

многихъ близорукихъ судей, подвергается упрекамъ въ моральномъ застоѣ за свои послѣднія произведенія, за «Люцернъ» и за «Альберта»; такъ Островскій каждымъ новымъ произведеніемъ разочаровывалъ надежды то славянофидовъ, то западниковъ. Псложительно можно сказать, что всякая истинно-художественная дѣятельность — какъ органъ неслѣдственно черпаемой, вѣчно-обманывающей разсчета, вѣчно-пропщеской жизни — идетъ въ разрѣзъ съ теоріями, каковы-бы онѣ ни были. Если на минуту художественная дѣятельность и поддается теоріи, то вслѣдствіе особеннаго обстоятельства, — вслѣдствіе той перемѣны змѣиной кожи, въ которой наивно сознается одинъ изъ величайшихъ поэтовъ. Не возражайте мнѣ примѣромъ Занда; ибо именно этотъ-то примѣръ и служитъ — если разобрать дѣло хорошенъко — наилучшимъ доказательствомъ моего общаго положенія. Подчиненіе творца Валентины, Жака, Леоне Леони и непередѣланной Лелии теоріямъ, вслѣдствіе которыхъ явились разные образы безъ лицъ, *in editioe castrata*, Пьеръ Гюгененъ, со всѣмъ его несносно-резонирующимъ причтомъ, противная бузентотка Евгенія въ великомъ романѣ «Ногасе», — безобразія, испортившія Консуэло и наполнившія вздоромъ три четверти «графини Рудольштадтъ», и проч. и проч., — все это было только переходомъ къ новымъ формамъ, исканіемъ новыхъ художественныхъ формъ, псканіемъ, результатомъ котораго были новыя, великолѣпныя художественныя фантазіи, какъ «Теверино» и «Пиччинино», новыя, глубокія откровенія тончайшихъ изгибовъ челоуѣческой души, или художественно-спокойныя (т. е. все-таки спокойныя страстно) созданія, какъ «Elle et lui» или «Daniella».

Не возражайте мнѣ и примѣромъ Гоголя... Смерть помѣшала великому художнику раздѣлаться съ печальной теоріей, съузившей его кругозоръ, породившей эстетически и нравственно безобразныя скелеты Улиньки, Констанюгло и его драпирующей шалью жены, добродѣтельнаго откущница Муразова и доблестнаго князя, играющаго какъ мячикомъ закономъ и законностью во имя произвольной справедливости... Ваше возраженіе опять-таки будетъ только самымъ-яркимъ, самымъ-нагляднымъ подтвержденіемъ моего положенія. Теорія для художника — или сѣни къ новому великолѣпному зданію, и притомъ сѣни, поставленныя на время, сѣни съ подмалеванными стѣнами вмѣсто каменныхъ, — или смерть и гибель. Когда уже у такого великаго артиста, какъ Гоголь, подъ вліаніемъ теоріи появились фигуры съ ярлыками на лбу, достойныя, въ эстетическомъ и нравственномъ отношеніяхъ, романовъ г. Ѳ. Булгарина, — каково-же должно быть вліаніе теорій на таланты меньшаго объема? Каково, напримѣръ, должно ово было быть на талантѣ, о которомъ идетъ теперь у меня съ вами бесѣда?..

Ибо и Тургеневъ, этотъ талантъ, всей высотой своей обязанный романтизму съ одной стороны и искренности съ другой, въ свою очередь не миновалъ подчиненія теоріямъ; хотя этотъ моментъ, по причинѣ особенной отрицательной черты его таланта — отсутствія рѣзкости, переходящаго даже въ отсутствіе энергии, — никогда не выразался у него цѣлымъ рядомъ, цѣлою эпохою произведеній, а разсыянъ во множествѣ ихъ, мелькаетъ по мѣстамъ *даже до сего дня*. Есть два-три произведенія, въ которыхъ вліяніе теорій выразилось у него рѣзко; но отъ этихъ, чисто уже заказныхъ, не по внутреннему побужденію писанныхъ, вещей отрѣкся самъ Тургеневъ, какъ истинный поэтъ. Я говорю о произведеніяхъ въ родѣ «Холостяка» и «Нахлѣбника» — столь же заказныхъ (въ томъ смыслѣ, что они *заказаны* теоріями), какъ драматическія попытки Занда; но эти произведенія, которыми, по всей видимости, столь же мало дорожитъ авторъ, какъ и своими поэмами и лирическими стихотвореніями (нѣкоторыми изъ послѣднихъ, впрочемъ, совершенно напрасно), для критика чрезвычайно важны и дороги. Талантъ глубоководно-искренній, какъ талантъ Тургенева, искренно подчиняется, на время, и теоріямъ; стало-быть, художнически стремясь сообщить имъ плоть и кровь, идетъ смѣло; — часто противъ воли смѣло, — смѣло, не смотря на мягкость собственной натуры, — до крайнихъ граней. Тургеневскій «Мошкинъ», влюбляющійся на старости лѣтъ, да еще представленный Щепкинымъ, искренне-же увлекавшимся своею ролью, высокимъ комикомъ Щепкинымъ, на зло натурѣ стремившимся часто къ трагизму (странная замашка многихъ комиковъ!) — довелъ натурализмъ, т. е. опытъ-таки-сентиментальный натурализмъ конца сороковыхъ годовъ, до крайнихъ предѣловъ комизма; и его же «Нахлѣбникъ», къ сожалѣнію, не игранный на сценѣ, эта «пьеса съ причиною», какъ назвала ее *почему-то* покойный Гоголь, привелъ натурализмъ уже не къ комическому, а къ отвратительному. Дальше идти было некуда — это были соевъ, выжатый изъ повѣстей М. Достоевскаго, Буткова и другихъ натуралистовъ — поэтомъ романтикомъ, поэтомъ идеалистомъ — и вся болѣзненная поэзія, разлитая истиннымъ поэтомъ сентиментального натурализма въ «Бѣлыхъ ночахъ», вся тревожная лихорадочность «Хозяйки», не могли спасти исчерпаннаго и обнаженнаго до скелета направленія. Поэтъ сентиментального натурализма самъ сдѣлалъ важный шагъ къ выходу изъ него въ развивавшейся все глубже и глубже «Нетонѣ Незвановой» — и о немъ нельзя по этому сказать послѣдняго слова; но сентиментальный натурализмъ — увы!

Умеръ онъ—  
Умеръ нашъ, голубчикъ!

какъ гласить припѣвъ одной старой пѣсни о предметѣ, еще болѣе достойномъ воздыханія, и двѣ Тургеневскія драмы — почти-что конечныя причины его исчезновенія въ литературѣ.

Талантъ Тургенева — такъ гибокъ и мягокъ, что не только выносилъ на себѣ всѣ вѣянія эпохи, не только подчинился теоріямъ, — онъ подчинился даже модамъ, чисто-случайнымъ повѣтріямъ.

Въ промежутокъ между свѣршествованіемъ сентиментальнаго натурализма и утвержденіемъ владычества натурализма простого, — праздный и пустой въ сущности, какъ всякій промежутокъ, — въ литературѣ появилось баловство, большею частію дамское, въ видѣ драматическихъ пословицъ и поговорокъ изъ великосвѣтскихъ, или по-крайней-мѣрѣ тонко развитыхъ, слоевъ жизни. Форма занята была на прокатъ у Альфреда де-Мюссе, который, какъ поэтъ, умѣлъ владѣвать даже и въ эту скудную и сухую форму поэзію и содержаніе — только, впрочемъ, тамъ, гдѣ бралъ предметы не изъ свѣтской жизни; ибо въ своихъ «Il faut qu'une porte», «Un carpiçe» — и онъ даже, истинный поэтъ, выпутывался изъ затруднительнаго для поэта положенія только блестящей шумихой рѣчи. У насъ, отъ застоя, скуки и праздности, родъ этотъ принялся очень-скоро, и въ немъ нашли для себя выходъ многія, чувствовавшія потребность литературно изливаться, тонкія и развитыя, преимущественно — какъ я уже сказалъ — дамскія личности. Родъ этотъ, какъ очень легкій, скоро достигъ до того, что получилъ общіе физиологическіе признаки, а именно:

1) Сфера жизни въ таковыхъ драматическихъ пословицахъ и поговоркахъ бралась обыкновенно великосвѣтская, т. е. въ нихъ разсуждали и дѣйствовали — очень-много разсуждали и очень-мало дѣйствовали — люди свѣтскіе, и занимались въ нихъ различными, *нехитрыми* людямъ непонятными, дѣлами, какъ-то: держали пари на честь женщинъ, вызывали другъ-друга на эффектныя дуэли съ дешевой расплатой, или правильнѣе сказать «поколотыся», по наивному выраженію пушкинской капитанши.

2) Или были это люди, хотя и не большого свѣта, но за то разочарованные, такіе разочарованные, что «и стоялъ свѣтъ и будетъ стоять», какъ говоритъ сваха въ «Женитьбѣ», а такихъ разочарованныхъ не было и не будетъ.

3) Женскія лица были тоже барыни свѣтскія, или вообще *развитыя* весьма-тонко барыни, и занимались онѣ преимущественно тѣмъ, что называется технически *шроу въ чувство*, дѣломъ, хотя, конечно, и празд-



нымъ, но зато дававшимъ имъ всегда возможность высказывать различныя природенныя, благоприобрѣтенныя и даже противуестественныя свойства *прекрасной* и *изящно-развитой* личности.

4) Обыкновенно главный герой и героиня — чаще всего только два ихъ, съ присовокупленіемъ полубезмолвной пары низкихъ и неразвитыхъ природъ ладея и служанки — увѣряли себя въ невозможности любви вообще и въ своей взаимной, специальной къ одной неспособности.

5) Главнымъ-же образомъ — авторы всѣхъ подобныхъ произведеній стремились къ *тонкости*. Тонкость была повсюду: тонкость стана героини, тонкость голландскаго бѣлья, и т. д. — *тонкость*, однимъ словомъ, и притомъ такая, что станъ, того гляди, напомнитъ жердочку въ народной пѣснѣ:

Тонка — тонка — гнется, боюсь — переломится.

Разговоръ, то и дѣло, переходилъ во что-то «нехитрому уму» и *невоститанному* чувству непостижимое; чувства, того, бывало, и жди, совсѣмъ испарятся или улетучатся; тонкость голландскаго бѣлья чуть-что не ставилась главнымъ признакомъ человѣческаго достоинства.

6) Кончались *дѣла* обыкновенно или *мирно*, сознаниемъ героя и героини, что они *могутъ позволить себѣ любить*, изъ чего, eo ipso, выходило — за сценой, разумѣется — и желанное заключеніе, — или *трагически*: герой и героиня разставались «въ безмолвномъ и гордомъ страданьи», пародируя трагическую тему Лермонтова....

И этой жалкой модѣ, этому повѣтрію апатіи и праздности, — поддался, скажете вы, талантъ Тургенева?... Да, скажу я безъ запинки, и укажу прямо на «*Провинціалку*» и на «*Гдѣ тонко, тамъ и рвется*». Пусть «*Гдѣ тонко, тамъ и рвется*», по истинной тонкости анализа, по прелести разговора, по множеству поэтическихъ чертъ — стоитъ надъ всѣмъ этимъ *дамскимъ* и *кавалерскимъ* баловствомъ столь-же высоко, какъ пословицы Мюссе; пусть въ «*Провинціалѣ*» женское лицо очерчено, хотя и слегка, но съ мастерствомъ истиннаго артиста — почти такъ-же хорошо, какъ жена адвоката «Жаклина» въ извѣстной пословицѣ Мюссе, хоть и съ меньшею энергіею; но все-же эти произведенія — жертва модѣ и какая-то женская прихоть автора «*Записокъ охотника*», «*Рудина*» и «*Дворянскаго гнѣзда*»; все-же.... Но я лучше поворочу скорѣе медаль и скажу: хорошо, что Тургеневъ обмолвился этими жертвами модѣ — хорошо, что этотъ симпатичнѣйшій талантъ нашей эпохи искренне отдавался всѣмъ наитіямъ, искренне и мучительно переживалъ всѣ вѣянія, искренне и женственно увлекался всѣми литературными модами.

Талантъ съ глубокимъ и поэтическимъ, хотя постоянно неяснымъ, постоянно *вырабатываемымъ* на глазахъ читателя, содержаніемъ,—съ широкими зачинаніями (концепціями), хотя безъ энергіи въ ихъ выполненіи,—онъ не выше и не ниже своей эпохи. Его сердце билось въ одинъ тактъ съ нею. Прежде всего и больше всего, это — талантъ искренній, искренній даже въ *самообманываніи*.

Ибо, что такое *искренность*?—готовъ спросить я, какъ нѣкогда было спрошено: что такое истина?

## XI.

Быть искреннимъ! Искренность—слово огромной важности, но, подвергая критикѣ все, невольно подвергнешь критикѣ самое это слово, т. е. понятіе замыкающееся въ словѣ,—и въ пользу этого критическаго анализа искренности да позволено будетъ мнѣ еще новое отступленіе.

Есть люди, которые весьма искренне не понимаютъ Шекспира и весьма искренне въ этомъ сознаются; знавалъ я даже такихъ, которые весьма искренне ругали Шекспира и ругали тѣхъ, которые, по ихъ мнѣнію, неискренне восторгались Шекспиромъ.... Знавалъ я также одну барыню, изъ очень эмансипированныхъ, которая помѣшалась на искренности и все сердилась на людей, что они ее преслѣдуютъ за искренность; дѣлая величайшія несообразности и даже, съ позволенія сказать, мерзости, эта барыня надоѣдала всѣмъ до смерти повторяемымъ ею на каждомъ шагу восклицаніемъ Марьи Андревны Островскаго: «зачѣмъ въ людяхъ такъ мало правды?»—Что-жь? вѣдь она, въ самомъ дѣлѣ была очень *искренна*! Она очень искренне, не смотря на свою эмансипацію, бранилась съ своими горничными дѣвками, искренне метала икру, т. е. выбрасывала передъ другими весь душевный соръ, каковой наносило ей вѣтромъ въ голову или сердце—если сердце у нея было—именно вѣтромъ, потому что своихъ собственныхъ мыслей или чувствъ у нея никогда не зарождалось; но, при всей этой искренности вѣшнихъ отправленій, она была въ высшей степени фальшива—чуть-ли не фальшивѣе другой барыни, которой огоньки фонариковъ, озарявшихъ мизерныя аллеи сада лѣтнихъ маскарадовъ, представлялись мерцающими звѣздочками, которая закатывала глаза подъ лобъ и, *несмотря* на глубочайшее невѣжество, говорила въ тонѣ героини Марлинскаго.

Впрочемъ, обѣ барыни были равно постыдно невѣжественны,—равно какъ и тѣ господа, отъ которыхъ мнѣ часто случалось слышать искрен-

нюю хулу на Шекспира... Виновать, впрочемъ: въ господахъ можно различить нѣсколько степеней невѣжества: 1) невѣжество, заматорѣвшее во днѣхъ, невѣжество русскаго помѣщика, 2) невѣжество молодое, невѣжество; примѣрно, бойкаго свѣтскаго юноши, 3) дубовое и дерзкое невѣжество школьника, всегда готоваго утвердительно эрготировать о вопросѣ: *an non spiritus existunt?*—воспитавшагося въ безплодной диалектической словобитнѣ, не страхнувшего съ себя чувства злобы, развиваемаго тяжелымъ гнетомъ бурсы, 4) окаменѣлое, опрагматизованное до поклоненія себѣ, ученое невѣжество специалиста, который *искренне* считаетъ все вздоромъ кромѣ предмета, который *онъ* удостоилъ избрать, и 5) невѣжество умное, но лѣнивое, рѣшившееся на всю жизнь остаться невѣжествомъ и знающее къ несчастію, что оно умно...

Все это—говору я вамъ—очень *искренне* будетъ *непонимать* многого и очень *искренне* заподозрять въ другихъ сочувствіе ко многому.

Должно еще сказать, что во многихъ подозрѣніяхъ своихъ оно окажется совершенно право. Вѣдь нѣтъ ничего хуже фальшивой впечатлительности—и нѣтъ ничего вреднѣе—ибо ничто неспособно такъ поддерживать застоя понятій, какъ фальшивая впечатлительность. Разбирая душевный хламъ свой, каждый изъ насъ можетъ убѣдиться, что множество дурныхъ и постыдныхъ—т. е. ложныхъ душевныхъ движеній держится въ насъ за извѣстные типы, къ которымъ мы приковались, за извѣстныя наносныя, а не родившіяся въ насъ впечатлѣнія, на которыя мы приучили, сперва нѣсколько насильственно, а потомъ уже очень легко и свободно, отзываться струны этого диковиннаго, безконечно сложнаго и вмѣстѣ цѣльнаго инструмента, называемаго душею человѣческою.

Въ недавнее время одинъ изъ добросовѣстнѣйшихъ, хотя и не всегда строго-логическихъ, нашихъ мыслителей, одинъ изъ наиболѣе увлекающихся и стало быть наиболѣе способныхъ впадать въ ошибки,—анализируя характеръ Ивана Грознаго, высказалъ въ этомъ анализѣ затаенную вражду свою и цѣлаго направленія, къ коему принадлежитъ онъ—вражду къ художеству, художественной способности, красотѣ. Онъ отнесъ грознаго вѣнценосца къ числу художественныхъ натуръ, которыми правда, жизнь уразумѣвается только черезъ образъ, въ который она облекается, и только по степени того, прекрасенъ-ли и эффектенъ-ли образъ или нѣтъ. Признаюсь вамъ откровенно, что эта мысль, высказанная притомъ съ замѣчательною ясностью и съ кажущеюся глубиною, мысль, мучившая меня и прежде, борьба съ которой въ мукахъ рожденія вылилась въ статьѣ моей «о правдѣ и искренности въ искусствѣ»—опять меня долго внутренне мучила, но опять превратилась въ тотъ-же результатъ, т. е. въ то, что *встѣмъ*, а не одной категоріи людей, *правда*

дается *красотою, образомъ*, что разумѣніе истины обусловлено художественною способностью, въ каждомъ изъ насъ болѣе или менѣе существующею. Бываетъ только красота *истинная* и красота *фальшивая*,— но отзывъ на правду пробуждается въ нашей душѣ *непрѣменно* красотою. Красота одна можетъ воплотить правду, и такое воплощеніе сообщаетъ намъ живую увѣренность въ бытіи, свойствахъ и дѣйствіяхъ правды. Голая мысль, добытая однимъ мозговымъ процессомъ, однимъ логическимъ путемъ, т. е. выведенная изъ однихъ только отрицаній, остается для насъ всегда чѣмъ-то чуждымъ. Глубоко говоритъ относительно этого Шеллингъ, когда, разбирая идею монотеизма, замѣчаетъ, что: «вообще, когда желаютъ знать, что именно *значитъ* извѣстное всемірно-историческое понятіе (а мы можемъ смѣло поставить: живое или жизненное понятіе)—не учебники и не компендіумы должно объ этомъ спрашивать. Произошло оно не черезъ посредство одной рефлексіи и школьной мудрости. По-крайней-мѣрѣ, уже столько мы знаемъ, что не найдено, не изобрѣтено оно человѣчествомъ, а *дано* ему... Если хотимъ мы проникнуть истинный, настоящій смыслъ понятія, принадлежащаго не школѣ, а человѣчеству (т. е. душѣ человѣческой, ибо для Шеллинга нѣтъ отвлеченнаго гегелевскаго человѣчества), мы должны взглядѣться въ него въ ту минуту, когда оно впервые являетъ себя міру» (т. е. въ его образъ).

Положеніе, извлекаемое изъ этихъ словъ Шеллинга, не есть только историческое или эстетическое,— оно есть міровое и душевное, равно прилагаемое къ великому и малому, лишь-бы только великое и малое входили въ кругъ мірового и душевнаго. Съ нимъ связана и та мысль, что *истинная* истина намъ не доказывается, а проповѣдуется, что — тѣмъ, разумѣется, которые «могутъ пріяти»—истина бываетъ очевидна съ перваго-же раза и дается не по частно, а всецѣло, какъ вообще, все, что ни дается душѣ человѣческой, дается не по частно, а всецѣло, или вовсе не дается. По частно и путемъ доказательствъ могутъ входить въ меня только математическія истины, отъ коихъ мнѣ ни тепло ни холодно. За логическій выводъ мы не пожертвуемъ жизнию, ни даже благосостояніемъ—а если и пожертвуемъ, то пожертвуемъ не собственно за него, а за подкладку живыхъ душевныхъ образованій, съ коими онъ связанъ, за *правду* собственной натуры, или за смутное предчувствіе живаго будущаго образа, которому логическій выводъ отворяетъ почтительно двери...

Впечатлѣнія и созерпанія наши держатся за типы, сложившіеся въ нашемъ душевномъ мірѣ,— и все дѣло въ томъ, какъ сложились эти типы, когда, изъ чего—и, наконецъ, точно-ли они *сложились* и образо-

вали живые органическіе образы, или-же засорили душу какъ наносные пласты?... Однимъ словомъ, дѣло въ томъ: 1) вѣримъ-ли мы въ эти типы или готовые данныя души, или 2) не вѣримъ, но, восхищаясь ими (сознательно или безсознательно — это тоже очень важно), хотимъ въ нихъ вѣрить, или 3) не вѣря въ нихъ и даже не чувствуя никакого особаго къ нимъ влеченія, укореняемъ ихъ въ душѣ по причинамъ совершенно внѣшнимъ, и уже не естественно, а, напротивъ, искусственно, насильственно заставляемъ себя на нихъ отзывать.

Крѣпость простого, неразложеннаго типа и здоровая красота его, въ особенности, когда мы возьмемъ его въ противоположеніи съ тою *безцветностью*, какую представляютъ *типы* вторичныхъ и третичныхъ, но во всякомъ случаѣ искусственныхъ, образованій, которые населяютъ годову многихъ, весьма, впрочемъ, образованныхъ господъ, — эти-то *прекрасныя* качества типа цѣльнаго, выигрывающія въ особенности отъ противоположенія, и могутъ вовлечь въ наше время въ искушеніе всякую живую натуру. Живая же натура познается потому — какъ она воспринимаетъ правду: черезъ посредство логическихъ выводовъ, или черезъ посредство типовъ. Любовь къ типамъ и стремленіе къ нимъ есть стремленіе къ жизни и къ живучему и отвращеніе отъ мертвечины, гнили и застоя — жизненныхъ или логическихъ. Гоголь приходилъ въ глубокое отчаяніе отъ того, что нигдѣ не видалъ прекраснаго, т. е. цѣльнаго человѣка, и погибъ въ безплодномъ стремленіи отыскать прекраснаго человѣка. Не зная, гдѣ его искать (ибо малороссъ Гоголь не зналъ великой Россіи — пора уже это сказать прямо), онъ сталъ по частямъ собирать прекраснаго человѣка изъ осколковъ тѣхъ-же кумировъ формализма, которые разбилъ онъ громами своего негодующаго смѣха. Вышли образы безличныя, сухіе, непривлекательныя, почти-что служащіе оправданіемъ великорусскому мошенничеству Ерша Ершовича или друга нашего Павла Ивановича Чичикова.

## ХІІ.

Процессъ исканія простого и непосредственнаго — завелъ насъ на первый разъ въ неминуемую односторонность. За простое и непосредственное, за чисто типовое, мы на первый разъ приняли тѣ свойства души, которыя сами по себѣ суть отрицательныя, а не положительныя.

Первый приемъ нашей эпохи въ этомъ дѣлѣ былъ приемъ чисто-механическій.

Въ литературахъ западныхъ, вслѣдствіе работы анализа надъ утонченными и искусственными феноменами въ организаціи человѣческой души, вслѣдствіе необходимаго затѣмъ пресыщенія всѣмъ искусственнымъ и даже всѣмъ цивилизованнымъ,—явилось стремленіе къ непосредственному, непочатому, свѣжему и органически-цѣльному. Существенное въ таковыхъ стремленіяхъ величайшаго поэта нашей эпохи, Занда, равно какъ и нѣкоторыхъ другихъ западныхъ писателей — а въ числѣ ихъ есть люди столь замѣчательные, какъ авторъ «Деревенскихъ разсказовъ» Ауэрбахъ — было именно это стремленіе, порожденное анализомъ съ одной стороны и пресыщеніемъ съ другой.

То же самое стремленіе, по закону отраженія, которому мы подверглись съ петровской реформы, вдвинувшей насъ, хоть и напряженно, но естественно въ кругъ общечеловѣческой жизни,—явилось и въ нашей литературѣ. По-крайней-мѣрѣ, несомнѣнно таково происхожденіе той школы описателей простаго непосредственнаго быта, которой замѣчательнѣйшимъ представителемъ былъ Григоровичъ. Не внутреннимъ, но внѣшнимъ, чисто рефлексивнымъ процессомъ порождены даже самыя даровитыя произведенія этой школы: «Деревня», «Антонъ Горемыга». Всѣ они не болѣе какъ мозаика, составная работа. Какъ-будто даровитый, но заѣзжій изъ чужихъ краевъ, путешественникъ — подмѣчаетъ въ нихъ особенныя черты любопытнаго ему быта, записываетъ въ памятную книжку странныя для него слова и оригинальные обороты рѣчи — и складываетъ потомъ съ большимъ тщаніемъ и вкусомъ свою мозаическую, миниатюрную картинку. Картинка эта принимаетъ необходимо идиллическій характеръ...

Но, кромѣ этого чисто-механическаго процесса, въ насъ совершался еще процессъ органическій, процессъ, который очеркомъ обозначилъ свои грани въ нашемъ величайшемъ, единственно полномъ художественномъ явленіи, въ Пушкинѣ,—процессъ борьбы Ивана Петровича Бѣлкина съ Сильвіо, Германомъ, Алеко и т. д.,—борьбы скудной, еще невоздѣланной почвы съ непомѣрно-развившимися растительными силами.

Представителемъ этого органическаго пушкинскаго процесса во всѣхъ его фазахъ—былъ въ нашу эпоху Тургеневъ, и вотъ въ чемъ его великое историческое значеніе. Онъ не обладалъ этимъ процессомъ, не былъ заклинателемъ стихій, какъ Пушкинъ, не былъ однимъ-словомъ сознательною, т. е. гениальною силою, провидящею въ далѣ, захватывающею будущія грани,—но онъ, какъ высоко-поэтическая натура, отзывался на всѣ вѣянія пережитыхъ имъ эпохъ процесса, передавалъ намъ искренне весь свой внутренній міръ, и непосредственно-смѣло—

вопреки мягкости поэтической природы—доводилъ художественно всякое вѣяніе до его крайнихъ послѣдствій. На лермонтовскій романтизмъ онъ отозвался «Тремя портретами»; на лермонтовскія по принципу и гоголевскія по формѣ изображенія дѣйствительности въ трагически-мрачномъ или трагически-грязномъ видѣ—поэмою *Помѣщикъ*, исполненною протеста личности и вражды къ *козлинымъ* башмакамъ; на сентиментальный романтизмъ праваго Гегелизма—«Яшей Пасынковымъ»; на сентиментальный натурализмъ—своими драмами и превосходнымъ рассказомъ «Пѣтушковъ»; на идиллическую школу народности—сельской Офеліей въ «рассказахъ Охотника»... На чисто органическій протестъ за простое, непосредственное и типовое—отеликался онъ многимъ, всей своею дѣятельностью, всей борьбой съ блестящимъ, извнѣ пришедшимъ типомъ, впадая въ противорѣчія, въ крайности, то какъ «Муму» льстившія славянофильству, то какъ «Постоялый дворъ» дышавшія протестомъ. Явно мучительно переживалъ онъ всѣ эти противорѣчія и, бессознательно-женственно подчиняясь вѣяніямъ, служа ихъ органомъ, выходилъ все-таки самимъ собою, благодаря опять-таки высоко-поэтической, никакимъ теоріямъ не поддающейся, натурѣ.

Анализъ дѣятельности Тургенева есть поэтому анализъ цѣлой нашей эпохи со множествомъ ея процессовъ. Другого столь полного ея представителя у насъ—нѣтъ. Островскій и Толстой, каждый въ своемъ родѣ—сильнѣе Тургенева, но одностороннѣе.

Вотъ почему, говоря о Тургеневѣ, по поводу его послѣдняго произведенія,—критикъ вынужденъ дѣлать безпрестанныя отступленія, вслѣдствіе безпрестанно возникающихъ вопросовъ. Вопросы эти—наши современные *душевные* вопросы: они столь же важны, какъ и наши гражданскіе; они можетъ быть глубоко связаны и съ сими послѣдними—и ихъ, этихъ глубокихъ вопросовъ, никто не будить въ душѣ такъ сильно, какъ Тургеневъ.

Въ своей поэтической искренности, онъ, какъ Лаврецовъ его послѣдняго произведенія, дошелъ до того, что

.... сжегъ все, чему поклонялся,  
Поклонился всему, что сжигалъ.

Мы, т. е. публика, читатели, были свидѣтелями и этихъ сжиганій и этихъ поклоненій сожженному. Больше еще: мы могли видѣть и то, какъ поклоненіе первоначально сожженному, какъ стремленіе Ивана Петровича Бѣлкина къ первоначально-отвергнутому простому, типовому—переходило границы; какъ старый, душою глубоко воспринятый типъ мстилъ за себя въ апофеозѣ Рудина; какъ ложное отношеніе къ

этому типу и увлеченіе типомъ чисто-отрицательнымъ сказывались психологическими промахами, художественною рѣзкостью или художественною неполнотою во многихъ прекрасно задуманныхъ созданіяхъ....

Критикъ вправѣ поэтому поднять еще новый общій вопросъ, продолжать свою ралсодію о значеніи искренности.

### XIII.

Вы знаете, вѣроятно, по личнымъ опытамъ, что первый врагъ нашъ въ дѣлѣ воспріятія впечатлѣній — это мы сами, это наше я, которое становится между нами и великимъ смысломъ жизни, не даетъ намъ ни удержать, ни даже уловить его, набрасывая на все виѣшнее колоритъ различныхъ душевныхъ нашихъ состояній, или, — что еще хуже того и что часто бывало, вѣроятно, съ каждымъ изъ насъ, — не даетъ ни о чемъ думать кромѣ самого себя, примѣшивая ко всему новому ржавчину, часто ядовитую, стараго и прожитого, — или наконецъ (что тоже перѣдко бывало, вѣроятно, со многими, кто только добросовѣстно въ самомъ себѣ рылся и добросовѣстно готовъ обнаружить результаты этой работы) заставляетъ при воспріятіи впечатлѣнія болѣе думать о значеніи воспринимающаго въ дѣлѣ воспріятія, чѣмъ о значеніи воспринимаемаго. Другими, болѣе неперемонными, словами говоря, часто мы ловили и ловимъ самихъ себя, при извѣстныхъ впечатлѣніяхъ, на дѣлѣ, такъ сказать, совершенно актерскомъ: всегда какъ-то позируешь, если не передъ мухами какъ Зандовскій Орасъ, то передъ самимъ собою, т. е. передъ тѣмъ самимъ собою, который судитъ другого себя т. е. позирующаго, любитъ красотою его позъ и сравниваетъ съ позировкою другихъ индивидуумовъ. Вотъ тутъ-то, вслѣдствіе такого сличенія, и зарождаются различныя отношенія къ собственной позировкѣ. Если поза, принятая мною, позирующимъ, по сличеніи представится мнѣ, судящему, не мнѣ принадлежащею, а заимствованною, или даже (что надобно отличать) во мнѣ самомъ созданною искусственно, вытасченною изъ стараго запаса и насильственно повторенною, — тогда образуется къ этой позѣ отрицательное и просто даже насмѣшливое отношеніе. Критическимъ назвать это отношеніе еще нельзя, ибо оно еще не свободное и родилось изъ чувства самосохраненія (сохраненія собственной личности), стало-быть, изъ необходимости, — есть состояніе необходимой обороны противъ упрека въ заимствованіи или въ повтореніи. Оборонительное положеніе берется даже часто въ *прожѣ*



на будущее время: ампутація, нѣсколько, конечно, болѣзненная, вытерп-ливається героически—и, избѣгая всѣми мѣрами обличеній въ подража-ніи, мы готовы довести себя до состоянія нуля, чистой *tabula rasa*—стусшеваться, говоря словомъ сентиментальнаго натурализма. Въ сущности же, это есть не что иное, какъ оборонительное положеніе, т. е. новая, если не красивая, то по крайней мѣрѣ *прочная* поза, принятая въ конечное обезпеченіе. Этотъ процессъ столь обыкновененъ, что совершается даже и во внутреннемъ мірѣ лицъ, которыя вовсе не занимаются душевнымъ рудокопствомъ. Какое первое отношеніе благоразумнаго большинства людей или собственно того, что есть *мѣщанство*, ко всему новому или необычному во внѣшней или внутренней жизни? (Я не говорю о толпѣ или о верхахъ — но о моральномъ и общественномъ *мѣщанствѣ*). Непремѣнно недовѣрчивость, т. е. желаніе видѣть невыгодныя стороны всего новаго. А почему? потому что мѣщанство боится всего болѣе подвергнуть свое *statu quo* опасности разрушенія или опасности, для многихъ еще большей, осмѣянія. Первый приемъ всего новаго всегда таковъ и вездѣ таковъ: это есть страхъ за личность и за все, что съ личностью тѣсно связано — общее свойство человѣческой натуры вслѣдствіе котораго преслѣдовали Галилеевъ и смѣялись надъ Колумбами, и вслѣдствіе котораго точно также все, мало-мальски галилеевское или колумбовское, въ нашей душѣ возникающее, принимается мѣщанскою стороною души съ недовѣрчивостью и подозрительностью. Такъ какъ, въ большей части случаевъ, мѣщанство (общественное или наше внутреннее) оказывается въ подозрительности своей правѣ дикаго энтузіазма, который именно только въ новое вѣрять и новому отдается, — такъ какъ большая часть галилеевскаго и колумбовскаго, возникающаго въ нашей душѣ, оказывается воздушными замками Морганы, — то оправданное недовѣріе становится для человѣка неглупаго просто догматомъ, точкою отправленія. Бѣда въ томъ, что точку отправленія многіе въ наше время такъ сказать, останавливаютъ, считаютъ за вѣчную цѣль, и это называютъ *критическимъ отношеніемъ*, когда съ нея только-что *начинается* критическое отношеніе нашего я къ самому себѣ.

Я посмѣялся, положимъ, надъ извѣстнаго рода впечатлѣніемъ, ибо увидалъ, что оно мною или занято безъ отдачи у другихъ, его переживавшихъ, или подогрѣто изъ стараго моего душевнаго запаса. — Хорошо! — Какое-же отношеніе къ извѣстному внѣшнему или внутреннему явленію поставилъ я въ душѣ на мѣсто того, которое отсѣчено анатомическимъ инструментомъ? Пустаго пространства быть между душой и жизнью не можетъ; — деревяшка возможна въ моральномъ мірѣ еще меньше. Что-нибудь да я поставилъ. Что-же именно?...

Возьмемъ какой-нибудь фактъ внутренней жизни — оно будетъ виднѣе.

Положимъ, я заподозрилъ въ себѣ, и заподозрилъ совершенно основательно, романтическое чувство любви. Беру поле всѣмъ доступное, «идѣе нѣсть ни мужескъ полъ, ни женскъ, ни Іудей, ни Еллинъ». Не найдется никого, на кого-бы именно то, что называется романтическимъ въ этомъ чувствѣ, не дѣйствовало когда-нибудь — скажу болѣе, на кого-бы оно совершенно утратило свое дѣйствіе.

Всякій чувствующій человекъ нашей эпохи понималъ-же хотя разъ, какъ, напримѣръ, сладко-больно тревожить себя цѣлый день обаяніемъ страстной и манящей женской рѣчи, слышанной наканунѣ, какъ отрадно быть больнымъ лихорадкой, что такое, однимъ словомъ,

Блаженство ночь не спать и днемъ бродить во снѣ...

и тому подобныя душевныя настроѣйства.

Романтическое впечатлѣніе заподозрѣно... Прекрасно! Романтическій колоритъ признанъ зашедшимъ откуда-то, или блюдомъ изъ подогрѣтыхъ остатковъ. Еще лучше! Значить, названіе впечатлѣнія признано на правдивомъ судѣ незаконнымъ. А что-то было однако? Недобросовѣстно-же сказать, что ничего не было!

А какъ только мы назвали, такъ и отнесли къ извѣстному роду, и приковали къ извѣстному типу.

Назовемъ-ли мы впечатлѣніе просто *китпніемъ* крови, т. е. одну физическую сторону впечатлѣнія признаемъ имѣющею права на имя, а оболочку — незаконною, фальшивою; или назовемъ это именемъ моральной симпатіи, или именемъ сентиментальнаго баловства: — въ томъ и другомъ и третьемъ случаѣ мы стараемся дать имя впечатлѣнію или чувству настоящее, вмѣсто того, которое мы нашли фальшивымъ.

Такъ у Писемскаго, въ «Бракѣ по страсти», чувство Мари Ступицыной къ Хазарову (не Хазарова къ ней — ибо тутъ ни на какое чувство и не посягалось) изъ романтическаго разжаловано въ чувственность на половину, въ баловство на другую — равно какъ романтическимъ чувствованіемъ М-ше Мампиловой дано ихъ настоящее имя, имя баловства, нравственнаго сладострастія, которому только робость и нѣкоторая вялость натуры мѣшаютъ перейти въ сладострастіе настоящее.

Такъ, съ большою злостью и злостью честною, если не съ искусствомъ, въ повѣсти Крестовскаго «Фразы» сведена съ романтическихъ ходулъ, — объяснена, растолкована, обличена въ эффектныхъ позахъ и эффектныхъ чувствахъ женская натура, представляющая собою крайнюю степень типа, къ которому принадлежитъ М-ше Мампилова. Но тутъ-же

мы и попадаемъ на различіе разоблаченія; кто скажетъ, чтобы анализъ Писемскаго былъ несправедливъ? Я, по-крайней-мѣрѣ, не скажу этого въ отношеніи къ М-ше Мамиловой, хоть многіе и сердились, даже печатно, за это лице на автора «Брава по страсти».

Странно между тѣмъ, что никто не сердился на автора повѣсти «Фразы». Я-же лично разсердился: — конечно, не за разоблаченіе лица эмансипированной барыни, а за недостатокъ глубины и рѣзкости въ разоблаченіи.... Стоитъ только сличить два этихъ образа, «М-ше Мамиллову» и героиню повѣсти «Фразы», чтобы понять — какое неизмѣримое различіе лежитъ между свободнымъ художествомъ, которое на все имѣетъ право и между произведеніями, къ которымъ относится извѣстный эпиграфъ: indignatio fecit versum, кои, будучи порожденіемъ однихъ только

Ума холодныхъ наблюденій  
И сердца горестныхъ замѣтъ,

имѣютъ странное свойство сердить за то, на что они нападаютъ совершенно законно. Замѣйте, между прочимъ, что г. Крестовскій знаетъ свѣтъ и свѣтскихъ женщинъ, умѣетъ говорить ихъ языкомъ, описывать ихъ обстановку—а Писемскій вовсе въ этомъ несиленъ. Но что до этого за дѣло? Психологическая правда и сила художественной концепціи, соединенная съ глубиною взгляда на человѣческую натуру вообще, даютъ художнику право на смѣлые очерки безъ красокъ и, съ другой стороны, на *малевку* того, что въ создаваемыхъ имъ образахъ есть слишкомъ частное — если эти образы не частными своими сторонами входятъ въ созданіе.

Но на что имѣетъ право художество, т. е. воплощеніе мысли, на то не все имѣетъ право. Голый анализъ еще не господивъ, а такой-же рабъ какъ безразличнѣйшій синтезъ. Анализъ только разбиваетъ ложь, только лишаетъ моральное явленіе незаконно принадлежащаго ему имени.

Анализъ сердить и сердить справедливо, когда явленію разоблаченному имъ, т. е. лишенному незаконнаго имени, придаетъ первое попавшееся—ибо тогда онъ становится неправъ въ свою очередь. Лучше сказать, голый анализъ сердить потому, что самъ сердится, — ибо сердятся на явленіе до тѣхъ поръ только, пока не опредѣлятъ ему въ душѣ мѣста и не назовутъ его по имени. За симъ, его казнятъ, оправдываютъ или оставляютъ въ сторонѣ, смотря по тому, какое его имя: старая-ли ложь, и притомъ злая-ли ложь, или глупая и пустая ложь, или новая правда.

Повѣсть «Фразы» разсердила лично меня именно тѣмъ, что она сама сердится и бьетъ съ плеча во что ни попало.

Авторъ казнить аффектацію чувства, безнравственность ощущеній, называющихъ себя тонкими и особенными — и что-же противопоставляетъ этому? Деревянную ограниченность чувства, — мѣщанскую добродѣтель, узенькія понятіяца губернскаго или вообще условнаго курятника. Такимъ образомъ, онъ рубить съ плеча не только мишурную одежду, т. е. *фразы*, но и живое тѣло — т. е. тревожное, страстное начало жизни, безъ котораго жизнь обратилась-бы въ губернскій муравейникъ.

Не таково истинное художество. Своимъ правдивымъ отношеніемъ къ фальши жизни оно не сердитъ, а «обращаетъ очи внутрь души» выражаясь словами Гамлета.

Скажу еще болѣе. Истинное художество даже не дѣйствуетъ прямо на то, что повидимому казнить. Въ этомъ заключается его высокая *безполезность*. Однимъ очень умнымъ человекомъ, по поводу «Доходнаго мѣста» Островскаго, высказано было, что Кукушкины, Юсовы и Бѣлогубовы, которые будутъ сидѣть въ театрѣ въ представленіе пьесы (котораго между прочимъ по неизвѣстнымъ причинамъ еще не воспользовало), вынесутъ изъ представленія *правила для жизни*, т. е. взгляды на жизнь Юсова, и заботы Кукушкиной о *воспитаніи* дочерей и домашнемъ *порядкѣ* примутъ вовсе не съ комической стороны, а за настоящее дѣло. Замѣчаніе въ высочайшей степени вѣрное — въ отношеніи ко всякому произведенію, имѣющему плоть и кровь. Сколько настоящихъ Кукушкиныхъ весьма наивно не узнали себя въ лицѣ комедіи, и сколько настоящихъ Юсовыхъ сочувствовали *глубинѣ* юсовскаго міросозерцанія на счетъ колеса фортуны!

Оскорбляются за разоблаченіе всякой неправды не тѣ, въ комъ «неправда вельми застарѣла», по выраженію старика Посопекова: наши подъячіе — я еще это помню — сами съ гитарой пѣвали остроумные и злые куплеты бывалаго времени насчетъ взяточничества, тотчасъ же вслѣдъ за романсомъ «Подъ вечеръ осенью ненастной», и подмигивали даже такъ плутовски, что радовались какъ-будто этому остроумію, въ полномъ убѣжденіи, что, дескать, «толкуй себѣ, толкуй — а ужъ это изъ поконъ вѣка заведено: не нами началось, не нами и кончится». Это отношеніе обличаемыхъ къ обличенію выразишь, съ нѣсколькими аристовановскою свободою приема, Островскій въ первоначальномъ заключеніи своей первой комедіи, въ обращеніи Лазаря Елизарыча къ публикѣ. Эту-же черту Крыловъ обозначилъ въ своемъ мѣткомъ стихѣ:

А Васька слушаетъ да ѣсть...

Только совѣтъ, который даетъ онъ повару — полезенъ для повара,

но не отбучить Ваську отъ лакомага куска; равно какъ и то, что Гоголь называетъ «страхомъ идущаго вдали Закона», весьма мало измѣнить нравственную сущность Антона Антоновича Сквозника-Дмухановскаго.... Ибо все это есть только чистое отрицаніе факта, только снятіе съ него фальшиваго имени, безъ заклеяенія его именемъ настоящимъ, такимъ именемъ, подъ которымъ-бы онъ въ душѣ получилъ опредѣленное мѣсто въ числѣ фактовъ—или совершенно незаконныхъ по *душевному*, внутреннему, а не внѣшнему только, извнѣ пришедшему, убѣжденію,—или законныхъ въ основахъ, но не законныхъ въ приложеніяхъ къ даннымъ обстоятельствамъ.

#### XIV.

Пустого мѣста въ душѣ оставить нельзя. Посадить на него вмѣсто факта пугало—не значить уничтожить фактъ, но заставить его только на время притвориться несуществующимъ. Живой фактъ вытѣсняется изъ души только живымъ-же фактомъ, т. е. фактомъ, составляющимъ для души убѣжденіе и сочувствіе.

Обращаясь къ тому, что я называю *романтическимъ* въ мірѣ нашей души, и скажу тоже самое. Литература пустилась отправлять обязанность повара—а въ продолженіе его проповѣдей романтическій Васька слушалъ да ѣлъ. Другіе отнимали обглоданный кусокъ—но Васька ералъ другой, можетъ быть по той простой причинѣ, что Васька ѣсть хотѣлось, а пищи ему не давали.... Кто говоритъ, что онъ хорошо дѣлалъ, что ералъ?—Кто говоритъ, что Печоринъ, «чувствуя въ себѣ силы необъятныя», занимался специально «высасываніемъ аромата свѣжей благоухающей души»—что Арбенинъ сдѣлался картежникомъ потому только, что—

Чиновъ я не хотѣлъ, а славы не добился.

—что Веретьевъ тургеневскаго «Затишья» съ его доровитостью пьянствовалъ, шатался и безобразничалъ, — что Хорьковъ *запилъ* на вѣкъ, а Тюфякъ умеръ отъ запоя, — кто говоритъ, что они правы? Но не на нихъ-же однихъ взложить всю вину безумной растраты силъ даромъ, на мелочи, или даже на зло.... Изъ всѣхъ этихъ *романтиковъ*, такъ или иначе себя сгубившихъ, такъ или иначе павшихъ въ бездны — одинъ только Любимъ Торцевъ, не смотря на безумную трату данныхъ ему силъ, не сдѣлался котомъ Васькой; для него одного — *воровство*, т. е. вообще нарушеніе порядка природнаго и общественнаго, не стало

чѣмъ-то нормальнымъ, чѣмъ стало оно и для Арбенина и для Печорина и для Владиміра Дубровскаго; и поэтому-то онъ, въ своемъ родѣ, совершенно правъ, говоря: «Любимъ Торцевъ пьяница, а лучше васъ всѣхъ»... Всѣ другіе — общественные отщепенцы, которые отъ совершенно законныхъ точекъ отправления пошли въ беззаконіе или въ ложь. Трагическое въ нихъ принадлежитъ не имъ, а тѣмъ силамъ, которыя они въ себѣ носятъ и безумно тратятъ или нелѣпо извращаютъ.

Между тѣмъ, нельзя не сознаться, что всѣ *положительныя* силы нашего духа покамѣсть выразились въ этомъ типѣ, который нарочно бралъ я на различныхъ степеняхъ его развитія и въ различныхъ общественныхъ положеніяхъ.

Вглядитесь во всѣ выраженія этого типа, отъ образовъ созданныхъ Пушкинымъ до гениальныхъ начинаній Лермонтова, до лицъ, постоянно мучившихъ и едва-ли еще переставшихъ мучить Тургенева; отъ гордой, вольнолюбивой и «какъ птичка беззаботной» — и вмѣстѣ восточно-эгоистической и ревливой природы Алеко, до того демонски унылаго и зловѣщаго блеска, которымъ окружилъ Тургеневъ фигуру своего Василья Лучинова; взгляните въ этотъ-же типъ, захваченный художниками въ болѣе простыхъ общественныхъ отношеніяхъ, какъ напри- мѣръ Островскимъ (Любимъ Тарцовъ и Петръ Ильичъ) или Писемскимъ (его «Тюфякъ»), — вы убѣдитесь, что въ этотъ типъ вошли наши лучшіе соки, наши *положительныя* качества, наши высшія стихіи — и въ артистически тонкую, широкую жажду наслажденія пушкинскаго Жуана — и въ критическую послѣдовательность печоринскаго цинизма — и въ холодное, сѣверное самообладаніе при бѣшеной южной страстности Василья Лучинова — и въ «прожиганіе жизни» Веретьева — и въ загулъ Любима Торцова. Только стихіи эти находятся въ состояніи необузданномъ. Ихъ «турманомъ кружить», говоря языкомъ драмъ Островскаго, и происходитъ это отъ того, что, какъ замѣчаетъ Бородинъ: «основательности нѣтъ... къ жизни», т. е. въ жизни у нихъ не было и нѣтъ, почти всегда по независящимъ отъ нихъ причинамъ, основъ, держась за которыя крѣпко какъ за центръ, онѣ сіяли-бы какъ наши блестящія, типовыя достоинства.

Всѣ попытки наши, т. е. попытки нашей литературы и нашего сознанія — выдвинуть типъ *положительно-дѣятельный* оказались мыльными пузырями въ Надимовѣ г. Сологуба, въ лицахъ комедій г. Львова, и даже, что всего горестнѣе, въ «Тысячѣ Душъ», произведеніи такого большого таланта, каковъ Писемскій.

Несостоятельность такого положительно-дѣятельнаго типа такъ чувствовалась по всей вѣроятности гениальною натурою Пушкина — что

онъ и не пытался создавать его. Онъ избралъ для себя на время какъ выходъ — отрицательный типъ Ивана Петровича Бѣлина и оставилъ его намъ въ наслѣдство.

Надобно сказать правду, что мы слишкомъ долго возимся съ этимъ наслѣдствомъ. Больше еще, — вслѣдствіе явной несостоятельности положительно-дѣятельнаго типа, который разрѣшается или фальшивой апотезой Калиновича, или сномъ и апатіей Обломова; вслѣдствіе, съ другой стороны, — необузданности положительныхъ стихій типа, не нашедшаго еще себѣ среды и простора, мы, т. е. сознание и органъ его, литература, чуть-было окончательно не перешли въ поклоненіе отрицательному типу....

И ни въ комъ, повторяю опять, вся эта мучительная борьба нашей эпохи не выражалась, послѣ Пушкина, съ такою полнотою, какъ въ Тургеневѣ, — и вы перестали уже вѣроятно удивляться, что столько общихъ душевныхъ вопросовъ связалось съ анализомъ его дѣятельности, что я на силу-то доѣхалъ — благополучно или нѣтъ, но доѣхалъ — до возможности говорить о данномъ въ настоящую минуту матеріалѣ, о его послѣднемъ произведеніи.

## СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

### XV.

То глубокое впечатлѣніе, которое произвело на всѣхъ болѣе или менѣе чувствующихъ людей, и притомъ въ разныхъ слояхъ общества, послѣднее произведеніе Тургенева, «Дворянское гнѣздо», впечатлѣніе, равное которому, въ другомъ, впрочемъ, родѣ, изъ всѣхъ литературныхъ явленій нынѣшняго и даже прошлаго года, произвела еще «Воспитанница» Островскаго, — можетъ быть объяснено только органическою жизнью, развитою въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», равно какъ и въ «Воспитанницѣ», органическимъ и неискусственнымъ процессомъ зарожденія художественной мысли, лежащей въ основѣ созданія. Сочувствіе, возбужденное двумя этими, далеко не совершенными, но органическими произведеніями, вовсе не похоже на сочувствіе, возбуждаемое другими, гораздо большими по объему, гораздо болѣе исполненными замѣчательныхъ частныхъ, гораздо болѣе возбуждающими интересъ любопытства.

Если начать, смотрѣть на «Дворянское гнѣздо» математически-хо-

дно, то постройка его представится безобразно недодѣланною. Прежде всего обнаружится огромная рама съ холстомъ, для большой картины; на этомъ холстѣ отдѣланъ только одинъ уголокъ, или пожалуй, центръ; по мѣстамъ мелькаютъ то совершенно отдѣланныя части, то обрисовки и очерки, то малеванье обстановки. Въ самомъ уголкѣ или, пожалуй, центрѣ, иное живетъ полною жизнію, другое является этюдомъ, пробой. А между тѣмъ, это и не отрывокъ, не эпизодъ изъ картины; нѣтъ, это драма, въ которой одно только отношеніе разработано; живое, органическое цѣлое, вырванное почти безжалостно изъ обстановки, съ которой оно связано всѣми своими нервами; и оборванные нити, оборванные связи безобразно висятъ на виду зрителей.

Я думаю, что хуже того, что я говорю о произведеніи одного изъ любимыхъ моихъ современныхъ писателей, сказать нельзя, а между тѣмъ, это только справедливо, равно какъ, съ другой стороны, справедливо и то, что безобразно недоконченное «Дворянское гнѣздо», какъ слишкомъ смѣло и сжато набросанная «Воспитанница», неизмѣримо выше всего, что являлось въ литературѣ настоящаго и прошлаго года; ибо эти произведения хотя и недодѣланныя, или набросанныя, но за то не дѣланныя, а живыя, живорожденные.

Вы скажете, можетъ быть, что я захожу слишкомъ далеко и въ строгости суда и въ увлеченіи. Но думаю и надѣюсь доказать, т. е. по возможности показать это,—на сей разъ, только по отношенію къ «Дворянскому гнѣзду».

## XVI.

Огромный холстъ, натянутый для огромной исторической картины, уцѣлѣлъ, во-первыхъ, въ самомъ названіи романа, во-вторыхъ, въ рѣзкомъ и нехудожественномъ выраженіи мысли въ эпилогѣ. Дѣло ясное, что художнику созданіе его дѣйствительно явилось первоначально въ огромномъ очеркѣ цѣлаго гнѣзда типовъ изъ дворянскаго сословія известной полосы мѣстности. Центромъ, связью всей широко задуманной исторической картины должно было быть одно отношеніе, отношеніе Лаврецаго и Лизы. Центръ былъ взятъ въ высочайшей степени правильно, съ истиннымъ тактомъ поэта, какъ мы увидимъ; въ зачинаніи (концепціи) образовывался романъ, т. е. созданіе, долженствовавшее связать частное драматическое отношеніе съ цѣлымъ особеннымъ міромъ, съ особенною полосою мѣстности, съ нравами особой жизни.... Задачи предстояли истинно огромныя, ибо и самая особенность жизни,



замкнутость міра, должны были быть оразумлены, освѣщены, приведены въ органическую связь съ общею жизнью. «Дворянское гнѣздо» должно было обвить, какъ разнообразный растительный міръ, центральную группу, и свѣтъ, падающій преимущественно на эту группу, въ известной степени озарилъ бы и всѣ перспективы того міра, съ которымъ центральная группа связана физиологическимъ единствомъ. Вотъ для чего явнымъ образомъ готовился огромный холстъ картины. Ибо иначе, зачѣмъ бы 1) Тургеневъ окружилъ своего Лаврецака новыми отпрысками стараго гнѣзда, 2) зачѣмъ бы онъ сталъ толковать о его предкахъ и 3) сопоставлять его въ сравненіе съ ними посредствомъ бесѣды съ ихъ портретами? Зачѣмъ бы онъ, съ другой стороны, — еслибы первоначально у него не было такого или подобнаго широкаго зачинанія, — зачѣмъ бы онъ сталъ *обобщать* частный характеръ отношеній, придумывать, на примѣръ, для душевной драмы своей Лизы выходъ обще-русскій, т. е. одинъ изъ общерусскихъ выходовъ — монастырь? Зачѣмъ бы иначе и самая встрѣча Лаврецака въ монастырѣ съ Лизою? — все то, однимъ словомъ, что въ его созданіи набросано, намалевано, и не оскорбляетъ какъ сочиненное, сдѣланное, только потому, что оно явнымъ образомъ вырвано изъ живаго органическаго единства, такъ что по неволѣ скажешь: все это безобразно, у всего этого висятъ оборванные члены, но все это рождалось, а не составлялось; это выкидышъ, а не гомункулусъ Вагнера, недоношенное созданіе поэта, а не трудъ сочинителя. Зачѣмъ, спросили бы вы опять при томъ же условіи, этюдъ въ видѣ фигуры старика музыканта Лемма? Вѣдь онъ явно нуженъ только въ одну минуту психологической драмы, минуту, когда необходимы душѣ человѣческой бетговенскіе звуки, да и тутъ онъ явнымъ образомъ стоитъ какъ тѣнь Бетговена. Ну, для чего *иначе* онъ нуженъ, сами согласитесь? О «чистыхъ звѣздахъ» могъ мечтать и безъ него Лаврецкій; записку передать Лизѣ можно было и не черезъ него. Развѣ только еще для того, чтобы простое и истинно-глубокое чувство изящнаго, врожденное натурѣ Лаврецака, оттѣнить отъ ложной артистичности Паншина? Зачѣмъ, спросили бы вы съ совершеннымъ правомъ, превосходное, но чисто эпизодическое появленіе оригинальнаго Михалевица и превосходная бесѣда съ нимъ, если бы Лаврецкій, съ одной стороны физиологически связанный съ дворянскимъ гнѣздомъ, до того связанный, что вѣрить въ предсказаніе тетки Глафиры Петровны: «помани мое слово племянникъ: не свить же и тебѣ гнѣзда нигдѣ, скитаться тебѣ вѣкъ», — если бы этотъ самый Лаврецкій не былъ глубоко, душевно связанъ еще и съ міромъ Рудина; Фауста, Гамлета Щигровскаго уѣзда?

И послѣднее «зачѣмъ» порождаемое всѣми этими различными и при

строгомъ чтеніи непрерывно возникающими «зачѣмъ» — будетъ вотъ какое:

Зачѣмъ Тургеневъ не далъ вырѣть своему зачинанію, т. е. зачѣмъ Тургеневъ не *повѣрилъ* въ свое зачинаніе, въ возможность его осуществленія? Повѣрь онъ въ него крѣпко, тою вѣрою, которая заставляетъ двигаться горы, раскидываетъ міры короля Лира, Сна въ лѣтнюю ночь, или міры Консуэло, Теверино, и т. д., — вышло бы нѣчто, такое, что пережило бы нашу эпоху, какъ одно изъ цѣльныхъ ея выраженій, нѣчто истинно эпическое...

А изъ этого «зачѣмъ» возникаетъ новое и послѣднее «зачѣмъ», относящееся уже ко всей эпохѣ нашего теперешняго развитія. Ибо такое же «зачѣмъ», какъ къ Тургеневу, можете вы въ другихъ отношеніяхъ обратить къ Островскому и за «Воспитанницу», и за «Доходное мѣсто», и болѣе всего за высшее по задачамъ его произведеніе, за «Не такъ живи какъ хочется». Къ Толстому — дѣло другое — обращается всегда почти другое «зачѣмъ» — зачѣмъ *гибель сія бысть*, т. е. зачѣмъ показывается столько силъ таланта, столько могучихъ его капризовъ при отсутствіи содержанія?.. Въ отношеніи же къ Тургеневу и къ Островскому вопросъ переходитъ въ вопросъ эпохи, разумѣется, эпохи, взятой исключительно у насъ на Руси, — эпохи, въ которую всѣ зачинанія только поднимаются какъ пѣна, не давая даже браги, не то что пива, раскидываются широко и распадаются какъ фата-моргана, — эпохи пробы огромныхъ силъ, не выработавшихъ себѣ простора дѣятельности, и между тѣмъ страшно возбужденныхъ, силъ, неминуемо долженствующихъ кончать свои попытки невѣриемъ... въ тѣ широко раскидывающіеся міры, которые имъ грезятся!

Печальная, если вы хотите, эпоха, когда таланты съ глубокимъ содержаніемъ не найдутъ формъ для содержанія, въ которыя-бы они повѣрили — и даютъ намъ только добросовѣстную борьбу вмѣсто художественныхъ міровъ, или позазываютъ даромъ и безцѣльно силы дарованія, а сильные таланты второстепенные строятъ искусственно цѣлыя большія зданія, чуть-что не на основахъ азбучныхъ или по-крайней-мѣрѣ практическихъ, но ужъ во всякомъ случаѣ никакъ не художественныхъ, мыслей, — печальная эпоха, когда искусство не видитъ вдаль и не оразумливаетъ явленій быстро несущейся впередъ жизни!

## XVII.

Центръ драмы, которая съ широкою обстановкою рисовалась явнымъ образомъ въ воображеніи художника при зачинаніи его произведенія, — Лаврецкій и его отношеніе къ Лизѣ.

Я не стану, какъ я уже оговаривался прежде, ни вамъ въ особенности, ни читателямъ вообще, не только рассказывать, даже наименовать содержанія «Дворянскаго гнѣзда». Я читалъ его четыре раза, и притомъ въ разные сроки; вы, вѣроятно, да и большинство читателей, тоже не одинъ разъ. Повторю опять, произведеніе сдѣлало глубокое впечатлѣніе: оно болѣе или менѣе всѣмъ извѣстно, за исключеніемъ развѣ тѣхъ, кто читаетъ «Прекрасную Астраханку», «Атамана Бурю», или «графа Монте-Кристо» и романы Поля Феваля. Стало быть, я могу слѣдить за психологическимъ развитіемъ характеровъ, не прибѣгая къ разсказу, у критиковъ всегда почти вялому, о событіяхъ, лицахъ, или положеніяхъ, въ которыя они поставлены.

И такъ, на первомъ планѣ — Лаврецкій: на него падаетъ весь свѣтъ въ картинѣ; его лично отбѣняетъ множество фигуръ и подробностей, а тѣ психологическія задачи, которыхъ онъ взятъ представителемъ, положительно отбѣняются всѣми фигурами и всѣми подробностями. Такъ и слѣдуетъ, такъ родилось, а не сочинилось созданіе въ душѣ артиста; фигура Лаврецкаго и психологическія задачи, которыхъ представителемъ онъ является, имѣютъ важное значеніе въ нравственномъ, душевномъ процессѣ поэта и нашей эпохи. Лаврецкій, прежде всего, — послѣднее (т. е. до-сихъ-поръ) слово его борьбы съ типомъ, который тревожилъ и мучилъ его своей страстностью и своимъ крайнимъ, напряженнымъ развитіемъ, типомъ, дразнившимъ его, и который онъ самъ додразнилъ нѣкогда въ себѣ до созданія Василья Лучинова. Лаврецкій — полнѣйшее (покамысль, разумѣется) выраженіе протеста его за доброе, простое, смиренное, противъ хищнаго, сложно-страстнаго, напряженно-развитаго. Между тѣмъ, личность эта вышла сама чрезвычайно сложною, можетъ быть потому, что самая борьба поэта съ противоположнымъ типомъ далеко еще непокончена, или поканчивалась имъ досель насильственно, и постоянно отдается, какъ отдалась она явно въ Рудинѣ.

Лаврецкій отчасти то лице, которое съ необычайною силою и энергією, всею безпощадною послѣдовательностью правды, но не освѣтивши никакимъ разумно-художественнымъ свѣтомъ, изобразилъ Писемскій въ высшемъ до-сихъ-поръ по тону и по душевнымъ задачамъ своемъ произведеніи, въ «Тюфякѣ». Его любовь изъ-за ула къ Варварѣ Павловнѣ,

его женитьба, самая драма, разыгрывающаяся съ нимъ въ его брачныхъ отношеніяхъ, представляютъ немалое сходство съ любовью, женитьбой и драмой брачныхъ отношеній героя Писемскаго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, это сходство только внѣшнее. Лаврецкій—тюфякъ только по виду, тюфякъ до тѣхъ поръ только, пока онъ спалъ моральнымъ сномъ. Вешметевъ Писемскаго—звѣрь, звѣрь съ нашимъ роднымъ и нѣжно нами любимымъ хвостомъ, и авторъ почти-что холитъ и лелѣетъ въ своемъ героѣ это, по истинѣ столь драгоценное, украшеніе. Страшная по своей правдѣ, до возмущенія души страшная сцена за обѣдомъ, гдѣ Павелъ, выпивши, бесѣдуетъ о женѣ съ лакеемъ при самой женѣ, и множество другихъ подробностей полагаютъ неизмѣримую разницу между нимъ и Лаврецкимъ. Сходство между ними только внѣшнее, а между тѣмъ, Лаврецкій въ глазахъ Марьи Дмитріевны, называющей его тюленемъ, Паншина, своей жены, М-г Эрнеста и вѣроятно М-г Жюля, пишущаго фельетоны о *M-me de Lavretzky, cette grande dame si distinguée, qui demeure rue de P.*,—въ глазахъ ихъ онъ—тюфякъ, или, какъ выражается М-г Эрнестъ въ письмѣ къ его женѣ, *gros bonhomme de mari*. Больше еще,—даже въ глазахъ Мары Тимофеевны, этой уже совершенно непосредственной и вовсе не зараженной утонченными вкусами натуры, онъ тоже тюфякъ, хоть и очень хорошій человѣкъ. «Да онъ я вижу на всѣ руки... Каковъ тихоня?» говорить она съ удивленіемъ, узнавши объ отношеніяхъ его къ Лизѣ... Стало быть и она не подозрѣвала, что онъ можетъ увлечь женщину... Все дѣло въ томъ, что Лаврецкій по натурѣ своей гораздо болѣе *тюфякъ*, чѣмъ герой Писемскаго. Герой Писемскаго—не просто тюфякъ: онъ, съ одной стороны, звѣрь, съ другой—циникъ, циникъ, коснѣющій въ своемъ цинизмѣ, циникъ, для котораго нѣтъ и выхода изъ его цинизма. Между самою женитьбой его, и стало быть между первымъ чувствомъ къ женщинѣ, или, лучше сказать, къ женственности, и таковымъ-же Лаврецкаго—большое различіе. Побудительныя причины женитьбы Павла Вешметева исключительно животненные: среда, въ которую онъ брошенъ, среда, съ которой не разорвало его—странное дѣло!—и университетское образованіе, а которая между тѣмъ такова, что *развитая* и *честная* сестра его балуетъ его животненные инстинкты и устрояетъ благополучно безнравственный бракъ съ нелюбящей его нисколько дѣвушкой, на основаніи всегдашней надежды, что дескать «стерпится—слюбится», эта среда холитъ, лелѣетъ и раститъ его хвостъ. Въ томъ, что Писемскій взялъ своего героя неотдѣлимо отъ его среды жизни, заключается и могущественная сила его произведенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ психологически-художественная ошибка. Натура страстная до звѣрства, сильная и впечатлительная,

дикарь и тюфякъ, Павелъ Бешметевъ влечетъ къ себѣ глубокое сочувствіе; но невольно вѣдь возбуждается вопросъ: какимъ образомъ мимо этой страстной и впечатлительной натуры прошло развитіе вѣка, какъ оно не подѣйствовало на него внутренне?—ибо внѣшнимъ образомъ онъ съ нимъ знакомъ, онъ читалъ, учился, учился даже основательнѣе героя «Дворянскаго гнѣзда», который почти-что самоучка... Павелъ Бешметевъ влюбляется чисто-животненно, любитъ нисколько не тоньше Задорь-Мановскаго, другого героя Писемскаго («Боярщина»); Павелъ Бешметевъ способенъ былъ-бы жить какъ мужъ съ своей женою, даже зная за нею невѣрности, что для Лаврецкаго невозможно, потому что онъ влюбился въ идеаль, а не въ плоть, любилъ идеаль; разъ идеаль разбился, — разбилась и любовь.

Сравненіе этихъ двухъ лицъ, *внѣшне-сходныхъ* и натурою и положеніемъ, чрезвычайно поучительно; но оно не приведетъ ни къ какому результату, если при немъ останешься только въ границахъ чисто-художественной критики.

Художественныя представленія—не порожденія мозга, а чада плоти и крови. Въ различіи представленія двухъ лицъ, принадлежащихъ повидимому къ одному типу, лежитъ на днѣ различіе моральныхъ, да и всякихъ вѣрованій, различіе всего міросозерцанія двухъ, повидимому недалекихъ одна отъ другой, эпохъ, изъ которыхъ къ одной, старшей по времени, принадлежитъ авторъ «Дворянскаго гнѣзда», а къ другой, младшей, авторъ «Тюфяка».

Одна эпоха вѣрвала исключительно въ развитіе, т. е. въ силы и ихъ стремленія.

Другая вѣрить исключительно въ натуру, т. е. въ почву и среду. Въ числѣ эпизодическихъ сценъ тургеневскаго произведенія, т. е. эпизодическихъ въ отношеніи къ одному, отдѣланному уголку его картины, а не къ цѣлому холсту, на которомъ задумывалась картина, есть одна, особенно поразительная своею глубокою вѣрою въ развитіе, въ силы; это—сцена свиданія Лаврецкаго и Михалевича, сцена, въ которой рисуется цѣлая эпоха, цѣлое поколѣніе съ его стремленіями, глубоко-знаменательная, *историческая* сцена, дополняющая изображеніе того міра, изъ котораго вышелъ «Рудинъ»... Вотъ она; я позволяю себѣ повторить ее вамъ и читателямъ; ибо въ ней все характеристично въ высочайшей степени:

«Когда Лаврецкій вернулся домой, его встрѣтилъ на порогѣ гостиной человѣкъ высокаго роста и худой, въ затасканномъ синемъ сюртукѣ, съ морщинистымъ, но оживленнымъ лицомъ, съ растрепанными сѣдыми бакенбардами, длиннымъ, прямымъ носомъ и небольшими,

воспаленными глазками. Это былъ Михалевичъ, бывшій его товарищъ по университету. Лаврецкій сперва не узналъ его, но горячо его обнялъ, какъ только тотъ назвалъ себя. — Они не видѣлись съ Москвы. — Посыпались восклицанія, распросы; выступили на свѣтъ Божій давно-заглохшія воспоминанія. — Торопливо выкуривая трубку за трубкой, отпивая по глотку чаю и размахивая длинными руками, Михалевичъ разсказалъ Лаврецкому свои походы; въ нихъ не было ничего очень-веселаго, удачей въ предпріятіяхъ своихъ онъ похвастаться не могъ, — а онъ безпрестанно смѣялся сиплымъ, нервическимъ хохотомъ. Мѣсяцъ тому назадъ получилъ онъ мѣсто въ частной конторѣ богатаго откупщика, верстъ за 300 отъ города О..., и, узнавъ о возвращеніи Лаврецкаго изъ-за границы, свернулъ съ дороги, чтобы повидаться съ старымъ пріятелемъ. *Михалевичъ говорилъ такъ-же порывисто, какъ и въ молодости, шумлъ и китлъ по-прежнему.* Лаврецкій упомянулъ-было о своихъ обстоятельствахъ, но Михалевичъ перебилъ его, поспѣшно пробормотавъ: «Слышалъ, братъ, слышалъ, — кто этого могъ ожидать?» — и *тотчасъ перевелъ разговоръ въ область общихъ разсужденій.*

«— Я, братъ, промолвилъ онъ, — завтра долженъ ѣхать; сегодня мы, ужъ ты извини меня, ляжемъ поздно. *Мнѣ хочется непременно узнать, что ты, какія твои мнѣнія, убѣжденія, чѣмъ ты сталъ, чему жизнь тебя научила?* — (Михалевичъ придерживался еще фразеологіи 30-хъ годовъ). Что касается до меня, я во многомъ измѣнился, братъ; *волны жизни упали на мою грудь, — кто бышь это сказалъ? — хотя въ важномъ, въ существенномъ я не измѣнился; я, по-прежнему, вѣрю въ добро, въ истину; но я не только вѣрю, — я вѣрую теперь, да — я вѣрую, вѣрую.* Послушай, ты знаешь, я пописываю стихи; въ нихъ поэзіи нѣтъ, но есть правда. Я тебѣ прочту мою послѣднюю піэсу; въ ней я выразилъ самыя душевныя мои убѣжденія. Слушай. — Михалевичъ принялся читать свое стихотвореніе; оно было довольно-длинно и оканчивалось слѣдующими стихами:

Новымъ чувствамъ всѣмъ сердцемъ отдался,

Какъ ребенокъ душою я сталъ:

И я сжегъ все, чему поклонялся,

Поклонился всему, что сжигалъ».

«Произнося послѣдніе два стиха, *Михалевичъ чуть не заплакалъ; легкія судороги — признакъ сильнаго чувства — пробѣжали по его широкимъ губамъ, некрасивое лицо его просвѣтлѣло.* Лаврецкій слушалъ его, слушалъ... *духъ противорѣчія зашевелился въ немъ; его раздражала всегда готовая, постоянно-кипучая восторженность московскаго студента.* — Четверти-часа не прошло, какъ уже загорѣлся между ними

споръ, одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на который способны только русскіе люди. Съ оника, послѣ многолѣтней разлуки, проведенной въ двухъ различныхъ мірахъ, не понимая ясно ни чужихъ, ни даже собственныхъ мыслей, цѣпляясь за слова и возражая одними словами, заспорили они о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ — и спорили такъ, какъ будто дѣло шло о жизни и смерти обоихъ; голосили и вопили такъ, что всѣ люди всполошились въ домѣ, а бѣдный Леммъ, который съ самаго пріѣзда Михалевича заперся у себя въ комнатѣ, почувствовалъ недоумѣнье и началъ даже чего-то смутно бояться.»

«— Что-же ты послѣ этого? разочарованный? кричалъ Михалевичь въ первомъ часу ночи.»

«— Развѣ разочарованные такіе бывають? возражалъ Лаврецкій; тѣ всѣ бывають блѣдные и больные, — а хочешь, я тебя одной рукой подниму?»

«— Ну, если не *разочарованный*, то *скептыкъ*, это еще хуже (выговоръ Михалевича отзывался его родиной, Малороссіей). А съ какого права можешь ты быть скептикомъ? Тебѣ въ жизни не повезло, положимъ; въ этомъ твоей вины не было; *ты былъ рожденъ съ душой страстной, любящей*, — а тебя *насильственно отводили отъ женщины*; первая попавшаяся женщина должна была тебя обмануть.»

«— Она и тебя обманула, замѣтилъ угрюмо Лаврецкій.»

«— Положимъ, положимъ; я былъ тутъ орудіемъ судьбы, — *впрочемъ, что это я вру—судьбы нѣту*; старая привычка неточно выражаться. — Но чтожь это доказываетъ?»

«— *Доказываетъ то, что меня съ дѣтства вывизнули.*»

«— А ты себя вправы! — на то ты человекъ, ты мужчина; энергій тебѣ не занимать стать! Но какъ-бы то ни было, развѣ можно, развѣ позволительно — частный, такъ сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило?»

«— Какое тутъ правило? перебилъ Лаврецкій; я не признаю...»

«— Нѣтъ, это твое правило, правило, перебивалъ его въ свою очередь Михалевичь.»

«— Ты эгоистъ, вотъ что! гремѣлъ онъ часъ спустя: — ты желалъ самонаслажденья, ты желалъ счастья въ жизни, ты хотѣлъ жить только для себя...»

«— Что такое самонаслажденье?»

«— И все тебя обмануло; все рухнуло подъ твоими ногами.»

«— И оно должно было рухнуть. Ибо ты искалъ опоры тамъ, гдѣ ее найти нельзя; ибо ты строилъ свой домъ на зыбкомъ пескѣ.»

«— Говори яснѣй, безъ сравненій, *ибо* я тебя не понимаю.»

«— Ибо, — пожалуй, смѣйся, — ибо нѣтъ въ тебѣ вѣры, нѣтъ теплоты сердечной; умъ, все одинъ только копѣчный умъ... ты, просто, жадный отсталой вольтеріанецъ — вотъ ты кто.»

«— Кто, — я вольтеріанецъ?»

«— Да, такой-же, какъ твой отецъ, — и самъ того не подозреваешь.»

«— Постѣ этого, воскликнулъ Лаврецкій, — я вправѣ сказать, что ты фанатикъ!»

«— Увы! возразилъ съ сокрушеніемъ Михалевичъ, — я, къ несчастію, ничѣмъ не заслужилъ еще такого высокаго наименованія...»

«— Я теперь напелъ, какъ тебя назвать, кричалъ тотъ-же Михалевичъ въ 3-мъ часу ночи. — Ты не скептикъ, не разочарованный, не вольтеріанецъ, ты — байбакъ, и ты злостный байбакъ, байбакъ съ сознаниемъ, не наивный байбакъ. Наивные байбаки лежатъ-себѣ на печи и ничего не дѣлаютъ, потому-что не умѣютъ ничего дѣлать; они и не думаютъ ничего; — а ты мыслящій человекъ — и лежишь; ты могъ-бы что-нибудь дѣлать — и ничего не дѣлаешь; лежишь сытымъ брюхомъ кверху и говоришь: такъ оно и слѣдуетъ лежать-то, потому-что все, что люди ни дѣлаютъ, — все вздоръ и ни къ чему не ведущая чепуха.»

«— Да съ чего ты взялъ, что я лежу? твердилъ Лаврецкій; — почему ты предполагаешь во мнѣ такія мысли?»

«— А сверхъ-того вы всѣ, вся ваша братія, продолжалъ неутомный Михалевичъ, — начитанные байбаки. Вы знаете, на какую ножку Нѣмецъ хромаетъ, знаете, что плохо у Англичанъ и у Французовъ, — и вамъ ваше жалкое знаніе въ подспорье идетъ, лишь вашу постыдную, бездѣйствіе ваше гнусное оправдываетъ. Иной даже гордится тѣмъ, что я-молъ, вотъ, умница — лежу, а ты, дураки, хлопочутъ. Да! — А то есть у насъ такіе господа — впрочемъ, я это говорю не на твой счетъ — которые всю жизнь свою проводятъ въ какомъ-то млѣннн скуки, привыкаютъ къ ней, сидятъ въ ней — какъ... какъ грибъ въ сметанѣ, подхватилъ Михалевичъ, и самъ засмѣялся своему сравненію. — О, это млѣннн скуки — гибель русскихъ людей! Весь вѣкъ собирается работать, противный байбакъ...»

«— Да что-жь ты бранишься? вопилъ въ свою очередь Лаврецкій. — Работать... дѣлать... Скажи лучше, что дѣлать, а не бранись, Демосеень полтавскій!»

«— Вишь, чего захотѣлъ! — Это и тебѣ не скажу, братъ; это всякій самъ долженъ знать, возражалъ съ ироніей Демосеень. — Помѣщикъ! — дворянинъ! и не знаетъ, что дѣлать! Вѣры нѣтъ, а то-бы зналъ; вѣры нѣтъ — и нѣтъ откровенія.»



«— Дай-же, по-крайней-мѣрѣ, отдохнуть, чортъ; дай оглядѣться, молилъ Лаврецкій.»

«— Ни минуты отдыха, ни секунды! возражалъ съ повелительнымъ движеніемъ руки Михалевичъ. Ни одной секунды! — Смерть не ждетъ, и жизнь ждать не должна.»

«— И когда-же, гдѣ-же вздумали люди обайбачиться? кричалъ онъ въ четыре часа утра, но уже нѣсколько осипшимъ голосомъ, — у насъ! теперь! въ Россіи! *Когда на каждой отдельной личности лежитъ долгъ, ответственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самими собою! Мы спимъ; а время уходитъ; мы спимъ....*»

«— Позволь мнѣ тебѣ замѣтить, промолвилъ Лаврецкій, — что мы вовсе не спимъ теперь, а скорѣе другимъ не даемъ спать. Мы, какъ пѣтухи, деремъ горло. Послушай-ка, это никакъ уже третьи кричатъ.»

«Эта выходка размѣшила и успокоила Михалевича. «До завтра», проговорилъ онъ съ улыбкой — и всунулъ трубку въ кисеть. «До завтра», повторилъ Лаврецкій; но друзья еще болѣе часу бесѣдовали... Впрочемъ, голоса ихъ не возвышались болѣе — и рѣчи ихъ были тихія, грустныя, добрыя рѣчи.»

«Михалевичъ уѣхалъ на другой день, какъ ни удерживалъ его Лаврецкій. Федору Ивану не удалось убѣдить его остаться; но наговорился онъ съ нимъ досыта. Оказалось, что у Михалевича гроша за душою не было. Лаврецкій уже наканунѣ съ сожалѣніемъ замѣтилъ въ немъ всѣ признаки и привычки застарѣлой бѣдности: сапоги у него были сбиты, сзади на сюртукѣ не доставало одной пуговицы, руки его не вѣдали перчатокъ; въ волосахъ торчалъ пухъ; пріѣхавши, онъ и не подумалъ попросить умыться, а за ужиномъ ѣлъ, какъ акула, раздирая руками мясо и съ трескомъ перегрызая кости своими крѣпкими, черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему въ прокъ, что всѣ надежды свои онъ возлагалъ на откупщика, который взялъ его единственно для того, чтобы имѣть у себя въ конторѣ «образованнаго человѣка». Со всѣмъ тѣмъ Михалевичъ не унывалъ и жилъ-себѣ — циникомъ, идеалистомъ, поэтомъ, искренно радѣя и сокрушаясь о судьбахъ человѣчества, о собственномъ призваніи, — и весьма-мало заботясь о томъ, какъ-бы не умереть съ голоду. Михалевичъ женатъ не былъ, но влюблялся безъ счету и писалъ стихотворенія на всѣхъ своихъ возлюбленныхъ; особенно пылко воспѣлъ онъ одну таинственную, чернокудрую «панну»... *Ходили, правда, слухи, будто эта панна была простая Жидовка; хорошо извѣстная многимъ кавалерійскимъ офицерамъ... Но какъ подумаешь — разве и это не все-равно?»*

«Съ Леммомъ Михалевичъ не сошелся; Нѣмца, съ непривычки, запу-

гали его многошумныя рѣчи; его рѣзкія манеры.. Горемыка издали и тотчасъ чуетъ другаго горемыку, но подъ старость рѣдко сходится съ нимъ, — и это нисколько не удивительно: ему съ нимъ нечѣмъ дѣлиться, — даже надеждами.»

«Передъ отъѣздомъ Михалевичь еще долго бесѣдоваль съ Лаврецимъ; пророчиль ему гибель, если онъ не очнется, умоляль его серьезно заняться бытомъ своихъ крестьянъ; ставиль себя въ примѣръ, говоря, что онъ очистился въ горниль бѣды, — и тутъ-же нѣсколько разъ назваль себя счастливымъ человѣкомъ, сравнилъ себя съ птицей небесной, съ лиліей долины...»

«— Съ черной лиліей, во всякомъ случаѣ, замѣтилъ Лавреций.»

«— Э, братъ! не аристократничай, возразиль добродушно Михалевичь; — а лучше благодари Бога, что и въ твоихъ жилахъ течеть честная, плебейская кровь. Но я вижу, тебѣ нужно теперъ какое-нибудь чистое, неземное существо, которое исторгло-бы тебя изъ твоей апатіи...»

«— Спасибо, братъ, промолвилъ Лавреций; — съ меня будетъ этихъ неземныхъ существъ.»

«— Молчи, цыникъ! воскликнулъ Михалевичь.»

«— «Цыникъ», поправиль его Лавреций.»

«— Именно цыникъ, повториль не смущаясь, Михалевичь. Даже, сидя въ тарантасѣ, куда вынесли его плоскій, желтый, до странности легкій чемоданъ, онъ еще говорилъ; *окутанный въ какой-то испанскій плащъ съ поряжельнымъ воротникомъ и львиными лапами вмѣсто застежекъ, онъ еще развиваль свои воззрѣнія на судьбы Россіи и водиль смуглой рукой по воздуху, какъ-бы разсѣвая сѣмена будущаго благоденствія. Лошади тронулись наконецъ... — «Помни мои послѣднія три слова», закричалъ онъ, высунувшись вѣтъ тѣломъ изъ тарантаса и стоя на баластѣ: «религія, прогрессъ, человечность! — Прощай!»* Голова его, съ нахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лавреций остался одинъ на крыльцѣ — и пристально глядѣль вдаль по дорогѣ, пока тарантасъ не скрылся изъ виду. «А вѣдь онъ, пожалуй, правъ», думаль онъ, возвращаясь въ домъ, «пожалуй, что я байбакъ». Многія изъ словъ Михалевича неотразимо вошли ему въ душу, хотъ онъ и спориль и не соглашался съ нимъ. Будь только человѣкъ добръ, — его никто отразить не можетъ».

Этотъ небольшой эпизодъ, и самъ по себѣ, отдѣльно взятый, — мастерская историческая картина, долженствующая уцѣлѣть надолго, до тѣхъ поръ, пока будутъ водиться у насъ Лаврецие и Михалевици; а они будутъ водиться еще очень долго, благодаря сильной закваскѣ, ихъ породившей... Въ этихъ двухъ лицахъ захвачены глубоко и стремленія,

и формы стремленій цѣлой эпохи нашего развитія, эпохи могущественнаго вліянія философіи, которая въ новомъ мірѣ, только на своей родинѣ, въ Германіи, да у насъ пускала такіе глубокіе, жизненные корни; съ тѣмъ различіемъ, что въ Германіи постоянно, и стало быть органически, а у насъ, благодаря независимымъ отъ нея философіи обстоятельствомъ, порывами. Вслѣдствіе того, что ей удавалось дѣйствовать только порывами, и вслѣдствіе особенности русскаго ума, широко и смѣло захватывающаго мысль въ конечныхъ ея результатахъ, она быстро переходила въ практическое примѣненіе, быстро сообщала колоритъ, особенный отливъ эпохамъ умственной жизни. Русская сметливость подсказывала не только такой высокой натурѣ, какъ, напримѣръ, натура Бѣлинскаго, конечные результаты Гегелизма, она даже самоучку Полеваго ставила выше Кузена, изъ котораго почерпалъ онъ премудрость; а главное дѣло, что мысль, разъ сознанная, получала тотчасъ же практическое примѣненіе. Всякое вѣяніе переходило такъ-сказать въ религію, т. е. въ связанное, цѣльное бытіе идеала и дѣйствительности, мысли и жизни. Въ этомъ наша сила, но въ этомъ же, повторяю опять и повторю, вѣроятно; еще нѣсколько разъ, наша слабость. Книги для насъ не просто книги, предметы изученія или развлеченія: книги переходили и переходятъ у насъ непосредственно въ жизнь, въ плоть и кровь, измѣняли и измѣняютъ часто всю сущность нашего нравственнаго міра... Поэтому-то самому, всякое идеальное вѣяніе, переходя у насъ непосредственно въ нѣчто реальное, сообщаетъ умственнымъ эпохамъ развитія особый цвѣтъ и запахъ. Поэтому-то самому во всемъ отсталомъ нашего отечества и развито такое бессознательное отвращеніе къ мысли, болѣзнь мысле-боязни; но слѣпая отсталость, нравственное и умственное мѣщанство, не видятъ по ограниченности своей, что, стараясь мѣшать мысли въ ея органической дѣятельности и заставляя ее такимъ образомъ вторгаться и дѣйствовать порывами, они сами виновы того, что мысль ломаетъ, сокрушаетъ факты, вмѣсто того чтобы распредѣлять и отстранять ихъ съ подобающею терпимостью.

Мысль, вторгаясь всегда порывомъ, дѣйствуетъ и дѣйствовала въ насъ мучительно и болѣзненно... Чтобы разомъ представить осязательно это болѣзненное дѣйствіе мысли, я опять обращусь къ единственному истолкованію тайнъ жизни, къ поэзіи, и укажу вамъ на дикіе результаты бурныхъ и слѣпыхъ стихійныхъ вѣяній романтизма въ поэзіи, въ натурѣ Полежаева, на страшную и холодно безпощадную послѣдовательность Лермонтова, на мучительныя «Думы» самородка Кольцова, такъ разрушительно подѣйствовавшія на натуру и жизнь нашего высокаго народнаго лирика, на глубокую религіозность поэзіи Тютчева,

на скорбные стоны поэта «Монологъ». Последняго въ особенности вспомнишь всегда и невольно, когда говоришь о дѣйствіи мысли на жизнь:

И ночь и мракъ! Какъ все томительно пустынно!

Бессонный дождь стучитъ въ мое окно,

Влуждаетъ лучъ свѣчи, мѣняясь съ тѣнью длинной,

И на сердцѣ печально и темно.

Былые сны! душѣ разстаться съ вами больно;

Еще ловлю я призраки вдали,

Еще желаніе въ груди кипитъ невольно;

Но жизнь и мысль убили сны мои...

Мысль, мысль! какъ страшно мнѣ теперь твое движеніе,

Страшна твоя тяжелая борьба,

*Грозный небесныхъ бурь несешь ты разрушеніе,*

*Неумолима какъ сама судьба;*

Ты миръ невинности давно во мнѣ сломила,

Меня навѣкъ въ броженіе вовлекла,

*За встрой вѣру ты въ души моей сгубила,*

*Вчерашній свѣтъ мнѣ тьмою назвала.*

Въ этомъ глубокомъ, искреннемъ и безыскусственномъ стонѣ—задушевная исповѣдь цѣлой эпохи, стонъ цѣлаго поколѣнія... Въ былые, блаженные дни юности, оно, это беззавѣтно отдававшееся мысли поколѣніе, толкуя, какъ кружокъ Гамлета Щигровскаго уѣзда, о вѣчномъ солнцѣ духа, «переходя *ins Unendliche* съ Гёте и сливаясь съ жизнью *des absoluten Geistes*, ликовало, торжествовало младенчески, трепетало отъ восторга въ сознаніи, что жизнь есть великое таинство...» «Было время,»—говорило оно тогда устами одного изъ высшихъ своихъ представителей, относясь съ озлобленіемъ и ожесточеніемъ неопитизма къ XVIII вѣку, своему великому предшественнику, котораго оно еще не понимало въ чадѣ упоенія символами и мистеріями,—«было время, когда думали, что конечная цѣль человѣческой жизни есть счастье. Твердили о суетности, непрочности и непостоянствѣ всего подлуннаго, и взапуски спѣшили жить, пока жилось, и наслаждаться жизнью во что-бы-то ни стало. Разумѣется, всякій по своему понималъ и толковалъ счастье жизни, но всѣ были согласны въ томъ, что оно состоитъ въ наслажденіи. Законы, совѣсть, нравственная свобода человѣческая, всѣ отношенія общественныя почитались не инымъ чѣмъ, какъ вещами, необходимыми для связи политическаго тѣла, но въ самихъ себѣ пустыми и ничтожными. Молились въ храмахъ и кощунствовали въ бесѣдахъ; заключали брачные контракты, совершали брачные обряды и предавались всѣмъ неистовствамъ сладострастія; знали, вслѣдствіе вѣковыхъ

«опытовъ, что люди не звѣри, что ихъ должны соединять религія и законы, знали это хорошо и принаровили религіозныя и гражданскія понятія къ своимъ понятіямъ о жизни и счастіи: высочайшимъ и лучшимъ идеаломъ общественнаго зданія почиталось то политическое общество, котораго условія и основанія вклонились къ тому, чтобы люди не мѣшали людямъ веселиться. Это была религія XVIII вѣка. Одинъ изъ лучшихъ людей этого вѣка сказалъ:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ,  
Устрой ее себѣ къ покою,  
И съ чистотою твоей душею  
Благословляй судьбу ударъ

Пой, ѣшь и веселись, сосѣди!  
На свѣтѣ жить намъ время срочно,  
Веселье то лишь непорочно,  
Раскаянья за коимъ нѣтъ».

«Это была еще самая высочайшая нравственность; самые лучшіе люди того времени не могли возвыситься до высшаго идеала иной. Но вдругъ все измѣнилось: философовъ, пустившихъ въ оборотъ это понятіе, начали называть, говоря любимымъ словомъ барона Брамбеуса, надувателями человѣческаго рода. Явились новые надуватели — нѣмецкіе философы, къ которымъ по справедливости вышерѣченный мужъ питаетъ ужасную антипатію, которыхъ нѣбогда такъ прекрасно отшлифоваль г. Масальскій, въ превосходной своей повѣсти: Донъ-Кихоть XIX вѣка — этомъ истинномъ chef d'oeuvre русской литературы — и которыхъ, наконецъ, недавно убила наповаль Библиотека для Чтенія. Эти новые надуватели, съ удивительною наглостію и шарлатанствомъ, начали проповѣдывать самыя безнравственныя правды, вслѣдствіе коихъ цѣль бытія человѣческаго состоитъ, будто-бы, не въ счастіи, не въ наслажденіяхъ земными благами, а въ полномъ сознаніи своего человѣческаго достоинства, въ гармоническомъ проявленіи сокровищъ своего духа. Но этимъ не кончалась дерзость жалкихъ вольнодумцевъ: они стали еще утверждать, что будто только жизнь, исполненная безкорыстныхъ порывовъ къ добру, исполненная миссій и страданій, можетъ назваться жизнію человѣческою, а всякая другая, честь большее, или меньшее приближеніе къ жизни животной. Нѣкоторые поэты стали дѣйствовать какъ будто-бы по согласію съ сими злонамѣренными философами и распространять разныя вредныя идеи, какъ-то: что человекъ непременно долженъ выразить хотѣ какую-

нибудь *человѣческую сторону своего человѣческаго бытія, если не встѣ, ст. е. или дѣйствовать практически на пользу общества, если онъ «стоитъ на важной ступени онаго, безъ всякаго побужденія къ лично-му вознагражденію; или отдать всего себя знанію для самаго знанія, а не для денегъ и чиновъ; или посвятить себя наслажденію искусствомъ, въ качествѣ любителя, не для свѣтскаго образованія, какъ «прежде, а для того, что искусство (будто-бы) есть одно изъ звеньевъ, «соединяющихъ землю съ небомъ; или посвятить себя ему въ качествѣ дѣйствителя, если чувствуетъ на это призваніе свыше, но не при- «званіе кармана; или полюбить другую душу, чтобы каждая изъ зем- «ныхъ душъ имѣла право связать:*

Я все земное совершила:

Я на землѣ любила и жила, —

«или, наконецъ, просто имѣть какой-нибудь высшій человѣческой интеле- «ресъ въ жизни, только не наслажденіе, не обьяденіе земными благами. «Потомъ на помощь этимъ философамъ пришли историки, которые «стали и теоріями и фактами доказывать, что будто не только каждый «человѣкъ въ частности, но и весь родъ человѣческой стремится къ «какому-то высшему проявленію и развитію человѣческаго совершен- «ства; но зато и катаетъ же ихъ, озорниковъ, почтенный баронъ Брам- «беусъ! Я, съ своей стороны, право, не знаю, кто правъ: прежніе-ли «французскіе философы или нынѣшніе нѣмцы;е; который лучше: XVIII «или XIX вѣкъ; но знаю, что между тѣми и другими, большая разница «во многихъ отношеніяхъ».. (Сочин. В. Бѣлинскаго, Т. I. стран. 382).

Вотъ какими вѣрованіями была первоначально полна эпоха, кóторой два отсадка, два представителя изображены Тургеневымъ въ эпизодѣ задуманной имъ исторической картины. Приводимое мѣсто изъ Бѣлинскаго, одно изъ мѣстъ, наиболѣе характеризующихъ философско-лирическія увлеченія того времени,—показываетъ, въ какой степени сильна была закваска, сообщенная умственной жизни философіей..

Философскія вѣрованія были истинно вѣрованія, переходили въ жизнь, въ плоть и кровь. Нужды нѣтъ, что дѣло кончилось извѣстнымъ изображеніемъ змѣи, кусающаго свой собственный хвостъ — нужды нѣтъ, что въ концѣ концовъ, идеализмъ XIX вѣка, гордо возставшій на XVIII вѣкъ, сошелся съ нимъ въ послѣднихъ результатахъ. Дѣло не въ результатахъ—дѣло въ процессѣ, который приводитъ къ результатамъ, какъ сказалъ одинъ изъ великихъ учителей XIX вѣка въ своей феноменологіи...

## XVIII.

Два раза, и оба раза въ высшей степени удачно, изображалъ Тургеневъ отзвѣвъ великихъ философскихъ вѣяній въ жизни: въ приведенномъ эпизодѣ его послѣдняго произведенія и въ эпилогѣ Рудина — эпилогѣ, который да столько же выше всей повѣсти, на сколько повѣсть выше множества болѣе отдѣльныхъ и по-видимому цѣльныхъ произведеній многихъ современныхъ писателей. Различіе между двумя этими изображениями въ томъ, что Михалевичъ—Рудинъ—Донъ-Кихоть, Донъ-Кихоть почтенный, но все-таки Донъ-Кихоть, а Лаврецій — Лежневъ опозитвированный, Лежневъ, которому придано много качествъ Рудина.

Въ Лавреціомъ и Лежневѣ философское направленіе кончается смиреніемъ передъ дѣйствительностью, смиреніемъ передъ тѣмъ, что Лаврецій называетъ въ другой эпизодической сценѣ «Дворянскаго гнѣзда» *народною правдою*; — въ Михалевичѣ, хотя онъ и говоритъ о практической дѣятельности, и въ Рудинѣ, хотя онъ и бросался въ практическую дѣятельность философское направленіе кончается — протестомъ, протестомъ вѣчнымъ, безвыходнымъ. Смиреніе Михалевича и Рудина—только логическое требованіе (постулатъ) ими поставляемое, только смиреніе автора монологовъ:

Мы много чувствъ, и образовъ, и думъ  
 Въ душѣ глубоко погребли... И что-же?  
 Упрекъ-ли небу скажетъ дерзкій умъ?  
 Къ чему упрекъ? Смиренье въ душу вложимъ  
 И въ ней затворимся—безъ желчи, если можемъ.

Смиреніе Лежнева и Лавреціаго (послѣднимъ гораздо дороже безъ сомнѣнія приобрѣтенное, чѣмъ первымъ) есть смиреніе дѣйствительное. Они по натурѣ тюфяки, пожалуй, байбаки, какъ зоветъ Лавреціаго Михалевичъ, или тюлени, какъ зоветъ его Марья Дмитріевна, — но тюфяки не такіе, каковы «Тюфякъ» Писемскаго.

Смиреніемъ завершается ихъ умственный и нравственный процессъ потому, что въ нихъ больше природы, больше если хотите физиологической личности, чѣмъ въ Рудинѣ и Михалевичѣ — больше внутреннихъ, физиологическихъ связей съ той почвою, которая произвела ихъ, съ той средой, которая воспитала ихъ первыя впечатлѣнія. Жертвы всякія имъ дороже достаются, чѣмъ Рудинимъ и Михалевичамъ — опять таки потому, что въ нихъ больше природы — и въ нихъ-то въ особенности

совершается тотъ нравственный процессъ, который у высокаго представителя нашей физиономіи выразился въ Иванѣ Петровичѣ Бѣлкинѣ.

Они если хотите — Обломовцы (такъ какъ слово Обломовцы стало на-время моднымъ словомъ), во всякомъ случаѣ никакъ не Штольцы, что имъ, впрочемъ, дѣлаетъ большую честь, ибо Штольцы у насъ порожденіе искусственное. Только Тургеневъ, какъ истинный поэтъ по натурѣ и какъ одинъ изъ послѣднихъ морикановъ эпохи, созданной могущественными вѣяніями, не могъ никогда обособить такъ рѣзко этотъ типъ, какъ обособилъ его Гончаровъ въ своемъ романѣ. Въ его Лаврецаго вошло нѣсколько чертъ Рудина, такъ-же какъ въ Рудина на-оборотъ вошли двѣ-три черты Лаврецаго, — хоть-бы то, напримѣръ, что онъ, по справедливому приговору Пигасова, оказывается *куцымъ*.

Съ другой стороны Тургеневъ, не умѣя или не желая сдѣлать изъ своего Лаврецаго логическій фокусъ, въ которомъ сводились бы много-различныя, общія тому, другому и третьему, черты — не могъ взять его и въ исключительной зависимости отъ почвы и среды, какъ взялъ Писемскимъ Павелъ Бешметевъ... Разница между этими двумя личностями слишкомъ очевидна... На сколько въ Лаврецкомъ больше физиологической личности, чѣмъ въ Рудинѣ и Михалевичѣ, — на столько же меньше ея въ немъ, чѣмъ въ Тюфякѣ Писемскаго. Сравните сцены, гдѣ тотъ и другой убѣждаются въ невѣрности своихъ женъ; сравните всѣ ихъ послѣдующія отношенія къ невѣрнымъ женамъ, хотя въ этихъ пунктахъ Тургеневъ нисколько не уступаетъ Писемскому не только въ психологической правдѣ — что ни сколько не удивительно, — но даже въ энергіи, которой достигаетъ онъ рѣдко. Я вновь обращаюсь къ выпискѣ:

«Войдя однажды въ отсутствіи Варвары Павловны въ ея кабинетъ, Лаврецій увидаль на полу маленькую, тщательно сложенную бумажку. Онъ машинально ее поднялъ, машинально развернулъ и прочелъ слѣдующее, написанное на французскомъ языкѣ:

«Милый ангелъ Бетти! (я никакъ не рѣшаюсь назвать тебя *Barbe* или Варвара (*Varvara*)). Я напрасно прождалъ тебя на углу бульвара; приходи завтра въ половинѣ втораго на нашу квартиру. Твой добрый толстякъ (*ton gros bonhomme de mari*) объ эту пору обыкновенно зарывается въ свои книги; мы опять споемъ ту пѣсенку вашего поэта *Пускина* (*de vorte poëte Pouskine*), которой ты меня научила: Старый мужъ, грозный мужъ! — Тысячу поцалуювъ твоимъ ручкамъ и ножкамъ. Я жду тебя».

«Эрнестъ».

«Лаврецій не сразу понялъ, что такое онъ прочелъ; прочелъ во-второй разъ — и голова у него закружилась, полъ заходилъ подъ ногами, какъ



палуба корабля во время качки. Онъ и закричалъ, и задохнулся, и заплакалъ въ одно мгновенье. Онъ обезумѣлъ. Онъ такъ слѣпо довѣрялъ своей женѣ, возможность обмана, измѣны никогда не представлялась его мысли. Этотъ Эрнестъ, этотъ любовникъ его жены, былъ бѣловурый смазливый мальчишъ лѣтъ 23-хъ, со вздернутымъ носикомъ и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изъ всѣхъ ея знакомыхъ. Прошло нѣсколько минутъ, прошло полъ-часа; Лаврецкій все стоялъ, стискивая роковую записку въ руки и безсмысленно глядя на полъ; сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему блѣдныя лица; мучительно замирало сердце; ему казалось, что онъ падалъ, падалъ, падалъ... и конца не было. Знакомый, легкій шумъ шелкового платья вывелъ его изъ оцѣпенѣнья; Варвара Павловна въ шляцѣ и шали торопливо возвращалась съ прогулки. Лаврецкій затрепеталъ весь и бросился вонъ; онъ почувствовалъ, что въ это мгновенье онъ былъ въ состояннн истерзать ее, избить ее до полу-смерти, по-мужички, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотѣла остановить его; онъ только могъ прошептать: Бетти,—и выбѣжалъ изъ дому.

«Лаврецкій взялъ карету и велѣлъ везти себя за-городъ. Весь остатокъ дня и всю ночь до утра пробродилъ онъ, безпрестанно останавливаясь и всплескивая руками: онъ то безумствовалъ, то ему становилось какъ-будто смѣшно, даже какъ-будто весело. Утромъ онъ прозябъ и зашелъ въ дрянной загородный трактиръ, спросилъ комнату и сѣлъ на стулъ передъ окномъ. Судорожная зѣвота напала на него. Онъ едва держался на ногахъ, тѣло его изнемогало — а онъ и не чувствовалъ усталости. За то усталость брала свое: онъ сидѣлъ, глядѣлъ и ничего не понималъ; не понималъ, что съ нимъ такое случилось, отчего онъ очутился одинъ, съ одеревенѣлыми членами, съ горечью во рту, съ камнемъ на груди, въ пустой незнакомой комнатѣ; онъ не понималъ, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу, и какъ могла она, зная себя невѣрной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и довѣрчивой съ нимъ! — Ничего не понимаю! шептали его засохшія губы. — Кто мнѣ поручится теперь, что и въ Петербургѣ... И онъ не доканчивалъ вопроса и зѣвалъ опять, дрожа и пожимаясь всѣмъ тѣломъ. — Свѣтлыя и темныя воспоминанія одинаково его терзали; ему вдругъ пришло въ голову, что на дняхъ она при немъ и при Эрнестѣ сѣла за фортельяно и сѣбла: «Старый мужъ, грозный мужъ!» Онъ вспомнилъ выраженіе ея лица, странный блескъ глазъ и краску на щекахъ, — и онъ поднялся со стула, онъ хотѣлъ пойти сказать имъ: «вы со мной напрасно пошутили; правдѣ мой круто расправлялся съ мужичками, а дядь мой самъ былъ мужичекъ» — да убить ихъ обоихъ. — То вдругъ ему

казалось, что все, что съ нимъ дѣлается — сонъ, и даже не сонъ — а такъ, вздоръ какой-то, — что стоитъ только встряхнуться, оглянуться... Онъ облядывался, и какъ ястребъ коптитъ пойманную птицу, глубже и глубже врзывалась тоска въ его сердце. — Къ довершенію всего, Лаврецкій черезъ нѣсколько мѣсяцевъ надѣялся быть отцомъ... Прошедшее, будущее — вся жизнь была отравлена. — Онъ вернулся наконецъ въ Парижъ, остановился въ гостинницѣ и послалъ Варварѣ Павловнѣ записку Эрнеста съ слѣдующимъ письмомъ:

«Прилагаемая бумажка вамъ объяснить все. — Кстати скажу вамъ, что я не узналъ васъ; вы, такая всегда аккуратная, роняете такія важныя бумаги.» *(Эту фразу бѣдный Лаврецкій готовилъ и леталъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ).* «Я не могу больше васъ видѣть; полагаю, что и вы не должны желать свиданія со мною. Назначу вамъ 15,000 франковъ въ годъ; больше дать не могу. Присылайте вашъ адресъ въ деревенскую контору. Дѣлайте, что хотите; живите, гдѣ хотите. Желаю вамъ счастья. Отвѣта не нужно.»

Лаврецкій написалъ женѣ, что не нуждается въ отвѣтѣ... но онъ ждалъ, онъ жаждалъ отвѣта, объясненія этого непонятнаго, непостижимаго дѣла. — Варвара Павловна въ тотъ же день прислала ему большое французское письмо. Оно его доконало; послѣднія его сомнѣнія исчезли, — и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнѣнія. Варвара Павловна не оправдывалась: она желала только увидать его; умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кое-гдѣ виднѣлись пятна слезъ. — Лаврецкій усмѣхнулся горько и велѣлъ сказать черезъ посланнаго, что все очень хорошо. Три дня спустя, его уже не было въ Парижѣ; но онъ поѣхалъ не въ Россію, а въ Италію. — Онъ самъ не зналъ, почему онъ выбралъ именно Италію; ему въ сущности было все равно, куда ни ѣхать, — лишь бы не домой. Онъ послалъ предписаніе своему бурмистру на счетъ женіной пенсіи, приказывая ему въ то же время немедленно принять отъ генерала Коробьина всѣ дѣла по имѣнію, не дожидаясь сдачи счетовъ, и распорядиться о выѣздѣ его превосходительства изъ Лавриковъ; живо представилъ онъ себѣ смущеніе, тщетную величавость изгоняемаго генерала, и, при всемъ своемъ горѣ, почувствовалъ нѣкоторое злобное удовольствіе. Тогда же попросилъ онъ въ письмѣ Глафиру Петровну вернуться въ Лаврики и отправилъ на ея имя довѣренность; но Глафира Петровна въ Лаврики не вернулась и сама припечатала въ газетахъ объ уничтоженіи довѣренности, что было совершенно излишне. Скрываясь въ небольшомъ италянскомъ городкѣ, Лаврецкій еще долго не могъ заставить себя не слѣдить за женою. Изъ газетъ онъ узналъ, что

она изъ Парижа поѣхала, какъ располагала, въ Баденъ-Баденъ; имя ея скоро появилось въ статейкѣ, подписанной тѣмъ же мусье Жюлемъ. Въ этой статейкѣ сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболѣзнованіе; очень гадко сдѣлалось на душѣ Ѳедора Иваныча при чтеніи этой статейки. Потомъ онъ узналъ, что у него родилась дочь; мѣсяца черезъ два получилъ онъ отъ бурмистра извѣщеніе о томъ, что Варвара Павловна вытребовала себѣ первую треть своего жалованья. — Потомъ стали ходить все болѣе и болѣе дурные слухи; наконецъ съ шумомъ пронеслась по всѣмъ журналамъ трагикомическая исторія, въ которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено: Варвара Павловна стала «извѣстностью».

«Лаврецкій пересталъ слѣдить за нею; но не скоро могъ съ собою сладить. *Иногда такая брала его тоска по женѣ, что онъ, казалось, все бы отдалъ, даже пожалуй... простилъ бы ее, лишь бы услышать снова ея ласковый голосъ, почувствовать снова ея руку въ своей рукѣ.* Однако время шло даромъ. Онъ не былъ рожденъ страдальцемъ: его здоровая природа вступила въ свои права. Многое стало ему ясно; самый ударъ, поразившій его, не казался ему болѣе непредвидѣннымъ; онъ понималъ свою жену, — *близкаго человека только тогда и поймешь вполнѣ, когда съ нимъ разстанешься.* Онъ опять могъ заниматься, работать, хотя уже далеко не съ прежнимъ рвеніемъ; скептицизмъ, подготовленный опытами жизни, воспитаніемъ, окончательно забрался въ его душу. Онъ сталъ очень равнодушенъ ко всему. Прошло года четыре, и онъ почувствовалъ себя въ силахъ возвратиться на родину, встрѣтиться съ своими».

Въ этихъ двухъ какихъ-нибудь страницахъ—цѣлый адъ страданія—и какого страданія! Оно вполнѣ, глубоко человѣческое; оно соединено съ борьбою противъ стихійнаго, физиологическаго, борьбою природы *сдѣланной*, созданной идеями, образованіемъ, съ натурой грубой, звѣриной. Правда, что приливы звѣриныхъ свойствъ природы тутъ только пѣна, а не настоящее дѣло. Лаврецкій не только что не убилъ—не побилъ бы своей жены; за это можно отвѣчать. Даже въ другую минуту, когда долгая разлука уже раскрыла ему всю натуру Варвары Павловны, и когда другое, болѣе значительное и глубокое, чувство наполнило все его бытіе, въ минуту, когда Варвара Павловна разбиваетъ своимъ появленіемъ созданный имъ міръ прочнаго и поэтическаго блаженства, въ минуту, наконецъ, когда, вслѣдствіе противоположности, натура ея и всѣ свойства этой природы должны быть ему въ высшей степени ненавистны—въ немъ только накипаетъ пѣна, не больше. Помните это, тоже поразительное по своей психологической правдѣ, мѣсто:

«Онъ засталъ жену за завтракомъ; Ада, вся въ бѣляхъ, въ бѣленькомъ платицѣ съ голубыми ленточками, гупала баранью котлетку. Варвара Павловна тотчасъ встала, какъ только Лавреціей вошелъ въ комнату, и съ покорностью на лицѣ подошла къ нему. Онъ попросилъ ее послѣдовать за нимъ въ кабинетъ, заперъ за собою дверь и началъ ходить взадъ и впередъ; она съшла, скромно положила одну руку на другую и принялась слѣдить за нимъ своими, все еще прекрасными, хотя слегка подрисованными, глазами.»

«Лавреціей долго не могъ заговорить: онъ чувствовалъ, что не владелъ собою; онъ видѣлъ ясно, что Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала видъ, что вотъ сейчасъ въ обморокъ упадетъ.»

«— Послушайте, сударыня, началъ онъ наконецъ, тяжело дыша и по временамъ стискивая зубы:— намъ нечего притворяться другъ передъ другомъ; я вашему раскаянію не вѣрю; да если бы оно и было искренно, сойтись снова съ вами, жить съ вами—мнѣ невозможно.»

«Варвара Павловна сжала губы и прищурилась. — Это отвращеніе, подумала она; кончено: я для ней даже не женщина.»

«— Невозможно, повторилъ Лавреціей и застѣнулся до вѣрху. — Я не знаю, зачѣмъ вамъ угодно было пожаловать сюда: вѣроятно, у васъ денегъ больше не стало.»

«— Увы! вы освобляете меня, прошептала Варвара Павловна.»

«— Какъ бы то ни было—вы все таки, къ сожалѣнію, мой жена.— Не могу же я васъ прогнать... и вотъ что я вамъ предлагаю. Вы можете сегодня же, если угодно, отправиться въ Лаврики; живите тамъ; тамъ, вы знаете, хорошій домъ; вы будете получать все нужное, сверхъ пенсіи.... Согласны вы?»

«Варвара Павловна поднесла вышитый платокъ къ лицу.»

«— Я вамъ уже сказала, промолвила она, нервически подергивая губами:— что я на все буду согласна, что бы вамъ ни угодно было слѣдовать со мной; на этотъ разъ остается мнѣ спросить у васъ: позволите ли вы мнѣ по крайней мѣрѣ поблагодарить васъ за ваше великодушіе?»

«— Безъ благодарности, прошу васъ—эдакъ лучше, послѣшно проговорилъ Лавреціей. — Стало быть, продолжалъ онъ, приближаясь къ двери:— я могу расчитываться...»

«— Завтра же я буду въ Лаврикахъ, промолвила Варвара Павловна, почтительно поднимаясь съ мѣста. — Но Федоръ Иванычъ... (Теодоромъ она его больше не называла.)»

«— Что вамъ угодно?»

«— Я знаю, я еще ничѣмъ не заслужила своего прощенія; могу ли я надѣяться по крайней мѣрѣ, что со временемъ...»

«— Эхъ, Варвара Павловна, перебилъ ее Лаврецкій—*вы умная женщина, да вѣдь и я не дуракъ; я знаю, что этого вамъ совѣсть не нужно.—А я давно васъ простилъ, но между нами всегда была бездна*».

«— Я съумѣю покориться, возразила Варвара Павловна и склонила голову.—Я не забыла своей вины; я бы не удивилась, если бы узнала, что вы даже обрадовались извѣстію о моей смерти,—*кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежавшій на столѣ, забытый Лаврецкимъ, номеръ журнала*».

«Федоръ Ивановичъ дрогнулъ: фельетонъ былъ отмѣченъ карандашемъ. Варвара Павловна еще съ большимъ уничиженіемъ посмотрѣла на него.—Она была очень хороша въ это мгновеніе. *Сурое парижское платье стройно, охватывало ее гибкій, почти семнадцатилѣтній станъ; ея тонкая, нѣжная шея, окруженная бѣлымъ ворстничкомъ, ровно дышавшая грудь, руки безъ браслетовъ и колець,—вся ея фигура отъ лоснистыхъ волосъ до кончика едва выставленной ботинки была такъ изящна...*»

«Лаврецкій окинулъ ее злобнымъ взглядомъ, чуть не воскликнулъ: *brava!* чуть не ударилъ ее кулакомъ по теменю—и удалился».

Вы понимаете, разумѣется, до какой степени должны быть Лаврецкому противны и эта кротость и эта покорность и это кокетство—вся бездна гнусной, неизлѣчимой моральной лжи. Вы понимаете также, какъ ему, слабому, но самолюбивому человѣку должно быть ужасно сознаніе, что «Варвара Павловна нисколько его не боялась, а показывала видъ, что вотъ сейчасъ въ обморокъ упадетъ», а онъ только можетъ «тяжело дышать и по временамъ стискивать зубы»... Въ этой ужасной, но глубокой по истинности своей сценѣ слышенъ огаревскій стонъ:

Я долженъ надъ своимъ безсиліемъ смѣяться...

больше еще,—вѣчные стоны Гамлета. Правда простирается тутъ до безпощадности, до подмѣтки въ Лаврецовомъ движеніи чисто актерскаго, когда онъ *застѣвывается довертну*.

И между тѣмъ, этотъ же самый, подогрѣвающий въ себѣ душевныя движенія, Лаврецкій никогда—за это смѣло можно ручаться—не измѣнитъ принятому разѣ, подъ влияніемъ идей, рѣшеній и на что и хотѣлъ намекнуть Тургеневъ, и намекнулъ мастерски описаніемъ фигуры и позы Варвары Павловны; тогда какъ тюфякъ Писемскаго могъ бы помириться съ женою до возможности ближайшихъ отношеній, тогда какъ Волынскій *допотопнаго* Лажечникова (и это черта удивительная въ типическомъ изображеніи русскаго страстнаго характера) беззавѣтно отдается страстному увлеченію съ пріѣхавшей женою, только-что, чуть не на-

ванунѣ, погубивши Мариорицу. Правда, что Вольтинскій не может ненавидѣть жены, потому что ему не за что и ненавидѣть. Лаврецкому послѣдовательность дается не одною лимфатическою натурою; ибо это еще вопросъ: лимфатическая у него натура, или натура переработанная глубоко захватившимъ ее могущественнымъ вѣяніемъ идей? Положимъ, что нѣсколько слабая, или скорѣе переработанная, натура помогаетъ ему въ послѣдовательности; но основа послѣдовательности чисто духовная: въ принципы онъ вѣритъ, принципамъ служить, принципы стали для него жизнью, и вотъ въ какомъ смѣслѣ говорю я, что Тургеневъ придалъ ему нѣкоторыя Рудинскія черты.

Какъ ошибка, или лучше сказать, *tour de force* въ созданіи Писемскимъ «Тюфяка» заключается въ томъ, что онъ повелъ можетъ быть слишкомъ далеко мысль о неотдѣлимости природы отъ почвы и среды, и повѣрилъ только въ физиологическія черты, такъ ошибка—если только можно назвать это ошибкой—Тургенева заключается въ непослѣдовательности изображенія тюфяка, байбака, тюленя.

Я сказалъ: если можно назвать это ошибкой—ибо, не знаю, какъ вы, а я не люблю логической послѣдовательности въ художественномъ изображеніи, но той простой причинѣ, что не вижу ее нигдѣ въ жизни. Вся разница двухъ изображеній внѣшне-сходнаго типа—въ разницѣ эпохъ, подъ вѣяніями которыхъ они создались.

Вслѣдъ за философскою эпохою, т. е. вслѣдъ за эпохою могущественныхъ философскихъ вѣяній—въ нашей умственной жизни настала эпоха чисто аналитическая, эпоха оглядки на самихъ себя, эпоха гонимости требованій жизни, эпоха сомнѣній въ силѣ вѣяній и законности порожденныхъ ими стремленій.

Талантъ по преимуществу впечатлительный, впечатлительный, какъ я уже нѣсколько разъ повторялъ, до женственности, Тургеневъ, храня, даже вопреки своимъ новымъ стремленіямъ, старыя вѣянія, но неспособный закалиться въ мрачномъ, хотя бы и лирическомъ стрипаніи, поддавался и аналитическимъ вѣяніямъ новой эпохи. Смирненіе передъ почвою, передъ дѣйствительностью, возникло въ душѣ его, какъ душѣ поэта—не чисто логическимъ, Рудинскимъ или Михалевичевскимъ, требованіемъ, а отсадкомъ, самой почвы, самой среды, Пушкинскимъ Бѣлиннымъ.

Только талантъ, а не гений, не заглядатель, онъ зашелъ слишкомъ далеко

И онъ сжегъ все, чему поклонился,

Поклонился всему, что сжигать.

## XIX.

Какъ и вслѣдствіе чего совершился процессъ, послѣднимъ словомъ котораго было смиреніе, ясно для наблюдателя: какъ и во всей его дѣятельности, такъ и въ послѣднемъ его произведеніи.

Лаврецову противопоставлено отъняющее его лице — даже можетъ быть слишкомъ его отъняющее: Это — Паншинъ.

Значеніе фигуръ Лаврецова и Паншина въ концепціи большой задуманной исторической картины — ясно обозначается въ особенно-яркомъ эпизодѣ ихъ нравственнаго и умственнаго столкновенія:

Однажды Лаврецовъ, по обыкновенію своему, сидѣлъ у Калиитиныхъ. Послѣ томительно-жаркаго дня наступилъ такой прекрасный вечеръ, что Марья Дмитріевна, несмотря на свое отвращеніе къ сквозному вѣтру, велѣла отворить всѣ окна и двери въ садъ и объявила, что въ карты играть не станеть, что въ такую погоду въ карты играть грѣхъ, а должно наслаждаться природой. Изъ гостей былъ одинъ Паншинъ. Настроенный вечеромъ и не желая пѣть передъ Лаврецовымъ, но чувствуя приливъ художественскихъ ощущеній, онъ пустился въ поэзію: прочелъ хорошо, *но слишкомъ старательно и съ ненужными тонкостями*, нѣсколько стихотвореній Лермонтова (тогда Пушкинъ не успѣлъ еще опять войти въ моду) — и вдругъ, какъ-бы устыдясь своихъ изліяній, началъ по поводу известной «Думы» уворять и упрекать новѣйшія поколѣнія, причемъ не упустилъ случая изложить, какъ бы онъ все повернулъ по своему, еслибъ власть у него была въ рукахъ. — «Россія, говорилъ онъ, — отстала отъ Европы; нужно подогнать ее. Увѣряють, что мы молоды — это вздоръ; да и притомъ у насъ избѣрѣтательности нѣтъ; самъ Х-въ признается въ томъ, что мы даже мышеловки не выдумали. *Смѣловательно, мы поневоля должны заимствовать у другихъ.* Мы больны, говоритъ Лермонтовъ, — я согласенъ съ нимъ; *но мы больны оттого, что только наполовину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лечиться должны (le cadastre)*» подумалъ Лаврецовъ). — У насъ, продолжалъ онъ, — лучшія головы — *les meilleures têtes* — давно въ этомъ убѣдились; *всѣ народы въ сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія — и дѣло съ концомъ.* Пожалуй можно приравливать къ существующему народному быту; *это наше дѣло, дѣло людей* (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) — служащихъ; но въ случаѣ нужды, не безнокойтесь, учрежденія переделаютъ самый этотъ бытъ.» — Марья Дмитріевна съ умиленіемъ поддакивала Паншину: «вотъ какой, думала она, — умный человекъ у меня бесѣдуетъ». Лиза молчала, прислонив-

пись въ обну; Лаврецій молчалъ тоже; Марѳа Тимофеевна, игравшая въ уголку въ карты съ своей пріятельницей, ворчала себѣ что-то подъ носъ: — Паншинъ расхаживалъ по комнатамъ и говорилъ красиво, но съ тайнымъ озлобленіемъ; казалось, онъ бранилъ не цѣлое поколѣніе, а нѣсколькихъ извѣстныхъ ему людей. — Въ саду Калитиныхъ, въ большомъ кустѣ сирени жилъ соловей; его первые вечерніе звуки раздавались въ промежуткахъ краснорѣчивой рѣчи; первыя звѣзды зажигались на розовомъ небѣ надъ неподвижными верхушками липъ. Лаврецій поднялся и началъ возражать Паншину; завязался споръ. *Лаврецій отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи; отдавалъ себя, свое поколѣніе на жертву; — но заступался за новыхъ людей, за ихъ убѣжденія и желанія; Паншинъ возражалъ раздражительно и рѣзко, объявилъ, что умные люди должны все передѣлать, и занесся наконецъ до того, что забывъ свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврежика отсталымъ консерваторомъ, даже намекнулъ — правда, весьма отдаленно — на его ложное положеніе въ обществѣ. — Лаврецій не разсердился, не возвысилъ голоса (онъ вспомнилъ, что Михалевиچъ тоже называлъ его отсталымъ — только вольтеріянцемъ) — и спокойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунетахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ съ высоты чиновничьяго самосознанія — передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе; требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею — того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился наконецъ отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ».*

«— Все это прекрасно! воскликнулъ наконецъ расдосадованный Паншинъ: — вотъ вы вернулись въ Россію, — что же вы намѣрены дѣлать?»

«— Пахать землю, отвѣчалъ Лаврецій — и стараться какъ можно лучше ее пахать».

«— Это очень похвально, безспорно, возразилъ Паншинъ, — и мнѣ сказывали, что вы уже большіе сдѣлали успѣхи по этой части: но согласитесь, что не всякій способенъ на такого рода занятія.»

«— Une nature poétique, заговорила Марья Дмитріевна, — конечно не можетъ пахать... *et puis, вы призваны, Владиміръ Николѣичъ, дѣлать все en grand*».

«— Этого было слишкомъ даже для Паншина: онъ замаялся — и замаялъ разговоръ. Онъ попытался перевести его на красоту звѣзднаго неба, на музыку Шуберта — все какъ-то не клеилось; онъ кончилъ тѣмъ,



что предложилъ Марья Дмитріевнѣ сыграть съ ней въ пикетъ. — «Какъ! въ такой вечеръ?» слабо возразила она; однако велѣла принести карты. Паншинъ съ трескомъ разорвалъ новую колоду, а Лиза и Лаврецкій, словно сговорившись, оба встали и помѣстидись вольѣ Мары Тимофеевны.

Не правда ли, что рѣзко, но въ высшей степени вѣрно очерченная здѣсь личность Паншина, человѣка теоріи, отдѣляетъ необыкновенно личность человѣка жизни, какимъ повсюду является у Тургенева его Лаврецкій?

Но сказать, что Паншинъ — человѣкъ теоріи, мало. И Рудинъ, — нѣкоторымъ образомъ человѣкъ теоріи, и душу самаго Лаврецкаго подчинили себѣ теоріи въ извѣстныхъ по-крайней-мѣрѣ пунктахъ. Паншинъ — тотъ *дѣятельный* человѣкъ, тотъ реформаторъ съ высоты чиновническаго воззрѣнія, тотъ нивелёръ, вѣрующій въ отвлеченный законъ, въ отвлеченную справедливость, который равно противенъ нашей русской душѣ, явится ли онъ въ исполненной претензій комедіи графа Соллогуба въ лицѣ Надимова, въ больномъ-ли созданіи Гоголя въ лицѣ Констанжогло, въ посвящающихъ-ли на лавреатство драматическихъ произведенійхъ г. Львева, или, въ блестящемъ произведеніи любимаго и уважаемаго таланта, каковъ Писемскій, въ лицѣ Калиновича.

Отношеніе Тургенева къ этой личности — совершенно правильное и законное, но самая личность и недодумана и неотдѣлана. Паншинъ — великолѣпнень, когда онъ покровительственно любезничаютъ съ Федоновскимъ, великолѣпнень въ сценахъ съ Лизою, великолѣпнень, когда онъ граціозно играетъ въ пикетъ съ Марьей Дмитріевной, великолѣпнень въ разговорахъ съ Лаврецкимъ: однимъ словомъ, всѣ наружныя стороны его личности отдѣланы художественно, но внутренне онъ долженъ былъ быть захваченъ и шире и крупнѣе. Вѣдь онъ — реформаторъ (пусть, вмѣстѣ съ тѣмъ и Иванъ Александровичъ Хлестаковъ въ сущности); онъ долженъ былъ совмѣстить въ себѣ, цѣлый рядъ подобныхъ реформаторовъ, приглядясь къ дѣятельности которыхъ, люди жизни, люди съ широкими мечтами и планами, кончаютъ привязанностью къ почвѣ, смиреніемъ передъ народною правдою; онъ долженъ былъ войти въ картину такъ рельефно, чтобы видно было и то, какимъ путемъ онъ развился.

А до, что мы о немъ знаемъ?.. Ничего, кромѣ такихъ чертъ, которыя рисуютъ просто пустого и просто внѣшняго, безсодержательнаго человѣка, да и въ этихъ немногихъ чертахъ нѣкоторыя совершенно фальшивы.

«Онъ служилъ въ Петербургѣ чиновникомъ по особымъ порученіямъ»

въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Въ городѣ О. онъ пріѣхалъ для исполненія временнаго казеннаго порученія и состоялъ въ распоряженіи губернатора, генерала Зонненберга, которому доводился дальнимъ родственнымникомъ. Отецъ Паншина, отставной штабъ-ротмистръ, извѣстный игрокъ, человекъ съ сладкими глазами, помятымъ лицомъ и нервической дерготней въ губахъ; весь свой вѣкъ терся между знатью, посѣщалъ англійскіе клубы обѣихъ столицъ и слылъ за ловкаго, не очень надежнаго, но милаго и задушевнаго малаго. Не смотря на всю свою ловкость, онъ находился почти постоянно на самомъ рубежѣ нищеты и оставилъ своему единственному сыну состояніе небольшое и разстроенное. Зато онъ, по-своему, позаботился объ его воспитаніи. Владиміръ Николаичъ говорилъ по французски прекрасно, по-англійски хорошо, по-нѣмецки дурно. *Такъ оно и слѣдуетъ: порядочнымъ людямъ стыдно говорить хорошо по-нѣмецки, но пускать въ ходъ германское слово въ некоторыхъ, большей частью забавныхъ случаяхъ — можно; c'est même très chic, какъ выражаются петербургскіе парижане.* Владиміръ Николаичъ съ пятнадцатилѣтнаго возраста уже умѣлъ, не смущаясь, войти въ любую гостинную, пріятно повертѣться въ ней и кстати удалиться. Отецъ Паншина доставилъ сыну своему много связей; тасуя карты между робберами, или послѣ удачнаго «большаго шлема», онъ не пропускалъ случая запустить словечко о своемъ «Володькѣ» какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческихъ игръ. Съ своей стороны, Владиміръ Николаичъ во время пребыванія въ университетѣ, откуда онъ вышелъ съ чиномъ дѣйствительнаго студента, познакомился съ нѣкоторыми знатными молодыми людьми и сталъ вхожъ въ лучшіе дома. Его вездѣ охотно принимали; онъ былъ очень недурень собою, развязень, забавень, всегда здоровъ и на все готовъ; гдѣ нужно — почтителенъ, гдѣ можно — дерзокъ, отличный товарищъ, *un charmant garçon*; завѣтная область раскрылась передъ нимъ. Паншинъ скоро понялъ тайну свѣтской науки; онъ умѣлъ проникнуться дѣйствительнымъ уваженіемъ къ ея уставамъ, умѣлъ съ полнасмѣшливой важностью заниматься вздоромъ, и показывать видъ, что почитаетъ все важное за вздоръ, — танцевалъ отлично, одѣвался по-англійски. Въ короткое время онъ прослылъ однимъ изъ самыхъ любезныхъ молодыхъ людей въ Петербургѣ. Паншинъ былъ дѣйствительно очень ловокъ, — не хуже отца; но онъ былъ очень даровитъ. *Все ему далось: онъ мило пѣлъ, бойко рисовалъ, писалъ стихи, весьма недурно игралъ на сценѣ.* Ему всего пошелъ двадцать-восьмой годъ, а онъ былъ уже камеръ-юнкеромъ и чинъ имѣлъ весьма изрядный. Паншинъ твердо вѣрилъ въ себя, въ свой умъ, въ свою проникательность; онъ шелъ впередъ смѣло и весело полнымъ махомъ; жизнь его

тепла какъ по маслу. Онъ привыкъ нравиться всѣмъ, старому и малому, и воображалъ, что знаетъ людей, особенно женщинъ; онъ хорошо зналъ ихъ обыденныя слабости. *Какъ человекъ не чуждый искусству, онъ чувствовалъ въ себѣ жаръ, и нѣкоторое увлеченіе, и восторженность, и вслѣдствіе этого позволялъ себѣ разныя отступленія отъ правилъ: лѣзть, знакомился съ лицами, непринадлежащими къ свѣту; и вообще держался вольно и просто; но въ душѣ онъ былъ холоденъ и хитеръ, и во время самаго буйнаго кутежа, его умный карій глазокъ все караулилъ и выматривалъ; этотъ смѣлый; этотъ свободный юноша никогда не могъ забыться и увлечься вполне.*

Во всемъ этомъ изображеніи, видно какое-то художественное колебаніе между чертами, какая-то неясность очерка.

Вы остаетесь въ нѣкоторомъ недоумѣніи, что именно хотѣлъ сказать Тургеневъ фигурою своего Паншина, и какими сторонами натуры отдѣляетъ Паншинъ лице Лаврецакаго? Тѣмъ ли, что онъ натура чисто внѣшняя, внѣшне-даровитая, внѣшне-блестящая и т. д., въ противоположность искренней и съ виду далеко неблестящей личности главнаго героя? Тѣмъ ли, что онъ одна изъ общихъ истертыхъ фигуръ свѣтскихъ героевъ, въ родѣ героевъ повѣстей графа Сологуба и вообще повѣстей сороковыхъ годовъ? Или, наконецъ, тѣмъ, что онъ—холодная теоретическая натура, въ противоположность жизненной натурѣ Лаврецакаго?

Вы скажете: и тѣмъ; и другимъ; и третьимъ. Такъ, но вѣдь въ отношеніи къ фигурѣ, которую онъ долженъ извѣстнымъ образомъ отдѣлывать, поставленъ же онъ какими-либо сторонами рельефи? Да онъ явно и поставленъ такъ въ весьма знаменательной эпизодической сценѣ умственнаго столкновенія съ нимъ Лаврецакаго. Тутъ онъ рельефно поставленъ какъ человекъ теоріи въ контрастъ человеку жизни и почвы. Я нисколько не отрицаю, что онъ можетъ быть и внѣшне-даровитымъ, и свѣтски-моднымъ господиномъ; но на сухой методизмъ его, на его реформаторскія замашки, художникъ долженъ былъ обратить болѣе вниманія; долженъ былъ показать, какъ въ немъ такой методизмъ создавался и развивался.

А этого мы не видимъ, или это самое тронато, во-первыхъ, поверхностно; во-вторыхъ, фальшиво.

И прежде всего, я подымаю процессъ, начатый весьма справедливо однимъ изъ серьезныхъ нашихъ журналовъ съ Писемскимъ за его Калиновича, хотя это многимъ показалось и смѣшно: Владиміръ Николаевичъ Паншинъ, равно какъ и Калиновичъ, не могли выйти изъ университетовъ. Они продукты специальныхъ заведеній.

Изъ университетовъ нашихъ выходили: или Бельтовы и Рудины, т. е. вообще лица, недослуживающія 14 лѣтъ и 5 мѣсяцевъ до пряжки, потому что идеалы ихъ не мирятся съ практикой, а они упорно и сурово уходятъ въ свои идеалы; или Лаврецкіе и Лежневы, можетъ быть менѣе, но тоже не дослуживающіе до пряжки; или «Досужевы»: Доходнаго мѣста, живущіе на счетъ «карасей» и запросто съ карасями, т. е. съ земщиной, знаніемъ, съ одной стороны, нравовъ и обычаевъ «карасей», а съ другой знаніемъ отвлеченнаго и темнаго для «карасей» закона и умѣньемъ справляться съ этимъ отвлеченнымъ для карасей міромъ въ пользу «карасей», которые ихъ за то любятъ, колятъ, и уважаютъ, и ублажаютъ, т. е. наши юристы въ настоящемъ смыслѣ этого слова; или, наконецъ, просто взяточники и подъячіе,—но никакъ не реформаторы съ высоты чиновничьяго величія.

Таковые могутъ образоваться только подъ вліяніемъ резонерства теорій, а не подъ вліяніемъ философіи и, болѣе или менѣе, но всегда энциклопедическаго университетскаго образованія.

Провести въ Паншинѣ идею теоретической чистоты и отвлеченности у Тургенева недостало послѣдовательности. А недостало этой послѣдовательности только потому, что къ самому Лаврецкому нѣтъ у него окончательно ясныхъ отношеній:

1). Ему непремѣнно хотѣлось сдѣлать своего Лаврецкаго тюфякомъ, тюленемъ, байбакомъ, изъ насильственной любви къ типу загнаннаго человѣка, любви, порожденной борьбою съ блестящимъ, нѣсколько хищнымъ типомъ. Тургеневъ

....сжегъ все, чему поклонялся,

Поклонился всему, что сжигалъ.

Но дѣло въ томъ, что артистъ въ немъ сильнѣе мыслителя, и артистъ рисуетъ въ Лаврецкомъ, противъ воли мыслителя, да и слава Богу, вовсе не загнаннаго человѣка, а очеркъ чего-то оригинально живаго. Намѣреніе художника сдѣлать Лаврецкаго тюфякомъ, байбакомъ, тюленемъ—жертва, принесенная имъ идеѣ загнаннаго типа, идеѣ, до которой довело его «сожалѣніе всего, чему онъ поклонялся»... Лаврецкій—тюфякъ и тюлень только для женщинъ, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ и Марьѣ Дмитріевнѣ; но, развѣ только и свѣту, что въ окошко? только и натуръ, что натуры вышеупомянутыя...? Мнѣ кажется вообще, что, находясь въ нѣсколько неясныхъ отношеніяхъ къ своему герою, къ своему душевному типу, Тургеневъ опустилъ изъ виду нѣкоторыя отношенія его къ людямъ и неясно поставилъ другія... Какъ будто кромѣ Лизы, не находилось и прежде никакихъ натуръ, способ-

ныхъ и оцѣнить и полюбить его, и кромѣ Михалевица лицъ, которыя понимали его не такъ, какъ М-г Эрнестъ и М-г Jules?... Судя по его натурѣ, можно съ достовѣрностью заключить противное, т. е. по-крайней-мѣрѣ то, что были женщины, которыя любили его страстно, да можетъ быть не соответствовали его идеаламъ. Вѣдь женщинъ два рода — два типа, и стремленія этихъ двухъ типовъ, между которыми есть, разумѣется, множество среднихъ терминовъ, діаметрально противоположны... А Тургеневъ — и это относится не къ Лаврецкому только, а ко множеству образовъ проходящихъ передъ читателями въ его повѣстяхъ и рассказахъ — такъ запуганъ блестящимъ типомъ, хищнымъ типомъ, что другой типъ представляется ему въ видѣ загнаннаго, тщетно ищущаго симпатій: много-много что онъ даетъ ему въ Лаврецкѣ — половину, лимфатическую симпатію.... Въ Лаврецкомъ — и это уже огромный шагъ впередъ въ нравственномъ процессѣ — типъ переходитъ изъ загнаннаго въ имѣющій право гражданства, получаетъ своего рода поэтическую оболочку, но все еще въ отношеніяхъ къ нему автора видно много неопредѣленности, непослѣдовательности.

2) Вслѣдствіе этого, нѣкоторыя качества, свойственныя Лаврецкому, Тургеневъ придаетъ Паншину, и наоборотъ.

Такъ, главнымъ образомъ, онъ совершенно ложно ставитъ между ними фигуру старика музыканта Лемма, главную повѣрку *чувства* (не только изящнаго, но вообще чувства) въ натурѣ того и другого. Дѣло въ томъ, что холодная, внѣшняя даровитость Паншина, даровитость, которой всѣ впечатлѣнія — заказныя, сдѣланныя, на первый разъ должна была непременно *надуть* старика-Нѣмца. Вѣдь тѣ Веретевскія артистическія черты, которыя Тургеневъ придалъ Паншину, черты непосредственной даровитости, поэтическаго пониманія, вовсе нейдутъ къ нему: такимъ людямъ гораздо свойственнѣе *заказные* восторги Бетховеномъ и внѣшнее знаніе дѣла, съ приличнымъ толкованіемъ о дѣлѣ и даже съ приличнымъ исполненіемъ. Все Веретевское скорѣе шло бы къ Лаврецкому, разумѣется, въ меньшей степени, нежели развито оно Тургеневымъ въ самомъ Веретевѣ.

Ибо прежде всего у Лаврецкаго есть натура, прежде всего онъ дитя почвы — вслѣдствіе чего и кончаетъ нравственнымъ смиреніемъ передъ нею.

## XX.

Чтобы покончить съ Лаврецкимъ, какъ съ идеалистомъ и съ отношеніями его къ жизни какъ идеалиста, а вмѣстѣ съ тѣмъ перейти къ

другой половинѣ его существа, я долженъ напомнить объ одной старой вещи—не знаю, читали ли вы ее—которая невольно, какъ нѣчто въ отношеніи къ Тургеневскому произведенію допотопное, приходила мнѣ въ голову въ томъ мѣстѣ, когда усталый, морально разбитый и смирившійся Лаврецій возвращается въ свое родовое имѣніе и ставится Тургеневымъ съ очей на очи съ цѣлою галлереею его предковъ.... Какъ это сопоставленіе, такъ и фантастическая бесѣда Лаврецака съ портретами его предковъ,—невольно напоминаютъ замѣчательную по мысли, но вовсе уже не художественную вещь; именно «Идеалиста» А. В. Станкевича.

Важную и трудную для рѣшенія задачу избралъ себѣ авторъ этого разсказа; вотъ какія слова взялъ онъ эпиграфомъ къ своему произведенію— слова, замѣчательныя какъ motto, какъ чувство, проникающее все содержаніе. «Страшно подумать, что святое чувство любви истощится въ тщетномъ стремленіи къ необъятному, къ безотвѣтному. Не пожмешь руки великану, называемому вселенной; не дашь вселенной поцѣлуя, не подслушаешь какъ бьется ея сердце». Этими словами, которыя звучатъ одною тяжелою скорбію, не просвѣтленною разумнымъ сознаніемъ, объясняется многое въ вещи г. Станкевича, которую смѣшно какъ-то и назвать даже повѣстью: до такой степени она была «плѣнной мысли раздраженіемъ».

Идеализмъ—одна изъ болѣзней нашего вѣка. Требовать отъ дѣйствительности не того, что она даетъ на самомъ дѣлѣ, а того, о чемъ мы напередъ гадали; приступать ко всякому живому явленію съ отвлеченною и слѣдовательно мертвою переднею мыслию; отшатнуться отъ дѣйствительности, какъ только она противупоставитъ отпоръ требованіямъ нашего я, и замкнуться гордо въ самого себя: таковы самыя обыкновенныя моменты этой болѣзни, ея неизбѣжныя схемы. Правъ ли дѣйствительность, правы ли требованія нашего я—вопросъ довольно щекотливый, и едва ли можемъ добросовѣстно рѣшить его мы, болѣе или менѣе страдавшіе или страдающіе одною болѣзнію. Тоска, которая грызла свѣтлика Оберманна, романтика Рене, перешла и къ намъ по наслѣдству: мало людей, которыхъ бы не коснулось ея тлетворное дыханіе, да и тѣхъ не коснулось оно развѣ только потому, что вообще мало касались ихъ какіе-либо интересы духа. Но передъ поколѣніемъ предшествовавшимъ имѣемъ мы то преимущество, что можемъ сколько-нибудь отрѣшиться отъ этой болѣзни, исторически добираться до ея корней. Историческій анализъ, по возможности спокойный и безпристрастный—наше единственное право, и имъ покаместъ должны мы ограничиться. Разрѣшить задачу окончательно—если только она разрѣ-

шима—должно предоставить будущему времени. Одно только кажется намъ несомнѣннымъ—то, что по скольку съ участвіемъ и даже уваженіемъ къ больнымъ мѣстамъ должна быть рассматриваема настоящая болѣзнь, по столько же должна быть подвергнута посмѣянію и презрѣнію жалкая страсть къ ходульности, болѣзнь дешево купленнаго празднаго разочарованія. Вотъ почему, смѣясь надъ Тамиринымъ, нельзя оскорбить какою-либо насмѣшкою героевъ, подобныхъ герою г. Станкевича, хотя многие, привыкшіе видѣть только внѣшнее, только факты, готовы будутъ, пожалуй, смѣшать эти совершенно разнородныя лица. Съ перваго взгляда въ-самомъ-дѣлѣ представляется много сходнаго между Тамиринымъ и Левинымъ (герой разсказа г. Станкевича): тотъ и другой тратятъ душевную энергію на мелочи, тотъ и другой приступаютъ къ мелочамъ съ самыми широкими планами, упражняются въ нетрудномъ подвигѣ одурачить семнадцати-лѣтнюю дѣвчонку; тотъ и другой равно далеки отъ мысли соединить на вѣки свою судьбу съ судьбою этой дѣвчонки, и вмѣстѣ съ тѣмъ, одинаково мучатся, когда она освобождается изъ-подъ ихъ вліянія; но это только внѣшнее сходство, и было бы грубою ошибкою признать между ними внутреннее сродство.

Избѣгая отвлеченныхъ разсужденій, я передамъ содержаніе «Идеалиста».

Въ селѣ Березовѣ ждуть молодаго помѣщика, еще не заглядывавшаго въ него ни разу съ того времени, какъ оно досталось ему по смерти отца. Левинъ проживалъ въ столицахъ, странствовалъ за границей, каждый годъ писалъ своему управляющему, что будетъ въ Березово, и всегда отлагалъ поѣздку туда до слѣдующаго года. Пріѣзжаетъ наконецъ помѣщикъ, вовсе не такой, какимъ воображала его себѣ дворня:

«Черезъ нѣсколько минутъ влетѣла на дворъ коляска, и лихой ямщикъ мастерски осадилъ у крыльца четверню свою. Въ коляскѣ сидѣлъ очень блѣдный господинъ въ парусинномъ пальто, бѣлой фуражкѣ и съ тростью въ рукахъ. Онъ раскланивался со встрѣчавшими его; что-то, казалось, смутило его, яркая краска покрыла его блѣдныя щеки, и, потупивъ глаза, онъ съ какою-то неловкою поспѣшностью выскочилъ изъ коляски и вбѣжалъ въ домъ. Недостатокъ важности, приличный случаю и лицу, въ прѣхавшемъ господинѣ былъ замѣченъ встрѣчавшими его, и дворня разбрелась въ какомъ-то недоумѣніи».

Нѣтъ! этотъ человѣкъ, такъ добросовѣстно смущающійся отъ познанія своей несостоятельности въ столкновеніи со всякою, какою бы то ни было дѣйствительностію, не хочетъ изъ себя корчить ничего, не имѣетъ претензій на невозмутимое спокойствіе. Онъ самъ, съ глубо-

вѣмъ прискорбѣемъ, видитъ странность и фальшивость своего положенія, и только выходя изъ него, сосредоточиваясь снова въ самого себя, приобретаетъ гордо-спокойный взглядъ. Онъ самъ болѣе своимъ разобщеніемъ съ дѣйствительностію, самъ въ инныя минуты готовъ судить себя какъ Гамлетъ; но, какъ Гамлету же, ему не остается ничего иного, какъ уходить въ самого себя. Вотъ онъ въ своемъ родовомъ наслѣдіи—въ домѣ своихъ предковъ, и предки смотрятъ на него изъ старинныхъ рамъ портретовъ. «Почти на всѣхъ лицахъ мужескихъ и женскихъ, не смотря на различіе формъ и чертъ, лежала какая-то одна печать; всѣ они до того были лишены индивидуальности, рѣзко отличительнаго выраженія, что, казалось, память съ трудомъ могла бы сохранить какое-нибудь изъ этихъ лицъ, не смѣшивая его съ другимъ.»

Только два портрета поражаютъ Левина. Оба портрета изображали одну и ту же женщину въ разные годы ея жизни. Это была одна изъ бабокъ Левина, жившая во времена Екатерины II. Отецъ ея готовилъ ей супруга, но она бѣжала изъ родительскаго дома съ какимъ-то щеголемъ тогдашняго вѣка, скоро покинувшимъ ее: дѣдъ Левина далъ ей пріютъ и хлѣбъ въ своемъ домѣ, гдѣ она жила до конца дней своихъ, презираемая роднею, сварливая и озлобленная. Понятно, почему взглядъ Левина остановился преимущественно на двухъ изображеніяхъ этой «кометы въ кругу расчисленныхъ свѣтилъ»; понятно, что какъ-то неловко ему въ кругу этихъ безмятежныхъ, неподвижныхъ фізіономій, что хоть чего-нибудь сходнаго съ собою ищетъ онъ въ ихъ кругу.

«Наступалъ вечеръ. Левинъ вошелъ въ гостинную и опустился въ кожаныя кресла у раскрытаго окна. Предъ нимъ былъ старый, тѣнистый садъ, спускавшійся къ рѣкѣ, за рѣкою лугъ, за лугомъ поля и лѣсъ. Тонкій, прозрачный туманъ весеннихъ сумерекъ одѣвалъ окрестности; рогъ молодой луны еще не ярко обозначился на небѣ, соловей пѣлъ въ саду. Дума овладѣла Левинымъ: онъ впалъ въ то состояніе, когда безчисленные образы, давнія желанія и стремленія, забытыя событія, даже мимолетныя впечатлѣнія, все, мгновенно ли, долго ли жившее внутри человѣка, все минувшее, опять произвольно возникаетъ въ душѣ его, и въ нѣсколько минутъ онъ вновь переживаетъ всю жизнь свою».

И вотъ передъ Левинымъ проносятся дни дѣтства, и мелькаетъ образъ матери, нѣжно любящей, вѣчно лелѣющей...

«Вотъ онъ, наконецъ, юноша: душа полна стремленій разнообразныхъ и неопредѣленныхъ; для всего бьется сердце, за всѣмъ гоняется мысль, для всего есть восторгъ и жаръ; вокругъ юноши—свѣжія, мягкія лица, жизнь шумна и легка, а объ руку съ нимъ всегда братъ и другъ, и



все раздѣлено, все пережито вмѣстѣ—и какъ полны всѣ дни, всѣ мгновенія! Непрерывно далѣе и далѣе стремится и работаетъ мысль юношей, и безконечность жизни и духа открылась передъ ними; смѣло и жадно рвутся они туда, и мощный, всеобъемлющій, великій идеаль всегда поворилъ ихъ молодыя души, приковалъ къ себѣ ихъ взоры...» — Да простятъ намъ читатели, что мы перервемъ эту нить воспоминаній Левина, что мы остановимся здѣсь на минуту. Левинъ, какъ всѣ мы, болѣе или менѣе, поразила грандіозностью чужого идеала, прямо, на вѣру принявъ его за собственный, внутри души живущій. Идеаль этотъ у него притомъ чисто-нѣмецкій. Все въ его воспоминаніяхъ отзывается мечтами Шиллера,—звучитъ великою пѣснію германскаго поэта о радости... Немудрено, что этотъ идеаль самъ въ себѣ нашелъ начало раздвоенія, когда и у самого Шиллера всюду проходитъ одна мысль, что

Das Dort wird niemals Hier,

что

Ewig jung ist nur die Fantasie....

Немудрено, что такой неопредѣленный идеаль не могъ перейти въ дѣло... Левинъ исключительно увлекся Шиллеровскимъ идеаломъ, и, понятно, что какъ только проходитъ паръ энтузіастическаго упоенія, какъ только внезапная тишина объемлетъ его послѣ веселаго и шумнаго дружескаго пира, ему съ этой тишиной не ужиться. Энергія поддерживалась въ немъ внѣшними, нѣсколько насильственными средствами: въ немъ самомъ нѣтъ ничего опредѣленнаго, установленнаго.

«Потянулись другіе дни: *смушенъ, озадаченъ юноша представшею ему дѣйствительностью*; онъ всматривается въ жизнь *съ напряженіемъ*, прислушивается ко всѣмъ ея звукамъ, тревожно допрашивается смысла всѣхъ ея явленій; съ недоумѣніемъ и вопросомъ обращается онъ къ людямъ, ихъ дѣламъ и стремленіямъ, и представляется ему, что все шутка, что настоящій смыслъ жизни за чѣмъ-то скрытъ отъ него, что тайна и истина наконецъ откроются ему. Нетерпѣливо ждетъ онъ ихъ призыва, онъ ждетъ, а жизнь несется мимо, и напрасны его усилія броситься въ ея волны; несокрушима цѣпь и мощь овладѣвшаго имъ идеала. Ноетъ и сохнетъ душа въ безплодной борьбѣ — и потянулись дни безчисленныхъ противорѣчій, безсилнаго бѣшенства, дни плача и проклятій, мучительныхъ сновъ и стоновъ».

Состояніе страшное, котораго долго не вынести душѣ человѣческой. Таеъ или иначе, она должна выдти изъ него. Не для всякой природы возможенъ тотъ желанный исходъ, на который указалъ Гете въ одной пѣсни въ *Wilhelm Meister's Wanderjahren*:

Und den unbedingten Trieben.  
 Folget Freude, folget Rath,  
 Und dein Streben sey's im Lieben,  
 Und dein Leben sey die That.

Не для всякаго возможно и Шиллеровское примиреніе im Reiche der ewig jungen Fantasie... Нѣтъ! обыкновенно бываетъ такъ, какъ съ Левиннымъ:

«Тянутся дни безсильной тоски, затѣмъ дни равнодушія и безчувствія; замерло и притихло сердце, и голова начала свою вѣчную работу. Опять предстаётъ Левину безконечность жизни, но теперь она не пугаетъ его; гордо, съ поднятой головою смотритъ онъ въ безконечную даль ея; страданіе вызвало въ немъ прежде невѣдомую силу. Теперь нѣтъ въ немъ ни вопроса, ни желанія; ничего онъ не ищетъ, ничего не требуетъ отъ жизни, но спокойно и радушно встрѣчаетъ всѣ ея явленія».

Полно, такъ ли? Примиреніе ли это? Когда внутри шевелится сѣмя, брошенное матерью въ его душу, сѣмя любви и преданности — внезапно становится онъ разстроень, смущень и мраченъ. Странное спокойствіе, возмущаемое яснымъ небомъ, свѣтлымъ днемъ, видомъ счастливой четы! Странное спокойствіе, разрѣшающееся агоніей и Гамлетовскими проявленіями на себя самого, бесѣдою съ призраками, предковъ!

«Мы жили, слышишь ты, мы жили, а ты — ты только смотрѣлъ на жизнь. Куда ты рвался? чего хотѣлъ? Не по обычаю предковъ жилъ ты, не посмотрѣлъ себѣ подъ ноги, и вотъ, презрѣнный и жалкій, ты растерялся и заблудился. Презрѣнный, не срамилъ бы ты нашего дома и пропалъ бы себѣ, гдѣ знаешь!».

Чѣмъ же кончится этотъ судъ чловѣка надъ самимъ собою? Неужели голосъ предковъ, голосъ прошедшаго, вызваннаго имъ самимъ, голосъ отжившаго и умершаго восторжествуетъ безусловно надъ нимъ, сыномъ настоящаго?... Вопросъ не разрѣшенный г. Станкевичемъ, да не разрѣшенный доселѣ и никѣмъ еще.

Вотъ его герой бродитъ по своему имѣнію: все ему чуждо тутъ, все самое обыкновенное ему непонятно, или возмущаетъ его, потому что не согласно съ сложившимися въ его головѣ представленіями; а почему лучше его представленія того, что есть на самомъ дѣлѣ, и точно ли они лучше, и стоитъ ли окружающее его одного холоднаго презрѣнія, или величаваго равнодушія, — онъ не хочетъ подумать.

«Онъ прошелъ по селу, замѣтилъ беззаботность и лѣнь на лицахъ мужиковъ, обратилъ вниманіе на дородство и ростъ бабъ, рѣшился

спросить у возвратившагося водовоза, отчего «скрипятъ колеса его бочки, и, получивъ отвѣтъ, что они не мазаны, побрелъ къ мельницѣ».

И только подобное видитъ Левинъ, и только подобныхъ вопросовъ удостоиваетъ онъ окружающее его. Если онъ такъ *прислушивался ко всемъ звукамъ жизни*, если онъ такъ *допрашивался смысла всякаго явленія*, если никогда не сходилъ онъ съ своего карточного олимпа, то не мудрено, что настоящій смыслъ жизни скрытъ отъ него—и притомъ не за чѣмъ-то, а просто потому, что онъ, гордый и безстрастный идеалистъ, не въ силахъ принять его сердцемъ. Даже на счетъ сердца заблуждается онъ; даже о сердцѣ напоминаетъ ему вызванный имъ же призракъ бабки.

«Чѣмъ же ты такъ смущенъ, заговорила прекрасная бабка тѣмъ мягкимъ и поворяющимъ голосомъ, который дается только сильной и страстной юности,—неужели рѣчами старика? Не слушай никого, слушайся только себя, покоряйся только своему сердцу. Ты задавилъ его, а отъ него только счастье. Дай ему волю, полную и безграничную волю.»

Левинъ повсюду слышитъ только рѣзкіе тоны и призракъ вызванъ имъ, какъ представитель другой крайности—слѣпой стихіи, волнуемой каждою наслажденіемъ точно такъ же неопредѣленною, какъ его жажда и его стремленія. Мудрено ли, что этотъ призракъ, весь кипящій страстными порывами, вдругъ превращается передъ нимъ въ старуху съ сморщеннымъ и потемнѣвшимъ лицомъ, какъ у Кальдерона въ *El Magico prodigioso*—красавица мгновенно обращается въ скелетъ? И не чѣмъ тутъ смущаться, что распадается прахомъ созданное изъ праха. Уловить въ преходящемъ вѣчное и неперемѣнное, принять его въ себя не отвлеченно и искать его повсюду дѣлательно—вотъ правда, которая лежитъ подъ сердцемъ человѣческимъ, и тогда, по слову Гёте (*Das Vermächtniss*):

Внутри души своей живущей  
Ты центръ увидишь вѣчно-сущій,  
Въ которомъ нѣтъ сомнѣній намъ:  
Тогда тебѣ не нужно правилъ,  
Сознанья свѣтъ тебя наставилъ,  
И солнцемъ сталъ твоимъ дѣламъ.  
Вполнѣ твоими чувства стануть,  
Не будешь ими ты обмануть,  
Когда не дремлетъ разумъ твой,  
И ты съ спокойствіемъ свободы,  
Богатой нивами природы

Любуйся вѣчной красотой.

Но наслаждайся не безпечно,

Присущь да будетъ разумъ вѣчно,

Гдѣ жизни въ радость жизнь дана,

Тогда былое удержиимо,

Грядущее заранѣ зримо,

Минута съ вѣчностью равна.

Пожалуй и Левинъ любитъся вѣчной красотой, нивами природы, да не то разумѣлъ поэтъ подъ такимъ наслажденіемъ, что разумѣтъ Левинъ, замѣчающій только лѣнь и беззаботность на лицахъ мужиковъ, и углубляющійся въ созерцаніе муравейника. Нѣтъ! примиреніе, которое разумѣлъ Гёте (и до котораго дошелъ самъ онъ, впрочемъ, только сознаніемъ) и проще и выше; это—примиреніе въ дѣятельности, въ любви,—величіе въ маломъ, въ ежедневномъ, въ обыкновенномъ.

Dass mir uns in ihr zerstreuen,

— Darum ist die Welt so gross,

говорить онъ въ той-же пѣснѣ, которую мы уже приводили, ободряя тутъ-же стремящагося тѣмъ, что

Kopf und Arm mit heitern Kräften

Ueberall sind sie zu Haus.

Но не таковы мы (разумѣя болящихъ болѣзнію героя г. Станкевича), чтобы дойти до такого здороваго и прѣстаго примиренія—и часто приходили мы къ горькому заключенію, что сами виноваты во всемъ томъ, въ чемъ такъ наивно, и вмѣстѣ такъ гордо винимъ переходную эпоху, что мы сами роемъ неизмѣримую пропасть между мыслью и дѣломъ, подрывая упервой всѣ основы, которыми бы она могла опереться на почву дѣйствительности, лишая послѣднее всякаго достоинства. И бессильна становится мысль, истощенная вращаніемъ въ одномъ и томъ же безвыходномъ околованномъ кругѣ, тупѣя въ застоѣ, на который сама себя осудила,—и все постыднѣе и постыднѣе падаетъ дѣло,—и подъ гнетомъ бессильной, тяжелой мысли, которая что старѣетъ, то шалѣетъ, и все становится притязательнѣе, тащится человекъ по жизни, словно кляча, сбившаяся съ дороги. И пусть ищетъ онъ утѣшенія въ сравненіи съ гордыми и вольными орлами, какъ идеалистъ г. Станкевича: утѣшенія эти кратковременны, какъ всякое самообольщеніе. Жажда жизни нѣтъ иного исхода кромѣ жизни. Все насильственно задушенное уходитъ во внутрь, какъ червь точитъ внутренность, и живетъ, питаясь ея соками.

Я привелъ только первыя страницы разсказа г. Станкевича, потому что онѣ однѣ важны въ немъ. Впечатлѣніе, оставляемое ими — не художественное впечатлѣніе, потому что дѣйствуетъ болѣзненно, но тѣмъ не менѣ эти страницы — искреннія, патетическія.

Съ чисто-художественной стороны, и самыя эти страницы не имѣли большого достоинства. Онѣ повторяли только и такъ-сказать расплывали то чувство, которое прежде сильнѣе и лучше сказалось во многихъ стихотвореніяхъ; онѣ были навѣяны какъ будто «Старымъ домомъ» Огарева —

Я ждалъ: знакомыхъ мертвецовъ

Не встанутъ ли вдругъ кости,

Съ портретныхъ рамъ, изъ тьмы угловъ

Не явятся ли въ гости...

Еще менѣ художественнаго таланта было во всемъ послѣдующемъ, въ самой драмѣ. Вездѣ видѣнъ былъ въ авторѣ человекъ мыслившій, жившій и глубоко-чувствовавшій, вездѣ прекрасныя цѣли — и нигдѣ артистичности исполненія. Вся исторія представляла собою развитіе одного изъ Лермонтовскихъ стихотвореній, изъ которыхъ такъ многія высказали въ могучемъ образѣ страданія поэта и людей его поколѣнія. Всѣ знаютъ стихотвореніе:

Ночевала тучка золотая и т. д.

Никто не станетъ отрицать, конечно, что вся трагическая сторона отношенія испытаннаго въ буряхъ жизни человека: къ минутно посѣтившему его призраку молодости, обозначена въ этихъ стихахъ съ удивительною энергіею. Никто такъ же не станетъ отрицать и того, что подражатели Лермонтова напрасно распространяли его стихи въ цѣлыя повѣсти, — что все, бывшее настоящею бурею въ душѣ поэта, обратилось у нихъ просто въ бурю въ стаканѣ воды. Лермонтовъ далъ много, но едва ли не одинъ онъ въ состояніи былъ воспользоваться, какъ слѣдуетъ, тѣмъ, что онъ далъ. Приложите извѣстное стихотвореніе его, взятое изъ Гейне:

Они любили другъ друга такъ долго и нѣжно,

или стихотвореніе, выше нами приведенное, къ жизни какого-нибудь Ивана Иваныча или Марьи Петровны, выйдетъ нѣчто комическое. Что-то комическое же являлось въ повѣсти г. Станкевича, являлось противъ воли ея весьма серьезнаго автора, — наперекоръ желанію читателя, который видѣлъ въ «Идеалистѣ» не Тамарина, а человека дѣйствительно

мыслившаго и много страдавшаго. Въ особенности смѣшны были орлы, являвшіяся Левину и во снѣ и во очю на пароходѣ.

«Левинъ сидѣлъ на палубѣ, закутавшись въ плащъ свой, и смотрѣлъ на безбрежную, движущуюся передъ глазами его пустыню. Вдали показался островъ, и когда пароходъ приблизился къ нему, Левинъ увидалъ большого орла, поднимающагося со скалы его. Онъ вспомнилъ другую пустыню, другою орла, и слова, слышанныя отъ него во снѣ: «парн и гордо созѣрцай до послѣдней минуты своей». Онъ поднялъ взоръ свой за орломъ, поднявшимся и исчезающимъ въ полетѣ къ небу, и ему почудилось, что вѣчность представилась ему во образѣ безпредѣльнаго неба и безпредѣльной движущейся пустыни—и онъ услышалъ ея мощный призывъ. Глубокой вздохъ вырвался изъ груди Левина. Онъ чувствовалъ, какъ душа его *расширилась и порвала члѣтъ любви, страданія и страсти, въ которыхъ томилась она (?)*. Радостно почувствовалъ онъ вновь свою свободу. Гордо поднялась опять голова его, смѣло и спокойно смотрѣлъ взоръ, — и съ этой минуты въ Левинѣ воскресъ и жилъ прежній *холодный, безстрастный идеалистъ*. Опять странствовалъ онъ, учился, смотрѣлъ, останавливался и задумывался передъ безчисленными явленіями; но въ немъ все болѣе изошрялась и развивалась несчастная способность видѣть отрицательную сторону предметовъ и лицъ,—и онъ никогда ничему не предавался и ни съ чѣмъ не заключалъ союза. *Жизнь его навсегда осталась, какъ и была, пустою и праздною*».

«Идеалистъ» г. Станкевича былъ напечатанъ въ 1851 году въ сборникѣ «Комета»; Тургеневское «Дворянское гнѣздо» написано въ 1858 году. Этимъ сопоставленіемъ я ужъ конечно не хочу и не думаю сказать, чтобы артистъ Тургеневъ что-либо взялъ у г. Станкевича, который явился вовсе не артистомъ, а только мыслящимъ человѣкомъ и лирикомъ въ своемъ произведеніи; но для меня подобныя сближенія суть наглядныя указанія на процессы воплощеній всякой поэтической мысли или поэтическаго намѣренія. Такъ здѣсь мысль является сперва чисто лирически, какъ музыкальный мотивъ въ удивительномъ стихотвореніи Огарева «Nocturno», принимаетъ фантастически-странныя и непомерно-рѣзкія формы въ «Идеалистѣ», этомъ лирическомъ результатѣ печальной и серьезной думы о жизни, лишенномъ художественной оболочки, соразмѣрной, гармонической плоти,—и наконецъ поэтъ истинный, какъ Тургеневъ, приводитъ въ гармонію поэтическое намѣреніе и поэтическое исполненіе.

Больше еще. Есть внутреннее сродство въ идеѣ, породившей Левина, и въ идеѣ, породившей Лавредкаго. Идея шла даже однимъ процес-

сомъ, дошла въ «Идеалистѣ» до сознанія, и только перешла въ *дѣло* въ Лаврецовѣ. Левинъ г. Станкевича, понявъ свою несостоятельность въ отношеніи къ дѣйствительности; но его смиреніе передъ нею, передъ правдою жизни, выражается только въ ожесточеніи, въ окаменѣніи, въ изолированности: такой конецъ процесса въ «Идеалистѣ» г. Станкевича, какъ порожденіи «раздраженія плѣвннѣи мысли», какъ произведеніи рѣзкомъ и нагомъ, вопреки намѣреніямъ автора доходитъ до комизма. Лаврецкій Тургенева, такой же идеалистъ, но въ немъ есть плоть, кровь, натура: у него сознаніе не ограничилось однимъ отрицаніемъ и перешло въ *дѣло*... Въ немъ столько же натуры и привязанности къ почвѣ, сколько идеализма. Въ его душѣ глубоко отзываются и воспоминанія дѣтства, и семейныя преданія, и бытѣ роднаго края, и даже суевѣрія. Онъ человѣкъ почвы, онъ, если хотите изъ Обломовцевъ, къ которымъ недавно проникся такою враждою замѣчательно-даровитый публицистъ «Современника». Въ этомъ его слабость, но въ этомъ и его сила; слабость, разумѣется, въ настоящемъ, сила въ будущемъ. Онъ *нашъ*, онъ *намъ* родной, намъ, русскимъ людямъ, какими сдѣлала насъ реформа.

Покаместъ, онъ точно, какъ Обломовецъ, ни въ какое *дѣло* негодится; но онъ наша эгида противъ реформаторовъ Паниныхъ, противъ устроителей Констанжогло, наконецъ противъ этой безцѣльной дѣятельности для дѣятельности, которая математически-рѣзко, но вѣрно представлена Гончаровымъ въ фокусѣ (ибо личностью назвать не могу) Штольца.

Тутъ бы и слѣдовало мнѣ покончить съ Лаврецкимъ и съ самымъ произведеніемъ Тургенева, если бы я былъ публицистомъ, а не критикомъ.

Но художественное произведеніе для меня есть откровеніе великихъ тайнъ души и жизни, единственное порѣшеніе общественныхъ и нравственныхъ вопросовъ. Въ первый разъ въ литературѣ нашей, въ лицѣ Лаврецова, нашъ Иванъ Петровичъ Вленинъ вышелъ изъ своего запуганнаго, чисто-отрицательнаго состоянія. Пусть онъ явился въ произведеніи явно неоконченнымъ, пусть самъ поэтъ стоитъ къ нему еще въ нерѣшительныхъ отношеніяхъ; но эти нерѣшительныя отношенія уже видимо не тѣ, въ которыхъ стоялъ Тургеневъ къ типу въ «Дневникѣ лишняго человѣка», въ «Двухъ пріятеляхъ», въ «Рудинѣ» рисуя Лежнева. Лаврецкій существуетъ уже самъ по себѣ, не составляя контраста Рудину какъ Лежневъ, ибо въ немъ самомъ есть черты Рудинскія, для него самого необходимъ въ картинѣ контрастъ, несовѣтъ еще удавшійся поэту, въ Панинѣ отъ нерѣшительныхъ отношеній къ

главному герою... Онъ уже, какъ сказано, и «не идеалистъ», не гордо и ожесточенно замкнувшійся человѣкъ.

Когда онъ, усталый отъ жизни, полуразбитый жизнью, возвращается въ мѣръ старыхъ преданій, на родную, взростившую его почву, онъ возвращается туда не умирать, какъ г. Чулковуринъ въ свои «Овечьи воды»... Онъ живетъ, и живетъ впервые полною гармоническою жизнью.

Высокая поэтическая идея, за которую одну можно простить Тургеневу всю неоконченность созданія!...

Съ самой минуты появления Лаврецаго, вы знаете, вы чувствуете, что этотъ человѣкъ будетъ *жить*, что ему *слѣдуетъ жить*. При первомъ столкновеніи его съ Лизой и съ неопѣненной старушкой, составляющей художественный перлъ «Дворянскаго гнѣзда» и всей нашей современной литературы, — вы знаете это; потому что, въ первый же вечеръ своего появленія — «на верху, въ комнатѣ Марыи Тимофеевны, при свѣтѣ лампады, висѣвшей передъ тусклыми старинными образами, Лаврецкій сидѣлъ на креслахъ, облокотившись на колѣна и положивъ лицо на руки: старушка, стоя передъ нимъ, изрѣдка и молча гладила его по волосамъ»... Сохранившаяся въ душѣ его способность сочувствовать этой старушкѣ, физиологическая связь между этими двумя, столь раздѣленными и годами и образованіемъ существами, это — святая связь — Пушкинскою натурою съ Ириной Родионовной, святая любовь къ почвѣ, къ преданіямъ, къ родному быту, наша эгида противъ сухой прагматичности и суроваго методизма!

Вы знаете, что онъ будетъ жить; что онъ уже живетъ, этотъ полуразбитый сердцемъ и въ высочайшей степени развитый умомъ человѣкъ; какъ только обхватило его вѣяніе воздуха роднаго края.

«Часа четыре спустя, онъ ѣхалъ домой. Тарантасъ его быстро катился по проселочной, мягкой дорогѣ. Недѣли двѣ какъ стояла засуха; тонкій туманъ разливался молокомъ въ воздухъ и застилалъ обдѣленные дѣса; отъ него пахло гарью. Множество темноватыхъ тучекъ съ неясно-обрисованными краями разползались по блѣдно-голубому небу; довольно вѣтръ мчался сухой, непрерывной струей, не разгоняя зноя. Приложившись головой къ подушкѣ и скрестивъ на груди руки, Лаврецкій глядѣлъ на пробѣжавшіе вѣеромъ загоны полей, на медленно-мелькавшія рабеты, на глушныя воронъ и градей, съ душой-подозрительностью взиравшихъ бокомъ на пробѣжавшій акипаль, на длинныя межи, заросшія чернобыльницею, полынью и полевой рябиней. Онъ глядѣлъ... и эта свѣжая, степная, тучная голъ и глушь, эта зелень, эти длинныя холмы, овраги съ приземистыми дубовыми кустами, сѣрыя деревеньки, жидкія березы — вся эта, давно имъ невиданная, русская



картина навѣвала на его душу сладкія и въ тоже время почти скорбныя чувства, давила грудь какимъ-то пріятнымъ давленіемъ. Мысли его медленно бродили: очертанія ихъ были такъ же неясны и смутны, какъ очертанія тѣхъ высшихъ, тоже какъ будто-бы бродившихъ, тучекъ. Вспомнилъ онъ свое дѣтство, свою мать, вспомнилъ, какъ она умирала, какъ поднесли его къ ней, и какъ она, прижимая его голову къ своей груди, начала-было слабо голосить надъ нимъ, да взглянула на Глафиру Петровну—и умоляла. Вспомнилъ онъ отца, сперва бодрого, всѣмъ недовольнаго; съ мѣднымъ голосомъ, — потомъ слѣпого, плаксиваго, съ неопрятной сѣдой бородой; вспомнилъ, какъ онъ однажды за столомъ, выпивъ лишнюю рюмку вина и заливъ себѣ салфетку соусомъ, вдругъ засмѣялся и началъ, мигая ничего не видѣвшими глазами и краснѣя, рассказывать про свои побѣды; вспомнилъ Варвару Павловну—и невольно прищурился, какъ щурится человѣкъ отъ мгновенной внутренней боли, и встряхнулъ головой. Потомъ мысль его остановилась на Лизѣ....»

И скучаетъ-то онъ въ родномъ захолустьѣ, не такъ, какъ скучали другіе идеалисты:

«Лаврецкій всталъ довольно рано, потолковалъ со старостой, побывалъ на гумнѣ, велѣлъ снять цѣпь съ дворной собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла отъ своей кануры, — и, вернувшись домой, погрузился въ какое-то мирное оцѣпенѣніе, изъ котораго не выходилъ цѣлый день. «Вотъ когда я попалъ на самое дно рѣки», сказалъ онъ самому себѣ не однажды. Онъ сидѣлъ подъ окномъ, не шевелился и словно прислушивался къ теченью тихой жизни, которая его окружала, къ рѣдкимъ звукамъ деревенской глуши. Вотъ гдѣ-то за крапивой кто-то напѣваетъ тонкимъ-тонкимъ голоскомъ; комаръ словно вторитъ ему. Вотъ онъ пересталъ, а комаръ все пищитъ; сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжаніе мухъ раздается гудѣнье толстаго шмеля, который то и дѣло стучится головой о потолокъ; пѣтухъ на улицѣ завричалъ, хрипло вытягивая послѣднюю ноту, простучала телега, на деревнѣ скрипятъ ворота. «Чего?» задрезжалъ вдругъ бабій голосъ. «Охъ ты, мой сударникъ», говоритъ Антонъ двухъ-лѣтней дѣвочки, которую нянчить на рукахъ. «Квасъ неси», повторяетъ тотъ же бабій голосъ,— и вдругъ находитъ тишина мертвая; ничто не стукнетъ, не шелхнется; вѣтеръ листкомъ не шевельнетъ; ласточки несутся безъ крика одна за другой по землѣ,—и печально становится на душѣ отъ ихъ безмолвнаго полета. «Вотъ когда я на днѣ рѣки», думаетъ опять Лаврецкій. «И всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь», думаетъ онъ; «кто входитъ въ ея кругъ—покоряйся: здѣсь не зачѣмъ волновать»

ся, нечего мутить; здѣсь только тому и удача; кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой стебель; богородицины слезки еще выше выкидываютъ свои розовыя кудри; а тамъ дальше, въ поляхъ лоснится розь; и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ. На женскую любовь ушли мои лучшіе годы», продолжаетъ думать Лаврецкій; «пусть же вытрезвить меня здѣсь скука, пусть успокоить меня, подготовить къ тому, чтобы я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло». И онъ снова принимается прислушиваться къ тишинѣ, ничего не ожидая,— и въ тоже время, какъ будто безпрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ; солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по нему: кажется, они знаютъ, куда и зачѣмъ они плывутъ. Въ то самое время, въ другихъ мѣстахъ на землѣ кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та-же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ,— и странное дѣло!— никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины».

А между тѣмъ, онъ все-таки разбитъ; этотъ живущій и способный жить человекъ, и въ трагическую минуту онъ такъ же осужденъ

...надъ своимъ безсиліемъ смѣяться

И видѣть веруть себя безсиліе людей.

И вотъ почему, какъ «Идеалистъ» г. Станкевича, ставится онъ по-этомъ на очную ставку съ его престо, дико, грубо-развратно или тонко-развратно, но безъ заднихъ мыслей жившими предками...

«Лаврецкій провелъ полтора дня въ Васильевскомъ, и почти все время пробродилъ въ окрестностяхъ. Онъ не могъ оставаться долго на одномъ мѣстѣ: тоска его грызла; онъ испытывалъ всѣ терзанья непрестанныхъ, стремительныхъ и безсильныхъ порывовъ. Вспомнилъ онъ чувство, охватившее его душу на другой день послѣ приѣзда въ деревню; вспомнилъ свои тогдашнія намѣренія, и сильно негодовалъ на себя. Что могло оторвать его отъ того, что онъ призналъ своимъ долгомъ, единственной задачей своей будущности? Жажда счастья—опять-таки жажда счастья!—Вѣрно Михалевицъ правъ», думалъ онъ. — «Ты захотѣлъ вторично извѣдать счастья въ жизни», говорилъ онъ самъ себѣ,—

«ты позабылъ, что и то росеешь, незаслуженная милость, когда оно хоть однажды посѣтитъ челоуѣка. Оно не было полно, оно было ложно, скажешь ты, да предъяви же свои права на полное, истинное счастье! Отглянись, кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ ѣдетъ на косьбу; можетъ быть онъ доволенъ своей судьбою... Чтожь? захотѣлъ ли бы ты помѣняться съ нимъ? Вспомни мать свою: какъ ничтожно-малы были ея требованія, и какова ей выпала доля? Ты видно только похвастался передъ Паншинымъ, когда сказалъ ему, что пріѣхалъ въ Россію за тѣмъ, чтобы пахать землю; ты пріѣхалъ волочиться на старости лѣтъ за дѣвочками. Пришла вѣсть о твоей свободѣ, и ты все бросилъ, все забылъ, ты побѣждалъ какъ мальчишекъ за бабочкой»... Образъ Лизы безпрестанно представлялся ему посреди его размышленій; онъ съ усиліемъ изгонялъ его, какъ и другой неотвязный образъ, другія, невозмутимо-лукавыя, красныя и ненавистныя черты. Старикъ Антонъ замѣтилъ, что барину не по себѣ; вздохнувши нѣсколько разъ за дверью, да нѣсколько разъ на порогъ, онъ рѣшился подойти къ нему, посоветовалъ ему напиться чего-нибудь тепленькаго. Лаврецей закричалъ на него, велѣлъ ему выйти, а потомъ извинился передъ нимъ; но Антонъ отъ этого еще больше опечалился. Лаврецей не могъ сидѣть въ гостиной; ему такъ и чудилось, что прадѣдъ Андрей презрительно глядитъ съ полотна на хилаго своего потомка. — «Эхъ ты! мелко плаваешь!» — казалось, говорили его, на бокъ скрученныя, губы. «Неужели же», думалъ онъ, «я не слажу съ собою, — поддамся этому... вздору?» (Тяжело раненные на войнѣ всегда называютъ «вздоромъ» свои раны. Не обманывать себя челоуѣку — не жить ему на землѣ). «Мальчишка я, что ли, въ самомъ дѣлѣ? Ну, да; увидалъ вблизи, въ рукахъ почти держалъ возможность счастья на всю жизнь — оно вдругъ исчезло; да вѣдь и въ лотереѣ — повернись колесо еще немного, и бѣднякъ пожалуй сталъ бы богачемъ. Не бывать, такъ не бывать — и кончено. Возмусь за дѣло, стиснувъ зубы, да и велю себѣ молчать; благо, мнѣ не въ первый разъ брать себя въ руки. И для чего я бѣжалъ, зачѣмъ сажу здѣсь, забивши, какъ страусъ, голову въ вустѣ? Страшно бѣдѣ въ глаза взглянуть — вздоръ!» — «Антонъ!» закричалъ онъ громко, «прикажи сейчасъ закладывать тарантасъ». — Да, подумалъ онъ опять, — надо велѣть себѣ молчать, надо взять себя въ ежовыя рукавицы»...

«Такими-то разсужденіями старался помочь Лаврецей своему горю; но оно было велико и сильно; и сама, выжившая не столько изъ ума, сколько изъ всякаго чувства, Апраксѣя покачала головой и печально проводила его глазами, когда онъ сѣлъ въ тарантасъ, чтобы ѣхать въ городъ. Лошаді скакали: онъ сидѣлъ неподвижно и прямо; и неподвижно глядѣлъ впередъ на дорогу».

И всѣми этими чертами онъ нашъ... чуть было не сказалъ *герой*, но спохватился, что героевъ нѣтъ и не можетъ быть изъ Обломовцевъ...

И вотъ почему я, разъяснивши его историческое и общественное значеніе, не кончаю еще статьи о «Дворянскомъ гнѣздѣ» и о Тургене-  
невѣ...

## СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

### XXI.

Разсмотрѣвши одну сторону характера Лаврецаго — многозначительную по ея исторической задачѣ, я заключилъ свои разсужденія указаніемъ на черты, которыя дѣлають его нашимъ общимъ представителемъ, на его жизненную сторону, на его глубокую физиологическую связь съ почвою, съ преданіями, съ жизнію родной стороны.

Высокое значеніе этого лица, не смотря на всю неполноту его изображенія, на всю робость приемовъ автора при этомъ изображеніи, на всю болѣзненную неопредѣленность отношеній къ нему автора, — прежде всего въ томъ, что это лицо — не сухой логическій выводъ, не итогъ, подведенный искусственно подъ извѣстными данными; а живорожденное, выношенное въ душѣ созданіе поэта, что онъ — лицо художественное... По общему и непреложному закону, чѣмъ лицо художественнѣе, т. е. чѣмъ зачатіе его въ душѣ поэта и рожденіе на свѣтъ совершаются свободнѣе, тѣмъ болѣе отражаетъ оно въ себѣ результаты жизни, тѣмъ болѣе оразумливаетъ оно высшимъ смысломъ цѣлыя группы явленій — тѣмъ болѣе раскрываетъ оно міросозерцаніе современной ему эпохи. Ни Обломовъ Гончарова, этотъ отвлеченный математическій итогъ недостатковъ или дефицитовъ того, что авторъ романа называетъ Обломовкой, ни Калиновичъ Писемскаго, эта программа — изъ всѣхъ другихъ программъ самая, впрочемъ, живая — отвлеченной дѣятельности, не говорятъ собою и въ сотую долю того, что говоритъ неполный, неопредѣленный образъ Лаврецаго.

А между-тѣмъ, Лаврецкій не хочетъ ничего сказать собою. Онъ родился, а не сочинился — и Тургенева нисколько не виноватъ въ его рожденіи.

Творчество — я принужденъ напоминать и повторять для ясности дѣла принципы и положенія уже не разъ мной высказанные — творче-

ство, каково-бы оно ни было, субъективное или объективное, все равно,— есть результатъ внутренняго побужденія творить, т. е. выражать въ образахъ прирожденныя стремленія или благопріобрѣтенныя созерцанія своего внутренняго міра,—и даже границы между творчествомъ субъективнымъ и творчествомъ объективнымъ, не могутъ быть рѣзко установлены: наблюденіями біографовъ и изслѣдованіями критиковъ-психологовъ доказана связь многихъ видимо объективнѣйшихъ созданій съ личною жизнію ихъ творцевъ. Да оно иначе и быть не можетъ: что бы ни выражалъ человѣкъ, онъ выражаетъ только самого себя. Большая степень способности сообщать свои личныя впечатлѣнія и свои душевные опыты, отвлекая ихъ отъ частныхъ явленій и перенося ихъ на однородныя же, но другія явленія, есть объективность: меньшая степень такой способности — субъективность. Дѣло въ томъ только, что субъективнѣйшіе-ли изъ призраковъ Байрона, объективнѣйшіе-ли изъ вѣчныхъ типовъ Шекспира—равно не хотятъ собою что-либо намѣренно сказать, а если и говорятъ, такъ вотъ что: «Берите насъ, каковы мы родились, берите насъ, какъ примете вы орла, любящаго вершины горъ и утесы, какъ примете вы голубой василекъ въ широкомъ, желтоводномъ морѣ колыхающейся ржи: мы васъ ничему не учимъ и ни въ чемъ не виноваты; мы—дѣти любви нашихъ творцовъ, плоть отъ плоти ихъ, кровь отъ крови; насъ какъ мать выносила въ себѣ ихъ натура, и мы рождены, какъ рождены вы сами, а не сдѣланы, какъ сдѣланы предметы вашей роскоши или вашего испорченнаго вкуса. Примите насъ—если мы родились даже не совсѣмъ доношенныя; примите насъ, если мы родились даже съ какими-либо органическими недостатками; примите насъ, потому-что и такими-то насъ вамъ не сдѣлать, потому-что есть великая тайна въ нашемъ рожденіи, тайна, которой вы не услѣдите и не объясните. Мы не то, что сама жизнь, ибо мы не сколки съ нея; жизнь сама-по-себѣ, а мы сами-по-себѣ;—но мы такъ-же самостоятельны и необходимы и живы, какъ самостоятельны и необходимы и живы ея вліянія. Вы насъ не встрѣчали нигдѣ, и между-тѣмъ—мы ваши старые знакомцы, вы насъ знаете: таково свойство нашего таинственнаго происхожденія, вслѣдствіе котораго мы существуемъ, не существуя, существуемъ явно, видимо, безспорно». Вотъ что сказали бы созданія искусства и что говорятъ они любящимъ ихъ, съ которыми бесѣдуютъ они такъ, какъ, иногда-же, равнодушная природа съ своими жрецами, съ тѣми, которые слышать

И горній ангеловъ полеть,

И гадъ морскихъ подводный ходъ,

И дольней лозы прозябанье.

Но, не говоря ничего намѣренно, произведенія искусства связаны тѣмъ-не-менѣ органически съ жизнью творцевъ ихъ, и посредствомъ этого съ жизнью эпохи; какъ живыя порожденія, они выражаютъ собою то, что есть живого въ эпохѣ; часто какъ-бы предугадываютъ вдаль, разъясняютъ или опредѣляютъ смутные вопросы, сами нисколько, однако, не поставляя себѣ такого разъясненія задачей. Все новое вносится въ жизнь только искусствомъ: оно одно воплощаетъ въ созданіяхъ своихъ то, что невидимо присутствуетъ въ воздухѣ эпохи. Больше еще: искусство часто заранѣе чувствуетъ приближающееся будущее, какъ птицы заранѣе чувствуютъ ведро или ненастье: трагическая черта въ величавыхъ ликахъ олимпійскихъ изваяній, глубоко-подмѣченная Гегелемъ, или, что все-равно, таинственные и грозныя для олимпійцевъ провѣщанія эсхиловскаго Промнея — одно изъ ручательствъ за непосредственную прозорливость искусства, за его истинно-божественное происхожденіе. Великій поэтъ-философъ призналъ его поэтому за единственный истинный органъ даже своей трансцендентальной философіи. «Искусство», говоритъ Шеллингъ, «отвергаетъ святилище, въ которомъ горитъ единымъ огнемъ, сливаясь въ первобытное и вѣчное единство—то, что раздѣлено въ природѣ и въ исторіи, что постоянно расходится въ жизни и въ интеллигенціи. Для художника, равно какъ и для философа, природа является ни чѣмъ инымъ, какъ идеальнымъ міромъ, безконечно проявляющимся въ конечныхъ формахъ, отраженіемъ міра, имѣющаго только въ мысли полную реальность».... Искусство, связанное съ жизнью—видитъ, однако, дальше, нежели жизнь сама видитъ; а то, что уже есть въ жизни, то, что носится въ воздухѣ эпохи—постоянное или переходящее—оно отразитъ какъ фокусъ и отразитъ такъ, что всякій почувствуетъ правду отраженія, что всякій готовъ удивиться, какъ ему самому эта высшая правда жизни не представляла прежде столь же ярко. Искусство уловляетъ вѣчно-текущую, вѣчно-несущуюя впередъ жизнь, отлиываетъ моменты ея въ вѣковѣчныя формы, связывая ихъ процессомъ—опять-таки таинственнымъ—съ общею идеею души человѣческой...

Я вынужденъ былъ прибѣгнуть къ этимъ общимъ положеніямъ, къ этому философско-эстетическому profession de foi—по крайней необходимости. Все, что дѣйствительно блистательно было высказано по этому поводу Бѣлинскимъ, въ наше время какъ-будто забыто. Отъ великаго учителя нашего мы какъ-будто наслѣдовали только его вражды и симпатіи, вовсе забывши ихъ источники. По неволѣ приходится повторять и повторяться, когда положенія, высказанныя разъ — да и высказанныя могущественнымъ борцемъ, — положенія, долженствовавшія стать навѣки нерушимыми, на время позабыты, заслонены вопросами минуты. Дурно

ли, хорошо ли—я продолжаю въ этомъ отношеніи дѣло Бѣлинскаго, и горжусь этимъ смиреннымъ назначеніемъ,—не отвѣчая ни на циническія выходки невѣжества, ни даже на минутныя требованія современности, предоставляя будущему разсудить, что право: вѣрованіе ли въ жизнь и искусство, или вѣрованіе въ теорію и вопросы минуты?

Возвращаясь опять на почву фактовъ, я снова позволяю себѣ спросить: что многозначительнѣе по своему содержанию; глубже по своему взгляду и даже выше по общественному, социальному значенію—неоконченныя ли и неполно высказанныя задачи «Дворянскаго гнѣзда», или итоги Обломовки и программа «Тысячи душъ?» Въ чемъ больше истиннаго пониманія окружающей насъ жизни и менѣе спорнаго, гдѣ вопросы поставлены проще и общѣ,—въ этомъ ли художественномъ недооскѣ, или во множествѣ умно и гладко составленныхъ произведеній?

И прежде всего, позволяю себѣ сопоставить художественную идею «Дворянскаго гнѣзда» съ идеею Обломова, произведенія уже успѣвшаго надѣлать много шума, произведенія огромнаго, но чисто внѣшняго художественнаго дарованія. Весь Обломовъ построенъ на азбучномъ правилѣ: «возлюби трудъ и избѣгай праздности и лѣнности—иначе впадешь въ Обломовщину и кончишь какъ Захаръ и его баринъ». Не спору, что это правило очень хорошее; не спору, что и напоминать его весьма полезно намъ, ибо насъ, къ сожалѣнію, послѣ нѣсколькихъ вѣковъ нашего тупаго сна слѣдуетъ обучать даже такимъ простымъ истинамъ, что воровать не хорошо и что лѣниться скверно. Понимаю также и то, что люди, живущіе исключительно вопросами минуты, люди честные и благородные, но не дальновидные, должны были обрадоваться этой темѣ, какъ публицистъ «Современника», и съ яростію накинуться вмѣстѣ съ авторомъ Обломова—и даже больше чѣмъ самъ авторъ—на Обломову и Обломовщину. Не обвиняю ихъ и въ увлеченіяхъ, заставившихъ ихъ въ ряды Обломовцевъ влючить и Онѣгина и Печорина и Бельтова и Рудина—приписываю этимъ невольнымъ увлеченіямъ самыя лучшія, самыя благородныя источники—и знаю, насколько обусловлена современными обстоятельствами отрицательная сторона этихъ увлеченій, т. е. сторона вражды къ Обломовкѣ и Обломовщинѣ. Но вѣдь азбучное правило, за которое онъ такъ ратоборствуетъ и которому пожертвовалъ романистъ даже граціознѣйшимъ созданіемъ—Ольгою, справедливо только отвлеченно взятое. Какъ только вы имъ, этимъ достойнымъ, впрочемъ, всякой похвалы правиломъ, станете какъ анатомическимъ ножомъ разсѣкать то, что вы называете Обломовкой и Обломовщиной, бѣдная обиженная Обломовка заговоритъ въ васъ самихъ, если только вы живой человѣкъ, органическій продуктъ почвы и народности. Пусть она

погубила Захара и его барина; но вѣдь передъ ней же склоняется въ смрежи Лаврецкій, въ ней же обрѣтаетъ онъ новыя силы любить, жить и мыслить. Онъ долго сблизался съ нею, шляясь охотникомъ по полямъ, по трясинамъ и болотамъ; онъ съ болью сердца (да простится мнѣ, что я начинаю уже смѣшивать самого поэта съ героемъ его послѣдняго произведенія) видѣлъ и видитъ ея больныя мѣста, ея запущенныя язвы; но онъ видитъ и то, что она неотдѣлима органически отъ его собственнаго бытія, что только на ея почвѣ можетъ онъ жить не-искусственною, не-галлваническою жизнью, и полный такого искренняго сознанія, готовъ скорѣе идти въ крайность положительнаго смиренія передъ нею, чѣмъ въ противоположную крайность азбучнаго правила.

А все оттого, что Лаврецкій живое, съ муками и болью выношенное въ душѣ поэта, лице, а не холодное отвлеченіе различныхъ однородныхъ свойствъ и качествъ въ пользу теоріи.

Я оговаривался не разъ и оговорюсь еще теперь, что разсужденія о Тургеневѣ и его романѣ увлекаютъ меня неминуемо почти во всѣ вопросы современности и во множество отступленій къ прошедшимъ эпохамъ.... Какъ, прикажете, напримѣръ избѣгнуть вопроса о романѣ Гончарова, когда это послѣднее произведеніе, своимъ мірозерпаніемъ представляетъ явный контрастъ произведеніямъ Тургенева вообще и послѣднему его произведенію въ особенности? Отношеніе къ почвѣ, къ жизни, къ вопросамъ жизни, стоитъ на первомъ планѣ какъ въ дѣятельности Гончарова, такъ и въ дѣятельности Тургенева, и необходимость параллели вытекаетъ изъ самой сущности дѣла, съ тѣмъ только различіемъ, что, говоря о Тургеневѣ, необходимо говорить о многомъ другомъ, кромѣ Гончарова, а говоря о Гончаровѣ, можно удовлетвориться только сопоставленіемъ съ нимъ Тургенева.

## XXII.

Яркія достоинства таланта г. Гончарова признаны были безъ исключенія всѣми при появленіи его перваго романа: «Обыкновенной исторіи». Разсказъ его «Иванъ Савичъ Поджабринъ», написанный, какъ говорятъ, прежде, но напечатанный послѣ «Обыкновенной исторіи», многимъ показался недостойнымъ писателя, такъ блестяще выступившаго на литературное поприще — хотя признаюсь откровенно, я никогда не раздѣлялъ этого мнѣнія. Въ «Поджабринѣ» точно также, какъ и въ «Обыкно-



венной исторіи», обнаруживались почти одинаково всѣ данныя таланта г. Гончарова, и какъ то, такъ и другое произведеніе страдали равными, хотя и противоположными недостатками. Въ «Обыкновенной исторіи» голый скелетъ психологической задачи слишкомъ рѣзко выдается изъ за подробностей: въ «Поджабринѣ» частныя, внѣшнія подробности совершенно поглощаютъ и безъ того уже небогатое содержаніе; оттого-то оба эти произведенія — собственно не художественныя созданія; а этюды, хотя, правда, этюды блестящіе яркимъ жизненнымъ колоритомъ, выеазывающіе несомнѣнный талантъ высокаго художника, но художника, у котораго анализъ, и при томъ очень дешевый и поверхностный анализъ, подѣлъ всѣ основы, всѣ корни дѣятельности. Сухой догматизмъ постройки «Обыкновенной исторіи» кидается въ глаза всякому. Достоинство «Обыкновенной исторіи» заключается въ отдѣльныхъ художественно обработанныхъ частностяхъ, а не въ цѣломъ, которое всякому, даже самому пристрастному читателю представляется какимъ-то натянутымъ развитіемъ напередъ заданной темы. Кому не явно, что Петръ Ивановичъ, съ его безопаднымъ практическимъ взглядомъ, не лице дѣйствительно-существующее, а олицетвореніе извѣстнаго взгляда на вещи, нѣчто въ родѣ Стародумовъ, Здравомысловъ и Правосудовыхъ старинныхъ комедій — съ тѣмъ только различіемъ, что Стародумы, Здравомыслы и Правосудовы, при всей нелѣпости ихъ, были представителями убѣжденій гораздо болѣе благородныхъ и гуманныхъ, нежели узкая практическая теорія Петра Ивановича Адуева? Что съ другой стороны—Александръ Адуевъ слишкомъ намѣренно выставленъ авторомъ и слабѣе и мельче своего дядюшки, что на днѣ всего лежитъ такая антипоэтическая тема, такая пошлая мысль, которыхъ не выкупаютъ блестящія подробности?... Замѣчательно въ высшей степени, что «Обыкновенная исторія» понравилась даже отжившему поколѣнію, даже старичкамъ, даже помнитса.... Сѣверной Пчелѣ (съ позволенія сказать!); это свидѣтельствовало не объ особенномъ ея художественномъ достоинствѣ, а просто о томъ, что воззрѣніе, подѣ влияніемъ котораго она написана, было не выше обычнаго уровня.

Та же самая антипоэтичность мысли оказывается и въ «Снѣ Обломова», этомъ зернѣ, изъ котораго родился весь Обломовъ, этомъ фокусѣ, къ которому онъ весь приводится, для котораго чуть-ли не весь онъ написанъ.... Антипоэтичность азбучно-практической темы тѣмъ непріятнѣе подѣйствовала на безпристрастныхъ читателей, что внѣшнія силы таланта выступили тутъ съ необычайною яркостью. Вы помните, что прежде чѣмъ авторъ переноситъ васъ въ «райскій уголокъ зелени», созданный сномъ Обломова, онъ нѣсколькими штрихами мастерскаго

карандаша рисуетъ иной край, иную жизнь, совершенно противоположные дѣямъ, въ которыя переноситъ насъ сонъ героя.... Вы чувствуете въ манерѣ изложенія присутствіе того истиннаго, спокойнаго творчества, которое по волѣ своей переноситъ васъ въ тотъ или другой міръ и каждому сочувствуетъ съ равною любовію.... И потому, передъ вами до мелкихъ оттѣнковъ, создается знакомый вамъ съ дѣтства бытъ, міръ типичны и невозмутимаго спокойствія во всей его непосредственности. Авторъ становится истиннымъ поэтомъ—и, какъ поэтъ, умѣетъ стоять въ уровень съ создаваемымъ имъ міромъ, быть комически-наивнымъ въ разсказѣ о чудовищѣ, найденномъ въ оврагѣ обитателями Обломовки, и глубоко трогательнымъ въ созданіи матери Обломова, и истиннымъ психологомъ въ исторіи съ письмомъ, которое такъ страшно было распечатать мирнымъ жителемъ «райскаго уголка зелени», и, наконецъ, эпически-объективнымъ художникомъ въ изображеніи того послѣ-обѣденнаго сна, который объемлетъ всю Обломовку. Помните еще мѣсто о сказкахъ, которыя повѣствовались Ильѣ Ильичу и, конечно, всѣмъ намъ болѣе или менѣе, которыхъ пеструю и широко-фантастическую канву поэтъ развертываетъ съ такою силою фантазіи? Помните еще остальные подробности: семейный разговоръ въ сумерки, негодованіе жены Ильи Ивановича на его безпамятство въ отношеніи къ разнымъ примѣтамъ, сборы его отвѣчать на письмо, составлявшее нѣсколько времени предметъ тревожнаго страха?.... Все это полный, художнически созданный міръ, влекущій васъ неодолимо въ свой очарованный кругъ....

И для чего же *шбелъ сія бысть*? Для чего же поднять весь этотъ міръ, для чего объективно изображенъ онъ съ его настоящимъ и съ его преданіями? Для того, чтобъ наругаться надъ нимъ во имя практически-азбучнаго правила, во имя китайскихъ воззрѣній Петра Ивановича Адуева, или во имя татарско-нѣмецкаго воззрѣнія Штольца; ибо Штолецъ все-таки татаринъ, хоть и нѣмецъ, татаринъ по душѣ и по дѣлу въ своей раздѣлкѣ съ кредиторомъ Ильи Ильича.... Для чего въ самомъ «Снѣ» — неприятно-рѣзкая струя вроніи въ отношеніи къ тому, что все-таки выше Штольцовщины и Адуевщины?

Странныя задачи представляютъ произведенія нашего времени. Какъ, читая произведенія г. Гончарова не скажешь, что талантъ ихъ автора неизмѣрно выше воззрѣній ихъ породившихъ!

Но все имѣетъ свои историческія причины.

Отношеніе къ дѣйствительности Гоголя, выразившееся по преимуществу въ юморъ—этотъ горькій смѣхъ, карающій какъ Немезида, потому-что въ немъ слышится стонъ по идеалѣ, смѣхъ, полный любви и симпатіи, смѣхъ, возвышающій моральное существо человѣка, — такое

отношеніе могло явиться правымъ и цѣломудреннымъ только въ цѣльной натурѣ истиннаго художника. Не всѣ даже уразумѣли тогда вполне эту любовь, дѣйствующую посредствомъ смѣха; это горячее стремленіе къ идеалу. Для многихъ, даже для большей части, понятна была только форма произведеній Гоголя; очевидно было только то, что новая руда открыта великимъ поэтомъ, руда анализа повседневной, обычной дѣйствительности; и на то самое, на что Гоголь смотрѣлъ съ любовью: къ неперемѣнной правдѣ, къ идеалу, — на то другіе, даже весьма даровитые люди, взглянули только съ личнымъ убѣжденіемъ или съ предубѣжденіемъ. Отсюда ведутъ свое начало разные сатирическіе очерки и безконечное множество повѣстей сороковыхъ годовъ литературы, кончавшихся вѣчнымъ приговомъ: «и вотъ что можетъ сдѣлаться изъ чловѣка!» — повѣстей, въ которыхъ, по волѣ и прихоти ихъ авторовъ, съ героями и героинями, задыхавшихся въ *врязной* дѣйствительности, совершались самыя удивительныя *превращенія*, въ которыхъ все, окружавшее героя или героиню, намѣренно изображалось каррикатурно. Произведенія съ такимъ направленіемъ писались въ былую пору въ безчисленномъ количествѣ; ложь ихъ заключалась преимущественно въ томъ, что они запутывали читателя подробностями, взятыми повидному изъ простой повседневной дѣйствительности, доказывавшими въ авторахъ ихъ несомнѣнный талантъ наблюдательности, и вводили людей несвѣдущихъ, незнакомыхъ съ бытомъ, въ заблужденіе. Безспорно, что была и хорошая сторона и своего рода заслуга въ этой чисто отрицательной манерѣ — но односторонность и ложь ея скоро обнаружилась весьма явно. Забавнѣе всего было то, что никогда такъ сильно не бранили романтизма, какъ въ эту эпоху самыхъ романтическихъ отношеній авторовъ къ дѣйствительности.

Такое отношеніе къ дѣйствительности не могло быть продолжительно по самымъ основнымъ своимъ началамъ. Примиреніе, т. е. ясное разумѣніе дѣйствительности, необходимо человеческой душѣ, и искать его приходилось по неволѣ въ той же самой дѣйствительности, — тѣмъ болѣе, что находилось много людей, которые съ сомнѣніемъ качали головою, читая разныя каррикатурныя изображенія дѣйствительности, и дерзали думать, что слишкомъ мрачныя или слишкомъ грубыя краски употреблялись на картинѣ, что живописцы видимо находятся въ припадкѣ *меланхолии*, что *родственники* разныхъ барышенъ вовсе не такіе звѣри, какими они кажутся писателямъ, что даже и особенно грязны являются они только потому, что какому-нибудь *меланхолическому* автору хотѣлось въ видѣ особенной добродѣтели выставить *чистоплотность* какой-нибудь Наташи..... Усомнились, однимъ словомъ, въ томъ,

чтобы дѣйствительность была такъ грязна и черна, а романтическая личность такъ права въ своихъ требованіяхъ, какъ угодно было ту и другую показывать повѣствователямъ. Русскій человѣкъ отличается, какъ извѣстно, особенною смѣтливостію: онъ готовъ признать всѣ свои дѣйствительные недостатки — но не станетъ ихъ преувеличивать и не впадетъ поэтому въ мрачное мистическое отчаяніе.

Въ общемъ убѣжденіи образовался протестъ противъ исключительныхъ требованій романтической личности — за дѣйствительность.

Но за какую дѣйствительность?

Вѣдь у насъ ихъ, дѣйствительностей, видимымъ образомъ — двѣ. Одна на показъ — официальная, другая подъ спудомъ — бытовая... Разъяснять этой мысли здѣсь нѣтъ необходимости. Протестъ поднимался тогда еще смутно, самъ для себя неясный — на первый разъ даже болѣе за внѣшнюю, показную дѣйствительность.

Въ отвѣтъ на этотъ смутный, неопредѣленный протестъ, явилось примѣчательно яркое, но чисто внѣшнее дарованіе, безъ глубокаго содержанія, безъ стремленія къ идеалу, — дарованіе г. Гончарова. На требованіе оно отвѣтило, какъ могло и какъ умѣло, «Обыкновенной исторіей», этой эпопеей чиновническаго возврѣнія и азбучной мудрости, стоявшей совершенно въ уровень съ первыми, поверхностными началами протеста за дѣйствительность противъ романтической личности. Дарованіе г. Гончарова не пошло по новой дорогѣ: оно вышло цѣликомъ изъ той же самой категоріи произведеній, и было только ея цвѣтомъ. Примѣненіе выразилось въ «Обыкновенной исторіи» ироніею какого-то отчаянія, смѣхомъ надъ протестомъ личности съ одной стороны, и апотеозою торжества сухой, безжизненной, безъосновной практичности. Все было тутъ принесено въ жертву этой ироніи. Авторъ вывелъ двѣ фигуры: одну — жиденькую, худенькую, слабенькую съ ярлыкомъ на лбу: «романтизмъ quasi-молодаго поколѣнія»; и другую — крѣпкую, спокойную и опредѣленную, какъ математика, съ ярлыкомъ на лбу: «практическій умъ»; сей послѣдній, разумѣется, торжествовалъ въ своихъ расчетахъ, какъ добродѣтельная любовь въ старинныхъ романахъ и комедіяхъ. Таково была мысль произведенія г. Гончарова, мысль ни мало нескрѣтая, а, напротивъ, просившаяся наружу, кричавшая въ каждой фигурѣ романа. Много нужно было таланта для того, чтобы читатели забывали явно искусственную постройку произведенія, — но, кромѣ силы таланта, мысль отвѣтила на требованіе большинства, т. е. моральнаго и общественнаго мѣщанства. Романъ — повторяю я — понравился всѣмъ такъ называемымъ практическимъ людямъ, которые всегда любятъ, когда бранятъ молодое поколѣніе за разныя несообразныя и неподобныя стрем-

ленія, понравился даже тѣмъ господамъ, которые косо поглядывали на «Мертвыя души», или издѣвались надъ ними. Въ наивной радости своей—протестъ за внѣшнюю, показную дѣйствительность не замѣчалъ, что иронія романа пропадала задаромъ, что романтическое стремление не признавало, не признаеть и не признаеть въ жиденькомъ Александрѣ Адуевѣ своего питомца.

Прошло много времени, пока протестъ за дѣйствительность выросъ и окрѣпъ до сознанія. Въ теченіе всего этого времени талантъ г. Гончарова напомнилъ о себѣ только кругосвѣтнымъ путешествіемъ на фрегатѣ Паллада,—и въ этой книгѣ остался вѣренъ самому себѣ, или лучше—сказать тому низменному уровню, до котораго онъ себя умалилъ. Поразительно яркія описанія природы, мастерство отдѣлки мелочныхъ подробностей, наблюдательность остроумная и мѣткая, и положительное отсутствіе идеала во взглядѣ,—вотъ что явилось въ этой книгѣ, которую опять-таки съ жадностью прочла вся публика—она вѣдь у насъ нѣсколько охотница до Японскихъ воззрѣній, особенно, если этимъ воззрѣніемъ обрекъ себя на служеніе талантъ безспорно-сильный.

Явился наконецъ давно жданный Обломовъ. Прежде всего, онъ не сказалъ ничего новаго. Все его новое высказано было гораздо прежде въ «Снѣ Обломова»—я разумѣю все существенно-новое, такое, что возбуждаетъ толки, возбуждаетъ вражды и симпатіи. Успѣхъ «Обломова»—что ни говорите—былъ уже спорный, вовсе не то, что успѣхъ «Обыкновенной исторіи». Да оно такъ и должно было быть. Эпоха другая—сознаніе выросло. «Обыкновенная исторія» польстила требованію минуты, требованію большинства, чиновничества, моральнаго мѣщанства. «Обломовъ» ничему не польстилъ—и опоздалъ по-крайней-мѣрѣ пятью или шестью годами... Въ «Обломовѣ» Гончаровъ остался тѣмъ же, чѣмъ былъ въ «Обыкновенной исторіи», и построень его «Обломовъ» по такимъ же сухимъ догматическимъ темамъ, какъ «Обыкновенная исторія». Въ подробностяхъ своихъ онъ, если хотите, еще выше «Обыкновенной исторіи»; психологическимъ анализомъ еще глубже; но наше сознаніе, сознаніе эпохи, шло впередъ, а сознаніе автора «Обыкновенной исторіи» застряло въ Японіи. Польстилъ Обломовъ только весьма небольшому кружку людей, которые вѣрятъ еще тому, что врагъ нашъ въ дѣлѣ развитія—наша собственная натура, наши существенно бытовья черты, и что все спасеніе для насъ заключается въ выдѣлѣ себя по какой-то узенькой теоріи... Воззрѣнія этого небольшого кружка тоже далеко отстали отъ вопросовъ эпохи\*).

\*) Какъ одно изъ доказательствъ, что далеко не всѣ раздѣляютъ антипатію нѣкоторыхъ нашихъ критиковъ-публицистовъ къ характеру Обломова и симпатію

Герои нашей эпохи — не Штольцъ Гончарова и не его Петръ Ивановичъ Адуевъ, — да и героиня нашей эпохи тоже — не его Ольга, изъ которой подъ старость, если она точно такова, какою, вопреки многимъ граціознымъ сторонамъ ея натуры, показываетъ ее намъ авторъ, выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчною и безцѣльною

ихъ къ Штольцу, я позволяю себѣ выписать оригинально-прекрасный взглядъ на характеръ Обломова изъ присланной въ редакцію статьи о романѣ «Обломовъ» г. де-Пуле, — статьи, которую журналъ не печатаетъ всю только потому, что уже дважды высказалъ о произведеніи г. Гончарова свое мнѣніе. «Что же за личность Обломова?» спрашиваетъ критикъ. «Обломовъ», отвѣчаетъ онъ, «благородная, любящая, чистая, поэтическая натура. Послушаемъ, что говорить о немъ Штольцъ. Вотъ мнѣніе его объ Обломовѣ, высказанное пріятелю-литератору: «А былъ не глупѣе другихъ, душа чиста и ясна какъ стекло; благороденъ, нѣженъ» (Отеч. Зап. 1859 г., № 4, стр. 390). Вотъ мнѣніе Штольца объ Обломовѣ, высказанное женой: «въ немъ есть и ума не меньше другихъ, только зарытъ, задавленъ онъ всякою дрянью и заснулъ въ праздности. Хочешь, я скажу тебѣ, отчего онъ тебѣ дорогъ, за что ты еще любишь его? За то, что въ немъ дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото; онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ силу жить, но не потерялъ честности и вѣрности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряннѣ, зла, пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ на выворотъ, — никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно.... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; они рѣдки; это перлы въ толпѣ! Его сердце не подушишь ничѣмъ; на него всюду и вездѣ можно положиться. Многихъ людей я зналъ съ высокими качествами, но никогда не встрѣчалъ сердца чище, свѣтлѣе и проче; многихъ любилъ я, но никого такъ прочно и горячо, какъ Обломова» (Ibid. стр. 365).

Теперь послушаемъ, что говорить самъ авторъ объ Обломовѣ, т. е. о внутреннемъ мірѣ его души: «Освобождаясь отъ дѣловыхъ заботъ (Илья Ильичъ служилъ гдѣ-то въ Петербургѣ), Обломовъ любилъ уходить въ себя и жить въ созданномъ имъ мірѣ. Ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей. Онъ горько въ глубинѣ души плакалъ въ иную пору надъ бѣдствиями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія, и тоску, и стремленія куда-то вдалѣ, туда, вѣроятно, въ тотъ міръ, куда увѣкалъ его, бывало, Штольцъ.... Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его. Случается и то, что онъ исполнитъ презрѣнія къ людскому пороку, но лжи, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу, и разгорится желаніемъ указать человѣку на его извы, и вдругъ загорается въ немъ мысли, ходитъ и гуляетъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ, потомъ выростають въ намѣренія, преобразуются въ стремленія: онъ, движимый нравственною силою, въ одну минуту быстро измѣнитъ двѣ-три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно озирается кругомъ.... Вотъ-вотъ стремленіе осуществится, обратится въ подвигъ... и тогда, Господи! какихъ чудесъ, какихъ благихъ послѣдствій могли бы ожидать отъ такого высокаго усилія!... Но, смотришь, промелькнетъ

нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ Бога знаетъ чего-то. Я почти увѣренъ, что она будетъ умирать какъ барыня, въ «Трехъ смертяхъ» Толстаго.... Ужь если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непременно героиню, безпристрастный и непотемный теоріями умъ выберетъ, какъ

утро, день уже клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленнымъ силы Обломова: бури и волненія смиряются въ душѣ, голова отрезвляется отъ думъ, кровь медленнѣе пробірается по жиламъ. Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно къ небу, съ грустью провожаетъ глазами солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъ-этажный домъ. И сколько, сколько разъ онъ провожалъ такъ солнечный закатъ!—На утро опять жизнь, опять волненія, мечты! Онъ любитъ воображать себя иногда какимъ-нибудь непобѣдимымъ полководцемъ, передъ которымъ не только Наполеонъ, но и Ерусланъ Лазаревичъ ничего не значить; выдумаетъ войну и причину ея: у него хлынуть, на примѣръ, народы изъ Африки въ Европу, или устроить онъ новыя крестовныя походы, и воюетъ, рѣшаетъ участь народовъ, разоряетъ города, шадить, казнить, оказываетъ подвиги добра и великодушія. Или избересть онъ арену мыслителя, великаго художника: всѣ поклоняются ему; онъ пожинаетъ лавры; толпа гонится за нимъ, восклицая: «Посмотрите, посмотрите, вотъ идетъ Обломовъ, нашъ знаменитый Илья Ильичъ!» Въ горькія минуты онъ страдаетъ отъ заботъ, переворачивается съ боку на бокъ, ляжетъ лицомъ внизъ; иногда даже совсѣмъ потеряется; тогда онъ встанетъ съ постели на колѣни, и начнетъ молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить какъ-нибудь угрожающую бурю. Потомъ, сдавъ попеченіе о своей участи небесамъ, дѣлается покоенъ и равнодушенъ ко всему на свѣтѣ, а буря тамъ какъ себѣ хочетъ.—Такъ жужкалъ онъ въ ходъ свои нравственныя силы, такъ волновался часто по цѣлымъ днямъ, и только тогда развѣ отчется съ глубокимъ вздохомъ, отъ обаятельной мечты, или отъ мучительной заботы, когда день склонится къ вечеру, и солнце огромнымъ шаромъ станетъ опускаться за четырехъ-этажный домъ. Тогда онъ опять проводитъ его задумчивымъ взглядомъ и печальной улыбкой и мирно опочить отъ волненій» (Отч. Зап. 1859, январь, стр. 60—61).

«И такъ, кто же Обломовъ? Душа чистая, прозрачная, какъ хрусталь, поэтъ, и поэтъ народный.— Слова автора, высказанныя имъ самимъ и вложенныя въ уста Штольца, какъ нельзя лучше оправдываются цѣлою жизнью Обломова, представленною въ романѣ. Что душа его была чиста, сердце честно и непорочно,—въ этомъ вы убѣждаетесь при всякомъ его поступкѣ, при всякомъ его разсужденіи. Припомните цѣлую печальную повѣсть любви его къ Ольгѣ; припомните его благоговѣніе къ непорочному существу дѣвушки, благоговѣніе, доходящее до обожанія, безъ всякой примѣси сентиментальности. Припомните, на примѣръ, эту превосходную сцену, когда Ольга (въ концѣ II-ой части), не утраченная представленными имъ ужасами, которые ожидаютъ женщину, идущую къ счастью по пути *паденія*, отвергнувшая необходимость этого пути, быстро отбрасываетъ въ сторону зонтикъ, обвиваетъ его шею руками, и когда онъ, пораженный избыткомъ счастья, испускаетъ радостный вопль и упадаетъ къ ея ногамъ. Припомните, какое горько-отрадное чувство пробуждалось всякій разъ въ душѣ Обломова во время посѣщеній Штольца, когда послѣдній напоминалъ ему о своей женѣ.—Окончательно приросшій больнымъ

выбралъ Обломовъ, Агаею Ѳедосѣевну, — не потому только, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовить пироги, а потому, что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга.

Дѣло въ томъ, что у самаго автора «Обломова» — какъ у таланта все-таки огромнаго, стало быть живого — сердце лежитъ гораздо больше къ Обломову и къ Агаеѣ, чѣмъ къ Штольцу и къ Ольгѣ. За надгробное слово Обломову и его хорошимъ сторонамъ — его чуть-что не упрекнули ярые гонители Обломовщины, которымъ онъ польстилъ и которые — *plus royalistes que le roi* — яростно накинулись не только на

мѣстомъ къ своему виборгскому болоту, уже мужъ Агаеи Матвѣевны, уже отецъ уже безнадежно погибнувшій, Обломовъ, при одномъ имени Ольги, выходитъ изъ своего умственного оцѣпенѣнія. — Что значить этотъ ужасъ, эти слова, когда, при последнемъ свиданіи съ Штольцомъ, онъ узнаетъ, что Ольга ожидаетъ его у воротъ: «— Ради Бога, не допускай ее сюда, уѣзжай. — Прощай, прощай, ради Бога!» (Отеч. Зап., апрѣль, стр. 380)? — Что значить ужасъ, который испытывалъ *Вальсингамъ* въ «*Ширъ во время чумы*» Пушкина, потрясенный среди бѣшеной, отчаянной оргіи увѣщаніями священника, приведшаго ему на память образъ недавно умершей жены, Матильды?»

«Клянись же мнѣ, съ поднятой къ небесамъ,  
Увядшей, блѣдною рукой, оставить  
Въ гробу на-вѣкъ умолкнувшее имя!  
О, еслибъ отъ очей ея безсмертныхъ  
Скрыть это зрѣлище! Меня когдъ-то  
Она считала чистымъ, гордымъ, вольнымъ —  
И знала рай въ объятіяхъ моихъ....  
Гдѣ я?... Святое чадо свѣта! вижу  
Тебя я тамъ, куда мой падшій духъ  
Не досягнетъ уже....

.....  
..... Отецъ мой, ради Бога,  
Оставь меня!»

(Соч. Пушк., изд. Анненкова, т. IV, стр. 422).

«Такъ ужасаться можетъ только богато-надѣленная, хотя и глубоко-падшая натура. Хотя причины паденія Обломова и Вальсингама не однѣ и тѣ же, но характеръ ужаса одинаковъ. Обломовъ, мы сказали, былъ поэтъ и притомъ народный. И это такъ, хотя онъ не написалъ ни одного сонета. Обломовъ жилъ фантазіей, въ мірѣ идей, жилъ фантазіей самой роскошной, воспитанной на чисто-народной почвѣ. Фантазія, вслѣдствіе огромнаго преобладанія ея надъ другими душевными способностями; и погубила его. Припомните тѣ роскошныя картины, которыя создавало его воображеніе, картины семейнаго счастья, которыя онъ рисовалъ Штольцу; даже разсудительный, практическій Андрей Ивановичъ воскликнулъ: — Да ты поэтъ, Илья! — Да! (сказалъ Обломовъ), поэтъ въ жизни, потому-что жизнь есть поэзія. Вольно людямъ искажать ее (Отеч. Зап. 1859 г., февраль, стр. 280). — Но эта превосходная поэтическая натура все-таки погибла отъ нравственной болѣзни, и погрузилась въ лѣнь и апатію. Гибель эта была бы невозможна, если бы натура Обломова была иного свойства, если бы онъ не былъ поэтомъ.»



Обломова, но, по поводу его, на Онѣгина, Печорина, Бельтова и Рудина, во имя Штольца, и самого Штольца принесли въ очистительную жертву Ольгѣ. Въ послѣднемъ нельзя съ ними не согласиться: Ольга точно умнѣе Штольца: онъ ей съ одной стороны надобѣтъ, а съ другой попадетъ въ ней подъ башмакъ, и дѣйствительно будетъ жертвою того духа нервнаго *самоурызенія*, которое эффектно въ ней только пока еще она молода, а подъ старость обратится на мелочи и станетъ однимъ изъ обычныхъ физиологическихъ отравлений.

### XXIII.

Инымъ путемъ шель Тургеневъ: его произведенія, какъ я уже сказалъ, представляютъ собою развитіе всей нашей эпохи. Съ нею вмѣстѣ онъ любилъ, вѣрилъ, сомнѣвался, проклиналъ, вновь надѣялся и вновь вѣрилъ — не боясь никакихъ крайнихъ граней мысли, или лучше связать увлекаясь самъ мыслию до крайнихъ ея граней и беззавѣтно отдаваясь всѣмъ увлеченіямъ. Отъ этого, читая его послѣднее произведеніе, вы что-ни-шагъ — повѣряете процессъ, который совершался въ цѣлой эпохѣ, что-ни-шагъ — сталкиваетесь съ образами, возродившимися, пожалуй, въ новыхъ и лучшихъ формахъ, но которыхъ смена и даже зародыши коренятся въ далекомъ прошедшемъ. Вы поднимаете слой за слоемъ — и болѣе всего поражаетесь органическою связью слоевъ между собою...

Доказательствомъ этой органической связи служить въ особенности въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» исторія отца и дѣда Лаврецаго, мѣсто, которое одному критику, въ числѣ многихъ другихъ мѣстъ, показалось, какъ онъ выразился, ретроспективнымъ. Критикъ, сильно хлопочущій объ освобожденіи искусства отъ порабощенія, въ увлеченіи своемъ исключительно-эстетическимъ взглядомъ — не замѣтилъ того весьма явнаго и существеннаго недостатка «Дворянскаго гнѣзда», о которомъ я говорилъ въ началѣ предшествовавшей статьи. Только слѣпому развѣ не видно тогѣ, что на огромномъ холстѣ, натянутомъ для огромной исторической картины, нарисовался одинъ центръ драмы, да по мѣстамъ отдѣланы эпизоды, да остались тоже по мѣстамъ очерки.

Типъ, котораго послѣднимъ выраженіемъ у Тургенева является Лаврецкій, создавался долгимъ процессомъ, долженъ былъ воплотить въ себѣ весь этотъ процессъ, процессъ нашей, послѣ-пушкинской эпохи. Но между тѣмъ, что должно было быть, и тѣмъ, что есть, что

намъ дано — значительная разница. Судить о типѣ по тому, какъ онъ явился въ «Дворянскомъ гнѣздѣ», и на этомъ только основаніи заключать о художественности или нехудожественности его выполненія, и цѣлаго произведенія, въ которомъ онъ является, — значитъ положительно не понять дѣла по отношенію къ Тургеневу, не понять задачу, внутренняго смысла его поэтической дѣятельности.

Что главнымъ образомъ *сказалось* въ «Дворянскомъ гнѣздѣ»?

Знаете-ли, что отвѣчать на этотъ вопросъ — *потрудитесь*, чѣмъ отвѣчать на вопросъ, что *сказалось* въ Обломовѣ? Никакимъ нравственнымъ правиломъ, никакою сентенціей — вы на этотъ вопросъ не отвѣтите. Что *сказалось*! Да мало-ли что тутъ *сказалось*? Вся эпоха отъ смерти Пушкина до нашихъ дней тутъ *сказалась*: весь Пушкинскій процессъ, который я называю нашимъ душевнымъ Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ, тутъ *сказался*; ибо весь этотъ процессъ долженъ былъ повториться въ Тургеневѣ для того, чтобы — худо-ли, хорошо-ли, но — *создался* новый, живой типъ, уже не отрицательный только, а положительный; загнанный, смиренный, простой человѣкъ, доселѣ только позволявшій себѣ изрѣдка критическое или комическое отношеніе къ блестящему, хищному человѣку, и большею частію то подбравшій чужую любовь, да и то не впадѣть, то смѣявшійся судорожнымъ смѣхомъ «Гамлета Щигровскаго уѣзда» надъ своимъ безсиліемъ, то плававшій горькимъ плачемъ «Лишняго человѣка», — переходить въ живой, положительный образъ.

Что *сказалось* «Дворянскимъ гнѣздомъ»? Вся умственная жизнь послѣ-пушкинской эпохи, отъ туманныхъ еще началъ ея въ кружкѣ Станкевича, до рѣзкаго постановленія вопросовъ Бѣлинскимъ, и отъ рѣзости Бѣлинскаго до уступокъ — весьма значительныхъ — сдѣланныхъ мыслию жизни и почвѣ... Борьба славянофильства и западничества, и борьба жизни съ теоріею — славянофильскою или западною все равно — завершается въ поэтическихъ задачахъ тургеневскаго типа побѣдою жизни надъ теоріями...

Опять повторяю: Лаврецкій пріѣхалъ не умирать, а жить на свою родную почву, — и родная жизнь встрѣчаетъ его съ разу своимъ міромъ, и этотъ міръ — его же собственный міръ, съ которымъ ему нельзя, да и незачѣмъ раздѣляться.

«Образы прошедшаго, по прежнему, не спѣша, поднимались, всплывали въ его душѣ, мѣшаясь и путаясь съ другими представленіями. Лаврецкій, Богъ знаетъ почему, сталъ думать о Робертѣ Пилѣ... о французской исторіи... о томъ, какъ бы онъ выигралъ сраженіе, еслибъ онъ былъ генераломъ; ему чудились выстрѣлы и крики... Голова его скользила на бокъ, онъ отерывалъ глаза... Тѣ же поля, тѣ же степные виды;

стертыя подковы пристяжныхъ попеременно сверкають съвозъ волнистую пыль; рубаха ямщика, желтая, съ красными ластовицами, надувается отъ вѣтра... «Хорошъ возвращаюсь я на родину»—промеленуло у Лаврецаго въ головѣ, и онъ закричалъ: «пошелъ!» запахнулъ въ шинель и плотнѣе прижался къ подушкѣ. Тарантась толкнуло: Лаврецкій выпрямился и широко раскрылъ глаза. Передъ нимъ на пригоркѣ тянулась небольшая деревенька; немного вправо виднѣлся ветхій господскій домикъ, съ закрытыми ставнями и кривымъ крылечкомъ; по широкому двору отъ самыхъ воротъ росла крапива, зеленая и густая, какъ конопля; тутъ же стоялъ дубовый, еще крѣпкій анбарчикъ. Это было Васильевское.

«Ямщикъ повернулъ къ воротамъ, остановилъ лошадей; лакей Лаврецаго приподнялся на козлахъ и, какъ бы готовясь соскочить, закричалъ: гей! Раздался сильный, глухой лай, но даже собаки не показались. Лакей снова приготовился соскочить и закричалъ: гей! Повторился дряхлый лай и спустя мгновенье на дворъ, неизвѣстно откуда, выбѣжалъ человекъ въ нанковомъ кафтанѣ, съ бѣлой, какъ снѣгъ, головой; онъ посмотрѣлъ, защищая глаза отъ солнца, на тарантась, ударилъ себя вдругъ обѣими руками по ляжкамъ, сперва немного заметался на мѣстѣ, потомъ бросился отворять ворота. Тарантась въѣхалъ на дворъ, шурша колесами по крапивѣ, и остановился передъ крыльцомъ. Бѣлоголовый человекъ, весьма повидимому юркій, уже стоялъ, широко и криво разставивъ ноги, на послѣдней ступенькѣ, отстегнулъ передокъ, судорожно дернувъ къверху кожу, и помогая барину спуститься на землю, поцаловалъ у него руку».

«—Здравствуй, здравствуй, братъ, проговорилъ Лаврецкій, — тебя, кажется, Антономъ зовутъ? Ты живъ еще?»

«Старикъ молча поклонился и побѣжалъ за ключами. Пока онъ бѣгалъ, ямщикъ сидѣлъ неподвижно, сбочась и поглядывая на запертую дверь; а лакей Лаврецаго, какъ прыгнулъ, такъ и остался въ живописной позѣ, закинувъ одну руку на козлы. Старикъ принесъ ключи и, безо всякой нужды изгибаясь какъ змѣя и высоко поднимая локти, отперъ дверь, посторонился и опять поклонился въ поясъ».

«—Вотъ я и дома, вотъ я и вернулся, подумалъ Лаврецкій, входя въ крошечную переднюю, между тѣмъ какъ ставни со стукомъ и визгомъ отворялись одинъ за другимъ, и дневной свѣтъ проникалъ въ опустѣлые покои».

Онъ дома—онъ вернулся и, по слову поэта

Минувшее меня объемлетъ живо,

И, кажется, вчера еще бродилъ

Я въ этихъ рощахъ.... Вотъ смиренный домикъ, и т. д.

Связи его съ этимъ міромъ—родныя, коренныя, кровныя.

«Небольшой домикъ, куда пріѣхалъ Лаврецкій, и гдѣ два года тому назадъ скончалась Глафира Петровна, былъ выстроенъ въ прошломъ столѣтїи изъ прочнаго сосноваго лѣсу; онъ на видъ казался ветхимъ, но могъ простоять еще лѣтъ пятьдесятъ или болѣе. Лаврецкій обошелъ

всѣ комнаты и, къ великому безпокойству старыхъ, вялыхъ мухъ съ бѣлою пылью на спинѣ, неподвижно сидѣвшихъ подѣ притолками, вели въсюду открыты окна: съ самой смерти Глафиры Петровны никто не отпиралъ ихъ. Все въ домѣ осталось, какъ было: тонконогіе бѣлые диванчики въ гостиной; обитые глянцовитымъ сѣрымъ штофомъ, протертые и продавленные, живо напоминали Екатерининскія времена; въ гостиной же стояло любимое кресло хозяйки, съ высокой и прямой спинкой, къ которой она и въ старости не прислонялась. На главной стѣнѣ висѣлъ старинный портретъ Федорова прадѣда, Андрея Лаврецакаго; темное, желчное лицо едва отдѣлялось отъ почернѣвшаго и покорбленнаго фона; небольшіе злые глаза угрюмо глядѣли изъ-подъ нависшихъ, словно опухшихъ вѣкъ; черные волосы безъ пудры щоткой вздымались надъ тяжелымъ, изрытымъ лбомъ. На углу портрета висѣлъ вѣнокъ изъ запяленныхъ иммортелей: «Сами Глафира Петровна изводили плести», доложилъ Антонъ. Въ спальнѣ возвышалась узкая кровать подѣ пологомъ изъ стародавней, весьма добротной полосатной матеріи; горка полинялыхъ подушекъ и стеганное жидкое одѣяльце лежали на кровати, а у изголовья висѣлъ образъ Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы, тотъ самый образъ, къ которому старая дѣвица, умирая одна и всѣми забытая, въ послѣдній разъ приложилась уже хладѣющими губами. Туалетный столикъ изъ штучнаго дерева, съ мѣдными бляхами и кривымъ зеркальцемъ, съ почернѣлой позолотой, стоялъ у окна. Рядомъ съ спальней находилась образная, маленькая комната, съ голыми стѣнами и тяжелымъ вѣтомъ въ углу; на полу лежалъ истертый и завапанный воскомъ коверчикъ; Глафира Петровна клала на немъ земные поклоны. Антонъ отправился съ лакеемъ Лаврецакаго отпирать конюшню и сарай; на мѣсто его явилась старушка, чуть ли не ровесница ему, повязанная платкомъ по самыя брови; голова ея тряслась и глаза глядѣли тупо, но выражали усердіе, давнишнюю привычку служить безотвѣтно, и въ тоже время—какое-то почтительное сожалѣніе. Она подошла къ рукамъ Лаврецакаго и остановилась у двери, въ ожиданіи приказаній. Онъ рѣшительно не помнилъ, какъ ее звали, не помнилъ даже, видѣлъ ли ее когда-нибудь. Оказалось, что ее звали Апраксѣей; лѣтъ сорокъ тому назадъ, таже Глафира Петровна сослала ее съ барскаго двора и велѣла ей быть птичницей; впрочемъ, она говорила мало,—словно изъ ума выжила,—а глядѣла подобострастно. Кромѣ этихъ двухъ стариковъ да трехъ пузатыхъ ребятишекъ въ длинныхъ рубашонкахъ, Антоновыхъ правнуковъ, жилъ еще на барскомъ дворѣ однорукій беззагольный мужичонка; онъ бормоталъ, какъ тетеревь, и не былъ способенъ ни на что; не многимъ полезнѣе его была дряхлая собака, привѣтствовавшая лаемъ возвращеніе Лаврецакаго: она уже лѣтъ десять сидѣла на тяжелой цѣпи, купленной по распоряженію Глафиры Петровны, и едва-едва была въ состояніи двгаться и влачить свою ношу. Осмотрѣвъ домъ, Лаврецій вышелъ въ садъ, и остался имъ доволенъ. Онъ весь заросъ бурьяномъ, лопухами, крыжовникомъ и малиной; но въ немъ было много старыхъ липъ, которыя поражали своею грамадностью и страннымъ расположеніемъ сучьевъ: онѣ были слишкомъ тѣсно посажены и когда-то — лѣтъ сто тому назадъ — стрижены.

Садъ оканчивался небольшимъ свѣтлымъ прудомъ съ каймою изъ высокаго красноватаго тростника. Слѣды человѣческой жизни глосхнутъ очень скоро: усадьба Глафиры Петровны не успѣла одичать, но уже казалась погруженной въ ту тихую дрему, которую дремлетъ все на землѣ, гдѣ только нѣтъ людской, безпокойной заразы. Ѳедоръ Ивановичъ прошелся также по деревнѣ; бабы глядѣли на него съ порогу своихъ избъ, подпирая щеку рукою; мужики издали кланялись, дѣти бѣжали прочь, собаки равнодушно лаiali. Ему наконецъ захотѣлось ѣсть; но онъ ожидалъ свою прислугу и повара только къ вечеру; обозъ съ провизіей изъ Лавриковъ еще не прибывалъ, — пришлось обратиться къ Антону. Антонъ сейчасъ распорядился: поймалъ, зарѣзалъ и ошпалъ старую курицу; Апраксѣя долго терла и мыла ее, какъ бѣлье, прежде чѣмъ положила въ кострюлю; когда она наконецъ сварилась, Антонъ накрывъ и убралъ столъ, поставилъ передъ приборомъ почернѣвшую солонку аплике о трехъ ножкахъ и граненый графинчикъ съ круглой стеклянной пробкой и узкимъ горлышкомъ; потомъ долженъ Лаврецкому пѣвучимъ голосомъ, что кушанье готово, — и самъ сталъ за его стуломъ, обернувъ правый кулакъ салфеткой и распространяя какой-то крѣпкій, древній запахъ, подобный запаху виарисоваго дерева. Лаврецкій отвѣдалъ супу и досталъ курицу; кожа ея была вся покрыта крупными пузырьками; толстая жила шла по каждой ногѣ, мясо отзывалось древесиной и щолокомъ. Пообѣдавъ, Лаврецкій сказалъ, что выпилъ бы чаю, если... «Сею минутою-съ подамъ-съ», перебилъ его старикъ, — и сдержалъ свое обѣщаніе. Сыскалась щепотка чаю, завернутая въ вѣлокъ красной бумажки; сыскался небольшой, но преряный и шумливый самоварчикъ; сыскался и сахаръ въ очень маленькихъ, словно обтаявшихъ кускахъ. Лаврецкій напился чаю изъ большой чашки; онъ еще съ дѣтства помнилъ эту чашку: игорныя карты были изображены на ней, изъ нея пили только гости, — и онъ пилъ изъ нея, словно гость. Къ вечеру прибыла прислуга. — Лаврецкому не захотѣлось лечь въ тетейной кровати; онъ велѣлъ постлать себѣ постель въ столовой. Погасивъ свѣчку, онъ долго глядѣлъ вокругъ себя и думалъ невеселую думу; онъ испытывалъ чувство, знакомое каждому человѣку, которому приходится въ первый разъ ночевать въ давно необитаемомъ мѣстѣ; ему казалось, что обступившая его со всѣхъ сторонъ темнота не могла привыкнуть къ новому жильцу, что самыя стѣны дома недоумѣваютъ. Наконецъ, онъ вздохнулъ, натянулъ на себя одѣяло и заснулъ. Антонъ дольше всѣхъ остался на ногахъ; онъ много шептался съ Апраксѣей, охалъ въ полъ-голоса, раза два перекрестился; они оба не ожидали, чтобы баринъ поселился у нихъ въ Васильевскомъ, когда у него подъ-бокомъ было такое славное имѣнье съ отлично-устроенной усадьбой; они и не подозрѣвали, что самая эта усадьба была противна Лаврецкому; она возбуждала въ немъ тягостныя воспоминанія. Нашептавшись вдоволь, Антонъ взялъ палку, поколотилъ по висячей, давно безмолвной доскѣ у анбара и тутъ же приклонилъ на дворъ, ничѣмъ не прикрывъ свою бѣлую голову. Майская ночь была тиха и ласкова, — и сладко спалось старику.

Пусть противна Лаврецкому эта усадьба, возбуждающая въ немъ тягостныя воспоминанія. Въ воспоминаніяхъ виновата не она, эта усадь-

ба—виновать онъ самъ. Отъ воспоминаній этихъ, еще прежде, возвращаясь только домой, онъ невольно прищурился, какъ щурится человекъ отъ мгновенной внутренней боли и встряхнулъ головой... Не съ чувствомъ гордости или вражды вступаетъ онъ снова въ старыя, съ дѣтства знакомыя мѣста:

«Въ теченіи двухъ недѣль Ѳеодоръ Ивановичъ привелъ домикъ Глафиры Петровны въ порядокъ; разчистилъ дворъ, садъ; изъ Лавриковъ привезли ему удобную мебель, изъ города вино, книги, журналы; на конюшнѣ появились лошади; словомъ, Ѳеодоръ Ивановичъ обзавелся всѣмъ нужнымъ и началъ жить—не то помѣщикомъ, не то ошельникомъ. Дни его проходили однообразно; но онъ не случалъ, хотя никого не видѣлъ; онъ прилежно и внимательно занимался хозяйствомъ, ѣздилъ верхомъ по окрестностямъ, читалъ. Впрочемъ, онъ читалъ мало: ему пріятнѣе было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкій садился съ трубкой табаку и чашкой холоднаго чая къ окну; Антонъ становился у двери, заложивъ назадъ руки,—и начиналъ свои неторопливые рассказы о стародавнихъ временахъ, о тѣхъ баснословныхъ временахъ, когда овесъ и рожь продавали не мѣрками, а въ большихъ мѣшкахъ, по двѣ и по три копейки за мѣшокъ; когда во всѣ стороны даже подъ городомъ тянулись непроходимые лѣса, нетронутыя степи. «А теперь», жаловался старикъ, которому уже стукнуло лѣтъ за восемьдесятъ,—«такъ все вырубилъ да распахали, что проѣхать негдѣ.» Также рассказывалъ Антонъ много о своей госпожѣ, Глафирѣ Петровнѣ: какія онъ быди разсудительныя и бережливныя; какъ нѣкоторый господинъ, молодой сосѣдъ, поддѣлывался было къ нимъ, часто сталъ наѣзжать, —и какъ онъ для него изволили даже надѣвать свой праздничный чепецъ съ лентами, какъ потомъ, разгнѣвавшись на господина сосѣда за неприличный вопросъ: «что, молъ, долженъ быть у васъ, сударыня, капиталъ?» приказали ему отъ дому отъезжать, и какъ онъ тогда же приказали, чтобы все послѣ ихъ кончины, даже до самаго мѣсяца, было представлено Ѳеодору Ивановичу. И точно: Лаврецкій нашелъ весь теткинъ скарбъ въ цѣлости, не выключая праздничнаго чепца съ лентами цвѣта массака и желтаго платья изъ трю-трю-левантина. Старинныхъ бумагъ любопытныхъ, документовъ, на которые рассчитывалъ Лаврецкій, не оказалось никакихъ, кромѣ одной ветхой книжки, въ которую дѣдушка его Петръ Андреичъ вписывалъ—то: «Празднованіе въ городѣ Санктпетербургѣ замиренія, заключеннаго съ Турецкой имперіей его сіятельствомъ княземъ Александромъ Александровичемъ Прозоровскимъ»; то рецептъ груднаго декохта съ примѣчаніемъ: «Сіе наставленіе дано генеральшѣ Прасковѣ Ѳеодоровнѣ Салтыковой отъ протопресвитера церкви Живоначальныя Троицы Ѳеодора Авксентіевича»; политическую новость слѣдующаго рода: «О тиграхъ французахъ что-то замолело»; — и тутъ же рядомъ: «Въ Московскихъ вѣдомостяхъ показано, что скончался господинъ премьеръ-маіоръ Михаилъ Петровичъ Колычевъ. Не Петра ли Васильевича Колычева сынъ?» Лаврецкій нашелъ также нѣсколько старыхъ календарей и сонниковъ и таинственное сочиненіе г. Амбодика; воспоминанія возбудили въ немъ давно-за-

бытыя, но знакомыя «Символы и Эмблемы.» Въ туалетномъ столикѣ Глафиры Петровны Лаврецкѣй нашель небольшой пакетъ, завязанный черной ленточкой, запечатанный чернымъ сургучомъ и засунутый въ самую глубь ящика. Въ пакетѣ лежали лицомъ къ лицу пастелевый портретъ его отца въ молодости, съ мягкими кудрями, разсыпанными по лбу, съ длинными томными глазами и полу-раскрытымъ ртомъ, — и почти стертый портретъ блѣдной женщины въ бѣломъ платьѣ, съ бѣлымъ розаномъ въ рукѣ, — его матери. Съ самой себя Глафира Петровна нѣкогда не позволила снять портрета. «Я, батюшка, Ѳедоръ Ивановичъ», говаривалъ Лаврецкому Антонъ, — «хоша и въ господскихъ хоромахъ тогда жителства не имѣлъ, а вашего прадѣдушку, Андрея Аванасьича помню — какъ же: мнѣ, когда они скончались, восемнадцатый годочекъ пошелъ. Разъ я имъ въ саду встрѣлся, — такъ даже поджилки затряслися; однако они нѣчего, только спросили, какъ зовуть, — и въ свои покои за носовымъ платкомъ послали. *Баринъ былъ, что и говорить, — и старшаго надъ собой не зналъ. Потому была, доложу вамъ, у вашего прадѣдушки чудная такая ладонка; съ Аeonской горы имъ монахъ ту ладонку подарилъ. И сказалъ онъ ему эта, монахъ-то: за твое, баринъ, радуише sie тебѣ дарю; носи — и суда не бойся.* Ну, да вѣдь, тогда, батюшка, извѣстно, какія были времена: что баринъ восхотѣлъ, то и творилъ. Бывало, кто даже изъ господъ вздумаетъ имъ перечить, такъ они только посматрять на него да скажутъ: мелко плаваешь; — самое это у нихъ было любимое слово. И жилъ онъ, вашъ блаженный памяти прадѣдушка, въ хоромахъ деревянныхъ малыхъ; а что добра послѣ себя оставилъ, серебра что, всякихъ запасовъ, — всѣ подвалы биткомъ набиты были. Хозяинъ былъ. Тотъ-то графинчикъ, что вы похвалить изволили, — ихъ былъ: изъ него воду кушали. *А вотъ дѣдушка вашъ Петръ Андреичъ и палаты себѣ поставилъ каменные, а добра не нажилъ; все, у нихъ пошло хинее; и жили они хуже папенькиного, и удовольствій никакихъ себѣ не производили, — а денежки всѣ портшилъ, и помянуть его нечѣмъ; ложки серебряной отъ нихъ не осталось, — и то еще спасибо, Глафира Петровна пораждѣла.*»

«— А правда-ли, перебивалъ его Лаврецкѣй, — ее старой колотовкой звали?»

«— Да вѣдь кто звалъ! возражалъ съ неудовольствіемъ Антонъ...»

«— А что, батюшка, — рѣшился спросить однажды старикъ, — что наша барыня, гдѣ изводитъ свое пребываніе имѣтъ?»

«— Я развелся съ женою, проговорилъ съ усиліемъ Лаврецкѣй. — Пожалуйста, не спрашивай о ней.

«— Слушаю-съ, печально возразилъ старикъ.»

Какая огромная разница между этими мягкими отношеніями къ дѣйствительности, между этимъ симпатическимъ ея представленіемъ — и между отрицательною манерою литературы сороковыхъ годовъ, т. е. между первоначальными отношеніями самого Тургенева къ дѣйствительности! Какъ много было ложнаго въ этихъ первоначальныхъ отношеніяхъ поэта къ жизни, къ дѣйствительному быту, — ложнаго до комизма! Вѣдь было время, когда рисовалъ онъ, напимѣръ, такъ образъ помѣщика:

Онъ съ дѣтства не любилъ подтяжекъ,  
 Любилъ просторъ, любилъ покой  
 И мнѣ: но страненъ былъ поерой  
 Его затѣйливыхъ фуражекъ;  
 Любилъ онъ жирные блины, и т. д.

Удивительная была вражда къ простору, и главнымъ образомъ къ здоровью въ былые годы литературы. Случалось ли автору (я беру всѣ примѣры изъ самого Тургенева) попасть на провинціальный балъ, ему становилось несносно видѣть здоровыя и простодушныя дѣвическія фізіогмоніи:

Вотъ чисто-русская красотка:  
 Одѣта плохо, тяжела (?)  
 И неловка, но весела,  
 Добра, болтлива какъ трещотка.

Вѣдь собственно говоря, если бы наши яростные враги «Обломовщины» хотѣли и могли быть послѣдовательны, они должны бы были съ ужасомъ отворотиться отъ теперешняго Тургенева, въ пользу Тургенева прежняго. Вѣдь ни больше ни меньше какъ къ тому, что они называютъ Обломовкой и Обломовщиной — относится онъ теперь съ художническою симпатіею. — Вѣдь и Лаврецкій, и его Лиза, и неоцѣненная Марѳа Тимофеевна, все это — Обломовщина, Обломовцы, да еще какіе, еще какъ тѣсно, фізіологически связанные не только съ настоящимъ и будущимъ, но съ далекимъ прошедшимъ Обломовки!

---

#### XXIV.

Наше время есть время всеобщихъ исповѣдей, и такую искреннюю, полную исповѣдь болѣе всего представляютъ произведенія Тургенева вообще и «Дворянское гнѣздо» въ особенности.

Для того, чтобы понять послѣдніе результаты этой искренней исповѣди въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» — нужно было прослѣдить всю борьбу, высказывающуюся въ произведеніяхъ Тургенева. Только зная эту борьбу, можно понять все значеніе стиховъ, которые онъ влагааетъ въ уста Михалевичу и весь смыслъ того смиренія передъ народною правдою, которое проповѣдуетъ Лаврецкій въ разговорѣ съ Паншинымъ.

Изъ этого не слѣдуетъ заключать однако, чтобы Тургеневъ отъ одной теоріи перешелъ къ другой. Славянофильство съ восторгомъ при-



вѣтствовало нѣкоторыя его произведенія, особенно «Хоря и Калиныча», «Муму»; но поэтъ способенъ столько-же мало поддаться и этому воззрѣнью, поколюку оно только—воззрѣнне, какъ и другому, противоположному. Въ немъ повторился только бѣлкинскій процессъ пушкинской натуры, съ расширенными сообразно требованіямъ эпохи требованіями. И, какъ Пушкинъ, уходя въ свое отрицательное я, въ жизненные взгляды своего Ивана Петровича Бѣлкина, однако, не отрекался, какъ «отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его», отъ прежнихъ идеаловъ, отъ *силъ* своей природы, извѣдавшихъ уже *добрая и злая*, а только давалъ права и почвъ наравнѣ съ силами,—такъ, съ меньшимъ самообладаніемъ, Тургеневъ кончилъ анализъ натуры Рудина апотеозомъ его личности, дѣйствительно-поэтической и грандіозной. Чувство поэта ставитъ его въ разрѣзъ со всякою теоріею — и оно-то сообщаетъ его произведеніямъ такую неотразимую, обаятельную силу, не смотря на ихъ постоянную недодѣланность.

Лаврецкій, даже такъ, какъ онъ является въ видимо-недодѣланномъ «Дворянскомъ гнѣздѣ», — представитель (хотя никакъ не преднамѣренный) сознанія нашей эпохи. Лаврецкій—уже не Рудинъ, отрѣшенный отъ всякой почвы, отъ всякой дѣйствительности,—но съ другой стороны, уже и не Бѣлкинъ, стоящій съ дѣйствительностью въ уровень. Лаврецкій—живой человекъ, связанный съ жизнью, почвою, преданіями, но прошедшій бездны сомнѣнія, внутреннихъ страданій, совершившій нѣсколько моральныхъ скачковъ. Отсюда выходитъ весь его душевный процессъ, вся драма его отношеній.

Онъ представитель *нашей* эпохи, эпохи самой близкой къ намъ—и, какъ такового, его надобно было отдѣлить, отгнѣнить отъ представителей эпохъ предшествовавшихъ. Средство для такого отдѣленія Тургеневъ избралъ самое естественное—его родословную, образы его дѣда и отца.

Не смотря на то, что пріемъ этотъ не новъ, не смотря на то, что въ наше время, въ особенности, послѣ романа: «Кто виноватъ?», и послѣ «Семейной хроники», онъ повторяется довольно часто,—родословная Лаврецкаго блещетъ такими яркими чертами, такъ мастерски схвачено въ ней существенное и типическое, что на нее можно смѣло указать какъ на *chef d'oeuvre* въ своемъ родѣ...

«Богаче и замѣчательнѣе всѣхъ Лаврецкихъ былъ родной прадѣдъ Федора Иваныча, Андрей, человекъ жестокой, дерзкой, умный и лукавый. До нынѣшняго дня не умолкла молва объ его самоуправствѣ, о бѣшеномъ его нравѣ, безумной щедрости и алчности неутолимой. Онъ былъ очень толстъ и высокъ ростомъ, изъ лица смугль и безбородъ, картавилъ и казался сонливымъ; но чѣмъ онъ тише говорилъ, тѣмъ больше

трепетали всё вокругъ него. Онъ и жену досталъ себѣ подъ-стать. Пучеглазая, съ астрѣбиннымъ носомъ, съ круглымъ желтымъ лицомъ, цыганка родомъ, вспыльчивая и мстительная, она ни въ чемъ не уступала мужу, который чуть не уморилъ ее и котораго она не пережила, хотя вѣчно съ нимъ грызлась. Сынъ Андрея, Петръ, Ѳеодоровъ дѣдъ, не походилъ на своего отца: это былъ простой, степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ, грубый, но не злой, хлѣбосоль и псовый охотникъ. Ему было за тридцать лѣтъ, когда онъ наслѣдовалъ отъ отца двѣ тысячи душъ въ отличномъ порядкѣ; но онъ скоро распустилъ, часть продалъ свое имѣнье, дворню избаловалъ. Какъ тараканы сползались со всѣхъ сторонъ знакомые и незнакомые мелкіе людишки въ его обширныя, теплыя и неопрятныя хоромы; все это наѣдалось, чѣмъ попало, но досыта, напивалось до пьяна, и тащило вонь, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ не въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей—дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ. Жена Петра Андреича была смиренница; онъ взялъ ее изъ сосѣдняго семейства, по отцовскому выбору и приказанію; звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмѣшивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выѣзжала, хотя пудриться, по ея словимъ, было для нея смертью. «Поставятъ тебѣ», рассказывала она въ старости, «войлочный шлыкъ на голову, волосы всѣ зачешутъ кверху, саломъ вымажутъ, мукой посыплютъ, желѣзныхъ булавокъ натыкаютъ, — не отмоешься потомъ; а въ гости безъ пудры нельзя, обидятся, — мука!»—Она любила кататься на рыскахъ, въ карты готова была играть съ утра до вечера, и всегда, бывало, закрывала рукой записанный на нее копейный выгрышъ, когда мужъ подходилъ къ игорному столу; а все свое приданое, всѣ деньги отдала ему въ безотвѣтное распоряженіе. Она прижила съ нимъ двухъ дѣтей: сына Ивана, Ѳеодорова отца, и дочь Глафиру. Иванъ воспитывался не дома, а у богатой, старой тетки, княжны Кубенской: она назначила его своимъ наслѣдникомъ (безъ этого отецъ бы его не отпустилъ); одѣвала его какъ куклу, нанимала ему всякаго рода учителей, приставила къ нему гувернера, француза, бывшаго аббата, ученика Жанъ-Жака Руссо, нѣкоего *M-r Courtin de Vaucelles, fine fleur* эмиграціи, и кончила тѣмъ, что чуть не 70-ти лѣтъ вышла замужъ за этого финъ-флѣра, перевела на его имя все свое состояніе и векоръ потомъ, раззрумяненная, раздушенная амброй *à la Richelieu*, окруженная арапченками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковомъ кривомъ диванчикѣ временъ Людовика XV, съ эмалевою табакеркой работы Петито въ рукахъ, — и умерла, оставленная мужемъ: вкрадчивый господинъ Куртенъ предпочелъ удалиться въ Парижъ съ ея деньгами. Ивану пошелъ всего двадцатый годъ, когда этотъ неожиданный ударъ надъ нимъ разразился; онъ не захотѣлъ остаться въ теткинѣ домѣ, гдѣ онъ изъ богатаго наслѣдника внезапно превратился въ приживальщика. — Въ Петербургѣ, общество, въ которомъ онъ выросъ, передъ нимъ закрылось; къ службѣ съ низкихъ чиновъ, трудной и темной, онъ чувствовалъ отвращеніе (все это происходило въ самомъ началѣ царствованія Императора Александра); — пришлось ему по неволѣ вернуться въ деревню къ отцу. Грязно, бѣдно, дряно пока-

залось ему его родимое гнѣздо; глушь и копотъ степнаго житья-бытья на каждомъ шагу его оскорбляли; скука его грызла; за то и на него всѣ въ домѣ, кромѣ матери, недружелюбно глядѣли. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, въ которой не даромъ чужалась ему гадливость; онъ, то и дѣло, жаловался и ворчалъ на сына. — «Все здѣсь не по немъ», говаривалъ онъ, — «за столомъ привередничаетъ, не ѣсть, людскаго запаху, духоты переносить не можетъ, видъ пьяныхъ его разстроиваетъ, драться при немъ тоже не смѣй, служить не хочетъ, слабъ, вишь, здоровьемъ; фу ты, нѣженка эдакой! А все оттого, что Болтеръ въ головѣ сидитъ.» Старикъ особенно не жаловалъ Вольтера, да еще «изувѣра» Дидерота, хотя ни одной строки изъ ихъ сочиненій не прочелъ: читать было не по его части. — Петръ Андреечъ не ошибался; точно — и Дидеротъ и Вольтеръ сидѣли въ головѣ его сына, и не они одни — и Руссо, и Рейналь, и Гельвецій и много другихъ подобныхъ имъ сочинителей сидѣли въ его головѣ, — но въ одной только головѣ. Бывшій наставникъ Ивана Петровича, отставной аббатъ и энциклопедистъ удовольствовался тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю премудрость 18-го вѣка; — *и онъ такъ и ходилъ, наполенный ею; она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказавшись крѣпкимъ убѣжденьемъ...* Да и возможно ли было требовать убѣжденій отъ молодаго малаго 50 лѣтъ тому назадъ, когда мы еще и теперь не досросли до нихъ? Посѣтителей отцовскаго дома Иванъ Петровичъ тоже стѣснялъ; онъ ими гнушался, они его боялись, — а съ сестрой Глафирой, которая была двѣнадцатью годами старше его, онъ не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо: некрасивая, горбатая, худая, съ широко-раскрытыми, строгими глазами и сжатымъ тонкимъ ртомъ, она лицомъ, голосомъ, угловатыми быстрыми движеніями, напоминала свою бабу, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотѣла о замужествѣ. Возвращеніе Ивана Петровича ей пришлось не по нутру; пока княжна Кубенская держала его у себя, она надѣялась получить по крайней мѣрѣ половину отцовскаго имѣнія: она и по скупости вышла въ бабу. Сверхъ того, Глафира завидовала брату; онъ такъ былъ образованъ, такъ хорошо говорилъ по-французски, съ парижскимъ выговоромъ, а она едва умѣла сказать: бонжуръ, да команъ-ву порте ву? Правда, родители ея по-французски вовсе не разумѣли, — да отъ этого ей не было легче. — Иванъ Петровичъ не зналъ куда дѣться отъ тоски и скуки; невступно годъ провелъ онъ въ деревнѣ; да и тотъ показался ему за десять лѣтъ. Только съ матерью своею онъ и отводилъ душу, и по цѣлымъ часамъ сиживалъ въ ея низкихъ покояхъ, слушая незатѣливую болтовню доброй женщины и наѣдаясь вареньемъ».

На сколько этотъ типъ изъ предшествовавшаго поколѣнія необходимъ для освѣщенія фигуры Федора Лаврецаго — очевидно. Здѣсь сопоставлены двѣ эпохи въ ихъ существенныхъ отличіяхъ: развитія чисто-внѣшняго и развитія внутренняго.

Особенно-замѣчательно еще то, что типъ Ивана Петровича напоми-

наетъ типъ Василья Лучинова—но уже отношеніе автора къ этому типу совершенно пзмѣнилось. Изъ трагическаго оно перешло почти-что въ комическое.

Когда Иванъ Петровичъ связался съ дѣвкой Маланьей, вѣсть объ этомъ скоро дошла до Петра Андреича.

«Въ другое время онъ, вѣроятно, не обратилъ бы вниманія на такое маловажное дѣло; но онъ давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургскаго мудреца и франта. Поднялся гвалтъ, крикъ и гамъ; Маланью заперли въ чуланъ; Ивана Петровича потребовали къ родителю. Анна Павловна тоже прибѣжала на шумъ. Она пыталась было укротить мужа, но Петръ Андреичъ уже ничего не слушалъ. Ястребомъ напустился онъ на сына, упрекалъ его въ безнравственности, въ безбожьи, въ притворствѣ; кстати выместилъ на немъ всю накопившую досаду противъ княжны Кубенской, осыпалъ его обидными словами. Сначала Иванъ Петровичъ молчалъ и крѣпился, но когда отецъ вздумалъ грозить ему постыднымъ наказаньемъ, онъ не вытерпѣлъ. «Изувѣръ Дидеротъ опять на сценѣ,—подумалъ онъ,—такъ пушу же я его въ дѣло, стойте; я васъ всѣхъ удивлю». И тутъ-же спокойнымъ, ровнымъ голосомъ, хоть съ внутренней дрожью, во всѣхъ членахъ, Иванъ Петровичъ объявилъ отцу, что онъ напрасно укорялъ его въ безнравственности; что хотя онъ не намѣренъ оправдывать свою вину, но готовъ ее исправить, и тѣмъ охотнѣе, что чувствуетъ себя выше всякихъ предразсудковъ, а именно—гтовъ жениться на Маланьѣ. Произнеся эти слова, Иванъ Петровичъ, безспорно, достигъ своей цѣли; онъ до того изумилъ Петра Андреича, что тотъ глаза вытаращилъ и онѣмѣлъ на мгновенье; но тотчасъ же опомнился и, какъ былъ въ тулупчикѣ на бѣлицемъ мѣху и въ башмакахъ на босу ногу, такъ и бросился съ кулаками на Ивана Петровича, который какъ нарочно въ тотъ день причесался *à la Titus* и надѣлъ новый англійскій синій фракъ, сапоги съ кисточками и щегольскіе лосняные панталоны въ обтяжку. Анна Павловна закричала благимъ матомъ и закрыла лицо руками, а сынъ ея побѣжалъ, побѣжалъ черезъ весь домъ, выскочилъ на дворъ, бросился въ огородъ, въ садъ, черезъ садъ вылетѣлъ на дорогу, и все бѣжалъ безъ оглядки, пока наконецъ пересталъ слышать за собою тяжелый топотъ отцовскихъ шаговъ и его усиленные, прерывистые крики. Стой мошенникъ! вопилъ онъ,—стой! проклянъ!—Иванъ Петровичъ спрятался у сосѣдняго однодворца, а Петръ Андреичъ вернулся домой весь изнеможенный, въ поту, объявилъ едва переводя дыханіе, что лишаетъ сына благословенія, *приказалъ сжечь въ его дурацкія книги, а дѣвку Маланью немедленно сослать въ дальнюю деревню*».

Если вы хорошо помните сцену съ отцемъ Василья Лучинова—эту великолѣпную, до трагизма возвышающуюся сцену—вы, вѣроятно, соглашаетесь со мною и въ великомъ сходствѣ этихъ двухъ сценъ и въ различіи отношенія къ нимъ Тургенева. Но—на новую манеру изображенія вовсе не слѣдуетъ смотрѣть какъ на покаяніе поэта въ прежней.

«Изувѣръ Дидеротъ», *внѣшне* подѣйствовавшій на Ивана Петровича, вѣлся въ Василья Лучинова до мозга костей, потому-что природа послѣдняго—исключительнѣе и богаче; вотъ и вся разница. Иванъ Петровичъ и Василій Лучиновъ — двѣ разныя стороны одного и того-же типа, какъ Чапкій и Репетиловъ, на примѣръ, въ отношеніи къ людямъ эпохи двадцатыхъ годовъ — двѣ разныя стороны типа. Ни больше, ни меньше. Какъ въ «Трехъ портретахъ» манера изображенія — истинная,—такъ и въ вышеприведенномъ мѣстѣ изъ «Дворянскаго гнѣзда» манера изображенія истинная, а вовсе не покаятельная.

#### XXIV.

Федоръ Лаврецкій—герой «Дворянскаго гнѣзда»—и отецъ его, Иванъ Петровичъ, оба разрознились, раздѣлились съ окружавшею ихъ дѣйствительностью; но огромная бездна лежитъ между ними. Иванъ Петровичъ, усвоившій себѣ внѣшнимъ образомъ ученіе «изувѣра Дидерота», такъ и остается на цѣлую жизнь холоднымъ, отрѣшившимся отъ связи съ жизнью—да отрѣшившимся не вслѣдствіе какаго-либо убѣжденія, а по привычѣ и по эгонстической прихоти—методистомъ.

Анализъ жизни этого типическаго лица по истинѣ глубокъ у Тургенева. Поразительная правдивость анализа высказывается въ особенности въ двухъ мѣстахъ. Когда, послѣ ссоры съ отцемъ и послѣ брака своего съ Маланьей, Иванъ Петровичъ уѣхалъ въ Петербургъ, онъ, по словамъ автора, «отправился съ легкимъ сердцемъ». «Неизвѣстная будущность его ожидала; бѣдность, быть можетъ, грозила ему; но онъ *разстался съ ненавистной ему жизнью*, а главное — не выдалъ своихъ наставниковъ, дѣйствительно *пустилъ въ ходъ* и оправдалъ на дѣлѣ Руссо, Дидерота, *La Declaration des droits de l'homme. Чувство совершеннаго дома, торжества, чувство гордости наполняло его душу...*» Замѣтна истинно-художническая, безпристрастіе истиннаго поэта!... Вѣдь онъ тоже не совсѣмъ изъ дюжинныхъ, этотъ Иванъ Петровичъ: кряжевая, крѣпкая натура отца и дѣда въ немъ таки сидитъ, только она обернулась въ другую сторону.... Съ другой стороны,—двѣнадцатый годъ вызываетъ его изъ заграницы — черта, исторически вѣрная въ отношеніи къ людямъ той эпохи.... «Увидавшись въ первый разъ послѣ шестилѣтней разлуки, отецъ съ сыномъ обнялись и даже словомъ не поманули о *прежнихъ раздорахъ*; не до того было тогда: вся Россія поднималась на врага—и оба они почувствовали, что русская кровь течетъ въ ихъ

жилахъ....» Это въ высочайшей степени вѣрно исторически и правдиво художественно. Личность у насъ всегда и во всѣ эпохи удивительно способна расти съ событіями, хотя, къ сожалѣнію, такъ же легко и сокрушается подъ гнетомъ событій — и разъ сокрушившись, начинаетъ идти съ горы, да какъ еще: не успеешь оглянуться — она уже на крайней степени паденія.... Такъ было по крайней мѣрѣ до конца той эпохи, которой типически-обыкновеннымъ представителемъ является отецъ Федора Лаврецкаго. Я говорю типически-обыкновеннымъ — ибо за что же обижать верхи всякой эпохи? Василій Лучиновъ, разбитый параличемъ, но умирающій сурово и гордо, Владиміръ Дубровскій, повершающій трагически, старикъ Алексѣй Ивановичъ, братъ сенатора, до конца выдерживающій по убѣжденію свой холодный методизмъ — вотъ верхи эпохи, души, въ которыя ученіе «изувѣра Дидерота», или Бентама проникало глубоко; да за то вѣдь и дѣтьми ихъ, если таковыя у нихъ были, были не Лаврецкіе, а Печорины и Бельтовы... Иванъ же Петровичъ непременно долженъ былъ кончить такъ, какъ кончаетъ онъ у Тургенева, и мастерски ведетъ его авторъ къ этому обычному концу.

«Иванъ Петровичъ», говоритъ онъ, «вернулся въ Россію англоманомъ. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртукъ съ множествомъ воротничковъ, кислое выраженіе лица, что-то рѣзкое и вмѣстѣ равнодушное въ обращеніи, произношеніе сквозь зубы, деревянный внезапный хохоть, отсутствіе улыбки, исключительно политическій и политико-экономическій разговоръ, страсть къ кровавымъ ростбифамъ и портвейну, — все въ немъ такъ и вѣяло Великобританіей, весь онъ казался пропитанъ ея духомъ. Но — чудное дѣло! — превратившись въ англомана, Иванъ Петровичъ сталъ въ то же время патриотомъ, — по крайней мѣрѣ онъ называлъ себя патриотомъ, хотя Россію зналъ плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно: въ обыкновенной бесѣдѣ рѣчь его, неповоротливая и вялая, вся пестрѣла галлицизмами; *но чуть разговоръ касался предметовъ важныхъ, — у Ивана Петровича тотчасъ являлись выраженія въ родѣ: «оказать новые опыты самоусердія»; «сіе не согласуется съ самою натурою обстоятельства».* Иванъ Петровичъ привезъ съ собою нѣсколько рукописныхъ плановъ, касавшихся до устройства и улучшенія государства; онъ очень былъ недоволенъ всѣмъ, что видѣлъ, — отсутствіе системы въ особенности возбуждало его желчь. При свиданіи съ сестрою онъ съ первыхъ же словъ объявилъ ей, что онъ намѣренъ ввести коренныя преобразованія, что впредь у него все будетъ идти по новой системѣ. Глафира Петровна ничего не отвѣчала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то дѣнусь?» — Впрочемъ, пріѣхавши въ деревню вмѣстѣ съ братомъ и племянникомъ, она скоро успокоилась. — *Въ домъ точно произошли нѣкоторыя перемѣны: приживальщики и тунядцы подверглись немедлен-*

ному изнанію; въ числѣ ихъ пострадали двѣ старушки, одна—слѣпая, другая—разбитая параличемъ, да еще дряхлый майоръ очаковскихъ временъ, котораго, по причинѣ его дѣйствительно-замѣчательной жадности, кормили однимъ чернымъ хлѣбомъ да чечевицей. Также вышелъ приказъ не принимать прежнихъ гостей: всѣхъ ихъ замѣнилъ дальній сосѣдь, какой-то бѣлокурый золотушный баронъ, очень хорошо воспитанный и очень глупый человѣкъ. Появились новыя мебели изъ Москвы; завелись плевальницы, полокольчики, умывальныя столики; завтракъ сталъ иначе подаваться; иностранныя вина изгнали воды и наливки; людямъ пошли новыя дивреи; къ фамильному гербу прибавилась подпись: «in pectore virtus»... Въ сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась; всѣ выдачи, покупки по прежнему отъ нея зависѣли; вывезенный изъ-за границы камердинеръ изъ эльзасцевъ попытался-было съ нею потягаться, — и лишился мѣста, несмотря на то, что баринъ ему покровительствовалъ. Что же касается до хозяйства, до управленія имѣніями (Глафира Петровна входила и въ эти дѣла), то, несмотря на неоднократно выраженное Иваномъ Петровичемъ намѣреніе: вдохнуть новую жизнь въ этотъ хаосъ, — все осталось по старому, — *только оброкъ кой-гдѣ прибавился, да барщина стала потяжелѣй, да мужикамъ запретили обращаться прямо къ Ивану Петровичу.* Патриотъ очень ужъ презиралъ своихъ согражданъ. Система Ивана Петровича въ полной силѣ своей примѣнена была только къ Ѳедѣ: воспитаніе его дѣйствительно подверглось «коренному преобразованію», — отецъ исключительно занялся имъ».

Такова реформаторская дѣятельность Ивана Петровича. Пропуская, какъ эта реформаторская дѣятельность обращается на воспитаніе Ѳеди, я переносусь прямо къ перелому, совершающемуся въ этой натурѣ. «Насталъ», говоритъ авторъ, «1825 годъ и много принесъ съ собою горя. Иванъ Петровичъ успѣшилъ удалиться въ деревню и заперся въ своемъ домѣ. Прошелъ еще годъ, и Иванъ Петровичъ вдругъ захилѣлъ, ослабѣлъ, опустился: здоровье ему измѣнилось. Вольнодумецъ началъ «ходить въ церковь и заказывать молебны; европеецъ сталъ париться въ банѣ, обѣдать въ два часа, ложиться въ девять, засыпать подъ болтовню стараго дворецкаго; государственный человѣкъ сжегъ всѣ свои планы, всю переписку, трепеталъ передъ губернаторомъ и егожилъ передъ исправникомъ; человѣкъ съ закаленной волей хныкалъ и жаловался, когда у него вскакивалъ вередъ, когда ему подавали тарелку «холоднаго супа...»

Увы! это не повѣсть съ подробностями, нарочно придуманными для того, чтобы въ концѣ ея можно было воскликнуть: «и вотъ что можетъ дѣлаться изъ человѣка!» — это нагая, беспощадная, да вдобавокъ еще историческая правда. Вспомните, какъ умиралъ одинъ изъ передовыхъ людей своей эпохи, Фонъ-Визинъ, какъ умирали многіе изъ такъ-называемыхъ вольнодумцевъ и учениковъ «изувѣра Дидерота.»

Смерть Ивана Петровича—такая же типическая, въ смыслѣ типически-обыкновеннаго, какъ и вся жизнь его, какъ и переломъ съ нимъ совершившійся, — именно съ нимъ, а не въ немъ, ибо въ немъ собственно ничего не совершалось.

«Не довѣряя искусству русскихъ врачей, онъ сталъ хлопотать о позволеніи отправиться за границу. Ему отказали. Тогда онъ взялъ съ собою сына, и цѣлыхъ три года проскитался по Россіи отъ одного доктора къ другому, безпрестанно переѣзжая изъ города въ городъ, и приводя въ отчаянне врачей, сына, прислугу своимъ малодушіемъ и нетерпѣніемъ. Совершенною тряпкой, плаксивымъ и капризнымъ ребенкомъ воротился онъ въ Лаврики. Наступили горькіе денечки, натерпѣлся отъ него всѣ. Иванъ Петровичъ утихалъ только пока обѣдалъ; никогда онъ такъ жадно и такъ много не ѣлъ; все остальное время онъ ни себѣ, ни кому не давалъ покоя. Онъ молился, ропталъ на судьбу, бранилъ себя, бранилъ политику, свою систему, бранилъ все, чѣмъ хвастался и кичился, все, что ставилъ нѣкогда сыну въ образецъ; твердилъ, что ни во что не вѣрить, — и молился снова; не выносилъ ни одного мгновенья одиночества и требовалъ отъ своихъ домашнихъ, чтобы они постоянно, днемъ и ночью сидѣли возлѣ его кресель и занимали его рассказами, которые онъ то и дѣло прерывалъ восклицаніями: вы все врете, — экая чепуха!»

«Особенно доставалось Глафирѣ Петровнѣ; онъ рѣшительно не могъ обойтись безъ нея; и она до конца исполняла всѣ прихоти больного, хотя иногда не тотчасъ рѣшалась отвѣчать ему, чтобы звукомъ голоса не выдать душившей ее злобы. Такъ проскрипѣлъ онъ еще два года, и умеръ, въ первыхъ числахъ мая, вынесенный на балконъ, на солнце. «Глаша, Глаша! бульонцу, бульонцу, старая дур...» пролепеталъ его боснѣющій языкъ и, не договоривъ послѣдняго слова, умолкъ навѣки. Глафира Петровна, которая только-что выхватила чашку бульону изъ рукъ дворецкаго, остановилась, посмотрѣла брату въ лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тутъ же находившійся сынъ тоже ничего не сказалъ, оперся на перила балкона и долго глядѣлъ въ садъ, весь благовоновый и зеленый, весь блестящій въ лучахъ золотого весенняго солнца. Ему было двадцать-три года: какъ страшно, какъ незамѣтно скоро пронеслись эти двадцать-три года!... Жизнь открывалась передъ нимъ.»

Таковъ — отецъ Лаврецаго, представитель обыкновенныхъ образованныхъ людей предшествовавшей двадцатымъ годамъ эпохи XIX вѣка, эпохи, которой корни не въ XIX, а въ XVIII вѣкѣ.

Равнодушіе, если не озлобленіе, должны были мы всѣ, дѣти XIX вѣка, чувствовать первоначально въ XVIII-му вѣку, являвшемуся намъ всѣмъ болѣе или менѣе въ подобныхъ представителяхъ... Хорошо художнику и его читателямъ относиться къ подобнымъ личностямъ какъ къ типамъ, — но кто, какъ Федоръ Лаврецкій, вынесъ на себѣ всю тяжесть зависимости отъ подобнаго типа въ жизни, — тотъ, по освобож-



деніи изъ-подъ гнета, законно могъ почувствовать, что жизнь передъ нимъ отърывается.

Вѣдь это типъ не простой, а типъ реформаторскій. Вѣдь онъ ломаетъ жизнь по своему личному капризу, гдѣ только можетъ, — вѣдь онъ своими безтолковыми реформаторскими замашками и оскорбляетъ, и, — когда эти реформаторскія замашки оказываются мыльными пузырями, — возбуждаетъ въ себѣ невольное презрѣніе. Вѣдь когда переломъ совершился съ Иваномъ Петровичемъ — «сыну его уже пошелъ девятнадцатый годъ, и онъ начиналъ размышлять и высвободиться изъ-подъ гнета давившей его руки; онъ и прежде замѣчалъ разладичу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями, и чорствымъ, мелкимъ деспотизмомъ; но онъ не ожидалъ такого крутого перелома. Застарѣлый эгоистъ вдругъ выказался весь»....

Естественно, что въ душѣ его глубоко должна была залечь любовь къ тому именно, что ломалъ, или пускался ломать его отецъ, — естественно, что онъ, человѣкъ страстный, впечатлительный и вмѣстѣ мягкой, останется на всю жизнь романтикомъ, т. е. человѣкомъ волненія, сумерекъ, переходной эпохи.

Когда Иванъ Петровичъ принялся за его воспитаніе, онъ уже не былъ то, что называется *tabula rasa* — онъ уже напитался воздухомъ окружавшаго его быта подъ деспотическимъ, но все-таки менѣе давящимъ вліяніемъ «колотовки» Глафиры Петровны.

«Въ обществѣ этой наставницы, тетки, да старой сѣнной дѣвушки, Васильевны, провелъ Ѳедя цѣлыхъ четыре года. *Бывало, сидитъ онъ въ уголку съ своими «Эмблемами» — сидитъ, сидитъ; въ низкой комнатѣ пахнетъ гераниумомъ, тускло горитъ одна сальная свѣча, сверчокъ трещитъ однообразно, словно скучаетъ, маленькіе стѣнные часы торопливо чикаютъ на стѣнѣ, мышь украдкой скребется и прызетъ за обоями, — а три старыя дѣвы, словно Парки, молча и быстро шевелятъ спицами; тѣни отъ рукъ ихъ то бѣгаютъ, то странно дрожатъ въ полутьмѣ, — и странныя, также полутемныя мысли роятся въ головѣ ребенка. Никто бы не назвалъ Ѳедю интереснымъ дитятей; онъ былъ довольно блѣденъ, но толстъ, нескладно сложенъ и неловокъ, — настоящій мужикъ, по выраженію Глафиры Петровны; блѣдность скоро бы исчезла съ его лица, еслибъ его почаще выпускали на воздухъ. Учился онъ порядочно, хотя часто лѣнился; онъ никогда не плакалъ; за то по временамъ находило на него дикое упрямство; тогда уже никто не могъ съ нимъ сладить. Ѳедя не любилъ никого изъ окружавшихъ его.... Горе сердцу не любившему съ молодую!»*

Когда уже есть подобныя заложенія въ натурѣ, — то никакая система воспитанія не истребитъ ихъ. А система воспитанія приложена была притомъ совсѣмъ противоположная натурѣ ребенка:

«Такимъ-то нашелъ его Иванъ Петровичъ и, не теряя времени, принялся примѣнять къ нему свою систему.—Я изъ него хочу сдѣлать человѣка прежде всего, un homme, сказалъ онъ Глафирѣ Петровнѣ,—и не только человѣка, но спартанца.—Исполненіе своего намѣренія Иванъ Петровичъ началъ съ того, что одѣлъ сына по-шотландски; двѣнадцатилѣтній малый сталъ ходить съ обнаженными играми и съ пѣтушнымъ перомъ на съладномъ картузѣ; шведку замѣнилъ молодой швейцарецъ, изучившій всѣ тонкости гимнастики; музыку, какъ занятіе недостойное мужчины, изгнали навсегда; естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совѣту Жанъ-Жака Руссо, и геральдика, для поддержанія рыцарскихъ чувствъ,—вотъ чѣмъ долженъ былъ заниматься будущій «человѣкъ»; его будили въ четыре часа утра, тотчасъ оканчивали холодной водой и заставляли бѣгать вокругъ высокаго столба на веревкѣ; ѣлъ онъ разъ въ день, по одному блюду, ѣздилъ верхомъ, стрѣлялъ изъ арбалета; при всякомъ удобномъ случаѣ упражнялся, по примѣру родителя, въ твердости воли, и каждый вечеръ вносилъ въ особую книгу отчетъ прошедшаго дня и свои впечатлѣнія; а Иванъ Петровичъ со своей стороны писалъ ему наставленія по французски, въ которыхъ онъ называлъ его mon fils и говорилъ ему vous. По-русски Оеда говорилъ отцу: ты, но въ его присутствіи не смѣлъ садиться. «Система» сбита съ толку мальчика, поселила путаницу въ его голову, притиснула ее; но за то на его здоровье новый образъ жизни благотѣльно подѣйствовала: сначала онъ схватилъ горячку, но вскорѣ оправился и сталъ молодцомъ. Отецъ гордился имъ и называлъ его на своемъ странномъ нарѣчьи: сынъ природы, произведеніе мое. Когда Оедъ минулъ шестнадцатый годъ, Иванъ Петровичъ почелъ за долгъ заблаговременно поселить въ него презрѣніе къ женскому полу,—и молодой спартанецъ, съ робостью на душѣ, съ первымъ пухомъ на губахъ, полный совоѣвъ, силъ и крови, уже старался казаться равнодушнымъ, холоднымъ и грубымъ.»

Результатовъ система чисто внѣшняя могла добиться только внѣшнихъ, да и то на время... Въ гнетѣ «колотовки» была своего рода поэзія, въ гнетѣ Ивана Петровича никакой,—и когда умираетъ Иванъ Петровичъ, *жизнь открывается впервые передъ Лаврецкимъ!*

---

## XXV.

Спартанская система воспитанія, какъ всякая теорія, нисколько не приготовила Лаврецкаго къ жизни... Лучшее, что дала ему жизнь, было сознание недостатковъ воспитанія. Превосходно характеризуетъ Тургеневъ умственное и нравственное состояніе своего героя, въ эту эпоху развитія. «Въ послѣднія пять лѣтъ,»—говоритъ онъ о Лаврецкомъ, «онъ много прочелъ и кое-что увидѣлъ; много мыслей перебродило въ его

головѣ; любой профессоръ позавидовалъ бы нѣкоторымъ его познаніямъ, но въ тоже время, онъ не зналъ *многого*, что каждому гимназисту давнымъ-давно извѣстно. Лаврецкій сознавалъ, что онъ не свободенъ, онъ тайнѣ сознавалъ себя *чужакомъ*. Опять вѣрная художественно, и въ высочайшей степени вѣрная же исторически черта, характеризующая множество людей послѣ-Пушкинской эпохи. Это уже не та эпоха, когда

...учились по немногу,  
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

Нѣтъ — это эпоха серьезныхъ знаній съ огромными пробѣлами, знаній, приобретенныхъ большею частію саморазвитіемъ, самомышленіемъ — эпоха Бѣлицскихъ, Кольцовыхъ и многихъ, весьма многихъ изъ насъ, если не всѣхъ поголовно....

Особенность Лаврецкаго въ томъ еще, что надъ нимъ тяготѣетъ совершенно уродливое воспитаніе.

«Недобрую шутку сыгралъ англomanъ съ своимъ сыномъ; капризное воспитаніе принесло свои плоды. Долгіе годы онъ безотчетно смирялся передъ отцемъ своимъ; когда же наконецъ онъ разгадалъ его, дѣло уже было сдѣлано, привычки вкоренились. Онъ не умѣлъ сходиться съ людьми; двадцати трехъ лѣтъ отъ роду, съ неукротимой жаждой любви въ пристыженномъ сердцѣ, онъ еще ни одной женщиной не смѣлъ взглянуть въ глаза. При его умѣ ясномъ и здоровомъ, но нѣсколько тяжеломъ, при его наклонности къ *упрямству, созерцанію и тѣни*, ему бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи»....

Не одна теоретически-спартанская система воспитанія можетъ произвести подобный результатъ.... Всякій гнетъ, всякій деспотизмъ произвелъ бы подобный же, съ другими можетъ-быть отбѣнками, но подобный же. Я разумѣю, впрочемъ, гнетъ деспотизма домашняго, а не общественнаго воспитанія: послѣдній производитъ другіе, столь же горькіе, но совершенно другіе результаты.

Дѣло въ томъ только, что Лаврецкій, вступая въ жизнь съ жаждою жить, лишень всякаго пониманія жизни, всякихъ средствъ прямого сближенія съ жизнью; и что онъ долженъ непремѣнно разбиться при столкновеніи съ жизнью.

Съ поразительною логичностью, — вовсе не имѣя въ виду заданной напередъ темы, ведетъ художникъ создаваемый имъ характеръ....

Жажда любви томитъ Лаврецкаго; но дѣло въ томъ, — чего, къ сожалѣнію, не развилъ и не досказалъ Тургеневъ, — дѣло въ томъ, что самая жажда любви носить у Лаврецкаго характеръ любви той эпохи, къ

которой онъ принадлежитъ. Предметъ любви Тургеневъ указалъ своему Лаврецкому совершенно вѣрно, но мало остановился на причинахъ любви. Лаврецкій *долженъ* былъ необходимо влюбиться въ Варвару Павловну, о которой энтузіастъ-Михалевичъ выражается такъ: «Это, брать ты мой—эта дѣвушка изумительное, гениальное существо, артистка въ настоящемъ смыслѣ слова, и притомъ предобрая»... Но *почему* жажда любви у него устремилась не на первую хорошенькую женщину, хоть бы она была горничная, а непременно на исключительную, по крайней мѣрѣ, на кажущуюся исключительную женскую личность, и личность тонко развитую,—почему первое чувство любви есть у Лаврецкаго нѣ-которымъ образомъ *сдѣланное*, искусственное, подготовленное мечтами объ идеалѣ—не показано,—хотя изъ намека, что появленіе Михалевича подлѣ этой женщины показалось Лаврецкому «знаменательно и странно», изъ этого намека очевидно, что передъ авторомъ послалась *типическая* любовь людей эпохи, которой Лаврецкій является представителемъ....

Вообще вся эпоха саморазвитія Лаврецкаго очерчена только вѣрно въ своихъ основахъ, но не художественно-полно, набросана, видимо, на-скоро. Самыя главы, въ которыхъ рассказывается эта эпоха и завязывается трагическій узелъ, судьба Лаврецкаго, странно коротки въ сравненіи съ другими главами.

Самое лице Варвары Павловны, глубоко понятое и, по возвращеніи ея изъ заграницы, очерченное рельефно—здѣсь только набросано. Вслѣдствіе такой наброски въ ея личности есть явныя противорѣчія.

Вспомните, какою она является въ первый разъ:

«Ноги подкашивалась у спартанца, когда Михалевичъ ввелъ его въ довольно плохо убранную гостинную Коробьиныхъ и представилъ хозяйкамъ. Но овладѣвшее имъ чувство робости скоро исчезло: въ генералѣ врожденное всѣмъ русскимъ добродушіе еще усугублялось тою особеннаго рода привѣтливостью, которая свойственна всѣмъ немного замараннымъ людямъ; генеральша какъ-то скоро стушеввалась;—что же касается до Варвары Павловны, то она была такъ спокойна и самоувѣренно-ласкова, что всякій въ ея присутствіи тотчасъ чувствовалъ себя какъ бы дома; притомъ отъ всего ея плѣнительнаго тѣла, отъ улыбающихся глазъ, отъ невинно-покатыхъ плечей и блѣдно-розовыхъ рукъ, отъ легкой и въ тоже время какъ бы усталой походки, отъ самаго звука ея голоса, замедленнаго, сладкаго,—вѣяло неуловимой, какъ тонкій запахъ, вѣрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, нѣгой, чѣмъ-то такимъ, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало,—и уже, конечно, возбуждало не робость. *Лаврецкій навелъ рѣчь на театръ, на вчерашнее представленіе; она тотчасъ сама заговорила о Мочаловѣ и не ограничилась одними восклицаніями и вздохами, но произнесла нѣсколько вѣрныхъ и женски-проницательныхъ замчаній на счетъ его шри.* Михалевичъ упомянулъ о музыкѣ; она, не чинясь, сѣла

за фортепьяно и отчетливо сыграла нѣсколько шопеновскихъ мазурокъ, тогда только-что входившихъ въ моду.»

Сличите это съ изображеніемъ Варвары Павловны по возвращеніи ея изъ заграницы... Въ бесѣдѣ съ Паншинымъ: «Варвара Павловна показала себя большой философкой: на все у нея являлся готовый отвѣтъ, она ни надъ чѣмъ не колебалась, не сомнѣвалась ни въ чемъ; замѣтно было, что она много и часто бесѣдовала съ умными людьми разныхъ разборовъ. Всѣ ея мысли, чувства вращались около Парижа. Паншинъ повелъ разговоръ на литературу, — оказалось, что она, также какъ и онъ, читала однѣ французскія книжки: Жоржъ-Сандъ приводилъ ее въ негодованіе, Балзакъ она уважала, хотя онъ ее утомлялъ, въ Сю и Скрибъ видѣла великихъ сердцещепцовъ, обожала Дюма и Феваль; въ душѣ она имъ всѣмъ предпочитала Поль-де-Кока, хотя даже имени его не упоминала.»

Тутъ очевидное противорѣчіе съ прежней Варварой Павловной, сочувствующей Мочалову, артисткой по натурѣ.

Вообще изображеніе Варвары Павловны страждетъ тѣми же недостатками противъ художественной правды, какъ изображеніе Паншина. Какъ въ Паншину больше бы шло внѣшнее пониманіе Бетховена, такъ въ Варварѣ Павловнѣ внѣшнее пониманіе Ж. Санда. Образъ вышелъ бы менѣе рѣзкій, но за то несравненно болѣе правдивый.

## XXVI.

Рѣзкость или, лучше сказать, недодѣланность художественнаго представленія типа Варвары Павловны, есть, впрочемъ, рѣзкость только по отношенію къ Тургеневу; ибо, сравните Варвару Павловну хоть напримѣръ съ барыней, выведенной въ повѣсти г. Крестовскаго: «Фразы» — Варвара Павловна выиграетъ на сто процентовъ относительной мягкостью изображенія.

Дѣло только въ томъ, что Варвара Павловна, какъ и Паншинъ, — лица не центральныя, даже не самостоятельныя лица картины, а отбѣняющія: одинъ Лаврецаго, другая Лизу. Дѣло все въ Лаврецкомъ и въ Лизѣ — узелъ драмы въ ихъ отношеніяхъ. Смыслъ этихъ отношеній слишкомъ ясенъ, чтобы о немъ надобно было толковать долго. Человѣкъ, жившій долго мечтательными, сдѣланными идеалами, разбившійся

на этихъ идеалахъ, встрѣчаетъ, но поздно, въ своей бытовой дѣйствительности простую, цѣльную, цѣломудренную женскую натуру, всю изъ покорности долгу, изъ глубокихъ сердечныхъ вѣрованій, женской преданности, изъ самопожертвованія, простирающагося до всего кромѣ забвенія долга.... Женщина съ мечтательнымъ, сосредоточеннымъ и за-таенно-страстнымъ характеромъ встрѣчаетъ человѣка простого и цѣломудреннаго по натурѣ, но пережившаго много, пугающаго ее пережитою имъ жизнью, въ которой сокрушилось у него множество вѣрованій и влекущаго ее къ себѣ неотразимо. Влечетъ ее къ нему и сожалѣніе къ нему и непосредственно простое пониманіе его простого благородства.... Драма ихъ ведена съ такимъ высокимъ художническимъ искусствомъ, съ такою глубиною анализа, съ такою сердечностью—какимъ до сихъ поръ не было примѣра.... Слѣдить за этою драмою во всѣхъ ея явленіяхъ значило бы рассказывать содержаніе «Дворянскаго гнѣзда», всѣмъ давно извѣстное, всѣми чувствующими людьми давно перечувствованное,—да было бы и внѣ моей задачи, задачи истолкованія типовъ, являющихся вообще въ дѣятельности Тургенева и въ послѣднемъ произведеніи его въ особенности.

Кончаю поэтому мои длинныя рассудки по поводу Тургенева и «Дворянскаго гнѣзда» анализомъ типа Лизы. Въ отношеніи къ самой драмѣ выскажу только два замѣчанія, — 1) относительно Лемма уже мной высказанное: что Лемма видимо придѣланъ къ драмѣ для того только, чтобы выражалось поэтически лирическое настроеніе Лаврецаго въ нѣжныя минуты, и 2) высказанное мною самому поэту тотчасъ же по прочтеніи «Дворянскаго гнѣзда»: это то, что онъ слишкомъ поторопился ложнымъ извѣстіемъ о смерти жены Лаврецаго — недостаточно затянулъ, завлекъ Лаврецаго и Лизу въ психически-безвыходное положеніе. Недостатокъ силы, энергіи въ манерѣ—результатъ женственно-мягкой впечатлительности Тургеневскаго творчества — сказался и здѣсь, какъ повсюду.

Обращаясь къ типу Лизы, я прежде всего скажу о важности и значеніи этого типа въ нашей современной жизни.

Русскій идеалъ женщины до сихъ поръ, увы! выразился вполнѣ только въ Татьянѣ, да кажется—дальше этихъ граней пока и не пойдеть.

Прежде всего, гдѣ и у кого, кромѣ Пушкина, явилась русская женщина, т. е. русская идеальная женщина?... Положительно нигдѣ. Княжна Мери Лермонтова—экзотическое растеніе; прелестный образъ мелькающій у него въ сказкѣ для дѣтей, эта «маленькая Нина», съ одной

стороны—высокопоэтическій капризь, съ другой—выраженіе трагическаго протеста; женщина, которая

ускользнетъ какъ змѣя,  
Вспорхнетъ и умчится какъ птичка,

столь ясная въ лирическомъ стихотвореніи его—тоже капризь великой поэтической личности, а не идеаль общій, объективный.

Гоголь не создалъ ни одного женскаго идеала, а принялся было создавать — выплсда чудовищная Улинька. Островскій тоньше и глубже всѣхъ подмѣтилъ нѣкоторыя особенности русскаго идеала женщины, и въ своей Любови Гордѣевнѣ, и въ своей Грушѣ,—но это только черты, намеки мастерскіе; тонкіе, прелестные, но все-таки намеки и очерки. Въ самомъ полномъ женскомъ лицѣ своемъ, въ Марьѣ Андреевнѣ—типъ высокою по поэтической задачѣ, оригинально задуманномъ и оригинально поставленномъ, но не выразившемся живыми чертами, живою рѣчью—отразился опять образъ Татьяны. Передъ Толстымъ, въ его «Двухъ гусарахъ», во второй половинѣ этого этюда, мелькаетъ прелестный, самобытный, объективно-идеальный женскій образъ, да такъ и промелькнулъ этюдой, ничего не сказавши собою. Самые лирики наши въ этомъ отношеніи то причудливо капризничаютъ, какъ Фетъ въ своемъ идеалѣ, созданномъ изъ игры лунныхъ лучей, или изъ блестящей пыли снѣговъ, то—какъ Полонскій—туманно любятъ «ложь въ видѣ женщины милой», то—какъ Майковъ—рисуютъ по какой-то обязанности идеалы пластическіе и классическіе, нося искренно въ душѣ совершенно иные, то—какъ Некрасовъ—всю силу таланта и всю наипыбшую горечь души употребляютъ на то, чтобы повторять Лермонтовскую «Сосѣду»:

А требованіе идеала, требованіе женщины, русской женщины слышно отовсюду. Первое, что заговорили о послѣднемъ романѣ Гончарова его жаркіе поклонники, было то, что здѣсь, въ этомъ романѣ, впервые послѣ Татьяны является русскій идеаль женщины. Этому впервые нечего удивляться—особенно мнѣ, провозглашавшему нѣкогда о новомъ словѣ по поводу Марьи Андреевны Островскаго. Наши различныя провозглашенія, не смотря на свои смѣшныя стороны—имѣютъ и стороны очень серьезныя. Мы ждемъ отъ нашихъ художниковъ разрѣшенія волнующихъ насъ вопросовъ и исканій: мы жадно хватаемся за всякую попытку художественнаго разрѣшенія, и до сихъ поръ, всѣ разрѣшенія, бромъ Татьяны, Марьи Андреевны, да тургеневской Лизы—оказываются болѣе или менѣе несостоятельными передъ судомъ общаго сознанія.

Гончаровская Ольга.... Да сохранить Господь Богъ отъ гончаровской Ольги въ ея зрѣлыхъ, а тѣмъ болѣе почтенныхъ лѣтахъ, самыхъ жаркихъ ея поклонниковъ—вотъ вѣдь все, что скажетъ. русский чело-вѣкъ объ этомъ хитро, умно и граціозно нарисованномъ женскомъ образѣ. Съ одной стороны—она чуть-что не Улинька, *подымающая* падшаго Тентенникова, съ другой—холодная и расчетливая резонёрка, будущая чиновница, директорша департамента или по крайней мѣрѣ начальница отдѣленія, отъ которой «убѣгомъ уйдешь—въ Сибирь Тобольскій», не-то-что на Выборскую сторону, гдѣ спасся отъ нея Обломовъ. У русскаго чело-вѣка есть непобѣдимое отвращеніе къ *подымающимъ* его до вершины своего развитія женщинамъ, да и вообще замѣчено, что таковыхъ любятъ только мальчишки, едва скинувшіе курточки. Отъ такого идеала непосредственное чувство дѣйствительно прямо повлечетъ къ Агаѣѣ Фодосѣвнѣ, которая далеко не идеаль, но въ которой есть нѣсколько чертъ, свойственныхъ нашему идеалу—и явилось бы болѣе, если бы авторъ «Обыкновенной исторіи» и «Обломова» былъ побольше поэтъ, вѣрилъ бы больше своимъ душевнымъ сочувствіямъ, а не сочинялъ бы себѣ изъ этихъ сочувствій какого-то пугала, которое надобно преслѣдовать.

Кого же еще прикажете вспомнить изъ нашихъ женщинъ? Любовь Александровну Круциферскую? Опять не идеаль, а исключительное трагическое положеніе.

Остается положительно только Татьяна Пушкинская съ ея отраженіями. *Отраженіями*—и задачу Марьи Андреевны, и художественно-созданный образъ Лизы называю я, конечно, не въ смыслъ копій. Насколько оригинальны и дѣйствительны положенія, въ которыя поставлена Марья Андреевна, и которыя говорятъ за нее гораздо лучше, чѣмъ она сама говоритъ, насколько оригинально лице Лизы—всѣ знаютъ. Но ни Марья Андреевна, ни Лиза неидутъ дальше того идеала, который самъ поэтъ называлъ:

Татьяны милый идеаль....

въ который положилъ онъ всѣ сочувствія своей великой души, умѣв-шей на все отзываться жарко—и на пластическіе образы, и на ту красоту, передъ которой

Ты остановишься невольно,  
Благоговѣя богомольно  
Передъ святыней красоты...

и на трагически капризные существованія, которыя совершаютъ свой путь,



Какъ беззаконная комета  
Въ кругу разчисленныхъ свѣтилъ...

Дальше его мы пока не пошли, и словомъ о немъ заключаю я разсужденія о поэтѣ нашей эпохи, въ которомъ съ наибольшою полнотою, хотя въ иныхъ, соотвѣтственныхъ нашей эпохѣ формахъ, повторился почти всесторонне его нравственный процессъ.

### III

## ПОСЛѢ „ГРОЗЫ“ ОСТРОВСКАГО.

### Письма къ Ивану Сергѣевичу Тургеневу.

(«Русскій Миръ», 1860 г. №№ 5, 6, 9 и 11).

Гроза очищаетъ воздухъ.

Физическая аксіома.

.... смиреніе передъ народною правдою.

Слова Лаврецаго («Дворянское гнѣздо»).

.... А что-то скажетъ народъ?...

Гоголевскій «Развѣздъ».

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

#### НЕИЗБѢЖНЫЕ ВОПРОСЫ.

#### I.

Вотъ что скажетъ народъ!.. думалъ я, выходи изъ ложи въ коридоръ послѣ третьяго дѣйствія «Грозы», закончившагося искреннѣйшимъ взрывомъ общаго восторга и горячими вызовами автора.

Впечатлѣніе сильное, глубокое и, главнымъ образомъ, положительно *общее* произведено было не вторымъ дѣйствіемъ драмы, которое, хотя и съ нѣкоторымъ трудомъ, но все-таки можно еще притянуть къ карающему и обличительному роду литературы, — а концемъ третьяго, въ которомъ (концѣ) рѣшительно ничего иного нѣтъ, кромѣ поэзіи народной жизни, смѣло, широко и вольно захваченной художникомъ въ одномъ изъ ея существеннѣйшихъ моментовъ, не допускающемъ нетолько обличенія, но даже критики и анализа: такъ этотъ моментъ схваченъ и переданъ поэтически, непосредственно. Вы не были еще на представленіи, но вы знаете этотъ великолѣпный по своей смѣлой поэзіи моментъ — эту небывалую доселѣ ночь свиданія въ оврагѣ, всю дышащую близостью Волги, всю благоухающую запахомъ травъ широкихъ ея луговъ,

всю звучащую вольными пѣснями, «забавными», тайными рѣчами, всю полную обаянія страсти глубокой и трагически-роковой. Это вѣдь создано такъ, какъ будто не художникъ, а цѣлый народъ создавалъ тутъ. И это-то именно было всего сильнѣе почувствовано въ произведеніи массою, и притомъ массою въ Петербургѣ, дивн бы въ Москвѣ,—массою сложною, разнородною,—почувствовано при всей неизбѣжной (хотя значительно меньшей противъ обыкновенія) фальши, при всей пугающей рѣзости александринскаго выполненія.

Для меня лично, человѣка въ народъ вѣрующаго и давно, прежде вашего Лаврецаго, воспитавшаго въ себѣ смиреніе передъ народною правдою, пониманіе и чувство народа составляютъ высшій критеріумъ, допускающій надъ собою въ нужныхъ случаяхъ повѣрку однимъ уже только, послѣднимъ, самымъ общимъ критеріумомъ христіанства. Не народъ существуетъ для словесности, а словесность (въ самомъ обширномъ смыслѣ, т. е. какъ все многообразное проявленіе жизни въ словѣ) для народа,—и не словесностью создается народъ, а народомъ словесность. Всякая же словесность, которая думаетъ создать или пересоздать народъ... Но здѣсь я лучше покажѣсть остановлю рѣчь свою и не докончу мысли, какъ Гамлетъ не доканчиваетъ фразы: «И если солнце зарождаетъ червей въ дохлой собакѣ»...

Наканунѣ представленія «Грозы» я долго говорилъ съ вами о многомъ, чтó для меня, и, судя по симпатіи вашей къ разговору, для васъ самихъ, составляетъ существенное вѣрованіе по отношенію къ искусству и къ жизни. Я собирался было писать къ вамъ рядъ писемъ, въ которыхъ съ возможною и нужною — не для васъ, конечно, а для другихъ читателей—исностью, съ возможною и совершенно ненужною, но считающеюся за нужную въ наше отвыкшее отъ отвлеченнаго мышленія время, отчетливостью, изложить положенія и логически вывести жизненные послѣдствія того общаго взгляда на искусство и отношенія искусства къ жизни, который я не разъ называлъ идеально-художественнымъ. Взглядъ этотъ—не новый какой-нибудь, и стало быть я не имѣю претензіи называть его *моимъ* взглядомъ; называю же я его такъ, т. е. идеально-художественнымъ, въ противоположность двумъ другимъ: 1) взгляду, присвоившему себѣ въ недавнее время названіе реального, но въ сущности *теоретическому*, разстилающему бѣдную жизнь на Прокурстово ложе, подчиняющему ее болѣе или менѣе узкой теоріи, т. е. совокупности послѣднихъ результатовъ, добытыхъ разсудкомъ въ послѣднюю минуту современной жизни, и 2) взгляду, присвоивающему себѣ названіе *эстетическаго*, проповѣдывающему свое дилеттантское равнодушіе къ жизни и къ ея существеннымъ вопросамъ, во имя ка-

кого-то искусства для искусства, а потому гораздо болѣе заслуживающему названіе взгляда матеріальнаго, — грубо-ли матеріальнаго, тонко-ли матеріальнаго, это совершенно все равно. Естественно, что, противопоставая идеально-художественный взглядъ эстетическому въ такомъ смыслѣ, — я не думаю ставить искусству какия-либо внѣшнія цѣли или задачи. Искусство существуетъ для души человѣческой и выражаетъ ея вѣчную сущность въ свободномъ творчествѣ образовъ, и по этому самому оно — независимо, существуетъ само по себѣ и само для себя, какъ все органическое, но душу и жизнь, а не пустую игру, имѣетъ своимъ органическимъ содержаніемъ.

Вмѣсто развитія этихъ общихъ основъ, вмѣсто задуманныхъ было мною чисто-философскихъ бесѣдъ, которыя откладываются на неопредѣленное время, но все-таки, если накопятся когда-нибудь, то будутъ обращены къ вамъ, я, весь подъ влияніемъ живого и, со всѣми его недостатками, истинно-могущественнаго художественнаго явленія, рѣшился поведи съ вами многія и долгія рѣчи объ Островскомъ и значеніи его поэтической дѣятельности, — рѣчи, которыя прежде всего и паче всего будутъ искренни, т. е. будутъ относиться къ самой сущности дѣла, а не къ чему-либо постороннему, *внѣ* дѣла лежащему, и самое дѣло намѣренно или ненамѣренно затемняющему.

Если нѣкоторыя изъ основныхъ положеній и послѣдствій идеально-художественнаго взгляда, въ примѣненіи къ разсматриваемымъ явленіямъ, потребуютъ по существу самаго дѣла довольно подробнаго развитія, — я буду безъ опасенія отдаваться такимъ требованіямъ по весьма *понятному* желанію быть совершенно *понятнымъ* моимъ читателямъ.

По поводу этого, я позволяю себѣ сдѣлать небольшое, чисто личное отступленіе: признаться вамъ откровенно — жалобы на непонятность моего обычнаго изложенія мнѣ серьезно надоѣли; ибо я, какъ человѣкъ убѣжденія, позволяю себѣ дорожить моимъ убѣжденіемъ. Убѣжденіе — если оно есть дѣйствительное убѣжденіе — покупается по большей части цѣною умственныхъ и нравственныхъ процессовъ, болѣе или менѣе продолжительныхъ переворотовъ въ душевномъ организмѣ, — процессовъ и переворотовъ, не всегда, какъ вы знаете, легкихъ — а не приходитъ съ вѣтра. Въ комъ есть сильная потребность высказать свои убѣжденія, въ томъ очень естественно и желаніе, чтобы съ ними, съ этими составляющими нравственную жизнь человѣка убѣжденіями или *согласались*, или, что такъ же важно, *спорили*. До сихъ же поръ я еще не имѣлъ удовольствія спорить какъ ни съ кѣмъ изъ *теоретиковъ*, такъ и ни съ кѣмъ изъ эстетиковъ.

Готовый съ полною искренностью сознаться въ грѣхѣ нѣкоторой

темноты изложенія и нѣкоторой излишней привязанности къ анализу, я остаюсь однако при убѣжденіи, что умственной лѣни, лѣни мыслить и слѣдить за развитіемъ чужой мысли, не надо по настоящему баловать, ни въ себѣ, ни въ другихъ. Сжатая формы философскаго изложенія—разумѣется, тамъ, гдѣ онѣ нужны—замѣняютъ собою цѣлыя страницы резонёрства, хотя, конечно, требуютъ отъ читателя саомышленія, вовсе резонёрствомъ не требуемаго.

Не отступаясь поэтому нисколько отъ права предполагать въ моихъ читателяхъ способность мыслить и слѣдить за развитіемъ чужой мысли, я, въ настоящемъ случаѣ, постараюсь только, сколь возможно, избѣгать сжатыхъ формулъ и терминовъ философіи тождества, но, — счелъ бы грѣхомъ замѣнять ихъ резонёрствомъ. Резонёрство рѣшительно противно всякому, чье мышленіе осиливаетъ истины хоть немного болѣе сложныя, чѣмъ  $2 \times 2 = 4$ . Есть мышленія, да и не женскія только, — въ этого, къ сожалѣнію, не договорили, — въ которыхъ  $2 \times 2$  даютъ не 4, а стеариновую свѣчку... Вотъ для этихъ-то мышленій и создано въ особенности резонёрство. Шевеля и раздражая умственное сладострастіе, резонёрство, этотъ процессъ безъ результатовъ, это истинное и единственное искусство для искусства, тѣмъ хорошо, что и на дѣло какъ-будто похоже, т. е. даетъ извѣстную степень наслажденія, да и къ дѣлу ни къ какому не ведетъ, т. е. не требуетъ отъ занимающихся имъ ни умственныхъ, ни нравственныхъ самопожертвованій.

Истина философская, какъ изящное произведеніе, связана съ извѣстною цѣлостію, есть органическое звено цѣлаго міра — и цѣлый міръ въ ней просвѣчиваетъ какъ въ цѣломъ недѣлимомъ. Если душа ваша приняла ее, васъ объялъ уже цѣлый міръ необходимо связанныхъ съ нею мыслей: у нея есть связи, родство, исторія и влѣдствіе этого неотразимая влекущая впередъ сила — сила жизни.

Резонёрство, это — дагерротипъ, случайный, сухой, мертвый, ни съ чѣмъ разумно не связанный, умственный трутень, умственный евнухъ, порожденіе моральнаго мѣщанства, его любимое чадо, высиженное имъ какъ гомункулусъ Вагнеромъ.

## II.

Позволивъ себѣ, по крайней необходимости, это небольшое вступленіе и облегчивши нѣсколько душу изліаніемъ моею глубокою ненависти къ резонёрству, столь нравящемуся большинству, перехожу къ дѣлу.

Я собираюсь, какъ я сказалъ, повести съ вами *домія* и совершенно *искреннія* рѣчи о значеніи дѣятельности Островскаго по поводу его послѣдняго произведенія, возбуждающаго, по обыкновенію, какъ и всѣ предшествовавшія, различныя толки, иногда, и даже очень часто, совершенно противуположныя, иногда умныя, иногда положительно дикія, но, во всякомъ случаѣ, болѣею частію *неискренніе*, т. е. къ дѣлу не относящіеся,—а по поводу дѣла высказывающіе тѣ или другія общественныя и нравственныя теоріи критиковъ-публицистовъ. Критики-публицисты — вообще люди въ высшей степени благонамѣренныя, проникнутыя самымъ законнымъ и серьезнымъ сочувствіемъ къ общественнымъ вопросамъ; теоріи ихъ, если и подлежатъ спору во многихъ пунктахъ, какъ всякія теоріи, но тѣмъ не менѣе, проводя послѣдовательно извѣстныя точки зрѣнія на жизнь, содѣйствуютъ необходимо къ разъясненію существенныхъ вопросовъ жизни; но дѣло-то въ томъ, что эти теоріи, какъ бы умны онѣ ни были, изъ какихъ бы законныхъ точекъ ни отъправились, въ художественномъ произведеніи слѣдятъ, да и могутъ слѣдить только *ту* жизнь, которую видятъ съ извѣстныхъ точекъ, а не ту, которая въ немъ, если оно есть истинно-художественное произведение, просвѣчиваетъ со всѣмъ своимъ многообъемлющимъ и въ отношеніи къ теоріямъ часто проиическимъ смысломъ. Художество, какъ дѣло синтетическое, дѣло того, что называется вдохновеніемъ, захватываетъ жизнь гораздо шире всякой теоріи, такъ что теорія сравнительно съ нимъ остается всегда назади.

Такъ оставило назади послѣднее произведение Островскаго всѣ теоріи, повидимому столь побѣдоносно и по истинѣ блистательно высказанныя замѣчательно даровитымъ публицистомъ «Современника» въ статьяхъ о «Темномъ царствѣ».

Статьи эти надѣлали много шуму, да и дѣйствительно одна сторона жизни, отражаемой произведеніями Островскаго, захвачена въ нихъ такъ мѣтко, казнена съ такою безпощадною послѣдовательностью, заклеимена такимъ вѣрнымъ и типическимъ словомъ, что Островскій явился передъ публикой совершенно неожиданно обличителемъ и карателемъ самодурства. Оно вѣдь и такъ. Изображая жизнь, въ которой самодурство играетъ такую важную, трагическую въ принципѣ своею и послѣдствіяхъ, и комическую въ своихъ проявленіяхъ, роль, Островскій не относится же къ самодурству съ любовью и нѣжностью. Не относится съ любовью и нѣжностью—слѣдственно относится съ обличеніемъ и карою,—заключеніе прямое для всѣхъ, любящихъ подводить мгновенныя итоги подъ всякую полосу жизни, освѣщенную свѣтомъ

художества, для всѣхъ теоретиковъ, мало уважающихъ жизнь и ея безграничныя тайны, мало вникающихъ въ ея ироническія выходы.

Прекрасно! Слово Островскаго—обличеніе самодурства нашей жизни. Въ этомъ его значеніе, его заслуга, какъ художника; въ этомъ сила его, сила его дѣйствія на массу, на эту послѣднюю для него, какъ для драматурга, инстанцію.

Да точно-ли въ этомъ?

Беру фактъ самый яркій, не тотъ даже, съ котораго я началъ свои рапсодіи, а фактъ только возможный (увы! когда-то наконецъ возможный?)—беру возможное, или пожалуй невозможное, представленіе первой его комедіи: «Свои люди сочтемся»...

Остроумный авторъ статей «Темное царство» положительно, напри- мѣръ, отказываетъ въ своемъ сочувствіи Большову даже и въ трагиче- скую минуту жизни этого послѣдняго... Откажетъ-ли ему въ сожалѣніи и, стало быть, извѣстномъ сочувствіи масса?... Публицистъ—до чего не до- ведетъ человѣка теорія!—почти-что стоятъ на сторонѣ Липочки; по крайней мѣрѣ, она у него включена въ число протестантовъ и проте- стантовъ въ быту, обуреваемомъ и подавляемомъ самодурствомъ. Спрашиваю васъ: какъ масса отнесется къ протестанткѣ Липочкѣ?... пойметъ-ли она Липочку какъ протестантку?

Въ другихъ комедіяхъ Островскаго, симпатіи и антипатіи массы также точно разойдутся съ симпатіями и антипатіями г.—бова, какъ постараюсь я доказать фактами и подробно впоследствии. А вѣдь это вопросы неотразимые. Островскій, прежде всего, драматургъ: вѣдь онъ создаетъ свой типы не для г.—бова, автора статей о «Темномъ царствѣ»—не для васъ, не для меня, не для кого-нибудь, а для массы, для которой онъ пожалуй, какъ поэтъ ея, поэтъ народный, есть и учи- тель, но учитель съ тѣхъ высшихъ точекъ зрѣнія, которыя доступны ей, массѣ, а не вамъ, не мнѣ, не г.—бову, съ точекъ зрѣнія, ею, массой, понимаемыхъ, ею раздѣляемыхъ.

Поэтъ—учитель народа только тогда, когда онъ судитъ и рядитъ жизнь во имя идеаловъ—жизни самой присущихъ, а не имъ, поэтомъ, сочиненныхъ. Не думайте, да вы, вѣроятно и не подумаете, чтобы мас- сою здѣсь звалъ я одну какую-либо часть великаго цѣлаго, называемаго народомъ. Я зову массою, чувствомъ массы, то, что въ извѣстную ми- нуту сказывается невольнымъ общимъ настроеніемъ, вопреки частному и личному, сознательному, или безсознательному настроенію въ васъ, во мнѣ, даже въ г.—бовѣ—наравнѣ съ купцомъ изъ апраксина ряда. Это что-то, сказывающееся въ насъ какъ нѣчто физиологическое, про-

стое, неразложимое, мы можемъ подавлять въ себѣ развѣ только фанатизмомъ теоріи.

За то, посмотрите, какія слѣдствія производитъ насильственное подавленіе въ себѣ этого простаго, физиологическаго чувства; полюбуйтесь, какъ души молодыя и горячія, увлеченныя фанатизмомъ теоріи, скачутъ по всѣмъ по тремъ въ догонку за первыми, высказавшими извѣстнымъ положительнымъ образомъ, извѣстную, имѣющую современное значеніе теорію, и не только въ догонку, а въ перегонку, ибо теорія есть идолъ неумолимо-жадный, постоянно требующій себѣ новыхъ и новыхъ жертвенныхъ требъ.

Имѣете-ли вы понятіе о статейкѣ, появившейся въ «Московскомъ Вѣстникѣ» по поводу «Грозы» Островскаго? Статейка принадлежитъ къ числу тѣхъ курьезовъ, которые будутъ дороги потомству, и даже весьма недалекому потомству; будутъ имъ отыскиваемы, какъ замѣчательныя указанія на болѣзни нашей напряженной и рабочей эпохи. Авторъ ея еще прежде удивилъ читателей неистово-напряженною статьей о русской женщинѣ, по поводу ломанной натуры (если натурою называть это можно) Ольги въ романѣ «Обломовъ». Но удивленіе, возбуждаемое статьей о «Грозѣ», превосходитъ многими степенями удивленіе, произведенное презнею. Съ какою наивною, чисто *ученою*, т. е. мозговою, а не сердечною вѣрою, юный (по всей вѣроятности) рецензентъ «Московскаго Вѣстника» усвоилъ остроумную и блистательно высказанную теорію автора статей «Темное царство»! Не знаю, стало-ли бы у самого г.—бова столько смѣлой послѣдовательности въ проведеніи его мысли, какъ у его ученика и сеида. Даже сомнѣваюсь, чтобы стало; авторъ статей «Темное царство», судя по зрѣлому, мастерскому его изложенію, — человекъ взрослый; даже готовъ подозрѣвать, что г.—бовъ втихомолку хохочетъ надъ усердіемъ своего сеида, втихомолку потому, что хохотать явно было бы недобросовѣстно со стороны г.—бова. Вѣдь «его же добромъ, да ему же челомъ», вѣдь рецензентъ «Московскаго Вѣстника» собственно только прилагаетъ добросовѣстно къ «Грозѣ» идеи автора «Темнаго царства», точно такъ-же, какъ въ статьѣ о русской женщинѣ онъ только проводилъ послѣдовательно и съ горячимъ энтузіазмомъ холодно-желчныя идеи автора статей объ Обломовщинѣ. Г. Пальховскій — имя юнаго рецензента — глубоко увѣровалъ въ то, что Островскій каратель и обличитель самодурства и прочаго, и вотъ «Гроза» вышла у него только сатирою, и *только* въ смыслѣ сатиры придалъ онъ ей значеніе. Мысль и сама по себѣ дикая, но полюбуйтесь ею въ приложеніяхъ: въ нихъ-то вся сила, въ нихъ-то вся прелесть. Катерина не протестантка, а если и протестантка, то безсильная, не вынесшая



сама своего протеста, — катая ее, Катерину! Мужъ ея ужъ совсѣмъ не протестантъ, — валий же его, мерзавца! Извините за цинизмъ моихъ выраженій, но они мнѣ приходили невольно на языкъ, когда я съ судорожнымъ хохотомъ читалъ статью г. Падьховскаго, и каюсь вамъ, вслѣдствіе статьи юнаго сеида г. — бова, я невольно хохоталъ надъ множествомъ положеній серьезной и умной статьи публициста Современника, разумѣется взятыхъ только въ ихъ послѣдовательномъ приложеніи. Протестантка Липочка, протестантки Матрена Савишна и Марья Антиповна, попивающія съ чиновниками мадеру на вольномъ воздухѣ подѣ Симоновымъ... какъ хотите, а вѣдь такого рода протестантизмъ — въ иную минуту невольно представится очень забавнымъ!

Но вѣдь смѣхъ смѣху рознь, и въ моемъ смѣхѣ было много грусти... и много тяжелыхъ вопросовъ выходило изъ за логическаго комизма.

Мнѣ право иногда наше время представляется выраженнымъ читателю смѣло, но вѣрно, въ сценѣ высоко поэтическаго созданія «Komedia nieboska», въ которой поэтъ приводитъ своего героя въ сумасшедшій домъ, и гдѣ въ различныхъ голосахъ сумасшедшихъ слышны различные страшные вопли нашего времени, различные теоріи, болѣе или менѣе уродливыя, болѣе или менѣе фанатическія; страшная и глубокаго смысла исполненная сцена!

Вѣдь не только г. — бовъ, даже сеидъ его, — по всей вѣроятности человекъ, глубокимъ, хоть и мозговымъ процессомъ вырабатывающій свои убѣжденія, — не только, говорю я, они не смѣшны своими увлеченіями, — они достойны за нихъ (разумѣется, не въ равной мѣрѣ) и сочувствія и уваженія. Вѣдь мы ищемъ, мы просимъ отвѣта на страшные вопросы у нашей мало ясной намъ жизни; вѣдь мы не виноваты ни въ томъ, что вопросы эти страшны, ни въ томъ, что жизнь наша, эта жизнь, насъ окружающая, намъ мало ясна съ незапамятныхъ временъ. Вѣдь это по истинѣ страшная, затерявшаяся *идь-то* и *когда-то* жизнь, та жизнь, въ которой рассказывается серьезно, какъ въ «Грозѣ» Островскаго, что «эта Литва, она къ намъ съ неба упала», и отъ которой, затерявшейся *идь-то* и *когда-то*, отречься намъ нельзя безъ насилія надъ собою, противуестественнаго и потому почти преступнаго; та жизнь, съ которою мы всѣ сначала враждуемъ, и смиреніемъ передъ невѣдомою правдою которой всѣ люди съ сердцемъ, люди плоти и крови кончали, кончаютъ и должно-быть будутъ еще кончать, какъ Федоръ Лаврецовъ, обрѣтшій въ ней свою искомую и созданную изъ ея соковъ Лизу; та жизнь, которую въ лицѣ Агаѣи Матвѣевны приносятъ Обломовъ въ жертву дѣланную и изломанную, хотя внѣшне граціозную, натуру Ольги, и въ которой онъ гибнетъ, единственно впрочемъ по волѣ

своего автора, и не мня насъ притомъ нисколько своею гибелью съ личностью Штольба.

Да, страшна эта жизнь, какъ тайна страшна, и какъ тайна же она манить насъ и дразнить и тащить...

Но куда?—вотъ въ чемъ вопросъ.

Въ омутъ, или на просторъ и на свѣтъ? Въ единеніи-ли съ нею, или въ отрицаніи отъ нея, губящей обломовщины съ одной стороны, безысходно-темнаго царства съ другой, заключается для насъ спасеніе?

### III.

Мы дошли до того, что съ тѣми нравственными началами, съ которыми до сихъ поръ жили, или лучше прозябали, въ тѣхъ общественныхъ условіяхъ, въ которыхъ пребывали или вѣрнѣе кисли, жить болѣе не можемъ.

Мудрено-ли, еще разъ, что у всѣхъ явленій *таинственной* нашей жизни мы доискиваемся смысла? Мудрено-ли, что во всякомъ художественномъ созданіи, отразившемъ въ своемъ фокусѣ наибольшую сумму явленій извѣстнаго рода, мы ищемъ оправданія и подкрѣпленія того смысла, который мы сами болѣе или менѣе вѣрно, но во всякомъ случаѣ серьезно, придали явленіямъ, вслѣдствіе законнаго раздраженія неправыми явленіями и еще болѣе законнаго желанія уяснить себѣ темныя для насъ явленія?

Все это не только не мудрено, но совершенно логично. Всѣмъ этимъ совершенно объясняются различныя отношенія нашей мысли къ произведеніямъ искусства, которыя сколько-нибудь сильно ее шевелятъ.

Кровныя или мозговья, но (какъ тѣ, такъ и другія) сильныя и дѣйствительныя вражды и сочувствія вносимъ мы въ наши отношенія къ этимъ, повидимому невиннымъ, чадамъ творчества и фантазіи. И иначе быть не можетъ.

Чада, какъ всякія чада, дѣйствительно невинны, но они живыя порожденія жизни. Время, когда созданія искусства считались роскошью, увеселеніемъ безъ причинъ и послѣдствій, давно прошло. Еще мрачный монахъ Савонарола, сожигая на площади Санъ-Марко во Флоренціи мадоннъ итальянскихъ художниковъ его времени, понималъ, что невинныя чада искусства могутъ возбуждать любовь и ненависть, какъ и виновныя чада жизни....

Наше время еще больше это понимаетъ. Фанатизмъ симпатій и антипатій прокрался даже и въ ту область художества, которая наиболѣе чужда нравственныхъ и жизненныхъ требованій, наименѣе къ чему-либо обязываетъ,—даже въ музыку, и фанатическая религія вагнеризма есть одинъ изъ яркихъ симптомовъ страшной напряженности умственного и нравственного настройства нашей эпохи.

По этому-то самому нельзя въ наше время отказать въ уваженіи и сочувствіи никакой честной теоріи, т. е. теоріи, родившейся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ, и весьма трудно оправдать чѣмъ-либо дилеттантское равнодушіе къ жизни и ея вопросамъ, прикрывающее себя служеніемъ какому-то чистому искусству. Съ теоретиками можно спорить: съ дилеттантами нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идоло-жертвенныхъ требъ, но это имъ можетъ быть многого стоить. Дилеттанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, голосами почвъ, мѣстностей, народностей, настроеній нравственныхъ, въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про бѣлаго бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ невинность чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какаго-то безплодія. Они готовы закидать грязью Занда за непреличную тревожность ея созданій, и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое имъ равно ничего не стоитъ!

Нѣтъ! я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху,—въ какую-угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибеллинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ, столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ *даже до сего дне*, ни мрачный инвизиторъ Кальдеронъ, не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотягь придать этому званію дилеттанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка, въ эпохи развѣденія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилеттантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массъ... Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Искусство воплощаетъ въ образы, въ идеалы сознаніе массы. Поэты суть голоса массъ, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ,—организмовъ во времени, и народовъ,—организмовъ въ пространствѣ.

Но изъ этой же самой народной, демократической сущности истиннаго искусства слѣдуетъ, что теоріи не могутъ обнять всего живого смысла поэтическихъ произведеній. Теоріи, какъ и томъ, выведенные изъ прошедшаго разсудкомъ, правы всегда только въ отношеніи къ прошедшему, на которое онѣ какъ на жизнь опираются; а прошедшее есть всегда только трупъ, покидаемый быстро текущею впередъ жизнію, трупъ, въ которомъ анатомія доберется до всего, кромѣ души. Теорія вывела изъ извѣстныхъ данныхъ извѣстные законы и хочетъ заставить насильственно жить всѣ послѣдующія, раскрывающіяся данныя по этимъ логически-правильнымъ законамъ. Логическое бытіе самыхъ законовъ несомнѣнно, мозговая работа по этимъ отвлеченнымъ законамъ идетъ совершенно правильно, да идетъ-то она въ отвлеченномъ, чисто-логическомъ мірѣ, мірѣ, въ которомъ все имѣетъ очевидную послѣдовательность, строгую необходимость, въ которомъ нѣтъ неисчерпаемаго творчества жизни, называемаго обыкновенно случайностью, называемаго такъ до тѣхъ поръ, пока она не станетъ прошедшимъ, и пока логическая анатомія не разсѣчетъ этого трупа и не приготовитъ новаго аппарата въ видѣ новой теоріи.

Кого-жь любить, кому же вѣрить,  
Кто не измѣнитъ намъ одинъ?...

имѣете право спросить меня и вы, и читатели моихъ писемъ къ вамъ, словами поэта.

Кого любить? Кому вѣрить? Жизнь любить—и въ жизнь одну вѣрить, подслушивать бѣненія ея пульса въ массахъ, внимать голосамъ ея въ созданіяхъ искусства, и религіозно радоваться, когда она приподнимаетъ свои покровы, разоблачаетъ свои новыя тайны и разрушаетъ наши старыя теоріи...

Это одно, что осталось намъ, это именно и есть «смирненіе передъ народною правдою», которымъ такъ силенъ вашъ разбитый Лаврецькій.

Иначе, безъ смиренія передъ жизнію, мы станемъ непривзванными учителями жизни, непрошенными печальниками народнаго благоденствія,—а главное, будемъ поставляемы въ постоянно ложныя положенія передъ жизнію.

#### IV.

Опять обращаясь къ фактамъ, породившимъ эти разсужденія, я указываю какъ на больное мѣсто современныхъ теорій, на толки о

дѣятельности Островскаго. Сколько времени эта, чисто уже свободная, и со всѣми своими недостатками цѣлостная, органическая, живая, дѣятельность ускользала изъ подъ ножа теорій, не поддавалась ихъ опредѣленіямъ, была за это преслѣдуема, вовсе непризнаваема, или полу-признаваема.

Явился наконецъ остроумный человѣкъ, который втиснулъ ее въ тавія рамки, что стало возможно помирить сочувствіе къ ней съ сочувствіемъ къ интересамъ и теоріямъ минуты, что она перестала выбиваться изъ общей колеи кары и обличенія. Совершилось на глазахъ читателей одно изъ удивительнѣйшихъ превращеній. Драматургъ, котораго обвиняли, иногда безъ основаній, иногда съ основаніями, во множествѣ недостатковъ, недодѣлокъ и недосмотровъ; писатель, которому въ одной изъ нахальнѣйшихъ статей одного погибшаго журнала отказывали въ истинномъ талантѣ; которому въ другой, не менѣе нахальной, хотя болѣе приличной статьѣ другаго журнала, совѣтовали преимущественно думать и думать, — превратился изъ народнаго драматурга въ чистаго сатирика, обличителя самодурства, но за то — положительно былъ оправданъ отъ всѣхъ обвиненій. Всѣ вины взвалены были на «Темное царство», сатирикъ же явился рѣшительно безупречнымъ.

Повернетъ ли онъ круто, чтобы какъ-нибудь свести концы, характеръ какого-либо лица; оставитъ ли онъ какое драматическое положеніе въ видѣ намека; не достанетъ ли у него вѣры въ собственный замыселъ и смѣлости довершись по народному представленію то, что зачалось по народному представленію, — виноватъ не онъ, виновато «Темное царство», котораго безобразій онъ каратель и обличитель. Что за нужда, что, прилагая одну эту мѣрку, вы урѣзываете въ писателѣ его самыя новыя, самыя существенныя свойства, пропускаете или не хотите видѣть его положительныя, поэтическія стороны; что нужды, что вы заставляете художника идти въ его творчествѣ не отъ типовъ и ихъ отношеній, а отъ вопросовъ общественныхъ и юридическихъ! Мысль, взятая за основаніе, сама по себѣ вѣрна. Вѣдь — опять повторяю — не относится же драматургъ къ самодурству и безобразію изображаемой имъ жизни съ любовью и нѣжностью; не относится, такъ стало-быть относится съ казнью и обличеніемъ. Ergo pereat mundus, fiat justitia! Общее правило теоретиковъ дѣйствуетъ во всей силѣ, и дѣйствительно разрушается цѣлый міръ, созданный творчествомъ, и на мѣсто образовъ являются фигуры съ ярлыками на лбу: самодурство, забытая личность, и т. д. За то Островскій становится понятенъ, т. е. теорія можетъ вывести его дѣятельность, какъ логическое послѣдствіе, изъ дѣятельности Гоголя:

Гоголь изблчилъ нашу на показъ выставляемую, такъ-сказать оффиціальную, дѣйствительность; Островскій подымаетъ покровы съ нашей таинственной, внутренней, бытовой жизни, показывааетъ главную пружину, на которой основана ея многосложная машина—самодурство; самъ даетъ даже это слово для опредѣленія своего безцѣннаго Кита Китыча... Что же?

Ужель загадку разрѣшили,

Ужели слово найдено?

то слово, которое непременно несетъ съ собою и въ себѣ Островскій, какъ всякій истинно замѣчательный, истинно народный писатель?

Ежели такъ, то найденное слово не должно бояться никакой повѣрки, тѣмъ болѣе повѣрки жизнію. Ежели оно правильно, то всякую повѣрку выдержать. Ежели оно правильно, то изъ подъ его широкой рамки не должны выбиваться никакія черты того міра, къ которому оно служить влючемъ. Иначе — оно или вовсе невѣрно, или вѣрно только на половину: къ однимъ явленіямъ подходитъ, къ другимъ не подходитъ. Позволяю себѣ предложить разомъ все недоумѣнія и вопросы, возникающіе изъ приложенія слова къ явленіямъ, — шагъ за шагомъ, драма за драмою.

1) Что правильное, народное сочувствіе, нравственное и гражданское, въ «Семейной картинѣ» — не на сторонѣ протестантокъ Матрены Савишны и Марьи Антиповны, — это, я полагаю, несомнѣнно, — хотя изъ несочувствія къ нимъ нравственнаго народнаго сознанія не слѣдуетъ сочувствія къ самодурству Антипа Антипыча Пузатова и его матери, къ ханжеству и гнусности Ширялова. Но — какъ изображено самодурство Антипа Антипыча: съ злымъ ли юморомъ сатирика, или съ наивной правдою народнаго поэта? — это еще вопросъ.

2) «Свои люди сочтемся», — прежде всего картина общества, отраженіе цѣлаго міра, въ которомъ проглядываютъ многоразличныя органическія начала, а не одно самодурство. Что человѣческое сожалѣніе и сочувствіе остается по ходу драмы за самодурами, а не за протестантами — это даже и не вопросъ, хотя съ другой стороны — не вопросъ же и то, что Островскій не поставлялъ себѣ задачею возбужденія такого сочувствія. Нѣтъ! онъ только не былъ сатирикомъ, а былъ объективнымъ поэтомъ.

3) Что въ «Утрѣ молодого человѣка» дѣло говоритъ самодуръ дядя, а не протестантъ племянникъ — тоже едва ли подлежитъ сомнѣнію.

4) Міръ «Вѣдной Невѣсты» изображенъ съ такою симпатіею поэта и такъ мало въ немъ сатирическаго въ изображеніи того, что могло бы

даже всякому другому подать поводъ къ сатирѣ, что нужна: неимовѣрная логическая натяжка для того, чтобы сочувствовать въ этомъ мірѣ не высокой, приносящей себя въ жертву долгу, покоряющейся, женской натурѣ, а одной только погибшей, хотя и дѣйствительно богатой силами, личности Дуни, какъ сочувствуетъ грѣбовъ. Дуня — созданіе большого мастера, и какъ всякое созданіе истиннаго художества, носить въ себѣ высоко-нравственную задачу; но задача-то эта — съ простой, естественной, а не съ теоретической, насильственной точки зрѣнія — заключается вовсе не въ протестъ. Въ Дунѣ правильнымъ образомъ сочувствуетъ масса не ея гибели и протесту, а чѣмъ лучшимъ качествамъ великодушія, которыя въ ней уцѣлѣли въ самомъ паденіи, тому высокому сознанію грѣха, которое свѣтится въ ней, той покорности жребію, которая въ ея сильной, широкой и розмашистой натурѣ цѣнится вдвое дороже, чѣмъ въ натурѣ менѣе страстной и богатой.

Такъ, по-крайней-мѣрѣ дѣло выходитъ съ точки зрѣнія простого смысла и простого чувства, а по ученому тамъ, не знаю, выйдетъ можетъ-быть и иначе. О томъ, какъ вся манера изображенія и весь строй отношеній къ дѣйствительности въ «Бѣдной Невѣстѣ» противорѣчитъ манерѣ Гоголя и его строю — я еще здѣсь и не говорю. Я беру только самое очевидное, понятное, такое, въ чемъ теоретическій масштабъ положительно, на всякіе глаза, расходится съ настоящимъ дѣломъ.

б) Въ комедіи «Не въ свои сани не садись» — никакими разсужденіями вы не добьетесь отъ массы ни пониманія вреда отъ самодурства почтеннаго Максима Федотыча Русакова, ни сочувствія къ чему-либо иному, кромѣ какъ къ положенію того же Русакова, къ простой и глубокой любви Бородкина и къ жестокому положенію бѣдной дѣвушки, увлеченной простотой своей любящей души — да совѣтами протестантки тетушки \*).

б) «Бѣдность не порокъ» — не сатира на самодурство Гордѣя Карпыча, а опять-таки, какъ «Свои люди сочтемся» и «Бѣдная Невѣста», поэтическое изображеніе цѣлаго міра съ весьма разнообразными началами и пружинами. Любимъ Торцовъ возбуждаетъ глубокое сочувствіе не протестомъ своимъ, а могучествомъ природы, соединенной съ высокимъ сознаніемъ долга, съ чувствомъ человѣческаго достоинства, уцѣлѣвшими и въ грязи, глубиною своего раскаянія, искреннею жаждою жить честно, по божески, по земски. Любовь Гордѣевна, — одинъ изъ прелест-

---

\*) Комедія «Не въ свои сани не садись» даже явно страдаетъ въ художественномъ отношеніи рѣзкостью лицепріятнаго сочувствія къ земскому быту, и никакія теоретическія натяжки этого не прекрываютъ.

нѣйшихъ, хотѣ и слегка очерченныхъ женскихъ образовъ Островскаго, — не забытая личность, возбуждающая только сожалѣніе, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствіе, какъ не забытыя личности ни Марья Андреевна, «въ Бѣдной Невѣстѣ», ни Пушкинская Татьяна, ни ваша Лиза. Быть, составляющій фонъ широкой картины; взять — на всякія глаза, кромѣ глазъ теорій — не сатирически, а поэтически, съ любовью, съ симпатіею очевидными, скажу больше — съ религіознымъ культомъ существенно-народнаго. За это даже вооружились на Островскаго во дни оны. Поэтическое, т. е. прямое, а не косвенное, отношеніе къ быту и было камнемъ преткнанія и соблазна для присяжныхъ цѣнителей Островскаго, причиною ихъ, въ отношеніи къ нему, ложнаго положенія, изъ котораго думалъ вывести ихъ всѣхъ г. — бовъ.

7) Набросанный очеркъ широкой народной драмы «Не такъ живи какъ хочется» столь мало — сатира, что въ изображеніи главнаго самодура, старика Ильи Ильича, нѣтъ и тѣни комизма. Въ Петрѣ Ильичѣ далеко не самодурство существенная сторона характера. Въ созданіи Груши, и даже ея матери, видѣнь для всякаго, кромѣ теоретиковъ, народный поэтъ, а не сатирикъ. Груша въ особенности есть лицо изображенное положительно, а не отрицательно, изображенное какъ нѣчто живое и долженствующее жить.

8) Если бы *самодурство* Кита Квитыча было одною цѣлію изображенія въ комедіи «Въ чужомъ пиру похмѣлье» — общественный смыслъ этой комедіи не былъ бы такъ широкъ, каковъ онъ представляется въ связи ея съ «Доходнымъ мѣстомъ», съ «Праздничнымъ сномъ», съ сценами «Не сошлись характеромъ». — Что Китъ Квитычъ самодуръ — нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, но такого *милѣйшаго* Кита Квитыча создалъ поэтъ, а не сатирикъ, какъ не сатирикъ создавалъ Фольстаффа. Вѣдь вамъ жаль расстаться съ Китомъ Квитычемъ, вы желали бы видѣть его въ различныхъ подробностяхъ его жизни, въ различныхъ его подвигахъ... Да и смыслъ-то комедіи не въ немъ. Комедія эта, вмѣстѣ съ исчисленными мною другими, захватываетъ дѣло глубже идеи самодурства, представляетъ отношенія земщины къ чуждому и невѣдомому ей официальному міру жизни. Надъ Китомъ Квитычемъ масса смѣется добродушнѣйшимъ смѣхомъ. Горькое и трагическое, но опять таки не сатирическое, лежитъ на днѣ этой комедіи и трехъ послѣдующихъ въ идеѣ нашей таинственной и какъ тайна страшной, затерявшейся гдѣ-то и когда-то, жизни. Горькое и трагическое въ судьбѣ тѣхъ, кого называетъ карасями Досужевъ «Доходнаго мѣста», благороднѣйшая личность, которой практической ея героизмъ не указываетъ иного средства жить самому и служить народу, какъ писать прошенія со вставленіемъ всѣхъ ор-



наментовъ. Горькое и трагическое въ томъ, что «царь Фараонъ изъ моря выходитъ» и что «эта Литва — она къ намъ съ неба упала». Горькое и трагическое въ томъ, что ученье и грамота сливаются въ представленіи отупѣлой земщины съ тѣмъ, что «отдали мальчика въ ученье, а ему глазъ и выкололи», — въ томъ, что земщина, въ лицѣ глупаго мужика Кита Китыча, предполагаетъ въ Сахарѣ Сахарычѣ власть и силу написать такое прошеніе, по которому можно троихъ человѣкъ въ Сибирь сослать, и въ лицѣ умнаго мужика Неуѣденова — справедливо боится всего, что не она, земщина; въ наивномъ письмѣ Серафимы Карповны къ мужу: «Что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ? Тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ, — я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги — я кого полюблю, и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы.» Вотъ въ чемъ истинно-горькое и закулисно-трагическое этого міра, а не въ самодурствѣ. Самодурство, это только накипь, пѣна, комическій отсадокъ; оно, разумѣется, изображается поэтомъ комически, — да какъ же иначе его и изображать? — но не оно — ключъ къ его созданіямъ!

Для выраженія смысла всѣхъ этихъ, изображаемыхъ художникомъ съ глубиною и сочувствіемъ, странныхъ, затерявшихся гдѣ-то и когда-то, жизненныхъ отношеній — слово *самодурство* слишкомъ узко, и имя сатирика, обличителя, писателя отрицательнаго, весьма мало идетъ къ поэту, который играетъ на всѣхъ тонахъ, на всѣхъ ладахъ народной жизни, который создаетъ энергическую натуру Нади, страстно-трагическую задачу личности Катерины, высокое лицо Кулигина, Грушу, отъ которой такъ и пышетъ жизнію и способностью жить съ женскимъ достоинствомъ — въ «Не такъ живи какъ хочется», старика Агаѳона въ той же драмѣ съ его безграничною, какою-то пантеистическою, даже на тварь простирающеюся любовію.

Имя для этого писателя, для такого большого, не смотря на его недостатки, писателя — не сатирикъ, а народный поэтъ. Слово для разгадки его дѣятельности не «самодурство», а «народность». Только это слово можетъ быть включено въ пониманію его произведеній. Всякое другое — какъ болѣе или менѣе узкое, болѣе или менѣе теоретическое, произвольное — стѣсняетъ кругъ его творчества. Всякимъ другимъ словомъ теорія какъ будто хочетъ сказать ему: «вотъ въ этой колѣѣ ты намъ совершенно понятенъ, въ этой колѣѣ мы тебя узакониваемъ, потому что въ ней ты идешь къ той цѣли, которую мы предписываемъ жизни. Дальше не ходи. Если ты прежде пытался ходить — мы тебя, такъ и быть, прощаемъ: мы наложимъ на твою дѣятельность мысль, ко-

тору ю мы удачно сочинили для ея поясненія, и обрѣжемъ или скроемъ все, что выходитъ изъ подъ ея уровня!»

Чѣмъ же объяснить это, какъ не тѣмъ, что теоретики искали слова для загадочнаго явленія, нашли его по крайнему разумѣнью, и включили Островскаго въ область фактовъ, поясняющихъ и подтверждающихъ ихъ начала? Что касается до эстетиковъ, они хвалили Островскаго за литературное поведеніе, съ большимъ вкусомъ — хотя не самостоятельно — указали на блестящія его стороны, да тѣмъ и ограничились. Явленіе же само осталось неразгаданнымъ, необъясненнымъ, почти-что такимъ же, какимъ оно было лѣтъ за восемь назадъ. Ни значеніе, ни особенность поэтической дѣятельности автора «Грозы» нисколько не опредѣлились, да и не могли опредѣлиться при такомъ возрѣннн, которое видѣло не міръ художникомъ создаваемый, а міръ, заранѣе начертанный теоріями, и судило міръ художника не по законамъ въ существѣ этого міра лежащимъ, а по законамъ сочиненнымъ теоріями.

Появленіе «Грозы» въ особенности обличило всю несостоятельность теорій. Одними сторонами своими эта драма какъ будто и подтверждаетъ остроумныя идеи автора «Темнаго царства», но за то съ другими сторонами ея теорія рѣшительно не знаетъ, что дѣлать; онѣ выбиваются изъ ея узкой рамки, онѣ говорятъ совершенно не то, что говорятъ теорія.

И вотъ, въ маломъ видѣ повторяется для мыслящаго наблюдателя вышеупомянутая мною сцена изъ *Komedyя nieboska*. Кто, въ яромъ увлеченіи теоріей, гнетъ и ломаетъ всѣ отношенія драмы, чтобы сдѣлать изъ нея сатиру; кто, какъ рецензентъ «Русской Газеты», лавируя между Сциллою и Харибдою, между теоріею и жизнію, не можетъ дать никакого органическаго единства своимъ взглядамъ. Кто-наконецъ — есть и такіе — винить чуть-что не въ безнравственности чистое созданіе художника. И — *ou la verité va-t-elle se picher?* — только въ какомъ-то листѣ, въ какомъ-то мало кому извѣстномъ «театральномъ и музыкальномъ Вѣстникѣ», вслѣдъ за представленіемъ Грозы, является горячая, полная вѣрнаго пониманія и глубокаго сочувствія статья, чуждая всякихъ теорій, относящаяся къ жизни какъ къ жизни. Странные факты! но не скажу: горестные факты.

Теорія все-таки къ чему-нибудь ведутъ и самую свою несостоятельностью раскрываютъ намъ шире и шире значеніе таинственной нашей жизни..... Оказалась узка одна — явится другая. Одна только праздная игра въ мысль и самоулаженіе эту ю игрою — незаконны въ наше кипящее тревожными вопросами время. Теоретикамъ можно пожелать

только нѣсколько побольше религіозности, т. е. уваженія къ жизни и смиренія передъ нею, а вѣдь эстетикамъ право и пожелать-то нечего!

## ПИСЬМО ВТОРОЕ.

### ПОПЫТКИ РАЗРѢШЕНІЙ.

#### I.

Не знаю, на сколько удачно — но во всемъ предшествовавшемъ письмѣ я стремился доказать, что Островскій и его дѣятельность въ 1859 году, *несмотря* на остроумныя выкладки г.—бова, и *вслѣдствіе* малоостроумныхъ, но зато послѣдовательныхъ итоговъ, подведенныхъ подъ выкладки юными послѣдователями новаго учителя, остаются такимъ же, еще необъясненнымъ, еще загадочнымъ явленіемъ, какимъ они были въ 1852 или 1853 годахъ. — Чтобы быть совершенно искреннимъ и безпристрастнымъ въ отношеніи къ разсматриваемому мною дѣлу, я долженъ досказать то, чего не досказалъ въ предшествовавшемъ разсужденіи, а именно: что дѣятельность Островскаго сама представляется какъ-будто раздвоенною, что Островскій въ «Бѣдной Невѣстѣ», въ «Не такъ живи какъ хочется» положительно не подходитъ *никакими* своими сторонами подъ начала теоріи г.—бова, и что Островскій въ комедіяхъ: «Въ чужомъ пиру похмѣлье», «Доходное мѣсто», «Не сошлись характеромъ», «Воспитанница», — наконецъ, въ самой «Грозѣ» многими сторонами какъ-будто вызвалъ теорію о «Темномъ царствѣ», и что — опять повторяю — только крайняя искренность и горячая смѣлость послѣдователей г.—бова могла такъ рано обличить несостоятельность теоріи.

Другими словами, обличеніе во внутренней бытовой сторонѣ нашей жизни міра самодурства, тупоумія, забитости и проч., неприложимое нисколько къ первому разряду исчисленныхъ драматическихъ произведеній, прилагается съ большимъ успѣхомъ ко второму. Я думаю даже такъ, что г.—бовъ, хотя и односторонне, но логически вѣрно вывелъ теорію изъ внимательнаго изученія многихъ и притомъ весьма яркихъ сторонъ втораго разряда комедій, и потомъ, увлеченный страстью къ логическимъ выводамъ *quand même*, вопреки самой жизни, подвелъ подъ логическій уровень и комедіи перваго разряда: иначе этого на-слованія и объяснить себѣ невозможно. Не предполагать же со сто-

роны критика, т. е. общественнаго разъяснителя, обязаннаго своимъ званіемъ искать серьезно правды и серьезно же передавать результаты своихъ исканій, — не предполагать же, говорю я, сознательную, намѣренную уловку, деспотическое желаніе заставить жизнь и ея явленія жить, на зло ихъ собственному существу, по законамъ теоріи? Или ужь всѣ теоретики по натурѣ, бессознательно деспоты, и обо всякомъ изъ нихъ можетъ быть сказано въ извѣстномъ отношеніи то, что Пушкинскій Мазепа говоритъ о Карлѣ XII-мъ:

Какъ полкъ вертѣтся онъ судьбу  
Заставитъ хочеть барабаномъ?

Видно такъ! Но какъ бы то ни было, а передъ нами все-таки неразъясненное, даже—какъ кажется по приведенному мною раздѣленію словъ—раздвоенное, противорѣчащее само себѣ явленіе; передъ нами *дѣло*, переходившее нѣсколько инстанцій, въ каждой рѣшенное различнымъ образомъ, и само, повидимому, подавшее поводъ къ такимъ различнымъ рѣшеніямъ.

Что же это такое? Въ самомъ ли дѣлѣ Островскій, начиная съ комедіи «Въ чужомъ пиру похмѣлье», идетъ инымъ путемъ, а не тѣмъ, которымъ онъ пошелъ послѣ первой своей комедіи, въ «Бѣдной Невѣстѣ» и другихъ произведеніяхъ? И который изъ этихъ двухъ путей указывало ему его призваніе, *если* два пути дѣйствительно были (— а они, эти два пути, являются необходимо, *если* только принять за объясненіе дѣятельности Островскаго теорію г.—бова)? И въ которомъ изъ двухъ первыхъ, равно капитальныхъ произведеній Островскаго, равно широко обнимающихъ изображенныя въ нихъ міры,—въ «Свои люди сочтемся», или въ «Бѣдной Невѣстѣ» выразилось въ особенности призваніе Островскаго, его задача, его художественно-общественное слово? И наконецъ, точно-ли есть въ дѣятельности нашего перваго и единственнаго народнаго драматурга раздвоеніе?... Вотъ вопросы, которые необходимо требуютъ разрѣшенія, — а между тѣмъ нисколько не разрѣшены, а скорѣе запутаны теоріей публициста «Современника», и безъ разрѣшенія которыхъ Островскій остается, повторяю опять, все-таки загадочнымъ, непонятымъ явленіемъ, какъ въ тѣ дни, когда выраженіе «новое слово», употребленное вашимъ покорнѣйшимъ слугою по поводу «Бѣдной Невѣсты», возбуждало такія глумленія въ петербургскихъ критикахъ.

## II.

Дѣятельность Островскаго начинается собственно съ 1847 года. Для полноты моихъ критическихъ очерковъ, привожу перечень всего имъ написаннаго до комедіи «Въ чужомъ пиру похмѣлье», какъ грани второй полосы его развитія, въ хронологическомъ порядкѣ.

1) *Семейная картина*. Напечатана въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ» 1847 г., перепечатана безъ перемѣнъ въ полномъ собраніи сочиненій 1859 г. Въ этой-же, только годъ издававшейся, газетѣ, напечатана сцена изъ комедіи: «Свои люди сочтемся», носившей тогда названье: «Банкрутъ», сцена, подписанная буквами А. О. и Д. Г. буквами, подавшими впоследствии поводъ къ жалкой исторіи, не малое время срамившей нѣкоторые журналы и газеты.

2) *Очерки Замоскворѣчья*, небольшой, рассказъ въ «Моск. Городскомъ Листкѣ» 1847 г., не вошедшій, къ сожалѣнію, въ полное собраніе сочиненій 1859 г.

3) *Свои люди сочтемся*, комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, въ «Москвитянинѣ» 1850 г. и отдѣльной книжкой. Напечатана съ нѣкоторыми сокращеніями и измѣненіемъ конца (весьма неудачнымъ, кромѣ прибавки одной, яркой и въ высшей степени знаменательной, черты въ характерѣ Лазаря) въ полномъ собраніи сочиненій.

4) *Утро молодого человека*, въ «Москвитянинѣ» 1850 г.\* Перепечатано безъ перемѣнъ въ полномъ собраніи сочиненій.

5) *Неожиданный случай*, сцены,—въ альманахѣ «Комета» 1851 г. Не вошло въ собраніе сочиненій.

6) *Блудная Невѣста*, комедія въ 5 дѣйствіяхъ,—въ «Москвитянинѣ» 1852 г. Перепечатана въ первомъ томѣ сочиненій.

7) *Не въ свои сани не садись*, комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ,—въ «Москвитянинѣ» 1853 г. и въ 1-мъ томѣ сочиненій.

8) *Блудность не пороку*, комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ, напечатана безъ перемѣнъ во 2-мъ томѣ сочиненій.

9) *Не такъ живи какъ хочется*, народная драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ въ «Москвитянинѣ» 1855 года. Перепечатана во 2-мъ томѣ сочиненій, съ небольшими, но весьма интересными для мыслящаго критика поправками, обличающими странную шаткость отношеній поэта къ своему, можетъ быть любимому, но почему-то невыносившемуся дѣтищу.

На этомъ произведеніи я пока останавливаюсь. Здѣсь грань всего несомнѣннаго. За «Не такъ живи какъ хочется», т. е. съ комедіи «Въ чужомъ пиру похмѣлье», начинается область спорнаго.

Самое первое изъ этихъ исчисленныхъ мною, большихъ и небольшихъ, болѣе или менѣе удачныхъ, произведеній носило на себѣ яркую печать самобытности таланта, выразившейся и 1) въ новости быта, выводимаго поэтомъ и до него вовсе непечатаго, если исключить нѣкоторые очерки Луганскаго и Вельтмана («Приключенія почерпнутыя изъ моря житейскаго»), очерки, набросанные этими даровитыми писателями такъ сказать, вскользь, мимоходомъ, и 2) въ новости отношеній автора къ дѣйствительности вообще, къ изображенному имъ быту и къ типамъ изъ этого быта въ особенности, и 3) въ новости манеры изображенія, и 4) въ новости языка, въ его цвѣтистости, особенности.

Изъ всего этого новаго, что съ первой минуты своего появленія въ литературѣ приносилъ съ собою нашъ драматургъ, критика въ состояннн была, да и теперь еще находится, понять только новость быта, который онъ изображалъ. «Семейная картина», самое первое, но одно изъ окончениѣйшихъ произведеній Островскаго, прошла при появленнн своемъ почти-что незамѣченною, да и не мудрено: она и въ полномъ собраннн сочиненнн, напечатанномъ весьма разгонистымъ шрифтомъ, занимаетъ немного болѣе полутора печатнаго листа. Еще менѣе замѣчена была новость отношеннн къ дѣйствительности, отношеннн, радикально противоположныхъ тѣмъ сантиментально-желчно-болѣзненнымъ отношеннмъ, которыя свирѣпствовали тогда въ произведенняхъ петербургской натуральной школы, въ маленькомъ разсказѣ «Очерки Замоскворѣчья», единственномъ произведеннн, вылившемся у Островскаго не въ драматической формѣ. Появленнн комеднн «Свои люди сочтемся», какъ событнн слишкомъ яркое, выдвигавшееся далеко изъ ряда обычныхъ, надѣлало много шуму, но не вызвало ни одной дѣльной критической статьи. Комеднн изумила критику, и комическое отношеннн критики къ комеднн изображено смѣлыми, остроумными, хотя и рѣзкими чертами въ оригинальной шуткѣ Эраста Благодравова: «Сонъ по случаю одной комеднн». Въ этой шуткѣ, написанной со всѣмъ благороднымъ пыломъ юности, со всѣмъ увлеченнмъ правды, въ шуткѣ, взбѣсившей до нельзя тогдашнюю критику—высказанъ былъ впервые даровитымъ критикомъ-юмористомъ глубоко вѣрный взглядъ на различнн новаго таланта, появившагося въ нашей литературѣ, отъ таланта Гоголя. Позволяю себѣ привести изъ замѣчательной, не позабытой, но затерявшейся въ старомъ журналѣ шутки—существенно важное мѣсто, относящееся къ этому, различнн. Шутка Эраста Благодравова сама написана въ драматической формѣ; въ лицахъ, разговаривающихъ въ ней, выведены тогдашння направленнн и оттѣнки направленнн. Молодому человѣку, представителю крайности увлеченнн новымъ произведеннмъ знатоку западныхъ лите-

ратуръ говорить: «Ну, какъ вамъ угодно, а изъ вашихъ неумѣренныхъ похвалъ автору *новой комедіи* я замѣчаю, что вы къ нему пристрастны и что вы недоброжелатель Гоголя».

*Молод. чел.* Странно, что вы замѣчаете изъ моихъ словъ совершенно противоположное тому, что слѣдуетъ изъ нихъ замѣтить. Я думаю, изъ моихъ словъ скорѣе можно замѣтить, что я пристрастенъ къ Гоголю, а не врагъ ему. Да, (повѣрьте моей искренности) я пристрастенъ къ Гоголю. Я люблю его произведенія больше произведеній автора *новой комедіи*, я имъ больше сочувствую, чѣмъ сочувствую *новой комедіи*; но это дѣло моего личнаго вкуса. Въ слѣдствіе чего именно я такъ пристрастенъ къ Гоголю, и самъ хорошенько не знаю. Можетъ, это происходитъ отъ того, что я, какъ и всѣ русскіе юноши одного со мною поколѣнія, воспитанъ на Гоголѣ. Когда я только-что началъ жить сознательно, когда во мнѣ только-что пробудилось эстетическое чувство, первый поэтъ, на голосъ котораго откликнулось мое сердце, былъ Гоголь. Можетъ быть, я ему сочувствую больше, чѣмъ автору *новой комедіи*, и потому, что уже отъ природы я къ тому наклоненъ. Какъ бы то ни было, но дѣло въ томъ, что настроеніе моего духа, мое міросозерпаніе — Гоголевское, и потому-то чтеніе Гоголя мнѣ доставляетъ гораздо больше наслажденія, чѣмъ чтеніе *новой комедіи*. Но въ то-же время авторъ ея представляетъ мнѣ осуществленіе того идеала художника, о которомъ я давно мечталъ. Гоголь въ моихъ глазахъ не подходилъ подъ этотъ идеалъ. Давно я мечталъ о такомъ художникѣ, давно я просилъ Бога послать намъ такого поэта, который-бы изобразилъ намъ человѣка совершенно объективно, совершенно искренно, математически-вѣрно дѣйствительности. И вотъ такой поэтъ явился. Признаюсь откровенно, что, услыхавъ въ первый разъ *новую комедію*, я очень больно себя уцѣпнулъ, дабы увѣриться, сплю я или нѣтъ, во снѣ или на яву слушаю комедію до такой степени натуральную, во снѣ или на яву вижу передъ собой такого художника, котораго давно ожидала вселенная, по которомъ давно тосковала она.

*(Хоръ пристально смотритъ на молодого человѣка).*

*Прохожій.* Мнѣ кажется, молодой человѣкъ, что характеристика Гоголя, которую вы здѣсь представили, не полна, одностороння. Дѣйствительно, *поэзія Гоголя изобилуетъ того рода художественными гиперболами и тѣмъ лирическимъ юморомъ*, о которомъ вы распространялись. Въ этомъ я съ вами совершенно согласенъ. Но развѣ въ этомъ юморѣ, въ этихъ гиперболахъ весь Гоголь? развѣ поэзія его постоянно преувеличиваетъ дѣйствительность? развѣ Гоголь не умѣетъ рисовать дѣйствительности вѣрно, такъ, какъ она есть? Вспомните, сколько создано имъ лицъ, у которыхъ ни въ характерѣ, ни въ разговорѣ, вы не найдете ни малѣйшей утрировки. Вспомните Осипа, Тараса Бульбу, Андрия, Акакія Акакіевича; вспомните, что у Гоголя есть даже цѣлыя повѣсти, въ которыхъ дѣйствующія лица всѣ до одного нарисованы съ необыкновеннымъ спокойствіемъ и необыкновенною вѣрностью, безъ малѣйшей тѣни преувеличенія; вспомните *Коляску*, вспомните *Старосветскихъ*

*помыщиковъ.* Итакъ, согласитесь со мной, что талантъ Гоголя состоитъ не только въ умѣннѣ утрировать и въ лирическомъ юморѣ, но и въ вѣрности изображенія дѣйствительности. Если вы согласитесь со мной въ этомъ пунктѣ, то должны будете согласиться со мной и въ томъ, что Гоголь выше автора *новой комедіи*. (*Молчаніе*). Вы сказали, что авторъ *новой комедіи* умѣетъ математически вѣрно изображать дѣйствительность, а Гоголь выпукло выставляя людскую пошлость—художественно утрировать. Но—какъ теперь открылось изъ моихъ словъ—Гоголь, кромѣ того, умѣетъ такъ-же, какъ и авторъ *новой комедіи*, вѣрно изображать дѣйствительность, а авторъ *новой комедіи* умѣетъ только вѣрно изображать дѣйствительность, а утрировать не умѣетъ,—слѣдовательно знаетъ только одну штуку, слѣдовательно ниже Гоголя, который знаетъ двѣ штуки.

*Молод. человекъ.* Вы отчасти правы. Дѣйствительно, у Гоголя создано много такихъ лицъ, въ которыхъ нѣтъ ничего преувеличеннаго, которыя вѣрны дѣйствительности, но все-таки дѣйствующія лица *новой комедіи* вѣрнѣе ихъ дѣйствительности; они конкретнѣе, они еще болѣе похожи на людей, чѣмъ лица созданныя Гоголемъ. Они, въ отношеніи своей живости и конкретности, относятся къ героямъ Гоголя, какъ картина нарисованная красками относится къ картинѣ нарисованной тушью.

*Всѣ.* Въ чемъ же состоитъ эта конкретность дѣйствующихъ лицъ *новой комедіи*?

*Молод. человекъ.* Въ ихъ языкѣ. Вспомните, какимъ языкомъ говорятъ даже тѣ лица Гоголя, которыя неутрированы. Неужели у него лакеи говорятъ *точь-въ-точь* такимъ языкомъ, какимъ говорятъ лакеи; купцы—*точь-въ-точь* такимъ языкомъ, какимъ говорятъ купцы, и т. д.? Содержаніе ихъ рѣчей, ихъ мысли совершенно приличны каждому изъ нихъ, но имъ дана не та самая оболочка, которую они должны имѣть. Въ ихъ языкѣ мало выражаются особенности сословій. Они такъ же говорятъ не своимъ языкомъ, какъ не своимъ языкомъ говорятъ дѣйствующія лица *Каменнаго гостя* Пушкина. Языкъ ихъ переводный.... Кстати замѣчу здѣсь, что и въ другихъ произведеніяхъ Пушкина дѣйствующія лица говорятъ не своимъ языкомъ. Примѣромъ тому служатъ *Борисъ Годуновъ* и *Каменный Гость*.

*Хоръ.* Чтѣ же, по вашему мнѣнію, вѣрнѣе природѣ: *новая комедія* или *Каменный гость*?

*Молод. человекъ.* Разумѣется, *новая комедія*. *Каменный Гость* во-первыхъ уже потому хуже *новой комедіи*, что въ немъ есть несообразности, которыхъ въ ней нѣтъ. Такъ въ немъ является и говоритъ статуя командора, а статуя вѣдь ходить и говорить не можетъ; кромѣ того въ ней еще тотъ недостатокъ, что дѣйствующія лица не конкретны въ отношеніи къ языку. Ихъ языкъ можно перевести по каковски вамъ угодно, и они отъ этого ничего не теряютъ. *Новая же комедія* непереводама.

*Хоръ.* Ну, а Шекспира можно переводить?

*Молод. человекъ.* Можно; но отъ того его произведенія и ниже *новой комедіи*.



*Хоръ.* Что-о-о?

*Молод. человекъ.* Ничего. (*Скрывается*).

*Хоръ.* Вотъ каковы нынче молодые люди!

*Любитель Славянскихъ древностей.* Вотъ дочего довела ихъ натуральная школа!

Не смотря на то, что Эрастъ Благодеровъ предупреждалъ читателей, что онъ не раздѣляетъ всѣхъ убѣжденій, которыя высказываютъ дѣйствующія лица его фантазій, даровитая шутка привела тогдашнюю критику въ совершенное остервенѣнiе. Но, какъ сначала ни недоумѣвала, какъ, по появленiи шутки Эраста Благодерова, ни остервенилась критика, все-таки она должна была согласиться съ общественнымъ мнѣнiемъ. Она признала (добрая, великодушная критика!), что явился новый талантъ, сильный, свѣжій и наиболѣе близкiй къ таланту, нынѣ давно уже спящему въ могилѣ, къ таланту первенствовавшему тогда по всѣмъ правамъ. Бѣдная критика! Вотъ именно въ этомъ-то, въ этой-то близости къ Гоголю, она тогда ошиблась и ошибается *даже до сего дне*; въ этомъ-то таился тогда и таится *даже до сего дне* источникъ всѣхъ ея недоразумѣнiй, натяжекъ и теорiй.

«Новое слово» ускользнуло отъ опредѣленiй старой критики, ускользнуло сначала, и съ этого-то пункта началась настоящая исторiя новаго литературнаго явленiя.

Комедию «Свои люди сочтемся» критика еще могла какъ-нибудь, хотя и съ великими натяжками, связать съ мудрыми заключенiями своими обо всемъ предшествовавшемъ въ литературѣ и съ еще болѣе мудрыми гаданiями на счетъ будущаго. Вся послѣдующая дѣятельность Островскаго такъ уходила изъ подъ этихъ заключенiй, какъ расколы изъ подъ общей Византийской нормы, и поневолѣ должна была разсердить критику, задѣвъ больныя ея мѣста, коснуться самыхъ ветхихъ ея построекъ.

И критика стала въ очевидно комическое положенiе къ новому явленiю. Появилась «Бѣдная Невѣста», а она ждала совсѣмъ не того послѣ комеди «Свои люди сочтемся.» Еще прежде Островскiй разсердилъ критику отсутствiемъ всякой желчи, всякой рѣзкости линiй, всякой выпуклости въ маленькихъ, простенькихъ и, надобно сказать правду, весьма милыхъ сценахъ, извѣстныхъ подъ именемъ «Неожиданнаго случая»,— отъ которыхъ совершенно напрасно отрекся авторъ, издавая полное собранiе своихъ сочиненiй.... Эту безпритязательно-простую, и между тѣмъ психологически-тонкую шутку даровитаго человѣка критика встрѣтила воплями на безцвѣтность выведенныхъ въ ней характеровъ, упрекала за слабость пружинъ, двигающихъ въ ней отношенiя, или, въ переводѣ на прямой языкъ, осердилась на то, что отношенiя сами по себѣ лег-

вія художникъ очеркнулъ легко, характеры безъосновные и безсодержательные изобразилъ въ ихъ безъосновности и безсодержательности, не выдумалъ гиперболическаго узла, не отнесся съ ядовитою насмѣшкою къ такимъ беззлымъ и безкровнымъ существамъ, какъ выведенные имъ Розовый и Дружининъ.

Но съ появленія «Бѣдной Невѣсты» критика положительно стала сердиться на лица, выводимыя поэтомъ, на манеру отношеній поэта къ изображаемому имъ быту, т. е. на самый бытъ, гостепріимно растворившій передъ ней свои широкіа двери въ созданіяхъ поэта. Критика постоянно становилась то въ положеніе Мерича или даже Милашина, то въ положеніе Виктора Аркадьевича Вихорева и жены Маломальскаго, или даже тетуски, набравшейся въ Таганкѣ образованія. Становясь на ихъ точки зрѣнія, она винила Хорькова въ *неблагодарствъ* поступковъ; Русакова и Бородеина хотѣла увѣрить, что они не существуютъ, или по крайней мѣрѣ существовать не должны.

«Бѣдность не порокъ», самая смѣлая, хотя и не самая оконченная изъ драмъ Островскаго, озлобила дряхлую критику, озлобила и на *друга* ея, Гордѣя Карповича, и на *врага* ея, Любима Торцова. Гордѣй Карповичъ—каковъ онъ ни на есть—все-таки представитель стремленій къ образованію, все-таки въ нѣкоторомъ родѣ человекъ, стремящійся выйдти изъ *грубаго* и критикѣ совершенно непонятнаго быта, желающій «всякую моду подражать». Любимъ Карповичъ въ глазахъ критики былъ только пьяница и ничего больше. Его стремленій выйдти изъ «метеорскаго» званія, войдти снова въ семью, имѣть честный кусокъ хлѣба, жить по божески, по земски; его раскаянія, его порывовъ—критика не хотѣла и не могла оцѣнить: трагическая сторона его положенія отъ нея ускользнула. На Митю критика осердилась за то, что Богъ создалъ его съ даровитою, нѣжною и простой душою, — Любовь Гордѣевну опять обвинила за отсутствіе личности, какъ прежде Марью Андреевну. На второй актъ комедіи озлобилась критика за то, что авторъ безъ церемоніи ввелъ публику въ самый центръ нравовъ, обычаевъ, веселья того быта, который онъ изображаетъ, ввелъ съ любовью, съ благоговѣніемъ къ святынямъ народной жизни. Ложное положеніе критики дошло до крайности при появленіи драмы «Не такъ живи какъ хочется». Столь ни стоитъ здѣсь выполненіе ниже гениальнаго замысла, все-таки замыселъ просвѣчиваетъ въ скупомъ очеркѣ выполненія, и замыселъ этотъ уже совершенно былъ непонятенъ критикѣ. Кромѣ того, критика начала изъяслять неудовольствіе на языкъ, или, по ея выраженію, на *жаргонъ*, которымъ писаны драмы Островскаго. — Она и въ самомъ дѣлѣ наивно была увѣрена что языкъ въ комедіяхъ Островскаго—мѣстный провин-

ціализмъ, странность, нѣчто въ родѣ пейзажнаго жаргона, употребляемаго, напримѣръ, Мольеромъ въ *Le Médecin malgré lui*, въ *Le festin de Pierre* и другихъ пьесахъ. Чего-жъ бы хотѣла критика? Чтобы лица драмъ Островскаго говорили не языкомъ ихъ быта? Да вѣдь это противорѣчило бы эстетическимъ положеніямъ всякой критики, даже и той, о которой въ настоящую минуту мною припоминается, да и Островскій притомъ художникъ такого рода, которому типы, при самомъ ихъ созданіи, предстаютъ не иначе, какъ съ своимъ языкомъ каждый: иначе для него типъ и не мыслимъ.

Съ неудовольствіемъ на жаргонъ драмъ Островскаго тѣсно связано было неудовольствіе на самый бытъ, имъ изображаемый. Собственно, критика сама не знала, чего хотѣла; при появленіи «Вѣдной Невѣсты» раздались ея сѣтованія, что Островскій оставилъ бытъ, который онъ такъ мастерски изображаетъ; потомъ она вопіяла на то, что этотъ бытъ говорить своимъ языкомъ, имѣеть свои, ей невѣдомыя, нравы, представляеть свои типы, которые она не желала видѣть выводимыми, и въ несуществованіи которыхъ она такъ жарко хотѣла убѣдить и себя и другихъ. *Непереносенъ* былъ ей этотъ бытъ—употребляя выраженіе комедій Островскаго—*непереносенъ* его языкъ, *непереносны* его типы; вотъ и вся разгадка. Не было критикѣ дѣла ни до какихъ эстетическихъ вопросовъ.

«Новое слово!»—употребляю теперь съ нѣкоторою гордостью это выраженіе, высокопарность котораго выкуплена легкомысленнымъ или недобросовѣтнымъ посмѣяніемъ, которому оно подверглось, — вотъ коренная, основная причина негодованія старой критики на писателя, которому, по всему праву, по общему признанію массы, принадлежитъ, несмотря на его недавнее появленіе, несмотря на многіе недостатки, несомнѣнное первенство во всей драматической нашей литературѣ.

Съ 1847 до 1855 года (я беру пока все еще одну *первую* эпоху дѣятельности Островскаго) Островскій написалъ всего только 9 произведеній, и изъ нихъ только пять значительныхъ по объему и шесть по содержанію;—только четыре изъ нихъ давались на театрѣ, но эти четыре, безъ церемоніи говоря, *создали* народный театръ; частію создали, частію выдвинули впередъ артистовъ, пробудили общее сочувствіе всѣхъ классовъ общества, измѣнили во многихъ взглядъ на русскій бытъ, познакомили насъ съ типами, которыхъ существованія мы не подозрѣвали, и которые, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно существуютъ, съ отношеніями въ высшей степени новыми и драматическими, съ многоразличными сторонами русскоѣ души, и глубокими, и трогательными, и нѣжными, и разгульными сторонами, до которыхъ никто еще не касался. Право

гражданства литературнаго получило множество яркихъ, опредѣленныхъ образовъ, новыхъ, живыхъ созданий въ мѣрѣ искусства, — и все это прошло безъ урока для критики. Талантъ уже породилъ толпу подражателей, и грубыя подражанія въ родѣ «Жениха изъ Ножевой линіи» печатались въ ея журналахъ, а она продолжала глумиться надъ новымъ словомъ таланта.

А между тѣмъ, новое слово Островскаго было ни болѣе, ни менѣе, какъ *народность*, слово собственно уже *старое*, ибо стремленія къ народности начались въ литературѣ нашей не съ Островскаго, но дѣйствительно *новое*, — потому что въ его дѣятельности опредѣлилось оно точнѣе, яснѣе и проще, хотя, безъ сомнѣнія, еще неокончательно.

### III.

Я знаю очень хорошо, что слово *народность*, хоть оно, слава Богу, мной и не придумано, загадочнаго явленія еще не объясняетъ; во-первыхъ потому, что оно слишкомъ широко, а во-вторыхъ и потому, что само еще требуетъ объясненія. Вѣдь и сатирикъ можетъ быть народень, да еще какъ! Примѣръ — въ великомъ поэтѣ Аристофанѣ, великомъ поэтѣ, которому не оставалось быть ничѣмъ инымъ, какъ только сатирикомъ посреди жизни, когда-то цѣльной и прекрасной, въ его время разлагавшейся; примѣръ — въ Грибоѣдовѣ, великомъ и страстномъ поэтѣ, которому еще не во что было вкоренить идеалы души, который былъ отторгнуть общамъ развитіемъ верхнихъ слоевъ общества отъ почвы, отъ народа, и тѣмъ же самымъ развитіемъ высоко поставленъ надъ поверхностью этихъ верхнихъ слоевъ общества...

Положимъ, что я выразился яснѣе: я народность противопоставилъ чисто-сатирическому отношенію къ нашей внутренней бытовой жизни, слѣдовательно, и подъ народностію въ Островскомъ разумѣлъ объективное, спокойное, чисто-поэтическое, а не напряженное, не отрицательное, не сатирическое отношеніе къ жизни. Положимъ, что я прежде всего успѣшилъ высказать, что и творчество, и строй отношеній къ жизни, и манеру изображенія, свойственныя Островскому, считаю я совершенно различными отъ таковыхъ же Гоголя. Все таки народность — понятіе очень широкое и тѣмъ менѣе объясняющее дѣло начисто, что наши собственные отношенія къ самому этому понятію, т. е. къ народности, весьма шатки и неопредѣленны. Да вдобавокъ еще, народность — бранное слово, т. е. не въ смыслѣ ругатель-

наго слова, а въ смыслѣ слова битвы, лозунга брани, — битвы, кажется единственной въ лѣтописяхъ умственныхъ браней человѣчества. Въ Германіи только разъ въ краткій періодъ, который называется Sturm und Drang, въ который Клопштохъ и его друзья возобновляли клятвы древнихъ германцевъ передъ Ирминовымъ дубомъ, тамъ только мысль отстаивала народность своего народа; но вѣдь тамъ это скоро и кончилось, а у насъ вопросу о народности и конца какъ-то не предвидится. Не за то мы въ немъ боремся, за что боролись Клопштохъ и его друзья; тѣ свое дѣло скоро и отстояли, потому что дѣло-то самое была борьба не за сущность народной жизни, а противъ условныхъ формъ чужеземнаго французскаго искусства. Кабы наше дѣло было такое же, мы бы давно его выиграли и сдали въ архивъ. Да не такое оно — это наше дѣло. Вѣдь даже клятвы передъ Ирминовымъ дубомъ представляютъ только внѣшнее сходство съ ношеніемъ нѣкоторыми изъ насъ народной, да еще старой народной одежды: глубже и существеннѣе основы самого внѣшняго нашего донкихотства, такъ что рукѣ тяжело подняться и даже назвать донкихотствомъ то, что внутренно считаешь почти необходимымъ, хотя и внѣшнимъ... Тяжелый вопросъ для насъ всѣхъ эта народность, вопросъ чрезвычайно мудреный и какъ жизнь сама — ироническій. Вѣдь вы посмотрите, — я не хочу еще пока залѣзать въ глубь, указывать на то, чѣмъ онъ начинался и чѣмъ кончается, — вы посмотрите на то, что вокругъ насъ, что теперь дѣлается. Русскій Вѣстникъ, нѣкогда точившій ядъ на народность, съ теченіемъ времени становился все милостивѣе и милостивѣе къ вопросу о народности, а по выдѣленіи изъ его центрального единства кружка, основавшаго Атены и павшаго (но увь! не со славою, а безъ славы) вмѣстѣ съ знаменитыми положеніями о томъ, что «австрійскій солдатъ является цивилизаторомъ славянскихъ земель», — все болѣе и болѣе лишился своего антинаціональнаго цвѣта, и нынѣ, къ немалому удивленію всѣхъ насъ, поборниковъ народности въ жизни, искусствѣ и наукѣ, — печатаетъ дирическія выходы въ пользу народности Нив. Вас. Берга, и отстаиваетъ развѣ только свою нелюбовь къ русской одеждѣ, да и то, я думаю, чтобы не совсѣмъ отступить отъ своего первоначальнаго цвѣта. Почему не ожидать, послѣ этого, обращенія къ народности автора статей объ Обломовщинѣ и о Темномъ царствѣ? «Ничего! можно!» какъ говорить Антипъ Антипычъ Пузатовъ...

Но прежде всего, не для васъ, а для читающей публики, долженъ я точнѣе опредѣлить смыслъ, въ которомъ принимаю слово: народность литературы.

Какъ подъ именемъ народа разумѣтся народъ въ обширномъ смыслѣ

и народъ въ тѣсномъ смыслѣ, такъ равномѣрно и подѣ народностью литературы.

Подѣ именемъ народа въ обширномъ смыслѣ разумѣется цѣлая народная личность, собирательное лице, слагающееся изъ чертъ всѣхъ слоевъ народа, высшихъ и низшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, образованныхъ и необразованныхъ, слагающееся, разумѣется, не механически, а органически, носящее общую, типическую, характерную физиономію, физическую и нравственную, отличающую его отъ другихъ, подобныхъ ему собирательныхъ лицъ. Что такая личность слагается органически, а не механически, это я, кажется, напрасно и прибавилъ. Государства, какъ Австрія, могутъ слагаться механически, народы—никогда: они могутъ быть плохіе народы, но никогда не бываютъ сочиненные народы.

Подѣ именемъ народа въ тѣсномъ смыслѣ разумѣется та часть его которая наиболѣе, сравнительно съ другими, находится въ непосредственномъ, неразвитомъ состояніи.

Литература бываетъ народна въ обширномъ смыслѣ, когда она, въ своемъ *міросозерцаніи* отражаетъ взглядъ на жизнь, свойственный *всему* народу, опредѣлившейся только съ большею точностью, полною и, такъ-сказать художественностью въ передовыхъ его слояхъ; въ *типахъ*—разнообразные, но общіе, присущіе общему сознанію, сложившіеся цѣльно и полно типы или стороны народной личности; въ *формахъ*—красоту по народному пониманію; выработавшемуся до художественности представленія; будь это красота греческая, итальянская, фламандская, все равно; въ *языкѣ*—весь общій языкъ народа, развившійся на основаніи его коренныхъ этимологическихъ и синтаксическихъ законовъ, слѣдовательно не языкъ *касты* съ одной стороны, не языкъ *мѣстностей* съ другой. Чтобы не оставить и малѣйшаго повода къ недоразумѣніямъ, должно прибавить, что подѣ передовыми слоями народа разумѣю я тоже не касты и не слои случайно выдвинувшіеся, а верхи самобытнаго народнаго развитія, ростки, которые сама изъ себя дала жизнь народа.

Въ тѣсномъ смыслѣ литература бываетъ народна, когда она, или 1) прииоравливается къ взгляду, понятіямъ и вкусамъ неразвитой массы для ея воспитанія, или 2) изучаетъ эту массу, какъ *terra incognita*, ея нравы, понятія, языкъ, какъ нѣчто особенное, диковинное, чудное, ознакомливая со всѣмъ этимъ особеннымъ и чуднымъ развитие и можетъ-быть пресктившіеся развитіемъ слои. Во всякомъ случаѣ, въ томъ или въ другомъ, существованіе такого рода народной литературы предполагаетъ историческій фактъ разрозненности въ народѣ, предполагаетъ то обстоятельство, что народное развитіе шло не путемъ общимъ, цѣльнымъ, а раздвоеннымъ.

Перваго рода народность есть то, что на точномъ и установившемся языкѣ цивилизаціи зовется *nationalité*; втораго рода то, что на немъ же въ не слишкомъ давнія времена получило опредѣленный терминъ: *popularité, littérature populaire*.

Въ первомъ смыслѣ народность литературы, какъ національность, является понятіемъ безусловнымъ, въ самой природѣ лежащимъ.

Во второмъ, народная литература, какъ *littérature populaire*, есть нѣчто относительное, нѣчто обязанное своимъ происхожденіемъ болѣзненному въ извѣстной степени состоянію общественнаго организма, и притомъ—вовсе не искусство, которое прежде всего свободно и никакихъ внѣшнихъ, поучительныхъ, воспитательныхъ, научныхъ и соціальныхъ цѣлей не допускаетъ. Народная литература въ этомъ, т. е. въ тѣсномъ смыслѣ, относится не къ художеству, а къ педагогіей, или естественной исторіи.

Опредѣленія эти, какъ вы видите, просты и ясны въ ихъ логической постановкѣ. Но опять-таки, логическая постановка—не жизненная постановка. Въ жизни нашей, они, эти простыя опредѣленія, страшно запутались. Повидимому, нечего бы, кажется, и доказывать простую истину, что литература всякая, а слѣдственно и наша, чтобы быть чѣмъ-нибудь, чтобы не толочь воду, не толкаться попусту, должна быть народна, т. е. національна, равно какъ другія искусства, равно какъ наука, равно какъ жизнь,—а вѣдь къ этому результату, простому, какъ  $2 \times 2 = 4$ , мы только-что понемногу приходимъ послѣ многихъ и, надобно признаться, безобразныхъ споровъ о томъ, что  $2 \times 2 = 4$ , а не стеариновая свѣчка.

Съ другой стороны, дѣло въ высшей степени простое и ясное, что народная литература въ тѣсномъ смыслѣ является или вслѣдствіе пресыщенія цивилизаціей, какъ крестьянскіе романы Занда, деревенскіе рассказы Ауэрбаха, и въ XIX вѣкѣ служить отчасти повтореніемъ стремленій Жанъ-Жака Руссо къ дикимъ,—или, какъ у насъ, есть выраженіе насущной потребности сблизить два разрозненныхъ развитія въ народномъ организмѣ.—Въ дѣйствительности, опять-таки это понятіе запуталось до того, что только безсердечные и безучастные къ жизни эстетики могутъ быть въ отношеніи къ нему послѣдовательны, могутъ отозваться съ высоты эстетическаго величія объ этой литературѣ, и въ ихъ эстетическомъ величіи выскажется для всякаго тупое равнодушіе къ великимъ вопросамъ жизни, если еще не что-либо худшее.

Вотъ тутъ подите и ставьте логическія опредѣленія, если вы человекъ изъ плоти и крови...

Ясно, напримѣръ, что, говоря о народности по отношенію къ Остров-

своему, или объ Островскомъ, какъ о народномъ писателѣ, я употребляю слова: народность, народный—въ смыслѣ словъ: національность, національный.

Но вѣдь на этомъ смыслѣ слова многіе не помирятся, и будутъ правы, что не помирятся. Островскій, скажутъ конечно,—писатель, берущій содержаніе своей дѣятельности изъ извѣстнаго быта, народнаго въ тѣсномъ, а не въ обширномъ смыслѣ слова, быта *неразвитыхъ* слоевъ общества. Или, скажутъ мнѣ далѣе, вы считаете Островскаго народнымъ писателемъ въ смыслѣ писателя изъ народнаго быта, или вы самый этотъ бытъ, изъ котораго Островскій беретъ содержаніе для своего творчества, зовете единственно, исключительно, по крайней мѣрѣ преимущественно, народнымъ.

#### IV.

Прежде чѣмъ отвѣчать на эти вопросы прямо и положительно, я попрошу позволенія обзяслѣдовать ихъ отрицательнымъ способомъ, какъ легчайшимъ для вразумленія, и спрошу: можно ли причислить Островскаго къ категоріи писателей изъ народнаго быта въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы привыкли называть такъ хоть-бы на примѣръ гг. Григоровича, Потѣхина и другихъ?

Изъ прямого сопоставленія дѣятельности Островскаго съ ихъ дѣятельностью очевидна окажется несообразность такого сопоставленія.

Писателей изъ народнаго быта, специально посвятившихъ себя воспроизведенію этого быта въ литературѣ, было у насъ до сихъ поръ два рода.

Одни (и это были первые выступившіе и наиболѣе прославившіеся), какъ-будто заѣзжіе иностранцы, представляли публикѣ свои записныя книжки, куда вносили чудныя, странныя рѣчи, описанія чудныхъ, странныхъ нравовъ, и т. д. Таковъ г. Григоровичъ, о которомъ въ наше время даже и критической статьи не напишешь, ибо все, что можно о немъ сказать дѣльнаго, выражается въ немногихъ словахъ; то, въ чемъ онъ большой мастеръ—изображеніе петербургской мелочной и суетной жизни и анализъ болѣзни нравственнаго лакейства—столь же мало стоило художественной разработки, какъ очерки жизни дамъ петербургскаго полусвѣта, предметъ постоянной и любимой дѣятельности другаго, тоже даровитаго писателя, г. Панаева. Въ томъ же, что стоило художественной разработки, въ изображеніи типовъ и нравовъ крестьянскаго



быта, г. Григоровичъ не только-что не мастеръ, а рѣшительно заѣзжій иностранецъ. Онъ не владѣетъ даже языкомъ синтаксически свободно, и единственная критика на него была бы—переводъ любой изъ его страницъ яко-бы *народныхъ* разговоровъ, на простой и свободный народный языкъ. Что касается до типовъ, то всѣ они сочинены по Жоржъ-Занду, да и вся-то дѣятельность г. Григоровича на этотъ поприщѣ пошла отъ Жоржъ-Занда. Тѣмъ только разнится отъ Занда г. Григоровичъ, что Занда всюду, даже въ самыхъ ложныхъ ея произведеніяхъ по этой части, занимаетъ человѣкъ, анализъ души человѣческой, а г. Григоровичъ—чисто-ландшафтный живописецъ, да и то не съ широкой кистью, и людскія фигурки у него большею частію поставлены для украшенія ландшафта. Прибавьте къ этому однообразную до противности *дѣятельность* постройки произведений г. Григоровича, и вы поймете нѣкоторое отвращеніе, которое дѣятельность этого, впрочемъ весьма даровитаго въ другихъ отношеніяхъ, сочинителя на поприщѣ изображеній народнаго быта возбуждала и возбуждаетъ въ людяхъ, знающихъ народный бытъ не по слуху. Вообще это *пейзанская*, а не народная литература. Несомнѣнное благородство стремленій и важность впервые поднятыхъ вопросовъ относятся къ гражданскимъ, а не къ поэтическимъ заслугамъ.

Другаго рода писатели, выступившіе послѣ, были уже полными хозяевами въ изображаемомъ ими быту, были чистые специалисты, или пожалуй, жанристы,—въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ г. Максимовъ, —или въ худшемъ, какъ г. Потѣхинъ. Послѣдній можетъ быть очевиднымъ доказательствомъ того, какъ крайность художественнаго специализма или жанризмъ въ худшемъ смыслѣ этого слова—противорѣчатъ понятію объ искусствѣ; и его же, запечатлѣнная все-таки нѣкоторымъ, и даже, пожалуй, сильнымъ, талантомъ, обличающая не-то-что простое короткое знакомство съ изображаемымъ имъ бытомъ, а непосредственное съ нимъ сліяніе, дѣятельность, сопоставленная и сравненная съ дѣятельностью Островскаго, освѣщаетъ эту послѣднюю яркимъ свѣтомъ. Г. Потѣхинъ, выступившій въ своихъ первыхъ, грубыхъ, какъ и всѣ послѣдующія, но оригинальныхъ по содержанію и характерамъ повѣстяхъ, полнымъ хозяиномъ языка и нравовъ избранной имъ сферы, въ драмахъ своихъ сталъ, какъ специалистъ, какъ жанристъ, развивать общія народныя задачи или мотивы Островскаго. Островскій написалъ «Не въ свои сани не садись»; г. Потѣхинъ увлекся, разумѣется невольно, типомъ Русакова и драматическимъ отношеніемъ отца и дочери, и далъ публикѣ «Людской Судъ—не Божій», гдѣ типъ Русакова перевелъ въ жанръ, судьбу дочери въ печальную мелодраму, общедоступное пате-

тическое въ отвратительный вой кликуши. Островскій въ личности Петра Ильича тронулъ нѣсколькими художественными чертами размашистую до безпутства широту русской природы; г. Потѣхинъ поэтический, хотя только слегка тронутый поэтомъ, типъ Петра Ильича изуродовалъ въ неумномъ мужикѣ, три акта пьянствующемъ и наконецъ въ четвертомъ доходящемъ съ пьяныхъ глазъ до уголовщины въ драмѣ (!) «Чужое добро въ прокъ нейдетъ», — всѣхъ женщинъ Островскаго обратилъ въ бабъ, бабъ-кликушъ, бабъ-плакальщицъ, бабъ-завывальщицъ. Никто не заподозритъ меня, конечно, въ томъ, чтобы я съ презрѣніемъ эстетиковъ-аристократовъ употреблялъ слова: *мужикъ и баба*, — я хотѣлъ только указаніемъ на жанризмъ пояснить дѣятельность Островскаго. Его типы — не жанръ, не специальность быта, не мужики, не бабы; хотя по мѣстамъ, гдѣ это нужно, мужики, даже еще спеціальнѣе: ямщики, — бабы разнаго рода: бабы халды, бабы плакушія, являются у него съ своею особенною физиономіею. У него русскіе люди и русскія женщины въ ихъ наиболѣе общихъ опредѣленіяхъ, въ ихъ существенныхъ чертахъ, являются какъ типы, а не какъ жанръ.

## ОТДѢЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

### РАЗВИТІЕ ИДЕИ НАРОДНОСТИ ВЪ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ СО СМЕРТИ ПУШКИНА.

#### I.

#### ВСТУПЛЕНІЕ. НАРОДНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА.

(Время, 1861. № 2).

#### I.

Къ числу несомнѣнныхъ, купленныхъ опытомъ фактовъ нашего времени, принадлежитъ тотъ фактъ, что въ сущности нѣтъ уже болѣе теперь у насъ двухъ направленій, лѣтъ за десять тому назадъ рѣзко-враждебно стоявшихъ одно противъ другаго, — *западнаго и восточнаго*. Фактъ этотъ пора засвидѣтельствовать для общаго сознанія; ибо для сознанія отдѣльныхъ лицъ, для сознанія каждаго изъ насъ, пишущихъ и мыслящихъ людей, онъ уже засвидѣтельствованъ давно. Это засвидѣтельствованіе, конечно, обошлось весьма многимъ изъ насъ довольно дорого, — потому что не легко вообще разставаться со служеніемъ ка-кимъ бы то ни было идоламъ, — но тѣмъ не менѣе совершилось во всѣхъ добросовѣстно и здраво-мыслящихъ людяхъ. О недобросовѣстно-мыслящихъ, о привилегированныхъ жрецахъ кумировъ, и о нездраво-мыслящихъ, запуганныхъ кумирами до потемнѣнія сознанія, говорить нечего. Засвидѣтельствовать правду всякаго факта и идти отъ него дальше, идти впередъ, способны бываютъ только тѣ, кто, вступая на новый берегъ, сами сжигаютъ за собою корабли, да простодушное, тысячеголовое дитя, называемое массою, которая по инстинктивному чувству идетъ неуловонно впередъ. Жрецы постоянно желаютъ воротить мысль назадъ по той простой причинѣ, что имъ это выгодно, что назади у нихъ есть теплый и почетный уголь; пугливое же нравственное мѣщанство такъ же инстинктивно, по чувству самосохраненія, держится за полы жре-

ческихъ ризъ, какъ инстинктивно, по чувству жизни, по вѣрѣ въ жизнь, влечется впередъ масса. Это—общій законъ, который припомнить однако непременно слѣдуетъ, говоря о такомъ значительномъ вопросѣ, какъ вопросъ о народности.

Что самый фактъ перехода вопроса о нашей народности въ совершенно другой вопросъ совершился, это очевидно изъ самаго поверхностнаго взгляда на дѣло. Исключительно-народное воззрѣніе славянофильства не встрѣтило въ массѣ сочувствія и, постигнутое какимъ-то рокомъ, потеряло самыхъ блестящихъ своихъ представителей. Исключительно-западное воззрѣніе, сплотившееся въ немногомъ числѣ своихъ послѣднихъ, запоздалыхъ представителей въ «Атенеѣ» — явилось для публики мрачнымъ воззрѣніемъ кружка и встрѣчено было не только равнодушіемъ, но даже негодованіемъ, когда выставило свои крайнія грани, свое печальное убѣжденіе въ томъ, что «австрійскій солдатъ является цивилизаторомъ въ славянскихъ земляхъ». А вѣдь менѣе, чѣмъ за двадцать лѣтъ, можно было безнаказанно, въ порывѣ увлеченія теорію, проповѣдывать, на примѣръ, что Турція, какъ организованное цѣлое, какъ государство, должна пользоваться бѣльшимъ сочувствіемъ, чѣмъ неорганизованный сбродъ славянства, ею поработеннаго. И тоже менѣе чѣмъ за двадцать лѣтъ слово: «славянофилъ» было позорнымъ прозвищемъ!

Въ двадцать лѣтъ много воды утекло. Славянофильство хотя и пало, но пало со славою. Западничество же дошло до грустной необходимости сказать свое послѣднее слово, и слово это — единодушно, единогласно, такъ-сказать всею землею, было отвергнуто съ негодованіемъ. Да и нельзя иначе: славянофильство вѣрило слѣпо, фанатически въ невѣдомую ему самому сущность народной жизни, и вѣра вмѣнена ему въ заслугу. Западничество шло противъ теченія: оно не признало и не хотѣло признать явленій жизни; оно упорно отрицало въ литературѣ и въ быту народномъ то, что на глазахъ всѣхъ и cadaго или выросло или раскрылось могучаго и крѣпкаго въ послѣднее десятилѣтіе. Мимо его прошли намѣренно или ненамѣренно имъ незамѣченныя силы; имъ слѣпо отрицались такія явленія, какъ значеніе общины, Островскій съ миромъ раскрытой имъ жизни; пѣсни народа, какъ будто поднимавшіяся изъ подъ спуда; рѣчь народная, влившаяся живительной струей въ литературу; поворотъ нравственный къ семейному началу, діаметрально противоположный исключительному протесту и отрицанію сороковыхъ годовъ; вознѣшая любовь къ преданію, — сильное и быстрое распространеніе изученія роднаго быта; а главнымъ образомъ — западничество не хотѣло обратить даже вниманія на правдивыя и порожденныя болѣе

свободнымъ разъясненіемъ фактовъ обличенія петровской реформы, на разоблаченія ея несостоятельности въ началахъ и послѣдствіяхъ, несостоятельности, за которую мы и наше время являемся неоплатными должниками. Оно твердило свою старую пѣсню, что Петръ вдвинулъ насъ въ кругъ міровой общечеловѣческой жизни, — пѣсню, о правдѣ которой ни одинъ здравомыслящій человѣкъ съ нимъ и прежде не спорилъ и теперь не споритъ, — и не хотѣло дать въ этой общей міровой жизни права нашей народной особенности, упорно стремилось заставить насъ повторять чужую жизнь и много-много что рабски продолжать ее въ наукѣ, и еще въ быту общественномъ, — забывая, что въ природѣ вообще нѣтъ и не можетъ быть повтореній, что ни одинъ листъ не похожъ на другой на деревѣ, что не было племени, кромѣ племенъ совершенно отчужденныхъ отъ человѣчества, которое бы не внесло чего-либо своего въ міровое движеніе. А тутъ передъ нимъ было не какое-либо видовое племя, а цѣлый особый отдѣлъ индо-европейской расы — славянство, отдѣлъ столь же значительный и древній, какъ еллинство, или его любимое германство.

Кромѣ того, исключительное западничество шло такъ далеко въ своей вѣрѣ въ «прогрессъ», и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ подчиняло идею прогресса теоріи, созданной германствомъ и романствомъ, что всю жизнь предковъ и всякую жизнь, не подходившую подъ эту условную теорію, лишало какого бы то ни было человѣческаго значенія, отчисляло прямо къ звѣрству. Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ. Но доведите даже и теперь любого исключительнаго западника (падаютъ такіе и теперь, но уже рѣдко) до наивной послѣдовательности мысли, и онъ долженъ брехать сказать вамъ свое затаенное, задушевное убѣжденіе, что Владиміръ Мономахъ, напримѣръ, Мстиславъ Мстиславичъ, Прокопій Ляпуновъ и Мининъ были (по его мнѣнію, конечно) въ сущности не люди, а звѣри, *во-первыхъ* потому, что родились въ XI, XII и XVII столѣтіяхъ, а не въ XIX, *во-вторыхъ* же потому, что не имѣли счастья принадлежать въ единственно-человѣческой германо-романской породѣ.. Презрѣніе западниковъ къ родному быту и къ его преданіямъ точно также доходило, и подчасъ даже доходитъ теперь еще, до положительныхъ нелѣпостей. Весьма недавно высказана, напримѣръ, была въ «параллеляхъ» г. Палимпсестова, напечатанныхъ въ «Русскомъ Словѣ», между множествомъ дѣльнаго, та дивная мысль, что полезно было бы замѣнить пѣсни нашего народа чѣмъ-либо болѣе соотвѣтствующимъ «нравственности».

Такого посягательства на свои коренныя основы не простить ни одна жизнь, хоть бы даже она была и звѣриная. Такое посягатель-

ство совершаемо было притомъ и совершается во имя узкой теоріи, во имя условнаго идеала образованности и нравственности, — какъ будто бы *вмѣ* его, этого германо-романскаго идеала, ничего не было въ прошедшемъ и будущемъ для человѣчества.

Западничество съ готовыми мѣрками, со взятыми на прокатъ данными, приступало въ живой жизни. Въ этомъ его сила, въ этомъ же, пожалуй, и его историческая заслуга. Нѣтъ сомнѣнія, что романо-германскій міръ своимъ долгимъ и славнымъ существованіемъ выработалъ великіе общественные, нравственные и художественные идеалы, какъ нѣкогда выработалъ таковыя же міръ еллино-римскій. Нѣтъ сомнѣнія, что ни въ какой новой жизни идеалы эти не должны пройти безслѣдно; но нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что всякая новая жизнь имѣетъ собственныя могучія силы творчества, носить въ себѣ свои идеалы, которые отрицать ради прежнихъ, готовыхъ и выработанныхъ, какъ бы блестящіе эти прежніе ни были, — и грѣхъ, да и фактически невозможно.

На теорію западничества, уничтожавшую жизнь въ крайнихъ логическихъ послѣдствіяхъ своихъ, отвѣчало и славянофильство не меньшими крайностями, въ особенности же въ пылу битвы. Ясное теперь дѣло, что ни широкая и многосторонняя натура Хомякова, ни глубокой умъ И. В. Кирѣевскаго не были чужды пониманія красоты и величія идеаловъ западной жизни, тѣмъ болѣе, что и тотъ и другой, да и все славянофильство, на этихъ идеалахъ воспитались, что съ германскимъ раціонализмомъ оба нынѣ спящіе въ могилахъ благородные борцы сражались оружіемъ того же раціонализма. Но, въ пылу битвы, заведенные въ логическія крайности, они, и еще болѣе ихъ слѣпые послѣдователи, отвѣчая на теорію западничества, постоянно завлекались тоже въ теорію, которая въ сущности, какъ и всякая теорія, мало уважала живую жизнь. Имъ выставляли западные идеалы развитія за конечное слово человѣчности. Не мирась съ такою конечностію, чуя въ жизни ихъ окружавшей новыя силы, хотя только-что чуя, а не зная ихъ, они доходили путемъ противорѣчія до того результата, что западъ отжилъ, что тамъ, по выраженію высокаго хомяковскаго стихотворенія,

Свѣтила блѣдныя мерцають, догорая,

и въ поэтическомъ одушевленіи новою вѣрою взывали:

Проснися, дремлющій востокъ!

Рьяные послѣдователи ихъ фанатически проповѣдывали уже въ видѣ догмата мысль о томъ, что западъ отжилъ, что основы его жизни разбиты или разбиваются, сходясь, впрочемъ, въ этомъ съ крайними

теоретиками самого запада. Грязные же адепты мракобѣсія и существующаго подхватывали слова, что западъ отжилъ, и переводили ихъ словами, что западъ сгнилъ; изъ чего ео ipso выходилъ странный для многихъ, хотъ вовсе не логическій результатъ, что у насъ все процвѣтаетъ, «тишь да гладь, Божья благодать!» На сколько такой выводъ несвойственъ былъ всѣмъ благороднымъ представителямъ славянофильства — оказалось ясно какъ день изъ всей ихъ энергической, хотъ и безъуслѣбной дѣятельности въ «Сборникахъ» и въ «Бесѣдѣ». Покойный Хомяковъ говорилъ часто, что Англія лучшее изъ *существующихъ* государствъ, а Россія лучшее изъ *возможныхъ*, да вслѣдъ за тѣмъ съ злою и грустною ироніей прибавлялъ всегда, что можетъ быть такъ она и останется лучшимъ изъ *возможныхъ*.

Горькій смыслъ этой ироніи слишкомъ прямо противорѣчилъ не-прошеннымъ выводамъ адептовъ мрака, чтобы благородное направленіе славянофильства нужно было оправдывать въ какой-либо связи съ ученіями «Маяка» и иныхъ мрачныхъ изданій.

Западничество, во имя своихъ готовыхъ идеаловъ, отрицало всякое значеніе жизни, прожитой нами до петровской реформы; не зная этой жизни и даже чуть-чуть-что не хвастался своимъ незнаніемъ, оно ругалось надъ нею при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, мѣрило нашу исторію, преданія, сказки, пѣсни, нравственныя понятія идеалами германо-романскаго міра и, не находя въ нашемъ ничего подходящаго къ этимъ готовымъ идеаламъ, отворачивалось отъ всего нашего съ омерзевіемъ. Славянофильство, тоже мало зная жизнь народа изъ самой жизни, но за то глубоко знакомое съ исторіею старой письменности и ловившее съ благоговѣніемъ все записываемое, однимъ словомъ — изучавшее родной бытъ, постепенно доходило до теоріи, что наша жизнь совсѣмъ иная жизнь, совсѣмъ особенная, ничего общаго съ западною жизнію не имѣющая, управляемая совершенно новыми, нигдѣ еще не раскрытыми таинственными законами, особыми, новыми нравственными понятіями. Гдѣ таинственность — тамъ вѣра, а пока вѣра не опредѣлилась въ догму, она сопутствуется постоянно фанатизмомъ, какъ положительнымъ, такъ и отрицательнымъ.

Keimt ein Glaube neu,  
Wird oft Lieb' und Treu'  
Wie ein böses Unkraut ausgerauft, \*)

какъ сказалъ одинъ изъ самыхъ вѣщихъ поэтовъ.

\*) Когда зарождается новая вѣра, то часто любовь и вѣрность вырываются какъ дурная трава.

Но передъ славянофильствомъ опять-таки стоялъ идеаль, стояла *возможность*, стояло будущее, долженствовавшее, по его убѣжденію, родиться изъ доселѣ невѣдомой, доселѣ какъ-бы подѣ спудомъ лежавшей жизни. Мракобѣсіе перевело эту мысль на свой языкъ; оно готово было взять существующее, дѣйствительность за идеаль жизни. Кто читалъ глубокія, хотя небольшія количествомъ французскія брошюры Хомякова, въ которыхъ полемически развивалъ онъ все свое религіозно-философское міросозерцаніе, тотъ, вѣроятно, сразу понялъ, какаѣ непродоходима бездна отдѣляла славянофильство отъ ученій мрака.

Но славянофильство было теорія и, какъ всякая теорія, влеклось роковымъ процессомъ къ крайнимъ результатамъ. Западничество отвергало все значеніе нашей исторической и бытовой жизни до реформы Петра; славянофильство отвергло всякое значеніе реформы, кромѣ вреднаго. Оно забыло, что еслибъ даже спали мы въ продолженіе болѣе полутора ста лѣтъ, мы, спавши, все-таки видѣли сны, примѣривали себя въ презвѣвшихъ намъ идеаламъ, развивали наши духовныя силы или возможности въ борьбѣ хотя-бы и съ призраками, — и стало быть просыпаемся или проснемся не тѣми, какими легли, а съ извѣстнымъ запасомъ благо или не благо, но все-таки пріобрѣтенныхъ данныхъ, которыя непременно должны лечь въ основы нашей новой жизни, какъ предѣль, его же не преидеши.

Въ пылу битвы за свое отрицаніе реформы, славянофильство само иногда роняло нѣсколько случайныхъ словъ въ защиту такихъ явленій до-петровскаго быта, которыя никакими общечеловѣческими идеалами не оправдываются. Эти слова подхватывали на лету и противники, т. е. западники, и непрошенные товарищи, т. е. адепты мрака. Тѣ и другіе, съ различными, конечно, цѣлями, развивали ихъ до крайнихъ крайностей. Явилась напр. въ какомъ-то сельскохозяйственномъ журналѣ злобная выходка противъ русской бабы. Въ выходкѣ, кромѣ злобы, все было справедливо: антиязычныя и антинравственныя черты несчастной подружки русскаго человѣка схвачены были съ самою ядовитою мѣткостью и выставлялись на позоръ съ безопаднымъ цинизмомъ. Славянофильство было оскорблено фешенебельнымъ тономъ этой выходки, оскорблено въ святомъ своемъ чувствѣ, въ любви и уваженіи къ народу; но въ пылу негодованія вооружилось не на тонъ, а на сущность выходки. Вооружившись на тонъ, оно было бы совершенно право; вооружившись на сущность, оно вовлеклось роковымъ процессомъ въ крайность теоріи. Оно вступилось, напр., за святость и духовность брачнаго союза, возстало на чувства и пониманіе брачныхъ отношеній автора выходки — и увы! тутъ ужъ, дошедши до скандала, могло смѣло вѣсти принципъ



славянофильства до той грани, что по новымъ началамъ жизни новаго славянскаго міра брачное сожителство должно останавливаться не на влеченіи и любви, а чуть-ли не на взаимномъ отвращеніи, sur la mortification de la chair, — а это была уже такая грань, на которой учение славянофильства сходилось съ ученіями мрака. Мы взяли одинъ только фактъ, наиболѣе рѣзкій и о которомъ память еще свежа, ибо онъ принадлежитъ въ 1856 или 1857 году; а такихъ фактовъ, такихъ речевыхъ увлеченій теоріею, славянофильство имѣетъ за собою довольно. Въ средѣ слѣпыхъ его послѣдователей, даже бабоги и праведъ встарата быта находили защитниковъ, хотя, надобно сказать правду, защита эта была всегда вызываема борьбою съ беспощаднымъ отрицаніемъ западниковъ.

Къ этому надобно еще присовокупить, въ видѣ облегчительныхъ обстоятельствъ, какъ для западниковъ, такъ равно и для славянофиловъ, то, что борьба между ними шла не на открытомъ полѣ, что по большей части всѣ важныя и существенныя вопросы науки и жизни должны были высказываться и оспариваться въ какихъ-то мистическихъ формахъ. Зачастую дѣло шло вовсе не о томъ, о чемъ шла рѣчь. Нерѣдко противники не понимали другъ друга, въ особенности же западники славянофиловъ, — чѣмъ только и можно объяснить жесточайшую вражду въ славянофильству Бѣлинскаго, вражду, которая, впрочемъ, въ послѣднее время его жизни, какъ свидѣлствуютъ нѣкоторыя его письма, начинала переходить въ чувство совершенно противоположное.

Хотя Шекспиръ и говорить отъ лица своего Энобарба въ «Антоніи и Клеопатрѣ», что

Время

Всегда на то, что происходитъ въ немъ;

но едва-ли есть сомнѣніе и въ томъ, что

бываютъ времена

Совсѣмъ особеннаго свойства,

что бываютъ времена совершенно парализирующія или обезплодивающія всякія силы — времена безвыходной тьмы, подземной работы силъ, въ которыя нерѣдко то, что должно было бы идти рука объ руку, — разединено, толкаетъ одно другое, враждуетъ одно съ другимъ. Такихъ грустныхъ эпохъ не мало въ исторіи человѣчества.

Дѣло въ томъ, что какъ передъ западничествомъ стоялъ высокій, передовой идеаль жизни, идеаль честно проносимый сквозь всю безразсвѣтную тьму такими благородными дѣятелями, каковы были, напри- мѣръ, П. Я. Чаадаевъ, В. Г. Бѣлинскій, Т. Н. Грановскій; такъ и передъ

глубокомысленными, даровитыми или высоко-самоотверженными личностями, составлявшими славянофильство, каковы Хомяковъ, Кирѣевскій, Аксаковъ,—стоялъ идеалъ тоже передовой, а вовсе не задній!

Исходная точка западничества заключалась въ увлеченіи всѣмъ, что человѣчество выработало великаго и прекраснаго въ XVIII столѣтіи своей обновленной жизни. Кругомъ себя оно не видало не только отраженій этого великаго и прекраснаго, но не слыхало даже положительныхъ отзывовъ на него. Исходной точкою и положеніемъ въ настоящемъ опредѣлились и крайнія грани той теоріи, за которую оно должно было схватиться, какъ за единственную доску спасенія. Тамъ—свѣтъ, здѣсь—мракъ безвыходнаго невѣжества; итакъ—къ свѣту, на просторъ, какъ тотъ мѣдный всадникъ, въ обаятельно-грознай личности котораго трудно разочароваться намъ всѣмъ, даже до сихъ поръ, даже послѣ всѣхъ разоблаченій страшныхъ, обуржуазившихъ ту личность и неотдѣлимыхъ отъ нея, фактовъ,—и трудно именно потому, что этотъ мѣдный всадникъ все-таки полнѣйшій, въ добрѣ и злѣ представитель нашего духа. Такъ и пошло западничество, пошло смѣло, честно, рѣшительно, съ перваго же шага.

Никогда ничего прямо и смѣло не сказала оно того, что сказала съ этого перваго шага въ знаменитомъ письмѣ П. Я. Чаадаева, появившемся, по вѣчной прони судьбы, въ журналѣ, котораго редакторъ Н. И. Надеждинъ былъ однимъ изъ поборниковъ славянской народности до того, что готовъ былъ защищать даже кулакъ въ подстрочномъ примѣчаніи къ одной изъ молодыхъ рецензій Бѣлинскаго въ «Молвѣ», однимъ изъ жаркихъ сторонниковъ и ревностныхъ дѣятелей славянофильства въ продолженіе всей своей высоко-полезной жизни. Письмо Чаадаева, помѣщенное имъ, какъ любопытное своей новостью исповѣданіе убѣжденій, было тою перчаткою, которая разомъ разъединила два, дотолѣ если несоединенные, то и неразъединенные, лагеря мыслящихъ и пишущихъ людей. Въ немъ впервые неотвлеченно поднятъ былъ вопросъ о значеніи нашей народности, самости, особенности, до тѣхъ поръ мирно покоившійся, до тѣхъ поръ никѣмъ нетронутый и неподнятый.

Для того, чтобы понять дѣйствіе и значеніе письма Чаадаева, нуж-

Этотъ  
Проблема

13

но бросить бѣглый взглядъ на исторію отношеній литературы нашей къ народности съ самаго начала ея, нашей гражданской литературы, т. е. съ Тредьяковскаго и Ломоносова.

Прежде всего сказать должно, что до 1836 года, никто изъ писателей и поэтовъ, отъ Ломоносова до Пушкина включительно, не сомнѣвался въ нашей народности, т. е. въ томъ, что мы—извѣстная народность, особенность, самость. XVIII столѣтіе въ Европѣ вообще чуждалось вопроса о народностяхъ, проницанное вѣрою въ прогрессъ и въ отвлеченное человечество; но объ насъ даже и этого сказать нельзя. Какъ племя совершенно новое, только-что вошедшее въ обще-мировую жизнь, мы болѣе или менѣе сознавали себя новымъ и особымъ племенемъ. Идя, въ передовыхъ нашихъ людяхъ мысли и дѣла, по пути петровской реформы, преслѣдуя невѣжество, ханжество и тупую жизнь съ Кантемиромъ, стремясь на проломъ къ свѣту и образованію съ Ломоносовымъ,—мы однако съ Щербатовымъ оглядывались и назадъ, и отъ «всеобщаго развращенія нравовъ» искали опору въ старыхъ основахъ жизни; мы съ фонъ-Визинимъ до циническаго юмора были русскими даже за границей; мы съ великимъ дѣятелемъ прогресса Новиковымъ (предисловіе къ изданію Виеліоюики) вмѣняли въ стыдъ и поношеніе незнаніе жизни и письменности доблестныхъ предковъ. Когда во всей остальной Европѣ царило рабское служеніе французской мысли и рабское подраженіе образцамъ французской литературы; когда никто не думалъ и думать даже не хотѣлъ тамъ о томъ, какъ мыслятъ, чувствуютъ, живутъ, поютъ и вѣрятъ *необразованныя* массы, называемыя «народами»; когда прошедшее Европы, все до эпохи великаго короля, провозглашено было на судъ Вольтера варварскимъ и только интересовало записныхъ ученыхъ,—у насъ Чулковъ и Новиковъ издавали сборники народныхъ пѣсень и сказокъ, да еще издавали, сравнительно съ послѣдующими издателями, крайне добросовѣстно, по возможности мало или даже вовсе ничего не измѣняя; у насъ Новиковъ издавалъ Древнюю Виеліоюику не для ученыхъ специалистовъ, а положительно для всѣхъ любящихъ серьезное и разумное чтеніе людей, сначала даже (въ первомъ изданіи) какъ изданіе ежемѣсячное — замѣтьте это и найдите мнѣ въ остальной Европѣ тогдашней подобное, съ такою именно *цѣлью* веденное, изданіе! Самъ Тредьяковскій, назвавшій нѣсколько разъ народную рѣчь *подлою* рѣчью (помимо того обстоятельства, что слово: подлый, т. е. «подолый», «низменный», не имѣло еще тогда своего теперешняго значенія); самъ Тредьяковскій, говоря я, проговаривался такъ болѣе какъ лакей, чѣмъ какъ писатель и ученый. Какъ писатель, онъ изучалъ тщательно и церковный языкъ и народную рѣчь. Ломоносовъ, пламенный поборникъ ре-

формы, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ жизни и ученой дѣятельности яркимъ борцомъ за нашу умственную независимость и самостоятельность. Сатирическая литература наша равно относилась съ обличеніемъ и къ мрачнымъ явленіямъ стараго быта, и къ пустымъ явленіямъ обезьянства и фальшиваго, поверхностнаго образованія, — едва ли даже къ этимъ послѣднимъ явленіямъ не съ большею рѣзкостью, — начиная отъ самого Кантемира, первороднаго сына реформы. Великая Императрица собирала русскія пословицы, а въ комедіяхъ боролась съ обезьянствомъ столько же, сколько и съ предрасудками стараго быта. Забудьте, повторяю, что всѣ эти явленія совершались тогда, когда Германія въ лицѣ Готшета отрекалась вполнѣ отъ своей умственной самости въ пользу французскаго направленія. Правда, что въ ней уже образовывалась и борьба за самостоятельность въ лицѣ Клопштока и его друзей, влявшихся быть древними германцами передъ Ирминовымъ столбомъ. У насъ ничего этого не было еще — ни отрицанія нами нашей народности, ни борьбы на нее, — и влятвамъ юныхъ товарищей Клопштока передъ Irminsäule суждено было у насъ повториться только послѣ 1836 года въ равнозначительныхъ явленіяхъ, каковы: ношеніе древнихъ святославоѣ и мурмолоѣ.

Такое спокойное отношеніе наше къ нашей народности въ XVIII вѣкѣ вовсе, впрочемъ, не должно быть вмѣнено намъ въ какую-либо особенную заслугу, и тѣмъ еще менѣе, конечно, слѣдуетъ изъ этого, чтобы мы опередили остальную Европу въ духовномъ развитіи. Этотъ выводъ былъ бы очень лестенъ для нашей народной гордости, но мало справедливъ.

Значить это просто, что мы были племя еще новое, еще свѣжее, еще — говоря по необходимости философскимъ языкомъ — невышедшее изъ своей непосредственности. Значить это также и то, что реформа вовсе не совершилась ех abrupto и разомъ, что вовсе съ одной стороны не была она для насъ такъ чужда и удивительна, не поразила такъ нашего сознанія, чтобы раздвоить въ немъ сразу для насъ самихъ два міра — міръ нашей до-петровской, и міръ нашей послѣ-петровской жизни; а съ другой стороны, вовсе не такъ цѣльна и мгновенна, чтобы разомъ разрушить наши связи съ старымъ бытомъ. Кто знакомъ съ сочиненіями Посошкова, тотъ знаетъ, конечно, какіе реформаторы, даже подчасъ безпощадные, и при Петрѣ, и вѣроятно еще до Петра, таились въ средѣ народа, но знаетъ также и то, что эти реформаторскія стремленія, послѣдовательныя въ своемъ утилитаризмѣ до дикости, до проведенія китайскаго уровня и однообразія во всемъ быту, смѣлыя до крутыхъ мѣръ (еще сто-другое судей падеть — не лиха бѣда), идутъ рука объ руку съ

самымъ узкимъ и непосредственнымъ націонализмомъ, съ запретительными торговыми системами, съ враждою къ иноземцамъ и съ глумленіемъ надъ ними, въ особенности надъ нѣмцами.

Разъединеніе нашего сознанія съ до-петровскимъ бытомъ совершалось постепенно. Въ нравахъ и въ быту общественномъ господствовало рѣшительно двоевѣріе: явленія старой жизни, въ самыхъ ужасающихъ ея крайностяхъ, шли обръ руку съ подражаніемъ Франціи. Образование и передовыя понятія рѣшительно брались только на провать; все, что добросовѣстно хотѣло прилагать ихъ къ жизни, гибло. Въ литературѣ лирическое, или лучше-сказать, холушное направленіе воспѣвало «Росса родъ великодушный», сатирическое глумилось надъ двоевѣріемъ, и ни передъ лириками, ни передъ сатириками не стояло въ сознаніи никакого опредѣленнаго, живого, такъ-сказать уловимаго идеала, ни народнаго, ни обще-европейскаго. Созерцаніе жизни величайшаго лирика той эпохи, Державина, сводится все въ такія общія положенія, которыя на половину тождественны съ началами созерцанія церковной письменности, на половину же внушены идеями просвѣщенія (der Aufklärung), т. е. общимъ духомъ, общимъ вѣяніемъ столѣтія: таковъ Державинъ парадно, въ *возвышенномъ* настроеніи; — на распаху же, въ анакреонтическомъ родѣ, онъ просто эпикуреецъ, да только не эпикуреецъ-философъ, какъ Гораций, не эпикуреецъ по природенному художественному наслажденію жизнью, какъ грекъ Анакреонъ, а просто-на-просто русскій татаринъ, съ сильною чувственною фантазіею восточнаго человѣка, разбавленною грязноватымъ юморомъ непристойныхъ пѣсень и сказокъ русскаго народа. У величайшаго представителя сатирической струи, у Фонъ-Визина идеала тоже нѣтъ: мы видимъ только, что комикъ смѣется, смѣется безощано и равно-зло надъ ханженствомъ совѣтника и надъ обезьянствомъ Иванушки, смѣется въ этомъ послѣднемъ лицѣ надъ ученіями французскихъ философовъ XVIII вѣка; но во имя чего онъ смѣется, этого мы не видимъ. Здоровый русскій разумъ, проникающій до послѣдней строки все, что писалъ Фонъ-Визинъ — самъ по себѣ сообщаетъ его произведеніямъ только отрицательное свойство. Идеала нѣтъ, еще передъ Фонъ-Визинимъ, тогда какъ о Грибоѣдовѣ, на примѣръ, и тѣмъ паче о Гоголѣ, вы уже этого не скажете. Правосудовы и другія честныя лица Фонъ-Визина — чисто азбучныя правила, представители здраваго разсудка — не болѣе, а не какихъ-либо стремленій и идей, имѣющихъ плодъ и цѣль.

И это потому, что, какъ лирикъ Державинъ, такъ и комикъ Фонъ-Визинъ по натурѣ художники, т. е. люди съ чутьемъ жизни, съ бессознательно-практическимъ ея пониманіемъ. Чего не было въ жизни, того они и не дали — ни созерцанія, ни идеаловъ.

Искатели идеала, люди съ стремленіями общественными, или въ отчаяніи отодвигали идеаль назадъ въ прошедшее, какъ Щербатовъ, или предавались безотвѣтнымъ порывамъ въ будущему, какъ Радищевъ. И въ сущности, ни Щербатовъ не былъ отсталымъ, ни Радищевъ переводимъ человѣкомъ. Какъ тотъ, такъ и другой не выносили только двоевѣрія общественнаго, и прямо возставали на то, что имъ, исключительно честнымъ, но нисколько не даровитымъ, не необыкновеннымъ людямъ, казалось развратомъ и ложью, тогда какъ всѣ другіе беззаботно и слѣпо увлекались окружавшей ихъ жизнью; и развѣ только глумились во имя здраваго разсудка, т. е. чисто только отрицательно, надъ комическими явленіями общественнаго и нравственнаго двоевѣрія.

Достоинъ между тѣмъ замѣчанія то обстоятельство, что въ лицѣ Щербатова и Радищева какъ-бы заранѣе обозначались два будущихъ лагеря мысли. Честный, хотя почти бездарный историкъ, равно какъ благородный и пламенный, но тоже почти бездарный публицистъ—оба въ сущности искатели идеаловъ; только у одного идеаль лежитъ въ прошедшемъ, у другого—положительно разрознень со всякою дѣйствительностью, чѣмъ и объясняется малое сочувствіе къ нему Державина въ его эпоху, и Пушкина въ другую.

Указывая на двѣ эти личности, я, конечно, не хочу сказать, чтобы въ нихъ выразились уже два стремленія послѣдующаго времени, т. е. славянофильство и западничество, хотя вельзя не видѣть и стало быть нельзя не указать на тотъ знаменательный фактъ, что стремленіе къ идеалу съ разу же выразилось у насъ въ двухъ формахъ, въ положительной привязанности къ старинѣ и въ отрицательномъ отношеніи къ дѣйствительности.

Въ сущности, двухъ лагерей еще и не могло тогда образоваться. Взглядъ на жизнь нашего XVIII столѣтія вовсе не былъ такъ разрознень со взглядомъ до-петровскаго времени, какъ взглядъ XIX столѣтія. Щербатову было очень легко проникнуться жизненными идеалами времени до реформы; ибо самыя эти идеалы ещѣ носились въ воздухѣ. Въ жизни руководились русскіе люди еще все тѣми же нравственными правилами, какъ въ до-петровское время. Другія правила, другіе взгляды брались только на прокатъ... Этимъ объясняется и то, что историческій тонъ Щербатова и Татищева гораздо ближе къ тону нашихъ лѣтописей, чѣмъ тонъ Карамзина; этимъ же объясняется и возможность изданія Новиковымъ памятниконъ древней письменности для общаго чтенія.

И между тѣмъ изъ новиковской школы, по вѣчной ироніи судебъ, вышелъ человѣкъ, которому суждено было начать въ литературѣ и въ

самой жизни раздѣленіе между старымъ и новымъ воззрѣніемъ. Я говорю о Карамзинѣ...

Славянофильство почему-то присвоивало себѣ почти исключительно это великое и почтенное имя; но его точно съ такимъ же правомъ можетъ присвоить себѣ и западничество. Первоначальная дѣятельность Карамзина въ его «Письмахъ русскаго путешественника», въ его повѣстяхъ и журнальныхъ статьяхъ, конечно, ужъ никакъ не можетъ быть названа славянофильскою, и не даромъ вызвала она такое сильное противодѣйствіе со стороны поборниковъ старины, во главѣ которыхъ стоялъ Шишковъ, и которые, впрочемъ, тоже не могутъ быть названы славянофилами въ смыслѣ современныхъ славянофиловъ. Карамзинъ въ первую и вторую даже эпоху своей дѣятельности; до 1812 года, является первымъ вполне живымъ органомъ обще-европейскихъ идей, и его дѣятельность впервые прививаетъ ихъ къ нашей общественной и нравственной жизни. И это по той простой причинѣ, что онъ былъ первый живой и дѣйствительный талантъ въ русской литературѣ, за исключеніемъ комика Фонъ-Визина: одами Державина, хотя и доказывающими несомнѣнное присутствіе огромнаго, но безобразнаго таланта,—можно было восхищаться только по заказу; стало быть въ жизнь, въ плоть, въ убѣжденіе онѣ переходили столь же мало, какъ Россіада бездарнаго Хераскова, какъ трагедіи Княжнина. Ничѣмъ этимъ нельзя было *жить* нравственно, потому-что все это только *сочинялось*, и вся руссійская словесность до Карамзина, за исключеніемъ комедій Фонъ-Визина и нѣсколькихъ удачныхъ сатирическихъ попытокъ, была рядомъ «выдуманныхъ сочиненій».

Карамзинымъ же и его дѣятельностью общество начало жить нравственно. Онъ внесъ живую струю въ жизнь, какъ живой и дѣйствительный талантъ. Вотъ, кажется мнѣ, простое обстоятельство, которое однако всегда забывали, исчисляя множество заслугъ Карамзина и часто даже ихъ преувеличивая, между тѣмъ какъ одного этого достаточно для того, чтобы поставить Карамзина во главѣ нашего дѣйствительнаго и стало быть народнаго литературнаго движенія. Онъ первый нравственно подѣйствовалъ на общество, далъ литературѣ воспитательное и руководительное значеніе.... Его дѣйствіемъ на современниковъ объясняется и фанатизмъ его отчаянныхъ приверженцевъ и поклонниковъ, каковъ, на примѣръ, былъ еще не очень давно умершій и наивный до смѣшнаго Иванчинъ-Писаревъ.

Для насъ, людей иной эпохи, въ Карамзинѣ почти-что ничего не осталось такого, чѣмъ-бы мы могли нравственно жить хотя одинъ день; но безъ толчка, даннаго литературѣ и жизни Карамзинымъ, мы не были бы тѣмъ, чѣмъ мы теперь.

Струя, которую внесъ Карамзинъ въ общественную жизнь и нравственность, была струя сентиментальная, струя общеврожденная тогдашней эпохѣ. Нужды нѣтъ, что въ тогдашней общественной эпохѣ эта струя была не одна; нужды нѣтъ, что наравнѣ съ великимъ женеvскимъ чудакомъ—если не больше—царилъ надъ умами великій отрицатель и пересмѣшникъ, фернейскій философъ; нужды нѣтъ, что благородная муза Шиллера уже сказывалась тогда своими пламенными и юношескими звуками, звавшими къ любви и братству; нужды нѣтъ, что Эммануэль Кантъ, своими категоріями, повидимому, ограничивая человѣческій разумъ, прокладывалъ ему широкую дорогу,—нужды нѣтъ, говорю я, что ничего этого не отразилось въ дѣятельности Карамзина. Для пробужденія общества отъ нравственной апатіи было довольно и того, что онъ далъ. «Волтеріанство» въ азіатскомъ быту переводилось какъ право все дѣлать и ничего нравственно не бояться; стремленія Шиллера были бы непонятны,—а ужъ до Канта куда было какъ далеко!...

Талантъ вполнѣ, талантъ чуткій и глубоко впечатлительный, Карамзинъ, вѣроятно безсознательно, какъ всякій талантъ, далъ обществу то, что было ему нужно.... Не далѣе, какъ за нѣсколько строкъ, я сказалъ, что для насъ въ Карамзинѣ почти ничего не осталось, но готовъ почти взять назадъ свои слова, какъ только перенеся я въ его эпоху и въ лѣта собственнаго отрочества, какъ только припомнилъ «Письма русскаго путешественника». Бѣлинскій, подъ вліяніемъ тѣхъ великихъ идей, которыми онъ пламенно увлекался, и еще болѣе подъ вліяніемъ необходимости ратоборствовать противъ фанатическихъ поклонниковъ Карамзина, уже нѣсколько смѣшныхъ, но еще существовавшихъ въ его время (въ его время—припомните это! въ тридцатые годы XIX вѣка!), Бѣлинскій, говорю я, попрекалъ эту книгу ея пустотою, вопіялъ на то, что мимо русскаго путешественника проходили незамѣченными величавѣйшія явленія тогдашней западной жизни, а мелочныя, напротивъ, занимали у него первый планъ.... Все это такъ, все это совершенно справедливо съ нашей, современной, такъ-сказать приподнятой точки зрѣнія, а все-таки «Письма русскаго путешественника» книга удивительная, и читая ее, эту книгу, даже теперь, вы понимаете, что она должна была сдѣлать съ тогдашнимъ обществомъ. *Впервые* русскій человѣкъ является въ ней не книжно, а душевно и сердечно сочувствующимъ общечеловѣческой жизни,—приходить въ эту общечеловѣческую жизнь не дикаремъ, а сыномъ! Вспомните записки Фонъ-Визина о его путешествіи, эти гениально-остроумныя замѣтки дикаго человѣка, человѣка такъ-сказать съ хвостомъ звѣринымъ, колящаго и лелѣющаго свой хвостъ съ примѣрнымъ попеченіемъ, какъ еще многіе изъ насъ



доселѣ его колятъ и лелѣютъ.... Вѣдь, право, мало разницы въ міросозерпаніи Лихачева и Чеходанова (посланниковъ Алексѣя Михайловича въ Тоскану и Венецію) и въ міросозерпаніи Фонтъ-Визина. Ему такъ же, какъ Лихачеву и Чеходанову, все не-наше кажется чуднымъ, и надъ всѣмъ не-нашимъ онъ острится, острится великолѣпно, но грубо.... Звукъ польскаго языка въ варшавскомъ театрѣ кажутся ему подлыми; о цѣлой великой націи замѣчаетъ онъ только, что «разсудка французъ не имѣеть, да и имѣть его почелъ бы за величайшее несчастье»; въ энциклопедистахъ видитъ онъ только людей жадныхъ до денегъ изъ чужого кармана....

И вотъ, посреди этого общества, котораго талантливѣйшій представитель такъ упорно отстаиваетъ свою исключительность и особность, — является юноша съ живымъ сочувствіемъ ко всему доброму, прекрасному и великому, что выработалось въ общечеловѣческой жизни. Этотъ юноша стоитъ въ уровень со всѣми высоко-образованными людьми тогдашней Европы, хотя и не понимаетъ еще уединенныхъ мыслителей Германіи, не смѣетъ еще вполнѣ отдаться ея начинающимъ великимъ поэтамъ. Человѣкъ своей эпохи, человѣкъ французскаго образованія, онъ, однако, уже достаточно смѣлъ для того, чтобы съ весьма малымъ количествомъ тогдашнихъ образованныхъ людей поклоняться пьяному диварю Шекспиру, достаточно проникателенъ, чтобы зайти поклониться творцу «критики чистаго разума» и; хоть о пустякахъ, да поговорить съ нимъ.... На все, что нашлось тогда въ воздухѣ его эпохи, отозвался онъ съ сочувствіемъ, и главное-то дѣло, что сочувствіе это было сочувствіе живое, а не книжное.... Въ Европу изъ далекой гиперборейской страны впервые пріѣхалъ европеецъ, и впервые же русскій европеецъ передалъ своей странѣ свои русско-европейскія ощущенія, передалъ не поучительнымъ, докторальнымъ тономъ, а языкомъ легкимъ, общепонятнымъ.... Точка, съ которой передаетъ онъ ощущенія, дѣйствительно очень невысока, но зато она вѣрна; она общепонятна, какъ самый его языкъ.

«Письма русскаго путешественника», а за тѣмъ сентиментальныя повѣсти и сентиментальныя же разсужденія Карамзина — перевернули нравственныя воззрѣнія общества, конечно, той части общества, которая была способна къ развитію. Все это оставяло по себѣ *сладъ*, чего рѣшительно нельзя сказать о нашей литературѣ послѣ-петровскаго времени до самаго Карамзина.... Понятно, что его дѣятельность возбудила сильный антагонизмъ во всемъ, что держалось крѣпко за старыя понятія, антагонизмъ отчасти и правый, но вообще слѣпой.

Антагонизмъ выразился въ Шишковѣ и его послѣдователяхъ. Они

стояли за старый языкъ противъ новаго языка, впервые введеннаго Карамзинымъ, языка легкаго, текучаго, но дѣйствительно на первый разъ лишеннаго имъ всякой энергій. Великій стилистъ доказалъ имъ впоследствии, въ какой степени мастеръ онъ владѣтъ и языкомъ величавымъ и энергическимъ. Шишковъ и его послѣдователи въ сущности сами не знали, за что они стояли. Самъ Шишковъ, какъ извѣстно, былъ одною изъ благороднѣйшихъ личностей той эпохи, но филологъ онъ былъ весьма плохой, и постоянно смѣшивалъ славянскій языкъ съ дѣланымъ и передѣланнымъ языкомъ библейскимъ. Въ сущности, оппозиція шла не противъ языка Карамзина, а противъ новыхъ нравственныхъ понятій, вносимыхъ имъ въ жизнь общественную. Съ понятіями же этими поборники стараго порядка вещей дѣйствительно не могли не бороться.

Карамзинъ по тогдашнимъ своимъ идеямъ принадлежалъ къ тому же самому направленію, какъ и благородный, но непрактическій энтузіастъ Радищевъ. Радищевъ не могъ подѣйствовать на жизнь и общество, потому-что прямо приступилъ къ нимъ съ самымъ крайнимъ и строгимъ идеаломъ цивилизаци, съ ея послѣдними по тогдашнему времени требованіями. Карамзинъ, какъ талантъ практическій, началъ дѣйствовать на нравственную сторону общества, и въ этой дѣятельности тоже въ первую эпоху шелъ до крайностей. Его «Софья» возбуждала благочестивый ужасъ, но между-тѣмъ читалась жадно. Его болѣе благоразумныя, чѣмъ эта юношеская драматическая попытка, повѣсти, моральныя разсужденія и статьи въ сущности имѣли одну задачу—смягчить жестокіе (по выраженію Кулигина въ «Грозѣ») нравы, его окружавшіе, и въ развитыхъ организаціяхъ общества достигали этой цѣли, даже, пожалуй, и переступали ее, т. е. не только смягчали, но и размягчали нравы...

Понятно, что поборникамъ старыхъ идеаловъ, поборникамъ «жестокихъ», но крѣпкихъ нравовъ—такое размягченіе казалось растлѣніемъ, и оппозиція Шишкова, принявшая формы борьбы между старымъ и новымъ слогомъ, имѣла причины болѣе глубокія, чѣмъ стилистику,—причины нравственныя.

Въ этой оппозиціи впервые выразилось нѣчто похожее на такъ-называемое славянофильство.

Но, хотя наши современные славянофилы и готовы считать—дѣйствительно, впрочемъ, благороднаго и честнаго—адмирала однимъ изъ своихъ отцовъ, но между его стремленіями и ихъ стремленіями цѣлая бездна. Стремленія Шишкова и его партіи, послѣдовательно оканчивающіяся «Маякомъ» и даже, пожалуй, «Домашней Бесѣдой»,—выходятъ изъ началъ темныхъ и мрачныхъ... Стремленія же И. В. Кирѣевскаго

и Хомякова подаютъ руку не «Маяку» и не «Домашней Бесѣдѣ», а тому просвѣщенному и возвышенному направленію, которое въ послѣднее время такъ могущественно заявило себя глубокомысленной и красно-рѣчивой книгой архимандрита Θεодора.

Имѣла ли нѣтъ оппозиція вліяніе на Карамзина—трудно рѣшить, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно совершился переломъ въ его дѣятельности. Поклонникъ Руссо, онъ становится въ своей «Исторіи Государства Россійскаго» совершенно инымъ человѣкомъ. Будущимъ біографамъ великаго писателя предлежитъ трудъ разъяснить эту поистинѣ странную разницу между Карамзинымъ-историкомъ и Карамзинымъ-публицистомъ и журналистомъ.

Трудъ этотъ, впрочемъ, какъ мнѣ кажется, вовсе незатруднителенъ.

Карамзинъ, какъ великій писатель, былъ вполне русскій человѣкъ, человѣкъ своей почвы, своей страны. Сначала онъ приступилъ къ жизни, его окружавшей, съ требованіями высшаго идеала, идеала выработаннаго жизнію остального человѣчества. Идеалъ этотъ, конечно, оказался несостоятеленъ передъ дѣйствительностью, которая окружала великаго писателя... Въ этой дѣйствительности можно было или только погибнуть, какъ Радищевъ, какъ болѣе практическій, чѣмъ Радищевъ, человѣкъ—Новиковъ, либо... не-то-что ей подчиниться, но обмануть ее.

Да... обмануть! Это настоящее слово.

И Карамзинъ это сдѣлалъ. Онъ обманулъ современную ему дѣйствительность.

Онъ сталъ «историкомъ Государства Россійскаго»; онъ, можетъ быть сознательно, можетъ быть нѣтъ,—вопросъ трудный для разрѣшенія, ибо талантливый человѣкъ самъ себя способенъ обманывать, — онъ подложилъ требованія западнаго человѣческаго идеала подъ данныя нашей исторіи, онъ *первый* взглянулъ на эту странную исторію подъ европейскимъ угломъ зрѣнія.

Воззрѣніе его было, если вы хотите, неправильно, но оно было цѣльно, было основано на извѣстныхъ крѣпкихъ началахъ, и эти начала — главная причина того, что оно до сихъ поръ еще имѣетъ послѣдователей.

Карамзинъ смотритъ на событія нашей исторіи точно такъ же, какъ современные ему западные писатели смотрятъ на событія исторіи западнаго міра, иногда даже глубже ихъ: это можно сказать безъ всякаго народнаго пристрастія, потому что современные ему западные историки весьма неглубоко смотрѣли на прошедшее... Въ этомъ его слабость и въ этомъ, если хотите, его сила, даже передъ современниками. Въ немъ еще нѣтъ той мысли, что мы — племя особенное, предназначенное къ

иному, нежели другія племена человѣчества. Общія его эпохѣ идеи привносятъ онъ съ собою къ русскую исторію, и это самое дѣлаетъ его исторію, помимо ея недостатковъ, однимъ изъ вѣчныхъ памятниковъ нашего народнаго развитія...

*Можетъ быть*, всѣ изысканія Карамзина неправильны, или должны быть дополнены; но всѣ его *сочувствія* въ высшей степени правильны, потому-что они общечеловѣческія. Великая честь Карамзину, что и въ голову ему не приходило оправдывать Ивана Грознаго въ его тиранствахъ, порицать Тверь и Великій Новгородъ въ ихъ сопротивленіи, какъ дѣлаютъ во имя условныхъ теорій наши современные историки... Въ безобразно-ли фальшивой (по требованіямъ нашего времени) повѣсти «Марѳа Посадница», въ краснорѣчивыхъ-ли страницахъ о паденіи Великаго Новгорода, — Карамзинъ остается вѣрнымъ самому себѣ и общечеловѣческимъ идеямъ... Это—великая заслуга, повторяю опять, и этимъ отчасти объясняется фанатизмъ къ карамзинскому созерцанію русской жизни благороднѣйшихъ личностей.

Его исторія была, такъ сказать, пробнымъ камнемъ нашего самопознанія. *Мы* (говоря совокупно, собирательно) съ нею росли, ею мѣрялись съ остальною Европою, мы съ нею входили въ общій круговоротъ европейской жизни.

Не даромъ же легла она какъ тяжелый камень на дѣятельность цѣлыхъ поколѣній, не даромъ же испортила она величайшее созданіе Пушкина, «Бориса Годунова», и образовала цѣлую литературу историческихъ романовъ...

Да! Это была дѣятельность могучая, дѣятельность вполне живая, вполне перешедшая въ жизнь, *первая* перешедшая въ жизнь послѣ петровской реформы. Пора это сознать, пора воздвигнуть памятникъ великому мужу, вполне его достойный, памятникъ, который не гласилъ бы о томъ, чего онъ не далъ и дать не могъ, но который за то исчислялъ бы все, что онъ сдѣлалъ для нашего развитія.

Батюшковъ когда-то сравнивалъ Ломоносова съ Петромъ Великимъ, но это сравненіе гораздо больше идетъ къ Карамзину, чѣмъ къ Ломоносову. Карамзинъ былъ первый европеецъ между русскими, и вмѣстѣ съ тѣмъ первый истинно-русскій писатель, за исключеніемъ комика Фонъ-Визина. Это исключеніе я припоминаю постоянно, потому только впрочемъ, что комизмъ есть исключительная, особенная способность русскаго ума, способность одинаково сильная во всѣ времена—у Даніила Заточника столько же, какъ у Дениса Фонъ-Визина...

Между тѣмъ, однако, нашъ первый великій писатель является и въ своей первоначальной и въ своей послѣдующей дѣятельности провод-

никомъ общаго, стало быть западнаго, образованія. Нужды нѣтъ, что тонъ его, чуждый міросозерцанія нашихъ лѣтописей въ первыхъ томахъ его исторія, врѣшеть и растетъ въ послѣдующихъ до преобращенія въ лѣтопись въ послѣднемъ; нужды нѣтъ, что чѣмъ болѣе сливается онъ съ старой Русью, тѣмъ болѣе становится онъ русскимъ, онъ все-таки русский европеецъ, онъ участникъ великой жизни, совершавшейся на западѣ Европы...

Въ этомъ для насъ, потомковъ и наслѣдниковъ великаго мужа, его значеніе. Увы, тщетно хотѣли бы мы возвратиться къ временамъ давно-минувшимъ. Татарское и московское иго, оба въ сущности равносильныя, оторвали насъ отъ нихъ невозвратно; палъ Великій Новгородъ, палъ пригородъ его Псковъ, и только созданія истинныхъ поэтовъ, какъ Мей, напоминаютъ намъ о ихъ славномъ существованіи...

И только Карамзинъ въ настоящее время (подумайте объ этомъ въ настоящее время!) остается настольною книгою для всѣхъ, кто не утратилъ любви и благоговѣнія къ жизни предковъ...

А между тѣмъ, этотъ великій писатель былъ проводникъ европейскаго, общечеловѣческаго развитія, по крайней мѣрѣ въ лучшую, въ не-старческую эпоху его дѣятельности...

За нимъ послѣдовалъ другой великій писатель — Жуковский. Это свѣтлое и благородное имя, давно, какъ-будто *per tacitum consensum*, по какому-то преднамѣренію — *исчезло* въ нашей литературѣ. О немъ никто не вспоминаетъ, какъ-будто бы его не было. Между тѣмъ, этотъ высоко-замѣчательный поэтъ внесъ новую струю въ нашу литературу и посредствомъ ея (благодаря Карамзину, сроднившему жизнь съ литературой) въ нашу жизнь. Это была струя романтическая, струя тревожныхъ, едва определенныхъ ощущеній, шевелящихъ и раздражающихъ, ничего не дающихъ и къ чему-то безвѣстному влекущихъ; струя, изливающаяся сладкозвучной, прекрасной, поэтической рѣчью, струя, роднившая насъ со всѣмъ истинно-поэтическимъ, что пережито на западѣ. Жуковский былъ нашъ отзывъ на всю поэзію запада, какъ Карамзинъ былъ нашъ отзывъ на всю кипучую умственную дѣятельность западной жизни. Въ нихъ обоихъ сказались наши силы пониманія, силы сочувствія...

И вотъ вслѣдъ за ними явился «поэтъ», явилась великая творческая сила, равная по задаткамъ всему, что въ мірѣ являлось не только великаго, но даже величайшаго: Гомеру, Данту, Шекспиру, — явился Пушкинъ.

Я не могу и не хочу здѣсь коснуться значенія Пушкина, какъ нашего величайшаго народнаго поэта, величайшаго представителя нашей народной физиономіи. Я беру здѣсь только моральный процессъ, совершив-

шійся въ его натурѣ и для насъ высоко поучительный. Пушкинъ началъ, не скажу съ подражаніи, но съ поклоненія Байрону, съ протеста противъ дѣйствительности, и Пушкинъ же кончилъ «Повѣстями Бѣлкина», «Капитанской дочкой», и проч., стало быть смиреніемъ передъ дѣйствительностью, его окружавшей. Еще прежде «Повѣстей Бѣлкина» и «Капитанской дочки» поэтъ, въ Онѣгінѣ, обѣщаль намъ

Поэму пѣсень въ двадцать пять...  
Дѣтей условенныя встрѣчи,  
У старыхъ липъ, у ручейка, и т. д.

«Еще прежде грозилъ онъ намъ, великій протестантъ, давший намъ условныхъ преступниковъ» (по толкованію «Маяка» и «Домашней Бесѣды») въ видѣ «Плѣнника», «Алеко», «Мазепу», — примиреніемъ съ дѣйствительностью, какова она есть:

Теперь мила мнѣ балабайка,  
Да пьяный топоть трепака  
Передъ порогомъ кабака;  
Мой идеаль теперь хозяйка,  
Да шей горшокъ, да самъ большой.

Мы долго ему не вѣрили въ его разубѣжденіяхъ... Наконецъ онъ выступилъ передъ нами совершенно новый, но одинаково великій, какъ и прежде, въ своихъ новыхъ созданіяхъ, въ «Капитанской дочкѣ», «Лѣтописи села Горохина»...

Мы изумились. Предъ нами предсталъ совершенно новый человекъ. Великій протестантъ умалился до лица Ивана Петровича Бѣлкина, до лица, хотя нѣсколько иронически, но все-таки подчиненнаго окружающей его дѣйствительности...

Что же это такое? спрашиваю я васъ, мои читатели, — спрашиваю честно, съ полнымъ желаніемъ, чтобы вы дали мнѣ отвѣтъ и разрѣшеніе, — мнѣ, излагающему передъ вами безъ страха и сомнѣнія всѣ мои размышленія о нашей литературѣ и о нашемъ общественномъ развитіи...

Пушкинъ, создающій идеалы протеста: «Плѣнника», «Алеко», «Онѣгина», «Мазепу» — и Пушкинъ, пишущій «Лѣтопись села Горохина», «Повѣсти Бѣлкина», «Капитанскую дочку»...

Но, — и въ этомъ главная сила, — Пушкинъ, въ то же самое время пишущій «Каменнаго гостя», «Дубровскаго» и множество лирическихъ произведеній, на которыхъ какъ нельзя болѣе очевидно присутствіе протеста...

Пушкинъ былъ весь — стихія нашей духовной жизни, отраженіе на-

шего нравственнаго процесса, выразитель его, столько же таинственный, какъ сама наша жизнь...

Замѣчательно, что со смерти его собственно начинается раздвоеніе двухъ лагерей.

### III

Всѣмъ предшествовавшимъ очеркомъ хотѣлъ я показать только то, что до конца пушкинской эпохи вопросъ о нашей народности и ея значеніи вовсе даже и не возникалъ въ литературѣ въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ возникъ онъ и развился въ эпоху послѣдующую.

Бѣлинскій въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» — своей первой значительной по объему и содержанію статьѣ — называетъ эпоху ему современную романтически-народнымъ періодомъ литературы; но эпитетъ «народный» не играетъ въ этомъ названіи особенно-важной роли, не имѣетъ особенно-рѣшительнаго значенія, не дѣлитъ еще мыслящихъ людей на два лагеря. И. В. Кирѣевскій, одинъ изъ главныхъ будущихъ поборниковъ славянофильства, выступаетъ на поприще статью о движеніи литературы въ «Денницѣ» 1834 года, отличающеюся только первымъ и притомъ глубокомысленнымъ приложеніемъ идей германской философіи, къ разсматриванію развитія нашей умственной жизни, и журналомъ «Европеецъ», котораго продолжать онъ не могъ по независѣвшимъ отъ него обстоятельствамъ, но который и по названію и по направленію, уже рѣзко обозначившемуся съ первой книжки, долженъ былъ основательно, серьезно и глубоко вводить насъ въ кругъ европейской мысли и развитія. Если въ литературѣ и являлась въ то время оппозиція, то въ двухъ, по сущности, впрочемъ, сходныхъ формахъ: въ оппозиціи Пушкина и его друзей, круга избранныхъ литераторовъ — промышленной литературѣ, въ оппозиціи нѣсколько аристократической и потому не всегда правой, — и въ оппозиціи серьезныхъ, дѣйствительно ученыхъ людей, немногихъ глубокихъ мыслителей, во главѣ которыхъ стояли Кирѣевскій и Надеждинъ, — вѣждый, впрочемъ, по своему и другъ отъ друга независимо, — поверхностному, наскоро нахватанному образованію, представителемъ котораго былъ Н. А. Полевой. Оппозиція эта — гордая и уединенная въ Кирѣевскомъ и его друзьяхъ, рѣзкая въ Надеждинѣ и его «Телескопѣ», тоже не была во всѣхъ пунктахъ права, ибо не признавала огромныхъ заслугъ Полеваго и его направленія. Къ ней примкнулъ,

тогда еще юный, Бѣлинскій, потому что и не къ чему иному было ему примкнуть, — примкнулъ, впрочемъ, только тогда, когда Н. И. Надеждинъ изъ ожесточеннаго зоиля Пушкина, изъ Никодима Недоумки «Вѣстника Европы» обратился съ первой же книжки своего «Телескопа» въ ревностнаго и почти единственнаго поклонника поэта за его «Бориса», холодно принятаго публикою и журналами.

Но ни одна изъ тогдашнихъ оппозицій и не подымала даже вопроса о народности нашей, т. е. о томъ, дѣйствительно ли мы имѣемъ, можемъ имѣть, выразили ли и выразимъ ли свою самостоятельность умственную и нравственную въ ряду другихъ европейскихъ самостоятельности. Вопросъ этотъ казался легокъ и простъ, именно потому, что нигдѣмъ еще не было смѣло и честно поднять, казался даже порѣшеннымъ такимъ людямъ, какъ Надеждинъ и Бѣлинскій. Эпоху пушкинскую они пазывали романтически-народною, т. е. считали, что съ нея именно начинается заявленіе нами нашей своеобразности, и кромѣ того еще потому, что современная европейская литература послѣ реставраціи была романтически-народною во Франціи, а въ Германіи стала таковою еще раньше. Въ ихъ убѣжденіи было много истиннаго, по крайней мѣрѣ, что касается до народнаго значенія Пушкина, гораздо больше истиннаго, чѣмъ въ новѣйшихъ вопросахъ, задаваемыхъ почтеннымъ критикомъ «Отечественныхъ Записокъ» на счетъ народности Пушкина, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, было много и наивнаго. Историческіе романы, между прочимъ, изъ которыхъ самыя лучшія, лажечниковскія, представляли смѣсь самую странную немногаго правдиваго со многимъ фальшивымъ, — самыя смѣлыя, какъ романы Полеваго, были ничто иное какъ полемическія выходы, облеченныя въ рассказы, — а самыя добродушныя и пользовавшіеся наибольшимъ успѣхомъ за свою яко бы народность, романы Загоскина, изображали понятія и нравы екатерининскихъ временъ съ кодѣлкой подъ языкомъ простонародья, безъ малѣйшаго знанія этого языка, — эти безобразныя романы, родившіеся на Руси только потому, что въ Англіи былъ Вальтеръ-Скоттъ, а у насъ появилась исторія Карамзина, считались тогда однимъ изъ признаковъ романтически-народнаго направленія. Надъ дюжинами изъ нихъ, выходящими мириадами, смѣлялись, но о загоскинскихъ и въ особенности о лажечниковскихъ, запечатлѣнныхъ дѣйствительно могущественнымъ, хотя какимъ-то страннымъ, не представлявшимъ никакой соразмѣрности, талантомъ, писались цѣлыя и весьма серьезныя статьи. Пушкинъ и его кружокъ, подъ его, конечно, вліяніемъ, по какому-то чутью болѣе, чѣмъ по опредѣленному, на изученіи основанному смыслу, мало сочувствовали представленію народности въ тогдашнихъ историческихъ романахъ: что-то говорило имъ, что



туть есть сильная фальшь, и они, какъ выразился одинъ изъ нихъ, не имѣли ни малѣйшаго удовольствія читать изображенія предковъ, снятыя по прямой линіи съ кучеровъ ихъ потомковъ. Въ этой фразѣ, отзывавшейся нѣсколько аристократизмомъ, было много вѣрнаго. Еслибъ дѣйствительно народъ, хотя бы даже и современный: купечество, крестьянство, давалъ романистамъ нашимъ краски для изображенія быта, языка и нравственныхъ понятій предковъ, то въ этихъ краскахъ была бы хоть доля истины, потому что въ народѣ есть органическое единство съ прошедшимъ; но романисты наши собственно съ тѣмъ, что называется народомъ, были вовсе незнакомы. Между тѣмъ вліяніе фальшиво-народнаго направленія было такъ сильно, что даже люди съ сильно-поэтическимъ даромъ и глубокимъ философско-историческимъ смысломъ, приносили ему посильныя жертвы, какъ Хомяковъ въ своемъ «Дмитріѣ Самозванцѣ» и «Ермакѣ»; что даже люди, спеціально знакомые съ нашимъ историческимъ бытомъ, какъ Погодинъ, писали историческія драмы, повторяя въ нихъ, не смотря на собственные основательнѣйшія изученія, помимо можетъ-быть своей воли, изображенія отлитыя весьма искусно, хоть и невѣрно, историкомъ Государства Россійскаго.

Въ предшествовавшемъ отдѣлѣ, я съ величайшею искренностью писалъ чуть-что не панегирикъ Карамзину; ибо дѣйствительно, когда смотришь только на его талантъ и на великое значеніе его дѣятельности въ отношеніи къ нашему духовному развитію — на него нельзя смотрѣть иначе; но, что касается до пониманія и представленія нашей народности, то Карамзинъ является по справедливости же главнѣйшимъ источникомъ всѣхъ нашихъ ошибокъ по этой части, всѣхъ нашихъ ложныхъ литературныхъ отношеній къ этому весьма важному для насъ дѣлу. Сила таланта его, какъ историка, такова, что она могла наложить свою печать даже на неизмѣримо выше Карамзина стоявшую личность — на Пушкина, и испортить во многомъ одно изъ высшихъ его созданій; что она породила, при пособіи вліянія вальтеръ-скоттовской формы, цѣлую ложную литературу; что она въ науцѣ даже, въ историческихъ изысканіяхъ, могла парализовать такую силу, какъ сила Погодина, и заставить ее двигаться въ одномъ и томъ же заколдованномъ кругѣ.

Дѣло въ томъ, что Карамзинъ былъ, да и до сихъ поръ есть — единственный у насъ историкъ-художникъ, историкъ, отлившій наши историческіе образы въ извѣстныя яркія, ясныя формы.

Формы эти долго тяготѣли надъ нашимъ сознаніемъ. Возстать противъ нихъ пытались скептики; но, руководимые однимъ слѣпымъ отрицаніемъ, часто смѣшнымъ до наивности, являвшіеся съ сигналомъ, что у насъ «ничего не было», и нисколько не отвѣчавшіе на вопросъ неми-

нужный: что же у насъ въ такомъ случаѣ было?—ничего не могли сдѣлать. Скептическое направленіе уложилъ на вѣчный покой Погодинъ простымъ афоризмомъ, что множеству нашихъ князей съ ихъ разными семейными связями труднѣе было быть выдуманными, чѣмъ существовать на самомъ дѣлѣ, — хотя этотъ афоризмъ разбивалъ скептиковъ только въ наружномъ проявленіи ихъ мысли, въ томъ, что у насъ чуть ли не до Ивана III ничего не было. Въ сущности же скептики, сами впрочемъ того не зная, хотѣли только сказать, что у насъ ничего не было такого, какимъ является оно у Карамзина, и въ этомъ были правы, покрайнѣй мѣрѣ на цѣлую половину, если не больше. Пытался возставать на Карамзина Арцыбышевъ—свободнымъ и буквальнымъ изложеніемъ лѣтописей; но положительная бездарность и можетъ-быть рановременность попытки, сдѣланной до изданія въ свѣтъ главныхъ источниковъ нашей исторіи, были причиною неуспѣха. Пытался, наконецъ, возставать Полевой—попыткою чисто-полемической исторіи. Въ наше, и притомъ недавнее, время вошло въ моду придавать чрезмѣрное значеніе не только журнальной, но и исторической дѣятельности Н. А. Полеваго, какъ въ эпоху тоже недавнюю было въ модѣ унижать эту замѣчательную дѣятельность. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что дѣятельность Н. А. Полеваго въ первую, московскую ея половину—остается навсегда въ исторіи нашего развитія; нѣтъ сомнѣнія, что и полемическая его исторія имѣла большое значеніе, какъ протестъ и отрицаніе; но чтобы она внесла что-либо положительное въ пониманіе нашей народности, въ этомъ да позволено будетъ усомниться. Всѣ приемы Полеваго въ его манерѣ историческаго изображенія — чисто отрицательные, — подниманіе того, что у Карамзина унижено, и униженіе того, что у Карамзина поднято, — манера до дѣтства, часто до смѣшного отрицательная. Онъ постоянно за тѣхъ, кого Карамзинъ представляетъ въ черныхъ краскахъ, за Олега Святославича противъ Мономаха, за Давида Игоревича Волынскаго противъ Василья Ростиславича; въ позднѣйшія времена за Шемяку, — за этого послѣдняго въ особенности, такъ что Полевой не удовлетворился одной исторіей и протестовалъ за Шемяку въ романѣ, и т. д. Постоянно играя на отрицательной струнѣ, естественно, что Полевой во многихъ случаяхъ является правымъ, но правота его — чисто случайная. Прибавьте къ этому наскоро и едва усвоенныя идеи Тьерри, Нибура и другихъ историковъ, прямо *ex abrupto* приложенныя къ нашей исторіи, — наглый тонъ самохвальства, тонъ, въ которомъ слышно даже не фанатическое увлеченіе теоріями, а просто желаніе «выкинуть», говоря рядскимъ языкомъ, «особенное колѣнцо», блеснуть самостоятельностью взгляда, пониманія и представленія, — и вы поймете, что не только «Вѣстникъ»

Европы» скептика Каченовскаго, но даже «Московскій Вѣстникъ» Погодина, помѣстившій на своихъ страницахъ жесткую статью Арцыбышева объ исторіи Карамзина и печатавшій отрывки его оппозиціоннаго своднаго историческаго изложенія, — разразились при появленіи перваго тома «Исторіи Русскаго Народа» статьями яростными до нарушенія всякой благопристойности.

Мы же теперь, далекіе отъ фанатическихъ поклоненій и отъ ненавистей той эпохи, можемъ, кажется, сказать только то, что на удачу дѣйствуя отрицательно часто весьма справедливо, Полевой положительныя ложныя формы Карамзина замѣнялъ столь же ложными, только въ другой формѣ, такъ сказать помоднѣе, и, по натурѣ нисколько не художникъ, побуждаемый къ таковой замѣнѣ не творчествомъ, а однимъ протестомъ, и притомъ не фанатическимъ, а чисто самолюбивымъ, не сумѣлъ придать своимъ формамъ даже и наружнаго блеска. Дѣло пониманія нашей народности онъ нисколько не подвинулъ впередъ, да и карамзинскихъ формъ представленія разбить не могъ. Эти формы продолжали тяготѣть надъ нашимъ сознаниемъ.

Разбить ихъ магическую силу могло только ближайшее, и притомъ болѣе общее, знакомство нашего сознанія съ непосредственными источниками нашей исторіи и нашего народнаго быта. Изданіе ихъ представило это право нашей эпохѣ, считая ее съ конца сороковыхъ годовъ, и освобожденіемъ ея отъ карамзинскихъ формъ пониманія народности мы обязаны ничему иному, какъ именно этому обстоятельству. Труды нашихъ ученыхъ по этой части, — сколь эти труды ни важны и ни почтенны, — важны преимущественно тѣмъ, что прямо знакомили насъ съ источниками, и останутся достояніемъ потомства не въ теоретическихъ выводахъ, а именно въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ они прямо знакомили съ источниками. Личныхъ образовъ на мѣсто карамзинскихъ труды эти намъ не дали и дать не могли; цѣльнаго, художественнаго представленія нашей исторіи и народной фizioноміи взамѣнъ прежняго, блестящаго и ложнаго, мы не получили. Одно художество только, силами ему данными, въ наше время начинаетъ, преимущественно въ дѣятельности Островскаго, выводить передъ насъ образы, на которыхъ лежитъ яркое клеймо нашей народвой особенности въ томъ видѣ, какъ она уцѣлѣла; художеству же будетъ, по всей вѣроятности, принадлежать и честь примиренія нашего настоящаго съ нашимъ прошедшимъ, проведенія между тѣмъ и другимъ ясной для всѣхъ органической связи.

Но объ этомъ рѣчь еще впереди.

Дѣло въ томъ, что карамзинскія формы представленія нашей народ-

ности въ ея цѣлости и органическомъ единствѣ для насъ разрушены. Мы пошли дальше—и видимъ яснѣе.

Карамзинъ, какъ талантъ, нуждался въ цѣлостномъ представленіи, и какъ талантъ, взялъ за основу формъ для своего представленія формы, которыя представляло ему его время, на которыхъ онъ воспитался, которыми глубоко проникся, формы обще-западна: доблести, величія, чести и проч. Проникнутый насквозь, какъ впечатлительнѣйшая натура своего времени, общими началами европейскаго образованія, онъ къ нашему быту и къ нашей исторіи находилъ уже совершенно въ иныхъ отношеніяхъ, чѣмъ Татищевъ и Щербатовъ. Тѣ были еще весьма мало, даже почти вовсе не разъединены съ возрѣніями предковъ, съ началами и, такъ сказать, съ тономъ ихъ быта. Карамзинъ былъ уже чело-вѣкъ оторванный, чело-вѣкъ захваченный внутренно общечеловѣческимъ развитіемъ и потому бессознательно-последовательно прилагавшій его начала къ нашей исторіи и быту, однимъ словомъ—къ нашей народности; и этимъ объясняется, что онъ, глубоко и добросовѣстно изучавшій источники, имѣвшій ихъ подъ руками болѣе, чѣмъ всѣ прежде его писавшіе, и почти столько же, сколько мы, — постоянно однако обманываетъ самъ себя и своихъ читателей аналогіями, и постоянно скрываетъ самъ отъ себя и отъ читателей все не-аналогическое съ началами и явленіями западной, общечеловѣческой жизни... Приступая къ нашей исторіи, онъ какъ-будто робѣетъ съ самаго предисловія, что она не похожа на общеевропейскую, робѣетъ за ея утомительность и однообразіе, и спѣшитъ поскорѣе заявить ея блестящія доблестями или трагическими моментами и личностями мѣста...

Онъ никогда почти не ошибается и тутъ въ своемъ указаніи доблестей, въ своемъ чутьѣ трагическихъ и грандіозныхъ моментовъ, въ направленіи своихъ сочувствій; но эти доблести, борьбу и трагическіе моменты описываетъ онъ тономъ, не имъ ствойственнымъ, а тономъ свойственнымъ ихъ западнымъ аналогіямъ.... Между тѣмъ тонъ его, какъ тонъ чело-вѣка высокоталантливаго, оригиналенъ и носитъ на себѣ печать изученія источниковъ, хотя и односторонняго, — печать, обманувшую всѣхъ (забывшихъ уже Татищева и Щербатова) его современниковъ, способную обмануть всякаго незнакомаго нисколько съ лѣтописями и памятниками. Для всякаго же, при малѣйшемъ знакомствѣ съ таковыми, ну, хоть даже послѣ прочтенія одной только Кіевской (Ипатьевской) да официально Московской (Никоновской) лѣтописи—эта печать исчезаетъ. Доблестныя лица Владиміра Мономоха, двухъ Мстиславовъ и т. д. остаются точно доблестными, но доблесть ихъ получаетъ совершенно иной характеръ, чѣмъ доблести западныхъ героевъ, получаетъ совершенно

особенный тонъ, колоритъ. Въмѣсто общихъ, классическихъ фигуръ, передъ нами встаютъ живые типы,—типы, въ чертахъ которыхъ, въ простодушномъ разсказѣ лѣтописцевъ, мы, не смотря на сѣдой туманъ древности, ихъ окружающій, признаемъ нерѣдко собственныя черты народныя. Съ другой стороны, передъ нами выдвигаются тоже типически такія личности и такія доблести, которыя передъ Карамзинымъ прошли незамѣтными: благодушная и озаренная сіяніемъ смиренія фигура послѣдняго «законнаго» (по старому наряду) кievскаго нарядника, Ростислава Мстиславича, который постоянно, по чувству законности, уступая первенство «стрыямъ старѣйшимъ», дѣлается наконецъ великимъ княземъ для того только, чтобы умереть эпически-торжественно.... Не говоря уже о томъ, что Карамзинъ, увлеченный, вовсе не понималъ федеративной идеи, блестящую минуту развитія которой представляетъ нашъ XII вѣкъ и которую, безъ «попущенія» Божія въ видѣ татаръ, ждало великое будущее, не понималъ городской жизни и значенія князей, какъ нарядниковъ. Этому и въ наше время многіе изъ историковъ, даже оказавшихъ значительныя услуги наукѣ, не понимаютъ или не хотятъ понять. Карамзинъ, — и въ этомъ его великая заслуга, его безсмертное значеніе, — не приносилъ по крайней мѣрѣ этихъ идоложертвенныхъ требъ, не смотрѣлъ на татарское иго, на паденіе Твери и Новгорода, на Ивана Грознаго и проч. какъ на явленія, существенно необходимыя для нашего развитія. Ко всякому злу,—является ли оно въ видѣ событія или личности,—относится онъ прямо, безъ теоріи. Дѣло въ томъ только, что къ доблестямъ и злу относится онъ съ точекъ зрѣнія, выработанныхъ XVIII вѣкомъ, а не приравнивается къ міросозерцанію лѣтописцевъ. Отъ этого доблести и великія событія получаютъ у него фальшиво-грандіозный характеръ; къ злу же относится онъ съ тѣмъ раздраженіемъ, съ какимъ лѣтописецъ не относится. Стоитъ припомнить, на примѣръ, его разсказъ о защитѣ Москвы, оставленной Димитріемъ въ жертву Тохтамышу, «героемъ» Остеемъ и жителями, и сопоставить этотъ величавый разсказъ съ наивнымъ до цинизма разсказомъ Никоновской лѣтописи. Героизмъ-то и останется, но подробности, которыя окружаютъ этотъ героизмъ передъ читателемъ, придадутъ ему совершенно особенный характеръ, нашъ народный колоритъ.... Съ другой стороны, въ исторіи, на примѣръ, междуцарствія,—а всѣми признано, что въ послѣднихъ томахъ своихъ Карамзинъ несравненно болѣе, чѣмъ въ первыхъ, проникается духомъ, языкомъ и тономъ лѣтописей,—совершенно правое негодованіе историка на измѣнниковъ («воровскихъ людей» по грамотамъ и лѣтописямъ) опять страдаетъ тономъ своимъ для всякаго, кто знаетъ, какъ, на примѣръ, лѣтопись на одной страницѣ говоритъ о какомъ-нибудь

Заварзинъ, какъ о «воровскомъ человѣкѣ», называя его уменьшительною вличкою, а черезъ страницу величаетъ его уже по имени и отчеству, не помня зла, когда онъ перешелъ на сторону праваго, земскаго дѣла... Но, опять повторяю, Карамзинъ, совершенно разорвавшійся съ міросозерцаніемъ быта до реформы, глубоко проникнутый началами общечеловѣческаго образованія, не могъ смотрѣть иначе: въ исторіи междуцарствія онъ увлекся однимъ только «сказаніемъ» Авраамія Палицына, который, какъ человѣкъ, по своему времени высокообразованный и стало быть имѣвшій, справедливый или нѣтъ, но во всякомъ случаѣ *цѣльный* взглядъ на жизнь и событіе, былъ ближе къ нему, чѣмъ простодушные лѣтописцы и современныя грамоты...

Указывая на эти немногія, но, какъ кажется мнѣ, довольно рѣзкія черты непониманія народности нашей Карамзинымъ и фальшивости его представленія народности, я опять долженъ повторить, что фальшивое представленіе было все-таки цѣльное, художественное представленіе, давало образы, хотя и отлитые въ общія классическія формы, но отлитые великолѣпно и твердо поставленные.... Когда на такого гиганта какъ Пушкинъ, обладавшаго непосредственно глубокимъ чутьемъ народной жизни, могъ подѣйствовать карамзинскій образъ «Бориса», что жъ должны были дѣлать другіе?...

Другіе—преклонялись и *jurabant in verba magistri*, развивали идеи учителя, и совершенно были этимъ довольны, — довольны до того, что одинъ изъ высшихъ представителей нашего сознанія, Бѣлинскій, въ юношески-пламенной статьѣ своей, называлъ свою тогдашнюю эпоху литературы романтически-народною, съ ея дѣжинами являвшимися и выкроенными изъ Карамзина историческими романами, дикими историческими драмами и т. д.

И въ эту-то минуту общаго самообольщенія, раздѣляемаго даже и высшими представителями сознанія, въ минуту юношескихъ вѣрованій въ то, что мы поймали наконецъ нашу народность, входимъ съ нею, очищенною, умытою и причесанною, въ общій кругъ міровой жизни, — въ эту минуту явился человѣкъ, который не силой дарованія, но силой убѣжденія, и притомъ чисто-теоретическаго, разсѣялъ разомъ это самообольщеніе, разбилъ безжалостно и безтрепетно вѣрованія и надежды.

Да! теоретики иногда бываютъ очень нужные люди, часто великіе люди, какъ П. Я. Чаадаевъ.

Онъ былъ вдобавокъ еще теоретикъ католицизма, стало быть самый безжалостный, самый послѣдовательный изъ всѣхъ возможныхъ теоретиковъ.... Фанатически вѣря въ красоту и значеніе западныхъ идеаловъ, какъ единственно-человѣческихъ, западныхъ вѣрованій, какъ един-

ственно-руководившихъ человѣчество, западныхъ понятій о нравственности, чести, правдѣ, добрѣ,—онъ холодно и спокойно приложилъ свои данныя къ нашей исторіи, къ нашему быту,—и отъ перваго прикосновенія этихъ данныхъ разлетѣлись прахомъ воздушные замки. Ясный и обширный умъ Чаадаева, соединенный съ глубоко-правдивой натурой и нашедшій себѣ притомъ твердыя точки опоры въ теоріяхъ, выработанныхъ вѣками,—съ разу разгадалъ фальшь представленій о нашей народности. Нисколько не художникъ, а мыслитель-аналитикъ, онъ не могъ обольститься карамзинскими аналогіями.

Фанатикъ, какъ всякій неофитъ, онъ имѣлъ смѣлость сказать, что въ насъ и въ нашей исторіи и въ нашей народности—нѣтъ «никакихъ» идей добра, правды, чести, нравственности, что мы — отщепенцы отъ человѣчества. «Никакихъ» на его языкѣ значило—западныхъ,—и въ этомъ смыслѣ онъ былъ *тогда* совершенно правъ. Силлогизмъ его былъ простъ.

Единственно-человѣческія формы жизни суть формы, выработанныя жизнью остального, западнаго человѣчества.

Въ эти формы наша жизнь не ложится, или ложится фальшиво, какъ у Карамзина.

Слѣдовательно....

Вотъ именно это слѣдовательно и раздѣлилось на два вывода:

*Слѣдовательно*, сказали одни, мы не люди, и для того, чтобы быть людьми, должны отречься отъ своей самости. Изъ этого *слѣдовательно* вытекала теорія западничества, со всѣми ея логическими послѣдствіями.

*Слѣдовательно*, сказали другіе, болѣе смѣлые и рѣшительные, наша жизнь—совсѣмъ иная жизнь, хоть не менѣе человѣческая, шла и идетъ по инымъ законамъ, чѣмъ западная.

Два лагеря раздѣлились и каждый повелъ послѣдовательно и честно свое дѣло.

## II.

# ЗАПАДНИЧЕСТВО ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

ПРИЧИНЫ ПРОИСХОЖДЕНІЯ ЕГО И СИЛЫ

1836—1851

(Время, 1861. № 3).

Sine ira et studio...

Т а ц и т ѣ .

Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuere.

*Institutiones.*

## I

Пустыня, однообразна и печальна, какъ киргизская степь, должна была представиться русская жизнь въ ея прошедшемъ и настоящемъ тому, кто смѣло и честно какъ П. Я. Чаадаевъ, взглянулъ на нее съ выработанной западомъ точки созерцанія, не ослѣпляясь кажушимися и въ сущности фальшивыми аналогіями, тѣмъ менѣе стараясь проводить эти фальшивыя аналогіи. Между тѣмъ, эта точка зрѣнія явилась вовсе не внезапно, вовсе не какъ Deus ex machina. Зерно такого рѣзкаго созерцанія лежало уже давно въ сознаніи высшихъ нашихъ представителей, вырывалось по временамъ у величайшаго изъ нихъ, Пушкина, то ироническимъ примиреніемъ съ дѣйствительностью, какъ въ известной строфѣ уничтоженной главы Онѣгина, то стихотвореніемъ, которое самъ онъ назвалъ «Капризомъ»—

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый,  
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной музой,  
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, и т. д.,

стихотвореніемъ, въ которомъ между прочимъ, не смотря на его шуточный тонъ, именно какъ въ зернѣ заключаются многія послѣдующія



отношенія литературы нашей къ дѣйствительности:—и лермонтовское созерцаніе, выразившееся такъ энергически-горько—

Люблю отчизну я, но странною любовью,  
Не побѣдить ея разсудокъ мой...

и повѣсти сороковыхъ годовъ съ ихъ постоянно и намѣренно-злымъ изобрѣтеніемъ грязной и грубой обстановки, въ которой осуждены задыхаться лучшія натуры;—и огаревскіе вопли—

Да! въ нашей грустной сторонѣ,  
Скажите, что жъ и дѣлать болѣ,  
Какъ не хозяйничать женѣ,  
А мужу съ псами ѣздить въ поле;

—и мрачное, безотрадное созерцаніе великаго аналитика «пошлости пошлаго человѣка»;—и унылый, туманно-сѣренькій, ненастный колоритъ, наброшенный на жизнь сантиментальнымъ натурализмомъ;—и, наконецъ почти всѣ стихотворенія Некрасова, даже до его послѣдняго, т. е. до «Деревенскихъ вѣстей», которое, впрочемъ и стихотвореніемъ-то назвать какъ-то худо поворачивается языкъ... Все это въ сущности есть не что иное, какъ развитіе пушкинскаго «Каприза», т. е. разъясненіе и послѣдовательное раскрытіе того созерцанія, которое у Пушкина выразилось только какъ моментъ въ его «Капризѣ»...

Но Пушкинъ въ нашей литературѣ былъ единственный полный человѣкъ, единственный всесторонній представитель нашей народной фizioноміи.

Горькое и безотрадное созерцаніе окружающей дѣйствительности было для него не болѣе, какъ моментомъ сознанія,—и притомъ вовсе не такимъ моментомъ, который бы выразился у него цѣлою рѣзкою полосой дѣятельности, въ родѣ лермонтовской, или во вредъ правдивому и прямому отношенію къ жизни, какъ въ повѣстяхъ сороковыхъ годовъ. Пушкинъ—пусть его за отсутствіе односторонности и обвиняютъ поборники теорій въ равнодушій и даже въ отступничествѣ—былъ прежде всего художникъ, т. е. великая, на половину сознательная, на половину бессознательная, сила жизни, «герой» въ карлейлевскомъ значеніи героизма,—сила, которой размахъ былъ не въ одномъ настоящемъ, но и въ будущемъ... Ему было дано непосредственное чутье народной жизни, и дана была непосредственная же любовь къ народной жизни. Это (вопреки появившемуся въ послѣднее время мнѣнію, уничтожающему его значеніе какъ народнаго поэта, мнѣнію, родившемуся только вслѣдствіе знакомства нашихъ мыслителей съ народною жизнью изъ

кабинета и по книгамъ)—неоспоримая истина, подтверждаемая и складомъ его рѣчи въ Борисѣ, Русалкѣ, Женихѣ, Утопленникѣ, сказкахъ о рыбахъ и рыбкѣ, о Кузмѣ Остолопѣ, отрывкомъ о Медвѣдицѣ и т. д., и, что еще важнѣе, складомъ самаго міросозерцанія въ «Капитанской дочкѣ», повѣстяхъ Бѣлкина и проч. Въ тѣ дни даже, когда муза его, по его выраженію, скакала за нимъ Ленорой при лунѣ по горамъ Кавказа, когда, какъ говоритъ онъ,

. . . . я воспѣвалъ  
И дѣву горь, мой идеаль,  
И плѣнницъ береговъ Салгира...

когда образы Плѣнника, Алеко, Гирея и другихъ мучениковъ страстей тѣснились въ его душу,—эта чуткая душа удивительно вѣрно отзывалась на жизнь дѣйствительную, его окружавшую, и, не смотря на то, что поэтъ встрѣчалъ еще овладѣвавшіе имъ образы дѣйствительности полусушительнымъ, полусерьезнымъ отвращеніемъ:

Тѣфу! прозаическія бредни,  
Фламандской школы пестрый соръ!..

умѣла въ этой самой дѣйствительности обрѣтать своеобразнѣйшую поэзію. (Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ?... Морозъ и солнце, день чудесный... Долголь мнѣ гулять на свѣтѣ... Грустно, Нина, пусть мой скучень... Бѣсы...) Не говорю объ образѣ Татьяны, чисто-русскомъ и до сихъ поръ единственно-полномъ русскомъ женскомъ образѣ, — Татьяны, которая

. . . . Русская душою,  
Сама не зная почему,  
Съ ея холодною красою  
Любила русскую зиму —

хоть муза поэта въ лицѣ ея и явилась

. . . . барышней уѣздной,  
Съ печальной думою въ очахъ,  
Съ французской книжкою въ рукахъ...

не говорю о самомъ Онѣгинѣ, который хоть вовсе и не

Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,

но все-таки русскій человекъ множествомъ чертъ своей природы... Все это еще надобно разъяснять и доказывать — а я указываю только на то, что не требуетъ доказательствъ, на стремленіе къ семейному началу,

неожиданно прорывающееся у того же поэта, который начинает романъ свой сатирическимъ, или по крайней мѣрѣ юмористическимъ отношеніемъ къ этому началу («Родные люди вотъ какіе» и множество другихъ строфъ), стремленіе изобразить когда-нибудь

. . . . простыя рѣчи  
Отца иль дяди-старика,  
Дѣтей условленныя встрѣчи  
У старыхъ лицъ, у ручейка...

Беру наконецъ Повѣсти Бѣлкина, Лѣтопись села Горохина, Капитанскую дочку, въ которой въ особенности поэтъ достигаетъ удивительнѣйшаго отождествленія съ воззрѣніями отцовъ, дѣдовъ и даже прадѣдовъ; Дубровскаго, — въ которомъ одно только непосредственное чутье народной сущности могло создать хоть бы ту черту, на примѣръ, что кузнецъ, поджигающій равнодушно-сурово приказныхъ, лѣзетъ въ огонь спасать кошею, чтобы «не погибла Божія тварь»...

Что эти созданія и эти черты, приводимыя мною случайно, безъ выбора, — зерно всѣхъ прямыхъ отношеній нашей литературы къ народу и его быту, къ дѣдамъ нашимъ и прадѣдамъ, зерно «Семейной Хроники» на примѣръ и многихъ повѣстей Писемскаго, точно такъ, какъ «Гробовщикъ» въ повѣстяхъ Бѣлкина — зерно натурализма, едва ли можетъ подлежать сомнѣнію.

Но тѣмъ не менѣе, чисто отрицательное созерцаніе жизни и дѣйствительности является только какъ моментъ въ полной и цѣльной натурѣ Пушкина... Онъ на этомъ моментѣ не останавливается, а идетъ дальше, облекается самъ въ образъ Бѣлкина, но опять-таки и на этомъ не останавливается. Отождествленіе съ взглядомъ отцовъ и дѣдовъ въ «Капитанской дочкѣ» выступаетъ въ поэтѣ вовсе не на счетъ существованія прежнихъ идеаловъ, даже не во вредъ имъ, ибо въ то же самое время создаетъ онъ «Каменнаго гостя»...

Въ томъ-то и полнота и великое народное значеніе Пушкина, что чисто-дѣйствительное, нѣсколько даже низменное, воззрѣніе Бѣлкина идетъ у него объ руку съ глубокимъ пониманіемъ и воспроизведеніемъ прежнихъ идеаловъ, тревожившихъ его душу въ молодости, не сопровождается отреченіемъ отъ нихъ...

Пушкинъ не западникъ, но и не славянофилъ; Пушкинъ — русский человекъ, какимъ сдѣлало русскаго человека соприкосновеніе съ сферой европейскаго развитія... Господа, отрицающіе значеніе Пушкина какъ народнаго поэта, постоянно указываютъ на одно: на нѣкоторыя фальшивыя стороны его Бориса, т. е. въ сущности на фальшивыя ка-

рамзинскія формы, которымъ даже и великій поэтъ подчинился какъ вся его эпоха; ибо фальшиво въ Борисѣ только карамзинское, т. е. личность самаго Бориса; все же чисто пушкинское (пирь-ли у Шуйскаго, сцены-ли въ корчмѣ, сцены-ли битвы, сцены-ли у дѣвичьяго монастыря, на лобномъ мѣстѣ, и т. д.),—вѣчно, какъ сама народная сущность, или—поэтически и общечеловѣчески правдиво (какъ напримѣръ сцена у фонтана и т. д.). Не забудьте притомъ, что вопіющіе на фальшивость нѣкоторыхъ сторонъ Бориса, самыя эти стороны мѣрятъ еще не народнымъ созерцаніемъ, а новыми теоріями, смѣнившими литыя и блестящія формы Карамзина. А новыя теоріи, пока онѣ только теоріи, точно также способны, какъ и карамзинскія литыя формы, вредить художественному представленію быта, что явнымъ образомъ выказалось въ блестящемъ произведеніи Мея «Псковитянка», гдѣ такъ хорошо, такъ вполне народно псковское вѣче, созданное въ поэтической простотѣ концепціи, гдѣ такъ великолѣпно и вмѣстѣ правдиво ожиданіе грознаго Ивана Васильевича и первое его появленіе, и гдѣ такъ смѣшонъ этотъ Иванъ Васильевичъ, обнимающійся съ сыномъ и Борисомъ и разсуждающій о своихъ государственныхъ теоріяхъ совершенно по г. Соловьеву, гдѣ является чуть-что нѣ нѣжный и мягкосердечный Иванъ Васильевичъ, тотъ самый Иванъ Васильевичъ, записывавшій въ свое поминанье весьма большое количество невѣдомыхъ и безыменныхъ душъ, которыя «отдѣлалъ» палачъ Томило — «ихъ же имена, Господи, ты вѣси». Поэтому лучше ли бы было, если бы Пушкинъ создавалъ своего Бориса и по новѣйшимъ теоріямъ... пока онѣ только теоріи? Карамзинскія формы часто фальшивы, но у Карамзина не было фальшивыхъ сочувствій и фальшивыхъ антипатій, т. е. сочувствій и антипатій такъ рѣзко расходящихся съ народной памятью, какъ рѣзко расходятся съ нею иногда теоріи нашего времени...

Вчитываясь внимательно въ пушкинскаго «Бориса», правильно вынести можно, кажется мнѣ, изъ такого чтенія и изученія—не сомнѣніе въ народномъ значеніи поэта, а скорѣ изумленіе передъ его удивительнымъ народнымъ чутьемъ и передъ величіемъ его гениальной силы... Борисъ, какъ и всѣ его драматическія попытки, писанъ очерками, а не красками, но эти очерки поразительны по своей правдѣ и красотѣ... Вѣроятно, поэтъ чувствовалъ, что краски настоящихъ взять ему еще неоткуда, или что такія краски совсѣмъ потерялись; да и не мудрено, что онѣ дѣйствительно совсѣмъ и навсегда затерялись въ той жизни, которая разрознилась со всѣми событіями своего прошедшаго, до того разрознилась, что народъ у другого истиннаго народнаго писателя нашего говоритъ: «Эта Литва—она къ намъ съ неба упала» (въ «Грозѣ»).

Фальшивыхъ же красокъ для распѣченія очерковъ поэтъ нашъ, какъ поэтъ, употребить не хотѣлъ. Онъ хотѣлъ правды. Онъ даже и тамъ, гдѣ была полная воля его фантазіи, въ «Русалкѣ», также точно создавалъ только очерки... Но знаете ли вы, господа, трагующіе о томъ, что Пушкинъ не народный поэтъ, —какой могучей жизнью полны эти очерки?.. «Русалку» пытались ставить на сцену въ той формѣ, въ какой создалъ ее Пушкинъ. Попытка оказалась неудачною именно потому, что очерки въ полнотѣ своей слишкомъ сжаты, слишкомъ коротки для сценическаго осуществленія. «Русалка» съ сохраненіемъ ея пушкинскихъ формъ, цѣлости содержанія, и даже большей части божественныхъ стиховъ поэта, явилась на сценѣ оперою. Посмотрите же, какъ либретто, т. е. поэма. Пушкина, получивши краски, тѣло, сценическую продолжительность, давить своею громадностью музыку, весьма, впрочемъ, замѣчательную во многихъ отношеніяхъ и принадлежащую высокому музыкальному таланту. Не одному мнѣ, вѣроятно, а многимъ смотрящимъ и слушающимъ кажется по временамъ даже дерзостью попытка музыканта дать краски и тѣло этимъ очеркамъ!.. Каждая черта въ гениальной поэмѣ выдается рельефно во вредъ музыкѣ! И странное чувство овладѣваетъ вами; вы порой готовы досадовать на музыку, вы хотѣли бы слышать просто эти поэтическіе звуки, которые лучше и выше этой музыки, а между тѣмъ понимаете, что все поэтическое созданіе—только очеркъ, что на сценѣ только при пособіи *какихъ-либо* красокъ, хотя и низшаго сравнительно съ рисункомъ достоинства, очеркъ этотъ можетъ быть какъ-нибудь осуществленъ, сколько-нибудь доступенъ для массы.

Но если высоко-артистическое чувство правды запрещало Пушкину употребленіе фальшивыхъ красокъ, и заставляло его рисовать одними очерками, ничто не удерживало другихъ, даже и не бездарныхъ, даже иногда и очень даровитыхъ людей его эпохи, отъ употребленія этихъ фальшивыхъ красокъ, лишь-бы только онѣ были эффектны...

Эпоха, которую даже чутвій, и въ художествѣ всегда почти прозорливый, Бѣлинскій называлъ *романтически народною*, не только обманывала насъ, т. е. читателей, но добросовѣстнѣйшимъ образомъ сама себя обманывала. И причина такого самообманыванія заключалась не въ иномъ чемъ, какъ въ литыхъ формахъ Карамзина. Эпоха повѣрила въ эти формы, повѣрила въ правдивость карамзинской аналогіи, и ужасно обрадовалась своей вѣрѣ. Да и какъ было въ самомъ дѣлѣ не обрадоваться? Мы поймали тогда нашу бѣглянку—народность, мы поняли ее самымъ, повидимому, простымъ и притомъ совершенно *приличнымъ* образомъ, мы поняли ее въ цѣлой нашей исторіи; мы наивно вѣрили и тому; напяримъ, что «Ярославъ пріѣхалъ господствовать надъ труппа-

ми», и тому, что «отселѣ (отъ Иоанна—не Ивана, а Иоанна III), исторія наша приѣмлетъ достоинство истинно государственной», и проч. и проч., нисколько не замѣчая, какъ смѣшны эти величавыя фразы на первой очной ставкѣ съ лѣтописями и грамотами, или съ завѣщаніями самихъ князей, въ которыхъ понятія и языкъ гораздо ближе къ нынѣшнимъ понятіямъ и нынѣшнему языку, хоть-бы купеческому, чѣмъ къ государственнымъ понятіямъ и къ официально-величавому языку... Надобно только припомнить дѣтскій восторгъ нашъ при появленіи Юрія Милославскаго... Не о восторгѣ читателей говорю я, а о восторгѣ судей-цѣнителей. Въ самомъ серьезномъ изъ тогдашнихъ журналовъ, въ Телескопѣ, по поводу втораго романа М. Н. Загоскина «Рославлевъ», явилась большая статья объ историческомъ романѣ вообще, и наговорено было по поводу нашего историческаго романа множество самыхъ наивныхъ вещей о нашей народности.

Никому, рѣшительно никому, не пришло въ голову объяснить дѣло просто, влияніемъ Вальтеръ-Скотта съ одной стороны и карамзинскихъ формъ съ другой.

Одинъ только Пушкинъ, не только какъ поэтъ, но какъ критикъ, понималъ настоящую «суть» дѣла, но высказывался не прямо, а косвенно, и всегда необыкновенно удачно и тонко. Когда явился «Рославлевъ» М. Н. Загоскина, Пушкинъ написалъ свою критику подъ формою высоко-художественнаго, но, въ сожалѣнію, неполнаго разсказа, въ которомъ онъ возстановлялъ и настоящія краски и настоящее значеніе событія и эпохи, такъ жалко изуродованныхъ въ романѣ покойнаго Загоскина; но даже и эта тонкая, художественная критика стала извѣстна только послѣ его смерти... Онъ *молчалъ* о господствовавшемъ въ тридцатыхъ годахъ направленіи, а только самъ не внадалѣ въ него, самъ употреблялъ краски единственно тогда, когда убѣжденъ былъ, что эти краски настоящія, какъ въ его «Арапѣ Петра Великаго», или въ «Капитанской дочкѣ» и «Дубровскомъ»... Онъ молчалъ даже тогда, когда появлялись талантливыя въ высокой степени попытки Лажечникова, молчалъ потому, вѣроятно, что видѣлъ въ нихъ смѣсь талантливости и даже подчасъ истинной художественности съ невообразимою фальшью. Когда мы всѣ восторгались «народными» разговорами въ романахъ Загоскина, онъ, въ высокой степени владѣвшій народною рѣчью (отрывокъ о Медвѣдицѣ), понимавшій глубоко и комическія пружины быта русскаго человека (Лѣтопись села Горохина), и трагическія (кузнецъ въ Дубровскомъ, «Емеля» въ Капитанской дочкѣ, пиръ Пугачева, и т. д.), онъ ни разу не позволилъ себѣ написать какую-либо повѣсть съ «народными» разговорами, ибо зналъ, что не пришло еще время, нѣтъ еще красокъ

подъ рукою и неоткуда ихъ взять, пока не послѣдуютъ его совѣту и не будутъ учиться русскому языку у московскихъ просвиренъ (примѣчанія къ Онѣгину), что рѣчь, которую выдавали за народную—не народная, а подслушанная у дворни, что чувства этою рѣчью выражаемыя—фальшивы и т. д. Онъ, опять повторяю, только тамъ писалъ красками, гдѣ зналъ краски; зато все то, что оставилъ онъ намъ писаннаго красками, вѣчно какъ народная сущность, будутъ ли это рѣчи Татьяниной няни и разсказъ ея о выходѣ замужъ, будутъ ли это рѣчи «Наташи» въ балладѣ «Женихъ», рѣчи дочери Мельника, въ которыхъ даже пятистопный ямбъ превращается въ складъ народнаго стиха... будутъ ли это народныя сцены въ Борисѣ... Все это вѣчно, все это такъ же правдиво, какъ если бы написано было въ нашу эпоху Островскимъ, такъ полно знающимъ натуру русскаго человѣка, способъ его выраженія, и т. д. Нѣтъ, это даже лучше, чѣмъ Островскій, по-крайней-мѣрѣ тамъ, гдѣ у Пушкина оно выражено рѣчью боговъ, т. е. стихомъ,—лучше именно потому, что выражено «рѣчью боговъ», вырѣзано чертами на мѣди...

Способность отрицательная, способность видѣть фальшь, и таить обходить всякую—не только фальшь, но малѣйшую неясность въ представленіи, обходить, разумѣется, только въ томъ случаѣ, когда нѣтъ возможности воспроизвести правду, — эта способность составляетъ въ гениальныхъ міровыхъ силахъ столь же важное свойство, какъ и положительная ихъ сторона. Пушкинъ не могъ сочинять и выдумывать красокъ. Брать на прокатъ чужія, по аналогіи, какъ Карамзинъ, онъ не могъ потому, что былъ несравненно болѣе Карамзина одаренъ всѣми духовными силами и, стало-быть, видѣлъ дальше его; брать червя по-павшіяся краски изъ окружавшей его дѣйствительности, какъ вся его эпоха,—онъ тоже не могъ по художнической добросовѣстности. Эта добросовѣстность простиралась въ немъ до того, что онъ, напримѣръ, рисуя дочь Бориса, Ксенію, плачущую о своемъ женихѣ, выкинулъ по-видимому превосходныя стихи, и замѣнилъ ихъ прозой съ русскимъ пѣсеннымъ складомъ — возможно простой, возможно лишенной всякихъ украшеній («Милый мой женихъ, прекрасный королевичъ» и т. д.), вычеркнулъ сцену двухъ чернецовъ, по-видимому тоже превосходную, но его, какъ видно, не удовлетворявшую, и не далъ въ первомъ изданіи «Бориса» даже безукоризненную народную сцену у Дѣвичьяго монастыря, явившуюся только въ посмертномъ изданіи, и только въ Анненковскомъ вошедшую въ составъ поэмы.... Да! этотъ «барченокъ», писавшій по-французски (и надобно прибавить превосходно) свои замѣтки объ исторической драмѣ и о своемъ «Борисѣ», свято чтить народъ, религіозно боялся солгать на народъ, на складъ его мышленія, чувства, на спо-

собъ его выраженія... Видно, глубоко запали въ эту великую и восприимчивую душу сказки няни Ирины Родионовны.

И замѣчательно, что не только Пушкинъ, но всѣ его друзья отличались — или положительнымъ, непосредственнымъ тактомъ народности, какъ Языковъ, въ особенности въ его великолѣпной драматической сказкѣ о Жарь-птицѣ, которая по языку и тонкости поэтической проны — совершенство; какъ Хомяковъ, который хотя и написалъ грѣхъ юности... «Ермака», но выкупилъ этотъ грѣхъ нѣсколькими удивительными сценами «Дмитрія Самозванца» (въ особенности весь V актъ); — или безпощаднымъ отрицаніемъ всего фальшиваго, какъ Вяземскій и Одоевскій (не помню, которому изъ нихъ принадлежитъ выходка противъ изображеній предковъ съ кучеровъ ихъ потомковъ).

Наиболѣе безпощадный въ отрицаніи изъ друзей Пушкина, наиболѣе способный ясно видѣть всякую фальшь и смѣло назвать ее фальшью, былъ конечно благородный и глубокомысленный авторъ «философскихъ писемъ», П. Я. Чаадаевъ, строгій, послѣдовательный, безукоризненно-честный мыслитель — столь же безтрепетный передъ крайностями той мысли, которая казалась ему правдой, какъ передъ ударами и шутками судьбы, хотя бы удары ея были удары немаловажные, а шутки — печальныя шутки!

## II.

Чтобы понять значеніе чаадаевского отрицанія въ ту эпоху и самое значеніе ея для послѣдующаго процесса нашего сознанія — необходимо разяснить, что именно разбито было отрицаніемъ.

Карамзинскія литыя формы, принятія на вѣру «романтически-народною» эпохою, разлившіяся на огромное количество историческихъ драмъ, въ которыхъ кобенились Минины и хвастали Ляпуновы, и историческихъ романовъ съ изображеніями предковъ, снятыми прямо съ кучеровъ ихъ потомковъ, — формы, тяготѣвшія надъ эпохою даже и тогда, когда она думала съ ними бороться (въ лицѣ Полеваго), образовывали извѣстное міросозерпаніе, давали извѣстное слово для объясненія нашей сущности, нашей народности...

Какъ только слово это признано было фальшивымъ словомъ правдивою отрицательною натурою, оно стало для нея ненавистнымъ и враждебнымъ, какъ всякая ложь. Чаадаевъ, какъ теоретикъ, не понялъ только



одного,—что сама народность нисколько не виновата въ ея фальшивыхъ представленіяхъ.

Не поняла этого и вся его школа, т. е. западничество. Совершенно правый въ отрицаніи фальшивыхъ представленій о нашей народности, взглядъ Чаадаева не могъ остановиться на одномъ этомъ отрицательномъ пунктѣ. Въмѣсто того, чтобы сказать какъ аналитикъ: «Русская жизнь, какъ и русская исторія, не подходятъ подъ тѣ рамки общеевропейской жизни и общеевропейской исторіи, подѣ какія подвелъ ихъ Карамзинъ: слѣдуетъ поэтому поискать въ русской жизни и въ русской исторіи особенныхъ свойствъ и законовъ, на основаніи которыхъ выведены будутъ или положительныя различія, или болѣе правильныя аналогіи съ европейской жизнью и европейской исторіей»,—Чаадаевъ прямо сказалъ, что въ нашей жизни и исторіи нѣтъ никакой аналогіи съ общечеловѣческимъ, законнымъ развитіемъ, что мы какіе-то илоты, выбранные судьбою для указанія: что можетъ быть съ племенами, отпадшими отъ цѣлости, отъ единства съ челоуѣчествомъ.

Но обвинять Чаадаева за его выводъ можно только въ увлеченіи слѣпago фанатизма; требовать отъ него спокойнаго разъясненія вопроса, который былъ для него не мозговымъ, а сердечнымъ вопросомъ, могло развѣ одно тупоуміе «Маяка» и другихъ мрачныхъ изданій, въ его время, впрочемъ, и не существовавшихъ.

Помимо того обстоятельства, что для Чаадаева идея единства челоуѣчества облечена была въ красоту и величіе католицизма, которыми увлекся онъ тѣмъ сильнѣе, что, челоуѣкъ съ жаждою вѣры, онъ воспитаніемъ своимъ былъ совершенно разобщенъ съ бытомъ своего народа, такъ-сказать прельщенъ католицизмомъ и его идеалами—какъ вообще нѣкоторые изъ людей его сословія нерѣдко бывали, и доселѣ еще бываютъ «прельщены» даже въ наше время; помимо, говорю я, этого чисто-личнаго и сословнаго обстоятельства, онъ, какъ натура правдивая и честная, былъ глубоко возмущенъ тѣми послѣдствіями, которые вытекали изъ блестящихъ фальшивыхъ формъ Карамзина, міросозерцаніемъ «романтически-народной эпохи».. Удержаться въ границахъ, какъ Пушкинъ, онъ не могъ: онъ обладалъ только отрицательной стороною пушкинскаго духа, а не носилъ въ себѣ, какъ нашъ великій поэтъ, непосредственнаго чутья народности.

Міросозерцаніе же «романтически-народной эпохи», какъ только дитя карамзинскія формы размѣнялись на мелочь историческихъ романовъ и историческихъ драмъ, оказывалось или дѣтски-смѣшнымъ и жадкимъ, или даже оскорблявшимъ всякое, на извѣстной высотѣ стоящее сознаніе и всякое правильно воспитавшееся челоуѣческое чувство.

Дѣятели этой эпохи—наиболѣе пользовавшіеся успѣхомъ въ массѣ публики, за исключеніемъ блестяще-даровитаго и энергическаго Марлинскаго, которому только недостатокъ *мъры* и вкуса препятствовалъ быть однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей—были М. Н. Загоскинъ, Н. А. Полевой, И. И. Лажечниковъ и впоследствии Н. В. Кукольникъ.

М. Н. Загоскинъ, какъ человекъ—одно изъ отраднѣйшихъ явленій нашего стараго быта, натура въ высшей степени нѣжная и добродушная, хотя и ограниченная—пользовался какъ романистъ успѣхомъ, въ наше время и съ нашей точки зрѣнія совершенно невѣроятнымъ и необъяснимымъ... Чтò можетъ быть безцвѣтнѣе и сахарнѣе по содержанію, смѣшнѣе и жалостнѣе по выполненію, ходульнѣе и вмѣстѣ слабѣе по представленію грандіозныхъ народныхъ событій,—«Юрія Милославскаго»? Вѣдь этой книги въ наше время и дѣтямъ, право, давать не слѣдуетъ, чтобы не испортить ихъ вкуса! Непроходимая пошлость всѣхъ чувствъ, даже и патріотическихъ, фамусовское благоговѣніе передъ всѣмъ существующимъ—даже до кулака, восторженное умиленіе передъ тѣми сторонами стараго быта, которыя были недавно и правдиво казнены великимъ народнымъ комикомъ Грибоѣдовымъ, не китайское даже, а звѣрское отношеніе во всему нерусскому, безъ малѣйшаго знанія настоящаго русскаго, рѣчь дворовой челяди вмѣсто народной рѣчи, съ прибавкою нѣсколькихъ выраженій, подслушанныхъ у ямщиковъ на станціяхъ—вотъ черты другого его романа, «Рославлевъ», романа, который будетъ, впрочемъ, безсмертенъ по безсмертному отрывку Пушкина. Чѣмъ дальше шель покойный Загоскинъ въ своей дѣятельности, чѣмъ больше писалъ онъ, тѣмъ все ярче и ярче выступали въ произведеніяхъ его черты невѣжественнаго барства и умиленія передъ пошлостью добраго стараго времени...

Когда это старое время являлось подъ могучею кистью художника какъ Пушкинъ, художника, сочувствовавшаго ему вполне, даже до аристократической гордости, выразившейся въ «Родословной», по изображавшаго его объективно спокойно, безъ любимой докрины,—оно не возбуждало ненависти и негодованія. Не возбудило оно также ненависти, когда «Семейная хроника» Аксакова изобразила его какъ живое, съ полной свѣжестью красокъ и во всѣхъ подробностяхъ... Но всѣмъ тѣмъ, которые въ наше время не поймутъ уже благородной рѣзкости Чаадаева, ненависти Вѣлинскаго и послѣдовательности западниковъ, можно посоветовать прочесть или перечесть романы покойнаго Загоскина.

Да! если бы народность наша была тѣмъ, чѣмъ является она въ этихъ произведеніяхъ, она не стоила бы того, чтобы о ней серьезно и

думать—ибо это была бы народность Фамусовыхъ, «Маяка» и «Домашней Бесѣды»..

Странное дѣло, что хотя и карамзинскія формы представленія народности послужили исходнымъ пунктомъ дѣятельности покойнаго М. Н. Загоскина, но было бы крайнею несправедливостью въ отношеніи къ великому человѣку, каковъ былъ Карамзинъ, считать его виноватымъ въ этой дѣятельности. «Марѳа Посадница» Карамзина, не смотря на холодность и ложь—имѣеть въ себѣ что-то человѣческое и благородное, и при всемъ отсутствіи пониманія народности, не клеветаетъ такъ на народъ, какъ сцены въ Нижнемъ «Юрія Милославскаго», или сцены въ Москвѣ 1812 г. «Рославлева»... Даже то сентиментальное и смѣшное, что есть въ «Натальѣ боярской дочери», не такъ оскорбляетъ чувство, какъ объясненія Юрія съ Анастасіей послѣ ихъ внезапнаго бракосочетанія, отчего, какъ отъ фальши, краснѣешь по народному чувству, точно такъ же, какъ краснѣешь по изящному или нравственному чувству отъ различныхъ водевилей Александринской сцены..

А вѣдь это все выдаваемо было намъ за народность! Всѣмъ этимъ хотѣли намъ сказать, что вотъ такъ-деската русскій человѣкъ вѣрять, любить, дѣйствуетъ... Бѣдный русскій человѣкъ! Его показывали намъ или нравственнымъ евнухомъ, или дворовымъ скоморохомъ,—или Юриемъ Милославскимъ, или Торопкой Голованомъ!..

Да не обвинять меня въ излишнемъ, несвоевременномъ озлобленіи на такой способъ представленія народности.. Я пишу не о Загоскинѣ въ частности, который былъ человѣкъ безспорно даровитый и, какъ многіе люди конца XVIII и начала XIX вѣка, гораздо болѣе замѣчательный, чѣмъ его произведенія; я пишу о томъ направленіи, которое вызвало (и не могло не вызвать) сильное и энергическое противодѣйствіе западничества, противодѣйствіе такихъ великихъ въ исторіи нашего развитія дѣятелей, каковы были Чаадаевъ, Бѣлинскій, Грановскій и нѣкоторые другіе. У Загоскина, тамъ, гдѣ онъ пишетъ безъ претензій на доктрину, есть вещи наивныя, восхитительно-милыя, весело-добродушныя, даже—что удивительно въ особенности—человѣчески-страстныя (рассказъ о молодости героя въ «Искусителѣ»). У него былъ и комическій талантъ—небольшихъ, конечно, размѣровъ—и добродушный юморъ, и жаръ увлеченія, и даже, пожалуй, своего рода поэтическая манера, но дѣло—повторяю—вовсе не въ немъ, а въ его направленіи, въ его взглядѣ на жизнь, въ его представленіи народности.

Взглядъ на народность Полеваго имѣлъ одно только отрицательное значеніе. Какъ только обстоятельства заставили его обратиться къ положительной сторонѣ, эта положительная сторона явилась у него еще

болѣе пошлою, чѣмъ у Загоскина. Въ эпоху же письма Чаадаева, отрицательная дѣятельность Полеваго только-что кончилась, положительная же еще не начиналась.... Его историческія повѣсти (Симеонъ Кирдяпа) и романъ (Клятва при гробѣ Господнемъ), производили только много шума при своемъ появленіи, но въ сущности не давали ничего опредѣленнаго, и только дразнили, какъ все отрицательное.

Положительная сторона пониманія народности высказывалась только въ Загоскинѣ.

Я сказалъ уже, что положительная сторона эта была послѣдствіемъ карамзинскихъ формъ, но послѣдшилъ оговориться, что она стояла несравненно ниже этихъ формъ, ниже и въ своихъ общественныхъ и даже въ своихъ нравственныхъ стремленіяхъ. Общественныя стремленія этой высказавшейся тогда положительной стороны—рѣшительно нельзя назвать иначе, какъ фамусовскими съ одной стороны, и бурачковскими съ другой.

Представьте себѣ русскій бытъ и русскую исторію съ точки зрѣнія Павла Аванасевича Фамусова и «Маяка» или «Домашней Бесѣды»,—вы получите совершенно вѣрное, нисколько даже не каррикатурное понятіе о взглядѣ загоскинскаго направленія на бытъ предковъ и бытъ народа. Любовь къ застою и умиленіе передъ застоємъ, лишь бы онъ былъ существующимъ фактомъ, китаизмъ и исключительность въ пониманіи народнаго развитія, взглядъ на всякій протестъ какъ на злодѣяніе и преступленіе, *vae victis* (горе побѣжденнымъ), проведенное повсюду, признаніе заслуги въ одной покорности, оправданіе возмутительнѣйшихъ явленій стараго быта, какое-то тупо-добродушное спокойствіе и достоятельность въ изображеніи этихъ явленій (Кузьма Петровичъ Миропшевъ),—вотъ существенныя черты загоскинскаго общественнаго взгляда, взгляда съ исторической точки зрѣнія весьма важнаго, интереснаго и поучительнаго, тѣмъ болѣе, что онъ высказывался въ дѣятельности одного изъ любимѣйшихъ писателей, одного изъ благороднѣйшихъ людей....

Знаю, что ужасъ и, пожалуй, негодованіе возбудитъ мой рѣзкій взглядъ на дѣятельность Загоскина во множествѣ людей, которыхъ благороднымъ стремленіямъ, не во всемъ соглашаясь съ ними, многіе глубоко сочувствуютъ,—въ славянофилахъ.... Славянофилы почему-то причисляютъ Загоскина къ своимъ. Но вѣдь они причисляютъ къ своимъ же и адмирала Шишкова,—а отъ адмирала Шишкова (какъ писателя, а не какъ человѣка, конечно) до г. Бурачка съ его «Маякомъ», и даже «Домашней Бесѣды» одинъ только шагъ!.. Загоскинъ, опять повторю, былъ лицо достойное поднаго уваженія; но что же общаго въ его обществен-

номъ и нравственномъ взглядѣ съ взглядомъ Хомякова, Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ и другихъ истинныхъ представителей славянофильства?... Для славянофиловъ «народъ» былъ вѣрованіемъ, для нихъ народъ былъ, по выраженію Аксакова (К. С.), «величайшимъ художникомъ, поэтомъ и даже мыслителемъ (чего, впрочемъ, они не договаривали); народъ, въ драмѣ-лѣтописи Аксакова «Освобожденіе Москвы» являлся единственнымъ героемъ, и всѣ другіе дѣятели ставятся на высшій или низшій пьедесталъ по степени болѣе или менѣе безличности, отождествленія съ народомъ... Для Загоскина же и того направленія, котораго онъ былъ даровитѣйшимъ представителемъ въ литературѣ, въ народѣ существовало одно только свойство—смиреніе. Да и притомъ самое смиреніе вовсе не въ славянофильскомъ смыслѣ полнѣйшей *общинности* и *законности*—а въ смыслѣ простой бараньей покорности всякому существующему факту. Стоитъ только припомнить, напримѣръ, съ какою безцеремонностью изображаетъ въ «Брянскихъ лѣсахъ» покойный романистъ Андрея Девисова и его клеветовъ; изображеніе это нисколько не уступаетъ лубочнымъ изображеніямъ въ промышленныхъ романахъ г. Масальскаго, нисколько не выше ихъ по непристрасію, только гораздо наивнѣе... А между-тѣмъ, мы въ недавнія времена видѣли весьма странное явленіе, видѣли какъ даровитый и добросовѣстный Щедринъ повелъ было комически разсказъ о Марѣ Кузьмовнѣ и другихъ прикосновенныхъ къ ея дѣлу лицамъ, доводящихся нѣсколько съ родни по нисходящей линіи лицамъ, изображеннымъ нѣкогда г. Загоскинымъ и г. Масальскимъ, — а закончилъ разсказъ, можетъ-быть помимо воли своей и желанія, вовсе ужъ не комически. Такъ какъ же намъ теперь-то, во времена болѣе правильныхъ отношеній къ народности, смотрѣть на общественныя стремленія того направленія, котораго Загоскинъ былъ представителемъ, иначе, нежели я вынужденъ былъ взглянуть съ исторической точки зрѣнія, иначе, чѣмъ Чаадаевъ взглянулъ нѣкогда съ точки зрѣнія своихъ идеаловъ и своихъ вѣрованій?...

Еще разъ: если бы такова была наша народность съ ея бытомъ и исторіею, какою является она во взглядѣ этого направленія, Чаадаевъ былъ бы совершенно правъ во всѣхъ безпощадныхъ послѣдствіяхъ своей мысли. Право было бы совершенно и западничество.

Загоскинъ же первый выдвинулъ своею дѣятельностью «семейное начало», эту альфу и омегу нравственной пропаганды славянофильства. Опять-таки, прежде всего—эта альфа и омега славянофиловъ вовсе не то, что у Загоскина; но въ настоящую минуту я имѣю дѣло съ пониманіемъ семейнаго начала тѣмъ направленіемъ, котораго литературнымъ представителемъ былъ Загоскинъ. Это пониманіе вызвало—шутка

Триплетъ  
Алексіи и  
Мари  
и  
Василии

сказать! — оппозицію литературы сороковых годовъ, литературы специально отрицавшей и специально подрывавшей семейное начало, оппозицію которой не возбудили же ни понимание Пушкина (въ «повѣстяхъ Бѣлкина», «Капитанской дочкѣ», «Дубровскомъ» и множествѣ отрывковъ), ни понимание Аксакова (въ «Семейной хроникѣ»), ни понимание Островскаго во второй, чисто-положительной полосѣ его дѣятельности («Бѣдная цѣлѣста», «Не въ свои сани не садись», «Бѣдность не порокъ», «Не такъ живи какъ хочется»), а если временно и возбуждали (какъ напримѣръ Островскій, на счетъ котораго еще до сихъ поръ не успокоились С.-Петербургскія Вѣдомости), то только по старымъ враждамъ и ненавистямъ къ пониманію загоскинского.

Это же пониманіе, теперь только смѣшное, могло дѣйствительно возбудить оппозицію фанатически-враждебную, и слава Богу, что возбудило такую оппозицію. Девизъ этого пониманія былъ тотъ же, что и девизъ пониманія общественнаго: умиленіе передъ тупою покорностью, стало быть — *eo ipso* — совершенно спокойное отношеніе ко всякому самодурству... Не народности, а татарщины искало въ нашемъ быту это пониманіе. Не надобно упускать изъ виду еще и того обстоятельства, что нашей «романтически-народной эпохѣ» данъ былъ толчокъ извнѣ Европою въ лицѣ Вальтера Скотта, какъ впоследствии нашей пейзажной литературѣ былъ данъ толчокъ тоже извнѣ, романами Занда. Великій шотландскій романистъ или, какъ звали его въ ту эпоху, шотландскій бардъ — что грѣха таить? — своимъ личнымъ міросозерцаніемъ весьма приходился по плечу въ тѣ времена. Всѣ мы читали его, всѣ мы зачитывались имъ, но, конечно, до смѣлой и правдивой статьи о немъ Карлейля не смѣли бы даже доселѣ подумать отнять у него званіе «великаго поэта»; а если бы и посмѣли, то это вышло бы также дико и неловко заносчиво, какъ наше отреченіе отъ Гюго и Бальзака. Теперь же можно смѣло да и впору сказать, что великая объективность шотландскаго историка-романиста постоянно выше его міросозерцанія, крайне мѣщанскаго и узкаго, по скольку это міросозерцаніе выражается въ его любимыхъ герояхъ и героиняхъ... Мы и прежде, конечно, чувствовали, что насъ увлекаетъ въ Вальтеръ Скоттъ высокая объективность изображенія, а вовсе не его герои (за исключениемъ немногихъ), не лица, которыми онъ явно симпатизируетъ, скорѣе даже именно тѣ лица, которыя являются у него *типичными* лицами. Напомню читателямъ для ясности дѣла три его романа, — будетъ и этихъ, потому что ихъ они, вѣроятно, читали, — именно: *Айвенго*, *Преданіе о Монтрозѣ* и *Морского разбойника*. Айвенго самъ напримѣръ, отнимите только у него поэзію западнаго рыцарства, выйдетъ пошль, какъ Юрій Милославскій; равно какъ и леди

Ровена, его возлюбленная,—скучна своею добродѣтелью до какой-то gai-deur, до чопорности. Весь интересъ вашъ, сильно возбуждаемый обстановкой шотландскаго быта, рыцарскихъ турнировъ и проч., прикуется нравственно къ жиду и его дочери, да къ грѣшному и страстному храмовнику, которому предпочесть Айвенго прелестная Ребекка могла только по добродѣтели автора.... Въ «Преданіи о Монтрозѣ» вы полюбите всей душою оригинальнѣйшую фигуру сэра Далджетти, и приеуетесь невольно къ мрачному образу Олена Макъ Олея, такъ удивительно отбѣняющему свѣтлый очеркъ Аннетты Ляйлъ, а о существованіи достопочтеннаго юнаго джентльмена лорда Ментейта совсѣмъ даже и забудете. Въ «Морскомъ разбойникѣ», этотъ интимнѣйшемъ произведеніи великаго романиста, этомъ живомъ до малѣйшихъ подробностей изображеніи особеннаго мірка шетлендскихъ острововъ,—мірка, воспроизведеннаго во всѣхъ его комическихъ и грандіозно-фантастическихъ особенностяхъ,—вы увлечетесь живой дѣйствительностью, чуть-что не осязаемой, а интересъ вашъ приеуется опять-таки не къ добродѣтельному юношѣ Мертену и безкровной Бланкѣ, а къ грѣшному капитану Клевеленду и къ поэтической Миннѣ, да къ сѣдой полусумасшедшей старухѣ Норнѣ, заклинательницѣ стихій и вѣтровъ....

Если бы великой объективности, объективности притомъ въ изображеніи цѣлаго міра чудесъ, міра роскошной западной жизни, да этихъ грѣшныхъ и страстныхъ, или грѣшныхъ и комическихъ фигуръ не было у Вальтеръ Скотта, его бы давно бросили читать, какъ романы Загоскина....

Представьте же мѣщанство вальтеръ-скоттовскаго семейнаго созерцанія, перенесенное на скудную и однообразную почву не русскаго, а русско-татарскаго быта; представьте талантъ съ самою малою степенью объективности, талантъ владѣющій только однимъ качествомъ—наивностью, и, даже не читавши, или не перечитывавши Загоскина, вы легко выведете послѣдствія.... Пошлость, пошлость и пошлость одолѣетъ васъ, и изъ всей этой апотеозы тупой семейной покорности выведете вы логически только одно—необходимость ранняго появленія комизма въ нашемъ развитіи, необходимость бича кантемировскаго и фонъ-визинскаго на тупоуміе и ханжество, пламенно-лирической сатиры Грибоѣдова на хамство, сворбнаго и безпощаднаго смѣха Гоголя надъ всякой ложью, общественной ли («Ревизоръ», «Утро дѣловаго человѣка»), или семейной («Отрывокъ»), глубоко захватывающаго спокойнаго представленія самодурства во всѣхъ родахъ его и видахъ Островскимъ.... поймете всѣ крайности оппозиціи литературы сороковыхъ годовъ, болѣзненные вопли натурализма изъ темныхъ и невѣдомыхъ міру угловъ, безтрепет-

ную анатомію романа «Кто виноватъ», ожесточеніе до пѣны у рта Вѣлинскаго....

А прежде всего вы поймете значеніе чаадаевскаго письма и великое значеніе западничества, со всеѣми его послѣдствіями, въ нашемъ развитіи

### III.

Письмо Чаадаева не вдругъ и не прямо принесло все свои плоды. Первоначально, оно надѣлало только шуму и скандалу своими страшно-рѣзкими положеніями, и только черезъ пять лѣтъ отдалось въ нашемъ умственномъ сознаніи рядомъ явленій, связанныхъ одною мыслью, бывшихъ результатомъ одного процесса... И понятно, что школа, доктрина, образовалась не вдругъ, равно какъ понятно и то, что доктрина провела мало по малу все рѣзкія положенія, высказанныя заразъ смѣлымъ теоретикомъ, но провела ихъ совершенно изъ другихъ основъ. Основа Чаадаева былъ католицизмъ, основой западничества стала философія.

Дѣло шло постепенно... Въ самой эпохѣ, присвоившей себѣ тогда названіе «романтически-народной», были уже элементы разложенія. Я разсмотрѣлъ одну сторону ея — направленіе, которое искреннѣйшимъ образомъ выразилось въ Загоскинѣ и его дѣятельности...

Въ отрицательныхъ стремленіяхъ Полеваго, не смотря на то, что стремленія эти не выразились ни въ какихъ опредѣленныхъ формахъ, заключался уже однако протестъ противъ господствовавшаго тогда взгляда на народъ, на его бытѣ и исторію. Протестъ этотъ шевелилъ нѣсколько умы, имѣлъ, не смотря на свою безосновность съ одной стороны, и на свою наглуго заносчивость съ другой, достаточное количество приверженцевъ. Отъ этого протеста ждали чего-то, ждали въ особенности умы молодые и притомъ мало знакомые съ наукой, умы, которые и учиться-то собственно начали по *Телеграфу* Полеваго... Дождались въ послѣдствіи «Купца Иголкина» и «Параши Сибирячки», но именно этихъ-то послѣдствій никакъ не ожидали, и тѣмъ менѣе могли ихъ предвидѣть... Ожиданіе не было разочаровано даже появленіемъ «Исторіи Русскаго Народа» и романа «Клятва при гробѣ Господнемъ». Полевой былъ самоучка, Полевой былъ человекъ въ народа; и самоучки, изъ которыхъ болѣею частью состояла тогда наша публика, охотно прощали ему и пробѣды его насоро нахватаннаго образованія, и его самохвальство, за что-то таинственное въ будущемъ, чего отъ него ожидали... Надобно сказать, что неумѣренный, можно сказать неблагопристойный тонъ антагани-



ствоъ Полеваго, даже ученѣйшихъ и даровитѣйшихъ, каковы были Надеждинъ и Погодинъ, много содѣйствовалъ тому, что сочувствіе большинства читателей было на сторонѣ Полеваго. Совершенно правые въ разоблаченіи-бесосновности и наглости отрицанія Полеваго; противники его были неправы въ томъ, что не видали необходимости отрицанія карамзинскихъ формъ пониманія быта и исторіи народа, стояли за эти формы, какъ за какую-то неприкосновенную святиню, когда явнымъ образомъ сознание этими формами уже не удовлетворялось, когда эпоха явно искала чего-то иного, искала тревожно, и встрѣчала сочувствіемъ отрицательныя стремленія. Они сами, какъ тогда, такъ и впоследствии—ревностные поборники народности, не могли и не хотѣли понять, что протестъ законный заявлялъ себя въ самомъ названіи своей исторіи Полевымъ «исторіею русскаго народа». Они, даже нѣсколько недобросовѣстно, увлеченные враждою въ Полевому и пристрастіемъ къ старому идолу, видѣли даже и въ этомъ названіи одинъ расчетъ, одну спекуляторскую продѣлку, тогда какъ оно несомнѣнно родилось подъ влияніемъ духа протеста... Полевой владѣлъ безспорно чуткостью и отзывчивостью на вопросы своего времени, чуткостью и отзывчивостью замѣчательными, и для того, чтобы быть истинно великимъ дѣятелемъ въ исторіи нашего развитія, ему не доставало одного только—глубокаго и пламеннаго убѣжденія. Онъ угадалъ, что эпохѣ нужно было отрицаніе, но не пошелъ смѣло за эпохою, какъ пошелъ смѣло Бѣлинскій, и потому не овладѣлъ эпохою, какъ овладѣлъ ею Бѣлинскій..

Эпоха не была народною, но за то дѣйствительно была вполне «романтической»; т. е. эпохою чаяній, тревожныхъ порываній къ чему-то, броженія силъ и даже безцѣльной траты ихъ... Три высокихъ таланта были жертвами этого броженія и этой безцѣльной траты силъ: Марлинскій, Полежаевъ, Мочаловъ... Это было можетъ-быть то въ нашемъ развитіи, что у нѣмцевъ такъ-называемый Sturm-und Drang-Periode, періодъ разбойниковъ Шиллера, драмъ Клингера и безобразной жизни юнаго Гете съ другомъ его Веймарскимъ герцогомъ,—только, по нашему болѣе живому характеру, несравненно сильнѣе и нелѣпѣе. У нѣмцевъ иное дѣло мысль, а иное дѣло жизнь: Кантъ и Гегель были самыми спокойными гелертерами, даже въ нѣкоторомъ отношеніи филистерами; мужество и старость Гете не похожи были на его юность, и изъ всего кружка этихъ буйныхъ юношей, только одинъ Мефистофель Меркль кончилъ самоубійствомъ, да Шиллеръ рано умеръ, «съ горя, что онъ нѣмецъ»; какъ выразился одинъ оригинально-умный російскій циникъ. Но у насъ романтизмъ и тревога отражались въ цѣлой жизни лицъ и даже поколѣній, ложившихся въ могилу такими же, какими

были въ колыбели. Мы свято вѣрили въ то, что для нашихъ старшихъ на пути развитія братій было только броженіемъ умственнымъ, и прямо, нисколько не волебаясь, ни передъ чѣмъ не останавливаясь, переводили въ жизнь идеи, часто даже плохо ихъ переваривши...

Колоссальные замыслы, тревожные сны и—въ дѣйствительности—паденіе въ грязь цинизма, какъ Полежаевъ, или въ совершенно пустыя пространства, какъ Марлинскій, донъ-кихотство, принимавшее не разъ восточную и притомъ татарскую фізіономію, истощеніе жизненныхъ силъ не въ борьбѣ, а въ праздномъ дилеттантизмѣ, въ празднои игрѣ жизнью, вотъ что отличало въ эту эпоху натуры дѣйствительно могучія. Но болѣзнь напряженности нравственной распространялась какъ зараза, и не однѣ могучія натуры ей подвергались, а всѣ натуры сколько нибудь впечатлительныя, хотя и слабыя. На ихъ долю выпадала ходульность и потомъ паденіе въ пошлость жизни, въ пошлость созерцанія жизни...

Странно, что Полевой, одинъ изъ блестящихъ двигателей эпохи—подвергся послѣдней участи, и самъ засвидѣтельствовалъ ее въ знаменитомъ эпилогѣ своего романа: «Аббадонна».

Въ романтизмѣ этой эпохи именно нужно различать два направленія. Одно заявляло себя могучими силами, необузданными стремленіями, колоссальными замыслами, и давало подчасъ свидѣтельства очевидныя и несомнѣнныя присутствія въ себѣ такихъ свойствъ. Литературно-выразилось оно въ Полежаевѣ и Марлинскомъ. Другое постоянно напрягалось и падало въ смѣшное или пошлое, какъ Полевой и Куосль-никъ. Первое направленіе само себя разрушало, само себя сжигало, но сжигало какъ фениксъ, возродилось яркимъ, хотя быстро промелькнувшимъ явленіемъ, явленіемъ Лермонтова; ибо всѣ тѣ элементы, которые тревожно и часто безобразно бушевали и бродили въ гениальныхъ проблескахъ Полежаевского таланта, въ Амалать Бекѣ, Красномъ Покрывалѣ, даже Мулла-Нурѣ и Вадимовѣ Марлинскаго, получили цѣлостъ и гармонію въ немногихъ оставшихся намъ созданіяхъ великаго, рано похищеннаго у насъ ровомъ поэта, — и нѣтъ поводовъ думать, чтобы элементы эти закончили совсѣмъ свое дѣло, чтобы они вновь не возродились въ иномъ великомъ поэтѣ. Они были и въ Пушкинѣ, но онъ держалъ стихи въ рукахъ, какъ великій заклинатель; они составляютъ существенныя наши свойства, и лишать насъ ихъ можетъ только развито направленіе мысли, которое на всякій протестъ и на всякую страстность смотритъ какъ на зло и преступленіе.

Другое направленіе романтизма выразилось въ литературѣ нашей исключительно, кажется, для того, чтобы надъ нимъ, какъ надъ всѣмъ

ложнымъ, посмѣялся своимъ горькимъ смѣхомъ Гоголь; да развѣ для того еще, чтобы оппозиціи западничества, враждебно борющейся съ мракобѣсіемъ самодурства и тупоумной покорностью—было надѣ чѣмъ позабавиться. Какъ ложь оно исчезло безъ слѣда съ своими непонятными поэтами Рейхенбахами, кончающими свои похождения мѣщанскимъ благополучіемъ во вкусѣ Августа Лафонтена, и съ своими итальянскими художниками и импровизаторами, заговаривающимися до «младенческой»,—со всѣми своими бурями въ стаканѣ воды... Въ сущности, говоря серьезно, всѣ эти Рейхенбахи, Тассы, Доменинины, Нино-Галлуріи съ ихъ «разгулами жизни» и съ аркадскими сценами плетенія корзинокъ для пастушекъ—содѣйствовали къ отрезвленію нашему отъ всего «напущеннаго» на насъ и возбудили въ литературѣ не только горькій смѣхъ Гоголя, но спокойную и здоровую оппозицію здраваго смысла и житейскаго такта, оппозицію, заходившую иногда и за границы въ сухо-резонерныхъ постройкахъ произведеній яркаго таланта г. Гончарова,—въ слишкомъ низменномъ подчасъ уровнѣ жизненнаго взгляда, выражающагося въ кряпко-дѣйствительныхъ произведеніяхъ г. Писемскаго,—въ крайностяхъ того психическаго анализа, которымъ такъ сильны и такъ совершенно новы рассказы гр. Толстаго... Ложь на дѣйствительность, ложь ничѣмъ не оправдывавшаяся, ни искренностью страстныхъ порывовъ, ни броженіемъ могучихъ силъ, ложь бессильная и потому смѣшная, вызвала требованіе правды въ изображеніи дѣйствительности, правды во что бы то ни стало, хотя бы сухо-практической и разсудочной, стало-быть односторонней («Обыкновенная исторія»), хотя бы низменно и даже подчасъ пошло житейской («Тюфякъ», «Бракъ по страсти») — хотя бы неумолимой и погрязающей въ безвыходномъ анализѣ, приводящемъ въ концѣ концовъ къ апатіи (Толстой).

Между тѣмъ это самое направленіе, бессильное и бесплодное, обязанное какимъ-либо значеніемъ только оппозиціи имъ возбужденной, это направленіе устремляется тоже на русскій бытъ, на русскую исторію, на русскую народность.

И вотъ въ чемъ была ошибка западничества. Мрачную доктрину добродушнаго Загоскина считало оно за народное созерцаніе; клеветы на народность драмъ Кукольника и Полеваго за выраженіе народности...

Хотя нѣсколько и смѣшно по поводу драмъ Полеваго и Кукольника говорить о судьбѣ нашей исторической драмы, но когда припомнимъ эти факты, еще не слишкомъ давніе, факты, не болѣе какъ лѣтъ за пятнадцать назадъ, и даже еще менѣе, подававшіе поводъ къ толкамъ весьма серьезнымъ о невозможности русской исторической драмы, о недостаткѣ драматизма въ самой нашей исторіи и бытѣ; когда

подумаемъ, что и въ настоящую минуту этотъ вопросъ далеко еще не рѣшенъ, и по временамъ рѣшается еще по старому, — необходимость остановиться нѣсколько на драматической дѣятельности покойнаго Полеваго и г. Кукольника, равно какъ и вообще на фальшивомъ направленіи отъ нихъ происшедшемъ становится очевидно.

Вопросъ вовсе не маловажный, — можемъ-ли мы или нѣтъ имѣть историческую драму въ настоящемъ смыслѣ? Что до сихъ поръ мы ея не имѣли кромѣ очерковъ Пушкина, да третьяго акта «Псковитянки» Мея — это фактъ, и фактъ, который велъ западничество къ прямому заключенію объ отсутствіи драматическаго движенія въ нашемъ историческомъ быту, къ заключенію, изъ котораго непосредственно вытекало другое, о невозможности иного, кромѣ отрицательнаго, комическаго изображенія нашего быта вообще.

Заключенія же выведены были изъ неудачныхъ и смѣшныхъ попытокъ изображенія.

Смѣшная сторона нашего романтизма, выразившаяся въ разныхъ «Доменикинахъ» и «Джуліо Мости» г. Кукольника, въ разныхъ поэтахъ, художникахъ, мечтателяхъ Полеваго, не довольствовалась «изображеніемъ итальянскихъ страстей на сѣверѣ», и перенесла свои бури въ стаканъ воды на почву русской исторіи и вообще русскаго быта.

Какъ въ большей части явленій нашей литературы, толчокъ былъ данъ извнѣ — подражаніемъ французамъ и нѣмцамъ, которые въ тридцатыхъ годахъ (а нѣмцы еще прежде) усиливались создать у себя историческую драму, и создавали только или гениальные парадоксы въ драматической формѣ, какъ Викторъ Гюго, или сумасшедшіе сны, какъ Захарія Вернеръ, или наконецъ пошлости, какъ Раупахъ — и много-много что искусныя мозаическія этюды, какъ Просперъ Мериме въ своей «Жакеріи».

Историческая драма въ настоящемъ ея смыслѣ была не у многихъ народовъ, а именно до сихъ поръ во всей исторіи человѣчества только у трехъ народовъ — у грековъ, у англичанъ и у испанцевъ.

Потому что возможность настоящей исторической драмы обуславливается не одною гениальностью поэтовъ народныхъ, а историческими судьбами народовъ и извѣстными эпохами.

Драма вообще (трагедія или комедія — это все равно), если смотрѣть на нее серьезно, есть не что иное, какъ публичный культъ, совершаемый народной сущности, общественное богослуженіе; позволяю себѣ выразиться такъ, употребляя слово богослуженіе въ языческомъ смыслѣ. Тѣмъ болѣе историческая драма. Драматургъ народный, тѣмъ болѣе драматургъ историческій, долженъ соединять въ себѣ два повидному

несоединимыя свойства: глубочайшее прозрѣніе жизни, прозрѣніе мудреца, съ совершенно непосредственнымъ, нетронутымъ, никакой рефлексіей неподорваннымъ міросозерцаіемъ, отождествленнымъ съ міросозерцаіемъ своего народа; однимъ словомъ быть жрецомъ, который вѣруеть въ своихъ боговъ и котораго не заподозрѣваетъ поэтому масса въ искренности его служенія, и вмѣств—учащимъ массу, представляющимъ вершину ея міросозерцаія...

Ясное дѣло, что для такого жречества мало одной геніальности и богатства натуры въ жрецѣ. Ни Байронъ, ни Мицкевичъ, напримѣръ, не смотря на свою геніальность, не могли быть такими жрецами; ни великій Шиллеръ даже не могъ быть вполне такимъ жрецомъ, хотя вовсе не потому, что газета «Вѣкъ» изъясняетъ къ нему, какъ къ поэту, мало сочувствія; ни олимпіецъ Гете,

Жизнью вполне отдышавшій

И въ звучныхъ глубокихъ отъѣвахъ сполна

Все дальнее долу отдавшій.

Такими жрецами только были мистагогъ Эсхиль, разоблачавшій тайны мистерій въ Прометей, съ «пчелой» народною Софокломъ, инквизиторъ Кальдеронъ и комедіантъ Шекспиръ. Такими жрецами могли быть Дантъ и Пушкинъ, но не были: одинъ былъ озлобленъ въ своихъ вѣрованіяхъ, другой не зналъ предѣловъ своихъ вѣрованій.

Для исторической драмы есть особенные народы, именно такіе, у которыхъ мысль не разъединена съ дѣломъ, а непосредственно въ него переходитъ, у которыхъ искусство идетъ объ руку съ жизнію, а не впереди ея, какъ у насъ и нѣмцевъ, и не позади ея, какъ шло нѣкогда у французовъ. И кромѣ того, въ жизни этихъ народовъ для исторической драмы есть особенныя эпохи—эпохи, когда великія общенародныя событія только-что отошли на такое приличное разстояніе, что могутъ быть созерцаемы и изображаемы, но не ушли уже такъ далеко, чтобы одѣться для массы туманомъ, чтобы быть забытыми до утраты къ нимъ кровнаго, непосредственнаго сочувствія, кровной, непосредственной съ ними связи. Надобно, чтобы духъ возсоздаемаго прошедшаго вѣялъ еще дыханіемъ жизни, носился еще надъ настоящимъ. Иначе массѣ нужно растолковывать совершаемый ей и передъ нею культъ, а ужъ плохая та драма или тотъ культъ, который надобно растолковывать. Мрачная Мойра драмъ объ Эдипѣ и Атридахъ была живымъ вѣрованіемъ для зрителей Эсхила и Софокла. Какъ только начали разсуждать о Мойрѣ, смягчать ее (смягчая, напримѣръ, актъ матереубійства Электры и Ореста), приводить роковыя титаническія ненависти и привязанности въ болѣе

мягкіе, болѣе человѣческіе размѣры, — религіозность, искренность драмы упала, и послѣдній цѣльный грехъ Аристофанъ не даромъ смѣялся надъ Эврипидомъ, не даромъ также въ лицѣ его искренняя трагедія обратилась въ искреннюю комедію, культъ Мойры въ культъ Вакха и Момуса. Въ сущности, онъ и смѣялся-то не надъ талантливымъ чело-вѣкомъ Эврипидомъ, а надъ тѣмъ, что талантливый чело-вѣкъ упорно держится за распавшуюся форму, которую онъ, Аристофанъ, чело-вѣкъ гениальный, весьма просто смѣнилъ другою, цѣльною и искреннею.

Отъ мистерій религіозныхъ, принимаемыхъ съ страстною вѣрою-страстнымъ, полумавританскимъ народонаселеніемъ; отъ боя быковъ съ торреадорами и пикадорами, доселѣ еще неутратившаго своего значенія для народа; отъ романсовъ о Сидѣ и Маврахъ, сложившихся почти одновременно съ событіями, — въ эпоху только-что вышедшую изъ борьбы, полную и рыцарства и религіознаго фанатизма, — не труденъ былъ переходъ къ *Comedia Famosa* и *Autos sacramentales* Лопе де Веги и Кальдерона. Тутъ, кромѣ гениа драматурговъ, носилась въ воздухѣ вѣянія великихъ событій, не исчезъ еще рыцарскій духъ, не простылъ фанатизмъ религіозный. Масса могла вѣрить въ свою драму и своихъ драматурговъ, какъ въ дѣло настоящее, серьезное, не сочиненное, не выдуманное, столь же серьезное и невыдуманное, какъ бой быковъ и костры инквизиціи. Мудрено ли, что жадно смотрѣлись эти зрѣлища при дневномъ даже свѣтѣ и подъ палящимъ солнцемъ? Это дѣло было кровное и простое.

Столь же кровное и простое дѣло была историческая драма Шекспира для того народа, у котораго доселѣ прошедшее не перестаетъ жить въ настоящемъ, и въ такую эпоху, когда только-что кончилась героическая эпоха славныхъ войнъ и междоусобныхъ браней, — впродолженіе которыхъ народъ завоевалъ себѣ свои кровныя права. Шекспиръ до того былъ жрецомъ своего культа, что ни въ симпатіяхъ, ни въ антипатіяхъ не расходился съ народомъ. Что ему за дѣло, что Жанна д'Аркъ была свѣтлымъ и героическимъ явленіемъ для своей страны? Въ глазахъ Англіи и ея толпы была она (какъ Маринка въ нашихъ пѣсняхъ) «злой еретицей и волшебницей»; такую онъ ее и изображаетъ. Что ему за дѣло, что Ричардъ III вовсе не былъ злодѣемъ (какъ открывается изъ новѣйшихъ изслѣдованій)? Въ памяти народа остался онъ злодѣемъ, и Шекспиръ создаетъ его такимъ, какимъ уцѣлѣлъ онъ въ памяти народа, позволивши себѣ только одно: возвести народное представленіе въ колоссальный общечеловѣчскій типъ...

Дантъ и Пушкинъ, сказали я, могли бы по даннымъ природы своей быть такими же жрецами, какъ греческіе трагики, Шекспиръ и испан-

цы... Но у народа Дантова не было единства жизни, эпоха его представляла раздвоеніе идеаловъ; и онъ осужденъ былъ мѣдными чертами своими увѣковѣчивать свои проклятія жизни. Пушкинъ же поставленъ былъ нашимъ развитіемъ въ еще болѣе странное положеніе. вмѣсто опредѣленныхъ вѣрованій, у него были только гаданія о жизни его народа, жизни, которая сама себя забыла...

«Эта Литва—она къ намъ съ неба упала»,—вотъ великое слово разгадки нашихъ странныхъ отношеній къ нашей исторіи и къ нашему быту. Это слово такъ многозначительно въ своей комической простотѣ, что только у великаго писателя, каковъ Островскій, могло оно вырваться... Но до этого слова долго надобно было намъ доходить, процессомъ блестящихъ, но фальшивыхъ карамзинскихъ аналогій, добродушнаго загоскинскаго мракобѣсія, пошлостей покойнаго Полеваго, гг. Кукольника, Р. Зотова, Геденова и т. д. и т. д.

И все-таки, это слово не такъ оправдываетъ западничество съ его отрицаніемъ, какъ это кажется на первый разъ, не ведетъ къ выводамъ, что у насъ не было жизни (потому что жизнь сама себя забыла) не ведетъ даже къ тому выводу, что у насъ не можетъ быть народной исторической драмы, т. е. культа нашей народной сущности, по недостатку матеріаловъ для нея.

Надобно всегда различать, какъ остроумно и глубоко говаривалъ покойный Хомяковъ — «божье поущеніе» отъ «божьяго соизволенія.» Что татары оторвали насъ отъ XII вѣка и отъ нашего федеративнаго будущаго, что сѣверо-восточные князья-пріобрѣтатели, пользуясь татарскимъ игомъ, централизовали и вмѣстѣ кристаллизировали жизнь, это было, конечно, исторически-необходимо, т. е., проще говоря, это произошло. Но вѣдь произошло также и то, что въ эпоху междоусобицъ вдругъ раскрылись всѣ язвы общественныя, на время заглушенныя хитрыми мѣрами Калиты и Ивана III и грозной централизаціей Ивана IV, вдругъ отозвались всѣ подавленныя стороны жизни и выступили подъ знаменами безчисленныхъ самозванцевъ. Равномѣрно и въ духовномъ процессѣ нашемъ совершаются такіе факты, которые показываютъ, что связь наша съ исторіей и бытомъ народа вовсе не такъ разорвана, какъ это казалось лѣтъ за пятнадцать назадъ, что кругомъ насъ въ тишинѣ совершается жизнь,—вовсе не такъ далекая отъ жизни даже XII столѣтія, какъ это кажется съ перваго раза. Какаѣ разницы, напримѣръ, въ хожденіяхъ паломника XII вѣка игумена Данила и въ странствіяхъ смиреннаго инока горы Афонской отца Паренія, прочтенныхъ или читаемыхъ съ жаждою массою и прочтенныхъ съ невольнымъ увлеченіемъ даже образованнымъ классомъ, шевельнувшихъ въ немъ, въ этомъ об-

разованномъ классѣ; доселѣ молчавшія въ немъ струны, вырвавшихъ слова сочувствія (хоть и величаваго) у такого тонко-развитаго и такъ мало способнаго къ неприличнымъ увлеченіямъ критика, какъ ех-редакторъ «Библиотеки для Чтенія»?.. А эти типы послѣднихъ временъ нашей литературы, бросившіе нежданно и внезапно свѣтъ на наши историческіе типы—этотъ Куролесовъ, напримѣръ, «Семейной хроники», многими чертами своими лучше теорій гг. Соловьева и Кавелина разъясняющій намъ фигуру грознаго Ивана, этотъ міръ купеческаго т. е. уединенно-самостоятельно развившагося на своей почвѣ народнаго быта, раскрытый намъ Островскимъ и т. д.

Да! жизнь точно сама себя забыла до того, что для нея «Литва съ неба упала»; но вѣдь что она забыла въ самой себѣ?—факты, а не значеніе фактовъ... Почему же, полагая, что «эта Литва къ намъ съ неба упала», жизнь однако бьетъ такъ мѣтко иногда въ такіе вопросы, что вы и не ожидаете? Почему, напримѣръ, въ плохой, но народной пѣснѣ, сложившейся въ новыя времена—вдругъ васъ поразитъ самый вѣрный историческій тагъ, самая странная политическая память?..

Въ тридцать первомъ году  
Воевалъ полякъ Москву,  
Подымался онъ войной  
На Смоленску губерню...

Почему, съ другой стороны, появленіе изъ подъ спуда пѣсень, сказокъ, преданій народа, свѣдѣній о народѣ, дѣйствуетъ на насъ, развитыхъ и образованныхъ людей, столь ошеломляющимъ образомъ, что осторожный и серьезный г. Дудышкинъ вдругъ нежданно-негаданно выскочилъ съ вопросомъ: народный ли поэтъ Пушкинъ? и рѣшилъ этотъ вопросъ отрицательно потому только, что міросозерцаніе Пушкина и рѣчь Пушкина не похожи на міросозерцаніе и рѣчь пѣсень, доставленныхъ въ «Отечественныя Записки» г. Якушкинымъ, или сказокъ, изданныхъ г. Афанасьевымъ?..

Почему все это? И въ правѣ ли мы остановиться на отрицаніи въ нашей жизни живыхъ элементовъ, т. е. элементовъ самобытныхъ, связанныхъ съ прошедшимъ? А западничество именно отрицало ихъ, эти живые элементы, и все наше прошедшее предало проклятію, осудило на небытіе...

Я объяснялъ уже, что было виною такой рѣзкой оппозиціи.

Послѣдняя фальшь въ пониманіи и представленіи нашей народности была наша историческая драма, и едва ли что-либо могло дѣйствительно такъ скомпрометировать нашу народность, какъ эта незванная-не-



прошенная драма покойнаго Полеваго, гг. Кукольника, Р. Зотова, Геденова и иныхъ... Она была не только смѣшна, но въ высочайшей степени нахальна—эта историческая драма; она навязывала публично такой взглядъ на исторію и бытъ народа, который людей незнакомыхъ съ народомъ и его бытомъ велъ къ одному отрицанію. Припомните возгласы о русскомъ кулакѣ, звѣрское самохвальство Ляпунова кукольниковскаго и татарскую сцену Ляпунова геденовскаго съ Мариною; припомните войну Федосьи Сидоровны съ китайцами, припомните Минина и Пожарскаго въ «Русѣ Всевышняго» г. Кукольника... Припомните еще нѣсколько столь же безобразныхъ пародій на нашу исторію и бытъ нашъ, сходите въ театръ, когда дають тамъ (еще дають) последнее чадое этого направленія, и притомъ самое пошлое: «Татарскую свадьбу», извѣстную подъ названіемъ «Русской свадьбы...» Нѣтъ! ни одна литература, даже французская въ драмахъ Вольтера, не клеветала такъ на исторію и бытъ своего отечества, какъ наша историческая драма... Мудрено ли, что она, вмѣстѣ съ предшествовавшими ей явленіями, съ историческими романами «романтически-народной» эпохи, вызвала такое сильное отрицаніе, какъ отрицаніе западничества? Мудрено ли, что фальшивое пониманіе и представленіе нашей народности, долго набрасывало тѣнь даже на благородное, хотя одностороннее, служеніе народности славянофильства?..

#### IV.

Оппозиція, которой общее названіе есть *западничество*, выразилась какъ въ дѣятельности мыслителей, такъ и въ массѣ литературныхъ произведеній...

Но оппозиціи прямой и послѣдовательной предшествовала оппозиція смутная, бессознательная, и на ней, прежде перехода къ разсмотрѣнію прямой оппозиціи, ея значенія и развитія, слѣдуетъ остановиться для полноты очерка.

Бессознательная оппозиція родилась въ самой «романтически-народной» эпохѣ, и вся выразилась въ дѣятельности единственнаго настоящаго таланта этой эпохи—въ дѣятельности Лажечникова.

Лажечниковъ — уже прошедшее для насъ, до того прошедшее, что когда лѣтъ за пять назадъ мы встрѣтились съ произведеніемъ любимаго нѣкогда романиста въ «Русскомъ Вѣстникѣ», мы всѣ тщетно искали прежнихъ впечатлѣній, тщетно искали того, что нѣкогда такъ сильно

Допотопный

интересовало всѣхъ насъ въ «Новикѣ», «Ледяномъ домѣ», «Басурманѣ»... И это не потому только, что Лажечниковъ, котораго любили мы прежде какъ историческаго романиста, явился въ своемъ старческомъ произведеніи сентиментальнымъ повѣтствователемъ—нѣтъ! Не болѣе какъ за годъ тому назадъ появилась въ печати — давно извѣстная многимъ и давно съ восторгомъ читавшаяся многими—драма «Опричникъ»: она не возбудила къ себѣ никакого сочувствія, и вдругъ оказалась совершенно устарѣлою.

Когда-то я назвалъ Лажечникова «допотопнымъ» явленіемъ. Надъ моимъ, дѣйствительно страннымъ, терминомъ смѣялись, и я самъ готовъ былъ и готовъ теперь смѣяться надъ дикимъ терминомъ, но за сущность мысли, выраженной неудачнымъ терминомъ, точно такъ же готовъ стоять теперь, какъ готовъ былъ стоять тогда.

Идеи, какъ нѣчто органическое, проходятъ извѣстныя формациа, болѣе или менѣе несовершенныя, до своего полнаго, прямого и гармоническаго осуществленія. Такъ точно и идея народности въ нашей литературѣ. Одною изъ самыхъ замѣчательныхъ, самыхъ могущественныхъ, но далеко не стройныхъ еще, формациа—была художественная дѣятельность Лажечникова. Въ этомъ смыслѣ, нисколько не думая унижить замѣчательно-даровитаго писателя съ одной стороны, и нисколько не впадая въ мистическій пантеизмъ съ другой, я позволилъ себѣ назвать его дѣятельность *допотопною*. Какъ допотопныя, нестройныя формы бытія относятся къ болѣе умѣреннымъ, но стройнымъ и живущимъ формамъ послѣдотопнымъ, такъ точно и явленія, подобныя Лажечникову, относятся, напримѣръ, въ дѣлѣ выраженія народности въ нашей литературѣ, положимъ, напримѣръ, къ Островскому, — или явленія, подобныя Марлинскому и Полежаеву, къ кратковременной, но ясной, яркой и художественно-гармонической дѣятельности Лермонтова. У всякаго великаго писателя найдете вы въ прошедшемъ предшественниковъ въ томъ дѣлѣ, которое составляетъ его *слово*, найдете явленія, которыя смѣло можете назвать формациаи идеи. Развѣ въ «Нарѣжномъ», напримѣръ (въ особенности въ «Бурсакѣ» его), не видать тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ слагаются потомъ у Гоголя «Вій», «Тарасъ Бульба» и т. д.? Перечтите хоть изображеніе жизни бурсы въ «Бурсакѣ», и сравните съ нимъ изображеніе Гоголя въ упомянутыхъ повѣстяхъ, и вы, конечно, поймете, что сущность моей мысли, выразившейся въ дикомъ для ушей терминѣ, совершенно справедлива.

Въ особенности справедлива она въ отношеніи къ Лажечникову.

Едва ли можно найдти гдѣ-либо талантъ, представляющій болѣе хаотическое смѣшеніе высокаго художественнаго такта съ самой оче-

видной безтактностью,—глубочайшаго прозрѣнія въ сущность народнаго характера, гениальныхъ проблѣсковъ пониманія народной жизни и ея типовъ въ отдаленномъ прошедшемъ, съ ходульностью и рутинерствомъ, достойными покойнаго Полеваго и г. Кукольника,— истинной, здоровой поэзіи дѣйствительности съ безобразною и, съ зрѣлой точки зрѣнія, смѣшной напряженностью; стремленій къ правдѣ изображенія съ рѣшительной фальшью взгляда на жизнь.

Всѣ эти противоположныя свойства явились въ первомъ произведеніи г. Лажечникова, въ «Послѣднемъ Новикѣ», повторились съ преобладаніемъ безобразія въ «Ледяномъ домѣ», и наконецъ въ «Басурманѣ» достигли высшаго и совершенно равнаго развитія. Своими, часто въ высокой степени объективными, изображеніями историческихъ эпохъ и историческихъ типовъ—Лажечниковъ во всѣхъ этихъ произведеніяхъ поднимается на такую высоту, которая даже и въ нашу эпоху была бы изъ числа желаемыхъ, и притомъ именно тогда, когда онъ строго держится сообщенныхъ ему исторією матеріаловъ. Съ другой стороны—собственными своими фантазіями на историческія лица и своими чисто вымысленными лицами онъ падаетъ до той грани смѣшнаго, которую представляли собою покойный Полевой и г. Кукольникъ. Единственное, что раздѣляетъ его съ ними, это—благородство воззрѣнія на жизнь, и это благородство имѣетъ оппозиціонный западный характеръ.

Лажечниковъ такое явленіе въ нашей литературѣ, такое важное звено въ цѣпи отношеній литературы нашей къ народности, что стоить анализа болѣе подробнаго, нежели тотъ, который позволяютъ мнѣ предѣлы моего разсужденія, въ которомъ я принужденъ ограничиваться только намеками и общими выводами. Сколько до сихъ поръ еще искреннаго и неотразимо-привлекательнаго въ его «Новикѣ», не смотря на растянутость романа, на ненужныя, ходульныя частности и на сантиментальныя до приторности лица, не смотря на явное пристрастіе къ великому преобразователю и его людямъ... Какое чутье истиннаго поэта помогло ему—вопреки даже пристрастію къ преобразователю и преобразованію—тронуть въ разсказѣ Новика съ такою подобающею таинственностью и вмѣстѣ съ такимъ сочувствіемъ сторону оппозиціи,—лица Софьи, князя Голицына, понять поэзію и значеніе оппозиціи—чего страннымъ образомъ не понялъ или не захотѣлъ понимать человекъ, болѣе его знакомый изученіями съ Петровскою эпохою и болѣе его, простодушнаго романиста, обязанный къ правдѣ—Погодинъ, который въ своей драмѣ о Петрѣ Великомъ представилъ лица оппозиціи какими-то фанатиками-идіотами, фанатиками-мошенниками или фанатиками-трусами. По какому наитію Лажечниковъ сумѣлъ придать трагически-грандіозный харак-

теръ Андрею Денисову, хотя и впалъ въ ходульность въ его изображеніи?... И почему, наконецъ, у одного Лажечникова явилось въ ту эпоху чувство патріотизма, очищенное отъ татарщины или китаизма, чувство простое и искреннее, безъ апотеозы булака и бараньяго смиренія?..

Напряженность и худольность, въ которой упрекали «Ледяной домъ» даже при его появленіи, дѣйствительно очевидныя, объясняются страстною впечатлительностью натуры нашего романиста. Вліяніе колоссальнаго произведенія Гюго, «Notre-Dame» — очевидно на этомъ произведеніи, хотя между-тѣмъ оно нисколько не подражаніе. Оно — отзывъ, и отзывъ имѣющій свое, совершенно особенное обаяніе. Въ «Ледяномъ домѣ» все фальшиво (кромѣ чисто-историческихъ фигуръ и притомъ тѣхъ, къ которымъ авторъ относился безъ страстнаго участія), все — отъ главнаго героя и героини до цыганки Маріулы и до секретаря Зуды, и между-тѣмъ эта фальшь увлекаетъ васъ невольно, потому-что эта фальшь — порожденіе истинной и неподдѣльной страстности, ходульной, но сильной. Ложный паѳосъ отношеній Волынскаго и Маріюрицы — не паѳосъ Полеваго или г. Кукольника, а паѳосъ Марлинскаго, т. е. смѣсь вулканическихъ порывовъ съ дурнымъ вкусомъ. Въ самомъ Волынскомъ, невѣрномъ исторически, невѣрномъ, пожалуй, и психологически — сколько удивительно угаданныхъ чертъ русскаго человѣка, до того поэтическихъ и вмѣстѣ истинныхъ, что доселѣ еще Волынскій Лажечникова — единственный типъ широкой русской натуры, поставленной въ трагическое положеніе!.. Вспомните сцену: «вставай народъ», «умирай народъ», сцену пирушки, сцену ночной прогулки съ ямщикомъ, сцену свиданія съ женою, сцену беспощадно обличающую всю безхарактерность широкой русской натуры, весь недостатокъ «выдержки» ей свойственный!.. Вспомните вообще всю цѣлость вашего впечатлѣнія отъ этой могучей и безхарактерной, широкой и вмѣстѣ развратной личности, и скажите: не жаль вамъ было, когда г. Шипкинъ съ беспощадною строгостью изслѣдователя разрушалъ передъ вами историчность лажечниковскаго образа, не жаль вамъ было разставаться съ Волынскимъ Лажечникова?.. Не готовы-ли вы были въ иную минуту сказать съ великимъ поэтомъ:

Да будетъ проклятъ правды свѣтъ,  
 Когда посредственности хладной,  
 Завистливой, къ соблазну жадной,  
 Онъ угождаетъ праздно. Нѣтъ!  
 Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже  
 Насъ возвышающій обманъ....

О, да! Всѣмъ, вѣроятно, было жаль этого образа, жаль потому, что много ощущеній пережили вы въ былую эпоху съ романомъ Лажечникова. Это былъ притомъ первый въ эту эпоху тревожный и «безнравственный» (въ казенномъ смыслѣ) романъ; тревожная и совершенно противная условной нравственности струя по немъ бѣгущая не выкупается ни казнью Волынскаго, ни смертью Маріорицы. Это уже романъ протеста—противъ условной и узкой нравственности загоскинскаго направленія, какъ и первый романъ Лажечникова «Послѣдній Новизель» отзывался уже протестомъ за преобразованную жизнь Россіи—противъ стараго до-Петровскаго быта.

Протестомъ же, и притомъ бессознательно западнымъ, былъ и третій романъ Лажечникова, его «Басурманъ», въ которомъ и достоинства и недостатки нашего даровитаго романиста поднялись до своей послѣдней и высшей степени. Въ «Басурманѣ» собственно три стороны: 1) сторона созданія историческихъ типовъ и изображенія эпохи, до сихъ поръ еще стоящая на высокой степени, — сторона, въ которой только Л. А. Мей сравнялся съ Лажечниковымъ; 2) сторона чисто-художельная—смѣшная до крайней степени смѣшного, до художниковъ г. Кукольника, и 3) сторона протеста. О первыхъ двухъ сторонахъ говорить много нечего. Лица Ивана III, боярина Русалки, боярина Мамона, боярина Образца, князя Холмскаго, прологъ и проч., сцены во дворцѣ Ивана, въ тюрьмахъ, свиданіе Ивана съ Марьей, завоеваніе Твери,—все это до сихъ поръ, вѣроятно, всѣмъ памятно, ибо все это до сихъ поръ высоко-художественно, и невольно возбуждаетъ вопросъ: какое громадное чутье таланта нужно было для того, чтобы, оставшись вѣрнымъ Карамзину въ его всегда правильныхъ сочувствіяхъ (къ Новгороду, къ Твери и проч.), совершенно высвободиться изъ подъ вліянія его, тяготѣвшихъ надъ всѣми, литыхъ формъ,—создать образы, совершенно вѣрные лѣтописямъ, создать для этихъ образовъ особенный, колоритный и вмѣстѣ простой, нисколько не мозаическій языкъ, взглядѣться такъ пронизательно въ простыя и часто вовсе неколоссальныя пружины событій и дѣйствій, носящихъ у Карамзина ложно-эффектный блескъ величавости? До сихъ поръ никто не превзошелъ Лажечникова въ этомъ дѣлѣ: одинъ Мей, повторю я опять, сравнялся съ нимъ въ третьемъ и четвертомъ актѣ «Шковитянки». Съ другой стороны, памятны всѣмъ точно также и мечтанія Аристотеля Фіоравенти, достойныя Доменинина г. Кукольника, заговаривающагося до «младѣнческой», и сентиментальный нѣмецкій докторъ, столь же смѣшной, какъ поэты Полеваго, и проч.

Что касается до третьей стороны романа Лажечникова, до стороны протеста, то протестъ очевидно въ немъ двойной. Одинъ, отзывавшійся

уже въ «Новикѣ»,—протестъ противъ грубости, невѣжества и законсѣлости стараго быта, протестъ чисто-западный, съ опредѣленнымъ сознаниемъ идеаловъ. Другой протестъ—бессознательно-народный, еще смутный, неопредѣленный какъ лепетъ, хотя и правый,—тотъ же протестъ, который такъ ясно высказался въ послѣднихъ произведеніяхъ Островскаго. Этимъ протестомъ созданы лица Хабаръ Симскаго, Анастасія Тверитянина, любовь дочери боярина Образца и ея трагическая участь, вдова Селинова и т. д. Пусть Хабаръ еще болѣе блестяще, чѣмъ полно, созданъ; пусть въ рѣчахъ Анастасіи и вдовы Селиновой еще непріятно поражаютъ иногда фальшивыя ноты; но основа отношеній ихъ, психологическіи пружины ихъ натуръ—вѣрны и народны; но протестъ, который таится въ этихъ образахъ,—зародышъ протеста самобытнаго, хотя еще смутнаго.

Четвертое важное произведеніе Лажечникова, недавно только явившееся на свѣтъ Божій, его драма «Опричникъ»—слабѣе всѣхъ прежнихъ по выполненію, хотя также знаменательна, какъ одна изъ формацій того, что полно, просто и стройно выполняется въ наше время Островскимъ. Въ «Опричникѣ» дорога вовсе не историческая сторона драмы (кромѣ сцены въ гостинномъ ряду). Странное дѣло! Лажечниковъ, который въ изображеніи Ивана III и Марѳы шагнулъ черезъ карамзинскія литыя формы, въ изображеніи Ивана IV и его опричниковъ является чисто работою этихъ самыхъ формъ и, вмѣсто живыхъ образовъ, сочиняетъ ходульнѣйшія лица, думающія и говорящія ходульнѣйшимъ образомъ. Въ «Опричникѣ» дорога его семейная сторона, приходъ боярыни Морозовой къ врагу ея семьи, слова «Твоя да божья», съ которыми дочь падаетъ къ ногамъ отца, выдающаго ее замужъ за немилаго,— слова такъ же вырванныя изъ русской души, какъ слова Любви Гордѣевны Островскаго (твоя воля, батюшка!),—намекъ на семейное начало. Больше же ничего нѣтъ въ «Опричникѣ», нѣтъ прежде всего живого, человѣческаго и вполне колоритнаго языка...

Какъ же, позволяю еще разъ спросить, прикажете назвать этотъ безспорно высокій, но хаотическій талантъ, стоящій на грани западничества и славянофильства, иногда прозрѣвающій народную сущность глубже и западничества и славянофильства, и опережающій лѣтъ на пятнадцать наше пониманіе народности, иногда же фальшивый до очевидности, напряженный до ложнаго пафоса, и даже смѣшной до крайней грани смѣшнаго, до Полеваго и до Кукольника, — какъ его назвать иначе, какъ не одною изъ первыхъ формацій правильного пониманія народности, формацій міра идеальнаго, параллельныхъ съ допотопными формаціями матеріальнаго міра?

По сочувствіямъ и идеаламъ западникъ гораздо болѣе, чѣмъ славянофилъ, и ужъ всего менѣе адептъ шишѣовско-загоскинскаго направленія, вѣрнѣйшій послѣдователь Карамзина въ идеяхъ, умѣвшій однако перешагнуть черезъ его литыя формы, поклонникъ преобразования, преобразователя и людей преобразования и преобразователя, Лажечниковъ однако же смутно носить въ своемъ творчествѣ идеалы самобытнаго, народнаго протеста, затрогиваетъ, хотя и не всегда правильно, такіи струны русской души, которыя отзываются полно только черезъ пятнадцать лѣтъ потомъ!

## V

Я старался съ возможной точностью и подробностью изложить всѣ обстоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ сложилось въ нашемъ умственномъ процессѣ явленіе, называемое *западничествомъ*, вывести всѣ причины его происхожденія и его сильнаго развитія.

Результатъ изъ моего изложенія вывести, какъ мнѣ кажется, не трудно.

Не съ народностью боролось западничество, а съ фальшивыми формами, въ которыя облекалась идея народности. И вина западничества—если можетъ быть вина у явленія историческаго—не въ томъ конечно, что оно отрицало фальшивыя формы, а въ томъ, что фальшивыя формы принимало оно за самую идею.

Увлекаемое, какъ всякая теорія, роковымъ процессомъ къ абсурду, къ отрицанію значенія нашей народности, оно, разумѣется, дошло до этого абсурда не вдругъ, а постепенно, хотя довольно быстро.

Смѣлая теорія, высказанная Чаадаевымъ, сначала не нашла себѣ отголоска въ русской литературѣ. Она разрабатывалась такъ-сказать по частямъ.

Отрицаніе сперва увидѣло только раздѣленіе между нашей жизнью до реформы Петра и нашей жизнью послѣ реформы... Раздѣленіе представилось, да еще и теперь можетъ быть нѣкоторымъ представляется въ видѣ какой-то бездны, расторгающей два міра, ничего общаго между собою не имѣющіе: одинъ—міръ застоя, общественной, нравственной и умственной тины; другой—міръ человѣческихъ стремленій и развитія.

На первый разъ западничество выразилось въ привязанности и пристрастіи къ преобразователю и преобразованію—привязанности и пристрастіи, которое раздѣляли съ нимъ многіе, впоследствии рѣзко отъ

него отдѣлившіеся дѣятели (Надеждинъ, Погодинъ и другіе). Западничество притомъ, въ лицѣ своего высшаго дѣятеля—Бѣлинскаго, увлекшись формами гегелизма, и на вѣру принявши *зміиное* положеніе великаго учителя, что «все, что есть, то разумно», наивно считало себя прямо враждебнымъ какъ чаадаевской, такъ и всякой возстающей на дѣйствительность теоріи, доходило въ своемъ примиреніи съ дѣйствительностью до самыхъ крайнихъ результатовъ...

Такое наивное упоеніе дѣйствительностью было, разумѣется, не продолжительно.

Въ 1840 году мысль идетъ отъ отрицанія къ отрицанію. Въ 1839 году «Отечественными Записками» еще съ восторгомъ привѣтствуется «Басурманъ» Лажечникова за его народность; еще появляется юношески-восторженная, но до сихъ поръ имѣющая свою цѣнность статья о циклахъ русскихъ богатырскихъ пѣсень и сказокъ, съ глубокимъ философскимъ и поэтическимъ пониманіемъ ихъ содержанія и значенія. Черезъ два года — являются статьи Бѣлинскаго о томъ же предметѣ, яростно-отрицательныя. Въ 1839 и даже въ 1840 годахъ печатаются еще статьи Коллара о славянствѣ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Черезъ пять лѣтъ, въ порывѣ фанатизма и въ увлеченіи борьбы, объявляется тамъ же во всеуслышаніе, что Турція, какъ «государство», внушаетъ гораздо болѣе интереса, чѣмъ сбродъ славянскихъ племенъ, ею поработанныхъ — мысль, которой знаменитое мнѣніе «Атenea» 1859 г. о цивилизаторской роли австрійскаго жандарма въ славянскихъ земляхъ — является только повтореніемъ. Но то, что принимается какъ истина въ 1844 году, отвергается единодушно всѣми въ 1859 году.

Сила западничества заключалась въ отрицаніи ложныхъ формъ народности. Какъ только вмѣсто ложныхъ формъ показались настоящія, оно неминуемо должно было пасть, и дѣйствительно пало.



### III.

## БѢЛИНСКІЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯДЪ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ.

(Время 1861, № 4).

### I.

Вотъ что пятнадцать лѣтъ назадъ, и даже менѣе, думали болѣе или менѣе всѣ мы,—исключая, разумѣется, немногихъ сторонниковъ славянофильства:

Петръ Великій есть величайшее явленіе не нашей только исторіи, но и исторіи всего человѣчества; онъ *божество, воззавшее насъ къ жизни, одушевившее душу живую* въ колоссальное, но поверженное въ смертную дремоту тѣло древней Россіи... (Соч. Бѣлинскаго, томъ IV, стр. 333).

Нѣтъ, безъ Петра Великаго, для Россіи не было никакой возможности естественнаго сближенія съ Европою. Повторяемъ: Петру некогда было медлить и выжидать. Какъ прозорливый кормчій, онъ во время тишины предузналъ ужасную бурю и велѣлъ своему экипажу не шадить ни трудовъ, ни здоровья, ни жизни, чтобы приготовиться къ напору волнъ, порывамъ вѣтра,—и всѣ изготовились хоть и не хотя, и настала буря, но хорошо приготовленный корабль легко выдержалъ ея неистовую силу,—и нашлись недальновидные, которые стали роптать на кормчаго, что онъ напрасно такъ беспокоитъ ихъ! Нельзя ему было сѣять и спокойно ожидать, когда прозябнетъ, взойдетъ и созрѣетъ брошенное сѣмя: *одной рукою бросая сѣмена, другою жотѣлъ онъ тутъ же и пожиналъ плоды ихъ, нарушая обычные законы природы и возможности,—и природа отступила для него отъ своихъ вечныхъ законовъ, и возможность стала для него волшебствомъ. Новый Навигъ, онъ оснаивалъ солнце въ пути его, онъ у моря отторгалъ его довременныя владѣнія, онъ изъ болота вывелъ чудный городъ.* Онъ понималъ, что полумѣры никуда не годятся, что коренные перевороты въ томъ, что сдѣлано вѣками, не могутъ производиться вполонину, *что надо сдѣлать или больше чѣмъ можно сдѣлать, или ничего не дѣлать, и понималъ, что на первое станетъ его сила.* Передъ битвою подъ Лѣснымъ, онъ позади своихъ войскъ поставилъ казаковъ съ строгимъ приказаніемъ убивать безъ милосердія всякаго, кто по

бѣжить вспять, даже и его самага, если онъ это сдѣлаеть. Такъ точно поступилъ онъ и въ войнѣ съ невѣжествомъ: *выстроимъ* противъ него весь народъ свой, онъ отрѣзалъ ему всякій путь къ отступленію и бѣгству. Будъ полезенъ государству; учись, или *умирай*: вотъ что было *написано кровью* на знамени его борьбы съ варварствомъ. И потому, все старое безусловно должно было уступить мѣсто новому—и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорять, дѣло—въ дѣлѣ, а не въ бородѣ; но что жъ дѣлать, если борода мѣшала дѣлу? Такъ вонъ же ее, если сама не хочетъ валиться....» (Соч. Вѣл. Т. IV, стр. 392, 393).

«До Петра, русская исторія *вся заключалась въ одномъ* стремленіи къ сглаженію разсѣдиненныхъ частей страны и сосредоточеніи ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случаѣ *помогло и татарское иго, и грозное царствованіе Иоанна*. Цементомъ, соединившимъ разрозненные части Руси, было преобладаніе московскаго великокняжескаго престола надъ удѣлами, а потомъ уничтоженіе ихъ и *единство патриархальнаго обычая*, замѣнившаго право. Но эпоха самозванцевъ показала, какъ еще не довольно твердъ и достаточенъ былъ этотъ цементъ. Въ царствованіе Алексѣя Михайловича обнаружилась самая необходимость реформы и сближенія Руси съ Европою. Было сдѣлано много попытокъ въ этомъ родѣ; но для такого великаго дѣла нуженъ былъ и великій творческій геній, который и не замедлилъ явиться въ лицѣ Петра....» (Соч. Вѣл. Т. VII, стран. 105).

«Неужели же русскій народъ до Петра Великаго не имѣлъ чести существовать по человѣчески?» *воплетъ* г. Шевыревъ. *Если человеческое существованіе народа заключается въ жизни ума, науки, искусства, цивилизаціи, общественности, гуманности въ правахъ и обычаяхъ, то существованіе это для Россіи начинается съ Петра Великаго,—смѣло и утвердительно отвечаемъ мы г. Шевыреву....* Петръ Великій—это новый Моисей, воздвигнутый Богомъ для извлеченія русскаго народа изъ душнаго и темнаго плѣна азіатизма.... Петръ Великій—это путеводная звѣзда Россіи, вѣчно должная указывать ей путь къ преуспѣванію и славѣ.... Петръ Великій—это колоссальный образъ самой Руси, представитель ея нравственныхъ и физическихъ силъ.... Нѣтъ похвалы, которая была бы преувеличена для Петра Великаго, *ибо онъ далъ Россіи свѣтъ и сдѣлалъ Русскихъ людьми....*» (Соч. Вѣл. Т. VII, стр. 413).

«Видите ли въ чемъ дѣло! Для Русскихъ XVIII вѣка много было радости въ томъ, что славяне, около тысячи лѣтъ коснѣя въ безплодномъ для человечества существованіи, все-таки, не смотря на то, пребывали въ величествѣ! Индійцы, китайцы, японцы, ужъ конечно гораздо древнѣе славянъ, и своимъ существованіемъ *оставили въ исторіи человечества болѣе глубокой, нежели Славяне, слѣдъ*; но чтожъ въ этомъ пользы для нихъ теперь, когда они превратились въ какія-то нравственныя окаменѣлости какъ-будто до-потопнаго міра? Для насъ, русскихъ, важна русская, а не славянская исторія, да и русская-то исторія становится важною не прежде, *какъ съ возвышенія москов-*

скаго княженія, съ котораго для Россіи наступило время уже историческаго существованія....» (Соч. Вѣл. Т. IX, стр. 416).

Я нарочно началъ статью свою цѣлымъ рядомъ выписокъ изъ сочиненій Вѣлинскаго насчетъ Петра и реформы, болѣе или менѣе рѣзкихъ, болѣе или менѣе смѣлыхъ, но во всякомъ случаѣ—съ первой же, относящейся къ началу сороковыхъ годовъ, и до послѣдней, относящейся къ ихъ половинѣ—выражающихъ одно и то же.

Это одно и то же—полное отрицаніе какого-либо значенія нашего быта и нашей исторіи до реформы Петра, благоговѣніе передъ реформою со всѣми ея мѣрами и послѣдствіями, отрицаніе—нисколько не скрываемое—всякихъ силъ самосуцнаго развитія народа. Рядъ этихъ выписокъ сдѣланъ изъ сочиненій писателя, которому, по вліянію его на наше умственное, нравственное и даже общественное развитіе, принадлежитъ роль столь же первостепенная, какъ Карамзину, писателю, котораго можно, пожалуй, ненавидѣть съ точею зрѣнія мракобѣсія, но котораго мудрено отказать въ имени великаго, по энергіи убѣжденія и силѣ таланта, человека.... Съ 1834 года, съ тѣхъ поръ, какъ еще юношей—одною силою убѣжденія—разсѣялъ онъ призраки авторитетовъ въ «литературныхъ мечтаніяхъ»,—до самой смерти своей, до конца сороковыхъ годовъ, онъ былъ нашимъ воспитателемъ и руководителемъ. Пламенно стремившійся къ истинѣ, никогда не боявшійся отречься отъ того, что почему-либо стало для него ложью, готовый противорѣчить себѣ самому, т. е. никогда неспособный поставить свое личное я выше сознанный имъ истины, увлекавшійся до фанатизма въ симпатіяхъ и до нетерпимости въ враждахъ,—онъ одинъ былъ способенъ исчерпать до дна то направленіе мысли, котораго служилъ представителемъ.... и дѣйствительно исчерпать его.

Не поражаютъ ли современныхъ читателей приведенныя мною выписки—послѣ всего, что о Петрѣ и его реформѣ сказано въ наше время? Не наивны ли въ своемъ фанатизмѣ выходки Вѣлинскаго до самыхъ крайнихъ крайностей? Съ полнѣйшею искренностью Вѣлинскій вмѣняетъ въ достоинство своему герою—что онъ «бросая сѣмена, хотѣлъ тутъ же и пожинать плоды ихъ, нарушая обычные законы природы и возможности», и то, что онъ «выстроилъ народъ свой на борьбу съ невѣжествомъ», и то, что онъ «кровью написалъ на знамени: учись или умирай!...» Съ беспощаднымъ фатализмомъ видитъ онъ помощь судьбы въ татарскомъ игѣ и въ грозномъ царствованіи Ивана IV. Съ самою упорною послѣдовательностью отказываетъ онъ намъ въ какомъ-либо *человѣческомъ* существованіи до Петра, и славянъ вообще ставитъ ниже китайцевъ и японцевъ!... Впрочемъ, въ его дѣятельности сказа-

лось рѣшительно, и притомъ массою, все, что развивало при немъ и послѣ него въ частностяхъ направленіе, за которымъ утвердилось названіе западничества, — все, отъ любви гг. Соловьева и Кавелина къ Ивану Грозному и его прогрессивнымъ мѣрамъ противъ отсталыхъ людей, мѣрамъ, исполняемымъ архи-прогрессистомъ, палачемъ Томилой, — до симпатіи «Атенея» къ цивилизаціи, олицетворяемой въ славянскихъ земляхъ австрійскимъ жандармомъ, — все, что десять лѣтъ назадъ представляло верхи нашего воззрѣнія подъ именемъ родовыхъ и другихъ теорій, считалось единственно-законнымъ воззрѣніемъ, и что нынѣ отзывается какъ уже запоздалое только въ однѣхъ компиляціяхъ, которыми г. Соловьевъ *даритъ* по временамъ публику, называя свои безконечныя выписки изъ подлинныхъ актовъ «разказами изъ русской исторіи...» Увы! Публика, можетъ быть, и есть для этихъ разказовъ, но читатели едва ли.

Sacrés ils sont, car personne n'y touche —

можно сказать о нихъ, какъ говорилъ Вольтеръ о сочиненіяхъ аббата Трюбле, «qui compilait, compilait, compilait...» И еще болѣе, увы! Если бы разказы эти и были писаны такъ, чтобы быть читаемыми — духъ въ нихъ господствующій едва ли бы нашелъ теперь много сочувствія. «Русскій Вѣстникъ», помѣстившій недавно одинъ изъ такихъ нечитаемыхъ разказовъ («Птенцы Петра Великаго»), какъ-будто въ противодіе ему помѣстилъ въ той же книжкѣ блестящую по изложенію и совершенно противоположную этому разказу по духу статью г. Лонгинова о «Дневникѣ камеръ-юнкера Берхгольца» — статью совершенно обличительную въ отношеніи къ преобразователю и даже къ преобразованію....

Всѣ идеи этого направленія въ зародышѣ заключаются въ дѣятельности Бѣлинскаго. И г. Соловьевъ, и г. Кавелинъ, и даже г. Чичеринъ — ни болѣе ни менѣ какъ ученики его, разработавшіе по частямъ общія мысли учителя.... Поэтому-то цѣлую особую статью позволяю я себѣ посвятить разсмотрѣнію дѣятельности Бѣлинскаго въ анализѣ вопроса о народности въ нашей литературѣ.

Но прежде, чѣмъ слѣдить шагъ за шагомъ развитіе и расширеніе теоріи западничества въ дѣятельности Бѣлинскаго, — необходимо разъяснить, что именно понимаю я подъ идеей централизаціи, лежащей въ основѣ отрицательнаго направленія съ самаго начала и завершающей его какъ послѣднее слово.

Отрицаніе — какое бы оно ни было — совершается всегда во имя какой-либо, смутно или ясно — это все равно — сознаваемой *положительной* правды мыслителемъ, во имя какого-либо, прочно или непрочно, но во

всякомъ случаѣ установленнаго, положительнаго идеала художникомъ. Голаго, отвлеченнаго отрицанія нѣтъ и быть не можетъ: самое поверхностное отрицаніе, и то совершается во имя какихъ-либо, хоть даже мелко-разсудочныхъ или узко-нравственныхъ положеній. Отрицая, уничтожая, разбивая какой-либо бытъ, обличая его во лжи—вы казните его передъ какою-либо истиною, такъ-сказать измѣряете его этою истиною, и судите его по степени согласія или несогласія съ нею. Это — дѣло ясное и кажется неопровержимое.

Чаадаевъ первый подошелъ смѣло къ нашему быту съ извѣстною мѣркою и явился безопазднѣйшимъ отрицателемъ. Мѣрка его была жизнь, выработанная западомъ. Что по личнымъ его впечатлѣніямъ жизнь эта была притомъ жизнь, выработанная западомъ католическимъ,—это обстоятельство незначительное. Дѣло все въ томъ, что передъ судомъ выработанной западомъ жизни—наша бытовая, историческая и нравственная жизнь оказалась совершенно несостоятельною, т. е. неподводимою подъ нее никакими аналогіями. Направленіе, которое пошло отъ толчка, сообщеннаго Чаадаевымъ, нисколько не раздѣляло чаадаевскихъ сочувствій къ католицизму,—но сочувствія его къ западнымъ идеаламъ, государственнымъ, общественнымъ и нравственнымъ, привело съ величайшею послѣдовательностью.

Темны и пустыни должны были показаться передъ судомъ западныхъ идеаловъ наши бытъ и исторія. Еще Карамзинъ, первый изъ приступившихъ къ быту и исторіи нашимъ съ серьезно-установленными западными требованіями, думалъ выручить нашъ бытъ и нашу исторію аналогіями. Аналогіи оказались фальшивы (сопоставленіе удѣловъ съ феодализмомъ, Ивана IV съ Людовикомъ XI и т. д.), но въ самыхъ аналогіяхъ проглядывало уже и у Карамзина централизованное начало. Еще онъ не проводилъ его такъ далеко, какъ западники,—еще онъ не жертвовалъ теоріи централизаціи ни Новгородомъ, ни Тверью и т. д.; но онъ, уже слѣдя главнымъ образомъ развитіе государства и государственной идеи въ нашей исторіи, давая этой идеѣ перевѣсъ надъ прочими—многое множество явленій упустилъ изъ виду, на еще большее множество явленій взглянулъ съ ложной точки зрѣнія, и положилъ основаніе такому взгляду на сущность и развитіе нашего народнаго быта, который къ этому быту нисколько не примѣнимъ.

Весь смыслъ нашего развитія (ибо какое же нибудь развитіе въ допетровскомъ быту было) заключается для простаго, никакой теоріей не потемнѣннаго, взгляда въ томъ, что наша самость, особенность, народность постоянно, какъ жизнь, уходитъ изъ-подъ различныхъ болѣе или менѣе тѣсныхъ рамокъ, накладываемыхъ на нее извнѣ,—и что, съ дру-

той стороны, различныя внѣшнія силы стремятся насильственно наложить на ея разнообразныя явленія печать извѣстнаго, такъ - сказать официального уровня и извѣстнаго, такъ - сказать форменнаго однообразія.... Силы эти большею частью одолеваютъ въ борьбѣ многообразныя и разрозненныя явленія жизни. Жизнь не протестуетъ, — по крайней мѣрѣ видимо и цѣльно; она какъ-будто принимаетъ печать извѣстнаго формализма; но упорно, въ отдаленныхъ, глубокихъ слояхъ своихъ, таитъ свои живые соки.... Равнодушно низвергая своего Перуна и насмѣшливо приглашая его «выдыбать», — жизнь въ сущности удерживаетъ все свое язычество — и подъ именами христіанскаго святого чтитъ «Волоса скотья Бога», создаетъ «святую Пятницу» и проч. и проч. Изъподъ устанавливающейся догматической нормы она, какъ растеніе, расползается въ расколы.... Не въ силахъ бороться съ московскою политической централизациею, она только упорно затаиваетъ въ себѣ и упорно хранить соки своихъ мѣстностей. И вотъ эти соки принимаютъ ненормальное направленіе, уродливый видъ, будетъ ли то безобразіе самозванщины, или безобразіе расколовъ....

Приступая къ такому странному по существу своему и развитію быту, западничество, — т. е. взглядъ съ точки зрѣнія формъ, отлитыхъ развитіемъ остальнаго человѣчества, идеаловъ, данныхъ этимъ развитіемъ, — не нашло и не могло въ немъ найти ничего подходящаго подъ свое воззрѣніе, согласнаго съ своими общественными, нравственными идеалами.

Аналогию, проведенныя Карамзинымъ и комически обличившіяся въ «романтически-народной» эпохѣ нашей словесности — оказались явно фальшивыми... Западничество, начиная съ Чаадаева, честно отрезлось отъ фальши. Въ нашей жизни бытовой и исторической оно на первый разъ могло увидѣть только уродливыя, безобразныя, не-человѣческія (въ западномъ смыслѣ) проявленія стараго язычества, невѣжества, грубости нравовъ съ одной стороны — и силу, которая, начиная съ татарскаго погрома и пользуясь имъ, ломитъ все это грубо и непосредственно. Ясно, что оно должно было прямо стать на сторону этой силы, сводящей во едино то, что распадалось, стремящейся придать какую-либо благоустроенную форму хаотическому безобразію, сокрушающей язычество и невѣжество, приводящей разнообразіе жизни къ одному знаменателю, къ центру, — силы централизующей.

Начавши апоѳеозой Петра, оно послѣдовательно продолжается апоѳеозой Ивана IV, еще послѣдовательнѣе съ г. Кавелинымъ продолжаетъ родовой бытъ до временъ Петра, и всего послѣдовательнѣе кончается съ «Атенеумъ» полнѣйшею апоѳеозою централизаціи.

Прослѣдить шагъ за шагомъ постепенныя проявленія этой доктрины въ Бѣлинскомъ—одномъ изъ искреннѣйшихъ когда-либо бывшихъ писателей—чрезвычайно поучительно, тѣмъ болѣе, что ничего больше сказаннаго Чаадаевымъ и Бѣлинскимъ западничество не сказало.

## II.

«Знаете ли что, почтеннѣйшій Николай Ивановичъ,—обращается Бѣлинскій къ редактору «Телескопа» Надеждину въ своей статьѣ: *Ничто и о ничемъ, или отчетъ г. издателю «Телескопа» за послѣднее полугодіе (1835) русской литературы* (Соч. Бѣл. Т. II, стр. 18),—я душевно люблю православный русскій народъ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой въ его массѣ, но моя любовь сознательная, а не слѣпая. Можетъ быть, вслѣдствіе очень понятнаго чувства, я не вижу пороковъ русскаго народа, но это нисколько не мѣшаетъ мнѣ видѣть его странности, и я не почитаю за грѣхъ пошутить, подъ веселый часъ, добродушно и незлобиво надъ его странностями, какъ всякій порядочный человѣкъ не почитаетъ для себя за униженіе посмѣяться надъ собственными своими недостатками....»

Чтобы понять значеніе этихъ оговорокъ, этого *подхода* къ обличительнымъ выходкамъ, предшествовавшимъ ясному и смѣлому чаадаевскому поставленію вопроса, надобно припомнить, что Н. И. Надеждинъ было одинъ изъ тѣхъ поборниковъ народности, которые не боялись никакихъ послѣдствій своей теоріи—вели ее даже до оправданія булака, какъ орудія силы....

«Знаете ли вы,—продолжаетъ Бѣлинскій,—въ чемъ состоитъ главная странность вообще русскаго человѣка? Въ какомъ-то своеобразномъ взглядѣ на вещи и упорной оригинальности. Его упрекають въ подражательности и безхарактерности; я самъ, грѣшный, вслѣдъ за другими, взводилъ эту небывлицу (въ чемъ и какось); но этотъ упрекъ неоснователенъ....»

Вотъ то распутіе, съ котораго мысль можетъ идти въ ту или другую сторону—распутіе, до котораго, еще прежде появленія чаадаевскаго письма, дошелъ гениальный человѣкъ.... Бѣлинскій былъ въ эту минуту одинъ только правъ, но правда его самому ему какъ-будто страшна, и онъ видимо чувствуетъ, что всѣмъ другимъ она покажется парадоксомъ. Вопреки всѣмъ утвердившимся, отъ Карамзина наслѣдованнымъ, карамзинскими формами освященнымъ, мнѣніямъ, онъ говоритъ, что мы не похожи на другихъ, что мы—упорно-оригинальны. Но... чтожъ пѣзъ этого? Къ чему это насъ ведетъ? Въ чемъ оригинальность эта выражается? Хорошо или дурно то, что мы такъ упорно оригинальны?... Вотъ въ чемъ

вопросъ, и вопросъ страшный. Но не такой человекъ БѢлинскій, чтобы разъ въ чемъ-либо убѣдившись сердцемъ, бояться послѣдствій. Онъ смѣло кается, что вмѣстѣ съ другими (т. е. съ цѣлою эпохою карамзинизма), возводилъ на русскій народъ небылицу, и разсѣкаетъ Гордіевъ узелъ, почти-что предупреждая Чаадаева, или по-крайней-мѣрѣ одновременно съ нимъ.

«Русскому человѣку», смѣло и честно высказывается онъ, «*вредитъ* совсѣмъ не подражательность, а напротивъ — излишняя оригинальность».

Вредитъ.... слово сказано. Пойдемте за нашимъ бывалымъ вождемъ въ развитіи, хотя еще въ первоначальномъ, еще неустановившемся, въ его взглядѣ на нашу бытовую и нравственную сущность.

«Пробѣгите въ умѣ нашемъ всю его (русскаго человѣка) исторію, и доказательства явятся передъ глазами. Вотъ они.... Но постойте: чтобы яснѣе выразить мою мысль, я долженъ прибавить, что *русскій человекъ съ чрезвычайною оригинальностью и самобытностью соединяетъ удивительную недовѣрчивость къ самому себѣ и, вслѣдствіе этого, страхъ какъ любитъ перенимать чужое, но, перенимая, кладетъ типъ своего генія на свои заимствованія*. Такъ еще въ давніе вѣки прослышалъ русскій человекъ, что за моремъ хороша вѣра, и пошелъ за нею за море. Въ этомъ случаѣ, онъ, по счастью, не ошибся: *но какъ поступилъ онъ съ истинной, божественной вѣрой? Перенесъ ея священныя имена на свои языческіе предразсудки*: Св. Власію поручилъ должность бога Волоса, Перуновы громы отдалъ Ильѣ-пророку, и т. д. И такъ, вы видите, перемѣнились слова и названія, а идеи остались все тѣ же. Потомъ явился на Руси царь умный и великій, который захотѣлъ русскаго человѣка умытъ, причесать, обрить, отучить отъ лѣни и невѣжества; *взвылъ русскій человекъ гласомъ великимъ и замазалъ руками и ногами*; но у царя была воля желѣзная, рука крѣпкая, и потому русскій человекъ, волею или неволею, а засѣлъ за азбуку, началъ учиться и шить, и кроить, и строить, и рубить. И въ самомъ дѣлѣ, *русскій человекъ сталъ походитъ съ виду какъ-будто на человека: и умытъ, и причесанъ, и одѣтъ по формѣ, и знаетъ грамоту, и кланяется съ пришаркиваніемъ, и даже подходитъ къ ручкѣ дамъ*. Все это хорошо, да вотъ что худо: *кланясь съ пришаркиваніемъ, онъ, говорятъ, расшибалъ носъ до крови, а подходя къ ручкамъ прелестныхъ дамъ, наступалъ на ихъ ножки, цѣпляясь за свою шпагу, не умѣя справиться съ трехуголкою; выучивъ наизусть правила, начертанныя на зеркалѣ рукою русскаго-великаго царя, онъ не забылъ, не разучился спрягать глаголъ «братъ» подъ всеми видами, во все время, по всемъ лицамъ безъ изыатія, по всемъ числамъ безъ исключенія; надѣвши мундиръ, онъ смотрѣлъ на него не какъ на форму идеи, а какъ на форму парада, и не хотѣлъ слушать, когда мудрое правительство толковало ему, что правосудіе не средство къ жизни, что присутственное мѣсто не лавка, гдѣ отпускаютъ и права, и совѣсть, оптомъ*



*и по мелочи, что судья не воръ и разбойникъ, а защитникъ отъ воровъ и разбойниковъ....»*

Въ этой, еще только порывистой, еще недостаточно-развитой, хотя и гениально-мѣткой, остроумной и вмѣстѣ пламенно-фанатической выходкѣ сказалось все западничество, и рѣшительно можно сказать не пошло дальше. Да и идти было некуда, развѣ только къ высшему оппозированію единства формализма, къ чаадаевскому католицизму. Съ глубокаго замѣчанія о двойственномъ свойствѣ русской природы начинается Бѣлинскій, но вмѣсто того, чтобы поискать причинъ уродливыхъ внѣшнихъ явленій, онъ только подводитъ явленія подъ немилосердый судъ западнаго идеала человѣка и человѣчности. Идеаль этотъ дѣйствительно блестящій, потому-что онъ выработался; Бѣлинскій глубоко воспринялъ его въ свою душу, и въ «двоевѣріи» нашемъ видитъ только грубое явленіе, явленіе животной жизни. Дѣльнѣйшіе послѣдователи его доводятъ его взглядъ до подробной и развитой докрины, въ особенности же г. Соловьевъ, который съ чисто византійскою ненавистью (*les extrêmes se touchent*) казнитъ всѣ слѣды паганизма и народности въ своей исторіи Россіи.... Славянофильство борется съ этой доктриною, но борется посредствомъ теорій, представляющей другую крайность: оно хочетъ *смячить* грубые слѣды паганизма и народности, не признаетъ даже тѣхъ народныхъ пѣсень, которыя не подходятъ подъ славянофильскую теорію народнаго быта, и т. д. Дѣло въ томъ, что Бѣлинскимъ брошено сѣмя борьбы, брошено смѣло, честно, и все, что на логической почвѣ выросло изъ этого сѣмени, онъ принимаетъ безтрепетно, съ самою нещадною послѣдовательностью. Бытовая и историческая жизнь народа не лѣзетъ въ извѣстныя рамки, не подходитъ подъ извѣстные идеалы, — чтожъ ее и жалѣть? Нельзя же въ самомъ дѣлѣ сочувствовать тому, что русскій человѣкъ «взвылъ гласомъ велимъ и замахалъ руками и ногами», когда повели его учиться, если точно поэтому только взвылъ онъ.... Апостеза реформы со всѣми ея крутыми мѣбрами вытекала сама собою изъ такого взгляда, и понятна сильная обличительная тирада, заключающая выходку Бѣлинскаго, тирада, сильнѣе которой сказали что-нибудь не западничество и не отрицательная литература, а развѣ современная обличительная литература, но на другихъ уже основаніяхъ. Посмотрите, съ другой стороны, до какой ужасающей послѣдовательности доходитъ съ перваго же шага фанатизмъ къ реформѣ, — до поэзіи формализма. Что же мудренаго, что на поэзію формализма славянофильство отвѣчало впоследствии и странно-стями въ родѣ охабней, святославокъ и мурмолокъ, и остроумно-ядовитыми замѣтками въ родѣ той, которую сдѣлалъ К. С. Аксаковъ, раз-

бравая одну назидательную повѣсть, умилявшуюся передъ какимъ-то *идеальнымъ* воспитательнымъ заведеніемъ, въ которомъ дѣвочки или мальчики, не помню право, ходили *стройно и попарно*. «Какъ не сказано, что они ходили *въ ногу!*—это было бы еще красивѣе», замѣчалъ по этому поводу Аксаковъ въ одномъ изъ «Московскихъ Сборниковъ».

Кончаетъ Вѣлинскій свою выходящую такъ же нещадно-последовательнo:

«Потомъ»,—говоритъ онъ,—«былъ на Руси другой царь умный и добрый; видя, что добро не можетъ пустить далеко корни тамъ, гдѣ нѣтъ науки, онъ подтвердилъ русскому человѣку учиться, а за ученіе обѣщаль ему и большой чинъ и знатное мѣсто, думая, что приманка выгоды всего сильнѣе; но что жъ вышло? Правда, русскій человѣкъ смысленъ и понятливъ; коли захочетъ, такъ и самага нѣмца за поясъ.... *И точно, русскій принялся учиться, но только, получивъ чинъ и мѣсто, бросалъ тотчасъ книги и принимался за карты—оно и лучше!*...»

Все это тѣмъ болѣе сильно, что тутъ много и правды, что тутъ заключается не одна теорія, не одно западничество, а заключаются отчасти и отрицательныя стороны пушкинскаго созерцанія, и причины лермонтовскаго протеста, и всего болѣе заключается Гоголь!...

«И такъ не ясно ли послѣ этого»,—заключаетъ Вѣлинскій свою страшную діатрибу,—«что русскій человѣкъ самобытенъ и оригиналенъ, что онъ никогда не подражалъ, *а только бралъ изъ-за границы формы, оставляя тамъ идеи, и отливалъ въ эти формы свои собственные идеи, завѣщанныя ему предками?* Конечно, къ этимъ доморощеннымъ идеямъ не совсѣмъ шелъ заморскій нарядъ, но къ чему нельзя привыкнутьъ, къ чему нельзя приглядѣться?..»

Глубокою и правильною мыслью заключена діатриба, но Вѣлинскій не сознавалъ самъ, насколько эта мысль о непреложности идей, завѣщанныхъ предками, и о внѣшнемъ приѣмѣ формъ, свидѣтельствовала въ пользу самобытности народной жизни и порождала требованіе внимательнаго углубленія въ сущность этой самобытности. Онъ говоритъ объ этомъ съ ироніею, которую въ немъ нельзя назвать иначе, какъ наивною, но которая теперь, въ запоздалыхъ последователяхъ его, не можетъ уже быть названа такою, потому-что многіе старались обратить ихъ вниманіе на причины неправильныхъ проявленій нашей самобытности.

Вѣлинскій видѣлъ передъ собою одно, а именно идеалы человѣческіе и вполне развитые, да жизнь совершенно непонятную, подъ эти идеалы неподходящую. Попытка объяснить эту жизнь, подводя ее подъ западныя аналогіи, для его природы, столько же правдивой, какъ натура чаадаевская, видимо были несостоятельны. Попытки же оправдать эту странную жизнь ея же законами на первый разъ заявляли

себя такими нелѣпыми формами, какъ славянофильство Шипкова, пошлость загоскинскаго взгляда въ литературѣ, и въ лучшемъ случаѣ *экстравагантностями* глубокомысленнаго, но часто столь же безтактнаго, въ качествѣ редактора «Телескопа», какъ нѣкогда подъ именемъ Никодима Надоумки, Н. И. Надеждина, въ родѣ апотеозы русскаго кулака.

«Вы»,—обращается онъ къ нему (соч. Бѣл. Т. II, стр. 136 примѣч.),—«смотрите на кулакъ, какъ на орудіе силы, совершенно тождественное съ шпагою, штыкомъ и пулею. Оно такъ, но все-таки между этими орудіями силы есть существенная разность: *кулакъ, равно какъ и дубина, есть орудіе дикаго, орудіе невѣжды, орудіе челоуька грубаго въ своей жизни, грубаго въ своихъ понятіяхъ; кулакъ требуетъ одной животной силы, одного животного остереженія и больше ничего. Шпага, штыкъ и пуля суть орудія челоуька образованнаго; они предполагаютъ искусство, ученіе, методу, следовательно зависимость отъ идеи. Звѣрь сражается когтемъ и зубомъ, естественными его орудіями; кулакъ есть тоже естественное орудіе звѣря-челоуька; челоуькъ общественный сражается орудіемъ, которое создаетъ себя самъ, но котораго не имѣетъ отъ природы...*»

Въ этой, повидимому, незначительной замѣткѣ, высказывается всего яснѣе основной принципъ убѣжденій Бѣлинскаго, и за нимъ всего западничества—принципъ чисто отрицательный—ненависть ко всему непосредственному, ко всему природному или лучше сказать прирожденному. А между тѣмъ, что же можно было, и что можно теперь даже сказать въ защиту кулака, какъ явленія—не впадая въ страшную неловкость?... Отъ кулака еще много шаговъ Бѣлинскому до того знаменитаго положенія, что «гвоздь, выкованный рукою челоуька, дороже самаго лучшаго цвѣтка природы»,—которое уже становится возмутительнымъ для *вѣчнаго* эстетическаго чувства челоуьческой природы; еще далеко и до отрицанія всякой непосредственности, народныхъ преданій, народной поэзіи, народности вообще. Кулакъ еще нельзя было защищать. Защищавшій его, т. е. Н. И. Надеждинъ, неловко хотѣлъ обогнать время, не въ томъ, конечно, смыслѣ, чтобы наше время оправдало кулака, но въ томъ, что оно его сравнило со всѣми *mittelbar*, посредственно, прибрѣтенными орудіями грубой силы.

Съ другой стороны, въ этой замѣткѣ уже ясно высказывается, что только *образованный* челоуькъ есть челоуькъ. И въ этомъ, конечно, есть извѣстная доля правды, но только гдѣ же грань идеала образованія и грань звѣрства?... Образование принято здѣсь явнымъ образомъ за послѣдній моментъ современнаго и притомъ западнаго развитія, если вести мысль логически.... Отсюда уже недалеко до того, чтобы всѣхъ нашихъ доблестныхъ и, по своему, даже образованныхъ предковъ при-

знать звѣрjami. Таѣъ оно и выходитъ. Все, что не подойдетъ подъ условную мѣрку западнаго образованiя, германо-романскихъ идеаловъ, германо-романскаго развитiя, будетъ обречено на звѣрство западничествомъ. Во всемъ тысячелѣтнемъ бытiи народа уцѣлѣютъ только два образа: Петръ, да Иванъ IV.

Апоѳеозу Петра мы уже видѣли; я началъ ею мою статью. Апоѳеоза Ивана IV — прямое логическое послѣдствие исключительной апоѳеозы Петра — не совершенна однако Бѣлинскимъ съ тою наивною и вмѣстѣ ужасающею послѣдовательностью, съ какою совершенна апоѳеоза Петра, хотя въ идеяхъ Бѣлинскаго объ Иванѣ IV заключаются уже смена почти всего того, что впослѣдствiи высказано гг. Соловьевымъ и Кавеллнымъ. Бѣлинскiй взялъ Ивана IV болѣе съ психологической общей стороны, увлекся имъ какъ художественнымъ образомъ.

«Мы, — говоритъ Бѣлинскiй (Т. II, стр. 217), — поспорили бы съ почтеннымъ авторомъ только на счетъ Иоанна IV. Намъ кажется, что онъ не разгадалъ, или можетъ быть не хотѣлъ разгадать тайну этого необыкновеннаго челоѳка. У насъ господствуетъ нѣсколько различныхъ мнѣнiй на счетъ Иоанна Грознаго. Карамзинъ представилъ его какимъ-то двойникомъ, въ одной половинѣ котораго мы видимъ какого-то ангела, святаго и безгрѣшнаго, а въ другой чудовище, изрыгнутое природою въ минуту раздора съ самою собою, для пагубы и мученiя бѣднаго челоѳчества, и эти двѣ половины сшиты у него, какъ говорится, бѣлыми нитками. Грозный былъ для Карамзина загадкою; другiе представляютъ его не только злымъ, но и ограниченнымъ челоѳкомъ; нѣкоторые видятъ въ немъ генiя. Г. Полевой держится какой-то середины; у него Иоаннъ не генiй, а просто замѣчательный челоѳкъ. Съ этимъ мы никакъ не можемъ согласиться, тѣмъ болѣе, что онъ самъ себя противорѣчить, изобразивъ такъ прекрасно, такъ вѣрно, въ такихъ широкихъ чертахъ этотъ колоссальный характеръ. Въ самомъ разсказѣ г. Полеваго Иоаннъ очень понятенъ. Объяснимся. *Есть два рода людей съ добрыми наклонностями: люди обыкновенные и люди великiе. Первые, сбившись съ прямого пути, дѣлаются мелкими негодяями, слабодушниками; вторые злѣдьями. И чѣмъ душа челоѳтка огромнѣе, чѣмъ она способна къ впечатлѣнiямъ добра, тѣмъ глубже падаетъ она въ бездну преступленiя, тѣмъ больше закаляется во злѣ. Таковъ Иоаннъ; это была душа энергическая, глубокая, гранитская. Стоитъ только пробѣжать въ умѣ жизнь его, чтобы удостовѣриться въ этомъ. Вотъ, четырехлѣтнее дитя, остается онъ безъ отца, и кому же вѣрится его воспитанiе? Преступной матери и самовольству бояръ, этихъ буйныхъ бояръ, крамольныхъ, корыстныхъ, которые не почитали за безчестiе и стыдъ лѣности, нераденiя, явнаго неповиновенiя царской волѣ, проигранныя сраженiя вслѣдствiе споровъ о мѣстахъ, а почитали себя обезчещенными, уничтоженными, когда ихъ сажали не по чинамъ на царскихъ пирахъ. И чтожь дѣлаютъ съ царственнымъ отрокомъ эти корыстные и бездушные бояре?*

Онъ рветъ животное, наслаждается его смертными издыханіями, а они говорятъ: «пусть державный гѣшитъ!» Кто-жъ виноватъ, если потомъ онъ гѣшитъ надъ ними, своими развратителями и наставниками въ тиранствѣ? Онъ любитъ Телепнева, а они вырываютъ любимца изъ его объятій и ведутъ его на мѣсто казни. *Душа младенца была потрясена до основанія, а такія души не забываютъ подобныхъ потрясеній.* Онъ дѣлается юношею и распутничаетъ,— бояре видятъ въ этомъ свою пользу и поддучиваютъ его на распутство. Но зрѣлище народнаго бѣдствія потрясаетъ душу юнаго царя и вдругъ перемѣняетъ его: онъ женится, и на комъ же? на кроткой, прекрасной Анастасіи: онъ уже не тиранъ, а добрый государь, онъ уже не легкомысленный и вѣтренный мальчишечка, а благоразумный мужъ: *какіе люди способны къ такимъ внезапнымъ и быстрымъ перемѣнамъ? ужъ конечно не просто добрые и не злые!* Онъ подаетъ руку иноку Сильвестру и безродному Адашеву, онъ вѣряется имъ, онъ какъ будто понимаетъ ихъ; *поняли-ль они его?* Люди народа, они дѣйствуютъ благородно и безкорыстно, умно и удачно, но они оковываютъ волю царя; эта воля была львиная и жаждала раздолья и дѣятельности самобытной, честолюбивая и пламенная... Своимъ вліяніемъ на умъ царя, они спеленали исполина, не думая, что ему стоитъ только пожать плечами, чтобъ разорвать пеленки. *Они наконецъ назначили ему и часъ молитвы, и часъ суда и совета, и часъ царской потѣхи, покорили эту душу тязкому, холодному, жалкому и бездушному ханжеству,* а эта душа была пылка, нетерпѣлива, стояла выше предразсудковъ своего времени и *тайно презирала бессмысленными обрядами.* И царь надѣлъ его, слушался своихъ любимцевъ какъ дитя, казалось былъ всегдѣ доволенъ; но его сердце точилъ червь униженія... У царя есть сынъ и есть дядя, *послѣдній обломокъ развалившагося зданія удѣловъ.* Царь боленъ при смерти; въ это время Русь уже приучилась страпиться крамоль; *наслѣдство престола было уже опредѣлено и утверждено общимъ народнымъ мнѣніемъ,* сынъ царя былъ уже выше своего дяди. Чтѣ же? При смертномъ одрѣ умирающаго вѣнценосца возсталъ крамола: *бояре отрекаются отъ законнаго наслѣдника, къ нимъ пристають Сильвестръ и Адашевъ...* Царь все видитъ, все слышитъ: его санъ, его достоинство поруганы: у его смертнаго одра брань и чуть не драка; *справедливость нарушена;* его сынъ лишенъ престола, *который отдается удѣльному князю,* который въ глазахъ и царя и народа казался крамольникомъ, хотя былъ невиненъ, которому право жизни было дано какъ-будто изъ милости... Этотъ ударъ былъ слишкомъ силенъ, нанесенная имъ рана была слишкомъ глубока, царь возсталъ для мщенія... *Трепещите, буйные и крамольные бояре! ваша часть пробилъ, вы сами накликаете кару на свою голову, вы оскорбили мѣа, а левъ не забываетъ оскорбленій и страшно мститъ за нихъ...* Царь выздоровѣлъ, оглянулся назадъ: назадъ было его сирое дѣтство, казнь Овчины Телепнева, тяжкая неволя и ненавистная боярщина, поругавшаяся надъ его смертнымъ часомъ, оскорбившая и законъ и справедливость и совѣсть; взглянулъ впередъ: впереди опять тяжкая неволя и ненавистная боярщина... Мысль объ

измѣнѣ и крамоулѣ сдѣлалась его жизнью, и съ тѣхъ поръ онъ вездѣ и во всемъ могъ видѣть одну измѣну и крамолу, какъ человѣкъ, помѣшавшійся отъ привидѣнія, вездѣ и во всемъ видитъ испугавшій его призракъ... Къ этому присоединилась еще смерть страстно любимой имъ Анастасіи... И теперь, какъ понятно его постепенное измѣненіе, его переходъ къ злодѣйству!.. Ему надлежало бы свергнуть съ себя тягостную опеку, слушать совѣты, а дѣлать по своему, не питать вѣры, но быть осторожнымъ съ боярщиною и править государствомъ къ его славлѣ и счастью; но онъ жаждетъ мести, мести за себя, *а человекъ имѣетъ право мстить только за дѣло истины, за дѣло Божіе, а не за себя.* Мщеніе можетъ быть сладкій, но ядовитый напитокъ; это скорпіонъ самъ себя уязвляющій... Крѣвь тоже напитокъ опасный и ужасный: она что морская вода: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ жажда сильнѣе; она тушитъ мечь, какъ тушитъ масло огонь. Для Іоанна мало было виновныхъ, мало было бояръ, онъ сталъ казнить цѣлые города: онъ былъ боленъ, онъ опьянѣлъ отъ ужаснаго напитка крови... Все это вѣрно и прекрасно изображено у г. Полеваго, и въ его изображеніи намъ понятно это безуміе, эта звѣрская кровожадность, эти неслыханныя злодѣйства, эта гордыня и вмѣстѣ съ ними эти жгучія слезы, это мучительное раскаяніе и это униженіе, въ которыхъ проявлялась вся жизнь Грознаго; намъ понятно также и то, что только ангелы могутъ изъ духовъ свѣта превращаться въ духовъ тьмы... Іоаннъ поучителенъ въ своемъ безуміи, это не тиранъ классической трагедіи, это не тиранъ Римской имперіи, гдѣ тираны были выраженіемъ своего народа и духа времени: это былъ падшій ангелъ, который и въ паденіи своемъ обнаруживаетъ по временамъ силу характера желѣзнаго, и силу ума высокаго...

Прежде еще, чѣмъ остановлюсь я на этомъ весьма важномъ очеркѣ, я сопоставлю съ нимъ выписку изъ статьи «Отеч. Записокъ» 1841 года, въ которой Вѣлинскій восторженно увлекаясь поэмою Лермонтова о «Купцѣ Калашниковѣ», касается тоже образа Ивана IV.

«На первомъ планѣ», — говоритъ нашъ критикъ, — «видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный блескъ живъ еще въ преданіи и фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ «мужъ кровей», какъ называетъ его Курбскій? Былъ ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говоритъ Карамзинъ? *Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о его историческомъ значеніи;* замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ *великаго развитія для великаго подвига;* но какъ условія тогдашняго полуазиатскаго быта и внѣшнія обстоятельства отказали ей *даже въ какомъ-нибудь развитіи,* оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности *пересоздать действительность,* то эта сильная натура, этотъ великій духъ по неволѣ исказились, нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой ненавистной и враждебной имъ дѣйствительности... Тираниа Іоанна Грознаго имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвра-

шеніе, какъ къ мучителю... *Можетъ быть, это былъ своего рода великій человекъ, но только не вовремя, слишкомъ рано явившійся Россіи, пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидавшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ: можетъ быть въ немъ безсознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страшно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого въ болѣзненной и безсознательной ярости. Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его, свирѣпства, онъ самъ наиболее заслуживаетъ соболъзнованіе; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поззіи...*» (Т. IV, стр. 284).

«Мы русскіе»,—говоритъ еще Бѣлинскій уже 1843 году, сильнѣе и и сильнѣе вдаваясь въ свой централизаціонный взглядъ и сопоставляя прямо Петра съ Іоанномъ (Т. VII, стран. 105), какъ съ его предшественникомъ въ выработкѣ государственной идеи,—

имѣли своего Ахилла, который есть неопровержимо-историческое лицо, ибо отъ дня смерти его протекло только 118 лѣтъ, но который есть мифическое лицо со стороны необъятной важности духа, колоссальности дѣла и невѣроятности чудесъ, имъ произведенныхъ. Петръ былъ полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и если бы между его натурою и натурою русскаго народа не было кровнаго родства, его преобразованія, какъ индивидуальное дѣло сильнаго средствами и волею человека, не имѣли бы успѣха. *Но Русь неуклонно идетъ по пути, указанному ей творцемъ ея. Петръ выразилъ собою великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно развившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни.* Этою высокою способностью самоотрицанія обладаютъ только великіе люди и великіе народы, и ею-то русское племя возвысилось надъ всеми славянскими племенами, въ ней-то и заключается источникъ его настоящаго могущества и будущаго величія. До Петра, вся русская исторія заключалась въ одномъ стремленіи къ соглашенію разъединенныхъ частей страны и сосредоточенію ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случаѣ помогло и татарское иго, и грозное царствованіе Іоанна...

Послѣ этихъ нарочно сопоставленныхъ мною мѣстъ, нельзя не удивляться тому, что Бѣлинскій въ 1846 году, стало быть въ эпоху еще позднѣйшую и еще болѣе теоретическую своей дѣятельности, находитъ энергическими стихи Языкова о Грозномъ—Языкова, котораго притомъ преслѣдовалъ онъ беспощадно. Это можно пояснить только великимъ художническимъ чувствомъ, которое никогда не покидало нашего критика, какъ бы сильно ни вдавался онъ въ теорію.

«Одушевляясь прошедшимъ»,—пишетъ онъ въ одной рецензіи 1846 г. (Соч.

Бѣл. Т. X., стр. 389),—какъ «почтенный собесѣдникъ старины», г. Н. Языковъ, вдругъ *обмолвился* нѣсколькими *энергическими* стихами объ Иванѣ Грозномъ:

«Трехъ музультманскихъ царствъ счастливый покоритель

И кровопійца своего!

Неслыханный тиранъ, мучитель непреклонный,

Природы ужасъ и позоръ!

Въ Москвѣ за казнью казнь; у плахи беззаконной

Весь день мясничаетъ топоръ,

По земскимъ городамъ толпа кроющіхъ бродить,

Нося грабежъ, губя людей,

И, бѣшено свирѣтъ, самъ царь ее предводитъ...»

Для того, чтобы уяснить себѣ и оцѣнить по достоинству значеніе взгляда Бѣлинскаго на личность Ивана IV, нужно принять въ соображеніе то обстоятельство, что Бѣлинскій былъ совершенно незнакомъ съ источниками нашей исторіи вообще, въ его время еще мало доступными, создавалъ себѣ Ивана по карамзинскимъ формамъ съ одной стороны, и по отрицанію Полеваго съ другой,—всѣмъ, слѣдовательно, обязанъ былъ своей гениальной чуткости и проницательности. Притомъ, стремясь разяснить себѣ таинственную личность грознаго вѣнценосца, онъ имѣлъ въ виду цѣли болѣе психологическія и художественныя, чѣмъ историческія или политическія. Онъ былъ пораженъ этимъ дѣйствительно-знаменательнымъ образомъ, пораженъ какъ артистъ, и хотѣлъ разгадать внутреннія пружины страшныхъ дѣяній Ивана IV...

Въ 1836 году, въ которому принадлежитъ первое изъ выписанныхъ мною мѣстъ, Бѣлинскій еще былъ самымъ яркимъ поклонникомъ юной французской словесности; стоялъ, такъ сказать, на колѣняхъ передъ нею вообще, передъ Бальзакомъ въ особенности; восхищался не только глубокимъ анализомъ Бальзака, но и образами въ родѣ Феррагуса въ *Histoire de treize*. Здѣсь не мѣсто говорить о томъ, на сколько онъ былъ правъ или неправъ въ тогдашнихъ своихъ увлеченіяхъ. Дѣло въ томъ, что исходная точка его симпатическаго взгляда на Ивана IV, заключается въ увлеченіи той эпохи вообще, и въ его увлеченіи въ особенности, страшными и мрачными натурами, демоническими и разрушительными стремленіями,—стремленіями выходящими изъ общаго круга, идущими въ разрѣзъ съ общею жизнью. Такою личностью, такою титаническою натурою представилъ онъ себѣ и нашего Грознаго. Въ этомъ представленіи много правды, по крайней мѣрѣ оно, и одно оно, помогло разгадать сколько-нибудь эту психологическую загадку, и нѣтъ сомнѣнія, что если бы Бѣлинскій прямо по источникамъ изучилъ Грознаго со всѣхъ его сторонъ, онъ можетъ быть удачнѣе всѣхъ разгадалъ бы эту



мрачную и вмѣстѣ проническую, часто даже юморстическую (въ похожденияхъ Александровской Слободы, въ посланіи къ отцамъ Бѣлозерскаго Кприловскаго монастыря), вполнѣ *русскую* личность... Не имѣя же подъ рукою ни фактовъ, ни красокъ для этой фигуры, онъ набросилъ на нее общій байроническій тонъ, и самая рѣчь его въ приведенныхъ мѣстахъ о Грозномъ отзывается страстной, лихорадочной тревогою...

Но, какъ писатель общественный, Бѣлинскій не могъ остановиться на одной художественной симпатіи къ личности... Онъ взглянулъ глубокимъ взглядомъ на значеніе этой личности въ нашемъ развитіи общественномъ, взглянулъ на Ивана, какъ на общественнаго двигателя, и съ разу проложилъ и указалъ дорогу своимъ ученикамъ. Въ статьѣ 1836 года, Бѣлинскій еще ни слова не говоритъ о государственномъ значеніи Ивана IV. Въ статьѣ 1841 года, онъ, оговариваясь, что не мѣсто и не время распространяться въ статьѣ объ историческомъ значеніи Грознаго, даетъ однако замѣтить, что въ дѣлѣ его онъ видитъ «великій подвигъ», что въ его страшныхъ казняхъ видно стремленіе пересоздать дѣйствительность, говорить наконецъ прямо, что *можетъ-быть* это былъ преждевременно явившійся великій человѣкъ... Вся послѣдующая школа родоваго быта уже заключается въ этомъ взглядѣ. Она отброситъ только слово «*можетъ-быть*», которое и самъ Бѣлинскій поставилъ потому только, что не владѣлъ достаточнымъ количествомъ фактовъ, подтверждающихъ взглядъ и почерпнутыхъ прямо изъ источниковъ,—потому только, что говорилъ гадательно. Когда же явилась книга Котошихина, когда отрицателямъ представилась цѣлая масса фактовъ, обличающихъ «ужасную дѣйствительность», тогда Бѣлинскій прямо и послѣдовательно призналъ Ивана IV предшественникомъ Петра Великаго, какъ свидѣтельствуемъ третье приведенное мною мѣсто,—вмѣстѣ съ тѣмъ, по своей неумолимой послѣдовательности, онъ наравнѣ съ Иваномъ призналъ и татарское иго необходимымъ звеномъ въ нашемъ государственномъ развитіи...

Но не только основная идея всѣхъ послѣдующихъ взглядовъ на личность Ивана IV и его историческое значеніе заключается въ приведенныхъ выпискахъ,—нѣтъ! въ нихъ заключаются намеки на всѣ самыя тонкія подробности. У Бѣлинскаго уже является та мысль, что Иванъ IV пришелъ въ міръ съ «*призваніемъ на великое дѣло*». П. Соловьевъ только развилъ это «призваніе» фактически и раздвинулъ предѣлы брошенной Бѣлинскимъ мысли только тѣмъ, что сталъ доказывать въ Иванѣ сознательное чувство этого призванія. Бѣлинскій указалъ на разубѣжденіе Грознаго въ Сильвестрѣ и Адашевѣ. Пг. Соло-

вевъ и Кавелинъ только смѣлѣе и прямѣе объявляли ихъ и ихъ партію отсталыми людьми, а Грознаго и палача Томилу прогрессистами. Все, однимъ словомъ, что развило послѣ въ цѣлую теорію; существуетъ уже въ зародышѣ въ мысляхъ Вѣлинскаго; все, даже, къ сожалѣнію, до крика *vae victis!*—этого грустнаго результата историческаго фатализма, породившаго теорію родового быта и централизаціи. У Вѣлинскаго крикъ этотъ только напряженнѣй и лихорадочнѣй («Трепещите, буйные и крамольные бояре» и т. д.)...

Вѣлинскій прежде всего обладалъ гениальнымъ чутьемъ, и потому нисколько не удивительно, что онъ намѣтилъ геркулесовы грани теоріи отрицанія и централизаціи. Можно сказать, что бросившись разъ по пути этой теоріи, онъ уже носилъ ее въ себѣ совершенно непосредственно, и переменяя часто взглядъ на частныя явленія, идеѣ централизаціи остается вѣрять постоянно до послѣдняго года жизни, когда въ немъ повидному готовился какой-то переломъ, совершенію котораго воспрепятствовала смерть. Въ 1836-ли году, фанатическій поклонникъ бурнаго романтизма,—въ 1838-ли или 1839 году, фанатикъ разумности дѣйствительности и ярый гонитель французовъ, романтизма и либерализма,—въ сороковыхъ ли годахъ, предсказатель прогресса,—онъ твердо и неуклонно стоитъ въ одномъ—въ отрицаніи и централизаціонныхъ началахъ. Этимъ объясняются его нелюбовь къ славянству и стремленіямъ славянизма, его вражда къ малороссійской литературѣ, какъ къ мѣстной литературѣ и т. д. Эта нелюбовь къ славянству и эта вражда къ мѣстной малороссійской литературѣ въ немъ являются чѣмъ-то странно-инстинктивнымъ.

Нѣтъ сомнѣнія для того, кто пристально прослѣдилъ дѣятельность Вѣлинскаго, въ томъ, что эпоха отъ 1834 до 1836 года, т. е. эпоха дѣятельности въ «Телескопѣ»,—единственная, въ которой мы видимъ его вполне такъ—сказать на распаху, не подчиненнымъ никакой извнѣ пришедшей теоріи, отдающимъ беззавѣтно всѣмъ страстнымъ сочувствіямъ; по временамъ только страстные порывы его умѣряются влияніемъ чужой могущественной мысли Надеждина, но и то борются съ этимъ влияніемъ. Всего замѣчательнѣе, что и въ эту эпоху Вѣлинскій или прямо возстаеъ на первыя выраженія исключительно народныхъ стремленій, или относится къ нимъ отрицательно, насмѣшливо...

Первоначальныя стремленія исключительно-народнаго направленія, выражались часто или въ нескладныхъ формахъ, какъ, на примѣръ, оправданіе *кулака*, или въ юношескомъ высокоуміи и заносчивости противъ западнаго образованія. Выходку Вѣлинскаго противъ «кулака» я уже приводилъ. Не менѣе замѣчательны и двѣ выходки его въ рецен-

зіи на книгу Венелина: «О характерѣ народныхъ пѣсень у славянъ Задунайскихъ.»

Венелинъ былъ одинъ изъ благороднѣйшихъ дѣятелей славянства, и одинъ изъ даровитѣйшихъ представителей славянской мысли. Человѣкъ сердца, болѣе чѣмъ человѣкъ ума, обладавшій громадною, но безпорядочнѣйшею ученостью, одаренный гениальнымъ историческимъ чутьемъ и предупредившій многими идеями великаго Шафарика, въ отношеніи къ которому онъ былъ своего рода допотопною формацией, онъ вносилъ въ науку всѣ симпатіи и всѣ глубокія ненависти угнетеннаго племени, за которое, какъ и за всѣ славянскія племена въ совокупности, онъ готовъ былъ идти на крестъ и мученія. Статья его о пѣсняхъ задунайскихъ славянъ, какъ всѣ его, къ сожалѣнію еще неизданныя вполнѣ, сочиненія, представляетъ смѣсь гениальнѣйшихъ соображеній и глубокой критической проницательности съ мыслями недозрѣлыми и неразъясненными, а иногда даже просто незрѣлыми и темными, но исполненными самой страстной заносчивости. Холодно, и то какъ-бы повинуваясь общему духу своего тогдашняго журнала, хвалить Бѣлинскій достоинство книги Венелина, но явно враждебно относится къ ея слабымъ сторонамъ, съ какой-то злостью выставляетъ ихъ, и высказываетъ рѣзко свое несочувствіе къ славянству, его интересамъ, его враждамъ, стремленіямъ и даже къ его исторіи.

«Мы пропускаемъ»,—говоритъ онъ (соч. Бѣл. Т. II, стран. 175),—«что языкъ г. Венелина нерѣдко бываетъ неправиленъ и страненъ, что онъ любитъ употреблять слова и выраженія, никѣмъ неупотребляемыя, какъ-то: «чуждость человѣческаго рода» и тому подобныя, которыхъ не мало; все это не важно. Но насъ удивили нѣкоторыя его мысли, изложенныя частью въ выноскахъ, частью въ прибавленіяхъ къ статьѣ; онѣ кажутся намъ въ совершенной дисгармоніи съ тѣми, о которыхъ мы говорили выше. Съ трудомъ вѣрится, чтобы тѣ и другія принадлежали одному и тому же лицу. Что значитъ, напримѣръ, эта насмѣшка надъ Гёте, за то, что онъ выдалъ Елену Иліады за нѣмца Фауста? Неужели почтенному автору неизвѣстно, что есть художественныя сочиненія, которыя, будучи неестественны, несбыточны и нелѣпы въ фактическомъ отношеніи, тѣмъ не менѣе истинны поэтически? Неужели ему неизвѣстно, что въ творчествѣ, сказка или разсказъ бываетъ иногда только символомъ идеи? Что за насмѣшка надъ красавицею Еленою, которую авторъ грозится наказать самымъ славянскимъ, т. е. *самымъ варварскимъ* наказаніемъ? За что такая немилость? Неужели почтенный авторъ думаетъ, что дѣйствующія лица въ поэмѣ должны быть резонабельны, нравственны, словомъ должны отличаться хорошимъ поведеніемъ? Неужели ему неизвѣстно, что самыя понятія о нравственности не у всѣхъ народовъ сходны? Елена нисколько не оскорбляла своимъ поведеніемъ жизни древнихъ; она совершенно въ духѣ народа и въ духѣ времени. Ее такъ же смѣшно упрекать въ безнравствен-

ности, какъ смѣшно упрекать *Задумайскихъ славянъ въ томъ, что они головорезы...*

Повидимому въ высшей степени правильны здѣсь нападки Бѣлинскаго, но въ этихъ правильныхъ и разумныхъ нападкахъ кроется столько инстинктивно враждебнаго, что желчь въ нихъ постепенно накапливается и наконецъ прорывается злобною выходкою противъ задумайскихъ славянъ, столь дорогихъ сердцу благороднаго, самоотверженнаго труженика болгарскаго и всего славянскаго дѣла... Дѣло ясное теперь для насъ, читателей, что всѣ «неужели», обращаемыя рецензентомъ къ Венелину, «неужели» столь справедливыя и разумныя, въ сущности къ Венелину не относятся. Все, о чемъ допрашивалъ его Бѣлинскій, Венелинъ зналъ, конечно, такъ же хорошо, какъ самъ Бѣлинскій, но у Венелина кровь кипѣла, желчь подымалась при словѣ «нѣмецъ», и вотъ рука расходилась, въ ученой книгѣ вырвались необдуманная слова племенной ненависти,—хоть на чемъ-нибудь, хоть не встать, да сорвать злость на нѣмцевъ! До Елены, до Фауста—тутъ и дѣла нѣтъ, тутъ звучитъ старая пѣсня о Любушиномъ судѣ, что не хорошо

искать у нѣмцевъ правды....

У насъ правда по закону святу,

Принесли ту правду наши дѣды,

Черезъ три рѣки на нашу землю.

Тутъ явно видима наивная, племенная обмолвка. И вотъ обмолвка эта попадаетъ человѣку, у котораго кровь кипитъ и желчь кипѣла отъ противорѣчій нашей славянской дѣйствительности тому блестящему идеалу, который выработало остальное человѣчество, который именно въ нашей славянской дѣйствительности видитъ причины нашей отсталости и неразвитости...

Оба эти человѣка правы... но за наивную, почти дѣтскую въ своей заносчивости, обмолвке одного, злобно и даже расчетливо мститъ другой. Этотъ другой сильнѣе и ясностью ума и твердыми, хотя чужими основами взгляда.

«Потомъ», — продолжаетъ рецензентъ, — «что это за нападки на Гердера и Гизо? И за что-же? За то, что они находили духъ рыцарства и героизма только въ тѣмечкихъ племенахъ, а не въ славянскихъ? Странно. Конечно, героизмъ т. е. непосѣдность, предприимчивость и страсть къ кровопролитію свойственны всякому младенчеству народоу болѣе или менѣе; но самый этотъ героизмъ имѣетъ болѣе или менѣе кругъ дѣйствія. Норманны переплывали моря и завоевывали отдаленныя страны, а славяне дрались съ своими сосѣдями, или другъ съ другомъ. Что же касается до рыцарства, то оно безъ всякаго сомнѣнія принадлежитъ исключительно одной Европѣ сред-

нихъ вѣковъ, и именно тѣмъ. Рыцарство и героизмъ очень похожи другъ на друга, но между ними есть и большая разница; героизмъ бываетъ почти всегда безсмысленъ, а рыцарство водится всегда идею! Гдѣ же надо искать этой идеи? Неужели въ безсмысленной рѣзни Задунайскихъ славянъ съ турками или кавказскихъ племенъ между собою? За чтѣ же г. Венелинъ такъ сердится на Гизо и особенно на великаго Гердера, что они были неуважительны къ славянамъ? Я презираю это дѣтское обожаніе авторитетовъ, вслѣдствіе котораго нельзя сказать о Мильтонѣ, что онъ не поэтъ, или по крайней мѣрѣ не великій поэтъ, и тому подобное; но съ тѣмъ вмѣстѣ я противъ неуважительнаго тона къ людямъ, оказавшимъ человѣчеству большія услуги, каковы Гердеръ; и слова: «Гердеръ дѣтствуетъ, Гердеръ ребячествуетъ» мнѣ кажутся неумѣстными. Гердеръ могъ ошибаться, могъ не знать чего-либо, но никогда онъ не могъ ни дѣтствовать, ни ребячиться. Намъ желательно, чтобы г. Венелинъ» и т. д...

Это мѣсто, въ которомъ все, по крайней мѣрѣ повидимому, справедливо, кромѣ злости, въ высшей степени знаменательно и въ отношеніи къ исторіи борьбы двухъ направленій, и въ отношеніи къ самому Бѣлинскому. Безпощадная послѣдовательность вражды заводитъ его въ «Телескопъ» 1836 года почти въ тоже самое, чтѣ высказано имъ было въ сороковыхъ годахъ. Вѣдь тутъ ужъ чуть-чуть что нѣтъ симпатіи къ туркамъ, какъ къ организованному государству, чуть-чуть что нѣтъ этого знаменитаго положенія, которое dokonчилъ послѣдовательно «Атеней» мрачной памяти, въ лѣто отъ Р. X. 1859, чуть-чуть что нѣтъ того однимъ словомъ, за что глубоко ненавидѣло славянофильство Бѣлинскаго, за что оно готово было оскорблять его великую память...

И кто же тутъ виноватъ?.. Не виновато славянофильство, ибо Бѣлинскій, увлекаемый теоріею, шелъ наперекоръ его завѣтнѣйшимъ и притомъ благороднѣйшимъ стремленіямъ; не виноватъ и Бѣлинскій, вѣрный здѣсь своему принципу, своимъ идеаламъ до фанатизма... Ходъ мысли его касательно нашей связи съ славянствомъ, т. е. касательно нашей народности вообще, былъ таковъ, что только отрицаніемъ нашей самости мы вступаемъ въ семью человѣчества, что исторіи у насъ нѣтъ до Петра и до реформы.

«До славянъ же»,—говоритъ онъ 1845 году (соч. Бѣл. ч. IX, стр. 417),—«намъ нѣтъ дѣла, потому что они не сдѣлали ничего такого, что дало бы имъ право на вниманіе науки и на основаніи чего наука могла бы видѣть въ ихъ существованіи фактъ исторіи человѣчества».

Вотъ оно главное слово разгадки: человѣчество! Это—абстрактное человѣчество худо понятаго гегелизма, человѣчество, котораго въ сущности нѣтъ, ибо есть организмы растущіе, старѣющіеся, перерождающіеся, но вѣчные: народы. Для того, чтобы оно было,—это абстрактное

человѣчество, нужно непременно признать какой-либо условный идеалъ его. Этому идеалу жертвуется всѣмъ народнымъ, мѣстнымъ, органическимъ... Въ концѣ концовъ, въ результатахъ этого идеала, стоитъ конечно то, о чемъ Гегелю и не снилось.

Чаадаевъ былъ проще и послѣдовательнѣе. Онъ прямо схватился за католицизмъ, за блестящее и вѣковое выраженіе мертвящей централизаціи, прямо взглянулъ въ лицо *теоріи*, абсолютно же отрекся отъ жизни!...

### III.

«Всякій народъ есть нѣчто цѣлое, особое, частное и индивидуальное; у всякаго народа своя жизнь, свой духъ, свой характеръ, свой взглядъ на вещи, своя манера понимать и дѣйствовать. Въ нашей литературѣ теперь борются два начала, французское и нѣмецкое. Борьба эта началась уже давно, и въ ней-то выразилось рѣзкое различіе направленія нашей литературы. Разумѣется, что намъ такъ же не къ лицу идетъ быть нѣмцами, какъ и французами, *потому что у насъ есть своя національная жизнь, глубокая, могучая, оригинальная; но назначеніе Россіи есть принять въ себя всѣ элементы не только европейской, но мировой жизни, на что достаточно указываетъ ея историческое развитіе, географическое положеніе и самая многосложность племенъ, вошедшихъ въ ея составъ и теперь перекаляющихся въ горнилахъ великорусской жизни, которой Москва есть средоточіе и сердце, и приобщающихся къ ея сущности.* Разумѣется, принятіе элементовъ всемирной жизни не должно и не можетъ быть механическимъ или эклектическимъ, какъ философія Кузена, сшитая изъ разныхъ лоскутковъ, а живое, органическое, конкретное; эти элементы, принимаясь русскимъ духомъ, не остаются въ немъ чѣмъ-то *постороннимъ и чуждымъ, но перерабатываются въ немъ, преобразуются въ его сущность и получаютъ новый самобытный характеръ.* Такъ въ живомъ организмѣ разнообразная пища процессомъ пищеваренія обращается въ единую кровь, которая животворитъ единый организмъ. Чѣмъ многосложнѣе элементы, тѣмъ богатѣе жизнь. Неуловимо безконечны стороны бытія, и чѣмъ болѣе сторонъ выражаетъ собою жизнь народа, тѣмъ могучѣе, глубже и выше народъ. *Мы, русскіе, наследники цѣлаго міра, не только европейской жизни, и наследники по праву.* Мы не должны и не можемъ быть англичанами, ни французами, ни нѣмцами, *потому что мы должны быть русскими;* но мы возьмемъ, какъ свое, все, что составляетъ исключительную сторону жизни каждаго европейскаго народа, и возьмемъ ее, *не какъ исключительную сторону, а какъ элементъ для пополненія нашей жизни, исключительная сторона которой должна быть многосторонностью не отвлеченная, а живая, конкретная, имѣющая свою собственную народную*

*физиономію и народный характеръ.* Мы возьмемъ у англичанъ ихъ промышленность, ихъ универсальную практическую дѣятельность, но не сдѣлаемъ только промышленными и дѣловыми людьми; мы возьмемъ у нѣмцевъ науку, но не сдѣлаемъ только учеными; мы уже давно беремъ у французовъ моды, формы свѣтской жизни, шампанское, усовершенствованія по части высокаго и благороднаго повареннаго искусства; давно уже учимся у нихъ любезности, ловкости свѣтскаго обращенія; но пора уже перестать намъ брать у нихъ то, чего у нихъ нѣтъ: знаніе, науку. Ничего нѣтъ вреднѣе и нелѣпѣе, какъ не знать, гдѣ чѣмъ можно пользоваться.

*«Вліяніе нѣмцевъ благотвельно на насъ во многихъ отношеніяхъ, и со стороны науки и искусства, и со стороны духовно-нравственной. Не имѣя ничего общаго съ нѣмцами въ частномъ выраженіи своего духа, мы много имѣемъ съ ними общаго въ основѣ, сущности, субстанціи нашего духа. Съ французами мы находимся въ обратномъ отношеніи; хорошо и охотно сходясь съ ними въ формахъ общественной (свѣтской) жизни, мы враждебно противоположны съ ними по сущности (субстанціи) нашего національнаго духа (соч. Бѣл. Т. II, стр. 304).»*

Кромѣ природы и личнаго человѣка, есть еще общество и человѣчество. Какъ бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человѣка, какимъ бы горячимъ ключемъ ни была она во мнѣ и какими бы волнами ни лилась черезъ край, она не полна, если не усвоитъ въ свое содержаніе интересовъ вѣшняго ей міра, общества и человечества. Въ полной и здоровой натурѣ тяжело лежить на сердцѣ судьба родины; всякая благородная личность глубоко сознаетъ свое крѣпкое родство, свои кровныя связи съ отечествомъ. Общество, какъ всякая индивидуальность, есть нѣчто живое и органическое, которое имѣетъ свои эпохи возрастанія, свои эпохи здоровья и болѣзней, свои эпохи страданія и радости, свои роковыя кризисы и переломы къ выздоровленію и смерти. Живой человѣкъ носить въ своемъ духѣ, въ своемъ сердцѣ, въ своей крови жизнь общества; онъ болѣетъ его недугами, мучится его страданіями, цвѣтетъ его здоровьемъ, блаженствуетъ его счастьемъ, вѣ своихъ собственныхъ, своихъ личныхъ обстоятельствахъ. Разумѣется, въ этомъ случаѣ общество только беретъ съ него свою дань, отторгая его отъ него самаго въ извѣстные моменты его жизни, но не покоряя его себѣ совершенно и исключительно. Гражданинъ не долженъ уничтожать человѣка, ни человѣкъ гражданина; въ томъ и другомъ случаѣ выходитъ крайность, а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. *Любовь къ отечеству должна выходить изъ любви къ человечеству, какъ частная изъ общаго. Любить свою родину значитъ пламенно желать видѣть въ ней осуществленіе идеала человечества и по мѣрѣ силъ своихъ споспѣшествовать этому. Въ противномъ случаѣ, патриотизмъ будетъ китаизмъ, который любитъ свое только за то, что оно свое, и ненавидитъ все чужое за то только, что оно чужое, и не нарядуетъ собственнымъ безобразіемъ и уродствомъ.* Романъ англичанина Морьера «Хаджи Баба» есть превосходная и вѣрная картина подобнаго *кваснаго* (по счастливому выраженію князя Вяземскаго) патриотизма.

Человѣческой натурѣ сродно любить все близкое къ ней, свое родное и кровное; но эта любовь есть и въ животныхъ, слѣдовательно любовь човѣка должна быть выше. Это превосходство любви човѣческой передъ животною состоитъ въ разумности, которая тѣлесное и чувственное просвѣтляетъ духомъ, *а этотъ духъ есть общій*. Примѣръ Петра Великаго, говорившаго о родномъ языкѣ, *что лучше чужой да хорощій, чѣмъ свой да негодный, лучше всего поясняетъ и оправдываетъ нашу мысль*. Конечно, изъ частнаго нельзя дѣлать правило для общаго, но можно черезъ сравненіе объяснить частнымъ общее. Можно не любить и роднаго брата, если онъ дурной човѣкъ, *но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было*; только надобно, чтобы эта любовь была не мертвымъ довольствомъ тѣмъ, что есть, но живымъ желаніемъ усовершенствованія; словомъ, *любовь къ отечеству должна быть вмѣстѣ и любовью къ човѣчеству* (Соч. Бѣл. Т. IV, стр. 261).

Для того, чтобы совершенно понять два этихъ весьма характеристическихъ мѣста,—одно относящееся къ 1838, другое къ 1841 году, но оба связанные очевидно однимъ и тѣмъ же направленіемъ мысли,—для того, чтобы уяснить себѣ ихъ содержаніе и тонъ, нужно перенестись нѣсколько въ то время, въ которое они были писаны.

Время же это характеризуется однимъ словомъ: гегелизмъ...

О гегелизмѣ Генрихъ Гейне сказалъ весьма остроумно, хоть и очень поверхностно, что онъ похожъ на странныя и по формамъ уродливыя письмена, которыми выражено простое и ясное содержаніе, въ противоположность таинственнымъ іероглифамъ шеллингизма, въ сущности ничего яко-бы не выражающимъ. Ни въ отношеніи къ гегелизму, ни въ отношеніи къ шеллингизму—это рѣшительная неправда. И содержаніе гегелизма и содержаніе шеллингизма, какъ содержаніе вообще философіи, безгранично-широко и въ сущности едино... Но дѣло не въ томъ. Гегелизмъ, въ первоначальную эпоху своего къ намъ привитія, дѣйствовалъ на насъ преимущественно магическимъ обаяніемъ своихъ таинственныхъ формъ и своимъ «змѣинымъ» положеніемъ о тождествѣ разума съ дѣйствительностью. Сначала мы съ самою наивною вѣрою приняли это положеніе, что «Was ist—ist vernünftig»,—съ такою вѣрою, которой никогда не желалъ великій учитель, не даромъ скорбѣвшій о томъ, что никто изъ учениковъ его его не понималъ... Постлѣдствія этой наивной вѣры были часто самыя комическія въ приложеніи къ дѣйствительности, въ особенности у насъ, гдѣ гегелизмъ по источникамъ знакомъ былъ весьма немногимъ, да и этими немногими болѣею частью былъ усвоенъ совершенно формально. Слова «духъ човѣчества», «воля човѣчества» для адептовъ имѣли какое-то таинственно-реальное бытіе, служили какимъ-то всепримирающимъ и успокоивающимъ формулами. Къ смѣльчакамъ, которые придавали этимъ формуламъ



только номинальное значеніе, адепты питали чуть-что не презрѣніе, какъ къ *материалистамъ* и *либераламъ*.

Къ числу самыхъ жаркихъ адептовъ принадлежалъ Бѣлинскій. Силою одного ума и чутья, онъ, совершенно незнакомый съ гегелизмомъ по источникамъ, такъ-сказать пережилъ весь гегелизмъ внутри самого себя, изъ намековъ развилъ цѣлую систему и развивалъ ее діалектически съ послѣдовательностью, свойственною одному русскому человѣку.

Въ 1834—1836 годахъ ярый романтикъ, фанатическій поклонникъ тревожныхъ чувствъ, страстныхъ грезъ и разрушительныхъ стремленій юной французской словесности, онъ вдругъ въ 1838 г., въ «Зеленомъ Наблюдателѣ», является, по-крайней-мѣрѣ по внѣшнимъ формамъ своимъ, совершенно инымъ человѣкомъ, предсказателемъ новаго ученія, обѣщающаго примиреніе и любовь, оправдывающаго вполне дѣйствительность вообще, стало быть и нашу дѣйствительность...

Разумѣется, онъ на этомъ не могъ остановиться, потому что не способенъ былъ жить призраками, а исцалъ правды. Не могли остановиться на такомъ пунктѣ и другіе, но отъ этого пункта можно было идти въ совершенно разныя стороны. Такъ оно и было. Аксаковъ (К. С.), котораго вступленіе къ его магистерской диссертации о Ломоносовѣ представляетъ этотъ моментъ гегелизма, доведенный до самыхъ комическихъ крайностей, пошелъ совершенно въ другую сторону. Бѣлинскій же безтрепетно шелъ отъ крайностей къ крайностямъ, наивно забывая въ пользу послѣднихъ предшествовавшія, фанатически вѣруя въ послѣднія, какъ единственно-истинныя, готовый сегодня восторгаться дѣйствительностью *quand même*, завтра рвать на себѣ волосы за эти восторги, и послѣзавтра уже совершенно отдаваться новому и озлобленно преслѣдовать свои старыя заблужденія...

Но прежде чѣмъ слѣдить шагъ за шагомъ за его развитіемъ, нельзя не замѣтить того, что онъ всегда остается вѣрнымъ одному, именно, какъ уже я сказалъ прежде, — отрпцанію и централизационнымъ началамъ.

Стоитъ только повнимательнѣе перечестъ два приведенныхъ мною мѣста о національности, чтобы въ этомъ окончательно убѣдиться... Основная идея, проникающая эти мѣста, вовсе не національная жизнь (хоть ей и придаются эпитеты «глубокой, могучей, оригинальной»), а космополитизмъ. Наша національная жизнь явнымъ образомъ представляется здѣсь какою-то эклектической. Бытіе ея признается только со времени реформы, той реформы, которая устами преобразователя говорила о родномъ языкѣ, что лучше чужой да хорошій, чѣмъ свой да негодный. За русскими, какъ за славянами, не признается ровно ничего,

и въ кругъ міровой жизни они не вносятъ ничего своего, т. е. славянскаго: значеніе наше только въ многостороннемъ усвоеніи европейской жизни, въ нашихъ отрицательныхъ достоинствахъ, въ нашей способности усвоить чужое и отрицаться отъ своего... Это, однимъ словомъ, только обратная сторона медали, только другая сторона того, о чемъ говорилъ БѢлинскій въ 1846 году.

Логическія послѣдствія такого взгляда были: 1) Уничтоженіе всего непосредственнаго, прирожденнаго, въ пользу выработаннаго духомъ, искусственнаго. 2) Уничтоженіе всего мѣстнаго въ пользу общенациональнаго, и по тому же принципу всего общенациональнаго въ пользу общечеловѣческаго.

Изъ перваго общаго послѣдствія вытекали сами собою съ постепенною послѣдовательностью предпочтеніе поэзіи искусственной всякой поэзіи народной, и въ особенности нашей народной поэзіи, и, какъ крайняя грань логической мысли, знаменитое положеніе конца сороковыхъ годовъ, что «гвоздь, выкованный рукою человѣка, лучше самого лучшаго цвѣтка природы». Изъ втораго развивались послѣдовательно: централизаціонный взглядъ на нашу исторію, равнодушіе къ нашему славянству во имя нашего европеизма, и даже какое-то презрѣніе къ славянскимъ стремленіямъ, насмѣшливое и враждебное отношеніе ко всякимъ мѣстно-народнымъ, преимущественно малороссійскимъ литературнымъ стремленіямъ, если только они обособливались...

Съ особенною ясностью развиваетъ БѢлинскій свой космополитическій взглядъ въ 1841 году, въ статьѣ своей по поводу Котошихина.

«Записные наши историческіе критики», — говоритъ онъ въ ней между прочимъ, — «заняты вопросомъ, откуда пошла Русь, отъ Балтійскаго или отъ Чернаго моря. Имъ какъ-будто и нужды нѣтъ, что рѣшеніе этого вопроса не дѣлаетъ ни ясны, ни занимательныя баснословнаго періода нашей исторіи. *Норманны ли забалтійскіе или татары запонтійскіе, все равно, ибо если первые не внесли въ русскую жизнь европейскаго элемента, плодотворнаго зѣрна всемірно-историческаго развитія, не оставили по себѣ никакихъ слѣдовъ ни въ языкъ, ни въ обычаи, ни въ общественномъ устройствѣ, то стоитъ ли хлопотать о томъ, что норманны, или калмыки пришли княжить надъ словены? Если же это были татары, то развѣ намъ легче будетъ, если мы узнаемъ, что они пришли къ намъ изъ-за Урала, а не изъ-за Дона и вступили въ словенскую землю правою, а не львою ногою?* Думать голову надъ подобными вопросами, лишенными существенной важности, которая дается факту только мыслью, все равно, что пускаться въ хронологическія изысканія и писать цѣлые томы о томъ, какого цвѣта были доспѣхи Святослава и на которой щекѣ была родинка у Игоря».

Не будь эта выходка внушена фанатизмомъ отрицанія, понятнаго исторически въ ту эпоху и необходимаго логически, она была бы цинизмомъ, достойнымъ Сеньковскаго.. Не говорю уже о степени ея научно-исторической правды. Наше время доказало, насколько еще важны въ исторіи нашего быта вопросы, которые критикъ считалъ лишенными всякаго интереса, какъ мы постоянно возвращаемся къ этимъ вопросамъ, увлекаемые какой-то роковой необходимостью..

«А между тѣмъ»,—продолжаетъ Бѣлинскій,—«этотъ первый и безплодный (!!) періодъ нашей исторіи поглощаетъ, или по крайней мѣрѣ поглощаль, всю дѣятельность большей части нашихъ ученыхъ изслѣдователей, которые и знать не хотятъ того, что имена Рюриковъ, Олеговъ, Игорей, и *подобныхъ имъ героевъ*, наводятъ скуку и грусть на мыслящую (!!) часть публики, и что русская исторія начинается съ возвышенія Москвы и централизаціи около нея удѣльныхъ княжествъ, т. е. съ Иоанна Калиты и Симеона Гордаго. Все, что было до нихъ, должно составить коротенькій рассказъ на нѣсколькихъ страничкахъ, въ родѣ введенія, рассказъ съ выраженіями въ родѣ слѣдующихъ: летописи говорятъ, но думать должно; вѣроятно; можетъ быть; могло быть, и т. д. Подобное введеніе должно быть кратко, ибо что интереснаго въ подробномъ повѣствованіи о колыбельномъ существованіи хотя бы и великаго человѣка?.. И малые и великіе люди въ колыбели равно малы; спятъ, кричатъ, ѣдятъ, пьютъ. Даже и собственно исторія московскаго царства есть только *введеніе*, разумѣется несравненно важнѣе перваго,—введеніе въ исторію государства русскаго, которое началось съ Петра». (Соч. Бѣл. т. IV, стр. 337).

Время совершило уже судъ свой надъ этимъ взглядомъ, и съ нимъ, какъ съ отжившимъ вполне, бороться нечего. Приводя выписки, представляющія заблужденія великаго человѣка, я привожу ихъ какъ факты заблужденій цѣлой эпохи,—заблужденій, вытекавшихъ изъ ошибочнаго взгляда, но въ высшей степени послѣдовательныхъ и стало-быть вполне добросовѣстныхъ.

Въ недавнее время въ журналѣ «Свѣточъ» явилась статья<sup>70</sup> Бѣлинскомъ, имѣющая цѣлью доказать, что Бѣлинскій не былъ въ сущности, въ послѣднюю эпоху его дѣятельности, ни западникомъ, ни славянофиломъ, и указывалъ на русское направленіе, на русскую самобытность. Статья, очень умная между прочимъ, не уяснила себѣ одного, что нельзя быть русскимъ, не бывши славяниномъ, что русское направленіе, разрывая связи съ славянизмомъ, разрываетъ связи съ своею сущностью и переходитъ въ отрицательный космополитизмъ и въ апоѳеозу централизаціи. Что Бѣлинскій, по его пламенной и жизненной натурѣ, смѣло отрекся бы въ пятидесятыхъ годахъ отъ своихъ заблужденій, прямѣе другихъ отнесся бы къ новому направленію, и съ такою же чистотою сталъ бы во главѣ его, съ какою стоялъ онъ во главѣ направленія от-

рицательнаго, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія; но нѣтъ ни малѣйшаго же сомнѣнія и въ томъ, что во всемъ, оставшемся намъ отъ него, онъ является отрицателемъ и централизаторомъ, врагомъ и гонителемъ народности, какъ славянской сущности, преслѣдователемъ всѣхъ мѣстныхъ проявленій народности...

Въ преслѣдованіи своемъ доходилъ онъ до жестокой послѣдовательности, до своего рода терроризма. Вотъ что писалъ онъ, напримѣръ, по поводу книжки, изданной однимъ изъ безкорыстныхъ подвижниковъ славянскаго дѣла: «Денница ново-болгарскаго образования».

Цѣль этой книжки познакомить русскихъ съ возникающимъ просвѣщеніемъ родственнаго намъ болгарскаго племени. Цѣль похвальная и исполненная отчасти недурно. Въ книжкѣ есть интересные факты. Просвѣщеніе болгаръ пока еще не отличается слишкомъ большимъ свѣтомъ; но другъ человечества не можетъ не порадоваться и одному началу благого дѣла. *Въ этомъ случаѣ, вопросъ не о болгарахъ и не о славянахъ, а о людяхъ.* Всѣ люди должны быть братьями людямъ. Изъ-за большихъ не слѣдуетъ не любить меньшихъ. *Если эти меньшіе уже слишкомъ малы, такъ-что едва лепечуть кое-что, можно ихъ не слушать;* но зачѣмъ же не порадоваться, что они начинаютъ лепетать и тѣмъ даютъ надежду, *что можетъ-быть будутъ когда-нибудь и говорить?* Вотъ, напримѣръ, стихи — дѣло другое; если они плохи, имъ нечего радоваться. Если же они внушены какимъ-нибудь благороднымъ чувствомъ, какъ, напримѣръ, признательностью, — воздадимъ должную похвалу чувству, а стихи все-таки назовемъ дурными. Одно другому не мѣшаетъ. Намъ рѣшительно не нравится: «Рыданіе на смерть Ю. Н. Венелина». Вотъ для примѣра отрывокъ:

Плачьте, рыдайте  
 Всѣ бѣлгарски чада  
 Изгубихме вѣчно,  
 Юрѣя Венелина,  
 Нашъ премудрый братъ!  
 Но на вѣчный спомень,  
 Въ напите сердцаца,  
 Неготово име,  
 Ше бы безсмертно  
 Ако и умреть....»

*Впрочемъ, и то сказать, можетъ-быть эти стихи и хороши для людей, знакомыхъ съ болгарскимъ языкомъ и болгарскимъ вкусомъ въ поэзіи, — не споримъ! Учитесь, учитесь добрые, почтенные болгары! До того же времени постарайтесь внушить своимъ поклонникамъ и вообще всѣмъ славянофиламъ побольше въжливости и человечности. Кто болѣе интересуется литературою Франціи, Германіи и Англій, нежели болгарскими букварями, на тѣхъ они*

*смотрятъ какъ на злодѣевъ и изверговъ, какъ испанцы смотрѣли на лютеранъ, которыхъ, въ своемъ невѣжественномъ фанатизмѣ, называли еретиками. Наши испанцы, т. е. наши ревнители, хотъ сейчасъ готовы были бы учредить инквизицію для истребленія духа европолюбія и для распространенія духа азіелюбія и обскурантизма, т. е. мраколюбія. Одинъ изъ нихъ (мы забыли его неизвѣстное и темное въ литературѣ имя), недавно написалъ на насъ въ московскомъ журналѣ, и именно по поводу книжки г. Априлова, ужасную филиппику, обвиняя насъ въ равнодушіи къ ученымъ государствамъ, находящимся подъ владычествомъ Турціи, и въ любви къ нѣмецкимъ гелертамъ. Прочитавъ это «предъявленіе», мы воздали хвалу Богу, что живемъ въ XIX вѣкѣ; а то сгорѣтъ бы намъ на кострѣ. Въ самомъ дѣлѣ, добрые болгары насъ уличили въ страшномъ преступленіи. Мы, видите, какъ-то сказали, что турки—народъ, образующій собою государство, а болгаре—только племя, не образующее собою никакого политическаго общества, и что въ этомъ-то и заключается причина турецкаго владычества надъ вами, какъ историческаго права, которое есть сила. Досталось же за это и намъ, и нѣмецкимъ гелертамъ! Вспомнить страшно! Если у всѣхъ славянскихъ гелертовъ такой крутой нравъ и такая инквизиціонная манера раздѣльваться съ русскими литераторами, которые не хвалятъ ихъ сочиненій, то русскимъ литераторамъ придется также избѣгать всякаго съ ними столкновенія, какъ вы избѣгаете его съ турецкими кадіями... Да! просвѣщайтесь, добрые болгары! дай Богъ вамъ успѣховъ! Даже пишите стихи, если не можете безъ нихъ обходиться; только Бога ради, берегитесь защитниковъ, которые роняютъ васъ своимъ заступничествомъ и вредятъ вамъ больше турковъ!» (Соч. Бѣл. Т. VI, стр. 447 и слѣд.).*

Судить собственно самого Бѣлинскаго за эту выходку нельзя. Злость ея вызвана была безтактностью защитниковъ славянскаго дѣла, и если я привелъ ее въ настоящемъ случаѣ, то вовсе ужь конечно не изъ желанія глумиться надъ проиграннымъ дѣломъ отрицанія и централизаціи, а для того, чтобы показать, до какой степени безпощадности можетъ простираться послѣдовательность принципа и фанатизмъ вѣры. Да, повторить еще разъ невольно слова великаго поэта:

Keimt ein Glaube neu  
Wird oft Lieb und Treu,  
Wie ein böses Unkraut ausgeraut \*).

Не входя еще въ разбирательство частныхъ причинъ, вызвавшихъ со стороны Бѣлинскаго иронически-раздраженную діатрибу, въ оправданіе ея жестокости припомню только читателямъ, что она относится

\*) Когда встаетъ новая вѣра, то часто дружба и любовь вырываются съ корнемъ какъ сорная трава.

въ 1843 году, ко времени, когда споръ двухъ лагерей совершенно еще не выяснился, когда противники положительно не понимали другъ друга...

«Славянство и народность» значили для БѢлинскаго вовсе не то, что значать они теперь для насъ. Онъ видѣлъ въ нихъ сторону мрака и застоя, видѣлъ въ нихъ препятствіе ходу гуманной цивилизаціи. Въ общей схемѣ его философско-историческаго міросозерцанія, народы и народности вообще играли переходную роль въ отношеніи къ отвлеченному идеалу челоѣчества. Идеалъ этотъ имѣлъ для него реальное значеніе... Не доходя еще до положенія о томъ, что «твоя, выкованная рукою челоѣка дорожка и лучше самаго роскошнаго цвѣтка природы», онъ уже приближался къ этому положенію, къ которому велъ его гегелизмъ лѣвой стороны, столь же несправедливый въ своихъ рѣзкихъ выводахъ, какъ гегелизмъ правой стороны въ своимъ формализмъ... Принесеніе народнаго вообще въ жертву общечелоѣческому, и принесеніе всего непосредственнаго въ пользу благопріобрѣтеннаго, созданнаго духомъ, были только прямымъ результатомъ доктрины, совершенно отдѣлявшей духъ отъ природы.

Замѣчательно, что, подъ вліяніемъ увлеченія доктриною, БѢлинскій постепенно все болѣе и болѣе терялъ всякое сочувствіе къ народной, непосредственной, безыскусственной поэзіи, не только къ нашей и славянской въ частности, но ко всякой вообще...

«Слава Богу», — говоритъ онъ, разбирая въ 1844 году ново-греческія народныя стихотворенія, — «теперь это бѣснованіе (собирать народныя пѣсни и переводить чужія!!!) уже прошло; теперь имъ одержимы только люди недалеко, которымъ суждено вѣчно повторять чужіе зады и незамѣчать смѣны стараго новымъ. Никто не думаетъ теперь отвергать *относительнаго* достоинства народной поэзіи, но никто уже, кромѣ людей запоздалыхъ, не думаетъ придавать ей *важности*, которой она не имѣетъ. Всякій знаетъ теперь, что въ ней есть своя жизнь, свое одушевленіе, естественное, наивное и просто-душное, но что все этимъ и оканчивается, ибо она *бѣдна мыслью, бѣдна содержаніемъ и художественностью*». (Т. IX, стр. 102).

Такой взглядъ на поэзію народную вообще, хотя и въ высшей степени неправильный, но довольно еще спокойный, переходилъ у нашего критика въ совершенно враждебный и фанатически-нетерпимый, какъ только дѣло касалось до нашей или до славянской народной поэзіи.

«Всѣ», — говоритъ онъ (т. IV, стр. 158); — «согласились въ томъ, что въ народной рѣчи есть своя свѣжесть, энергія, живописность, и въ народныхъ пѣсняхъ и даже (?) сказкахъ своя жизнь и поэзія, и что не только не должно ихъ презирать, но еще и должно ихъ собирать, какъ живые факты исторіи языка, характера народа. Но вмѣстѣ съ этимъ, теперь никто уже

не будетъ преувеличивать дѣла, и въ народной поэзіи видѣть что-нибудь большее, кромѣ младенческаго лепета, имѣющаго свою относительную важность, свое относительное достоинство. Но отсталые поборники блаженной памяти такъ-называемаго романтизма упорно остаются при своемъ. Они такъ-сказать застряли въ поднятыхъ ими вопросахъ, и, не совладавъ съ ними, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе вязнутъ въ нихъ, какъ мухи попавшіяся въ медь. Для нихъ «не были стужки» едва ли не важнѣе любого лирическаго произведенія Пушкина, и сказка о «Емель дурачкѣ» едва ли не важнѣе «Каменнаго гостя» Пушкина.

#### IV.

Было бы неумѣстно останавливаться на подробномъ анализѣ всѣхъ послѣдствій того принципа отрицанія и централизаціи, котораго поборникомъ былъ Бѣлинскій, и приводить всѣ его выходы противъ народности вообще, противъ нашей народности, противъ возможности мѣстной малороссійской литературы и поэзіи, противъ значенія востока въ чело-вѣчествѣ и т. д. Время совершило свой судъ надъ этой доктриной, опровергло ее и фактами (Шевченко), изслѣдованіями ученыхъ (Буслаевъ), общимъ, повсемѣстно и постоянно распространяющимся, сочувствіемъ въ народности. Заблужденія Бѣлинскаго имѣли въ сущности одинъ характеръ, проистекая изъ одного источника, именно изъ исклю-чительно-историческаго воззрѣнія.

На днѣ этого воззрѣнія лежитъ въ какія бы формы воззрѣніе ни облекалось — идея отвлеченнаго чело-вѣчества. Безотраднѣйшее изъ созерцаній, въ которомъ идеаль постоянно находится въ будущемъ (im Werden), въ которомъ всякая минута міровой жизни является переходной формою къ другой столь же переходной формѣ — бездонная пропасть, въ которую стремглавъ летитъ мысль безъ малѣйшей надежды за что-либо ухватиться, въ чемъ-либо найти точку опоры.

И такъ какъ чело-вѣческой натурѣ, при стремленіи ея къ идеалу, врождено непремѣнное же стремленіе воображать себѣ идеаль въ какихъ-либо видимыхъ формахъ, то мысль невольна становится тутъ нелогичною, невольна останавливаетъ безгранично несущееся будущее на какой-либо минутѣ и говоритъ «hic locus — hic saltus». Минута эта естественно уже есть послѣдняя, настоящая... Вотъ тутъ-то, при такой произвольной остановкѣ, начинается ломка всего прошедшаго по законамъ произвольно взятой минуты; тутъ-то и совершается, напримѣръ,

то удивительное по своей непоследовательности явление, что человекъ, провозгласившій законъ вѣчнаго развитія, останавливаетъ все развитіе на идеалахъ германскаго племени, какъ на крайнемъ предѣлѣ; тутъ-то и начинается деспотизмъ теорій, доходящій до того, что все остальное человечество, не жившее по теоретическому идеалу, провозглашается чуть-чуть что не въ звѣриномъ состояніи. Душа человѣческая, всегда единая, всегда одинаково стремящаяся къ единому идеалу правды, красоты и любви, какъ-будто забывается; отвлеченный духъ человечества съ постепенно расширяющимся сознаниемъ поглощаетъ ее въ себя. Последнее слово этого отвлеченнаго бытія, яснѣйшая форма его сознанія есть готовая къ услугамъ теорій, хотя, по сущности воззрѣній, если бы только въ человѣческихъ силахъ было быть вѣрнымъ такому воззрѣнію, и это послѣднее воззрѣніе должно поглотиться позднѣйшимъ, какъ еще болѣе яснымъ, и т. д. до безконечности.

Неисчислимыя, мучительнѣйшія противорѣчія порождаются такимъ воззрѣніемъ.

Отправляясь отъ принципа стремленія къ безконечному, оно кончается грубымъ матеріализмомъ; желая объяснить общественный организмъ, срываетъ отъ себя самого и отъ другихъ точку его начала— бытіе человечества, пока оно не развѣтвилось на народы. И все это явнымъ образомъ происходитъ отъ того, что вмѣсто дѣйствительной точки опоры— души человѣческой, берется точка воображаемая, предполагается чѣмъ-то реальнымъ, а не номинальнымъ, отвлеченный духъ человечества; ему, этому духу отправляются требы идольскія, приносятся жертвы неслыханныя, жертвы незаконныя, ибо онъ есть всегда еумирь, поставляемый произвольно, всегда только теорія.

Посмотрите съ какою логическою последовательностью проводить этотъ взглядъ Бѣлинскій въ общихъ основахъ созерпанія исторіи человечества,—и последовательность общихъ основъ въ приложеніи къ нашему быту, къ нашей народности, перестанетъ уже изумлять насъ.

«Исторія»,—говоритъ онъ,—«есть фактическое жизненное развитіе общей (абсолютной) идеи въ формѣ политическихъ обществъ. Сущность исторіи составляетъ одно только разумно-необходимое, которое связано съ прошедшимъ, и въ настоящемъ заключаетъ свое будущее. *Содержаніе исторіи есть общее: судьба человечества.* Какъ исторія народа не есть исторія миллионъ отдельныхъ лицъ его составляющихъ, но только исторія *нѣкотораго числа лицъ*, въ которыхъ выразились духъ и судьба народа, точно такъ же и человечество не есть собраніе народовъ всего земнаго міра, но только нѣсколькихъ народовъ, *выражающихъ собою идею человечества* (т. IV стр. 336).»

Перечтите у него тѣ мѣста, гдѣ онъ говоритъ объ индѣйской поэзіи (въ разборѣ «Налы и Дамаянти»), о значеніи востока (въ ре-



цензи перевода «Тысячи и одной ночи»), и взгляды его на славянскую народную поэзію и нашу русскую будутъ вамъ логически понятны.

Существенный порокъ исключительно историческаго возрѣнія и такъ-называемой исторической критики, которой такимъ высокодаровитымъ и энергическимъ представителемъ былъ у насъ Бѣлинскій, заключается въ томъ, что она не имѣетъ критериума, вѣчнаго идеала, а, съ другой стороны,—по невозможности, обусловленной человѣческой природою, жить безъ критериума, безъ идеала,—создаетъ критериумъ произвольно, и этотъ условный, чисто-теоретическій критериумъ прилагаетъ къ жизни безопадно.

Когда идеаль лежитъ въ душѣ человѣческой, признается за нѣчто вѣчное, неизмѣнное, всегда и во всѣ времена ей одинаково присущее—онъ не требуетъ никакой ломки фактовъ живой жизни; онъ ко всѣмъ равно приложимъ и всѣ равно судить. Но когда идеаль поставленъ произвольно, теоретически, тогда онъ непремѣнно долженъ гнуть факты подъ свой уровень. Сегодняшнему кумиру приносится въ жертву все вчерашнее, тѣмъ болѣе все третьегоднешее—и все предшествовавшее вообще представляется только ступенями къ нему... И, такъ какъ это, не помню, весьма справедливо замѣтилъ, что для говорящаго «все вздоръ въ сравненіи съ вѣчностью» самая вѣчность есть вздоръ, то очевидно, что на днѣ чисто-историческаго возрѣнія лежитъ индифферентизмъ и фатализмъ, въ силу которыхъ ничто въ жизни, ни народы, ни лица не имѣютъ своего замѣнутаго, самоотвѣтственнаго бытія и являются только орудіями отвлеченной идеи, преходящими, призрачными явленіями.

Единственный идеаль, мыслимый для подобнаго возрѣнія, въ крайнихъ его результатахъ, есть однообразный уровень, централизація,—католическая ли, социалистская ли, это въ сущности все равно—но централизація.

Говоря о томъ, что Бѣлинскій былъ энергическимъ представителемъ этого возрѣнія, я говорю о его доктринѣ, которою онъ постепенно увлекался все болѣе и болѣе, до крайнихъ ея предѣловъ, а не о его личности, какъ художественнаго критика. Высокое художественное чутье, которое вмѣстѣ есть можетъ быть и высшая степень чувства гуманности, выручало его почти всегда и, составляя главную его силу, дѣлало его постоянно вождемъ жизни, а не служителемъ теоріи...

Вождемъ жизни онъ и былъ съ самаго начала своего поприща.

Въ 1834 году, въ «Телескопѣ», пользовавшемся весьма не большимъ матеріальнымъ успѣхомъ, но въ замѣнъ того отличавшемся серьезною взгляда и тона, впервые появилось съ особенною яркостью это

великое имя, которому суждено было долго играть путеводную роль въ нашей литературѣ. Въ «Молвѣ», еженедѣльномъ листкѣ, издававшемся при «Телескопѣ», появлялись въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ статьи, подъ названіемъ «Литературныя мечтанія». Эти статьи изумляли невольно (въ то время) своей безошадной и вмѣстѣ наивной смѣлостью, жаромъ глубокаго и внутри души выросшаго убѣжденія, прямымъ и нецеремоннымъ поставленіемъ вопросовъ, наконецъ, той молодой силой великой энергіи, которая дорога даже и тогда, когда впадаетъ въ ошибки, дорога потому, что самыя ошибки ея происходятъ отъ серьезнаго и пламеннаго стремленія къ правдѣ и добру. «Мечтанія» такъ и дышали вѣрою въ это стремленіе, и не щади никакого кумиро-поклоненія, во имя идеаловъ разбивали всякіе авторитеты, неподходявшіе подъ мѣрку идеаловъ. Всѣ заблужденія, промахи, неистовыя увлеченія Вѣлинскаго исчезали, сгорали въ его огненной рѣчи, въ огненномъ чувствѣ, въ возвышенномъ, яркомъ и истинно поэтическомъ воззрѣніи на жизнь и искусство.

Это была притомъ такая эпоха, въ которую всѣ интересы жизни, т. е. интересы высшіе, сосредоточивались и могли выражаться только въ искусствѣ и литературѣ. Литература была тогда *все и одно* въ области духа. Литературныя симпатіи были вмѣстѣ и общественными и нравственными симпатіями, равно какъ и антипатіи. Не только нѣсколькихъ, но даже и *двухъ* воззрѣній на литературу быть тогда не могло. Новое, выступившее воззрѣніе литературное несло съ собою новую вѣру, поднимало рѣшительную борьбу.

«Литературныя мечтанія» ни болѣе ни менѣе какъ ставили на очную ставку всю русскую литературу со временъ петровской реформы; впервые серьезно и строго допрашивались у нея ея высшаго, т. е. общественнаго, нравственнаго и художественнаго значенія — у нея, у этой литературы, въ которой невзыскательные современники и почтительные потомки насчитывали уже десятка съ два геніевъ, въ которой то и дѣло раздавались торжественные гимны не только Ломоносову и Державину но даже Хераскову и чуть ли не Николеву, въ которой всякое критическое замѣчаніе на счетъ Карамзина считалось святотатствомъ. Геніальность Пушкина надобно было еще отстаивать, а поэзію первыхъ гоголевскихъ созданій почувствовали еще весьма немногіе, и изъ этихъ немногихъ, во первыхъ, Пушкинъ, а во вторыхъ — авторъ «Литературныхъ мечтаній».

Между тѣмъ, умственно-общественная ложь была очевидна! Хераскова уже положительно никто не читалъ, Державина читали немногіе

да и то не цѣликомъ; читалась серьезными людьми исторія Карамзина, но уже давно не читались его повѣсти и разсужденія.

Сознавать эту ложь внутри души могли многіе, но сознательно почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смѣло высказать всѣмъ, могъ только призванный человекъ, и такимъ-то именно человекомъ былъ Бѣлинскій.

Дѣло, начатое имъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», было до того смѣло и ново, до того,—не смотря на то, что было, повидимому, только литературнымъ дѣломъ,—задѣвало существенные вопросы нашей жизни, что черезъ много лѣтъ потомъ, казалось еще болѣе чѣмъ смѣлымъ—дерзкимъ и разрушительнымъ всѣмъ почтительнымъ потомкамъ невзыскальных дѣдовъ, что черезъ много лѣтъ потомъ вызывало юридическіе акты въ стихахъ, писанные ясно съ пѣною у рта, въ родѣ слѣдующихъ:

Нѣтъ—твой подвигъ не похваленъ,  
 Онъ Россіи не привѣтъ;  
 Карамзинъ тобой ужаленъ,  
 Ломоносовъ — не поэтъ!  
 Кто ни честенъ, кто ни славенъ,  
 Ни радѣлъ странѣ родной—  
 Ломоносовъ и Державинъ  
 Дерзкой тронуты рукой.  
 Ты всю Русь лишилъ дѣяній  
 До великаго Петра,  
*Обнаживъ бытописаній*  
*Чести, славы и добра.*

Но, страннымъ образомъ, начало этого дѣла въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» не возбудило еще ожесточенныхъ криковъ, хоть Бѣлинскій, съ «Литературныхъ же мечтаній», сталъ во главѣ сознательнаго или критическаго движенія.

До этихъ криковъ уже потомъ додразнилъ онъ своихъ противниковъ.

Огромный успѣхъ его столько же зависѣлъ отъ этихъ нелѣпныхъ криковъ, какъ отъ силы его таланта и энергіи убѣжденія. Оппозицію Бѣлинскому составляли или беззубые виршплеты, или поборники мрака; тѣ и другіе одинаково вносили въ дѣло юридическій характеръ. До настоящей оппозиціи онъ не дожилъ. Литература была за него, оправдывала его доктрины, по тому самому, что онъ ее угадывалъ, опредѣляя съ удивительною чуткостью ея стремленія, разъясняя ее, какъ Гоголя и Лермонтова. Говоря о литературѣ нашей,—а она долго была, повторю

я, единственнымъ средоточіемъ всѣхъ нашихъ высшихъ интересовъ,— постоянно бываешь поставленъ въ необходимость говорить и о немъ. Высшей удѣлъ, данный судьбою немногимъ изъ критиковъ!—едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не одному БѢлинскому. И данъ судьбою этотъ удѣлъ совершенно по праву.

Горячаго сочувствія стоилъ при жизни и стоить по смерти тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззаветно сочувствовать всему благородному, прекрасному и великому. Безстрашный боецъ за правду, онъ не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненіе взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей тотъ, кто не дорожить правдой. Кажется, онъ даже созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ бы правда ни противорѣчила его прежнему взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала.... Смѣло и честно звалъ онъ первый гениальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ, и, благодаря своему критическому чутью, ошибался рѣдко. Такъ же смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто на перекоръ утвердившимся мнѣніямъ, все, что казалось ему ложнымъ и напыщеннымъ, заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ, не ошибался никогда. У него былъ ключъ къ *словамъ* его эпохи, и въ груди его жила могущественная и вулканическая сила. Теоріи увлекали его какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. Вполнѣ сынъ своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его. Чѣмъ дольше боролся онъ съ новою правдою жизни или искусства, тѣмъ сильнѣе должны были дѣйствовать на поколѣніе, его окружавшее, его обращенія къ новой правдѣ. Если бы БѢлинскій прожилъ до нашего времени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы высшее свойство своей натуры: неспособность заколебѣть въ теоріи противъ правды искусства и жизни.

Въ наше время онъ не былъ бы ни отрицателемъ, ни централизаторомъ, хотя подлежить сомнѣнію и то, что онъ былъ бы славянофиломъ. Славянофильство можетъ быть играло бы только роль кратковременнаго момента въ его развитіи—не болѣе.

## IV.

# ОППОЗИЦІЯ ЗАСТОЯ

## ЧЕРТЫ ИЗЪ ИСТОРИИ МРАКОВЪСІЯ

(Время, 1861, № 5).

Ты видишь: я припоминаю,  
Алеко, старую печаль.

*Пушкинъ.*

### I.

Бываютъ въ литературѣ вещи, которыя совершенно ускользаютъ отъ вниманія современниковъ, но которыя для послѣдующихъ поколѣній представляютъ собою факты въ высшей степени замѣчательные, озаряютъ цѣлыя направленія. Такихъ вещей не надобно исвать промежду еруптивныхъ литературныхъ явленій, ибо въ такомъ случаѣ онѣ были бы замѣчены современниками; такія вещи пишутся обыкновенно безъ всякихъ притязаній на какое-либо значеніе, пишутся такъ, вполне отъ души, вполне наивно. Въ нихъ мысль извѣстныхъ направленій является по домашнему, на распашку, какъ можетъ-быть и не хотѣли бы показать ее головы извѣстныхъ направленій, или по крайней-мѣрѣ, какъ не хотѣли бы они показать ее сначала. Въ такихъ проговорахъ направленій,—проговорахъ по большей части неожиданныхъ и раннихъ, называется нѣчто роковое... Рада бы курочка не идти, да за хохоловъ тащуть.

Къ числу такихъ наивныхъ и въ историческомъ смыслѣ драгоценныхъ вещей принадлежитъ письмо благороднѣйшаго изъ смертныхъ М. Н. Загоскина къ издателю первоначальнаго «Маяка» (1840 года) Петру Александровичу Корсакову,—письмо, которое издатель, какъ самъ говоритъ въ примѣчаніи, помѣстилъ, сѣрѣя сердце.

Въ своемъ родѣ, это наивное письмо Загоскина такъ же смѣло, какъ знаменитое письмо Чаадаева. Не надобно забывать только неизмѣри-

мую разницу между авторами писемъ въ отношеніи къ умственному ихъ развитію, равно какъ и того, что одинъ, Чаадаевъ, разсѣкъ хорополи, худо-ли гордіевъ узелъ лжи, а другой... другой только открылъ заткнутое до тѣхъ поръ отверстіе, изъ котораго полилась всякая нечистота.

Вотъ это письмо. Я привожу его цѣликомъ, какъ очень немногимъ извѣстное и всѣми забытое, а между тѣмъ знаменательное по отношенію къ вопросу, составляющему предметъ моихъ изслѣдованій.

«Любезный другъ, Петръ Александровичъ! Давно уже я собираюсь писать къ тебѣ и поблагодарить тебя за истинное удовольствіе, которое приноситъ мнѣ чтеніе твоего изданія, и вотъ наконецъ собрался, тогда какъ бы мнѣ вовсе писать не слѣдовало, потому что я, измученный ужасными спазмами, три дня уже ничего не ѣлъ и едва могу отъ слабости сидѣть на стулѣ; *но сердце мое не терпитъ нѣмоты*—я прочелъ или, лучше сказать, проглотилъ послѣднюю (IV) часть «Маяка»—ретивое закипѣло, стѣлянку съ микстурой за окно, перо въ руку и пишу».

Прежде всего надобно замѣтить, что М. Н. Загоскинъ былъ именно одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ вполне искреннихъ и чистыхъ людей, у которыхъ «сердце не терпитъ нѣмоты». Стоитъ только прочесть очеркъ его личности, художнически набросанный С. Т. Аксаковымъ въ біографіи Загоскина и въ разныхъ мѣстахъ «Воспоминаній», чтобы въ этомъ убѣдились всѣ читатели, незнавшіе Загоскина, какъ писателя и человека. Что Загоскинъ былъ точно боленъ и точно оживленъ чтеніемъ «Маяка» до того, что стѣлянки съ лекарствами полетѣли въ окно, и что онъ тотчасъ же схватилъ перо, чтобы передать свои впечатлѣнія, въ этомъ грѣхъ и сомнѣваться. Что же, спрашивается, подвигло и оживило такъ эту добрую, честную, искреннюю натуру, которая до старости воспламенялась легко какъ сѣрная спичка? Что?... А вотъ послушайте:

«Боже мой! сколько въ этой части прекрасныхъ вещей!—*что за логическая, свѣтлая и умная голова у твоего товарища Бурачка!*—сколько новыхъ, ясныхъ идей, сколько святыхъ истинъ!—Наконецъ, благодаря Бога, явилось у насъ изданіе книги, въ которой говорятъ прямо, что безъ религіи не можетъ быть и хорошей литературы...

«Когда я прочелъ между прочимъ въ разборѣ *Героя нашего времени* слѣдующія слова: «Какъ не жаль хорошее дарованіе посвящать такимъ гадкимъ нелѣпостямъ, изъ одной только увѣренности, что онѣ будутъ имѣть успѣхъ; дѣло давно извѣстное, чѣмъ всего скорѣе угодишь слабымъ людямъ; но дѣло ли художника пользоваться этой слабостью людей, *когда художникъ призванъ именно врачевать эту слабость, а не развѣивать ее*»,—то я такъ бы и бросился къ Бурачку на шею—да на бѣду шея-то его въ Петербургѣ

а мои руки въ Москвѣ — такъ прошу тебя, любезный другъ, исполнить это за меня раг просication. Однакожь, я не во всемъ согласенъ съ твоимъ товарищемъ, и въ двухъ случаяхъ вовсе его не понимаю — вотъ въ какихъ именно.

«Не понимаю, какъ могъ Бурачекъ, человѣкъ релігіозный, логическій, человѣкъ, который такъ хорошо опредѣлилъ достоинство *Героя нашего времени* — какъ могъ назвать Марлинскаго *колоссомъ*? О Господи! да простится ему этотъ грѣхъ и въ сей и въ будущей жизни! Что такое былъ Марлинскій? Разскащикъ съ талантомъ и воображеніемъ. Марлинскій, этотъ, по временамъ, самый рабскій подражатель неистовой французской школы — этотъ бонмотистъ, цеголяющій самыми нелѣпными сравненіями и островами, этотъ умникъ, который, живя на Кавказѣ, описывалъ нравы московскаго общества по Бальзаку, и вѣроятно лучше зналъ бытъ дербентскихъ татаръ, чѣмъ русскихъ мужиковъ; этотъ исковерканный, вычурный, осыпанный полинялыми французскими блестками Марлинскій, который говоритъ, что *улитка* разговора перешла на другой предметъ, и думаетъ, что сказалъ очень умно; *этотъ безусловный обожатель запада и всѣхъ его мерзостей*, — этотъ Марлинскій, который находить, что *между дикимъ чеченцемъ и русскимъ дворяниномъ меньше разстоянія, чѣмъ между этимъ послѣднимъ и какимъ-нибудь французскимъ маркизомъ или англійскимъ лордомъ, какъ будто бы всѣ маркизы и лорды люди истинно просвѣщенные, а всѣ русскіе дворяне тщетельно невежды*, — Марлинскій, у котораго во всѣхъ сочиненіяхъ подобныя нелѣпости разсыпаны тысячами; Марлинскій, который коверкалъ, увѣчилъ, ломалъ, терзалъ безъ всякой пощады русскій языкъ; Марлинскій, который изрѣдка говорилъ языкомъ человѣческимъ, и никогда не согрѣвалъ души читателя ни одной высокою релігіозною мыслью; наконецъ, Марлинскій, въ которомъ я только потому и признаю истинный талантъ, что, не смотря на всѣ эти дряни, онъ читается съ удовольствіемъ — этотъ Марлинскій — колоссъ! Что же послѣ этого тотъ, кого Бурачекъ называетъ пигмеемъ? чтожь онъ такое? инфузорій?»

Я еще не останавливаюсь пока на частномъ предметѣ вражды и озлобленія покойнаго Загоскина, на Марлинскомъ, хотя одной этой вражды къ нему, — вражды честной и искренней со стороны такого честнаго и искренняго представителя застоя какъ Загоскинъ, — достаточно для того, чтобы заставить всякаго серьезнаго мыслителя перевѣрить взглядъ Бѣлинскаго на дѣятельность А. А. Бестужева, — взглядъ, относящійся къ тому переходному моменту примиренія съ дѣйствительностью, на которомъ въ общихъ своихъ задачахъ не остановился долго нашъ великій критикъ, и который во многомъ сходится со взглядомъ Загоскина. Дѣло пока не въ Марлинскомъ. Загоскинъ ненавидитъ въ Марлинскомъ начало тревожное, начало движенія и порыва впередъ, ненавидитъ наивно, и ненавидитъ до того ослѣпленія, что обвиняетъ А. А. Бестужева, который былъ русскимъ человѣкомъ по крайней-мѣрѣ не менѣе его,

М. Н. Загоскина, «въ безусловномъ обожаніи запада и всѣхъ его мерзостей». Вотъ что важно какъ фактъ, и въ особенности важно то, что Загоскинъ упрекаетъ критика «Маяка» въ *непоследовательности*, упрекаетъ съ точки зрѣнія застоя совершенно справедливо, до того справедливо, что Корсаковъ въ примѣчаніи принужденъ оправдывать Бурачка и головою выдать Загоскину Марлинскаго.

Человѣкъ простой и искренній, какъ Загоскинъ, наивнѣйшимъ образомъ влечетъ теоретиковъ въ роковой путь:

«Другой случай—продолжаетъ Загоскинъ—касается одного меня. Бурачекъ говоритъ, что *всѣхъ русскихъ романистовъ нельзя обвинять въ религіозности*. Въ этомъ общемъ числѣ, вѣроятно нахожусь и азъ многогрѣшный. Я могу быть писателемъ бездарнымъ, невѣждою — всѣмъ, что ему угодно; но чтобъ въ романахъ и повѣстяхъ моихъ не проявлялись идеи религіозныя, нѣтъ! воля его, въ этомъ я никакъ не могу согласиться. Я не сомнѣваюсь, убѣжденъ, вѣрую, что мой первый романъ обязанъ своимъ успѣхомъ именно религіозному чувству, которымъ онъ согрѣтъ. Если Бурачекъ, прочтя первый томъ «Аскольдовой могилы», не замѣтилъ въ этомъ романѣ рѣшительно религіознаго направленія, то или ему не угодно было вовсе обратиться на это своего вниманія, или наши понятія о религіозности не имѣютъ ничего общаго».

Не самолюбіе оскорбленнаго автора — нѣтъ! это можно сказать положила руку на сердце—внушило Загоскину эти строки, а оскорбленное убѣжденіе человѣка, честно и горячо служившаго убѣжденію. И вотъ онъ во имя этого горячаго убѣжденія, тянетъ тѣхъ, которыхъ признаетъ своими собратьями, какъ говорится «на расправу». Отступать нельзя. Корсаковъ въ примѣчаніяхъ извиняется передъ романистомъ и прямо говоритъ: «Guilty! вотъ и все оправданіе! Я и товарищъ совершенно согласны во всемъ этомъ...» Это даже трогательно, кромѣ всякихъ шутокъ.

Но, точно ли отступать передъ религіозностью М. Н. Загоскина и его романовъ было нельзя? Вотъ это другой вопросъ. Послѣдствія доказали, что *можно*, но только послѣдствія доказали это, и еще доказываютъ и можетъ быть долго еще будутъ доказывать, что между обскурантизмомъ и религіею свѣта, между застоємъ и ученіемъ любви—нѣтъ ничего общаго... Для всѣхъ этихъ послѣдствій нужны были и простая книга отца Паррениа, поразившая своей простотою мудрыхъ и разумныхъ и жадно прочтенная толпою, и глубокое мышленіе И. Кирѣевскаго, и блестящія, оригинально-смѣлыя и широкія взгляды Хомякова, и полное вѣры, любви и жизни слово архимандрита Феодора, и позволю себѣ сказать, чисто земныя литературныя явленія, — явленія натурализма, на который всего болѣе нападали слѣпые поборники застоя. Посмотрите, какъ поплѣднѣлъ юродивый Мнтя «Юрія Милославскаго» передъ одной главой въ «Дѣтствѣ» Толстаго, гдѣ съ такой правдой и лю-



бовью изображено лицо юродиваго, такъ что въ этомъ простомъ художественномъ изображеніи не заподозрите не то что тѣни фальши, но даже какой-либо сентиментально-субъективной примѣси. Сравните смерть идеальнаго добродѣтельнаго человѣка въ романѣ «Рославлевъ» съ смертями севастопольцевъ у Толстаго же, или сцену дѣйствительно теплою, но фальшивую по примѣси субъективнаго и сентиментальнаго, — сцену смерти боярина Кручины-Шалонскаго въ «Юриѣ»... ну! хоть со сценою смерти простаго благочестиваго мѣщанина въ очеркахъ г. Зарубина, печатающихся въ «Библиотекѣ для Чтенія» подь названіемъ: «Жизнь», — очеркахъ замѣчательныхъ въ высшей степени, какъ свидѣтельство громаднхъ шаговъ натурализма въ наше время.. Сравните все это между собою, — сравните наконецъ противно-сентиментальное добродушіе загоскинскихъ лицъ съ типами Островскаго, въ родѣ Агаѳона, и для васъ будетъ ясно, что передъ «религіозностью» загоскинскихъ романовъ отступить было можно безъ оправданій и извиненій, во имя правды и жизни.

Но теорія — слѣбая и узкая, какъ всякая теорія — отступить не могла, и повлелась къ крайностямъ рововымъ процессомъ.

«Я полагаю» — продолжаетъ нещадно-последовательно наивный талантливый человѣкъ застоя — что религіозность въ романѣ состоитъ въ томъ, *чтобъ при всякомъ удобномъ случаѣ напоминать читателю, что земная жизнь есть не цѣль, а только средство къ достиженію цѣли; что безъ христіанской религіи нѣтъ истиннаго просвѣщенія, что мудрованья западныхъ философовъ есть только медь звенящая и кимвалъ звенящій, и что наконецъ одна только вѣра во Христа даетъ человѣку возможность быть истинно добродѣтельнымъ; все это — видитъ Богъ — можетъ быть очень дурно, но я стараюсь выполнять во всѣхъ моихъ сочиненіяхъ...*

Что за удивительная смѣсь — невольно перерву я выписку — вышнихъ, несомнѣнныхъ истинъ, съ узкими, чисто-личными враждами противъ философіи, съ чисто-личными стремленіями заставлять искусство *напоминать*, указкой указывать. Невольно повторить слова, сказанныя отцомъ архимандритомъ Теодоромъ въ его борьбѣ съ г. Аскоченскимъ: всѣ обскуранты, кажется, думаютъ, что для Бога разумъ человѣческій такъ же мало дорогъ какъ для нихъ!

«Правда» — говоритъ далѣе Загоскинъ — съ нѣкотораго времени я ослабѣлъ, потому что усталъ воевать одинъ противъ нашихъ *скептиковъ, европейцевъ, либераловъ, ненавистниковъ Россіи*, всѣхъ апологистовъ неистовыхъ страстей и поэтовъ сладострастья, т. е. *защитниковъ земной жизни и всѣхъ ея плотскихъ наслажденій*. Но когда сталъ выходить вашъ «Маякъ», и я познакомился съ Бурачкомъ, то сердце мое снова ободрилось; я сказалъ: слава Богу! теперь я не одинъ — насъ двое! теперь есть у меня сослуживецъ на этомъ ратномъ

полѣ — да еще какой? чудо-богатырь! Не тутъ-то было. Бурачекъ не хочетъ меня признать и товарищемъ. Жаль! — Нашъ полкъ не великъ, а ихъ — избави Господи!!»

Удивительно видѣнь въ этомъ мѣстѣ Загоскинъ; — видѣнь и для тѣхъ, вѣроятно, которые не знали его, не читали даже его сочиненій, а читали аксаковскія «Воспоминанія», — добродушный, наивный, недалекий — издающійся на шею и — таковъ фанатизмъ теорій — чуть-что не инвизиторъ въ своихъ умственныхъ враждахъ. Да иначе и нельзя. Теорія требуетъ жертвъ, какъ древне идола. «Домашняя Бесѣда» обнаружила же въ прошломъ году интимную переписку Загоскина, переписку, изъ которой видно, что мрачное изувѣрство и ему самому грозило огненными сковородами за сомнѣніе въ огненныхъ сковородахъ... Благодушный старый ребенокъ играетъ съ огнемъ, а все-таки остается старымъ ребенкомъ. Такъ съ нимъ и обращаются *мудрые* друзья его: «Guilty! Guilty!» повторяетъ въ выноскѣ П. А. Корсаковъ. «Безъ вины виноваты! Заставьте за себя вѣчно Бога молить!» А тѣмъ не менѣе онъ какъ роковая сила влечетъ и долженъ влечь своихъ мудрыхъ друзей къ тѣмъ крайнимъ предѣламъ, гдѣ всѣ разсужденія становятся уже только амплификаціею немногословной, но глубокой содержаніемъ думы Павла Аванасьевича Фамусова:

«Если ужъ зло пресѣчь,

Собрать бы книги всѣ да сжечь!»

Вотъ онъ обращается къ самому г. Бурачку, съ слѣдующею *рѣши- тельною* рѣчью:

«Теперь я обращаюсь прямо къ вамъ, неумолимый мой судья; я думаю Корсаковъ исполнилъ уже мое препорученіе — мы съ вами обнимались — слѣдовательно можемъ говорить откровенно какъ старинные пріатели. Г. Бурачекъ! — (имя и отечества вашего не имѣю чести знать) я прочелъ съ восторгомъ вашъ разборъ духовныхъ сочиненій, съ наслажденіемъ почти всѣ статьи о словесности; но когда дочитался до колосса Марлинскаго и заглянулъ потомъ въ статью о философіи, *то меня такъ холодомъ и обдало! — ахъ, батюшки! подумалъ я — ужъ не хочетъ ли онъ служить двумъ господамъ? — избави Господи!*» Что это, почтенный Бурачекъ, вы такъ уважаете философію, разумѣется, я говорю о философіи, которая ведетъ, или лучше-сказать старается вести насъ къ познанію истины и къ необходимости нашего перерожденія, другой я не признаю. Эта философія для плохаго христіанина наука сбивчивая, шаткая и рѣшительно неудовлетворительная, потому что душа его чувствуетъ, что онъ ищетъ истину не тамъ, гдѣ долженъ искать ее, и что божественная истина недоступна для земнаго нашего разума, и постигается одною только вѣрою. Для истиннаго христіанина философія (не прогнѣвайтесь!) — одно пустословіе, потому что важнѣйшіе ея вопросы для него давно уже рѣшены.

Не истинный тотъ христіанинъ, который станетъ искать доказательствъ безсмертія души въ Платоновомъ Федонѣ; не истинный тотъ христіанинъ, который станетъ благоговѣть передъ наукою, въ которой дѣлаются слѣдующіе вопросы (извините): «Не самобытенъ ли видимый міръ? Конеченъ ли онъ, или у него не было начала и не будетъ конца?» Не правда ли, что эти вопросы и рѣшенія ихъ должны показаться христіанину не только пустословіемъ, но даже богохульствомъ? Осмѣлятся ли онъ повѣрять своимъ ничтожнымъ земнымъ умомъ истины изрѣченныя самимъ Богомъ? да и что прибыли ему поучаться философіи, чтобъ узнать, что онъ долженъ вѣрить тому, чему давно уже, безъ всякихъ доказательствъ, вѣрить? Воля ваша, какъ бы мнѣ ни стали умно доказывать, что я, т. е. М. Н. Загоскинъ — точно М. Н. Загоскинъ, *а все-таки бы я сказалъ, что это пустословіе.* Къ чему же ведетъ эта наука того, кто вѣруетъ? ровно ни къ чему; а неужели вы скажете, что вѣруетъ только тотъ, кто учился философіи? Г. Бурачекъ! вы называете почти всѣхъ насъ язычниками, — что, къ несчастію, довольно справедливо, — смотрите, не сдѣлайтесь сами язычникомъ, не вздумайте сами вмѣсто Бога поклоняться философіи, т. е. вашему земному разуму. Древніе ему и поклонялись — это очень естественно — философія была откровеніемъ эллинскихъ мудрецовъ, а мы по милости Божіей, христіане, т. е. знаемъ все то, что можемъ и должны знать, не изучая ни Гегеля, ни Фихте, ни Канта, ни Окена, *ни вслѣдъ этимъ эллино-христіанскихъ болтуновъ*, о мудрости которыхъ, кажется, не съ большой похвалою отзывается апостоль Павелъ. Теперь, позвольте, Бурачекъ, пожать у васъ на прощаньи руку — только сдѣлайте милость не будьте деспотомъ, не гнѣвайтесь на меня за то, что я думаю не по вашему, а по моему...

Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ является въ этихъ тирадахъ одѣтымъ пожалуй нѣсколько по модѣ уже; онъ и о Кантѣ и объ Фихте слыхалъ, до него объ Окенѣ какъ-то долетѣли слухи, а все же онъ Павелъ Аванасьевичъ Фамусовъ, милый, достолюбезный врагъ всякаго духа изслѣдованія

Обычай мой такой —

Подписано, такъ съ плечъ долой!

гонитель плоти, «грѣшнымъ дѣломъ» балующійся однако, если не съ Лизою, то стенами сентиментально добродѣтельной любви, добрейшій Павелъ Аванасьевичъ, который

всякому, ты знаешь, радъ,

со всякимъ обнимается и т. д. Но кромѣ забавныхъ фамусовскихъ чертъ, въ тирадахъ есть черты мрачныя, по крайней мѣрѣ наводящія на мрачныя размышленія.

Теорія вообще ведетъ къ извѣстнаго рода терроризму своихъ адептовъ. Загоскинъ былъ наивный Камилль Демуленъ обскурантизма, — относительно строгаго и суроваго Робеспьера этого дѣла. Но на этого

Камилла Демулена былъ своего рода Марать, тотъ господинъ, съ которымъ интимную корреспонденцію его обнаружила «Домашняя Бесѣда», этотъ истинный гебертизмъ мракобѣсія. Въ обскурантизмъ были и свои *constituants*, и свои жирондисты...

На смѣлыя наивности Камилла Демулена, г. Бурачекъ отвѣчалъ, какъ наставникъ, нѣкоторою защиткою философин, въ выносѣхъ подъ письмомъ; но въ сущности, наивное письмо бросило «Маякъ» въ роковой процессъ. Конечнымъ словомъ этого процесса — была вражда со всякимъ духомъ изслѣдованія. Чего не досказалъ «Маякъ», то въ наши дни по торжищамъ и стогнамъ голосить «Домашняя Бесѣда», послѣдовательнѣйшее развитіе мрачной теоріи, которой зерно лежало однако въ «Маякѣ» съ самаго начала этого изданія, которой плевеы заглушали все доброе и передовое, что было въ «Москвитянинѣ» до 1850 года, и примѣшивались по временамъ даже къ преобразованному «Москвитянину» пятидесятыхъ годовъ, съ которою невольное соприкосновеніе въ нѣкоторыхъ пунктахъ парализировало силы благороднаго славянофильскаго направленія, то заставляя другихъ ложно смотрѣть на него, то вторгаясь иногда страннымъ образомъ въ самое это направленіе. Теорія мрака и застою, съ которою борьба стала вполнѣ возможна только въ наши дни на ея же полѣ, — теорія, которой часть суждено только въ тяжелой борьбѣ, подъ ударами могущественной діалектики автора книги: «Православіе и современность» и догматической учености «Православнаго обозрѣнія»...

Теорія, разумѣется, начала свое дѣло не съ тѣхъ крайнихъ положеній, которыя такъ добросердечно высказалъ наивный Загоскинъ въ своемъ письмѣ, появившемся въ VI части перваго (1840) года «Маяка современнаго просвѣщенія и образованности». Крайнія положенія, конечно, заключались уже, и притомъ [заключались сознательно, въ идеяхъ издателей журнала, по крайней мѣрѣ одного изъ нихъ, но еще не высказывались съ такою ясностью и простотою.

Что такое былъ «Маякъ?» Для многихъ изъ читателей, этотъ журналъ — какой-то далекій мнѣ, и для всѣхъ, это можно сказать утвердительно, онъ представляется чѣмъ-то въ родѣ «Домашней Бесѣды» въ большихъ размѣрахъ. Между тѣмъ такое понятіе не совсѣмъ вѣрно. Между «Маякомъ» и «Домашней Бесѣдой» такая же бездна, какъ — опять прибѣгаю къ сравненію — между теоріями Максимилиана Робеспьера и гебертизмомъ. «Маякъ» въ наше время вѣроятно такъ же бы отъвернулся отъ цинизма убогой газетки, какъ нѣкогда аррасскій депутатъ и его партія отъ листовъ *Père Duchesne*'я, который былъ почти всегда *en colère*.

«Маякъ» для насъ уже теперь — исторія. Мы можемъ подойти къ нему, какъ ко всякому явленію, безъ страха и вражды. «Маякъ» былъ ни болѣе ни менѣе, какъ прямой наслѣдникъ направленія Шишкова съ одной стороны и продолжатель направленія Лабзинскаго «Сіонскаго Вѣстника» съ другой. Стало быть, онъ слагался изъ двухъ элементовъ, которые можно назвать: одинъ — мистицизмомъ, другой — петербургскимъ націонализмомъ.

Мистицизмъ можно оставить въ сторонѣ; во-первыхъ потому, что онъ дѣло до сихъ поръ загадочное, породившее и Вейсгаупта съ его иллюминатствомъ, и Новикова съ его просвѣтительною дѣятельностью, и вмѣстѣ съ тѣмъ множество совершенно противоположныхъ явленій; во вторыхъ потому, что собственно къ предмету моихъ разсужденій, къ вопросу объ отношеніяхъ нашего сознанія къ народности, эта струя не относится. Во всякомъ случаѣ, въ мистическихъ началахъ «Маяка» есть своего рода блестящая сторона. Логичностью изложенія и извѣстнаго рода силою мышленія г. Бурачка могъ поразиться не одинъ М. Н. Загоскинъ. *Suum cuique*, пора это сказать во всеуслышаніе. Вездѣ, гдѣ дѣло идетъ о философскихъ принципахъ, г. Бурачекъ, по крайней мѣрѣ въ первые годы «Маяка», является мыслителемъ логическимъ, діалектикомъ выработавшимъ свой оригинальный методъ, съ которымъ можно спорить, но котораго нельзя было бы не уважать, если бы онъ самъ побольше уважалъ свои принципы, и не прилагалъ ихъ ко всякой дѣйствительности, за недостаткомъ лучшей, если бы онъ своихъ личныхъ, старческихъ вѣусовъ и антипатій не вносилъ въ борьбу за принципы.

Противъ взгляда чисто отрицательнаго должна была непременно явиться реакція, долженъ былъ выступить взглядъ положительный...

Но взглядъ отрицательный былъ силенъ и тѣмъ, что отрицалъ дѣйствительную фальшь, и тѣмъ, что имѣлъ точки опоры въ литературѣ. Всю литературу, которая стоила имени литературы, которая была живая, онъ принималъ за точку отправления: все мертвое, выдуманное, сочиненное — онъ отвергалъ. Его точка отправления не расходилась съ общимъ сочувствіемъ. Въ этомъ, да въ очевидной фальши всего выдуманнаго, сочиненнаго, заключалась главнымъ образомъ его сила. Со всѣмъ живымъ онъ шелъ объ руку, разъясняя его, проповѣдая, распространяя. Борьба за Пушкина, за Лермонтова, за Гоголя, была для него вмѣстѣ съ тѣмъ и борьба за свѣтъ. Онъ вѣрилъ въ живыя силы жизни...

Но въ этихъ живыхъ силахъ отрицательный взглядъ видѣлъ не все, что онъ въ себѣ заключалъ, что онъ несилъ съ собою въ міръ, и

потому разъяснял ихъ односторонне, по своему. Онъ былъ также теорія, и не могъ быть инымъ...

Несогласные съ его выводами, а таковыхъ было и въ ту эпоху не мало, раздѣлились на два толка. Одни отвергли самую точку опоры отрицательнаго взгляда, отвергли живую литературу, и чѣмъ дальше шли, тѣмъ должны были отвергать безпощаднѣе. Чтобы держаться за что-нибудь дѣйствительное, они въ слѣпомъ усердіи защищали рядъ «выдуманныхъ» сочиненій, сами «выдумывали, сочиняли» новую литературу, и сочиненныя ими, или ихъ послѣдователями, пошлости въ какомъ-то странномъ ослѣпленіи выдавали за истинную литературу, отстаивали жарко нелѣпости, и, разумѣется, остались совершенно одни. Это направленіе наслѣдовало потерянное дѣло Шипшова и замкнулось въ «Маякѣ».

Другіе, напротивъ, жарко вѣрили въ живую литературу, по крайней мѣрѣ въ Пушкина и въ Гоголя, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могли долго перейти завѣтной черты, и хотѣли помирить сочувствіе къ живому съ сочувствіемъ къ отжившему во имя святости преданія. Въ мысли о значеніи преданія они были совершенно правы, но высокую мысль они приковывали къ такому выдуманному вздору, какъ почти вся наша литература XVIII и начала XIX вѣка; и къ такимъ безобразнымъ остаткамъ этого выдуманнаго вздора, какъ творенія г. М. Дмитриева или пѣснопѣнія г-жи Авдотьи Глинки. Правые въ борьбѣ за народность и преданіе съ отрицательнымъ взглядомъ, они были въ высшей степени неправы въ борьбѣ за фальшь, которой обличеніе считали чуть-ли не за *crimen lesae majestatis*. Это направленіе породило «Мосевитянина» первой эпохи, такъ много мѣшавшій «Мосевитянину» пятидесятыхъ годовъ, мѣшавшій и самому редактору въ его безспорно передовыхъ идеяхъ, и молодой редакціи въ ея юношескихъ, но честныхъ и пламенныхъ стремленіяхъ.

Ни то, ни другое направленіе не было славянофильство, хотя съ тѣмъ и съ другимъ славянофильство имѣло, повидимому, много общаго, до того, что въ глазахъ отрицателей сливалось то съ тѣмъ, то съ другимъ направленіемъ, до самой минуты своего отдѣленія. Сходство было только видимое. Славянофильство никогда не мирилось съ существующимъ, какъ направленіе «Маяка», не прилагало своихъ строгихъ принциповъ къ первой попавшейся дѣйствительности; самые принципы захватывало несравненно шире, и притомъ выводы ихъ изъ мистическаго тумана въ философско-историческія области, какъ Кирѣевскій и Хомяковъ; честно во имя этихъ принциповъ отвергло всякую фальшь, порожденную реформою, и отвергло даже значеніе самой реформы. Идеаль свой оно отодвинуло въ прошедшее. Съ другой стороны, оно не могло слиться

и съ направленіемъ, высказывавшимися въ «Москвитянинѣ». За направленіемъ «Москвитянина», и первой, и второй его формы, можно зачислить одну заслугу. Оно никогда не было теоретическимъ, будучи часто хаотическимъ. Оно вѣрило въ живую жизнь, и несло по ея волнамъ, нерѣдко съ иломъ и тиною. Оно знало всегда народъ какъ народъ, не зная дѣленія его на до-петровскій и послѣ-петровскій, на степной и городской, и т. д. Славянофильство выдѣлилось изъ этихъ двухъ направленій, какъ совершенно особое явленіе, какъ сила болѣе отрицательная, чѣмъ положительная, и потому оно не войдетъ въ настоящее разсужденіе, имѣющее дѣло съ оппозиціею положительнаго взгляда.

Оппозицію эту я назвалъ «оппозиціею застоя», и попытку историческаго анализа ея—«чертами изъ исторіи мракобѣсія». Она была дѣйствительно такою въ «Маякѣ», потому что онъ и опирался на одну дѣйствительность застоя, и самъ сочинялъ новую, по такому же образцу, ослѣпленно враждуя со всѣми живыми силами жизни, до того, что подъ конецъ все живое провозгласилъ погибельнымъ, и, погибнувъ самъ, передалъ свое завѣщаніе гебертизму «Домашней Бесѣды». Она являлась такою и въ «Москвитянинѣ», потому что долго стремилась служить двумъ идеямъ, и вѣруя въ живое, все пробовала, нельзя ли какъ-нибудь сберечь и драгоценную тину. Оппозиція положительнаго взгляда только тогда перестала быть оппозиціею застоя, когда она оперлась на новыя силы жизни, сказавшіяся въ новой литературѣ, въ литературѣ натурализма. Тогда она стала оппозиціею законной, оппозиціею жизни теоріямъ, какъ западнымъ, такъ равно и славянофильскимъ.

## II.

«Много добраго» — такъ говорили издатели «Маяка» въ заключеніе VI книги перваго года своего изданія (1840) — «хотѣлось намъ сдѣлать для добрыхъ русскихъ изданіемъ «Маяка». *Цѣль* его — ихъ польза и наслажденіе. *Содержаніе* его — обнимаетъ все, что только можетъ интересовать человѣка. *Исполненіе* «Маяка» — не поспушайте провѣрить теперь вмѣстѣ съ нами; что такъ — примите, что не такъ — помогите исправить. Мы уже столько сдѣлали, что можно довольно безошибочно обсудить и цѣль и исполненіе; и не такъ еще далеко мы зашли, чтобъ не было возможности поправить и передѣлать...»

Такъ говорилось въ той самой книжкѣ, въ которой печаталась статья Загоскина, — въ той самой книжкѣ, съ которой теорія повлеклась по роковому процессу къ своимъ крайностямъ. Въ заключительной

статьѣ этой VI книжки въ сжатыхъ и точныхъ чертахъ повторялась нѣкоторымъ образомъ программа изданія,—программа, съ принципомъ которой можно было пожалуй спорить, но которая представляла собою, какъ основанная на извѣстной доктринѣ — изложеніе убѣжденій, могущихъ имѣть свое законное мѣсто въ человѣческомъ мышленіи.

«Мы начнемъ»,—продолжаютъ издатели,—«свой отчетъ подробнымъ изложеніемъ *содержанія* «Маяка», которое, направляясь къ разнымъ исключительнымъ цѣлямъ, черезъ нихъ же постоянно стремится въ тоже время къ одной преобладающей цѣли. Мы не побоимся войти, гдѣ это нужно будетъ, въ нѣкоторыя подробности и доказательства; вы не бойтесь, и прочтите ихъ со вниманіемъ, для того, чтобъ имѣть потомъ полное право судить, и судить справедливо.

1) На заглавномъ листѣ вы читаете: «Маякъ — собраніе *трудовъ ученыхъ и литераторовъ русскихъ и иностранныхъ*». Цѣль не мудрая, такихъ сборниковъ у насъ много. Всѣ журналы—хоть не такіе, но подобныя же сборники. Какъ бы то ни было, все-таки эта первая цѣль достигнута; можетъ быть и не совсѣмъ дурно, по крайней мѣрѣ мы слышали будто въ «Маякѣ» есть вещи хорошія.

2) Но собирать статьи можно просто, какъ случится, разставляя ихъ только по условленнымъ сортамъ, не заботясь много о томъ, къ чему онѣ ведутъ: были бы только сегодня интересны; или можно это собраніе подчинить особой системѣ, ведущей къ своего рода высшей цѣли. Это вторая главная цѣль, не только еще не достигнутая, но даже не вполне еще выясненная читателямъ «Маяка»—*есть просвѣщеніе и образованность*.

Итакъ, главная цѣль «Маяка» была повидимому въ высшей степени похвальная: просвѣщеніе и образованность... Но отчего же эту столь общую цѣль издатели какъ будто защищаютъ, защищаютъ свое изданіе отъ какихъ-то — какъ слышится въ тонѣ—нападеній? Все дѣло въ томъ, что слова «просвѣщеніе и образованность»—понимаютъ они иначе, нежели понимали другія современныя имъ направленія, выражавшіяся въ другихъ, современныхъ имъ журналахъ,—и особенность своего пониманія этихъ словъ высказали въ общихъ чертахъ въ самой программѣ. Въ заключительной статьѣ VI книги — особенность эта выражена прямо и ясно.

Вотъ что говорятъ издатели:

«Странно покажется, а дѣйствительно такъ: XIX вѣкъ столько превозносится своимъ просвѣщеніемъ и образованностью, а между тѣмъ во второй четверти XIX же вѣка, три четверти челоуковъ едва ли умѣютъ различать два слова:

«*Просвѣщеніе и — скука.*

«*Образованность и — мораль: таже скука. Для нихъ это синонимы: вещи, о которыхъ бы они и слышать не хотѣли...*»



А! вотъ оно что. Маякъ стало-быть предполагать и въ обществѣ и въ литературѣ — выражающей и потому самому руководящей общество — полнѣйшую разрозненность сознанія съ *истиннымъ* просвѣщеніемъ и съ моралью. Стало-быть и особенность его понятія о просвѣщеніи и образованности — есть особенность отрицательная. Значеніе его — въ оппозиціи *ложному* просвѣщенію и *безнравственности*, господствующимъ въ обществѣ и литературѣ, — во имя *истиннаго* просвѣщенія и *нравственности*.

«Хорошо — такъ продолжается разъясненіе — если то, что я принимаю за просвѣщеніе, *точно просвѣщаетъ, а не мрачитъ*. Хорошо, ежели то, что я называю образованностью — *дѣйствительно, изъ животнаго, какимъ я родился, преобразуетъ въ человека* — въ существо богоподобное, высокое, способное счастливить и быть счастливымъ.

«Но если все это наоборотъ? *Тогда сколько усилій потерянныхъ, трудовъ напрасныхъ, а можетъ и — погибельныхъ!* Вопросъ о дѣйствительномъ просвѣщеніи и образованности становится вопросомъ высочайшей важности; и нѣтъ человека, кто могъ бы сказать: «это до меня не касается». А когда такъ, то и мы коснемся этого предмета поглубже.

«Какъ безъ солнечнаго *свѣта* все томится, сидитъ во тьмѣ, спотыкается, падаетъ, леденѣетъ, мретъ, такъ, и въ миліонъ разъ болѣе такъ, душа — безъ *просвѣщенія!*

«Просвѣщеніе и образованность могутъ быть истинныя и вздорныя, существенныя и поверхностныя, полезныя и вредныя. Мы относимъ просвѣщеніе къ *разуму*, образованность къ *сердцу*. Для разума необходимъ свѣтъ *истины*, для сердца — теплота *любви*.

Все это — философскіе принципы, въ которыхъ много истины, въ которыхъ все, пожалуй, истина, — вромѣ одной, повидимому, совершенно второстепенной, невыдающейся на первый планъ мысли, мысли о «*потерянныхъ, напрасныхъ и можетъ быть — погибельныхъ трудахъ*». Все остальное не новость, все остальное встрѣчаемъ мы въ мыслителяхъ какъ Хомяковъ, Кирѣевскій, отецъ Теодоръ (я напоминаю только о ближайшихъ къ намъ) — и видимъ, что оно не ведетъ ни къ отрицанію свободы общественной, ни къ отрицанію испытующаго духа въ философіи, а, напротивъ, придаетъ только всѣмъ этимъ возвышеннымъ стремленіямъ силу, прочность, центръ. Но эти высокія основы — можетъ быть по сущности своей представляютъ собою такую высокую и острую крутизну, на которой въ желаемомъ равновѣсіи могли удерживаться только глубочайшіе христіанскіе мудрецы первыхъ семи вѣковъ и весьма немногіе изъ современныхъ, наслѣдовавшіе отъ нихъ не букву, которая мертвитъ, а *духъ*, который животворитъ. Немногіе дошли до высоты воззрѣнія, потребной для простой и великой въ простотѣ своей

мысли о Теодора, что для Христа чедовѣческой разумъ вовсе не такъ ничтоженъ, какъ для нѣкоторыхъ поборниковъ застоя и насильственнаго единства; для нѣкоторыхъ духовныхъ централизаторовъ, которымъ всякіе пути, увлоняющіеся отъ буквы, представляются *«усиліями потерянными, трудами напрасными, а можетъ-быть и погибельными»*. Централизаторы, приверженцы буквы—странная иронія! — становятся свой собственный разумъ, т. е. свое личное, скованное пониманіе буквы мѣриломъ путей великой и таинственно-неуслѣдимой силы; и,—не зная ни ея послѣдующихъ проявленій, ни ея конечныхъ цѣлей,— произносятъ съ-высоты присвоеннаго себѣ авторитета приговоръ всякимъ путямъ, кромѣ тѣхъ, которые условлены ихъ буквою... Вредъ, происходящій отъ такого произвольнаго, хотя вмѣстѣ и рабски-буквального указанія путей, ужасенъ и въ области мышленія, и въ области искусства, и въ области жизни. Много ли, повторяю, найдется Хомяковыхъ, Кирѣевскихъ, отцевъ Теодоровъ? Мы были свидѣтелями страшнаго, трагическаго событія, которое было прямымъ результатомъ воздѣйствія страшной централизаторской теоріи на глубокую и впечатлительную, но неясную и тревожную натуру высокаго художника, Гоголя. Его сомнѣніе въ духовномъ значеніи его дѣятельности, его смерть... не страшный ли это урокъ—но не міру, который лишился въ немъ великаго органа любви и свѣта, а централизаторамъ, еслибъ они въ гордости своей были доступны какимъ-либо урокамъ? Въ высшей степени замѣчательно въ его несчастной «перепискѣ» то письмо къ какому-то изувѣру-ираколюбцу, въ которомъ поэтъ отстаиваетъ значеніе арены, на которой по-сильно служилъ онъ правдѣ, красотѣ и любви—значеніе театра. Есть избранныя, необыкновенно ясныя души, которыхъ мракъ вовсе не касается, которымъ не можетъ представиться и самого вопроса о ложности и погибельности стремленій чедовѣка къ правдѣ, красотѣ и любви, если эти стремленія суть дѣйствительно стремленія. Такова была, на примѣръ, ясная и свѣтлая душа Жуковскаго, котораго самыя мистическія размышленія ни разу не доводили до сомнѣнія въ значеніи высшихъ стремленій чедовѣческихъ, который въ письмѣ своемъ къ Гоголю боится и колеблется произнести судъ даже надъ дѣятельностью германскаго поэта, радикально-противоположною его собственному жизненному и поэтическому воззрѣнію. Но Гоголь, именно потому, что былъ несравненно глубже Жуковскаго по натурѣ, несравненно способнѣе къ энтузіазму и фанатизму, рѣшительно испугался «погибельныхъ» путей—испугался до того, что ни собственный его глубокой умъ, ни внушенія автора «Трехъ писемъ къ Гоголю» не могли его успокоить. Въ письмѣ, на примѣръ, къ мракѣлюбцу, онъ видимо мучительно борется съ страш-

нымъ для него взглядомъ, подозрѣвая въ тоже самое время самого себя въ борьбѣ съ истиною. Тогда какъ дѣло рѣшалось очень просто. Мраколюбець вопіялъ на театрѣ по буквѣ, а не по духу великихъ мудрецовъ и учителей; во время которыхъ театрѣ уже утратилъ всякое серьезное значеніе, и которыхъ вражда была враждою серьезныхъ и глубоко смотрящихъ на жизнь мыслителей противъ дѣла, потерявшаго всякое живое значеніе и получившаго значеніе праздной и даже развратной потѣхи властолюбія, сладострастія и порока. Однимъ словомъ, это была борьба духа съ плотью, съ мертвою, отжившею и извращенною буьвою, тогда какъ у нашихъ мраколюбцевъ стало это—борьбою мертвой буьвы противъ живой жизни.

«Маякъ» хотѣлъ противодѣйствовать *ложному* просвѣщенію и безнравственности; но то, во имя чего онъ противодѣйствовалъ, его собственныя просвѣщеніе и нравственность, были чисто его, чисто субъективныя, прикованныя къ мертвой буьвѣ, понятія. Съ такого рода понятіями, онъ, чѣмъ далѣе шель, тѣмъ больше и больше расходился съ живою жизнью. Начавши довольно умѣренно, съ принциповъ, которые сами по себѣ совершенно истинны, онъ—еще до загоскинскаго письма—въ приложеніяхъ принциповъ къ дѣлу обличился уже въ своей полной несостоятельности. Свое собственное старческое несочувствіе къ явленіямъ жизни онъ счелъ за проведеніе высокихъ идей...

Вотъ съ чѣмъ между прочимъ выступалъ онъ еще въ 1840 г., еще до письма Загоскина:

Въ книгѣ IV, обвинивши (стр. 186) литературу нашу вообще въ томъ, что ей недостаетъ философіи, религіозности, народности, — уничтоживши значеніе Жуковскаго, хотя по какой-то непослѣдовательности искушенное впрочемъ съ избыткомъ въ 1845 году, обвиненіями въ деизмъ,—сохранивши еще уваженіе къ старымъ писателямъ и къ Карамзину, критикъ доходитъ наконецъ до Пушкина:

«Что мнѣ будетъ», говоритъ онъ («Маякъ» 1840 г. ч. IV, стр. 188), «если я не обвиняя скажу, что тотъ, кто призванъ былъ возродить русскую поэзію, именно тотъ *уронилъ ее, по крайней мѣрѣ десятилтія на четыре* — это Пушкинъ. Съ огромнымъ призваніемъ быть оракуломъ человечества, онъ *удовольствовался славой ювелира*, оставилъ намъ нѣсколько томовъ *чудныхъ поэтическихъ игрушекъ* и почти ничего безсмертнаго. Пожалуйста не сердитесь! выслушайте, я дѣло говорю.

Первый стихъ его, могучій, умный, звучный—возбудилъ общій восторгъ и удивленіе. Литературные старики на рукахъ его носили, молодежь гурьбой бѣжала за нимъ, осыпая знаками удивленія и восклицанія (!). *Писать стихи ему ничего не стоило*: это была живая фабрика чудныхъ стиховъ. *Слава его — къ чему ученье и трудъ?* И Пушкинъ не воспользовался всѣми пре-

доставленными ему средствами ученія и просвѣщенія—онъ самъ намекнулъ объ этомъ въ своемъ «портретѣ». Духъ, вылившійся по духу его времени, когда господствовали библейскія общества и либерализмъ, *два противные, неразлучные элемента* (!!!), увлекся въ молодости легкомысліемъ, свободой, разгуломъ пріятелей, молодежи, встрѣтилъ на пути преграды, плотины—вспѣнлся, думалъ было волной перекатиться черезъ нихъ и разлился—*олицетворенной эпихраммой. Просто его захвалили до полусмерти.*

*«Не ищите у Пушкина философіи. Онъ не зналъ ея. Природный умъ, или лучше остроуміе, способное направляться во всѣ стороны, никогда не замѣнить философіи. Пушкинъ не всегда вѣрный слуга истинѣ; поэтическихъ софизмовъ; парадоксовъ у него много. Все это скрыто подъ блескомъ и красотой стиха. Не ищите у Пушкина религіозности—его умъли отвратить отъ нея. А безъ этихъ двухъ жизненныхъ элементовъ, не можетъ быть жизни и въ произведеніяхъ. Только въ послѣднихъ его произведеніяхъ мелькаетъ что-то похожее на религіозность, и поэтому-то нельзя довольно оплакать, что Пушкинъ самъ не успѣлъ поправить того, что самъ же испортилъ въ молодости.»*

Что касается до народности, Пушкинъ былъ бы по превосходству русскій, если бы по недостатку искусственнаго просвѣщенія разума, особливо образованія сердца и воли, развитія и оживленія чувства, *т. е. по недостатку матеріаловъ, умственного капитала для творчества*, не смотря на значительный даръ творчества отъ природы,—былъ бы, говорю, Пушкинъ великій поэтъ народный, если бы по всему этому *не увлекся за Жуковскимъ* въ подражаніе иноземному, особливо Байрону, сходному съ нимъ по превратностямъ жизни, борьбѣ съ обществомъ, но который далеко превосходилъ Пушкина ученостію и знаніемъ, тайнъ человѣческаго духа и сердца, *чего Пушкинъ, какъ не философъ, никогда не изучалъ.* Пушкинъ былъ пейзажистъ, Байронъ—историческій живописецъ. Что Пушкинъ видѣлъ, то мастерски схватывалъ и вѣрно и красиво писалъ, но онъ схватывалъ только внѣшнее въ человѣкѣ и обществѣ. Человѣческія фигуры на его пейзажахъ—вещь второстепенная. Не знаю, понятно ли я говорю: но больше разъяснять некогда.

«Пушкинъ, какъ и Байронъ, былъ *сухъ, колючъ, блестящъ, могучъ: животворной теплоты любви—ни въ томъ, ни въ другомъ.* Оба они больше разрушали, чѣмъ созидали, больше отрицали, чѣмъ полагали. Удивительно-ли, что все преклонялось предъ ними, все увлеклось за ними?—подражатели разомъ поймали механизмъ пушкинскаго стиха, манеру, скорбь и вопли его теней, не туда направленнаго: но эти вопли приняла за разочарованіе, тоску, безнадежность самого Пушкина,—за необходимую принадлежность всякаго великаго поэта, Кому бы не хотѣлось быть великимъ безъ великихъ дарованій и трудовъ?—и вотъ въ современной нашей поэзіи много стиховъ прекрасныхъ, *есть даже лучшіе, чѣмъ у самого Пушкина, но нѣтъ въ нихъ философіи, ни религіозности, ни народности, нѣтъ свѣта, тепла, жизни, нѣтъ поэзіи; а только безжизненный, красивый стихотворный трупъ.*—Надо ждать новаго

Пушкина. Между гнѣшными пѣвцами, почти ни одного нѣтъ; онъ еще зрѣеть... Пушкинъ! кто бы ты ни былъ, сознающій уже въ себѣ его крылья, его могучесть—остановись! не читай своихъ стиховъ пріятелямъ, не показывай ихъ журналистамъ. Не пиши теперь много, не исписывайся прежде времени; ты пока еще теперь маленькій резервуаръ и скоро опорожнишься! родникомъ, кто только призванъ быть имъ, дѣлаются въ половинѣ жизни. Сохрани же дѣвственность и свѣжесть поэтическихъ силъ твоихъ! изучай словомъ и дѣломъ философію, религію, народность. Подчини свою волю строгой ферулѣ повиновенія. Спасай свое сердце отъ всего порочнаго. Разумъ свой просвѣщай истиной, чувство внушеніемъ красоть природы, откровенія и искусства; но съ послѣднимъ будь остороженъ, не увлекайся ложными образцами: изучай, сравнивай всѣхъ, но никому не подражай, и т. д.

Я не останавливаю читателей на поразительномъ сходствѣ упрековъ, дѣлаемыхъ «Маякомъ» Пушкину, — сходствѣ простирающемся до тождества самыхъ выраженій, — съ упреками, дѣлаемыми поэту въ наше время прогрессистами-теоретиками и обскурантами-теоретиками.... Дѣло въ томъ, что какъ «Маякъ» 1840 года, такъ и теоретики нашихъ дней равно приступаютъ къ жизни съ готовыми мѣрами, — и поневолѣ становятся къ ней и къ отраженію ея, литературѣ, въ отношеніе чисто-отрицательное.

Я нарочно беру теорію «Маяка» въ первую его эпоху, — въ ту эпоху, когда онѣ еще не глядятъ съ одной стороны на одинадцатую версту, какъ «Маякъ» 1844 и 1845 годовъ, и не отвращаютъ еще отъ себя гебертизмомъ «Домашней Бесѣды». Отъ приводимыхъ мною мѣстъ далеко еще до *удивительныхъ* статей о Пушкинѣ г. Мартынова, до обвиненія всѣхъ писателей нашихъ въ деизмъ и пантеизмъ, до сближенія литературы съ періодомъ энциклопедистовъ. Но всѣ эти послѣдующія «прелести», принадлежація къ области одинадцатой версты или «Домашней Бесѣды», заключаются уже, какъ-бы въ зернѣ, въ первоначальныхъ критическихъ статьяхъ «Маяка».

Что онѣ не заключаются, какъ въ зернѣ, въ тѣхъ принципахъ, которыхъ «Маякъ» хвалился быть представителемъ, на это лучшимъ доказательствомъ будетъ развернуть любую изъ статей Хомякова, Кирѣевскаго или отца Теодора...

Мракъ былъ послѣдствіемъ чисто-субъективной теоріи издателей, и примѣси ея къ принципамъ. Примѣсь эта тѣмъ была вреднѣе, чѣмъ серьезнѣе были принципы, ибо тѣмъ болѣе вводила въ искушеніе. Самое славянофильство, изъ уваженія къ принципамъ, не раздѣлилось явно, рѣзко съ «Маякомъ», не только сначала, но даже и впоследствии. Позволяя себѣ иногда отмѣтить фальшивый тонъ въ сочиненіяхъ г. Муравьева, оно какъ-будто не смѣло вступить въ открытую борьбу съ тео-

ріями г. Бурачка, ибо, по странному ослѣпленію, считало таѣ же, какъ «Маякъ» и его адепты, своимъ родоначальникомъ Шишкова...

«Маякъ» былъ чистымъ органомъ шишковизма или петербургскаго славянофильства. Отличительнымъ свойствомъ этого направленія было отрицательное отношеніе къ всему современному,—стремленіе насильственно удержать старое,—однимъ словомъ не консерватизмъ, а чистый застой. Застой этотъ, старчески безсильный, призываетъ къ себѣ на помощь принципы весьма важные и существенные, но и самые принципы, профанируемые съ самаго начала приложеніемъ на защиту застойной тины, постепенно профанировались все болѣе и болѣе, и дошли наконецъ до гебертизма «Домашней Бесѣды».

Да и не могло быть иначе. Вотъ какъ съ самаго же начала глядѣлъ «Маякъ» на современность и ея органъ—литературу.

«Ежели»—говоритъ въ той же статьѣ критикъ,—«образцы поэзіи, съ одной стороны невѣрно направленные, а съ другой превратно, поверхностно понятыя и исключенныя, *прямо вели къ упадку нашу поэзію*, то теоріи, ученія, сужденіе о поэзіи, окончившіяся *отрицаніемъ всякихъ правилъ и законовъ*, окончательно довершили упадокъ всей литературы и довели ее до *нынѣшняго разжиженнаго состоянія*» («Маякъ» 1840 г. Т. IV стр. 190).

«Маякъ» предполагалъ литературу въ упадкѣ—и только—что на первый разъ приличія ради не жаловался съ адмираломъ Шишковымъ на то, что молокососы осмѣливаются судить о Херасковѣ—и серьезные, существенные принципы заставлялъ служить такимъ вздорнымъ преданіямъ, какъ Бургіева реторика, забвеніе которой считалъ отрицаніемъ «*всякихъ правилъ и законовъ*», и какъ вся наша высокотожественная литература XVIII вѣка, въ уклоненіи отъ которой онъ видѣлъ *нынѣшнее разжиженное состояніе* литературы. Великіе и серьезные принципы брались литературными Фамусовыми только на прокатъ, только на защиту дорогой имъ эпохи «выдуманныхъ» сочиненій. Маякъ съ самаго же начала вопіетъ на то, что «*цѣлью* всѣхъ изящныхъ произведеній поставили единственно *удовлетвореніе эстетическому вкусу*, не подчиняя ихъ ни какому другому условіямъ...» Подъ другими условіями разумѣлись, конечно,—извѣстныя, китайски опредѣленныя нравственныя понятія. А какъ только какая бы то ни было теорія, не только теорія застоя, но положительно какая бы то ни было, хотя бы теорія самаго крайняго прогресса, начнетъ приступать къ жизни и ея органу—искусству, съ какими либо *своими* требованіями, а не съ тѣми, которыя въ нихъ заключаются, т. е. не съ эстетически-жизненными,—такъ она тотчасъ же станетъ къ знаменательнѣйшимъ явленіямъ искусства и жизни въ то отрицательное отношеніе, въ которомъ пуритане, напри-

мѣръ, находились къ Шекспиру, а наши теоретики разныхъ сортовъ къ Пушкину,—всѣ отъ г. Бурачка до г. Дудышкина, отъ г.—бова до г. Аскоченскаго и г. Гымалэ.

Теорія же застоя, разумѣется, не остановится, да и не можетъ остановиться, ни передъ какими безобразіями. Отъ признанія эстетическихъ требованій «Маякъ» ведетъ всѣ бѣдствія, постигшія несчастную российскую словесность.

«Отсюда»—говоритъ критикъ (ibidem)—«всѣ пороки, рѣзни, оргіи, преступничество, каторжники, цыгане, разбойники, пираты, контрабандисты, жида, шутеры, всѣ мерзости человѣчества поступили въ число матеріаловъ для изящныхъ произведеній. Всѣ наши литераторы поголовно *не изучали философіи научнымъ образомъ* \*), всесторонно, а приняли на слово этотъ и другіе германскіе эстетическіе законы изъ третьихъ или четвертыхъ ружь, какъ символъ литературной вѣры, и проявляли эти теоріи словомъ и дѣломъ, ученіемъ и образцами».

Какими образцами проявлялъ «Маякъ» свои теоріи — открывается уже изъ этой же самой статьи. Образцами являются Булгаринъ въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, Гречъ въ своей «Черной женщинѣ», Степановъ въ «Постояломъ дворѣ», и въ особенности г. Башупкій—последній въ особенности, ибо первые признаются образцами далеко несовершенными.

И такъ — вотъ какими шаткими опорами долженъ былъ «Маякъ» поддѣрживать свои теоріи въ дѣйствительности. Дѣйствительность же вся, кромѣ «Маяка», эти опоры отвергала.

Къ тому, въ чемъ дѣйствительность видѣла руководящее выраженіе своихъ силъ, къ настоящей не-выдуманной литературѣ — «Маякъ» сразу же сталъ въ отрицательное, укорительное и обличительное отношеніе. Въ особенности замѣчательно ясно высказался весь взглядъ «Маяка», въ той же самой IV части, въ разборѣ *Героя нашего времени* Лермонтова, — разборѣ, замѣчательномъ и основными мыслями, и даже самыми формами, которыя глядятъ уже на одинадцатую версту и приближаются къ достолюбезнымъ формамъ «Домашней Бесѣды». Разборъ этотъ — позволяю себѣ привести съ большою подробностью.

Онъ начинается разговоромъ въ гостиной. Въ гостиной потому, что не ловко бы было по старому, но простодушной манерѣ «Вѣстника Европы» — подбивать публику разговоромъ между просвирней, дьячкомъ и корректоромъ типографіи. «Маякъ» покоряется условіямъ времени.

\*) Далась же эта несчастная философія (разумѣется по Баумейстеру, какъ реторика по Бургію) — и далась не только литературнымъ Фамусовымъ, а людямъ повыше. Попрекнулъ же недавно Бѣлинскаго незнаніемъ философіи) тоже явно незнаніемъ по Баумейстеру, — или по *Баумейстеру* — человекъ во многомъ передовой, г. Погодинъ. Эти — упрямъ взято въ родъ застарѣлой болѣзни.

«Вы читали, сударыня «Героя», — какъ вамъ кажется?»

«Ахъ, неподобная вещь! по-русски ничего еще не было подобнаго... такъ это все живо, мило, ново... слогъ такой легкій! интересъ—такъ и заманиваетъ.

«А вамъ, сударыня?»

«Я не видала какъ прочла; и такъ жаль было, что скоро кончилось — зачѣмъ только двѣ, а не двадцать частей.

«А вамъ, сударыня?»

«Читается... ну прелесть! изъ рукъ не хочется выпустить. Вотъ если бы всё такъ писали по-русски, мы не стали бы читать ни одного романа французскаго.

«Ну, а вы, Ив. Ив., что скажете?»

«А мнѣ кажется, что появленіе «Героя нашего времени» и такой приѣмъ ему *всего разительнѣе доказываетъ упадокъ нашей литературы и вкуса читателей.*

«*Всѣ (въ голосѣ).* Ахъ! да какъ это можно?... ахъ, кто этакъ варварски судить!... ахъ! это просто зависть!.. ахъ! вотъ какъ убиваютъ таланты!.. ахъ! помилуйте Иванъ Ивановичъ!»

«Я. Mesdames, messieurs — чѣмъ такъ спорить, да шумѣть, не лучше-ли теперь же развинтить всю книгу, пересмотрѣть всё ея пружины, подставки, винтики, части, обсудить и тогда...»

«Онъ. Пересмотрѣть, обсудить... *настоящій мужчина!* кто разсуждаетъ, когда надо просто наслаждаться? «Герой»—истинное наслажденіе! душечка, какъ миль! ужасть, какъ миль!»

«Я. Какъ вамъ угодно, mesdames, я хоть для себя это сдѣлаю; пока вы наслаждаетесь...» (Маякъ, ч. IV, стр. 210).

Вооружаться на дурной тонъ этого приступа — нечего. У Никодима Надоумки въ «Вѣстникѣ Европы» тонъ еще хуже—но у него промежу грубыхъ семинарскихъ выходокъ временами есть дѣло. Приступъ «Маякъ» я привожу вовсе не для глумленія надъ его претензіями на свѣтскость. Изъ этого приступа видно, что «Маякъ» понималъ, съ какимъ важнымъ для общества литературнымъ явленіемъ онъ имѣетъ дѣло, хотѣлъ сказать имъ, какъ отозвалось въ обществѣ созданіе Лермонтова, какъ оно возбудило интересъ даже въ томъ, въ комъ ничто интереса не возбуждаетъ, кого Гоголь впоследствии не церемонясь называлъ «пустыми свѣтскими башками».

«Я въ самой вещи развинтилъ «Героя», продолжаетъ послѣ *мридага* приступа критикъ, «и вотъ что нашель: внѣшнее построеніе романа хорошо, слогъ хорошъ; содержаніе—*романтическое по превосходству*, т. е. ложное въ основаніи; гармоніи между причинами, явленіями, слѣдствіями и цѣлью—ни малѣйшей, т. е. *внутренне построение романа никуда не годится*: идея ложная, направленіе кривое».

Вотъ что называется истинная отдѣлка à la Собакевичъ!—Но слушайте далѣе:



«Оболочка свѣтскаго человѣка схвачена довольно хорошо, черты духа и сердца человѣческаго обезображены до нечѣстности. Весь романъ—эпиграмма, составленная изъ непрерывныхъ софизмовъ, *такъ что философіи, религіозности, русской народности и смдвогъ нтъ*. Всего этого слишкомъ достаточно, чтобъ угодить вкусу героевъ нашего времени, но въ тоже время, для человѣка здравомыслящаго, т. е. *для профана въ современномъ героизмѣ*, слишкомъ неотраднo; отъ души жалѣешь, зачѣмъ Печоринъ, настоящій авторъ книги, такъ во зло употребилъ прекрасныя свои дарованія, единственно изъ-за грошевой подачки—похвалы людей, зѣвающихъ отъ пустоты головной, душевной и сердечной. Жаль, что онъ умеръ, и на могилѣ поставилъ себѣ памятникъ «легкаго чтенія», похожій на гробъ повеленный: снаружи красивъ, блестятъ мишурою, а внутри гниль и смрадъ.

«Кто же вскрываетъ гробы?»

«Правда, не слѣдовало бы, но для медико-литературнаго слѣдствія это необходимо.

«Вотъ содержаніе гроба: «герой нашего времени—за отличіе сосланъ на Кавказъ, въ одну изъ заполюшыхъ крѣпостей. Онъ является коменданту крѣпости, штабсъ-капитану Максиму Максимычу. Максимъ Максимычъ, герой прошлыхъ временъ, простой, добросердечный, чуть-чуть грамотный, слуга царю и людямъ на жизнь и смерть; нынче многіе Максимы Максимычи переродились въ героевъ нашего времени. Кой-гдѣ въ отставкѣ по хуторамъ, и на Кавказѣ по крѣпостямъ, уцѣлѣли ихъ отрывки. Здѣсь Максимъ Максимычъ весь цѣликомъ, живой, и былъ бы единственнымъ отраднымъ лицомъ во всей книгѣ, еслибъ живописецъ для большаго успѣха своего «героя» не *вздумалъ отпѣнить добряка штабсъ-капитана отливомъ d'un bon hotte, смѣшного чудака*. Таковы уже законы легкаго чтенія!—*въ самомъ добрѣ надо находить только смѣшное, иначе будетъ сухо и скучно*. За то, какъ милъ и какъ великъ герой, стоя рядомъ съ Максимомъ Максимычемъ, который принялъ его въ свою пустыню какъ друга, ласкалъ какъ брата, ухаживалъ за нимъ какъ отецъ, а тотъ?... тому все это было смѣшно, несносно.... Только-что не надѣлалъ онъ Максима Максимыча, за любовь его, щелчками по носу.... *жаль, авторъ не воспользовался этимъ для полноты трескучихъ эффектовъ*.

«Герой—настоящій герой! *въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнуть и устануть, а ему ничего. А въ другой разъ, въ комнатѣ—оттеръ нахметъ: утѣрастъ, что проетѣдился; ставнемъ стукнетъ—онъ вздрогнетъ и поблѣднѣетъ; а на кабака ходилъ одинъ на одинъ*».

За тѣмъ критикъ въ насмѣшливомъ тонѣ рассказываетъ исторію похищенія Бѣлы, охлажденія къ ней Печорина и ея смерти. Замѣчательно, что на слова Печорина: «глупецъ я или злодѣй», не знаю,—критикъ отвѣчаетъ такъ, совершенно уже во вкусъ и въ тонъ г. Аскоченскаго:

«А я, такъ знаю,—слѣдовало бы отвѣчать Максиму Максимычу,—ты и то и другое: и глупъ какъ дерево, при всей остротѣ твоей, и золь, какъ голодный волкъ!—и если ты не хотѣлъ оцѣдать за нее мимолетной прихоти, то жизни и

подавно не отдашь! Но авторъ не велѣлъ ему такъ отвѣчать, а герой знай себѣ мелеть героическій вздоръ на тотъ же ладъ, нѣсколько страницъ, и кончилъ—*скукою*.

Въ такомъ же тонѣ продолжаетъ критикъ передавать и дальнѣйшее содержаніе романа. «Отдѣлавши» первый рассказъ, онъ замѣчаетъ:

*«Итого: воровство, грабежъ, пьянство (??), похищеніе и обольщеніе дѣвушки, два убійства, презрѣніе ко всему святому, одеревенѣлость, парадоксы, софизмы, звѣрство духовное и тѣлесное.—Все это элементы перваго акта похождения героя! Въ самомъ дѣлѣ—должно ужасъ какъ читаться! такъ легко, утѣшительно! и все такъ мило—совершенно во вкусъ образованнаго общества, особливо нѣжнаго пола! и такъ натурально—живая натура!*

«Этимъ я не хочу сказать, будто грѣшныя, грязныя и порочныя вещицы человѣческія надо вовсе исключить изъ числа матеріаловъ и колеровъ изящной словесности, и убаюкивать читателя однѣми добродѣтельными, свѣтлыми, высокими, чистыми, которыя-де такъ же рѣдки въ падшемъ человѣчествѣ,—нѣтъ, я хочу только, чтобъ всѣ колера картины человѣческаго сердца были съ подлиннымъ вѣрны, съ темной и съ свѣтлой стороны; чтобъ читателей не водили въ кабинетъ идеальныхъ чудовищъ, нарочно подобранныхъ; чтобы картина грязной стороны къ чему-нибудь служила, а не вредила, т. е. (курсивомъ въ подлинникѣ) *чтобы авторъ не клеветалъ на цѣлое поколѣніе людей, выдавая чудовище, а не человѣка, представителемъ этого поколѣнія*».

Здѣсь не мѣсто защищать Лермонтова отъ нелѣпыхъ обвиненій въ апотеозѣ порока—обвиненій, которыя самъ поэтъ какъ будто предвидѣлъ въ своемъ многотрудномъ предисловіи ко второму изданію романа. Пойдемте дальше за критикомъ.

Разсказавши по своему равнодушную встрѣчу Печорина съ Максимомъ Максимычемъ—онъ удивительнѣйшимъ образомъ передаетъ рассказъ «Тамань». Передача эта—какъ будто похищена изъ неувыдаемыхъ лавровъ г. Аскоченскаго. Слушайте:

«Второе похищеніе героя случилось въ Тамани. Городишка мерзкій, никто не пускалъ героя на квартиру:—Варвары, невѣжи! не пускать къ себѣ героя нашихъ временъ! Толи дѣло образованный и просвѣщенный классъ! Не только всѣ будуары ему настезь:—живи и спи сколько хочешь,—но и сами *спать съ нимъ* сладко и пресладко! Едва нашлась въ Тамани честная семья, на краю города, на берегу моря: глухая старуха, слѣпой сынъ и хорошенькая дочка; то были контрабандисты, *герои, достойные героя нашихъ временъ*. Въ первую же ночь герой подмѣтилъ, что старушка не глухая, слѣпой не слѣпъ, и дочка *лихая дѣвка*. Онъ какъ-то сталъ присматриваться на красотку, намекнулъ ей, что онъ замѣтилъ ихъ промыселъ. Дѣвушка-героиня и въ лицѣ не измѣнилась, прикинулась влюбленною, обняла, поцѣловала героя, назначила ночью свиданіе на берегу,—герой заткнулъ пистолетъ за поясъ и пошелъ. Дѣвушка ждала его, посадила въ лодку, оттолкнулась,—лодка поплыла; героиня обняла героя нѣжно-сладко: пистолетъ—бухъ въ воду. Герой смѣкнулъ дѣло.

*Дюка—на героя, такъ и тащить его въ воду. Герой борется, лодка накренилась. Дюка—его, онъ—дюку; кончилось тѣмъ, что, какъ слѣдуетъ, герой побѣдилъ героиню: сбросилъ ее въ воду, та скрылась въ волнахъ».*

Вы видите, что критикъ не брезгаетъ ни какимъ тономъ для проведенія своего взгляда въ толпу—какъ и вообще теорія мрака блистательно доказываетъ и въ наши дни отсутствіе брезгливости въ лицѣ своихъ адептовъ гг. Аскоченскаго, Кулжинскаго, Баркова (не извѣстнаго переводчика академіи, а одного изъ сочинителей брошюръ о современныхъ идеяхъ, представляющаго такъ сказать *очистительную* индійскую аватару прежняго). Непониманіе поэзіи разсказа «Тамань» тутъ явно намѣренное. Столь же явно намѣренное и непониманіе психологическихъ задачъ поэта. Съ софизмами Печорина — критикъ спорить, придаетъ имъ нарочно значеніе *убъжденій* времени и заключаетъ свои разсужденія такъ:

«Нельзя лучше придумать эпитафіи на могилы всѣхъ героевъ нашего времени! софизмъ на софизмъ, ложь на лжи, нелѣпость на нелѣпости—какъ сами они. Между тѣмъ здѣсь мотивъ всего романа: именно эта тема развита въ немъ въ лицахъ и словахъ. Психологическія несообразности на каждомъ шагу переизваны мышленіемъ неистовой словесности. Короче, эта книга—идеаль легкаго чтенія. Она должна имѣть огромный успѣхъ! Всѣ дѣйствующія лица, кромѣ Максима Максимыча съ его отливомъ *ridicule* я—на подборъ удивительные герои; и при оптическомъ разнообразіи, всѣ отличы въ одну форму, —самого автора Печорина, генераль-героя, и замаскированы, кто въ юбку, кто въ шинель, а присмотритесь: всѣ на одно лицо, и все—казарменные прапорщики, не перебѣсившіеся. *Добрый пучекъ розогъ, и все рукой бы сыяло!* Ну да впрочемъ это все вымышленное самимъ Печоринымъ для «вищшаго эффекта»: *въ натурѣ такіе безчувственные, безсовѣстные люди невозможны.* Ванька Каинъ, и тотъ бывало, зарѣжетъ человѣка и мучится совѣстью; а у этихъ господъ и госпожъ совѣсти будто вовсе не бывало. Много есть эгоистовъ, негодяевъ, которые передъ людьми кажутся, будто для нихъ нѣтъ ничего святого—*но въ душѣ, въ своемъ журналѣ, они совѣсть другое чувствуютъ и пишутъ. А тутъ герой, точно доска: къ доскѣ прибита мыслительная машинка; машинка вертится ко вѣтру, а внутри ничего не отдается—ни разумъ, ни чувство, ни совѣсть. Это психологически невозможно...*» (стр. 217).

Положимъ, что и такъ—т. е. допустимъ, что критику фаетъ, дѣйствительно странный и уродливый, кажется психологическою невозможностью—да вѣдь именно поэтому-то онъ и долженъ былъ посерьезнѣе въ него взглядѣться. Но дѣло въ томъ, что критикъ намѣренно принялъ его за психологическую невозможность, намѣренно относится къ нему легко, намѣренно искажаетъ его гдѣ только можетъ.

Вѣдь критикъ «Маяка» явнымъ образомъ — человекъ, умный и по своему проницательный, вѣдь онъ явнымъ образомъ нарочно, юродства

ради, вдается въ тонъ гг. Баркова старшаго и Баркова младшаго. Въдъ его воззрѣнія повторяются современемъ и въ вопляхъ славянофильства, настоящаго московскаго славянофильства, противъ «гнилыхъ» людей, и въ негодованіи г.—бова на Обломовцевъ, и въ жизненномъ взглядѣ такихъ абсолютныхъ реалистовъ какъ Писемскій. Въдъ нѣкоторыя выраженія и мысли въ мѣстахъ мною приведенныхъ — если забыть только неприличный тонъ — имѣютъ много общаго съ выраженіями и мыслями ненавистниковъ «гнилыхъ», «тронутыхъ тлетворной цивилизаціей» людей, конителей Обломовцевъ, реалистовъ, которымъ Печоринъ не можетъ ничѣмъ инымъ казаться, какъ неперебѣсившимся юношей, даже аналитиковъ какъ Толстой, которымъ въ натурѣ такія личности должны казаться невозможными. Однимъ словомъ, во взглядѣ этомъ есть своя доля правды, и эта доля правды выступала впоследствии и въ живыхъ типахъ литературныхъ, и въ энергическихъ доктринахъ...

Странное дѣло, что доктрины столь по видимому различныя, какъ доктрина «Маяка», доктрина славянофильства и доктрина гг. Чернышевскаго и —бова, мирятся у насъ на одномъ — на враждѣ или равнодушіи къ Пушкину, на отрицаніи значенія типа лермонтовскаго. Еще можетъ быть страннѣе то, что, отрицая истинность лермонтовскаго типа, всѣ доктрины самому Лермонтову придаютъ значеніе болѣе важное, чѣмъ Пушкину.

Критикъ «Маяка» понималъ, разбирая Лермонтова, съ какою силою онъ имѣетъ дѣло. Это силу и свое пониманіе принесъ онъ въ жертву теоріи, доктринѣ мрака. Пушкина онъ явно не понималъ, но Лермонтова понималъ несомнѣнно. Мѣсто въ приведенномъ мною отрывкѣ о Пушкинѣ, гдѣ онъ обращается къ «новому» Пушкину, едва ли прямо не относится къ Лермонтову. Такъ по крайней мѣрѣ можно заключить изъ статьи о стихотвореніяхъ Лермонтова въ XII книгѣ «Маяка», того же 1840 года. Статья эта написана въ формѣ письма къ поэту, и заслуживаетъ подробнаго разбора. Человѣкъ умный и понимающій, человѣкъ честный, видимо борется въ ней съ фанатикомъ мрачной доктрины, и фанатикъ — увы! одерживаетъ побѣду надъ умнымъ и честнымъ по натурѣ человѣкомъ. Не смотря на поучительный и назидательный тонъ статьи, въ ней слышно сердце, которому идолослуженіе теоріи можетъ быть многого стоило. Это не наглость «Домашней Бесѣды», хотя послѣ такой побѣды доктрины наглость «Домашней Бесѣды» является прямымъ логическимъ послѣдствіемъ взгляда «Маяка».

Статья начинается съ выходки противъ я и его господства въ нациемъ вѣкѣ — выходки, которая была бы и разумна, и правильна, если бы не была такъ голо-отрицательна, если бы она оставляла этому я его за-

конное существованіе, и еслибъ положеніе, что преобладаніе я убило повсемѣстно поэзію, не убивалось само такимъ громаднымъ фактомъ жизни, какъ Байронъ, и такими многозначительными фактами ея же, этой не поддающейся опредѣленіямъ жизни, какъ Лермонтовъ и Гейне. Кончивши свою діатрибу противъ я, критикъ прямо переходитъ къ Лермонтову.

«Передъ нами («Маякъ» 1840 г. кн. XII, стр. 152), стихотворенія М. Ю. Лермонтова. Это замѣчательный стихотворецъ, очень и очень не послѣдній, можетъ быть первый изъ нынѣшнихъ стихотворцевъ. *Стихъ славный, стальной: онъ и мется, и упругъ, и звучитъ, и блещитъ отраженіемъ мысли...*»

Неправда ли, что не смотря на старческій тонъ начальныхъ словъ, стихъ Лермонтова опредѣленъ превосходно, точно какъ-бы Бѣлинскимъ, и—замѣтьте!—тогда, когда г. Шевыревъ доказывалъ, что стихъ у Лермонтова еще не сложился, еще подражательный, разбиралъ недосмотры и придирался къ грамматическимъ ошибкамъ. Особенность, *сталь* Лермонтовскаго стиха поняли сразу только Бѣлинскій и—*credite posteri!*—г. Бурачевъ. Послѣдній идетъ даже въ крайность:

«Но отличительное достоинство этого стиха, *которымъ онъ едва ли не превосходитъ все русскіе стихи*: въ немъ столько словъ, сколько нужно ихъ для полного и яснаго выраженія мысли. Стихотворецъ, кажется, и не думаетъ о рѣмѣ, не разжижаетъ для полного счета стопъ своего стиха вставными ненужными словами. Если совершенный стихъ долженъ въ чтеніи сохранять всю естественность и свободу прозы—а это дѣйствительно такъ—то стихъ Лермонтова очень близокъ къ совершенству...»

Критикъ, по глубокой инстинктивной враждѣ всякаго теоретика *biens* пѣ къ Пушкину, умалчиваетъ о Пушкинскомъ стихѣ, къ которому естественность, свобода и отсутствіе ненужныхъ вставокъ относятся несравненно въ большей степени, чѣмъ къ Лермонтовскому, но вслѣдъ же за этимъ удивительно мѣтко и точно говоритъ объ особенностяхъ Лермонтовскаго стиха, сравнительно съ стихами другихъ поэтовъ.

«Другое достоинство этого стиха—чистота, скупость на риторическіе орнаменты, даже иногда бѣдность ихъ. Онъ совершенно противоположенъ стиху Бенедиктова, увѣщенному метафорическими серьгами, браслетами, фероньерками, гдѣ брилліантовыми, а здѣ, и болѣею частью, стразовыми, оттого, что въ нихъ иногда, за неизмѣнимъ мысли, могущей играть и отражаться въ тропическихъ граняхъ стиха—*вода*, *простая стеклянная вода!* Стихъ Бенедиктова—дѣвочка: сформируется, довоспнѣается, образуется—будетъ хорошенькая. Стихъ Лермонтова—мальчикъ, рослый, плечистый, себѣ на умѣ. Рѣдко онъ рѣзвится, *еще рѣже онъ играетъ тѣми миленькими пустычками, въ которыхъ многие находятъ поэзію поэзію.*»

Да! такое трезвое и даже тонкое пониманіе хоть-бы Бѣлинскому такъ въ пору, особенно, повторяю опять, въ ту эпоху, когда г. Шевы-

ревъ млѣлъ въ пнеческомъ восторгѣ передъ Бенедиктовымъ и отыскивалъ грамматическія ошибки въ Лермонтовѣ. Даже камешекъ, бросаемый въ огородъ Пушкина, въ граціозность его поэзіи, брошенъ во имя такого взгляда, съ которымъ можно спорить насчетъ его суровыхъ требованій, но который можно уважать.

«А когда такъ», спрашиваетъ вслѣдъ за тѣмъ критикъ, «то чего жъ еще требовать? Россія можетъ гордиться отличнымъ поэтомъ?»

«Впредь утро похвалю, какъ вечеръ ужъ наступитъ!» *Одного захвалили на повалъ*, побережемъ хоть тѣхъ, которые цѣлы еще. Послушайте, умный поэтъ! Пока стихи ваши были въ вашей портфели, они были неприкосновенны для критики. Вы ихъ пустили въ свѣтъ,—неугодно ли вамъ стать поодаль и вѣстѣ съ нами посмотрѣть на нихъ глазомъ посторонняго. Это, право, стоитъ труда.

«Стихъ мы видѣли; сохраните его навсегда такимъ: и—на первой же выstavкѣ покажемъ его всей Европѣ. Теперь посмотрите, что въ этомъ стихѣ содержится: его *мысль, содержаніе*,—его душу».

Прежде всего критикъ обращаетъ вниманіе на пьесу: «журналистъ, читатель и писатель». При первыхъ же строчкахъ этого стихотворенія, т. е. при словахъ журналиста, онъ, старчески-вѣрующій, что все зло нашей литературы происходитъ отъ захваленія журналистами и пріятелями (это цѣлая общая пѣсня съ покойнымъ Булгаринымъ), дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе:

«Видите, всему злу причина эти журналисты. Вмѣсто того, чтобъ отъ поэтовъ требовать изобрѣтенія прекрасной дѣйствительности, истины, неразлучной съ добромъ и красотой, они требуютъ отъ нихъ сонныхъ грезъ, *мечтъ* (курсивомъ въ оригиналѣ), да еще и называютъ эти призраки—божественными. Должно быть у нихъ другой лексиконъ вещей и словъ. Не послушайся поэтъ—журналисты не напечатаютъ стиховъ, не дадутъ колоссальной репутаціи; а не напечатаютъ—нечего будетъ собирать и издавать въ свѣтъ».

Насколько это несправедливо вообще, и въ особенности у насъ, въ нашей литературѣ, въ которой то и дѣло, что помимо критики и журналовъ возникаютъ литературныя репутаціи поэтовъ, какъ, напримѣръ, Полонскій и Мей, и зачастую такъ же холодно принимаются увѣнчанныя журнальными лаврами репутаціи,—нечего кажется и спорить. У критика «Маяка» это просто его *idée fixe*, такая же, по отношенію къ Пушкину, какъ у Булгарина по отношенію къ Гоголю.

Закончивши первоначальную вышску строфою поэмы, начинающеюся вопросомъ: о чемъ писать?—критикъ говорить:

«Вы сущую правду сказали, умный поэтъ; *вамъ не о чемъ писать*, а все журналисты виноваты! Бѣгайте ихъ! Не будь ежемѣсячной повинности, оброка *поставки стиховъ къ сроку*, вы бы можетъ быть добровольно написали цѣлую поэму, а изъ-подъ неволи: «пиши, давай стиховъ!» да еще стиховъ по на-

шей теоріи, чтобъ были *могучіе, раздирающіе* (курсивъ въ оригиналѣ), безъ всякой цѣли; а лучше всего—непремѣнно въ честь и славу *я*, которое терпѣть не можетъ «нравственныхъ сентенцій», «нравоученій», или, что одно и тоже по новѣйшему толкованію, «китайскаго духа». Да ко всему этому, чтобъ были еще и новенькіе, съ новою оригинальною мыслью. *Ничто не ново подъ луною!* (курсивъ въ оригиналѣ). Данныя все тѣже отъ созданія міра,—гдѣ же набраться новенькаго? по неволѣ бросаешься въ свое *я*, оно теперь гигантски шагаетъ, молодеетъ, новѣетъ, свобода у него полная; софизмы, призраки, все, что идетъ наперекоръ всему, признанному за истинное здравымъ смысломъ всего человѣчества, однимъ словомъ,—полный просторъ: пиши, что душѣ угодно, только бы не совпадало съ тѣмъ, о чемъ прежде писали—и будетъ оригинально.

Здѣсь опять выступаетъ намѣренное непониманіе; все капризное, болное настроеніе поэта принимается за чистую монету, и когда поэтъ кончаетъ свою желчную и грустную тираду опять тѣмъ же вопросомъ: *о чемъ писать?* критикъ хватается за этотъ вопросъ, и нѣтъ мѣры его торжеству надъ современностью.

«И такъ, поэтъ»,—говоритъ онъ,—«вамъ не о чемъ писать? Вы это говорите *не шутя, настойчиво, повторяете не разъ*. И такъ, вы дѣлали ваши поиски въ мрачной странѣ *я*, и за предѣлами этого мрака ничего болѣе не видите? Ежели это такъ, то я согласенъ, что вамъ не о чемъ писать: вы точно ничего не видите, потому именно, что сидите упорно въ потемкахъ *я*; это ужасное *я* не вамъ чета людей слѣпило. Но кто же вамъ далъ право думать, что если вы не видите, то ужъ ничего и нѣтъ? За странкою мрака есть страна свѣта,—зачѣмъ вы туда неидете? Тамъ, во свѣтѣ и при свѣтѣ вы увидите чудныя тайны мірозданія, устроеннаго по чертежу добра, истины и красоты....

Нѣсколько страницъ ратуетъ критикъ такимъ образомъ противъ *я*, привязывается къ «Думѣ», чтобы поборанить наше поколѣніе, намѣренно принимаетъ случайный поэтический моментъ «И скучно и грустно» за убѣжденіе поэта и его поколѣнія.... Всѣ эти воззрѣнія выражены впрочемъ серьезно и съ полнымъ уваженіемъ къ таланту автора. «Вопиющаго» въ нихъ нѣтъ ничего, многое изъ этого сказано было впоследствии и реализмомъ, и разными доктринами; борьба противъ *я* обнаружилась впоследствии при появленіи блѣднаго сколка съ «Героя нашего времени», «Тамарина», и нашла себѣ отголосокъ въ массѣ. Чуть-было даже борьба эта не перешла за предѣлы доктринъ. Во всякомъ случаѣ, то, что говорилъ «Маякъ», повторилось.

Но это вовсе не торжество идеи «Маяка», а торжество тѣхъ началъ, которыя онъ выставялъ на защиту своей идеи.

Идея же была—чистый пишеовизмъ, пишеовизмъ, который совершенно подавилъ даже и такой прямой и честный умъ, какъ умъ критика «Маяка». Странное дѣло! Можно ли узнать вѣрнаго и тонкаго цѣ-

нителя лермонтовскаго стиха въ слѣдующей оцѣнкѣ,—а оцѣнка эта очень знаменательна. Дѣло идетъ объ одномъ изъ превосходѣйшихъ произведеній Лермонтова, о «Бородинѣ».

«Прекрасная вещь у васъ, поэтъ, «Бородино», говоритъ критикъ. Но «Бородино» такая колоссальная поэма, что простому усачу даже не понять колоссальныхъ ея элементовъ. Объ этой вещи надо писать огненнымъ перомъ *Ө. Н. Глинки*. Вы сдѣлали большую ошибку, что не взяли труда на себя, а поручили усачу. Это произведеніе было бы въ тысячу кратъ выше и «тѣсни про царя Ивана Васильевича», и «Мцыри»,—двухъ серьезныхъ поэмъ, гдѣ вы вполне показали себя и проч.

Что это такое? спрашиваете вы себя съ невольнымъ удивленіемъ. Глубокая и тонкая оцѣнка лермонтовскаго стиха, серьезность мысли и доктрины хотя односторонней въ борьбѣ съ я, и вмѣстѣ съ тѣмъ привязанность къ ходульности... Лермонтовъ и *Ө. Н. Глинка*,—правда поэзіи, или поэзіи правды, и смѣшная восторженность,—сталь и шумиха! Логическая рѣчь мужа превращается вдругъ въ старческую болтовню; человекъ, способный понимать значеніе Лермонтова, требуетъ вдругъ отъ поэзіи того, надъ чѣмъ уже и Дмитріевъ насмѣялся, требуетъ, чтобы были

и Февъ и райски ерины,

требуетъ того, чего

Не хитрому уму не выдумать и вѣкъ....

Еще знаменательное мѣсто о «тѣсни про царя Ивана Васильевича» Критикъ, повидимому, понявшій всю красоту и силу поэмы, вдругъ, выписавши удивительное мѣсто о казни Степана Калашникова, замѣчаетъ, что «такія страницы, сказалъ Сегюръ, не достойны даже исторіи, не только поэзіи».... (какъ-будто бы кому-нибудь нужно еще принимать къ свѣдѣнію, что сказалъ Сегюръ!),—относить «подобныя сцены кроваваго, бурнаго молодечества» къ неистовствамъ словесности, съ прошею потомъ называетъ Наполеона «молодцемъ изъ молодцевъ», съ замѣчательною тупостью порицаетъ «Три пальмы» за то, что караванъ срубилъ и сжегъ единственныя три благодѣтельныя пальмы въ песчаной пустынѣ, закрывавшія колодець съ водой, а «Дары Терека» за то, что тутъ есть два утопленника. Изумительно!

Критикъ переходитъ, наконецъ, къ «Мцыри». Выписавши стихи:

Однажды русскій генераль,  
Изъ горъ къ Тифлису подъѣзжалъ;  
Ребенка плѣннаго онъ везъ.



Тотъ занемогъ, не перенесъ  
Трудовъ далекаго пути:  
Онъ былъ, казалось, лѣтъ шести;  
Какъ серна горь пугливъ и дикъ,  
И *слабъ* и гибокъ какъ тростникъ.  
Но въ немъ мучительный *недузъ*  
*Развилъ* тогда *могучій* духъ  
Его отцовъ—

онъ начинаетъ новую діатрибу уже не противъ *я*, а противъ звѣрства, какъ-будто апотеозу звѣрства хотѣлъ представить поэтъ въ своемъ «Мцыри»!

«Надобль этотъ *могучій* духъ! Воспѣванія о немъ поэтовъ и мудрованія о немъ философовъ удивительно жалки и приторны. Что такое *могучій* духъ? Это—*дикая движенія челоовка, не вышедшаго еще изъ состоянія животнаго, въ которомъ Я свирпствуетъ необузданно.*»

Другими словами, *могучій* духъ — неукротимая страстность, и съ нею-то, не только съ неукротимую страстностью, но вообще съ страстностью борется доктрина «Маяка», — доктрина крайне односторонняя, проведеніе которой въ жизни удовлетворило бы развѣ только идеалу скопческихъ сектъ. А добрый и умный старикъ Крыловъ, который уменъ и не въ однѣхъ басняхъ, прекрасно сказалъ въ своемъ посланіи о пользѣ страстей, что

Онѣ ведутъ науки къ совершенству,  
Глупца ко злу, философа къ блаженству.  
Хорошъ сей міръ, хорошъ; но безъ страстей  
Онъ кораблю бѣ былъ равенъ безъ снастей.

«Могучій духъ въ медвѣдь, барсъ, василискъ, Ванька Каинъ, Картушъ, Робеспьеръ, Пугачевъ, въ дикомъ горцѣ, въ Александрѣ Македонскомъ, въ Цесарѣ, въ Наполеонѣ—одинъ и тотъ же родъ: дикая, необузданная воля, естественная въ звѣрѣ, преступная въ челоовкѣ, тѣмъ болѣе преступная, чѣмъ онъ просвѣщеннѣе...»

Вотъ оно, слово разгадки! Ванька Каинъ — явленіе совершенно однородное съ Наполеономъ и Александромъ Македонскимъ, ибо тотъ и другой однородны съ барсомъ, медвѣдемъ, василискомъ!

Письмо благодушнаго М. Н. Загоскина, помѣщенное въ IV книгѣ — наконецъ таки принесло свой плодъ въ XII-й!...

Съ этого момента, взгляды «Маяка» естественно перестаютъ уже под-  
лежать серьезному спору и серьезному обсужденію....

## III.

«Мы рѣдко оставались наединѣ» — такъ повѣствуетъ герой одного изъ загоскинскихъ романовъ о началѣ недозволенной и законопреступной страсти къ женѣ пріятеля, — «а когда это случалось, то говорили о нашей дружбѣ, о счастіи двухъ душъ, которыя понимаютъ другъ друга, читали вмѣстѣ «Новую Элоизу», «Вертера», «Августа Лафонтена». Закамской отгадалъ: мы трогались, плакали, раза три принимались перечеитывать «Бѣдную Лизу», «Наталью боярскую дочь» и «Островъ Борнгольмъ»; — но, что болѣе всего нравилось Надинѣ, что мы знали оба почти наизусть, такъ это небольшой драматическій отрывокъ: «Софья», особенно замѣчательный по своему необычайному сходству съ сочиненіями французскихъ романистовъ нашего времени. Читая его, мы такъ-сказать предвкушали наслажденіе, которое доставляетъ намъ теперь молодая французская словесность. Этотъ литературный грѣхъ великаго писателя, едва начавшаго свое блестящее поприще, не помѣщенъ въ полномъ собраніи его сочиненій и, быть можетъ, многіе изъ моихъ читателей не имѣютъ о немъ никакого понятія...» (Искуситель, сочин. М. Загоскина. Москва 1854 г. (третье изданіе) ч. III. стран. 54).

Позволяю себѣ и я напомнить современнымъ моимъ читателямъ, по крайней мѣрѣ большинству изъ нихъ, что этотъ грѣхъ принадлежитъ Карамзину. Въ смірдинскомъ изданіи полнаго собранія сочиненій русскихъ авторовъ они найдутъ его въ сочиненіяхъ Карамзина, т. III, стран. 283. Въ литературномъ смыслѣ — это дѣйствительно грѣхъ, и грѣхъ, который въ наше время не можетъ быть прочитанъ безъ смѣха, болѣе даже, чѣмъ «Бѣдная Лиза», «Наталья боярская дочь», «Островъ Борнгольмъ» (наименѣе впрочемъ смѣшной изъ этихъ рассказовъ, не лишенный даже нѣкотораго жиденькаго, но сумрачнаго колорита). Загоскинъ, или герой его романа, очень смѣшно и даже остроумно, хотя не вездѣ вѣрно, передаютъ всю нелѣпость содержанія этого драматическаго отрывка.

«Вотъ въ чемъ дѣло: Софья, молодая и прекрасная женщина, *точь въ точь одна изъ героинь Бальзака или Евгенія Сю*, вышла замужъ, по собственной своей волѣ, за г. Доброва, шестидесятилѣтняго старика, такого же самоподательнаго и услуживаго мужа, *каковъ мосье Жакъ въ романѣ извѣстнаго Жоржа Занда, или лучше-сказать благочестивой г-жи Дюдеванъ*. У этого Доброва, Богъ вѣсть почему, живетъ какой-то французъ Летьенъ; онъ соблазняетъ Софью. Софья рѣшается сказать объ этомъ своему мужу, и проситъ у него позволенія уѣхать съ своимъ любовникомъ въ Брянскіе лѣса. Старый мужъ удивляется, не вѣритъ; но Софья объявляетъ ему, что она уже три года въ интригѣ съ французомъ, и что сынъ, котораго Добровъ называетъ своимъ, не его, а ея сынъ. Старикъ начинаетъ кричать, шумѣть, предаетъ ее прокля-

тію; съ нимъ дѣлается дурно; потомъ онъ приходитъ въ себя, плачетъ, импровизируетъ ужасные монологи, проситъ у жены прощенья, становится передъ ней на колѣни. Но *Софья женщина съ характеромъ*: она говоритъ пречувствительныя рѣчи, и все-таки не хочетъ съ нимъ остаться и проситъ позволенія уѣхать съ французомъ. Наконецъ великодушный *мужъ соглашается*, закладываютъ карету и добродѣтельная супруга отправляется съ мосье Летьенъ въ Брянскіе лѣса».

Должно замѣтить, что здѣсь нашъ добрый романистъ пересолилъ. Какой бы ни былъ нравственный либераль Карамзинъ въ свою эпоху, — а все-таки онъ не дошелъ еще до теоріи добровольнаго соглашенія, такъ «блистательно» выдвинутой въ наши дни авторомъ «Подводнаго камня». Вы думаете, читатель, что «Подводный камень» вещь новая? Разувайтесь! Еще Карамзинъ задавался этою мыслью. Но у него, какъ у человѣка болѣе свѣжаго, менѣе зараженнаго теоріей, Добровъ вовсе не съ миромъ отпускаетъ отъ себя свою Софью. Когда она, прощаясь съ нимъ, бросается къ ногамъ его и рыдая говоритъ: «Въ послѣдній разъ прошу тебя, забудь меня! Въ послѣдній разъ...» Добровъ вырывается и, раздражительно говоря: «желаю вамъ всякаго добра», уходитъ въ кабинетъ. Софья бросается къ дверямъ, но онъ запираетъ ихъ. Карамзинъ еще былъ не теоретикъ, онъ только поставилъ вопросъ, а не рѣшилъ его, какъ г. Авдѣевъ, который опередилъ, куда ужъ его, — но даже автора великаго психологическаго романа: «Кто виноватъ»; потому: г. Авдѣевъ — молодець, «молодець изъ молодецвъ», выражаясь слогомъ г. Бурачка.

«Все это», продолжаетъ разказчикъ — «какъ изволите видѣть, *очень натурально*, но конецъ еще лучше. Жить вѣчно въ лѣсу вовсе не забавно. Французъ начинаетъ скучать и, отъ нечего дѣлать, волочится за Парашею, горничной дѣвушкою Софьи. Барыня замѣчаетъ, ревнуетъ, французъ крадетъ у нея десять тысячъ рублей и уговариваетъ Парашу бѣжать съ нимъ въ Москву. Софья ихъ подслушиваетъ, кидается на француза, рѣжетъ его ножомъ, потомъ сходитъ съ ума, бѣгаетъ по лѣсу, разговариваетъ съ *бурными вѣтрами* и кричитъ: «моря, пролейтесь!» Подлинно сумасшедшая! Ну, какія моря въ брянскихъ лѣсахъ? Къ концу довольно длиннаго монолога, который напоминаетъ сначала Шекспирова «Царя Лира», а подъ конецъ его же «Макбета», Софья подбѣгаетъ къ рѣкѣ, кричитъ: «вода, вода!» бросается съ берега и тонетъ...»

Все это такъ, все это разказано уморительно вѣрно — но не литературную нелѣпность юношеской попытки Карамзина казнить здѣсь добродушнѣйшій и талантливѣйшій изъ шишковистовъ, а «безнравственность» ея содержанія и — вредное ея вліяніе. Вы удивляетесь, конечно, что же нашелъ онъ тутъ безнравственнаго, и какое вредное вліяніе могло отъ Софьи происходить?... А вотъ послушайте:

«Однажды», рассказывает герой—это было уже зимою, часу въ девятомъ вечера, я заѣхалъ въ Днѣпровскій. Мужа не было дома; не смотря на ужасную вьюгу и морозъ, онъ отправился въ англійскій клубъ. Надина была одна. Она сидѣла задумавшись передъ столикомъ, на которомъ лежала разогнутая книга; мнѣ показалось, что глаза у нея заплаканы.

— Что съ вами?... спросилъ я. Вы что-то разстроены?

— Такъ, ничего! отвѣчала Надина:—я читала...

— Софью?... сказала я, заглянувъ въ книгу.

— Да. Странное дѣло, я знаю наизусть эти прелестныя сцены, и всякій разъ читаю ихъ съ новымъ наслажденіемъ.

— Чему жъ вы удивляетесь? Одно посредственное теряетъ вмѣстѣ съ новостью свое главное достоинство; но то; что истинно превосходно...

— Повѣрите ли? продолжала Надина, — мой мужъ, котораго я уговорила прочесть этотъ драматическій отрывокъ, говорить, что въ немъ нѣтъ ничего драматическаго; что пошлый злодѣй Летьень походитъ на самаго обыкновеннаго французскаго парижана; что Софья гадка; что мужъ ея *вовсе не жалокъ, а смѣшонъ и очень глупъ!* Боже мой! до какой степени можетъ человѣкъ засушить свое сердце! То, что извлекаетъ невольныя слезы, потрясаетъ душу нашу, кажется ему и пошлымъ и смѣшнымъ! Я уважаю Алексѣя Семеновича: онъ очень добрый человѣкъ, и любитъ меня столько, сколько можетъ любить; но согласитесь, Александръ Михайловичъ, такое отсутствіе всякой чувствительности въ человѣкѣ, съ которымъ я должна провести всю жизнь мою, ужасно!»

Никому, конечно, въ наше время, при чтеніи «Софьи» Карамзина, не придетъ въ голову мысль о томъ, что это — произведеніе для нравственности вредное. «Софья» просто—плохая вещь, и потому, конечно, великій писатель исключилъ ее изъ собранія своихъ сочиненій. Но въ ту эпоху, даже и его «Софья»—какъ сказалъ я уже въ моей вступительной статьѣ—возбуждала въ поборникахъ шипковизма благочестивый ужасъ; ибо вся его молодая литературная дѣятельность имѣла одну задачу—смягчить *жестокіе* нравы его окружавшіе. Поборникамъ старыхъ идеаловъ, поборникамъ «жестокихъ», но крѣпкихъ нравовъ, такое смягченіе казалось растлѣніемъ...

И вотъ, когда оппозиція «жестокихъ» нравовъ, сбросивши съ себя личину борьбы за старый и новый слогъ, выступила прямо въ «Маякѣ» въ сороковыхъ годахъ,—она неминуемо должна была въ концѣ концовъ признать «растлѣніемъ» всю нашу литературу, отъ Карамзина и до Лермонтова включительно. Умѣренный тонъ, взятый «Маякомъ» съ начала его существованія, не могъ быть долго выдержанъ.... Задача его, направленіе—заключались вовсе не въ философско-мистическихъ принципахъ: философско-мистическіе принципы только употреблены были на службу теоріи застоя, на защиту «жестокихъ» нравовъ....

Такъ какъ всякая теорія должна же опираться на какіе-либо факты дѣйствительности, то «Маякъ» опирался сначала на старую литературу нашу XVIII вѣка. Впослѣдствіи, онъ и ее почти всю сталъ укорять въ деизмъ, безнравственности, — и въ ней увидѣлъ ступень, которая вела къ ненавистной и враждебной ему современности.

Противъ ненавистныхъ и враждебныхъ ему силъ жизни — застою долженъ былъ выставить какіе либо *свои* идеалы, противъ литературы растлѣнія — свою литературу.

Ея не было въ прошедшемъ, ибо въ этомъ прошедшемъ «Маякъ» видѣлъ или явленія совершенно вымершія, какъ Херасковъ, — явленія, которыя нельзя было навязать жизни насильно, — или явленія живыя весьма подозрительнаго для него свойства, какъ Фонъ-Визинъ, Карамзинъ. Ея не было и въ настоящемъ. Единственный писатель, на котораго направленіе могло указать, былъ даровитый и благодушный литературный Фамусовъ, М. Н. Загоскинъ.

«Маякъ» долженъ былъ *сочинять* свою литературу, и дѣйствительно *сочинялъ* ее дѣлхъ четыре года, сочинялъ и романы, и комедіи, и стихотворенія, — но все это *сочиненное* подлежитъ уже наравнѣ съ критическими статьями г. Мартынова, мнѣніями «Домашней Бесѣды» и «новымъ Асмодеемъ» г. Кочки-Сохрана уже не литературнымъ, а патологическимъ изслѣдованіямъ. *Сочиненіями* своими застою окончательно подорвалъ себя.

Можно сказать даже, что ярость застою, бессильная и смѣшная въ проявленіяхъ, содѣйствовала къ полному и, на время, исключительному торжеству отрицательнаго взгляда — наглядно показывая своимъ бессиліемъ его силы.

Ибо за отрицательный взглядъ были въ то время жизнь и литература.

---

*Примѣчаніе издателя.* За этими четырьмя главами должна бы слѣдовать еще одна, состоящая изъ трехъ статей, помѣщенныхъ во *Времени* 1862 года (№№ 10, 11 и 12) подъ общимъ заглавіемъ: *Лермонтовъ и его направленіе, крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда.* Къ этому заглавію авторъ сдѣлалъ слѣдующее примѣчаніе:

«Начиная снова прерванный мною рядъ статей о *развитіи идеи народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина до настоящей минуты*, я считаю необходимымъ напомнить нумера *Времени* за 1861 годъ, II-й, III-й, IV-й и V-й, въ которыхъ помѣщены статьи: 1) Вступленіе, народность и литература. 2) Западничество въ русской литературѣ, причины происхожденія

его и силы. 3) Бѣлинскій и отрицательно-централизованнѣй взглядъ. 4) Опозиція застоя, нѣкоторыя черты изъ исторіи мракобѣсія.»

«Глава о Лермонтовѣ составляетъ непосредственное продолженіе начатаго мною изслѣдованія».

Не помѣщаемъ этой главы потому, что она состоитъ изъ повторенія разсужденій, которыя, за исключеніемъ немногихъ страницъ, находятся уже въ статьяхъ предъидущихъ отдѣловъ этого тома. Авторъ сгруппировалъ здѣсь всѣ мѣста прежнихъ своихъ статей, касающіяся *Лермонтовскаго типа* и вообще *нашего романтизма*. Приведемъ подробное оглавленіе этихъ статей, и укажемъ страницы этого тома, въ нихъ повторенныя.

*Статья первая. Элементы поэтической дѣятельности Лермонтова*  
I. Введеніе.—II. О Байронѣ и объ матеріяхъ важныхъ.—III. Нашъ романтизмъ. (Стр. 147—163. 269—299).

*Статья вторая. IV. Законныя стороны романтизма.* (Стр. 318. 353—365. 320—325. 377—381).

*Статья третья. Попытки комическаго разоблаченія Лермонтовскаго типа и его трагическая сущность.* (Здѣсь разборъ «Вариньки» и «Тамарина» *Авдѣева*, «Провинціальныхъ писемъ» г. *Анненкова* и «Идеалиста» *Станкевича*. Стр. 397—405).

Понятно, что Аполлонъ Григорьевъ дорожилъ тѣмъ, что писалъ, какъ плодомъ глубокой умственной работы; читатели видѣли въ предъидущемъ, что часто онъ не только повторяетъ выраженія, вполне удачно воплотившія его мысль, но вводитъ въ новыя статьи цѣлыя страницы изъ прежнихъ, требуемыя ходомъ его мыслей, и обыкновенно лишь усиленныя и уясненныя небольшими перемѣнами. Но въ той составной главѣ, которую мы опустили, отрывки связаны лишь общою темою и оставлены безъ перемѣны, такъ что, по нашему мнѣнію, въ своей прежней связи они имѣютъ даже большую ясность и силу.

## ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ

### ПАРАДОКСЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ КРИТИКИ

(Письма къ Ф. М. Достоевскому.)

(Эпоха, 1864. № 5 и 6.)

#### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

#### ОРГАНИЧЕСКІЙ ВЗГЛЯДЪ И ЕГО ОСНОВНОЙ ПРИНЦИПЪ

О чемъ бишь нѣчто? Обо всемъ!

*Репетиловъ.*

Въ послѣднее время, между мной и тобою возникло нѣсколько, не скажу разногласій, но недоумѣній на счетъ нѣсколькихъ же вопросовъ, относящихся въ русской литературѣ, а стало быть и къ искусству вообще, и стало быть, — такъ какъ искусство есть, съ одной стороны, органическій продуктъ жизни, и, съ другой, ея органическое же выраженіе, — то и къ жизни вообще.

Поводомъ къ такимъ недоразумѣніямъ были тѣ крайнія послѣдствія органическаго взгляда на литературу вообще и на русскую литературу въ особенности, которыя высказать со всею искренностью и со всею обычною моею дерзостью я считалъ и считаю до сихъ поръ необходимымъ. Всякая мысль, если она родилась органически, а не голо-логически, должна вполнѣ совершить свой органическій же процессъ, ну, хоть для того, чтобы выяснилось ея уродство въ кругу другихъ организмовъ, и чтобы она была признана за органическаго урода.

Взглядъ мой на мысль родящуюся голо-логически, гуляющую на полной логической свободѣ, равнодушно рѣшающую *ad libitum*, т. е. *pro* или *contra*, вопросъ въ родѣ: *an non spiritus existunt?* — какъ это потребуется обстоятельствами, или даже просто личнымъ капризомъ ея производителей (родителями ихъ назвать никакъ невозможно), — взглядъ мой на такую, всегда собой владѣющую и дешево достающуюся, мысль тебѣ

достаточно извѣстенъ, равно какъ извѣстна тебѣ моя глубочайшая вражда ко всему тому, что подѣ конецъ вырастаетъ изъ подобнаго голо-логическаго процесса, т. е. къ теоріи съ ея уязвимою жизненнаго захвата и съ ея деспотизмомъ, готовымъ идти до террора, съ ея кажимъ-то анатомическимъ равнодушіемъ при рѣзкѣ всякаго живаго мяса (все это я говорю, конечно, чисто въ литературномъ отношеніи), съ ея прорустовыми ложами, ради которыхъ растягивается или урѣзывается все, что не по ихъ мѣрѣ, съ ея, наконецъ, умилительнымъ самодовольствомъ, услаждающимся пятью умными книжками... Теперь, кажется, прибавилась еще шестая.

И потому-то самому, что такой взглядъ мой на эту мысль, въ *ходахъ* которой я не вижу даже органическаго процесса, тебѣ достаточно извѣстенъ, мнѣ было горько слышать эти упреки отъ тебя въ томъ, что я самъ теоретикъ. Въ особенности отъ тебя горько мнѣ было это слышать по множеству причинъ, и, во первыхъ, уже потому, что въ процессѣ моральномъ, подѣ вліяніемъ котораго сложились мои воззрѣнія на жизнь и литературу, направленіе, котораго ты былъ нѣкогда однимъ изъ дѣятелей, играло роль весьма значительную.

Ты, впрочемъ, помимо твоей воли, отчасти самъ и виною множества возникшихъ между нами недоразумѣній литературныхъ. Ты нѣкоторымъ образомъ былъ мнѣ тормазомъ въ уясненіи и развитіи моего взгляда на ходъ нашего литературнаго и, стало-быть, и нравственнаго, стало-быть и общественнаго развитія.

Какъ же это? спросишь ты, конечно, съ немалымъ удивленіемъ.

А вотъ какъ: очень просто, любезный другъ. Я пишу въ журнальномъ органѣ, съ которымъ самъ ты слился плотію и кровію, и который съ тобой слился тоже плотію и кровію. Въ этомъ журналѣ я началъ рядъ статей, соединенныхъ органическимъ единствомъ, всѣ и каждая имѣвшихъ цѣлію уяснить по крайнему разумѣнію отношенія литературы къ жизни съ Пушкина (т. е. съ того пункта, который былъ началомъ дѣйствительныхъ, заправскихъ, самостоятельныхъ отношеній литературы къ жизни) и до нашихъ дней.. Рядъ статей этотъ довелъ я именно до того момента, гдѣ, посвятивши напередъ главу первымъ, такъ-сказать допотопнымъ формаціямъ самостоятельности славянской мысли и славянскаго чувства, силамъ, отмѣченнымъ яркою печатью, но или раскидавшимся, какъ Надеждинъ, или избѣрѣжничавшимся, какъ Сенковскій, или изъапривничавшимся до чудовищности по отсутствію яснаго сознанія своихъ, въ сущности широкихъ, задачъ, какъ высокодаровитый Вельтманъ, я долженъ былъ повернуть прямо къ Гоголю и затѣмъ явнымъ образомъ къ первому его органическому послѣдствію, къ школѣ сентиментальнаго натурализма.



Ну вот эта-то самая, до сихъ поръ не-написанная глава и путаешь все дѣло, и порождаетъ множество недоразумѣній. Мысль не выяснилась, недосказалась даже и въ своемъ первомъ-то моментѣ. Куда-жь тутъ думать о второмъ?

Писать же мнѣ, какъ не безъизвѣстно тебѣ,—негдѣ, кромѣ того органа, который связанъ съ тобою и съ твоимъ именемъ. Или самъ не пойду, или меня не возьмутъ. Потому, конечно, не пойду, что не сочувствую, и потому, конечно, не возьмутъ, что отъ соотой—не то что ужъ отъ десятой—долн того въ своей мысли, что считаю я выработавшимся органически, а не имѣю ни права, ни охоты отказаться, что этою соотю долею не пожертвовалъ бы я даже тому направленію, на сторонѣ котораго почти-что всѣ мои основныя политическія и общественныя, религіозныя и нравственныя сочувствія, т. е. направленію «Дня». Потому,—какъ я пожертвую? Какъ я буду дѣлить съ «Днемъ» равнодушіе къ величайшему проявленію нашихъ духовныхъ силъ, къ Пушкину, и его еще большее равнодушіе (чтобы не сказать хуже) къ явленію, составляющему для меня послѣднее поца наше слово: къ Островскому? Какъ я притомъ увѣрю себя, что вся прожитая нами послѣ Петра полоса духовнаго развитія,—въ сущности миражъ и вздоръ? Какъ я, наконецъ, дойду до пониманія прелести палачества Кирилы Петрова, терзающаго Настасью Дмитрову, до чего дошла страшно-талантливая, но и страшно же увлекающаяся госпожа Кохановская?... Все это совершенно невозможно—все это будутъ наносные, давящіе, тяготящіе пласты въ моемъ органическомъ мірѣ.

Слѣдственно, исхода для моей мысли нѣтъ—кромѣ «Эпохи». Тщетно забрасывалъ я хрупкій «Якорь». Я предпочелъ наконецъ просто его бросить. А вѣдь между тѣмъ—самый несносный зудъ появляется у мысли, родившейся органически и недосказавшейся, или-принужденной досказываться отрывками: невольныя повторенія вкрадываются въ такіе, лишенные видимой стройной связи съ цѣлымъ, отрывки; невольныя намеки лишаютъ ихъ желаемой ясности. Потому: вѣдь мнѣ тоже хотѣлось бы писать ясно, конечно, только не до степени той *соблазнительной* ясности, которую такъ удачно заклеимилъ этимъ эпитетомъ другъ нашъ Косица: поставлять умственную «жеванну» для поколѣнія, большого собачьей старостью, я, сколь ни скромно думаю о себѣ—однако не въ состояніи. Желаемая же мною ясность можетъ быть достигнута только органическимъ ходомъ органической мысли.

Съ другой стороны, дѣйствовать исключительно на одномъ полѣ, которое въ послѣднее время я отмежевалъ себѣ, т. е. на полѣ театральной критики, хоть это я и считаю дѣломъ совершенно честнымъ, мнѣ,

признаюсь тебѣ откровенно, порядочно таки-понадоѣло. Развѣ только ужь очень мелкое самолюбіе и очень узкій захватъ моральный удовольствуются задачею подымать желчь въ какомъ нибудь г. Б\*\*, хотя можетъ-быть, еслибъ я могъ сдѣлаться утилитаристомъ, то совершенно бы удовлетворился этимъ скромнымъ назначеніемъ: эта дѣятельность, сколько я могъ судить по фактамъ, была не бесплодна, по крайней мѣрѣ, отрицательно; и я ни за что ее не брошу, потому что — чортъ ее знаетъ—можетъ быть, она принесетъ, на основаніи пословицы: «Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo» (авось либо хоть этой старой пословицы переводить не надо?), и своего рода положительную пользу,— ну, хоть ту, напримѣръ, что по человѣчески поставятъ «Рогнѣду» и «Минина», что г. Васильевъ дастъ намъ оригинальнаго Гамлета, и т. д. Все это прекрасно, да успокоиться-то я на этомъ не могу, и, ей-Богу же, не изъ ложнаго самолюбія. Какое у меня самолюбіе?... Простая потребность досказаться, вотъ и все...

Ты заявилъ, между прочимъ, желаніе, чтобы я написалъ совершенно искреннюю статью, нѣчто въ родѣ своего *profession de foi* критическаго: ну, вотъ, въ формѣ писемъ къ тебѣ, я начинаю рядъ статей, не то что искреннихъ, а даже, безъ позволенія сказать, халатныхъ, статей совсѣмъ на распашку; да и почему же не быть и не писаться такимъ статьямъ въ наше, если не на дѣлѣ, то на словахъ, стремящееся къ полной искренности время? Ты желалъ также, чтобы весь пылъ убѣжденія внесъ я въ это дѣло; ну, боюсь, что ты станешь упрекать меня въ азартѣ. Воображаю во всякомъ случаѣ, какую, и этимъ искреннимъ тономъ, и самымъ содержаніемъ статей, дамъ я пищу «сатирическому уму» нашихъ обличителей! Ну, да Богъ съ ними! «вѣтеръ носить» — какъ говорится. До ихъ суда мнѣ всегда было все равно, что до прошлогодняго снѣга, и это я, кажется, достаточно очевидно доказывалъ, упорно не отвѣчая на какія бы то ни было ихъ выходки. Слѣдовательно, не въ нихъ дѣло.

Дѣло все-таки въ одномъ только пунктѣ, въ томъ то есть, что я не могу миновать въ органическомъ развитіи своего взгляда такъ-называемой шеволы сентиментальнаго натурализма — потому, видно, что самый жизненный процессъ не могъ обойтись безъ этого момента.

Но, прежде всего, ко мнѣ придерутся, и пожалуй не безъ основанія придерутся, что я вотъ безпрестанно употребляю термины: *жизнь*, *жизненный процессъ*, *живыя силы* и прочее. Не потому придерутся, чтобы не поняли значенія этихъ терминовъ, — ибо въ своихъ предположеніяхъ «о постепенномъ и повсемѣстномъ развитіи невѣжества и безграмотности въ російской словесности» я еще не дошелъ до мысли, чтобы люди пи-

шущіе были вовсе лишены гуманнаго образованія,—а потому-то именно и придерутся, что слишкомъ хорошо поймутъ, *что* это значитъ, слишкомъ почувуютъ, *чѣмъ* это пахнетъ... Я вовсе не такой пессимистъ, какъ одинъ изъ любимыхъ, впрочемъ, моихъ поэтовъ, дошедшій до отчаяннаго вопля:

Ни плоть, а духъ растлился въ наши дни...

и никакого духовнаго растлѣнія не вижу въ такъ-называемомъ нигилизмѣ, сочувствуя вообще Гамалилу въ судѣ надъ всякимъ новымъ явленіемъ духовной жизни, и убѣжденный, что все-таки—какъ оно тамъ ни вертись, это новое явленіе—но принадлежитъ оно къ той же духовной жизни, помимо своего вѣдома и своей воли служить, сначала отрицательно, а потомъ, конечно, послужить и положительно, во свѣдѣтельство всё той же духовной жизни. Но, во всякомъ случаѣ, извѣстное ученіе, которое условились въ настоящую минуту называть нигилизмомъ, тщательно избѣгая всякихъ «обобщеній», тщательно желая ограничить все однимъ почастнымъ познаваніемъ («я лягушекъ рѣжу» — говоритъ Базаровъ, или «я мыло варю» — разглагольствуетъ на сценѣ дѣтская пародія на него г. Устрялова), — именно вооружится на эти термины: «жизнь, жизненный процессъ, живыя силы» и проч., притворившись, разумѣется, для вѣщаго успѣха, непонимающимъ ихъ значенія. Оно сейчасъ же, конечно, заподозритъ въ этихъ терминахъ «высокое и таинственное значеніе...» Что, дескать, это за таинственные существа какія-то: «жизнь, жизненный процессъ, живыя силы?»

И не хочу я льстить нисколько этому ученію, т. е. нисколько не намѣренъ отнѣкиваться отъ признанія и исповѣданія этихъ *таинственныхъ существъ*, *uralte heilige Wesen*, по словамъ Гёте, какъ дѣйствительно таковыхъ...

Для меня «жизнь» есть дѣйствительно нѣчто таинственное, т. е. потому таинственное, что она есть нѣчто неисчерпаемое, «бездна, поглощающая всякій конечный разумъ», по выраженію одной старой мистической книги, необъятная ширь, въ которой нерѣдко исчезаетъ, какъ волна въ океанѣ, логическій выводъ какой бы то ни было умной головы,—нѣчто даже ироническое, а вмѣстѣ съ тѣмъ, полное любви въ своей глубокой ироніи, изводящее изъ себя міры за мірами...

Но этотъ кипящій океанъ жизни оставляетъ постепенные отсады своего кипѣнія въ прошедшемъ,—и въ прошедшемъ, т. е. въ отсадахъ-то этихъ, мы и можемъ уловлять органическіе законы совершившихся жизненныхъ процессовъ. Больше еще: имѣемъ право и возможность; уловивши въ отсадахъ процессовъ нѣсколько повторившихся не разъ за-

коновъ, умозаключать о возможности ихъ новаго повторенія, хотя, конечно, въ совершенно новыхъ, невѣдомыхъ намъ формахъ. За тѣмъ, такъ какъ отсадки могутъ быть разбиты на извѣстныя категоріи, — и такъ какъ каждая категорія жизненныхъ процессовъ можетъ быть названа извѣстнымъ именованіемъ, — это имя, составляющее, такъ сказать, душу процесса, становится для насъ на степень *силы жизненной*, породившей и руководившей этотъ процессъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, разсматривая одинъ за другимъ эти различныя, какъ пласты, лежащія передъ нами въ отсадкахъ процессы, мы не можемъ не видѣть между ними преемственной логической связи, не можемъ, однимъ словомъ, не дойти до органическаго созерцанія. Чтобы не дойти до него, мы должны совершенно насильственно и притомъ даже *en pure perte* остановить работу нашего мышленія — ибо авось либо хоть на мышленіе не лишитъ насъ правъ новое ученіе. (Увы! на него-то именно и лишаетъ! — просишь ты прибавить.)

Мышленіе, — до тѣхъ поръ, пока пять, то, бишь... шесть умныхъ книжекъ не свели еще луну на землю, — шло всегда однимъ путемъ, путемъ обобщенія. Не искренивъ даже и такъ-называемый нигилизмъ, тщательно скрывая отъ себя, что онъ тоже идетъ по неволѣ путемъ обобщенія — что для принятія его *Kraft und Stoff* нужно не меньше вѣры, чѣмъ для принятія какого-нибудь браминскаго догмата — съ тою разницею, что за догматъ браминовъ стоялъ нѣкогда передъ разумомъ цѣлый громадный мнѳологическій процессъ, а за догматъ *Kraft und Stoff*, кромѣ плохой и поверхностной — съ точки зрѣнія настоящихъ специалистовъ матеріализма — книжки, ровно ничего не стоятъ.

И такъ — имѣешь ты полное право замѣтить мнѣ — то, что я называлъ органическимъ взглядомъ, то, — честь, если не изобрѣтенія, то перваго послѣдовательнаго приложенія, чего я приписывалъ нѣкоторымъ образомъ себѣ, — есть ни болѣе, ни менѣе — какъ тотъ же, давнымъ давно извѣстный *историческій* взглядъ, ничѣмъ въ сущности не отличающійся отъ взгляда — ну, на примѣръ, — Бѣлинскаго? ..

Такъ да не такъ. Я не имѣю, конечно, никакого права не-то-что ужъ требовать, но даже и желать, чтобы моя критическая дѣятельность, поглощавшаяся болѣе или менѣе толстыми книжками журналовъ и вмѣстѣ съ ними отходившая въ архивъ, — была у читающаго люда въ памяти (потому что и тебя въ этомъ случаѣ я взялъ — эффекта ради — за простаго читателя, нисколько не обязаннаго помнить «потребляемую» имъ умственную пищу), и потому обязанъ всегда разъяснять свои положенія, вѣчно начинать съизнова, да еще притомъ не впадать въ повторенія. Задача — очень трудная, — и однако я попытаюсь опредѣлить

разницу между *историческим* и *органическим* взглядами — иначе, на иномъ пути, нежели тотъ, который избралъ я нѣкогда въ двухъ единственныхъ, чисто такъ-сказать догматическихъ статьяхъ, мною написанныхъ: «объ искренности въ искусствѣ» (Русская Бесѣда 1855 г. кн. III) и «о значеніи» критики въ настоящее время (Библиотека для чтенія 1858 г. кн. I).

Возьмемъ, на примѣръ, Бѣлинскаго—такъ какъ это великое имя невольно попало мнѣ на языкъ—и такъ какъ авось-либо въ недостаткѣ уваженія къ безсмертному борцу идей ты не заподозришь меня, какъ заподозрилъ недавно въ недостаткѣ уваженія къ Гоголю, за то, что я осмѣлился назвать его «Женитьбу» вовсе не бытовой драмой, и самого его, по поводу этого—вовсе не бытовымъ живописцемъ....

Нѣтъ, я думаю, ни для кого, тѣмъ болѣе для тебя, ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Бѣлинскій конца сороковыхъ годовъ—вовсе не то, радикально не то, что Бѣлинскій начала сороковыхъ годовъ,—равномѣрно, что Бѣлинскій начала сороковыхъ годовъ и конца тридцатыхъ, т. е. критикъ первыхъ «Отечественныхъ Записокъ» и зеленаго «Наблюдателя» — опять такъ вовсе не то, радикально не то, что Бѣлинскій «Молвы» и «Телескопа». Нечего говорить ужъ, на примѣръ, о радикальныхъ измѣненіяхъ отношеній его критическаго сознанія къ явленіямъ литературъ чужеземныхъ, о томъ хоть-бы, что Бѣлинскій «Молвы» стоитъ на колѣнахъ передъ юной французской словесностью—въ особенности передъ Викторомъ Гюго и Бальзакомъ, а ее же купно и съ Гюго и съ Бальзакомъ топчетъ въ грязь гегелистъ-неофитъ зеленаго «Наблюдателя», для котораго существуетъ одинъ идеалъ поэта — олимпійскій Гёте; что Бѣлинскій зеленаго «Наблюдателя» и первыхъ «Отечественныхъ Записокъ» ругается ожесточенно надъ Зандъ, надъ той самой Зандъ, которая для Бѣлинскаго конца сороковыхъ годовъ составляетъ предѣлъ и вѣнецъ современнаго творчества.... Прослѣдить одни только отношенія Бѣлинскаго къ нашимъ русскимъ дѣятелямъ—было бы крайне назидательно. «Великая драма», по его выраженію, Грибоѣдова, о которой говоритъ онъ съ паѳосомъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», въ статьѣ начала сороковыхъ годовъ уже сведена на степень сатиры—вотъ одинъ крупный примѣръ. Но особенно интересно прослѣдить отношенія его къ творчеству Пушкина. Въ «Молвѣ» онъ положительно считаетъ упадкомъ таланта его позднѣйшія произведенія; въ «Наблюдателѣ» млбеть и задыхается отъ восторга надъ этою позднѣйшею дѣятельностью великаго гения; въ серединѣ и концѣ сороковыхъ годовъ рядомъ статей о Пушкинѣ, появлявшихся не всегда скоро одна за другою, увлекаемый новыми завладѣвшими его пламенной головой теоріями,

безтрепетно, какъ всегда, громоздя противурѣчія на противурѣчія,—то восторгаясь подѣ влияніемъ своего великаго эстетическаго чутія, то безжалостно жертвуя впечатлѣніями чисто-мозговымъ уже процессамъ,—онъ, не постепенно даже, а скачками, доходитъ до тѣхъ положеній, изъ которыхъ прямой выходъ въ положенія нашихъ, недавно еще современныхъ теоретиковъ «Современника»: еще шагъ—и онъ назвалъ бы, какъ они, «побрякушками» множество благоуханнѣйшихъ созданій, которыхъ красоту и важность самъ же намъ растолковывалъ. Во всякомъ случаѣ—до признанія паденія въ Пушкинѣ онъ уже дошелъ; во всякомъ случаѣ—дѣйствиительно-чистый и цѣломудренный ликъ Татьяны,—до сихъ поръ еще самый полный очеркъ русскаго женственнаго идеала,—онъ уже развѣнчалъ,—успѣлъ уже попрекнуть ее сухостью и холодностью сердца. Во всякомъ случаѣ тоже, Пушкина-Бѣлкина—онъ положительно не понималъ: великій нравственный процессъ, который породилъ это лице и его созерцаніе у поэта, породилъ одни изъ высшихъ его созданій (Капитанская Дочка, Дубровскій, Лѣтопись села Горохна) и вмѣстѣ съ тѣмъ породилъ исходныя точки всей нашей современной литературы—отъ него ускользнуть, или лучше сказать, заслонился отъ его зоркаго ока нимбомъ теорій...

Для меня лично—равно какъ, вѣроятно, и для тебя—нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что проживи еще нѣсколько лѣтъ великій критикъ,—онъ все бы это понималъ, и все бы это лучше насъ всѣхъ выяснилъ. Но дѣло въ томъ, что смерть застала критика въ такой именно моментъ, что этотъ послѣдній моментъ его сознанія такъ и застылъ въ школѣ, порожденной не самимъ Бѣлинскимъ, а именно этимъ моментомъ его духа,—что для адептовъ школы и для многихъ работѣльных послѣдователей всякой литературной новизны—это послѣднее его слово и есть единственно-настоящее,—что они того, прежняго-то Бѣлинскаго, пламеннаго поборника и тончайшаго цѣнителя художественной красоты—одни забыли, другіе знать не хотятъ, пренаивно думая, что такъ—вотъ въ этомъ-то напряженномъ и нѣсколько болѣзненномъ, хотя и совершенно поясняемомъ историческими обстоятельствами моментѣ сознанія—весь и высказался такой великій и могущественный духъ, каковъ былъ духъ Бѣлинскаго,—что онъ весь и могъ исчерпаться тѣмъ, что для нихъ доселѣ составляло и составляетъ настоящую пищу, или, лучше сказать, жвачку, однимъ другому преемственно передаваемую и окончательно дожевываемую знаменитымъ критикомъ нашихъ дней, г. В. Зайцевымъ... И вѣдь нисколько не тревожить ихъ мысль о томъ, что множество увлеченій учителя оказались несостоятельными, что многое, отъ чего отрекался онъ ради тѣхъ или

другихъ овладѣвавшихъ имъ принциповъ,—какъ, напримѣръ, Гюго,—до сихъ поръ совершенно живо и здорово въ художественномъ отношеніи, что «побрякушки» Пушкина тоже живы и вѣчно жить будутъ, что самая здоровая часть современной литературы ничего иного не дѣлаетъ, какъ разрабатываетъ міросозерцаніе Ивана Петровича Бѣлкина...

Они—я разумью, впрочемъ, ограниченныхъ изъ нихъ—ничего этого не видятъ и видѣть не хотятъ. Въ этомъ случаѣ, какъ и всегда—дѣроги преимущественно люди талантливые, потому что они-то и суть люди самые искренніе. Вотъ, напримѣръ, г. Писаревъ—такъ тотъ со всей безтрепетностью и наивностью таланта доходитъ до самой *сути*, не видя хвостомъ въ сторону. «Пора, говорить, Глуповъ, намъ бросить», т. е. другими словами,—бросимте бесплодные литературныя занятія, бросимте литературу вообще—потому: все это, значить, вздоръ; займемтесь естественными науками и другими полезными вещами. И прекрасно! И договорились, значить, до точки. Ну и занимайтесь естественными науками, и отлично сдѣлаете, и никто вамъ не помѣшаетъ, а напротивъ всѣ будутъ чрезвычайно благодарны—и оставьте Глуповъ, бросьте его, предоставьте тѣмъ, кто еще вѣрить въ его реальное существованіе: Это, однимъ словомъ, умная рѣчь: ее хорошо и слушать—тутъ уже нѣтъ увертокъ и таинственностей. И это притомъ конецъ и развязка тѣхъ теорій, которымъ отдался самъ учитель, не предвидя еще, конечно, этихъ крайнихъ логическихъ послѣдствій, отдался съ той самой минуты, какъ онъ съ свойственнымъ ему пафосомъ объявилъ, что «гвоздь, выкованный рукою человѣка, дороже и лучше самаго лучшаго цвѣтка въ природѣ»...

Къ теоріямъ же этимъ и вель послѣдовательно, неминуемо, тотъ взглядъ, который можно назвать односторонне-историческимъ взглядомъ, взглядъ, порожденный одностороннимъ же, но энергическимъ гегелизмомъ лѣвой стороны, которая, впрочемъ, одна и дѣлала что-нибудь послѣ великаго философа, одна и разрабатывала оставленное имъ богатое наслѣдство—ибо правая, по замѣчательной тупости и бездарности ея представителей, умѣла только *jugare in verba magistri*, повторяла только слова учителя, держась притомъ за букву, а не за духъ.

Змѣнное положеніе: «что есть — то разумно» не могло же, конечно, остаться такъ, неразвернутымъ. Надобно было всю наивность Бѣлинскаго, чтобы ему, этому положенію, на слово повѣрить и написать знаменитую статью о «Бородинской годовщинѣ», которая, тѣмъ не менѣе, есть статья въ высшей степени замѣчательная, какъ свидѣтельство нещадной послѣдовательности русскаго ума, и способная увлечь на время кого угодно, потому что она сама написана съ глубокимъ, искреннимъ

увлечениемъ... Затѣмъ, зѣвное положеніе развернуло свой хвостъ передъ сознаниемъ критика и повлекло его въ служеніе вѣчному духу, мѣняющему свои формы и сбрасывающему ихъ одна за другою вплоть до самой разумной,—въ служеніе прогрессу; однимъ словомъ, для котораго искусство, наука, исторія—не болѣе, какъ формы, шелуха. Такъ, по крайней мѣрѣ, понято гегелевское развитіе лѣвою стороною его учениковъ,—такъ ли это на самомъ дѣлѣ, т. е. выходитъ ли это изъ глубины самаго гегелизма, объ этомъ надобно спросить нашего друга Н. Страхова, который не даромъ же представлялся нѣкогда г. Антоновичу стоящимъ передъ другимъ нашимъ, такъ сказать официально признаннымъ философомъ, г. Лавровымъ, и «соблазняющимъ» этого послѣдняго гегелевскимъ методомъ... Читая это, я не могъ, между прочимъ, не пожалѣть, что покойный Мейерберъ въ числу различныхъ tentations въ 3-мъ актѣ Роберта: tentation par le jeu, tentation par le vin, tentation par l'amour—не прибавилъ еще tentation par le гегелевскій методъ.

Какъ бы то ни было, но дѣло въ томъ, что, признавши прогрессъ гоголаго разума—Бѣлинскій долженъ былъ послѣдовательно дойти до положенія, что «гвоздь выкованный» и проч., затѣмъ до восторговъ отъ социальныхъ тенденцій «Парижскихъ тайнъ», затѣмъ до признанія упадка въ Пушкинѣ, и проч. и проч. Повторяю, что я допускаю возможность того, что онъ дошелъ бы пожалуй и до «побрягушекъ», но вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно для меня также и то, что жизнь, на которую онъ былъ страшно чутковъ и отзывчивъ, какъ натура по истинѣ гениальная, и въ особенности отзывчивъ тогда, когда эта жизнь или ея стороны заговорили живыми голосами въ литературныхъ талантахъ—что жизнь, говорю, заставила бы его круто повернуть съ дороги. Не зависъ же бы онъ въ самомъ дѣлѣ въ западничествѣ заднимъ числомъ, какъ, напри- мѣръ, какая-нибудь г-жа Евгенія Туръ, или другіе отживающіе или совсѣмъ отжившіе писатели нашихъ дней, и не хватило бы у него отсутствія эстетическаго чутья, которымъ, т. е. не чутьемъ, а отсутствіемъ-то чутья, такъ щедро снабжены наши теоретики, чтобы долго выдерживать вражду къ «побрягушкамъ». Это была слишкомъ живая, отзывчивая на жизнь и широкая пониманіемъ натура, готовая, при всемъ собственномъ даровитымъ натурамъ самолюбіи, на жертвы своимъ самолюбіемъ до полнаго самоотреченія...

Но въ томъ-то, какъ я уже сказалъ, и бѣда—если дѣйствительно, впрочемъ, есть въ этомъ какая-либо бѣда,—что школа, порожденная этимъ послѣднимъ моментомъ критическаго сознанія Бѣлинскаго,—цѣлѣнаго, полнаго Бѣлинскаго знать не хочетъ, что именно эту-то его шелуху до сихъ поръ она и пережевываетъ, и все еще не можетъ наже-



ваться ея до сытости. Кто-то вѣдь съострилъ же про ея адептовъ и съострилъ очень удачно, что Добролюбовъ, напримѣръ, писалъ на основаніи Бѣлинскаго и пяти умныхъ книжекъ, г. Антоновичъ — уже на основаніи одного Добролюбова, г. В. Зайцевъ уже на основаніи одного г. Антоновича, и что придуть такіе, которые будутъ писать на основаніи одного г. Зайцева. Да отчего же и не придти такимъ, и даже пусть приходятъ, пусть высказываются до тла, до точки, до сути. Все же — какіе они ни на есть — они жизненнѣе тѣхъ, правда, немногихъ, тщетно пытавшихся дѣйствовать въ покойникахъ: «Атенеѣ» и «Русской Рѣчи», которые хотѣли бы остановить и свой, и чужой кругозоръ, и кругозоръ самого Бѣлинскаго на чистомъ западничествѣ, и которымъ надобно, какъ мертвымъ, предоставить «погребсти своя мертвецы». Ужъ разумѣется, тѣ, кто видятъ и хотятъ видѣть въ Бѣлинскомъ только социалиста, — все-таки ближе къ настоящему дѣлу, чѣмъ тѣ, которые хотѣли бы видѣть въ немъ голаго западника.

Не даромъ, конечно, останавливался я долго на Бѣлинскомъ и на различныхъ измѣненіяхъ его критическаго сознанія. Это критическое сознаніе столько же наше сознаніе, сколько наше творчество — творчество Пушкина. Только, такъ-какъ творчество, результатъ работы силъ непосредственныхъ, силъ совершенно жизненныхъ, — несравненно шире захватомъ, чѣмъ какое бы то ни было сознаніе, то и не мудрено, что именно объ это творчество спотынулось наше критическое сознаніе въ лицѣ Бѣлинскаго, переходя различные моменты. Сознаніе можетъ разъяснить только прошедшее: творчество выдаетъ свои, такъ сказать, ясновидящіе взгляды въ будущее, часто весьма далекое, забрасываетъ такіе очерки, которые только послѣдующее развитіе наполняетъ красками.

Въ томъ-то и существеннѣйшая разница того взгляда, который я называю органическимъ, отъ односторонне-историческаго взгляда, что первый, т. е. органическій взглядъ признаетъ за свою исходную точку творческія, непосредственныя, природныя, жизненныя силы; иными словами: не одинъ умъ съ его логическими требованіями и порождаемыми необходимо этими требованіями теоріями, а умъ и логическія его требованія — *плюсъ* жизнь и ея органическія проявленія.

Логическія требованія голаго ума непремѣнно такъ или иначе достигаютъ своихъ, въ данную минуту крайнихъ, предѣловъ, и непремѣнно поэтому укладываются въ извѣстныя формы, въ извѣстныя теоріи. Прилагаемая къ быстро-текущей жизни — формы эти оказываются несостоятельными чуть-что не въ самую минуту своего рожденія, потому что вѣдь онѣ сами въ сущности суть ничто иное, какъ результаты сознан-

ной, т. е. прошедшей жизни, и къ нимъ какъ нельзя болѣе прилагается глубокий стихъ изъ глубокаго стихотворенія Гютчева: *Silentium*—

Мысль изреченная есть ложь...

И между тѣмъ однако—знаешь ли—что я подчасъ дорого бы далъ за наивную вѣру теоретиковъ въ непогрѣшимость логическихъ выкладокъ голаго ума? Живется съ теоріями гораздо спокойнѣе—и даже мыслится легче; т. е. коли ты хочешь—рутиннѣе, но за то не въ примѣръ легче—разумѣется, въ предѣлахъ той ограды, которую ставить теорія. Что такое жизнь и ея явленія—для теоретика? Лѣзутъ подъ теорію—прекрасно: не лѣзутъ—рѣжь или растягивай, «сѣки-руб!»—какъ говорить мнѣ старые пріятели—цыгане, стреножа лошадей и долотомъ передѣлывая имъ зубы изъ старыхъ на молодыя. Крупно слишкомъ извѣстное жизненное явленіе, ну, положимъ, на примѣръ, какъ въ наше время Островскій и его дѣятельность, такъ что нельзя обойти этого явленія,—употрѣби Добролюбовскій кунштицъ, т. е. возьми въ жизненномъ явленіи такую его сторону, которая лѣзетъ подъ теорію—и дѣло сдѣлано! Формула «темнаго царства» совершенно помирила, на примѣръ, въ этомъ случаѣ, теорію съ Островскимъ и—есть сожалѣнію даже—самого Островскаго—хоть внѣшнимъ образомъ—съ теоретическимъ лагеремъ,—такъ что и его «Миницъ», еъ немалому удивленію всѣхъ маломальски мыслящихъ читателей, явился въ органѣ теоретиковъ. А впрочемъ, что же? При тебѣ вѣдь, кажется, былъ какъ-то, года полтора назадъ, разговоръ о Миницѣ, — въ которомъ одинъ изъ адептовъ школы (правда, ужъ изъ самыхъ дурашныхъ)—находилъ отрицательную манеру изображенія и сатирической элементъ въ извѣстномъ легендарномъ явленіи, о которомъ рассказываетъ Миницъ, и чуть ли не въ аскетическомъ лиризмѣ Марѣи Борисовны.. Нашелся тоже господинъ (изъ «лихачей» покойнаго «Современнаго Слова»), который со всеусердіемъ обругалъ Льва Краснова, какъ представителя «темнаго царства»—и другой господинъ, который, по поводу гульбы образованной Татьяны Даниловны съ пустымъ барченкомъ, написалъ, съ выписками ни къ селу ни къ городу, чуть-ли не изъ Модестотта, цѣлое разсужденіе о женской эмансипаціи, и наикрасивѣйшимъ образомъ озаглавилъ свою изумительно-ерундистую статью названіемъ: «Любовь и нигилизмъ»... Вообще подвиги теоретиковъ въ послѣдніе два года—заставили бы наконецъ Купидону Брускова воскликнуть:

Изумлю міръ злодѣйства,

И упокойнички въ гробахъ спасибо скажутъ

Что умерли...

если бы самый даровитый изъ нихъ—даже правду сказали, единственно даровитый изъ нихъ, г. Писаревъ,—не разрѣшилъ загадки, какъ я упомянуть уже выше.

Теперь дѣло разъяснилось окончательно. Дѣло не въ «побрякушкахъ» Пушкина и не въ «пошлости» нѣкоторыхъ его стихотвореній (какъ на примѣръ—«Герой») — дѣло вовсе не въ «темномъ царствѣ», якобы все только сатирически изображаемомъ Островскимъ,—дѣло въ дѣлѣ, т. е. въ томъ, что:

1) *Искусство*—вздоръ, годный только для возбужденія спящей человѣческой энергій къ чему-либо болѣе существенному и важному, отметаемый тотчасъ же по достиженіи какихъ-либо положительныхъ результатовъ.

2) *Национальности*, т. е. извѣстные народные организмы—тоже вздоръ, долженствующій исчезнуть въ амальгамировкѣ, результатомъ который долженъ быть міръ, гдѣ луна соединится съ землею.

3) *Исторія* (это было уже года два назадъ совершенно ясно сказано)—вздоръ, бессмысленная твань нелѣпыхъ заблужденій, позорныхъ ослѣпленій и смѣшнѣйшихъ увлеченій.

4) *Наука*—кромѣ точной и положительной стороны, выражающейся въ математическихъ и естественныхъ знаніяхъ,—вздоръ изъ вздоровъ, бредъ одуряющій безплодно человѣческія головы.

5) *Мышленіе*—процессъ совершенно вздорный, ненужный и весьма удобно замѣняемый хорошо выучкою пяти—виновать!—шести умныхъ книжекъ.

«А все-таки вертится!»—повторить невольно галилеевскія слова всякій человѣкъ, привыкшій къ здовредному процессу мышленія. Въдъ и эти результаты—въ концѣ концовъ отрицающіе значеніе мышленія—суть все-таки результаты мышленія,—какого тамъ ни на есть, но все-таки мышленія, а не пищеварительнаго процесса. (А можетъ быть и пищеварительнаго процесса? просишь ты опять вставить замѣчаніе).

Извѣстныя «обобщенія», до которыхъ такъ не охочи адепты нашего нигилизма, которыхъ они бѣгаютъ и боятся, какъ чертъ ладону—тѣмъ не менѣе присутствовали при зарожденіи ихъ теорій. Для того даже, чтобы сказать: «я лягушекъ рѣжу», или «я мыло варю»—нужно извѣстное обобщеніе, хотя и отрицательное,—а именно возведеніе въ принципъ невѣрія въ какое-либо другое познаніе, кромѣ почастнаго познаванія. Самыя слова эти—не искреннія у Базарова, и дѣтски пошлы у его пародіи. Въ устахъ Базарова—они просто покрываютъ нѣкоторое умственное отчаяніе, отчаяніе сознанія, нѣсколько разъ обжигавшагося на молокѣ и приучившагося вслѣдствіе этого дуть на воду, оборвавшася

на нѣсколькихъ несостоятельныхъ системахъ, стремившихся — хоть и грандіозно, но не совсѣмъ успѣшно — охватить однимъ принципомъ цѣлую міровую жизнь. Такой моментъ сознанія, представляемый идеальнымъ Базаровымъ и идеальнымъ же нигилизмомъ, — совершенно понятенъ, имѣетъ совершенно законное мѣсто въ общемъ процессѣ человѣческаго сознанія, — и вотъ почему, отъ души смѣясь надъ фактами, т. е. надъ тѣмъ или другимъ изъ дурашныхъ представителей таеъ называемаго нигилизма, я никакъ не позволю себѣ смѣяться надъ самою струею, надъ самымъ вѣяніемъ, которыя — удачно тамъ или нѣтъ — оережены этимъ прозваніемъ, — еще менѣе способенъ отрицать органически-историческую необходимость этой отрывки матеріализма въ новыхъ формахъ. Но что эта органически-необходимая отрывка — не болѣе какъ моментъ, въ этомъ тоже не разувѣрять меня никакія мечты о бѣлыхъ Арапіяхъ.

Мышленіе, наука, искусство, національности, исторія — все не ступени какого-то прогресса, все не шелуха, отметаемая человѣческимъ духомъ тотчасъ же по достиженіи какихъ-либо положительныхъ результатовъ, — а вѣчная, органическая работа вѣчныхъ же силъ, присутствующихъ ему какъ организму. Дѣло, кажется, очень простое и ясное — а вѣдь вотъ и о немъ приходится толковать въ наше время, какъ о чемъ-то совершенно новомъ... а вѣдь совсѣмъ, кажется, простое и ясное дѣло, до того простое и ясное, что самый органическій взглядъ, изъ этого дѣла непосредственно вытекающій, — есть ничто иное какъ простой, не-теоретическій взглядъ на жизнь и ея выраженія или проявленія въ наукѣ, искусствѣ и исторіи народовъ.

Вѣдь если, напримѣръ, допускать прогрессъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ *намыренно* допускаютъ его мыслящіе, — и совершенно *наивно* дурашныя адепты школы — выйдеть, по приложенію, напримѣръ, къ искусству, что Гомера не стоитъ и не слѣдуетъ читать послѣ Шекспира, Шекспира же послѣ, положимъ, Гюго, Гюго послѣ Помяловскаго и т. д., т. е. до безконечно-малыхъ величинъ въ родѣ поэтаика, который ухитрился заставить слезы гражданина спать въ какой-то долинь; — или по приложенію къ мышленію, напримѣръ, что ничего не стоитъ читать кромѣ Бюхнера, до тѣхъ поръ, пока не явится еще что-нибудь поудалѣе, что г. В. Зайцевъ далеко опередилъ Бѣлинскаго, и т. д. Да, я вполне убѣжденъ, что наивные, т. е. дурашныя адепты даже нисколько не испугаются такихъ результатовъ, а старшіе, *riant dans leur barbe*, конечно, не посмѣютъ остановить ихъ азарта, а если посмѣютъ, таеъ получатъ такую же нахлобучку отъ даровитѣйшихъ изъ младшихъ, какою получилъ недавно отъ г. Писарева глава нашихъ Абличителей, г.

Щедринъ. Такъ и слѣдовало, и правъ г. Писаревъ: взялся за гужъ—можно сказать г. Щедрину—не говори, что не дождь, — или «не вилай хвостомъ», по его собственному любимому выраженію. Какъ бы ни были забавны результаты, тотъ, кто велъ къ нимъ—долженъ имъ подчиняться, или... что труднѣе для самолюбія, свернуть съ дороги.

По приложенію, напримѣръ, къ исторіи, идея прогресса, какъ понимаетъ ее школа, дастъ тоже результаты прелюбопытные. Жаль только, что въ сущности они представляютъ очень мало новаго и повторяютъ только *La philosophie de l'histoire* аббата Базена (одинъ изъ тысячи псевдонимовъ фернейскаго старика), да *Essai sur les moeurs et l'esprit de nations*, безъ остроумія, которое до сихъ поръ такъ и бьетъ включемъ изъ этихъ страшно талантливыхъ книгъ.

Но повторяю: какъ бы забавны ни были результаты, они достигнуты, какъ достигнуты были они нѣкогда голымъ западничествомъ въ его раболѣпствѣ передъ 1) германо-романскимъ племенемъ и 2) централизаціею—раболѣпствѣ, доведшемъ послѣдовательно покойный «Атенеи» до милой апофеозы австрійскаго жандарма, яко просвѣтителя *дикихъ* славянскихъ племенъ, и увы! еще прежде доведившемъ увлеченіе Бѣлинскаго до предпочтенія турокъ, какъ государства *организованнаго—сброду* нашихъ несчастныхъ, угнетаемыхъ ими и въ вѣрѣ и въ быту собратій. Увлеченіе Бѣлинскаго, нѣтъ сомнѣнія, смѣнилось бы пнымъ и столь же пламеннымъ увлеченіемъ: побойникъ «Атенеи», думавшій жить заднимъ числомъ

... напрягся, изнемогъ,

по выраженію единственнаго, вѣроятно какъ собственная исповѣдь помѣщеннаго имъ стихотворенія, и скончался—самою тихою смертью. Наслѣдница его идеи «Русская Рѣчь», «органъ женскаго ума», тщетно дожевывала старческими зубами пищу недожеванную Атенеемъ: ея не спасъ отъ паденія даже «великій Θεоктистовъ»... Надъ ней и надъ ея паденіемъ смѣялись и Абличители, и теоретики, смѣялись совершенно наивно, нисколько не подозревая, что смѣются надъ самими собою въ своемъ будущемъ, совсѣмъ позабывши въ пиенческомъ азартѣ, что у нихъ съ старымъ отжившимъ направленіемъ однѣ и тѣже исходныя точки, что передъ ними стоятъ одни и тѣже въ сущности идеалы, что они просто-на-просто порождены, даже какъ необходимое логическое послѣдствіе, отжившимъ западничествомъ.

Какъ у нихъ же, и у западниковъ, были адепты мыслящіе, и адепты «дурашныя», готовые, выпучивъ глаза, биться лбомъ въ стѣну. Помню я одинъ разговоръ мой съ однимъ изъ таковыхъ, лѣтъ за пятнадцать

тому назадъ, разговоръ столь же назидательный, какъ вышеприведенный объ отрицательной манерѣ въ «Мининѣ». Вышла только-что Аксаковская драма «Освобожденіе Москвы»; юный, крайне тупой, но за то крайне же и послушный старшимъ, за послушаніе прозванный даже *валеткой*, адептъ, никакъ не могъ понять, *что* меня интересуетъ въ этой вещи, пренаивно ораторствовалъ на тему о неразвитости, грубости, дикости нашего древняго быта, и когда я его сталъ доспрашивать: а что, дескать, какъ, по вашему мнѣнію, — вѣдь Ляпуновъ-то, напимѣрь, и Мининъ были люди не малые?... съ наивнѣйшимъ азартомъ отвѣчалъ: какіе же люди могутъ быть въ животненномъ быту?

Подобные разговоры, какъ этотъ и прежде мною приведенный разговоръ о Мининѣ—драгоцѣнны, и ихъ нельзя, ихъ не слѣдуетъ забывать. Возраженіе, что подобнаго рода наивными проговорками обоврались «дурашныя», не имѣетъ силы, потому: что-жъ бы сказали не дурашныя-то, старшіе-то, приводимые къ крайнимъ логическимъ гранямъ?.. Непремѣнно то же самое должны бы были они сказать, или— повернуть съ дороги.

Но вотъ еще — какъ нѣчто въ родѣ средняго термина — приходитъ мнѣ на память разговоръ уже не съ дурашнымъ, а съ однимъ изъ старшихъ по поводу факта, столь же знаменательнаго въ своемъ отношеніи, какъ знаменателенъ Мининъ (для меня, по крайней мѣрѣ) въ художественномъ, и какъ была знаменательна Аксаковская хроника въ чисто-историческомъ. Вышла, кажется въ 1854 году, книга, вѣроятно тебѣ не безъизвѣстная, пережившая въ одинъ годъ три изданія и облетѣвшая всю простую, здоровую и здорово-читающую Русь, книга глубоко-искренняя, полная силы и неотразимаго обаянія — о которой еще будетъ толкъ не разъ въ этихъ письмахъ: это — «Хожденія и странствія Инока Пароенія». Вся серьезно-читающая Русь, отъ мала до велика, прочла ее, эту гениально талантливую и вмѣстѣ простую книгу; не мало можетъ-быть нравственныхъ переворотовъ, но уже во всякомъ случаѣ не мало нравственныхъ потрясеній совершила она, эта простая, безпритязательная, вовсе ни на что не бившая исповѣдь глубокой внутренней жизни. На людей, которыхъ уже никакъ нельзя заподозрить въ аскетическихъ наклонностяхъ, но которые только-что не съузили въ угоду теоріямъ своего нравственнаго и эстетическаго захвата, а предпочли лучше, при недостаткѣ какой-либо вѣры — остаться дилеттантами, какъ покойный Дружининъ, какъ В. П. Боткинъ, она произвела почти то же неотразимое обаяніе, и, по-крайней-мѣрѣ съ художественной точки зрѣнія, они оцѣнили ее «въ точности» и до тонкости — что и высказалось въ статьѣ о ней Дружинина въ «Библиотекѣ». Появленіе ея совпа-

дало съ появленіемъ «Семейной Хроникѣ», и по искренности своей это были явленія дѣйствительно однородныя; только книга смиреннаго инока и постриженника горы Аѳонской — была, сказать правду, и шире и глубже захватомъ и даже оригинальнѣе; ибо великолѣпная эпопея о Степанѣ Багровѣ, несмотря на свои великія достоинства, все-таки ни болѣе, ни менѣе, какъ самое прямое послѣдствіе Хроникѣ семьи Гриневыхъ, наполненіе красками и подробностями очерка, оставленнаго намъ въ наслѣдство величайшимъ нашимъ художникомъ, Пушкинымъ-Вѣлкинымъ, — а корней книги отца Пароенія надобно было искать гораздо дальше въ прошедшемъ, въ хожденіи Барскаго, Трифона Коробейникова — и еще, еще дальше, въ хожденіи паломника XII-го вѣка, игумена Данила: талантливѣй и сильнѣе всего этого исчисленнаго мной своего предшествовавшаго — она тѣмъ не менѣе была послѣднимъ его звеномъ, ударила въ послѣдній разъ можетъ-быть — но могущественно — по одной изъ самыхъ глубокихъ струнъ души русскаго человѣка, по той аскетической струнѣ, которая создала изумительно-поэтическія обращенія къ «матери пустыни» — изумительное же поэтическое міросозерцаніе духовныхъ стиховъ. Таковую-то струну захватывала книга смиреннаго инока и постриженника горы Аѳонской. Вещь высоко талантливая и притомъ своеобразно талантливая — она была кромѣ того вещь совершенно народною. Вышедшій изъ раскола, — стало-быть, не смотря на выходъ, — сохранившій то, что въ расколѣ нашемъ дорого, что составляетъ насъ подчасъ цѣнить его можетъ быть дороже, чѣмъ онъ на самомъ дѣлѣ стоитъ, — его такъ-сказать растительную, коренную связь съ бытовыми старыми началами, — иннокъ Пароеній какъ будто сохранилъ что-то отъ живой энергической рѣчи протопопа Аввакума — или лучше сказать, своеобразная же, какъ и самый талантъ, рѣчь его представляла какую-то странную и пожалуй пеструю, но обаятельно-напвную и живую смѣсь книжнаго (и даже невѣжественно-книжнаго) языка съ живымъ народнымъ... Главнымъ же образомъ, она, эта огромный успѣхъ имѣвшая книга — служила нагляднѣйшимъ фактомъ неразрывности органической народной жизни отъ XII столѣтія до половины XIX, цѣльности, неприкосновенности духовныхъ началъ — именно потому, что сама она была нѣчто не дѣланное, а растительное, какъ легенда, гимнъ, пѣсня.

Этотъ бы фактъ, кажется, и долженъ былъ броситься прежде всего въ глаза всякому мыслящему человѣку: онъ долженъ былъ бы — при нормальномъ движеніи мысленія — заставить его крѣпко задуматься, и послужить для него исходною точкою для его дальнѣйшихъ созерцаній или изображеній народа и народнаго быта... Кажется, вѣдь такъ? Какъ ты думаешь?

Ну, на дѣлѣ—у «мудрыхъ міра сего» выходило не совсѣмъ такъ. Я былъ, разумѣется, весь подъ вліяніемъ этой удивительной книги, носился съ нею, что говорится, «какъ курица съ яйцомъ»,—и знакомствомъ съ нею мнѣ были обязаны Дружининъ и Боткинъ. На меня даже на время аскетическое настроеніе напало—чему ты,—зная мою, ну, хоть головную, если не сердечную отзывчивость,—нисколько, конечно, не удивись... Въ такомъ настроеніи случилось мнѣ пріѣхать изъ Москвы въ сѣверную Пальмиру, — и на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ, провождавшихся большею частію до ужина въ слушаніи давно всѣмъ извѣстныхъ скандальныхъ анекдотовъ покойнаго П—ва, а за ужиномъ въ глумленіяхъ надъ среброкудрымъ старцемъ Андреемъ, — довелось мнѣ завести рѣчь о книгѣ отца Парвенія съ человѣкомъ, котораго я, судя по его дѣятельности, могъ считать компетентнымъ судьей въ отношеніи къ народу и его быту, который тогда не только одинъ губернскаго сплетни рассказывалъ, но подчасъ къ народу сильное сочувствіе высказывалъ и даже раскольниковъ съ нѣкоторымъ знаніемъ дѣла изображалъ, да и притомъ честно, а не ерыжно, какъ одинъ знатокъ ихъ быта... Компетентный господинъ — въ отвѣтъ на мою рѣчь выразилъ только опасеніе насчетъ вреда подобныхъ книгъ, что она, дескать, не развила бы слишкомъ аскетическаго настроенія. Господи, Боже мой! Да въ какую нормально устроенную человѣческую голову — тѣмъ болѣе въ голову такого умнаго человѣка, каковъ былъ мой собесѣдникъ — придетъ опасеніе, что послѣ чтенія книги инока Парвенія — всѣ въ пустынножителство ударятся? Вѣдь это надо сдѣлать, сочинить въ себѣ! Вѣдь самый строгій религіозный взглядъ не полагаетъ, какъ требованія — непремѣннаго аскетизма. Вѣдь по самому строжайшему же религіозному идеализму — пустынножителство, аскетизмъ — суть явленія не требуемыя, а только существующія во свидѣтельство возможности достиженія идеала...

Тогда я готовъ былъ сказать (но не сказалъ) моему собесѣднику вотъ что: «Не бойтесь за человѣчество, что оно все уйдетъ въ пустыни и дебри; но бойтесь за него, когда совершенно пусты будутъ пустыни и дебри, когда оборвется эта струна въ его организмѣ, заглохнетъ эта ненасытная жажда идеала, высшаго, Бога, влекущая подчасъ въ пустыни и дебри...»

Теперь я не скажу этого—ибо слишкомъ твердо убѣжденъ, что никогда эта струна не изсякнетъ, эта великая жажда не насытится; но въ видѣ поученія—извлеку изъ приведеннаго разговора то, что не учить жизнь жить по нашему, а учиться у жизни на ея органическихъ явленіяхъ — должны мы, мыслители, — что именно въ концѣ концовъ и составляетъ основной принципъ органическаго взгляда.



Этимъ я и заканчиваю свое первое къ тебѣ письмо. Понравится оно тебѣ—пойдемъ дальше; не понравится—бросимъ.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Читалъ ли ты? есть книга....

*Репетиловъ.*

Да! именно вопросомъ: «читалъ ли ты? есть книга....» начинаю я второе письмо къ тебѣ. И странно, конечно, покажется тебѣ этотъ вопросъ, особенно, когда я назову книгу, о которой спрашиваю; и странно тоже покажется можетъ-быть тебѣ, почему именно объ этой книгѣ я спрашиваю.

Книга — ни больше ни меньше какъ книга о Шекспирѣ Виктора Гюго, — того самого слона, котораго не запримѣтили, забыли на шекспировомъ юбилей—да не у насъ, а въ Англии,—того самого, который далъ литературнымъ направленіямъ нашего вѣка одинъ изъ самыхъ могущественныхъ толчковъ, чье слово за обиженныхъ природою и жизнью, сказавшись сначала великимъ художественнымъ типомъ Квазимодо, завершилось глубокомысленнымъ и пламеннымъ, но все-таки рефлексивнымъ сочиненіемъ фигуры Вальжана,—того самого поэта, который любилъ и любить преимущественно—въ уродствѣ ли нравственномъ (Луcreція, Машенька де-Лормъ) или физическомъ (Квазимодо, Трибуле), въ униженныхъ ли социальныхъ положеніяхъ (Рюи Блазь)—добиваться отъ души человѣческой ея вѣчныхъ святынь, и лирически торжествовать ихъ цѣльность и неприкосновенность, ихъ побѣду надъ скоточеловѣческимъ,—того самого, пожираемаго жаждой идеала, хотя идеала передъ собой и неимѣющаго, Гюго, которому чернъ литературная приписывала между прочими нелѣпостями двѣ нелѣпыхъ формулы: «le beau c'est le laid» и «l'art pour l'art»...

Все это пожалуй и такъ, скажешь ты,—но «къ чему же гибель сія бысть?»—къ чему же, дескать, ты заговорилъ и о книгѣ Гюго, и о немъ самомъ, когда собрался парадоксальными принципами органической критики провѣрять историческій ходъ нашего умственного и нравственного развитія, выразившагося въ преимствѣ различныхъ литературныхъ направлений?

„Но вѣдь нѣтъ тоже дѣйствія безъ причины,—по крайней мѣрѣ, такъ думалось всѣми, кромѣ Стюарта Милля, предполагающаго возможность

и таких мировъ, гдѣ дѣйствіе не связано съ причиною, и доселѣ, не смотря на Стюарта Мидля, большею частію мозговъ человѣческихъ такъ думается. Не имѣя поводовъ предполагать въ тебѣ особеннаго сочувствія къ логикѣ весьма, впрочемъ, замѣчательнаго англійскаго мыслителя, — я надѣюсь, что ты и въ моемъ началѣ предположишь какую-либо причину.

Ну и утѣшься... Причинъ двѣ цѣлыхъ. Одна — самая книга; другая — впечатлѣніе, которое книга должна, по законамъ человѣческаго мышленія, сдѣлать на *нашихъ, собственно нашихъ, доморощенныхъ* мыслителей.

Книга сама по себѣ — гениальное уродство, въ которомъ о самомъ Шекспирѣ едва ли найдется листа два печатныхъ; — книга по постройкѣ чудовищная, и обманывающая читателя на каждомъ шагу; книга, гдѣ напрасно сталъ бы кто искать обычной учености и гдѣ найдетъ онъ громаднѣйшую, неимовѣрнѣйшую ложь тамъ, гдѣ вовсе ея не ожидаетъ; гдѣ увидишь — какъ справедливо замѣтилъ въ своей первой статьѣ о Шекспирѣ одинъ изъ молодыхъ друзей нашихъ — безсознательные и обусловленные національностью автора пропуски цѣлыхъ полосъ шекспировскаго творчества — какъ, напримѣръ, міръ его историческихъ драмъ, — и найдешь глубочайшія прозрѣнія въ областяхъ, которыя рыты и перерыты разными мыслителями. Таковъ, напримѣръ, анализъ природы Гамлета и пластовъ, лежащихъ въ ней одинъ на другомъ; разъясненіе созерцанія Гамлетомъ жизни съвозъ пластъ опеломившаго его сверхъестественнаго событія — и пребыванія героя въ какомъ-то полу-опьянѣломъ, полу-ясновидящемъ состояніи: — такія найдешь, говорю, прозрѣнія, что двадцать пять нѣмецкихъ профессоровъ засиживай такую область, — всѣ вмѣстѣ въ двадцать пять лѣтъ не выдумаютъ такой глубокой мысли. Ну, хоть бы, напримѣръ, глубокое историческое разъясненіе двойственности дѣйствія — одного основнаго и сильнаго, другаго какъ бы рефлектирующаго первое и пожиже (Лиръ и Глостеръ) — общимъ характеромъ двойственности творчества временъ реставраціи. Или хоть бы прелестнѣйшее — да мало того прелестнѣйшее — гениально вѣрнѣйшее и глубочайшее сравненіе громадной постройки трагедіи о Лирѣ, какъ подставки для парящаго надъ нею свѣтлаго образа Корделии — съ постройкою Севильскаго собора — какого нибудь, котораго громада — въ сущности подставка для парящаго надъ нимъ ангела. Вотъ эти-то проблески молній гения въ насыженныхъ сотнями филистеровъ мѣстахъ и замѣчательны особенно въ странной книгѣ по отношенію къ Шекспиру, хотя съ другой стороны нисколько не удивительны тому, кто видитъ въ Гюго величайшаго выразителя современнаго западнаго чело-

вѣчества. Однимъ какимъ-нибудь словомъ Гюго херитъ обтрепаннаго, засиженнаго «героя безволя» Гамлета, сочиненнаго нѣмцами, и возстановляетъ полный мрачной поэзіи шекспировскій англійски-сплиническій образъ; какимъ-нибудь словомъ въ родѣ «Romeo — ce Hamlet de l'athoug» херитъ онъ какой-то полубабій образъ, созданный потребностями итальянскихъ композиторовъ и досугомъ филистеровъ, и дѣлаетъ совершенно понятнымъ, что и великорослый мужичища Мекреди, и неловкій мужикъ Мочаловъ играли (да еще какъ!) Ромео; возвращаетъ фигурѣ Шекспировскаго героя тотъ зловѣщій свѣтъ, которымъ облита она съ третьяго акта трагедіи.... Да это я такъ на угадъ, на выдержку беру, а мало ли *любопытныхъ* штукъ найдется въ крайне *любопытной* уродливой книгѣ!

Потому, повторяю: она хоть и уродство, да гениальнѣйшее изъ гениальныхъ.

Но прежде всего, тѣмъ ужасно любопытна эта книга, что она, какъ книги Карлейля, проникнута вѣрой, жаждою, и полна пламеннымъ, хотя тщетнымъ, исканіемъ идеала.

А ужъ какъ въ искусство-то вѣрить — вѣдь это просто, съ точки зрѣнія нашихъ, собственно нашихъ доморощенныхъ мыслителей, должно быть просто «смѣху подобно!» Страшнѣйшей эрудиціей и остроумнѣйшими сближеніями, Гюго, на примѣръ, на нѣсколькихъ страницахъ доказываетъ, какъ вѣчно и неперемѣнно искусство, и какъ — боюсь вымолвить — все вѣтренничала, мѣнялась наука.... А какъ противъ живота, или по просту брюха, столь дорогаго нашимъ, собственно нашимъ доморощеннымъ мыслителямъ, вопіетъ!... Нѣтъ.... я не удержусь, я напишу эту удивительную тираду о брюхѣ по поводу *Рабле*.

«У всякаго генія есть свое изобрѣтеніе или открытіе. Рабле тоже нашелъ находку — брюхо. Есть змѣй въ человѣкѣ, это — желудокъ. Онъ искушаетъ, предаетъ и наказываетъ. Человѣкъ, существо единое какъ духъ и сложное какъ человѣкъ, получилъ для себя въ земную задачу три центра: мозгъ, сердце, брюхо; каждый изъ этихъ центровъ священъ по великому свойственному ему назначенію: у мозга — мысль, у сердца — любовь, у брюха — отчество и материнство. Feri ventrem, говоритъ Агриппина. Катерина Сфорца, когда ей грозили смертію дѣтей, находящихся у врага въ залогъ, показала брюхо съ зубцовъ Риминійской крѣпости и сказала врагу: «Вотъ откуда выйдутъ другіе». Въ одну изъ эпическихъ конвульсій Парижа, женщина изъ народа, стоя на баррикадѣ, показала войску голое брюхо и закричала: «бейте своихъ матерей!» Солдаты издырявили пулями это брюхо. У брюха есть свой героизмъ; но отъ него же вѣдь истекаютъ въ жизни развратъ, въ иску-

ствѣ—комедія. Грудь—гдѣ сердце—имѣетъ вершиной голову: оно же—фаллусъ. Брюхо, будучи средоточіемъ матеріи—въ одно и тоже время и наслажденіе наше, и опасность: оно содержитъ въ себѣ и аппетитъ, и пресыщеніе и гніеніе. Привязанности и сочувствія, прививающіяся къ намъ въ немъ, подвержены смерти: эгоизмъ смѣняетъ ихъ. Внутренности весьма легко обращаются въ кишкы. Но когда гимнъ опошляется, когда строфа обезображивается въ куплетъ—дѣло печальное. Зависитъ это отъ скотины, которая въ человѣкѣ. Брюхо въ сущности и есть эта скотина. Паденіе, повидимому, его законъ: что вверху начинается пѣснью пѣсней, то внизу кончается гнусностью. Брюхо—животное, это свинья. Одинъ изъ отвратительныхъ Птолемеевъ прозывался брюхо, Phuscon. Брюхо для человѣчества—страшная тяжесть: оно ежеминутно нарушаетъ равновѣсіе между душой и тѣломъ. Оно пятнаетъ исторію. Оно отвѣтственно за всѣ почти преступленія. Оно—вмѣстилище пороковъ. Оно указываетъ Тарквинію ложе Лукреціи, оно кончаетъ тѣмъ, что заставляетъ разсуждать о соусѣ подъ рыбу этотъ сенатъ, который ждалъ Бренна и ослѣпилъ изумленіемъ Югурту. Оно даетъ совѣтъ раззорившемуся развратнику Цезарю перейти Рубиконъ. Перейди Рубиконъ—какъ съ долгами-то отлично расплатишься! перейди Рубиконъ—женщинъ-то сколько будетъ! обѣды-то какіе! И римскіе солдаты входятъ въ Римъ съ крикомъ: Urbani! claudite uxores; moechum saluum adducimus (граждане! запирайте женъ...) Аппетитъ развращаетъ разумніе. Похоть смѣняетъ волю. Сначала какъ и всегда—еще есть нѣкоторое благородство. Это оргія. Есть отъносе разлічія—напиться и нахлестаться. Потомъ оргія превращается въ кабачный загулъ. На мѣстѣ, гдѣ былъ Соломонъ, очутился Рампоно. Человѣкъ сталъ штофомъ водки. Внутренній потокъ темныхъ представленій топить мысль; потонувшая совѣсть не можетъ болѣе подать знака пьяницѣ-душѣ. Оскотѣніе совершилось. Это даже ужъ и не цинизмъ: пустота и скотство. Діогенъ исчезъ; осталась только его бочка. Начинаютъ Алквивіадомъ, а кончаютъ Трималкіономъ. Довершено. Ничего больше: ни достоинства, ни стыда, ни чести, ни добродѣтели, ни ума: животненное наслажденіе напрямки, грязь наголо. Мысль распадается въ усыпленіи; плотское потребленіе поглощаетъ все: не выплыло даже и остатковъ великаго и властительнаго творенія, обитаемаго душою; да простятъ намъ это слово—брюхо съѣло человѣка. Конечное состояніе всѣхъ обществъ, въ которыхъ померкъ идеалъ. Это выдается за счастье и называется округленіемъ. Иногда даже философы вѣтрено помогаютъ этому униженію, влагая въ ученія матеріализмъ, живущій въ совѣстяхъ. Это приведеніе человѣка къ ското-человѣку—великое бѣдствіе. Его первый плодъ—

видимая подлость вездѣ, на всѣхъ верхахъ: продажность судьи, симонія жреца, кондотьерство солдата. Законы, права и вѣрованія — навозъ. Totus homo fit excrementum. Въ XVI вѣкѣ всѣ учрежденія прошлаго до того дошли; Рабле схватываетъ это положеніе; свидѣлствуетъ его; отмѣчаетъ это брюхо, которое—мѣръ. Цивилизація—только масса; наука — матерія; религія ожирѣла; у феодализма не варитъ желудокъ; у королевской власти одышка. Римъ старый разжирѣвшій городъ—здоровье это или болѣзнь? Можетъ-быть это просто толщина, можетъ быть—водяная; вопросъ. Рабле, медикъ и жрецъ, щупаетъ пульсъ у папства. Онъ качаетъ головой и раздражается смѣхомъ. Оттого ли, что жизнь онъ нашелъ? нѣтъ, оттого, что почувствовалъ смерть. Оно почти умираетъ. Когда Лютеръ преобразуетъ, Рабле грохочетъ. Который быстрѣе идетъ къ цѣли? Рабле грохочетъ надъ монахомъ, грохочетъ надъ кардиналомъ, грохочетъ надъ папой: смѣхъ пополамъ съ хрипѣньемъ. Погремушка звонитъ въ набатъ. Ну что же? будемъ смѣяться. Смерть сидитъ за столомъ. Послѣдняя капля пьется съ послѣднимъ вздохомъ. Агонія на пиру, да вѣдь это отлично. Старый мѣръ пируетъ и лопається. И Рабле воцаряетъ династію животныхъ: Грангузье, Пантагрюэля и Гаргантюа. Рабле—Эсхиль жранья, что не мало, когда подумаешь, что жрать значитъ пожирать, что помойная яма стала бездной. Фшьте же, милостивые государи, пейте и кончайтесь. Жизнь—пѣсня, смерть—ея припѣвъ. Другіе вырываютъ для развращеннаго рода человѣческаго подземныя страшныя темницы; на счетъ подземелій, этотъ великій Рабле своего мнѣнія, и довольствуется погребомъ. Эту вселенную, которую Дантъ сослалъ въ адъ, Рабле запираетъ въ кухню. Въ этомъ и вся его книга. Семь круговъ Алигьери сжимаютъ эту громадную винную бочку. Взгляните внутрь, вы ихъ тамъ увидите въ видѣ семи смертныхъ грѣховъ. Папство умираетъ отъ неваренія желудка, — Рабле выкидываетъ колѣнце. Колѣнце Титана. Пантагрюэлевская радость грандіозна не меньше юнитеровской веселости. Челюсть противъ челюсти, челюсть феодальная и сапердотальная жретъ, — челюсть Рабле смѣется. Кто читалъ Рабле, у того вѣчно передъ глазами строгая очная ставка: на маску теократіи сурово, пристально глядитъ маска комедіи!...»

Надѣюсь, по свойственной тебѣ чуткости, ты опять таки подразумѣваешь, что не безъ намѣренія сдѣлалъ я эту длинную выписку, не безъ причины усердствовалъ переводить съ возможной точностью эту мрачную, своеобразно-колоритную, возвышеннѣйшую по мысли, и до цинизма, свойственнаго гениямъ, нагую картину.

Вотъ бы «пища сатирическому уму» нашихъ пророковъ брюха, — подумалъ я, даже и въ первый разъ читая это мѣсто. Не смѣшно ли

въ самомъ дѣлѣ? человѣкъ противъ брюха вооружается! Да мало того:—человѣкъ потомъ въ принципъ обращаетъ, что искусство должно стремиться къ перестановкѣ человѣческаго средоточія изъ брюха въ сердце и мозгъ;—человѣкъ наивнѣйшимъ и вмѣстѣ наглѣйшимъ образомъ вѣрить, и на основаніи крайней вѣры проповѣдуетъ, что для массъ «хлѣбъ животный», подаваемый небомъ въ видѣ стремленія къ идеалу, выражающагося въ искусствѣ,—чуть ли не важнѣе обыкновеннаго хлѣба....

«Душа человѣческая», говоритъ еще Гюго въ другомъ мѣстѣ своей книги, «и это очень стоитъ сказать въ настоящую минуту,—еще болѣе нуждается въ идеальномъ, чѣмъ въ реальномъ.

«Реальнымъ только живетъ,—идеальнымъ существуетъ. Угодноль знать разницу? Животныя живутъ,—человѣкъ существуетъ.

«Существовать—это понимать. Существовать—это улыбаться настоящему,—это смотрѣть выше стѣны на будущее. Существовать—это имѣть въ себѣ вѣсы и вѣсить на нихъ добро и зло. Существовать—это имѣть укорененными въ сердцѣ справедливость, истину, разумъ, преданность, честность, искренность, здравый смыслъ, право и долгъ. Существовать,—это знать, чего стоишь, что можешь, что долженъ. Существованіе—это совѣсть. Катонъ не вставалъ передъ Помпеемъ. Катонъ существовалъ.

«Словесность посвящена въ тайны цивилизаціи, поэзія посвящена въ тайны идеала. Вотъ почему словесность—потребность обществъ. Вотъ почему поэзія—жажда души.

«Вотъ почему поэты—первые воспитатели народа.

«Вотъ почему надо переводить, растолковывать, издавать, печатать, перепечатывать, литографировать, стереотипировать, раздавать, выкрикивать по площадямъ, разъяснять, читать, распространять, давать всѣмъ, продавать дешево, продавать только-что за свои, продавать ни за что наконецъ,—всѣхъ поэтовъ, всѣхъ философовъ, всѣхъ мыслителей, всѣхъ выразителей величія души».

Анахронистическимъ, смѣшнымъ—даже вреднымъ и потому достойнымъ всякаго порицанія и даже преслѣдованія—явленіемъ должна быть книга великаго западнаго поэта съ точки зрѣнія материалистовъ-мыслителей, если дѣйствительно брать въ сурьезъ эту точку, помимо таинственной и намозолившей глаза фразы: «когда настанутъ новыя экономическія отношенія».

Вопросъ, конечно, прежде всего о томъ: можно ли брать въ сурьезъ эту точку, и сами они берутъ ли ее въ сурьезъ? Но если только хоть *in abstracto*, хоть для шутки, на минуту даже—взять въ сурьезъ исходныя точки того страннаго броженія, которое пожалуй не есть быть

обречено известными выражениями Гоголя: билиберда, Андроны ёдутъ, сапоги въ смятку,—т. е. если взять въ сурьезъ какъ нѣчто установленное, догматическое,—и литературный терроризмъ г. Вареоломея Зайцева, и отреченіе талантливаго г. Писарева отъ искусства и литературы, «какъ отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его», и изумительные экономическіе «андроны» г. Соколова, и «сапоги въ смятку» г. Антоновича.... на основаніи всего этого, книги, подобныя книгѣ Гюго, должны быть позорно обличаемы, преслѣдуемы, осмѣиваемы—даже позоримы.

Ну вотъ почему я и обратился къ тебѣ прежде всего съ вопросомъ Репетилова:

Читалъ ли ты? есть книга...

и ты пожалуй могъ бы мнѣ отвѣтить репликой Чацкаго:

А ты читалъ? задача для меня!

потому что вы всѣ—и ты, и С., и А., и Д., упрекаете меня нерѣдко въ томъ, что я мало читаю современнаго, мало слѣжу за «знаменіями времени». Ну—каюсь—я точно весьма многого не читалъ, что писали г. Чернышевскій, г. Антоновичъ, даже покойный Добролюбовъ,—многого очень и незнаю; но я рѣшительно не думаю, чтобы я былъ въ потерѣ: я съ наслажденіемъ читаю гг. Варо. Зайцева, Шелгунова, билиберду г. Соколова, «вопиющіе» андроны г. Г—фова, автора изумительнѣйшей статьи «Любовь и нигилизмъ», читаю тѣхъ, которые писали на основаніи означенныхъ мыслителей, и которые, если опять-таки брать въ сурьезъ исходныя точки «андроническаго» ученія, пошли несравненно дальше; потому, тѣ вѣдь и правѣе, кто новѣе, и за ними будущее, какъ недавно выразился г. Писаревъ. То есть, если идти еще дальше, то собственно будущее за еще будущими и т. д. usque at infinitum.

Явное дѣло, что всѣхъ сихъ нашихъ, собственно нашихъ доморошенныхъ мыслителей—я вызываю смѣяться надъ книгой великаго поэта, и если они принимаютъ въ сурьезъ свои исходныя точки,—они должны глумиться надъ нею—

Надо всѣмъ въ ней они должны глумиться: и надъ основною ея мыслью, надъ признаніемъ за искусствомъ величайшаго и важнѣйшаго значенія въ жизни человѣчества, и надъ вѣрою въ душу человѣка, и надъ пожирающею всю ее, эту книгу, жаждою идеала, и надъ ея мистически-пантеистическими формулами, надъ этимъ, царящимъ въ книгѣ объ Ювѣ и надъ головою его, «страшнымъ солнцемъ Аравіи, восшатаемъ чудовищъ, увеличивателемъ золь, обращающимъ кошку въ тигра, ящерицу въ кроводила, свинью въ носорога, ужа въ боа, крапиву

въ кактусъ, вѣтеръ въ самунъ, заразу въ чуму»,—надъ этими тѣпами, «новыми Адамами», и, наконецъ, надъ этою пламенною вѣрою въ безграничность жизни и ея творчества.

«Нѣтъ»,—обращается къ ней поэтъ,—«ты не кончена. Нѣтъ передъ тобою преграды, предѣла, границы; нѣтъ у тебя окончности, какъ у лѣта зимы, какъ у птицы усталости, какъ у водопада бездны, какъ у океана полюсовъ, какъ у человѣка могилы. Ты не имѣешь окончности. Не тебѣ можно сказать: «не пойдешь далѣе»; а ты говоришь это. Нѣтъ! ты не истощаешься. Нѣтъ! твоя количественность не умалется; глубина твоя не мелѣетъ; творчество твое непрерывимо; нѣтъ! не правда, чтобы въ твоей необъемлемости виднѣлась уже прозрачность, возвѣщающая конецъ; чтобы сквозило за тобою что-то, что уже не ты. Что-то? Но что же? Препятствіе. Препятствіе чему? Препятствіе творчеству! Препятствіе имманентному! Препятствіе самосущему! Какая дичь!

«Когда ты слышишь людскія рѣчи: «Вотъ до чего, дескать, только можетъ дойти жизнь. Не требуйте отъ нея бѣльшаго. Тамъ-то вотъ началось,—тутъ-то вотъ останавливается. Въ Гомерѣ, въ Аристотелѣ, въ Ньютонѣ—она дала вамъ все, что у нея было. Оставьте же ее въ покоѣ теперь. Она вся вылилась. Не начинать же сначала. Могла сдѣлать разъ—не можетъ два раза. Вся она истратилась вотъ на такого-то человѣка. Нѣтъ уже достаточно безграничнаго, чтобы создать подобнаго человѣка». Когда ты слышишь все это, если бы, какъ они, была ты человѣкомъ, ты усмѣхнулась бы въ своей страшной глубинѣ; но ты не въ страшной глубинѣ,—ты любовь, и у тебя нѣтъ усмѣшки.

«Чтобы ты поражена была охлажденіемъ! чтобы ты престала! чтобы ты прервалась! чтобы ты сказала: стой! Ты!.. Чтобы ты должна была отдыхать! Нѣтъ! каковъ бы ни былъ человѣкъ, тобой созданный,—ты вѣдь жизнь. Если этой блѣдной толпѣ живущихъ есть чему удивляться или чего дугаться передъ лицомъ невѣдомаго, такъ тому и того развѣ, что не видать, когда изсякнетъ творческая сила, когда обезплодѣетъ вѣчно рождающая способность;—тому и того, что вѣчно стремятся одно за другимъ изумляющія явленія. Ураганъ чудесъ вѣетъ безконечно. День и ночь феномены въ тревогѣ возникаютъ вокругъ насъ отовсюду и,—что есть не меньшее чудо,—невозмуцаемая величаваго покой Верховнаго бытія. Тревога эта—гармонія.

«Громадныя концентрическія воды всемірной жизни не имѣютъ береговъ».

Съ особенной *сластью* привожу я эти восторженные гимны жизни, хотя, конечно, знаю хорошо и слабую ихъ сторону. Слабая сторона,



впрочемъ,—не внутреннее глубокое ихъ содержаніе, а внѣшняя, излишне напряженная, страстная форма выраженія. Но таковъ уже западный человѣкъ,—таковы и его представители въ мысли и чувствѣ. Таковъ, не смотря на математическую точность формулъ въ первоначальной своей системѣ, свѣтоноснѣйшій мыслитель запада, Шеллингъ,—таково и совершенно параллельное ему въ области искусства явленіе, называемое Викторомъ Гюго,—таково и свѣтозарное отраженіе лучей Шеллингова гения на англосаксонской почвѣ, называемое Карляйлемъ. Есть нѣчто стихійное, порою бессознательное какъ стихія, порою даже темное какъ бездна, въ этихъ параллельныхъ, конгеніальныхъ отраженіяхъ великаго свѣта, возсіявшаго въ началѣ вѣка идеєю натурфилософіи и далеко еще не закончившаго свою громадную задачу, которой бессознательно служили и служатъ: и голая діалектика логическаго мышленія гегелизма, приведшая къ «все — ничто», къ «абсолютному ничто»; и слѣпой матеріализмъ, свирѣпствующій въ наше время. Не даромъ же, конечно, умы истинно глубокіе — хоть бы у насъ покойный Хомяковъ и его швола, и глубокомысленный, отчасти тоже нѣсколько стихійный, А. Бухаревъ, авторъ надѣлавшей много шума (но не about nothing) книги — видятъ въ самыхъ крайнихъ его проявленіяхъ не дѣло тьмы, какъ г. Аскоченскій, а бессознательное служеніе свѣту...

То стихійное, — о чемъ упомянулъ я, какъ о характеристической чертѣ высшихъ носителей настоящихъ «знаменій вѣка», — не вредить имъ, впрочемъ, нисколько. Оно есть вмѣстѣ и то жизненное въ нихъ, что Шеллинга, — изведшаго, съ одной стороны, всю природу изъ абсолютнаго (въ натурфилософіи), и съ другой, отождествившаго абсолютное съ природой (въ системѣ трансцендентальнаго идеализма) — заставило неудовлетвориться, какъ удовлетворялся Гегель, красной логической постройкой, и идти далѣе... И тотъ же, это скептическія сомнѣнія строгаго критика Канта насчетъ несостоятельности человѣческаго разума порѣшили простѣйшимъ положеніемъ, что ножикъ не можетъ самъ испробовать: остеръ онъ или тупъ, — тотъ же, кто изъ разума и его логики построилъ природу, — отождествилъ разумъ съ природою, т. е., другими словами, разумъ вывелъ изъ природы и въ послѣдней формации своей единственно мироохватывающей системы, остановился въ нѣмомъ благоговѣніи передъ безграничною бездною жизни, порѣшивши логическій гегелизмъ тоже простымъ положеніемъ, что потенція, заключенная въ предѣлахъ человѣческаго черепа, конечно, односущественна съ потенціею разлитую въ безграничномъ, но не адекватна (не въ версту, по хомяковски) ей въ проявленіяхъ, ибо правильные сами по себѣ

выводы потенціи, при столкновении съ вѣяніями вѣчной жизни, подвергаются совершенно неожиданнымъ видоизмѣненіямъ, подвергаются дѣйствию прони любви безграничной жизни..

Я и въ первомъ письмѣ напіралъ въ особенности на безграничность и нестоимость жизни, на ея пронию-любовь,—и въ этомъ прихожу опять къ тому же.

Задача этой страшной и вмѣстѣ полной любви таинственной силы,—если слово *задача* приложимо къ тому, что само ставитъ задачу,—есть, такъ сказать, художественная въ обширнѣйшемъ и глубочайшемъ смыслѣ: — ставить насъ въ тупикъ, изумлять насъ, выворачивать наизнанку наши умственные выкладки, доказывать намъ каждый часъ, каждую минуту именно то, что хотъ логика внутри нашего черепа таже самая, которая разлита въ безмѣрномъ цѣломъ, но выкладки-то логикою жизни дѣлаются en grand, въ безмѣрно широкихъ пространствахъ. Да, жизнь была бы не тольео убійственно скучна, но и мизерна, кабы въ ней все совершалось по череповымъ выкладкамъ.

Все вѣдь это—не правдали?—ерунда, и ерунда злокачественная, съ исходныхъ точекъ *нашихъ, собственно нашихъ, доморощенныхъ* мыслителей. Еще гегелизмъ—лѣвой стороны, разумѣется (ибо правого, какъ я уже сказалъ въ первомъ письмѣ—мы не вѣдаемъ),—они перевариваютъ въ его результатахъ, т. е. во всепожрающемъ прогрессѣ и въ торжествѣ крайнихъ граней логического мышления, въ механически удобномъ устройствѣ жизни и міра; но ужъ шеллингизмъ—это мое почтение!.. Вѣдь съ нимъ пожалуй до вѣры въ искусство дойдешь... да и вообще до бездны, «поглощающей всякій конечный разумъ»,—недалеко! А вѣдь она, эта бездна-то... но въ послѣдній разъ еще потѣшу ихъ тѣмъ, что сумасшедшій Титанъ рассказываетъ объ этой безднѣ.

«Кто долго вглядывается въ эту страшную святыню, чувствуетъ, что безконечность бьетъ ему въ голову. Что носить съ собою уда, забрасываемая въ эту таинственность? Что вы видите? Догадки дрожать, ученія трепещутъ, гипотезы колеблются: вся человѣческая философія колыхнется тусклымъ свѣтомъ передъ этимъ отверстіемъ..»

«Пространство возможнаго нѣкоторымъ образомъ у васъ передъ глазами. Греза, совершающаяся въ васъ самихъ, вдругъ передъ вами, внѣ васъ. Все безразлично. Двигутся какія-то смѣшанные бѣлизны. Не души-ль это? Вы схватываетесь руками за голову, вы пытаетесь видѣть и знать. Вы стоите у окна невѣдомаго. Отовсюду густыя столпленія дѣйствій и причинъ, громоздящихся другъ за другомъ, обвиваютъ васъ туманомъ. Человѣкъ неразмышляющій живетъ въ слѣпотѣ; человѣкъ размышляющій живетъ во тьмѣ. Мы имѣемъ тольео право выбора изъ

двухъ мраковъ. Въ этомъ мракѣ, который до сихъ поръ есть вся наша наука, опытъ оцупываетъ, наблюденіе подглядываетъ, предположеніе смѣняетъ предположеніе. Если ты часто смотришь — становишься *про-видцемъ*. Широкое религиозное созерцаніе овладѣваетъ тобою.

«У всякаго человѣка есть внутри его свой Патмосъ. Его воля—идти или не идти на страшный мыслы, съ котораго видна тьма. Если не пойдетъ, онъ остается въ обычной жизни, въ обычномъ сознаниі, въ обычной добродѣтели или въ обычномъ сомнѣніи,—п прекрасно. Для внутренняго покоя это, конечно, лучше. Пойдетъ онъ,—кончено, онъ схваченъ. Глубокія волны таинственнаго явились передъ его очами. Безнаказанно же никто не видѣлъ этого океана!»

У направленія мысленія, которое я называю «органической критикой» — мало книгъ, которыя оно по всѣмъ правамъ могло бы назвать своими; да и тѣ ихъ нѣхъ, которыя можетъ оно назвать своими—назоветь своими она не всецѣло, а частію... Книгъ, которыя могутъ служить ей пособіями — какъ, напримѣръ, книга Бокля, книга Льюиса о Гете и другія,—гораздо больше; у насъ ихъ не мало: сочиненія всѣхъ славянофиловъ напримѣръ, сочиненія покойнаго С. П. Шевырева, котораго честные и даровитые труды оцвнены пока очень немногими, сочиненія покойнаго Бѣлинскаго, до второй половины 40-хъ годовъ, сочиненія покойнаго Венелина, покойнаго Надеждина (еслибъ кто позаботился ихъ издать!) и т. д. Порыться, такъ найдешь еще больше... Но книги, собственно принадлежація органической критикѣ — кромѣ, разумѣется, исходной громадной руды ея, сочиненій Шеллинга во всѣхъ фазисахъ его развитія, — на перечетъ. Это: книга Карляйля — цѣликомъ; книга Эмерсона — отчасти, и притомъ далеко отстающая отъ гениальности Карляйля; нѣсколько этюдовъ Эрнеста Ренана и, пожалуй, нѣсколько мѣстъ, — но не много, — въ его крайне поверхностной, хотя особенно пресловутой книгѣ; сочиненія нашего Хомякова, въ которомъ одномъ изъ славянофиловъ жажда идеала совмѣщалась удивительнѣйшимъ образомъ съ вѣрою въ безграничность жизни, и потому неуспокоивалась на идеальчикахъ, и у котораго органическіе приемы суть нѣчто до того врожденное, что о чемъ бы ни заговорилъ онъ — хоть даже о псовой охотѣ — онъ свяжетъ предметъ съ глубочайшими задачами жизни и выведетъ его изъ самой глуби природы и исторіи, потому что изъ всего славянофильства онъ одинъ былъ настоящій, урожденный поэтъ, провидѣць, *vates*, и что, не смотря на самый свѣтлый умъ критическій, широта его захвата временами впадаетъ, и очень нерѣдко, въ нѣчто стихійное, въ нѣчто такое, что, сказавшись, не исчерпывается и представляетъ громадныя перспективы для дальнѣйшей разработки, — чѣмъ онъ

для мыслителя въ сущности дороже и дорогого — но собственно отрицательнаго — Кирѣевскаго, и дорогого же, честнаго — но часто очень узкаго — К. Аксакова.

Къ числу такихъ же немногихъ книгъ, и притомъ всецѣло, — не смотря на уродство, промахи, пропуски многоаго, пересоль во многомъ, противорѣчіе жажды идеала, которая ее всю пожираетъ, — принадлежитъ книга Гюго.

Поэтому ею я и наполнилъ мое второе письмо къ тебѣ.

Она и кончаетъ прошлеи къ тому зданію, которое я предполагаю строить.

Потому: все это до сихъ поръ — присказка, а сказка будетъ впереди.

Романъ	Романъ	2 сд.	8
Литература	Литература	8 сд.	21
Сочиненія	Сочиненія	8 сд.	27
Корректура	Корректура	10 сд.	46
Титулъ	Титулъ	12 сд.	102
Контрактъ	Контрактъ	12 сд.	124
Интитулъ	Интитулъ	20 сд.	187
Корректура	Корректура	7 сд.	220
Докладъ	Докладъ	8 сд.	228
Матрица	Матрица	1 сд.	229
Матрица	Матрица	14 сд.	243

КОНЕЦЪ 1-ГО ТОМА.



## ОПЕЧАТКИ И ПОПРАВКИ.

Стран.	Строк.	Напеч.	Читай.
9	2 св.	Рено	Рене
19	8 св.	abaat	about
27	8 св.	съ быстротою	свои ноги съ быстротою
46	10 св.	Конрада	Корсара
102	12 св.	Какъ	Такъ
154	12 св.	фонъ-Книпе	фонъ-Книгге
167	20 св.	intrime	intime
220	7 св.	жизни. Славянскій,	жизни, Славянскій.
389	6 св.	Бблиннымъ	Бблиннымъ
423	1 св.	Федосѣвну	Матвѣвну
447	14 св.	Федосѣвнѣ	Матвѣвнѣ

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ, ЛИЦЪ, ЗАГЛАВІЙ И ТЕРМИНОВЪ \*)

- «Аббадонна» 266, 280, 285, 300, 529.  
 Аввакумъ протопопъ, 630.  
 Авдѣевъ, 9, 23, 29, 51, 610.  
 Авраамій Палицынъ, 509.  
 «Авторская исповѣдь» 137.  
 А—въ, П., 32.  
 «Алаонъ» (Не такъ живи какъ хочет-  
 ся), 464, 584.  
 «Алаоля Матвѣевна», 423, 447, 456.  
 «Аделина, леди», 154.  
 «Адуевъ Петръ и Александръ», 416, 417,  
 420.  
 Азо, 156.  
 «Айвенго» (Вальтеръ Скотта), 525,  
 526.  
 «Акакій Акакіевичъ», 218, 327.  
 Аксаковъ С. Т., 185, 252, 310, 489,  
 521, 524, 525, 581.  
 Аксаковъ К. С., 552, 568, 643.  
 «Алеко», 243, 244, 245, 252, 254, 357,  
 365, 501, 513.  
 «Амса», 167.  
 Алмазовъ, Б. Н., 6.  
 «Альбертъ», 349.  
 «Ампо», 149, 155, 185.  
 «Аммалатъ-Бекъ», 289, 291, 529.  
 Анакреонъ, 492.  
 «Анджело» 109, 237.  
 «Андрѣ» 166.  
 «Андрей Шень» Пушкина, 236.  
 «Антони» 293.  
 «Антоній и Клеопатра» 488.  
 Антоновичъ, 623, 624, 648.  
 «Антонъ Горемыка» 357.  
 «Анчаръ» 181.  
 Аполлосъ Архимандритъ, 236.  
 «Арапъ Петра Великаго» 517.  
 «Арбенинъ», 162, 244, 269, 270, 272,  
 275, 295, 321, 364, 365.  
 «Арбеневъ», 269, 321.  
 «Аристотель Флорентини», 540.  
 Аристофанъ, 132, 179, 201, 475, 533.  
 Аріостъ, 121.  
 «Арсеній», 162, 177, 269, 297.  
 Арцыбшевъ, 505, 506.  
 Аскоченскій, 584, 598, 600, 601, 602,  
 629, 640.  
 «Асмодей» 612.  
 «Атала» Шатобрана, 276.  
 «Атаманъ Буря» 370.  
 «Атенаиса», 169.  
 «Атенеи» 294, 476, 483, 543, 547, 549,  
 564, 624, 628.  
 «Аттинингаузенъ, баронъ», 223.  
 Aufklärung, 199, 209, 492.  
 Ауэрбахъ, 357, 478.  
 «Аванъсеевъ», 294, 535.  
 «Багровъ», 258, 359, 262, 630.  
 «Базаровъ», 618, 626, 627.  
 «Базень абботъ (псевдон. Вольтера)  
 221, 628.  
 Байронъ, 2, 46, 80, 82, 108, 121, 143,  
 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154,  
 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,  
 162, 164, 172, 176, 178, 185, 188,  
 198, 226, 235, 244, 245, 249, 269,  
 276, 278, 279, 281, 286, 292, 298,  
 412, 501, 532, 604.  
 Бальзакъ, 211, 232, 261, 289, 290,  
 291, 303, 525, 559, 620.  
 «Банкротъ», 113, 468.  
 Баратынскій, 184.  
 Барковъ, 602, 603.  
 «Баронъ Брамбеусъ и юная словес-  
 ность» 232.  
 «Басистовъ», 322.  
 «Басурманъ» 294, 537, 540, 543.  
 «Батмановъ» 324, 326.

\*) Заглавія поставлены въ кавычкахъ, дѣйствующія лица и термины — курси-  
 вомъ.

- Баттѣ, 200.  
 Батюшковъ, 125, 182, 499.  
*Бахтиаровъ*, 324.  
 Башуцкій, 598.  
 «Баядера» 132.  
*Бельтовъ*, 395, 414, 424, 437.  
 Бенедиктовъ, 605.  
*Бенедиктъ*, 169.  
 Бентамъ, 437.  
 Беранже, 121.  
 Бергъ Н. В., 80. 106—107. 476.  
 «Бесѣда» 164. 486.  
 Бетховенъ, 284. 368, 396.  
*Безимтевъ Павелъ*, 371, 372, 383.  
 «Библиотека для чтенія» 191, 236, 237, 307, 333, 334, 335, 337, 535, 584, 620, 629.  
 «Битва Русскихъ съ Кабардинцами» 5.  
 Благодравовъ, Эрастъ (Алмазовъ Б. Н.) 6. 81. 100. 104. 114. 469, 472.  
 «Блаженство Безумія» 266. 280. 300.  
 Бокль, 642.  
*Большовъ Самсонъ Силмычъ*, 157.  
 «Большой свѣтъ» 257.  
*Бондаревскій*, 261.  
 «Ворисъ Годуновъ» 108. 124. 126, 217, 236, 499, 503, 509, 513, 514, 515, 518.  
 «Вородинская годовщина» 622.  
*Бородкинъ*, 115, 116, 117, 326, 365, 462, 473.  
 Боткинъ В. П. 629, 631.  
 «Баярщина» 372.  
 «Бракъ по страсти» 361, 362. 530.  
 Брамбеусъ, баронъ, 232.  
 «Бреттеръ» 320, 325, 326.  
*Брусковъ Китъ Китычъ*, 257, 461, 463, 464.  
*Брусковъ Кутидоша*, 625.  
 Брюловъ, 217, 218.  
 «Брянскіе лѣса» 524.  
 Булгаринъ, 125, 274. 291, 305, 349, 598, 605.  
 Бурачекъ, 523, 583, 585, 586, 588, 597, 598, 604, 610.  
 «Бурсакъ» 537.  
 Буслаевъ 574.  
 Бутковъ, 19, 350.  
 Бухаревъ, 640.  
 «Бѣдная Лиза» 609, 610.  
 «Бѣдная Невѣста» 59—70. 114. 115. 116. 117. 118. 271, 461, 462, 466. 467, 468, 472, 473, 474.  
 «Бѣдность непорокъ» (Островскаго) 114, 117. 462, 468, 473.  
 «Бѣдность Люди» 109.  
 «Бѣжинъ Лугъ» 314, 345, 346, 347.  
 «Бѣленькія и Черненкія» 294.  
 Бѣлинскій Виссаріонъ Григорьевичъ 195, 212. 230, 231. 233. 234, 244, 255, 256, 269. 272. 273. 274. 175. 284. 285. 287. 288. 289. 292. 293. 295, 300, 301, 302, 303, 306, 311, 329, 339, 378, 381, 413, 414, 425, 442, 488. 489, 495, 503, 509, 516, 521, 522, 527, 528, 543, 544, 619—624, 627, 628, 642.  
 Бѣлинъ Иванъ Петровичъ, 21, 244, 245, 248, 252, 253, 254, 300, 314, 320, 325, 326, 357, 358, 366, 383, 389, 406, 425, 432, 501, 513, 514, 621, 622.  
*Вьтлоубовъ*, 363.  
 «Бѣлыя ночи» 350.  
 «Бѣла» (Лермонтова) 600.  
 Бюхнеръ, 627.  
 «Wahlverwandschaften» 158.  
 Вагнеръ, 203, 368, 452.  
*Водимовъ* (Марлинскаго) 529.  
*Вадіусъ* 197.  
 «Валентина» 166. 167. 168. 169. 349.  
*Вальжанъ*, 632.  
 Вальтеръ Скоттъ 157, 202, 209. 503, 517, 525, 526.  
 «Der Wanderer» 180.  
*Варвара Павловна*, 370, 388, 395, 443, 444.  
 Варламовъ, 345.  
 Васильевъ, П. В., 617.  
 Вейсгауптъ, 588.  
*Велледа*, 277.  
 Вельтманъ, 114. 469, 615.  
 Венелинъ, 562, 563, 642.  
*Веретъевъ*, 308, 321, 322, 325, 364, 365, 396.  
 Вернеръ Захарія, 222. 279, 531.  
*Веррина* (Фізско) 331.  
 «Вечера и Ночи» (Фета) 344.  
 «Вечера на Хуторѣ» 217, 232, 264.  
 «Вильгельмъ Мейстеръ» 158, 198.  
 Винкельманнъ, 198.  
 Виргилій 277.  
*Висоревъ*, 115, 473.  
 «Вій» 537.  
 «Водопадъ» 180.  
 Вольтеръ, 220, 221, 231, 495, 536, 547.

- Вольнский*, 294. 323, 388, 389, 539, 540.  
*Воротынская графиня*, 259, 260, 261, 262, 264.  
 «Воспитанница» 309. 366, 367, 369, 466.  
 «Воспоминанія» (С. Т. Аксакова) 581, 585.  
 «Воспоминанія офицера» 293.  
 «Воспоминанія студента» 287.  
*Вотренъ*, 160.  
 «Время» 482, 511, 612.  
 «Въ чужомъ пиру похмѣлье» 463, 466, 467, 468.  
 «Выстрѣль» 245.  
 «Вѣкъ» газета, 532.  
*Впра*, 272.  
 «Вѣстникъ Европы» 503, 505, 598, 599.  
*Вяземскій*, 107.  
*Гайде*, 154.  
*Галотти Эмилля*, 198.  
 «Гамбургская драматургія» 138.  
 «Гамлетъ» 18, 130, 157, 189, 236, 267, 287, 288, 312, 313, 331, 363, 388, 399, 450, 617, 633, 634.  
 «Гамлетъ Шигровскаго уѣзда» 58, 286, 312, 313, 314, 317, 318, 320, 325, 368, 378, 425.  
 «Гавъ Исладець» 218.  
 «Гдѣ тонко тамъ и рвется» 352.  
 «Geheimniss der Reminiscenz» (Шиллера) 280.  
*Геденовскій*, 392.  
 Геденовъ, 534, 536.  
 Гегель, 202, 206, 208, 295, 313, 343, 358, 413, 528, 565, 567, 640.  
 Гейне, 85—96, 132, 133, 150, 160, 180, 281, 304, 404, 567, 604.  
 «Геній христіанства» 276, 277.  
*Генрихъ*, 157, 175.  
 Гервинусъ, 2, 6, 200.  
 Гердеръ—138, 199, 200, 209, 222.  
*Германъ*, 314, 357.  
 «Герой» 262.  
 «Герой нашего времени» (Лермонтова) 598, 606.  
 Гёрресъ, 209, 279.  
 Гёте, 2, 6, 11, 101, 108, 121, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 146, 147, 150, 155, 157, 158, 180, 184, 188, 198, 211, 224, 265, 276, 278, 281, 293, 295, 313, 338, 379, 400, 402, 403, 528, 532, 618, 642.  
*Гирей*, 237, 245, 252, 254, 513.  
*Глафира Петровна*, 368.  
 Глинка, Авдотья, 589.  
 Глинка, Ѳ. 107, 607.  
*Глостеръ*, 633.  
 «Глуховъ» 622.  
 Гоголь, 5, 8—21, 30, 32, 45—50, 53, 55, 108, 109, 126, 135, 136, 137, 142, 157, 158, 160, 161, 172, 173, 181, 183, 187, 195, 207, 208, 213, 217, 230—272, 284, 304, 327, 328, 329, 330, 332, 349, 350, 356, 364, 392, 417, 418, 446, 460, 461, 462, 469, 472, 475, 492, 526, 530, 537, 553, 578, 588, 589, 593, 599, 605, 615, 620, 638.  
 «Господинъ Полядкинъ», 15, 32, 50, 331.  
 Гомеръ, 57, 108, 121, 178, 201, 338, 500, 627.  
 Гончаровъ, 31, 55, 308, 309, 310, 383, 406, 411, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 446, 447, 530.  
 Гораций, 85, 492.  
 «Горе отъ Ума» 255, 284.  
 Готшедъ, 491.  
 Гофманъ, 19, 139, 142, 245, 267.  
 Грановскій, 288, 488, 522.  
 «Графиня Рудольштадтъ» 166—168, 349.  
*Греминъ*, 261, 262.  
*Гренуаръ Пьеръ*, 293.  
 Гречъ, 305, 598.  
 Грибоѣдовъ, 37, 150, 230—272, 241, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 475, 492, 521, 526, 620.  
 Григоровичъ, 32, 53, 78, 357, 479, 480.  
*Гриневъ*, 248, 254, 259, 262, 630.  
 «Гробовщикъ» 253, 514.  
 «Гроза» (Островскаго) 449—481, 497.  
*Груша* (Не такъ живи какъ хочется) 252, 446, 463, 464.  
*Грушинскій*, 271, 272.  
 Губеръ, 25.  
 «Гусаръ» 237.  
 Г—фовъ, 638.  
 Гымалъ (псевдонимъ) 598.  
 Гюго Викторъ—141, 155, 232, 275, 279, 280, 293, 525, 531, 620, 622, 627, 632—634.  
*Гауръ*—155, 271, 276.  
 Давидъ Заточникъ, 499.



- Даниль Игумень, 534, 630.  
Данковский, 215.  
Дантъ, 121, 137, 145, 157, 174, 175, 178, 188, 220, 458, 500, 532, 533, 534.  
•Дары Терекъ» 607.  
•Два Гусара» 446.  
•Два пріятели» 325, 406.  
•Двойникъ» 109.  
•Дворянское гнѣздо» 305—448.  
*Дельмаръ*, 169.  
•Демонъ» 296.  
•Девница ново-болгарскаго образованія» 571.  
•Девница» 502.  
•День» 616.  
•Деревенскіе рассказы» Ауэрбаха, 357.  
•Деревня» 357.  
Державинъ, 180, 231, 238, 492, 493, 494, 577.  
•Джакобо Саппазаръ» 266, 283.  
Джеффри, 198.  
Джонсонъ, 198.  
•Джуліо Мости» 531.  
Дидро — 141.  
Диккенсъ, 19, 157, 160, 213, 267.  
•Дилижансъ» 299.  
Дмитріевъ, 107, 589, 607.  
•Дмитрій Самозванецъ» 504, 519.  
•Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца» 547.  
•Дневникъ лишняго человѣка» 58, 312, 313, 314, 315, 317, 320, 325, 406, 425.  
Добродлюбовъ (г.—бовъ) 454, 455, 456, 462, 466, 467, 603, 624, 625, 638.  
•Домашняя Бесѣда» 497, 498, 501, 522, 523, 585, 587, 590, 596, 597, 598, 603, 612.  
*Доминикано*, 266, 530, 531, 540.  
•Домострой» 125, 127.  
*Дона-Анна*, 301.  
*Донъ-Жуанъ*, 154, 244, 245, 252, 300, 301, 322, 365.  
•Донъ Кихоть» 261, 264, 382.  
Достоевскій, 350, 614, 643.  
*Досуевъ*, 395, 463.  
•Доходное мѣсто» 264, 287, 363, 369, 463, 466.  
•Древняя Вивлюенка» 490.  
Дружининъ, 7, 9, 23 — 29, 36, 116, 238, 307, 309, 473, 629, 631.  
•*Дубровскій*» 143, 237, 262, 365, 437, 501, 514, 517, 621.  
Дудышкинъ, 535, 598.  
•Дума» 606.  
•Думы» Кольцова, 243, 378.  
*Дуна*, 462.  
*Дьсуикинъ*, 56, 65, 218.  
•Дѣтство, Отрочество и Юность» 309, 583.  
Дюма, 5, 141, 293.  
*Евгенія*, 170, 177, 349.  
•Еврейка» 294.  
Еврипидъ, 201.  
•Европеецъ» 502.  
•Египетскія ночи» 259.  
Екатерина II, 491.  
•Erlkönig» 132.  
•Ермакъ» 504, 519.  
*Ериъ Ершовичъ*, 356.  
Жадовская, 80, 107.  
*Жадовъ*, 264.  
•Жакерія» 531.  
*Жакъ*, 166, 168, 169, 349.  
Жаненъ Ж., 293.  
*Жанна д' Аркъ*, 533.  
Жемчужниковъ, 7, 23, 52.  
•Женитба» 351.  
•Женихъ» (Пушкина) 513, 620.  
•Женихъ изъ Ножевой линіи» 475.  
•Живописецъ» (Новикова) 125.  
•Жизнь» (Зарубина) 584.  
Жуковскій — 126, 149, 150, 183, 239, 272, 273, 275, 276, 279, 286, 300, 500, 593.  
*Жюлетта*, 178.  
Загоскинъ, 273, 274, 503, 517, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 530, 580, 581, 582—588, 590, 594, 608, 609, 612.  
*Задоръ-Мановскій*, 372.  
Зайцевъ, Варе., 621, 624, 627, 638.  
Зандъ, Жоржъ-Зандъ, 146, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 195, 196, 211, 212, 213, 307, 308, 350, 357, 444, 458, 478, 480, 525, 620.  
•Записки охотника» Тургеневъ, 317, 341, 352, 358.  
•Записки ружейнаго охотника» Аксакова, 310.  
Зарубинъ, 584.  
•Затишь» 308, 321, 364.  
*Захаръ*, 414, 415.

*Звонскій*, 261, 262.  
*Зельдичъ*, 270, 272.  
*Здравомысль*, 416.  
*Земфира*, 237.  
Зотовъ, 534, 536.  
*Иванушка* (фонъ-Визина) 261. 492.  
Иванчинъ-Писаревъ, 494.  
«Идеалистъ» Станкевича, 397, 398, 404,  
405, 406, 409.  
«Издора» 167, 177.  
«Индiana» 166, 168, 169.  
*Инеса*, 245.  
Иногородный подписчикъ (псевдонимъ  
А. В. Дружинина), 60.  
*Иорикъ*, 267, 313.  
«Ипатьевская лѣтопись» 121, 507.  
Ирина Роліоновна, 254, 407, 519.  
«Искуситель» 609.  
«Испанскіе романсы» Мюссе, 182.  
«Испытаніе» 291, 292.  
«Исторія Карамзина» 124, 498.  
«Исторія моего пріятели» 78.  
«Исторія русскаго народа» (Полеваго)  
506, 527.  
«Ифигенія въ Тавридѣ» 132.  
Геронимъ Южный, 288.  
*Иоганна*, 157.  
Кавелинъ, 535, 547, 549, 561.  
«Кавказскіе очерки» 291.  
«Кавказскій плѣнникъ» 234, 245, 252,  
254, 501.  
*Калитовичъ* 264, 366, 392.  
394, 411.  
Кальдеронъ, 121, 145, 176, 200, 402,  
458, 532, 533.  
«Каменный Гость» 237, 300, 501, 514.  
Кавтемиръ, 490, 491.  
Кантъ, 495, 528, 586, 640.  
«Капитанская Дочка» 21, 126, 143, 217,  
237, 247, 254, 501, 513, 514, 517,  
621.  
*Капитанъ Правиль*, 291.  
Капнистъ, 255.  
«Караизъ» 511, 512.  
Карамзинъ, 109, 123, 125, 126, 197,  
231, 232, 238, 292, 493, 494, 495,  
496, 497, 498, 499, 500, 503, 504,  
505, 506, 507, 508, 509, 510, 515,  
516, 518, 519, 520, 540, 542, 546,  
548, 549, 550, 577, 578, 594, 609,  
611, 612.  
Карлейль, 137, 198, 202, 525, 640,  
624.

*Кароль*, 166, 167, 177.  
*Катерина*, 456, 464.  
Каченовскій, 506.  
*Квазимодо*, 632.  
*Квинтилія*, 167, 177.  
Кержакъ-Уральскій, 162, 163.  
*Кирилла Петровъ*, 616.  
Кирилль Туровскій, 125.  
Кирѣевскій И. В., 233, 292, 293, 304,  
485, 489, 497, 502, 524, 583, 589,  
592, 593, 596, 643.  
Клингеръ, 528.  
Клоштокъ, 222, 476, 491.  
«Клятвы при гробѣ Господнемъ» По-  
леваго, 274, 523, 527.  
Книжке, фонъ, 154.  
Козловъ, 149, 150.  
Кожоревъ, 59, 77.  
Колларъ, 543.  
«Колосовъ» 326.  
Кольриджъ, 198.  
Кольцовъ, 243, 244, 275, 378, 442.  
«Comedia nieboska» 456, 465.  
«Комета» 36, 113, 405, 468.  
«Companion du tour de France», 168,  
Бондорсетъ; 222.  
«Консуэло» 166, 167, 349, 369.  
«Confessions d'un enfant du siecle» 150,  
277.  
*Кордемя*, 633.  
«Коринская невѣста» 131, 180, 185.  
Корнель, 200, 216, 220.  
Коробейниковъ Трифонъ, 630.  
Корсаковъ Петръ Александровичъ, 580,  
583, 585.  
*Корсаръ*, 155, 276.  
Косца (псевдонимъ), 616.  
*Костанжоло*, 349, 392, 406.  
Костровъ, 244.  
Котошхинъ, 128, 560, 569.  
Кохановская, 616.  
Кочка-Сохранъ, 612.  
*Кичаревъ*, 331.  
«Kraft und Stoff» 337, 612.  
*Красновъ Левъ* 625.  
Крестовскій, 59, 78, 215, 361, 362, 444.  
*Критика историческая* 2—7.  
«Критика чистаго разума» 496.  
«Кромвель» 218.  
«Кромѣшникъ» 181, 182.  
«Crociato» 217.  
*Круциферская Любовь Александровна*,  
447.

- Крыловъ, 273. 363. 608.  
 «Кто виновать» 6, 23, 432, 527, 610.  
 Кузень, 378.  
 Кузольникъ, 125, 266, 283, 286, 294,  
 300, 331, 348, 521, 522, 529, 530,  
 531, 534, 536, 538—541.  
 Кукушкины, 363.  
 Куликинъ (Гроза-Островскаго) 464 497.  
 Кулжинскій, 602.  
 Купецъ Калашиниковъ (Дермонтова),  
 557.  
 «Купецъ Иголкинъ» 527.  
 Курбскій, 125.  
 Курмицынъ, 261.  
 Куролесовъ, 535.  
 Лабзинъ, 588.  
 Лавинія, 166, 177.  
 Лаврекииъ Иванъ Петровичъ, 434, 435,  
 436, 437—441.  
 Лаврекииъ Теодоръ (Дворянское Гнѣздо)  
 358, 367, 368, 370, 371, 372—377,  
 382, 383, 388, 389, 390—392, 394,  
 395, 396, 397, 405, 406, 407—411,  
 415, 424, 425—430, 431, 432—435,  
 436, 437, 439, 441, 442, 443, 444,  
 445, 450, 456, 459.  
 Лавровъ, 623.  
 Лажечниковъ, 227, 274, 287, 293, 294,  
 335, 336, 337, 348, 388, 521, 536—  
 543.  
 Лазаръ Елизаровичъ (Свои люди со-  
 чтемся), 363, 468.  
 Ламартичъ, 148, 150, 281, 285.  
 «Лакобонтъ» 138, 198, 199.  
 Лара, 147, 155, 269, 270, 276, 278.  
 Лафонтенъ (Августъ) 530.  
 Левинъ (Станкевича) 22, 398, 399, 400,  
 401, 402, 403, 405, 406.  
 «Левъ» Соллогуба, 260.  
 «Ледяной домъ» 294, 537, 538, 539.  
 Лежневъ, 323, 382, 395, 396, 406.  
 «Лейтенантъ Бѣлоторъ» 291, 292.  
 «Лелія» 168, 348.  
 Лемма, 368, 396, 445.  
 Лепора, 513.  
 «Леоне Леони» 166, 178, 349.  
 Леонинъ, 259, 270.  
 Леонсъ, 165.  
 Лепорелло, 301.  
 Дермонтовъ, 6, 8—10, 22, 30, 82,  
 108, 109, 151, 160, 161, 162,  
 227, 230—272, 275, 279, 287, 289,  
 295, 296, 297, 298, 299, 303, 311,  
 312, 320, 321, 326, 327, 332, 336,  
 337, 338, 352, 358, 365, 378, 404,  
 446, 529, 537, 557, 578, 588, 598,  
 599, 601, 603, 604, 607, 611, 612.  
 Лессингъ 138, 198, 199, 200, 204,  
 222, 233, 579.  
 Летурнёръ, 220, 221.  
 Литовская, княгиня, 258, 260.  
 Лидинъ, 261, 262.  
 Лиза, (Дворянское Гнѣздо), 367, 368,  
 370, 371, 392, 395, 407, 431, 444,  
 445, 446, 447, 456, 463, 586.  
 Липочка, 454, 456.  
 «Лиръ» 157, 369, 633.  
 «Литературныя Мечтанія» 230, 231,  
 232, 234, 255, 265, 272, 288, 289,  
 302, 502, 577, 578, 620.  
 Лихачевъ, 241, 242, 496.  
 Ловласъ, 46, 271, 322.  
 Ломоносовъ, 196, 231, 232, 238, 490,  
 499, 577.  
 Лонгиновъ, 547.  
 Лопе-де-Вега, 121, 533.  
 Луганскій, 114, 469.  
 Луиза, 169.  
 Лукреція Борджиа, 632.  
 «Лукреція Флоріаня» 164, 166, 167,  
 177.  
 Лучинъ Василій, 312, 314, 321, 322,  
 365, 370, 435, 436, 437.  
 Львовъ, 365, 392.  
 Льюисъ, 642.  
 «Лѣтописи Села Горохна» 21, 248,  
 253, 501, 514, 517, 621.  
 Любовь Гордѣевна, 115, 117, 446, 462,  
 473.  
 «Любовь и нигилизмъ», 625, 638.  
 «Людской Судъ—не Божій» 480.  
 Лютеръ, 336.  
 «Люцернъ» 349.  
 Ляпуновъ, 274, 629.  
 Мазепа, 467, 501.  
 Майковъ, 5, 79, 100—104, 182, 191,  
 239, 310, 446.  
 «Мабетъ» 130, 157.  
 Маколей, 198, 202.  
 Максимовъ, 480.  
 Максимъ Максимычъ, 252, 261, 287,  
 333, 601.  
 Макферсонъ, 222.  
 Маланья, 435, 436.  
 Мамилова, 257, 361, 362.  
 Манфредъ, 269, 270.  
 Марать, 222, 587.  
 «Mare au diable» 164, 166.

- Маріорича*, 389, 539, 540.  
 «Маркиза» 166.  
 Марлинскій, 212, 215, 227, 232, 250, 261, 275, 279, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 331, 336, 337, 352, 521, 528, 529, 537, 539, 582, 583.  
 «Martyrs» 276.  
 Мартыновъ, 596, 621.  
*Марья Александровна* («Отривокъ» Гоголя) 257.  
*Марья Андреевна* (Бѣлая Невѣста), 116, 117, 271, 353, 446, 447, 463, 473.  
*Марья Антиповна*, 456, 461.  
*Марья Дмитриевна*, 371, 382, 392, 395.  
*Мареа Борисовна*, 625.  
 «Мареа посадница» 247, 499, 522.  
*Мареа Тимофеевна* (Дворянское Гнѣздо) 371, 407, 431.  
 Масальскій, 524.  
 «Маскарадъ» 270, 293.  
*Матрена Савишна*, 456, 461.  
 Машенька де Лоретъ, 632.  
 «Маякъ» 245, 486, 497, 498, 501, 520, 522, 523, 580, 581, 583, 587—592, 594—606, 608, 611, 612.  
 «Medecin malgré lui» 117, 474.  
 Мей, 80, 105—106, 500, 515, 531, 540, 605.  
 Мейерберъ, 217, 623.  
 Мекреди, 634.  
 «Мельхиоръ» 166.  
 «Memoire d'Outre-tombe» Шатобриана, 276.  
 Менцель, 11.  
 Мери, княжна (Лармонтовъ) 445.  
*Меричъ*, 115, 116, 257, 271, 324, 473.  
 Меркъ, 528.  
 «Мертвая голова» 298.  
 «Мертвый осель и обезглавленная женщина» Ж. Жанена, 293.  
 «Мертвыя Души» 108, 128, 248, 268, 327, 330, 420.  
 «Метелла» 167, 177, 178.  
*Милашинъ*, 115, 116, 271, 473.  
 Миллеръ, 196.  
 «Миллионъ» Павлова, 261.  
 Милль, Джонъ Стюартъ, 632, 633.  
 Милоновъ, 244.  
 «Мининъ» 274, 617, 625, 629.  
 Минъ, 80.  
*Митона*, 293.  
*Митя* (Юрій Милословскій) 115, 117, 473, 583.  
*Михалевичъ*, 368, 372—377, 382, 383, 389, 396, 431, 443.  
 Мицкевичъ, 137, 150, 155, 281, 282, 532.  
 «Молва» 230, 237, 489, 577, 620.  
 Молешоттъ, 625.  
*Момалинъ* 262, 263.  
 Мольеръ. 11. 47, 48, 117, 121, 137, 157, 174, 175, 244, 245, 275, 474.  
 «Монологи» 299, 325, 379.  
*Моприво* 290, 292, 303, 323.  
 «Монте-Кристо» 293, 370.  
 «Mont Revesche» 164.  
 Мооръ 157.  
 «Море» Пушкина. 236.  
 «Морской разбойникъ» 525, 526.  
 «Москвитининъ» 1, 6, 23, 108, 113, 114, 140, 341, 468, 587, 589, 590.  
 «Московский Вѣстникъ» 455, 506.  
 «Московский Городской Листокъ» 113, 468.  
 «Московский Сборникъ» 553.  
 «Мошкинъ» 350.  
 Моцартъ 247, 300.  
 Мочаловъ 244, 279, 287, 288, 293, 323, 339, 347, 348, 444, 528, 634.  
 «Музыкальный Сборникъ» 339.  
 «Мулла-Нуръ» 389, 529.  
 «Муму» 314, 347, 358, 432.  
 Муравьевъ 596.  
*Муравозъ* 349.  
 «Мушкетеры» 293.  
 «Мцыри» 162, 163, 269, 272, 275, 607, 608.  
 «Мѣдный Всадникъ» 182, 247.  
 Мюссе Альфредъ 116, 150, 160, 182, 183, 277, 292, 297, 351, 352.  
 «Наблюдатель», 212, 275, 288, 295, 339, 568, 620.  
 Надеждинъ Н. И. 230, 232, 257, 293, 304, 489, 502, 503, 528, 543, 550, 554, 561, 615, 642.  
*Надимовъ*, 365, 392.  
*Надя* («Не такъ живи какъ хочется») 464.  
 «Наль и Дамаянти» 575.  
 «Наполеонъ» Пушкина 236.  
 Наръжный, 21, 537.  
*Настасья Дмитриева*, 616.  
*Наталя* 322, 323.  
 «Наталя Боярская дочь», 609.  
*Наташа* (Баллада «Женихъ») 418, 518.

- «Нахлѣбникъ» 314, 350.  
 «Начезы» Шатобриана 276.  
 «Нованъ Мудрый» 198.  
 «Невидимые» 167, 168, 170, 172, 174,  
 «Невскій проспектъ» 266, 267.  
 «Не въ свои сани не садись» 114, 116,  
 117, 462, 468, 480.  
 Некрасовъ, 80, 251 512.  
 «Неожиданный случай» (островскаго)  
 115, 116, 468, 472.  
 «Не сошлись характеромъ» 463, 466,  
 Несторъ 121.  
 «Не такъ живи какъ хочется» 114,  
 167, 252 369 462 464, 466, 468,  
 473.  
 «Негодка Незванова» 250.  
 Неурденовъ 464.  
 «Нибелунги» 138,  
 Нибуръ 505.  
 Никодимъ Надоумка (псевжидомъ  
 Надеждина) 231, 237 503, 554,  
 598, 599.  
 Ноколевъ 231, 577.  
 Нина 163.  
 Нино-Галлури 283, 530.  
 Новиковъ 125, 238, 490, 493, 498.  
 Новое слово 114, 117, 118, 119, 472,  
 474.  
 «Новоселье» Смирдина 236.  
 Поздревъ, 128.  
 «Nocturno» 405.  
 «Notre Dame de Paris», 211, 232,  
 293, 539.  
 Нумъ, 169.  
 «Нулинъ» графъ 237.  
 Оберманнъ, 9, 314, 317, 397.  
 Оберонъ, 181.  
 «Обломовъ» 366, 383 406, 411, 414, 416,  
 417, 419, 420, 421—423, 424, 425,  
 431, 447, 603.  
 «Объ уженъ рыбы» 310.  
 «Обыкновенная Исторія» 31, 58, 308,  
 415, 416, 420, 447, 530.  
 Овербекъ. 209.  
 Овчинникъ 326.  
 «Огаревъ, 79, 81—85, 100 183, 196,  
 251, 279, 404, 405.  
 «Одиссея» 183, 277.  
 «Одоевскій, 18, 36 сл., 519.  
 «О допотопномъ существованіи Лажеч-  
 никова» 335.  
 «О духъ еврейской поэзи» 199  
 Октавій, 277, 297.  
 Окенъ, 586.  
 «О Лиризмъ нашихъ поэтовъ» 181.  
 Ольга (Гончарова) 414, 421, 423, 424,  
 447, 455, 456.  
 «Онѣгинъ» 143, 144, 157, 163, 234,  
 236, 244, 245, 248, 249, 151, 280,  
 282, 414, 424, 501, 511, 513, 518.  
 «Опричникъ» 537, 541.  
 «Орасъ» 166, 170.  
 «Орлеанская Дѣва» 274.  
 «Освобожденіе Москвы» 524, 629.  
 Островскій А. Н. 6. 59—70, 75, 108—  
 128, 167, 196, 213, 217, 227, 252,  
 256, 257, 271, 286, 307, 309, 324,  
 326, 337, 249, 352, 358, 363, 365,  
 366, 369, 446, 449, 481, 483, 506,  
 518, 525, 526, 534, 535, 537, 541,  
 584, 616, 625, 626.  
 «Островъ Борнгольмъ» 609.  
 «Осужденный» 296.  
 «Отелло» 130, 157, 189.  
 «Отечественныя Записки» 275, 285, 287,  
 289, 302, 303, 339, 421, 503, 535,  
 543, 557, 629.  
 «Отрывокъ» Гоголя 257.  
 «Офелія» 314, 358.  
 «О характерѣ народныхъ пѣсень у  
 славянъ задунайскихъ» (Венелина)  
 562.  
 «Очерки Замоскворѣчья» (Островскаго)  
 113, 114, 468, 469.  
 Павлова, 107.  
 Павловъ Н. Ф. 18, 36, 38, 41, 261, 304.  
 Палимпсестовъ 484.  
 Пальховскій 455, 456,  
 Панаевъ 53, 479.  
 Панинъ 368, 371, 390—394, 395,  
 396, 406, 431, 444.  
 «Параша» 311.  
 «Параша Сибирячка» 527.  
 «Парижскія Тайны» 623.  
 «Паризина» 155, 156.  
 «Парни» 141.  
 Пареній, отецъ, 186, 534, 583, 630,  
 631.  
 «Пасынковъ Яша» 326, 358.  
 Рене Duchesne 587.  
 Перепельскій (псевдонимъ Н. Некра-  
 сова) 329, 331.  
 «Переписка» 326.  
 Петръ Ильичъ (Не такъ живи какъ  
 хочется) 252, 365, 463, 481.  
 Печерскій, 54.

- Печоринъ* 7, 33 151 102, 202, 244, 258, 260 261, 269, 271, 272, 275, 320, 321, 324, 332, 333, 364, 365, 414, 424, 437, 600, 691, 602, 603.  
*Писасовъ* 323.  
 «Пиковая дама» 245, 259.  
*Пироговъ поручикъ* 266, 331;  
*Писаревъ*, 622, 626, 627, 628, 638,  
 Писемскій, 32. 36. 42 сл. 59. 71—76, 196, 252, 254, 257, 264, 265, 287, 308, 309, 310, 324, 326, 361, 362, 365, 370, 371. 372. 382, 383, 388, 389, 392, 411, 514, 530, 603.  
*Пискаревъ* 257 266, 331,  
 «Письма Путешественника» 170; 173,  
 «Письма русскаго Путешественника» 495, 496.  
 «Пиччинино» 308, 349.  
 Платонъ 133, 182, 209.  
 «Племянница» 36 сл., 257.  
 Плетневъ 265.  
*Плюшкинъ* 271.  
 Погодинъ 197, 504, 505, 506, 528, 538, 543.  
 «Подводный камень» 610.  
 «Поджабринъ, Иванъ Савичъ» 415, 416,  
*Подколесинъ* 331.  
*Попа, маркизъ* 157, 280.  
 Полежаевъ, 151, 152, 227. 244. 275. 279. 287. 288. 293. 295. 296. 297. 298, 299, 336, 337, 338, 378, 528, 529, 537.  
 Полевой, 125, 237, 266, 273, 274, 280, 283, 286, 294 305, 331, 348, 378, 502, 303, 505, 506, 519, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 534, 536, 538, 539, 541,  
*Полина* 264.  
 Полонскій, 80, 107, 216, 310, 344, 345, 446, 605.  
 Поль-де-Кокъ, 232.  
 Помяловскій, 627.  
 «Помѣщикъ» 312, 358.  
 «Портретная галерея» Данковскаго 215.  
 «Портретъ» 135, 187, 267.  
 «Послѣдній Нрвикъ» 537, 538, 540.  
 Посоховъ 121, 125, 127, 128, 363, 491.  
 «Постоялый дворъ» (Степанова) 358, 598.  
*Поприщинъ* 331, 332.  
 Потѣхинъ, 59, 77, 308, 479, 480,  
 «Православіе и современность» 587.
- Правосудовъ* 416.  
 «Праздничный сонъ» 463.  
 «Преданіе о Монтрозѣ» 525, 526.  
 «Прекрасная Астраханка» 5, 370.  
 «Приключенія почерпнутыя изъ моря житейскаго» 469.  
 «Провинціалъ» 352,  
 Прокоповичъ Теофанъ 125,  
 «Прометей» 147, 156, 413, 532.  
 «Пророкъ» 184.  
 Посперъ Мириме 531.  
*Прохарчинъ* 331.  
 «Псковитянка» 515, 531, 540,  
 «Птенцы Петра Великаго» 547.  
*Пузатовъ Антипъ Антиповичъ.* 461, 476.  
 Г. де Пуле 421.  
*Пуукъ* 181.  
 Пушкинъ 80. 108. 109, 126, 133, 134, 135, 136, 142, 144, 150, 153, 155, 157, 158, 161, 173, 181, 182, 184, 186. 188, 207, 213, 217, 230—272, 273, 274, 279, 280, 281, 283, 287, 288, 289, 292. 300, 301. 302, 310, 314, 320, 325, 326, 357. 365, 366, 389, 407, 425, 432, 442, 445, 447, 463, 467, 490, 493, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 509, 511, 512—521, 525, 529, 531, 532, 535, 577, 580, 588, 589, 594, 596, 598, 603—605, 615, 616, 620—624, 626, 630.  
 «Пчела» 335.  
 «Пѣвцы» 314, 347.  
 «Пѣсни Горцевъ» 291.  
 «Пѣсни Кержака Уральскаго» 162.  
 «Пѣснь къ радости» 223.  
 «Пѣснь о Троѣ» 338.  
 «Пѣсня про царя Ивана Васильевича» 607.  
 «Пѣтушковъ» 309, 314, 326, 331, 358.  
*Пьеръ Гюгененъ* 349,  
 Рабле, 634—636  
 Радищевъ 244. 493. 497—498.  
 Радклифъ, Анна 215,  
 «Разбойники» 157.  
 «Развѣздъ» 136, 137, 142, 172.  
 Ральфъ 168.  
 Расинъ. 121. 216,  
 Раупахъ 531.  
 Рафаэль Санціо 247.  
 Решель. 211.  
 «Ревизоръ» 157, 284, 526.  
 Рейнике-лисъ 338.  
 «Рейхенбахъ» 530.

- Ремонъ 169.  
 Ренанъ, 642.  
 Рене, 9, 209, 276, 397.  
 «Репертуаръ и Пантеонъ» 329.  
 Репетилонъ 150, 258, 262, 436, 614, 632, 638.  
 Ретчеръ, 5, 276.  
 «Римскія элегии» 131, 132.  
 «Римъ» (Тоголя) 141.  
 Рихтеръ, Ж. Поль, 19, 267.  
 Ричардъ—130, 131, 294, 533.  
 «Робертъ» 217, 623.  
 «Рогвѣда» 617.  
 Робеспьеръ 148, 586, 587, 592.  
*Ровена, леди* 526.  
 «Родословная моего героя» 247, 521.  
*Розовый* 116, 473.  
 Ролленъ 200.  
*Романтизмъ* 272—304.  
 Ромео 130, 189, 331, 634.  
 «Рославлевъ» 517, 521, 522, 584.  
 «Россиада» 494.  
 Ростопчина, 107.  
*Рудинъ* 286, 295, 313, 320, 322, 325, 352, 358, 368, 370, 372, 382, 389, 392, 395, 406, 414, 424, 432.  
 «Рука Всевышняго» (Кукольника) 536.  
*Русаковъ* Максимъ Федотычъ (не въ свои сани не садись) 115, 116, 117, 128, 462, 473, 480.  
 «Русалка» 513, 516.  
 «Русланъ и Людмила» 217.  
 «Русская Бесѣда» 129, 202, 620.  
 «Русская газета» 465.  
 «Русская Рѣчь», 624, 628.  
 «Русская свадьба» 536.  
 «Русскій вѣстникъ» 476, 536, 547.  
 «Русскій мѣръ» 449.  
 «Русское слово» 230, 288, 333, 335, 484.  
 Руссо 314, 478, 498.  
*Рѣшитель* 180.  
*Рюи-Блазъ*, 632.  
 Сабина, 165.  
 «Савушка», 77.  
*Савелій* 247.  
 Савиный 208.  
 Савонарола 457.  
 Де Садъ, маркизъ 221.  
*Самери* 252.  
 «Сентиментальное путешествіе ка» 314.  
 Сара Симпсонъ 198.  
 Сахаръ Сахарычъ 464.  
 Сафьевъ 257.  
 «Сборники» (Московскіе) 486.  
 «Свистокъ Современника» 335, 338, 342, 348.  
 «Свои люди—сочтемся» 113, 114, 115, 217, 454, 461, 462, 467, 468, 469, 472.  
 «Свѣточъ» 570.  
 Сегюръ 607.  
 «Le secrétaire intime» 167.  
 «Семейная картина» 461, 468, 469.  
 «Семейная Хроника» 143, 196, 237, 252, 262, 310, 432, 514, 521, 535, 630.  
 Сенанкуръ 314.  
 Сенковский 305, 615.  
*Серафима Карповна* 464.  
 Сервантесъ 157, 174, 175.  
*Серезжа* (Соллогуба) 258.  
 «Сидъ» 200, 220.  
*Сило* 245, 253, 254, 314, 357.  
 «Симеонъ Кирдяпа» 274, 523.  
*Симонъ* 166.  
 «Сіонскій вѣстникъ» 588.  
 «Сказка для дѣтей» 296.  
 «Сказка о жаръ-птицѣ» 519.  
 «Сказка о Кузьмѣ остолопѣ» 513.  
 «Сказка о рыбацкѣ и рыбацѣ» 513.  
 «Сказка о сѣромъ волкѣ и Иванѣ Царевичѣ» 240.  
*Скалозубъ* 258.  
*Сквозникъ-Дмухановскій* Антонъ Антоновичъ 157, 257, 331, 364.  
*Славянофилы* 314, 431, 483, 489, 494, 523, 524, 552.  
*Слапачинскій* 261, 262.  
 «Слово о Полеу Игоревѣ» 121.  
*Собакевичъ* 324, 599.  
*Собакины* 271.  
 «Современникъ» 300, 305, 335, 406, 409, 414, 453, 456, 467, 621.  
 «Современное Слово» 616, 625.  
*Совѣтница* 261.  
 Соколовскій Владиміръ 288.  
 Соллогубъ 36, 38, 258, 259, 260, 270, 365, 392, 394.  
 Соловьевъ, 515, 535, 547, 552, 560.  
*Соничка* (Дѣтство, отрочество и юность Толстата) 309.  
 «Сонъ Обломова» 416, 417, 420.  
 «Сонъ въ лѣтнюю ночь» 181, 369.  
 «Сонъ по случаю одной комедіи» 6, 469—472 (Благодрава).  
*Сорванцовъ* (Фонвизина) 258, 262.

«Сосѣдка» 446.  
 Софокль 121, 201, 532.  
 «Софья (Карамзина) 497, 610, 611.  
 Софья Павловна 259, 263, 264.  
 «Спридионъ» 166.  
 Staël 222.  
 Станкевичъ, А. В. 58, 302, 303, 397,  
 398, 401, 403, 404, 405, 406.  
 «Станціонный Смотритель» 253.  
 Стародумъ 416.  
 «Старый домъ» 404.  
 Стаховичъ М. 340.  
 Степановъ 598.  
 Стернь, 19, 267, 262, 313.  
 «Сто русскихъ Литераторовъ», 300.  
 «Странствія инока Парфенія, 629.  
 Страховъ, Н. 623.  
 «Страшное гаданье» Марлинскаго 250.  
 291, 292.  
 Ступицына Мари 361.  
 Сумароковъ 125.  
 «Сцены изъ замосевоорѣцкой жизни» 113,  
 114.  
 «Сѣверная Пчела» 416.  
 Тазитъ 247.  
 Тальйони 171.  
 «Тамань» (Лермонтова) 601, 602.  
 Тамаринъ 7, 22, 51, 151, 162, 271,  
 322, 324, 398, 404, 606.  
 «Тарась Бульба» 537.  
 Тасъ 283, 530.  
 Татищевъ 493, 507.  
 Татьяна 144, 237, 280, 282, 445, 446,  
 447, 463, 513, 518, 621.  
 Татьяна Даниловна, 625.  
 Тацитъ 511.  
 «Теврино» 164, 165, 166, 308, 349, 369.  
 Теккерей 160, 213.  
 «Телеграфъ» 527.  
 «Телескопъ» 230, 293, 339, 502, 503,  
 517, 554, 561, 564, 576, 577, 620,  
 Телль 157.  
 «Темное царство» 453, 454, 455, 460,  
 465, 466, 476.  
 Тентетниковъ 447.  
 Тизъ 2.  
 Тимофеевъ 266.  
 Толстой, Л. Н. 196, 252, 253, 254, 258,  
 260, 286, 287, 298, 307, 309, 310,  
 317, 326, 345, 348, 358, 369, 422,  
 446, 530, 583, 584, 603.  
 Торонка Голованъ 522.  
 Торцовъ, Гордѣй Карпычъ 115, 117,  
 462, 473.

Торцовъ Любимъ 115, 117, 276, 279,  
 364, 365, 462, 473.  
 Тредьяковский 490.  
 «Три встрѣчи» 308.  
 «Три Пальмы» 607.  
 «Три письма къ Гоголю» 593.  
 «Три портрета» 312, 321, 358, 436.  
 «Три Смерти» 298, 422.  
 Трибуле, 632.  
 Триссотинъ 197.  
 «Три страны свѣта» 5.  
 Троекуровъ Кирилъ 259.  
 Трюбле, аббатъ 547.  
 Туоуховская книжка 258.  
 Тургеневъ, 32, 53, 78, 79, 252, 254,  
 279, 286, 295, 305—448.  
 Туръ, 240.  
 Туръ, Евгенія, 36 сл. 52, 60, 258, 259  
 623.  
 «Тысяча душъ» 264, 309, 365, 414.  
 «Тысяча и одна ночь» 576.  
 Тьерри Августинъ 202, 208, 209, 336,  
 505.  
 Тютчевъ 310, 311, 343, 347, 378, 625.  
 «Тюфякъ» 324, 326, 364, 365, 370, 372,  
 382, 383, 389, 530.  
 Уго—155, 156.  
 «Уголино» 157, 280.  
 Улитка 349, 446, 447.  
 «Ульяна Терентевна» 78.  
 «Ускокъ» 166.  
 Устряловъ, Ѳ. 618.  
 «Утро дѣловаго челоуѣка» 331.  
 «Утро молодого челоуѣка» 113, 461, 468.  
 «Утопленникъ» 513.  
 Фамусовъ 252, 258, 259, 262, 522,  
 523, 585, 586, 597.  
 Фаустъ 203, 276, 368.  
 Феваль Поль 215, 370.  
 «Федра» 182.  
 «Фелица» 180.  
 «Festin de Pierre» 117, 474.  
 Феррагусъ 211, 212, 232, 290, 292,  
 303, 323, 559.  
 Феть, 5, 80, 85, 96—100, 182, 239,  
 279, 310, 311, 344, 345, 446.  
 Фикте 586.  
 Фиско 331.  
 Фольстафъ. 130, 131, 156, 157, 175,  
 463.  
 Фонъ-Визинъ 221, 242, 243, 258,  
 260, 251, 262, 490, 492, 494, 495,  
 496, 499, 612.



- «Фразы Крестовскаго 215, 361, 362, 444.  
*Франческа ди Римини* 157.  
 «Фрегатъ Паллада» 429.  
 Фультовъ. 208.  
 Фурье Шарль 241, 342.  
 Хазаровъ 361.  
*Халдина киягина* (Фонвизина) 257, 262.  
 Хвощинская, 51 сл.  
 Херасковъ, 231, 494, 298, 504, 577,  
 597, 612.  
 Хлестаковъ 271 331, 332. 392.  
 Хлобуевъ 330.  
 «Хозяйка» 350.  
 «Холостякъ» 309, 314 350.  
 Хомяковъ, 79. 81 129, 202 274. 485,  
 486, 487, 489, 519, 524, 534. 583, 589  
 592, 593, 596, 640, 642.  
*Хорковъ*. 115. 116, 326, 364, 473.  
 «Хоръ и Калинычъ» 314, 321, 432.  
 «Хроника семейства Багровыхъ» 254.  
*Хрюмина графиня* 258.  
 «Цыганъ» 237.  
 Чаадаевъ, П. Я. 488, 489, 509, 510,  
 511 519 520, 521, 522, 523, 524,  
 527, 542, 548, 549, 550, 551, 565, 580.  
 581.  
 «Чайльдъ-Гарольдъ» 155, 156, 244, 276,  
 324.  
*Чарльсы, братья* 267.  
*Чарскій* 259 266.  
*Чапскій* 241. 256, 260, 261, 262, 263  
 264, 436, 638.  
*Чельскій* 257, 259, 262, 264.  
 Чеходановъ Иванъ 125, 242. 496.  
 «Черная женщина» (Греча) 598.  
 «Черная коса» 298.  
 «Черные глаза» 299.  
 Чернышевскій 603, 638.  
 Чернышевъ, 7, 23.  
 Чичеринъ 547.  
*Чичиковъ* 128. 157, 248, 356.  
 «Чужое добро въ прокъ нейдетъ» 481.  
*Чулкатурины* 318, 407.  
 Чулковъ 490.  
*Чурило Плетковичъ* 245.  
*Чуфуринъ* 261.  
 Шатобрианъ. 209. 276. 277. 279.  
 Шафарикъ, 562.  
 Шевченко, 574.  
 Шевыревъ, 604, 642.  
 Шекспиръ, 2, 6, 11, 12, 14, 48 49,  
 108. 121. 130, 137, 145, 156, 157,  
 174, 175, 178, 181, 188, 189, 200,  
 216, 218, 219, 220, 221, 223, 226,  
 237, 248, 256, 275, 284, 294, 336,  
 343, 353, 354, 412, 458, 488, 496,  
 500, 532, 533, 598, 627, 632—  
 634.  
 Шелгуновъ, 638.  
 Шеллингъ 187, 191, 202, 209, 210,  
 257, 304, 347, 355, 413. 640, 642.  
 Шенъе Андрей 133, 182 235.  
 Шиллеръ, 6, 34, 121, 133, 135, 136,  
 139, 146, 157, 158, 176, 179, 211,  
 223, 280, 281, 400, 495, 528 532.  
 «Шинель» 217, 327.  
*Ширяловъ* 461.  
 Шишковъ 494, 496, 497, 523, 554,  
 588, 589 597.  
 Шипкинъ 539.  
 Шлегель—145, 200, 279.  
 Шлецеръ 197.  
 Шмидтъ 275.  
 Шопень, 97.  
 Штирнеръ Максъ 176.  
*Штольцъ* 383, 406, 417, 421, 423,  
 424, 457.  
 Щедринъ 524, 628.  
 Щепкинъ 350.  
 Шербатовъ 490, 493, 507.  
 Шербина, 5, 101. 104—105, 240.  
*Эддоръ* 276.  
 Эвришидъ 533.  
*Эдфортиъ* 203.  
*Эмонтъ* 131.  
 Эмерсонъ, 642.  
*Энбарбъ* 488.  
 «Эпоха», 614, 616.  
*Эрнестъ* 371, 396.  
 Эсхиль 201, 532.  
*Юля* 331.  
 «Юность Толстаго 260, 317, 345.  
 «Юрій Милославскій» 517, 521, 522,  
 525, 583, 584.  
*Юродивый* 309.  
*Юсовъ* 252, 363.  
 «Ябеда» 255.  
 Языковъ 240, 519, 558, 559.  
 «Якоръ», 616.  
 Якушкинъ 535.  
 Теодоръ отецъ 498, 583, 584, 592,  
 593, 596.  
 Теофистовъ, 628.

*Сочиненія Н. Н. Страхова:*

**Міръ какъ цѣлос.** Черты изъ науки о природѣ. Спб. 1872.  
Цѣна 2 р.

**Женскій вопросъ.** Разборъ сочиненія Джона Стюарта Милля «О подчиненіи женщины». Спб. 1871 (брошюра).

**Критическій разборъ «Войны и Міра».** Спб. 1871 (брошюра).

**Вѣдность нашей литературы.** Критическій и историческій очеркъ. Спб. 1868 (брошюра).

**О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи.** Спб. 1865. Ц. 1 р.

**О костяхъ запястья млекопитающихъ.** Спб. 1857.